ИЗДАНІЕ Ю. В. ЛЕОНТОВИЧЪ.

В. В. ЛЕСЕВИЧЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ТОМЪ ВТОРОЙ

СТАТЬИ ПО ФИЛОСОФІИ

100/1979

4205



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
ВЪ МОСКВѢ.

38
Прев. 1959
В
4205
1ес
БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ
036
32

МОСКОВСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТНЯ
ТРЕХПРУДНЫЙ ПЕР. 9.
1915.

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ФИЛОСОФІЯ?

(Этюдъ).

ГЛАВА I.

Введеніе.

Не разъ была уже повторяема исторія о томъ, какъ древняя всеобщая наука—философія постепенно выдѣляла изъ себя одну за другой отдѣльныя спеціальныя науки и какъ, въ концѣ-концовъ, содержаніе этой нѣкогда всеобщей носительницы знанія всецѣло ушло въ отдѣльные ручьи, такъ что ветхой деньми «наукѣ наукъ» предстояло или отождествиться съ общею ихъ совокупностью, или перестать существовать. О томъ, какъ разрѣшилась эта дилемма, мы скажемъ послѣ, а теперь остановимся только на той безспорной истинѣ, что рѣшеніе грядущей судьбы философіи, успѣвшей преодолѣть кризисъ, обусловленный отторженіемъ отъ нея отдѣльныхъ наукъ, должно воспослѣдовать не въ силу мечтательныхъ пареній, грезъ, бреда, созерцанія, прозрѣнія или чего-нибудь подобнаго, а въ силу развитія положительнаго знанія, т. е. знанія, опирающагося на факты, имѣющаго своею основою данную опытомъ фактичность. Понятіе о такой философіи познанія или «научной философіи», угрожая праздноболтанію и мечтательности, встрѣчается, конечно, не особенно гостепріимно тамъ, гдѣ сила привычки, рутина, косность, мистическія блужданія сжились съ представленіемъ философіи, посягающей познать все вдругъ, стремящейся миновать всѣ препятствія, мѣтящей на скорое упраздненіе всѣхъ открытыхъ вопросовъ. Въ доброе старое время, въ то далекое время, когда «наука наукъ» и мать всякаго познанія только-что еще нарождалась, упрежденіе это не только не было зломъ, но истиннымъ благомъ и гнетущею необходимостью, такъ какъ никакія наблюденія, по справедливому мнѣнію Ог. Конта, не были возможны до тѣхъ поръ, пока не существовало

еще никакой теоріи. Изъ этого положенія не нашлось бы никакого выхода, если бы онъ счастливо не открылся въ самобытномъ возникновеніи супра-натуралистическихъ воззрѣній — этой формы первобытной дѣятельности человѣческаго ума. Совсѣмъ иныя условія настали съ тѣхъ поръ, когда эти первоначальныя стадіи были пройдены и когда всякій новый вопросъ представлялся уже настолько сложнымъ и въ такой мѣрѣ обставленнымъ всякаго рода трудностями, что ранѣе его разрѣшенія, болѣе того, ранѣе правильной его постановки, приходилось выдѣлить его изъ общей совокупности предлежащихъ для разрѣшенія вопросовъ, затѣмъ подвести его подъ одну изъ установленныхъ категорій и, наконецъ, рѣшать сообразно съ тѣми пріемами научнаго метода, которые приспособлены были къ соотвѣтственной группѣ явленій. На этомъ пути гипотезы, если и являлись возможными, требовали повѣрки и, во всякомъ случаѣ, должны были не смѣшиваться съ твердо установленными положеніями и строго различаться отъ нихъ, какъ положенія временныя, предварительныя, ждущія еще рѣшенія своей участи—принятія или отверженія—и сами пока ничего не подтверждающія, ничего не доказывающія, ни въ какомъ случаѣ не могущія являться точками исхода для умозрительныхъ построеній.

Само собою разумѣется, что распространеніе такого воззрѣнія на всѣ области познанія не могло совершиться скоро. Труднѣйшіе и сложнѣйшіе вопросы долго, и очень долго, витали еще въ той сферѣ неопредѣленной общности, которая, какъ казалось, стремилась сохранить за собою навсегда, какъ преданіе старины—руководящее первенство гипотезъ—продуктовъ свободнаго творчества философствующихъ поэтовъ. Психологическіе и тѣсно примыкающіе къ нимъ гносеологическіе вопросы, въ силу традиціи сохранившіе онтологическій характеръ, и теперь еще не могутъ окончательно вырваться изъ объятій блуждающей мысли, усиливающейся посредствомъ новыхъ хитросплетенныхъ комбинацій, остаться со старыми рѣшеніями, привычными, какъ ей, такъ и окружающей, держащей ее въ своей часто всевластной зависимости, средѣ. На этой почвѣ коренится то вращеніе въ бѣличьемъ колесѣ, которое здѣсь такъ давно и такъ неизмѣнно идетъ изъ поколѣнія въ поколѣніе. Обычное, привычное обладаетъ цѣпкостью: чтобы вырвать его съ корнемъ, необходимо время и время. Какъ часто

и теперь, взявъ въ руки новую книгу, сперва видишь передъ собою умъ, будто бы ищущій новыхъ путей, но вскорѣ замѣчаешь, какъ мало-по-малу обманчивыми и замаскированными изворотами совершается возвращеніе на торную дорожку рутины и какъ подъ новыми названіями возрождается все та же хорошо извѣстная старина, все та же сильно прискучившая химера. На глазахъ у читателя возстаетъ изъ тьмы и мало-по-малу обрисовывается ея причудливый обликъ. Да, это она, левъ—головою, задомъ—драконъ и коза—серединой. Къ ней взываютъ философствующіе піиты, съ трепетомъ ожидая, что она завертится или, по капризу извѣстнаго поэта, залаетъ, требуя брачныхъ узъ съ наукою. Такія или подобныя фикціи, смѣшиваясь съ вожделѣніями алчущихъ и жаждущихъ загадочности, таинственности, тьмы, пышно разрастаются на почвѣ обыденнаго мышленія сѣренькой жизни и всякаго рода внѣшнихъ благопріятныхъ условій, и «plus ça change, plus ça reste la même chose».

Не всѣмъ же, однако, бѣжать въ прошедшее или путаться въ паутинѣ грезъ; есть, къ счастью, и такіе, которые могутъ сохранять неуязвимость не только при сопоставленіи съ пошлыми, но даже и истинно-талантливыми реставраторами антикварнаго хлама и хитроумными вѣстовщиками всякаго рода философской галиматьи. Въ вѣчной борьбѣ съ рутиной и лицемѣріемъ, они знаютъ, что торжество истины не позади насъ, а впереди, хотя знаютъ также и то, что истина не вчера народилась на свѣтъ и что первые шаги ея хоть трудно, но возможно указать въ туманной дали минувшаго. Озабоченные задачами, выпавшими на ихъ долю, они знаютъ, что имъ доводится переживать такой кризисъ философіи, подобнаго которому нельзя отыскать въ прошедшемъ, а потому перипетіи этого кризиса и исходъ его поглощаютъ все ихъ вниманіе.

Философія въ прежнемъ значеніи этого слова перестала существовать; содержаніе ея разобрано по частямъ отдѣльными науками, послѣдняя изъ коихъ установилась на томъ остаткѣ всеобщаго знанія, который иные продолжаютъ и до сихъ поръ считать отдѣльною наукою.

Передъ тѣмъ, кто не раздѣляетъ такой иллюзіи, возникаетъ такимъ образомъ во всемъ своемъ объемѣ вопросъ о томъ, что же такое философія, гдѣ она, гдѣ должна быть? Разрѣшая этотъ вопросъ, приходится прежде всего выяснить границы, отдѣ-

ляющія историческое значеніе понятія философіи отъ того живого и дѣйствительнаго ея значенія, которое вытекаетъ изъ положенія вещей настоящаго времени и неуклонно требуется логикою, считающеюся съ этимъ положеніемъ. Очевидно, что если бы удалось опредѣленно обозначить эту разграничительную линію, то сдѣлалось бы возможнымъ предоставить времени экстенсивную сторону дѣла. Разъ воззрѣнія, составляющія содержаніе рутиннаго понятія философіи, будутъ признаны мнимыми, фиктивными, они навсегда перейдутъ въ пережитое преданіе и сами по себѣ станутъ уже предметомъ изученія, какъ симптомъ тѣхъ фазисовъ, черезъ которые проходило развитіе человѣческой мысли. Изъ достоянія *мнимой науки* симптомъ этотъ станетъ достояніемъ *науки о мнимомъ*, попадетъ въ вѣдѣніе той части психологіи, которая занимается изученіемъ первобытнаго мышленія и работа которой идетъ по пути, прямо противоположному тому, которымъ создалась мнимая наука. Тогда какъ эта послѣдняя заключалась въ систематизаціи мнимыхъ воззрѣній и иллюзорныхъ представленій, задачею положительной науки является *разложеніе* ихъ, опредѣленіе ихъ составныхъ элементовъ, указаніе ихъ психическихъ корней: тѣхъ, стимуловъ, импульсовъ, эмоцій,—словомъ, всего того процесса, благодаря которому могли вырости и окрѣпнуть представленія и понятія, являющіяся теперь отжившими, отслужившими свою службу. Но если жизнь какого-нибудь воззрѣнія будетъ прослѣжена отъ его колыбели и до могилы, если смерть его будетъ достодолжно констатирована, то что должны мы будемъ сказать о тѣхъ, которые станутъ брать его сюжетомъ своего рода сказки о бѣломъ бычкѣ? Томительный пересказъ пережитаго, подогрѣваемый или патологическими импульсами, или искусственнымъ пафосомъ, можетъ, конечно, мѣтить только на людей соотвѣтственныхъ настроеній и серьезнаго значенія въ себѣ не заключаетъ. Давно, очень давно, еще въ XIII столѣтіи, была высказана мысль, что «желаніе послужить потомству не однимъ только многорѣчіемъ побуждаетъ къ изложенію мыслей, нетронутыхъ еще другими... Излишнія же рѣчи человѣка, занятаго повтореніями, не приносятъ пользы, а могутъ лишь внушить отвращеніе». Еще опредѣленнѣе высказался одинъ изъ мыслителей нашего вѣка:

«... der menschliche Geist durchläuft in seiner Entfaltung
Ganz denselben Prozess wie der organische Leib.

Erst verzehrt er den Stoff heisshungrig und wandelt ihn in sich;
Hat er ihn assimilirt, wirft er das Unnütze weg.
. . . . . .
Aber wie in der Natur Schmeissfliegen verzeheren den Unrath
Mit Appetit und Genuss, weisen Gesetzen gemäss,
Also...»

Итакъ, оставляя далеко за собой невразумительныя иллюзіи обаятельныхъ въ оное время глашатаевъ импровизированнаго знанія, философія при свѣтѣ критики и опорѣ положительной науки осмотрительно выступитъ на новый путь, новый—для философіи, старый—для опытнаго знанія,—путь, прославленный всѣми прочными завоеваніями человѣческаго ума и едва-едва извѣстный для представителей высшихъ обобщеній, такъ какъ только весьма небольшая группа мыслителей сдѣлала изъ него и путь философіи.

Новый штандпунктъ философіи является діаметрально противоположнымъ тому, на которомъ она стояла въ эпоху послѣднихъ для метафизики торжествъ по-Кантовской реакціи. Тогда Гегель восклицалъ, что онъ, подобно мореплавателю, долго носившемуся по бурному морю, видитъ, наконецъ, твердую землю, «настоящее отвлеченное мышленіе», мышленіе Декарта—первый шагъ къ его собственному «чистому умозрѣнію»; теперь «чистое умозрѣніе» заволоклось туманомъ, никакой твердой земли въ «настоящемъ отвлеченномъ мышленіи» не оказалось, миражъ исчезъ. Теперь не случайность должна открыть намъ «берегъ», «твердую землю», теперь мы твердо и сознательно вступаемъ на него и знаемъ, что на этомъ берегу, на этой «твердой землѣ» давно уже красуется несокрушимая работа цѣлаго ряда поколѣній, что дальнѣйшая работа трезвой человѣческой мысли будетъ итти или здѣсь, или нигдѣ.

Начало выработки указываемой нами точки зрѣнія восходитъ, какъ извѣстно, къ Локку и Юму; позже, подъ вліяніемъ успѣховъ положительнаго знанія, выработка эта идетъ все болѣе и болѣе твердою поступью; отдѣльныя науки крѣпнутъ и все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе тѣснятъ обособленную область философіи и, наконецъ, когда эта послѣдняя сводится къ одной теоріи познанія, возникаетъ вопросъ: что же станется съ философіей, когда и теорія познанія завоюетъ себѣ положеніе отдѣльной и самостоятельной науки?

Роль теоріи познанія, стоящей теперь на стражѣ научнаго

духа философіи, опредѣлилась ясно. Когда подъ вліяніемъ успѣховъ психологіи она возросла и окрѣпла до значенія вполнѣ научнаго, отъ старой всеобъемлющей и не расчлененной науки—философіи—не осталось никакого обломка, которому можно было бы приписать свойства универсальнаго всеобъемлющаго познанія; мѣсто *такого* познанія занялъ рядъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ наукъ, и философія—если ей хотѣли придавать прежнее значеніе—исчезла. Многіе мыслители оставили названіе философіи за теоріей познанія; другіе съузили такое значеніе теоріи познанія, придавъ ей названіе философіи въ тѣсномъ смыслѣ,—и самую философію отождествили съ наукой, не тою или этою наукой, но наукой вообще, наукой въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; третьи, какъ мы и увидимъ въ послѣднихъ главахъ статьи, остановились только на этомъ послѣднемъ значеніи и окончательно отвергли возможность существованія философіи какъ отдѣльной науки. Намъ и предстоитъ ознакомить читателя съ фактами указываемой нами эволюціи. Извѣстное направленіе ея и характеръ заключительнаго ея момента мы приписываемъ воздѣйствію поднявшейся до высоты науки теоріи познанія. Она, какъ средоточіе критики всѣхъ научныхъ понятій, какъ провѣрочный пунктъ, гдѣ подвергали испытанію ихъ смыслъ и значеніе, привела, наконецъ, умы къ сознанію необходимости великой перемѣны,—необходимости разлуки съ одною изъ тѣхъ иллюзій, къ которымъ вѣковая привычка заставила относиться какъ къ чему-то необходимому, неизбѣжному. Стало ясно, что философія, древняя всенаука, распалась, разложилась, превратилась въ цѣлый рядъ твердо отграниченныхъ, самостоятельныхъ и опредѣленныхъ частей. Что же будетъ далѣе? Ужели жаждущіе познанія останутся безъ философіи? Нѣтъ, есть еще выходъ изъ этого кризиса,—воскликнули почитатели священной тѣни,—пусть философіей будетъ тотъ послѣдній обломокъ, который остался отъ распаденія старой всеобъемлющей науки. Ничего не значитъ, что эта новая философія является лишенною той гордости, которая внушала ея предшественницѣ сознаніе законодательствующей роли въ области знанія; ничего не значитъ, что скромная теорія познанія не живетъ уже мыслью о пренебреженіи къ опыту и о воздѣйствіи на познающую мысль посредствомъ какого-то превыспренняго созерцанія; все это не важно; лишь бы ни чей кощунствующій языкъ не дерзнулъ произнести дерзкихъ словъ:

философія болѣе не существуетъ! Всѣ эти опасенія были, однако же, совершенно напрасны: если философія перестала существовать какъ отдѣльная наука, то это не значитъ еще, что она исчезла. Ея нѣтъ здѣсь, нѣтъ тамъ; но зато она есть вездѣ, она есть во всякой отдѣльной наукѣ и во всѣхъ наукахъ вмѣстѣ; она есть вездѣ, гдѣ познаніе имѣетъ органическій ростъ, гдѣ она сливается въ обобщенія, гдѣ она поднимается до отвлеченій, гдѣ она умѣетъ овладѣвать своимъ матеріаломъ и не застываетъ на первыхъ стадіяхъ своего роста. Философія, переставъ быть отдѣльною самостоятельною наукой, сдѣлалась мѣрою высоты и захвата познающей силы; она не отдѣляетъ себѣ особой области, не претендуетъ на отдѣльный объектъ и свой собственный методъ; но ей и не нужно всего этого: она опять стала наукой въ широкомъ значеніи этого слова, она опять получила значеніе познанія въ возвышеннѣйшемъ и прекраснѣйшемъ смыслѣ этого слова.

Можно сказать, нѣсколько измѣняя, впрочемъ, мысль одного поэтизирующаго мыслителя, что напрасно думаютъ, будто опытная наука—не вся наука, будто она только преддверіе ея и будто предстоитъ пройти не мало дверей, прежде чѣмъ удастся попасть въ самое святилище. И что же? Вступающій въ это святилище тотчасъ же можетъ замѣтить, что онъ очутился какъ разъ въ такомъ же положеніи, въ какомъ не разъ бывалъ посѣтитель храма Аммонъ-Ра, лицомъ къ лицу съ тайною, съ закрытымъ ковчежцемъ. Но вотъ гіерофантъ открываетъ ковчежецъ—и тамъ ровно ничего нѣтъ. Тогда только становится ясно, что поиски были направлены не въ ту сторону, что разгадка нигдѣ не лежитъ какъ кладъ, что поразившая насъ пустота содержанія того объекта, на который мы произвольно и неосмысленно возложили всѣ наши надежды, знаменуетъ ту великую полноту міра, который вѣчно раскрытъ нашему пытливому взору и отъ котораго мы отвращаемъ глаза свои только потому, что заранѣе рѣшили найти всеразрѣшающую разгадку тамъ, гдѣ царитъ безнадежнѣйшее ничто.

Если ролѣ теоріи познанія въ выработкѣ того взгляда на философію, на который мы теперь указываемъ и который мы изложимъ позже съ бо́льшею полнотой, намѣчена нами вѣрно, то придется согласиться, что трудно преувеличить важность этой новой науки для всего современнаго научнаго строя. Сколько пустой, безполезной работы разъ навсегда устранено;

сколько плодотворныхъ силъ направлено на вѣрный путь; сколько праздныхъ и безтолковыхъ споровъ обойдено! Иной скажетъ, пожалуй, что этой же цѣли достигъ и Ог. Контъ помимо всякой теоріи познанія, къ чему же она? Но утвержденіе это будетъ большою ошибкой. Ог. Контъ не достигъ, а только хотѣлъ достигнуть этой цѣли; но его пріемъ именно и вскрывалъ причину его неудачи. Основоположенія Конта догматичностью своею производили впечатлѣніе какихъ-то внушенныхъ произволомъ декретовъ, да къ тому же, декреты эти никогда и не давали достаточно твердыхъ и опредѣленныхъ указаній, и самъ законодатель путался именно въ томъ, что̀ законы его брались разъяснить вполнѣ и окончательно. Да и какъ же случилось,—спрашивалъ пытливый слушатель,—что изъ цѣпи фактовъ неизвѣстно почему оказалось вынутымъ звено? Развѣ актъ познанія—не фактъ, достойный изученія? Тамъ, гдѣ вопросы такого рода еще возможны, нѣтъ еще достиженія цѣли, указанной нами выше, нѣтъ завершенія эволюціи, о которой мы говоримъ.

Но, кромѣ общаго воздѣйствія на ходъ развитія понятія философіи въ новѣйшее время, теорія познанія имѣетъ еще и свое опредѣленное и важное значеніе и для каждаго отдѣльно взятаго момента развитія. Теорія познанія, какъ трибуналъ всѣхъ научныхъ понятій, становится основною дисциплиной научной философіи, и отсутствіе этой дисциплины, какъ то было много разъ указываемо, оказывается всегда не безнаказаннымъ ни для какой философіи, ни для какого отдѣльно взятаго философа.

Но, скажутъ намъ, слышатся голоса, могущіе служить предостереженіемъ относительно опасностей, лежащихъ на томъ пути, на который мы вступили,—говорятъ, что теорія познанія самымъ предательскимъ образомъ скрываетъ за собою метафизику, такъ что у поддающагося чарамъ новой сирены легко можетъ «увязнуть коготокъ» и самъ онъ неизбѣжно попадетъ во «власть тьмы». Н. Я. Гротъ, напримѣръ, утверждаетъ, что теорія познанія есть наука *полуметафизическаго*, полупсихологическаго характера, а г. Козловъ, какъ извѣстно, противникъ г. Грота, видитъ въ философіи двѣ неотдѣлимыя другъ отъ друга стороны: метафизику и теорію познанія и опредѣляетъ соотношенія этихъ сторонъ слѣдующимъ образомъ: «всякая философская система первоначально собираетъ и указываетъ

факты познанія (данность познаваемаго міра), далѣе переходитъ къ метафизикѣ или предположенію (гипотезѣ) о сущности міра и потомъ этою гипотезой повѣряетъ данное познаніе, т.-е. теорія познанія переходитъ въ метафизику и эта, въ свою очередь, опять въ теорію познанія [1]). Профессоръ же Краковскаго университета Рациборскій приписываетъ мнѣніе о неуловимомъ переходѣ теоріи познанія въ метафизику не кому иному, какъ одному изъ представителей научной философіи, Фридриху Паульсену [2]). Какое значеніе имѣютъ эти предостереженія?

Что касается предостереженій со стороны гг. Грота и Козлова, то какой бы антагонизмъ ни раздѣлялъ ихъ, для насъ все же таки мнѣнія ихъ обоихъ одинаково не убѣдительны: г. Гротъ, увлекаясь своимъ псевдо-научнымъ неразличеніемъ мышленія и познанія, былъ неизбѣжно приведенъ къ отрицанію научной состоятельности «такъ называемой» теоріи познанія; онъ утверждаетъ, что если теорія познанія останавливается на такихъ вопросахъ, какъ вопросы о пространствѣ, времени, причинномъ отношеніи и т. д., то этого уже и достаточно, чтобы признать метафизичность однимъ изъ присущихъ ей свойствъ (стр. 13 и 15). И, однако же, въ другомъ мѣстѣ своей книги онъ съ полною опредѣленностью выясняетъ, что не содержаніе вопроса обусловливаетъ метафизичность его характера, а методъ его разрѣшенія. Онъ говоритъ, что метафизическія понятія о матеріи, о душѣ и т. д. составляютъ только опыты обработки отвлеченныхъ понятій, — опыты, которые всегда будутъ составлять лишь *ступень* къ развитію совершенно *новыхъ* образованій—*научныхъ идей*, построенныхъ при участіи вполнѣ научныхъ или «экспериментальныхъ» методовъ и исключающихъ всѣ тѣ субъективныя воздѣйствія нашихъ чувствъ, которыя играютъ еще весьма важную роль при первоначальной обработкѣ этихъ понятій (стр. 227). Изъ этого ясно видно, что теорія познанія *можетъ* обойтись и безъ «витанія въ области совершенно произвольныхъ отвлеченій» (стр. 47), и, слѣдовательно, *можетъ* стать изъ метафизической и полуметафизической вполнѣ научною. Да если бы этотъ счастливый ис-

---

[1]) *Н. Гротъ:* «Къ вопросу о реформѣ логики», стр. 13 и 15. *А. Козловъ:* «Очерки изъ исторіи философіи», стр. 6.

[2]) *A. Raciborski:* «Podstawy teoryi poznania w systemie logiki J. S. Milla». T. I, str. 28.

ходъ не представлялся своершенно осуществимымъ, возможно ли было бы самому г. Гроту поставить рядомъ со своими психостатиками и психодинамиками собственную «свою теорію познанія»? Находя именно эту «свою теорію познанія» на стран. 221-й, мы не имѣемъ никакого права считать ее даже и полуметафизическою, а всенеизбѣжно признаемъ *наукою* въ полномъ значеніи этого слова. Само собою разумѣется при этомъ, что предостереженіе, внушаемое намъ реформированною логикой, теряетъ для насъ всякое значеніе. Еще менѣе внушительнымъ представляется намъ предостереженіе, исходящее со стороны г. Козлова. У этого мыслителя познаніе, едва вырвавшееся изъ объятій спеціально ему посвященной теоріи, кидается въ лоно метафизики и затѣмъ, тотчасъ же, безъ дальнѣйшихъ прелиминаріевъ, ставитъ уже вопросъ о «сущности» міра. Но, спрашивается, при чемъ была тутъ теорія познанія, если она оставила эту злосчастную идею «сущности» безъ малѣйшаго съ своей стороны воздѣйствія и съумѣла сохранить за ней всю ту примитивность, которая была сообщена идеѣ породившимъ ее наивнымъ, обыденнымъ мышленіемъ? Если только таковъ результатъ скитанія идей отъ теоріи познанія къ метафизикѣ и обратно, то, повторяйся онъ три или трижды три раза, познаніе отъ того въ выигрышѣ все равно не останется. Теорія познанія такого пошиба, само собою разумѣется, всегда можетъ переходить въ метафизику, такъ какъ ее можно и совсѣмъ упразднить, нисколько не измѣняя плачевныхъ судебъ самого познанія. Изнываніе надъ вопросами о«сущностяхъ» и т. п. фикціяхъ, т.-е. погруженіе въ пучины метафизики, остается неотвратимымъ; но неотвратимое для *показной* теоріи познанія не остается неизбѣжно таковымъ же и для теоріи познанія *реальной*.

Переходя теперь къ замѣчанію г. Рациборскаго, мы для провѣрки его должны обратиться къ статьѣ, на которую ссылается Краковскій профессоръ, и удостовѣриться, правильно ли сдѣлана ссылка. Ознакомленіе со статьей Паульсена, къ счастью для насъ, не будетъ экскурсіей въ какую-нибудь сопредѣльную область, а явится только пополненіемъ и завершеніемъ занимающаго насъ вопроса. Смѣемъ надѣяться поэтому, что читатель не посѣтуетъ на насъ за удлиненіе этой главы еще лишнею страницей.

Статья Паульсена, появившаяся 11 лѣтъ тому назадъ въ

философскомъ журналѣ Авенаріуса, тѣмъ для насъ и дорога, что съ первыхъ же страницъ устанавливаетъ чуждое всякимъ колебаніямъ различеніе всѣхъ философскихъ системъ на *гносеологическія* или *критическія* и *догматическія* или *метафизическія*. Основными вопросами системъ первой группы Паульсенъ считаетъ вопросъ о значеніи познанія и о происхожденіи его, основными вопросами системъ второй группы—проблему качества частей и состава цѣлаго. Уже въ этомъ, сдѣланномъ твердою рукой, подраздѣленіи видно ясное противопоставленіе теоріи познанія метафизикѣ; но различенія, сопутствующія общему изложенію теоріи Паульсена, отнимаютъ даже и малѣйшій поводъ къ какому бы то ни было недоразумѣнію. Паульсенъ начинаетъ съ того, что указываетъ на давленіе, претерпѣваемое теоріей познанія отъ метафизики вслѣдствіе предпочтенія, обычно отдаваемаго послѣдней. Тѣсное сближеніе этихъ двухъ дисциплинъ стѣсняло развитіе той, которой придавали подчиненное положеніе, потому что ее разрабатывали и цѣнили съ чуждой для нея точки зрѣнія. И между тѣмъ какъ всѣ отдѣльныя науки стали въ наше время до такой степени независимыми отъ метафизики и самостоятельными, что попытка опроверженія ихъ выводовъ при помощи вмѣненія имъ извѣстнаго вредоноснаго философскаго значенія показалась бы старосвѣтскою,—пріемъ этотъ считается и теперь еще имѣющимъ значеніе по отношенію къ теоріи познанія. Здѣсь остается и до сихъ поръ цѣлесообразнымъ указаніе на подозрительный характеръ выводовъ. Забота о томъ, что сенсуализмъ или эмпиризмъ ведутъ къ матеріализму и ниспроверженію всякаго идеализма, и что поэтому ихъ слѣдуетъ признать вредными независимо отъ вопроса о ихъ правильности, торчитъ еще во многихъ головахъ какъ первая гносеологическая аксіома. Вторженіе подобныхъ притязаній могло бы встрѣтить большія препятствія, если бы теорія познанія, подобно физіологіи или астрономіи, была признана самостоятельною наукой, если бы и съ нея было снято обязательство служить какой-то «добропорядочной» философіи. И эта самостоятельность была бы признана, благодаря самостоятельности и имманентности образованія основныхъ понятій взаимно-противоположныхъ гносеологическихъ направленій. Эмпиризмъ и раціонализмъ представляютъ собою лишь различныя воззрѣнія на методъ познаванія и имѣютъ съ матеріализмомъ и спиритуализмомъ, напримѣръ, почти столько же общаго, какъ

съ нептунизмомъ или вулканизмомъ. При этомъ могло бы быть признано еще, что теорія познанія занимается на самомъ дѣлѣ нѣкоторыми, во всякомъ случаѣ, очень близкими метафизикѣ вопросами,—вопросами, которые могутъ разсматриваться даже почти какъ вступительныя по отношенію къ ней изслѣдованія. «*Различіе* заключается, однако же, въ томъ, что мы,—говоритъ Паульсенъ,— *даемъ указываемому соотношенію метафизики* и *теоріи познанія обратный смыслъ* и признаемъ, что теорія познанія, также какъ и всѣ остальныя самостоятельныя науки, подвигаются впередъ совершенно независимо отъ метафизики, тогда какъ эта послѣдняя должна ожидать рѣшеній теоріи познанія и ранѣе не можетъ установиться какъ наука» [1]).

Переданный нами ходъ мыслей Паульсена ясно показываетъ, что г. Рацiборскій читалъ цитированную имъ статью недостаточно внимательно. Различеніе теоріи познанія отъ метафизики проведено у Паульсена, какъ всякій согласится, вполнѣ ясно, и если метафизикѣ предоставлено ожидать рѣшеній теоріи познанія, чтобы стать наукой, то въ связи со всѣмъ предыдущимъ тутъ звучитъ такая иронія, подчеркивать которую мы считаемъ совершенно излишнимъ.

Не оставимъ, наконецъ, безъ опроверженія и еще одного замѣчанія, которое намъ случилось встрѣтить въ *Revue philosophique*. «Нельзя съ достаточною осторожностью вступать въ область метафизики,—сказано было тамъ,—будетъ ли цѣлью нашей лучшее разсмотрѣніе населяющихъ область эту сущностей, или изгнаніе ихъ». Замѣчаніе это является, очевидно, какъ результатъ крайне смутнаго понятія о теоріи познанія или даже совершеннаго невѣдѣнія ея. *Наука мнимаго* смѣшивается здѣсь съ *наукою о мнимомъ* и обѣимъ предписывается въ одномъ и томъ же смыслѣ благоразумная осторожность. Осторожность, конечно, въ научномъ дѣлѣ никогда не вредила, но если бы кто-нибудь вздумалъ ставить на одну доску какого-нибудь, положимъ, брамана, благоговѣйно вникающаго въ свои Веды, и истолковывающаго эти Веды санскритолога, тотъ сдѣлалъ бы, конечно, ту же ошибку, что и авторъ приведеннаго выше замѣчанія. Борьба съ метафизическими понятіями продолжается

---

[1]) *Fr. Paulsen:* «Ueber die principiellen Unterschiede erkenntnisstheorethischer Anschauungen» *(Vierteljahrsschrift für wiss. Philosophie, I Jahrgang, 2 Heft.).*

только до тѣхъ поръ, пока они сохраняютъ объективное значеніе. Лишаясь этого значенія, они, такъ сказать, выдыхаются. Съ этого момента они становятся предметомъ совершенно новаго и самостоятельнаго изслѣдованія, и тотъ, кто предается этому изслѣдованію, не становится eo ipso метафизикомъ, точно также какъ изслѣдователь психологіи младенческаго возраста не становится, благодаря роду своихъ занятій, младенцемъ.

Вырабатывая содержаніе теоріи познанія, какъ отдѣльной науки, и отрицая метафизику, научная философія, съ одной стороны, отымала у философіи стариннаго типа послѣднее ея достояніе, а съ другой—лишала крова и пріюта всѣ пустыя, безсодержательныя понятія и всякое вообще праздное разглагольствіе. Такимъ образомъ дѣло шло само собой, неудержимо и безповоротно, къ упраздненію философіи, какъ отдѣльной науки, въ силу раздѣла ея содержанія между выдѣлившимися изъ нея науками опредѣленнаго содержанія и недопущенія возстановленія ея въ видѣ безпредметныхъ продуктовъ созерцанія и интуитивнаго постиженія. А такъ какъ этотъ раздѣлъ области познанія и это огражденіе ея отъ кочевыхъ скитальцевъ по безпредѣльнымъ пустынямъ мысли, залитымъ словеснымъ наводненіемъ, не упраздняло выработку тѣхъ обобщеній, которыя должны были являться результатомъ взаимной связи между отдѣльными науками, и такъ какъ обобщенія эти подъ зоркимъ глазомъ теоріи познанія могли безбоязненно подняться до тѣхъ высокихъ понятій, которыя имѣли въ виду всю совокупность содержанія наукъ, то, какъ то само собой и очевидно, философія, переставъ быть отдѣльною наукой, проникла собою всѣ науки, растворилась въ ихъ содержаніи, стала не наукою философіею, а философіею наукъ или научною философіею. Названіе это, такимъ образомъ, не придумано для нея, не присвоено ей произвольно, а естественно вытекло изъ того положенія вещей, среди коего такая философія возникла. Если и другія философскія направленія присвоили себѣ это названіе, то ихъ дѣло оправдать его, и все же таки, какъ бы они его ни оправдывали, право научной философіи въ объясненномъ выше смыслѣ называться такъ, какъ она себя называетъ, остается при ней и не представляетъ ничего невразумительнаго и загадочнаго для всякаго непредубѣжденнаго человѣка.

Итакъ, вопросъ нашъ: что такое научная философія? предполагаетъ такое значеніе, которое установится не на почвѣ,

освобожденной только отъ мусора, оставшагося послѣ паденія метафизики, но также и отъ всѣхъ остатковъ философіи какъ отдѣльной науки, имѣющей свой особый объектъ, свой собственный методъ и т. д. Разсмотрѣніе разнообразныхъ опредѣленій метафизики и разнообразныхъ пріемовъ борьбы съ метафизикою, такъ или иначе понимаемою, должно явиться такимъ образомъ какъ преходящій фазисъ аргументаціи; фазисъ этотъ остается затѣмъ позади, какъ препобѣжденный, и на первый планъ выступаетъ преодолѣніе философіи какъ отдѣльной науки. Показать, какъ вырабатывалось устраненіе этого послѣдняго препятствія для рѣшенія нашего вопроса, и дать затѣмъ понятіе о самомъ его значеніи—вотъ задача, которую поставилъ себѣ авторъ этого этюда.

И если читатель пожелаетъ слѣдить за нимъ по тому пути, который онъ избралъ, то безпристрастное сужденіе о качествѣ его труда сдѣлается возможнымъ только при томъ условіи, если не станутъ требовать отъ него того, чего онъ не обѣщаетъ. Трудъ автора—не критическое изслѣдованіе, а этюдъ или абрисъ картины, долженствующей изобразить ходъ развитія избраннаго имъ понятія и окончательную его формулировку. Авторъ прибѣгаетъ къ критикѣ только тогда, когда онъ имѣетъ передъ собою уклоненія отъ пути, ведущаго къ рѣшенію его вопроса; но когда онъ, по устраненіи всѣхъ побочныхъ развѣтвленій, выходитъ, наконецъ, на путь, который онъ считаетъ вѣрнымъ, приводящимъ къ ясному, твердому и окончательному рѣшенію вопроса, онъ ограничивается только сопоставленіемъ резюме избранныхъ имъ авторовъ, дѣлаетъ изъ нихъ соотвѣтственныя выписки и изрѣдка прибѣгаетъ къ необходимымъ, по его мнѣнію, поясненіямъ и сближеніямъ. По самому характеру своей работы авторъ не пытается выставить какой-нибудь своей философіи, а даетъ лишь отчетъ о той, которая сложилась силою совокупной работы цѣлаго ряда поколѣній и путемъ взаимодѣйствія мыслителей различныхъ народностей. Такой общій сводъ свѣдѣній, собранныхъ авторомъ изъ первыхъ рукъ, представляется ему какъ соотвѣтствующій извѣстнымъ потребностямъ интересующихся философіей читателей и, во всякомъ случаѣ, является гораздо болѣе для нихъ поучительнымъ, чѣмъ предъявленіе какой бы то ни было индивидуальной философіи, ждущей еще санкціи компетентной и нелицепріятной критики.

Все, на что при такихъ условіяхъ притязаетъ авторъ, за-

ИМПЕРАТОРСКАЯ ... УНИВЕРСИТЕТ ...

ключается въ признаніи за нимъ скромной роли труженика, задумавшаго планъ предлагаемаго теперь читателю этюда, собравшаго для него матеріалъ и обработавшаго этотъ матеріалъ согласно требованіямъ намѣченной имъ цѣли. Выпуская трудъ свой въ свѣтъ, авторъ хорошо помнитъ то, что было высказано ранѣе его и бо̀льшимъ его, а именно: «до какой степени великъ рискъ всякаго рѣшающагося напечатать книгу, такъ какъ представляется изъ всѣхъ невозможностей невозможнѣйшею (de toda imposibilidad imposible) написать ее такъ, чтобы она удовлетворила всякаго, кто станетъ читать ее».

Въ заключеніе два слова о выполненіи указаннаго выше плана. Имѣя въ виду ознакомить читателя съ ходомъ выработки понятія научной философіи, мы сочли нужнымъ прослѣдить предшествовавшія и родственныя ей направленія, выразившіяся во французскомъ и англійскомъ позитивизмѣ, и затѣмъ уже перейти къ современному состоянію ея въ Германіи. Мы рѣшились дать лишь общій очеркъ главныхъ явленій, относящихся къ нашей темѣ, и коснемся поэтому частностей лишь по стольку, по скольку то будетъ нужно для подкрѣпленія нашей основной мысли. На исчерпаніе чрезмѣрно обильнаго матеріала, представляемаго литературою нашей темы, мы не посягаемъ, а имѣли въ виду лишь дать читателю только то, что считаемъ совершенно необходимымъ для оріентировки среди разнообразныхъ философскихъ направленій, теченій и переживаній. И если такіе общіе контуры современнаго положенія нашего вопроса все же таки способны будутъ достигнуть намѣченной нами цѣли,—если читатель при нашей помощи въ состояніи будетъ дать себѣ совершенно опредѣленный отчетъ о томъ, какимъ образомъ научное установленіе теоріи познанія привело къ паденію обособленнаго положенія философіи, какъ отдѣльной науки, и дало въ результатѣ то общее понятіе, которое читатель встрѣтитъ въ послѣднихъ главахъ этого этюда, то мы не только получимъ право считать свой трудъ потраченнымъ не напрасно, но и останемся при пріятной надеждѣ, что тотъ, кто лучше насъ разрѣшитъ поставленный нами вопросъ, разрѣшитъ его окончательно.

ГЛАВА II.

Огюстъ Контъ и его школа.

Общая совокупность отдѣльныхъ отраслей научнаго знанія въ то время, когда Ог. Контъ писалъ свой «Курсъ позитивной философіи», представляла картину весьма пеструю: однѣ науки находились уже въ фазисѣ зрѣлости, другія же не успѣли еще подняться такъ высоко и подчинялись вліянію метафизики, и отчасти даже и мистики. Если астрономія давно уже перестала быть астрологіей, а химія—алхиміей, то въ наукѣ о человѣкѣ, такъ же какъ и въ наукѣ объ обществѣ, не было и слѣда того кризиса, который предполагается перемѣною названія двухъ упомянутыхъ наукъ. Задумавъ установить систему общей совокупности положительнаго знанія, Ог. Контъ не былъ остановленъ, однако же, при осуществленіи своей мысли отсутствіемъ позитивности нѣкоторыхъ наукъ: онъ установилъ какъ принципъ,—а по мнѣнію его самого и его послѣдователей, и какъ фактъ,—приложимость къ наукѣ о человѣкѣ и къ наукѣ объ обществѣ общаго для всѣхъ положительныхъ наукъ метода и, полагая, въ силу этого установленія, всѣ отдѣльныя отрасли знанія, возведенныя къ позитивности, связалъ ихъ посредствомъ опредѣленнаго соподчиненія и получилъ систему позитивныхъ наукъ, имѣющую, съ точки зрѣнія его самого и его школы, значеніе системы положительной, т.-е. научной философіи.

Отдѣльныя части позитивной системы расположены у Ог. Конта такъ, что общность и отвлеченность ихъ понятій представляетъ рядъ ступеней, все выше и выше поднимающихся и завершающихся въ этомъ смыслѣ математикой, какъ наукой самыхъ общихъ и отвлеченныхъ понятій, точно такъ же, какъ по отношенію возрастающей сложности онѣ завершаются со-

ціологіей. Вѣрно ли схвачено такимъ образомъ содержаніе философской системы? Исчерпывается ли объемъ съ науками, взятыми Ог. Контомъ? Вотъ вопросы, которые самимъ Контомъ подняты не были и никогда ни однимъ позитивистомъ не были подвергнуты критическому изслѣдованію. Важность этихъ вопросовъ, очевидная сама по себѣ, тѣмъ болѣе бросается въ глаза, что «Курсъ позитивной философіи» содержитъ во введеніи или, по Конту—прелиминаріи цѣлый рядъ понятій (о границахъ научнаго изслѣдованія, относительности знанія, вещи въ себѣ, причинности, законѣ, явленіи и т. д.), которыя не могутъ быть отнесены ни къ одному изъ отдѣловъ системы и остаются внѣ всякой классификаціи. Что дѣлать съ этими понятіями, не помѣщающимися въ системѣ и неопредѣленно мелькающими въ ея преддверіи—остается неразрѣшеннымъ и дѣлаетъ и вопросъ объ объемѣ внутренняго содержанія системы открытымъ.

Неуклонная послѣдовательность должна была, конечно, побудить Ог. Конта возвести къ позитивности и ту науку, къ которой относились эти, поневолѣ исключенныя изъ позитивной системы, понятія, точно такъ же, какъ онъ возвелъ къ позитивности соціологію; но, поступи онъ такъ, получилась бы новая положительная наука гносеологія, мѣста для которой въ іерархическомъ ряду не было и присутствіе которой нарушило бы эту, столь восхищающую позитивистовъ, возрастающую сложность и убывающую общность; и вотъ, fiat, призвавшее къ бытію эти послѣднія, явилось какъ pereat для той живой философіи, которая могла бы замѣнить собою мертвую схему.

Итакъ, въ идеѣ Конта съ перваго же шага не оказывалось того элемента, твердое обоснованіе котораго стояло на очереди у развивающейся научной философіи; къ несчастью, у него не могъ не отсутствовать и второй—твердое отграниченіе сферы положительнаго знанія отъ метафизики, невыполнимое безъ помощи теоріи познанія. Хотя знаменитый «законъ трехъ состояній» и выполнялъ, повидимому, эту задачу, но, на самомъ дѣлѣ, даваемое имъ опредѣленіе метафизики было такъ шатко, что въ окончательномъ результатѣ должно было явиться нѣчто крайне смутное. Подъ метафизикою Контъ въ одно и то же время разумѣлъ: и общую совокупность воззрѣній (къ какой бы отдѣльной части схемы они ни относились), вырабатываемыхъ метафизическимъ методомъ, и всю совокупность собственно гно-

сеологическихъ вопросовъ, которые при немъ представляли цѣлый рядъ метафизическихъ рѣшеній и потому казались вопросами чисто-метафизическими. Одно изъ этихъ рѣшеній, и именно, второе, надо было отвергнуть, такъ какъ вопросы въ схемѣ Конта классифицировались не по характеру ихъ рѣшенія въ данное время, а по ихъ содержанію.

Давъ гносеологическимъ вопросамъ рѣшеніе научное, или оставивъ ихъ открытыми, т.-е. такъ или иначе отнявъ у нихъ ихъ условно-метафизическій характеръ, Ог. Контъ, оставшись лицомъ къ лицу съ объектами, къ которымъ вопросы эти относились, долженъ былъ найти имъ мѣсто въ своемъ іерархическомъ ряду и такимъ образомъ — свести содержаніе, считавшееся якобы метафизическимъ, къ научному содержанію позитивной гносеологіи. За предѣлы позитивной системы была бы отнесена такимъ образомъ одна только метафизика, а не метафизика вмѣстѣ съ гносеологіей и частью психологіи, какъ это случилось на самомъ дѣлѣ, и вся система была бы на болѣе вѣрномъ пути къ установленію правильнаго понятія философіи, нежели мы то видимъ въ настоящее время.

Все это ясно показываетъ, что Ог. Контъ не могъ не ошибаться, полагая, что ему удалось обосновать такое ученіе, принципы котораго навсегда останутся непреложными, которое, при дальнѣйшемъ своемъ развитіи, будетъ подвергаться однимъ только измѣненіямъ частнаго характера, нисколько не могущаго притязать на принципіальное значеніе. На самомъ дѣлѣ, въ его системѣ заключался самопобудительный моментъ къ чисто-принципіальному развитію,—это тѣ отрывки позитивной гносеологіи, о которой мы только что говорили; они-то и составляли тотъ зародышъ неизбѣжно присущаго всякому научному знанію критицизма, какъ принципа, противополагающаго научное мышленіе обыденному и опредѣляющаго значеніе и условія развитія того психологическаго акта, который мы отличаемъ отъ непосредственнаго комбинированія представленій и называемъ познаваніемъ. Если бы философскія знанія и обусловленное ими философское развитіе стояли у Ог. Конта на высотѣ его природныхъ дарованій и могли бы служить опорою производительной силы его генія, тогда, конечно, необходимость постановки критическаго начала въ его системѣ, явившейся черезъ полвѣка послѣ «Критики чистаго разума», предстала бы передъ нимъ во всей своей ясности, и мы получили бы въ

ней именно то, что самъ онъ и его поклонники мнили и мнятъ въ ней видѣть; но такъ какъ, къ несчастью, философскія знанія Ог. Конта были скудны и философское его развитіе поэтому стояло на уровнѣ невысокомъ, то въ результатѣ и оказалось, что, кинувъ безсознательно двѣ-три бѣглыхъ критическихъ замѣтки, онъ всѣ свои силы потратилъ сперва на построеніе схемы, долженствовавшей при развитіи критическаго начала отойти на второй планъ, а потомъ и совсѣмъ сбился на безплодную работу реабилитаціи мистицизма,—работу, въ которой только по временамъ можно наблюдать проблески его генія, сгубившаго себя ложнымъ направленіемъ, принятымъ съ первыхъ же шаговъ вступленія на путь философствованія, не освѣщенный свѣтомъ критики.

Отсутствіе философской критики въ системѣ Ог. Конта является прежде всего причиною того яснаго внутренняго противорѣчія, благодаря которому позитивная система, необходимо обязанная своимъ возникновеніемъ и развитіемъ возмужалой порѣ человѣческаго разума, производитъ, однако же, впечатлѣніе ученія, какъ бы задавшагося мыслью принизить значеніе разума, ограничить его силы, не дать хода его развитію. Впечатлѣніе это естественно возникаетъ изъ того обстоятельства, что такъ какъ въ системѣ Конта не существуетъ критическаго изслѣдованія условій познаванія, то въ ней нѣтъ и критики понятій, а поэтому и не выяснено: соотвѣтствуютъ ли понятіямъ реальные объекты или нѣтъ; если соотвѣтствуютъ, то какимъ образомъ — посредственно или непосредственно, и, наконецъ, соотвѣтствуютъ ли всѣмъ понятіямъ или только нѣкоторымъ, и какимъ именно. Если бы всѣ эти вопросы Ог. Контомъ были рѣшены, то ему не пришлось бы устанавливать догматически какіе-то шлагбаумы, окружающіе со всѣхъ сторонъ область знанія, и возвѣщать разуму—вотъ границы, ихъ же не прейдеши. И безъ этой, такъ непріятно дѣйствующей на философскіе умы регламентаціи, въ силу одного только освѣщенія поля знанія философской критикою, было бы видно все, доступное изслѣдованію, и всѣ пути, ведущіе къ достовѣрному и прочному рѣшенію вопросовъ; а главное, безъ этого не пришлось бы принимать декораціи городовъ за самые города, не пришлось бы горевать о томъ, что намъ нельзя поселиться въ этихъ городахъ: все это стало бы совершенно излишнимъ и въ послѣдней степени наивнымъ.

Такимъ образомъ и стало ясно, что Ог. Контъ, при всей своей геніальности, потерпѣлъ неудачу. Онъ хоть и угадалъ, что впредь философія должна строиться на научныхъ основахъ, но, взявшись за дѣло, съ перваго же шага пошелъ по старой тропѣ догматизма и вмѣсто системы научной философіи далъ намъ схему наукъ, въ которую едва-едва вкраплены намеки на философскій критицизмъ и которая слишкомъ часто перегибается въ наивный реализмъ, лишающій ее значительной доли того философскаго значенія, какое она могла бы получить въ рукахъ мыслителя, соединяющаго въ себѣ съ природною силою достодолжную философскую подготовку.

Итакъ, главное достоинство позитивизма заключается въ тѣхъ зачаткахъ критики, которые въ немъ содержатся и которые мы всегда считали способными къ дальнѣйшему развитію. Оцѣнивъ позитивизмъ съ этой точки зрѣнія, удерживаемой нами и теперь, мы останавливались главнымъ образомъ на «законѣ трехъ состояній», соподчиненію стадій котораго придавали особенную важность и утверждали, что сопоставленіе научнаго міровоззрѣнія съ метафизическимъ, формулированное въ этомъ законѣ, приводитъ насъ къ оцѣнкѣ значенія критическаго начала, присущаго первому, какъ основанному на наукѣ.

Опираясь на него, мы имѣемъ возможность предохранить себя отъ вторженія въ строй нашихъ понятій всего того, что вырабатывается непосредственнымъ мышленіемъ и что всегда является болѣе или менѣе сплошнымъ міромъ призраковъ, болѣе или менѣе цѣльною иллюзіею. Какъ ни представляется гармоничнымъ, сложнымъ, тонкимъ, глубокимъ, а иногда величественнымъ строй этихъ призраковъ и иллюзій въ различныхъ метафизическихъ системахъ, но критика преодолѣваетъ производимое ими обаяніе, твердо устанавливаетъ качественное тождество между ними и пестренькими продуктами обыденнаго мышленія и доводитъ до очевидности отсутствіе въ нихъ всякаго реальнаго содержанія. Точно такъ же поступаетъ она и по отношенію къ міроразумѣнію супра-натуральному, о которомъ, впрочемъ, не стоитъ распространяться, такъ какъ еще въ древности рѣшено было, что въ философскомъ изслѣдованіи не приходится и упоминать о тѣхъ воззрѣніяхъ, которыя облекаются въ миѳическія формы (Аристотель). Объ этихъ формахъ, само собою разумѣется, не можетъ быть и рѣчи тамъ, гдѣ не могутъ устоять и формы умозрительныя, и гдѣ един-

ственнымъ источникомъ содержанія понятій признается наблюденіе и опытъ, проведенные согласно всѣмъ требованіямъ научнаго метода. Изъ этого видно, что законъ трехъ состояній—каково бы тамъ ни было его соціологическое значеніе—имѣетъ въ области теоріи познанія большую важность. Устанавливая противоположность непосредственнаго, обыденнаго мышленія мышленію научному, онъ даетъ начало въ высшей степени плодотворному анализу, задача котораго заключается въ исчерпаніи всѣхъ чертъ различія указанныхъ двухъ направленій мысли и вырабатываемыхъ ими міроразумѣній.

Укажемъ теперь только на основныя черты этого различія. Мышленіе, какъ непосредственный психическій процессъ, образуетъ *представленія* безсознательно и затѣмъ столь же безсознательно ассоціируетъ представленія въ обобщенія, т.-е. въ *понятія*. Безсознательность этой работы естественно ведетъ къ несознаваемости различія между представленіями и выработанными изъ нихъ понятіями и, затѣмъ, производитъ и другое смѣшеніе, а именно: смѣшеніе непосредственнаго соотвѣтствія представленій объектамъ съ посредственнымъ соотвѣтствіемъ имъ понятій. Смѣшеніе это, очевидно, производитъ постоянную подтасовку представленій вмѣсто понятій и, такимъ образомъ, навязываетъ понятіямъ мнимые, измышляемые объекты, т.-е. даетъ начало цѣлому ряду призраковъ. Совсѣмъ иной характеръ имѣетъ сознательная работа научнаго мышленія или познаванія: вырабатывая представленія не иначе, какъ изъ данныхъ воспріятія, образуя понятія не иначе, какъ изъ цѣлесообразно ассоціированныхъ представленій, познаваніе является упорядоченнымъ мышленіемъ,—мышленіемъ, подчиненнымъ объективнымъ условіямъ и имѣющимъ свое выраженіе въ научномъ методѣ. Познаваніе, такимъ образомъ, достигаетъ знанія при помощи регулированія субъективнаго процесса мышленія; оно, при посредствѣ подчиненія мышленія объективнымъ условіямъ, привязываетъ его къ почвѣ дѣйствительности и обезпечиваетъ его отъ гибели въ неизбѣжномъ, при безсознательности процесса мышленія, мірѣ призраковъ.

У Ог. Конта есть два рода продолжателей: одни разрабатываютъ всю его мистико-догматическую систему, какъ Лафитъ во Франціи, Конгревъ и Гаррисонъ въ Англіи; другіе же, отвергнувъ мистическую часть системы, остановились надъ продолженіемъ работы Конта исключительно въ области «системы

позитивной философіи». Послѣдніе, во главѣ которыхъ стоялъ извѣстный ученый Эмиль Литтре, составляютъ небольшую группу, состоящую изъ французовъ и двухъ-трехъ иностранцевъ. Группа эта успѣла воздѣйствовать въ извѣстной мѣрѣ на наслѣдіе «учителя» и придать позитивизму нѣкоторый оттѣнокъ, отличающій новый позитивизмъ отъ позитивизма собственно Контовскаго. Послѣдователи ея получили въ послѣднее время названіе *литтреистовъ* [1]).

Проходя молчаніемъ позитивистовъ-мистиковъ, я остановлюсь только надъ позитивистами группы Литтре и укажу на главный результатъ ихъ вліянія какъ на самое ученіе Ог. Конта, такъ и на распространеніе его за предѣлы тѣснаго кружка мѣстныхъ почитателей этого философа.

Я начну, разумѣется, съ главы группы, Литтре. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что, отвергнувъ мистическую часть системы Конта, Литтре обнаружилъ проницательность философскаго взгляда и избралъ вѣрный путь для дальнѣйшаго развитія позитивной философіи; при ближайшемъ же разсмотрѣніи того, что сдѣлалъ Литтре, обнаруживается половинчатость, неопредѣленность и наслѣдственное у позитивистовъ невѣдѣніе критической философіи. Литтре поступилъ, конечно, правильно, отвергнувъ мистическую часть Контовой системы; но шагъ этотъ стимулировался только отвращеніемъ къ мистикѣ и не имѣлъ болѣе глубокихъ корней, именно такихъ, которые, уходя далеко въ философскую почву, всасывали бы критическіе ея элементы, обходя элементы догматическіе и доставляя, такимъ образомъ, системѣ такое питаніе, которое все болѣе и болѣе развивало бы въ ней часть критическую на счетъ части догматической и неудержимо влекло бы позитивизмъ къ новому, болѣе зрѣлому фазису. Ни на что подобное у Литтре нѣтъ и намека. У него только и хватило силъ на сверженіе гнета мистицизма, но о гнетѣ догматизма онъ никогда и не думалъ. Мало того, онъ даже проглядѣлъ и тѣ зачатки критицизма, которые безсознательно были брошены Контомъ въ двухъ первыхъ и трехъ послѣднихъ лекціяхъ его «Курса». Чуждый критическій философіи, какъ и Контъ, Литтре, кромѣ того, не обладалъ его геніемъ и, имѣя на плечахъ колоссальную и кропотливую ученую работу, неизбѣжно болѣе чѣмъ его учитель

[1]) См. «Le Positivisme» par André Poëy, Paris, 1876 г.

остался пригвожденнымъ къ частностямъ, отъ которыхъ ему не особенно легко было подыматься до обобщеній. Въ силу такихъ условій, Литтре какъ-то особенно цѣпко ухватился за Контовскую схему, провозгласилъ ее полною, довлѣющею себѣ философскою системою, увидѣлъ въ ней и готовое ученіе, и готовый методъ, словомъ, альфу и омегу всей философіи. Онъ, такимъ образомъ, свелъ къ нулю свое же собственное мнѣніе о томъ, что Ог. Контъ поставилъ позитивистовъ лишь на порогѣ философіи и что все предстоитъ передѣлать заново. Когда на самомъ дѣлѣ доходило до передѣлки, то Литтре ограничивался частностями и мелочами, не имѣвшими ровно никакого философскаго значенія или приводившими къ страннымъ несообразностямъ, въ родѣ «Appendice de la philosophie positive», и т. п. Чтобы еще ярче очертить характеръ ума Литтре, остановимся на томъ истинно-поразительномъ для философа взглядѣ, который онъ высказалъ о роли вопроса объ абсолютѣ въ философіи. Замѣтимъ прежде всего, что ставить вопросъ объ абсолютѣ для Литтре представляется тождественнымъ съ постановкою вопроса о началѣ и концѣ міра,—другого значенія онъ не знаетъ или не хочетъ знать. Знаніе о началѣ и концѣ міра,— онъ, само собою разумѣется, признаетъ для человѣческаго ума недоступнымъ; но недоступнымъ почему? Кто бы могъ угадать? «L' origine des choses, nous n'y avons pas été; la fin des choses, nous n'y sommes pas; nous n'avons donc aucun moyen de connaître ni cette origine, ni cette fin» [1]).

Очень ошибся бы тотъ, кто сталъ бы настаивать на отнесеніи такого рода аргументовъ на счетъ Ог. Конта. Литтре просто-напросто забылъ, что основатель позитивной философіи ясно различалъ непосредственное знаніе отъ знанія посредственнаго и въ выработкѣ послѣдняго видѣлъ *назначеніе* науки [2]). Очевидно, что упадокъ Контовой философіи сказался уже тутъ совершенно явно и что изгнаніе теоріи познанія на колеблющуюся почву смутной «Appendice» успѣло уже принести свои первые плоды.

Хотя попятное движеніе позитивной философіи началось уже при Литтре, но—надо отдать ему справедливость—оно не

---

[1]) «Auguste Comte et la philosophie positive» par *E. Littré*. Paris, 1863, p. 107.

[2]) *Auguste Comte*. «Cours» I, p. 98.

дошло еще до подавленія того послѣдняго зародыша, который хранилъ еще въ себѣ возможность дальнѣйшаго развитія критическаго начала въ нѣдрахъ Контовой философіи. Соредакторъ Литтре г. Вырубовъ, низводя къ нулю послѣдній остатокъ наслѣдія Конта, довершаетъ дѣло Литтре, и затѣмъ настаетъ въ позитивной философіи такой разбродъ, выходъ изъ котораго могъ повести только въ область новой метафизики, которую можно называть позитивною, научною или какъ угодно, но которая все же таки останется пристанищемъ пустыхъ, безсодержательныхъ понятій и по отношенію къ позитивной философіи представляется какъ ея полное извращеніе. Дѣло г. Вырубова, главнымъ образомъ, заключалось въ окончательномъ спутываніи основныхъ понятій и безповоротномъ пресѣченіи возможности выработки сколько-нибудь осмысленной теоріи познанія. Яркимъ примѣромъ такого спутыванія является тотъ опытъ классификаціи геологіи, какъ науки, на который мы имѣли уже случай указать въ одной изъ нашихъ предшествовавшихъ работъ [1]).

«Если геологія есть наука конкретная—въ чемъ для читателя нѣтъ, я думаю, сомнѣнія—то съ какой изъ абстрактныхъ наукъ слѣдуетъ связать ее?—спрашиваетъ г. Вырубовъ.—Разнохарактерность геологіи—отвѣчаетъ онъ—дѣлаетъ этотъ вопросъ не легкимъ, и для разрѣшенія его намъ слѣдуетъ руководствоваться той объективной точкой зрѣнія, которой постоянно держится позитивная философія. А съ этой точки зрѣнія предметъ геологіи представляется совершенно инымъ, чѣмъ съ точки зрѣнія субъективной: для человѣка земля есть міръ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, міръ разнообразный, разнохарактерный, представляющій безконечное поле для изученія почти по всѣмъ отраслямъ наукъ; но этотъ же міръ, взятый какъ часть міра болѣе обширнаго, какъ часть познаваемой дѣйствительности, есть единица, индивидъ, отличающійся отъ прочихъ единицъ и индивидовъ, наполняющихъ пространство, нѣкоторыми частными свойствами».

«Земля — планета. Это показываетъ уже, что существуетъ цѣлая группа небесныхъ тѣлъ, отличающихся отъ прочихъ извѣстными, опредѣленными свойствами, которыя присущи также и землѣ. Пользуясь терминомъ, очень часто употребляю-

---

[1]) «Позитивизмъ послѣ Конта». Т. I, см. стр. 77 и слѣдующія. *Прим. ред.*

щимся въ конкретныхъ наукахъ, мы можемъ сказать, что планеты составляютъ родъ, къ которому и должна быть отнесена земля какъ индивидъ. Но самая идея индивида предполагаетъ уже существованіе нѣкоторыхъ особенныхъ свойствъ болѣе частныхъ, чѣмъ свойства, одинаково принадлежащія всему роду. Остается только опредѣлить свойства эти изученіемъ даннаго индивида. Очевидно, однако же, что каковы бы ни были эти характеристическія черты индивида, какъ бы онѣ ни были сложны и разнообразны, изученіе ихъ, однако же, получитъ характеръ однородности и единства, по той причинѣ, что всѣ эти частности будутъ связываться съ основными родовыми свойствами, которыя и опредѣляютъ общее значеніе и характеръ той конкретной науки, которая сложится изъ общей совокупности результатовъ изученія какъ родовыхъ, такъ и индивидуальныхъ свойствъ изучаемаго предмета, т.-е. земли. Общее значеніе и характеръ геологіи, слѣдовательно, опредѣляется тою точкою зрѣнія, съ которой мы разсматриваемъ землю какъ планету, какъ индивидъ небеснаго пространства. Излишне добавлять послѣ этого, что геологія, съ этой точки зрѣнія, есть *конкретная астрономія*».

Сообразно такому понятію объ астрономіи, г. Вырубовъ пріурочиваетъ ее, во-1-хъ, къ абстрактной классификаціи и, во-2-хъ, классифицируетъ части ея въ рядъ, параллельный ряду этой послѣдней. «Рядъ, получаемый такимъ образомъ—говоритъ онъ—тождественъ съ рядомъ абстрактныхъ наукъ... и если этотъ рядъ вѣренъ, то вѣренъ и онъ» [1]).

Чтобы оцѣнить значеніе опыта классификаціи г. Вырубова, припомнимъ прежде всего, что Ог. Контъ признавалъ только связь геологіи, какъ конкретной науки, со всею совокупностью наукъ абстрактныхъ, и понималъ эту связь, само собою разумѣется, какъ выраженіе зависимости конкретныхъ наукъ отъ абстрактнаго ряда [2]), но не обусловливалъ единства ея необходимостью пріуроченья ея къ какой-нибудь абстрактной наукѣ. Напротивъ того, онъ рѣшительно противополагаетъ и взгляды и методы абстрактныхъ наукъ взглядамъ и методамъ наукъ конкретныхъ и на этомъ основаніи требуетъ отъ послѣднихъ непремѣнной одновременности изслѣдованія всѣхъ родовъ эле-

---

[1]) «Qu'est ce que la géologie?» La philosophie positive, Revue, 1867, № 1.
[2]) *Comte*, «Cours», I, p. 58.

ментарныхъ явленій. Поэтому-то онъ и находитъ, что, «если бы и было невозможно представить себѣ дѣйствительную (т.-е. неабстрактную) исторію человѣчества отрозненно отъ дѣйствительной исторіи земного шара, неизбѣжнаго театра его прогрессивной дѣятельности, въ высокой степени вліявшаго всѣми происходившими на немъ перемѣнами на ходъ событій человѣческой жизни, даже начиная съ того времени, когда физическія и химическія условія нашей планеты допускали возможность непрерывнаго существованія человѣка, то не менѣе вѣрно въ обратномъ смыслѣ, что всякая истинная исторія земли непремѣнно требуетъ одновременнаго разсмотрѣнія, въ какомъ-либо объемѣ, исторіи человѣчества, по причинѣ могущественнаго воздѣйствія, непрестанно притомъ же возрастающаго, оказываемаго развитіемъ нашей дѣятельности во всѣ эпохи соціальной жизни на многоразличное измѣненіе общаго вида земной поверхности» [1]). Это соображеніе еще болѣе подтверждаетъ, что одновременность въ изслѣдованіи предмета со всѣхъ точекъ зрѣнія, какія послѣдовательно даются абстрактными науками, составляетъ, съ несомнѣнно правильной точки зрѣнія Ог. Конта, единственное условіе, которое должна соблюсти конкретная наука. Можно заключить изъ этого, что единство каждой изъ конкретныхъ наукъ достаточно опредѣляется единствомъ соотвѣтственнаго предмета и нисколько не требуетъ спеціальнаго подчиненія каждой конкретной какой-либо наукѣ абстрактной. Такое подчиненіе, въ данномъ случаѣ, превращая геологію въ конкретную астрономію, неизбѣжно установляетъ въ ней и преобладаніе астрономической точки зрѣнія, какъ-то и явствуетъ изъ статьи г. Вырубова. Основная мысль этой статьи рѣзко противорѣчитъ руководящему принципу преобладанія той точки зрѣнія, которая была установлена Ог. Контомъ для всей системы. Что же касается внутренняго распредѣленія частей, слѣдующаго градаціи абстрактныхъ наукъ, то оно, съ одной стороны, противорѣчитъ принципу противоположности точекъ зрѣнія абстрактныхъ и конкретныхъ наукъ, съ другой— неизбѣжно извращено преобладаніемъ астрономической точки зрѣнія, долженствующей гоняться за химерическою, какъ сказалъ бы Ог. Контъ, характеристикою земли, какъ индивида небеснаго пространства, и жертвовать этой химерѣ изученіемъ

[1]) Id. V, p. 15.

земли, какъ жилища человѣчества. Такимъ ли образомъ воспользуемся мы долею свободы при разработкѣ научныхъ вопросовъ, по отношенію къ ихъ назначенію, которое, по идеѣ Ог. Конта, всегда окончательно имѣетъ въ виду человѣчество? И не впадемъ ли мы въ сухое позитивное доктринерство, если, забывая о живой сторонѣ Контовскаго ученія, станемъ все подчинять идеѣ схематизма и распространять владычество этой идеи даже и тамъ, гдѣ его не допускалъ самъ Ог. Контъ?

И зачѣмъ это понадобилось г. Вырубову во что бы то ни стало, вопреки основоначаламъ учителя его Ог. Конта, превращать геологію въ конкретную астрономію, когда конкретная астрономія существуетъ уже самобытно и безыскусственно и блистательно развивается при помощи спектральнаго анализа, фотометріи, фотографіи и анализа метеоритовъ? И не для позитивиста должно быть очевидно, что эта наука—реальная, а не фантастическая—охватываетъ и изслѣдованіе земли какъ небеснаго тѣла, и что въ этомъ отношеніи только землензученіе, какъ часть конкретной астрономіи, подчиняется астрономической точкѣ зрѣнія. И если бы мы ограничились тѣмъ, что возвели часть эту въ самостоятельную науку, то тѣмъ показали бы только, что не видимъ никакого различія между изученіемъ земли и изученіемъ Марса, Сатурна и т. д., и, послѣдовательности ради, должны бы рядомъ съ геологіей поставить марсологію, сатурнологію и т. д. Ог. Контъ, какъ мы видѣли, не открываетъ путей для такихъ пустыхъ построеній, и послѣдовательность, которую онъ можетъ требовать, не ведетъ въ безплодныя пустыни фиктивныхъ наукъ. Возводя геологію въ самостоятельную науку, мы, согласно основоначаламъ Ог. Конта, ни въ какомъ случаѣ не можемъ сдѣлать изъ нея мертворожденнаго дѣтища абстрактной астрономіи, а должны пріобрѣсти въ ней одинъ изъ элементовъ прямого основанія дѣятельности,—мелочь, которую только и позабылъ г. Вырубовъ.

Кульминаціоннымъ же пунктомъ губительнаго для позитивной философіи вліянія г. Вырубова можно считать замѣну противопоставленія *относительнаго* знанія знанію *абсолютному* простымъ сопоставленіемъ того и другого; г. Вырубовъ различаетъ одно отъ другого только по степени присущей имъ достовѣрности, отождествляетъ абсолютное знаніе съ знаніемъ вполнѣ достовѣрнымъ, а знаніе относительное—съ не вполнѣ

достовѣрнымъ, съ знаніемъ вѣроятнымъ [1]). Такъ какъ при этомъ относительному знанію приписывается развитіе, цѣль котораго есть достиженіе абсолютности, то такимъ образомъ не только критическое начало, не совсѣмъ чуждое системѣ Ог. Конта, но и тѣнь его, мелькающая въ разсужденіяхъ Литтре, окончательно отрицаются. Это отрицаніе, могущее показаться довольно аляповатымъ, негодно еще въ томъ отношеніи, что произвольно даетъ термину, имѣющему для всякаго европейскаго философа опредѣленное значеніе, произвольное объясненіе и такимъ образомъ вводитъ въ позитивизмъ ту неопредѣленность и путаницу, которая можетъ быть терпима только въ обыденномъ мышленіи и для всякой философской системы представляетъ симптомъ серьезнаго поврежденія.

Нечего удивляться послѣ этого, если г-ну де-Роберти,—соревнователю и поклоннику г. Вырубова, прозрѣвающему въ его статейкахъ какую-то «беременность» важными и непредвидѣнными результатами—могло прійти на мысль рядомъ съ «закономъ трехъ состояній» Ог. Конта поставить свой законъ трехъ состояній метафизики,—законъ, долженствующій, будто бы, опредѣлить, что «матеріализмъ, идеализмъ и сенсуализмъ» исчерпываютъ содержаніе метафизики и служатъ тѣми основными признаками, въ которыхъ выражается противоположеніе метафизической философіи—философіи минувшаго—и позитивной философіи—философіи будущаго. Программу этой послѣдней, стремящейся къ «созерцанію» какого-то «единства», онъ и пытается предначертать.

Присмотримся ближе къ его разсужденіямъ.

Точка зрѣнія Конта, какъ мы выяснили выше, не находитъ отвѣта на вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли подъ метафизикой разумѣть тѣ положенія, которыя имѣютъ въ виду фиктивные объекты—сущности, или тѣ, которыя, хотя и мѣтятъ на объекты реальные, обрабатываются, однако же, ложнымъ методомъ и даютъ поэтому фиктивные результаты. Недостатокъ этотъ, при всей своей многозначительности, не принадлежитъ, конечно, къ числу неустранимыхъ, и нельзя не видѣть теперь, что устраненіе его или, соотносительно—укрѣпленіе позитивизма гносеологическими устоями и составляетъ главную задачу тѣхъ.

---

[1]) *G. Wyrouboff.* «Le certain et le probable, l'absolu et le relatif». (La phil. pos. Revue. 1867. № 2).

которые имѣли мужество взяться за дальнѣйшее развитіе позитивнаго ученія. Очевидно, что при такихъ условіяхъ неосмысленная подражательность Конту была тѣмъ неумѣстнѣе, чѣмъ болѣе она гналась за внѣшнимъ сходствомъ, чѣмъ ближе повторяла она вслѣдъ за Контомъ его термины и выраженія, чѣмъ старательнѣе пыталась ограничить свою задачу однимъ, такъ сказать, передразниваніемъ Конта. И что же является результатомъ этого неудовлетворительнаго пріема? «Законъ трехъ состояній метафизики»: втискиваніе «матеріализма, идеализма и сенсуализма» въ одну общую рамку, т.-е. калѣченіе всѣхъ трехъ заразъ безъ всякой пользы и выгоды для чего и кого бы то ни было. Матеріализмъ, идеализмъ и сенсуализмъ представляютъ собою категоріи неоднородныя и несоизмѣримыя: матеріализмъ и идеализмъ имѣютъ въ виду объективное бытіе и стремятся свести его къ конечнымъ неразложимымъ элементамъ—атомамъ или трансцендентнымъ первообразамъ вещей—идеямъ, тогда какъ сенсуализмъ сосредоточивается на фактѣ познанія и вовсе даже не высказывается по вопросу о невидимыхъ элементахъ или основахъ бытія «въ себѣ». Брать все это вмѣстѣ за однѣ скобки и огуломъ противопоставлять эту насильственно сфабрикованную «метафизику» какой-то будто бы позитивной философіи, которая, какъ «созерцающая единство», есть уже метафизика явная, —могутъ только такіе классификаторы, которые не умѣютъ различать онтологическихъ системъ отъ критическихъ, не разбираютъ ни точекъ отправленія, ни намѣченныхъ цѣлей философствованія и остаются въ совершенномъ невѣдѣніи относительно многосмысленности философскихъ терминовъ и переживаемыхъ ими въ исторіи перипетій. Совершаемое такими «мыслителями» выкраиваніе вкривь и вкось кромсаемыхъ ими философскихъ системъ свидѣтельствуетъ только о смѣлости самозванныхъ философовъ, ни на шагъ не подвигая рѣшенія вопроса. Мы имѣли уже случай въ другомъ мѣстѣ говорить подробно объ этой своеобразной «тришкиной философіи»[1]) и сказаннаго нами теперь повторять не станемъ. Мы ограничимся лишь указаніемъ на общее подтвержденіе нашего взгляда, встрѣчаемое нами въ одной изъ книжекъ философскаго журнала Морселли и этимъ дополнимъ экскурсію нашу въ область фантастическихъ экспериментовъ съ философіей, такъ

[1]) См. Т. II, «Тришкина философія». *Прим. ред.*

много выстрадывающей подчасъ отъ особаго рода «географовъ человѣческаго разума».

Рецензентъ журнала Морселли, разсматривая классификацію, о которой мы только что говорили, находитъ, что «она зиждется на исторіи, разсматривающей съ высоты птичьяго полета громадную массу фактовъ и раздѣлывающейся съ вопросами сложными и отвлеченными слишкомъ ужъ спѣшно и схематично, давая одни только неопредѣленные контуры и довольствуясь лишь общими сужденіями. Сведенная къ тремъ только типамъ, такая исторія становится фантасмагоріей философіи прошедшаго, но она не даетъ ни исторіи философовъ, ни исторіи конкретныхъ философій. Эта послѣдняя могла бы выработаться только тогда, когда къ тремъ категоріямъ: матеріализма, идеализма и сенсуализма присоединена была бы четвертая—философіи безсвязной. Такого рода философія оказалась бы самою богатою послѣдователями, и безсвязность, явившаяся вслѣдствіе ея измѣнчивости и многосложности, могла бы оставить подъ сомнѣніемъ вопросъ о соотвѣтствіи исторической истинѣ схемы, придуманной нашимъ авторомъ въ подражаніе Ог. Конту. Читатель можетъ составить понятіе о той тщательности, съ которою авторъ относится къ историческимъ источникамъ, служившимъ для построенія его схемы, по той странной оцѣнкѣ знаменитѣйшихъ философовъ, которая дѣлается безъ достаточнаго основанія и безъ вниманія къ тому обстоятельству, что ознакомленіе съ этимъ основаніемъ могло бы быть въ высшей степени интересно».

Приведя затѣмъ мнѣніе автора о Декартѣ, Беркли, Лейбницѣ, Кантѣ, Юмѣ, Фихте, Шеллингѣ и Гегелѣ, рецензентъ замѣчаетъ, что «если всѣ эти мнѣнія справедливы, то не затруднительно-ли будетъ найти въ этой безформенной и безцвѣтной исторіи тѣ законы и типы, которые указываются намъ съ такою опредѣленностью? Если же законы эти и типы дѣйствительно скрываются во всемъ этомъ хаосѣ, то мы желали бы ознакомиться со средствами, при помощи коихъ авторъ открылъ ихъ» [1]).

Не болѣе счастливъ былъ г. де-Роберти и въ своей попыткѣ «пролить свѣтъ»—какъ онъ любитъ выражаться—на «основную задачу соціологіи», обработанную имъ въ цѣломъ сочиненіи, надъ которымъ онъ не мало потрудился. Пролитіе свѣта, какъ то доказалъ одинъ извѣстный ученый, скрывшій свое имя

[1]) «Rivista di filosofia scientifica». Vol. VII. Giugno. 1888, p. 378.

подъ псевдонимомъ Громова, успѣло распространить лишь густой мракъ на тотъ рядъ вопросовъ, которые по-своему разрѣшилъ авторъ, толкуя о методологическихъ особенностяхъ соціологіи, мѣстѣ ея въ ряду наукъ, раздѣленіи и связи съ біологіею и соціологіею, и невѣсть еще о чемъ. Рецензія, отвѣтъ на нее г. де-Роберти и окончательное его фіаско послѣ реплики г. Громова могли бы дать намъ матеріала на цѣлую главу; но краткости ради мы ограничимся однимъ коротенькимъ извлеченіемъ, по которому читатель можетъ сдѣлать заключеніе объ остальномъ [1]). Вотъ, напримѣръ, на какія «соображенія страннаго свойства», встрѣчающіяся въ книгѣ г. де-Роберти, указываетъ г. Громовъ.

«Мы встрѣчаемъ у г. де-Роберти—говоритъ г. Громовъ—слѣдующее общее правило: чѣмъ возможнѣе въ данной наукѣ производство опытовъ, тѣмъ менѣе необходимо въ ней описаніе (стр. 35). Въ небесной механикѣ невозможно производство опытовъ. По этому общему правилу слѣдовало бы думать, что описаніе играетъ въ ней очень важную роль. А между тѣмъ въ настоящее время эта наука вполнѣ подчиняется дедуктивнымъ пріемамъ математики. Утверждая, что общественныя явленія не могутъ быть наблюдаемы непосредственно и т. д. (стр. 70), авторъ въ то же время признаетъ за соціальной наукой характеръ науки строго описательной или, другими словами, науки непосредственнаго наблюденія» (стр. 270).

«Мы встрѣчаемъ въ сочиненіи автора увѣренія, что наука механики (?) есть всецѣло наука наблюдательная, и опытъ въ строгомъ смыслѣ слова ей невѣдомъ (стр. 33). Какъ же назоветъ авторъ данныя механики, относящіяся къ выраженію разныхъ коэффиціентовъ тренія, истеченія жидкостей, величины, опредѣляющія твердость металловъ, коэффиціенты упругости и коэффиціенты полезной работы и т. д.? Эти величины не только получаются опытомъ, но для нихъ составляются обширныя таблицы, при помощи которыхъ инженеръ производитъ свои расчеты».

«Говоря о математикѣ, авторъ выражается о механикѣ слѣдующимъ образомъ: всеобщее и простое явленіе, изучаемое механикой—движеніе могло бы, согласно съ этой гипотезой, послужить когда-нибудь основаніемъ для логическаго надстроенія такого-же рода и т. д. (стр. 63).

---

[1]) См. «Критическое Обозрѣніе» за 1880 г., №№ 2 и 7.

«Это «могло бы» очень забавно, если принять во вниманіе, что давно уже существуетъ наука съ такою логическою надстройкой. Она извѣстна подъ именемъ раціональной механики. Существуетъ даже такая наука, въ которой изучаютъ движеніе только съ геометрической точки зрѣнія, независимо отъ силъ его производящихъ. Зовутъ эту науку кинематикой. Дѣло является еще забавнѣе, когда оказывается, что авторъ самъ говоритъ объ этой наукѣ на стр. 123. Законъ обратной пропорціональности квадратамъ разстояній авторъ называетъ закономъ обратныхъ квадратовъ разстояній. Изъ этихъ выписокъ видно, что, упрекая въ отсталости существующую логику наукъ, авторъ не имѣетъ яснаго представленія о тѣхъ точныхъ наукахъ, на которыя ссылается».

«Авторъ очень оригинально относится къ этимъ наукамъ. Мы привѣтствуемъ, говоритъ онъ, механическую теорію тепла, термохимію, біохимію и т. д. (стр. 358). Наукамъ этимъ остается только благодарить за привѣтствіе».

Было бы слишкомъ долго слѣдить за работами г. де-Роберти, появлявшимися въ послѣднее время, а потому мы ограничимся только двумя ссылками на иностранныхъ рецензентовъ. По поводу статьи «объ эволюціи философіи» рецензентъ журнала Морселли замѣчаетъ, что *всѣ* работы г. де-Роберти отличаются «темною фразеологіею и путаннымъ слогомъ», а обозрѣватель книгъ въ философскомъ журналѣ Наторпа, разсматривая новую книгу г. де-Роберти «о непознаваемомъ», находитъ, что подъ перомъ этого автора позитивизмъ вырождается въ каррикатуру [1]). Такъ какъ мы давно уже держимся такого же взгляда и въ свое время представили въ его подтвержденіе не мало доказательствъ, то распространяться теперь о новыхъ подробностяхъ, дорисовывающихъ вырожденіе позитивной философіи, считаемъ излишнимъ [2]).

---

[1]) «Rivista di filosofia scientifica» Vol. IX, Novembre, 1890, p. 703. Philosophische Monatshefte. XXVII Band. Heft 3 и 4. S. 228.

[2]) Мы считали свое мнѣніе о гг. Вырубовѣ и де-Роберти достаточно обоснованнымъ, а потому не безъ удивленія узнали теперь, что В. С. Соловьевъ счелъ нужнымъ взять подъ свою защиту обоихъ этихъ господъ. Въ замѣткѣ, помѣщенной въ 5 кн. журнала Н. Я. Грота, г. Соловьевъ, упомянувъ о томъ, что его юношеская диссертація «Кризисъ западной философіи» возбудила гнѣвъ г. де-Роберти, принимается поучать, что названные «почтенные и добросовѣстные писатели» содѣй-

Теперь остается досказать только эпилогъ всей этой печальной исторіи Контовскаго позитивизма. Литтре умеръ, и позитивизмъ совершенно оспротѣлъ. Это печальное положеніе нашло случай подвести собственные итоги уже въ настоящемъ десятилѣтіи и показало какъ нельзя лучше при этомъ, чего оно стоитъ. Г. Вырубовъ нашелъ нужнымъ заявить въ «Критическомъ Обозрѣніи» о томъ, какіе тезисы считаетъ онъ въ позитивизмѣ основными, и, такимъ образомъ, далъ намъ случай взглянуть на «суть» позитивизма по понятію компетентнѣйшаго изъ современныхъ позитивистовъ. «Прежнее дѣленіе позитивистовъ на «правовѣрныхъ» и «раскольниковъ»—говоритъ г. Вырубовъ—не соотвѣтствуетъ болѣе положенію дѣлъ, и весь вопросъ сводится

ствовали-де тоже исцѣленію русскихъ умовъ отъ матеріалистической эпидеміи посредствомъ Контовскаго позитивизма, а потому можно не соглашаться съ ними, можно порицать ихъ, но порицаніе, справедливости ради, не должно переходить въ глумленіе. Поученіе г. Соловьева было бы для насъ, конечно, совершенно сокрушительно, если бы изъ-за него слишкомъ ужъ не сквозило совершенное незнаніе г. Соловьевымъ тѣхъ лицъ, которыхъ онъ принялъ подъ свою защиту. Начнемъ съ г. Вырубова. Писатель этотъ всю жизнь писалъ по-французски и кромѣ трехъ бѣглыхъ замѣтокъ по философскимъ вопросамъ, а именно: двухъ фельетоновъ въ «Петерб. Вѣд.» Корша и коротенькой статейки въ «Критическомъ Обозр.» 1880 г. № 5, ничего о философіи на русскомъ языкѣ не печаталъ и, слѣдовательно, въ споспѣшествованіи исцѣленія русскаго общества отъ какой бы то ни было философской язвы нисколько неповиненъ. Почтененъ же и добросовѣстенъ онъ въ той мѣрѣ, въ которой почтенны люди, добросовѣстно вредящіе тому дѣлу, которому берутся служить. Что же касается г. де-Роберти, то В. С. знаетъ его, очевидно, еще менѣе, нежели г. Вырубова, если по прошествіи 16 лѣтъ, прошедшихъ послѣ извѣстнаго диспута, воображаетъ, что *этотъ* г. де-Роберти возражалъ ему тогда и, какъ онъ выражается, проявлялъ при этомъ гнѣвъ свой противъ г. Соловьева. Смѣемъ увѣрить г. Соловьева, что возражалъ ему не поборникъ позитивной метафизики, а докторъ математики С. В. де-Роберти, никогда никакихъ трактатовъ по философіи не писавшій и извѣстный какъ почтенный дѣятель тверского земства. Если такого даже обстоятельства, какъ простой перечень сочиненій или ознакомленіе съ личностью возражавшаго на диспутѣ ускользнули отъ вниманія г. Соловьева, и если вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не представляетъ намъ никакихъ данныхъ, обнаруживающихъ его знакомство съ защищаемымъ имъ писателемъ, то мы рѣшаемся предположить, что, оставивъ мелочные счеты и не обезпокоивая себя отдачею намъ долга «съ процентами», г. Соловьевъ въ состояніи будетъ занять положеніе сторонняго зрителя и откровенно сказать, что онъ сочиненій гг. Вырубова и де-Роберти не читалъ и судить о достоинствѣ ихъ не можетъ.

очень просто на то, до какой степени можно доводить расколъ, не переставая быть позитивистомъ. Вопросъ, такимъ образомъ поставленный, рѣшить не трудно. Ученіе Конта основано на двухъ-трехъ положеніяхъ, безъ которыхъ оно немыслимо. Ограниченіе философіи предѣлами научнаго знанія,—слѣдовательно, выключеніе всякой метафизики, всякаго болѣе или менѣе сознаннаго абсолюта и замѣщеніе его всегда и вездѣ относительными свойствами матеріи; признаніе іерархическаго ряда наукъ, основаннаго на убывающей общности и возрастающей сложности изучаемыхъ явленій,—слѣдовательно, отрѣшеніе отъ всякихъ попытокъ установленія новой классификаціи; наконецъ, выдѣленіе соціологіи, какъ особаго разряда положительныхъ знаній со своими особыми, но чисто экспериментальными методами,—вотъ краеугольные камни, на которыхъ построено все зданіе» [1]).

Мы не станемъ останавливаться на томъ, что *третій и послѣдній* изъ краеугольныхъ камней фундамента позитивной философіи, по г. Вырубову, цѣликомъ содержится *во второмъ*, такъ какъ классификація наукъ Конта невозможна безъ признанія соціологіи положительною наукой, а *второй* является почему-то обломкомъ дѣйствительнаго краеугольнаго камня, заложеннаго Ог. Контомъ,—«закона трехъ состояній». Мы пройдемъ мимо этихъ своеобразностей изложенія г. Вырубова, на которое мы прежде имѣли уже не мало случаевъ указывать; разбору тезисовъ г. Вырубова мы предпочтемъ сопоставленіе ихъ съ тезисами Литтре, появившимися въ такой же краткой, какъ и у г. Вырубова, редакціи еще въ 1867 году.

Замѣтка Литтре была написана по поводу брошеннаго мимоходомъ у Тэна мнѣнія въ его книгѣ «L'Idéal dans l'art», только что вышедшей тогда въ свѣтъ. Говоря о Донъ-Кихотѣ и очертивъ идеалистическій, рыцарственный, героическій характеръ этого больного ума, Тэнъ оттѣняетъ свой очеркъ противопоставленіемъ Донъ-Кихоту его оруженосца—«le lourdeau sensé, *positiviste*, vulgaire et gras» [2]). «Какъ! Санчо-Панса—позитивистъ! — восклицаетъ Литтре, — Санчо — созерцатель связнаго хода человѣческаго познанія и претворитель его въ философію! Санчо—установитель въ нашемъ мірѣ двухъ частей: одной—

---

[1]) «Критическое Обозрѣніе» 1880 г., № 5.

[2]) «La philosophie positive». Revue 1867, № 1, p. 156.

подлежащей изслѣдованію человѣка, другой—скрытой въ непознаваемыхъ глубинахъ! Санчо—великодушно и скромно подчиняющійся условіямъ своего положенія, опредѣленнаго вышеуказаннымъ установленіемъ границъ познанія! Санчо—предъявитель правъ на наслѣдіе теологіи и метафизики и признающій одни только естественные законы тамъ, гдѣ эти подготовительныя философскія ученія допускали или верховодительство воли, или сущности! Санчо—восхищенный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, растроганный судьбой человѣчества и ставящій своею идеальною цѣлью служеніе ему и чествованіе его! Очевидно, Санчо никогда и не думалъ ни о чемъ подобномъ, и что бы тамъ ни говорилъ г. Тэнъ, Санчо не былъ позитивистомъ!»

Сравнивъ эти два заявленія, мы не можемъ не признать ихъ рѣзкаго различія одного отъ другого. Куда дѣвалась самая лучшая, самая жизненная, самая возвышенная часть позитивизма,—та часть, которую «первоучитель» на своемъ характерномъ языкѣ опредѣлялъ какъ «преобладаніе высшихъ интересовъ человѣчества»? Съ крушеніемъ этого источника жизни, Контовскій позитивизмъ, видимо, очутился на покатой плоскости; отсутствіе талантовъ довершило остальное. Вскорѣ и *Обозрѣніе*, послѣдній свѣтильникъ позитивныхъ дѣвъ, не запасшихся масломъ, угасъ, истощивъ свои силы въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики. Въ послѣдней своей книжкѣ за 1883 годъ редакція «*Обозрѣнія*» помѣстила заключительную статью, написанную по знаменитой формулѣ: «нельзя не сознаться, но надо признаться», и вслѣдъ за этимъ лепетомъ, никѣмъ не оплакиваемое, «*Обозрѣніе*» испустило духъ. Его послѣдняя галлюцинація заключалась въ томъ, что философія, бывшая въ чести въ ту эпоху, когда было основано «*Обозрѣніе*» (1867 г.) оказалась совершенно дискредитированною въ наше время, но, «исчезая среди общаго равнодушія какъ писателей, такъ и читателей къ высшимъ философскимъ обобщеніямъ», редакція чувствуетъ себя совершенно счастливою и вполнѣ удовлетворенною и даже сама себѣ выдаетъ сертификатъ въ удачѣ. Въ чемъ заключалась эта удача, такъ и осталось тайной; а равнодушіе публики къ философіи, которое такъ голословно констатируется, прекрасно уживается, между тѣмъ, съ цѣлою массой философскихъ сочиненій, ставшихъ особенно обильными съ конца семидесятыхъ годовъ.

Ясно какъ день, что лица, стоящія во главѣ французской

группы позитивистовъ, не внесли въ наслѣдіе, оставленное имъ Ог. Контомъ, ничего такого, что могло бы повести далѣе развитіе позитивно-философской системы, но за то впутали въ него не мало такихъ элементовъ, которые сильно повредили этому развитію: атрофировали зачатки критицизма, непомѣрно преувеличили значеніе схемы, затемнили различеніе нѣкоторыхъ основныхъ понятій и, въ концѣ-концовъ, низвели позитивизмъ на уровень голой энциклопедической схемы наукъ, представляющей— при сохраняющемся упорствѣ въ именованіи себя философіей— своего рода философскій заморышъ, судьба котораго вполнѣ способна возбудить у небезучастнаго зрителя искреннее сожалѣніе.

Контовскій позитивизмъ процвѣтаетъ только въ Португаліи, гдѣ, сколько намъ извѣстно, онъ не подвергся той критической переработкѣ, на которую мы указали выше, и первый шагъ на пути которой сдѣлалъ, какъ увидимъ далѣе, Дж. Ст. Милль. Нельзя сказать, чтобы къ позитивизму относились здѣсь совсѣмъ слѣпо, безъ критики, но критика, насколько намъ удалось съ нею познакомиться, не имѣетъ принципіальнаго характера и мѣтитъ главнымъ образомъ на восполненіе тѣхъ недостатковъ въ изложеніи отдѣльныхъ наукъ Контовскаго ряда, которые произошли или изъ особенностей личнаго взгляда на частные научные вопросы самого Конта, или являются въ зависимости чисто отъ условій времени. Поправки, предлагаемыя въ этомъ направленіи, не имѣютъ особенно важнаго значенія и, въ общемъ, главное вниманіе португальскихъ позитивистовъ устремлено на установленіе дисциплины въ интеллигентной средѣ, потрясенной упадкомъ традиціонныхъ вѣрованій, и пропагандою того новаго порядка вещей, который долженъ возникнуть подъ вліяніемъ ученія, старающагося согласить порядокъ и прогрессъ. Главными проводниками позитивизма въ Португаліи являются Т. Брага, Дж. де-Маттосъ. Т. Бастосъ и др. Они имѣютъ свой журналъ и выпустили въ свѣтъ цѣлую литературу, частью излагающую Контово ученіе, частью популяризирующую его. Португальское позитивное движеніе проникло и единоплеменную Бразилію, свѣдѣнія о которой до такой степени, впрочемъ, скудны, что мы ничего не можемъ сказать ни объ особенностяхъ этого движенія, ни о степени его распространенія.

Въ сосѣдней Португаліи Испаніи, гдѣ еще такъ могуще-

ственна старая метафизика и гдѣ особеннымъ вліяніемъ пользовалась философія Краузе, позитивизмъ Конта, сколько намъ извѣстно, не имѣлъ большого распространенія. Кромѣ лекцій Эстасенъ-и-Кортады, читанныхъ въ Барселонѣ въ 1877 году и вышедшихъ потомъ отдѣльнымъ томикомъ, мы не замѣчали ни одного сколько-нибудь выдающагося проявленія позитивныхъ вліяній. Въ 1887 же году появилась небольшая книжечка Октавіо Лонса, которая отвергаетъ Конта, какъ основателя позитивизма, и противопоставляетъ его ученію общеевропейскій позитивизмъ, представителемъ котораго считаетъ едва ли не всѣхъ ученыхъ, какіе только извѣстны автору: тутъ Дарвинъ, Спенсеръ, Клодъ Бернаръ, Геккэль, Фехнеръ, Вундтъ, Литтре, Гёксли, Ренанъ, Льюисъ, Рише, Бэнъ, Герценъ, Максъ Мюллеръ, Дельбёфъ, Теофилъ Брага и проч.,—и всѣ именно въ томъ порядкѣ, въ которомъ мы ихъ выписали. Здѣсь, очевидно, хоть и ведется хозяйство безъ большаго порядка, все же оно не даетъ ни малѣйшихъ указаній на процвѣтаніе позитивизма; и такъ, на развитіе его, хотя бы на испанской почвѣ, нѣтъ нигдѣ и намека [1]).

Ранѣе, чѣмъ перейдемъ къ Германіи и Англіи, намъ остается сказать нѣсколько словъ объ Италіи.

Въ Италіи ученію Конта совсѣмъ не удалось пустить корней. При первыхъ слухахъ о немъ, еще въ 60-хъ годахъ, ему противопоставили уже то широкое научное теченіе, которое дѣйствительно и поглотило догматизирующій контизмъ. Такъ поступилъ извѣстный историкъ Виллари [2]). Затѣмъ, нашлись такіе, которые хотя въ общемъ и симпатизировали Конту, но дѣлали въ то же время оговорки, отнимавшія у выраженій симпатій всякое реальное значеніе. Оговорки эти мѣтили противъ одного изъ краеугольныхъ принциповъ Контовой доктрины—закона трехъ состояній—и пытались, ни болѣе ни менѣе, какъ отстоять значеніе старыхъ метафизическихъ проблемъ. Профессоръ Анджулли, явившійся представителемъ такого взгляда на позитивизмъ, издавалъ даже журналъ, въ которомъ

---

[1]) *Pedro Estasén y Cortada:* «El Positivismo ò sistema de las ciencias esperimentales». Barcelona, 1877.—Octavio Lois: «Lo accecible y lo inaccecible». Estudios populares di Filosofia positivista. Madrid. 1886.

[2]) *Pascuale Villari:* «Saggi di storia, di critica e di politica». Firenze, 1868.

проводилъ свои взгляды [1]). Наконецъ, можно указать въ Италіи на сравнительно значительное распространеніе позитивизма, но этотъ позитивизмъ имѣетъ съ позитивизмомъ Конта только одно общее названіе. Этотъ позитивизмъ или, какъ его чаще называютъ, «научная философія», исходитъ изъ той мысли, что невозможность — или, какъ выражается Ог. Контъ, химеричность — всеобщаго объясненія всѣхъ явленій *однимъ* закономъ нынѣ преодолѣна: съ Контовскимъ единствомъ метода стоитъ теперь рядомъ философскій фазисъ единства ученія, найденный въ эволюціонизмѣ. Спенсеръ, какъ великій философъ эволюціонной теоріи, получаетъ у итальянскихъ позитивистовъ очень большое значеніе, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ стоятъ за метэмпирику Льюиса и имѣютъ другія особенности, но о Контѣ почти-что не вспоминаютъ и идутъ совершенно особымъ, совершенно независимымъ отъ его вліянія путемъ [2]).

Все, изложенное нами выше, приводитъ къ тому общему заключенію, что, умалчивая пока о Германіи и Англіи, о которыхъ рѣчь еще впереди, мы встрѣчаемъ Контовскій позитивизмъ не представляющимъ ничего такого, распространеніе чего за предѣлы названныхъ странъ могло бы споспѣшествовать той эволюціи позитивнаго ученія, о которой мы дадимъ отчетъ въ послѣдующихъ главахъ [3]).

Теперь намъ предстоитъ перейти къ разсмотрѣнію той роли, которая выпала на долю позитивизма въ Англіи.

---

[1]) *A. Angiulli:* «La filosofia e la ricerca positiva. Quistioni di filosofia contemporania». Napoli 1869. Rassegna critica, 1881—87.

[2]) *E. Morselli:* «La filosofia monistica in Italia. (Rivista di filosofia scientifica)». Gennaio, 1887.

[3]) Окончивъ изложеніе тѣхъ мыслей, которыя мы сочли нужнымъ высказать о Контовскомъ позитивизмѣ, отмѣтимъ еще одну невѣрность, вкравшуюся въ цитированную уже выше замѣтку В. С. Соловьева относительно перенесенія позитивизма на нашу почву и его распространенія. Г. Соловьевъ полагаетъ, что это перенесеніе и распространеніе было дѣломъ Н. К. Михайловскаго, г. Е. де-Роберти и пишущаго эти строки. На самомъ дѣлѣ же, ранѣе, нежели хоть одинъ изъ насъ написалъ строчку о позитивизмѣ, существовала уже цѣлая литература о немъ, а именно:

ГЛАВА III.

Англійскій позитивизмъ.

1. Дж. Ст. Милль.

Въ Англіи существуютъ ортодоксальные послѣдователи Ог. Конта (Гаррисонъ и др.), но имена ихъ не имѣютъ европейскаго значенія и въ самой Англіи не обладаютъ авторитетностью. Контовскій позитивизмъ въ Англіи, какъ и во Франціи, не нашелъ себѣ почвы для развитія и лишь мимолетно былъ представляемъ мыслителемъ и такого даже калибра, какъ Дж. Г. Льюисъ. Зато позитивизмъ въ широкомъ смыслѣ, благодаря Дж. Ст. Миллю, пріобрѣлъ громадное вліяніе не только въ самой Англіи, но и на континентѣ. Съ первыхъ же шаговъ своей

Бокль. Исторія цивилизаціи въ Англіи. Два перевода 1863 и 64 г.

Дж. Ст. Милль. Разсужденія и изслѣдованія. Спб., 1864.

— Система логики. Спб., 1865.

И. П—въ. Мысли о позитивной философіи. «От. Зап.» 1865.

Д. И. Писаревъ. Историческія идеи Ог. Конта. «Русское Сл.» 1865.

Э. К. Ватсонъ. О. Контъ и позитивная философія. «Соврем.» 1865.

Дж. Ст. Милль. Утилитаріанизмъ. Спб., 1866.

Дж. Г. Льюисъ. Исторія философіи. Спб., 1866.

Герб. Спенсеръ. Классификація наукъ со статьею о причинахъ разногласія съ философіею Конта. Спб., 1866.

Льюисъ и *Милль.* Ог. Контъ и положительн. философія. Спб., 1867 г.

П. Л. Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе. «Соврем. Обозр.» 1868.

А. Слѣпцовъ. Гдѣ искать основанія здоровой педагогикѣ? «Совр. Обозр.» 1868.

Кромѣ того, въ началѣ 60-хъ годовъ была помѣщена въ «Русск. Сл.» статья Бибикова «О предѣлахъ человѣческаго знанія», представляющая сокращенное изложеніе брошюры Литтре «Paroles de philosophie positive».

учено-литературной дѣятельности, Милль отнесся къ ученію Конта настолько самостоятельно, что въ Западной Европѣ рѣдко теперь смѣшиваютъ «англійскій позитивизмъ» съ «контизмомъ» и, имѣя въ виду слабое распространеніе ученія Конта, считаютъ иногда французскихъ мыслителей представителями метода, противополагаемаго методу позитивному и характеризуемаго, главнымъ образомъ, подчиненіемъ его вліянію платоновскаго вдохновенія.

Милль разсказываетъ въ своихъ мемуарахъ, что *Курсъ позитивной философіи* Конта впервые попалъ къ нему въ руки уже тогда, когда у него были написаны труднѣйшія главы *Системы логики*, и ему оставалось дописать не болѣе одной трети своего сочиненія. Время это совпадаетъ съ выходомъ двухъ первыхъ томовъ *Курса Конта* и относится къ 1837 г. Говоря объ этомъ, Милль останавливаетъ вниманіе читателя на томъ обстоятельствѣ, что къ этому времени его теорія индукціи была уже закончена и что онъ достигъ ея выработки помимо всякаго вліянія Конта. Онъ не отрицаетъ, что чтеніе сочиненія Конта, какъ первыхъ двухъ томовъ, такъ и послѣдующихъ четырехъ, принесло ему большую пользу. Онъ заявляетъ, что долгое время былъ горячимъ поклонникомъ сочиненій этого писателя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ напоминаетъ о замѣчаніи, сдѣланномъ Кольриджемъ одному изъ его критиковъ, а именно, что на свѣтѣ существуютъ вещи, называемыя источниками, и что поэтому невозможно утверждать, будто тотъ или другой черпающій воду добываетъ ее непремѣнно изъ отверстія, продѣланнаго въ цистернѣ сосѣда. Указывая поэтому на общіе источники философіи Ог. Конта и своей собственной, Милль утверждаетъ, что научный методъ былъ ему извѣстенъ непосредственно смолоду отъ отца его, Джемса Милля, предшественники котораго были тѣ же, что и предшественники Конта. Со временъ Юма,—говоритъ Милль—теоріи эти стали достояніемъ философскаго міра, а со временъ Брауна онѣ вошли даже въ популярную философію. Ученіе Брауна вполнѣ позитивно, и первая часть его лекцій можетъ быть разсматриваема, какъ такое введеніе къ изученію позитивизма, лучше котораго и до сихъ поръ нельзя еще отыскать [1]).

---

[1]) *J. S. Mill:* «Mes mémoires». Trad. de l'angl. par M. E. Gazelles. Paris, 1874. — «Auguste Comte et le positivisme». Trad. de l'angl. par

Послѣ этихъ объясненій нельзя не признать въ высшей степени вѣрнаго замѣчанія Рибо, что, «къ несчастью для философіи, весьма многіе изъ числа тѣхъ, которые говорили о Ст. Миллѣ, знали его, повидимому, смутно и не непосредственно. По большей части они довольствовались тѣмъ, что выставляли его сторонникомъ Ог. Конта и сопричисляли его къ позитивистамъ. Это очень удобное и легкое средство судить о предметѣ, не зная его» [1]). Строки эти были написаны въ 1875 году, а у насъ и въ 1886 г. Лопатинъ все еще продолжаетъ «ссылаться на признанныхъ вождей позитизма Ог. Конта и Милля» и, во избѣжаніе недоразумѣнія, разъясняетъ, что одни только послѣдователи Ог. Конта присвоиваютъ себѣ названіе позитивистовъ [2]).

Когда рѣчь заходитъ о Миллѣ, не слѣдуетъ терять изъ виду, что критическая оцѣнка этого писателя кишитъ противорѣчіями. Милль—личность для нашего времени слишкомъ еще живая, слишкомъ затрогивающая чувство современнаго изслѣдователя его произведеній, слишкомъ значительная по отношенію къ рѣшенію вопросовъ, имѣющихъ такую же важность для насъ, какую они имѣли и для самого Милля. Даже въ Германіи, какъ замѣтилъ одинъ изъ рецензентовъ «Philosophiche Monatshefte», параллельно преувеличенному сужденію объ этомъ философѣ-публицистѣ идетъ и стремленіе къ приниженію его,—стремленіе, не чуждое извѣстной примѣси легкомыслія и фарисейства. Все это далеко не способствуетъ образованію такого сужденія о Миллѣ, которое можно было бы счесть достаточно объективнымъ.

Чтобы дать понятіе читателю о томъ, въ какой мѣрѣ расходятся эти взаимно-противополагающіяся сужденія о Миллѣ, мы приведемъ сперва сопоставленіе двухъ самыхъ общихъ его характеристикъ, а затѣмъ войдемъ въ ближайшее разсмотрѣніе двухъ взаимно-противоположныхъ взглядовъ, оцѣнивающихъ его какъ преобразователя позитивизма.

Мы вовсе не коснемся и пройдемъ полнымъ молчаніемъ ту

G. Clémenceau. Paris, 1868.—«An examination of sir William Hamilton's phylosophy». Fifth edition. London, 1878, passim.

[1]) *Th. Ribot.* «La phsychologie anglaise contemporaine». Paris, 1875, p. 99—100.

[2]) *Л. Лопатинъ.* «Положительныя задачи философіи», стр. 15 и 4.

производящую комичное впечатлѣніе статью г. Вырубова, въ которой онъ, глядя на Милля сверху внизъ, низводитъ его до роли эссеиста, который и въ помышленіи не имѣлъ прикоснуться критически къ *двумъ* великимъ положеніямъ Ог. Конта и самъ никогда не пытался обосновать общее понятіе міра; мы оставимъ это риторическое упражненіе, такъ какъ что̀ можно сказать о такой критикѣ Милля, которая считаетъ возможнымъ не знать или игнорировать ни болѣе, ни менѣе какъ «Изслѣдованіе философіи Гамильтона»!.. Мы прямо обратимся къ прекрасной статьѣ г. Владова, напечатанной въ 24 номерѣ «Критическаго Обозрѣнія» за 1879 годъ. «Джонъ Стюартъ Милль—говоритъ г. Владовъ — стоитъ на одинокой высотѣ (среди англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ ученыхъ) и производитъ впечатлѣніе почти идеальнаго философа, свободнаго отъ важнѣйшихъ человѣческихъ предразсудковъ, чистаго отъ страстей ученаго, за исключеніемъ одной, возвышенной и благородной— постояннаго и неустаннаго исканія истины. Этотъ гордый и могучій умъ, поддавшійся обаянію одной только силы,—силы научнаго аргумента, страдалъ одною только слабостью—вѣрою, что наступитъ когда-нибудь возрожденіе человѣчества, великая эра, когда человѣкъ, въ своихъ отношеніяхъ къ ближнимъ, будетъ руководствоваться не слѣпыми страстями, не животными инстинктами, а разумомъ, который, какъ солнце, взойдетъ и освѣтитъ эту мрачную юдоль плача и стенаній, эту арену грубой борьбы за существованіе, которая называется политическою, общественною и экономическою жизнью человѣчества. И эта слабость Милля можетъ сдѣлаться слабостью каждаго мыслящаго и чувствующаго человѣка, который будетъ изучать образцовыя творенія этого мыслителя, показавшаго всею своею умственною жизнью, что научное изслѣдованіе вопросовъ должно быть примѣняемо ко всѣмъ задачамъ жизни, даже къ тѣмъ, которыя, по обычному мнѣнію большинства даже образованныхъ людей, могутъ быть разрѣшаемы только на основаніи безотчетныхъ симпатій и антипатій, страстей и инстинктовъ, вытекающихъ изъ грубѣйшаго эгоизма и дающихъ въ результатѣ, въ дѣйствительной жизни, ту густую тѣнь, которая отбрасывается европейскою цивилизаціею. Вѣра въ человѣческій разумъ есть настоящее credo Милля, и своею умственною дѣятельностью онъ далъ урокъ человѣчеству,—урокъ, который, впрочемъ, давался ему неоднократно, но который ни разу еще не

былъ понятъ и принятъ. Этотъ урокъ заключается въ томъ, что наука вовсе не должна быть исключительнымъ занятіемъ ученыхъ, до котораго массѣ людей нѣтъ дѣла, а что, напротивъ, наука есть единственное средство устроить жизнь людей такъ, чтобы человѣкъ, каковъ бы онъ ни былъ въ примитивныя времена, могъ поддерживать не только присущую ему и полезную, но и безусловно необходимую вѣру въ то, что его миссія—представлять въ природѣ, полной, по человѣческому воззрѣнію, фатальной жестокости и несправедливостей, начала справедливости и всесторонняго развитія тѣхъ способностей, которыми такъ богата человѣческая натура и которыя такъ часто и такъ безплодно въ ней гибнутъ подъ ударами обстоятельствъ дурно сложившейся среды и подъ давленіемъ воспитанія, направленнаго не на всестороннее развитіе личности, а на искусственное приспособленіе ея къ данной формѣ жизни, часто фальшивой въ основаніи. Къ указаннымъ чертамъ Милля слѣдуетъ прибавить поразительно обширныя и всесторонніе знанія его, дающія ему, какъ ученому, самое высокое мѣсто въ логикѣ, философіи, политической экономіи, политикѣ и соціологіи вообще, мѣсто, заслуженное имъ какъ методомъ изслѣдованія, такъ и великими достоинствами яснаго толкованія положеній, выработанныхъ въ наукѣ. Но эти его достоинства все-таки не могутъ вполнѣ объяснить то глубокое и широкое вліяніе, какое оказывалъ и оказываетъ Милль на массу читателей всего образованнаго міра. Было много ученыхъ, поражавшихъ своими знаніями, побѣждавшихъ своимъ анализомъ и восторгавшихъ своимъ языкомъ. И тѣмъ не менѣе, писатели эти оставались неизвѣстными массѣ, и если къ ней доходили ихъ идеи, то чрезъ различные каналы современной популяризаціи: чрезъ газеты, политическія рѣчи, проповѣди и общедоступныя лекціи. Но Милля, самаго глубокаго и ученаго писателя, непосредственно изучаетъ читающая масса, и есть полное основаніе думать, что изученіе это, съ теченіемъ времени, усилится и еще больше распространится».

Контрастомъ только-что цитированной характеристики Милля является то сужденіе о немъ, какъ философѣ, которое было высказано Джевонсомъ въ его статьѣ «Mill's Philosophy tested», напечатанный въ «Contemprogary Review» за 1877 и 1878 годы. «Что до меня касается—говоритъ здѣсь Джевонсъ,—то я не желаю болѣе оставаться подъ гнетомъ кошмара, нагнаннаго на

насъ сочиненіями Милля. Не было такого предмета, изъ числа имѣющихъ общественное значеніе,—будь то: религія, этика, публицистика, политическая экономія, метафизика, логика,—о которомъ онъ не высказалъ бы рѣшительнаго мнѣнія,—мнѣнія, которое поклонники его затѣмъ цитировали какъ изреченіе, исходящее изъ устъ мудраго и логичнаго прорицателя. Никто не подвергалъ сомнѣнію, или, по крайней мѣрѣ, не долженъ былъ подвергать сомнѣнію силу его слога, убѣдительность его словъ, искренность его разсужденій и полную добросовѣстность его мотивовъ. Если бы въ числѣ другихъ высокихъ его качествъ заключалась и логическая точность, сочиненія его въ самомъ дѣлѣ могли бы стать источникомъ свѣта для грядущихъ поколѣній. Тѣмъ или инымъ путемъ, однако же, способности Милля потерпѣли крушеніе. Причину поврежденія слѣдуетъ отнести, быть можетъ, къ тому незнавшему отдыха режиму обученія, бремя котораго несъ Милль въ раннемъ возрастѣ по волѣ отца, или же тому проходящему черезъ всю жизнь Милля напряженію, которое было направлено на примиреніе ложной эмпирической философіи съ противоборствующей ей истиной. Но гдѣ бы тамъ ни коренилось это поврежденіе, умъ Милля былъ все-таки существенно не логичнымъ».

«Запутанные софизмы главныхъ сочиненій Милля таковы, что для вскрытія его заблужденій требуется значительное умственное напряженіе. Мнѣ самому пришлось въ теченіе двадцати послѣднихъ лѣтъ изучать болѣе или менѣе постоянно его сочиненія: въ послѣднія же четырнадцать лѣтъ мнѣ пришлось, согласно традиціонному требованію Лондонскаго университета, принять эти сочиненія, по крайней мѣрѣ отчасти, за руководство при преподаваніи. Прошло лѣтъ десять, пока мнѣ удалось обнаружить ихъ основную несостоятельность. Въ послѣднія десять лѣтъ у меня мало-по-малу выработалось убѣжденіе, что авторитетъ Милля приноситъ громадный вредъ дѣлу философіи и успѣхамъ добропорядочнаго умственнаго воспитанія въ Англіи. Ничто не можетъ дѣйствовать вреднѣе на умы, какъ сплошная нелогичность сочиненій, которыя, благодаря вѣсу Миллевой репутаціи и вліянію, пріобрѣтенному ими въ университетской средѣ, оказались навязанными и учащимъ, и учащимся. Если, какъ я въ томъ убѣжденъ, философія Милля переполнена софизмами и ложью, то необходимою услугою истинѣ является указаніе на этотъ фактъ. Я сознаю, на-

конецъ, необходимость принять тяжелую эту обязанность на себя».

... «Я имѣю въ виду, показать что едва ли найдется хоть одно изъ важнѣйшихъ его положеній, которое онъ самъ въ полной мѣрѣ не опровергъ бы. Я обнаружу, что во многихъ случаяхъ не представляется возможности рѣшить, въ чемъ именно заключается его доктрина, такъ какъ онъ смѣшиваетъ по два, по три, и, въ одномъ случаѣ, цѣлыхъ шесть различныхъ и взаимно-противорѣчивыхъ мнѣній. Въ нѣкоторыхъ важныхъ случаяхъ онъ выставляетъ себя, какъ представителя воззрѣній, прямо противоположныхъ тѣмъ, которыя онъ въ дѣйствительности проводитъ... Нигдѣ дѣла его не идутъ такъ плохо, какъ въ области логики. Здѣсь нѣтъ вопроса, котораго бы онъ ни коснулся; нѣтъ вопроса, коснувшись котораго, онъ бы оставилъ незапутаннымъ».

Оба эти мнѣнія нельзя не считать преувеличенными. Что касается перваго, то мы будемъ еще имѣть поводъ говорить о тѣхъ замѣчаніяхъ и оговоркахъ, которыми Милль сопровождалъ критику «закона трехъ состояній» Ог. Конта, и покажемъ, что ее слѣдуетъ признать шагомъ назадъ; да и многое, высказанное Миллемъ въ его извѣстномъ посмертномъ сочиненіи и состоящее въ близкой связи съ этимъ шагомъ, несомнѣнно относится къ категоріи положеній, извращающихъ духъ позитивной философіи и тормозящихъ ея развитіе. Замѣтимъ, что послѣднія положенія не одобрилъ и Бэнъ въ своей біографіи Милля, хотя и сдѣлалъ это слишкомъ сдержанно, далеко не въ той мѣрѣ, въ какой требовалось бы это сдѣлать со стороны строго послѣдовательнаго и крѣпкаго въ своихъ основоначалахъ позитивиста. Крайности второго изъ приведенныхъ нами сужденій о Миллѣ были уже достаточно подорваны тѣми справками, которыя были сдѣланы Крумъ-Робертсономъ и др. въ журналѣ «Mind», вскорѣ послѣ появленія статей Джевонса. Свѣрка цитатъ Джевонса съ подлинникомъ показала, между прочимъ, что, не взирая на многолѣтнее изученіе Милля, Джевонсъ не вникалъ въ него настолько, чтобы хоть различить возраженія предполагаемаго Миллемъ противника отъ мнѣнія самого Милля. Въ послѣднемъ итогѣ статья Джевонса не прошла совсѣмъ безслѣдно для оцѣнки значенія Милля, и указанія ея были въ большей или меньшей степени приняты къ свѣдѣнію Брошаромъ, Ра-

циборскимъ, и — что особенно важно для насъ — Эрнстомъ Лаасомъ.

Мы не станемъ, однако же, вдаваться въ ближайшее знакомство съ содержаніемъ статьи Джевонса—и, главнымъ образомъ, потому, что при всей важности затрагиваемыхъ въ статьѣ этой вопросахъ (геометрическіе тезисы, опредѣленіе религіи, отношеніе сходства, экспериментальный методъ), она не даетъ никакого общаго взгляда на положеніе, занимаемое Миллемъ по отношенію къ позитивизму, не оцѣниваетъ качества тѣхъ измѣненій, которыя получили позитивныя идеи благодаря Миллю, не говоритъ намъ, въ чемъ именно заключается позитивизмъ собственно-миллевскій. Имѣя пока въ виду лишь подтвержденіе указаннаго выше отношенія къ Миллю современныхъ его цѣнителей и не желая отвлекать вниманія читателей отъ главной нити нашей темы, къ которой мы сейчасъ же и обратимся, мы не станемъ распространяться о статьѣ г. Владова, такъ какъ статья эта, написанная по поводу выхода въ свѣтъ мемуаровъ Милля, не вдается въ обстоятельное разсмотрѣніе философіи Милля и могла бы въ большей еще степени, чѣмъ статья Джевонса, увлечь насъ отъ нашего главнаго пути на самыя разнородныя побочныя тропинки.

Нужную намъ для настоящаго случая характеристику положенія Милля по отношенію къ позитивизму, а также и оцѣнку способа тѣхъ измѣненій, который внесъ Милль въ ученіе Ог. Конта, даетъ намъ Эрнстъ Лаасъ, къ которому мы поэтому теперь и обратимся. О Лаасѣ намъ придется еще говорить впослѣдствіи подробно; теперь же достаточно будетъ сказать только, что этотъ писатель принадлежитъ къ числу представителей позитивизма въ широкомъ значеніи этого термина и занимаетъ въ нѣмецкой философской литературѣ выдающееся мѣсто, какъ по замѣчательной критикѣ Канта, изложенной въ «Kants Analogien der Erfahrung», такъ и по новой переработкѣ позитивизма, заключающейся въ главномъ трудѣ Лааса «Idealismus und Positivismus».

Начнемъ съ того, что разумѣетъ Лаасъ подъ словомъ «позитивизмъ»? Подъ позитивизмомъ, говоритъ онъ, я разумѣю ту философію, которая не признаетъ никакого иного основанія, кромѣ позитивныхъ (положительныхъ фактовъ), т.-е. внѣшнихъ и внутреннихъ воспріятій; которая отъ всякаго мнѣнія требуетъ подтвержденія фактами, опытомъ, на которые мнѣніе это

опирается. Первымъ провозвѣстникомъ такого позитивизма, по мнѣнію Лааса, былъ Протагоръ, который ясно очертилъ область опыта въ неразрывности связи внѣшнихъ и внутреннихъ воспріятій, иначе говоря, соотносительности (коррелативизма) субъекта и объекта. Коррелативизмъ, по мнѣнію Лааса, нисколько не нуждается ни въ какой метафизической подпочвѣ для своего фактическаго узаконенія. Можно указать только на достушный для всякаго и подлежащій всеобщей повѣркѣ фактъ, что объекты извѣстны намъ непосредственно, какъ содержаніе сознанія, cui objecta sunt, а субъекты—только какъ центры отношеній, какъ сборные пункты или какъ оборотная сторона воспринятаго содержанія, quibus subjecta sunt; и далѣе, что непосредственно извѣстные намъ субъекты и объекты не могутъ быть принимаемы какъ существующіе «an sich», что они признаются существующими только при условіи взаимной связи, что они совмѣстно возникаютъ, совмѣстно пребываютъ и всегда остаются нераздѣлимыми.

Точка зрѣнія, обнаруживающаяся въ позитивистическомъ тезисѣ Протагора, вновь выступаетъ на сцену исторіи философской мысли только въ лицѣ Давида Юма; по существеннѣйшимъ ея чертамъ можно приписать ее и Дж. Ст. Миллю.

Если же мы, говоритъ Лаасъ, поясняя это утвержденіе, называя Юма и Милля, проходимъ молчаніемъ имя человѣка, поставившаго слово «позитивизмъ» во главу своего «Курса»—имя Ог. Конта, то это произошло не потому, что мы вовсе не считаемъ его основныхъ воззрѣній «позитивистическими» въ томъ смыслѣ, на которой указано было выше, или старались держаться отъ него въ сторонѣ, а единственно только потому, что позитивистическая идея, о которой идетъ рѣчь у насъ, а именно: идея коррелативности субъекта и объекта, опредѣленнымъ образомъ въ сочиненіяхъ его, насколько я могу припомнить, не проводится. Что же касается двухъ его широкихъ обобщеній, представляющихъ рядомъ съ тѣмъ, что училъ Давидъ Юмъ, главный интересъ въ «Курсѣ» Конта и связываемыхъ съ нимъ, какъ главная его особенность, а именно: классификація наукъ и законъ трехъ состояній, то, признавая ихъ проницательными и отчасти вѣрными мыслями, не могу не указать на то, что скрытыя въ нихъ истины до того смѣшаны съ продуктами конструктивнаго насилія, что они весьма близко подходятъ къ теоріямъ Гегеля... Что же касается Милля, то, видя въ немъ

представителя позитивизма въ указанномъ смыслѣ, я не считаю себя вслѣдствіе того обязаннымъ одобрять и всѣ его крайности, непослѣдовательности, искусственныя тонкости и софизмы, которые у него встрѣчаются при обработкѣ отдѣльныхъ вопросовъ. Очень многое изъ того, что было высказано Джевонсомъ въ «Contemporary Review», готовъ признать я отъ всего сердца, но и самъ выступаю въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ съ подобною же критикою. Я не считаю, чтобы ошибки этого (не всегда особенно логичнаго, послѣдовательнаго и глубокомысленнаго) философа могли бы въ самомалѣйшей степени поколебать позитивистическіе принципы, хотя, тѣмъ не менѣе, я не перестану цѣнить его, какъ особенно почтеннаго представителя позитивной философіи въ нашъ, проникнутый платонизмомъ и романтизмомъ, вѣкъ [1]).

Таково сужденіе Лааса. Предъявляя его нѣмецкому читателю, Лаасъ считалъ себя въ правѣ не излагать ученія Милля о коррелативизмѣ и не загромождать имъ и безъ того достаточно объемистыхъ трудовъ своихъ; совсѣмъ въ иномъ положеніи находимся мы, и завидная краткость Лааса, цѣликомъ перенесенная на страницы нашего очерка, едва ли нашла бы одобреніе у большинства нашихъ читателей. Мы поступимъ гораздо цѣлесообразнѣе, конечно, если не побоимся нѣкоторыхъ длинноть и послѣдуемъ совѣту Юма, утверждавшаго, что «всякой книгѣ слѣдуетъ быть на столько полной, на сколько то возможно, и никакая книга не должна отсылать читателя для пополненія содержанія ея къ другой книгѣ». Не всегда, конечно, возможно приложить правило это въ полной мѣрѣ; но въ тѣхъ случаяхъ, когда не только не встрѣчается для того никакихъ препятствій, но еще и выясняется при этомъ одинъ изъ вопросовъ, имѣющихъ для данной темы особенно важное значеніе, правило становится просто-на-просто обязательнымъ. Мы и принимаемъ его въ руководство въ настоящемъ случаѣ и дѣлаемъ это тѣмъ охотнѣе потому, что обстоятельное изложеніе ученія Милля о коррелативизмѣ должно близко познакомить читателя съ дѣйствительнымъ ходомъ того двойного процесса, о которомъ говорено было выше: оно должно показать, какимъ образомъ совершались первые шаги выработки позитивной теоріи познанія рука объ руку съ обозначеніемъ черты,

[1]) Id. und Pos. I. S. 183—184.

отграничивающей научную философію отъ метафизики. Чередованіе успѣховъ и неудачъ у Милля при рѣшеніи этой двойной задачи будетъ намъ очень поучительно, какъ по отношенію къ характеру первоначальной ея постановки, такъ и по сравненію съ послѣдующими ея фазисами.

Когда мы говоримъ о той идеѣ, которую Лаасъ считаетъ краеугольнымъ основоначаломъ позитивизма, и намъ предстоитъ отвѣтить на вопросъ о томъ, какъ излагалъ ее ближайшій предшественникъ Лааса — Милль, то, какъ то само собою разумѣется, мы должны прежде всего ознакомить читателя съ ученіемъ этого мыслителя о каждомъ изъ двухъ моментовъ изучаемаго соотношенія, и затѣмъ — съ ученіемъ и о самомъ соотношеніи. Такимъ образомъ мы получимъ требуемое понятіе о коррелативизмѣ по Миллю и пріобрѣтемъ этимъ путемъ возможностъ провѣрить цитированную выше характеристику Лааса и вмѣстѣ съ тѣмъ добыть данныя для составленія и своего собственнаго понятія о всемъ этомъ вопросѣ.

У Милля вопросъ этотъ изложенъ въ нѣсколькихъ главахъ его извѣстнаго «Изслѣдованія философіи Гамильтона» [1]). Первая изъ этихъ главъ, имѣющая цѣлью установленіе взгляда Милля на роль «объекта» изучаемой соотносительности, носитъ названіе «психологической теоріи *увѣренности* въ существованіи внѣшняго міра» [2]) и занимаетъ мѣсто главы XI всего сочиненія. Милль указываетъ здѣсь прежде всего на тѣ психологическія истины, которыя подразумѣваются его теоріею, и говоритъ, что онѣ подтверждаются опытомъ и не подвержены сомнѣнію со стороны противниковъ эмпирическаго метода въ

---

[1]) Замѣтимъ при этомъ случаѣ, что «Idealismus und Positivismus» Лааса, по его же словамъ, весьма напоминаетъ «Examination» Милля по основной идеѣ, по плану и отчасти по выполненію. Нѣкоторая неполнота послѣдняго возмѣщается въ другихъ сочиненіяхъ Лааса; такъ, этико-психологическимъ главамъ «Изслѣдованія» соотвѣтствуетъ статья Лааса въ «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie». Bd. IV—VI; по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ — работы, указанныя въ III томѣ «Id. u. Pos.», стр. 667.

[2]) Риль передаетъ выраженіе «belief» словами «Gewissheit», «Ueberzeugung», находя слово «Glaube», по двусмысленности своей, неумѣстнымъ въ философскомъ сочиненіи. На этомъ основаніи и мы остановились на словѣ «увѣренность» (См. *A. Riehl.* Der Philosophische Kriticismus. I B. S. 65).

психологіи—противниковъ, которые, однако же, очень рѣдко оцѣниваютъ достодолжнымъ образомъ ихъ силу.

Первая изъ этихъ истинъ заключается въ томъ, что умъ человѣческій способенъ къ ожиданію. Другими словами, это значитъ, что послѣ дѣйствительныхъ ощущеній мы способны образовывать понятіе объ ощущеніяхъ возможныхъ,—ощущеніяхъ, которыя мы не испытываемъ въ настоящій моментъ, но которыя могли бы испытывать и будемъ испытывать въ томъ случаѣ, когда въ наличности окажутся извѣстныя условія, природа конхъ извѣстна намъ ранѣе по опыту.

Вторая изъ этихъ истинъ охватываетъ законы ассоціаціи идей. Поскольку дѣло касается настоящаго случая, законы эти слѣдующіе: 1) представленіямъ явленій подобныхъ свойственна склонность быть мыслимыми совмѣстно; 2) представленія явленій, которыя прошли въ опытѣ или въ сознаніи въ тѣсной смежности, обладаютъ свойствомъ мыслиться совмѣстно. Смежность можетъ быть двоякою: одновременностью и непосредственнымъ преемствомъ. Возстановленіе въ памяти одного изъ фактовъ, которые въ опытѣ или въ мышленіи являлись одновременно, совершается подъ вліяніемъ припоминанія о томъ или другомъ изъ нихъ. Что же касается фактовъ, которые въ опытѣ или мышленіи проходили въ порядкѣ непосредственнаго преемства, то припоминаніе по отношенію къ нимъ не имѣетъ того обоюднаго характера, который отмѣченъ выше: только фактъ предшествующій, или же мысль о немъ, вызываетъ припоминаніе о фактѣ послѣдующемъ, этотъ послѣдній же не способенъ вызывать въ памяти перваго; 3) ассоціаціи, обусловленныя смежностью, становятся болѣе достовѣрными и совершаются сравнительно скорѣе подъ вліяніемъ повторяемости ихъ. Если два какія-нибудь явленія были воспринимаемы совмѣстно весьма часто и ни въ опытѣ, ни въ мышленіи не представлялись отдѣльно, то между ними установляется такъ-называемая нерасторжимая ассоціація, не совсѣмъ правильно называемая неразложимою. Терминъ «нерасторжимость» не означаетъ еще продленія ея до конца жизни, не предрѣшаетъ ея устойчивости даже и вопреки опыту или опредѣленному мысленному процессу, но указываетъ только на продленіе ея до тѣхъ поръ, пока продолжается данный опытъ или данный мысленный процессъ; 4) когда ассоціація получитъ указанную выше нерасторжимость, когда связь между двумя идеями достодолжно за-

крѣпится, то не только идея, вызываемая ассоціаціею, получаетъ въ сознаніи нашемъ неразрывность съ идеею, ее вызвавшею, но и факты или явленія, отвѣчающіе этимъ идеямъ, начинаютъ, наконецъ, казаться и на самомъ дѣлѣ неразрывными. Отдѣльное существованіе того, что нами не можетъ мыслиться раздѣльно, начинаетъ представляться невозможнымъ, а увѣренность въ сосуществованіи данныхъ явленій, хотя и явившаяся на самомъ дѣлѣ какъ продуктъ опыта, кажется намъ интуитивною. Примѣры, подтверждающіе этотъ законъ, неисчислимы. Самый обыденный и разительный примѣръ дается зрительными воспріятіями. Дѣйствительно, видимое нами есть только незначительная часть того, что намъ кажется видимымъ. Многое и весьма многое въ нашихъ зрительныхъ воспріятіяхъ попадаетъ туда въ силу умозаключенія. Зрительное воспріятіе книги, напримѣръ, или камня, не есть только умозаключеніе, но цѣлая группа ихъ. Мы видимъ и не можемъ не видѣть того, что мы привыкли заключать изъ нашихъ ощущеній, не исключая и того случая, когда мы знаемъ, что заключеніе наше ложно. Такъ, напримѣръ, мы не можемъ не видѣть сравнительной къ намъ близости горы въ томъ случаѣ, когда мы смотримъ на нее сквозь атмосферу, отличающуюся отъ обычной бо̀льшею степенью прозрачности и т. п.

Установивъ эти предпосылки, Милль говоритъ далѣе, что, исходя изъ нихъ, психологическая теорія высказывается за существованіе ассоціацій, естественно и даже необходимо произведенныхъ самимъ порядкомъ нашихъ ощущеній и припоминаній о нихъ. Эти ощущенія и припоминанія, при предположеніи отсутствія въ сознаніи интуиціи внѣшняго міра, должны неизбѣжно порождать не только увѣренность въ существованіи его, но и отнесеніе причины ея къ интуиціи.

Что̀ разумѣемъ мы, утверждая, что воспринимаемый нами предметъ не есть только мысль наша, а находится внѣ насъ, и что̀ побуждаетъ насъ утверждать это?—спрашиваетъ далѣе Милль. Мы разумѣемъ, поясняетъ онъ, что нашимъ воспріятіямъ непремѣнно соотвѣтствуетъ извѣстное нѣчто, которое существуетъ даже и тогда, когда мы о немъ не мыслимъ, которое существовало ранѣе, чѣмъ мы стали о немъ мыслить, и будетъ существовать и тогда, когда насъ не станетъ; и далѣе, мы питаемъ увѣренность, что существуютъ вещи, которыхъ мы никогда не видѣли, никогда не осязали, никогда инымъ какимъ-

либо образомъ не воспринимали, и которыя даже никогда не были воспринимаемы человѣкомъ. Идея этого «нѣчто», различающагося отъ нашихъ преходящихъ впечатлѣній, этого «нѣчто», остающагося неизмѣннымъ и постояннымъ рядомъ съ измѣнчивостью нашихъ впечатлѣній и сохраняющаго свои свойства даже и тогда, когда самое существованіе его остается намъ неизвѣстнымъ,—идея эта и есть идея внѣшней субстанціи. Указать на происхожденіе этого сложнаго понятія—значитъ объяснить нашу увѣренность въ существованіи матеріи. Согласно психологической теоріи, все это есть не иное что, какъ форма, запечатлѣнная на опытномъ понятіи извѣстными законами ассоціаціи, тогда какъ самое понятіе это выработано на почвѣ условныхъ ощущеній; подъ условными же ощущеніями мы разумѣемъ такія, которыхъ не оказывается въ нашемъ сознаніи въ настоящій моментъ, которыя никогда черезъ него и не проходили, но которыя, согласно извѣстнымъ намъ изъ опыта законамъ нашихъ ощущеній, могли бы быть испытанными нами при извѣстныхъ предполагаемыхъ условіяхъ и будутъ испытаны, если такія условія наступятъ.

Только-что отмѣченное свойство нашего ума даетъ Миллю основаніе для указанія на незначительность объема наличныхъ ощущеній въ понятіи міра, каковъ онъ есть въ настоящій моментъ. Можетъ случиться, что въ то или другое время у меня вовсе не окажется наличныхъ ощущеній, и во всякомъ случаѣ ощущенія эти будутъ составлять самую незначительную частицу общей совокупности моихъ воспріятій. Мое понятіе міра, каковъ онъ существуетъ въ данный моментъ, охватываетъ вмѣстѣ съ испытываемыми мною ощущеніями неисчислимое разнообразіе возможностей ощущенія, т.-е. ощущеній, возможныхъ при извѣстныхъ предполагаемыхъ условіяхъ, какъ то было пояснено выше. Эти различныя возможности имѣютъ для меня особливую важность. Мои ощущенія даннаго момента сравнительно малозначительны и притомъ же мимолетны; возможности же, напротивъ того, постоянны. На этомъ различіи основывается различіе нашего понятія субстанціи или матеріи отъ понятія ощущенія. Возможности, обладающія условною достовѣрностью, требуютъ особаго названія для отличія ихъ отъ возможностей смутныхъ, на которыя опытъ не можетъ положиться. Всякому хорошо извѣстно, однако же, что, согласно самому обыденнѣйшему свойству нашего ума, лишь только мы назовемъ вещь но

вымъ именемъ, хотя бы для того лишь, чтобы обозначить ту же вещь съ другой точки зрѣнія, какъ новое имя становится уже именемъ новой вещи.

Есть и другая важная особенность указанныхъ выше удостовѣренныхъ и обезпеченныхъ возможностей ощущенія, продолжаетъ далѣе Милль; а именно та, что возможности эти относятся не къ единичному ощущенію, но къ ощущеніямъ, соединеннымъ въ группы. Когда мы мыслимъ о какой нибудь матеріальной субстанціи, то это значитъ, что мы испытали, или при извѣстныхъ условіяхъ могли испытать, не только одно какое-нибудь ощущеніе, но неопредѣленное число ихъ, принадлежащихъ притомъ различнымъ чувствамъ, но связанныхъ между собою такимъ образомъ, что наличность одного изъ нихъ возвѣщаетъ *возможность появленія въ то же время нѣкоторыхъ* другихъ или даже всѣхъ остальныхъ. Группа, разсматриваемая какъ единое цѣлое, представляется уму постояннною, противополагаясь не только скоротечности моего тѣлеснаго присутствія, но и мимолетности каждаго изъ ощущеній, ее составляющихъ; другими словами, она представляется какъ родъ постояннаго субстрата, скрытаго подъ системою преходящихъ опытныхъ фактовъ или мимолетныхъ проявленій. Свойство это присуще нашей идеѣ субстанціи или матеріи и составляетъ новую черту ея основнаго характера и новое отличіе этой идеи отъ ощущенія.

Развивая далѣе свой взглядъ, Милль переходитъ къ разсмотрѣнію другой стороны общаго характера нашего опыта, а именно, къ разсмотрѣнію постояннаго порядка нашихъ ощущеній. Этотъ порядокъ, будучи подтвержденъ опытомъ, порождаетъ, говоритъ далѣе Милль, идею причины и дѣйствія. Какова же, спрашивается, природа этого постояннаго порядка нашихъ ощущеній? Она заключается въ постоянствѣ порядка, въ которомъ послѣдующее смѣняетъ предшествовавшее. Но мы знаемъ, что *постоянство* указанной *послѣдовательности* присуще не ходу самихъ ощущеній, а порядку смѣны группъ, о которыхъ говорено было выше. Эти послѣднія рѣдко соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ ощущеніямъ, а представляются лишь какъ *постоянныя возможности*, вызванныя въ сознаніи малымъ и измѣнчивымъ числомъ ощущеній наличныхъ. Изъ этого видно, что наши идеи причинности, силы, дѣятельности связуются нами не съ ощущеніями, но съ группами возможностей ощуще-

нія. Измѣненія, болѣе или менѣе правильно возникающія въ этихъ возможностяхъ ощущенія, совершаются по большей части независимо отъ нашего сознанія, отъ нашего присутствія или отсутствія. Спимъ ли мы или бодрствуемъ, пламя тухнетъ, и тѣмъ полагается конецъ данной частной возможности ощущенія свѣта и теплоты. Присутствуемъ ли мы или отсутствуемъ, зерно зрѣетъ и даетъ начало новой возможности ощущенія сытости. Такимъ образомъ мы скоро научаемся смотрѣть на природу, какъ на совокупность группъ возможностей, а дѣятельныя силы природы разсматриваемъ какъ проявленія измѣненій этихъ группъ посредствомъ другихъ. Слѣдуя по этому пути, мы приходимъ къ оцѣнкѣ ощущеній, какъ чего-то случайнаго, стоящаго въ полной отъ насъ зависимости, а на возможности начинаемъ смотрѣть какъ на нѣчто, обладающее большею степенью реальности, чѣмъ ощущенія, болѣе того—какъ на истинныя реальности, по отношенію къ которымъ ощущенія являются лишь отобразомъ, отраженіемъ, ими произведеннымъ, или ихъ дѣйствіемъ. Достигнувъ такого умственнаго состоянія, мы начинаемъ относить всякое испытываемое нами ощущеніе къ какой-либо изъ группъ возможностей, охватывающихъ данное частное ощущеніе. Общая совокупность возможныхъ ощущеній становится постоянной основой, на которой обозначается одно или нѣсколько изъ нихъ, какъ наличныхъ въ данный моментъ; возможности же мыслятся стоящими по отношенію къ дѣйствительнымъ ощущеніямъ, какъ причина по отношенію къ дѣйствіямъ, или фонъ по отношенію къ начерченнымъ на немъ фигурамъ, или вѣтви—къ стволу, или, выражаясь языкомъ трансцендентальной школы, они получаютъ то же значеніе, что содержаніе по отношенію къ формѣ.

Когда сопоставленіе постоянныхъ возможностей и ощущеній проявляетъ въ только-что указанной степени ихъ видимое несходство, тогда, какъ замѣчаетъ Милль, въ силу всего того, что̀ мы знаемъ о человѣческой природѣ, становится неизбѣжнымъ для насъ признать между постоянными возможностями и ощущеніемъ такое же различіе, какое существуетъ между различными родами послѣдняго. Основа постоянныхъ возможностей—ощущеніе—забывается и беретъ верхъ предположеніе о ихъ существенномъ различіи. Другими словами, группы ощущеній, связанныхъ между собою ассоціаціею смежности и преемства, представляются какъ бы отторженными отъ насъ и суще-

ствующими отдѣльно и независимо отъ насъ. Мы открываемъ сверхъ того, что другія существа обосновываютъ, подобно намъ, предвидѣнія свои на такихъ же возможностяхъ ощущенія, какъ и мы. Мы не находимъ, однако же, чтобы они испытывали при этомъ тѣ же дѣйствительныя ощущенія, что и мы. Не обладая нашими ощущеніями, они,—если только ихъ органы чувствъ принадлежатъ къ одному и тому же типу, какъ и наши,—обладаютъ такими же точно возможностями ощущенія, такъ что всякая данная возможность ощущенія для насъ указываетъ на такую же возможность ощущеній и для нихъ. Такимъ образомъ обозначается та послѣдняя черта, которою окончательно обрисовывается наше понятіе о группахъ возможностей ощущенія, какъ объ основныхъ реальностяхъ природы. Постоянныя возможности оказываются общими намъ и другимъ существамъ; приписать же такую общность дѣйствительнымъ ощущеніямъ оказывается невозможнымъ. Присущая постояннымъ возможностямъ общность становится основою признанія за ними несомнѣннаго бытія внѣ насъ и независимо отъ насъ, и, въ концѣ концовъ, изъ общей совокупности всѣхъ постоянныхъ возможностей слагается наше понятіе того, что мы называемъ внѣшнимъ міромъ.

Итакъ, продолжаетъ Милль, матерію можно опредѣлить какъ постоянную возможность ощущенія. Если меня спросятъ, имѣю ли я увѣренность въ существованіи матеріи, то я, въ свою очередь, пожелаю узнать, принимаетъ ли вопрошающій это опредѣленіе матеріи или нѣтъ. Если да, то увѣренность моя въ существованіи матеріи окажется не подлежащею сомнѣнію, какъ не можетъ подлежать сомнѣнію и увѣренность въ томъ всѣхъ послѣдователей Беркли. Во всякомъ же другомъ смыслѣ такой увѣренности у меня не окажется. Я могу только смѣло утверждать, что такое понятіе матеріи содержитъ въ себѣ рѣшительно все, что мыслятъ о матеріи обыкновенные люди, стоящіе внѣ вліянія философскихъ и теологическихъ теорій. Увѣренность человѣчества въ дѣйствительномъ и видимомъ существованіи осязаемыхъ предметовъ есть увѣренность въ дѣйствительности и постоянствѣ возможностей зрительныхъ и осязательныхъ ощущеній, независимо отъ всякихъ ощущеній дѣйствительныхъ.

Да позволено мнѣ будетъ еще разъ кратко пересказать то, что я думаю о той увѣренности, которую я старался растолковать выше, говоритъ Милль, подводя итоги изложенію своей

теоріи. Мы имѣемъ увѣренность, что воспринимаемъ нѣчто, имѣющее близкое отношеніе ко всѣмъ нашимъ ощущеніямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отличное отъ испытываемыхъ нами въ какой-нибудь данный моментъ,—нѣчто, различаемое отъ мимолетности и скоротечности ощущеній присущею ему устойчивостью и постоянствомъ. Но эти свойства объекта составляютъ принадлежность всѣхъ открываемыхъ намъ опытомъ возможностей ощущеній. Увѣренность въ существованіи такихъ постоянныхъ возможностей заключаетъ въ себѣ, по моему мнѣнію, все, представляющееся существенно характеристичнымъ въ увѣренности, которую мы питаемъ относительно дѣйствительнаго существованіи субстанціи. Я признаю, напримѣръ, что Калькутта существуетъ, хотя я и не воспринимаю ее, я признаю, что она не перестанетъ существовать и тогда, когда всѣ способные къ воспріятію обитатели ея были бы вынуждены оставить занимаемое ею мѣсто или же были бы поражены смертью. Анализируя мою увѣренность въ существованіи этого города, я нахожу, что въ случаѣ, если бы только что упомянутыя событія дѣйствительно произошли, все же таки неизбѣжно остались бы тѣ постоянныя возможности ощущенія, которыя я называю «Калькутта». Изъ этого можно заключить, что какъ философы, такъ и обыденно-мыслящіе люди, мысля о матеріи, дѣйствительно представляютъ ее себѣ какъ постоянную возможность ощущенія. Большинство философовъ, однако же воображаютъ, что въ данномъ случаѣ надо имѣть въ виду нѣчто большее, а обыденно-мыслящіе люди, хотя въ мысли своей и не представляютъ ничего болѣе, какъ только постоянную возможность ощущенія, заявятъ, однако же, навѣрно, если спросятъ ихъ, что и они раздѣляютъ взглядъ большинства философовъ. Хотя этотъ фактъ можетъ быть вполнѣ объясненъ стремленіемъ человѣческаго ума заключать отъ различія названій къ различію предметовъ, но я все же нахожу нужнымъ дать еще объясненіе и того, какимъ образомъ дѣлается возможнымъ быть увѣреннымъ въ существованіи такого «нѣчто», которое переступаетъ границы всѣхъ возможностей ощущенія, не предполагая при этомъ, однако же, что такое «нѣчто» дѣйствительно существуетъ и что мы дѣйствительно воспринимаемъ его въ данный моментъ.

Милль находитъ, что требуемое здѣсь объясненіе не представляетъ никакихъ трудностей. Общеизвѣстенъ тотъ фактъ,—говоритъ онъ,—что намъ достушны всѣ тѣ понятія, которыя

могутъ быть образованы согласно извѣстнымъ законамъ, направляющимъ нашими ощущеніями. Каково бы ни было отношеніе, находимое нами между тѣми или другими изъ нашихъ ощущеній и чѣмъ-нибудь отъ него различнымъ, намъ во всякомъ случаѣ не трудно представить себѣ это отношеніе существующимъ и между всѣми нашими ощущеніями и чѣмъ-либо отъ нихъ различнымъ. Различіе, подмѣчаемое нашимъ сознаніемъ между двумя какими-нибудь ощущеніями, даетъ намъ понятіе различія въ общемъ значеніи этого термина и прочно ассоціируетъ съ каждымъ изъ нашихъ ощущеній чувствованіе различія ихъ отъ всего прочаго; какъ только же такая ассоціація окажется установленною, намъ уже становится невозможно мыслить о чемъ бы то ни было, не противопоставляя мыслимому понятія о чемъ-нибудь ему противоположномъ. Привычка къ противопоставленію всякой вещи, о которой мы мыслимъ, какой-либо другой, естественно ведетъ къ скорому и легкому образованію понятій о вещахъ, противопоставляющихся всему, что только извѣстно намъ коллективно или индивидуально. Мы, правда, не можемъ составить представленія о томъ, что именно такое на самомъ дѣлѣ должно быть предполагаемо какъ противуположность; наше мышленіе не идетъ далѣе чисто-отрицательнаго понятія; но вѣдь и идея субстанціи, безотносительно къ впечатлѣнію, производимому ею на наши чувства, имѣетъ тоже отрицательный характеръ. Итакъ, нельзя указать психологической помѣхи къ образованію понятія чего-нибудь такого, что не есть ощущеніе и не есть возможность ощущенія даже и въ томъ случаѣ, когда сознаніе наше не свидѣтельствуетъ о томъ; и ничто не можетъ быть естественнѣе, какъ сліяніе въ мысли нашей постоянныхъ возможностей ощущенія, свидѣтельствуемыхъ нашимъ сознаніемъ, съ этими воображаемыми понятіями. Опытъ обнаруживаетъ нашу сильную склонность къ подмѣнѣ мысленныхъ отвлеченій, даже и тогда, когда они имѣютъ лишь отрицательный характеръ, субстанціальными реальностями; а разъ не подлежитъ сомнѣнію, что мы способны переступить границы ощущенія, то становится въ высшей степени вѣроятнымъ, что мы припишемъ реальное существованіе именно возможностямъ ощущенія, которыя, согласно свидѣтельству нашего сознанія, такъ значительно разнятся по своимъ свойствамъ отъ дѣйствительныхъ ощущеній. Вѣроятность, здѣсь указанная, должна перейти, впрочемъ, въ достовѣрность, лишь только

мы примемъ во вниманіе тотъ всеобщій законъ нашего опыта, обыкновенно называемый закономъ причинности, въ силу котораго мы не можемъ не связывать начало чего бы то ни было съ предшествующимъ ему условіемъ или причиной. Причинность представляетъ одинъ изъ самыхъ выдающихся случаевъ, когда на всю совокупность сознаваемаго распространяется понятіе, добытое изъ одной его части. Случай этотъ представляетъ поразительный примѣръ перенесенія отношенія, подмѣченнаго между двумя пунктами нашего опыта, на опытъ, взятый въ цѣломъ, въ сопоставленіи его съ какимъ-либо нѣчто, лежащимъ внѣ сферы опыта. Слѣдуя по этому пути, мы приходимъ къ мысли о происхожденіи самихъ ощущеній нашихъ отъ какого-нибудь антецедента, недостижимаго для ощущенія. И, какъ замѣчено было выше, постояннымъ антецедентомъ ощущенія рѣдко бываетъ испытываемое ощущеніе же или рядъ ихъ, а гораздо чаще—группа возможностей, могущихъ заключать въ себѣ лишь такое количество дѣйствительныхъ ощущеній, которое необходимо для указанія на дѣйствительное присутствіе возможностей въ данный моментъ. Но тутъ нѣтъ необходимости даже и въ какихъ бы то ни было дѣйствительныхъ ощущеніяхъ, такъ какъ присутствіе предмета (т.-е. непосредственное присутствіе возможностей) можетъ стать извѣстно намъ именно тѣмъ самымъ ощущеніемъ, которое мы разсматриваемъ, какъ его дѣйствіе. Такимъ образомъ, дѣйствительный антецедентъ ощущенія можетъ быть не дѣйствительно испытываемое ощущеніе, а только присутствіе въ данный, или непосредственно предшествующій моментъ, группы возможностей ощущенія. Изъ этого видно, что идея причинности можетъ быть отождествлена не съ ощущеніями, испытываемыми въ данный моментъ, а съ ихъ постоянными возможностями, и мы однимъ и тѣмъ же процессомъ пріобрѣтаемъ привычку смотрѣть на ощущенія вообще, такъ же какъ и на всякое наше отдѣльное ощущеніе, какъ на дѣйствіе; вмѣстѣ съ тѣмъ мы пріобрѣтаемъ и привычку представлять себѣ, какъ причину бо́льшей части нашихъ отдѣльныхъ ощущеній, не ощущенія же, а общія ихъ возможности.

Если всѣ эти соображенія, взятыя вмѣстѣ, говоритъ Милль въ заключеніе своего разсужденія, не объясняютъ съ достаточною полнотой, почему мы смотримъ на возможности, какъ на независимыя субстанціи, то я рѣшительно не знаю, каковъ дол-

женъ быть тотъ психологическій анализъ, который будетъ имѣть по отношенію къ этому вопросу рѣшающее значеніе.

Затѣмъ, остается еще одно возраженіе, опроверженіе котораго и даетъ далѣе Милль. Могутъ сказать, что изложенная выше теорія, истолковывая идею постоянныхъ возможностей, составляющихъ извѣстную часть нашего понятія матеріи, не объясняетъ нашей увѣренности въ существованіи этихъ постоянныхъ объектовъ именно внѣ насъ или, иначе говоря, во внѣшнемъ мірѣ. Отвѣчая на это возраженіе, Милль говоритъ, что, по его убѣжденію, идея чего-либо внѣ насъ находящагося исключительно исходитъ изъ пріобрѣтаемаго нами путемъ опыта познанія постоянныхъ возможностей. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что ощущенія эти никогда не перестаютъ намъ сопутствовать, и что ихъ никогда не бываетъ тамъ, гдѣ насъ нѣтъ; но что касается до постоянныхъ возможностей, то не подлежитъ сомнѣнію, что мѣстонахожденіе ихъ не измѣняется вмѣстѣ съ нашимъ передвиженіемъ: онѣ возникаютъ или исчезаютъ совершенно независимо отъ нашего присутствія или отсутствія. И сверхъ того, не для однихъ насъ, но и для другихъ личностей, онѣ остаются все тѣми же постоянными возможностями, и останутся такими даже и тогда, когда мы потеряемъ способность чувствовать. Такимъ образомъ, наши дѣйствительныя ощущенія и постоянныя возможности ощущенія представляютъ при сопоставленіи ихъ рѣзкій контрастъ, и становится ясно, что при обобщеніи понятія причины мы неизбѣжно устанавливаемъ различіе между постоянными возможностями ощущенія и нашими дѣйствительными ощущеніями и назсматриваемъ эти послѣднія какъ дѣйствія первыхъ.

Въ заключеніе остается упомянуть еще объ одномъ замѣчаніи Милля, способствующемъ установленію вѣрнаго взгляда на его теорію. Изъ предшествовавшаго мы имѣли уже случай видѣть, какимъ образомъ теорія эта объясняетъ склонность нашу приписывать грушѣ возможностей такое постоянное бытіе, которымъ не обладаютъ наши ощущенія, и бо́льшую реальность, которой въ ощущеніяхъ нашихъ не оказывается; теперь предстоитъ еще показать, что эта самая теорія объясняетъ, почему мы усматриваемъ въ первичныхъ свойствахъ тѣлъ (протяженность, непроницаемость, число, величина, форма, положеніе, подвижность) бо́льшую степень объективности, чѣмъ въ свойствахъ вторичныхъ (цвѣтъ, звукъ, запахъ, температура). Это

происходитъ оттого, что мы всегда можемъ констатировать присутствіе ощущеній, отвѣчающихъ такъ называемымъ первичнымъ свойствамъ, если часть группы возможностей находится въ наличности, тогда какъ вслѣдствіе большой мимолетности вторичныхъ свойствъ, мы не такъ легко можемъ представить себѣ ихъ присутствіе тамъ, гдѣ некому воспринимать ихъ. Отсюда—постоянство ощущеній, отвѣчающихъ первичнымъ свойствамъ и случайность—отвѣчающихъ вторичнымъ. Вторичныя сверхъ того измѣняются сообразно различію лицъ и преходящей чувствительности органовъ; первичныя же, насколько мы въ состояніи судить, сохраняютъ свою неизмѣняемость и не зависятъ отъ индивидуальности и времени.

Покончивъ съ изслѣдованіемъ объекта, Милль въ XII главѣ переходитъ къ субъекту, прилагая къ нему ту же психологическую теорію. которая руководила предшествовавшимъ анализомъ. И въ настоящемъ случаѣ Милль опять отправляется отъ той непререкаемой истины, что субъектъ, наше «я» или духъ (mind), открывается намъ лишь въ проявленіяхъ сознанія и отдѣленнымъ отъ нихъ вовсе не можетъ мыслиться. Знать его, представить себѣ его, возможно только чрезъ посредство преемства различныхъ чувствованій, называемыхъ метафизиками состояніями или модификаціями духа. Остается неподлежащимъ сомнѣнію, однако же, что наше понятіе духа, такъ же какъ и понятіе матеріи, есть понятіе постояннаго нѣчто, противополагаемаго непрерывному потоку ощущеній и чувствованій или состояній сознанія, относимыхъ нами къ этому «нѣчто». Оно, это нѣчто, представляется нами неизмѣннымъ, тогда какъ чувствованія, чрезъ посредство которыхъ совершается его проявленіе, претерпѣваютъ измѣненія. Постоянство, на которое здѣсь указывается, требуетъ и въ настоящемъ случаѣ, когда оно приписывается духу, такого же объясненія, какое требовалось, когда оно являлось предикатомъ матеріи. Питаемая мною увѣренность въ существованіи моего духа даже и тогда, когда не является чувствующимъ, мыслящимъ и сознающимъ свое собственное существованіе, сводится къ увѣренности въ существованіи постоянной возможности этихъ состояній. Если я представляю себя погруженнымъ въ сонъ безъ сновидѣній, или же въ сонъ смерти, и питаю увѣренность, что мое «я», или, все равно, мой духъ продолжаетъ, хотя бы и безсознательно, существованіе свое и въ этихъ состояніяхъ, то, подвергая увѣрен-

ность мою самому тщательному изслѣдованію, можно будетъ открыть только то, что увѣренность эта сводится къ увѣренности въ сохраненіи моей способности къ ощущенію и въ этомъ состояніи,—способности, претерпѣвающей перерывы только потому, что въ наличности не оказывается всѣхъ тѣхъ условій, которыя необходимы для поддержанія ея въ дѣятельномъ состояніи, и что чуть только явятся эти условія, способность моя оживетъ и возстановится во всей своей полнотѣ. Такимъ образомъ я выражаю, значитъ, что считаю эту способность постоянною возможностью. Итакъ, я не усматриваю никакого препятствія для того, чтобы разсматривать духъ какъ рядъ нашихъ дѣйствительныхъ ощущеній (къ которымъ теперь слѣдуетъ присоединить еще и внутреннія чувствованія), соединенныхъ съ безконечными возможностями чувствованія, требующихъ для своего осуществленія такихъ условій, которыхъ въ данный моментъ можетъ и не быть, но которыя, какъ возможности, не перестаютъ существовать и многія изъ которыхъ могутъ сейчасъ же перейти въ дѣйствительность.

Чтобы лучше выяснить свою теорію во всемъ ея объемѣ, Милль считаетъ полезнымъ сопоставить ее съ тремя вопросами, которые весьма натурально возникаютъ по ея поводу и которые весьма часто и были выставляемы по ея поводу, но разрѣшеніе которыхъ нерѣдко было крайне ошибочно. Если теорія вѣрна, если мое «я» дѣйствительно представляетъ лишь рядъ чувствованій, или какъ ихъ называли, нить сознаній, дополненную сознаніями неосуществленными, но возможными, если къ этому только сводится духъ или наше «я», то, спрашивается, какія доказательства можемъ мы представить по отношенію къ существованію другихъ «я», намъ подобныхъ; какъ докажемъ мы существованіе гиперфизическаго міра и, наконецъ, что̀ представимъ мы для доказательства безсмертія души?

Отвѣчая на первый изъ этихъ вопросовъ, Милль говоритъ, что его теорія не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что могло бы препятствовать мнѣ мыслить о другихъ, подобныхъ мнѣ существахъ, духъ которыхъ представляетъ также рядъ чувствованій. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ образовалась у меня увѣренность, что видимыя мною движущіяся и говорящія существа обладаютъ чувствованіями и мыслями и не лишены того, что̀ мы называемъ духомъ? Увѣренность эта образовалась у меня, ѣчно, не интуитивно. Отъ знаковъ я заключаю къ выражае-

мымъ имъ чувствамъ; мой собственный опытъ служитъ основою моей индукціи. Но этотъ логическій пріемъ рѣшительно ничего не теряетъ по отношенію его закономѣрности при предположеніи, что и матерія, и духъ должны быть разсматриваемы какъ постоянныя возможности ощущенія и чувствованія. Но если психологическая теорія не нарушаетъ моей увѣренности въ существованіи другихъ «я», мнѣ подобныхъ, то и увѣренность въ бытіи гиперфизическомъ нисколько ею не нарушается. Предположимъ, что я разсматриваю гиперфизическое бытіе какъ рядъ гиперфизическихъ мыслей, продолженныхъ въ безконечность, и вы признаете, что я принимаю гиперфизическое бытіе за фактъ столь же несомнѣнный, какъ мое собственное существованіе. Итакъ, увѣренность, о которой теперь идетъ рѣчь, не можетъ ничего ни потерять, ни выиграть отъ предлагаемой психологической теоріи. Точно то же можно сказать и по отношенію къ вопросу о безсмертіи: представить себѣ преемство чувствованій или нить сознаній, идущихъ въ безконечность, такъ же легко, какъ и представить духовную субстанцію, не перестающую существовать. И если имѣются подтверждающія такую мысль доказательства, они могутъ найти одинаковое примѣненіе какъ въ той, такъ и въ другой теоріи.

Возраженія, устраненныя изложенными выше соображеніями, относятся къ числу внѣшнихъ; психологическая теорія имѣетъ, однако же, дѣло не съ одними ими; есть еще внутреннія затрудненія, которыя, по мнѣнію Милля, никакой метафизическій анализъ не можетъ устранить. Рядомъ съ чувствованіями даннаго момента и возможностями чувствованій въ это же самое время, есть еще цѣлая группа явленій, подлежащихъ включенію въ перечень элементовъ, входящихъ въ наше понятіе духа. Нить сознаній, изъ которыхъ слагается общая совокупность явленій психической жизни, состоитъ не только изъ ощущеній даннаго момента, но также отчасти и изъ припоминаній и ожиданій. Но что же слѣдуетъ намъ разумѣть подъ этими послѣдними? Сами по себѣ, они—чувствованія данной минуты, состоянія сознанія этой минуты, и въ этомъ отношеніи они ничѣмъ не отличаются отъ ощущеній. Болѣе того, всѣ они сходственны съ данными ощущеніями или чувствованіями, испытанными нами ранѣе. Имъ присуща, однако же, одна особенность, заключающаяся въ томъ, что каждое изъ нихъ предполагаетъ увѣренность, переступающую границы ихъ

собственнаго существованія. Ощущеніе ничего не предполагаетъ, но припоминаніе объ ощущеніи, даже и тогда, когда оно не относится къ какой-нибудь опредѣленной датѣ, предполагаетъ увѣренность, что копируемое имъ ощущеніе дѣйствительно существовало въ прошедшемъ; ожиданіе же предполагаетъ болѣе или менѣе положительную увѣренность въ неизбѣжности возникновенія въ будущемъ того ощущенія или чувствованія, которое ожиданіе это имѣетъ въ виду. Явленія, предполагаемыя обоими этими состояніями сознанія, не могутъ быть достаточно точно выражены безъ указанія на то, что предполагаемая ими увѣренность и есть именно та, которую имѣлъ или буду имѣть по отношенію къ минувшимъ или ожидаемымъ ощущеніямъ именно я, а не кто другой. Фактъ, относительно котораго высказывается увѣренность, заключается въ томъ, что ощущенія образовали прежде или образуютъ позже одну часть того ряда состояній или той цѣпи сознанія, другую часть которыхъ представляютъ припоминанія или ожиданія настоящаго момента. Если же мы разсматриваемъ духъ, какъ рядъ чувствованій, то для насъ становится обязательно пополнить наше утвержденіе, назвавъ его рядомъ чувствованій, сознающимъ себя, какъ рядъ прошедшій и будущій, и передъ нами является альтернатива, или поддерживать увѣренность въ томъ, что духъ или наше «я» есть нѣчто различное отъ ряда чувствованій, или ряда возможностей ихъ, или принять парадоксъ, будто бы нѣчто, заключающееся предположительно только въ рядѣ чувствованій, въ состояніи сознавать себя таковымъ.

Заканчивая главу, посвященную приложенію психологической теоріи объекта къ изученію субъекта, Милль дѣлаетъ одно весьма важное замѣчаніе, въ высшей степени достойное вниманія всякаго, кто желаетъ составить о вышеизложенной теоріи вполнѣ правильное сужденіе. Дѣло заключается въ томъ, говоритъ Милль, что мы въ данномъ случаѣ становимся лицомъ къ лицу съ той конечной необъяснимостью, къ которой мы неизбѣжно приходимъ, когда достигаемъ предѣльныхъ фактовъ; вообще говоря, можно утверждать, что одна формулировка кажется непонятнѣе другой только потому, что вся наша рѣчь, какъ приспособленная къ первой, можетъ, при изложеніи второй, пользоваться лишь такими терминами, которые ее отрицаютъ. Дѣйствительный камень преткновенія, на который мы тутъ наталкиваемся, заключается, быть можетъ, не въ теоріи,

а въ самихъ фактахъ. Дѣйствительная необъяснимость состоитъ, можетъ быть, въ томъ, что нѣчто, переставшее существовать или еще не возникшее, можетъ извѣстнымъ образомъ представиться настоящимъ, иначе говоря, что рядъ чувствованій, безконечно бо̀льшая часть конхъ относится къ прошедшему или будущему, можетъ быть сосредоточена, такъ сказать, въ одномъ настоящемъ представленіи, связанномъ съ увѣренностью въ его реальности. Я думаю, заключаетъ Милль это разсужденіе, что всего умнѣе—принять необъяснимый фактъ, не выставляя никакой теоріи его происхожденія; когда же намъ приходится говорить объ этомъ фактѣ, пользуясь терминами какой бы то ни было теоріи,—употреблять эти термины съ оговоркою о ихъ значеніи.

Здѣсь будетъ умѣстно сказать нѣсколько словъ о тѣхъ положеніяхъ Милля, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ его рѣшенію вопроса о субстанціи и которыя дополняютъ вышесказанное весьма вѣрными чертами.

Вмѣстѣ съ идеей субстанціи удерживается или падаетъ и идея «вещи въ себѣ». И этотъ призракъ сошелъ со сцены научной философіи, повинуясь заклинанію Милля. «Очевидно, что все, сказанное о непознаваемости «вещи въ себѣ», не препятствуетъ намъ приписывать этой вещи извѣстные аттрибуты или свойства, лишь бы только мы признавали свойства эти относительными,—говоритъ Милль, разсуждая объ относительности познанія.—Если вещь производитъ впечатлѣнія, которыя наши зрѣніе, слухъ или осязаніе могутъ воспринять, то изъ этого слѣдуетъ,—выражая то же утвержденіе другими словами,—что вещь *можетъ* производить эти впечатлѣнія. Эти различныя возможности и слѣдуетъ считать свойствами данной вещи, и неопредѣленное множество ихъ надо признать открытымъ нашему познанію. Но это познаніе—чисто-феноменальное. Объектъ извѣстенъ намъ лишь въ одномъ спеціальномъ отношеніи, а именно въ томъ, что онъ производитъ извѣстныя впечатлѣнія на наши чувства, и все познанное нами сводится къ этимъ впечатлѣніямъ. Только это отрицательное значеніе и имѣетъ утвержденіе о непознаваемости «вещи въ себѣ», о непознаваемости и внутренней природы или сущности. Внутренняя природа или сущность какой-нибудь вещи можетъ быть разсматриваема какъ нѣчто неизвѣстное, какъ нѣчто такое, познаніе чего дало бы намъ объясненіе всѣхъ явленій, представляемыхъ данною

вещью. Но это неизвѣстное нѣчто есть предположеніе, лишенное очевидности. У насъ нѣтъ основанія для предположенія, что существуетъ нѣчто такое, что̀, будучи познано, могло бы дать уму нашему указанное удовлетвореніе, могло бы свести въ одно предложеніе всѣ доступныя познанію опредѣленія даннаго подлежащаго. Болѣе того, если бы такое центральное свойство существовало, оно не соотвѣтствовало бы идеѣ «внутренней природы», такъ какъ, если оно можетъ быть познано какимъ бы то ни было умомъ, то оно должно, подобно другимъ свойствамъ вещи, быть относительнымъ познающему его уму, т.-е. оно должно заключаться лишь въ извѣстномъ состояніи сознанія, вызываемомъ въ томъ умѣ. Иной идеи о познаніи мы не имѣемъ; иного смысла у глагола «познавать» не существуетъ» [1]).

Само собою разумѣется, что фантомъ «абсолюта», и до сихъ поръ ослѣпляющій метафизиковъ, не могъ сохранить свое прежнее, темное значеніе среди крушеній, изображенныхъ на предшествовавшихъ страницахъ. Вырабатывая для него опредѣленный смыслъ и съ этою цѣлью анализируя его совмѣстно съ понятіемъ безконечнаго, Милль начинаетъ съ того, что ставитъ на видъ отсутствіе необходимости въ объясненіи «безконечнаго». «Всякій понимаетъ—говоритъ Милль—что подъ безконечнымъ мы разумѣемъ величину, не имѣющую границъ. Когда мы говоримъ о безконечномъ времени или безконечномъ пространствѣ, мы предполагаемъ время, которое никогда не прекратится, предполагаемъ объемъ, который нигдѣ не имѣетъ предѣла. Терминъ «абсолютъ», благодаря разносмыслію своему, гораздо темнѣе; но, при сопоставленіи своемъ съ терминомъ «безконечный», абсолютъ (согласно этимологіи этого слова) означаетъ то, что закончено, завершено. Существуютъ нѣкоторыя вещи, наивысшая идеальная цѣнность которыхъ заключается въ количественной ихъ ограниченности,—ограниченности, предѣлъ которой никогда не достигается въ дѣйствительности. Въ этомъ смыслѣ отношеніе между абсолютнымъ и безконечнымъ въ достаточной мѣрѣ тѣсно (какъ сказалъ бы Бэнтамъ), а именно оно является отношеніемъ противоположенія. Напримѣръ, когда мы констатируемъ абсолютный минимумъ вещества, мы отрицаемъ его безконечную дѣлимость. Точно такъ же мы можемъ утверждать абсолютную, а не безконечную чистоту воды. Чистота

[1]) «Examination», p. 24.

воды не такой фактъ, чтобы, предположивъ достиженіе какой бы то ни было его степени, мы должны бы были необходимо допустить еще бо̀льшую его степень недостигнутою. Фактъ этотъ имѣетъ свой абсолютный предѣлъ: предполагаетъ законченность и полноту—если не въ дѣйствительности, то въ мысли. Постороннія вещества, могущія быть въ какомъ-нибудь сосудѣ воды, могутъ быть только въ конечномъ объемѣ, и по удаленіи ихъ невозможно мыслить даже, чтобы чистота воды могла возростать. Но, кромѣ значенія ограниченности, предѣльности, представляющихъ крайне интересную соотносительность съ идеей безконечнаго, терминъ «абсолютный» имѣетъ еще и другія значенія, хотя нерѣдко и смѣшиваемыя съ понятіями только что разсмотрѣнными, но въ дѣйствительности не имѣющія ничего съ ними общаго. «Абсолютный» часто значитъ — противоположный «относительному»; но и въ этомъ противопоставленіи терминъ этотъ имѣетъ не одно, а нѣсколько значеній. Въ самомъ дѣлѣ, терминъ «относительный» не имѣетъ совершенно опредѣленнаго значенія, а, между тѣмъ, вездѣ, когда имъ пользуются, слово «абсолютный» сопутствуетъ ему въ качествѣ его отрицанія. Имѣя различныя значенія, «абсолютный» значитъ еще то же, что независимый отъ чего бы то ни было; то, что̀ существуетъ и есть, что̀ есть, по своей собственной природѣ, а не въ силу причины, заключающейся въ другой вещи. Въ этомъ четвертомъ смыслѣ, такъ же какъ и въ третьемъ, «абсолютный» представляетъ отрицаніе отношенія,— не отношенія вообще, а извѣстнаго опредѣленнаго отношенія, выражаемаго терминомъ «дѣйствіе» (effect). Такое значеніе дѣлаетъ этотъ терминъ синонимомъ «безпричиннаго» и потому естественно принимается вмѣсто первой причины [1]).

Психологическая теорія Милля, изложенная на предшествовавшихъ страницахъ, встрѣтила по своемъ появленіи такую массу возраженій, что автору ея пришлось посвятить полемикѣ со своими противниками цѣлую добавочную главу, нѣкоторыя извлеченія изъ которой мы и намѣрены теперь представить читателю. Милль начинаетъ замѣчаніемъ, что метафизики, рѣшеніе которыхъ было предвзято и которые по отношенію къ его теоріи стали въ положеніе враждебное, обнаружили такую мѣру оппозиціи, которая какъ разъ была пропорціональна от-

[1]) Ibid., p. 50.

сутствію у нихъ столь необходимой метафизику способности представлять себя разсматривающимъ вопросъ съ точки зрѣнія другой, чуждой ему теоріи. Такъ, они торжествовали, напримѣръ, придираясь къ представлявшемуся случаю сдѣлать ложные выводы изъ неизбѣжной для Милля необходимости пользоваться обыденною рѣчью. Они старались установить, что Миллевы доказательства по вопросу объ образованіи увѣренности въ существованіи матеріи предполагаютъ увѣренность въ существованіи матеріи какъ субстанціи, такъ какъ ему приходилось говорить о передвиженіи изъ комнаты въ комнату и т. п. «Мои противники забываютъ—говоритъ Милль—что употребленныя мною выраженія имѣютъ въ области психологической теоріи такой же опредѣленный смыслъ, какъ и въ области той теоріи, которой они придерживаются. Такъ, если говорится, напримѣръ, о переходѣ изъ комнаты въ комнату, то для психологической теоріи здѣсь идетъ рѣчь лишь о рядѣ ощущеній и возможностей ощущенія, изъ чего вовсе нельзя еще заключить, что ощущенія эти и возможности должны быть непремѣнно относимы къ лежащей внѣ всякихъ ощущеній и возможностей субстанціи. Стараясь выяснить, какимъ образомъ произошло то понятіе, о которомъ идетъ рѣчь, я долженъ былъ—говоритъ далѣе Милль—выражаться на языкѣ, наиболѣе понятномъ моему читателю. Вмѣстѣ съ тѣмъ я долженъ былъ оставаться вѣрнымъ психологической теоріи, и если бы противники мои попытались стать на точку зрѣнія этой теоріи, они ясно увидѣли бы, что я не прегрѣшилъ противъ послѣдовательности въ проведеніи моей мысли. Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ философы, изслѣдовавшіе со всею тщательностью этотъ вопросъ, могутъ подтвердить тотъ параллелизмъ обѣихъ теорій, для выраженія однихъ и тѣхъ же фактовъ, который не былъ оцѣненъ моими противниками; философы, о которыхъ я только-что упомянулъ, рѣшили, что идея субстанціи постулируется только какъ устой явленій, какъ связь для ряда или группы явленій, которыя безъ нея остаются лишенными связи. Отвлечемъ же мысль объ устоѣ и допустимъ, что явленія остаются и сохраняютъ связь въ тѣхъ же рядахъ и группахъ какою-нибудь другою силою или, пожалуй, не силою, а внутреннимъ закономъ,—и вотъ, хотя субстанціи и не стало, но всѣ послѣдствія, ради которыхъ предположено было существованіе субстанціи, остаются неизмѣнными. Индусы воображали, что земля должна держаться на слонѣ;

но земля вращается, не нуждаясь во внѣшней поддержкѣ, и самоуравновѣшивается на своемъ центрѣ. Декартъ думалъ, что для взаимодѣйствія земли и солнца необходима матеріальная, заполняющая пространство между ними, среда; но было найдено, что достаточно и одного нематеріальнаго закона тяготѣнія, и тогда среда и ея вихри исчезли, какъ излишніе».

Всѣ предшествовавшія разсужденія имѣли цѣлью уяснить условія, которыя психологическая теорія постулируетъ по отношенію къ самому духу; покончивъ съ этимъ вопросомъ, Милль переходитъ къ разсмотрѣнію тѣхъ условій, которыя теорія эта постулируетъ по отношенію къ природѣ или, выражаясь языкомъ Канта, по отношенію къ тому, что дано въ духѣ, какъ различное отъ его самого.

Прежде всего, говоритъ онъ, теорія постулируетъ ощущенія и, затѣмъ, извѣстный порядокъ этихъ ощущеній и различные ихъ роды.

На первомъ планѣ передъ нами является фактъ преемства ощущеній и только. Этотъ фактъ—фактъ преемства—слѣдуетъ считать наравнѣ съ самими ощущеніями фактомъ первоначальнымъ (primordial). Онъ предполагается всякою теоріею происхожденія ощущеній и потому это фактъ конечный. Если вмѣстѣ съ его постулированіемъ постулируется и реальность времени, но времени не какъ какой-либо сущности (entity), а лишь какъ неопредѣленной послѣдовательности преемства. При этомъ не рѣшается еще вопросъ о томъ, дается ли этотъ аттрибутъ ощущеній въ самихъ ощущеніяхъ или связывается съ ними законами духа, а также остается безъ отвѣта и вопросъ о томъ, исчезаетъ ли на этой высотѣ отвлеченія всякое различіе или нѣтъ. Вообще говоря, постулированіе указаннаго факта должно быть принято въ такихъ границахъ, въ которыхъ оно установлено, а не быть расширяемо произвольно, какъ на томъ настаивали нѣкоторые оппоненты.

Ощущеніямъ, продолжаетъ далѣе Милль, присуще не одно только преемство, но и одновременность. Этотъ аттрибутъ ощущеній не такъ очевидно первоначаленъ, какъ преемство. Нѣкоторые философы утверждаютъ, что ощущенія, повидимому одновременныя, представляютъ въ дѣйствительности быструю преемственность. Милль отвергаетъ этотъ взглядъ и замѣчаетъ при этомъ, что и принимающіе его все же таки должны остаться при постулированіи указаннаго различенія и признать, что мы

способны отдѣлять сознаваемое преемство отъ такого, которое чувствуется какъ одновременность.

Рядомъ съ этимъ двоякимъ порядкомъ, свойственнымъ ощущеніямъ, Милль указываетъ еще и на порядокъ въ этомъ порядкѣ, а именно: ощущенія бываютъ преемственны или одновременны въ постоянныхъ комбинаціяхъ. Какое-нибудь ощущеніе, являясь, какъ предшествующее, сопровождается всегда однимъ и тѣмъ же послѣдующимъ ощущеніемъ; точно такъ же складывается и ихъ одновременность; извѣстному ощущенію сосуществуетъ всегда одна и та же группа совмѣстныхъ ощущеній. Все это совершается, впрочемъ, не съ тою простотою, которая очерчена здѣсь краткости ради: однообразіе порядка, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, въ дѣйствительности гораздо сложнѣе. Послѣдующее ощущеніе не всегда дѣйствительно испытывается послѣ предшествующаго, а одновременныя ощущенія не всегда испытываются всѣ именно тогда, когда чувствуется одно изъ нихъ. Но всякое испытанное ощущеніе внушаетъ намъ основанную на опытѣ увѣренность, что каждое изъ остальныхъ ощущеній данной группы, если и не испытывается въ настоящій моментъ, можетъ быть испытано въ томъ случаѣ, когда признанные его антецеденты окажутся въ наличности. Такъ, напримѣръ, я испытываю извѣстное цвѣтовое ощущеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ зрительное—ощущеніе диска; оба эти ощущенія извѣстны мнѣ при этомъ какъ части ощущенія, полученнаго отъ чугуннаго ядра. Я заключаю, что въ настоящее время, при соблюденіи извѣстныхъ условій, я могъ бы испытывать и еще одно ощущеніе — ощущеніе твердости. Но это послѣднее ощущеніе для настоящаго момента не является для меня неизбѣжнымъ. Почему? Потому, что—какъ мнѣ извѣстно то изъ опыта—послѣднее изъ этихъ ощущеній не можетъ испытываться безъ предварительно испытаннаго другого ощущенія—мускульнаго напряженія и давленія. Зрительное ощущеніе является такимъ образомъ одновременнымъ не съ дѣйствительно испытуемымъ ощущеніемъ твердости, но лишь съ наличною его возможностью. Когда мы чувствуемъ одно, мы не испытываемъ непремѣнно въ то же время и другое, но намъ извѣстны тѣ условія, при которыхъ ощущеніе это становится дѣйствительнымъ. Теперь намъ станетъ понятно выраженіе: тѣло есть группа одновременныхъ возможностей ощущенія (а не одновременныхъ ощущеній). Легко понять, почему такъ рѣдко случается, чтобы всѣ ощущенія,

входящія въ данную группу, являлись бы осуществленными, точно такъ же намъ очевидно то, что констатированіе одного ощущенія вызываетъ представленіе о всей группѣ. Нѣтъ надобности вдаваться въ бо̀льшія подробности для того, кто усвоитъ себѣ основной смыслъ психологической теоріи, и долго еще придется твердить ее тѣмъ, которые окажутся не желающими, или неспособными стать на ея точку зрѣнія, бывшую до того времени имъ чуждой, и приложеніе которой по этой причинѣ остается для нихъ недоступнымъ.

Таково изложеніе психологической теоріи съ ея объективной стороны; оно—по словамъ Милля—не предполагаетъ ничего, что бы не было предварительно самымъ опредѣленнымъ образомъ постулировано и не постулируетъ ни одного изъ тѣхъ фактовъ, которые предстояло объяснить. Здѣсь постулируется также и «я», какъ чувствующій субъектъ, какъ носитель ощущеній, но сдѣлано это съ полнымъ на то правомъ, такъ какъ пока я еще слѣжу за происхожденіемъ понятія тѣла, а не «я», какъ то, конечно, и было ясно для внимательнаго читателя.

Перейдемъ теперь къ тѣмъ опроверженіямъ, которыя выставляетъ Милль противъ возраженій на его толкованія субъекта, какъ ряда возможностей чувствованія.

Изложеніе той части психологической теоріи, которая относится къ этому пункту, привело къ тому результату, что единственнымъ фактомъ, заставляющимъ утверждать существованіе «я», остается память (такъ какъ ожиданіе можно разсматривать какъ слѣдствіе памяти) и что фактъ этотъ притомъ же остается единственнымъ, психологическою теоріею необъясненнымъ, такъ что, по убѣжденію Милля, нѣтъ основанія для утвержденія, что познаніе нашего «я» возникаетъ ранѣе памяти. Истинное понятіе нашего «я» возникаетъ, по мнѣнію Милля, изъ воспредставленій [1]) памяти, пробужденной единственнымъ фактомъ, способнымъ пробудить ее ранѣе образованія какой бы то ни было ассоціаціи, а именно: появленіе ощущенія, подобнаго испытанному ранѣе. Фактъ узнанія ощущенія, фактъ припоминанія его, какъ обыкновенно говорится, является простѣй-

[1]) Необходимость терминовъ, соотвѣтствующихъ англійскимъ «representation» и «representation» само собою ведетъ къ термину «воспредставленіе», долженствующему выразить воспроизведеніе представленія памятью.

шимъ и элементарнѣйшимъ фактомъ памяти. Этотъ фактъ и слѣдуетъ разсматривать какъ необъяснимое звено, связующее сознаніе настоящей минуты съ сознаніемъ минувшимъ, которое онъ намъ припоминаетъ. Говоря такъ, мы устанавливаемъ то приблизительное положительное понятіе о «я», какое только намъ доступно. Въ этой связи, говоритъ далѣе Милль, заключается нѣчто реальное, столь же реальное, по крайней мѣрѣ, сколь реальны ощущенія, и его нельзя разсматривать какъ продуктъ законовъ мышленія, не имѣющій за собою никакихъ соотвѣтствующихъ ему фактовъ, хотя можно много спорить, конечно, о томъ процессѣ, при помощи котораго мы достигаемъ этого познанія, въ особенности же тогда, когда отъ опредѣленія этого процесса потребуется значительная точность. Одно вѣрно, это то, что этотъ самобытный элементъ, природа котораго не имѣетъ ничего общаго съ другими вещами, соотвѣтствующими имѣющимся въ нашемъ распоряженіи названіямъ, и долженствующій имѣть названіе, собственно ему принадлежащее, есть именно то, что мы называемъ нашимъ «я». Въ этомъ смыслѣ я приписываю реальность этому «я»,—моему собственному духу—различающемуся отъ постоянныхъ возможностей ощущенія—этой единственной реальности, которую я признаю въ матеріи. Въ силу же наведенія, основаннаго на опытѣ этого самого «я», мною приписывается реальность и другимъ «я».

«Опредѣливъ—говоритъ далѣе Милль—мой взглядъ на реальность нашего «я», поскольку вопросъ этотъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ относящійся къ онтологіи, я перехожу къ другому вопросу, а именно къ вопросу объ относительности знанія и утверждаю, что какова бы ни была природа, приписываемая нами духу, духъ познается самъ собою только феноменально, какъ рядъ чувствованій или цѣпь состояній сознанія. Мы вынуждены признать, что каждое звено этой цѣпи связано съ другимъ звеномъ какою-то общею всѣмъ имъ связью,—связью, которую нельзя отождествить, впрочемъ, съ самими чувствованіями, которая остается неизмѣнною во всѣхъ отдѣльныхъ звеньяхъ цѣпи и которую мы поэтому называемъ постоянною. Вотъ все, что мы въ состояніи утверждать по отношенію къ духу. Приписывая ему чувствованія и состоянія сознанія въ настоящемъ и прошедшемъ и возможности повторенія ихъ, мы исчерпываемъ всѣ тѣ его аттрибуты, которые мы можемъ считать положительными, за исключеніемъ постоянства, которое

мы тоже можемъ признать за нимъ». Употребляя поэтому безразлично термины: «духъ» и «состояніе сознанія», Милль настаиваетъ на необходимости для всякаго читателя постоянно помнить о тѣхъ разъясненіяхъ, которыя были имъ представлены.

Теперь намъ нетрудно будетъ усвоить понятіе коррелативизма, какъ оно устанавливается у Милля, такъ какъ понятіе это вытекаетъ само собою изъ предшествующихъ разсужденій. Всякое ощущеніе, какъ то и очевидно, неизбѣжно ассоціируется съ постоянными возможностями—съ объектомъ, съ одной стороны, и съ рядомъ чувствованій—съ субъектомъ—съ другой. Объектъ, ощущаемый и субъектъ ощущающій, связующіеся въ ощущеніи, должны бы были наложить печать своей соотносительности на терминъ, ее выражающій, или, иначе говоря, понятіе ощущенія должно бы выражаться двумя терминами, изъ которыхъ одинъ представлялъ бы ощущеніе въ его противопоставленіи субъекту, другой—въ противопоставленіи его объекту. Замѣтимъ, однако же, тотъ фактъ, что необходимость эта не была почувствована, и что потребность коррелативнаго термина для выраженія понятія относительности считалась удовлетворенною въ данномъ случаѣ терминами объектъ и субъектъ самими по себѣ, при чемъ имѣлась въ виду прямая относительность объекта къ субъекту, а не та, которая существуетъ между объектомъ и ощущеніемъ, съ одной стороны, субъектомъ и ощущеніемъ—съ другой. Не подлежитъ сомнѣнію, конечно, что соотношеніе между субъектомъ и объектомъ существуетъ, но существуетъ оно только при посредствѣ ощущенія, или, иными словами, оно состоитъ изъ тѣхъ различныхъ и особенныхъ отношеній, въ которыхъ каждая изъ сторонъ стоитъ къ ощущенію. Субъектъ и объектъ, духъ и матерія извѣстны намъ только какъ такое нѣчто, къ которому мы относимъ всѣ наши ощущенія и чувствованія; другого понятія о нихъ мы не имѣемъ. Самое ихъ существованіе, поскольку оно намъ извѣстно, выражается въ одномъ только отношеніи каждаго изъ нихъ къ состоянію нашихъ чувствованій. Взаимное же ихъ отношеніе заключается въ отношеніи этихъ отношеній. Непосредственными коррелативами является не пара: субъектъ, объектъ, но двѣ пары: объектъ, ощущенія (разсматриваемыя объективно); субъектъ, ощущенія (разсматриваемыя субъективно).

Таковъ принципъ коррелативизма, какимъ онъ является въ изложеніи Милля. Коррелативизмъ, согласно этому изложенію,

есть соотношеніе двухъ отношеній: субъекта къ ощущенію, съ одной стороны, и объекта къ ощущенію—съ другой; ощущеніе же является его общимъ выраженіемъ; моменты же, изъ которыхъ онъ слагается, опредѣляются такъ: объектъ есть постоянная возможность ощущенія, субъектъ—постоянная возможность чувствованія.

Изъ трехъ этихъ тезисовъ послѣдній оставленъ Миллемъ въ такомъ незаконченномъ видѣ, который самъ онъ считалъ не вполнѣ разрѣшающимъ относящуюся къ нему проблему, а потому нельзя не признать, что правильная его оцѣнка можетъ воспослѣдовать лишь при томъ условіи, когда будетъ принята во вниманіе оговорка Милля и вмѣстѣ съ тѣмъ не будетъ упущено изъ виду, что при всемъ несовершенствѣ или, пожалуй, невыполнимости обработки понятія «постоянныхъ возможностей чувствованія»—понятіе это никогда не переставало въ глазахъ самого Милля соотвѣтствовать не пустой фикціи, а вполнѣ реальному, несомнѣнно существующему «субъекту».

Что касается второго тезиса, то тезисъ этотъ, какъ выработанный окончательно, особенно стойко былъ защищаемъ Миллемъ противъ цѣлой литературы самыхъ разнообразныхъ опроверженій и возраженій. Сила положенной въ основаніе этого тезиса мысли сказалась и въ этой поднятой имъ въ свое время бурѣ, и въ томъ живомъ интересѣ, который онъ не перестаетъ возбуждать даже и теперь: черезъ 17 лѣтъ послѣ смерти Милля не перестаютъ появляться изслѣдованія его значенія и состоятельности. Диссертація Штёрринга, книга Пиклера и статьи Стаута и Ганзена доказываютъ какъ нельзя убѣдительнѣе, что даже ошибки и слабости Милля способны еще въ наше время сильно волновать умы, заставляя ихъ вдумываться въ рѣшеніе тѣхъ вопросовъ, которые занимали Милля и ставили на ноги цѣлую оппозиціонную армію тѣхъ, «whose metaphysical opinions were already made up.».

Третій, наиболѣе интересный намъ, тезисъ Милля можетъ, какъ то и очевидно, сохранить все свое значеніе при всякихъ поправкахъ, измѣненіяхъ и дополненіяхъ, какія только опытъ, наблюденія и методическое мышленіе могутъ внести въ два первые. При оцѣнкѣ этого тезиса надо имѣть въ виду не столько то, что̀ было достигнуто Миллемъ, сколько то, что̀ было имъ намѣчено. Онъ стремился обосновать соотносительность субъекта и объекта, какъ двухъ реальностей, онъ искалъ для постановки

и рѣшенія своего вопроса опору въ одной только области твердо установленныхъ фактовъ... Идя по этому пути, онъ сдѣлалъ, что̀ могъ; другіе, какъ увидимъ далѣе, указали на его ошибки и оплошности, нѣкоторые пошли далѣе, исправили его рѣшеніе, сдѣлали дѣло Милля лучше его самого; но заслугой Милля все же осталось возобновленіе въ новѣйшее время той антиметафизической философіи, которая безъ его вліянія долго бы еще не выработала своей теоріи познанія и поэтому, можетъ быть, и до сихъ поръ не вышла бы на тотъ плодотворный путь критики и широкаго развитія, на которомъ она теперь находится.

На совершенно ложный путь напалъ бы тотъ, кто сталъ бы призывать къ своему суду Милля, какъ систематика, какъ одного изъ тѣхъ созидателей мудреныхъ и сложныхъ построеній, изъ которыхъ сто̀итъ только выдернуть одно звено, чтобы имѣть наслажденіе любоваться крушеніемъ всего зданія и затѣмъ трубить о побѣдѣ. Милль, въ теченіе всей своей жизни, былъ искателемъ истины, изслѣдователемъ, критикомъ,—такъ характеризуютъ его Джонъ Морли и Бельфортъ Баксъ, и къ такой же точно формулировкѣ можетъ быть сведена и характеристика, сдѣланная Рибо̀ [1]). Главною заслугою Милля, съ этой точки зрѣнія, является то умственное возбужденіе, которое онъ сообщилъ соприкасавшимся съ нимъ умамъ, та сила убѣдительности, которая составляла тайну его вліянія,—сила, не нуждавшаяся ни въ герольдахъ, ни въ апломбѣ импонирующаго авторитета, къ обаянію котораго многіе успѣли ужъ очень попривыкнуть [2]).

Самъ Милль, какъ человѣкъ въ высшей степени не тщеславный, скромный и добросовѣстный, не выставлялъ своей философіи оригинальною, а утверждалъ, какъ мы уже упоминали, что эта философія, какъ не составляющая чьего-либо единоличнаго достоянія, была достояніемъ вѣка, продолженіемъ традицій великихъ умовъ науки, открытія которыхъ сдѣлали родъ человѣческій такимъ, каковъ онъ есть. Съ этой стороны Милль является представителемъ «поворота» къ Локку, Юму и Брауну, въ нѣкоторой мѣрѣ напоминающемъ тотъ «поворотъ» къ Канту,

---

[1]) «Critical miscellanies», by John Morley. (London, 1886. Vol. III, pp. 37—54),—«A Handbook of the history of Philosophy», by E. Belfort Bax. London, 1886, pp. 377—378.—«La psychologie anglaise contemporaine». 2-me éd. Paris, 1875, pp. 99 et suiv.

[2]) *Morley*, ibid.

о которомъ намъ придется еще говорить въ одной изъ слѣдующихъ главъ.

Чтобы ясно представить себѣ соотношеніе между Ог. Контомъ и Миллемъ—этими двумя философами, черпавшими изъ одного и того же общаго источника,—обратимъ прежде всего вниманіе на различіе пріемовъ разграниченія метафизики и положительнаго знанія у перваго и у второго. Для Ог. Конта терминъ «философія» означалъ «понятіе міра» (une conception du monde),—понятіе, слагающееся изъ основныхъ понятій шести абстрактныхъ наукъ его классификаціи и совершенно чуждое междунаучнымъ и всенаучнымъ принципамъ, для которыхъ въ его классификаціи не было и мѣста. Этому шестичленному «понятію міра» противополагалась метафизика, какъ пережитое міроразумѣніе, но противоположеніе это, къ несчастью для Контовой системы, было установлено крайне шатко: довольно сказать, что даже химическое сродство Контъ считалъ метафизическимъ положеніемъ и предполагалъ, что химики вѣрятъ въ какую-то таинственную сущность, обитающую въ тѣлахъ и влекущую ихъ другъ къ другу. Въ концѣ-концовъ невозможно было рѣшить, разумѣетъ ли Контъ подъ метафизическими тѣ вопросы, которые имѣютъ въ виду фиктивные объекты—сущности, или имѣютъ въ виду тѣ, которые обрабатываются ложнымъ методомъ и даютъ фиктивные результаты, какъ мы и имѣли уже случай отмѣтить выше. Между понятіемъ «сродства», напримѣръ, соотвѣтствующаго извѣстнымъ фактамъ, и понятіемъ «теплорода», указывающаго на скрытый за фактами фиктивный объектъ, должно было установиться принципіальное различіе, а его-то у Конта и не оказывается.

Въ критикѣ системы Конта Миллю предлежала важная и трудная задача, и если бы онъ рѣшилъ ее вполнѣ, т.-е. если бы онъ окончательно поглотилъ Контовскій позитивизмъ позитивизмомъ новымъ—въ широкомъ значеніи этого термина, то онъ отнялъ бы всякій «raison d'être» у послѣдующихъ недоразумѣній и сразу двинулъ бы дѣло на полъ-столѣтія впередъ. Нельзя сказать, къ сожалѣнію, что дѣло было именно такъ. Критикуя Ог. Конта, Милль то подвигался впередъ рука объ руку съ Контомъ, то въ большей или меньшей степени расходился съ нимъ. Оцѣнить значеніе этихъ взаимныхъ отношеній двухъ мыслителей весьма нетрудно въ настоящее время, такъ какъ ретроспективно ясно представляется всякому, что могло давать раз-

витію позитивныхъ воззрѣній поступательный ходъ и что могло задерживать это развитіе или даже извращать его. Все что подрывало догматичность Контовскихъ утвержденій, что разрушало косность и узость схемы, то, несомнѣнно, должно быть отнесено къ явленіямъ первой категоріи,—таковы были поправки іерархизаціи наукъ; что же стушевывало характеристическія черты установленныхъ Контомъ фазисовъ историческаго хода умственнаго развитія, то непзбѣжно подпадаетъ подъ явленія послѣдней категоріи, каковы были, напримѣръ, замѣчанія Милля о «законѣ трехъ состояній», лишившія этотъ законъ его основного гносеологическаго значенія.

Великою заслугою Милля навсегда останется, конечно, сведеніе понятія философіи съ онтологической почвы на гносеологическую. Литтрé и другіе ученики Конта могли повторять впослѣдствіи до пресыщенія наивныя разсужденія о томъ, что самый объектъ изученія іерархизованъ, и іерархизованъ именно такъ, какъ то было высказано Контомъ, —для Милля и его послѣдователей утвержденія эти разъ навсегда отлетѣли въ прошедшее, и философія—какъ то твердо установилъ Милль—стала научнымъ познаніемъ человѣка, какъ существа разумнаго, нравственнаго и общественнаго. И если бы этотъ тезисъ коррелативизма—этотъ первый шагъ осуществленія Миллевскаго принципа не страдалъ нѣкоторыми недостатками, Милль могъ бы по справедливости занять въ исторіи развитія позитивной философіи такое высокое положеніе, котораго не могли бы пошатнуть никакія критики. Теперь же нельзя не признать, что дѣйствительная заслуга Милля вполнѣ соотвѣтствуетъ той общей оцѣнкѣ, которую дѣлаетъ Лаасъ, и которую мы привели выше. Какъ ни старался удержаться Милль на почвѣ фактичности, ему не удалось, однако же, избѣгнуть нѣкоторыхъ роковыхъ ошибокъ, которыя подставили ему фикціи вмѣсто фактовъ и лишили его той твердой почвы, которую онъ такъ старался сохранить. Главнѣйшею его ошибкою, какъ показалъ Ганзенъ, слѣдуетъ считать неразличеніе понятія возможности конкретной отъ понятія возможности метафизической. Поскольку Милль сбивается на это послѣднее, постольку онъ вращается въ пустотѣ, т.-е. въ области метафизики, и постольку же является несостоятельнымъ и его опредѣленіе «постоянныхъ возможностей ощущенія», мелькающее въ его аргументаціи часто безъ достаточной выдержки и отъ времени до времени измѣняющее свое значеніе.

Лаасъ, различающій понятія возможности эмпирической и возможности метафизической, справедливо можетъ считать терминъ Милля—«постоянныя возможности ощущенія»—мѣткимъ для выраженія понятія «объективности», хотя онъ находитъ нужнымъ замѣтить при этомъ, что терминъ этотъ неполонъ, такъ какъ онъ не заключаетъ въ себѣ указанія на тѣ нормирующія условія, при которыхъ должно быть мыслимо возможное ощущеніе, т.-е. не ставитъ рядомъ съ содержаніемъ каждаго личнаго сознанія, содержаніе того сознанія, которое Лаасъ называетъ «сознаніемъ вообще». Данное личнымъ сознаніемъ можетъ быть и продуктомъ лихорадочнаго бреда, а потому, утверждаетъ Лаасъ, къ тѣмъ первоначальнымъ реальностямъ, которыми обладаетъ всякая единичная личность, слѣдуетъ добавить содержаніе того сознанія, которое, согласно раціонально обоснованнымъ нормамъ и методамъ, является какъ достояніе или насъ самихъ, или же другихъ личностей въ какое бы то ни было время.

Остается упомянуть въ заключеніе, что терминъ «постоянныя возможности ощущенія» вполнѣ совпадаетъ съ терминомъ Канта «возможное воспріятіе», служащее у этого философа для опредѣленія «объективныхъ явленій». Заимствованіе у Канта, какъ мы будемъ еще имѣть случай пояснить далѣе, не означаетъ еще само по себѣ перехода въ область метафизики; но черты этой для полноты картины пропустить тутъ было невозможно.

Окончивъ эту характеристику положенія Милля по отношенію къ позитивизму и показавъ, какъ намъ думается, что значительные недостатки, которые современная критика находитъ въ этомъ отношеніи у Милля, все же не отымаютъ у насъ права видѣть въ трудахъ этого мыслителя массу цѣнныхъ вкладовъ, принесшихъ значительную пользу развитію позитивной философіи, мы перейдемъ теперь къ ознакомленію съ другой оцѣнкою роли Милля въ позитивизмѣ,—оцѣнкою, рѣзко противоположною предыдущей.

Оцѣнка эта была сдѣлана В. С. Соловьевымъ въ 5-й книжкѣ философскаго журнала г. Грота (стр. 121). «Позитивная философія Ог. Конта и Герб. Спенсера [1])—говорится здѣсь—есть, конечно, лишь первый шагъ на пути къ отчетливому критическому міросозерцанію. Относительность знанія утверждается

[1]) Замѣтимъ, что сближеніе Конта и Спенсера ничѣмъ не оправдывается. О Спенсерѣ давно извѣстно, что «онъ готовъ бы содрать съ себя кожу, еслибъ замѣтилъ на ней пятна позитивной философіи».

здѣсь на томъ основаніи, что мы познаемъ только явленіе, а бытіе вещей самихъ въ себѣ остается недоступнымъ нашему уму. Но самое понятіе *явленія*, которымъ опредѣляется все это воззрѣніе, не подвергается въ немъ достаточному анализу и критикѣ. У позитивистовъ нѣтъ сколько-нибудь порядочной теоріи познанія или гнозеологіи и такимъ образомъ основная мысль этого ученія оказывается непровѣренною. Основатель школы, совсѣмъ ничего не понимавшій въ спеціально философскихъ вопросахъ, повидимому обусловливалъ познаваемыя явленія исключительно физіологическою дѣятельностью нервовъ и мозга; но такъ какъ нервы и мозгъ сами суть не болѣе какъ явленія, лишь относительно нами познаваемыя, то никакого толка съ этой стороны выйти не можетъ. Этотъ основной недостатокъ позитивизма Милль хотѣлъ восполнить на почвѣ англійской эмпирической психологіи, но запутался тутъ въ еще худшихъ противорѣчіяхъ и долженъ былъ въ концѣ-концовъ придти къ образцово-нелѣпой теоріи абсолютнаго феноменизма, утверждающей, что ничего не существуетъ, кромѣ состояній сознанія самихъ по себѣ, безъ сознающаго и сознаваемаго».

Эта оцѣнка Милля высказана въ такой формѣ, которая исключаетъ всякія опроверженія. Мы ихъ и не станемъ предъявлять. Оставляемъ мнѣніе г. Соловьева во всей его неприкосновенности рядомъ съ мнѣніемъ Лааса въ подтвержденіе той характеристической современной разноголосицы о Миллѣ, на которую мы указали выше, и полагаемъ, что приведенныя нами сопоставленія достаточно уяснили объективное положеніе вопроса, сочтемъ его на этотъ разъ исчерпаннымъ [1]).

---

[1]) Позволимъ себѣ здѣсь одно только замѣчаніе,—не о мнѣніи г. Соловьева, а лишь по его поводу. Теорія Милля, какъ мы видѣли выше, не лишена нѣкоторыхъ уклоненій къ сторонѣ метафизики и однимъ изъ своихъ положеній примыкаетъ къ Канту, котораго г. Соловьевъ считаетъ «отцомъ всякой метафизики» (стр. 123) и призывъ къ которому, по мнѣнію г. Соловьева, есть призывъ къ метафизикѣ. Положимъ, что все это такъ и есть; но какимъ же образомъ случилось, спросимъ мы въ такомъ случаѣ, что въ замѣткѣ, согласно основной мысли которой поворотъ отъ Конта къ Канту одобряется какъ поворотъ къ метафизикѣ и въ силу такого его характера вмѣняется въ заслугу тому,

2. Бэнъ, Гёкслн и др.

Дж. Ст. Милль, по словамъ Лааса, принадлежитъ къ числу владычествующихъ надъ вѣкомъ мыслителей, и въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ нимъ нельзя поставить другого англійскаго философа, вліяніе котораго въ Европѣ могло бы сравниться съ вліяніемъ Милля. Ознакомивъ читателя съ отношеніемъ къ позитивизму такого писателя, какъ Милль, мы могли бы считать себя свободными отъ указанія на другія англійскія имена, какою извѣстностью и какимъ бы почетомъ они безотносительно ни пользовались, такъ какъ ни Льюисъ, ни Гёкслн, ни кто другой не оказали на образованіе той научной философіи, о которой рѣчь впереди, никакого вліянія. Если же мы тѣмъ не менѣе приведемъ въ настоящей главѣ нѣсколько отдѣльныхъ мыслей извѣстнѣйшихъ англійскихъ позитивистовъ, то сдѣлаемъ это только затѣмъ, чтобы не потерять случая укрѣпить въ читателѣ тѣ взгляды, которые такъ или иначе выражаютъ все ту же нашу основную мысль. У нѣкоторыхъ изъ писателей, о которыхъ мы будемъ говорить, читатель замѣтитъ сведеніе философіи къ теоріи познанія и въ этомъ фактѣ, согласно тому, что было поясненно выше, увидитъ тотъ непзбѣжный фазисъ, который должна была пройти научная философія въ процессѣ своего установленія, такъ какъ единственною силою, способною вытѣснить пустыя умозрѣнія за предѣлы философіи, могла быть только гносеологія. Если нѣкоторые мыслители остановились на этомъ

кто совершилъ его,—какимъ образомъ въ этой самой замѣткѣ психологическая теорія Милля могла оказаться образцово-нелѣпою. Указывая на это противорѣчіе, мы вскрываемъ логическую несостоятельность замѣтки г. Соловьева; что же касается ея фактической несостоятельности, то она вполнѣ обнаруживается при удобныхъ случаяхъ въ другихъ главахъ.

фазисѣ, то эта остановка только оттѣняетъ шаги впередъ другихъ, пошедшихъ далѣе, и отмѣчаетъ то относительное значеніе, которое указанное отождествленіе отводитъ имъ въ рядахъ современныхъ представителей научной философіи. Замѣтимъ при этомъ, однако же, что отождествленіе теоріи познанія и философіи хотя и не даетъ простора той широкой формулѣ, о которой мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, все же таки фактически вытѣсняетъ уже метафизику, отбрасывая вовсе ту часть философіи, которая состоитъ изъ безсодержательнаго умозрѣнія, и перерабатывая остальное научнымъ методомъ. Извѣстная заслуга, какъ видно изъ этого, должна быть признана и за тѣми мыслителями, о которыхъ пойдетъ у насъ рѣчь далѣе.

Начнемъ съ изложенія драгоцѣннаго совѣта Бэна,—совѣта, направленнаго противъ метафизики и мѣтящаго къ общему и окончательному упраздненію безсодержательныхъ абстракцій.

Мысль Бэна крайне проста: онъ совѣтуетъ разлагать абстракціи высшаго порядка на соотвѣтствующія частныя положенія. Въ подкрѣпленіе своей мысли онъ указываетъ на замѣчаніе Сэмьюэля Бэли, преподавшаго изучающимъ философію очень полезное правило—сводить во всѣхъ важныхъ случаяхъ отвлеченныя формы на конкретныя. «Поступая такимъ образомъ,—говоритъ Бэли,—изслѣдователи философскихъ вопросовъ пріобрѣтутъ могущественное орудіе для преодолѣнія темныхъ и запутанныхъ метафизическихъ умозрѣній. Орудіе это дастъ имъ возможность ясно разглядѣть истинное значеніе той массы пустословія, которое сходитъ за философію».

Нѣкоторыя отвлеченныя понятія, — замѣчаетъ при этомъ Бэнъ,—по сложности своей дѣйствительно представляютъ не малыя трудности. Таково, напримѣръ, понятіе «жизни».

Трудность анализа понятія «жизнь» дѣйствительно является только тогда, когда его смѣшиваютъ съ болѣе общимъ понятіемъ—«существованіе». Это послѣднее, по словамъ Бэна, дѣйствительно требуетъ всѣхъ рессурсовъ, какими располагаетъ логика. Мы остановимся надъ его анализомъ термина Бэна, «существованіе» какъ ради интереса, представляемаго самимъ анализомъ, такъ и ради еще болѣе интереснаго его приложенія къ знаменитой формулѣ Декарта «Cogito, ergo sum».

Бэнъ, прилагая къ этому термину указанный имъ выше методъ разложенія на частныя понятія, задается, прежде всего, вопросомъ: о какихъ вещахъ принято говорить, что онѣ суще-

ствуютъ? «Не трудно найти такія вещи,—говоритъ онъ.—Звѣзды, моря, горы, минералы, растенія, люди, государства, города, торговля,—все это существуетъ. Итакъ, не по недостатку частностей затрудняемся мы опредѣленіемъ значенія термина «существованіе», а по причинѣ, прямо противоположной,—по причинѣ слишкомъ большого ихъ количества. Въ самомъ дѣлѣ, слово «существуетъ» означаетъ все, не исключаетъ ничего. Всѣ другія понятія предполагаютъ такую часть міра, которая обладаетъ указываемымъ этимъ понятіемъ свойствомъ, и такую, которая лишена его; понятіе «жизни», напримѣръ, предполагаетъ указанное различеніе, тогда какъ «существованіе» относится ко всему космосу, протяженному и не протяженному, матеріи и духу (mind). Не рискуемъ ли мы, мысля о всемъ, мыслить ни о чемъ?»

«Я утверждалъ (*Deductive Logic*, p. 59), — говоритъ далѣе Бэнъ,—что понятіе «существованія» есть понятіе не-реальное (an unreal notion), по той причинѣ, что оно лишено реальнаго противоположнаго утвержденія. Согласно закону всеобщей относительности, двѣ вещи, по крайней мѣрѣ, должны быть взаимно-противопоставлены, какъ *summa genera*: положимъ, субъектъ и объектъ, духъ и не духъ. Мы можемъ подвести эту двойственность къ общему итогу и назвать этотъ итогъ «существованіемъ»; но мы не можемъ вложить въ него новое значеніе. Два родовыя понятія все же таки, попрежнему, сохранятъ свой обоюдный контрастъ. Абсолютное единство есть слово, лишенное всякаго значенія.

«Полемизируя затѣмъ съ Миллемъ по поводу включенія понятія «существованія» въ число категорій, я высказалъ ему, что никакая наука и никакая часть логическаго метода не обосновывается на изученіи этого понятія. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ предложенія такого рода всегда болѣе или менѣе сокращены или эллиптичны; получая полное выраженіе, они подводятся или подъ понятіе существованія, или подъ понятіе послѣдовательности. Когда мы говоримъ, что существуетъ уговоръ для такой-то спеціальной цѣли, то мы предполагаемъ, что въ настоящее время извѣстная группа людей соединилась для достиженія означенной цѣли; а это сводится къ сложному положенію, разлагаемому на положенія сосуществованія и послѣдовательности (причинности). Утвержденіе, что порода птицъ Додо болѣе не существуетъ, значитъ, что это животное, прежде извѣстное

въ нѣкоторыхъ краяхъ, исчезло или вывелось, что его существованіе не связано болѣе съ извѣстною мѣстностью,—все это можетъ быть выражено безъ введенія въ предложеніе глагола «существовать», и выражено лучше, чѣмъ при его посредствѣ. Спрашиваютъ: «существуетъ» ли эѳиръ? Но правильно было бы придать вопросу этому такую форму: распространяются ли свѣтъ и теплота чрезъ посредство эѳирной среды, наполняющей пространство? Такое предложеніе имѣло бы причинный характеръ. Точно также должны бы построяться и другіе подобные вопросы, не всегда облекаемые, однако же, именно въ эту форму.

«Къ счастью, Милль отвѣчалъ на это замѣчаніе въ послѣднемъ изданіи *Логики* (Logic, vol. I, p. 113) слѣдующимъ образомъ: «Я вполнѣ принимаю законъ относительности м-ра Бэна: но я не вижу необходимости утверждать, что для разумѣнія такого или иного факта необходимо противопоставленіе его другому положительному факту. Противоположеніе, необходимое сознанію, не должно быть, какъ я думаю, противоположеніемъ двухъ положительныхъ фактовъ; оно можетъ имѣть мѣсто и между положительнымъ фактомъ, съ одной стороны, и отрицательнымъ — съ другой. Гоббсъ былъ, безъ всякаго сомнѣнія, правъ, утверждая, что всякое отдѣльное ощущеніе, продолженное на неопредѣленное время, перестаетъ сознаваться, и достаточно простого перерыва, чтобы сознаваемость его была возстановлена. Чтобы ощущать теплоту, нѣтъ необходимости въ переходѣ къ этому ощущенію отъ отсутствія всякаго ощущенія или отъ ощущенія другого рода. Относительная противоположность *бытія*, разсматриваемаго какъ *summum genus*, есть небытіе или ничто; и намъ приходится время отъ времени разсматривать и обсуждать вещи при одномъ только противуположеніи ихъ небытію.

«Я допускаю, что рѣшеніе вопроса о *существованіи* зависитъ обыкновенно, если не всегда, отъ предварительнаго вопроса о причинности и сосуществованія. Но «существованіе», тѣмъ не менѣе, не одно и то же, что̀ сосуществованіе и причинность, и можетъ быть утверждаемо и помимо ихъ. Значеніе отвлеченнаго имени «существованіе» и конкретнаго имени «бытіе», такъ же какъ и значеніе всѣхъ другихъ именъ, заключается въ ощущеніяхъ или состояніяхъ сознанія; особенность же ихъ состоитъ въ томъ, что они возбуждаютъ и способны возбуждать какое-нибудь ощущеніе или состояніе; какое именно—это все равно, но то или

иное должно непремѣнно находиться въ наличности. Упустивъ изъ вида это обстоятельство, Гегель и принялъ бытіе за абстракцію, выработанную мышленіемъ посредствомъ устраненія всѣхъ частныхъ опредѣленій, и пришелъ этимъ путемъ къ страдающему внутреннимъ противорѣчіемъ положенію о тождествѣ бытія и мышленія,—положенію, взятому имъ за основу всей его философіи. На самомъ дѣлѣ онъ принималъ понятіе чего-нибудь (of something) въ самомъ широкомъ значеніи этого слова».

«Я не могу согласиться съ мнѣніемъ Милля о достаточности противопоставленія данному понятію понятія небытія для приложимости закона относительности,—возражаетъ Бэнъ,—но въ настоящее время я придаю бо̀льшее значеніе мнѣнію Милля о положительной сторонѣ смысла разсматриваемаго термина, и именно о соотношеніи къ нему возбудимости того или иного, но непремѣнно какого-нибудь ощущенія или состоянія сознанія. Выражая это мнѣніе Милля другими словами, можно сказать, что во всѣхъ случаяхъ, когда мы, имѣя въ виду что-либо, не можемъ рѣшить—субъектъ-ли это, или объектъ, и должны разсматривать это нѣчто только какъ реальность,—во всѣхъ этихъ случаяхъ мы прибѣгаемъ къ сверхъ относительному термину «существованіе», «вещь», «бытіе». Я признаю, что могутъ встрѣчаться случаи, когда приходится прибѣгать къ этому слову, когда является необходимость установить понятіе, недостаточно опредѣленное, но это совсѣмъ не то, что установленіе свойствъ, общихъ субъекту и объекту, и выработка родового понятія, подъ которое можно было бы такимъ же образомъ подвести понятія того и другого, какъ подъ понятіе объекта, подводятся понятія матеріи и пространства. Я разсматриваю терминъ «существованіе», употребляемый такимъ образомъ, какъ лишенный независимаго и оригинальнаго значенія; терминъ этотъ—только сокращенный синонимъ для сложнаго противопоставленія двухъ самыхъ высшихъ родовыхъ понятій, какія только представляетъ дѣйствительность—понятій субъекта и объекта. Я утверждаю, словомъ сказать, что терминъ «существованіе» получаетъ смыслъ только при условіяхъ сведенія его на другія опредѣленія вещей; взятый же безотносительно, онъ является лишеннымъ всякаго реальнаго значенія».

Переходя затѣмъ къ формулѣ Декарта «Cogito, ergo sum», Бэнъ, на основаніи изложенныхъ выше соображеній, спрашиваетъ: каково будетъ полное выраженіе эллиптическаго сужде-

нія — «sum»? Если «sum» — «существую» значитъ «живу», и «жизнь» берется въ противоположность «смерти», формула получаетъ извѣстный смыслъ, но не тотъ, который имѣлся въ виду при ея установленіи. Если мы воспользуемся Миллевымъ терминомъ «нѣчто», то изреченіе Декарта получитъ такую форму: «я мыслю, слѣдовательно, я—нѣчто», а эта форма, въ силу приведенныхъ выше доводовъ, неизбѣжно перейдетъ въ слѣдующую: «я мыслю, слѣдовательно, я—или субъектъ, или объектъ». Заключеніе, получаемое этимъ путемъ, менѣе нежели неопредѣленно, такъ какъ всякій, кому извѣстенъ смыслъ термина «мыслю», знаетъ, что онъ относится къ свойству духа, а поэтому оставленіе вопроса открытымъ, отсутствіе рѣшенія между духомъ и не-духомъ, не только не расширяетъ нашего познанія, но съуживаетъ его.

Положеніе «я мыслю» даетъ право утверждать, по крайней мѣрѣ, что «я—духъ», «я—не противоположность духа», «я—опредѣленное нѣчто». Такое заключеніе Бэнъ считаетъ предпочтительнѣе неопредѣленнаго утвержденія «я нѣчто»; но заключеніе это,—говоритъ онъ,—не реально: значеніе термина «мыслю» содержитъ значеніе термина «духъ», если только намъ извѣстно, что̀ значитъ «мыслить», если мы употребляемъ это слово, сознавая его смыслъ. Реальное заключеніе могло бы сформулироваться такимъ образомъ: «я мыслю,—слѣдовательно, я чувствую и желаю», такъ какъ опытъ показываетъ, что ассоціація трехъ этихъ данностей признается подводимою подъ понятіе «духъ».

Бэнъ приводитъ и еще одно реальное заключеніе: «я мыслю, слѣдовательно, я — не безсмысленное вещество». Заключеніе это, — говоритъ онъ, — есть продуктъ опыта, свидѣтельствующаго о связи мысли и извѣстной организаціи. Анализъ предложенія «я мыслю» показываетъ, однако же, всю нелогичность этого построенія. Отдѣлимъ подлежащее отъ сказуемаго въ этомъ предложеніи и, точно опредѣливъ значеніе того и другого, посмотримъ, *прибавляетъ* ли что-нибудь то же сказуемое къ содержанію понятія подлежащаго. Что такое «я»? Отвѣтъ можетъ быть только слѣдующій: я—все то, что подводится подъ понятіе «человѣкъ»,—всѣ части и функціи тѣла и духа, изъ которыхъ слагается индивидуальный мужчина или индивидуальная женщина. Итакъ, сказать: «я мыслю» значитъ погрѣшить многословіемъ, такъ какъ всякій, произносящій слово «я», знаетъ

уже ранѣе, что онъ «мыслитъ»; говоря такъ, придется только повторить одну часть подлежащаго даннаго предложенія. Въ заключеніе Бэнъ находитъ, что формулу Декарта можно считать не болѣе, какъ словеснымъ предложеніемъ. Можетъ быть, оно,—замѣчаетъ Бэнъ,—и годится на что-нибудь, но только никакъ не для полученія заключенія. «Я того мнѣнія,—говоритъ онъ,—что пора положить конецъ напряженію, съ которымъ и до сихъ поръ стараются добыть солнечные лучи изъ этого огурца» [1]).

Теперь обратимся къ указанію на нѣкоторые взгляды извѣстнаго ученаго и рѣшительнаго врага Контовскаго позитивизма, Генри Гёкели. Рѣзкій приговоръ надъ узкимъ позитивизмомъ, произнесенный имъ въ свое время, произвелъ на приверженцевъ Конта большое впечатлѣніе. Съ тѣхъ поръ для всякаго контиста, не считающаго себя pour un homme absurde, впечатлѣніе это могло только подняться, такъ какъ взаимное отношеніе роста научной философіи и Контовскаго позитивизма постоянно оставались обратно пропорціональными. Припомнимъ при этомъ случаѣ, что Гёкели настаивалъ на отрицаніи всякой научной стоимости тѣхъ частей *Курса* Конта, которыя могутъ считаться специфически-позитивными. Онъ даже находилъ въ нихъ многое противорѣчащее духу истинной науки. Мнѣніе это, высказанное мимоходомъ въ эдинбургской рѣчи Гёкели (1868), было обстоятельно изложено и подкрѣплено доказательствами въ отдѣльной статьѣ, посвященной изслѣдованію «научнаго содержанія позитивизма», напечатанной въ *Fortnightly Review 1869 г.* [2]).

Не слѣдуетъ упускать изъ вида при этомъ, что Гёкели съ особенною силой указываетъ на разграниченіе науки и метафизики и отстаиваетъ то самоотреченіе, ту резигнацію, которая должна составлять характерную черту всякой трезвой мысли. Эта послѣдняя черта, какъ одинъ изъ главныхъ отличительныхъ признаковъ «новой», какъ ее иногда называютъ, философіи сдѣлался для многихъ, по природѣ своей особенно склонныхъ къ ассоціаціямъ по созвучію, великимъ камнемъ преткно-

---

[1]) *A. Bain.* The Meaning of «Existence» and Descartes' «Cogito» (Mind 1877, April, pp. 259—214).

[2]) См. *T. H. Huxley.* «Reden und Aufsätzen naturwissenschaftlichen, pädagogischen und philosophischen Inhalts». Deutsche autorisirte Ausgabe. Berl., 1879.

венія. Въ самомъ дѣлѣ, для такого рода мыслителей существуетъ дорожка, по которой отъ «самоограниче..ія» до «ограниченности»—одинъ шагъ. Самоограниченіе, резигнація, границы познанія, —все это для нихъ, выросшихъ и состарѣвшихся на сказаніяхъ о всякаго рода «щучьихъ велѣніяхъ», звучитъ дико. Если ужъ Тэну случилось возвести конюха Санчо въ позитивисты, то почему бы, въ самомъ дѣлѣ, не признать позитивистомъ Санчева осла? Оселъ ограниченъ, ergo, онъ—позитивистъ. Это такъ мѣтко, такъ глубокомысленно, такъ ѣдко и, главное, такъ сокрушительно для этихъ ненавистныхъ «истовъ»! Какое торжество! Лежа въ своемъ гробу, ликуетъ, конечно, сама покойная бабушка—старая Химера.

Въ ряду именъ, которыми блещетъ научная философія въ Англіи и которое по праву можетъ быть поставлено съ почтеннымъ именемъ Гёкели, мы можемъ назвать имя старѣйшаго изъ поборниковъ научнаго метода и непримиримѣйшаго противника всякаго пустомыслія и суемудрія, талантливаго и честнаго Генри Маудсли, пользующагося и у насъ не малою извѣстностью. Трудно преувеличить достоинства этого ученаго, богатство его познаній, искусство и блескъ его изложенія. Прибавимъ еще, что Маудсли, освѣщая вопросы своими спеціальными психіатрическими свѣдѣніями, придаетъ имъ такую окраску, которая, вскрывая самую глубокую основу изучаемаго явленія, превращаетъ рѣшеніе вопроса въ жестокую и ѣдкую сатиру, заостренную мѣткимъ, удачнымъ словцомъ. Онъ не разъ уже очерчивалъ вѣрными штрихами несостоятельность метафизическаго умонастроенія, но въ послѣдней своей книгѣ рѣшительно превзошелъ себя... Сколько жизни, сколько правды въ обрисовкѣ и, въ то же время, какая каррикатура!

Начнемъ съ коротенькаго наброска, характеризующаго увлеченіе метафизикой, сдѣланнаго Маудсли въ его курсѣ психологіи: «Въ настоящее время,—говоритъ онъ,—къ метафизикѣ, вообще говоря, относятся неблагосклонно и совершенно увѣрены, что она не приноситъ никакой пользы. Общее убѣжденіе заключается въ томъ, что она пользуется значеніемъ науки только у тѣхъ, которые несутъ обязательство поступать такимъ образомъ, которые не руководствуются указаніемъ запросовъ жизни, но, занимая оффиціальныя каѳедры, поглощены преподаваніемъ, или же имѣютъ другой родъ занятій такого рода, который представляетъ мало случаевъ для усидчивыхъ наблю-

деній и много досуга для самосозерцанія. Есть еще мнѣніе, что метафизикой увлекается пылкая молодежь, которая претерпѣваетъ метафизическіе приступы точно такъ же, какъ дѣти—корь, пріобрѣтая чрезъ то, къ счастью для нихъ, неуязвимость по отношенію къ этому патологическому состоянію на всю остальную жизнь. Утверждаютъ, наконецъ, что метафизика поражаетъ дѣятельные и способные умы тѣхъ философовъ, которымъ не удалось пройти школу научнаго изслѣдованія природы и которые поэтому не научились подчинять своего разума силѣ фактовъ и привыкли жить въ болѣе или менѣе идеальномъ мірѣ мыслей» [1]).

Въ книгѣ, вышедшей въ 1886 году, Маудсли посвящаетъ одну главу критической оцѣнкѣ метафизики и, доказывая сродство ея метода съ методомъ теологическимъ, противополагаетъ ихъ методу научному. Онъ говоритъ, что интуитивный путь познаванія обыкновенно примѣняется къ дѣлу тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ свободнѣе умъ метафизика отъ благодѣтельнаго вліянія положительнаго познанія природы и жизненнаго опыта и чѣмъ болѣе онъ привыкъ къ экстатическому самопогруженію и безсодержательному мышленію. Нѣтъ ничего удивительнаго, что теологи и метафизики всегда находились въ тѣсномъ союзѣ и до настоящаго времени всегда разсчитываютъ другъ на друга въ оборонительной и наступательной войнѣ. На ихъ несчастіе, однако же, союзъ этотъ былъ всегда союзомъ неизмѣнно-безплоднаго сожительства.

Всякая система, теологическая или метафизическая,—говоритъ Маудсли,—не охватывая явленій дѣйствительности, не имѣя фактическаго содержанія, будь она наивозвышеннѣйшая и наиспиритуальнѣйшая въ мірѣ, должна быть признана стоящею внѣ живого организма истиннаго познанія, не можетъ считаться неотъемлемою его частью. Для правильной ея оцѣнки надо принимать во вниманіе не одни только согласующіеся съ нею факты, но и тѣ, которые идутъ съ нею въ разрѣзъ. Пусть она будетъ результатомъ интуитивнаго познанія, плодомъ чистѣйшаго и выработаннѣйшаго искусства умозрительныхъ построеній,—все же никто не можетъ обезпечить ее отъ тяжелой необходимости провѣрки, ни благія намѣренія, ни величіе замысла, ни приверженность адептовъ. Все это не можетъ возмѣ-

[1]) «*The Physiology of Mind*». Third edition. London,, 1876, p. 13.

стить ея несостоятельности въ томъ случаѣ, если она окажется безсильною выдержать испытаніе.

Прочное основаніе плодотворныхъ идеаловъ и здраваго умственнаго развитія заключается не въ бѣгствѣ изъ нѣдръ природы, не въ экстазѣ перенапряженнаго идеализма, но въ широкомъ взаимодѣйствіи съ природой, съ человѣческою природой во всѣхъ ея видахъ, особенностяхъ и отношеніяхъ. Стараніе стимулировать и возбуждать какую бы то ни было отдѣльно взятую сторону умственной дѣятельности *сверхъ* возможной достижимости и *далѣе* требованій, обусловливаемыхъ соотносительными явленіями внѣшней природы,—стараніе придать избранной сторонѣ умственной дѣятельности независимое значеніе обнаруживаетъ, конечно, направленіе, идущее въ разрѣзъ трезвому и спасительному методу, благодаря которому выработалось нѣчто прочное въ прошедшемъ и вырабатывается въ настоящемъ. Умозрительный философъ, не накопившій соотвѣтственнаго запаса положительнаго опыта и выдумывающій системы міра въ своемъ кабинетѣ, большею частью предается, очевидно, мало чѣмъ лучшему занятію сравнительно съ поэтомъ стараго времени, придумывавшимъ остроумныя объясненія естественныхъ явленій посредствомъ миѳовъ. Такой философъ обнаруживаетъ признаки *психелепсіи*, которая ведетъ къ преувеличенію значенія самосознанія, но не поддерживаетъ въ равной мѣрѣ силу и здоровье ума [1]).

Другой весьма талантливый и разнообразный писатель, Лесли Стивенъ, не разъ останавливался надъ характеристикой того умонастроенія, которое мы разумѣемъ подъ названіемъ научно-философскаго, или позитивнаго, и которое онъ считаетъ по преимуществу англійскимъ, при чемъ онъ занимался и вопросомъ разграниченія присущихъ этому умонастроенію воззрѣній отъ метафизическихъ.

Лесли Стивенъ видитъ въ философіи Юма поворотный пунктъ въ исторіи мысли и утверждаетъ, что направленіе, данное англійской философіи этимъ мыслителемъ, получитъ болѣе справедливую оцѣнку, когда будетъ признано ничтожество тѣхъ заоблачныхъ построеній, которыя оно разрушило. Этотъ процессъ можетъ совершаться, впрочемъ, весьма медленно, такъ

---

[1]) *Henry Maudsley.* «Natural causes and supernatural seemings». London, 1886. Part. III, Section VIII.

какъ исторія мысли идетъ путемъ борьбы и предполагаетъ разрушительную работу, соотвѣтствующую созидательной. Такимъ образомъ, ходъ развитія мысли представляетъ постепенное освобожденіе разума отъ ошибокъ, неизбѣжно возникшихъ въ эпоху первобытныхъ, ребяческихъ попытокъ умозрѣнія. Ученія, которыя сперва представлялись простыми выраженіями непосредственнаго наблюденія, оказались содержащими гипотетическій элементъ. Этотъ элементъ и исчезаетъ мало-по-малу подъ вліяніемъ изученія дѣйствительности. Такое изученіе успѣло уже достигнуть въ нѣкоторыхъ областяхъ значенія научнаго познанія. Оно можетъ уже считаться систематическимъ укладомъ истинъ совершенно установившихся. Истины эти достовѣрны и взаимно согласованы. Первичныя аксіомы уже обладаютъ устойчивостью, недосягаемою для скептицизма, такъ что если какое-нибудь явленіе оказывается не согласующимся съ установленными истинами, то мы должны приписать несогласіе это не несостоятельности научныхъ теорій, а недостаточности даннаго наблюденія, пропуску какого-нибудь производящаго пертурбацію элемента. Всякое же новое, достодолжно веденное наблюденіе непремѣнно должно дать въ результатѣ открытіе, вполнѣ сливающееся съ установленною научною системой; оно и санкціонируетъ ее, и санкціонируется ею, въ одно и то же время. Мы можемъ подводить наши основоначала подъ какое-нибудь высшее обобщеніе, но мы не можемъ подвергать измѣненію которую-либо изъ основныхъ истинъ. Мы можемъ смотрѣть на науки математическія какъ на типъ гармонически развивающагося знанія. Если бы разумъ переходилъ отъ извѣстнаго къ неизвѣстному — такъ, какъ это совершалось въ математикѣ, если бы при каждомъ новомъ поступательномъ движеніи операціонный базисъ оставался твердо-неизмѣннымъ,— вся исторія умозрѣнія имѣла бы одинъ и тотъ же типичный характеръ. Исторія показываетъ, однако же, что дѣло шло иначе. Ранѣе выработки положительнаго знанія шли догадки, не всегда согласныя съ истиной и всегда не легко устранимыя. Для успѣшнаго движенія познанія далѣе впередъ необходимо, какъ требовалъ еще Беркли, разсѣять пыль, взбитую нами же самими, убрать лѣса, которые служили для возведенія зданія, и убѣдиться, что лѣса эти не составляютъ необходимой части постройки,—словомъ сказать, возвести всю нашу умственную дѣятельность до самосознанія и разрушить заблужденія, и до

сихъ поръ служащія обманчивою опорой всякой логической процедуры. Это—дѣло *здравой метафизики;* ее Лесли Стивенъ отождествляетъ съ *теоріей познанія*. Теорія познанія, какъ заявляетъ онъ, должна остерегаться прибѣгать къ объясненію познанія терминами, заимствованными внѣ области самаго познанія. Идя по этой стезѣ, здравая метафизика, или теорія познанія, станетъ въ разрѣзъ съ «такъ-называемою онтологіей», мысль о состоятельности которой давно уже пора бросить. «Онтологія» это—безплодная область, населенная призрачными химерами, чистѣйшими тѣнями, небытіемъ, прикрытымъ словесными хитросплетеніями, не свойственными жизни даже настолько, чтобы возможно было назвать ихъ ложными. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, допустить, для кого бы то ни было, способность выжать изъ своего разума объясненіе конечныхъ причинъ всѣхъ вообще вещей. Прямая аргументація противъ такихъ системъ не менѣе убѣдительна, чѣмъ ничтожество предполагаемыхъ заключеній. Защитники онтологіи всегда доказываютъ что-либо при помощи безконечной затраты логическихъ доводовъ; но если и допустить, что имъ и удалось что-нибудь доказать, то тотъ же часъ придется убѣдиться въ безполезности такой уступки: на дѣлѣ окажется, что мы не подвинулись ни на шагъ впередъ. «И если въ такихъ словахъ звучитъ дерзость,—говоритъ Стивенъ,—то я все же скажу, что только такое сужденіе и можетъ согласоваться съ подобающимъ философу уваженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, если я остановлюсь надъ обширными системами, поддерживаемыми самыми знаменитыми мыслителями, и оцѣню ихъ неустойчивость, ихъ безнадежную неспособность выдерживать критику и разрѣшать дѣйствительныя затрудненія, то мнѣ останется только придти къ заключенію, что авторы ихъ были или безумными,—что̀ ужъ будетъ чрезвычайною дерзостью,—или что они брались за разрѣшеніе задачъ, переходящихъ за предѣлы того, что̀ доступно для разума. Величайшій атлетъ оказывается, вѣдь, безсильнымъ, если вздумаетъ устранить отъ себя свою собственную тѣнь». По этой причинѣ, всякій, ведущій научное изслѣдованіе,—будь то область той или этой науки, этики, напримѣръ, какъ то и имѣетъ мѣсто у Лесли Стивена,—не имѣетъ никакой надобности переступать границъ науки и искать въ трансцендентной области рѣшенія своихъ вопросовъ. Сохраненіе прочной почвы дѣйствительности должно быть для него всего дороже; на ней долженъ онъ возводить свое

зданіе, предоставляя метафизику полную свободу добираться до слона и до черепахи [1]).

Имѣя въ виду по возможности полнѣе прослѣдить за характеристикой научной философіи и отграниченіе ея области отъ области метафизики у англійскихъ новѣйшихъ писателей, намъ нельзя пропустить и извѣстнѣйшаго изъ современныхъ англійскихъ психологовъ научной школы—Джемса Сёлли. Его монографія «Объ иллюзіяхъ» можетъ составить драгоцѣнную главу въ научной теоріи познанія и представляетъ достойный pendant упомянутой выше книгѣ Маудсли «О естественныхъ причинахъ и сверхъестественныхъ кажимостяхъ». Сёлли, какъ и перечисленные выше писатели, считаетъ интуитивное познаніе мнимымъ, безсодержательнымъ, и видитъ въ опытѣ единственный источникъ познанія дѣйствительнаго, прочнаго, устойчиваго. По вопросу объ объемѣ и содержаніи наукъ онъ держится того мнѣнія, что всѣ изучаемые факты какъ внѣшняго, такъ и внутренняго міра распредѣляются между отдѣльными, самостоятельными научными дисциплинами, въ число которыхъ Сёлли включаетъ и психологію. Подъ психологіей онъ разумѣетъ при этомъ науку, изслѣдующую процессъ познаванія съ одной только его субъективной стороны. Что же касается стороны объективной, т.-е вопроса о томъ, насколько познаніе истинно или состоятельно, то этотъ вопросъ, по мысли Сёлли, вѣдаетъ уже не психологія, а философія, или теорія познанія, которая заключаетъ въ себѣ и логику [2]).

Принявъ во вниманіе изложенные нами факты, нельзя будетъ не согласиться съ Александромъ Мэномъ, что англичане разумѣютъ подъ позитивизмомъ не *сводъ ученія* (corps de doctrine), а *методъ*. Методъ этотъ, по мнѣнію Мэна, можно разсматривать какъ энергическій протестъ противъ ложной и безплодной метафизики, такъ долго имѣвшей власть надъ умами и доселѣ еще не лишившейся своихъ поклонниковъ. Смѣшеніе этого «позитивизма» съ «системою» Ог. Конта—не только ошибка, но дерзость: позитивный методъ восходитъ къ тому времени,

---

[1]) *Leslie Stephen*. «History of english thought in the eighteenth century». In two volumes, 1881, и *его же:* «The science of Ethics». London, 1882, passim.

[2]) *James Sully*: «Illusions. A psychological study». London, 1881, p. 295 и *его же:* «Outlines of psychology». London, 1884, 15.

когда первый, достодолжно констатированный, фактъ былъ отчетливо воспринятъ и вѣрно обслѣдованъ, тогда какъ *приложеніе* позитивнаго метода, сдѣланное Контомъ, почти вполнѣ возникло чуть не вчера и можетъ завтра же быть уличено въ несостоятельности. «Мы не можемъ достаточно сильно протестовать,—говоритъ Мэнъ,—противъ зловредной тенденціи, прицѣпляющей къ великому философскому теченію ярлычокъ одного человѣка и похваляющейся вслѣдъ затѣмъ, что теченіе это всецѣло имъ схвачено и усвоено» [1]).

Мэнъ не оставляетъ безъ осужденія тотъ позитивизмъ, который не даетъ мѣста чувству и, по словамъ Мэна, едва-ли подымается выше точки замерзанія. Вслѣдъ за Льюисомъ, Мэнъ вооружается противъ всѣхъ исключительныхъ отрицаній и обременительныхъ ограниченій; онъ вполнѣ симпатизируетъ безпрепятственности самыхъ высшихъ умозрѣній. По его мнѣнію, истинно-позитивный методъ не оправдываетъ такой замкнутости и замурованности.

Мы еще будемъ имѣть случай взглянуть ближе на тѣ условія, при которыхъ самыя высшія умозрѣнія возможны и осуществимы, а теперь замѣтимъ только, что у нѣкоторыхъ англійскихъ писателей протестъ противъ резигнаціи, могущей, впрочемъ, какъ то и само собою разумѣется, имѣть свои крайности, мѣтитъ только на провозъ стараго груза подъ новымъ флагомъ. Поскольку поправка Мэна соотвѣтствуетъ именно этой сторонѣ дѣйствительнаго положенія вещей, постольку надо признать, что англійскій позитивизмъ стоитъ ниже того уровня, на который онъ былъ поставленъ Юмомъ. Уже у Милля есть опасныя оговорки; но есть писатели, которыхъ только потому и нельзя включить въ число позитивныхъ, что въ этомъ направленіи они идутъ слишкомъ ужъ далеко.

Говоря объ этихъ писателяхъ, мы не имѣемъ, однакоже, въ виду Герберта Спенсера, сопричисляемаго къ позитивной школѣ только по недоразумѣнію. Еще Милль выражалъ удивленіе, встрѣчая со стороны Макъ-Коша увѣреніе, будто Спенсеръ повиненъ въ заимствованіяхъ у него, Милля [2]); въ настоящее же время просто смѣшно принимать мистико-метафизиче-

---

[1]) *Revue philosophique* 1876, T. II. *Alexandre Main*. «Le positivisme anglais et le système de Comte», pp. 280—284.

[2]) *Mill*. «Examination» etc., примѣчаніе, стр. 273—274.

ское построеніе Спенсера за позитивное. Когда мы уяснимъ въ слѣдующихъ главахъ основныя положенія научной философіи, намъ станетъ совершенно ясно, почему въ основоначалахъ философіи Спенсера,—блещущей, впрочемъ, отдѣльными глубокими и мѣткими истинами,—можно видѣть повтореніе по-Кантовскихъ натурфилософскихъ пареній и на какомъ основаніи приложимо къ Спенсеру прозваніе его «англійскимъ Гегелемъ». Для насъ выяснятся тогда какъ его скачки и противорѣчія, такъ и заднія мысли далеко не научнаго пошиба и всѣ вообще «блѣдные призраки мыслей въ царствѣ тѣней», какъ называетъ умозрѣнія Спенсера неутомимый преслѣдователь его—Малькольмъ Гёзри [1]).

Какъ ни значительно вліяніе Спенсера и какъ ни глубоки въ извѣстной средѣ мотивы этого вліянія [2]), оно, конечно, идетъ все же таки въ сторонѣ отъ трезвыхъ научно-философскихъ работъ, и можно съ увѣренностью утверждать, что пока на стражѣ англійскаго позитивнаго движенія стоятъ такіе люди, какъ Гёксли, Маудсли, Лесли Стивенъ, Сёлли, дальнѣйшее успѣшное развитіе этого движенія вполнѣ обезпечено.

«Если бы кто-нибудь спросилъ меня,—сказалъ весьма внушительно Гёксли въ своей эдинбургской рѣчи,—какая политика господствуетъ у жителей луны, и я отвѣтилъ бы, что ничего о томъ не знаю, что ни мнѣ, ни кому-либо другому ничего объ этомъ предметѣ и не можетъ быть извѣстно, и что поэтому я прошу не докучать мнѣ подобными вопросами, то вопрошавшій не имѣлъ бы права, конечно, почесть меня за скептика. Напротивъ того, отвѣтомъ своимъ я бы показалъ, что я простонапросто откровененъ и честенъ и знаю цѣну времени. Сильный и тонкій умъ Юма ставитъ множество проблемъ, естественнымъ образомъ интересующихъ насъ, и затѣмъ показываетъ, что онѣ по содержанію своему имѣютъ то же значеніе, что и вопросы о лунной политикѣ, что онѣ по природѣ своей не подлежатъ отвѣту и поэтому не заслуживаютъ вниманія людей, которымъ приходится, живя на свѣтѣ, дѣлать свое дѣло». И

---

[1]) Подробнѣе о Гёзри въ нашихъ *Этюдахъ* и *очеркахъ*, стр. 344—354. (Въ этомъ томѣ см. ст. «Одинъ изъ англійскихъ критиковъ Спенсера» *(Прим. ред.)*.

[2]) См., между прочимъ, *E. Dühring's* «Kritische Geschichte der Philoscphie», S. 531—537.

Юмъ оканчиваетъ одинъ изъ своихъ *Опытовъ* такими словами: «возьмемъ въ руки какое-нибудь теологическое или мистико-схоластическое произведеніе и спросимъ: содержитъ ли оно какое-нибудь изслѣдованіе о количествѣ или числѣ? Нѣтъ. Содержитъ ли какое-нибудь опытное изслѣдованіе эмпирическихъ фактовъ? Нѣтъ. Ну, такъ бросимъ же книгу въ огонь, такъ какъ въ ней ничего иного, кромѣ софистики и обмана, и быть не можетъ»[1]).

---

[1]) *Huxley*, o. c., S. 137.

ГЛАВА IV.

Нѣмецкая научная философія.

Теперь мы перейдемъ къ разсмотрѣнію развитія понятія научной философіи въ Германіи и остановимся сперва на краткомъ обзорѣ оцѣнки Контовскаго позитивизма въ этой странѣ, а затѣмъ приступимъ къ ближайшему ознакомленію съ воззрѣніями главныхъ представителей собственно-нѣмецкой научной философіи или, пожалуй, нѣмецкаго позитивизма. Здѣсь, какъ то и было уже замѣчено выше, мы найдемъ самое полное, опредѣленное и ясное рѣшеніе занимающаго насъ вопроса.

1. Оцѣнка Контовскаго позитивизма въ Германіи.

Въ Германіи, гордой своею славною философскою традиціей, позитивизмъ Конта, какъ то и само собою разумѣется, не могъ утвердиться и найти авторитетныхъ сторонниковъ. Къ нему, правда, очень сочувственно отнеслись нѣкоторые видные представители нѣмецкой философіи: Ланге, Дюрингъ, Гёрингъ, Эйкенъ, но между его послѣдователями нѣтъ громкихъ именъ. Если назвать мало извѣстныхъ писателей—Твестена и Шпрингера, то ими и исчерпается все число адептовъ, которыхъ Конту удалось найти въ странѣ философовъ. Теперь можно сказать съ увѣренностью, что самый благопріятный для позитивизма моментъ уже пережитъ Германіей, хотя нельзя не признать, что моментъ этотъ прошелъ не безъ косвеннаго воздѣйствія на нѣмецкую мысль: и онъ несомнѣнно привходилъ въ тотъ комплексъ вліяній, которыя все болѣе и болѣе влекли умы къ идеѣ

научности въ области философіи. Самый терминъ остался даже у нѣкоторыхъ писателей новой школы, хотя писатели эти и развивали свои воззрѣнія совершенно независимо отъ «системы» Ог. Конта и внѣ всякой связи съ нею.

Не надо упускать изъ вида, что именно въ то время, когда статьи Милля и Спенсера выводили философію Ог. Конта изъ той неизвѣстности, въ которой она находилась, въ Германіи происходилъ знаменитый «поворотъ къ Канту», оказавшій на эволюцію нѣмецкой философской мысли въ послѣднее время такое могущественное вліяніе, что даже противники трансцендентальной философіи не остались внѣ ея сферы дѣйствія, и даже въ полемикѣ съ нею обнаруживали тотъ несомнѣнный фактъ, что ранѣе преодолѣнія основныхъ тезисовъ Канта они проходили его школу, и проходили не безъ пользы для вновь выработанныхъ ими воззрѣній.

Въ теченіе періода, длившагося около десяти лѣтъ, послѣ выхода въ свѣтъ извѣстнаго сочиненія Либмана «*Kant und die Epigonen*» (1865), вліянія Канта не избѣгло ни одно философское направленіе и, по словамъ Файингера, не было даже возможности писать о философіи, не касаясь значенія основныхъ принциповъ Канта и не истолковывая такъ или иначе значенія «поворота» къ нему [1]).

Положенія Канта, сдѣлавшіяся основами теоріи познанія или теоріею опыта, стали обязательными для изученія всякаго философа, особенно же со времени упомянутаго выше «поворота». Изученіе это, въ свою очередь, такъ глубоко внѣдрило въ умы значеніе теоріи познанія въ философской системѣ, что всякой философіи, отвергающей или не выработавшей ее, неизбѣжно приходилось считаться неполною и несостоятельною. Собственно Кантову теорію можно было принимать условно, критиковать, или даже совсѣмъ отвергать,—въ послѣднее десятилѣтіе многіе нѣмецкіе мыслители и преодолѣли ее окончательно,—но не видѣлось и не видится возможности преодолѣть самый принципъ, ставящій теорію познанія во главу угла; не видѣлось и не видится возможности противопоставлять одно догматическое положеніе другому и, оперируя съ элементами познанія, оставлять самое познаніе безъ изученія и наивно орудо-

---

[1]) *Dr. H. Vaihinger.* «Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft». I Band. Stuttgart, 1881—82. §§ 13 und 14.

вать понятіями, какъ бы вещами. Нечего и говорить, что прошедшіе школу Канта смотрѣли свысока на ученіе Ог. Конта, считали ее одною изъ формъ наивнаго реализма и не обнаруживали никакого желанія видѣть его процвѣтаніе на почвѣ, вспаханной критическою философіей.

Такъ было десять, пятнадцать лѣтъ тому назадъ; но и теперь, когда «поворотъ къ Канту», увлекавшій нѣмцевъ въ семидесятыхъ годахъ, можетъ уже считаться пережитымъ [1]), воззрѣніе на значеніе теоріи познанія для философіи нисколько не ослабѣло, и не рѣдкостью стало и сведеніе всей философіи къ теоріи познанія [2]). Оцѣнка «системы» Конта не могла, конечно, миновать этой точки зрѣнія, какъ опорнаго пункта, а затѣмъ уже никакое безпристрастіе, никакое благорасположеніе, никакая симпатія самого критика къ личности Конта и его ученію не могли предотвратить окончательнаго вердикта и найти для доктрины Конта мѣсто среди живыхъ проявленій дѣятельности современной философской мысли.

Лучшимъ выраженіемъ такого именно отношенія нѣмецкой философской критики къ системѣ Конта можетъ служить статья Эйкена, появившаяся въ сборникѣ, изданномъ въ 1887 году по случаю чествованія пятидесятилѣтняго юбилея Целлера.

Эйкенъ отдаетъ полную дань справедливости «духовной силѣ человѣка», поставившаго себѣ такую цѣль, какую поставилъ Ог. Контъ въ своей системѣ позитивной философіи. По мнѣнію Эйкена, не найдется человѣка, который могъ бы равнодушно отнестись къ усиліямъ создать строй идей, охватывающій всѣ отрасли познанія въ однородное цѣлое и, такимъ образомъ, вдвигающій философію въ самое русло жизни. Но, восхваляя глубокожизненное значеніе стремленій Ог. Конта, Эйкенъ находитъ, однако же, что позитивная система не достигла предположенной творцомъ ея цѣли, что ей не удалось охватить всей шири живой дѣйствительности и коснуться самыхъ жгучихъ вопросовъ сложной борьбы, совершающейся въ современномъ общественномъ строѣ. По мнѣнію Эйкена, человѣческое сознаніе и тѣ различныя его состоянія, которыя обусловлива-

---

[1]) *Vierteljahrsschrift fur wiss. Philos.*, 87. II Heft, S. 204.

[2]) *Ernst Laas* «Kants Analogien der Erfahrung», Berlin, 1876, S. 2.— *Hans Vaihinger.* «Hartmann, Dühring und Lange». Iserlohn 1876, S. 30.— *W. Wundt.* «Logik». Stuttgart, 1883. II-er Band., S. 619.

ются столкновеніями, наполняющими общественную и политическую жизнь, оставлены Контомъ почти совершенно въ тѣни [1]). Его глаза слишкомъ устремлены на внѣшнюю сторону жизни, на всякаго рода регуляризацію, но въ душу человѣческую онъ заглядываетъ мало, недостаточно заботится о ея тревогахъ и волненіяхъ. Эйкенъ находитъ дѣйствительную жизнь гораздо болѣе богатою и подвижною, чѣмъ она представлена въ системѣ Ог. Конта, а потому и отвергаетъ возможность для нея плодотворной жизненной роли, хотя признаетъ, въ то же время, что болѣе широкому и глубокому позитивизму будущаго придется, однако же, сохранить полное уваженіе къ нравственной силѣ и цѣлямъ такого мыслителя, какъ Ог. Контъ.

Если мы станемъ искать у Эйкена объясненія тѣхъ блужданій мысли и недосказанностей, которыя онъ отмѣчаетъ у Конта, то только и найдемъ ихъ въ указаніи на отсутствіе въ позитивной доктринѣ теоріи познанія, которая должна преподать правило и сообщить направленіе предоставленному всякимъ случайностямъ мышленію. При всей важности такой оріентировки, теорію познанія слѣдуетъ считать во всѣхъ отношеніяхъ важною частью современной философіи, — болѣе того, надо признать ее средоточіемъ этой послѣдней, главнымъ объектомъ всѣхъ споровъ. Она можетъ быть развита здѣсь больше, тамъ—меньше, но совсѣмъ отсутствовать она ни въ какомъ случаѣ не можетъ. Не отсутствуетъ она совершенно и у Конта. Но то, что вкрадывается тайкомъ и дѣйствуетъ вопреки сознательному намѣренію автора, не подымется до полнаго обладанія всѣми своими правами. По этой причинѣ,—заключаетъ Эйкенъ,—Ог. Контъ не поднялся до той высоты, на которую поставлена проблема эта въ новѣйшее время, особенно же со временъ Канта. Тогда какъ время требуетъ критической постановки, система Конта осталась въ основныхъ чертахъ своихъ догматическою.

Наконецъ, Эйкенъ дѣлаетъ еще одно замѣчаніе: онъ требуетъ, чтобы истинный позитивизмъ, «позитивизмъ будущаго», отрѣшился отъ непосредственнаго опыта и поднялся до высшихъ обобщеній. Какъ слѣдуетъ намъ отнестись къ такому требованію: не слѣдуетъ ли усмотрѣть въ немъ нѣкоторое притя-

---

[1]) *Ср. Dühring.* «Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Socialismus». 1875. S. 256.

заніе метафизики? Едва ли,—отвѣтимъ мы на этотъ вопросъ,—такъ какъ Эйкенъ признаетъ, что «философія не допускаетъ теперь возможности полета нашего познанія за предѣлы нашего бытія и перемѣщенія въ глубь вещей иного міра. Если прежде и существовала метафизика такого рода, то она уже пала». Итакъ, у Эйкена мы можемъ констатировать то же различеніе истинной и ложной метафизики, которое мы замѣтили у нѣкоторыхъ англійскихъ философовъ и которое идетъ традиціонно еще отъ Юма. Такъ какъ споръ можетъ идти, во всякомъ случаѣ, не о словахъ, то для характеристики понятія Эйкена о ложной метафизикѣ отмѣтимъ, что онъ открываетъ ее у самого Ог. Конта и тѣмъ особенно сильно вскрываетъ послѣдствія некритичности его системы. Эйкенъ указываетъ, что по идеѣ Ог. Конта, законъ трехъ состояній получаетъ свое дѣйственное научное значеніе только подъ условіемъ признать за нимъ *болѣе* чѣмъ простое эмпирическое обобщеніе, *болѣе* чѣмъ простой общій фактъ (simple fait général); и далѣе, законъ этотъ долженъ строить главныя свойства отдѣльныхъ эпохъ *почти a priori*, и, наконецъ, Эйкенъ указываетъ еще и на ту мысль Ог. Конта, что мы должны понимать такіе народы, какъ греческій и римскій, не какъ случайныя и частныя общественныя группы, но какъ *необходимыя общія положенія* (*Comte*. «Cours», IV, 466; V, 274). При встрѣчѣ съ такими взглядами,—говоритъ Эйкенъ,—не приходитъ ли намъ на мысль скорѣе Гегель, нежели Ог. Контъ? [1]).

Послѣднее замѣчаніе—не единственное въ нѣмецкой философской литературѣ. Уже болѣе десяти лѣтъ назадъ Робертъ Циммерманъ сближалъ построенія Конта съ метафизическими системами по-Кантовской эпохи. Въ новѣйшее время такое же сближеніе сдѣлалъ и представитель нѣмецкаго позитивизма Эрнстъ Лаасъ [2]).

Съ этими же замѣчаніями можно поставить рядомъ и ту оцѣнку Контовскаго позитивизма, которую даетъ Максимиліанъ Брютъ въ недавно вышедшемъ сочиненіи своемъ «Der Positi-

---

[1]) *R. Eucken*. «Zur Würdigung Comte's und des Positivismus. (Philosophische Aufsätze). Ed. Zeller zu seinem fünfzigjährigen Doctor-Jubiläum gewidmet». Leipz., 1887.

[2]) *Robert Zimmermann*. «Kant und die Positive Philosohpie» Wien, 1874, S. 36.—*Laas*. «Idealismus und Positivismus», I. S. 183.

vismus nach seiner ursprünglichen Fassung dargestellt und beurteilt» (Hamburg, 1889). Брютъ находитъ, что если Контъ считалъ метафизическими всѣ тѣ понятія, которыя не обосновываются на опытѣ, а возникаютъ въ процессѣ мышленія подъ воздѣйствіемъ потребности знанія, не уяснившей себѣ границъ своихъ, то ему невозможно было не заняться предварительнымъ опредѣленіемъ этихъ границъ и уясненіемъ такимъ образомъ тѣхъ основаній, опираясь на которыя онъ отрицалъ извѣстныя способности ума. Нѣкоторыя изъ критическихъ замѣчаній Брюта могутъ быть пріурочены къ этому признанію необходимости предварительныхъ логическихъ изысканій, и въ числѣ ихъ на первомъ планѣ слѣдуетъ поставить указаніе на метафизическій характеръ нѣкоторыхъ понятій, незамѣтно вкравшихся въ систему, а также и обнаруженіе неполноты и шаткости нѣкоторыхъ опредѣленій; другія, какъ весьма спорныя, лишены, по нашему мнѣнію, большого значенія, хотя и небезынтересны для того, кто захотѣлъ бы ближе ознакомиться съ современною литературою о позитивизмѣ [1]).

Такова судьба Контовой доктрины въ Германіи. Ее расхвалили, но не приняли, и отпустили съ отмѣткой, долженствующей свидѣтельствовать, что позитивизмъ этотъ не подходитъ подъ имъ же самимъ установленное мѣрило. Для полноты фактической стороны вопроса объ отношеніи нѣмецкой критики къ ученію Ог. Конта, слѣдуетъ отмѣтить еще, что Лаасъ считаетъ основныя положенія Конта «отчасти справедливыми», а К. Гёрингъ, не высказываясь по вопросу о классификаціи наукъ, въ общемъ одобряетъ законъ трехъ состояній, находя, однако же, что онъ не охватываетъ всего разнообразія соотносящихся фактовъ и не соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ изъ нихъ [2]).

Затѣмъ, прямое и непосредственное отношеніе стоящей нашего вниманія нѣмецкой философской критики системы Конта можетъ считаться исчерпаннымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ заканчивается и наше обозрѣніе соотношеній, существующихъ между позитивизмомъ Ог. Конта и научно-философскимъ движеніемъ или позитивизмомъ въ широкомъ смыслѣ. Теперь мы уже исключительно займемся этимъ послѣднимъ. «Новый позитивизмъ»

---

[1]) *Maximilian Brütt.* Der Positivismus etc. S. 48—60.

[2]) *Laas,* ibid.—*C. Göring.* «System der kritischen Philosophie». Leipz., 1875. II Theil, S. 10—12.

извѣстнымъ образомъ примыкаетъ къ позитивизму англійскому, но у него есть не мало особенностей, къ характеристикѣ которыхъ намъ и предстоитъ перейти. Онъ, наконецъ, представляетъ и выходъ изъ тѣхъ положеній, съ которыми мы познакомились при обозрѣніи англійскаго позитивизма, къ дѣйствительному новому и важному обобщенію, которому мы посвятимъ остальную часть нашей работы.

2. Карлъ Гёрингъ.

Мы сказали уже, что первымъ шагомъ въ ходѣ рѣшенія вопроса о томъ, чѣмъ должна быть научная философія, неизбѣжно является поднятіе теоріи познанія до высоты самостоятельной и положительной науки. Очевидно, однако же, что, вслѣдъ за принципіальнымъ установленіемъ необходимости этого шага, новая наука должна была выработать свое содержаніе при помощи твердо установленной опытной психологіи, данныя которой служатъ для нея основою. По этой причинѣ, при первомъ же шагѣ къ осуществленію задачи научной теоріи познанія, мы встрѣчаемся съ вопросомъ о соотношеніи ея къ психологіи и зависимости ея развитія отъ успѣховъ послѣдней.

Исходною точкой рѣшенія этого вопроса служитъ различеніе мышленія отъ познаванія и признаніе за «мышленіемъ» значенія «познаванія» только при условіи доказательности каждаго шага, совершаемаго стремящеюся къ познанію мыслью. Опираясь на это очевидное положеніе, развилъ свои взгляды на интересующій насъ вопросъ одинъ изъ значительнѣйшихъ представителей научной философіи, къ несчастію, слишкомъ рано умершій, Карлъ Гёрингъ. Его неоконченный капитальный трудъ *Система критической философіи* надолго еще останется руководящимъ для многихъ первостепенныхъ научно-философскихъ вопросовъ и въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ пока еще никѣмъ не превзойденнымъ.

Мы не разъ уже говорили о Гёрингѣ въ нашихъ прежнихъ работахъ и имѣемъ основаніе полагать, что нѣкоторые изъ нашихъ читателей раздѣляютъ теперь съ нами уваженіе къ этому мыслителю. Мы чтимъ въ Гёрингѣ одного изъ первыхъ по времени и по значенію представителей научной философіи и считаемъ нужнымъ еще разъ обратиться къ богатому источнику,

представляемому его сочиненіями, надѣясь найти въ немъ многія положенія, пропускъ которыхъ оставилъ бы въ нашемъ очеркѣ современнаго состоянія вопроса о томъ, что̀ такое научная философія, слишкомъ важные пробѣлы.

Замѣтимъ прежде всего, что, назвавъ главное свое сочиненіе «Системою критической философіи» и избравъ для него эпиграфомъ изреченіе Канта, Гёрингъ съ первыхъ же строкъ предупреждаетъ читателя, что его систему отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ историческимъ критицизмомъ или Кантіанствомъ. Называя систему свою критическою, Гёрингъ хотѣлъ только показать, что общею основою ея служитъ критика въ общемъ научномъ смыслѣ этого слова. И далѣе онъ настаиваетъ на той мысли, что именно послѣ того, какъ было обнаружено ничтожество всякаго трансцендентнаго умозрѣнія, философія стала преимущественно критическою, а теорія познанія—тѣмъ полемъ, на которомъ стали производиться попытки обоснованія законовъ научной философіи.

Задачею теоріи познанія, по мысли Гёринга, должно быть раскрытіе всѣхъ неизбѣжныхъ для обыденнаго мышленія ошибокъ и доведенное до очевидности доказательство грубаго самообмана, скрывающагося подъ предполагаемыми высшими знаніями. Какъ наука, переживающая еще процессъ возрастанія, философія должна искать поученія у наукъ уже признанныхъ,—идти по ихъ стопамъ. Но чѣмъ же обезпечивается наукѣ достовѣрность ея круга познаній? Она обезпечивается ея методомъ. Единственный же критерій метода заключается въ томъ, что при его посредствѣ могла установиться наука. Философіи и предстоитъ поэтому не тратить силъ на доказательства вѣрности своего метода, а оправдать его фактически и стать, такимъ образомъ, внушительною и для обыденныхъ умовъ. Вступивъ на этотъ путь, философія ставитъ себя въ весьма выгодныя условія: являясь послѣ цѣлаго ряда установившихся наукъ, она можетъ прибѣгнуть къ сравненію различныхъ ихъ методовъ и, такимъ образомъ, выработать отвлеченное понятіе о методѣ вообще, или, выражаясь иначе, воспользоваться методомъ этихъ наукъ въ формальномъ отношеніи. Основное положеніе, получаемое благодаря такому пріему, и заключается въ различеніи *познаванія* и *мышленія*, на которое было нами указано выше.

Съ этого момента выступаетъ на сцену теорія *познанія*. Цѣль ея, по мысли Гёринга, заключается въ установленіи руководи-

тельныхъ началъ для мышленія. Она не занимается описаніемъ процесса мышленія и, слѣдовательно, не даетъ его законовъ, но она установляетъ правила, соблюдая которыя, слѣдуетъ мыслить, если желаютъ достигнуть познанія. Задаваясь такою цѣлью, она, какъ то и очевидно, предполагаетъ, что натуральный процессъ мышленія ведетъ къ заблужденіямъ, а потому, конечно, предполагаетъ предварительное знакомство съ этимъ процессомъ, т.-е. знакомство съ наукою, изучающею естественные законы мышленія, *съ психологіей*. Психологія должна быть разсматриваема поэтому, какъ необходимый ея базисъ. Само собою разумѣется, что при томъ отношеніи теоріи познанія къ психологіи, на которое мы указали выше, нѣтъ надобности привлекать послѣднюю во всей ея полнотѣ, а достаточно ограничиться только тою ея частью, которая соотвѣтствуетъ опредѣленнымъ выше цѣлямъ правильно-установленной теоріи познанія, а именно: изученіемъ естественнаго процесса мышленія и указаніемъ тѣхъ воздѣйствій, которыя оказываютъ на него другія стороны психической дѣятельности, при чемъ степень изученія самихъ воздѣйствующихъ факторовъ опредѣляется тою мѣрой, которая оказывается необходимою для рѣшенія задачи, предположенной теоріею познанія.

Осуществляя затѣмъ намѣченный въ предшествовавшихъ строкахъ планъ, Гёрингъ, слѣдуя общепринятому различенію трехъ сторонъ психической дѣятельности—ума, чувствованія и воли,—опредѣляетъ сперва соотношенія, существующія, по его мнѣнію, между чувствованіями и волей, и затѣмъ занимается уже вопросомъ о воздѣйствіи ихъ на дѣятельность ума.

По мнѣнію Гёринга, чувствованія (Gefühle) не составляютъ самостоятельнаго момента психической жизни, а представляютъ явленіе соотносительное съ *основнымъ* явленіемъ этой жизни—хотѣніемъ (Begehren), обозначаемымъ обыкновенно терминомъ «воля» (Wille). Подъ волей здѣсь не слѣдуетъ разумѣть никакой «сущности», такъ какъ Гёрингъ, «тщательно стараясь ограничить себя индуктивнымъ методомъ и удаленіемъ отъ всякихъ метафизическихъ вліяній», видитъ въ «волѣ» только общее обозначеніе извѣстныхъ всякому психологическихъ фактовъ. Итакъ, чувствованія и воля разсматриваются Гёрингомъ какъ явленія соотносительныя: гдѣ есть одно, тамъ, навѣрное, есть и другое; гдѣ есть причина—воля, тамъ непремѣнно есть и дѣйствіе—чувствованія. Эти послѣднія, какъ такія состоянія, съ которыми

всегда связано сознаніе удовольствія или страданія, наслажденія или боли, радости или горя, дають намъ указаніе на существованіе явленій воли—тѣхъ хотѣній, удовлетвореніе или неудовлетвореніе которыхъ и выражается удовольствіемъ или страданіемъ, но которыя, независимо отъ этихъ состояній, всегда остались бы для нихъ неизвѣстными, т.-е. никогда не дошли бы до нашего сознанія. Многочисленныя и остроумныя наблюденія, надъ которыми мы, къ сожалѣнію, не можемъ теперь остановиться, приводятся Гёрингомъ для того, чтобы выяснить *безсознательность* и *слѣпоту* воли. Гёрингъ доказываетъ, что воля возникаетъ и развивается совершенно независимо отъ нашей умственной дѣятельности, въ тѣхъ темныхъ глубинахъ нашего существованія, куда не проникаетъ сознаніе, но что она, несмотря на это, пропитываетъ собою всю нашу психическую дѣятельность, вплетается во всѣ ея стороны. Она является какъ хотѣніе знать, какъ любопытство, любознательность и т. д. И хотя, такимъ образомъ, она служитъ первоначально какъ стимулъ къ познаванію, но неизбѣжно воздѣйствуетъ на ходъ познавательнаго процесса самымъ вреднымъ образомъ. Недоброе ея вліяніе особенно ярко сказывается на первыхъ стадіяхъ познавательнаго стремленія: она тянется къ удовлетворенію неудержимо, слѣпо, безъ разбора средствъ; только путемъ труднаго и продолжительнаго дисциплинированія становится она способною подчиняться уму и безмолвствовать передъ предписываемыми имъ законами. Вообще говоря, побужденіе къ познанію имѣетъ, по мнѣнію Гёринга, тѣ же свойства, что и другія наши побужденія, которымъ оно первоначально уступаетъ въ силѣ; и оно тоже получаетъ вполнѣ самостоятельное значеніе, только совершается это сравнительно позже, когда другія побужденія успѣютъ уже найти извѣстное удовлетвореніе. Эта особенность хотѣнія познавать не можетъ, однако же, вести къ тому заключенію, что побужденіе къ знанію разумнѣе другихъ человѣческихъ побужденій. На самомъ дѣлѣ и оно также подчиняется тому всеобщему закону, согласно которому воля,—въ томъ случаѣ, когда она сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь пунктѣ,—пріобрѣтаетъ чрезвычайную силу и интенсивность и, при полномъ отсутствіи какого-либо воздѣйствія свѣта критики, стремительно кидается къ своей цѣли, не обращая никакого вниманія на предостереженія трезвыхъ мыслителей, голоса которыхъ раздаются при такихъ случаяхъ, какъ вопль

въ пустынѣ. Весьма своеобразно выразилась эта первобытная слѣпота любознательности у Лессинга, который, какъ извѣстно, заявлялъ, что онъ предпочелъ бы безконечное стремленіе къ истинѣ полному обладанію ею. Лессингъ, подобно многимъ другимъ мыслителямъ, не зналъ другого высшаго наслажденія, какъ исканіе истины; въ то же время, онъ зналъ, конечно, что наслажденіе его исчезнетъ вмѣстѣ съ исчезновеніемъ порождающаго его побужденія, а потому онъ и отказывался отъ полнаго удовлетворенія этого побужденія и разсчитывалъ на сохраненіе единственнаго наслажденія въ жизни посредствомъ постепеннаго удовлетворенія любознательности. Такимъ рѣшеніемъ онъ свидѣтельствовалъ, конечно, о преобладаніи слѣпого побужденія надъ разумомъ. И въ самомъ дѣлѣ, побужденіе его не можетъ назваться разумнымъ, такъ какъ онъ отклонялъ достиженіе цѣли, этому побужденію присущей, и дѣлалъ побужденіе само для себя цѣлью. Если же человѣкъ такой рѣдкой ясности и силы ума, какъ Лессингъ, подчинялся естественной слѣпотѣ хотѣнія познавать, то нечего удивляться, что образъ дѣйствія стремящихся къ знанію людей вообще представляется, хотя и на иной ладъ, лишеннымъ всякой критичности.

Развивая далѣе свою мысль, Гёрингъ говоритъ, что естественное побужденіе къ знанію стремится, прежде всего, ко всеобщему и полному удовлетворенію; по этой причинѣ оно никогда не можетъ довольствоваться методическимъ научнымъ изслѣдованіемъ, опредѣляющимъ границы, за которыя знаніе переходить не можетъ. Не довольствуясь же путями науки, оно, само собою, создаетъ свои пути и средства, имѣя въ виду достиженіе невозможнаго. Примѣры такихъ блужданій мысли имѣются въ исторіи въ преизбыткѣ, и если формы всѣхъ этихъ мнимодостиженій и мѣняются, то ихъ основы и содержаніе остаются и по настоящее время все тѣми же.

Эти условія развитія знанія, по справедливому мнѣнію Гёринга, сильно задерживаютъ прогрессъ научной мысли; прогрессъ этотъ по указанной причинѣ и не можетъ выдерживать сравненія съ прогрессомъ въ сферѣ матеріальной. Воля, когда она направляется къ цѣлямъ матеріальнымъ, находитъ неизбѣжно свои естественныя границы во внѣшней средѣ,—границы, реальность которыхъ часто не можетъ быть преодолѣна даже и при высокой степени необузданности воли, ибо «сурово стал-

киваются предметы въ пространствѣ». Не даромъ же и житейская мудрость пришла къ убѣжденію, что на всякое хотѣніе есть терпѣніе. Совсѣмъ не то замѣчается тогда, когда воля направляется къ достиженію познанія; познанію недостаетъ коррективa дѣйствительности; оно легко можетъ создать себѣ свой собственный міръ и, при его помощи, выбросить за бортъ своего умственнаго обихода неудобную для себя дѣйствительность, если она становится преградой къ полному удовлетворенію его хотѣнія знать. Довольствуясь словами и мыслями, оторванными отъ дѣйствительности, побужденіе къ знанію находитъ свое удовлетвореніе и представляетъ намъ картину «мирнаго совмѣщенія мыслей», подчасъ самыхъ противорѣчивѣйшихъ и безсвязнѣйшихъ.

Вообще говоря,—разсуждаетъ Гёрингъ,—когда цѣли познанія достигаются при преобладаніи воли въ процессѣ достиженія, то онѣ обыкновенно считаются достигнутыми, когда наступаетъ чувствованіе удовольствія, неразрывно связанное съ удовлетвореніемъ всякаго хотѣнія, и устраняется чувствованіе неудовольствія, сопряженное съ неудовлетвореніемъ. По этой причинѣ дѣятельность воли всегда представляется индивидуальною, и только неразсудительные люди имѣютъ притязаніе на обязательность ихъ личныхъ хотѣній и чувствованій для всѣхъ остальныхъ людей. Чтобы сбить человѣка съ позиціи его хотѣнія, надо допустить существованіе интеллектуальнаго момента въ сферѣ чувствованій, но для такого утвержденія нельзя найти реальныхъ основаній.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, можно вполнѣ согласиться съ указаніемъ Гёринга на постепенное возрастаніе самомнѣнія въ процессѣ мышленія, заправляемаго волей. Считая себя всегда правою, воля доходитъ, наконецъ, до того, что начинаетъ отстаивать даже и такія положенія, ложь которыхъ была уже показана теоретически. Изъ этого же источника проистекаетъ скрываемая иногда, но часто и открыто высказываемая ненависть противъ всякой критики, которая и выражается обычно въ извѣстныхъ жалкихъ словахъ, направляемыхъ по адресу критики: разрушительная, всеотрицающая, бездушная, безсердечная и т. д. И это происходитъ вовсе не тогда только, когда критика входитъ въ столкновеніе съ проявленіями воли, имѣющими матеріальный характеръ; даже и въ практически - безразличныхъ вопросахъ выказывается обыч-

ное предпочтеніе субъективнаго удовлетворенія любознательности познанію объективному. Отъ всякаго, обличающаго заблужденія, требуется, чтобъ онъ ранѣе такого обличенія поставилъ на мѣсто отвергаемаго нѣчто положительное и не осуждалъ хотѣнія на тягостное чувствованіе неудовлетворенія.

Изложенныя нами разсужденія Гёринга даютъ ему возможность обосновать то главное положеніе его теоріи познанія, которое имѣетъ уже значеніе руководительнаго начала при обозначеніи раздѣлительной черты между научными знаніями и метафизическими фикціями. Главное положеніе это заключается въ различеніи *знанія отъ пониманія*, дающемъ возможность прослѣдить за тѣми средствами, при помощи которыхъ хотѣніе знать легко и скоро раздѣлывается съ представляющимися ему задачами и мнимымъ рѣшеніемъ ихъ старается забѣжать впереди медленно подвигающагося методическаго изученія и критики и пытается предвосхитить ихъ результатъ. Тогда какъ *знаніе* принимаетъ своею исходною точкой *представленія*, изъ которыхъ сперва образуется первая, непосредственная его ступень, а потомъ формируются *понятія* разныхъ степеней отвлеченности, общая совокупность которыхъ можетъ быть распредѣлена на *группы*, соотвѣтствующія тѣмъ или инымъ группамъ явленій,—пониманіе замѣняетъ всю эту длинную постепенность однимъ скачкомъ: оно сводитъ предлежащее явленіе на другое, очень часто неизвѣстное или просто предполагаемое, и въ этомъ сведеніи находитъ полное удовлетвореніе стимулирующей ее воли. Подмѣна знанія пониманіемъ и создала тѣ внѣопытныя, трансцендентныя сущности, темныя рѣчи о которыхъ всегда считались у метафизиковъ превыспреннимъ пареніемъ мысли въ сферѣ какого-то высшаго разумѣнія. Произволъ въ нанизываніи звеньевъ, именуемыхъ сущностями, и произволъ обрыванія получаемой такимъ путемъ цѣпи указывали, однако же, на совершенное отсутствіе объективнаго обоснованія такого процесса. Такъ, если сущность какого-нибудь явленія считалась какимъ-нибудь x, то, очевидно, можно ставить вопросъ о сущности этого x и сводить его на y, а затѣмъ сущностью y признавать какой-нибудь z; но можно остановиться и на y, такъ же точно, какъ и идти далѣе z. Знаніе, вторгаясь въ эту область, требуетъ, прежде всего, объективнаго основанія для сведенія одного явленія на другое и затѣмъ не допускаетъ сведенія на явленія неизвѣстныя и фиктивныя,

т.-е. заопытныя; оно требуетъ, чтобы всякое привлекаемое для цѣлей пониманія явленіе было реальнымъ, всегда сохраняло бы свою связь съ представленіями, а черезъ ихъ посредство—съ міромъ дѣйствительнымъ, и такимъ образомъ пониманіе низводится къ его истинному значенію и ему указываются границы его годности и приложимости. Изъ всего этого видно, что установленіемъ своего главнаго тезиса Гёрингу удалось положить совершенно опредѣленное различіе между методически-образованными понятіями науки и призрачными, произвольно-объективированными понятіями той философіи, которую мы обыкновенно называемъ метафизическою.

Здѣсь будетъ умѣстно, какъ мы полагаемъ, вспомнить о нѣкоторыхъ нашихъ философахъ и показать, какое значеніе имѣетъ у нихъ принципъ пониманія (соотносительно—объясненія) и какъ рѣшительно они его выставляютъ, разсчитывая на «простоту» читателя. Такъ, г. Лопатинъ, напримѣръ, мечтаетъ о такомъ идеальномъ состояніи знанія, когда «со всею точностью доказанные законы явленій сочетаются съ глубокимъ *пониманіемъ* внутренней природы вещей, опредѣляющей собою эти законы къ бытію, а сама эта природа найдетъ свое окончательное *объясненіе* въ идеѣ разумно-духовнаго абсолютнаго начала». Читатель можетъ при помощи Гёринга оцѣнить это двухъярусное, глубокое и окончательное пониманіе, которое еще заостряется идеей абсолюта, не справляющеюся съ условіями философской критики и какъ бы издѣвающейся надъ читателемъ, знакомымъ съ требованіями этой критики. Другой философъ—г. Милославскій—въ двухъ объемистыхъ сочиненіяхъ не перестаетъ твердить о пониманіи, о познаніи (?) сущностей, какъ самомъ цѣнномъ для человѣка, и, наконецъ, о чистотѣ сердца, необходимомъ для всего этого лже-познавательнаго процесса. Третій—г. Гротъ—хвалится, что «противоположилъ позитивной наукѣ *вполнѣ законный* философскій синтезъ, основанный на *чувствѣ*» [1]). Итакъ, пониманіе, объясненіе, разысканіе

---

[1]) «Положительныя задачи философіи». Часть первая. «Область умозрительныхъ вопросовъ». *Л. Лопатина*. Москва. 1886, стр. 7. П. *Милославскій*. «Типы современной философской мысли въ Германіи». Казань, 1878. *Его же:* «Основанія философіи какъ спеціальной науки». Казань, 1883. *Г. Гротъ*. «О направленіяхъ и задачахъ моей философіи». Москва 1886, стр. 10.

сущностей, абсолютовъ, и, рядомъ, импульсирующіе факторы: сердце, чувство...

Приведенный выше сжатый очеркъ взглядовъ Гёринга даетъ намъ, какъ мы полагаемъ, возможность притти къ тому общему заключенію, что раздѣлительная черта между метафизикой и наукой проводится исключительно однимъ только методомъ, благодаря которому тѣ или другіе вопросы получаютъ метафизическій характеръ. Въ прежнее время такого характера не лишены еще были вопросы физики, химіи, физіологіи и другихъ наукъ; въ настоящее время многіе желаютъ сохранить его хоть за вопросами теоріи познанія. Съ приложеніемъ научнаго метода ко всѣмъ областямъ познанія, метафизическій фазисъ ихъ развитія проходитъ окончательно и становится ясно до очевидности, что терминъ «метафизика» оказывается лишеннымъ всякаго содержанія, хотя, сомнѣнія въ томъ нѣтъ, «хотѣніе, неутолимая жажда» останутся, и поэты въ душѣ никогда не перестанутъ толковать о пустотѣ, «qui s'ouvre par delà de toute science humaine»...

Tandis qu'obstinément le *Désir* qu'on exile
Revient errer autour du gouffre défendu.

3. Гаральдъ Гёфдингъ.

Вѣрно намѣтивъ разграничительную черту научной и не-научной философіи и правильно опредѣливъ значеніе теоріи познанія въ общемъ строѣ наукъ, Гёрингъ, какъ мы думаемъ, слишкомъ съузилъ роль психологіи по отношенію къ вопросу о воздѣйствіи ея на обоснованіе научной гносеологіи. Рѣшая свою задачу, Гёрингъ полагалъ, что онъ могъ вовсе и не касаться даже теоріи такъ-называемыхъ «способностей», помощью которыхъ еще сравнительно недавно старались объяснить психическую дѣятельность, хотя при этомъ ее и дробили на слишкомъ разрозненныя части. Разсужденіе Гёринга о взаимодѣйствіи ума, чувствованій и воли несомнѣнно показываетъ, что онъ предполагалъ вопросъ рѣшеннымъ не въ пользу подраздѣленія психической дѣятельности на «способности»; но нельзя не признать, что одно предполагаемое рѣшеніе вопроса такой важности отняло у Гёринга поводъ идти далѣе общей помѣты той разграничительной черты, прослѣдить которую мы теперь стараемся. И если общее направленіе этой черты и проложено у Гёринга правильно, то нельзя не признать, что обработка ея въ отдѣльныхъ частяхъ лишена той полноты, которая ни въ какомъ случаѣ не можетъ почесться лишнею.

И прежде всего бросается въ глаза то, что если бы Гёрингъ не пренебрегъ указываемымъ нами вопросомъ, то онъ, конечно, не упустилъ бы случая остановиться на привлеченіи «способностей» къ объясненію (соотносительно—пониманію) психической дѣятельности, какъ на очень поучительную иллюстрацію установленнаго имъ различенія пониманія отъ знанія. Иллюзорность этого объясненія была въ недавнее время очень удачно указана Гаральдомъ Гёфдингомъ въ его трактатѣ о психологіи. Иллюзорность эта, какъ замѣчаетъ Гёфдингъ, совершенно по-

добна той, которая осмѣяна Мольеромъ въ столь извѣстномъ объясненіи дѣйствія опіума (virtus dormitiva). Распредѣляя психическую дѣятельность на различныя способности, упускали изъ вида чисто-отвлеченный характеръ этого распредѣленія. На самомъ дѣлѣ распредѣленіе это установляетъ только, что между извѣстными психическими состояніями существуютъ извѣстныя различія. Изъ этого не слѣдуетъ, однако же, — заявляетъ Гёфдингъ, — чтобы каждое изъ этихъ состояній слѣдовало выдѣлить въ особую рубрику. Необходимо только изслѣдовать: не содержатся ли въ каждомъ данномъ психологическомъ состояніи одни и тѣ же элементы, и не обусловливается ли различіе между этими состояніями преобладаніемъ въ томъ или другомъ изъ нихъ однихъ элементовъ рядомъ съ подчиненностью другихъ? На этомъ основаніи группировкѣ должны подлежать не явленія или состоянія сознанія, а элементы, которые мы, при ближайшемъ разсмотрѣніи, открываемъ въ нихъ; подъ психическими же элементами мы разумѣемъ различныя стороны или свойства состояній сознанія. Такъ, если мы противопоставляемъ, напримѣръ, познаніе чувствованію, то при этомъ можемъ предполагать только преобладаніе элементовъ познанія, въ одномъ случаѣ, и преобладаніе элементовъ чувствованія — въ другомъ. О чистомъ же познаніи и чувствованіи, допускаемомъ умозрительною философіей, по мнѣнію Гёфдинга, не можетъ быть и рѣчи.

При такой постановкѣ вопроса о соотношеніи между психическими элементами, Гёфдингъ не обособилъ соотносительности воли и чувствованія и не изслѣдовалъ вліянія этихъ элементовъ на познаніе совмѣстно, какъ то сдѣлалъ Гёрингъ, а прослѣдилъ каждый родъ вліянія въ отдѣльности. Благодаря этому пріему, картина воздѣйствія чувствованій и воли на познаніе оказалась у Гёфдинга особенно богатою и въ высшей степени поучительною.

Гёфдингъ, какъ и Гёрингъ, приписываетъ волевымъ элементамъ первый толчокъ къ поискамъ за неизвѣстнымъ, первый импульсъ любознательности, первый мотивъ интереса къ окружающимъ человѣка явленіямъ. По этой-то причинѣ начальные шаги познанія имѣютъ практическій характеръ. Задачею первоначальнаго познанія является открытіе средствъ къ удовлетворенію стремленій, хотѣній, инстинктивныхъ побужденій. Только мало-по-малу развертывается чистое хотѣніе познанія, стре-

мленіе знать ради самаго знанія. Долго еще практическіе интересы ложатся въ этомъ процессѣ тѣнью на возникающія высшія стремленія, и даже тогда, когда человѣкъ становится уже способнымъ къ созерцательно-восторженному состоянію, замѣтно еще воздѣйствіе практическихъ мотивовъ, придающихъ попыткамъ мысли этого періода телеологическій пошибъ. Самоотреченіе чувствованій, рѣшимость ихъ открыть мысли свободный путь совершается лишь цѣною упорной борьбы, наполняющей собою исторію отдѣльныхъ личностей, такъ же какъ и исторію человѣческаго рода. Человѣкъ хочетъ познать природу такою, какова она есть; но онъ хочетъ, въ то же время, чтобы его собственныя цѣли были и цѣлями природы. Въ послѣдней инстанціи, законъ причинности является для него только средствомъ осуществленія высшаго, согласно его разумѣнію, блага. Форма, въ которую облекается это разумѣніе, всецѣло зависитъ отъ той стадіи общественнаго развитія, къ которой она относится. Такъ, австраліецъ, напримѣръ, видя смерть товарища и не открывая ея причины въ ряду извѣстныхъ ему внѣшнихъ воздѣйствій: выстрѣла изъ лука и т. п., относитъ эту причину къ вліянію колдовства, а самаго колдуна открываетъ по направленію, принятому первымъ попавшимся ему на глаза насѣкомымъ: кто первый встрѣтился на этомъ пути, тотъ и признается отыскиваемымъ убійцей. Мышленіе такого рода, какъ согласное со своими предпосылками, надо счесть, конечно, добропорядочнымъ раціональнымъ мышленіемъ. Что же касается живучести подобныхъ предпосылокъ, то нельзя упускать изъ вида, что и въ настоящее время онѣ еще, хотя бы отчасти, допускаются: милліоны людей въ высоко-цивилизованныхъ странахъ и теперь приписываютъ такъ-называемыя спиритистическія явленія вліянію духовъ. Пока такія или иныя миѳологическія существа представляются сознанію, какъ дѣйствительно существующія, до тѣхъ подъ удовлетвореніе указанныхъ выше стремленій находитъ въ высшей степени легкое и подходящее средство. Причинная связь создается фантазіей, и вводимые въ нее моменты построяются въ рядъ, прохожденіе двухъ, трехъ ступеней котораго признается уже фантазіей, какъ достиженіе намѣченной ею цѣли; рядъ считается замкнутымъ, и удовлетворенная фантазія ищетъ покоя. Такъ, греки признавали боговъ своихъ за виновниковъ естественныхъ явленій, а происхожденіе самихъ боговъ выводили, согласно теогоніи Гезіода, изъ

Хаоса, не спрашивая затѣмъ, откуда произошелъ Хаосъ. Этотъ, какъ и другіе подобные факты приводятъ Гёфдинга къ заключенію, что ошибочно бы было считать миѳологическія объясненія природы способными постепенно перейти въ научныя. Разрывъ между этими двумя рядами Гёфдингъ видитъ въ нарушеніи антропоморфической формы, которая оказывается безсильною устоять противъ возрастанія убѣжденія въ постоянствѣ среднихъ терминовъ ряда и независимости ихъ отъ какого бы то ни было личнаго произвола. Характеристическія черты научнаго понятія причинности заключаются въ томъ, что объясненіе естественныхъ явленій сводится къ естественнымъ же явленіямъ.

Природа получаетъ объясненіе въ самой себѣ, т.-е., какъ сказалъ бы Гёрингъ, *пониманіе* переходитъ въ *знаніе*. До-научное мышленіе, развившееся подъ воздѣйствіемъ указанныхъ выше стимуловъ, остается несоизмѣримымъ съ научнымъ на всѣхъ своихъ стадіяхъ: какъ грубый фетишизмъ, такъ и возвышенное пареніе идеалистической философіи сходятся между собою въ этомъ отношеніи. На этихъ различныхъ ступеняхъ умственнаго развитія содержаніе и значеніе чувствованій, конечно, очень различны; но психологическое отношеніе между чувствованіями и познаваніемъ остается на протяженіи всего ряда неизмѣннымъ.

Продолжая очерчивать вліяніе чувствованій на познаваніе, Гёфдингъ останавливается еще на томъ обстоятельствѣ, что и понятіе необходимости первоначально имѣетъ практическій характеръ: мысль ищетъ только тѣ условія, безъ которыхъ цѣли, ставимыя человѣкомъ, остались бы недостижимыми. Мышленіе получаетъ, такимъ образомъ, по отношенію къ чувствованію отрицательный характеръ: чувствованіе сангвинично и нетерпѣливо; оно прямолинейно стремится къ намѣченной цѣли и лишь наперекоръ самому себѣ принуждено признать противодѣйствіе со стороны того средства, безъ помощи котораго цѣли придется получить характеръ недостижимости. Въ этой неразрывности связи средства и цѣли, въ этой неуступающей никакому аффекту послѣдовательности этихъ двухъ моментовъ, въ этомъ желаніи получить А, неустранимо влекущемъ къ полученію В, заключается первое столкновеніе человѣка съ необходимостью. Когда такая необходимость переживается повторительно, мысль приходитъ къ заключенію, что въ ней, въ этой

необходимости, она, мысль, встрѣчаетъ извѣстную частицу всякой данной дѣйствительности. Вслѣдъ за этимъ заключеніемъ возникаетъ самостоятельная задача—предметъ непосредственнаго интереса: объяснить законъ этой необходимости и самоотреченно погрузиться въ великое взаимодѣйствіе явленій. Отношеніе причины и слѣдствія будетъ поставлено тогда на мѣсто прежняго отношенія и, какъ показываетъ намъ исторія наукъ, совершится постепенный переходъ отъ «телеологизма» къ «механизму». Чувствованія не перестанутъ оказывать сопротивленіе и дѣлать препятствія процессу этого перехода на каждомъ шагу. И даже тогда, когда наука въ своихъ законахъ дастъ объясненіе всему мірозданію, она будетъ не въ силахъ воспретить чувствованіямъ считать подосновою всего міроразумѣнія, всей системы причинъ и слѣдствій нѣкую высшую и непостижимую телеологію.

Таково одно изъ главнѣйшихъ вліяній чувствованій на умственную дѣятельность, по взгляду Гёфдинга; вліяніе это, какъ онъ думаетъ, обусловливаетъ ту настоящую почву, на которой произрастаетъ всякая мистика и метафизика, вплетающіяся въ работу мысли, производящія въ ней всякаго рода извращенія и дающія въ результатѣ тѣ сбивчивыя системы, которыя инспинуируются, какъ мудрѣйшія рѣшенія труднѣйшихъ проблемъ. На самомъ дѣлѣ, системы эти возникаютъ и развиваются только благодаря могущественному воздѣйствію чувствованій на подчиняющееся имъ мышленіе.

Все, только что изложенное, показываетъ съ достаточною ясностью, какъ мы полагаемъ, что черты, подмѣченныя Гёфдингомъ, вполнѣ подтверждаютъ изложенныя ранѣе мысли Гёринга и совершенно послѣдовательно дорисовываютъ сдѣланный этимъ послѣднимъ общій абрисъ вліянія хотѣній (соотносительно—чувствованій) на процессъ познаванія. Для насъ особенно важно въ настоящую минуту остановить вниманіе читателя на той особенности, которая присуща воздѣйствію чувствованій на мышленіе и въ томъ случаѣ, когда они становятся въ оппозиціи мыслительной дѣятельности, и въ той, когда они вплетаются въ нее и проникаютъ и переполняютъ ее всю,—мы разумѣемъ слѣпоту чувствованій. Какое мы ни возьмемъ сочетаніе мыслей и чувствованій, мы всегда увидимъ, что не достовѣрность познанія, не истина составляютъ притягательную силу для чувствованій, что для нихъ этою силой всегда является

одно только то, что́ составляетъ основу хотѣнія—цѣледостиженіе. Чувствованія никогда не бываютъ въ силахъ различать подмывающее ихъ стремленіе къ цѣледостиженію отъ идеи цѣледостижимости и провѣрить первое послѣднею,—это всегда было и навсегда останется дѣломъ опыта, по отношенію къ которому чувствованія неизмѣнно сохраняютъ враждебное настроеніе. Тогда какъ мышленіе не перестаетъ поучаться изъ опыта, чувствованія, оставаясь слѣпыми, стоятъ только за одно: за намѣченную ими цѣль. И если они иногда и сплетаются съ такими воззрѣніями, которыя могутъ выдержать критику и дать отчетъ въ своей raison d'être, то такая комбинація, могущая являться результатомъ тѣхъ или иныхъ данныхъ, представленныхъ личностью или средою, никогда не обусловливается, однако же, сознательнымъ шагомъ со стороны чувствованій. Не теряя изъ вида это важное обстоятельство, мы можемъ дать правильную оцѣнку тѣмъ указаніямъ Гёфдинга, въ которыхъ онъ обращаетъ наше вниманіе на благодѣтельный характеръ воздѣйствія чувствованій на мысль, на приносимую иногда общественному прогрессу пользу самою непослѣдовательностью, на которую оно иногда наталкиваетъ, и, въ особенности, на значеніе его, какъ возбудительной силы, какъ стимула пытливости и элемента устойчивости, придаваемыхъ имъ мысли. Только благодаря чувствованіямъ, — говоритъ Гёфдингъ,—являются у мысли глубоко идущіе въ душу корни, только благодаря имъ мысли эти становятся для личности собственнымъ достояніемъ въ полномъ значеніи этого слова.

Эта чисто-психологическая сторона воздѣйствія чувствованій на мышленіе—истинное или ложное—не должна была остаться незамѣченною нами, такъ какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ она получаетъ очень важное гносеологическое значеніе. Не слѣдуетъ упускать изъ вида и то, что указываемая здѣсь роль чувствованій, возводя такіе или иные взгляды и мнѣнія на высоту убѣжденій, придаетъ имъ въ жизни такую важность, какую не можетъ имѣть самая высокая или самая неоспоримая истина, если она по какой бы то ни было причинѣ не выходитъ за предѣлы круга кабинетныхъ преній. Люди, которымъ довелось знать одни только словесныя препирательства, считаемыя ими цвѣтами, заполнявшими пустоту ихъ досуга,—люди, уровень жизни которыхъ никогда не поднимался до истинно-драматическихъ моментовъ и вѣчно оставался несоизмѣримымъ съ

трагическимп положеніямп, способны пногда къ бахвальству, когда имъ приходится высказываться объ «убѣжденіяхъ» въ тотъ моментъ, когда ходъ развитія этихъ убѣжденій переливаетъ ихъ въ дѣйствія и не даетъ мѣста академическимъ словоизліяніямъ. Носясь съ идеею науки, чуждой духа жизни, они хотѣли бы такого собранія мертвыхъ теоремъ, дебатамъ о которыхъ невозможно было бы предвидѣть конца. Но самый ростъ и расцвѣтъ жизни произноситъ надъ ними свое осужденіе. Гармонія мысли и дѣйствія, какъ осуществленіе полноты психической жизни, непрестанно добиваясь возможно полнаго и возможно прочнаго теоретическаго обоснованія, не останавливается, однако же, на немъ и вѣчно стремится къ возведенію всякой истины до высоты полнаго жизнью убѣжденія.

Въ высшей степени ярко развивается намѣченное выше противопоставленіе въ цитированной уже нами статьѣ г. Владова о Дж. Ст. Миллѣ. Есть писатели, говоритъ г. Владовъ, «которые смотрятъ на свою умственную дѣятельность какъ на органическое отправленіе, необходимое для каждаго человѣка, желающаго жить всѣми сторонами своего существа. Міровоззрѣніе этой фракціи заключается въ томъ, что всѣ отправленія человѣка должны совершаться нормально, слѣдовательно, и мозгомъ нужно работать и для здоровья, и для удовольствія. Намъ даны глаза, они должны наслаждаться прекраснымъ; намъ данъ мозгъ, онъ долженъ функціонировать; намъ данъ языкъ, онъ долженъ упражняться и т. д. Такъ говоритъ эгоистъ XIX столѣтія, индифферентистъ, въ сущности, развитое животное XIX вѣка. Какія идеи производитъ мозгъ этого развитого животнаго, это мало его заботитъ. Область мысли представляется ему шахматною доской, и кто ловчѣе сдѣлаетъ ходъ, тотъ вызываетъ больше похвалъ. Ловкая аргументація, интересная философская система, красивая женщина, старое вино, новый физіологическій фактъ, классическая музыка—все это одинаково хорошія упражненія жизни, по воззрѣнію развитого животнаго, и прислушиваясь къ мнѣніямъ его, трудно замѣтить, чтобы онъ ставилъ серьезное различіе между пріятно возбуждающею умственною работою, куреніемъ хорошей сигары и слушаніемъ хорошей сонаты. Развитое животное, какъ писатель, наноситъ существенный вредъ человѣческой мысли, обращая ее въ праздную забаву, въ орудіе, которое можетъ служить какому угодно идеалу. Если писатель такого разряда силенъ, то

это—сила вредная; если онъ и пользуется эрудиціею, то только для подавленія противника и для проведенія какой-нибудь идеи, весьма часто парадоксальной. Въ сущности, какъ ни странно выраженіе, его умственная дѣятельность—кулачное право въ области мысли, гдѣ для того, чтобы не вредить человѣчеству, требуется еще больше добросовѣстности и справедливости, чѣмъ въ обыкновенной жизни, въ которой возможны грубыя гарантіи; въ области же мысли такія гарантіи невозможны, она — настоящая республика, которая только тогда можетъ правильно развиваться, когда люди, ее составляющіе, обладаютъ добродѣтелью».

Этой категоріи пошлыхъ мыслителей г. Владовъ противополагаетъ истинныхъ мыслителей, для которыхъ мысль—задача жизни, сама жизнь. «Они вкладываютъ въ нее свою душу; они не нуждаются въ одобреніи, не боятся порицанія. Они учатъ»... «Они—апостолы извѣстной идеи, поэтому послѣдняя проводится съ такою силою, съ такимъ увлеченіемъ, которое исключаетъ все фальшивое, всякую пустую эрудицію, всякія парадоксальныя блестки»... «Они очищаютъ умственную и нравственную атмосферу отъ міазмовъ политическихъ и моральныхъ доктринъ. При изученіи ихъ идей, необходимо остановиться на ихъ характерѣ для того, чтобы вполнѣ понять ихъ внутреннюю жизнь, всегда богатую, служащую источникомъ ихъ ученій».

Если бы потребовалась историческая иллюстрація къ послѣдней общей характеристикѣ, то какая можетъ быть выразительнѣе и ярче той, которую даетъ Ренанъ въ своемъ послѣднемъ трудѣ—«Исторія израильскаго народа». «Израиль никогда не могъ примириться съ мыслью о конечномъ торжествѣ зла,—говоритъ Ренанъ.—Мудрые люди этого народа пылали гнѣвомъ къ неправдѣ, которою кишитъ міръ. Мысль о зломъ человѣкѣ, доживающемъ старость въ довольствѣ и покоѣ, приводила ихъ въ ярость. Начиная съ IX вѣка до Р. Х. пророки возводятъ идею эту въ догматъ. Израильскіе пророки это—пылкіе поборники общественной справедливости, къ которымъ въ настоящее время не замедлили бы пріурочить ходячіе шаблонные эпитеты. Они фанатически преданы идеѣ общественной справедливости и громко провозглашаютъ, что если міръ не знаетъ правды и не способенъ познать ее, то пусть онъ лучше будетъ разрушенъ—точка зрѣнія весьма ошибочная, но и весьма плодотворная, такъ какъ, подобно всѣмъ увлеченіямъ, она поро-

ждаетъ героизмъ и великій подъемъ человѣческихъ силъ. Прямые продолжатели проповѣди пророковъ, предрекая конецъ міра, преобразуютъ міръ» [1]).

Пора, однако же, намъ возвратиться къ изложенному выше взгляду Гёфдинга на чисто-гносеологическое воздѣйствіе чувствованій на познаваніе; мы можемъ замѣтить, что выдающимся послѣдствіемъ этого воздѣйствія является, по Гёфдингу, стремленіе познанія переступить предѣлы дѣйствительности, искать объясненія ея явленій въ творчествѣ фантазіи, выступить, какъ говорятъ философы, изъ имманентности и погрузиться въ трансцендентность. Но если мысль, обуздавшая преобладаніе напора сангвиничности чувствованій, становится научною только при условіи имманентности, т.-е. при объясненіи явленій природы посредствомъ ихъ же самихъ, то самая эта идея имманентности указываетъ уже на тѣ столь ненавистныя метафизикамъ границы познанія, за которыми начинается трансцендентность, отверзающая уста для нескончаемаго празднословія.

Гёфдингъ, обосновавшій, какъ мы знаемъ, имманентность философіи на понятіи причинности, распространяетъ значеніе этого понятія, какъ одного изъ частныхъ случаевъ болѣе общаго понятія относительности, показываетъ неизбѣжность относительности въ процессѣ познаванія. Онъ утверждаетъ, что сведеніе явленій къ абсолютному единству, не знающему различенія субъекта и объекта, не ведетъ и не можетъ вести къ познанію, и потому рѣшительно выдѣляетъ метафизическія гипотезы за его предѣлы и усматриваетъ въ нихъ исходныя точки для «системъ» философовъ-субъективистовъ, дающихъ въ этихъ системахъ одни продукты своего чисто произвольнаго творчества.

Если же послѣ такихъ заявленій Гёфдингъ, основываясь только на фактѣ ненасытности стремленія человѣческаго духа къ открытію послѣднихъ началъ бытія и завершенію міросозерцанія какимъ-нибудь объединяющимъ его тезисомъ, допускаетъ для метафизики возможность подвигаться по направленію, указываемому опытомъ, и опираться при этомъ на общее для нея и эмпирическаго знанія основаніе, то онъ, какъ мы думаемъ, попадаетъ на такое внутреннее противорѣчіе, которое не можетъ найти себѣ никакого оправданія. Въ самомъ дѣлѣ, какое зна-

---

[1]) Цитируемъ по «Revue philosophique», 1890, № 12, p. 613.

ченіе можетъ имѣть указываемая Гёфдингомъ послѣдняя заключительная метафизическая гипотеза? Если имманентное, то, значитъ, доказательное и, слѣдовательно, научное, а не метафизическое. Если же гипотеза будетъ трансцендентная, то кому она нужна? Не наукѣ, конечно. Если же метафизическое отойдетъ метафизикамъ, то объ этомъ, разумѣется, никто спорить не станетъ; но едва ли только значеніе новой гипотезы будетъ больше, чѣмъ значеніе тѣхъ, придумываніе которыхъ Локкъ приравнивалъ игрѣ дѣтей въ куклы.

4. Алоизъ Риль.

До сихъ поръ мы слѣдили за работами по разграниченію области научной философіи отъ области метафизики тѣхъ писателей, которые, согласно сдѣланнымъ нами ранѣе разъясненіямъ, относятся къ числу представителей позитивизма въ широкомъ значеніи этого термина. Писатели эти, какъ намъ извѣстно, не называли себя и не называютъ позитивистами, и если бы разработка научной философіи ограничивалась работами однихъ только этихъ писателей, то, конечно, были бы правы тѣ, которые утверждаютъ, что названіе позитивистовъ присвоиваютъ себѣ только одни послѣдователи Ог. Конта. На несчастье этого рода поборниковъ метафизики, позитивная арена, даже и по названію, гораздо обширнѣе, чѣмъ того требуютъ условія ихъ полемическихъ пріемовъ, такъ что, вооружаясь противъ позитивистовъ и не принимая съ ними боя по всей линіи, наши ратоборцы поневолѣ становятся въ такое положеніе, которое само по себѣ уже предрѣшаетъ дѣйствительное значеніе ихъ бранныхъ подвиговъ.

Замѣтимъ еще, что, приступая къ ознакомленію читателей съ писателемъ, *называющимъ себя позитивистомъ*, но къ Ог. Конту не примыкающимъ, мы остаемся чужды и того позитивизма, послѣдователи котораго, по мнѣнію г. Лопатина, по большей части только повторяютъ уже сказанное ихъ вождями и которые будто бы боятся метафизики [1]), а также и того позитивизма, который имѣлъ въ виду г. Гротъ, когда «еще въ 1883 году отвергъ законность позитивнаго террора», царившаго

---

[1]) *Л. Лопатинъ*. «Положительныя задачи философіи». Ч. I, стр. 16 и 17.

среди общества по отношенію къ философіи [1]), и, наконецъ, того, весь смыслъ котораго, согласно увѣренію г. Розанова, сводится къ тезису: «лучше плохо думать, чѣмъ хорошо; мысли бываютъ истиннѣе, когда онѣ не развиты и не согласованы другъ съ другомъ, мышленіе правильнѣе, когда оно безсвязно» [2]). Всѣ эти на разный ладъ осѣненные благоволеніемъ нашихъ философовъ позитивизмы остаются внѣ нашего разсмотрѣнія.

Мы начинаемъ съ профессора Фрейбургскаго университета, Алоиза Риля, уважаемаго въ Германіи ученаго и мыслителя, оказавшаго новой постановкѣ позитивной доктрины большія услуги и несомнѣнно отнявшаго у всѣхъ антипозитивистскихъ разглагольствій о законѣ трехъ состояній и классификаціи наукъ всякій смыслъ и всякое значеніе.

По исходной точкѣ своего главнаго труда — *Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für positive Wissenschaft* (2 B-de, 1876 — 87) — Риль примыкаетъ къ Канту. Въ первомъ томѣ названнаго сочиненія онъ заявляетъ, что задачею своей онъ, между прочимъ, считаетъ и дальнѣйшее развитіе Кантовой философіи. Черезъ десять лѣтъ, въ третьемъ томѣ, Риль уже рѣшительно высказывается противъ Канта: онъ заявляетъ, что захватъ понятія метафизики былъ у Канта недостаточенъ и много пострадалъ отъ намѣренія этого мыслителя замѣнить теоретическую метафизику другою—практически-догматическою. Притомъ же Риль утверждаетъ, что Кантъ критикуетъ собственно не метафизику, а метафизическія науки—раціональную психологію, космологію и теологію, въ томъ видѣ, который приданъ имъ былъ Вольфомъ. Самъ Кантъ, — говоритъ Риль,—разумѣлъ, какъ извѣстно, свою критику въ смыслѣ обоснованія или плана для будущей системы чистаго разума, т.-е. для такой метафизики, «которая смогла бы выступить наукой. Поистинѣ же онъ, конечно, отнялъ почву у подобной науки однимъ уже опроверженіемъ онтологическаго довода. Вѣдь, каждое метафизическое доказательство опирается на умозаключеніе изъ понятій о существованіи объектовъ, вполнѣ совпадающихъ съ понятіями. Кажется, самъ онъ не доглядѣлъ

---

[1]) *Н. Гротъ.* «О направленіи и задачахъ моей философіи». Москва, 1886 г., стр. 10.

[2]) *В. Розановъ.* «Важнѣйшія теченія русской философской мысли». (Вопр. филос. и психол. кн. 3, стр. 22).

этой, болѣе общей, стороны онтологическаго довода, такъ какъ критикѣ онъ подвергаетъ одно схоластическое его употребленіе» [1]). Общее заключеніе Риля то, что «Кантъ не прорвалъ волшебнаго круга метафизическихъ измышленій даже и тамъ, гдѣ онъ прямо противъ нихъ ратуетъ. Онъ сдѣлалъ еще слишкомъ много уступокъ и пріемамъ, и духу школьной метафизики, на которые онъ всего болѣе нападаетъ».

Но еще ранѣе такого вердикта по отношенію къ Кантовой философіи, Риль былъ убѣжденъ, что «критицизмъ есть разрушеніе трансцендентнаго, обоснованіе позитивной философіи. Его позитивное направленіе отличаетъ его отъ простого скептицизма. Онъ сомнѣвается не ради разрушенія, а ради созиданія. Самому ему не свойственно творчество, но онъ освобождаетъ творческія силы. Онъ пробуждаетъ духъ отъ метафизическихъ грезъ къ бодрой жизни при свѣтѣ дня и въ средѣ живой дѣйствительности. Онъ открываетъ философіи путь прогрессирующей науки. И на этомъ основаніи была бы уже противна духу критицизма остановка на томъ пунктѣ, котораго достигъ Кантъ, хотя на методъ Канта и слѣдуетъ смотрѣть какъ на заслугу, и понынѣ сохраняющую свое значеніе».

Для насъ и не важно, впрочемъ, гоняться за разысканіемъ тѣхъ нитей, которыя связываютъ «позитивную философію» Риля съ «историческимъ критицизмомъ» Канта. Твердое положеніе Риля по отношенію къ Канту, такъ ярко намѣченное во второмъ томѣ его большого сочиненія, важно намъ для обрисовки независимаго характера философіи Риля и для констатированія наличности тѣхъ данныхъ, которыя могли бы въ достаточной мѣрѣ воспрепятствовать смѣшенію Риля съ тѣми ново-кантіанцами, которые, — какъ увѣряетъ г. Лопатинъ, — по своимъ окончательнымъ выводамъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ частностей, почти неразличимо сливаются съ позитивизмомъ. Точкой отправленія этихъ ново-кантіанцевъ,—по мнѣнію г. Лопатина,—служитъ теорія разума Канта, принимаемая на вѣру и безъ критики даже въ самыхъ темныхъ и сомнительныхъ своихъ пунктахъ, повидимому, наиболѣе нуждающихся въ доказательствахъ и провѣркѣ [2]). Оставляя на отвѣтственности г. Лопа-

---

[1]) Для цитатъ мы пользуемся прекраснымъ переводомъ Е. Ѳ. Корша, придерживаясь, впрочемъ, принятой нами ранѣе терминологіи.

[2]) *Лопатинъ*, о. с., стр. 15.

тина самую мысль о возможности существованія такого *nonsens'a*, какъ сліянія до безразличія позитивистовъ и слѣпыхъ поклонниковъ «теоріи разума» Канта, мы твердо стоимъ на констатированіи того только факта, что мѣтитъ на Риля г. Лопатинъ не могъ даже и по недоразумѣнію.

Посмотримъ же теперь, какъ разрѣшитъ Риль поставленный нами вопросъ,—какъ различаетъ онъ научную философію отъ ненаучной.

Уже въ первой части II тома своего большого труда, Риль сводилъ понятіе метафизики къ теоріи познанія и рѣзко противопоставлялъ «ученіе о сверхчувственномъ» «системѣ принциповъ познанія чувственнаго». Черезъ нѣсколько же лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ упомянутой книги, Риль выдѣлилъ вопросъ «о различіи научной философіи отъ ненаучной» и придалъ рѣшенію особенно важное значеніе, взявъ его предметомъ своей вступительной рѣчи въ Фрейбургѣ [1]). Эта рѣчь, обратившая на себя большое вниманіе всѣхъ интересующихся философіей и очень непонравившаяся блюстителямъ старины, явилась теперь въ видѣ первой главы заключительной части II тома и заставила говорить о себѣ еще разъ. Теперь же, благодаря появленію русскаго перевода этой части, она стала доступна и для русскаго читателя.

Риль утверждаетъ, что терминъ «философія» вводитъ теперь въ большое заблужденіе тѣхъ, которые смѣшиваютъ философію древнихъ—*метафизику*—и философію нашего времени—*науку*. «На вопросъ: что такое философія?—древніе отвѣтили бы просто: наука. Въ древности, оставляя математику въ сторонѣ, не было вѣдь, ни подлѣ, ни внѣ философіи иной, кромѣ нея, науки; да и на математику Платонъ смотрѣлъ только какъ на подготовку къ діалектикѣ или къ философіи, чѣмъ и подчинялъ ее, какъ служительницу послѣдней». «Философія—вотъ наука грековъ, наука греческой эпохи вообще, тогда какъ новѣйшія науки въ своей совокупности составляютъ философію новыхъ народовъ и временъ». Что же отличаетъ старую науку отъ новой? Методъ,—отвѣчаетъ Риль;—у древнихъ господствовалъ умозрительный (основанный на догадкахъ) методъ, въ наше время господствуетъ методъ опытный; но цѣль науки и тогда, и теперь остается та

---

[1]) *Dr. Alois Riehl*: «Ueber wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Philosophie. Eine Akademische Antrittsrede». Freiburg, I. B., 1883.

же: познаніе природы и человѣка, уразумѣніе движеній небесныхъ тѣлъ и процессовъ жизни, разсмотрѣніе нравственныхъ соотношеній и выясненіе законовъ общественнаго строя. Но если цѣли и были однѣ, а пути достиженія ихъ различны, то и разультаты были неизбѣжно тоже различны. Греки, прежде всего, старались начертать всеобъемлющую систему цѣлой совокупности вещей,—систему, которая своимъ единствомъ и своею замкнутостью производила эстетическое впечатлѣніе, но которая, при недостаточности знанія, при отсутствіи предварительнаго изученія фактовъ, была достижима только тѣмъ, что міръ и природа насильно втискивались въ одну изъ формъ человѣческаго духа. Метафизическія системы древнихъ были непосредственнымъ продолженіемъ космогоній поэтовъ; вслѣдъ за поэтическимъ миѳомъ идетъ миѳъ философскій. Напротивъ того, новѣйшія науки смотрятъ на «систему», какъ на послѣдній, крайній результатъ ихъ общей изыскательной работы,—результатъ, къ которому онѣ близятся шагъ за шагомъ, путемъ детальныхъ изслѣдованій. И вмѣсто того, чтобы истолковывать природу изъ человѣческаго существа, наоборотъ, стараются понять человѣческую жизнь изъ всеобщихъ законовъ природы.

Греческая форма науки въ XVII вѣкѣ замѣнилась новою, но античная форма не дала вытѣснить себя за одинъ разъ, а продолжала долго еще держаться о бокъ съ новоразвившимися. Такимъ образомъ произошла средневѣковая схоластическая философія и «системы» философіи новаго времени. О распаденіи же философіи съ наукою до совершенной противоположности ихъ между собою Риль считаетъ возможнымъ говорить лишь относительно того періода, который наступилъ въ Германіи послѣ Канта. Только въ эту пору возникло мнѣніе, будто возможно философствовать и совсѣмъ безъ науки или даже въ явномъ противорѣчіи съ ней. Можно различно судить объ общемъ духовномъ значеніи поэтическихъ системопзмышленій этой эпохи, но нельзя оспаривать вѣрности приговора о ихъ научной малоцѣнности, утвердившагося теперь уже непреложно. Теперь мы смотримъ на эти системы, какъ на возвратъ къ образу мысли того времени, когда поэзія и наука еще не ясно отдѣлились одна отъ другой.

Итакъ, можно сказать, что противоположность существуетъ не между наукою и философіею, а только между ветхою, отжившею формой и тѣмъ новымъ, полнымъ жизни видомъ, какой

приняла она въ XVII столѣтіи. Философія, въ широкомъ смыслѣ слова, просто совпадаетъ теперь съ наукою и, взятая въ болѣе тѣсномъ значеніи, образуетъ извѣстную особую науку на ряду со всѣми прочими. Въ этомъ тѣсномъ своемъ значеніи философія является какъ *критика познанія*. Отрицательною задачей ея становится изслѣдованіе метафизическихъ измышленій и вообще борьба противъ метафизики—не только явной, широко излагающейся въ цѣлыхъ системахъ, но и скрытой, незамѣтно примѣшивающейся къ наукѣ и не устранимой безъ критики понятій; положительною же задачей ея Риль считаетъ разсужденіе объ условіяхъ познанія природы или объясненіе научнаго познанія.

Разъясняя далѣе значеніе философіи въ самомъ общемъ смыслѣ этого термина, Риль говоритъ, что въ этомъ смыслѣ философія составляетъ одно и сознаетъ себя за одно съ возможно-полнымъ научнымъ вѣдѣніемъ, она — *синтезъ въ наукѣ* и по духу, и по пріемамъ. Разсматривая философію съ этой точки зрѣнія, Риль утверждаетъ что «нашъ научный, вѣкъ съ его идеями о неистребимости силы, съ его объясненіемъ органическихъ процессовъ изъ всеобщихъ законовъ матеріи, съ его соединеніемъ психологіи съ физіологіей есть вѣкъ въ высокой степени философскій, и, конечно, ужъ болѣе философскій, чѣмъ натурфилософская пора Шеллинга и Гегеля, несмотря на то или, вѣрнѣе, благодаря тому, что ни одна такъ-называемая философская система не смогла присвоить себѣ господства надъ наукой. Что̀ метафизическая система всегда только обѣщаетъ и не выполняетъ никогда, чего ей хочется и что̀ ей не подъ силу, то дѣйствительно достигается постройкою научныхъ системъ. На основаніи совокупнаго научнаго опыта, на основаніи все болѣе и болѣе полнаго анализа явленій, постройка эта вырабатываетъ мало-по-малу и общую связь всѣхъ познаній между собою».

Затѣмъ Риль обращается къ «современнымъ любителямъ философской алхиміи», все еще ищущимъ какихъ-то мудрецовъ. какого-то единственнаго мірообъяснительнаго понятія, и подвергаетъ ихъ измышленія всесторонней критикѣ, которую одинъ изъ рецензентовъ книги Риля справедливо назвалъ всесокрушающею. Риль говоритъ, что явные признаки крушенія метафизики побуждаютъ современныхъ любителей философской алхиміи радоваться уже и тому, если за сверхнаучными ихъ идеями

возможно было бы признать хоть относительное, гипотетическое значеніе. На нелѣпость этой мысли указывалъ еще Кантъ. Риль видитъ въ этой вынужденной умѣренности затаенное признаніе начала конца для всякой метафизики, такъ какъ гипотетическая и относительная метафизика—не метафизика уже вовсе. Метафизика, лишенная аподиктической увѣренности, не имѣетъ никакого смысла и никакого значенія. Разбирая значеніе метафизическихъ гипотезъ, Риль приходитъ къ заключенію, что онѣ—«настоящіе оніаты для нашего разсудка; онѣ приводятъ его въ безчувствіе, вмѣсто того, чтобы оживлять и прояснять его. Онѣ порождаютъ видъ всеобъемлющаго знанія, *которое нетрудно, впрочемъ, и пріобрѣсть, если только считать желаніе и исполненіе за одно и то же*».

Мысль, заключающуюся въ послѣднемъ остромъ замѣчаніи, Риль развиваетъ весьма полномѣрно, приводя цѣлый рядъ доводовъ, разоблачающихъ субъективный пошибъ всѣхъ метафизическихъ умствованій. Послушный голосу своихъ побужденій,— говоритъ онъ,— метафизическій мыслитель хочетъ познать начало вещей по ту сторону явленія, но, отвлекшись отъ явленій, онъ, вмѣсто начала вещей, находитъ только начало своей мысли. Инымъ путемъ идетъ наука. Она не смѣшиваетъ желанія и исполненія и не довольствуется собою самимъ занимающимся, собою самимъ удовлетворяющимся мышленіемъ. Систематическую потребность субъекта старается она удовлетворить, разыскивая мѣру въ *объектахъ* и руководясь ею. Она знаетъ и умѣетъ пустить въ дѣло средство, невѣдомое метафизикамъ,—*эксперимент*ъ или, общѣе говоря, провѣрку. Только одинъ этотъ шагъ,—замѣчаетъ Риль,—даетъ наукѣ возможность опередить чистое умозрѣніе и отдѣлиться отъ метафизики. Метафизика остается непровѣреннымъ и по природѣ своей непровѣримымъ знаніемъ,—областью гадательнаго соображенія и субъективнаго творчества мысли, экспериментальная же или, вообще, провѣряющая себя наука, соединяя въ себѣ умозрѣніе и опытъ, носитъ въ себѣ всѣ задатки жизни и развитія. Философія же, являющаяся синтезомъ науки, всегда обладаетъ возможностью доказать свои положенія, и, притомъ, не соображеніями, выведенными только изъ понятій, т.-е. чисто лишь логическимъ путемъ, а прямымъ указаніемъ на ходъ событій.

Неудивительно послѣ этого, если между великолѣпными обѣщаніями метафизики и ея скромнымъ довольствомъ при

исполненіи ихъ на дѣлѣ обнаруживается разительная несоразмѣрность. Метафизики всегда въ основу объясненія кладутъ какое-нибудь отвлеченное понятіе. Этотъ пріемъ метафизика вмѣняетъ себѣ въ *неоспоримую заслугу*. «*И право*,—замѣчаетъ Риль,—*трудно было бы лишить ее этой заслуги, если бъ и въ наукѣ добрая воля и доброе намѣреніе могли считаться за самое дѣло*». Къ несчастію для метафизики, нельзя указать ни на одно «объясненіе», которое метафизика не заимствовала бы у науки съ тѣмъ, чтобы, извративъ его истинное значеніе, насильственно приспособить къ своимъ универсальнымъ задачамъ. Обозрѣвая метафизическія системы въ этомъ отношеніи, Риль вскрываетъ ихъ роковую несостоятельность и еще разъ возвращается къ характеристикѣ метафизики, какъ древняго, устарѣлаго типа мысли, отжившаго, первобытнаго уклада науки.

«И подобно тому, какъ ранніе начинатели науки,—говоритъ онъ,—такъ и теперь философы—систематически все ищутъ какой-то первичной вещи, какого-то верховнаго родового понятія бытія, которое должно содержать въ себѣ его виды, какъ бы ни называли они, впрочемъ, первичную эту вещь, матеріей или духомъ; или же хотятъ вывести всякое въ мірѣ совершеніе изъ одного общаго закона, какъ Гегель, напримѣръ, который думаетъ объяснить его изъ діалектической саморазвивчивости понятія, или Гербертъ Спенсеръ, прибѣгающій для этого ко всеобщей формулѣ развитія, которая должна потомъ измѣнять значеніе составляющихъ ее словъ для каждой группы явленій, потому что иначе она остается къ ней непримѣнимою. Уже и по однимъ формально-логическимъ основаніямъ цѣль метафизической постройки системъ можно искать или въ верховномъ родовомъ понятіи, или въ понятіи о высшемъ, всеобщемъ законѣ»... «Метафизическій мыслитель, исходящій отъ понятія о верховномъ родовомъ бытіи, воспользуется для изложенія своей системы схемою *пространственнаго* представленія», «а тотъ, кто, напротивъ, всѣ законы природы возьмется вывести изъ одного мірового закона, тотъ необходимо долженъ держаться схемы *времени* въ преемственномъ развитіи явленій изъ первоначальной основы». Метафизики никогда не обходятся при этомъ безъ помощи аналогій, держащихся на чисто-субъективныхъ основаніяхъ. Указывая на несостоятельность метафизическихъ системъ въ этомъ отношеніи, Риль дѣлаетъ весьма вѣ-

ское замѣчаніе о значеніи пониманія или—соотносительно—объясненія въ этихъ системахъ. «На повѣрку выходитъ,—говоритъ онъ,—что мы должны систематизировать природу для того, чтобы понимать ее. Но понятія, которыми мы дѣлаемъ ее для себя вразумительной,—только степени абстракціи нашего мышленія о природѣ, а вовсе не причины или основанія ея собственнаго хода или процесса. Поэтому нѣтъ возможности à priori рѣшить, какъ далеко идетъ единство самихъ объектовъ, систематика всего содержанія опыта».

Наука не менѣе метафизики ревностно ищетъ единства и связности между познаніями, но она не увлекается ни аналогіями, ни непровѣряемыми гипотезами, а потому и можетъ утверждать единство между вещами лишь постольку, поскольку открываетъ его фактически и установляетъ экспериментально. Поэтому-то науки и не дали еще никакого всепониманія, никакого универсальнаго тезиса, ничего предназначаемаго слыть, а не быть дѣйствительнымъ познаніемъ природы.

Итакъ, приходится повторить еще разъ, что метафизическая философія, какъ по пониманію предмета систематическаго изслѣдованія, такъ и по способу построенія своихъ системъ, представляетъ, сравнительно съ наукой, устарѣлый, отсталый типъ мышленія. «Существуетъ только единственный родъ системостроенія,—говоритъ Риль,—именно тотъ, который служитъ не на время, не срочнымъ заполненіемъ пробѣла между двумя несвязанными еще областями знанія, но который совершается въ силу прогресса точныхъ наукъ, который неудержимо идетъ въ ширь и глубь и оставляетъ все менѣе и менѣе простора системамъ метафизиковъ».

Подводя итогъ своему осужденію метафизической философіи, Риль говоритъ, что убѣжденіе въ ея невозможности онъ считаетъ однимъ изъ важнѣйшихъ результатовъ всеобщей теоріи науки. «Это убѣжденіе не допуститъ впередъ тратить умственныя силы на обсужденіе неразрѣшимыхъ, да и невѣрно поставленныхъ, проблемъ. Но оно открываетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и новые пути для самого научнаго изслѣдованія. Убѣжденіе, что наука и теоретическая философія—одно и то же, что существуетъ только одна система познанія, а не двѣ, ставитъ существенно высшую цѣль наукѣ. На основѣ этого убѣжденія наука исполнится сознаніемъ своего философскаго призванія, своей систематической задачи. Въ своемъ раздѣленіи труда увидитъ она

не цѣль, а только средство для достиженія цѣли—синтеза познанія,—средство, споспѣшествующее и совершенно необходимое. Не станутъ уже слишкомъ высоко цѣнить изслѣдованіе мелкихъ подробностей, какъ дѣлалось и должно было дѣлаться прежде, пока наука не сознавала высшей своей задачи, а, напротивъ, предоставляла ее фантастическому мышленію метафизиковъ. *Возведеніе самой науки въ философію—вотъ философская задача нашего времени,—высшая и многообъятнѣйшая задача, какую только можно поставить въ области познанія*».

Сказаннымъ могло бы исчерпаться понятіе философіи въ тѣсномъ смыслѣ, если бы значеніе философіи могло ограничиться одною только теоретическою областью. А такъ какъ рядомъ съ нею существуетъ еще область практическая, то и возникаетъ новая задача—задача этики. Обращаясь къ ней, Риль указываетъ на то, что исторія и сравнительная психологія доставляютъ этикѣ матеріалъ и методъ, и что поэтому этика, съ извѣстной своей стороны, должна неоспоримо считаться наукою; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Риль полагаетъ, что другою стороной своей, именно тою, которою этика обращается къ будущности и разсуждаетъ не о фактахъ, а о тенденціяхъ, не о томъ, что́ есть и совершается, а о томъ, что́ должно быть и должно совершаться,—она, конечно, выступаетъ за раму науки въ строгомъ смыслѣ слова.

Мысль эту Риль поддерживаетъ еще и тѣмъ соображеніемъ, что «этика выставляетъ нормы бытія и дѣйствія». «Наука въ собственномъ смыслѣ,—говоритъ онъ,—чужда понятія какого бы то ни было долженствованія. То, что́, съ практической точки зрѣнія полезности, живучести, красоты, мы называемъ ненормальнымъ, для науки такъ же важно, часто, пожалуй, и важнѣе нормальнаго. Научныя положенія, правильно понимаемыя, никогда не могутъ стать предметомъ нашего нравственнаго и эстетическаго одобренія или порицанія. Они ни нравственны, ни безнравственны, а просто лишь вѣрны или невѣрны. Они не то, чтобъ были истинны,—они становятся истинными тѣмъ, что мы вѣруемъ въ нихъ и по нимъ поступаемъ. Истинность не придаетъ никакому закону природы авторитета нравственнаго, такъ какъ авторитетъ или обязательность всякой нравственной нормы происходитъ исключительно изъ ея общественнаго значенія. Противорѣчіе между научными понятіями и практическими идеями возможно только кажущееся, мнимое, при смѣ-

шеніи между собою ихъ областей, когда мы теряемъ изъ вида, что они принадлежатъ двумъ различнымъ направленіямъ духа, что они должны служить различнымъ его интересамъ».

Риль обращаетъ еще вниманіе и на то, что «теоретическій взглядъ на вещи уже и въ психологическомъ своемъ корнѣ разнится отъ практическаго. Теоретическій взглядъ идетъ отъ ощущеній, дающихся сознанію извнѣ, тогда какъ практическій взглядъ вырастаетъ изъ чувствованій, которыми сознаніе воздѣйствуетъ наружу. Цѣль перваго—уразумѣніе явленій, основаніе второго—ихъ оцѣнка». Изъ этого видно, что «областью практической философіи слѣдуетъ считать не дѣйствительно сущее, а то возможное, что человѣкъ долженъ еще создать своею волей и энергіей. Практическая философія возвѣщаетъ будущія совершенства, которыя еще не существуютъ какъ объекты теоріи, но которыя могутъ возникнуть. Средство, какимъ ведетъ она на это духъ человѣческій, вовсе не доказательство, а возбужденіе вѣры въ то лучшее, которое человѣкъ долженъ осуществить».

Резюмируя всѣ эти разсужденія, Риль приходитъ къ тому окончательному выводу, что философія должна быть понимаема въ двоякомъ значеніи: какъ общее ученіе о наукѣ и какъ ученіе о практической мудрости и выработкѣ общихъ человѣческихъ идеаловъ. Это послѣднее призваніе исполняетъ она тѣмъ, что сознаніе идеальныхъ стремленій изъ неопредѣленнаго и только сердечнаго, легко ведущаго къ мечтательности, обращаетъ въ опредѣленное и здравосмыслящее и связываетъ его прямо съ человѣческимъ благоразуміемъ и съ наукой.

На этомъ мы окончимъ передачу взглядовъ Риля на занимающій насъ вопросъ. Имѣя въ виду, что та часть большого сочиненія Риля, которою мы руководствовались, переведена теперь на русскій языкъ, мы старались ввести наше изложеніе въ возможно тѣсныя рамки. Мы имѣли въ виду, главнымъ образомъ, заинтересовать читателя превосходною, достойною самаго серьезнаго вниманія книгой и побудить его къ прямому, непосредственному съ нею знакомству.

5. Эрнстъ Лаасъ.

Когда, двадцать лѣтъ тому назадъ, вышло первое большое сочиненіе страабургскаго профессора Эрнста Лааса «Kants Analogien der Erfahrung», и философская позиція этого мало еще извѣстнаго тогда ученаго опредѣлилась съ достаточною ясностью, Файингеръ привѣтствовалъ его, какъ проницательнаго изслѣдователя философіи Канта, ясно намѣтившаго свою цѣль и идущаго къ ней твердо и неуклонно. Въ этой работѣ Лааса Файингеръ констатировалъ не одно только намѣреніе комментировать и опровергать Кантовы *Аналогіи опыта*, но и попытку подорвать изъ этого центральнаго пункта всю трансцендентальную философію и заложить на ея развалинахъ фундаментъ новаго зданія. «И если вѣрный глазъ инженера,—говоритъ Файингеръ,—сказывается уже въ удачномъ выборѣ мѣста, гдѣ слѣдуетъ заложить мину для взорванія какой-нибудь громадной каменной глыбы, то надо признать, что настоящій трудъ Лааса попалъ именно въ этотъ важный пунктъ»[1]).

На томъ фундаментѣ, о которомъ говорилъ здѣсь Файингеръ, Лаасъ сталъ вскорѣ возводить то новое зданіе *Позитивной философіи*, надъ которымъ онъ неустанно работалъ съ 1879 по 1884 годъ. «Idealismus und Positivismus» Лааса, появившійся въ трехъ томахъ въ теченіе означеннаго выше срока и оконченный незадолго до смерти автора, представляетъ несомнѣнно одно изъ самыхъ выдающихся сочиненій во всей философской литературѣ послѣдняго времени и заслуживаетъ, конечно, самаго серьезнаго вниманія всѣхъ интересующихся философіей. Лаасъ, въ полной независимости отъ Ог. Конта, заново обосновываетъ позитивизмъ; онъ создаетъ такой новый типъ его, кото-

---

[1]) «Philosophische Monatshefte», XII Band, 2 Heft, S. 443.

рый представляетъ собой расширеніе и углубленіе русла научно-философской мысли, работающей со временъ Юма и все болѣе и болѣе отодвигающей на задній планъ заносчивыя и обманчивыя идеалистическія системы, не перестающія еще дѣлать попытки возстановленія своего стародавняго вліянія на умы, но встрѣчающія такія препятствія, для преодолѣнія которыхъ недостаточно одного историческаго обаянія.

Обозрѣніе главныхъ пунктовъ *Позитивной философіи* Лааса даетъ намъ случай познакомиться еще съ однимъ рѣшеніемъ занимающаго насъ вопроса и, такимъ образомъ, еще болѣе расширить наблюденія наши въ области современной философской литературы и, насколько возможно, приблизиться къ тому общему рѣшенію нашей задачи, которое возможно установить въ настоящее время.

Вопросъ объ опредѣленномъ и ясномъ отграниченіи научной или позитивной философіи отъ ненаучнаго или идеалистическаго міросозерцанія возникаетъ у Лааса на первыхъ же страницахъ его труда. Указавъ на пестроту, представляемую картиной развитія философіи, Лаасъ замѣчаетъ, что пестрота эта усиливается еще разнообразіемъ тѣхъ точекъ зрѣнія, которыя являются руководящими при группировкѣ различныхъ философскихъ направленій: такъ, наприм., тотъ строй воззрѣній, который Лаасъ подводитъ подъ наименованіе *идеализма*, съ точки зрѣнія логики является какъ *реализмъ*, съ точки зрѣнія теоріи познанія—какъ *апріоризмъ или раціонализмъ*, а съ точки зрѣнія онтологіи—какъ *спиритуализмъ*. Не легко распознаться среди путаницы, вносимой этою номенклатурой съ ея далеко не для всѣхъ извѣстнымъ и понятнымъ происхожденіемъ. Можно замѣтить, однако же, что и во всѣхъ этихъ обыденныхъ классификаціяхъ указывается постоянно на *два главныхъ типа*, подъ которые подводятся всѣ философскія направленія. Такъ какъ начало всей этой пестроты наименованій восходитъ къ Платону, такъ какъ Платонъ является, притомъ же, и самымъ яркимъ выразителемъ идеалистическаго типа и имѣетъ противъ себя всѣ оттѣнки типа ему противоположнаго, то Лаасъ его и избираетъ представителемъ этого типа и вокругъ него, какъ перваго его провозвѣстника, группируетъ всѣхъ послѣдующихъ его выразителей. Изучая вслѣдъ затѣмъ характеристическія черты этого философскаго типа, Лаасъ находитъ и въ группѣ его противниковъ столько общихъ чертъ, что считаетъ

возможнымъ и ихъ всѣхъ свести къ одному *антиплатоновскому или позитивному* типу, къ которому и самъ примыкаетъ.

Пестрая картина, представляемая историческимъ ходомъ развитія философской мысли, чрезвычайно упрощается такою группировкой, и является, какъ полагаетъ Лаасъ, надежда, что историческія изысканія, которыми такъ богата философская литература, дадутъ, наконецъ, плодъ, и получится руководящее основаніе для всякаго ищущаго свѣта въ этой области знанія. Отдавая справедливость личнымъ достоинствамъ и генію Платона, Лаасъ имѣетъ въ виду показать, что «выспренность, геніальность и благородство души не могутъ еще служить порукою истины, что, напротивъ того, они чаще ослѣпляли людей, а не освѣщали имъ путь, чаще лишали ихъ трезваго взгляда, чѣмъ укрѣпляли умственно». Что же касается собственно *платоновскихъ* принциповъ и *платоновскаго* метода, то сомнительная сторона ихъ обнаруживала себя уже не разъ; ученіе Платона тѣмъ опаснѣе, чѣмъ привлекательнѣе его изложеніе, чѣмъ обаятельнѣе является оно для ума, чѣмъ сильнѣе подкрѣпляетъ естественную его склонность къ духовному опьяненію.

Чары громкихъ словъ—вотъ бѣдствіе, противъ котораго направлены предостереженія Лааса. Трезвый мыслитель этотъ настаиваетъ на возможности высоко чтить идеалъ человѣчества, не попадая, однако же, подъ гнетъ той философіи, на которой, какъ воображалъ Платонъ, только будто бы и возможно обосновать ихъ. Въ разрѣзъ такому воззрѣнію, Лаасъ утверждаетъ, что для выполненія своего назначенія методъ Платона совсѣмъ недостаточенъ. Въ общемъ, характеръ Платона, по мнѣнію Лааса, есть характеръ романтическій, т.-е. узкій, неплодотворный и нездоровый. Платона, вслѣдъ за Льюисомъ, можно, пожалуй, какъ думаетъ Лаасъ, назвать софистомъ; но, назвавъ его мистикомъ или романтикомъ, не придется уже принимать его подъ защиту по поводу обвиненія въ софистикѣ: всякая мистика, всякая романтика полны какъ наивныхъ, такъ и искусственныхъ, т.-е. измышленныхъ софизмовъ. Источникъ всѣхъ ихъ—сердце. Не забудемъ, что въ натурѣ Платона существовала не одна только діалектическая, но и поэтическая, и художественная жилка. Платонъ, какъ утверждаетъ Лаасъ, пользовался своею діалектическою способностью вовсе не безпристрастно, вовсе не ради ея самой, но подъ вліяніемъ импульса совершенно опредѣленныхъ идей,—идей чисто роман-

тическихъ, характеризуемыхъ объективною безпочвенностью, съ одной стороны, и субъективною, изъ сердца проистекающею необходимостью—съ другой.

Стòитъ только,—замѣчаетъ Лаасъ,—осмотрѣться кругомъ, чтобы убѣдиться въ громадномъ вліяніи на умы этой романтической философіи. Оно было и остается и широкимъ, и глубокимъ. Нѣкоторые изъ ея догматовъ проницаютъ наше мышленіе и нашъ языкъ; они образуютъ какъ бы подпочву обыденнаго міровоззрѣнія, а также и нѣкоторыхъ важнѣйшихъ учрежденій. Сравнивая въ этомъ отношеніи платоновскій типъ съ типомъ ему противоположнымъ, мы можемъ замѣтить, до какой степени громадно различіе между ними по отношенію интенсивности и охвата ихъ вліянія. Въ наше время даже еще замѣтно, что платоновскій типъ пережилъ нѣкогда періодъ полной побѣды. И, однако же, у платонизма есть хоть одна сторона, по отношенію къ которой онъ долженъ быть поставленъ ниже своего соперника: платонизму не выпало на долю установить и развить свои основоположные тезисы послѣдовательно, органически, научно, такъ чтобы въ наше время типъ этотъ могъ бы представиться въ болѣе роскошномъ и богатомъ ростѣ, чѣмъ первоначально. Участь его была совершенно иная: послѣ того, какъ нѣкоторыя стороны его, выродясь въ аскетическія и экстатическія проявленія, возымѣли частью тлетворное, частью безобразное вліяніе на умы, другія были до такой степени очищены и съужены критикой, что въ настоящее время все, могущее въ платоновскомъ типѣ получить научное значеніе, производитъ своею туманностью и расплывчатостью весьма скудное впечатлѣніе сравнительно съ картиной, представленной типомъ противоположнымъ. Бòльшая часть платониковъ держатся лишь той или другой изъ сторонъ общей совокупности платоновскаго ученія, и рѣдко встрѣчается такой, который могъ бы возстановить всего Платона или двинуть доктрину его къ новому фазису развитія. Поэтому-то платонизирующая философія издавна обнаружила склонность удаляться отъ научныхъ преній въ полумракъ мистическихъ вѣрованій, которыя, переходя въ легенды и миѳы, какъ у самого Платона, весьма затрудняютъ отвѣтъ на вопросъ о томъ, гдѣ оканчиваются образы и игра фантазіи и гдѣ начинаются серьезная мысль и истина Если же обратимся только къ тѣмъ представителямъ платонизма, которые по праву могутъ считаться философами, то

хотя и встрѣтимъ въ нихъ основныя черты платоновскаго характера, но сейчасъ же замѣтимъ, что черты эти являются въ связи съ разнообразными измѣненіями и вѣяніями, съ приспособленіями ко времени, обстоятельствамъ, индивидуальностямъ, съ многоразличными уступками противоположной точкѣ зрѣнія, такъ что эта внѣшняя сторона дѣла производитъ впечатлѣніе и возбуждаетъ предположеніе, будто постоянный импульсъ и тенденція, шедшіе отъ Платона, хотя и обладали большою духовною силой, отстаивали, однако же, свои положенія противъ критики, и фактически, и логически, не безъ затрудненія. Вникая въ мотивы, руководившіе ученіемъ при противопоставленіи его воззрѣніямъ противоположнымъ, мы въ состояніи разглядѣть, скрываетъ ли оно въ себѣ здоровое научное зерно, или же силы его коренятся не въ объективныхъ фактахъ и оправдываемыхъ критикою задачахъ, а въ субъективныхъ и даже фантастическихъ *хотѣніяхъ*.

Такъ какъ такая геніальная и поэтическая личность, какъ Платонъ, по вліянію своему на весь длинный рядъ философовъ-идеалистовъ, имѣетъ громадное значеніе, то слѣдуетъ признать очень важнымъ раскрытіе тѣхъ причинъ, которыя побуждали Платона противоборствовать воззрѣніямъ, представителемъ которыхъ является, по Платону же, Протагоръ, и заботиться о созданіи ученія, могущаго совмѣстить самостоятельность и необоримость. Платону казалось, что одно изъ главныхъ затрудненій, оказавшихся для Протагора непреодолимыми, заключалось въ обманчивости чувствъ, какъ орудій воспріятія. Онъ считалъ послѣдствія этой обманчивости пагубными для достоинства науки и настаивалъ на необходимости подчинить ихъ какому-нибудь высшему неизмѣнчивому принципу; затѣмъ, онъ, разумѣется, отвергалъ годность воспріятія, какъ достовѣрнаго основанія для познанія, и проводилъ ту мысль, что объективно-существующія и соотвѣтствующія понятіямъ реальности никогда не могутъ подпасть воспріятію, хотя и играютъ въ процессѣ познаванія первенствующую роль; и далѣе, онъ утверждалъ, что такъ какъ наука имѣетъ своимъ предметомъ истину, истина же высказывается не въ страдательныхъ состояніяхъ воспріятія, а въ сужденіяхъ—продуктахъ категоріи чисто-духовнаго характера, то сенсуалистическая теорія Протагора, какъ явно несостоятельная, должна быть отвергнута. Наконецъ, воспріятіе, по его убѣжденію, не могло представить

достаточно прочной, объективной гарантіи истины, а потому онъ и искалъ для нея устойчивое объективное обоснованіе. Такое обоснованіе могла дать, по его воззрѣнію, *идея блага*, сама въ себѣ покоющаяся, не нуждающаяся въ дальнѣйшемъ обоснованіи, *абсолютная*. Утверждая на ней не только познаніе, но и бытіе, Платонъ думалъ положить такимъ образомъ предѣлъ всему произвольному, измѣнчивому и противорѣчивому, разсчитывая при этомъ на возможность окончательнаго и прочнаго установленія науки.

Чтобы имѣть возможность представить себѣ со всею ясностью воздѣйствіе Платоновой философіи какъ на его сторонниковъ, такъ и на противниковъ, Лаасъ считаетъ необходимымъ войти въ ближайшее разсмотрѣніе различныхъ сторонъ или мотивовъ этой философіи. Особенность воздѣйствія Платоновой философіи на ея послѣдователей заключалась въ томъ, что ни одинъ изъ нихъ не воспроизвелъ всѣхъ ея сторонъ во всей ихъ полнотѣ; по этой причинѣ является необходимость въ различеніи мотивовъ и ихъ сопоставленіи. Само собою разумѣется, что намъ возможно привести здѣсь только резюмѣ того обширнаго и тщательно-обработаннаго анализа, который читатель можетъ найти въ первомъ томѣ Лаасова *Идеализма и позитивизма*.

Главныхъ мотивовъ (или сознательно-ясно, или въ формѣ смутныхъ побужденій), вліявшихъ на установленіе основныхъ положеній платонизма, Лаасъ считаетъ всего *пять*. *Первымъ* изъ нихъ Лаасъ выставляетъ чрезмѣрное переоцѣненіе математическихъ образцовъ и несообразное дѣйствительности подражаніе имъ, какъ строго сцѣпленному (силлогистическому) веденію доказательствъ. Все, приложимое къ наглядно представляемымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, постояннымъ и всегда одинаково обозначаемымъ понятіямъ математики, представляется приложимымъ и ко всякаго рода понятіямъ вообще. Почему, казалось бы, не допустить, что бытіе, взятое во всей его совокупности, не скрываетъ цѣлую систему вѣчныхъ онтологическихъ истинъ, подобно тому, какъ пространство—систему истинъ математическихъ? Какое имѣемъ мы основаніе отвергать возможность разложенія всякаго рода понятій дедуктивнымъ путемъ на систематически расчлененные предикаты, содержащіеся въ этихъ понятіяхъ и изъ нихъ выводимые, подобно тому, какъ то имѣетъ мѣсто по отношенію понятій треугольника или

круга? Таковы предположенія и цѣли, къ которымъ влеклись умы не въ силу одной только индивидуальной склонности или личнаго предположенія философовъ. Инстинктивныя стремленія ихъ несомнѣнно подкрѣплялись вліяніемъ состоянія наукъ во времена Платона. Ни одна наука той эпохи не могла посягать на сравненіе съ математикой по отношенію научной законченности. Притомъ же, не только тогда, но и теперь еще не рѣдко видятъ въ математикѣ образецъ всякой дедуктивной науки. Подъ этимъ обаяніемъ математики и сложилось мнѣніе, что истинною наукой можно считать только такую, которая можетъ усвоить себѣ пріемы математики. Изъ предпосылки, заключающейся въ такомъ мнѣніи, вытекало само собою: 1) что дедукція и систематизація были неотмѣнимо-обязательны; 2) что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда для нихъ не оказывалось почвы, не могла быть констатирована и истинная наука; 3) что онтологическія понятія подлежатъ такой же строгой систематизаціи, какъ и математическія, и, наконецъ, ко всему этому примыкало то наивное и роковое мнѣніе: 4) что такія «понятія» могутъ просто-на-просто быть заимствуемы изъ обыденной рѣчи, при чемъ допускалась мысль о безполезности изслѣдованія генезиса, многомыслія и растяжимости заимствованныхъ обозначеній. Послѣдующее время дало подтвержденія въ широкомъ распространеніи того умонастроенія, которое обусловливало возникновеніе и развитіе этого мнѣнія. Въ заключеніе своей характеристики этой стороны платоновскаго типа Лаасъ находитъ, что, принимая во вниманіе ея позднѣйшую исторію, ее слѣдуетъ назвать *математизирующею* или *схоластическою*.

Къ математическому мотиву тѣсно примыкаетъ уже у Платона и еще тѣснѣе у нѣкоторыхъ его послѣдователей и тотъ, на который Лаасъ считаетъ нужнымъ обратить особенное вниманіе и который въ его изложеніи является какъ *второй* мотивъ платонизма, а именно: стремленіе къ сведенію всякаго научнаго познанія и всякаго нравственнаго дѣянія къ такимъ *абсолютнымъ* принципамъ или даже къ *единому* понятію или положенію, которыя не нуждались бы въ дальнѣйшемъ обоснованіи да и не были бы способны къ нему. Послѣднимъ этимъ принципомъ у Платона является, какъ и было уже замѣчено выше, идея блага; она и есть тотъ «безусловный», «всеобщій принципъ», который почитается краеугольнымъ основоначаломъ всей философіи. Пользуясь терминомъ самого Пла-

тона, Лаасъ называетъ этотъ мотивъ идеализма *стремленіемъ къ абсолюту*. Діаметральною противоположностью этому стремленію является самоограниченіе, самоотреченіе, резигнація вообще; самое же стремленіе, по замѣчанію Лааса, принимаетъ у различныхъ мыслителей различныя формы: поэтическій полетъ—у однихъ, мистико-сантиментальный складъ—у другихъ, соединеніе того и другого—у самого Платона.

Какъ *третью* характеристическую черту, отличающую платоновскій типъ, Лаасъ считаетъ убѣжденіе въ существованіи для нашей дѣятельности и для «бытія» вообще извѣстныхъ руководящихъ или *нормативныхъ законовъ*. Законы эти, согласно такому убѣжденію, имѣютъ свои корни не въ нашей чувствительности, не въ фактахъ дѣйствительности, а въ иной области,—области, называемой, согласно платоновскому словоупотребленію, «духомъ», «разумомъ». Они потому уже должны представляться сверхчувственными и апріорными, что именно они сообщаютъ всему чувственному бытію и всякому стремленію снабженнаго органами чувствъ существа форму и устойчивость, назначеніе и направленіе. Все дѣйствительное познается только при ихъ посредствѣ, все желаемое только благодаря имъ получаетъ санкцію. Эту сторону платонизма Лаасъ называетъ *раціоналистическою* или *апріористическою*.

Въ связь съ третьимъ мотивомъ Лаасъ вводитъ *четвертый* и *пятый*. *Четвертый* онъ формулируетъ такъ: наши воспріятія и чувствованія, такъ же какъ и образующіеся изъ нихъ продукты памяти, чувственныхъ побужденій и страстей, являются такими психическими состояніями, которыя въ послѣднемъ итогѣ обусловливаются извнѣ, чрезъ посредство организма, и должны считаться чисто-пассивными состояніями сознанія. Рядомъ съ ними необходимо признать «чистыя» проявленія нашей «высшей» самобытности,—проявленія, имѣющія свою исходную точку не внѣ этой самобытности, а внутри ея. Они, какъ то указалъ уже Платонъ, обозначаются уже въ актѣ сужденія; мы подмѣчаемъ ихъ и въ формированіи и упорядоченіи пассивно-усвоеннаго матеріала воспріятій, обнаруживаемъ во всѣхъ нашихъ «дѣйствіяхъ»; въ нихъ мы видимъ *активныя* движенія нашего я, вскрытіе присущей намъ самопобудительности (спонтанейности), подтвержденіе нашей «свободы»; они и мыслятся поэтому какъ нѣчто специфически-отличное отъ чувственно-естественнаго механизма, они поэтому и противопоставляются

ему. Высказанной этою формулировкой мысли Лаасъ придаетъ названіе *мотива самопобудительности* (Spontaneitats-Motiv) и считаетъ его тѣмъ мотивомъ, который хотя и можетъ быть уже подмѣченъ у самого Платона, но который только въ позднѣйшее время достигъ своего полнаго развитія.

Тѣмъ за то полнѣе, сильнѣе и опредѣленнѣе обозначается у самого Платона *пятый* мотивъ. Лаасъ усматриваетъ его въ горячей вѣрѣ въ «духовный» принципъ, который «мыслитъ» и «познаетъ», ставитъ себѣ практическіе идеалы и вызываетъ къ жизни нашу дѣятельность,—принципъ, формы и законы котораго сонзмѣримы познаваемому бытію, но самое бытіе котораго должно быть отнесено не къ этому міру воспріятій, гдѣ онъ временно проявляется, а къ міру сверхчувственному. Этотъ мотивъ Лаасъ называетъ *сверхчувственнымъ* или *трансцендентнымъ*.

Представивъ въ общихъ чертахъ характеристику мотивовъ, вскрываемыхъ Лаасомъ у всего математизированнаго, раціонализированнаго, спиритуализированнаго и, вообще говоря, метафизицированнаго мышленія, мы можемъ обратиться теперь къ общему характеру этого самаго мышленія и представить хоть бѣглый абрисъ его основныхъ чертъ.

Уже ранѣе читатели могли замѣтить и отчасти оцѣнить значеніе, придаваемое Лаасомъ роли хотѣнія въ экономіи нашего мышленія. Возвращаясь не разъ къ этому вопросу въ разныхъ мѣстахъ своего сочиненія, Лаасъ пополняетъ приведенное выше указаніе и констатируетъ, что хотѣніе, потребность, интересъ обусловливаютъ то «безпокойство», которое испытывается всякимъ, кто замѣчаетъ отсутствіе предмета, могущаго доставить ему удовольствіе. Полученіе такого предмета и обладаніе имъ замѣняетъ безпокойство «удовлетвореніемъ», а когда идетъ рѣчь о сферѣ умственной дѣятельности — *объясненіемъ*, или соотносительно, *пониманіемъ*. Лаасъ припоминаетъ при этомъ, что уже Милль показалъ, какое громадное разнообразіе способовъ объясненія было и остается въ ходу у разныхъ народовъ и какъ часто «объясненіе» подъ вліяніемъ внушеній обыденной жизни, обыкновенно преодолѣвающихъ внушенія научнаго методическаго мышленія, замѣняетъ только одну тайну, еще кажущуюся странною, другою, переставшею уже казаться такою. Примѣры, могущіе иллюстрировать перипетіи разнаго рода объясненій, такъ обильны въ исторіи фило-

софіи и такъ общеизвѣстны, что долго останавливаться надъ ними нѣтъ никакой надобности. Всякому извѣстны объясненія, предъявляемыя, наприм., тѣми, которые искали и находили утоленіе своего безпокойства въ сведеніи всѣхъ явленій къ водѣ, воздуху, огню и т. д. Особенное вниманіе при этомъ слѣдуетъ обратить только на то обстоятельство, до какой степени твердо принималась та или иная «потребность» за совершенно достаточный мотивъ и какъ пестры, подчасъ противоположны, были способы удовлетворенія этой потребности. Такъ, напримѣръ, общая причинная связь явленій, представляющаяся для стремящагося къ «объясненію», какъ regressus in infinitum, возбуждаетъ въ умѣ метафизика потребность завершенія или замкнутія этой цѣпи. Лейбницъ находитъ, напримѣръ, что послѣднее звено должно непремѣнно быть «hors de suite des choses contingentes»... «autrement on n'auroit pas encore une raison suffisante, où l'on pût finir». Лаасъ замѣчаетъ по этому случаю, что едва ли одно хотѣніе покончить съ сознанною потребностью достаточно для того, чтобъ избѣгнуть причиняемаго ею безпокойства, и приводитъ при этомъ на память читателю, что Аристотель допускалъ вѣчное движеніе; Лейбницъ же считаетъ необходимымъ сослаться на свой «принципъ достаточнаго основанія».

Таковъ въ его основныхъ чертахъ характеръ «объясненія» въ исторіи метафизики, и въ *этомъ* его смыслѣ и значеніи и называетъ его Лаасъ «такъ-называемымъ объясненіемъ»—«Sogenannte Erklärung». Въ прямой зависимости отъ такого «объясненія» находится, конечно, и «познаніе» у всѣхъ метафизически настроенныхъ мыслителей. Всѣ они смѣшиваютъ обыкновенно «познаніе» (Erkennen) съ «объясненіемъ» (Erklären) и требуютъ и для познанія сведенія къ абсолютнымъ реальностямъ, къ разысканію основанія, принципа, сущности даваемыхъ опытомъ фактовъ и ихъ законовъ.

Ложные пути, которые принимала и принимаетъ мысль, гоняющаяся за этими химерами, очень разнообразны. Влекомая указанными выше мотивами, она принимаетъ то ту, то другую изъ «фикцій» объясненія за высочайшее проявленіе истины и строитъ при ея помощи тѣ воздушные замки, которыми полна исторія метафизики. Было бы слишкомъ долго слѣдить за всею тою разрушительною работой, благодаря которой и Лаасъ въ свою очередь справедливо заслужилъ названіе Alleszermal-

mer'a, мы остановимся только на нѣкоторыхъ особенно важныхъ пунктахъ. Обратимъ, прежде всего, наше вниманіе на понятіе «субстанціи». Терминъ этотъ, какъ извѣстно, принадлежитъ къ числу самыхъ ходкихъ изъ всего нашего мысленнаго инвентаря по отношенію къ вопросамъ онтологическимъ. Онъ иногда служитъ мостомъ для перехода въ трансцендентные регіоны; но, какъ замѣчаетъ Лаасъ, только для тѣхъ, которые не думаютъ предварительно о многосмысленности этого выраженія, а также о явныхъ слѣдахъ его эмпирическаго происхожденія, замѣчаемыхъ при разсмотрѣніи каждаго, отдѣльно взятаго, его значенія.

«Субстанція,—какъ мѣтко замѣчаетъ Лаасъ,—есть только разсчитанная на внушительность замѣна простого термина «вещь», т.-е. связанной въ конкретное единство и пріуроченной къ одному и тому же мѣсту совокупности свойствъ и силъ. Изъ всей этой суммы, подъ внушеніемъ логическаго сужденія и вліятельныхъ интересовъ, обыкновенно выдѣляется нѣчто среди измѣненій постоянное, существующее, въ противоположность послѣдовательному, и получаетъ значеніе «субстанціи». Такимъ образомъ, понятіе вещи, извѣстнаго конкретнаго единства, распалось на двѣ части: *субстанцію и акциденціи*. Затѣмъ оставалось еще сдѣлать шагъ къ присвоенію субстанціи новаго свойства—самостоятельности. Мало-по-малу самостоятельность эта получила то опредѣленное значеніе, которое она имѣетъ у Спинозы, стала тѣмъ, «quod in se est et per se conci-pitur». И вотъ, и въ наше время подъ субстанціей разумѣютъ то, что̀ независимо отъ чего бы то ни было другого остается неизмѣннымъ при всѣхъ окружающихъ его перемѣнахъ. Мы будемъ еще имѣть случай представить нѣкоторыя разъясненія взгляда Лааса на понятіе субстанціи, а теперь замѣтимъ только, что Лаасъ не считаетъ возможнымъ выжать изъ понятія субстанціи какія бы то ни было заключенія, годныя для перехода къ трансцендентному. Образованіе понятія субстанціи и пользованіе имъ очень натуральны; но не слѣдуетъ видѣть въ немъ какого-то откровенія и не увлекаться химерическою надеждой чрезъ его посредство проникнуть въ область «an sich».

Спиритуалисты, какъ извѣстно, не стѣснялись многосмысленностью и текучестью термина «субстанція», но пользовались зыбкостью почвы, представляемою этимъ терминомъ, и старались возвести на ней свое причудливое мистико-метафизическое

зданіе. Мы имѣли уже случай познакомить читателя съ глубокомысленнымъ и остроумнымъ разсужденіемъ Бэна, доказавшаго какъ нельзя лучше призрачность спиритуалистическихъ поползновеній и преподавшаго благой совѣтъ «не пытаться извлекать солнечные лучи изъ этого огурца». Замѣтимъ теперь, что тѣ, для которыхъ авторитетъ Бэна «не довлѣетъ», могутъ обратиться къ «параллогизмамъ чистаго разума» Канта и такимъ образомъ освѣжить въ памяти старыя истины. Кантъ, впрочемъ, не въ одномъ только этомъ случаѣ, но и во многихъ другихъ, какъ неоднократно признаетъ Лаасъ, много сдѣлалъ для подготовленія почвы для позитивной философіи, и нѣкоторыя его положенія, какъ увидимъ далѣе, были переработаны Лаасомъ и введены въ изложеніе его собственнаго міровоззрѣнія [1]). Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако же, Лаасъ удѣляетъ не мало мѣста и полемикѣ съ этимъ великимъ философомъ, такъ много увлекавшимся тѣми мотивами платоновскаго характера, о которыхъ было говорено выше. Одно только раскрытіе этихъ мотивовъ и обусловливаемой ими *тенденціи* Кантовой мысли нерѣдко можетъ, по мнѣнію Лааса, обнаружить узость и несостоятельность многихъ аргументовъ автора «Критики чистаго разума». И если оставить въ сторонѣ многосмысленность и измѣнчивость терминовъ, которыми пользовался Кантъ и которыя

---

[1]) «Интересно, и для людей, чуждыхъ философіи, въ высшей степени поразительно то, что и Кантъ также по временамъ является представителемъ позитивистской точки зрѣнія, — говоритъ Лаасъ. Мѣста, въ которыхъ великій апріористъ обнаруживаетъ эту точку зрѣнія, не рѣдкость у Канта и въ такой же мѣрѣ могутъ представлять собою матеріалъ для эмпирической системы, въ какой другія являются годными для его трансцендентальной метафизики». («Id. und Pos.» I, S. 185). Это, конечно, не открытіе; но тѣмъ удивительнѣе, что В. С. Соловьевъ, котораго никакъ нельзя считать чуждымъ философіи, старается увѣрить своихъ читателей, что тотъ, кто — какъ онъ выражается—призываетъ къ Канту, служитъ обращенію общества къ метафизикѣ, такъ какъ Кантъ есть «источникъ всякой метафизики». (Вопр. филос. и психол., кн. 5, стр. 123). Явный этотъ non-sens сорвался у почтеннаго В. С., очевидно, только потому, что онъ слишкомъ увлекся задуманнымъ имъ полемическимъ пріемомъ—возврата долга, да еще и «съ процентами» посредствомъ фальшивыхъ похвалъ. Опытъ показалъ еще разъ, что въ литературѣ, какъ и въ жизни, долги не погашаются тѣмъ способомъ, который избралъ г. Соловьевъ, и не только не погашаются, а растутъ пропорціонально значенію той отрицательной цѣнности, которая представляется для расплаты.

часто затрудняютъ отвѣтъ на вопросъ: не многосмысленны ли и измѣнчивы и соотвѣтствующія терминамъ этимъ понятія; если пренебречь всею этою стороной въ сочиненіяхъ Канта и только имѣть въ виду идею цѣлаго, то придется сказать, что эта идея и была проникнута тенденціей, заключавшеюся въ подготовленіи почвы для метафизической вѣры, направленной къ міру сверхчувственному. Эта предвзятость (Voreingenommenheit), впрочемъ, не единственная у Канта; видную роль играетъ у него и другая—*идеалъ науки*. На этомъ пунктѣ Кантъ очень близко соприкасается съ своимъ предшественникомъ Платономъ: оба, какъ замѣчаетъ Лаасъ, установляли свои взгляды и считались съ дѣйствительнымъ значеніемъ данныхъ условій; оба не вырабатывали ихъ сообразно съ имѣвшимися въ ихъ распоряженіи объектами, а свободно творили, подгоняя потомъ подъ нихъ дѣйствительность. Тогда какъ мы, позитивисты, говоритъ Лаасъ, довольны и тѣмъ, что намъ удается понять, какимъ образомъ изъ данныхъ воспріятій и постепенно развивающихся потребностей могутъ образоваться извѣстныя познавательныя стремленія—Платонъ ставитъ собственное свое требованіе о томъ, что истинный объектъ науки долженъ обладать вѣчностью, неизмѣняемостью и постоянствомъ, дискредитируя, такимъ образомъ, значеніе данныхъ воспріятія, а Кантъ заявляетъ, что наука въ собственномъ смыслѣ должна быть аподиктическою, апріорною, сознающею идею необходимости, выводящею познаніе изъ однѣхъ только возможностей, и утверждаетъ, что познаніе, не переходящее предѣлы эмпирической достовѣрности, не есть познаніе въ собственномъ смыслѣ. Въ связи съ этимъ взглядомъ на познаніе находится у Канта и понятіе о возможности иныхъ (нечеловѣческихъ) познаній. Предвзятость, служащая основою этого понятія, ведетъ уже прямо въ область мистики.

Мы ограничимся этими общими указаніями Лааса на значеніе Кантовой философіи и не станемъ излагать даже и вкратцѣ его обширныхъ критическихъ замѣчаній на главнѣйшія воззрѣнія недавно еще такъ увлекавшаго нѣмецкіе умы мыслителя. У насъ, какъ извѣстно, «поворотъ къ Канту», оставившій такое яркое и еще свѣжее воспоминаніе въ философской литературѣ Германіи, прошелъ едва замѣтнымъ. Въ настоящее время представляется для насъ важнымъ не столько ознакомленіе съ критическою оцѣнкой мало-извѣстнаго у насъ Канта, сколько сосредоточеніе вниманія на той новой философіи, которая воз-

никла частью на почвѣ, подготовленной Кантомъ, частью на развалинахъ его системы. Лаасъ принадлежитъ, конечно, къ числу самыхъ видныхъ и вліятельныхъ представителей этой новой философіи, и намъ пора теперь перейти къ очерку положительной стороны того строя, который она пріобрѣла въ его рукахъ.

Охарактеризованному въ предшествовавшихъ строкахъ міросозерцанію съ его мотивами, тенденціями и пріемами, вдохновляющимися и до сихъ поръ духомъ Платоновой философіи, противопоставляетъ Лаасъ то трезвое, научное познаніе, которое только въ новѣйшее время успѣло вступить на путь непрерывнаго развитія и которому удалось мало-по-малу побороть вѣковѣчное вліяніе старой метафизики. Родоначальникомъ этого философскаго направленія Лаасъ считаетъ Протагора и утверждаетъ, что, затѣмъ, только съ Юма возстановляется забытый живой родникъ здравомыслія, надъ расширеніемъ и углубленіемъ котораго работаетъ уже не первое поколѣніе мыслителей.

Отъ Юма собственно и ведетъ Лаасъ генезисъ своей доктрины, черезъ Дж. Ст. Милля, помимо Ог. Конта. Онъ смотритъ на основныя положенія его системы—законъ трехъ состояній и классификаціи наукъ,—какъ на такія, въ которыхъ хотя и проявился умъ, а отчасти вѣрная наблюдательность ихъ творца, но которыя, въ то же время, своею искусственною конструктивностью напоминаютъ построенія не кого иного, какъ Гегеля. Примыкая, такимъ образомъ, непосредственно къ Миллю, Лаасъ не желаетъ, однако-же, раздѣлять всѣхъ его воззрѣній и соглашается съ Джевонсомъ по нѣкоторымъ пунктамъ его критики Миллевой *Системы логики*. Не считаетъ онъ непогрѣшимымъ и Юма, но все же находитъ у него такія научно-философскія положенія, которыя стали бы мы тщетно искать у другихъ мыслителей. По этой причинѣ Лаасъ и считаетъ Юма ближайшимъ провозвѣстникомъ современной позитивной философіи.

Твердо увѣренный, что всякая философія, не опирающаяся на теорію познанія, не можетъ разсчитывать на устойчивость, Лаасъ и кладетъ во главу угла обработку гносеологическихъ вопросовъ. Само собою разумѣется, что остріе его теоріи познанія обращено противъ «фантасмагорій» идеализма, но онъ не теряетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ вида и проявленій крайняго скептицизма, противъ которыхъ боролся уже и ранѣе. Считая глав-

ными представителями идеализма, какъ мы знаемъ уже, Платона и Канта, Лаасъ не теряетъ изъ вида того обстоятельства, что оба эти мыслителя прежде всего направляли силы свои противъ «скептицизма», хотя каждый изъ нихъ имѣлъ объ этомъ общемъ врагѣ свое особое понятіе. Разумѣлся ли, однако, подъ скептицизмомъ крайній гераклитизмъ съ его идеею неудержимой измѣнчивости и текучести, исключавшею возможность существованія чего-либо субстанціальнаго и абсолютнаго, или являлся скептицизмъ въ формѣ теоріи причинности Юма, исключавшей возможность метафизическаго перехода къ «вещи въ себѣ»,—все же для идеализма одинаково угрожала опасность потерять занятую еще элеатами позицію, защищавшую излюбленный ими тезисъ о недостаточности чувственнаго познанія и о бытіи рядомъ съ міромъ воспріятій иного высшаго міра сверхчувственныхъ объектовъ («идей» или «нуменовъ»). Эту-то философскую фантастику и имѣетъ въ виду Лаасъ. Задачею своей онъ ставитъ окончательное ея преодолѣніе и устраненіе. Еще въ своихъ *Аналогіяхъ опыта* онъ развивалъ мысль о томъ, что мышленіе наше не можетъ простираться за предѣлы дѣйствительнаго міра и что невозможно рядомъ съ реальнымъ бытіемъ міра воспріятій допускать еще множество формъ инобытія. Такая возможность, доказывалъ тогда Лаасъ, допустима только какъ контрастъ, полезный для характеристики бытія дѣйствительнаго, не болѣе. «Намъ извѣстно одно только мышленіе, какъ таковое,—говоритъ онъ,—именно то мышленіе, которое вращается въ области мыслемѣрныхъ данностей, а не въ области фантастическихъ образовъ, которое даже и тогда, когда обращается къ воображаемымъ формамъ, не теряетъ изъ вида нитей, ведущихъ къ міру дѣйствительному. Далѣе: намъ извѣстно одно только бытіе, какъ таковое, именно то бытіе, которое разстилается передъ субъектомъ и является въ столь многосторонней и интенсивной логической окраскѣ, что во многихъ случаяхъ трудно бываетъ рѣшить, нами ли самими свободно измышлены тѣ формы и методы, которые мы прилагаемъ къ дѣйствительности и такимъ образомъ интеллектуализируемъ это бытіе, или же дѣйствительность сама доставляетъ намъ ихъ непосредственно и мы только отвлекаемъ ихъ отъ нея. Во всякомъ случаѣ, эти формы и методы развиваются въ непрестанномъ обмѣнѣ съ дѣйствительностью. Такимъ образомъ, идея возможности бытія, обрѣтающаяся внѣ предѣловъ бытія эмпи-

рическаго, должна быть, во всякомъ случаѣ, разсматриваема какъ идея позднѣйшая, и ей можетъ быть предоставлено мѣсто лишь постольку, поскольку то требуется мышленіемъ о дѣйствительности и поскольку къ ней приложимъ принципъ тождества и другіе принципы, необходимые для нашей мысли и неустранимые изъ нея. И если мышленіе, сперва заинтересованное даннымъ бытіемъ, можетъ при дальнѣйшемъ ходѣ своемъ замѣтить, что попытки его для объясненія дѣйствительнаго бытія ведутъ къ такому мышленію, въ которомъ принципъ тождества не находитъ себѣ приложенія, въ которомъ дважды-два не составляютъ четырехъ и т. п., то оно или будетъ считать себя заблуждающимся, или безсильнымъ къ возстановленію мыслимости. Во всякомъ же случаѣ, прилагать къ области реальнаго абсолютное противорѣчіе и безсмысліе было бы не такъ легко, какъ созидать математику на положеніяхъ въ родѣ того, что сумма угловъ прямолинейнаго треугольника менѣе двухъ прямыхъ и т. д.».

Для внимательнаго читателя разумѣется уже само собою, что если Лаасъ такимъ образомъ обосновываетъ свое отрицаніе метафизическихъ фантасмагорій, то онъ неизбѣжно утверждаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что всѣ наши представленія, какъ бы они тонки и возвышенны ни были, могутъ существовать только какъ первоначальныя или закономѣрно выработанныя и преобразованныя воспріятія. Вопреки мнѣнію философовъ, воображающихъ, что всякое отвлеченное понятіе должно быть непремѣнно апріорное и мѣтить на объектъ трансцендентный, Лаасъ ищетъ реальные корни каждой изъ абстракцій высшаго порядка и всѣ ихъ низводитъ на одну общую почву.

Отстаивая свою позицію противъ напора идеалистовъ, желающихъ непремѣнно видѣть въ «объективности» и «дѣйствительности» сенсуализма лишь нѣчто подпадающее внѣшнимъ чувствамъ, Лаасъ озабочивается защитой этой позиціи и съ другой стороны,—со стороны того скептицизма, который ищетъ, опору въ сенсуализмѣ же, но, сбиваясь съ пути, впадаетъ въ цѣлый рядъ внутреннихъ противорѣчій и ошибокъ [1]).

[1]) Скептицизмъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, и есть именно тотъ, который у насъ недавно еще хотѣли выдать за характеристическій признакъ *нашего національнаго ума*. Скептицизмъ этотъ, увѣряли насъ, мало похожъ на здоровое сомнѣніе Декарта или Канта; нашъ скептицизмъ стремится будто бы поразить «самую идею достовѣрности истины»,

Итакъ, философіи, чтобы стать научной, должно умѣть избѣжать двухъ крайностей: безплодныхъ мечтаній и столь же безплодныхъ сомнѣній, и твердо держаться на той почвѣ, которая можетъ дать ей и устойчивость, и всѣ условія, необходимыя для успѣшнаго ея развитія.

Первое зерно той теоріи познанія, которое создало ей эту почву, Лаасъ усматриваетъ въ извѣстномъ тезисѣ Протагора о *неразрывной связи субъекта и объекта*. Этотъ тезисъ имѣетъ, по мнѣнію Лааса, громадное значеніе для установленія позитивной точки зрѣнія. И если Протагоръ—чему бы онъ тамъ помимо этого положенія ни училъ—остается въ нашихъ глазахъ первымъ провозвѣстникомъ научнаго типа въ философіи, то нельзя отвергать, что его имя должно произноситься нами съ бо́льшею почтительностью, чѣмъ это было до сихъ поръ принято. Вслѣдъ за Протагоромъ выдвигаетъ Лаасъ значеніе *коррелативизма* или *соотносительности субъекта* и *объекта* на первый планъ. Субъектъ и объектъ,—говоритъ онъ,—суть нераздѣлимые близнецы; каждый изъ нихъ удерживается или падаетъ, смотря по тому, устойчивымъ или шаткимъ оказывается соотносительный элементъ. Мы не можемъ мыслить воспринимающаго субъекта остающимся безъ воспріятій; мы утверждаемъ, что «сознаніе», «я» и другія названія, подъ которыми является передъ нами субъектъ, могутъ имѣть только указанный выше соотносительный смыслъ и за предѣлами чувственнаго воспріятія не значатъ ровно ничего.

Коррелативизмъ, по мнѣнію Лааса, нисколько не нуждается для своего фактическаго узаконенія (sachliche Legitimation) въ метафизической подпочвѣ. Можно указать только на доступный для всякаго и подлежащій всеобщей провѣркѣ фактъ, что объекты извѣстны намъ непосредственно, какъ содержаніе сознанія, cui objecta sunt, а субъекты—только какъ центры отно-

---

стремится «подорвать самый интересъ къ познанію» и имѣетъ своей формулой: «все одинаково возможно и все одинаково сомнительно». Странное дѣло, однако же: нѣтъ никакой возможности указать хоть на одно лицо, въ которомъ такого рода скептицизмъ нашелъ бы у насъ свое воплощеніе, а между тѣмъ на Западѣ онъ проводился не разъ систематически въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ и находилъ одобреніе въ журналахъ. Лаасъ борется съ *нѣсколькими* изъ представителей этого скептицизма, а у насъ они неизвѣстны даже и по имени. Что же это за удивительный *русскій* скептицизмъ! (Кромѣ *Idealismus und Positivismus*. III, S. 506 und 671, см. статью Лааса въ *Vierteljahrsschrift für Wiss. Ph.* VI Jahrgang. Zweites Heft., S. 231—247).

шеній, какъ сборные пункты или какъ оборотная сторона воспринятаго содержанія, quibus subjecta sunt; и далѣе, что непосредственно извѣстные намъ объекты и субъекты не могутъ быть принимаемы какъ существующіе «an sich», что они признаются существующими только при условіи взаимной связи, что они совмѣстно возникаютъ, совмѣстно пребываютъ и всегда остаются нераздѣлимыми.

Обосновываемая Лаасомъ на тезисѣ коррелативизма теорія познанія хотя и повторяетъ старое положеніе, что природа есть «явленіе», но повтореніе это, какъ поясняетъ Лаасъ, не сопровождается заботою о раскрытіи «сущности» или «принципа», скрывающихся за явленіемъ и обнаруживающихся при его посредствѣ. Нѣтъ, «явленіе» принимается не въ этомъ смыслѣ. Выраженіе «природа есть явленіе» означаетъ только *относительность* понятія природы, т.-е. выражаетъ лишь то, что природа мыслится какъ объектъ *по отношенію* къ воспринимающему субъекту, тогда какъ существованіе этого самаго субъекта, этого «я», въ свою очередь не допускается безъ соотносительнаго «не я», безъ содержанія, доставляемаго воспріятіями. Дѣйствительность мыслящаго ставится, такимъ образомъ, не выше дѣйствительности мыслимаго; объекты не считаются пребывающими внѣ сознанія, но и не предполагаются существующими «въ насъ»; утверждается только, что они существуютъ *по отношенію* къ намъ, какъ мы существуемъ *по отношенію* къ нимъ. «Не я» представляется при этомъ относительно «я» какъ совокупность возможныхъ ощущеній, хотя и различныхъ для каждой отдѣльной личности, но могущихъ мыслиться *какъ закономѣрное сліяніе въ одно общее цѣлое*. Это общее цѣлое представляетъ собою идеальную картину, которая должна быть поставлена выше всѣхъ случайныхъ отношеній и представляться объектомъ не единоличнаго сознанія, а *сознанія вообще*. Пользуясь этимъ Кантовскимъ терминомъ и разъясняя его значеніе для позитивной философіи, Лаасъ говоритъ, что соотвѣтствующій «сознанію вообще» *объективный міръ* есть всеобщій объектъ представленія всѣхъ ощущающихъ существъ, какъ бы иногда ни являлся онъ неопредѣленнымъ, тусклымъ и измѣненнымъ въ воспріятіи отдѣльной индивидуальности.

Теперь, когда мы хоть въ общихъ чертахъ познакомили читателя съ идеей коррелативизма, какъ ее выработалъ Лаасъ, и дополняющихъ ее понятій «сознанія вообще» и «объективнаго

міра», мы можемъ перейти къ изложенію соображеній, которыя выставлены Лаасомъ по вопросу о переработкѣ того принципа, критику котораго мы представили ранѣе, именно: принципъ, «объясненія» или соотносительно «пониманія».

По мнѣнію Лааса, позитивистъ долженъ изучать разнообразные пріемы «объясненія», представляемые исторіей человѣческой мысли, и стараться вскрыть руководящія всѣми ими *потребности*, какъ элементъ, присущій всѣмъ имъ. Онъ долженъ наблюдать смѣну однѣхъ потребностей другими и справедливо оцѣнивать тѣ объясненія, которыя при сравненіи съ предшествовавшими представляются болѣе цѣлесообразными и сравнительно въ высшей мѣрѣ служащими установленію простоты, послѣдовательности и систематичности въ области мысли, идущихъ рука объ руку съ устраненіемъ объясненій болѣе слабыхъ или же совсѣмъ вредныхъ. Во всякомъ случаѣ, на всѣ эти объясненія онъ смотритъ какъ на отвлеченныя понятія, вспомогательныя представленія, фикціи архитектонической фантазіи, субъективныя вѣрованія: всѣ они обладаютъ для него цѣнностью въ той именно мѣрѣ, которая является соотносительно съ вызвавшею ихъ потребностью,—потребностью «объяснить» все непосредственно-данное какими-либо причинами, всегда принимающими въ метафизической онтологіи трансцендентный характеръ. Позитивистъ долженъ знать, какъ и почему всѣ эти трансцендентныя фикціи, какими бы смѣлыми мотивами онѣ ни были вызваны, имѣютъ безусловную цѣнность для тѣхъ, которые приписываютъ имъ какое-то абсолютное значеніе.

Онтологическія построенія, поясняетъ далѣе Лаасъ, начинаются иногда, какъ, напримѣръ, у Декарта и Гербарта, съ предположенія, что мышленіе, переживъ длинный рядъ иллюзій, предразсудковъ и противорѣчій, можетъ подъ вліяніемъ коренного сомнѣнія придти къ убѣжденію о необходимости избрать для себя чистый разумъ новою точкой отправленія. При ближайшемъ же разсмотрѣніи, однако, эта новая точка отправленія оказывается не болѣе, какъ стародавнимъ пошибомъ мышленія, попрежнему питающимся хотѣніями и потребностями. Такъ, у Декарта, наприм., вслѣдъ за его принципіальнымъ сомнѣніемъ, тотчасъ же вмѣстѣ съ «cogito, ergo sum» прорывается наружу всѣмъ индо-европейскимъ народамъ внѣдренная многовѣковымъ вліяніемъ языка схема субстанціи и акциденцій,—схема, которая немедленно же приводитъ къ смѣше-

нію понятій эмпирическаго и трансцендентнаго «я» и является источникомъ большой неурядицы. Каково бы ни было происхожденіе потребности, которой отвѣчала эта схема, все же она въ значительной степени владѣетъ умомъ Декарта и оказываетъ значительное вліяніе на все послѣдующее метафизическое мышленіе.

Вліяніе этой же схемы Лаасъ усматриваетъ и въ *атомистическомъ* пріемѣ «объясненія». Объясненіе это,—говоритъ Лаасъ,—первоначально имѣло значеніе метафизической, «отъ разума» исходящей гипотезы (или теоріи); теперь же проницательные современные физики вводятъ ее въ достодолжныя границы. Мы въ атомахъ признаемъ реальнымъ только то, что могло бы представиться намъ, если бы мы вывели наши чувства изъ ихъ зависимости отъ естественныхъ условій и въ неопредѣленной степени усилили способность микроскопическаго увеличенія, свойственнаго нашему зрѣнію. Но мы далеки отъ мысли видѣть въ атомахъ абсолютныя реальности, «вещи въ себѣ», обладающія какою-то специфическою невоспринимаемостью. Для насъ они только въ силу гипотезы представляютъ составную часть воспринимаемаго міра и, какъ «вещи въ себѣ», считаются нами не болѣе, какъ фикціи.

Атомистико-механическая гипотеза (или фикція),—разсуждаетъ далѣе Лаасъ,—оказалась въ высшей степени состоятельною и полезною. Позитивистъ можетъ только желать, чтобъ она развилась сколько возможно полнѣе и была проведена настолько послѣдовательно, насколько то окажется исполнимымъ. Онъ самъ изъявляетъ готовность заняться изслѣдованіемъ функціональной зависимости духовныхъ явленій и процессовъ отъ механическихъ, физическихъ, химическихъ, физіологическихъ условій. Въ такой же мѣрѣ можетъ онъ считать себя заинтересованнымъ и вопросомъ о сведеніи къ этой «фикціи» всего происходящаго согласно закону сохраненія силъ и ихъ эквивалентнаго соотношенія.

Желая открыть широкія перспективы для развитія механической теоріи, позитивистъ, по мнѣнію Лааса, долженъ, однако же, имѣть въ виду, чтобы развитіе это совершалось въ предѣлахъ возможнаго и допустимаго, чтобы оно не переходило извѣстныхъ границъ. Механическая теорія, какъ думаетъ Лаасъ, не должна бы, напримѣръ, стараться низвести наше сознаніе къ простому результату механическихъ процессовъ, а также

не должна бы причинить ущербъ чувству нашей отвѣтственности и вмѣняемости. Если, принявъ все это во вниманіе,— говоритъ онъ далѣе,—мы поставимъ вопросъ о томъ, какое значеніе должны мы приписать гипотезѣ, которую мы желали бы видѣть распространенною до предѣловъ возможнаго и которой мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, ставимъ указанныя выше границы, то мы можемъ сказать, что считаемъ ее, употребляя Кантовскій терминъ, *руководительнымъ принципомъ*, и именно руководительнымъ принципомъ для объяснительнаго изложенія всѣхъ явленій объективнаго характера.

И современная эволюціонная теорія точно такъ же не можетъ, по мысли Лааса, разсчитывать на иное значеніе, какъ только на значеніе *руководительнаго принципа*. И какъ далеко ни шли бы «объясненія», даваемыя этою теоріей, все же таки должно остаться мѣсто для сознательной, свободной, обдуманной нравственной дѣятельности, справедливости и т. д.

Изъ этого не слѣдуетъ выводить, однакожъ,—прибавляетъ Лаасъ,—что мы разсчитываемъ на отклоненіе надежды на сведеніе всѣхъ человѣческихъ дѣйствій къ строго-послѣдовательной механической теоріи, долженствующей «объяснить» ихъ. Мы не только не заботимся объ отклоненіи такой надежды,— говоритъ Лаасъ,—но еще и стремимся уяснить, въ какой степени дѣйствія наши могутъ быть понимаемы именно такимъ образомъ. Но пока мы, все же таки, не можемъ не признать, что въ виду коренного различія между психическимъ и физическимъ, внутреннимъ и внѣшнимъ, субъективнымъ и объективнымъ, наши намѣренія и наша совѣсть остаются внѣ опасности потерпѣть какой бы то ни было ущербъ.

Если мы примемъ во вниманіе, что механическая гипотеза получила начало изъ отрозненнаго анализа *объективной* стороны сознанія (внѣшнихъ воспріятій), сопоставляемой и противопоставляемой явленіямъ стороны *субъективной* (чувствамъ, нашему «я», производнымъ представленіямъ и сознаннымъ хотѣніямъ), то мы, прежде всего, начинаемъ заботиться о томъ, чтобы никогда не явилась возможность выхода изъ этого противопоставленія и въ особенности же, чтобы этотъ выходъ не совершался въ силу исключительнаго предпочтенія одной стороны и ступевыванія другой.

Лаасъ утверждаетъ въ виду вышесказаннаго, что выше всѣхъ фикцій, гипотезъ и руководительныхъ принциповъ, какъ бы

цѣнны и плодотворны они ни были, должно для насъ быть все пережитое и переживаемое. Сколько бы ни скрывалось за нимъ результатовъ человѣческой вдумчивости, все же, какъ таковое, оно должно остаться основнымъ фактомъ для всѣхъ грядущихъ размышленій; а—надо помнить—всякій сложный образъ неизбѣжно заключаетъ въ себѣ элементы абсолютно-первоначальные: частью объективные, внѣшніе, чуждые, частью же субъективнаго и индивидуальнаго характера.

Всереальнѣйшимъ,—разсуждаетъ далѣе Лаасъ,—остается—для всякой отдѣльной личности, все же таки, твердо установленная, сама по себѣ очевидная фактичность; въ зрѣломъ возрастѣ она, конечно, дается въ едва разложимомъ сплетеніи частныхъ фактовъ и ассоціированныхъ, а также и апперципированныхъ (дополнительныхъ и объяснительныхъ) воспоминаній, фантазій и категорій,—все это является внѣдреннымъ частью въ данную, частью мыслимую противоположность субъективныхъ и объективныхъ элементовъ—«я» и «не я».

Это понятіе реальности пытаются «объяснить» какъ метафизики, такъ и позитивисты. «Объясненіе» позитивистовъ всегда остается, однако же, *имманентнымъ*, а «объясненіе» метафизиковъ — *трансценденгнымъ* [1]). Объясненіе позитивистовъ всегда оперируетъ съ представленіями, коренящимися въ опытѣ; оно является не столько генеалогіей, сколько анализомъ и систематикой или іерархіей фактическаго матеріала. Позитивистъ изслѣдуетъ, прежде всего, закономѣрную зависимость фактовъ въ ихъ сосуществованіи и послѣдовательности и затѣмъ подчиняетъ ей каждое отдѣльное единичное и конкретное данное. Онъ «объясняетъ» каждое данное положеніе, выводя его изъ положеній предшествовавшихъ согласно ранѣе установленнымъ законамъ. Онъ подводитъ спеціальные законы подъ общіе и разлагаетъ сложныя совокупности на ихъ составные элементы и т. п. Вездѣ старается онъ установить связь, никогда не стремясь перейти границы того, что̀ явно или скрыто содержится въ данныхъ воспріятія. И онъ пользуется разсмотрѣнною выше схемой субстанціи; онъ счелъ бы даже потребность объясненія напболѣе удовлетворенною, если бы ему удалось свести всѣ фи-

---

[1]) Читателю, интересующемуся разсматриваемымъ здѣсь вопросомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на соч. ученика Лааса Кейбеля (*M. Keibel*) Werth und Ursprung der philosophischen Transcendenz. Berlin, 1886.

зическіе и психическіе факты къ простому и гармоничному ряду классифицированныхъ субстанцій, согласующихся съ установленными въ наукѣ законами и подчиняющихся математической обработкѣ. Но субстанціи позитивиста *не трансцендентны*, и посредствомъ своего способа объясненія, своихъ анализовъ и дедукцій онъ не помышляетъ о претвореніи изучаемыхъ имъ фактовъ въ *абсолютно-раціональные* или о преодолѣніи *фактическаго дуализма* посредствомъ *монизма*. Онъ можетъ и долженъ привлекать помощь «вспомогательныхъ» представленій, но ни въ какомъ случаѣ не долженъ ставить своею задачей стремленіе добраться до «бытія въ себѣ», до бытія, отвлеченнаго отъ сознанія,—чистой фикціи, какъ то и было уже объяснено выше.

Признавая, что «знать» значитъ не болѣе, какъ воспринимать, памятовать, сравнивать, измѣрять, анализировать, суммировать, заключать отъ подобнаго къ подобному, различать важное отъ неважнаго и т. п., Лаасъ предостерегаетъ отъ увлеченія тѣмъ предполагаемымъ высшимъ «познаніемъ», которое стремится *постигнуть* абсолютное бытіе, разыскиваетъ *основу*, *принципъ*, *сущность* лежащихъ въ области опыта вещей и ихъ законовъ. И если метафизики станутъ восклицать по поводу узкихъ рамокъ такой философіи, то онъ напомнитъ имъ, что такая резигнація, какъ бы она ни была тягостна для романтически настроеннаго стремленія къ постиженію сущности вещей, входила уже въ ученіе Канта и не считалась имъ пагубною даже для его идеализма. Noumenorum non datur scientia.

Прослѣдивъ вмѣстѣ съ Лаасомъ за изложенными здѣсь различеніями, сопоставленіями и противопоставленіями и стараясь, такимъ образомъ, найти границу между *научною* и *ненаучною философіей* или, по терминологіи Лааса, между *позитивизмомъ* и *идеализмомъ*, мы, само собою разумѣется, постоянно вращались въ области *теоріи познанія*, которая одна только и можетъ вѣдать этотъ вопросъ. Достодолжное его выясненіе показало, что перехода отъ науки, изучающей факты познанія, къ мнимой наукѣ, притязающей изучать «бытіе въ себѣ»,—бытіе, отторгнутое отъ сознанія,—нѣтъ и быть не можетъ. Итакъ, изъ излюбленной философами-мечтателями тріады: *теоріи познанія*, *метафизики* и *этики*—остается неразсмотрѣнною только *этика*, которую, какъ мы знаемъ уже, даже Риль выдѣляетъ въ особую область, только примыкающую къ наукѣ, но не сливающуюся съ нею. Лаасъ, на основаніи тѣхъ положеній, которыя онъ

развилъ въ своей теоріи познанія, не находитъ никакого основанія для выдѣленія этики изъ области положительнаго знанія и считаетъ себя совершенно въ правѣ разсматривать этику какъ науку. Онъ утверждаетъ только, что для ея установленія необходимо и ее ввести въ опредѣленныя, ясно обозначенныя границы. Этика, по мнѣнію Лааса, станетъ научною только тогда, когда она поставитъ своею задачей раскрытіе психологическаго и историческаго происхожденія и обоснованія нравственнаго закона. И такъ какъ она, подобно всѣмъ положительнымъ наукамъ, не имѣетъ возможности высказываться о томъ, что̀ лежитъ за предѣлами опыта и что̀ констатируется опытомъ установленными законами, такъ какъ, притомъ же, она не можетъ претендовать на «познаніе» того абсолютнаго пункта безразличія, который будто бы и есть первооснова всякаго коррелативнаго существованія, то она и должна признать, что тѣ же психологическіе мотивы, которые обыкновенно порождаютъ народныя вѣрованія съ ихъ легендами и догматами, играютъ значительную роль и при установленіи вульгарной морали. Она и должна изыскивать средства къ устраненію этихъ мотивовъ для личностей въ научномъ смыслѣ зрѣлыхъ. Въ этомъ направленіи она идетъ рука объ руку съ Платономъ, но она не станетъ подобно ему утверждать, что этика нуждается въ метафизическомъ обоснованіи.

6. Гансъ Фольцъ.

Главное сочиненіе Лааса *Идеализмъ и позитивизмъ*, общій очеркъ содержанія котораго данъ былъ нами въ предшествовавшихъ главахъ, нашелъ въ лицѣ одного изъ учениковъ Лааса, *Ганса Фольца*—критика, стоящаго на почвѣ Лаасовскаго же позитивизма и стремящагося не къ повороту назадъ, а къ движенію еще далѣе впередъ, къ проведенію «новаго позитивизма» съ тою строгою и зоркою послѣдовательностью, противъ которой, по мнѣнію Фольца, въ нѣкоторой мѣрѣ прегрѣшилъ его уважаемый учитель [1]).

Чтобы имѣть возможность въ полной мѣрѣ понять и достаточно оцѣнить критическія замѣчанія Фольца, необходимо не упускать изъ вида тотъ смыслъ и значеніе, которые были соединяемы Лаасомъ съ терминомъ «erkennen». Указывая на противниковъ позитивизма, Лаасъ говоритъ, что они, навѣрное, возопіютъ противъ отстаиваемой имъ резигнаціи въ области знанія и усмотрятъ въ его позитивизмѣ издѣвательство надъ благороднѣйшими чувствованіями и стремленіями человѣка. Имъ непремѣнно нужно «erkennen», а это значитъ болѣе, чѣмъ переживать, воспринимать, припоминать, сравнивать, измѣрять, анализировать, суммировать, заключать отъ подобнаго къ подобному, отдѣлять существенное отъ несущественнаго и т. п., это значитъ — разыскивать абсолютъ, основу, принципъ, сущность даваемыхъ опытомъ фактовъ и ихъ законовъ. Терминъ «erkennen», какъ можно видѣть изъ такого его истолкованія, означаетъ вовсе не то, что̀ мы разумѣемъ подъ терминомъ «познавать», а

---

[1]) «Die Ethik als Wissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der neuern englischen Ethik». Eine philosophische Abhandlung von *Dr. Hans Voltz*. Strassburg, 1886.

является разнозначащимъ термину «понимать», или, пожалуй, любимому термину нѣкоторыхъ нашихъ метафизиковъ—«постигать». И въ самомъ дѣлѣ, самъ Лаасъ даетъ намъ подтвержденіе такой передачи его «erkennen», прямо отождествляя его съ «erklären» [1]), такъ что мы при изложеніи критическихъ замѣчаній Фольца постоянно будемъ различать «erkennen—erklären» (постигать, соотносительно: объяснять) отъ «wissen» (знать, познавать), надѣясь избѣжать такимъ образомъ и напрасныхъ недоразумѣній, и излишнихъ придирокъ.

Отдавая полную справедливость Лаасу въ ясной и твердой установкѣ его основной точки зрѣнія, Фольцъ находитъ, что сдѣлавшій такъ много для позитивизма Лаасъ остановился, однако же, передъ главнымъ слѣдствіемъ своего же собственнаго штандпункта, такъ какъ для удерживающаго этотъ штандпунктъ ни о какомъ «объясненіи» или «постиженіи» не можетъ быть и рѣчи. «И если я и утверждаю, — говоритъ Фольцъ,— что Лаасъ не высказалъ этого вывода, то имѣю при этомъ въ виду только объективную правильность моего замѣчанія, такъ какъ хотя и нетрудно указать цѣлый рядъ такихъ мѣстъ въ сочиненіи Лааса, гдѣ выводъ этотъ подразумѣвается, то все же придется признать, что *субъективно* Лаасъ явно былъ рѣшительнымъ противникомъ этого вывода. Его позитивизмъ, «какъ отстаивающій возможность научной обработки матеріаловъ воспріятія», направленъ, прежде всего, противъ скептицизма, и именно противъ враждебнаго наукѣ скептицизма. Такой скептицизмъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ былъ оказаться завершеніемъ основаннаго Лаасомъ позитивизма».

Можно бы возразить, конечно,—разсуждаетъ далѣе Фольцъ,— что Лаасъ возстаетъ только противъ крайняго скептическаго направленія, тогда какъ здоровый скептицизмъ, мѣтящій исключительно только на «трансцендентную» жажду познанія, не только не отвергается, но поддерживается имъ, такъ что ограничивающаяся однимъ лишь «имманентнымъ объясненіемъ и постиженіемъ» наука остается вполнѣ внѣ его воздѣйствія, такъ же какъ и обосновывающійся на ней позитивизмъ. Слѣдовало бы думать, что такъ именно и есть, но на самомъ дѣлѣ этого-то и нѣтъ. Лаасъ, по мнѣнію Фольца, никогда не имѣлъ духа прямо заявить, что для него не существуетъ уже никакого «по-

[1]) «Id. und Posit.», III, S. 260.

стиженія», что наука для него заключается только въ систематизированіи фактическаго матеріала, а подъ «объясненіемъ» можетъ онъ разумѣть только сведеніе къ факту познанному такого факта, который до того оставался еще непознаннымъ. Поэтому-то Лаасъ мѣстами и допускаетъ «объясненіе» при посредствѣ признанныхъ «законовъ», или возводитъ нѣкоторыя положенія на степень «общесвязующихъ» и «руководительныхъ для опыта», или пользуется такими терминами, какъ «нормы, идеалы (теоретическіе), указатели направленія». Мало того: упрекъ идеалистовъ, что «позитивизмъ», собственно говоря, ничего «не постигаетъ», а только «познаетъ, анализируетъ и связываетъ», обезпокоиваетъ Лааса; онъ отвергаетъ правильность такого упрека. Мысль, что «позитивизмъ не можетъ найти объективно-устойчивую, необходимую, всесвязующую, абсолютно-объективную истину», представляется чрезмѣрностью для человѣка, всю свою жизнь посвятившаго культу истины.

Вообще говоря, Фольцъ полагаетъ, что по своей исходной точкѣ и по своему методу столь энергичный и неуклонный позитивистъ, какъ Лаасъ, перестаетъ быть такимъ при гносеологической оцѣнкѣ результатовъ своей работы. Онъ,—говоритъ Фольцъ,—никогда не могъ отказаться отъ мысли, что знаніе и *постиженіе* сами себѣ должны служить цѣлью (хотя ни въ какомъ случаѣ не «абсолютною» цѣлью), если только «познающій не желаетъ лишить себя почвы».

Указанной здѣсь гносеологической оцѣнкѣ позитивистскихъ результатовъ Фольцъ противопоставляетъ свою, высказываемую имъ сперва въ самой сжатой и краткой формулѣ.

«Мы,—говоритъ Фольцъ,—цѣнимъ одни только факты, мы признаемъ одну только цѣнность,—цѣнность фактическую. Всякое объясненіе, поскольку оно позитивно, *можетъ* давать результаты одной только фактической цѣнности, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія допускать, чтобы результаты эти могли когда-нибудь получить значеніе «всесвязующихъ», «абсолютныхъ», «истинныхъ» и т. д.

Словомъ сказать, Фольцъ считаетъ «научнымъ» познаніемъ то, которое только «упорядочиваетъ и систематизируетъ фактическій матеріалъ», и отвергаетъ то, которое, не довольствуясь упорядоченіемъ и систематизированіемъ, стремится къ какому-либо «объясненію этого матеріала и разыскиваетъ конечныя причины, или цѣли, или идеи, или законы, или нормы, или

принципы и т. п. абсолютнаго или апріорнстическаго характера, на томъ или иномъ основаніи имѣющими въ виду всеобщую связь. Онъ отвергаетъ то познаніе, которое, опираясь на такого рода предположенія, отнимаетъ у фактическаго матеріала его первоначальную цѣнность «эмпирическаго», «даннаго», и старается *вывести* его изъ чего-либо «высшаго» или хоть поставить отъ этого «высшаго» въ такую или иную зависимость. Фольцъ находитъ, что «раціонализированіе» мышленія проведено у Лааса слишкомъ уже далеко, и старается найти ту границу, которую позитивисту не слѣдуетъ переступать. Онъ осо-бенно зорко слѣдитъ за возведеніемъ результатовъ познанія на высоту источниковъ его или, по крайней мѣрѣ, въ роль руководительную, стремящуюся къ такому или иному пріему приниженія фактовъ, лишенія ихъ принадлежащаго имъ основного значенія. Въ этомъ смыслѣ, т.-е. по отношенію къ чему-то «высшему», «метэмпирическому», какъ сказалъ бы Льюисъ, употреблены имъ и такія выраженія, какъ «истина», «идея», «принципъ» и т. п. Не вникнувъ во всѣ эти особенности критическихъ замѣчаній Фольца, легко можно получить ложное представленіе о занятой имъ философской позиціи,—его «philosophical attitude», какъ выражаются англичане.

Присмотримся теперь ближе къ тѣмъ аргументамъ, которыми Фольцъ поддерживаетъ правомѣрность этого «attitude».

Фактами исчерпывается то, чему можетъ научить насъ наука. Этотъ основной «радикальный» тезисъ Фольца истолковывается всего лучше, по его мнѣнію, съ отрицательной стороны; положительная—становится яснѣе при этомъ сама собой. Наука, могущая ограничить себя одними только фактами, исключаетъ разъ навсегда всякое «постиженіе». Понятіе это, какъ показалъ уже Риль, имѣетъ смыслъ лишь при томъ предположеніи, что мы признаемъ возможнымъ высказаться о томъ «нѣчто», которое находится внѣ насъ и въ несомнѣнности существованія котораго удостовѣряютъ насъ ощущенія, признаемъ возможность «постигнуть» это нѣчто, придавая нашему «постиженію» *объективное* значеніе вопреки очевидной *субъективности* всякаго постиженія. Для позитивиста, принципіально отрицающаго возможность высказать о внѣшнемъ мірѣ что-либо, переходящее за предѣлы простого утвержденія одного лишь факта существованія, и при этомъ признающаго единственною своею задачей систематизацію колоссальнаго матеріала, доста-

вляемаго нашими ощущеніями, при помощи «схемъ», «фикцій», «вспомогательныхъ представленій», прилагаемыхъ къ реальному, изъ субстанцій состоящему и законами управляемому міру, съ одной стороны, и «сознанія вообще»—съ другой, для такого позитивиста «постиженія» *не существуетъ*. Такой позитивистъ можетъ только *знать*. Упрекъ, обращаемый къ нему, что позитивистъ-де не можетъ «постигать», а только объясняетъ, познаетъ, анализируетъ и связываетъ, совершенно вѣренъ, но для позитивиста не имѣетъ значенія упрека. Онъ только предоставляетъ ему кое-что излишнее, такъ какъ допускаетъ возможность такого «объясненія», которое заключается болѣе, чѣмъ въ сведеніи однихъ фактовъ на другіе.

Разсужденіе это Фольцъ иллюстрируетъ слѣдующимъ конкретнымъ примѣромъ: положимъ, что будетъ сожженъ нѣкоторый объемъ угля; анализъ продуктовъ *горѣнія* покажетъ, что все вещество угля сохранилось и ни малѣйшая его доля не была, какъ полагали когда-то, истреблена огнемъ. Какъ выскажутся объ этомъ фактѣ: 1) сторонникъ апріористической теоріи познанія, 2) такой позитивистъ, какъ Лаасъ, и 3) чистый позитивистъ? Всѣ трое, конечно, сошлются на «законъ сохраненія вещества», на постоянство матеріи или такъ или иначе выраженную эту мысль. Но какъ различно будетъ значеніе этого «объясненія» для каждаго изъ названныхъ троихъ! Для апріориста «законъ сохраненія вещества» будетъ имѣть значеніе самою сущностью процесса познаванія объективно-даннаго закона, который находится въ извѣстной связи съ тѣмъ или инымъ свойствомъ или качествомъ предметовъ «внѣшняго міра» и долженъ быть въ томъ или иномъ смыслѣ признанъ принадлежащимъ этому «внѣшнему міру» закономъ; для Лааса онъ будетъ имѣть значеніе «всесвязующаго» «руководительнаго начала опыта», едва-едва отличимаго отъ объяснительнаго «закона» апріористовъ; для послѣдовательнаго же позитивиста, напротивъ того, это—только простой «фактъ», но, если можно такъ выразиться, «сборный фактъ» (eine cumulirte Thatsache), который на основаніи теоріи вѣроятностей можетъ еще повториться, который повторялся уже билліонъ разъ и въ билліонъ первый разъ опять повторится и который, все же таки, остается только «фактомъ», тогда какъ наше «объясненіе» этого единичнаго факта является лишь сведеніемъ его къ извѣстному намъ ранѣе «сборному факту», новымъ подкрѣпленіемъ значенія послѣдняго.

Лаасъ, по мнѣнію Фольца, счелъ бы изложенный тутъ взглядъ «ребячествомъ, хитроумничаньемъ, чудачествомъ», не имѣющими ни малѣйшаго практическаго значенія. Но, замѣчаетъ Фольцъ, поскольку идетъ дѣло о практическомъ значеніи науки, о власти при ея посредствѣ надъ природою, постольку, разумѣется, незачѣмъ отстаивать этихъ «хитроумничаній и чудачествъ» и можно даже совсѣмъ отказаться отъ просвѣтительнаго вліянія скептическихъ соображеній. Къ сожалѣнію, тутъ передъ нами не практическій, а чисто-теоретическій вопросъ, и именно вопросъ «гносеологическій», а потому о вредѣ или пользѣ нѣтъ у насъ и рѣчи. Мы утверждаемъ столь же просто, какъ и рѣшительно, что если ты позитивистъ, то довольствуйся однимъ лишь систематизированіемъ и знаніемъ фактовъ, или если ты хочешь во что бы то ни стало «постигать» и «объяснять», то позитивистомъ ты уже быть не можешь. Hic Rhodus, hic salta.

По поводу извѣстнаго уже намъ отношенія Лааса къ враждебному наукѣ скептицизму, Фольцъ замѣчаетъ, что подъ этимъ отношеніемъ скрывается совершенно ложная оцѣнка значенія скептицизма: Лаасъ упустилъ изъ вида, что для чистой послѣдовательной позитивной точки зрѣнія «скепсисъ» является лишеннымъ смысла, перестаетъ существовать. Можетъ ли, въ самомъ дѣлѣ, разсудительный человѣкъ сомнѣваться въ томъ, что мы имѣемъ возможность «научно» обрабатывать и примѣнять къ жизни нашъ фактическій матеріалъ, постоянно совершенствуя его систематизацію по отношенію къ удовлетворенію нашихъ потребностей и усиленію нашего господства надъ природою? Затѣмъ, позитивистъ не станетъ, конечно, ставить препятствій къ распространенію скептицизма въ какую бы то ни было другую сторону.

Но если скепсисъ потерялъ всякій смыслъ (кромѣ ребяческаго, пожалуй), то потеряло его и пресловутое «постиженіе». По этой причинѣ Фольцъ считаетъ нужнымъ настаивать, чтобы теорія познанія непремѣнно носила на нѣмецкомъ языкѣ названіе, не дающее мѣста недоразумѣніямъ, и именно: называлась бы «Wissenstheorie», а не «Erkenntnisstheorie». При удержаніи же термина «Erkenntniss» слѣдовало бы говорить: «Erkenntnisskritik» (критика постиженія) или «Erkenntnisswiderlegung» (опроверженіе постиженія). Эта часть теоріи познанія, какъ бы тамъ она ни называлась, останется, впрочемъ, важною задачей для позитивиста вплоть до тѣхъ поръ, пока пости-

женіе сохранитъ свое обаяніе на умы, т.-е., можно полагать, не потеряетъ своего значенія никогда.

Общій результатъ всего этого разсужденія Фольцъ резюмируетъ слѣдующимъ образомъ: наука можетъ разрабатывать истины только фактическаго характера, фактической цѣнности; разрабатывать же какую-либо область въ научномъ смыслѣ значитъ точно изучать и согласно извѣстнымъ методологическимъ правиламъ систематизировать соотвѣтственный фактическій (соотносительно: воспринятый) матеріалъ. Такъ какъ положительная наука имѣетъ цѣлью господство надъ «природой», то и считаетъ цѣль свою достигнутою, когда ей удается систематизировать свой матеріалъ въ смыслѣ, наиболѣе споспѣшествующемъ знанію природы и господству надъ нею. Достигая такой цѣли, наука не лишаетъ накопленныхъ ею фактовъ ихъ первоначальной эмпирической цѣнности, не ставитъ ихъ въ зависимость отъ какого-либо высшаго принципа, закона или начала, не пытается вывести изъ какихъ-либо апріорныхъ положеній. Разрабатывая свой матеріалъ, наука смотритъ на него съ точки зрѣнія, которую можно назвать «экономическою», и, такимъ образомъ, сохраняетъ за собою характеръ неизмѣнно-эмпирическій.

Намъ остается прибавить ко всему сказанному, что по отношенію къ вопросамъ этическимъ Фольцъ высказывается о работѣ Лааса въ томъ же смыслѣ, что и о его теоріи познанія. Въ дѣлѣ метода, во всѣхъ психологическихъ вопросахъ, въ полемикѣ, даже во всѣхъ соотносящихся къ его работѣ мелочахъ, Лаасъ, по мнѣнію Фольца, постоянно держится истинно-позитивистской точки зрѣнія, но, приступая къ гносеологической оцѣнкѣ своихъ результатовъ, въ постановкѣ задачи этики онъ впадаетъ, какъ и прежде, въ непослѣдовательность и уклоняется отъ позитивной доктрины. Можно сказать даже, прибавляетъ Фольцъ, что въ этикѣ двойственная натура Лааса выступаетъ еще ярче, чѣмъ въ теоріи познанія. Самъ Фольцъ, стараясь свести этику на чисто-научную почву, хлопочетъ объ освобожденіи ея отъ тѣхъ послѣднихъ штриховъ абсолютности, которые еще сохраняются у Лааса ради его мнительности по отношенію къ скептицизму. Фольцъ стоитъ за этику какъ науку, но «науку», разумѣемую въ томъ смыслѣ, который онъ придаетъ этому термину съ своей строго-позитивной точки зрѣнія, какъ то и было съ достаточною подробностью пояснено выше.

7. Эрнстъ Махъ.

Представитель «экономической» точки зрѣнія, Фольцъ не стоитъ одиноко въ философской нѣмецкой литературѣ; онъ примыкаетъ къ небольшой группѣ писателей, установившихъ точку эту ранѣе его и развившихъ вытекающія изъ нея положенія и глубже, и дальше, чѣмъ онъ. Фольцемъ занялись мы ранѣе, чѣмъ другими, только потому, что онъ примѣнилъ усвоенную имъ точку зрѣнія къ критикѣ философскихъ воззрѣній Лааса, и, такимъ образомъ, самъ собою является связующимъ звеномъ между «новымъ нѣмецкимъ позитивизмомъ» и «научною философіей» той группы, къ которой онъ примыкаетъ и съ которою намъ предстоитъ еще познакомиться. Сверхъ того, сопоставленіе Фольца и Лааса и скоро, и наглядно представляло намъ тѣ черты сходства и различія, которыя можно констатировать при сравненіи наиболѣе для насъ интересныхъ и между собою родственныхъ направленій «антиметафизической» философіи въ Германіи.

Писатели той группы, которую мы теперь имѣемъ въ виду, подошли очень близко къ окончательному рѣшенію занимающаго насъ вопроса, а потому мы и обратимъ особенное вниманіе на уясненіе читателю всѣхъ особенностей занятой ими точки зрѣнія.

Мы начнемъ нашъ обзоръ съ работъ профес. Пражскаго университета *Эрнста Маха*, имѣющихъ, какъ мы думаемъ, глубокій интересъ для всякаго, неравнодушно относящагося къ философскимъ вопросамъ. Спеціальностью Маха всегда была физика и механика, но сочиненія его богаты экскурсіями и въ область философіи и содержатъ весьма много достойнаго самаго серьезнаго вниманія. Есть, впрочемъ, у Маха рефераты и рѣчи, посвященные всецѣло вопросамъ высшихъ обобщеній, каковы, на-

примѣръ, «*Die ökonomische Natur der physikalischen Forschung*», 1882, и «*Ueber Umbildung und Anpassung in naturwissenschaftlichen Denken*», 1884. Изъ спеціальныхъ же его сочиненій особенно богаты экскурсіями въ область философіи: «*Die Mechanik*», 1883», и «*Beiträge zur Analyse der Empfindungen*». 1886.

Основная мысль Маха — охраненіе мышленія отъ расточительности своихъ силъ, экономизированіе ихъ, сдерживаніе ихъ отъ напрасныхъ тратъ. Онъ доказываетъ, что мышленіе, какъ располагающее силами ограниченными, только при томъ условіи можетъ отразить богатую жизнь природы, — жизнь, малѣйшую часть которой оно составляетъ,—если само оно всегда будетъ бережливо, осторожно, экономично. И въ прежнія времена, когда значеніе этого правила еще не замѣчалось, безсознательно примѣнялось оно, однако же, тѣми мыслителями, которые старались охватить основы дѣйствительности немногими органически-расчлененными мыслями. Въ настоящее же время, болѣе чѣмъ когда-либо, изслѣдованіе природы должно сознательно оградить себя отъ всякихъ самообольщеній и, такимъ образомъ, обезпечить, насколько то возможно, достиженіе намѣченной цѣли. Есть, конечно, такіе поклонники науки, которые вѣруютъ въ нее, какъ нѣкогда вѣровали въ волшебныя силы, которые поэтому ожидаютъ отъ нея раскрытія недоступныхъ нашимъ чувствамъ тайнъ природы; но сама наука, явившаяся въ міръ для того, чтобы просвѣтить его, можетъ устранить отъ себя все мистическое, какъ и все суетное: она не нуждается въ нихъ для успѣшности въ достиженіи своихъ цѣлей и ведетъ работу свою явно и открыто для всего человѣчества.

Взглянемъ теперь ближе на то, какимъ образомъ проводится начало сбереженія силъ въ дѣятельности нашей мысли.

Цвѣтъ, звукъ, теплота, давленіе, пространство, время и т. д. являются многообразно связанными между собою и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сплетенными съ настроеніями, чувствованіями и хотѣніями. Изъ этой сѣти выдѣляется относительно прочное и постоянное, запечатлѣвается въ памяти и находитъ свое выраженіе въ языкѣ. Какъ нѣчто относительно-постоянное, обозначаются, прежде всего, тѣ связные комплексы цвѣтовъ, звуковъ и т. д., которые по этой причинѣ получаютъ особыя названія и обозначаются какъ тѣла. Абсолютнымъ постоянствомъ такіе комплексы, конечно, не обладаютъ. Сознавая или не сознавая это непостоянство, мы, однако же, въ силу экономіи, руководя-

щей образованіемъ нашихъ представленій, отдаемъ преимущество сравнительно-постояннымъ элементамъ передъ скоропреходящими и обозначаемъ это наше предпочтеніе въ обыденномъ мышленіи и въ языкѣ: все то, что можетъ сразу быть нами представлено, получаетъ какое-нибудь названіе, какое-нибудь имя.

Какъ относительно-постоянный, обозначается затѣмъ связанный съ нашимъ организмомъ комплексъ воспоминаній, настроеній, чувствованій,—все то, что мы разумѣемъ подъ нашимъ «я». Этотъ комплексъ—если не принимать въ разсчетъ патологическихъ случаевъ—всегда содержитъ нѣчто настолько постоянное, что возможность не сомнѣваться въ тождествѣ нашего «я» никогда не исчезаетъ. И однако же, и самое это «я» обладаетъ лишь относительнымъ постоянствомъ.

Когда образованіе понятій такихъ субстанцій, какъ мое «тѣло» и мое «я», совершилось, и такимъ образомъ были осуществлены первыя условія оріентировки мысли среди окружающихъ ее явленій, тогда возникаетъ возможность для воли ближе всмотрѣться въ смѣну преходящаго, совершающуюся на почвѣ предполагаемаго постоянства. Все преходящее становится теперь рядомъ свойствъ или качествъ постояннаго. Плодъ сладокъ; но онъ можетъ быть и горькимъ; другіе плоды тоже могутъ быть сладкими и т. д. Такимъ путемъ можетъ быть отнято отъ предметовъ все видимое, слышимое, осязаемое. Видимое распадается при этомъ на цвѣтъ и форму. Въ цвѣтахъ опять выдѣляется нѣчто сравнительно-постоянное: основные цвѣта и т. д. Комплексъ распадается на *элементы*.

Цѣлесообразный обычай придавать имя совокупности предполагаемыхъ элементовъ для того, чтобъ охватить мыслью эту совокупность, можетъ,—говоритъ далѣе Махъ,—стать въ весьма своеобразное противорѣчіе съ стремленіемъ разлагать данный комплексъ на элементы. При взаимномъ противопоставленіи этихъ стремленій смутный обликъ «постояннаго», замѣтно не измѣняющагося отъ исчезновенія той или другой составной его части, можетъ показаться чѣмъ-то существующимъ «въ себѣ» (an sich). И такъ какъ оказывается возможнымъ удалить одну составную часть, не разстроивая картины общаго на столько, чтобъ это общее перестало быть узнаваемымъ, то является мысль, что возможно устранить *всѣ* составныя части и что затѣмъ, все же таки, останется еще нѣчто. Эта мысль и есть чудовищная мысль о «вещи въ себѣ».

Вещь, тѣло, матерія—ничто внѣ комплекса цвѣтовъ, звуковъ и т. д., внѣ такъ называемыхъ признаковъ. Мнимая философская проблема о «вещи въ себѣ» является лишь вслѣдствіе неумѣнья оцѣнить значеніе объединенія комплекса элементовъ съ одной стороны, и расчлененія его—съ другой. Оба эти акта имѣютъ каждый свой raison d'être, поскольку оба они суть акты временные и мѣтящіе на свои особыя цѣли. Очевидно, однако же, что совмѣстное приложеніе ихъ невозможно. Всякое тѣло сохраняетъ свое единство и свою неизмѣняемость до тѣхъ поръ, пока у насъ нѣтъ потребности вникать въ подробности. Такъ, земля, напримѣръ, или билліардный шаръ считаются нами правильными геометрическими фигурами до тѣхъ поръ, пока мы не останавливаемъ вниманія на отклоненіи отъ правильности формы и не нуждаемся въ большой точности; но стоитъ намъ заняться орографіей или взять въ руки микроскопъ, какъ сейчасъ же оба тѣла перестанутъ признаваться нами шарами.

Проблема «вещи въ себѣ» не единственная въ своемъ родѣ въ философіи. Наше «я» и отношеніе тѣла къ этому «я» даютъ поводъ возникновенію другой подобной же мнимой проблемы, къ которой теперь и обращается Махъ. Въ краткихъ словахъ онъ излагаетъ проблему эту такъ: комплексъ цвѣтовъ, звуковъ и т. д., вообще все то, что̀ мы обыкновенно называемъ тѣлами, обозначимъ для ясности чрезъ A, B, C..., комплексъ, называемый нашимъ организмомъ, составляющій одно изъ тѣлъ предыдущаго рода, пусть будетъ K, L, M..., комплексъ же хотѣній, припоминаній и т. д. обозначимъ чрезъ α, β, γ... Въ обыденной жизни принято противопоставлять комплексъ α, β, γ... K, L, M..., какъ «я», комплексу A, B, C..., какъ совокупности внѣшнихъ тѣлъ; иногда, впрочемъ, за это «я» принимается только комплексъ α, β, γ..., тогда какъ K, L, M..., A, B, C... считается за внѣшній міръ вообще. A, B, C... признается первоначально независимымъ отъ «я» и противопоставляется ему какъ нѣчто самостоятельное. Эта независимость сохраняетъ, однако же, за собою относительное значеніе и не можетъ устоять при возрастаніи вниманія. Замѣчается далѣе, что комплексъ α, β, γ... можетъ терпѣть измѣненія, тогда какъ A, B, C... продолжаетъ сохранять свою неизмѣняемость, и обратно. Но многочисленныя измѣненія въ α, β, γ... воздѣйствуютъ на A, B, C... черезъ посредство K, L, M... и обратно. На этомъ основаніи связь между K, L, M... и α, β, γ..., съ одной стороны, и между K, L, M... и

A, B, C...—съ другой, представляется болѣе тѣсною, нежели связь между α, β, γ... и A, B, C... Такой взглядъ на отношенія между этими группами можно считать общепринятымъ въ обыденномъ мышленіи и обыденной рѣчи.

При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, однако же, что A, B, C... всегда опредѣляется посредствомъ K, L, M... Свойства одного и того же предмета всегда являются обусловленными соотношеніемъ ихъ къ нашему организму. Но гдѣ же тотъ предметъ, который представляется намъ столь многоразличнымъ: большимъ вблизи, малымъ вдали, не одинаковымъ для праваго или лѣваго глаза и т. д.? На это можно сказать только, что различные A, B, C... связаны съ различными K, L, M...

Мы видѣли какое-нибудь тѣло, заканчивающееся остріемъ. Если мы приводимъ это остріе въ соприкосновеніе съ нашимъ организмомъ, то ощущаемъ уколъ. Мы можемъ видѣть остріе, не ощущая укола; но лишь только ощутимъ мы уколъ, какъ сейчасъ же находимъ и остріе. Видимое это остріе является, такимъ образомъ, тѣмъ постояннымъ нѣчто, къ которому мы относимъ уколъ, какъ явленіе случайное. Повторяемость случаевъ, могущихъ получить въ нашихъ глазахъ значеніе подтвержденія такого взгляда, можетъ пріучить насъ смотрѣть на всѣ свойства тѣлъ, какъ на дѣйствія присущаго тѣламъ постояннаго нѣчто, воспринимаемаго нашимъ «я», чрезъ посредство нашего организма,—дѣйствія, обыкновенно называемыя *ощущеніями*. Благодаря такому взгляду, предполагаемое нами постоянное нѣчто теряетъ всякое чувственное содержаніе и становится чисто-мысленнымъ символомъ. Въ этомъ случаѣ придется признать правильнымъ утвержденіе, что міръ заключается въ однихъ истинныхъ ощущеніяхъ. Но тогда мы и можемъ знать только наши ощущенія, допущеніе же чего-то постояннаго въ тѣлахъ, такъ же какъ и взаимодѣйствіе послѣднихъ, обусловливающее возникновеніе ощущеній, должны мы признать праздннымъ и излишнимъ. Только полуреализмъ или полукритицизмъ могутъ одобрять такое воззрѣніе.

Обыкновенно,—говоритъ далѣе Махъ, развивая свой взглядъ—комплексъ α, β, γ... K, L, M... въ качествѣ «я» противопоставляется «не я»—комплексу A, B, C... Только тѣ элементы комплекса A, B, C..., которые сильнѣе воздѣйствуютъ на α, β, γ..., выражаясь, напримѣръ, уколами, болями и т. п., принимаютъ иногда за одно цѣлое съ «я». Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ

соображеній, приведенныхъ выше, оказывается, что право сводить А, В, С... къ «я» безгранично. На этомъ основаніи понятіе «я» можетъ расшириться до такой степени, что станетъ, наконецъ, охватывать весь міръ. Вообще говоря, «я» является недостаточно рѣзко очерченнымъ, границы его остаются неопредѣленными и подвижными. Пока обстоятельство это не теряется изъ вида, до тѣхъ поръ не возникаетъ по этому вопросу никакихъ метафизическихъ трудностей.

Убѣдясь, что мнимыя единицы «предметы, вещи, тѣла», съ одной стороны, и «я»—съ другой, являются только пособіями для предварительной оріентировки и опредѣленныхъ практическихъ цѣлей, приходится намъ, — говоритъ Махъ, — устранить ихъ, какъ недостаточныя и неудовлетворительныя, изъ научныхъ изслѣдованій. Противопоставленіе «міра» и «я», ощущенія и предмета при этомъ, само собою разумѣется, исчезнетъ, и останется только *связь элементовъ*, неудачнымъ выраженіемъ, которой и служило до сихъ поръ обыденное предположительное противопоставленіе. Наукѣ предстоитъ просто-на-просто *признать* эту связь и пользоваться ею для оріентировки, отложивъ попеченіе касательно *объясненія* существованія самихъ элементовъ.

Цѣлымъ рядомъ сопоставленій и примѣровъ Махъ старается показать относительность различія физическихъ и психическихъ явленій, подвижность разграничительной черты между ними, ихъ текучесть, допускающую переходъ одного въ другое, смотря по нашей точкѣ зрѣнія на нихъ. Такъ, напримѣръ, цвѣтъ остается объектомъ физики до тѣхъ поръ, пока мы разсматриваемъ его въ зависимости отъ источника свѣта, но, переходя къ разсмотрѣнію зависимости цвѣта отъ сѣтчатки, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, переходимъ въ другую область изслѣдованія и смотримъ на цвѣтъ, какъ на объектъ психологическаго изученія, какъ на ощущеніе. Изъ этого Махъ заключаетъ, что въ каждомъ изъ приведенныхъ случаевъ *различны не предметы, а направленія изслѣдованія*.

Различіе этихъ направленій соотвѣтствуетъ тому различію комплексовъ, которые обозначены были выше какъ А, В, С... и α, β, γ... И, въ дѣйствительности, мы всегда умѣемъ различать случай, когда мы *видимъ* дерево, отъ того случая, когда мы его *припоминаемъ* или *представляемъ*. Мы знаемъ, что въ послѣднемъ случаѣ обликъ дерева является гораздо менѣе опредѣленнымъ и болѣе измѣнчивымъ, чѣмъ въ первомъ, и, сверхъ

того, дерево является уже на иномъ фонѣ. Все это указываетъ на различіе только въ *сочетаніи* элементовъ, хотя нельзя не признать, что въ обоихъ случаяхъ самые элементы были тѣ же (цвѣта, звуки и т. д.). Итакъ, элементы или ощущенія могутъ являться то въ болѣе прочномъ, то въ болѣе текучемъ сочетаніи, и *цѣль изученія ихъ должна заключаться въ распознаваніи* ихъ сочетанія.

Показавъ, что отграниченіе «я» не можетъ никогда быть проведено съ научною опредѣленностью, Махъ показываетъ далѣе, что обычное отграниченіе совершается инстинктивно, подъ вліяніемъ экономическихъ требованій мысли и практическихъ цѣлей вообще, и затѣмъ укрѣпляется путемъ послѣдственности. Теперь ясно, что съ точки зрѣнія Маха первичнымъ является не «я», а *элементы. Элементы образуютъ наше «я»*. Такъ, *напримѣръ, когда я утверждаю, что ощущаю зеленый* цвѣтъ, то это значитъ, что въ комплексахъ элементовъ (ощущеній, припоминаній) находится и элементъ зеленаго цвѣта; когда я перестаю ощущать зеленый цвѣтъ, когда я умираю,—говоритъ далѣе Махъ,—то элементы не возникаютъ болѣе въ прежнемъ сочетаніи. Этимъ все сказано. Перестала существовать не реальная, а только мысленно-экономическая единица.

Если знаніе сочетанія или связи элементовъ не удовлетворяетъ насъ и мы спрашиваемъ: «кому присуще это сочетаніе, *кто ощущаетъ?*»—то мы такимъ образомъ возвращаемся къ старой привычкѣ подводить всякій элементъ подъ не поддающійся анализу комплексъ и незамѣтно понижаемся до уровня прежняго ограниченнаго штандпункта. Но, помнить надо,—говоритъ Махъ въ заключеніе этой части своихъ разсужденій,—что абсолютнаго штандпункта не существуетъ, что всякая точка зрѣнія оправдывается своею цѣлью; по этой причинѣ здѣсь не имѣлось въ виду окончательно дискредитировать старую точку зрѣнія, а намѣчалось только выясненіе цѣлей каждой изъ указанныхъ точекъ зрѣнія и пересмотръ тѣхъ условій, при которыхъ практическія цѣли обыденной точки зрѣнія должны быть преодолѣны и устранены.

Въ предшествующихъ строкахъ было показано значеніе экономизаціи силъ для умственной дѣятельности, теперь же намъ предстоитъ прослѣдить за приложеніемъ этой точки зрѣнія къ области научной вообще и къ высшимъ научнымъ обобщеніямъ въ особенности.

Мы знаемъ уже, что, согласно взгляду Маха, науки могутъ различаться не только по своему содержанію, но и по способамъ обработки этого содержанія. Всякая же наука стремится къ мысленному копированію фактовъ, имѣя въ виду или практическія цѣли, или устраненіе неудобствъ умственнаго характера. Слѣдуя принятому въ предшествующемъ изложеніи обозначенію разнаго рода комплексовъ элементовъ, можно утверждать, что наука возникаетъ тогда, когда сочетаніе элементовъ A, B, C... и K, L, M... воспроизведется посредствомъ α, β, γ... Такъ, наприм., *физика* (въ обширномъ ея значеніи) возникаетъ тогда, когда является возможность осуществить указанную выше копію соотношенія элементовъ A, B, C... между собою; *физіологія* является вмѣстѣ съ воспроизведеніемъ взаимнаго соотношенія элементовъ K, L, M... и, вмѣстѣ съ тѣмъ, и ихъ отношенія къ A, B, C... Копированіе же α, β, γ... посредствомъ другихъ α, β, γ... даетъ содержаніе *психологіи*.

«Ошибочно было бы думать,—говоритъ Махъ,—что по отношенію къ физикѣ дѣло идетъ въ меньшей степени о воспроизведеніи или копіи фактовъ, чѣмъ объ атомахъ и законахъ, составляющихъ какъ бы ядро самихъ фактовъ. Безпристрастно вникая въ этотъ вопросъ, приходится признать, что мысленное воспроизведеніе фактовъ вполнѣ удовлетворяетъ какъ практическія, такъ и умственныя наши потребности. Это копированіе или воспроизведеніе фактовъ и является поэтому цѣлью физики; атомы же, силы, законы, напротивъ того, надо считать только средствами, облегчающими для насъ имѣющееся въ виду воспроизведеніе. Цѣнность этихъ средствъ прямо пропорціональна той помощи, которую они могутъ доставить. Понятіе атомовъ еще въ большей степени, чѣмъ понятіе матеріи, имѣетъ въ наукѣ значеніе мысленнаго символа, образованіе котораго мотивируется экономическими соображеніями. Отъ этихъ символовъ, какъ и отъ символовъ алгебры, нельзя требовать болѣе того, что̀ нами самими влагается въ нихъ; отъ нихъ нельзя ожидать болѣе свѣта и раскрытія истины, чѣмъ отъ самого опыта. Уже въ области физики слѣдуетъ намъ остерегаться отъ переоцѣненія значенія нашихъ символовъ: еще менѣе должна брать верхъ надъ нами чудовищная мысль примѣнять атомы къ объясненію психическихъ явленій. Атомы суть только символы тѣхъ самыхъ своеобразныхъ комплексовъ элементовъ, которые встрѣчаются намъ и въ тѣснѣйшей области физики.

Развивая далѣе свою мысль, Махъ обращаетъ вниманіе на то, что мы можемъ считать себя вполнѣ освѣдомленными о какомъ-нибудь естественномъ явленіи въ томъ случаѣ, когда находимся въ состояніи охватить нашею мыслью всю совокупность соотносящихся къ этому явленію фактовъ, когда мы можемъ воспроизвести въ мысли всѣ эти факты, получить въ этомъ воспроизведеніи какъ бы *замѣну* ихъ, дозволяющую намъ не удивляться имъ. Къ этой умственной работѣ мы можемъ привлекать, когда нужно, и вспомогательныя (математическія) представленія; но всѣ эти вспомогательныя представленія, законы и формулы являются только количественными регулятивами нашихъ чувственныхъ представленій, *средствами*, тогда какъ нашею *цѣлью*, все же таки, всегда останутся самыя представленія.

Далѣе Махъ приступаетъ къ истолкованію столь тѣсно примыкающаго къ началу экономизаціи въ умственной работѣ вопросу о приспособленіи мышленія къ фактамъ. Наука, по мнѣнію Маха, проводитъ сознательно это приспособленіе, имѣющее мѣсто и въ обыденномъ мышленіи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда имъ руководитъ принципъ экономизаціи. Уже при первомъ пробужденіи сознанія всякій человѣкъ обладаетъ многоразлично приспособленными къ фактамъ мыслями. Но такъ какъ ограниченный запасъ мыслей оказывается недостаточнымъ для постоянно накопляющагося опыта, то всякій новый фактъ побуждаетъ мысль къ продолженію начатаго приспособленія. Продолженіе это и совершается посредствомъ процесса *сужденія*. Сужденіе всегда является пополненіемъ представленія въ видахъ болѣе полнаго охвата даннаго факта. Процессъ сужденія, какъ видно изъ этого, заключается въ обогащеніи, распространеніи и пополненіи чувственныхъ представленій другими такими же, образуемыми подъ руководительствомъ фактовъ. Когда процессъ заканчивается и представленіе успѣло уже стать обычнымъ, оно удерживается нами уже не какъ сужденіе, а какъ воспоминаніе, какъ воспроизведеніе готоваго представленія. Ростъ естественныхъ наукъ и математики совершается, главнымъ образомъ, путемъ образованія такихъ непосредственныхъ знаній; такъ, наприм., предложенія: 1) дерево имѣетъ корни; 2) лягушка не имѣетъ когтей; 3) изъ куколки выходитъ бабочка; 4) треніе электризуетъ стекло; 5) электрическій токъ отклоняетъ магнитную стрѣлку; 6) кубъ имѣетъ 6 плоскостей, 8 угловъ и 12 реберъ,—могутъ съ этой точки получить слѣдую-

щее значеніе: 1-е—предложеніе распространяетъ представленіе дерева; 2-е—совершенствуетъ поспѣшно составленное представленіе лягушки; 3, 4 и 5 — распространяютъ представленія по отношенію къ времени и 6-е—даетъ образчикъ геометрическаго непосредственнаго знанія.

Такого рода непосредственныя знанія, — говоритъ далѣе Махъ,—запечатлѣваются въ памяти и являются потомъ какъ самобытныя пополненія данныхъ фактовъ. Различные факты не сходствуютъ между собою вполнѣ; но различные случаи общности составныхъ частей усиливаются отъ этого пополненія и, такимъ образомъ, возникаетъ принципъ *возможнаго обобщенія* или *непрерывности* въ воспоминаніи. Съ другой стороны, воспоминаніе можетъ сохранить свое соотвѣтствіе многоразличію фактовъ и, вообще говоря, приносить пользу только при томъ условіи, если оно согласуется съ требованіями принципа *достаточнаго дифференцированія*. И непрерывность въ воспоминаніи, и достаточное дифференцированіе осуществляются посредствомъ одного и того же средства—выдѣленія тѣхъ составныхъ частей представленія, которыя имѣютъ руководящее значеніе для опыта. Въ процессѣ этой работы могутъ являться отъ времени до времени моменты, обозначающіе недостаточность прежняго дифференцированія и потребность новаго. Эти моменты называются проблемами. Практическія основанія или умственныя неудобства ведутъ къ новымъ приспособленіямъ, къ рѣшенію проблемъ, и, такимъ образомъ, возникаетъ *намѣренное мыслеприспособленіе* или *изслѣдованіе*.

Предшествовавшее разсужденіе, какъ то и само собою очевидно, ведетъ къ опредѣленію значенія акта отвлеченія въ характеризуемой съ точки зрѣнія экономизаціи силъ работѣ мысли. Отсюда цѣлый рядъ вопросовъ, которые ставитъ себѣ Махъ въ настоящемъ случаѣ: «Что совершаемъ мы, когда абстрагируемъ? Что такое абстракція? Что такое понятіе? Соотвѣтствуетъ ли понятію представляемый образъ?» Посмотримъ же, какъ отвѣчаетъ Махъ на всѣ эти столь важные въ гносеологическомъ отношеніи вопросы.

«Всякое мысленное воспроизведеніе опыта,—говоритъ Махъ,—имѣетъ въ виду замѣнить опытъ и дать намъ возможность не повторять его, то-есть экономизировать, по возможности, наши силы. Всякое же воспроизведеніе опыта, въ силу того же начала сбереженія силъ, является *отвлеченіемъ*, абстракціей,

схватывающею соотвѣтствующую ея цѣли сторону факта. Изъ этого видно, что всякой абстракціи соотвѣтствуютъ, въ дѣйствительности, не отдѣльные предметы, а лишь извѣстный комплексъ элементовъ, взятыхъ для его образованія. Но тутъ лежитъ уже зерно объективированія или опредмечиванія *отвлеченныхъ понятій* и исходная точка поисковъ несуществующихъ вещей. Обратимъ вниманіе на значеніе древнѣйшихъ, первобытнѣйшихъ словъ: они служатъ названіемъ «предметовъ». Очевидно, что при установленіи такихъ названій опускается или отвлекается обстановка предмета и измѣнчивость, которой онъ подверженъ, очевидно, что предметъ символизируется словомъ, прежде всего, съ практическою цѣлью, для того, чтобы имѣть возможность сразу вызвать въ сознаніи всѣ соотносящіяся къ данной цѣли впечатлѣнія. И вотъ случается нерѣдко, что и въ эпохи высшаго умственнаго развитія, далеко ушедшаго отъ временъ первобытныхъ, не принимаются въ разсчетъ только-что указанныя условія и возникаютъ поиски «вещи въ себѣ» или какихъ-нибудь иныхъ объективированныхъ абстракцій. Забывается, что самое слово «вещь» есть мысленный символъ для комплекса ощущеній и что «не вещи», а ощущенія должны быть признаны элементами природы. Комплексы ощущеній не имѣютъ прочной устойчивости, мы только мысленно придаемъ ее ради экономизированія силъ, и, помня объ этомъ, должны бы всегда отмѣчать тѣ дополненія и поправки, въ которыхъ нуждается всякая абстракція при ея приложеніи къ тому или другому частному случаю.

Такое же значеніе, по мнѣнію Маха, имѣютъ и тѣ формулы, которыя обыкновенно называются «законами природы». Всякій «законъ природы» даетъ намъ возможность охватить одною формулой такую массу фактовъ, которую не смогла бы удержать никакая память. Всякій «законъ» представляетъ сжатый, доведенный до извѣстнаго объема, отчетъ о фактахъ, и только. И не надо терять изъ вида, что объемъ фактовъ, захватываемый этимъ отчетомъ, всегда менѣе дѣйствительнаго объема ихъ. «Законъ»—продуктъ абстракціи, онъ не захватываетъ факта всесторонне, а лишь постольку, поскольку фактъ имѣетъ значеніе для насъ. Полнота не осуществляется при этомъ частью намѣренно, частью невольно. «Законы» поэтому нельзя фиксировать разъ навсегда, и надо помнить, что старая формула можетъ нерѣдко являться препятствіемъ при выработкѣ новой.

Въ связи съ понятіемъ «закона» Махъ разсматриваетъ значеніе «объясненія», которое онъ считаетъ сведеніемъ фактовъ, встрѣчающихся впервые, къ фактамъ, ставшимъ извѣстными ранѣе. Измѣнчивость «объясненій», какъ показываетъ Махъ, непрерывна; напримѣръ, изученіе явленій свѣта идетъ параллельно измѣнчивости формулъ законовъ, но во всѣ моменты этой долгой познавательной работы остается намѣченною все одна и та же цѣль—охватить всѣ факты данной области изслѣдованія однимъ мысленнымъ процессомъ при условіи наименьшей затраты силъ. Такой пріемъ имѣетъ, конечно, экономическій характеръ.

Экономическимъ характеромъ науки истолковываетъ Махъ и столь загадочное для многихъ могущество науки. Идея экономичности руководитъ передачею накопленныхъ познаній и образованіемъ одного общаго опыта изъ множества опытовъ отдѣльныхъ личностей. Это же начало является руководящимъ и при стремленіи каждой индивидуальности къ овладѣнію суммою пріобрѣтаемаго опыта при минимумѣ затрачиваемыхъ силъ. Экономическій порядокъ вездѣ является во главѣ угла и вездѣ становится источникомъ могущества. Знаніе тысячъ сосредоточивается въ одной какой-нибудь головѣ и является какимъ-то волшебствомъ для глазъ непосвященныхъ. На самомъ дѣлѣ это волшебство есть только результатъ добропорядочной экономіи. Но сбереженія этой экономіи—экономіи науки—имѣютъ то преимущество передъ всѣми другими, что накопляемыя ими богатства не сопряжены съ какимъ бы то ни было лишеніемъ для кого бы то ни было. Тутъ-то и проявляется присущая наукѣ благодать, ея освободительная, искупительная сила.

Всякая наука,—говоритъ Махъ,—не только держится принципомъ экономизированія силъ познающаго, т.-е. растетъ, развивается на почвѣ чисто-реальныхъ интересовъ, но и начало свое беретъ изъ чисто-жизненныхъ потребностей. Разрастаясь, наука, подъ вліяніемъ односторонніхъ наклонностей и способностей своихъ воздѣлывателей, неизбѣжно развѣтвляется; но какъ бы ни были тонки ея вѣтви, полная свѣжесть жизненныхъ силъ каждой вѣтви можетъ поддерживаться только ихъ связью съ *цѣлымъ*. Только этою связью можетъ она успѣшно поддерживать свое стремленіе къ преслѣдуемой ею цѣли и охранять себя отъ уродливостей односторонняго развитія. Развѣтвленіе же ея, дробленіе труда въ ея области, будучи сами по

себѣ неизбѣжными, оказываются еще въ томъ отношеніи полезными, что позволяютъ развиться тѣмъ умственно-экономическимъ средствамъ, при помощи которыхъ научно овладѣваютъ своимъ матеріаломъ. Но здѣсь же является уже опасность преувеличить значеніе этихъ средствъ: недаромъ вниманіе изслѣдователей всегда остается къ нимъ приковано. Можетъ случиться и случается, что они, переставъ быть орудіями въ рукахъ ученыхъ, станутъ считаться цѣлью самой науки.

Такое положеніе вещей оказывается, по мнѣнію Маха, дѣйствительно имѣющимъ мѣсто, благодаря несоразмѣрно значительнѣйшему формальному развитію физики сравнительно съ другими естественными науками. Многіе изслѣдователи природы приписываютъ объективное существованіе такимъ понятіямъ, какъ *масса*, *атомъ*, *сила*,—понятіямъ, единственное назначеніе которыхъ заключается въ поддержаніи экономическаго характера опыта. Мало того, они думаютъ даже, что эти объекты именно и подлежатъ изслѣдованію, и что если они станутъ когда-нибудь извѣстны, то все остальное опредѣлится само собою изъ ихъ *равновѣсія и движенія*. То, что̀ имѣетъ значеніе *вспомогательнаго орудія* мышленія, является у этихъ мыслителей *основою* міра дѣйствительнаго.

Старанія свести физіологическія, химическія и физическія явленія къ чисто-механическимъ оказываются тщетными, прежде всего потому, что чисто-механическихъ явленій въ природѣ не существуетъ. Не надо упускать изъ вида,—говоритъ Махъ,—что въ дѣйствительности всякое движеніе находится въ тѣсной связи съ термическими, магнетическими и электрическими измѣненіями, которыя, возникая въ тѣлахъ, измѣняютъ самыя движенія. И наоборотъ, термическія, магнетическія и электрическія явленія опредѣляютъ движенія. Чисто-механическія явленія, слѣдовательно, суть только абстракціи, вырабатываемыя то преднамѣренно, то по необходимости, въ виду болѣе легкаго обозрѣнія фактовъ. Вообще можно утверждать, что всякое явленіе можно отнести къ любому отдѣлу физики, подраздѣленіе которой обосновано частью на историческихъ, частью условныхъ (conventionnelle), частью физіологическихъ данныхъ.

Въ разумѣніи истиннаго подчиненія спеціальныхъ наукъ общей совокупности знанія заключается, по мнѣнію Маха, та особая философія, которой не долженъ быть чуждъ ни одинъ спеціалистъ. Отсутствіе такой философіи всегда обнаруживается

появленіемъ мнимыхъ проблемъ, одно возникновеніе которыхъ, какъ бы онѣ тамъ ни считались—разрѣшимыми или неразрѣшимыми,—извращаетъ характеръ науки. При правильномъ различеніи средствъ и цѣлей научнаго познанія, при ограниченіи области изученія одними фактами, не окажется надобности переносить служащіе экономизаціи силъ орудія одной науки въ другую, и мнимыя проблемы неизбѣжно устранятся. Тогда наука можетъ мало-по-малу войти въ живое русло дѣйствительныхъ явленій, можетъ поставить себѣ цѣлью выработку самаго простого, яснаго и соотвѣтствующаго наименьшей тратѣ силъ понятія о существующемъ.

8. Рихардъ Авенаріусъ.

Намъ предстоитъ теперь обратиться къ изложенію воззрѣній того изъ представителей научной философіи, который провелъ принципъ экономизаціи силъ, или, точнѣе, принципъ наименьшей траты силъ съ наибольшею полнотой и систематичностью, и который подошелъ къ рѣшенію занимающаго насъ вопроса ближе, чѣмъ всѣ тѣ, съ воззрѣніями которыхъ мы успѣли до сихъ поръ ознакомиться. Затѣмъ намъ останется только разсмотрѣть тотъ взглядъ, который ведетъ къ окончательному отвѣту на нашъ вопросъ и заключительной формулировкѣ этого отвѣта,—и работа наша будетъ окончена.

Полное и систематическое проведеніе принципа наименьшей траты силъ есть дѣло редактора «*Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie*», Рихарда Авенаріуса, а заключительное раскрытіе послѣдняго слова той эволюціи мысли, за которою мы прослѣдили, принадлежитъ сотруднику того же журнала Петцольдту, изложившему свои взгляды въ статьѣ, озаглавленной «*Zu Richard Avenarius' Prinzip des kleinsten Kraftmasses und zum Begriff der Philosophie*», помѣщенной во 2-мъ выпускѣ журнала за 1887 годъ.

Для резюмированія воззрѣній Авенаріуса мы будемъ пользоваться, главнымъ образомъ, его сочиненіемъ «*Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip des kleinsten Kraftmasses*», 1876, и статьями, печатавшимися въ «*Vierteljahrsschrift*». Что же касается вышедшаго въ прошломъ году новаго его сочиненія «*Kritik derreinen Erfahrung*», то намъ не придется пользоваться имъ для настоящей работы. Каково бы ни было значеніе этого сочиненія и какую бы ни играло оно роль въ философской эволюціи ея автора, намъ, слѣдящимъ теперь не за судьбами этой эволюціи, а за рѣшеніемъ поставленнаго нами вопроса, вполнѣ

возможно обойтись безъ ознакомленія съ нимъ читателей; такъ какъ мысль, которую мы старались уловить и формулировать, получила уже всю ту полноту, опредѣленность и законченность, которыя вполнѣ достаточны для нашей цѣли, и намъ предстоитъ теперь только довести передачу ея до конца.

Приступая къ изслѣдованію понятія о научной философіи, Авенаріусъ ставитъ вопросъ такъ: какимъ образомъ философія возможна какъ наука? или иначе: какимъ образомъ возможна научная философія?

Для установленія всякой науки,—говоритъ онъ,—необходимы два условія:

Первое изъ этихъ условій заключается въ томъ, чтобы матеріалъ наукъ представлялся какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ, въ формѣ понятій. Случайныя и разсѣянныя свѣдѣнія могутъ заключать въ себѣ познанное нѣчто, т.-е. знаніе о чемъ-то, но установить науки они не могутъ. Наука не отмѣчаетъ всякій особенный признакъ каждаго отдѣльнаго предмета, но собираетъ только тѣ признаки, которые составляютъ общую принадлежность всѣхъ отдѣльныхъ предметовъ, которые, слѣдовательно, всеобщи и которые должны давать возможность опредѣлить, при новомъ появленіи предмета, тождество его съ разсматривавшимся прежде, и слѣдовательно, должны неизбѣжно сопровождать предметъ, т.-е. быть необходимыми для узнаванія его. Такъ, совокупность *всеобщихъ* и *необходимыхъ* признаковъ предмета и составляетъ *научное понятіе* о немъ, и только пріобрѣтеніе такого понятія о предметѣ даетъ научное знаніе этого предмета.

Охвативъ матеріалъ посредствомъ понятій, мы затѣмъ установляемъ разъясненіе этихъ понятій черезъ образованіе высшихъ понятій изъ низшихъ. Организованная, такимъ образомъ, система понятій завершается высшимъ понятіемъ, которое и становится во главѣ всѣхъ низшихъ понятій, расположенныхъ сообразно ихъ соотвѣтственнымъ степенямъ.

Недисциплинированное знаніе можетъ, такимъ образомъ, имѣть общее съ наукою содержаніе, его понятія могутъ даже совпадать съ понятіями науки, но послѣдняя всегда будетъ отличаться отъ него формально тѣмъ, что она располагаетъ содержаніе свое въ разъясненной системѣ родственныхъ, одно изъ другого выработанныхъ понятій.

Изъ такого образованія понятій и такой ихъ организаціи

вытекаетъ для мышленія очень важная выгода: понятіе, содержащее все, что̀ есть общаго въ отдѣльномъ предметѣ, является какъ единство этого отдѣльнаго предмета; все же общее въ мышленіи субъекта является какъ единство различныхъ мыслимыхъ объектовъ. Такимъ образомъ, наука, удовлетворяя стремленію человѣка къ знанію, удовлетворитъ и стремленію человѣческаго разума къ единству. Въ этомъ и заключается преимущество науки надъ простымъ знаніемъ, на этомъ же основывается и сознаніе наукою ея значенія. Понятно, что простое знаніе можетъ быть предпочтено наукѣ только чуждыми этой послѣдней индивидуальными и практическими интересами. Само собою разумѣется и то, что сознаніе собственнаго значенія въ наукѣ тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ болѣе удовлетворяется ею потребность обобщенія знанія, потребность выработки высшихъ понятій и—въ послѣдней инстанціи—самаго наивысшаго. Сознаніе собственнаго значенія въ этомъ послѣднемъ случаѣ особенно интенсивно по той причинѣ, что удовлетвореніе потребности разума въ единствѣ и происходящее отъ того удовольствіе достигаютъ наивысшаго своего развитія.

Изъ вышесказаннаго можно сдѣлать два заключенія. *Первое*, что всякой наукѣ, въ силу самыхъ условій ея установленія, должно быть присуще стремленіе къ полному объединенію охватываемаго ею знанія, т.-е. къ завершенію образованія входящихъ въ нее понятій *однимъ* высшимъ понятіемъ. Только оно одно завершаетъ установленіе науки. Стремленіе къ этому завершенію составляетъ для науки не только логическую, но и психологическую необходимость. *Второе* заключеніе относится къ тому основанію, на которое опирались въ прежнее время при оцѣнкѣ значенія умозрительной философіи. Основаніе это, заключающееся въ удовлетвореніи потребности разума въ единствѣ, есть, очевидно, основаніе формальной стороны философіи. Но такъ какъ эта сторона составляетъ только одно изъ условій установленія науки, то возможность установленія умозрительной философіи доказывала, слѣдовательно, только то, что философія—какъ *формальная* наука—возможна.

Обращаясь затѣмъ ко *второму условію*, необходимому для установленія науки, Авенаріусъ останавливается прежде всего на выясненіи вопроса о томъ, почему умозрительная философія, получивъ значеніе въ одномъ отношеніи, потеряла его въ другомъ? «Потому—отвѣчаетъ онъ—что *умозрительная фило-*

софія была научною только по отношенію къ формѣ, а не по отношенію къ содержанію». Предстоитъ доказать, что философія можетъ возвратить себѣ это значеніе, *ставъ наукою и по содержанію*, т.-е. такою философіею, которую мы называемъ научною. Надо начать, слѣдовательно, съ рѣшенія вопроса объ опредѣленіи тѣхъ условій, удовлетворить которымъ должно *содержаніе* понятій для того, чтобы изъ понятій этихъ возможно было строить науку.

Мысль эту очень удобно пояснить примѣрами отрицательнаго характера; для бо́льшей ясности примѣры берутся рѣзкіе.—*Первый примѣръ*. Положимъ, что кто-нибудь принимаетъ свои галлюцинаціи за объективныя явленія дѣйствительнаго міра, какъ это и случалось при низкомъ уровнѣ общественнаго развитія; положимъ далѣе, что нашъ галлюцинантъ есть личность даровитая, способная подвести мнимые объекты свои подъ отвлеченныя понятія и затѣмъ свести такія понятія въ систему. Система эта, конечно, не можетъ имѣть научнаго значенія, такъ какъ она удовлетворяетъ однимъ только формальнымъ условіямъ, требуемымъ наукою: условія же, опредѣляющія значеніе содержанія науки, были бы выполнены только въ такомъ случаѣ, если бы галлюцинаціи принимались не за внѣшнія явленія, а за явленія внутреннія, субъективныя, и въ этомъ смыслѣ служили матеріаломъ для образованія о нихъ понятій.—*Второй примѣръ*. Положимъ, что грохотъ камней, набросанныхъ въ сосудъ, принимается за проявленіе мыслей фетиша, какъ то дѣйствительно и имѣетъ мѣсто у нѣкоторыхъ племенъ въ Бразиліи; положимъ далѣе, что изреченія фетиша были собраны жрецами, сохранились въ ихъ потомствѣ и разработаны въ систему тогда уже, когда о чудѣ съ камнями не было и помину. Будетъ ли такая система научна? Формально—да; матеріально—нѣтъ, и опять-таки потому, что происхожденіе понятій, изъ которыхъ построена система, не можетъ быть дано никакимъ опытомъ.

Выражая въ *положительной формѣ* заключеніе, выводимое изъ двухъ приведенныхъ *отрицательныхъ примѣровъ*, можно сказать, что объекты, долженствующіе сдѣлаться содержаніемъ науки, могутъ быть даны однимъ только *опытомъ*. Безъ соблюденія этого условія, содержаніемъ для устанавливаемой науки явятся мнимые объекты, и сама наука становится *мнимою наукою*. Такую науку необходимо, однако же, отличать

отъ *науки о мнимомъ*, то-есть психическомъ фактѣ, несомнѣнно существующемъ и могущемъ дать содержаніе для науки. Всякая наука, такимъ образомъ, имѣетъ основаніемъ только опытъ; внѣ опыта науки такъ же строятся, какъ воздушные замки, и если ихъ признаютъ иногда науками, то это случается вслѣдствіе увлеченія *формальною* ихъ стороною.

Столь употребительное выраженіе «*опытныя науки*» слѣдуетъ считать, какъ видно изъ этого, плеоназмомъ; но плеоназмъ этотъ находитъ себѣ оправданіе, пока смыслъ и значеніе понятія о наукѣ остается невыясненнымъ. Такимъ же плеоназмомъ слѣдуетъ считать и терминъ «научная философія», и въ томъ же обстоятельствѣ видѣть и его временное оправданіе.

Это послѣднее замѣчаніе прямо ведетъ къ поставленному выше вопросу: возможна ли такая философія, которая и по содержанію была бы научною?

Разрѣшеніе этого вопроса много зависитъ отъ того, какъ представляется сопоставленіе опытныхъ наукъ и философіи. Если бы философское знаніе и философскія задачи были чужды опыта, то между философіею и науками не могло бы быть ничего общаго, и философія неизбѣжно, по содержанію, существенно отличалась бы отъ наукъ. Но, въ дѣйствительности, факты показываютъ намъ, что науки, поднявшись надъ извѣстнымъ уровнемъ, непремѣнно стремятся къ завершенію своего развитія философскимъ понятіемъ, которое всегда неизбѣжно и всегда можетъ быть выработано, когда дѣло идетъ объ образованіи высшихъ научныхъ положеній. Основаніе къ такому стремленію очевидно. Опытныя науки суть спеціальныя науки, а для ихъ высшихъ конечныхъ понятій спеціальная точка зрѣнія не можетъ быть достаточна. Высшія понятія, по самой природѣ своей, не спеціальны, но общи, т.-е. они общи нѣсколькимъ спеціальнымъ областямъ, или, иначе: предметъ спеціальныхъ наукъ можетъ быть изучаемъ въ различныхъ отношеніяхъ разными спеціальными науками. Всякая спеціальная наука поэтому, подходя къ выработкѣ своего высшаго понятія, должна войти въ соприкосновеніе съ другими науками, т.-е. въ этомъ отношеніи перестать быть спеціальною наукою. Такимъ образомъ, всѣ спеціальныя науки стремятся къ одному пункту, въ которомъ онѣ сливаются въ одно общее понятіе, совершенно лишенное спеціальнаго характера.

Изъ этого видно, что опытныя науки противопоставляются

философіи не съ точки зрѣнія опыта—общаго ихъ основанія, а только постольку, поскольку опытныя науки—науки *спеціальныя*, а философія—наука *всеобщая*,—наука, объединяющая понятія, выработанныя отдѣльными дисциплинами, и подводящая ихъ подъ высшее, общее понятіе.

Таковъ результатъ. Каковы же средства?

Такъ какъ всякая спеціальная наука вырабатываетъ только спеціальныя понятія, только тѣ понятія, которыя она можетъ выработать, не выходя изъ круга своей спеціальности, безъ вниманія къ нуждамъ другихъ спеціальныхъ наукъ, то задача выработки общихъ понятій изъ частныхъ понятій двухъ или нѣсколькихъ спеціальныхъ наукъ должна представлять особенности и трудности, чуждыя кругу спеціальной науки. Ни одинъ изъ спеціальныхъ методовъ не можетъ быть годенъ самъ по себѣ для преодолѣнія этихъ трудностей; но для разрѣшенія задачи потребуется отчасти подвергнуть болѣе строгой логической обработкѣ одностороннія спеціальныя понятія, отчасти провѣрить прикладные методы посредствомъ методологическаго анализа и въ то же время изслѣдовать физіологическую и (въ широкомъ смыслѣ) психологическую сторону вліянія субъекта. Понятно, что общая совокупность частныхъ понятій спеціальныхъ наукъ наложитъ на умственную работу особый отпечатокъ; мышленіе опредѣлится всестороннѣе, станетъ шире, отвлеченнѣе въ отношеніи логическомъ, глубже—въ психологическомъ. Тутъ-то поэтому и лежитъ та граница, которую собственно-спеціальное мышленіе не осмѣливается переступать, та область, въ которой инстинктъ спеціалиста безошибочно чуетъ философію и куда поэтому не вступаетъ, предпочитая предоставить изслѣдованіе ея философу. Спеціалисты и не подымаютъ, впрочемъ, науки до ея заключительныхъ понятій: это дѣло остается принадлежностью умовъ, предрасположенныхъ къ обобщеніямъ.

Теперь мы стоимъ на порогѣ философіи, именно той научной философіи, возможность которой начинаетъ для насъ просвѣчивать.

Припомнимъ, что система понятій, заключающая въ себѣ знаніе какихъ бы то ни было (опытомъ данныхъ) объектовъ, требуетъ для завершенія своего въ формальномъ отношеніи выработки послѣдняго высшаго понятія, которое, завершая систему, образуетъ изъ нихъ замкнутое цѣлое—науку. Это вы-

шее понятіе не есть уже понятіе спеціально-научное, но общее понятіе, принявшее въ себя всѣ частныя понятія, изъ которыхъ состоитъ система, или, иначе говоря, абстрактно представляющее всю совокупность данныхъ объектовъ. Пока оно не можетъ удовлетворить такому требованію общности и не охватываетъ ряда или группы объектовъ, до тѣхъ поръ можетъ быть мыслимо такое понятіе, объемъ котораго еще общѣе, и самое общее понятіе остается невыработаннымъ.

Такимъ образомъ, всякой спеціальной наукѣ предстоитъ или остаться незаконченною, страдать отсутствіемъ заключительной идеи, или завершиться общимъ, высшимъ понятіемъ. Само собою разумѣется, что, при образованіи этого общаго, высшаго понятія всѣхъ спеціальныхъ наукъ, безотносительно къ ихъ сродству, представляется несравненно болѣе сложная работа, чѣмъ при образованіи общихъ понятій для двухъ или нѣсколькихъ спеціальныхъ наукъ. Однако же, именно то, въ чемъ сосредоточивается здѣсь трудность, является побужденіемъ къ преодолѣнію ея; и побужденіе это бывало такъ интенсивно, что заставляло пытаться достигнуть указанной выше цѣли, безсознательно или сознательно обходя находящіяся на пути опытныя науки; попытка, успѣхъ которой могъ, очевидно, всегда быть только кажущимся. Такимъ образомъ, потребность единства неудержимо влечетъ къ выработкѣ единства всѣхъ наукъ и объектовъ ихъ,—къ выработкѣ единства, которое было бы, если то возможно, истинно высшимъ и послѣднимъ единствомъ данныхъ опытомъ объектовъ.

Разсмотримъ нѣсколько ближе это единство объектовъ, такъ какъ, согласно замѣчанію, сдѣланному выше, требованіе его установленія дѣлаетъ ощутимыми сопряженныя съ такимъ дѣломъ трудности и въ то же время влечетъ къ преодолѣнію ихъ. Трудности, о которыхъ идетъ рѣчь, заключаются въ томъ, что требуемое высшее единство понятій должно быть свободно отъ противорѣчій, а между тѣмъ, при *историческомъ* развитіи спеціальныхъ наукъ, не можетъ не соединять въ себѣ такихъ противополагающихъ признаковъ, которые дѣлаютъ его дуалистическимъ. Такъ какъ дуализмъ этотъ, повидимому, принципіаленъ и включеніе его въ научное понятіе, долженствующее имѣть характеръ единства, неизбѣжно дѣлаетъ понятіе это противорѣчивымъ, то возможность устраненія противорѣчія можетъ явиться только какъ результатъ цѣлаго ряда попытокъ

подвергнуть изслѣдованію, путемъ изученія принциповъ познаванія, самые крайніе послѣдніе корни противорѣчія какъ на почвѣ объекта, такъ и на почвѣ субъекта. Это изслѣдованіе должно освѣтить упомянутыя трудности установленія самаго общаго понятія, какъ высшаго единства, и обнаружить ту многосложность вопросовъ, которые могутъ повести къ установленію особыхъ спеціальныхъ наукъ, а также выяснить, что всѣ спеціальныя науки должны быть разсматриваемы какъ вспомогательныя по отношенію къ результату самаго изслѣдованія, т.-е. по отношенію къ выработкѣ высшаго понятія. Это изслѣдованіе, наконецъ, приведетъ къ убѣжденію, что спеціально-научныя работы, какъ въ томъ случаѣ, когда онѣ сознательно задаются цѣлью выработки этого конечнаго результата, такъ и въ томъ, когда онѣ стремятся доказать возможность этой выработки, могутъ быть сами разсматриваемы какъ работы, относящіяся къ области особой самостоятельной науки.

Подходя такимъ образомъ къ опредѣленію философіи, Авенаріусъ намѣчаетъ то широкое понятіе, которое, съ одной стороны, охватываетъ спеціальныя и сложныя изслѣдованія, не могущія быть отнесенными ни къ одной изъ спеціальныхъ наукъ и имѣющія цѣлью возвести понятія низшихъ степеней обобщенія къ послѣднему, самому общему; съ другой стороны, обнимаетъ всю область спеціальныхъ наукъ, относящихся къ указанному выше изслѣдованію въ качествѣ наукъ вспомогательныхъ. Такимъ образомъ, всякая спеціальная наука, ведущая къ наивысшему общему (философскому) понятію, получаетъ значеніе *философской*, такъ какъ для завершенія своего она вводитъ свое относительно-общее понятіе въ связь съ такими же понятіями другихъ наукъ и сознательно служитъ, такимъ образомъ, выработкѣ наивысшаго понятія.

Чтобы по праву называться *наукой* и быть не только *массой накопленнаго знанія*, всякая наука должна необходимо завершиться послѣднимъ высшимъ понятіемъ. Удовлетвореніемъ этого требованія исполняется изложенное выше условіе формальной организаціи понятій. Изъ этого слѣдуетъ, что всякая спеціальная наука, только благодаря философскому элементу, въ нее входящему, становится «*наукою*». По этой-то причинѣ всякая, достигшая высшей степени развитія, спеціальная наука и стремится сперва инстинктивно, а потомъ сознательно къ проникновенію философіи въ ея понятія.

Послѣ всего сказаннаго, формулированный выше вопросъ: какимъ образомъ возможна научная философія? ставится такъ: возможно ли существованіе науки безъ участія философіи?

Доведя разсужденіе до этого пункта, Авенаріусъ указываетъ на то, что онъ никогда не терялъ изъ виду того научно-философскаго понятія, которое должно выражать единство всѣхъ спеціально-научныхъ объектовъ. Этимъ понятіемъ спеціальныя науки завершаютъ выработку понятій о своихъ объектахъ, и, какъ науки, завершаются сами. Такимъ образомъ, результатомъ выработки одного высшаго понятія объ объектахъ вообще является единство понятія обо всемъ, подлежащемъ научному изслѣдованію,—единство міроразумѣнія. Ни одна изъ спеціальныхъ наукъ не можетъ считаться законченною, пока она не указала мѣста своего объекта въ мірѣ какъ цѣломъ; тѣ же науки, которыя указываютъ человѣческому разуму его мѣсто и стараются выработать о немъ самомъ научныя понятія, обыкновенно считаются философскими науками по преимуществу. Не останавливаясь долго надъ этою стороною вопроса, Авенаріусъ выставляетъ другую, главнѣйшую, заключающуюся въ томъ, что науки стремленіемъ своимъ стать философскими завершаются не только въ формальномъ отношеніи, но и по содержанію, даютъ же онѣ своимъ работамъ законченность только тогда, когда провѣрятъ свои относительно-общія понятія высшимъ единымъ понятіемъ и, такимъ образомъ, окажутъ въ свою очередь содѣйствіе установленію единства міроразумѣнія. Такое проникнутое единствомъ міроразумѣніе и считаютъ обыкновенно задачею философіи, и считаютъ по праву, такъ какъ философія, въ послѣдней инстанціи, есть не что иное, какъ результатъ *слитія* спеціальныхъ наукъ въ одно всеобщее понятіе.

Выяснивъ такое единство всѣхъ спеціальныхъ наукъ и философіи, можно сравнить это единство съ пирамидой, вершину которой занимаетъ философія, или съ окружностью, въ центрѣ которой стоитъ философія; такое сравненіе совершенно ясно выражаетъ идею значенія философіи, какъ науки. Относясь одинаково ко всѣмъ спеціальнымъ наукамъ, философія подымаетъ каждую изъ нихъ до значенія науки; въ то же время, давая всей совокупности ихъ единство, этому единству придаетъ значеніе науки.

Въ заключеніе Авенаріусъ еще разъ видоизмѣняетъ постановку вопроса и этимъ измѣненіемъ очень удачно даетъ своей

мысли весьма характеристическую законченность. «Теперь — говоритъ онъ—вопросъ нашъ заключается не въ томъ, возможно ли существованіе науки безъ философіи, и не въ томъ, какимъ образомъ возможна философія, которая не была бы наукой, но въ томъ, какимъ образомъ возможна наука, которая не была бы философіей?»

Мы сказали уже, что Авенаріусъ ставитъ себѣ цѣлью сведеніе всего развитія философіи къ принципу наименьшей траты силъ. Посмотримъ теперь, чѣмъ онъ обосновываетъ и какимъ образомъ проводитъ это положеніе.

Онъ начинаетъ съ установленія цѣлесообразности, какъ свойства, присущаго всякой психической дѣятельности. Можно,— говоритъ онъ,—относиться съ сомнѣніемъ къ различнымъ толкованіямъ происхожденія этой цѣлесообразности, но нельзя сомнѣваться въ ней самой, благодаря слишкомъ большому значенію ея для сохраненія индивида. Мы не можемъ даже представить себѣ возможности этого сохраненія, если не допустимъ, что психическія функціи способны выполнить въ самой высокой степени требованія цѣлесообразности.

Каковы же требованія наши по отношенію къ цѣлесообразности психическихъ функцій? Они двойственны: цѣлесообразнодѣйствующая организація не только должна рѣшать свою задачу, но должна еще рѣшать ее съ относительно наименьшею затратой силъ, т.-е. съ относительно наименьшимъ пользованіемъ имѣющимися средствами. Всякое рѣшеніе той или другой задачи придется счесть тѣмъ болѣе цѣлесообразнымъ, чѣмъ менѣе силъ будетъ при этомъ потрачено напрасно,—чѣмъ болѣе будетъ ихъ сохранено для другихъ дѣйствій; мы всегда почтемъ данную силу тѣмъ цѣлесообразнѣе приложенною, чѣмъ значительнѣе будетъ полученный чрезъ ея посредство результатъ.

Установивъ взглядъ на общую цѣлесообразность психическихъ функцій, Авенаріусъ переходитъ затѣмъ къ изслѣдованію вопроса о томъ, не обнаруживаетъ ли одна изъ нихъ, именно теоретическая, т.-е. *мышленіе*, такое же стремленіе къ охраненію силъ отъ излишнихъ тратъ.

Въ теоретическомъ мышленіи или апперцепціи,—говоритъ Авенаріусъ,—идетъ дѣло о взаимодѣйствіи двухъ комплексовъ представленій, съ цѣлью опредѣленія содержанія или, соотносительно, характеристики того изъ нихъ, который является

сравнительно менѣе опредѣленнымъ. Если бы психическія силы были безграничны, то о цѣлесообразной тратѣ ихъ не было бы и рѣчи; но такъ какъ силы эти ограничены, то указанную выше выработку опредѣленности содержанія представленій и приходится неизбѣжно вести, по возможности, цѣлесообразно, т.-е. съ наименьшею затратой силъ или, соотносительно, съ наибольшимъ для данной затраты результатомъ.

Что мы можемъ замѣтить,—говоритъ далѣе Авенаріусъ,—если присмотримся къ извѣстной склонности человѣческаго ума къ систематизированію? Прежде всего, то, что во всякой системѣ, какъ системѣ, преслѣдуется значительное сбереженіе силъ. Въ систематизированіи имѣетъ мѣсто организація цѣлыхъ совокупностей представленій, достигаемая установкою одного изъ комплексовъ этихъ представленій въ центральномъ пунктѣ и группировкою остальныхъ вокругъ него. Благодаря такому распорядку представленій, сознаніе облегчаетъ себѣ оріентировку среди ихъ, и затѣмъ еще достигается возможность рѣшенія всѣхъ могущихъ возникнуть проблемъ, такъ какъ представленіе, являющееся содержаніемъ этихъ проблемъ, безъ колебаній подводится подъ центральное, и, далѣе, всякую новую проблему легко примкнуть къ родственной ей группѣ другихъ проблемъ, отнесенныхъ уже къ центральному представленію, и, такимъ образомъ, сразу поставить ее на вѣрный путь къ разрѣшенію. Слѣдуетъ замѣтить, наконецъ, что своею дѣйствительною или мнимою полнотой всякая система представляетъ, въ виду могущихъ возникнуть спеціальныхъ проблемъ, выгоды увѣренности и покоя, и, въ то же время, благодаря своей дѣйствительной законченности, даетъ и выгоды обезпеченной устойчивости системы, такъ какъ всѣ заключенія, выводимыя изъ центральнаго представленія, пріурочиваются къ его же поддержанію, и между всѣми входящими въ систему представленіями устанавливается взаимная связь и обоюдная поддержка.

Всѣ эти моменты,—замѣчаетъ Авенаріусъ,—несомнѣнно служатъ охранѣ затрачиваемыхъ силъ.

Еще явственнѣе обнаруживается стремленіе къ минимальной тратѣ силъ во всѣхъ случаяхъ, когда мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ, что намъ привычно или, соотносительно, непривычно. Всякому извѣстно, что предпочтеніе, оказываемое всему привычному передъ непривычнымъ, находитъ для себя самые разнообразные

исходы: непривычное то устраняется изъ обихода мышленія—забывается, то сводится на привычное при помощи той или иной ассоціаціи: новое—на старое, чуждое—на обыденное, неизвѣстное—на извѣстное и т. д.

Разсматривая затѣмъ роль языка, какъ орудія, несущаго чрезвычайно полезную службу при охранѣ силъ отъ напрасной траты, Авенаріусъ приходитъ къ заключенію, что теоретическое мышленіе или апперцепція всегда является съ разсчетомъ на экономизированіе своихъ средствъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ всегда руководится этимъ разсчетомъ. Въ апперцепціи, какъ мы уже знаемъ, дѣло идетъ о взаимодѣйствіи двухъ комплексовъ представленій, одинъ изъ которыхъ—болѣе опредѣленный по своему содержанію—и долженъ оказать по отношенію къ намѣченной цѣли желаемую услугу. Спрашивается, каковы должны быть входящія въ него представленія, для того чтобы услуга эта, т.-е. сбереженіе силъ, могла бы достигнуть максимума? Очевидно, прежде всего, что содержаніе этихъ представленій должно быть извѣстно, и затѣмъ оно не должно быть единичнымъ или частнымъ, а общимъ, т.-е., собственно говоря, имѣть значеніе понятія. Оно должно вести не только къ узнаванію, достигаемому чрезъ сведеніе частнаго къ частному, но къ *пониманію*, т.-е. къ обогащенію даннаго представленія всѣмъ содержаніемъ того понятія, подъ которое оно подводится. Благодаря этому свойству, пониманіе его и можно считать теоретическою апперцепціей par excellence.

Но оно является и теоретическою апперцепціей par préférence именно въ силу той полноты, съ которою имъ удовлетворяется требованіе наименьшей траты силъ. Общее понятіе не только служитъ расширенію содержанія даннаго представленія, но и захватываетъ еще цѣлый рядъ такихъ представленій, которыя могутъ считаться того же рода, что и данное, или, по крайней мѣрѣ, могутъ быть признаны сходственными съ нимъ. Не только все содержаніе этого понятія, но и всѣ объекты, къ которымъ можетъ быть отнесено это содержаніе, проходятъ при этомъ чрезъ сознаніе. Такъ, наприм., общее понятіе «животное» наводитъ на мысль не только все охватываемое имъ содержаніе, но еще и припоминаніе о всѣхъ тѣхъ животныхъ, схожихъ съ подводимыми подъ наше понятіе, или предположеніе о такихъ, которыя могли бы включиться въ его содержаніе.

Показавъ важное значеніе пониманія для нашего мышленія, Авенаріусъ ставитъ вопросъ: не принадлежитъ ли философія, столь горделиво именующая себя «наукою наукъ», къ числу тѣхъ умственныхъ дисциплинъ, задача которыхъ заключается въ пониманіи?

Философія,—говоритъ онъ,—не можетъ еще дать окончательнаго отвѣта на этотъ простой и ясный вопросъ. Можемъ ли мы указать на обще-признанное понятіе философіи, зная, что философій много, но философіи еще нѣтъ? По этой причинѣ и нѣтъ возможности разрѣшить окончательно поставленный вопросъ, хотя и возможно дать ему хотя одностороннее, но крайней мѣрѣ, освѣщеніе. Ставя вопросъ, Авенаріусъ не имѣетъ въ виду исчерпать его въ логическомъ отношеніи, а подразумѣваетъ только возможность его историческаго разрѣшенія. Не подлежитъ сомнѣнію для всякаго сколько-нибудь знакомаго съ исторіей философіи, что такое рѣшеніе оказалось бы положительнымъ, т.-е. подтвердило бы намъ ту истину, что общее направленіе философіи имѣетъ своею цѣлью пониманіе.

Такимъ образомъ, оказывается,—говоритъ Авенаріусъ въ заключеніе этой части своего разсужденія,—что мы можемъ смотрѣть на принципъ наименьшей траты силъ вообще какъ на основу теоретическаго мышленія и, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ на основу стремленій къ пониманію всѣхъ наукъ, задающихся пониманіемъ, и, слѣдовательно, въ частности, какъ на *корень философіи*.

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію вопроса о *задачѣ философіи*, Авенаріусъ, ссылаясь на предшествующее разсужденіе, говоритъ, что въ цѣлесообразности пониманія были выяснены двѣ стороны: во-первыхъ сведеніе неизвѣстнаго на извѣстное и, во-вторыхъ, подведеніе частнаго подъ общее,—представленія подъ понятіе. Надо замѣтить, что оба эти момента должны быть разсматриваемы не только какъ основа пониманія, но въ нихъ слѣдуетъ еще видѣть и условія самаго пониманія,—тѣ требованія, которыя необходимо должны быть на лицо для того, чтобы пониманіе могло состояться. Извѣстное и общее понятія и являются именно тѣми средствами, орудіями или факторами, дѣйствіе коихъ производитъ пониманіе. Тамъ, гдѣ ихъ не оказывается, пониманіе становится невозможно.

Теперь является возможность опредѣлить границы пониманія. Онѣ, очевидно, распространены въ той же мѣрѣ, какъ и

соотвѣтствующія имъ понятія. Эти же послѣднія идутъ до, такъ сказать, абсолютнаго простого понятія, соотносительно, до понятія абсолютно-простого и, въ то же время, до, такъ сказать, абсолютнаго общаго понятія, соотносительно, до понятія абсолютно-общаго. По этой причинѣ всѣ науки, ставящія себѣ цѣлью пониманіе, считаютъ цѣль свою вполнѣ достигнутою, когда имъ удается, съ одной стороны, расчленить свое содержаніе на простѣйшія составныя части, и, съ другой, вывести тѣ общія понятія, которыя могли бы во всей полнотѣ охватывать данную совокупность явленій. Такія понятія и получаютъ значеніе самыхъ общихъ понятій и высшихъ законовъ, такъ какъ «законы» суть тѣ же аперцепціи, съ тѣмъ только различіемъ отъ общихъ понятій, что подъ нихъ подводятся не однородныя вещи, а однородныя событія.

Изъ этого явствуетъ, что разысканіе законовъ соотвѣтствуетъ тому же стремленію къ пониманію, что и стремленіе мыслить понятіями, и что корень какъ того, такъ и другого слѣдуетъ видѣть въ принципѣ наименьшей траты силъ. Можно утверждать поэтому, что закону нельзя приписать бо̀льшаго объективнаго значенія, чѣмъ понятію; значеніе же ихъ обоихъ зиждется на опытѣ, выраженномъ подведенными подъ нихъ представленіями единичныхъ вещей и единичныхъ событій.

Представленія единичныхъ вещей и единичныхъ событій, подводимыя подъ понятія и законы,—разсуждаетъ далѣе Авенаріусъ,—находятъ въ этихъ понятіяхъ и законахъ объединеніе всему тому, что̀ у нихъ есть общаго. Точно такое же объединеніе могутъ дать высшія понятія и законы низшимъ и такимъ путемъ объединеніе можетъ быть доведено до того понятія или закона, который соотвѣтствуетъ наивысшему единству. Такимъ образомъ, принципъ наименьшей траты силъ оказывается не только корнемъ стремленія къ пониманію, но и корнемъ стремленія къ единству вообще, къ наивысшему единству въ особенности.

Изъ этого видно, что представленія множественности противорѣчатъ нашему основному принципу. Множественность всегда принимается высоко-развитымъ чувствомъ какъ обремененіе сознанія. Вѣрность этого положенія доказывается исторіею человѣческой мысли, которая, не взирая ни на какія разочарованія, всегда стремилась къ сведенію всей своей дѣятельности къ единству.

Не останавливаясь надъ изслѣдованіемъ вопроса о томъ, существуетъ ли на самомъ дѣлѣ такое единство, Авенаріусъ обращаетъ вниманіе теперь лишь на то, что стремленіе къ нему проявляется въ тѣсной связи со стремленіемъ къ пониманію или къ мышленію общей совокупности всего существующаго посредствомъ понятій и показываетъ затѣмъ, что наука, избравшая себѣ предметомъ эту совокупность, была не изъ числа тѣхъ, которыя занимались отдѣльными частями, сторонами или развѣтвленіями этой совокупности, а именно та, которая задачею своею ставила изученіе всей этой совокупности, какъ единаго цѣлаго,—наука эта, по свидѣтельству исторіи, и есть философія.

Если мы припомнимъ теперь,—говоритъ Авенаріусъ въ заключеніе этой части своего труда,—что направленное на общую совокупность вещей и событій мышленіе есть мышленіе отвлеченное, т.-е. совершающееся посредствомъ понятій и имѣющее цѣлью пониманіе, и что это мышленіе опредѣляется принципомъ наименьшей траты силъ, то должны будемъ, согласно высказанному нами выше, смотрѣть на философію какъ на возведенное до научности стремленіе мыслить совокупность всего даннаго въ опытѣ при минимальной на то затратѣ силъ. Совокупность же даннаго въ опытѣ или, соотносительно, того, что можетъ быть дано въ опытѣ вообще, называемъ мы міромъ; подъ *философіей*, такимъ образомъ, должны мы разумѣть *мышленіе о мірѣ согласно принципу наименьшей траты силъ*.

Изслѣдованіе вопроса о *методѣ философіи* Авенаріусъ начинаетъ съ опредѣленія мѣста, занимаемаго философіей въ ходѣ научнаго развитія. Если по отношенію къ ея задачѣ,—говоритъ онъ,—философія должна быть поставлена послѣднею въ ряду наукъ, такъ какъ собственная ея работа предполагаетъ отдѣльныя спеціальныя науки установившимися, то, по отношенію времени установленія, философія, какъ то свидѣтельствуетъ намъ ея исторія, явилась первою. И нельзя не признать, что такое предвосхищеніе философіею ея задачи вполнѣ согласовалось съ присущими ей основными свойствами. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ представленія отдѣльныхъ вещей подводятся подъ общія понятія, которыя, такимъ образомъ, дѣлаютъ возможнымъ пониманіе отдѣльныхъ вещей, то стремленіе къ пониманію находитъ самое скорое и легкое удовлетвореніе тогда, когда мышленіе получаетъ въ свое распоряженіе тѣ общія

понятія, какія оно можетъ выработать, направляя свои силы на всю совокупность данныхъ вещей. По этой причинѣ и приходится мышленію обратиться, прежде всего, къ этой совокупности и, слѣдовательно, для философіи, согласно принципу наименьшей траты силъ, само собою открывается первая роль въ исторіи развитія умственной дѣятельности, направленной къ «пониманію». Согласно этому же принципу совершается и дальнѣйшее развитіе философіи, поскольку развитіе это заключается въ болѣе и болѣе тѣсномъ ограниченіи предѣловъ ея области.

Подведеніе представленій подъ понятіе, имѣющее при этомъ мѣсто, предполагаетъ, конечно, что представленія единичныхъ вещей могутъ въ самомъ дѣлѣ быть подведенными подъ понятія. Состоятельность общихъ понятій необходимо должна пройти черезъ эту провѣрку. И какимъ бы путемъ она ни совершалась, во всякомъ случаѣ, окажется нужнымъ образованіе спеціальныхъ понятій для выработки понятія общаго. Цѣль спеціальнаго изслѣдованія, во всякомъ случаѣ, будетъ поставлена въ служебное отношеніе къ философіи: оно должно будетъ или провѣрить состоятельность даннаго общаго понятія, или подготовить выработку такого, которое было бы состоятельно. Тутъ и лежитъ начало дифференцированія научнаго, посредствомъ понятій совершающагося, т.-е. отвлеченнаго мышленія, и чрезъ это дифференцированіе произошло и развѣтвленіе научнаго мышленія на спеціальныя науки.

Характеризуя далѣе отношеніе спеціальныхъ наукъ къ философіи, Авенаріусъ находитъ его двоякимъ: оно является какъ результатъ единства личности мыслителя и какъ результатъ единства цѣли, заключающейся въ только что упомянутой вспомогательной роли спеціальныхъ наукъ. Случайное значеніе перваго обстоятельства очевидно. И если намъ указываютъ на «философа», занимающагося спеціальною наукой, то это не значитъ еще, что имѣется подтвержденіе сліянія данной науки съ философіей. Если логика, этика, эстетика и теперь еще разрабатываются «философами», то это не значитъ еще, что науки эти по отношенію къ философіи имѣютъ такое же вспомогательное значеніе, какъ и естественныя науки, напримѣръ, совершенно выдѣлившіяся изъ области философіи, или какъ психологія, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе изъ нея выдѣляющаяся. Этимъ постепеннымъ пріобрѣтеніемъ самостоятельности спеціальныхъ наукъ задачи философіи, какъ таковой, мало-по-

малу свелись къ тому, что философія сознательно отмежевала себѣ пониманіе всей совокупности вещей и противопоставила его пониманію отдѣльныхъ, спеціальныхъ областей. Можно сказать, резюмируя вышеуказанное, что философское пониманіе охватываетъ міръ абстрактною формой, общею всѣмъ единичнымъ вещамъ, тогда какъ естественныя науки или естественно-научная космологія разсматриваетъ міръ какъ единичную вещь, какъ конкретную форму, изъ которой вырабатывается философская абстракція.

Покончивъ съ этимъ вопросомъ, Авенаріусъ переходитъ къ изслѣдованію тѣхъ факторовъ, при посредствѣ коихъ философія разрѣшаетъ свою задачу—пониманіе общей совокупности вещей. Уже прежде было показано, что всякое пониманіе осуществляется при помощи двухъ элементовъ: извѣстнаго и общаго понятій; теперь предстоитъ разсмотрѣть, какимъ образомъ установлялось понятіе «извѣстнаго» въ ходѣ развитія научнаго мышленія.

«Извѣстное» получило свою роль въ процессѣ пониманія въ качествѣ привычнаго, традиціоннаго. Пока представленія отдѣльныхъ вещей являлись у насъ какъ безпрепятственно подводимыя подъ общія традиціонныя понятія, до тѣхъ поръ въ мышленіи не происходило еще того дифференцированія, которое возникло въ то время, когда стали замѣчать неподводимость нѣкоторыхъ единичныхъ представленій подъ эти понятія. Съ этого времени рядомъ съ традиціонными понятіями, считавшимися незыблемыми, выступаютъ измѣнчивыя, прогрессирующія понятія науки, которыя не опираются уже на привычку, какъ основаніе своей состоятельности, и въ поступательности своего движенія ищутъ тотъ наибольшій результатъ, который можетъ быть достигнутъ соотвѣтственною затратой силъ.

Извѣстнымъ съ того времени начинаетъ считаться то, чѣмъ овладѣло сознаніе, что присутствуетъ въ сознаніи. Въ этомъ смыслѣ, извѣстное—независимо отъ вопроса его происхожденія—всегда является какъ данное опытомъ, иначе говоря, оно всегда есть опытъ, совершаемый нами при томъ или иномъ состояніи сознанія; объектъ опыта признается при этомъ такимъ, какимъ онъ обрѣтается въ сознаніи. Этими чертами характеризуется первобытный опытъ,—тотъ опытъ, въ которомъ еще неразличимо заключено какъ то, что внесено въ представленіе

самимъ объектомъ, такъ и то, что̀ вложено въ него субъектомъ, переживающимъ опытъ. Въ анимизмѣ мы можемъ найти обильную иллюстрацію такого первобытнаго опыта; но образчикъ его дается и въ томъ воззрѣніи естествоиспытателя, который въ падающемъ камнѣ усматриваетъ «силу», повергающую камень на землю.

Различеніемъ того, что̀ дѣйствительно дается опытомъ, отъ того, что̀ влагается въ него мыслью субъекта, полагается основаніе различію научнаго опыта отъ опыта наивнаго. Научный опытъ, какъ оно и разумѣется само собою, и есть именно тотъ, который одинъ только долженъ стать содержаніемъ науки, достигшей высшаго пункта своего развитія. «Извѣстное» съ этого момента перестаетъ уже приниматься такимъ, какимъ намъ даетъ его сознаніе. Теперь требуется уже, чтобы оно было дано научнымъ опытомъ и стало основаніемъ не *наивнаго*, а *научнаго пониманія*. Все, что̀ не является въ объектѣ, какъ данное, а прилагается мыслью переживающаго опытъ субъекта,— все это устраняется окончательно изъ сферы научнаго пониманія [1]).

Но что̀ же именно такое не дается самимъ объектомъ, а влагается въ представленіе его субъектомъ? На этотъ вопросъ Авенаріусъ даетъ весьма опредѣленный отвѣтъ. Онъ обстоятельно разсматриваетъ одинъ за другимъ тѣ роды аперцепціи, которые антропоморфизируютъ мышленіе, вводятъ въ представленія такіе элементы, которые въ извѣстной степени искажаютъ объекты извѣстною долей человѣкоуподобленія ихъ. Авенаріусъ различаетъ три рода такихъ антропоморфическихъ аперцепцій: миѳологическія, антропологическія и тимематологическія. Миѳологическія аперцепціи переносятъ въ представленіе предметовъ всѣ тѣ общія свойства, которыми характеризуется весь человѣкъ,—всѣ тѣ формы, въ которыхъ выражается человѣческое «я»; антропологическія — захватываютъ только сферу чувствованій, а тимематологическія—вносятъ извѣстныя формы нашего разсудка, причинность, субстанціальность. Такимъ образомъ, въ каждой изъ этихъ трехъ аперцепцій мы имѣемъ дѣло съ нѣкоторымъ придаткомъ къ совокупности объективныхъ данныхъ: человѣческая душа является та-

---

[1]) Авенаріусъ указываетъ здѣсь тотъ фактъ, который К. Гёрингъ называетъ переходомъ пониманія въ знаніе.

кимъ придаткомъ въ первомъ случаѣ, человѣческое чувство—во второмъ и человѣческая, такъ называемая, «форма мышленія»—въ третьемъ.

Чѣмъ болѣе подымается мышленіе до высоты научнаго значенія, тѣмъ рѣшительнѣе исключаетъ оно, какъ и было показано выше, все то, что̀ не заключается въ данныхъ объектахъ. Въ настоящее время очищеніе отъ миѳологической примѣси подходитъ почти къ концу; очищеніе отъ примѣсей антропологическихъ, по меньшей мѣрѣ, намѣчено, тогда какъ вопросъ объ апріорныхъ формахъ мышленія, какъ тимематологической примѣси, которая, въ свою очередь, также должна быть удалена для установленія *чистаго опыта*,—этотъ вопросъ, какъ утверждаетъ Авенаріусъ, не былъ даже и поставленъ. «Постановка эта и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оправданіе ея, обоснованное на развитіи самого мышленія, дѣлается здѣсь,—говоритъ Авенаріусъ,—въ первый разъ».

Установленіемъ понятія «чистаго опыта» опредѣляются границы научнаго пониманія, которое теперь разъ навсегда устраняетъ отъ себя всю сферу пониманія наивнаго, никогда не могшаго войти въ какія бы то ни было опредѣленныя границы, такъ какъ хваталось, какъ за орудіе пониманія, за все то, что̀ считалось имъ извѣстнымъ, т.-е., какъ мы знаемъ уже изъ предшествовавшаго, все то, что̀ было ему привычно, что̀ обрѣталось готовымъ въ сознаніи, благодаря традиціи или иной случайности.

Остается прибавить, что и понятіе чистаго опыта также обусловлено принципомъ наименьшей траты силъ, такъ какъ исключитъ изъ мышленія о данномъ все то, что̀ въ немъ не заключается, значитъ воздержаться отъ затраты на это мышленіе той доли силъ, которая самимъ предметомъ не требуется.

Покончивъ съ уясненіемъ понятія чистаго опыта, Авенаріусъ переходитъ къ вопросу о томъ, каковъ долженъ быть тотъ методическій пріемъ, при помощи котораго философія можетъ разсчитывать охватить свой объектъ (т.-е., выражаясь кратко, логическую совокупность существующаго), однимъ, на чистомъ опытѣ зиждущемся, понятіи.

Но что именно должна считать философія своимъ объектомъ? Какимъ образомъ установитъ она понятіе этого объекта? Очевидно, что первою заботой ея должно быть правильное, методическое установленіе этого понятія, или, говоря иначе, умѣнье добывать для себя дѣйствительно существующіе объекты.

На первомъ планѣ здѣсь, несомнѣнно, стоитъ наблюденіе; всѣ естественно-научные методы суть методы наблюденія. Посредствомъ ихъ не только констатируется наличность предмета, но и, кромѣ того, предметъ этотъ опредѣляется по отношенію его свойства или по содержанію. Эти методы приложимы только къ единичнымъ объектамъ и, слѣдовательно, составляютъ достояніе отдѣльныхъ или спеціальныхъ наукъ.

Но,—продолжаетъ далѣе Авенаріусъ,—мы уже видѣли, что философія не можетъ существовать въ смыслѣ отдѣльной спеціальной науки, такъ какъ намъ извѣстно уже, что при дифференцированіи научнаго изслѣдованія на долю философіи выпала не та или эта спеціальная область, а нѣкоторая отвлеченная общность всѣхъ областей. Отдѣльныя эти области по отношенію къ философіи занимаютъ, какъ мы уже знаемъ, положеніе вспомогательное и посредствомъ своихъ методовъ доставляютъ философіи потребные ей объекты. Ихъ методы суть методы наблюденія, какъ то явствуетъ изъ предыдущаго, совершенно неприложимые къ философіи.

Извѣстно, однако же, что методы наблюденія нельзя считать единственными путями, слѣдуя которымъ естественныя науки достигаютъ до своихъ объектовъ. Такъ какъ всякое наблюденіе неизбѣжно является ограниченнымъ разными физическими—соотвѣтственно: физіологическими и психологическими моментами, то и приходится пополнять его болѣе раціональными пріемами, а именно: заключеніемъ отъ извѣстнаго къ неизвѣстному.

Можно было предполагать, что пріемъ заключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному станетъ если и не исключительно-философскимъ, то, по крайней мѣрѣ, общимъ для философіи и естественныхъ наукъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ направленіи шли лучшія надежды тѣхъ, которые не замѣтили неприложимость этого пріема къ философскимъ вопросамъ.

Прежде всего, затруднительно было опредѣлить тотъ пунктъ, къ которому пріемъ этотъ могъ бы оказаться приложимымъ. Мы знаемъ уже, что пользованіе «извѣстнымъ» въ научномъ мышленіи подлежитъ ограниченію, стремящемуся свести «извѣстное» въ границы даннаго чистымъ опытомъ. Но камень преткновенія для философіи на этомъ пунктѣ заключается въ томъ, что понятіе чистаго опыта еще предстоитъ выработать.

Притомъ же, указаніемъ на это препятствіе еще не все сказано. Гораздо важнѣе то обстоятельство, что если бы филосо-

фія и смогла бы, наконецъ, найти ту точку опоры, на которой она имѣла бы возможность утвердить рычагъ своихъ заключеній, то трудъ этотъ остался бы, все же таки, безъ всякихъ результатовъ. Дѣло въ томъ, что предметы и явленія, констатируемые естественными науками при посредствѣ заключенія, всегда однородны съ тѣми, отъ которыхъ дѣлаемо было это заключеніе. Различіе предметовъ всегда имѣетъ или специфическое, или пространственное, или временное значеніе. Другими словами, неизвѣстное, о которомъ дѣлается заключеніе, подпадаетъ подъ то же понятіе, что и извѣстное, служившее основою заключенія. Такъ, напримѣръ, если изъ наблюденій надъ движеніемъ какой-нибудь планеты я, согласно закону параллелограмма силъ, заключаю о присутствіи центральнаго тѣла, къ которому планета тяготѣетъ, то, очевидно, констатированное моимъ заключеніемъ *тѣло* подводится подъ понятіе *тѣла*, а его *движеніе*—подъ понятіе *движенія*. Для естествознанія случай этотъ, представляя значеніе извѣстной проблемы, можетъ имѣть важное значеніе; но для философіи открытіе центральнаго тѣла могло бы только тогда стать событіемъ, когда можно было бы утверждать, что этимъ путемъ получилось вполнѣ новое для опредѣленія бытія понятіе. Нечего и говорить, однако же, что ничто новое этимъ путемъ не получается и что только посредствомъ наблюденія и опыта обогащается имъ естествознаніе. Такимъ образомъ, нельзя сомнѣваться въ томъ, что пріемъ заключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному не можетъ дать для философіи никакихъ результатовъ.

Точно такъ же,—говоритъ далѣе Авенаріусъ,—философія не обогатилась бы никакими результатами, если бы пыталась восходить все къ болѣе и болѣе общимъ понятіямъ. Все, что бы мы ни добыли заключеніемъ, всегда и неизбѣжно подведется подъ готовыя уже понятія; *объемъ* этихъ понятій увеличится, но *высота* пониманія чрезъ то не измѣнится, такъ какъ она исключительно зависитъ отъ *высоты* отвлеченія того понятія, подъ которое подводится данное представленіе, и ни отъ чего другого.

Быть можетъ,—не безъ ироніи замѣчаетъ Авенаріусъ въ заключеніе своего разсужденія о значеніи для философіи пріема заключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному,—быть можетъ, безрезультатность усилій на этомъ пути оставляетъ для фило-

софіи болѣе плодотворное приложеніе этого пріема въ предѣлахъ долженствуемаго быть установленнымъ ею чистаго опыта?

Но и въ этомъ направленіи нѣтъ никакой надежды на успѣхъ. Чистый опытъ, вѣдь, отличается отъ опыта обыденнаго не плюсомъ, а минусомъ; чистый опытъ заключаетъ въ себѣ то же, что и обыденный, за исключеніемъ тѣхъ добавленій, которыя прилагаются къ нему субъектомъ и которыя совсѣмъ ужъ не годятся для обоснованія на нихъ какого бы то ни было заключенія. Исторія вполнѣ подтверждаетъ эту истину: она даетъ длинный рядъ попытокъ, приведшихъ къ олицетвореніямъ, а не реальностямъ,—формамъ, а не къ содержанію,—тавтологіямъ, а не новымъ понятіямъ. Такимъ образомъ, ни одна изъ этихъ попытокъ не можетъ служить для насъ имѣющимъ значеніе прецедентомъ.

Ранѣе уже было замѣчено, что первою задачей, предлежащею теперь философіи, является выработка понятія чистаго опыта. Не теряя изъ вида эту задачу, Авенаріусъ обращаетъ сперва вниманіе на то, что и въ прежнія времена философія, рядомъ съ попытками заключеній отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, преимущественно заботилась объ установленіи понятія о такомъ опытѣ, который, сообразно степени развитія научнаго мышленія въ данное время, могъ считаться или близкимъ къ чистому, или совершенно чистымъ.

Характеръ изслѣдованій въ этомъ направленіи былъ, какъ извѣстно, критическій, а потому можетъ показаться, что критическій методъ и есть именно тотъ, при помощи котораго вырабатывается понятіе чистаго опыта. Нѣтъ сомнѣнія, что методъ этотъ является здѣсь необходимымъ, но только не болѣе, какъ подготовительный. Недостаточность критики для установленія чистаго опыта доказалъ уже величайшій критическій философъ Кантъ; его *Критика чистаго разума* прерывается именно на томъ пунктѣ, въ которомъ она могла бы перейти въ критику чистаго опыта. Такая критика не должна была бы довольствоваться раскрытіемъ примѣсей къ тому, что̀ принималось за чистый опытъ, но должна была бы еще рядомъ съ критическимъ анализомъ выдвинуть впередъ и другой пріемъ, при посредствѣ котораго сдѣлалось бы возможно положительное примѣненіе отрицательныхъ результатовъ критики. Этотъ пріемъ, какъ оно и очевидно, только и можетъ быть *устраненіемъ* (элиминаціей) всего того, что̀ въ опытѣ является добавленіемъ или при-

мѣсью. Методъ устраненія, или элиминаціонный, является, какъ видно изъ этого, собственно философскимъ методомъ. Этотъ методъ, какъ замѣчаетъ Авенаріусъ, и примѣнялся во всѣхъ предшествовавшихъ разсужденіяхъ. Веденныя согласно принципу наименьшей траты силъ, они инстинктивно подчинялись методу элиминаціи, хотя онъ былъ сформулированъ только теперь, послѣ цѣлаго ряда случаевъ, въ которыхъ уже имѣло мѣсто его приложеніе.

Заканчивая изслѣдованіе вопроса о методѣ философіи, Авенаріусъ считаетъ нужнымъ добавить, что если въ предшествовавшемъ изложеніи элиминаціонный методъ и представленъ какъ методъ собственно философскій, то изъ этого не слѣдуетъ еще заключать, что его должно считать методомъ исключительно философскимъ. И естественныя науки также не чужды заботѣ объ очищеніи своихъ, изъ опыта добытыхъ, понятій. Если философія занята очищеніемъ тѣхъ данныхъ, которыя составляютъ ея содержаніе, то дѣлаетъ она это не какъ философія, а какъ научное мышленіе. Философія отличается отъ спеціальныхъ наукъ не своимъ методомъ, но исключительно только своимъ объектомъ—понятіями охватываемою совокупностью фактовъ, данныхъ опытомъ. Различіе между философскимъ и естественно-научнымъ мышленіемъ можетъ имѣть, какъ видно изъ этого, не только относительное, но и произвольное значеніе, оправдываемое развѣ въ историческомъ отношеніи, и методъ элиминаціи принадлежитъ несомнѣнно въ такой же мѣрѣ естественнымъ наукамъ, какъ и философіи, которая получаетъ въ свое вѣдѣніе содержаніе естественныхъ наукъ, ими уже очищенное.

Въ заключеніе всего этого разсужденія можно сказать, что если философія, т.-е. мышленіе, направленное на изученіе общей совокупности всего существующаго, и перестаетъ быть наукой въ обычномъ значеніи этого слова, то она остается, все же таки, научнымъ мышленіемъ. Во всемъ предшествующемъ разсужденіи о ней въ иномъ смыслѣ не было и рѣчи.

Корень философіи, ея задачи и методъ составляютъ содержаніе первыхъ трехъ, разсмотрѣнныхъ уже нами, отдѣловъ сочиненія Авенаріуса; *укладу философіи* посвященъ четвертый и послѣдній отдѣлъ, ознакомленіемъ съ которымъ мы теперь займемся.

Первымъ вопросомъ здѣсь является анализъ тѣхъ опытныхъ

понятій, которыя являются данными, выработанными естествознаніемъ, и отдѣленіе въ этихъ понятіяхъ элементовъ, соотвѣтствующихъ требованіямъ чистаго опыта, отъ внесенныхъ въ нихъ субъектомъ примѣсей.

Мы знаемъ,—говоритъ Авенаріусъ,—что естественныя науки разсматриваютъ все существующее какъ совокупность *атомовъ, движимыхъ силою* и по необходимости взаимно воздѣйствующихъ другъ на друга.

Отдѣлимъ въ этомъ понятіи примѣсь отъ того, что̀ соотвѣтствуетъ въ немъ чистому опыту, и воспользуемся полученнымъ остаткомъ для образованія намѣченнаго нами высшаго понятія.

Результатъ этого изслѣдованія отчасти уже предвосхищенъ нами и въ нѣкоторой степени не чуждъ въ настоящее время неотсталой наукѣ.

Прежде всего мы ставимъ слѣдующій вопросъ: дана ли сила въ чистомъ опытѣ, какъ нѣчто движущее? Никакое наблюденіе движущейся вещи,—отвѣчаемъ мы,—не дало возможности воспринять силу, и тотъ единственный случай, когда мы ее воспринимаемъ, относится не къ движенію, а къ нашему ощущенію силы. Ощущеніе это является всегда какъ сопутствующее движенію нашихъ членовъ, а не какъ чувство, причиняющее это движеніе. Но если порядокъ этотъ и былъ бы обратный, то и тогда никакой опытъ въ свѣтѣ не могъ бы указать той точки, съ которой ощущаемая сила воздѣйствуетъ на мускулы. Мы не испытываемъ такого процесса, а потому и не имѣемъ о немъ никакого представленія. Ощущеніе силы и мускульное движеніе совершенно разнородны, и поэтому нѣтъ никакой возможности заключить отъ одного къ другому, предполагая найти въ этомъ заключеніи состоятельную замѣну опыта.

Не испытывая ощущенія силы, какъ чего-то движущаго мы точно также не испытываемъ и необходимости этого движенія. Вслѣдъ за силой падаетъ и необходимость, такъ какъ сила есть нѣчто принуждающее, а необходимость—самое принужденіе. Мы испытываемъ только одно—послѣдовательность этихъ явленій; принужденія же или произвола мы вовсе не испытываемъ.

Поскольку представленіе причинности,—продолжаетъ Авенаріусъ,—требуетъ силы, необходимости и принужденія, какъ составныхъ частей послѣдовательности явленій постольку ра-

зомъ падаетъ и причинность. Если принужденіе въ указанной выше комбинаціи необходимо въ смыслѣ «причины», то придется признать, что представленіе это возникло въ данномъ случаѣ совершенно аналогично тѣмъ представленіямъ, которыя связываются съ деревьями, камнями, раковинами и т. п. предметами у фетишистовъ. Основной моментъ здѣсь—*пониманіе*; но и въ томъ и въ другомъ случаѣ пониманіе это имѣетъ характеръ наивный, антропопатическій. Различіе обоихъ случаевъ—чисто-количественное, отнюдь не качественное.

Подведя итогъ разсужденію, посредствомъ котораго были устранены (элиминированы) «сила» и «причинность», Авенаріусъ считаетъ нужнымъ замѣтить, что устранены онѣ были постольку, поскольку въ нихъ были открыты антропопатическія аперцепціи, а никакъ не въ отношеніи выражаемаго ими эмпирическаго отношенія между двумя и болѣе предметами. Причинность не перестанетъ означать непрерывность въ ходѣ всего совершающагося и въ этомъ значеніи находитъ для себя полное оправданіе.

Съ точки зрѣнія принципа наименьшей траты силъ причинность означаетъ соотношенія двухъ моментовъ, одинъ изъ которыхъ можетъ мыслиться какъ цѣль, а другой—какъ средство. На этомъ основаніи самый принципъ можно бы назвать «принципомъ наименьшей затраты средствъ», какъ то и было уже сдѣлано Цѣльнеромъ.

«Сила» и «причинность» останутся, наконецъ, и какъ такія краткія формулы или сжатыя выраженія, безъ которыхъ пока еще нельзя обойтись.

Теперь предстоитъ изслѣдовать понятіе «субстанціи» и рѣшить вопросъ о томъ, въ какомъ смыслѣ она должна быть устранена и въ какомъ—сохранена.

Для удовлетворительнаго рѣшенія этого вопроса Авенаріусъ считаетъ нужнымъ предварительно бросить бѣглый взглядъ на соотношеніе между развитіемъ мышленія и развитіемъ языка.

Первоначальныя воспріятія, обозначаемыя нашею рѣчью,—говоритъ онъ,—содержатъ предметъ какъ сложное единство, многоразличіе котораго остается еще несознаннымъ. Все болѣе и болѣе развивающаяся у человѣка способность различенія разлагаетъ мало-по-малу, при сильномъ вліяніи развитія рѣчи, это первоначальное единство, но немедленно же вслѣдъ затѣмъ опять возстановляетъ его въ качествѣ новаго единства высшаго

рода: различныя свойства и движенія предмета теперь уже различаются и при посредствѣ названій, относительно изолируемыхъ, вновь притягиваются къ первоначальной единицѣ (сохраненной опять-таки языкомъ), какъ къ своему подлежащему въ формѣ сказуемыхъ.

Такимъ образомъ, первоначальная цѣльная вещь противопоставляется ея же собственнымъ свойствамъ, а это отношеніе вслѣдъ затѣмъ, снова подъ вліяніемъ языка, является уже антропоморфизированнымъ, т.-е. вещь представляется уже дѣятельною, подвижною, обладающею и претерпѣвающею. Само собою разумѣется, что это новое понятіе захватываетъ не мало элементовъ, противорѣчащихъ идеѣ чистаго опыта; но дальнѣйшее его развитіе не только не очищаетъ его отъ этой примѣси, но производитъ еще такія въ немъ перемѣны, которыя только осложняютъ и затрудняютъ задачу критической работы, которая рано или поздно должна наступить.

Значеніе понятія вещи, противопоставленной ея свойствамъ, явно измѣнчивымъ и преходящимъ, приподымаетъ значеніе вещи, остававшейся, какъ-то подтверждалось сохраненіемъ ея названія, неизмѣнною. «Вещь» становится все самостоятельнѣе и независимѣе, и наступаетъ время, когда на нее начинаютъ смотрѣть какъ на существенное или дѣйствительно сущее, какъ на устой измѣнчивыхъ свойствъ и незыблемую основу этой ихъ измѣнчивости.

Отсюда до понятія субстанціи—одинъ шагъ. И какъ только устойчивость, неизмѣнность вещи была возведена до абсолютности, міръ распался на два класса существованій: на субстанціи дѣйствительныя, не уничтожаемыя и въ себѣ существующія, и акциденціи, которыя разсматривались какъ измѣнчивыя и не могущія существовать въ себѣ, т.-е. внѣ связи съ субстанціями.

Но что же такое субстанція? Ранѣе, чѣмъ мы дадимъ окончательный отвѣтъ на этотъ вопросъ,—говоритъ Авенаріусъ,—должно намъ разсмотрѣть еще одинъ моментъ въ развитіи этого понятія.

Если мы желаемъ констатировать какое-нибудь измѣненіе, то необходимымъ для того условіемъ является такое относительное постоянство измѣнившагося нѣчто, которое дало бы намъ возможность признавать его за прежнее при новомъ наблюденіи. Если условіе это не имѣетъ мѣста, то новое наблю-

деніе, встрѣчая полное измѣненіе прежде извѣстнаго намъ предмета, имѣетъ уже передъ собою нѣчто совершенно новое и не можетъ поэтому найти основаніе для констатированія происшедшаго измѣненія. Изъ этого видно, что воспріятіе измѣненія требуетъ отнесенія измѣняющагося къ неизмѣняющемуся, точно такъ же какъ для воспріятія движенія, всегда равнозначущаго измѣненію, требуется отнесеніе его къ чему-либо неподвижному.

Когда развитіе языка сдѣлало возможнымъ противопоставленіе вещи ея собственнымъ свойствамъ, тогда стало возможнымъ относить измѣняемость свойства къ неизмѣняемости самой вещи и, слѣдовательно, констатировать фактъ измѣняемости. Такимъ образомъ, въ представленіи вещи былъ созданъ устойчивый пунктъ, по которому и устанавливалось представленіе о совершившихся измѣненіяхъ. Вмѣстѣ съ развитіемъ воспріимчивости къ этимъ измѣненіямъ росло пропорціонально и сознаніе устойчивости, приписываемой неизмѣняющемуся пункту, получившему названіе субстанціи. Когда измѣняемость стали считать абсолютною, тогда и устойчивость, неизмѣняемость субстанціи также получила абсолютное значеніе.

Итакъ,—говоритъ Авенаріусъ,—субстанція есть психологически-необходимое вспомогательное понятіе, служащее установленію представленія объ абсолютной измѣнчивости, точно также какъ понятіе вещи служитъ выработкѣ представленія объ измѣнчивости относительной. Изъ этого видно, что понятіе субстанціи не подлежитъ устраненію изъ сферы мышленія, но оно должно быть необходимо устранено, какъ соотвѣтствующее объективно-реальному нѣчто, въ дѣйствительности совсѣмъ не существующему.

Чтобы относительно опредѣлить значеніе понятія субстанціи въ мышленіи, Авенаріусъ ставитъ теперь вопросъ о томъ, какова роль субстанціи по отношенію къ пониманію.

Противоположность, въ которую была поставлена субстанція къ ея акциденціямъ, является двоякою: субстанція разсматривается какъ постоянное среди измѣненій и какъ основа всего отъ нея зависимаго. Въ смыслѣ постояннаго нѣчто субстанція является скорѣе какъ вспомогательное орудіе для установки представленія измѣняемости, нежели пособіемъ для пониманія этой измѣняемости. Значеніе ея для пониманія надо искать, слѣдовательно, не здѣсь.

Субстанція, какъ основа всего отъ нея зависимаго, есть

продуктъ весьма продолжительнаго развитія,—развитія, совершавшагося въ смыслѣ ослабленія первоначальной, вполнѣ антропоморфической аперцепціи, постепенно поддававшейся вліянію роста научнаго мышленія. Согласно смыслу только-что указанной аперцепціи, соотношенія между субстанціей и акциденціями установились сперва совершенно по образу и подобію отношеній между нашимъ «я» и его дѣйствіями. Понятія субстанціальности и причинности являются въ этомъ пунктѣ совершенно слитыми.

Это, порожденное наивною аперцепціей, наивное пониманіе еще живо и по настоящее время. Возникшее подъ вліяніемъ развитія рѣчи и рѣчью же сохраненное, пониманіе это стало привычнымъ. И теперь еще продолжаютъ за воспринимаемымъ «нѣчто» искать скрытое, какъ основу, которая проявляетъ себя въ этомъ воспринимаемомъ. И теперь еще держатся того мнѣнія, что, помимо скрытой отъ насъ субстанціи, ничто внѣ насъ существующее не можетъ быть понято. Все это показываетъ, до какой степени глубоко коренится въ мышленіи эта привычка и какъ легко еще и теперь принимать привычное за понятое.

Но какъ бы ни цѣнило современное мышленіе это привычкою усвоенное понятіе, все же таки дальнѣйшее развитіе научнаго мышленія должно будетъ, согласно принципу наименьшей траты силъ, мало-по-малу устранить его, такъ какъ понятіе субстанціи явно приноситъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Для подтвержденія этой мысли слѣдуетъ не упускать изъ вида главные моменты въ ходѣ новѣйшаго развитія соотношеній вещей къ ея свойствамъ.

Рано или поздно долженъ былъ наступить моментъ, когда пришлось уразумѣть, что предполагаемыя свойства вещей были ощущеніями воспринимающаго субъекта. Съ этого времени свойства вещей перестали считаться неотдѣлимою принадлежностью этихъ вещей; освободясь отъ первоначальной отъ нихъ зависимости, сами вещи были поставлены въ непосредственное отношеніе къ ощущающему субъекту. Вслѣдствіе этого образовалось различіе между вещью, какъ она представлялась субъекту, и вещью, какъ она была «въ себѣ» (an sich).

Это открытіе «вещи въ себѣ» оказало воздѣйствіе и на развитіе понятія субстанціи. Различеніе вещи «въ себѣ» и вещи «для насъ» основывалось на старинной аперцепціи, приписывавшей вещамъ энергію, воздѣйствующую на другіе субъекты.

Но тотъ же анализъ, который привелъ къ открытію «вещи въ себѣ», показалъ, что и энергія вещи была обусловлена апперцепціей, точно такъ же, какъ субстанція. Субстанція и ея энергія вслѣдствіе этого получили двойственное значеніе: во-первыхъ, какъ вещь въ себѣ и ея реальное воздѣйствіе на субъектъ и, во-вторыхъ, какъ субстанція и причинность въ чисто-субъективномъ смыслѣ. Когда же это двойственное существованіе породило сознаніе заключающагося въ немъ противорѣчія, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и невозможность разрѣшенія этого противорѣчія съ той же прежней точки зрѣнія, тогда образовалось убѣжденіе въ неразрѣшимости этого противорѣчія,—неразрѣшимости, основывающейся на самой природѣ человѣческаго мышленія.

Не слѣдуетъ забывать, однако же, что мышленіе наше не находится въ безусловной зависимости отъ нашей рѣчи. Съумѣвъ освободиться отъ этой пагубной зависимости, мы создадимъ возможность разрѣшенія и указаннаго противорѣчія. Намъ нужно только уразумѣть, что понятіе субстанціи коренится въ условіяхъ развитія языка, а не въ области, внѣ насъ существующей.

И въ настоящее время еще,—заканчивая свое разсужденіе, говоритъ Авенаріусъ,—томится философъ надъ задачею Данаидъ—*познаніемъ* объективной сущности «вещи въ себѣ», измѣряя при этомъ ея познаваемостью или, соотносительно, непознаваемостью границы своего познаванія. Громада духовной силы и добросовѣстной работы расточается на метафизическое опредѣленіе объективированнаго понятія,—на отысканіе аріадниной нити для выхода изъ лабиринта, существующаго только въ мысли самого ищущаго.

Предшествующія разсужденія показали,—говоритъ далѣе Авенаріусъ,—что понятіе субстанціи можетъ быть устранено изъ нашего міроразумѣнія и что существуетъ весьма большое вѣроятіе, что оно должно устраниться при нормальномъ ходѣ умственнаго развитія. Принимая все это во вниманіе, мы должны теперь считать его уже устраненнымъ. Затѣмъ остается только опредѣлить отношеніе движенія къ ощущенію и разсмотрѣть нѣкоторые второстепенные, соотносящіеся сюда, вопросы и такимъ образомъ исчерпать содержаніе и этой послѣдней части резюмированнаго нами изслѣдованія Авенаріуса. Выраженный самыми общими чертами, окончательный результатъ его за-

ключается въ томъ, что все существующее *мыслится* по содержанію своему какъ ощущеніе, по формѣ—какъ движеніе. Авенаріусъ не говоритъ, что все существующее *сводится* къ ощущенію и движенію или, еще менѣе, *есть* ощущеніе и движеніе, но только что оно *мыслится* такимъ образомъ. Онъ остается вѣренъ поставленному имъ въ самомъ началѣ его сочиненія опредѣленію философіи, какъ мышленію о мірѣ, согласно принципу наименьшей траты силъ, и, охраняя себя отъ уклоненія въ метафизическія изысканія, не высказывается о существующемъ (о бытіи), а говоритъ только о томъ, какъ оно намъ мыслится. По этой же причинѣ и вопросъ о сведеніи обоихъ выставленныхъ имъ понятій къ высшему единству одного всеобъемлющаго понятія онъ считаетъ метафизическимъ и оставляетъ открытымъ.

9. Іозефъ Петцольдтъ.

Мы сказали уже, что какъ ни близко подошелъ Авенаріусъ къ разрѣшенію нашего вопроса, но все же не ему, а Петцольдту принадлежитъ честь окончательнаго его рѣшенія. Поправка, вносимая Петцольдтомъ въ воззрѣнія Авенаріуса, относится не къ какой-либо частности или подробности этихъ воззрѣній, но имѣетъ общій, принципіальный характеръ. Намъ необходимо, поэтому, ознакомиться съ тезисомъ Петцольдта по возможности ближе.

Петцольдтъ начинаетъ съ сопоставленія принципа «наименьшей траты силъ» во всякой психической дѣятельности, съ Фехнеровымъ принципомъ «стремленія къ устойчивости» (Prinzip der Tendenz zur Stabilität), представляющимъ въ высшей степени плодотворное обобщеніе и углубленіе ученія Дарвина и раскрывающимъ въ извѣстной мѣрѣ основы всякаго развитія. Сравненіе этихъ двухъ принциповъ,—говоритъ Петцольдтъ,—должно показать, что они тождественны, а добытая такимъ образомъ болѣе общая точка зрѣнія должна бросить новый свѣтъ на значеніе понятія философіи.

Петцольдтъ находитъ, что выставленный Авенаріусомъ принципъ является и недостаточно обоснованнымъ, и недостаточно общимъ. Говоря о цѣлесообразности психическихъ функцій, Авенаріусъ только вскользь указываетъ на соотношеніе этой цѣлесообразности къ поддержанію индивида и намѣренно не развиваетъ дальше своихъ изъясненій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ только мимоходомъ упоминаетъ о приложимости принципа не только къ философіи, но и къ другимъ областямъ, не поддерживая эти указанія никакими объясненіями. Совсѣмъ иначе поступаетъ Фехнеръ: онъ, установляя свой широко охватывающій принципъ, достаточно опредѣленно выясняетъ его всеоб-

щую приложимость. Согласно его взгляду, передаваемому здѣсь въ самомъ сжатомъ изложеніи, всякое движеніе, разсматриваемое отъ его возникновенія до окончанія, т.-е. до перехода двигавшихся элементовъ въ состояніе (относительной) устойчивости, есть развитіе. Развитіе можно разсматривать, слѣдовательно, какъ постепенное устраненіе преградъ и всякаго состязанія вообще, или, формулируя точнѣе, всякое развитіе есть результатъ состязающихся между собою стремленій, а результатъ самого развитія есть (относительная) устойчивость. Всѣ эти тезисы имѣютъ чисто-отвлеченный характеръ; высказывая ихъ, мы отвлекаемся отъ всякаго конкретнаго представленія захватываемыхъ развитіемъ элементовъ. Мы имѣемъ въ виду только отношеніе между элементами, поэтому и говоримъ лишь о препятствіяхъ и ихъ устраненіи, о движеніи и устойчивости элементовъ. Очевидно, однако же, что тезисъ этотъ можетъ одинаково относиться и къ направленнымъ на какой бы то ни было предметъ желаніямъ, и къ устремленнымъ къ какимъ бы то ни было цѣлямъ побужденіямъ, и къ сосредоточеннымъ на какомъ бы то ни было вопросѣ научнымъ мнѣніямъ, и къ добивающимся какого бы то ни было результата политическимъ и соціальнымъ дѣйствіямъ, и т. д.

Если мы,—говоритъ далѣе Петцольдтъ,—замѣчаемъ во всѣхъ родахъ состязаній постоянное приближеніе къ устойчивому состоянію, то, само собою разумѣется, что для нашего опыта можетъ идти рѣчь только объ относительномъ постоянствѣ такой устойчивости. Не касаясь внѣшняго міра, приложеніе къ которому указываемаго здѣсь замѣчанія слишкомъ очевидно, и имѣя въ виду только міръ внутренній, надо будетъ признать, что всѣ *психическія явленія*, которыя можно счесть устойчивыми, всегда существуютъ только въ связи съ относительно-устойчивыми матеріальными состояніями. Условность устойчивости психическихъ состояній вытекаетъ отсюда сама собой. Послѣдніе остатки духовныхъ результатовъ дѣятельности человѣчества исчезнутъ, конечно, на нашей планетѣ вмѣстѣ съ прекращеніемъ человѣческаго рода. Если полный параллелизмъ движенія и ощущенія дѣйствительно существуетъ, то моменты наступленія безусловной устойчивости какъ психической, такъ и физической должны быть связаны между собою неразрывно. Что же касается системъ условной устойчивости, то онѣ вступаютъ, какъ элементы, въ другія системы: наша солнечная си-

стема есть только часть другой, бо̀льшей, составляющей, въ свою очередь, часть слѣдующей, и т. д.; организмы тоже образуютъ новыя устойчивыя состоянія (семейства, государства); науки, взаимно устраняя противорѣчія, имѣющія между ними мѣсто, находятъ свое единство въ философіи и т. д.

Петцольдтъ поясняетъ далѣе, что относительныя устойчивыя состоянія мы обыкновенно считаемъ *цѣлями*, а необходимыя для нихъ осуществленія силы разсматриваемъ какъ *средства*. Всякая система признается нами тѣмъ болѣе цѣлесообразною по своему строю, чѣмъ менѣе встрѣчаемъ мы возможностей къ разстройству какъ ея самой, такъ и отношеній ея къ внѣшнимъ силамъ, т.-е. чѣмъ исключительнѣе служатъ въ ней силы къ ея поддержанію. Полной цѣлесообразности въ природѣ мы не находимъ, а видимъ только въ нашей солнечной системѣ, напримѣръ, приближеніе къ ней. Изъ этого видно, что понятіе цѣлесообразности въ такой же мѣрѣ относительно, какъ и понятіе устойчивости. Мы мѣряемъ здѣсь человѣческою мѣрой. Умы, для которыхъ милліоны лѣтъ имѣли бы такое значеніе, какъ для насъ мгновеніе, усмотрѣли бы въ жизни земного шара столь же мало цѣлесообразности, сколько мы усматриваемъ ее въ мгновенномъ сверканіи молніи; тогда какъ обитатели капли воды переживаютъ мгновенія такъ, какъ мы десятилѣтія. Они, быть можетъ, въ теченіе времени, которое потребно для паденія капли съ облаковъ на землю, выполняютъ самое содержательное и цѣлесообразное существованіе. Замѣтимъ, что мы разсматриваемъ какъ цѣль не исключительно только то, что̀ считается нами устойчивымъ, но можемъ усматривать цѣль и въ томъ, что̀, являясь скоропреходящимъ, служитъ, однакоже, возникновенію или поддержанію чего-либо, способствующаго устойчивому состоянію. Такимъ образомъ, въ ряду причинъ и дѣйствій, направляющихся къ устойчивому состоянію, каждый членъ можетъ разсматриваться какъ средство, по отношенію къ предыдущему моменту, и какъ цѣль, по отношенію къ моменту послѣдующему. Не совсѣмъ поверхностное мышленіе, все же таки, принимаетъ за главную цѣль—цѣль конечную, т.-е. такое состояніе, которое можетъ сохранить относительно постоянную устойчивость.

Авенаріусъ указываетъ,—говоритъ далѣе Петцольдтъ,—на склонность людей къ систематизированію, какъ на ясное доказательство безсознательнаго приложенія принципа наимень-

шей траты силъ. Очевидно, однако же, что въ систематизированіи также какъ и въ стремленіи къ установленію единства, можно видѣть проявленіе побужденія къ устойчивому состоянію, такъ какъ пока система не организована, пока единство не добыто, до тѣхъ поръ мы не можемъ еще считать «развитія» законченнымъ и цѣль его достигнутою. Сочтется же достигнутою цѣль эта тогда, когда наступитъ моментъ покоя, моментъ устойчивости,—тутъ и полученъ будетъ нами научный результатъ умственной работы или фактъ, вѣнчающій нашу практическую дѣятельность.

Полное, дружное приложеніе силъ для установленія устойчиваго состоянія заключается въ цѣлесообразномъ пользованіи ими. «Во всей природѣ,—заключаетъ Петцольдтъ эту часть своего разсужденія,—неизбѣжно царитъ стремленіе къ такому ими пользованію, царитъ принципъ стремленія къ устойчивости», принципъ наибольшей гармоніи. Этотъ принципъ и долженъ заключать въ себѣ то, что̀ выражено у Авенаріуса «принципомъ наименьшей траты силъ». Въ немъ слѣдуетъ видѣть не только основоположеніе психической жизни, какъ думаетъ Авенаріусъ, но и основоположеніе для всѣхъ естественныхъ явленій, поскольку эти послѣднія являются процессами развитія и устойчивыми состояніями.

Продолжая изслѣдованіе принципа Авенаріуса, Петцольдтъ переходитъ къ разсмотрѣнію того истолкованія, которое предоставляетъ этому принципу самъ Авенаріусъ. На первыхъ же страницахъ его труда мы читаемъ, что «всякое рѣшеніе той или иной задачи придется счесть тѣмъ болѣе цѣлесообразнымъ, чѣмъ менѣе силъ будетъ при этомъ потрачено напрасно,—чѣмъ болѣе будетъ ихъ сохранено для другихъ дѣйствій; мы всегда почтемъ данную силу тѣмъ цѣлесообразнѣе приложенною, чѣмъ значительнѣе будетъ полученный чрезъ ея посредство результатъ». Вторая часть этого положенія, по мнѣнію Петцольдта, останется до тѣхъ поръ лишенною всякаго уловимаго смысла, пока у насъ не будетъ масштаба, которымъ мы могли бы опредѣлить размѣръ получаемыхъ нами результатовъ. На самомъ дѣлѣ, всѣ наличныя потенціальныя или кинетическія силы производятъ на каждый данный моментъ все то, что̀ онѣ вообще произвести могутъ. Съ точки зрѣнія чистой механики, а, слѣдовательно, и съ точки зрѣнія чистой психо-физики, нельзя, притомъ же, и говорить о бо̀льшемъ или меньшемъ результатѣ.

Всѣ результаты показываютъ совокупность затраченныхъ силъ и, объективно, ни одинъ не имѣетъ преимущества передъ другимъ. Только субъективное, телеологическое сужденіе дѣлитъ ихъ на цѣлесообразныя и нецѣлесообразныя, на бо́льшія и меньшія, въ зависимости отъ того, много или мало способствуютъ онѣ установкѣ устойчиваго состоянія. На основаніи этихъ соображеній, намъ слѣдуетъ, въ видахъ бо́льшей точности, сформулировать тезисъ Авенаріуса такимъ образомъ: данная сила будетъ считаться приложенною тѣмъ цѣлесообразнѣе, чѣмъ значительнѣе окажется ея дѣйствіе для достиженія устойчиваго состоянія.

Слѣдуетъ еще не упускать изъ вида и того обстоятельства, что фактическое рѣшеніе всякой задачи неизбѣжно совершается всегда при наименьшей затратѣ силъ. Опредѣленно-ограниченный результатъ всегда является эквивалентомъ опредѣленнаго количества силъ, не болѣе. Когда предъявляется требованіе рѣшить какую-нибудь задачу наивозможно-меньшими средствами, то при этомъ не имѣютъ въ виду, конечно, чтобы требуемый результатъ явился выраженіемъ наименьшей суммы силъ, а стараются только, чтобы, кромѣ желаемаго результата, не были вовсе тратимы силы на полученіе другихъ, побочныхъ результатовъ. Въ этомъ смыслѣ только и можемъ мы принимать указаніе на наименьшую трату силъ въ тезисѣ Авенаріуса и только сообразно этому толкованію можемъ понимать и самый тезисъ.

Представивъ вслѣдъ затѣмъ короткое резюме извѣстнаго уже намъ приложенія принципа Авенаріуса къ мышленію вообще и философскимъ обобщеніямъ въ особенности, Петцольдтъ приступаетъ къ изложенію той поправки, которую, по его убѣжденію, необходимо внести въ воззрѣнія Авенаріуса. Поправка эта не имѣетъ въ виду расширенія понятія философіи, но только приданіе понятію ея бо́льшей опредѣленности, вытекающей изъ положеній, установленныхъ самимъ же Авенаріусомъ, частью въ его книгѣ «*Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip d. k. K.*», частью въ статьѣ «*Ueber die Stellung der Psychologie zur Philosophie*», помѣщенной въ его же философскомъ журналѣ въ 1877 году.

Изъ двухъ задачъ теоретическаго мышленія: *установленія* (соотнос. усвоенія) системы понятій и *приложенія* ея къ внѣшнему и внутреннему міру,—интересуетъ насъ теперь только

первая. И такъ какъ дѣло идетъ собственно объ опредѣленіи отношенія между философіей и отдѣльными науками, то мы, оставляя въ сторонѣ вопросъ о происхожденіи понятій, констатируемъ только, что всѣ науки стремятся, какъ къ идеалу, къ такому строю, который представлялъ бы замкнутую, послѣдовательную, свободную отъ противорѣчій, полную и общепризнанную систему; иначе говоря, всѣ науки стремятся къ устойчивому состоянію. Изъ этого видно, что, разсматривая задачу каждой науки въ отдѣльности, надо сказать, что задача эта заключается въ приложеніи принципа наименьшей траты силъ къ мышленію объ отдѣльныхъ частяхъ міра; сопоставляя же всѣхъ ихъ и предполагая ихъ законченными, намъ придется сказать, что сумма ихъ отвѣчаетъ мышленію о мірѣ, какъ цѣломъ, согласно нашему принципу. Авенаріусъ, какъ извѣстно, отвергаетъ осуществимость этого послѣдняго результата на томъ основаніи, что отдѣльныя науки не избираютъ всей совокупности существующаго предметомъ своихъ изслѣдованій и не могутъ поэтому выработать высшаго, абсолютно-всеобщаго понятія, охватывающаго все существующее, а установляютъ только тѣ понятія, которыя имѣютъ значеніе высшихъ по отношенію къ спеціальнымъ областямъ изслѣдованія. Изъ этихъ общихъ, предварительно очищенныхъ спеціальными науками, понятій выдѣляетъ ужъ философія все то, что находитъ въ нихъ общаго. Петцольдтъ возражаетъ противъ такого заключенія, указывая на отсутствіе какихъ бы то ни было рѣзко-очерченныхъ границъ между отдѣльными науками, какія предполагаются приведеннымъ выше взглядомъ Авенаріуса. Петцольдтъ утверждаетъ, что, напротивъ того, отдѣльныя науки, по свойству своихъ объектовъ, находятся неизбѣжно между собою по взаимодѣйствіи. Относительно наукъ естественныхъ признаетъ это взаимодѣйствіе и Авенаріусъ; но онъ не доводитъ разсужденія своего до конца. Нельзя не признать, что отдѣльныя науки принуждены, благодаря ихъ взаимодѣйствію, исправлять одна у другой важныя основныя положенія. Физикѣ и химіи приходится вырабатывать соглашеніе относительно понятія атомовъ. Подобная же взаимность существуетъ между геологіей и біологіей, физикой и физіологіей, физіологіей и психологіей,— вездѣ проявляются разнообразнѣйшія соотношенія, вездѣ объявляются настоятельныя требованія обоюднаго приспособленія посредствомъ устраненія противорѣчій, помѣхъ, излишествъ;

вездѣ—стремленіе къ конечному устойчивому состоянію,—къ такому состоянію, въ которомъ могло бы найти покой теоретическое мышленіе. Если же мы предоставимъ спеціальнымъ наукамъ не только взаимно совершенствовать ихъ частныя понятія, но возложимъ еще на нихъ выработку и высшихъ понятій ихъ областей изслѣдованія, не признавая такой работы философскою, то почему бы не потребовать отъ нихъ установки и самаго высшаго общаго понятія, какъ увѣнчанія ими же самими воздвигнутаго зданія; зачѣмъ считать нужнымъ относить эту работу, качественно ничѣмъ не отличающуюся отъ предыдущей, къ какому-то особенному, не естественно-научному, а философскому мышленію? Вѣдь, допускаетъ же самъ Авенаріусъ, что психологія, находившаяся прежде въ полной зависимости отъ философіи, пріобрѣла въ настоящее время полную самостоятельность, отнявъ у философіи существенную часть ея задачи. Эта часть заключается, однако же, не менѣе какъ въ самомъ основномъ ея понятіи, томъ понятіи, которымъ охватывается все существующее. Если, по Авенаріусу, результатомъ психологическаго изслѣдованія слѣдуетъ считать положеніе, что мы мыслимъ міръ матеріально—какъ ощущеніе, формально—какъ движеніе, то, вѣдь, это положеніе и составляетъ содержаніе философіи.

Петцольдтъ не находитъ нужнымъ входить въ разсмотрѣніе вопроса о томъ, слѣдуетъ ли признать результатъ этотъ правильнымъ, или ожидать новыхъ изслѣдованій, могущихъ дать новый укладъ мышленія о мірѣ, или, наконецъ, остановиться на той мысли, что въ настоящее время не существуетъ еще возможности принять какой-либо законченный взглядъ, — онъ имѣетъ въ виду только указаніе на необходимость не только ожидать отъ спеціальныхъ наукъ, но и требовать отъ нихъ или одного абсолютно-общаго, или, если потребуется, нѣсколькихъ абсолютно-общихъ понятій *). Въ выработкѣ такого именно понятія или такихъ понятій и слѣдуетъ видѣть, какъ то всегда и было, задачу философіи.

Но философское мышленіе,—продолжаетъ далѣе Петцольдтъ,—характеризуется не однимъ тѣмъ, что оно направлено *только*

---

[1]) О закономѣрности пользованія терминомъ абсолютный см. наши *Этюды и очерки*, стр. 327 и слѣд. (Въ этомъ томѣ см. статью «Философская ипохондрія»).

на общую совокупность существующаго, хотя черта эта, какъ показалъ Авенаріусъ, и существенна, но еще и въ томъ, что оно стремится отнестись, по возможности, непредубѣжденно къ даннымъ отдѣльнымъ явленіямъ и связываетъ это стремленіе съ своимъ взглядомъ на цѣлое. Эта сторона мышленія, какъ справедливо указывалъ уже Махъ, и придаетъ воззрѣніямъ собственно философскій характеръ; она присуща всякому великому философу. *Философія не принадлежитъ къ числу отдѣльныхъ наукъ: ни по особенности своего содержанія, ни по особливости того общаго понятія, которое могло бы отрознить ее отъ совокупности спеціальныхъ дисциплинъ;* она заключается исключительно въ томъ всеохватывающемъ, непредубѣжденномъ мышленіи, которое всѣ отдѣльныя части цѣлаго связываетъ живыми отношеніями и такимъ образомъ создаетъ для себя по отношенію къ явленіямъ спокойную обезпеченность. Между истинною наукой и истинною философіей противорѣчія не существуетъ. Для дѣйствительно плодотворной и сознательной работы обѣ должны идти непремѣнно рука объ руку: философъ, наблюдающій за общимъ направленіемъ подвигающейся впередъ работы человѣческой мысли, долженъ непосредственнымъ вмѣшательствомъ въ спеціальные труды исправлять ихъ; а спеціалистъ не долженъ терять изъ вида общаго направленія, для того, чтобы всегда понимать свое положеніе и не намѣчать такихъ «научныхъ результатовъ», которые въ высшей степени безразличны для цѣлаго и способны только возбуждать у проницательныхъ наблюдателей сожалѣніе о напрасно растраченныхъ силахъ. Спеціалистъ, ничего не вѣдающій о великомъ пути всей вообще науки, подобенъ отдѣльному солдату въ арміи, который хотя и работаетъ для однѣхъ съ нею цѣлей, но остается въ невѣдѣніи о нихъ, а потому легко можетъ преувеличить значеніе своихъ дѣйствій или умалить значеніе дѣятельности другихъ; онъ идетъ безсознательно, а потому не свободно; онъ—орудіе развивающагося дѣла; если его не поведутъ другіе, онъ, всего вѣроятнѣе, направится скорѣе по ложному, нежели по вѣрному пути.

Подходя къ концу своего разсужденія, Петцольдтъ ставитъ вопросъ: какъ далеко можетъ идти философское мышленіе, не теряя права на это названіе? Изъ предыдущаго видно,—говоритъ онъ, отвѣчая на этотъ вопросъ,—что предѣлы тутъ могутъ быть поставлены одними только индивидуальными даро-

ваніями, вообще же установить предѣлы эти нельзя. По Авенаріусу, искать ихъ надо тамъ, гдѣ оканчивается пониманіе природы или вообще пониманіе. Всякая наука вынуждена остановиться на какихъ-нибудь фактахъ, не разлагающихся на болѣе простые, и пренебречь всякимъ трансцендентнымъ объясненіемъ; факты эти, образуя «чистый опытъ», указываютъ на одну границу пониманія, тогда какъ двѣ другія границы находятся въ сторонѣ абсолютно-простого и абсолютно-общаго понятія (или понятій, если сведеніе ихъ къ единству окажется несущественнымъ). Въ этихъ границахъ и совершается систематизированіе понятій, привносимыхъ спеціальными науками,—понятій, которыя ранѣе того имѣли свой собственный, весьма, притомъ, высокій интересъ, но которыя теперь получаютъ интересъ собственно философскій. Ясное расчлененіе и гармоническая законченность созидаемаго цѣлаго не должны быть теряемы изъ вида тѣми, которые слѣдятъ за его устроеніемъ. Это цѣлое, эта система имѣютъ для мышленія нашего громадное значеніе, такъ какъ завершеніе ихъ и есть достиженіе настоящей цѣли теоретическаго мышленія—устойчиваго состоянія. Философія всегда много хлопотала объ упрежденіи этого устойчиваго состоянія, хотя попытки ея удавались и рѣдко. Выработка общаго понятія не есть дѣло специфически-философской умственной дѣятельности: это—дѣло общей совокупной работы спеціальныхъ наукъ. То, что Авенаріусъ называетъ «укладомъ философіи», находится въ полной зависимости отъ развитія отдѣльныхъ наукъ. *Нѣтъ такой отдѣльной науки—«философіи», которая обладала бы средствами для выработки въ основныхъ чертахъ законченнаго міровоззрѣнія безъ помощи наукъ о природѣ и при посредствѣ предвосхищенія ихъ результатовъ.* Мышленіе окажется запечатлѣннымъ философскимъ характеромъ только тогда, когда единичное будетъ охватываться взглядомъ, устремленнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и на цѣлое, и когда представленіе цѣлаго въ свою очередь будетъ привлечено для разсматриванія единичнаго.

Такъ оканчиваетъ Петцольдтъ свое критико-философское изслѣдованіе, и вмѣстѣ съ нимъ оканчивается и наше изложеніе воззрѣній того ряда мыслителей, на которыхъ мы остановились, какъ на представителяхъ послѣдней эволюціи научно-философской мысли. Намъ остается теперь сказать еще только нѣсколько заключительныхъ словъ.

ГЛАВА V.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Читатель, имѣвшій терпѣніе прослѣдить за нашими разысканіями до конца, могъ убѣдиться, конечно, что искомый отвѣтъ найденъ. Отвѣтъ этотъ представляетъ не плодъ мечтательности какого-нибудь уединеннаго философа, а послѣднее, заключительное звено умственной работы цѣлаго ряда мыслителей,—завершеніе сложной философской эволюціи, въ которой желанія, вкусы, настроенія и тенденціи отдѣльныхъ личностей оказываются совершенно поглощенными общимъ направленіемъ мысли, постепенно подвигавшейся по точно-опредѣленному руслу научнаго изслѣдованія. Оригинальность принадлежитъ тутъ не отдѣльно взятому звену, не индивидуальному творчеству, а всей эволюціи, всему ряду усилій коллективной мысли добиться общаго результата научной работы нашего вѣка и выразить его съ той ясностью и опредѣленностью, которыя разъ навсегда отдѣлили бы его рѣзкою чертой отъ всякаго попятнаго движенія или безсознательной остановки, принимаемой за движеніе поступательное.

Уже Риль выяснилъ, что только поэтическія произведенія руководятся *единствомъ* какой-нибудь идеи и выполняются *одною* какою-нибудь личностью, тогда какъ дѣло науки—результатъ общей, связной работы *многихъ*. Одинъ изъ нашихъ профессоровъ, именно покойный Милославскій, хотя и метафизикъ въ душѣ, не могъ не замѣтить, однакоже, что развитіе научно-философскихъ идей мало связывается съ именами и личностями, «такъ какъ самая наука не есть исключительное произведеніе и достояніе какой-нибудь одной головы, и не одинъ открываетъ законы природы и строитъ научныя обобщенія.

Какой-нибудь абсолютный философскій принципъ не могъ быть придуманъ или найденъ десятерыми заразъ, и прежнія философскія системы съ начала до конца создавалъ какой-нибудь одинъ умъ и становился центромъ, главою, учителемъ своего оригинальнаго философскаго мышленія. Напротивъ, современныя научныя умозрѣнія вырабатываются и развиваются цѣлыми массами ученыхъ и не замыкаются въ школѣ какого-нибудь именитаго философа». «Философія, въ смыслѣ какой-нибудь исключительной системы, отождествленной съ метафизикой, находится въ упадкѣ и, по распространенному мнѣнію, вся безъ остатка сдается въ архивъ, а на дѣлѣ, которое отъ мнѣнія и воли людей зависитъ мало, во всѣхъ просвѣщенныхъ странахъ и особенно въ Германіи выражается настойчивая потребность въ философіи» [1]).

Таковы характеристическія черты того пути, съ которымъ мы только-что ознакомились. Оглянемся назадъ и отдадимъ себѣ отчетъ въ его истинномъ значеніи.

Припомнимъ прежде всего, что еще ранѣе, чѣмъ мы приступили къ отчету о работахъ, давшихъ окончательный отвѣтъ на поставленный нами вопросъ, намъ пришлось распознаться среди тѣхъ продуктовъ философской мысли, которые вообще являются въ настоящее время подъ именемъ позитивной или научной философіи. Устранивъ отъ сферы нашего разсмотрѣнія Контовскій позитивизмъ и всѣ его развѣтвленія, а также и «научную философію», вдохновляющуюся «синтетическою системой» Спенсера, мы рѣшили прослѣдить только за тѣмъ направленіемъ научной мысли, которое примыкаетъ къ философскому критицизму въ широкомъ значеніи этого термина. Имѣя въ виду представителей этого направленія въ Англіи и Германіи, мы сосредоточили, главнымъ образомъ, наше вниманіе надъ научно-философскою школой, имѣющею значительную группу представителей въ послѣдней изъ этихъ странъ, и намѣтили ихъ, какъ такихъ, которые могутъ дать намъ «самое опредѣленное, полное и ясное рѣшеніе нашего основного вопроса».

Ознакомивъ читателей съ главнѣйшими моментами развитія научно-философской мысли, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, дали и ту точку зрѣнія, съ которой всѣ отмѣченныя нами явленія распо-

---

[1]) *П. Милославскій.* «Типы современной философіи въ Германіи», стр. 280—281.

лагаются въ извѣстной перспективѣ. Намъ представляется поэтому совершенно излишнимъ останавливаться теперь надъ попытками смѣшенія моментовъ, характеризующихъ *эволюцію*, съ тѣми, которые соотвѣтствуютъ *устойчивому состоянію*. Проведенію различія, о которомъ идетъ рѣчь, посвящено такъ много мѣста въ нашей работѣ, что для не понимающихъ или не желающихъ понять насъ мы ничего уже прибавлять не станемъ.

Мы сказали во «введеніи», что установленіе теоріи познанія, какъ отдѣльной самостоятельной науки, отняло у философіи стараго типа ея послѣднее достояніе и лишило крова и пріюта всѣ пустыя безсодержательныя понятія и что такимъ образомъ положеніе философіи, какъ отдѣльной науки, потеряло почву. Подъ вліяніемъ этого факта сталъ вырабатываться тотъ взглядъ на общее значеніе философіи, который является заключительнымъ звеномъ разсмотрѣнной нами эволюціи: философія стала такимъ знаніемъ дѣйствительности, при которомъ представленіе цѣлаго привлекается для изученія единичнаго, а единичное охватывается взглядомъ, устремленнымъ на цѣлое.

Итакъ, саморазложеніе философіи стараго типа и, параллельно этому саморазложенію, совершившійся разростъ положительнаго знанія самобытно привели къ принципіальному рѣшенію поставленнаго нами вопроса. Рѣшеніе это со всѣми его мотивами, доводами и разъясненіями открыто предлежитъ теперь разсмотрѣнію и изученію всякаго, привлекаемаго къ тому такими или иными побужденіями; но это не значитъ еще, чтобы метафизика перестала существовать и фактически, чтобы всѣ поклонники ея внезапно прозрѣли ея несостоятельность и оцѣнили значеніе новой истины. Ничего такого, само собою разумѣется, произойти не можетъ; метафизика осталась, какъ переживаніе, и въ силу реакціи должна была даже проявить не стимулированный ранѣе запасъ энергіи и дать новый распространяющій своего рода благоуханіе пустоцвѣтъ. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда «неутолимая жажда познанія» является предметомъ гордости, внушающей мысль о возвышенности присущихъ личности стремленій; когда жизнь, съ ея такъ часто идущей въ разрѣзъ съ личными хотѣніями и пареніями фантазіи суровою дѣйствительностью, представляется грубою и низменною; когда просторная и податливая область творчества, въ противоположеніи съ житейскою юдолью, выставляется какъ

превыспренній міръ идей и непзреченныхъ созерцаній и во многихъ другихъ, подобныхъ,—метафизика остается и навсегда останется убѣжищемъ непзмѣннаго и сладостнаго успокоенія. Поэтическія души, импульсивныя натуры, волнуемыя побужденіями, подвергать которыя анализу имъ не подъ силу, не перестаютъ и не перестанутъ возвращаться къ самымъ разнообразнымъ формамъ отжитаго, какъ къ залогу блаженства, опирающемуся на опытъ вѣковъ. Всегда найдутся усердные Лаваны, которые ради этой цѣли станутъ ревностно рыться въ хламѣ, спѣшно и страстно разыскивая тѣ кумиры, которые они привыкли считать священными;—найдутся лукавыя Рахили, которыя охотнѣе солгутъ, нежели допустятъ потерю права на обладаніе этими источниками благополучія. Вокругъ этихъ персонажей всегда наберутся своего рода статисты—тщеславное и лицемѣрное ничтожество, которые постараются произвести вокругъ себя побольше шуму и пойдутъ на все, лишь бы получить возможность казаться чѣмъ-нибудь. Громкихъ фразъ, искусственной тьмы и напускной восторженности всегда будетъ конечно, не менѣе, чѣмъ сколько ихъ имѣется въ обращеніи и въ настоящее время, и метафизика не одинъ еще разъ, конечно, переживетъ такую эпоху, когда «со всевластнымъ произволомъ и нескрываемымъ пренебреженіемъ станутъ трактовать результаты научнаго изслѣдованія, станутъ извращать и коверкать ихъ до тѣхъ поръ, пока они не подойдутъ подъ требованія «системы», или просто-напросто пренебрегутъ ими и скажутъ, что они *упразднены*».

Такъ живетъ и цвѣтетъ метафизика, а между тѣмъ идетъ своимъ чередомъ и жизнь положительнаго знанія, въ средѣ представителей котораго, само собою разумѣется, растетъ и крѣпнетъ сознаніе своей силы и, соотносительно, растетъ отрицательное отношеніе къ созерцанію. Все это, съ извѣстной точки зрѣнія, представляется «фанатизмомъ трезвомыслія» и «метафизиконенавистничествомъ», совершенно не соотвѣтствующимъ пытливости духа и ничуть нежелательнымъ [1]). Намъ, однакоже, трезвомысліе это и это отвращеніе къ празднословію особенно интересно, и мы съ большимъ удовольствіемъ теперь къ нимъ опять возвращаемся.

[1]) См. «Ueber die gegenwärtige Lage der deutschen Philosophie». Akademische Antrittsrede gehalten von Dr. *Richard Falkenberg*. Leipzig. 1890, S. 11.

Здѣсь на первомъ планѣ слѣдуетъ поставить тотъ «методъ элиминаціи», который былъ охарактеризованъ ранѣе. Авенаріусъ, какъ мы уже знаемъ, былъ первымъ, заговорившимъ о немъ и выработавшимъ при помощи его понятіе «чистаго опыта». Сопоставляя съ положеніями Авенаріуса взгляды писателей, охарактеризованныхъ нами выше, мы можемъ констатировать, что и всѣ они, несомнѣнно, шли къ «чистому опыту» тоже путемъ «элиминаціи» и что такъ двигалось дѣло съ самаго родоначальника научнаго направленія въ философіи—Давида Юма.

Первою характеристическою чертою эволюціи, о которой мы теперь говоримъ, является, такимъ образомъ, «поворотъ къ Юму», поглощающій собою тотъ «поворотъ къ Канту», о которомъ говорено было выше. Логическая необходимость «поворота къ Юму», вытекающая сама собою изъ всего того умственнаго движенія, которое мы старались намѣтить въ его главныхъ очертаніяхъ, была недавно констатирована и съ другой точки зрѣнія. «Въ настоящее время,—говорилъ Максъ Рунце въ 1885 году,—въ силу послѣдовательности назрѣваетъ убѣжденіе, что для правильной оцѣнки Канта и Кантовскаго движенія необходимо воротиться къ Юму. Что до меня касается, я считаю именно Юма основателемъ теоріи познанія и, вообще говоря, исходнымъ пунктомъ научной философіи [1]).

Указаніе на Юма, какъ на личность, занимающую такое высокое историческое положеніе, необходимо требуетъ опредѣленія относительнаго его значенія для каждаго изъ послѣдующихъ періодовъ развитія научной философіи и намѣчаетъ характеръ той критической оцѣнки, съ которою слѣдуетъ подходить къ нему въ настоящее время. Вполнѣ правильно будетъ поэтому всегда помнить и по отношенію къ Юму то замѣчаніе, которое было сдѣлано однимъ изъ изслѣдователей періода, ему предшествовавшаго, а именно, что «Юмъ, какъ представитель своей эпохи, могъ отвѣчать только на возраженія, предъявленныя его современниками, и если мы теперь можемъ ставить ему новыя, то этимъ мы никому другому, какъ ему, и обязаны». Настаивать на недостаточности Юма для настоящаго времени—не великое дѣло, какъ вѣрно замѣтилъ Сиджвикъ; но нелѣпо

[1]) Мнѣніе это высказано при преніяхъ о тезисахъ Штукенберга въ Берлинскомъ философскомъ обществѣ 28 февраля 1885 г. (См. «Grundprobleme in Hume». Vortrag von Prof. *J. H. W. Stuckenberg* nebst der dabei stattgehalten Discussion. Halle a. S. 1887).

твердить, будто научный методъ несостоятеленъ, потому что остается еще сдѣлать кое-что для его усовершенствованія, какъ то замѣтилъ Клиффордъ [1]). Поворотъ къ Юму означаетъ поэтому не возстановленіе всей совокупности Юмовыхъ положеній, а только возстановленіе направленія и духа Юмовой философіи. Дешевые лавры легкаго торжества надъ Юмомъ нисколько не обезпечиваютъ поэтому торжества надъ тѣмъ направленіемъ, въ исходномъ пунктѣ котораго мы видимъ Юма. Замѣтимъ при этомъ, однако же, что такое историческое положеніе Юма вполнѣ указываетъ на его высокое значеніе для современной философіи и въ достаточной мѣрѣ оправдываетъ то вниманіе, которое онъ въ настоящее время все болѣе и болѣе къ себѣ привлекаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ Юмѣ мы видимъ великій свѣточъ, озаряющій путь цѣлаго ряда поколѣній, чтимъ разумъ свѣтлый, плодотворный, геніальный, отличающій «мудреца въ полномъ значеніи слова» [2]).

Мы видѣли, какъ шла далѣе работа, начало которой было положено Юмомъ. Если мы припомнимъ теперь приведенныя выше характеристическія черты ея и примемъ во вниманіе, что выработка принципа коррелативизма была тою почвою, на которой Лаасъ прочно утвердилъ элиминаціонный методъ, хотя еще и не называемый, но обозначенный уже весьма опредѣ-

[1]) «Lectures and Essays» bythe late *W. K. Clifford*. London, 1886, p. 34.

[2]) *A. Riehl* o. c. I, S. 71. Иначе смотритъ на Юма г. Козловъ. Говоря объ «очищеніи» Юмомъ философіи отъ метафизики, г. Козловъ старается насъ увѣрить, что Юмъ «поступилъ съ философіей какъ Крыловскій крестьянинъ, чистившій червонецъ пескомъ, дресвой и мѣломъ; червонецъ сталъ чистъ и блестящъ, какъ жаръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ потерялъ прежній вѣсъ и цѣну». Г. Козловъ ставитъ себя, такимъ образомъ, въ то самое положеніе, въ которомъ стоитъ къ крестьянину Крыловъ, считающій этого крестьянина, по безпредѣльному благодушію своему, только «простакомъ». Выходитъ, что Юмъ—простакъ, не то, что г. Козловъ, а кто такіе всѣ эти Милли, Лаасы, Авенаріусы—и говоритъ ужъ нечего. Если мы припомнимъ, что всѣ они продолжали чистить ужъ обезцѣненный Юмомъ червонецъ, то едва ли сможемъ угадать тѣ эпитеты, которыми наградитъ ихъ г. Козловъ, когда возмутительный фактъ этотъ дойдетъ до его свѣдѣнія. Или, быть можетъ, совершаемое г. Козловымъ попятное движеніе настолько увлечетъ его въ глубь вѣковъ, что «голосъ» нашихъ злосчастныхъ философовъ никогда не достигнетъ его слуха. Когда бъ то! По крайней мѣрѣ, идеи этихъ «истинныхъ мыслителей» не подвергнутся тому передергиванію, котораго, подъ перомъ г. Козлова, не избѣгъ, какъ то было доказано критикомъ компетентнымъ и къ г. Козлову снисходительнымъ, и самъ Юмъ.

ленно въ анализѣ, устраняющимъ математизированіе, раціонализированіе и спиритуализированіе мышленія и предостерегающемъ отъ стремленія къ постиженію сущностей, раскрытію абсолюта и т. п., то уяснимъ себѣ вполнѣ связь этого принципа съ понятіемъ «чистаго опыта». Если же вмѣстѣ съ тѣмъ мы не упустимъ изъ виду, что потребность очищенія мышленія-обусловливающая «методъ элиминаціи», предполагаетъ приложеніе принципа «наименьшей траты силъ»,—принципа, плодотворно приложимаго только при сведеніи количества элементовъ всякаго даннаго ряда къ минимуму, то ясно представимъ себѣ, какимъ образомъ принципъ этотъ обусловливаетъ устойчивое состояніе элементовъ даннаго ряда и указываетъ на минованіе надобности въ новой затратѣ силъ. Приводя на память отдѣльныя положенія, выработанныя тѣми мыслителями, о которыхъ говорено было выше, намъ придется признать, что эти положенія въ такой же мѣрѣ отвѣчаютъ принципу коррелативизма, какъ и элиминаціонному методу. Въ самомъ дѣлѣ, различеніе знанія отъ пониманія, отверженіе объективированія понятій, выдѣленіе чисто-субъективнаго элемента понятій и стремленія къ установленію знанія въ объективномъ его значеніи, вполнѣ отвѣчаютъ тѣмъ стадіямъ эволюціи, которая въ концѣ-концовъ приводитъ къ послѣднему выводу элиминаціоннаго метода, формулированному въ предшествовавшей главѣ. Далѣе, въ извѣстныхъ намъ тезисахъ Лааса, какъ было только-что замѣчено, въ идеяхъ Риля, такъ ярко выставляющаго отрицательное отношеніе къ метафизическимъ измышленіямъ, не устранимымъ безъ критики понятій, точно также очень ярко обнаруживается работа того же характера. У всѣхъ этихъ мыслителей, очевидно, идетъ разработка метода элиминаціи и, несомнѣнно, подготовляется отрицательное отношеніе къ признанію философіи отдѣльною наукой: у однихъ философія всецѣло сводится къ теоріи познанія, у другихъ она является какъ синтезъ наукъ; нигдѣ нѣтъ яснаго обозначенія обособленности ея предмета и метода. Многое, правда, остается еще неполнымъ, недосказаннымъ, половинчатымъ; происходитъ это вслѣдствіе нѣкоторыхъ заимствованій у метафизики—у однихъ, скрытому тяготѣнію къ идеализму—у другихъ [1]), или отъ неправильной

[1]) У Гёфдинга, по его собственному признанію. См. «*Archiv für Geschichte der Philosophie*». Band II, Heft 1, S. 74.

гносеологической оцѣнки результатовъ научнаго метода, или отъ ошибочнаго взгляда на объемъ ихъ охвата. Читатель, прослѣдившій за нашимъ изложеніемъ, замѣтилъ, конечно, какъ ошибки и недомолвки однихъ исправляются и пополняются другими, и оцѣнилъ, вѣроятно, важность коллективной выработки понятій [1]). Мы знаемъ уже, что элиминаціонный методъ получаетъ полное раскрытіе у Авенаріуса, но нельзя не признать, что въ установленіи принципа экономизаціи силъ у Фольца и Маха мы встрѣчаемъ уже весьма послѣдовательное и широкое приложеніе этого метода. Въ борьбѣ противъ раціонализированія опыта, въ отстаиваніи первенствующаго значенія фактовъ, въ твердомъ проведеніи взгляда на познаваніе, какъ на процессъ приспособленія мысли къ дѣйствительности, а также и многихъ другихъ положеніяхъ, развиваемыхъ этими двумя писателями, мы видимъ уже начало установленія понятія «чистаго опыта», получающаго окончательную выработку у Авенаріуса. У Авенаріуса же впервые высказывается, наконецъ, мысль, что между философіей и наукой можно установить только условное или даже произвольное различіе, что философія перестаетъ быть наукой въ обычномъ значеніи этого слова и остается только какъ философское, на единство предмета изученія направленное мышленіе. Но за всѣмъ тѣмъ все еще встрѣчаемъ здѣсь разсужденіе объ укладѣ философіи; тѣнь отдѣльной науки еще продолжаетъ мелькать и какъ бы ищетъ себѣ точки опоры. Нужно еще одно, послѣднее усиліе—и призракъ этотъ, наконецъ, исчезаетъ безповоротно. Петцольдтъ договариваетъ мысль Авенаріуса до конца, онъ подводитъ принципъ наименьшей траты силъ подъ болѣе общее понятіе развитія или эволюціи, показываетъ, что наименьшая трата силъ есть только форма состязанія конкурирующихъ элементовъ и выясняетъ значеніе заключительнаго момента эволюціи—устойчиваго состоянія. Съ этой точки зрѣнія философія, какъ отдѣльная наука, теряетъ свой raison d'être. Выдѣлить ее, какъ самостоятельный элементъ, играющій свою опредѣленную роль въ процессѣ эволюціи, становится невозможнымъ потому, что

[1]) Мы имѣемъ въ виду ошибки и недомолвки чисто-философскаго характера, такъ какъ умолчаніе объ ошибкахъ историческихъ, къ числу каковыхъ можно отнести, напримѣръ, сведеніе Рилемъ *всей* греческой науки къ метафизикѣ, или педагогическихъ, встрѣчающихся у Гёринга и Лааса, не имѣетъ для насъ ровно никакого значенія.

такое выдѣленіе было бы и предвосхищеніемъ результата эволютивнаго процесса, и смѣшеніемъ средствъ съ цѣлью—состоянія и устойчивости. Признаніе ея отдѣльною наукой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выразительницей устойчиваго состоянія всѣхъ элементовъ, принимавшихъ участіе въ эволюціи, дѣлается немыслимымъ, такъ какъ такое признаніе грѣшило бы внутреннимъ противорѣчіемъ и, все же-таки, не могло бы создать для философіи какое бы то ни было содержаніе, способное отрознить ее отъ общей совокупности спеціальныхъ дисциплинъ. Философія, такимъ образомъ, перестаетъ быть отдѣльною наукой; она выходитъ изъ того ложнаго положенія, которое создавало ей столько недоразумѣній и являлось источникомъ столькихъ, какъ сказалъ бы Лаасъ, конвульсивныхъ измышленій. Истинное ея значеніе—быть мѣрою высоты научнаго отвлеченія, показательницей ширп научнаго обобщенія, выразительницей характера науки, проявляющемся въ охватываніи единичнаго взглядомъ, устремленнымъ на цѣлое, и привлеченіи представленія цѣлаго для разсматриванія единичнаго. Ничего болѣе нельзя требовать отъ науки и ея философіи. Нельзя не согласиться поэтому съ Авенаріусомъ, что терминъ «научная философія» слѣдуетъ считать плеоназмомъ, оправдываемымъ только тѣмъ обстоятельствомъ, что истинное понятіе философіи остается и до сихъ поръ невыясненнымъ. Научную философію все еще представляютъ себѣ однимъ изъ направленій отдѣльной науки—философіи—и не хотятъ видѣть въ ней упраздненіе всѣхъ этихъ направленій, устраненіе этой мнимой философіи и замѣну всевозможныхъ созерцаній и мечтаній положительными результатами наукъ. Нашелся даже «проницательный» философъ, который въ терминѣ «научная философія» усмотрѣлъ «рекламный характеръ»: но философъ этотъ и самъ не понималъ, конечно, что прорицалъ. Ужели называть общій результатъ всѣхъ наукъ научнымъ менѣе основательно, чѣмъ выдавать лицемѣріе и празднословіе за философію?

Всякій, кто вникнетъ въ разсматриваемый нами вопросъ, убѣдится, конечно, что какое бы то ни было рѣшеніе, уклоняющееся отъ указываемаго нами, не можетъ не быть искусственнымъ и химеричнымъ. Уже столько разъ было толкуемо и повторяемо, что древняя наука—философія вовсе не осталась такою, какою она была тогда, когда отдѣльныя науки находились еще въ зачаточной степени развитія и не могли и меч-

тать о самостоятельности. Въ теченіе долгаго времени философія выдѣляла изъ своихъ нѣдръ одну науку за другою, пока, наконецъ, все содержаніе стало исчерпываться психологіей и тѣсно примыкающей къ ней теоріей познанія. Память объ этомъ времени и до сихъ поръ еще держится у тѣхъ, которые отождествляютъ философію съ названными науками и въ особенности съ послѣдней, но въ наши дни нельзя не считать уже безповоротно миновавшимъ то доброе старое время, когда основныя и руководящія идеи психологіи созидались внѣ вліянія наблюденія и опыта и затѣмъ совсѣмъ готовыми поступали въ вѣдѣніе науки о душѣ, которая и принимала ихъ какъ научныя истины. Теперь миражъ этотъ окончился, и поборникамъ отдѣльной науки—философіи только и осталось, что навязывать этой наукѣ содержаніе всей совокупности спеціальныхъ наукъ. Намъ незачѣмъ говорить еще и еще разъ, что такая комбинація ничѣмъ не можетъ искупить своей явной призрачности.

Смѣшеніе философіи съ теоріей познанія, встрѣчаемое, какъ намъ извѣстно, и въ современной литературѣ, ведетъ, какъ то показываютъ многіе примѣры, къ сооруженію изъ теоріи познанія послѣдняго убѣжища для философіи, растерявшей все свое содержаніе. Такой исходъ можно считать для философіи общимъ мѣстомъ; но мы имѣемъ въ виду указать теперь на одно исключеніе, интересное для насъ потому, что оно принадлежитъ нашей литературѣ и является поучительнымъ прецедентомъ того рѣшенія нашего вопроса, которому посвящена наша настоящая работа. Мы имѣемъ въ виду статью г. А. Слѣпцова *(Гдѣ искать основаніе здравой педагогики?)*, помѣщенную въ *Современномъ Обозрѣніи*, издававшемся Н. Л. Тибленомъ въ 1868 году. Въ этой превосходной статьѣ рѣшеніе нашего вопроса было бы предвосхищено за двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ, если бы только указанное выше смѣшеніе не воспрепятствовало правильной постановкѣ вопроса. Указавъ задачу философіи въ познаніи сущаго, г. Слѣпцовъ, упустивъ изъ вида распаденіе философіи на отдѣльныя науки и перенесеніе изученія познанія въ одну изъ этихъ наукъ, утверждаетъ, что философія имѣетъ и другую задачу: опредѣленіе границъ доступныхъ человѣческому познанію. Сопоставляя обѣ задачи и видя, что правильное рѣшеніе второй вовсе отнимаетъ raison d'être у первой, г. Слѣпцовъ усматриваетъ въ этомъ

явленіи саморазложеніе философіи, а потому и говоритъ: «дѣло философіи окончено: опредѣливъ границы, доступныя человѣческому знанію, она совершила все, что могла». Послѣ исчезновенія философіи мѣсто ея заступаетъ *наука*, «которая лучше соглашается знать сравнительно-немногое, лишь бы это немногое можно было доказать неопровержимо; наука поэтому и ограничилась предметами, доступными человѣческому изслѣдованію». Намъ незачѣмъ настаивать теперь, что границы человѣческаго познанія опредѣляетъ не философія, а теорія познанія, и что задачею своей она ставитъ не одно только это опредѣленіе, но и изслѣдованіе акта познанія въ самомъ широкомъ смыслѣ. Огульному осужденію вмѣстѣ съ философіей она поэтому не подлежитъ. Выработавъ же взглядъ на познаніе, какъ на приспособленіе мышленія къ явленіямъ дѣйствительности, установивъ различіе представленій и понятій и указавъ на отношеніе пониманія къ знанію, гносеологія сохранила отъ крушенія не только себя, но и философію,—не ту, конечно, которая бьется надъ постиженіемъ бытія и разыскиваніемъ сущностей, но ту, которая, не обособляясь въ качествѣ особой спеціальной науки, неотдѣлима отъ научнаго познанія и всегда служитъ показателемъ его роста и охвата, какъ мы то и указывали уже ранѣе [1]).

Отрицаніе философіи, какъ отдѣльной науки, не есть еще отрицаніе самой философіи. Философія, переставъ играть обманчивую роль отдѣльной отрасли познанія, становится тѣмъ, чѣмъ она и должна быть—знаніемъ общимъ; она проникаетъ во всѣ отдѣльныя дисциплины, всѣмъ имъ сообщаетъ присущій ей духъ и такимъ образомъ завершаетъ то движеніе, которымъ испытующая критическая мысль свершала процессъ своего развитія она придаетъ окончательную устойчивость тому положенію, которое подготовлялось всѣмъ предшествовавшимъ развитіемъ и которое, ранѣе окончательнаго распаденія всей совокупности познанія на отдѣльныя самостоятельныя группы, было невозможно, немыслимо. Въ этомъ смыслѣ идея научной философіи нова, въ этомъ смыслѣ она исключаетъ, какъ излишнее и безполезное, все, принимаемое за истину мистиками и

[1]) См. статьи наши въ журналѣ «*Дѣло*» 1883 г. и «*Сѣв. Вѣстн.*» 1886 г., перепечатанныя въ «*Этюдахъ и очеркахъ*», стр. 276—291, 355—363. (Помѣщены въ этомъ томѣ въ отдѣлѣ «Полемика» рецензіи: «Философія искусство ли?» и «О чемъ поетъ кукушка». *Прим. ред.*).

метафизиками. Старое остается, но остается какъ пережитое: горитъ электрическій свѣтъ, но горитъ и лучина, и если есть люди, которые продолжаютъ спорить о томъ, откуда дымъ и копоть—это ихъ дѣло. Въ этомъ именно смыслѣ и имѣетъ значеніе новое воззрѣніе на философію: оно ново, такъ какъ исключаетъ излишнее и безполезное повтореніе уже извѣстнаго.

Не надо упускать изъ вида, притомъ же, что указываемый нами переходъ къ устойчивому состоянію, выражающійся новымъ воззрѣніемъ на характеръ и значеніе философіи, совершился при такихъ условіяхъ, которыя тоже можно назвать совершенно новыми. Дѣло въ томъ, что вслѣдъ за разложеніемъ первоначальной общей науки философіи на рядъ отдѣльныхъ, спеціальныхъ наукъ, наступила пора уразумѣнія взаимной связи, существующей между всѣми этими науками, и дѣятельное исканіе тѣхъ общихъ элементовъ, которые обосновываютъ эту связь. Это движеніе, не совсѣмъ точно названное возвращеніемъ наукъ къ философіи, было вѣрнѣе возрожденіемъ философіи на почвѣ положительнаго знанія, процессомъ образованія новой философіи, не предшествующей наукамъ и предвосхищающей ихъ истины, а завершающей ихъ работу и увѣнчивающей ихъ зданіе. Это движеніе совершалось, какъ то и очевидно, въ непосредственномъ взаимодѣйствіи съ указанною выше эволюціей, руководимою элиминаціоннымъ методомъ, такъ какъ имѣло мѣсто въ пору установленія теоріи познанія, какъ самостоятельной дисциплины, и, слѣдовательно, не могло уже, какъ то было въ доброе старое время, отдаваться произволу личнаго творчества или увлекаться мечтательностью. Такимъ образомъ, выработка «чистаго опыта» и достигнутое при ея посредствѣ «устойчивое состояніе» научной философіи совершилось при такихъ условіяхъ, которыя дружно способствовали намѣченному результату и своею мощью гарантировали его успѣшность. Эта «новость» положенія научной философіи и выражается въ противоположеніи ея старой метафизикѣ не только по постановкѣ вопросовъ, методу ихъ разработки и общему духу и характеру,—на что сколько разъ было уже нами указано, но и по ея исходной точкѣ, не имѣющей ничего общаго съ тою пустотой, къ которой отправлялъ Фауста Мефистофель,—пустотой, гдѣ нѣтъ ни опоры, ни почвы, гдѣ царитъ созерцаніе и гдѣ пребываютъ таинственныя «матери», которыя «однѣ лишь схемы видятъ». Въ исходной точкѣ новой фило-

софіи нѣтъ ничего загадочнаго, никакой «бездны пустоты безъ очертанія и границъ», а только опытъ и методическое мышленіе. Изъ мистической пустоты, обманчивой и скучной, мысль ринулась въ полноту жизни, въ полноту фактовъ, и твердо установилась на незыблемомъ берегѣ дѣйствительности.

Рѣшая вопросъ о томъ, «что такое научная философія», мы, само собою разумѣется, держались въ области чистой теоріи; но результатъ, полученный нами, переходитъ ея предѣлы: онъ указываетъ на «законченное міровоззрѣніе» и сводитъ его на совокупность отдѣльныхъ дисциплинъ, сознающихъ свою взаимную связь и проникнутыхъ, благодаря этому сознанію, духомъ цѣльности и общности, иначе говоря—духомъ философскимъ. Понимая, такимъ образомъ, воздѣйствіе на «законченное міровоззрѣніе» выясненной нами «элиминаціи» философіи, какъ отдѣльной науки, мы утверждаемъ тѣмъ самымъ, что «научная философія», какъ мы ее разумѣемъ, обнимаетъ въ полной мѣрѣ «понятіе о работѣ, которую можетъ производить человѣкъ», т.-е. обнимаетъ не только умозрѣніе, но и дѣйствіе или, выражаясь языкомъ Ог. Конта, не только «область науки, но и область искусства». Неразрывную связь этихъ двухъ областей прекрасно показалъ одинъ изъ представителей научной философіи въ Германіи—проф. Гарнакъ—въ рѣчи, произнесенной имъ въ обществѣ естествоиспытателей въ Дрезденѣ, въ 1885 году. Въ прежнее время думали,—говоритъ Гарнакъ,—что сущность природы всецѣло представляется нашимъ мышленіемъ, такъ что въ нашемъ разумѣ не оказывается никакого различія между міромъ и его отобразомъ. Дѣйствительное изслѣдованіе раскрываетъ намъ, напротивъ того, предѣлы нашего познанія, показывая, съ одной стороны, твердо установленныя предрасположенія нашего разума и оставляя—съ другой—мнимые основные вопросы познанія безъ отвѣта. По этой причинѣ значеніе всего, вырабатываемаго наукою, можетъ быть измѣрено лишь пріобрѣтеннымъ имъ вліяніемъ на дѣятельную жизнь человѣчества, на жизнь, во всемъ объемѣ ея разнообразныхъ духовныхъ и тѣлесныхъ потребностей, во всей ширѣ ея общественности. И стоитъ только сознанію этой служебной роли науки понизиться, стоитъ только взять перевѣсъ надъ нимъ склонности къ отвлеченному познанію истины, какъ неме-

дленно же обозначается печать безплодія и безпорядочности въ научныхъ изысканіяхъ. Великою истиною слѣдуетъ поэтому признать парадоксальное мнѣніе Гёте, что «auch in den Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen, es will immer gethan sein» [1]).

Тѣсная связь между наукою и искусствомъ, вытекающая изъ самаго понятія научной философіи, требующей взгляда, устремленнаго на цѣлое, даетъ намъ идею объ объемѣ всего содержанія философской доктрины, охватывающей всю совокупность дѣятельности, на которую способенъ человѣкъ. Этика, въ области которой именно и лежитъ переходъ отъ мышленія къ дѣйствію, долго считалась, а иными и теперь считается, чуть не открытою дверью для метафизики. Ключъ отъ этой двери находится, однако же, не здѣсь, а опять-таки въ рукахъ теоріи познанія, отъ достоинства которой и зависитъ, или охранить этотъ входъ, или оставить его открытымъ. Этика, какъ бы мы ни разсматривали ее, какъ науку, или, какъ искусство, т.-е. съ теоретической или съ практической ея стороны, нисколько въ метафизикѣ не нуждается; не обходится же она безъ метафизики только у такихъ мыслителей, которые вездѣ, а не въ одной только этикѣ, видятъ заопытныя умозрѣнія и чуть не во всякомъ отвлеченномъ понятіи усматриваютъ переходъ къ трансцендентному. Представители научно-философской школы

---

[1]) *Axel Harnack*. «Naturforschung und Naturphilosophie». Leipzig, 1885. S. 9. Отмѣтимъ при этомъ случаѣ, что Гёте не разъ высказывался о значеніи дѣятельнаго начала въ жизни человѣка и соотношеніи этого начала къ познанію. Въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ» онъ говоритъ, что «дѣятельность есть назначеніе человѣка, и что всякій невольный досугъ долженъ быть употребляемъ для болѣе яснаго познанія внѣшняго міра въ видахъ облегченія грядущей дѣятельности». Въ письмахъ своихъ онъ очень часто возвращается къ этой темѣ; но нигдѣ не выразилъ онъ своей мысли такъ ярко, какъ въ «Фаустѣ», гдѣ онъ пронизируетъ надъ метафизикой, которая даетъ отвѣты на все — «доступно ли это, недоступно ли намъ», и надъ пустымъ гелертерствомъ, которое всегда вытѣсняется, когда человѣкъ начинаетъ заниматься дѣломъ и перестаетъ «болтать по пустякамъ»; и гдѣ онъ со свойственною ему поразительною энергіею высказываетъ «послѣднюю и святую мысль» Фауста о великомъ значеніи вѣчной и неустанной борьбы и ея плодотворности.

Что же касается до плетворнаго вліянія на дѣятельное начало метафизическихъ спекуляцій, то яркій примѣръ его представляетъ *Edwin Hatch* въ его «Hibbert Lectures, 1888». См. въ особенности окончаніе V главы.

ясно показали, что сведеніе къ условіямъ общественности совершенно достаточно для уясненія происхожденія, послѣдовательнаго развитія и условій дальнѣйшаго споспѣшествованія человѣческой нравственности. Только слѣдуя принципу «антропономіи» нравственныхъ началъ, возможно надѣяться на наступленіе «regnum hominis» въ высшемъ значеніи этого понятія, предполагающемъ власть человѣка и надъ природою, и надъ самимъ собою [1]). Что же касается до основоположеній этики, какъ науки, т.-е. тѣхъ именно принциповъ, которые должны лечь въ основаніе этики, какъ теоріи искусства, то она, «подобно

---

[1]) Мы имѣемъ въ виду Лааса и Фольца, на сочиненія которыхъ было нами указано ранѣе, и кромѣ того еще на книгу Гижицкаго (Giżycki) «Moralphilosophie», Leipzig, 1888, и брошюру Чески (G. Cesca), сотрудника Авенаріуса—«La morale della filosofia positiva. Verona-Padova», 1866. Отмѣтимъ при этомъ случаѣ и сочиненія еще двухъ писателей — одного англійскаго, другого американскаго — во многихъ отношеніяхъ близкихъ по своимъ воззрѣніямъ къ научно-философской школѣ, а именно: *J. Gotter Morison.* «The Service of Man». London, 1887, и *Lester Ward.* «Dynamic Sociology». New-York. 1883. Лестеръ Уордъ особенно настаиваетъ на экономизаціи психическихъ силъ и цѣлесообразномъ ихъ направленіи и очень обстоятельно выясняетъ необходимость замѣны въ области искусства объективной точки зрѣнія науки точкою зрѣнія субъективною. Субъективная точка зрѣнія, какъ показалъ Лестеръ Уордъ, имѣетъ руководительное значеніе въ области научной теоріи человѣческой дѣятельности или дѣйственной соціологіи, какъ ее называетъ Уордъ, и приводитъ къ уясненію тѣхъ основоначалъ этой дѣятельности, безъ которыхъ роли человѣка по отношенію къ природѣ пришлось бы остаться навсегда пассивной. Лестеръ Уордъ настаиваетъ на примѣненіи строго-телеологическаго метода воздѣйствія на природу, долженствующаго поднять человѣка на высоту владыки природы и установить, вмѣсто шаткаго и медленнаго прогресса, подвигающійся твердою поступью прогрессъ сознательно-телеологическій. Философіи, освобожденной отъ туманныхъ метафизическихъ умствованій, предстоитъ обширная и трудная работа воздѣйствія на жизнь и всесторонняго улучшенія ея. Ей предстоитъ, какъ то прекрасно выяснилъ Уордъ, провести идею необходимости перемѣнъ во всѣхъ сферахъ жизни, внушить предпочтеніе производительной умственной работы надъ губительною гимнастикой мысли и возбудить вкусъ къ изученію вопросовъ, способствующихъ человѣческому благу, вытѣсненныхъ теперь пустымъ многознаніемъ, и повліять на устраненіе изъ области общественныхъ отношеній преобладанія традиціи и рутины. Теоретическая мысль, которая потеряла бы изъ вида эту основную жизненную цѣль свою, оказалась бы неспособною пользоваться своими обновленными силами и снова превратилась бы въ пустое и безплодное созерцаніе.

всякой другой положительной наукѣ, не считаетъ для себя возможнымъ *переступать за предѣлы* опыта и отрѣшаться отъ всего того, что констатировано согласно законамъ опыта, и такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ она не притязаетъ на познаніе первоустоя (Urgrund) коррелативнаго бытія, то и устраняетъ изъ своей области всѣ тѣ вульгарные психологическіе мотивы, на которыхъ построяется ходячая обыденная мораль, и отрицаетъ необходимость обоснованія своей устойчивости на опорѣ о какую бы то ни было метафизику». По этой причинѣ, «этика, *какъ наука*, должна ограничиться раскрытіемъ психологическаго и историческаго происхожденія и основанія нравственныхъ законовъ и указаніемъ на пути, ведущіе къ ихъ развитію». И въ самомъ дѣлѣ, продолжаетъ далѣе Лаасъ, ссылаясь на Ульрици, нелѣпо выводить достовѣрное изъ недостовѣрнаго и ясное изъ неяснаго, а само по себѣ лишенное прочности зданіе укрѣплять на зыбкомъ, совершенно непрочномъ грунтѣ. Вѣдь если наши этическія понятія нуждаются въ болѣе прочномъ обоснованіи и болѣе ясномъ формулированіи, то все же они достовѣрнѣе и очевиднѣе основаній и положеній метафизики» [1]).

Итакъ, всѣ отдѣльныя научныя дисциплины, а также и всю область человѣческой дѣятельности, охватываемую теоріею искусства, заключаетъ въ себѣ и проникаетъ собою общее понятіе научной философіи,—всѣхъ ихъ, какъ совокупность, ученій о единичномъ, имѣетъ она въ виду, не теряя вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣлое изъ области своего кругозора и постоянно привлекая это цѣлое къ изученію единичнаго. Поступая такъ, она слѣдитъ и за мышленіемъ человѣка, и за его дѣятельностью, и видя въ послѣдней завершеніе перваго, не уносится въ сферы безпечальнаго созерцанія, но всегда остается живымъ познаніемъ, наукою жизни. Въ этой ея постановкѣ осуществляется завѣтъ перваго ея провозвѣстника, утверждавшаго, что «человѣкъ долженъ внимать голосу природы, который, повелѣваетъ ему подчиниться стремленію къ знанію, и вмѣстѣ съ тѣмъ требуетъ, чтобы знаніе это было человѣчнымъ, чтобы оно никогда не теряло прямого отношенія къ дѣйствію и общественности. Я воспрещаю абструзныя мысли и глубокія изысканія, гласитъ природа; я строго караю неповинующихся мрачною задумчивостью, въ которую будетъ повергать ихъ усугубленіе въ мысляхъ, безко-

---

[1]) *Laas*. o. c. S. 93—97.

нечною недостовѣрностью, въ которой отвлеченныя умозрѣнія будутъ держать ихъ, холоднымъ пріемомъ, съ которымъ будутъ встрѣчены всѣ ихъ мнимыя открытія. Будь философомъ, но и со всею философіею твоею оставайся человѣкомъ» [1]).

1890 г.

---

[2]) *D. Hume.* «An enquiry concerning human understanding». Ed. of Green and Grose, p. 6.

ЭВОЛЮЦІЯ ФИЛОСОФІИ И ФИЛОСОФСКІЯ «ПЕРЕЖИВАНІЯ» [1]).

Болѣе полувѣка тому назадъ была высказана и потомъ многое множество разъ повторена мысль, что познавательная дѣятельность человѣческаго ума могла начаться лишь при условіи предварительнаго образованія вспомогательной фиктивной теоріи. Только при опорѣ на эту теорію оказалось возможнымъ связать разрозненныя наблюденія и извлечь изъ нихъ нѣкоторый результатъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилась возможность удерживать наблюденія въ памяти и не пропускать фактовъ. Неизбѣжность такой отправной точки для познавательной дѣятельности разума выводила первобытнаго человѣка изъ того ложнаго круга, выбраться изъ котораго иначе ему бы не удалось. Въ самомъ дѣлѣ, необходимость наблюденія для образованія вѣрной теоріи и не менѣе гнетущая необходимость держаться какой ни-на-есть теоріи для веденія послѣдовательныхъ и связныхъ наблюденій, являлась безъисходнымъ, съ перваго взгляда, кругомъ; фиктивная же теорія представлялась выходомъ изъ него, самопобудительно созданнымъ первобытнымъ мышленіемъ,

---

[1]) На оттискѣ изъ «Русск. Бог.», гдѣ первоначально была напечатана эта статья, рукою автора выписаны (можетъ быть для эпиграфа) слѣдующія строки изъ Герцена («Съ того берега»):

«Внутри человѣка есть постоянный революціонный трибуналъ, есть безпощадный Фукье-Тенвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпаетъ, гильотина ржавѣетъ, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимаетъ голову, обживается и вдругъ какой-нибудь дикій ударъ будитъ оплошный судъ, дремлющаго палача и тогда начинается свирѣпая расправа,—малѣйшая уступка, пощада, сожалѣніе ведутъ къ прошедшему, оставляютъ цѣпи. Выбора нѣтъ: или казнить и итти впередъ, или миловать и запнуться на полдорогѣ».

И далѣе: «Ср. «Германія». Гейне (Кёльнъ)». *Прим. ред.*

непосредственнымъ и наивнымъ, далекимъ отъ мысли о допущеніи и тѣни фиктивности. Фиктивныя теоріи и стали такимъ образомъ тѣми своего рода каменными орудіями, при помощи которыхъ пришлось работать познавательной способности человѣка на первыхъ порахъ ея дѣятельности. Хотя и не скоро, но наступило, само собою разумѣется, время, когда надо было бросить каменные ножи, но извѣстно, что въ ритуалѣ они долго еще оставались какъ «переживаніе»: умы свыклись съ ихъ традиціоннымъ употребленіемъ, они получили особый мистическій смыслъ, отвергать ихъ значило кощунствовать и итти противъ освященнаго вѣками преданія. И долго еще жрецъ, отрѣзывавшій себѣ хлѣбъ бронзовымъ, а позже и желѣзнымъ ножомъ, благоговѣйно манипулировалъ каменнымъ лезвіемъ въ обрядахъ культа. Какъ остались и пережили самихъ себя каменные ножи, такъ остались и пережили самихъ себя и тѣ орудія человѣческой мысли, которыя относятся къ «каменному» періоду ея развитія. Того, кто рѣшался итти противъ этихъ теорій, кто думалъ отвергать ихъ, разсматривали какъ развратителя умовъ, дерзающаго оскорблять память стародавнихъ великихъ свѣтилъ, такъ славно озарявшихъ тьму минувшихъ вѣковъ и долженствующихъ остаться, какъ казалось, на своихъ высокихъ пьедесталахъ навѣки. Не отвергать ихъ теоріи, а разъяснять, растолковывать, продолжать,—вотъ та задача, которая представлялась столь же неизбѣжною, какъ и вполнѣ сообразующеюся, съ чувствами и умонастроеніемъ чтителей преданія. Усердіе это оказалось, однако же, губительнымъ для самого преданія: всякое комментированіе и продолженіе его неизбѣжно отвѣчало не одному только консервативному складу мысли, но и измѣнчивымъ условіямъ жизни. Этимъ путемъ безсознательно подготовлялся для первобытнѣйшей изъ фиктивныхъ теорій—теоріи «анимизма»—кризисъ, о предотвращеніи котораго можно было мечтать съ такими же залогами на успѣхъ, какъ и о предотвращеніи смерти. Эволюція познавательной дѣятельности шла своимъ чередомъ: простыя анимистическія теоріи, подвергавшія человѣкоуподобленію всѣ вещи въ мірѣ, замѣнялись болѣе сложными: явились мифы, отвѣчавшіе потребности пониманія (соотносительно: объясненія) ужъ не отдѣльно взятыхъ явленій, а большихъ или меньшихъ группъ ихъ:—все это было прямымъ продолженіемъ старыхъ традицій, все шло тихо, медленно, безъ толчковъ, безъ помышленія о кризисѣ.

Кризисъ между тѣмъ наступалъ столь же медленно, какъ и безповоротно. Зародыши его содержались среди самихъ элементовъ первобытнаго міросозерцанія и когда они проросли и стали подниматься надъ своею почвою—традиціонными воззрѣніями.—на нихъ, конечно, ринулись со всѣхъ сторонъ съ каменными ножами и топорами; но орудія эти оставляли только однѣ почетныя царапины и росту новшества помѣшать не могли. Самый кризисъ не представляетъ, однако же, явленія цѣлостнаго:—онъ сложенъ и идетъ не изъ одного корня. Въ первомъ его фазисѣ разыгрывается только побѣда однихъ фиктивныхъ теорій надъ другими:—теорій вторичнаго образованія надъ первичными. И только мало-по-малу изъ-за пестрой смѣны сценъ этой борьбы вырисовывается тотъ новый колоссальный обликъ, который возносится выше всего того, что ему предшествовало, и становится господствующимъ и владычествующимъ на исторической сценѣ умственной дѣятельности человѣчества.

Разсмотримъ эти фазисы кризиса въ порядкѣ ихъ возникновенія и роста.

Я только что указалъ, какъ человѣкоуподобленіе конкретныхъ вещей, бывшее всеобщимъ въ анимистическомъ міровоззрѣніи, стало переходить чрезъ посредство миѳотворчества къ нѣсколько измѣненному человѣкоуподобленію, хватавшемуся не за отдѣльные конкретные предметы, а за ихъ группы. Очевидно, что человѣкоуподобленіе группы явленій не могло совершиться такъ же непосредственно, какъ человѣкоуподобленіе отдѣльныхъ предметовъ: солнца, луны, ручья, скалы. Посредствующимъ звеномъ являлось *понятіе* объ этого рода предметахъ, ихъ причина или же ихъ сущность. Работа пошла дальше: человѣческій образъ стали принимать и разныя случайныя, безпорядочно образованныя, отвлеченности: заря, свѣтъ, любовь, мудрость. Въ этомъ процессѣ умъ человѣческій, образовавъ понятіе, немедленно возвращается черезъ олицетвореніе его къ своей старой, привычной нормѣ. Мудрость, красота, любовь, представляются въ формахъ столь конкретныхъ, что явилась возможность не только описать, но и изваять ихъ. Дальнѣйшая эволюція освобождаетъ общія и отвлеченныя понятія отъ олицетвореній, но не всегда даетъ въ послѣднемъ итогѣ то неопредѣленное нѣчто, ту отвлеченную силу или сущность, присутствіемъ которой въ ученіи характеризуется его метафизичность. Поэтому-то переходомъ къ метафизическимъ постро-

ніямъ, представляющимъ, по вѣрному замѣчанію Ог. Конта, «простое общее измѣненіе первой стадіи развитія человѣческаго ума», могутъ считаться теоріи космогоническія. Въ этихъ теоріяхъ понятіе вещества иногда сводится къ формѣ мірового яйца, раздѣляемаго Бэлемъ—человѣкоподобною индивидуальностью—какъ у финикіямъ и вавилонянъ, иногда сохраняетъ совершенно безличный и отвлеченный характеръ, какъ напримѣръ, въ ведійской космогоніи, а также и у Гезіода. Достигнувъ этого пункта, мы останавливаемся на порогѣ метафизики, окончательный переходъ къ которой знаменуетъ собою выработку такого міровоззрѣнія, которое, сознавъ свою обособленность, не всегда будетъ довольствоваться служебною ролью по отношенію къ преданію и рано подыметъ знамя своей независимости. Тутъ начало кризиса; но прежде, чѣмъ пойдемъ далѣе, обратимъ вниманіе на то въ высшей степени интересное обстоятельство, что метафизическое начало, пробивающееся въ космогоніяхъ и доходящее до самосознанія у весьма раннихъ, какъ греческихъ, такъ и индійскихъ мыслителей, корнями своими уходило въ почву традиціи въ двухъ направленіяхъ: одно изъ этихъ направленій было только что мною указано въ процессѣ развитія мѳа; другое является едва обозначеннымъ, но необходимо предполагающимся въ древнѣйшихъ памятникахъ анимизма: въ сказкахъ. Извѣстно, что въ настоящее время существуетъ цѣлая школа, имѣющая своихъ представителей въ Англіи, Бельгіи, Франціи и др. странахъ, которая видитъ въ сказкахъ не обломки разложившихся мѳовъ, а подготовительную ихъ стадію, и, анализируя сказки, находитъ въ нихъ всѣ основныя черты первобытнѣйшаго міросозерцанія. Сказка еще чужда понятія причинной связи вещей, она не ищетъ объясненія явленій, не сводитъ одни явленія на другія, она только запечатлѣваетъ въ образахъ то понятіе о соотношеніи явленій, которое дается анимистическимъ міровоззрѣніемъ. Въ сказочномъ мірѣ все живетъ, все человѣкоподобно, все легко и скоро переходитъ черезъ всевозможныя формы, все повинуется силѣ чаръ и колдовства. И вотъ, въ сказкахъ мы и находимъ первые зачатки метафизическаго умонастроенія,—зачатки, хотя и содержащіеся въ скрытомъ состояніи, но все же таки не ускользающіе отъ маломальски внимательнаго наблюденія. Возьмемъ ли мы древнѣйшую изъ когда-либо записанныхъ сказокъ, египетскую сказку «о двухъ братьяхъ», сохранившуюся въ рукописи,

относимой Масперо къ XV вѣку до нашей эры и открытую въ одномъ изъ саркофаговъ лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, или одну изъ сказокъ и понынѣ живущихъ въ народной памяти.—и тамъ, и здѣсь мы откроемъ все тѣ же слѣды, слѣды зачатковъ метафизическаго міровоззрѣнія. Сохранилась ли сказка въ саркофагѣ, въ рукописи египетскаго Перро XV вѣка, или сберегли ее традиціи сельскаго люда, передававшаго ее изъ поколѣнія въ поколѣніе,—это обстоятельство не имѣетъ никакого значенія, такъ какъ возникновеніе сказки все же таки должно быть отнесено къ одному и тому же фазису умственнаго развитія, внѣ котораго для происхожденія ея не могло быть ни почвы, ни всѣхъ другихъ допускающихъ ея возникновеніе условій. Итакъ, въ египетской сказкѣ мы читаемъ повѣствованіе о томъ, какъ человѣкъ, превратившійся въ быка Аписа, возстановляется послѣ убіенія быка изъ двухъ упавшихъ на землю капель крови его, въ видѣ двухъ деревьевъ, и затѣмъ,—въ своемъ первоначальномъ человѣческомъ образѣ—изъ стружки одного изъ этихъ деревьевъ. Стружку эту глотаетъ женщина, зачинаетъ и производитъ на свѣтъ того, кто, пройдя форму Аписа и дерева, является на свѣтъ въ своемъ первоначальномъ видѣ и въ своей первоначальной сущности, такъ какъ онъ сознательно исполняетъ то, что было имъ задумано ранѣе этихъ метаморфозъ. Не очевидно ли, что одно только допущеніе постоянной и неизмѣнной сущности вещей въ ея противуположеніи преходящимъ и измѣнчивымъ формамъ, можетъ объяснить возможность возникновенія такого рода повѣствованія. Замѣтимъ притомъ же, что инцидентъ такого характера не представляется единственнымъ въ своемъ родѣ. Въ одной изъ сказокъ, записанныхъ мною въ Малороссіи, лѣтомъ прошлаго года, разсказывается совершенно аналогичная исторія, отличающаяся отъ египетской только тѣмъ, что вмѣсто быка Аписа на сценѣ конь, а на мѣсто египетскаго дерева (Mimusops Shimperi)—яблоня. Еще разительнѣе идея эта проведена въ сказкѣ «Охъ», въ сборникѣ г. Рудченка: здѣсь гонимый разсыпается по полу зернышками проса, а гонитель, превратясь въ пѣтуха, старается выклевать всѣ эти зернышки и погубить свою жертву; но остается однимъ одно зернышко, и изъ него возрождается вновь тотъ, кого считали уже погибшимъ. Въ этой же сказкѣ для исправленія человѣка колдунъ сжигаетъ его и затѣмъ возстановляетъ изъ одного оставшагося послѣ сожженія уголька. Ясное дѣло, что понятіе

«сущности» вещей предносилось передъ умственными взорами составителей этихъ фантасмогорій, и что стоило только поставить вопросъ о томъ, что же именно сохранилось изъ цѣлаго— въ каплѣ крови, стружкѣ, зернѣ и угольке, чтобы отвѣтомъ на этотъ вопросъ возвести анимистическое «предвосхищеніе» въ перлъ метафизическаго творчества. Впрочемъ, для всякаго, я думаю, представляется очевиднымъ, что идея «сущности», поскольку то допускается образностью языка, высказывается въ приведенныхъ выше инцидентахъ весьма не двусмысленно. Она, пожалуй, нѣсколько тусклѣе и неявственнѣе въ инцидентахъ превращеній, однако же, и тутъ отрицать ее нельзя. Эта-то неизмѣнность «сущности» при превратности внѣшняго вида и дала поводъ Апулееву ослу, сохранявшему сущность злополучнаго Люція, «разводить философію» и «имѣть молчаливое прозрѣніе сущности вещей». Въ этой замѣткѣ Апулея, быть можетъ не преднамѣренно ядовитой, совершенно вѣрно схвачено то основное понятіе сказочнаго міровоззрѣнія, которое Апулей не могъ не подмѣтить въ хорошо извѣстномъ ему фольклорѣ его времени.

Указываемое мною сближеніе двухъ философій—философіи сказочниковъ и философіи метафизиковъ—можетъ служить лучшимъ подтвержденіемъ мысли Лесли Стивена о томъ, что «метафизика вовсе не представляетъ изъ себя того, за что она сама себя выдаетъ,—изложеніе основоначалъ (first principles),—но скорѣе ее слѣдуетъ считать попыткою раскрытія логики того процесса, которымъ пользовалось нѣкогда обыденное мышленіе человѣчества. Провозглашая себя свободною отъ всякихъ предустановленій, метафизика на самомъ дѣлѣ опирается, какъ на предустановленное, на все предшествующее знаніе». (*Leslie Stephen*. An Agnostic's Apology and other essays. London, 1893, p. 77).

Итакъ, метафизическое міровоззрѣніе сложилось изъ элементовъ, имѣвшихъ свои зачатки въ анимизмѣ. Развиваясь вмѣстѣ съ ростомъ своего сознанія противуположности традиціонной доктринѣ, міровоззрѣніе это достигло пышнаго расцвѣта въ Индіи и въ Греціи. Проходя мимо сближеній этихъ двухъ теченій метафизической мысли, самихъ по себѣ очень интересныхъ (см. *A. Bastian*. Der Buddhismus als religions-philosophische System. Berlin, 93) и останавливаясь только надъ имѣющей громадное значеніе для европейской философіи метафи-

зикѣ греческой, я укажу на тѣ основныя черты ея характера, которыя являются у главнаго представителя ея—Платона. Особенность вліянія Платоновой философіи на ея послѣдователей заключалась, какъ выяснилъ Лаасъ, въ томъ, что ни одинъ изъ нихъ не воспользовъ всѣхъ ея сторонъ во всей ихъ полнотѣ. Значеніе Платона поэтому для насъ въ настоящую минуту особенно важно. У Платона замѣчается, во-первыхъ, традиціонно-миѳологическое стремленіе къ сведенію всякаго познанія къ такимъ, само собою разумѣется, абсолютнымъ незыблемымъ, вѣчнымъ принципамъ или даже къ единому принципу, который не нуждался бы въ дальнѣйшемъ обоснованіи, да и не былъ бы способенъ къ нему. Это и есть то самое стремленіе, предполагаемый результатъ котораго наши метафизики называютъ «постиженіемъ» или «постигновеніемъ», считая его увѣнчаніемъ свода храма премудрости. Затѣмъ, отличительной чертой, характеризующей метафизику Платона, является убѣжденіе, опять таки коренящееся въ мнимой миѳологической отрѣшенности отъ временныхъ и преходящихъ условій «тубытія»,—убѣжденіе въ непреложности апріорныхъ руководящихъ законовъ, служащихъ основою какъ нашей дѣятельности, такъ и «бытія» вообще. И далѣе, еще болѣе явно миѳологическій призракъ самопобудительности и сверхчувственности человѣческаго «я» очень выразительно обрисовываетъ характеръ этого міровоззрѣнія. Наконецъ, послѣднею чертою, заканчивающею очертаніе Платоновой метафизики, является вторженіе новаго элемента, казавшагося наиболѣе отвѣчающимъ традиціонному облику всей системы: я разумѣю переоцѣненіе математическихъ образцовъ и неотвѣчающее дѣйствительности подражаніе имъ. Вотъ такъ то является намъ метафизика Платона, столь причудливо совмѣстившая въ себѣ наслѣдіе анимизма и миѳологизма съ новѣйшими вѣяніями нарождающейся науки.

Такимъ образомъ, изъ нѣдръ первобытнѣйшихъ фиктивныхъ теорій вышло и разрослось то міровоззрѣніе, которое не только стало рядомъ съ преданіемъ, хранившимъ эти теоріи, но еще и при сознаніи своего теоретическаго превосходства надъ ними и кажущейся независимости отъ нихъ, не могло не мечтать о преодолѣніи ихъ. Конфликтъ былъ неизбѣженъ и онъ дѣйствительно наступилъ. Онъ красною нитью проходитъ черезъ всю исторію освобождающейся отъ оковъ преданія мысли древней Греціи. «Ошибаются тѣ, которые утверждаютъ, будто между

традиціей и философіей въ древней Греціи не существовало конфликта,—говоритъ Ф. А. Ланге.—Конфликтъ, и притомъ весьма интенсивный, несомнѣнно существовалъ». Сократъ вынужденъ былъ вышить ядъ, Аристотель долженъ былъ бѣжать изъ Аѳинъ, Протагору пришлось быть зрителемъ сожженія своихъ сочиненій, Анаксагоръ, заключенный въ тюрьму, принужденъ былъ искать спасенія въ бѣгствѣ... «И все это, прибавляетъ Ланге, въ Аѳинахъ, у гуманнѣйшаго народа всей Греціи!»

Остановимся пока на этомъ пунктѣ и посмотримъ, откуда произошелъ тотъ новый элементъ достаточно осложнившейся уже умственной дѣятельности, котораго мы не встрѣчали ранѣе и который впервые промелькнулъ передъ нами, какъ нѣчто оказывавшее обаяніе свое даже на самого Платона.

Въ анимизмѣ окружающій человѣка міръ является чѣмъ-то въ родѣ игрушки пестраго сонма обладающихъ могуществомъ и произволомъ личныхъ силъ, а потому ни на минуту не перестаетъ тяготить человѣка бременемъ зависимости отъ капризовъ этихъ силъ и внушать ему постоянный, отравляющій его жизнь, страхъ. Душевному состоянію, опредѣляемому этими условіями, не предвидѣлось бы и конца, если бы въ числѣ фикцій, обрисовывающихъ дѣятельность правящихъ міромъ силъ, не было фикціи всемогущества чаръ, заклинаній, колдовства вообще. Передъ силою этой фикціи разступалось море, разсыпались скалы, внезапно возникали лѣса, рѣки и горы; при ея посредствѣ совершались всѣ безчисленныя превращенія среди людей, животныхъ и вещей [1]). Эта фикція и представляла собою зачатокъ того дѣйственнаго начала, дальнѣйшее развитіе котораго породило въ сознаніи человѣка идею возможности освобожденія отъ тяжелаго чувства зависимости отъ природы и могло мало-по-малу повести къ возникновенію надежды на подчиненіе ее силѣ человѣка. Въ этомъ вѣрованіи, слѣпомъ и нелѣпомъ, но богатомъ залогами блестящаго будущаго, восходила надъ подавленнымъ страхомъ человѣчествомъ заря освобожденія и прогресса. Въ эту раннюю пору, дерзновеніе про-

---

[1]) Въ этомъ мѣстѣ рукою автора сдѣлана слѣдующая приписка. «Сказки, сохраняющія намъ древнѣйшее міросозерцаніе и представляющія въ образахъ незыблемую вѣру въ дѣйствительную силу чаръ... (Примѣры).—Сюда же: джатана о браманѣ, изучающемъ магію». *Прим. ред.*

тивоборства грознымъ силамъ природы являлось еще удѣломъ немногихъ отдѣльныхъ личностей—знахарей, кудесниковъ, чародѣевъ, волшебниковъ, колдуновъ вообще. Колдуны, въ ту эпоху, когда анимизмъ является уже организованнымъ, становятся шаманами, отправляющими опредѣленный культъ и имѣющими свое спеціальное тайновѣдѣніе. Мѣстами эволюція не пошла далѣе, и шаманство и понынѣ сохраняется, какъ переживаніе; мѣстами же оно перешло въ жречество. Шаманъ постепенно и нечувствительно переходитъ въ жреца, какъ и соотносительные имъ фазисы вѣрованій—анимизмъ и политеизмъ; но смыслъ и значеніе культа остаются неизмѣнными: въ позднѣйшее, какъ и въ сравнительно раннее время, культъ остается совокупностью средствъ, мнящихъ направлять силы природы на служеніе человѣку; только силы природы въ послѣднемъ случаѣ, какъ я пояснилъ это, говоря о переходѣ отъ анимистическихъ представленій къ миѳическимъ, перестаютъ представляться раздробленными и безсвязными; онѣ подводятся теперь подъ нѣкоторыя общія понятія, объединяющія тѣ или другія группы явленій, вообще проникаются нѣкоторымъ отвлеченнымъ умозрѣніемъ, которое все растетъ и растетъ. Въ концѣ концовъ культъ не выходитъ изъ круга идеи торга или взаимнаго обязательства между совершающимъ даяніе и приписывающимъ себѣ право на воздаяніе. Въ этой чертѣ заключается послѣдняя и крайняя ступень его смягченія.

Но если тайновѣдѣніе и культъ шамановъ и жрецовъ свидѣтельствуютъ о зарожденіи идеи власти надъ природою, то связанныя съ тайновѣдѣніемъ и обрядами культа дѣйствительныя крохи знанія и первые нетвердые шаги наблюденія надъ ея явленіями, вмѣстѣ съ началами элементарной техники, необходимо сопутствовавшей имъ, несомнѣнно поддерживали ихъ не по принципу только, но и фактически, выше толпы. Первоначально, какъ извѣстно, всякое знаніе имѣло чудесный, магическій характеръ. Будучи тайной шамановъ и колдуновъ, оно оставалось недоступнымъ простымъ смертнымъ и, само собою разумѣется, получало священное значеніе. Умѣніе добывать огонь, лѣпить посуду, вязать узлы, строить мосты, приготовлять лѣкарственныя снадобья, предвидѣть погоду,—все это составляло своего рода ореолъ того, кто въ культѣ могъ сноситься съ высшими силами. Первобытный служитель этихъ силъ являлся въ одно и то же время и вызывателемъ духовъ,

и гадателемъ, и прорицателемъ, и чудосвершителемъ, и кустаремъ имъ же изобрѣтенныхъ и приготовленныхъ фетишей. Въ этихъ скромныхъ начаткахъ дѣйствительнаго знанія таилось великое будущее; колыбель наукъ и искусствъ помѣщалась въ жалкой юртѣ шамана. Позже, въ эпоху жречества, роль первоначальнаго знанія обозначилась еще ярче. «Тѣ суевѣрія, которыя представляются теперь намъ самыми нелѣпыми», говоритъ Ог. Контъ, «какъ гаданіе по полету птицъ, по внутренностямъ приносимыхъ въ жертву животныхъ и т. д., имѣли первоначально, кромѣ своего важнаго политическаго значенія, истинно-прогрессивный философскій характеръ: они являлись энергическимъ стимуломъ для поддержанія наблюденія надъ постоянствомъ явленій, изученіе которыхъ въ эту эпоху не могло непосредственно внушать выдержаннаго интереса. Къ какому бы химерическому назначенію ни пріурочивались всякаго рода наблюденія, ихъ все же таки накопляли заранѣе для лучшаго пользованія ими впослѣдствіи, и получить ихъ инымъ путемъ было, несомнѣнно, невозможно. Нельзя отвергать, напримѣръ, справедливое замѣчаніе Кеплера, что астрологическія химеры долгое время служили поддержанію охоты къ астрономическимъ наблюденіямъ, не говоря о томъ, что онѣ вызвали ихъ. Точно также и анатомія, какъ я полагаю, должна была почерпнуть свои первые матеріалы въ изслѣдованіяхъ, самобытно возникшихъ изъ искусства утробогадателей, опредѣлявшихъ будущее по внимательному разсмотрѣнію печени, легкихъ, сердца и пр. принесенныхъ въ жертву животныхъ». (Cours, V, 96). Вотъ изъ этихъ-то отрывочныхъ знаній, разрозненныхъ и освѣщенныхъ отраженнымъ свѣтомъ фикціи, выросло мало-по-малу знаніе связное, стройное, систематическое, выросла наука, которая, еще ранѣе расцвѣта метафизики, имѣла уже весьма значительныхъ—представителей. Эволюція двухъ теченій греческой мысли—научнаго и метафизическаго—идетъ параллельно. Вошло въ обычай метафизическое теченіе называть философскимъ, хотя было бы точнѣе подъ терминомъ «философія» разумѣть оба теченія, вмѣстѣ взятыя. Параллелизмъ двухъ этихъ теченій и до сихъ поръ остается затемненнымъ неправильнымъ изложеніемъ древнѣйшаго періода исторіи греческой мысли. Неправильность эта,—какъ выяснилъ Таннри,—происходитъ не только отъ недостаточности и малодостовѣрности относящихся къ этому періоду матеріаловъ, но и по той

причинѣ, что первыми, разработывавшими исторію этого времени, были философы, которые и подвели подъ общую рубрику оба теченія. Смѣшеніе это стало впослѣдствіи повторяться безъ дальнѣйшей критики и провѣрки. Не трудно убѣдиться, однако же, утверждаетъ Таннри, что всѣ почти греческіе мыслители до Платона были люди науки. «Дѣло не въ томъ», говоритъ онъ далѣе, «что ихъ наука была переполнена заблужденіями и представляла нагроможденіе несостоятельныхъ гипотезъ; заблужденіе есть путь отъ невѣдѣнія къ истинѣ, гипотеза, поскольку она можетъ быть провѣрена, есть средство для достиженія достовѣрности. Исторія возникновенія науки должна прежде всего заняться этими заблужденіями и просмотромъ этихъ гипотезъ; она должна установить, чѣмъ именно однѣ служили, а другія представляли препятствіе прогрессу».

«Надо помнить, что центральныя идеи системъ представителей древнѣйшей греческой науки никогда не имѣли метафизическаго характера; идеи эти представляли общее понятіе о мірѣ, образуемое каждымъ изъ ученыхъ согласно всей совокупности его частныхъ познаній. Только отъ этихъ конкретныхъ представленій могли они подняться до въ тѣ времена еще необычныхъ отвлеченныхъ понятій; понятія эти стали въ позднѣйшее время исключительнымъ достояніемъ философіи, тогда какъ спеціальные ученые стали интересоваться ими все менѣе и менѣе».

«Итакъ, чтобы возстановить только что указанную центральную идею, необходимо выставить на первый планъ спеціальныя мнѣнія ученыхъ въ области физики,—мнѣнія, обыкновенно отодвигаемыя назадъ и болѣе или менѣе пренебрегаемыя въ исторіяхъ философіи; эти именно мнѣнія надо связать между собою и, если возможно, объяснить ихъ историческую филіацію. Такая обработка существующаго матеріала настолько противоположна обработкѣ его въ исторіяхъ философіи, насколько то возможно». (*P. Tannery.* Pour l'histoire de la science hellène. Paris, 1887, p. 10—11).

Принимая за первый періодъ исторіи греческой науки три столѣтія, начиная съ завершенія легендарныхъ временъ и кончая эпохою Александра Македонскаго, Таннри говоритъ,что на зарѣ этого періода не существуетъ еще не только науки, но и самой идеи о томъ, чѣмъ наука должна быть, а въ концѣ—передъ нами уже два безсмертныхъ памятника науки: творенія

Гиппократа по медицинѣ и творенія Аристотеля, охватывающія всю область естественныхъ наукъ, не говоря уже о блестящемъ состояніи математическихъ знаній, разросшихся въ цѣлую спеціальность. И въ слѣдующій затѣмъ періодъ—періодъ Александрійскій—греческая наука не оставалась въ застоѣ; но намъ надо остановиться на моментѣ ея установленія и подвести итогъ той стадіи кризиса традиціоннаго міровоззрѣнія, который соотвѣтствуетъ этому фазису развитія метафизики и науки, или, какъ выражались въ ту эпоху, да нерѣдко и теперь, философіи.

Философія, считавшая уже однимъ изъ своихъ представителей такого человѣка, какъ Аристотель, не могла, конечно не сознавать со всею ясностью своей самостоятельности и не противопоставлять себя въ этомъ смыслѣ принципіально преподъѣденной традиціи. И въ самомъ дѣлѣ, Аристотель утверждаетъ уже, что въ философскомъ изслѣдованіи не стоитъ и упоминать о тѣхъ воззрѣніяхъ, которыя облекаются въ миѳическія формы. Вердиктъ былъ произнесенъ и остался незыблемымъ вопреки большинству, оставшемуся при переживаніяхъ; но при такой опредѣленности противупоставленія себя традиціи, философія еще далека была отъ сознанія раздвоенія, скрывавшагося въ ней самой. Риль совершенно правъ поэтому, утверждая, что на вопросъ: что такое *философія*?—древніе отвѣтили бы просто: *наука;* въ древности, оставляя математику въ сторонѣ, *не было, ни подлѣ, ни внѣ философіи иной, кромѣ нея, науки.* (*M. Riehl.* Ueber wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Philosophie. Freiburg i. B. 1883). Ея дѣйствительно не было *для сознанія грека*, но *объективно* она уже существовала и разросталась, тая въ своихъ нѣдрахъ источникъ новаго кризиса, послѣ котораго только что цитированный отвѣтъ на вопросъ: что такое философія? получилъ новую основу, новый смыслъ и новое значеніе.

Греческая «философія» была унаслѣдована черезъ арабовъ европейцами и на первыхъ порахъ все шло по старому; умственная жизнь Европы представлялась продолженіемъ умственной жизни исчезнувшей славной старины; обновленіе ея назрѣвало, однако же, медленно, хотя и вѣрно, и сказывалось въ разныхъ сторонахъ жизни. И вотъ, насталъ XV вѣкъ, совершилось открытіе дальнихъ невѣдомыхъ дотолѣ странъ. Разрывъ съ прошедшимъ совершился самъ собою. «Возникъ изъ

океана новый міръ», говоритъ одна памятная мнѣ рецензія исторіи наукъ Уэвеля,—міръ, котораго не знало ни одно преданіе, о которомъ не говорилъ ни одинъ авторитетъ древности ни по-еврейски, ни по-гречески, ни по-латыни. Тщетно старались относить этотъ міръ въ преданія: къ половинѣ XVI вѣка европейская мысль привыкла къ представленію, что она можетъ знать нѣчто *новое*, что она должна употреблять для этого *свои* средства и что во многихъ случаяхъ всѣ авторитеты древности и среднихъ вѣковъ ей не помогутъ. Одиноко выступилъ скромный каноникъ съ доказательствомъ, что Птолемей (великій Птолемей!) ошибался, что земля движется. Болѣе смѣло сказалъ медикъ Карла V и Филиппа II, что Галенъ (непогрѣшимый Галенъ!) зналъ строеніе человѣка хуже, чѣмъ мы можемъ узнать его посредствомъ прямого наблюденія. И вотъ, въ началѣ XVII вѣка путь знанія найденъ».

Но если для знанія былъ найденъ новый путь, то, само собою разумѣется, постановка вопроса о значеніи философіи—и соотносительно о значеніи метафизики и науки—должна была неизбѣжно обновиться. Мы видѣли уже, что метафизическія системы древности были прямымъ продолженіемъ фикцій первобытнаго міросозерцанія—«ихъ простымъ общимъ измѣненіемъ»,—вслѣдъ за народною сказкою шла сказка философа, за миѳомъ поэта—миѳъ метафизика. По своей основѣ они были тождественны. Въ чемъ же заключалась эта основа? Основа эта—*непосредственность* познанія въ первыхъ двухъ стадіяхъ мышленія; возможность устраненія этой непосредственности могла явиться только тогда, когда накопленіе результатовъ познавательной дѣятельности могло дать идею объ *относительной* цѣнности какъ ихъ самихъ, такъ и способовъ ихъ накопленія: тогда только явилась критика познанія и началась новая для него эра. И тутъ, конечно, былъ свой подготовительный періодъ, свои провозвѣстники и предшественники.

Непосредственность процесса первобытнаго познаванія заключается въ невыдѣлимости изъ него элемента воли, хотѣнія, побужденія, съ которыми процессъ этотъ весьма прочно ассоціированъ. *Познаніе* есть такое же удовлетвореніе хотѣнія знать (любознательности), какъ, напримѣръ, питаніе—хотѣнія ѣсть (голода), разсматриваніе—хотѣнія видѣть (любопытства) и т. д. Хотѣніе играетъ роль стимула въ процессѣ, который, однако же, нуждается и въ регуляторѣ. Лодкѣ необ-

ходимы весла, но необходимъ и руль. Стимулъ хотѣнія побуждаетъ, увлекаетъ, но онъ и завлекаетъ, а неизвѣданное еще море познанія кишитъ миражами. Обольстительнѣйшимъ изъ этихъ миражей всегда былъ и для многихъ и понынѣ остается миражъ пониманія, постиженія, постигновенія,—сведенія побуждаемаго явленія на нѣчто, наблюденію не подлежащее. Человѣкъ жилъ, и вдругъ—передъ нами трупъ. Что это такое? Что за загадка?—это Діана или Аполлонъ сразили его тихою стрѣлою,—отвѣтятъ греки; Озирисъ потребовалъ его къ своему судилищу, говорятъ египтяне,—и разгадка найдена; найдена и данный толчокъ влечетъ мысль далѣе: фантазія рисуетъ цѣлую «эсхатологію» съ подробностями, которыя не могутъ не изумлять. Хотѣніе знать удовлетворено: человѣкъ считаетъ, что онъ знаетъ то, что на самомъ дѣлѣ есть только фикція пониманія, миражъ сведенія наблюдаемаго явленія на предполагаемый фактъ, наблюденію недоступный. Всякое удовлетворенное хотѣніе связано, однако же, съ чувствованіемъ удовольствія, поэтому-то для человѣка, вращающагося еще въ области непосредственности, такъ пріятно пониманіе, такъ дорого разрѣшеніе загадки,—разрѣшеніе, фиктивности котораго онъ еще не подозрѣваетъ.

Въ метафизическихъ системахъ пониманіе облекается въ формы, тѣмъ болѣе плѣнительныя для ума, чѣмъ онѣ тоньше, отвлеченнѣе, удаленнѣе отъ конкретныхъ представленій сказки и мѳа, представляющихся для умозрительнаго настроенія вульгарными. Къ тому же, общая совокупность метафизическихъ фикцій, обработанная даровитымъ индивидуальнымъ умомъ, лишена была тѣхъ прорѣхъ и недочетовъ, которые стали уже очевидны въ мѳологическомъ преданіи, накопившемся вѣками и пестрѣвшемъ массою противорѣчій и несообразностей. Сверхъ всего, метафизическая система являлась не только цѣлостною, но и величественною; своимъ единствомъ и своею замкнутостью она производила эстетическое впечатлѣніе. Все это, вмѣстѣ взятое, оказывало и не могло не оказывать на умы извѣстнаго чарующаго обаянія. Вѣчное, незыблемое, абсолютное, трансцендентное!.. Сколь все это плѣнительно!.. Какъ возвышаетъ, уноситъ, просвѣтляетъ!.. И все это, для своего времени, было поистинѣ драгоцѣнно и важно: все это представляло тотъ путь, по которому разумъ человѣческій дѣйствительно подымался на гору познанія и съ извѣстнаго высокаго пункта котораго онъ

могъ уже охватывать взоромъ значительное пространство и изъ обыденнаго путника становиться «географомъ человѣческаго разума». Ставъ таковымъ и связавъ разрозненное дѣйствительною, а не фиктивною связью, человѣкъ потерялъ прежнюю непосредственность, потерялъ способность подвергаться чарующему обаянію фикцій, попытался вскрыть ихъ всѣхъ, поставилъ себѣ задачею преодолѣть ихъ и рѣшилъ заново пересмотрѣть все то, что до сего времени считалъ вѣчнымъ, незыблемымъ, абсолютнымъ.

Пересмотръ пересмотру, конечно,—рознь: вотъ Фарраръ, напримѣръ, находитъ, что мы обязаны «крайней скудости метафизическаго познанія» неразумѣніемъ истины, что вѣчность есть понятіе, не имѣющее никакого отношенія ко времени. «Увы!»—восклицаетъ по этому поводу Лесли Стивенъ.—«если бы то знаніе, которое было накоплено вѣками, было знаніемъ такого сорта, то намъ пришлось бы вмѣстѣ съ Вольтеромъ сознаться, что мы знаемъ «fort peu de choses». (Цит. соч. стр. 93). Дѣло не въ вымученныхъ толкованіяхъ, а въ томъ, что если бы вѣчность, незыблемость и абсолютность метафизическихъ построеній не были фикціями, то это значило бы только, что процессъ познаванія не подлежитъ эволюціи, что онъ не находится подъ вліяніемъ событій, не способенъ отражать ихъ, что—словомъ—онъ внѣ жизни. На самомъ дѣлѣ это не такъ: метафизическія фикціи вѣчнаго, незыблемаго, абсолютнаго были только тѣми площадками на скатѣ горы, взобравшись на которыя, люди могли обозрѣть окрестную мѣстность и затѣмъ продолжать свой путь. Съ этой точки зрѣнія метафизическія системы получаютъ свою справедливую историческую оцѣнку и по поводу ихъ можно только повторить то, что говоритъ Васко-де-Гама у Камоэнса: «если бы древніе философы, такъ много странствовавшіе ради познанія тайнъ чужихъ земель, подобно мнѣ, ввѣривъ себя столькимъ разнымъ вѣтрамъ, могли бы увидѣть тамъ много дивъ,—какія высокія произведенія они оставили бы намъ!» Всякая иная оцѣнка метафизическихъ фикцій не даетъ возможности добыть изъ изученія исторіи философіи какой-бы то ни было положительный результатъ и подвергаетъ историковъ философіи тому горькому упреку, который какъ-то бросилъ имъ стряхнувшій съ себя прахъ мумій ихъ же собратъ: «философія», сказалъ онъ, «находится еще на метафизической, слѣдовательно, предварительной стадіи развитія. Она

представляетъ собою сумму неудачныхъ попытокъ объясненія разсматриваемыхъ ею явленій. Философія въ этомъ смыслѣ составляетъ одно съ исторіею: философія—кладбище; историки ея—гробокопатели». (*P. Rée.* Die Entschtehung des Gewissens. Berlin, 1885, S. 238). И въ самомъ дѣлѣ, сколько ни изощряли умы свои метафизики надъ незыблемостью и абсолютностью своихъ излюбленныхъ понятій, нельзя не признать, однако же, что, не взирая на восторги гробокопателей, любая метафизическая фикція только припоминаетъ намъ то забавное опредѣленіе крокодила, которое у Шекспира даетъ Антоній: «съ виду онъ похожъ на самого себя; толщиной не превосходитъ своей толщины, ростомъ также; движется своими членами; ѣстъ то, чѣмъ питается... Цвѣта онъ—своего собственнаго, а слезы у него мокрыя».

Гробокопатели возопіютъ, пожалуй, что это «дерзновенію подобно». Никакого дерзновенія я тутъ не вижу, такъ какъ то, что я говорю, не имѣетъ никакого притязанія на своего рода «открытіе Америки». «Америка» эта открыта давно и по нынѣшнимъ временамъ туда можетъ отправляться всякій, даже и самый скромный путешественникъ. Иное дѣло, если мы отрѣшимся отъ мысли о всѣхъ тѣхъ условіяхъ, которыя даютъ возможность увидѣть эту «Америку» теперь, и перенесемся въ «среду вещей» того времени, когда «открытіе» было на очереди и задача имѣла совсѣмъ иную обстановку. Въ то время рѣшеніе ея, въ самомъ дѣлѣ, относилось не къ числу дѣлъ обыденныхъ и, дѣйствительно, предполагало заслугу. Вотъ, напримѣръ, что писалъ Вольтеръ въ своемъ «Краткомъ отвѣтѣ на длинныя рѣчи нѣмецкаго доктора» въ 1740 году, какъ бы заявляя, что даже и онъ не сразу попалъ на вѣрный путь. «У Самюэля Кларка», пишетъ онъ, «я не встрѣтилъ, по правдѣ сказать, той осмотрительной анатоміи человѣческаго разума, того посоха слѣпцовъ, съ которымъ скромный Локкъ разыскивалъ себѣ дорогу и находилъ ее; я не встрѣтилъ, наконецъ, и той робости ученаго, которая останавливала Локка у края бездны. Кларкъ совершалъ прыжокъ въ бездну, и *я дерзалъ туда за нимъ слѣдовать*. Разъ какъ-то, преисполненный всѣми этими изысканіями, плѣняющими умъ своею необъятностью, я сказалъ одному весьма просвѣщенному члену «Королевскаго Общества»: «г. Кларкъ, какъ метафизикъ, гораздо выше г. Ньютона».—«Дѣло возможное, отвѣтилъ тотъ сухо, это значитъ столь-

ко же, какъ если бы вы сказали, что въ игрѣ въ мячъ онъ превосходитъ его». Этотъ отвѣтъ отрезвилъ меня. Съ того времени мнѣ доводилось протыкать нѣкоторые изъ метафизическихъ мячей и я могъ убѣдиться, что изъ нихъ выходилъ одинъ только воздухъ. И когда мнѣ случилось сказать г. Сгравезенду: «*vanitas vanitatum, et metaphysica vanitas*», онъ отвѣтилъ: «мнѣ остается пожалѣть, что вы правы». (*Gustave Desnoiresterres.* «La jeunesse de Voltaire», p. 375). Слова эти были сказаны въ 1740 году, т. е. въ томъ самомъ году, когда увидѣлъ свѣтъ Юмовъ «Трактатъ о человѣческой природѣ», и наступило завершеніе кризиса, зачатки котораго одновременны возникновенію научнаго знанія. Давидъ Юмъ, тотъ самый Юмъ, который, приступивъ къ «очищенію» философіи отъ метафизики, поступилъ, по мнѣнію г. Козлова, подобно Крыловскому мужику, взявшемуся чистить червонецъ «пескомъ, дресвой и мѣломъ», пока червонецъ не потерялъ свой прежній вѣсъ и цѣну, нанесъ метафизикѣ тотъ смертельный ударъ, отъ котораго оправиться она уже никогда не могла. То именно, что считаютъ вѣсомъ и цѣною философіи гг. Козловы, было въ глазахъ Юма копотью преданія, удаленіе которой стало настоятельною необходимостью. Я указалъ выше на происхожденіе этой копоти и полагаю, что всякій непредубѣжденный читатель, если только ему сколько-нибудь извѣстна та почва, которая произвела налетъ приносимыхъ дымомъ посторонніхъ веществъ, уяснитъ себѣ вполнѣ значеніе задачи Юма. Не трудно понять также, почему Юма такъ часто считаютъ скептикомъ: онъ отрицалъ незыблемое, абсолютное, трансцендентное, а для многихъ въ этомъ пустословіи заключается все:—вся цѣна и весь вѣсъ червонца. Уже Локкъ предупреждалъ, что «тѣ, которые серьезно предаются обработкѣ и группировкѣ абстракцій, утруждаютъ себя ни за что, и могли бы взамѣнъ того вновь взяться, не взирая на зрѣлые годы, за дѣтскія куклы. И зачѣмъ они бросили ихъ для игры въ пустыя и лишенныя реальности идеи, истинныя куклы нашего воображенія и нашей фантазіи, которыя, какъ бы мы ихъ ни наряжали, остаются и послѣ занятія ими втеченіе сорока лѣтъ, безполезными и безжизненными игрушками». Юмъ окончательно убралъ прочь всѣ эти игрушки и далъ новой философіи тотъ животворный импульсъ, благодаря которому совершается вся ея послѣдующая эволюція, такъ что не даромъ можно считать Юма родоначальникомъ новѣйшей философіи.

Его дѣятельность была разрушительно-созидательная. Съ одной стороны къ нему, а не къ Канту слѣдовало бы отнести знаменитое изреченіе Гете: «разрушенное имъ никакая сила въ мірѣ не возстановитъ, какъ вѣрно замѣтилъ Джузеппе Тарантино (*Giuzeppe Tarantino*. Saggio sul criticismo esull'associazionismo di David Hume. Napoli, 1887, p. 74), а съ другой, по справедливому мнѣнію Риля, основнымъ принципомъ Юма слѣдуетъ считать принципъ позитивности мышленія, что соотносительно означаетъ, какъ говоритъ Риль, разрушеніе трансцендентности. Такимъ образомъ и выходитъ, что Юмъ выдвигалъ свой скептицизмъ не ради разрушенія, а ради созиданія. И хотя самому принципу этому и не свойственно творчество, но онъ освобождаетъ творческія силы; онъ пробуждаетъ духъ отъ метафизическихъ грезъ къ бодрой жизни при свѣтѣ дня и въ средѣ живой дѣйствительности. Онъ открываетъ философіи путь прогрессирующей науки». (*A. Riehl*. Der Philosoplische Kriticismus. Leipzig, 1876. I, Vorrede).

Но если метафизика была принципіально преодолѣна и научное познаніе освобождено отъ ея обременительной для него примѣси, то на очередь становился вопросъ о томъ, что станется съ философіей, которую нельзя ужъ было считать впредь всеобщимъ познаніемъ въ прежнемъ значеніи и объемѣ этого термина? Колебаніе по отношенію ясной и опредѣленной постановки этого вопроса было весьма продолжительно, но все же онъ былъ поставленъ и рѣшенъ съ полною послѣдовательностью. Говоря такъ, я не имѣю въ виду системы позитивной философіи Ог. Конта, которая, хотя и была обоснована на принципахъ антиметафизическихъ, но полноты той послѣдовательности, о которой я только-что сказалъ, именно то и не имѣла. Отодвинувъ метафизику въ ту категорію задняго плана, которая, согласно современной терминологіи, охватываетъ переживанія, и установивъ изъ частей научнаго познанія живое, развивающееся и руководящееся единымъ методомъ цѣлое, Ог. Контъ не отступалъ отъ указываемой мною послѣдовательности; но давъ намъ классификацію частей этого ряда, въ которой отсутствовала психологія, логика, гносеологія и этика, и недостаточно ясно опредѣливъ объемъ и границы метафизики, Ог. Контъ не могъ твердо установить характеръ философіи будущаго. Къ тому же, слишкомъ схематическій характеръ его системы производилъ впечатлѣніе скорѣе совершеннаго от-

сутствія въ ней всякой философіи, нежели обновленія ея на новыхъ началахъ.

На очереди стояло между тѣмъ не столько «to fight with extinct satans», сколько рѣшить вопросъ о томъ, что же слѣдуетъ намъ впредь разумѣть подъ философіей, переставшей быть метафизической, но еще не ставшей научной?

Одна изъ правильныхъ и послѣдовательныхъ постановокъ нашего вопроса была сдѣлана скромно и нѣсколько даже робко въ философскомъ журналѣ Виганда нѣкіимъ Іорданомъ, о которомъ въ настоящее время ничего не знаетъ даже Ибервегъ-Гейнце. А. И. Герценъ въ свое время замѣтилъ, однако же, статью Іордана и резюмировалъ ее въ своемъ «Дневникѣ» подъ 29 іюня 1844 года [1]).

Существенный смыслъ отмѣтки Герцена заключается въ слѣдующемъ: «критика, показавшая несостоятельность традиціоннаго міровоззрѣнія, оставаясь на философской почвѣ, должна итти далѣе и обратиться противъ самой философіи. Философское воззрѣніе есть послѣднее традиціонное воззрѣніе, во всемъ подчиняющее природу духу, приписывающее мышленію первенство и устанавливающее такимъ образомъ тождество, не уничтожающее, однако же, противоположности, мышленія и бытія. Духъ, мысль—результаты матеріи и исторіи. Полагая началомъ чистое мышленіе, философія впадаетъ въ абстракціи, которыя держаться не могутъ, такъ какъ конкретное представленіе настолько присуще намъ, что намъ мучительно и тоскливо въ сферѣ абстракцій—и мы безпрестанно срываемся въ сферу конкретную. Философія хочетъ быть отдѣльной наукой и въ качествѣ таковой наукою о мірѣ, ибо законы мышленія совпадаютъ съ законами бытія; порядокъ этотъ долженъ стать обратнымъ: мышленіе есть не иное что, какъ самъ міръ, поскольку онъ себя познаетъ; мышленіе есть міръ, выясняющій себя самого въ человѣкѣ. А потому нѣльзя наукою мышленія начинать и изъ нея выводить природу. *Философія — не отдѣльная наука, на мѣсто ея должны быть поставлены разрозненныя члены науки*».

Я повторяю: вопросъ былъ поставленъ правильно; но до раз-

---

[1]) Приписано рукою автора: «И неудивительно, что Г. остановился надъ этой статьей; въ его кружкѣ уже давно ходили вокругъ и около этой идеи. См. статью Мякотина о Грановскомъ въ «Русск. Бог.», 96 года, № 6, стр. 74 и 76». *Прим. ред.*

рѣшенія его было еще далеко. То рѣшеніе, которое указывалось въ приведенныхъ строкахъ, нуждалось еще въ значительной переработкѣ; на немъ, вопреки ярко выраженному и даже преувеличенному отверженію абстракцій, лежала еще нѣкоторая мгла, напоминавшая о «Nebelfabrikanten der Hegelschule», и затѣмъ оставалось совершенно неизвѣстнымъ, какимъ образомъ произойдетъ замѣщеніе философіи *разрозненными нынѣ науками* и что произойдетъ съ этими науками, когда разрозненность эта исчезнетъ.

Около этого же времени, а именно въ промежуткѣ между 1841 и 1845 годомъ, Л. Фейербахъ въ своихъ «Предварительныхъ тезисахъ къ реформѣ философіи», «Основоположеніяхъ философіи будущаго» и «Отрывкахъ» выдвинулъ и разрѣшилъ разсматриваемый нами вопросъ съ тою ясностью и опредѣленностью, которая всегда отличала этого геніальнаго мыслителя. Мысли Фейербаха, изложенныя въ отрывочныхъ положеніяхъ, являлись поразительнымъ по проницательности предвосхищеніемъ того взгляда на философію, который получилъ свое полное обоснованіе только въ современной школѣ «научной философіи». Отрывочные тезисы Фейербаха, значительно упреждая притомъ же результаты эволюціи научнаго познанія, которая еще совершалась и результаты которой были далеко не очевидны для умовъ, сила которыхъ не могла сравниваться съ силою ума Фейербаха, представлялись невразумительными, и или отвергались, или скользили по поверхности сознанія людей того времени и были скоро забыты. Только въ нынѣшнемъ уже десятилѣтіи, благодаря превосходной біографіи Фейербаха проф. В. К. Болина, значеніе Фейербаха для современной философіи опредѣлилось съ достаточною очевидностью; но теперь было уже кому слушать и понимать эти такъ недавно еще вызывавшіе одни лишь недоразумѣнія тезисы.

«Попытки реформировать философію, дѣлавшіяся до сихъ поръ», писалъ Фейербахъ, «отличаются отъ древней философіи въ видовомъ, а не въ родовомъ отношеніи. Необходимое условіе истинно новой, т.-е. самостоятельной, отвѣчающей потребностямъ человѣчества и его будущему философіи, заключается въ томъ, чтобы она существенно, чтобы она toto genere различалась отъ древней философіи». Вотъ нѣкоторыя черты той философіи будущаго, которая удовлетворитъ указанному выше необходимому условію. «Истинная философія есть истинная и всеоб-

щая эмпирія».—«Философія есть познаніе того, что есть. Мыслить вещи и существа, познавать ихъ такими, какими они суть,—вотъ высшій законъ, высшая задача философіи».—«То, что есть, какъ оно есть, т.-е. истинное высказывать истинно—кажется поверхностнымъ; то, что есть, какъ оно не есть, т.-е. истинное высказывать не истинно, извращать его, представляется глубокомысленнымъ». «Правдивость, простота, опредѣленность,—это формальные признаки дѣйствительной философіи». «Философіи вновь предстоитъ вступить въ союзъ съ естествознаніемъ, естествознанію—съ философіей. Этотъ союзъ, основанный на взаимной потребности, на внутренней необходимости, будетъ прочнѣе, счастливѣе и плодотворнѣе, нежели существовавшая до сихъ поръ mesalliance между философіею и традиціонными доктринами».

Всѣ эти тезисы достаточно уясняютъ вопросъ о томъ, о какой философіи говорилъ Фейербахъ, когда онъ рѣзко заявлялъ: «никакой философіи!—вотъ моя философія». Противники его понимали, что въ этой формѣ «страстное выраженіе личнаго чувства» заслоняло истинное значеніе его мысли, а потому и возражали «по существу». Одинъ изъ нихъ,—не безъизвѣстный и у насъ Рудольфъ Гаймъ—никакъ не могъ примириться съ мыслью, что философія должна перестать считаться отдѣльною наукою. Фейербахъ, какъ передаетъ современный біографъ, не входилъ въ розысканіе путей для спасенія философіи, такъ какъ, по его мнѣнію, это была чисто-профессорская забота, которая для его убѣжденій по отношенію къ вопросу о будущемъ философіи не имѣла ровно никакого значенія. (*W. Bolin.* Ludwig Feuerbach, sein Wirken und seine Zeitgenossen. Stuttgart, 1891. S. 122).

Таковы были мысли первыхъ провозвѣстниковъ тѣхъ воззрѣній на философію, которыя въ послѣднія двадцать лѣтъ стали достояніемъ цѣлой группы мыслителей, обосновавшихъ ихъ заново, развившихъ и показавшихъ ихъ приложеніе. Теперь, если не препятствуетъ предубѣжденіе, если мысль не оказывается надорванною бреднями, если способность усвоенія новыхъ идей не встрѣчаетъ препятствія въ побочныхъ соображеніяхъ или не заторможена угнетающими условіями, опредѣлившими степень и качество умственнаго развитія личности, воззрѣнія эти находятъ себѣ весьма легкіе пути распространенія. Мало того, у людей науки, разрабатывающихъ свои

спеціальныя области со всею живостью и вдумчивостью пытливой мысли, воззрѣнія эти возникаютъ сами собою и, независимо отъ всякаго внѣшняго вліянія, становятся руководящими. Я укажу далѣе на нѣсколько такихъ интересныхъ и поучительныхъ примѣровъ, а теперь перейду къ бѣглому очерку установленія этихъ воззрѣній у представителей нѣмецкой «научной философіи».

Для того, чтобы союзъ, о которомъ говорилъ Фейербахъ, осуществился, необходимо было прежде всего окончательное распаденіе философіи на отдѣльныя спеціальныя науки. И вотъ, когда одна за другою обособились: соціологія, психологія, этика и, наконецъ, гносеологія,—все содержаніе старой философіи оказалось разобраннымъ, и пришлось дѣлать очень ужъ наивныя натяжки, чтобы повтореніе распредѣленныхъ по отдѣльнымъ наукамъ тезисовъ выдать за особую науку о мірѣ, какъ цѣломъ. Остаться при схемѣ Ог. Конта было бы гораздо основательнѣе: схема наукъ Конта хоть приближала къ философіи, а философія, какъ отдѣльная наука, была дѣломъ благодарнымъ только для вопроса объ отдѣльной каѳедрѣ. Истые метафизики, метафизики того времени, когда умозрѣніе было еще не переживаніемъ, а дѣломъ жизни, были поэты въ душѣ, тонкіе мыслители, вдохновенные провозвѣстники новыхъ побѣдъ разума,— они были въ самомъ дѣлѣ «властители думъ»; не то—деревянный философъ послѣдней формаціи, едва ли вѣрящій самъ нескладицѣ своего мышленія... По своему «холодному, раздробленному, повседневному характеру», онъ не способенъ подняться выше заурядиѣйшей обыденности и—

«Исполненный ненужныхъ словъ,
И мыслей, ставшихъ общимъ мѣстомъ,
Онъ краснорѣчья прѣснымъ тѣстомъ
Всю землю вымазать готовъ».

Не стало старой превыспренней, вдохновенной метафизики, и новое пустословіе возмѣстить ее, конечно, было не въ состояніи, хотя, само собою разумѣется, оно находило для себя raison d'être въ спросѣ на свои издѣлія: бываютъ вѣдь времена какъ разъ подходящія для нихъ, не способныя перерости ихъ; но фортуна измѣнчива:

«Es ändert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht aus den Ruinen».

Чтобы представить себѣ ходъ этого утѣшительнаго процесса, обобщимъ его и постараемся дать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что слѣдуетъ намъ разумѣть подъ эволюціею или развитіемъ.

Эволюціею или развитіемъ, какъ прекрасно выяснилъ Петцольдтъ въ статьѣ, посвященной установленію новаго понятія философіи (Vierteljahrsschrift für wiss. Philosophie, 87, II) есть всякое движеніе, разсматриваемое отъ его возникновенія до окончанія, т.-е. до перехода двигавшихся элементовъ въ состояніе (относительной) устойчивости. Развитіе можно разсматривать, слѣдовательно, какъ постепенное устраненіе преградъ и всякаго состязанія вообще, или, формулируя точнѣе, всякое развитіе есть результатъ состязающихся между собою стремленій, а результатъ самаго развитія есть (относительная) устойчивость. Всѣ эти тезисы имѣютъ чисто-отвлеченный характеръ, освобожденный отъ примѣси какого бы то ни было конкретнаго представленія захватываемыхъ развитіемъ элементовъ. Они имѣютъ въ виду только отношеніе между элементами, а потому могутъ одинаково быть приложены и къ направленнымъ на какой бы то ни было предметъ желаніямъ, и къ устремленнымъ къ какимъ бы то ни было цѣлямъ, побужденіямъ, и къ сосредоточеннымъ на какомъ бы то ни было вопросѣ научнымъ мнѣніямъ, и къ добивающимся какого бы то ни было результата политическимъ и общественнымъ дѣйствіямъ и т. д. Разсматривая съ этой точки зрѣнія пройденный нами путь, мы можемъ отмѣтить на немъ четыре состоянія умственнаго развитія, которыя можно счесть устойчивыми: первое характеризуется анимизмомъ, второе—миѳотворчествомъ, третье—метафизикой и четвертое—философіей. Теперь намъ предстоитъ заняться пятымъ, характеризуемымъ наукою. Я не стану теперь останавливаться на разсмотрѣніи внѣшней стороны этой эволюціи и ничего не скажу о тѣхъ разнообразныхъ элементахъ, конкурренція которыхъ принципіально упраздняется установленіемъ понятія о научной философіи: разсмотрѣнію этихъ элементовъ я посвятилъ отдѣльную работу [1]). Я остановлюсь теперь только на

[1]) Здѣсь кстати будетъ упомянуть о вниманіи, которымъ удостоилъ эту работу А. И. Введенскій. Въ статьѣ своей о Кантѣ, помѣщенной въ ноябрьской книжкѣ журнала «Вопросы философіи» за прошедшій годъ, онъ, на стр. 632, замѣчаетъ, что къ моимъ историческимъ сопоставленіямъ надо относиться осторожно, такъ какъ въ моей книгѣ *(Что такое научная философія?)* «дѣло представлено такъ, какъ будто бы но-

разсмотрѣніи психологической стороны вопроса и повторю тѣ соображенія Петцольдта, которыя указываютъ на ходъ развитія

вѣйшіе позитивисты образуютъ рядъ лицъ, каждое изъ которыхъ подхватываетъ работу своего предшественника и послѣдовательно развиваетъ ее нѣсколько дальше. (Въ этомъ признакъ хорошо установившейся науки; и позитивизмъ выходитъ таковой наукой). Если же читатель обратитъ вниманіе на хронологію сочиненій, о которыхъ упоминаетъ самъ г. Лесевичъ, то сразу замѣтитъ, что этотъ рядъ надо значительно измѣнить: напримѣръ, Авенаріусъ, который поставленъ г. Лесевичемъ на предпослѣднее мѣсто изъ числа восьми нѣмецкихъ позитивистовъ, займетъ хронологически, пожалуй, первое мѣсто. Это напоминаетъ, какъ Гегель подгонялъ подъ свою схему исторію философіи и объявлялъ логически предшествующимъ то, что хронологически было послѣдующимъ. Про Гегеля разсказываютъ, будто бы въ случаяхъ подобнаго несоотвѣтствія его теоріи съ фактами онъ утѣшался фразой: «тѣмъ хуже для фактовъ». Прочитавъ эту слишкомъ ужъ обильную орнаментами тираду, можно предположить, что г. Введенскій имѣетъ основаніе торжествовать какую-то побѣду; вникнувъ же въ дѣло, нельзя будетъ не остановиться на томъ, что изъ восьми лицъ, составляющихъ рядъ «подхватывающихъ» и т. д., шестеро и понынѣ здравствуютъ и что всѣми восемью втеченіе взятаго мною тринадцатилѣтняго періода написано 12 сочиненій, распадающихся на 20 отдѣльно появившихся частей, поименованныхъ у меня *съ обозначеніемъ года ихъ выхода въ свѣтъ*, такъ что сразу представится совершенно нелѣпая и *рѣшительно никому и ни для чего ненужная картина «подхватыванія»*. Если же при этомъ не будетъ упущено изъ виду приведенное мною выше опредѣленіе эволюціи, то «подхватываніе», болѣе смахивающее впрочемъ на передачу, на традицію, съ ея комментаріями, окажется *всего менѣе нужнымъ именно мнѣ*. Подумавъ объ этомъ, г. Введенскій могъ бы задаться вопросомъ о томъ, что могу выиграть я отъ того, что Авенаріусъ будетъ предпослѣднимъ, или что я потеряю, если онъ станетъ, пожалуй, первымъ? Ужели для спеціалиста по философіи не очевидно, что, если бы ему удалось доказать, что я скрылъ или извратилъ хронологію сочиненій, о которыхъ упоминаю, то онъ все же таки не доказалъ бы ровно ничего, такъ какъ «подхватываньe» или «неподхватываньe» само по себѣ ничего еще не значитъ. Ну, что изъ того, что не читавшій моей книги повѣритъ г. Введенскому? Ужели это доставитъ г. Введенскому нравственное удовлетвореніе? Для кого же, наконецъ, онъ пишетъ?

Вотъ хоть бы и второе его замѣчаніе, обращенное ко мнѣ по поводу взгляда Лааса на Канта, не то ли же опять? «Г. Лесевичъ», сказано тутъ, «проводитъ мысль, будто бы самъ Лаасъ очень близокъ къ Канту. Въ дѣйствительности же, Лаасъ въ своемъ Idealismus und Positivismus...» *Въ дѣйствительности* я цитирую Лааса дословно на стр. 145, а свое собственное мнѣніе объ отношеніи Лааса къ Канту высказываю на стр. 147 и указываю на него какъ на мыслителя, подорвавшаго Кантову философію... Чего же ради г. Введенскій ломится въ отворенную дверь?

отвлеченно-взятыхъ научныхъ элементовъ и опредѣляютъ конечный его результатъ. Эта сторона вопроса имѣетъ для настоящей моей цѣли главное и основное значеніе.

Если мы,—говоритъ Петцольдтъ,—замѣчаемъ во всѣхъ родахъ состязаній постоянное приближеніе къ устойчивому состоянію, то само собою разумѣется, что мы можемъ говорить только объ относительномъ постоянствѣ такой устойчивости. Не касаясь внѣшняго міра, приложеніе къ которому указываемаго здѣсь замѣчанія слишкомъ очевидно, и имѣя въ виду только міръ внутренній, надо будетъ признать, что всѣ психическія явленія, которыя можно счесть устойчивыми, всегда существуютъ только въ связи съ относительно устойчивыми матеріальными состояніями. Условность устойчивости психическихъ состояній вытекаетъ отсюда сама собой. Послѣдніе остатки духовныхъ результатовъ дѣятельности человѣчества не могутъ, конечно, исчезнуть на нашей планетѣ, пока существуютъ на ней люди. Если полный параллелизмъ движенія и ощущенія дѣйствительности существуетъ, то моменты наступленія безусловной устойчивости какъ психической, такъ и физической, должны быть связаны между собою неразрывно. Что же касается системъ условной устойчивости, то онѣ вступаютъ, какъ элементы, въ другія системы: наша солнечная система есть только часть другой, бо̀льшей, составляющей, въ свою очередь, часть слѣдующей и т. д.; организмы тоже образуютъ новыя устойчивыя состоянія (семейства, государства); *науки, взаимно устраняя противорѣчія, имѣющія мѣсто между ними, находятъ свое единство въ философіи и т. д.*

Петцольдтъ поясняетъ далѣе, что относительныя устойчивыя состоянія мы обыкновенно считаемъ *цѣлями*, а необходимыя для ихъ осуществленія силы разсматриваемъ какъ *средства*. Всякая система признается нами тѣмъ болѣе цѣлесообразною по своему строю, чѣмъ менѣе встрѣчаемъ мы возможностей къ разстройству какъ ея самой, такъ и отношеній ея къ внѣшнимъ силамъ, т.-е. чѣмъ исключительнѣе служатъ въ ней силы къ ея поддержанію. Полной, въ этомъ смыслѣ принимаемой, цѣлесообразности въ природѣ мы не находимъ, а видимъ, напримѣръ, въ нашей солнечной системѣ, одно лишь приближеніе къ ней. Изъ этого можно заключить, что понятіе цѣлесообразности въ такой же мѣрѣ относительно, какъ и понятіе устойчивости. Мы мѣряемъ здѣсь своею, человѣческою мѣрою; умы, для кото-

рыхъ милліоны лѣтъ имѣли бы такое значеніе, какъ для насъ мгновеніе, усмотрѣли бы въ жизни земного шара столь же мало цѣлесообразности, сколько мы усматриваемъ ее во мгновенномъ сверканіи молніи; тогда какъ обитатели капли воды переживаютъ мгновенія такъ, какъ мы десятилѣтія. Они, быть можетъ, въ теченіе времени, которое потребно для паденія капли съ облаковъ на землю, выполняютъ самое содержательное и цѣлесообразное существованіе. Замѣтимъ, что мы разсматриваемъ какъ цѣль не исключительно только то, что считается нами устойчивымъ, но можемъ усматривать цѣль и въ томъ, что, являясь скоропреходящимъ, служитъ, однако, не возникновенію или поддержанію чего-либо, способствующаго устойчивому состоянію. Такимъ образомъ, въ ряду причинъ и дѣйствій, направляющихся къ устойчивому состоянію, каждый членъ можетъ разсматриваться, какъ средство по отношенію къ предыдущему моменту, и какъ цѣль по отношенію къ моменту послѣдующему. *Не совсѣмъ поверхностное мышленіе все же таки принимаетъ за главную цѣль — цѣль конечную*, т.-е такое состояніе, которое можетъ сохранить относительно постоянную устойчивость.

Было замѣчено, что люди имѣютъ склонность къ систематизированію. Петцольдтъ полагаетъ, что въ систематизированіи такъ же, какъ и въ стремленіи къ установленію единства, можно видѣть проявленіе побужденія къ устойчивому состоянію, такъ какъ пока система не организована, пока единство не добыто, до тѣхъ поръ мы не можемъ еще считать «развитіе» законченнымъ и цѣль его достигнутою. Достигнутою же цѣль эту можно будетъ счесть тогда, когда наступитъ моментъ покоя, моментъ устойчивости,—тутъ и полученъ будетъ нами научный результатъ умственной работы или же фактъ, вѣнчающій нашу практическую дѣятельность.

Полное, дружное приложеніе силъ для установленія устойчиваго состоянія заключается въ цѣлесообразномъ пользованіи этими силами. Во всей природѣ,—заключаетъ Петцольдтъ эту часть своего разсужденія,—неизбѣжно царитъ стремленіе къ такому ими пользованію, царитъ принципъ стремленія къ устойчивости. Въ этомъ принципѣ слѣдуетъ видѣть не только основоположеніе психической жизни, но и основоположеніе для всѣхъ естественныхъ явленій, поскольку эти послѣднія являются процессами развитія и устойчивыми состояніями.

Послѣ этихъ предварительныхъ соображеній получается воз-

можность перейти къ опредѣленію отношенія между философіей и отдѣльными науками. Оставляя въ сторонѣ изслѣдованіе происхожденія понятій, мы констатируемъ только, что всѣ науки стремятся, какъ къ идеалу, къ такому строю, который представлялъ бы замкнутую, послѣдовательную, свободную отъ противорѣчій, полную и общепризнанную систему; иначе говоря, всѣ науки стремятся къ устойчивому состоянію. Изъ этого видно, что, разсматривая задачу каждой науки въ отдѣльности, надо сказать, что задача эта заключается въ приложеніи принципа наименьшей траты силъ къ мышленію объ отдѣльныхъ частяхъ міра; сопоставляя же всѣхъ ихъ и предполагая ихъ законченными, намъ придется сказать, что сумма ихъ отвѣчаетъ мышленію о мірѣ, какъ цѣломъ, согласно нашему принципу.

Мышленіе о мірѣ, какъ цѣломъ, не создаетъ еще однако почвы для отдѣльной науки—философіи, какъ можетъ показаться тому, кто свыкся съ рутиной. Избѣгая старой торной дорожки, Петцольдтъ ведетъ свое разсужденіе съ большою осмотрительностью и прежде всего останавливается на вопросѣ о взаимодѣйствіи наукъ. Для отдѣльныхъ наукъ взаимодѣйствіе это, по самому свойству объектовъ этихъ наукъ, неизбѣжно. Въ силу этого взаимодѣйствія науки и принуждены исправлять одна у другой важныя основныя положенія. Физикѣ и химіи приходится вырабатывать соглашеніе относительно понятія атомовъ; подобная же взаимность существуетъ между геологіей и біологіей, физикой и физіологіей, физіологіей и психологіей,— вездѣ проявляются разнообразнѣйшія соотношенія, вездѣ объявляются настоятельныя требованія обоюднаго приспособленія посредствомъ устраненія противорѣчій, помѣхъ, излишествъ; вездѣ — стремленіе къ окончательному устойчивому состоянію,— къ такому состоянію, въ которомъ теоретическое мышленіе могло бы найти покой. Если же мы предоставимъ спеціальнымъ наукамъ не только взаимно совершенствовать ихъ частныя понятія, но возложимъ еще на нихъ выработку и высшихъ понятій ихъ областей изслѣдованія, не признавая такой работы философскою, то почему бы не потребовать отъ нихъ установки и самого высшаго общаго понятія, какъ увѣнчанія ими же самими воздвигнутаго зданія; зачѣмъ считать нужнымъ относить эту работу, качественно ничѣмъ не отличающуюся отъ предыдущей, къ какому-то особенному, не научному, а философскому мышленію? Вѣдь пріобрѣла же въ настоящее время психологія,

находившаяся прежде въ полной зависимости отъ философіи, полную самостоятельность, отнявъ при этомъ у философіи существенную часть ея задачи. Эта часть заключается, однако же, не менѣе какъ въ самомъ основномъ ея понятіи, томъ понятіи, которымъ охватывается все существующее. Если же результатомъ психологическаго изслѣдованія слѣдуетъ считать положеніе, что мы мыслимъ міръ матеріально—какъ ощущеніе, формально—какъ движеніе, то вѣдь это положеніе и составляетъ содержаніе философіи.

Философское мышленіе,—продолжаетъ далѣе Петцольдтъ,—характеризуется, однако же не однимъ тѣмъ, что оно направлено на общую совокупность существующаго, хотя черта эта и существенна, но еще и тѣмъ, что оно стремится отнестись, по возможности, непредубѣжденно къ даннымъ отдѣльнымъ явленіямъ и связываетъ это стремленіе со своимъ взглядомъ на цѣлое. Эта сторона мышленія, какъ указалъ уже Эрнстъ Махъ, и придаетъ воззрѣніямъ собственно философскій характеръ; она присуща всякому философу. Философія *не принадлежитъ къ числу отдѣльныхъ наукъ*: ни по особенности своего, ни по особливости того общаго понятія, которое могло бы отрознить ее отъ совокупности спеціальныхъ наукъ; она заключается исключительно въ томъ *всеохватывающемъ, непредубѣжденномъ мышленіи*, которое *всѣ части цѣлаго* связываетъ живыми отношеніями и такимъ образомъ создаетъ для себя по отношенію къ явленіямъ спокойную обезпеченность. Между истинною наукою и истинною философіей противорѣчія не существуетъ. Для дѣйствительно плодотворной и сознательной работы обѣ должны идти непремѣнно рука объ руку: философъ, наблюдающій за общимъ направленіемъ подвигающейся впередъ работы человѣческой мысли, долженъ непосредственнымъ вмѣшательствомъ въ спеціальные труды исправлять ихъ; а спеціалистъ не долженъ терять изъ вида общаго направленія, для того, чтобы всегда понимать свое положеніе и не намѣчать такихъ «научныхъ результатовъ», которые въ высшей степени безразличны для цѣлаго и способны только возбуждать у проницательныхъ наблюдателей сожалѣніе о напрасно растраченныхъ силахъ. Спеціалиста, ничего не вѣдающаго о великомъ пути всей вообще науки, можно сравнить съ отдѣльнымъ солдатомъ въ арміи, который хотя и работаетъ для однѣхъ съ нею цѣлей, все же остается въ невѣдѣніи о нихъ, а потому легко можетъ преувеличить зна-

ченіе дѣятельности другихъ; онъ идетъ безсознательно, а потому не свободно; онъ—орудіе совершающагося дѣла; если его не поведутъ другіе, онъ, всего вѣроятнѣе, направится скорѣе по ложному, нежели по вѣрному пути.

Въ заключеніе своего разсужденія Петцольдтъ ставитъ вопросъ: какъ далеко можетъ идти философское мышленіе, не теряя права на это названіе? Изъ предыдущаго видно,—говоритъ онъ, отвѣчая на этотъ вопросъ,—что предѣлы могутъ быть поставлены тутъ одними только индивидуальными дарованіями, вообще же установить ихъ нельзя. По Авенаріусу искать ихъ надо тамъ, гдѣ оканчивается пониманіе природы или вообще пониманіе. Всякая наука вынуждена остановиться на какихъ-нибудь фактахъ, не сводимыхъ на другіе, болѣе простые, и пренебречь всякимъ трансцендентнымъ объясненіемъ; факты эти образуя «*чистый опытъ*», указываютъ на одну границу пониманія, тогда какъ двѣ другія границы находятся въ сторонѣ абсолютно-простого и абсолютно-общаго понятія (или понятій, если сведеніе ихъ къ единству окажется неосуществимымъ). Въ этихъ границахъ и совершается систематизированіе понятій, привносимыхъ спеціальными науками,—понятій, которыя ранѣе того имѣли свой собственный, весьма, притомъ, высокій интересъ, но которыя теперь получаютъ интересъ философскій. Ясное расчлененіе и гармоническая законченность созидаемаго цѣлаго не должны быть теряемы изъ вида тѣми, которые слѣдятъ за ея устроеніемъ. Это цѣлое, эта система имѣютъ для мышленія нашего громадное значеніе, такъ какъ завершеніе ихъ и есть достиженіе истинной цѣли теоретическаго мышленія—устойчиваго состоянія. Философія всегда была озабочена упрежденіемъ этого устойчиваго состоянія, хотя попытки ея удавались и рѣдко. *Выработка общаго понятія не есть дѣло специфически-философской умственной дѣятельности*: это дѣло общей совокупной работы спеціальныхъ наукъ. То, что Авенаріусъ называетъ «укладомъ философіи», т.-е. организація «чистаго опыта» и проведеніе его черезъ всю совокупность научнаго познанія, находится въ полной зависимости отъ развитія отдѣльныхъ наукъ. *Отдѣльной же науки—«философіи»*,—науки, обладающей особливыми средствами для выработки законченнаго міровоззрѣнія безъ помощи наукъ о природѣ и посредствомъ предвосхищенія ихъ результатовъ, *не существуетъ*. Мышленіе окажется запечатлѣннымъ философскимъ характеромъ

только тогда, когда *единичное будетъ охватываться взглядомъ, устремленнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и на цѣлое, и когда представленіе цѣлаго въ свою очередь будетъ привлечено для изслѣдованія единичнаго.*

Таковъ отвѣтъ Петцольдта на вопросъ: что такое научная философія? Отвѣтъ этотъ, какъ мнѣ не разъ приходилось убѣждаться, чрезвычайно смущаетъ умы, сдѣлавшіе привычку ассоціировать съ этимъ терминомъ всѣ обычныя формы отдѣльной науки; имъ непремѣнно подавай «курсъ», и они скорѣе примирятся съ пустословіемъ, чѣмъ съ философіей, потерявшей твердое очертаніе своихъ границъ. Курсъ философіи съ предисловіемъ, введеніемъ и занимательными рубриками,—это для нихъ своего рода черепаха, на которой держится міръ. Отрицаніе этой черепахи все какъ-то представляется имъ недоразумѣніемъ, какъ то, впрочемъ, и «разъясняется» въ одномъ изъ «предисловій». Въ виду тумана, напускаемаго этими предисловіями, введеніями и всякаго рода трактатами, цѣлесообразно будетъ придти на помощь колеблющимся и дополнить изложенное выше разсужденіе Петцольдта нѣкоторыми комментаріями, заимствованными изъ позднѣйшихъ его статей (см. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1893, Zweites Heft. S. 146 и т. д.); мнѣ останется затѣмъ сдѣлать къ комментарію этому нѣкоторыя добавленія, и задача моя будетъ закончена.

Обширныя области умственной жизни, — говоритъ Петцольдтъ,—получаютъ отъ новыхъ идей совершенно новое освѣщеніе, благодаря которому открывается связное соотношеніе тамъ, гдѣ ранѣе зіяли пропасти, и получается возможность обстоятельнаго разсмотрѣнія того, что до того едва лишь смутно выступало изъ туманной дали. Коперникъ внесъ свѣтъ въ запутанныя воззрѣнія тогдашней астрономіи; Ньютонъ показалъ то общее, которое заключалось въ паденіи яблока съ дерева и движеніи луны вокругъ земли; Кантъ и Лапласъ научили насъ разсматривать разнообразныя небесныя явленія съ одной, общей для всѣхъ ихъ точки зрѣнія; Робертъ Майеръ связалъ механическую работу и теплоту; Максуэль и Герцъ указали на связь свѣта и электричества [1]); Адамъ Смитъ раскрылъ передъ нами, что самыя сложныя явленія народнаго хозяйства обусловли-

[1]) Подробнѣе см. статью Герца «Лучи электричества». «Научн. Обозр.», 1894 г., № 3.

ваются разсчетомъ личной выгоды; Дарвинъ борьбою за существованіе освѣтилъ загадку родства видовъ, родовъ, классовъ и типовъ; Фехнеръ своимъ принципомъ стремленія къ устойчивости далъ намъ средство ясно понимать основу и цѣль всякаго развитія; Рихардъ Авенаріусъ показалъ соотношеніе центральной нервной системы къ внѣшнимъ и внутреннимъ возбужденіямъ и далъ намъ возможность не попадать въ тѣ безвыходныя положенія, которыхъ не чужда теоретическая философія нашего времени. У всѣхъ такихъ научныхъ пріобрѣтеній есть то нѣчто общее, что всѣ они представляютъ *одну* идею въ ея центральномъ положеніи среди обширной мысленной области, причемъ всѣ частности этого замкнутаго круга соотносятся къ его центральному пункту и отъ него пріобрѣтаютъ свою цѣнность, жизнь и значеніе. Общая совокупность всего этого мысленнаго зданія получаетъ такимъ образомъ единство и законченность, которыя производятъ впечатлѣніе прекраснаго, плѣняютъ насъ, увлекаютъ насъ неудержимо и указываютъ намъ высшіе идеалы человѣчества [1]).

Говоря объ оцѣнкѣ значенія и силы вліянія новой крупной идеи, слѣдуетъ еще обратить вниманіе на то очень характерное для опредѣленія ея жизненности обстоятельство, что въ извѣстное время она съ большею или меньшею опредѣленностью возникаетъ въ нѣсколькихъ центрахъ и тѣмъ представляетъ очевидное свидѣтельство завершенія ея подготовительнаго періода. Такъ и разсмотрѣнная нами новая идея научной философіи, хотя и явилась во всей полнотѣ своего обоснованія въ нѣмецкой философской школѣ, обнаруживаетъ свое «вѣяніе» и тамъ, гдѣ не существуетъ никакихъ данныхъ для констатированія вліянія этой школы. Стоитъ только, чтобы данныя объективныя условія развитія науки сочетались съ надлежащими условіями развитія личности, чтобы получились существенно тождественные результаты. Такъ извѣстный американскій мыслитель Лестеръ Уордъ, проникнутый стремленіемъ сообщить наукѣ духъ жизни, провелъ черезъ все свое обширное сочиненіе,

---

[1]) Здѣсь на поляхъ рукою автора выписана слѣдующая цитата изъ Герцена («Съ того берега»): «Физика насъ оскорбляетъ своей независимой самобытностью, намъ хочется алхиміи, магіи; а жизнь и природа равнодушно идутъ своимъ путемъ, покоряясь человѣку по мѣрѣ того, какъ онъ выучивается дѣйствовать ихъ же средствами». *Примѣч. ред.*

посвященное «дѣйственному обществовѣдѣнію», убѣжденіе въ плодотворности только того изученія спеціальныхъ наукъ, которое идетъ рука объ руку съ изученіемъ общихъ вопросовъ. Онъ горько жалуется на безполезность крайней спеціализаціи отдѣльныхъ, разсматриваемыхъ порознь, наукъ. Онъ утверждаетъ, что мотивомъ къ пріобрѣтенію знанія въ области такого переспеціализированія служитъ одна только страсть къ пріобрѣтенію знаній. «Принимая во вниманіе массу важныхъ и основныхъ задачъ, предлежащихъ каждой наукѣ, принимая далѣе во вниманіе, что задачи эти пренебрегаются спеціалистами, изучающими безполезныя мелочи, я,—говоритъ Уордъ,—склоняюсь къ мысли, что человѣческому разуму свойственно предпочтеніе пустяковъ и ничтожныхъ изощреній серьезному изслѣдованію истины. По крайней мѣрѣ, такая склонность, замѣтная въ наукѣ и особенно въ философіи, подвергаетъ усилія человѣческаго ума опасности превращенія въ безсодержательную гимнастику».

Ту же мысль высказываетъ и Лесли Стивенъ: «серьезные юмористы, называющіе себя историками философіи»,—говоритъ онъ,—«по временамъ какъ будто бы находятся подъ впечатлѣніемъ увѣренности, что развитіе міра претерпѣло вліяніе послѣдняго новаго проявленія какого-нибудь великаго въ искусствѣ логическаго хитросплетенія человѣка. Имъ воображается, что истинный импульсъ для величайшихъ перемѣнъ въ мысляхъ и дѣйствіяхъ людей слѣдуетъ искать въ тѣхъ метафизическихъ писаніяхъ, которыя снабжаютъ новыми загадками какихъ-нибудь полъ-дюжины эксцентрическихъ затворниковъ. Что до меня касается, то мнѣ представляется яснымъ, что дѣло философа—дѣло совершенно для него достаточное — заключается не въ верховодствѣ надъ умозрѣніемъ, а въ кодификаціи и ясномъ изложеніи тѣхъ принциповъ, которые были выработаны ранѣе болѣе конкретными науками». (Цитир. соч., стр. 309).

Изъ среды нѣмецкихъ писателей, въ настоящемъ случаѣ, мнѣ слѣдуетъ остановиться теперь только на тѣхъ, труды которыхъ не появлялись на страницахъ философскаго журнала Авенаріуса. Особенно интереснымъ тутъ показался мнѣ Эрнстъ Гроссе, который въ своей книгѣ «Die Anfänge der Kunst» (Freiburg i. B. 1894) не только установляетъ точку зрѣнія научной философіи на избранный имъ вопросъ, но и пользуется имъ для внесенія свѣта науки въ такую область, куда понынѣ свѣтъ этотъ про-

никалъ недостаточно или же вовсе вносимъ не былъ. Задача книги Гроссе заключается въ постановкѣ на научную почву изученія зачаточнаго состоянія искусства и пользованія результатами этого изученія не только для исторіи искусства, но и для научной теоріи его (Kunstwissenschaft). Гроссе находитъ, что философію искусства до послѣдняго времени большею частью непосредственно примыкали къ «извѣстнымъ умозрительнымъ философскимъ системамъ» и вслѣдствіе того она раздѣляла общую съ ними судьбу; художественная же критика сплошь и рядомъ исходила исключительно изъ личныхъ вкусовъ писателей, не руководствовавшихся никакими сколько-нибудь устойчивыми основами своихъ сужденій. За рѣдкими исключеніями, о которыхъ еще придется сказать нѣсколько словъ, вся эта работа не дала никакого положительнаго результата. Одни только историки искусства накопили груду матеріала, который въ настоящее время только преграждаетъ доступъ свѣта и воздуха въ область изслѣдованія. «Въ самомъ дѣлѣ»,—говоритъ Гроссе,—«очень и очень уже пора приняться за работу, тѣмъ болѣе, что ей предстоитъ быть и не легкой, и не короткой. Даже самая простая соціологическая проблема представляется очень сложной; а задача научной теоріи искусства въ особенности преисполнена трудностей, значеніе которыхъ гораздо легче переумалить, нежели преувеличить».

Гроссе считаетъ нужнымъ предупредить, что во избѣжаніе недоразумѣній, надо передъ началомъ этой работы отрѣшиться отъ тѣхъ неумѣренныхъ надеждъ, которыя ведутъ къ однимъ лишь разочарованіямъ. Совершенно такъ, какъ во всякой вновь открытой странѣ, говоритъ онъ, обыкновенно мечтаютъ найти Эльдорадо, такъ и отъ новой науки ждутъ чудодѣйственныхъ подвиговъ, разрѣшенія всевозможныхъ тайнъ и исцѣленія всевозможныхъ золъ; когда же по прошествіи нѣкотораго времени успѣваютъ разглядѣть, что вновь открытыя страна, какъ часть все той же земли, и не особенно лучше, и не особенно хуже, чѣмъ прежде извѣстныя страны, а новая наука все же таки только наука,—тогда переходятъ обыкновенно къ другой, противоположной крайности,—отъ переоцѣненія къ обезцѣненію. Всего вѣроятнѣе, что отъ научной теоріи искусства всего прежде станутъ ожидать указанія средствъ, долженствующихъ служить для руководительства искусствомъ согласно нашему желанію. Въ высшей степени сомнительно, однако же, чтобы

научная теорія искусства въ состояніи была осуществить эти надежды практиковъ. Если судить по результатамъ другихъ развѣтвленій соціологіи, то можно скорѣе ожидать, напротивъ того, что и новая теорія искусства приведетъ къ убѣжденію, что условія, въ зависимости отъ которыхъ развивается искусство, столь многосложны и столь недоступны личному воздѣйствію, что съ увѣренностью можно предвидѣть полное безразличіе послѣдствій нашего вмѣшательства въ это дѣло. Этого-то обстоятельства многіе и не предусматриваютъ.

Ближайшею задачею научной теоріи искусства должно быть не приложеніе законовъ, а открытіе ихъ; причемъ, конечно не слѣдуетъ мечтать о безусловно полномъ и окончательномъ выполненіи этой задачи. Наукѣ предстоитъ выяснить только общія основы закономѣрности явленій, но они никогда не могутъ дойти до тѣхъ послѣднихъ основаній, которыя по старой привычкѣ готовы и теперь разыскивать. Замѣнивъ прежнія пустыя умозрѣнія указаніемъ хотя на нѣкоторые непреложные законы, наука выполнитъ все, что отъ нея только возможно, требовать. «Научное объясненіе нельзя приравнивать къ метафизическому «просвѣтленію»; научное объясненіе все же, въ концѣ концовъ, остается на эмпирической поверхности вещей и не проникаетъ за нее, въ трансцендентную глубь. Послѣднее слово научной теоріи искусства поэтому будетъ произнесено тогда, когда будетъ показано, что между извѣстными формами культуры и извѣстными формами искусства существуютъ закономѣрныя отношенія; когда же философія искусства обратится къ ней, вопрошая о *сущности* этихъ формъ, о *силахъ*, проявляющихся въ фактахъ исторіи искусства, то ей надо будетъ со всею скромностью заявить, что эти вопросы она не только оставляетъ безъ отвѣта, но что она ихъ просто-на-просто не понимаетъ».

Задача научной теоріи искусства, говоритъ далѣе Гроссе, заключается въ описаніи и объясненіи тѣхъ явленій, которыя подводятся подъ понятіе искусства, въ широкомъ значеніи этого термина, т.-е. всѣхъ родовъ эстетическаго творчества. Эта задача можетъ представиться въ двухъ формахъ—индивидуальной и общественной.

Въ первомъ случаѣ предстоитъ объяснить какое-нибудь одно произведеніе искусства или какого-нибудь одного представителя искусства, т.-е. показать закономѣрное соотношеніе, существующее между индивидуальнымъ творцомъ и индиви-

дуальнымъ его твореніемъ, или же представить извѣстное твореніе искусства какъ закономѣрный продуктъ при извѣстныхъ условіяхъ творящей индивидуальности. Для большинства индивидуальныя явленія интереснѣе общественныхъ, въ особенности въ области искусства, гдѣ индивидуальность такъ много значитъ; поэтому большинство изслѣдователей и брались до сихъ поръ за этого рода работы. Надо признать, однако же, что результатъ всѣхъ этихъ работъ оказывается крайне ничтожный. Только для незначительнѣйшаго меньшинства случаевъ, относящихся преимущественно къ послѣднимъ столѣтіямъ, разрѣшена такая индивидуальная проблема; большею же частью изслѣдователь встрѣчаетъ тутъ неразрѣшимую задачу, такъ какъ матеріалъ, которымъ онъ можетъ располагать, оказывается до послѣдней степени скуднымъ. Уже вокругъ великихъ именъ XVII вѣка царитъ глубокая тьма. Что знаемъ мы о Рембрандтѣ или Шекспирѣ? Восходя далѣе, мы окончательно попадаемъ на собственныя имена, снабженныя датами рожденія и смерти, потомъ на одни имена, а затѣмъ исчезаютъ и имена: «ничего тутъ нѣтъ, кромѣ забвенія, праха и безконечной тьмы». Обратимся ли мы къ колоссальнымъ постройкамъ американскихъ народовъ, къ полинезійскимъ сказаніямъ о богахъ и герояхъ, къ пещерной живописи бушменовъ,—вездѣ встрѣчаемъ все то же и то же. Во всѣхъ этихъ случаяхъ,—а случаи эти представляютъ безмѣрно подавляющее большинство,—задача теоріи искусства разрѣшается лишь во второй своей, общественной формѣ. Когда представляется невозможнымъ объяснить индивидуальное произведеніе индивидуальнымъ творчествомъ, то и остается только расширить грушу въ пространствѣ и во времени и постараться свести ея характеръ на характеръ цѣлаго народа или цѣлаго періода. Такою работою и разрѣшится общественная форма данной проблемы.

Соціологическая форма проблемы научной теоріи искусства была впервые установлена и разработана еще аббатомъ Дюбо (Dubos), въ 1719 году, въ его «Réflexions critiques sur la poésie et la peinture». Дюбо имѣлъ въ виду выяснить основанія художественныхъ дарованій различныхъ народовъ въ различныя времена, и, если теперь его наивное указаніе на воздухъ, какъ на такое основаніе, и возбуждаетъ улыбку, то не слѣдуетъ, забывать что современная замѣна «воздуха» Дюбо научнымъ терминомъ «климатъ» значитъ не больше. Новое слово не возмѣщаетъ недо-

статка въ познаніи [1]). Позднѣе Гердеръ взялся за ту же задачу, но своею попыткою разрѣшить задачу доказалъ только, что стремительность и натискъ безсильны тамъ, гдѣ нужны изслѣдованія, и значеніе Гердера осталось только по отношеніи смысла его стремленій, хотя не должно упускать изъ виду, что стремленія эти не нашли отголоска въ обществѣ и, вмѣсто выработки широкой этнологической основы для научной теоріи искусства, въ Германіи занялись возведеніемъ уиравшихся въ облака воздушныхъ замковъ философіи искусства.

Ближайшею попыткою разработки соціологіи искусства является уже въ новѣйшее время попытка Тэна. Гроссе утверждаетъ, что слава Тэна, какъ основателя соціологическаго изслѣдованія искусства, на самомъ дѣлѣ совершенно имъ не заслужена. Его превосходство надъ предшественниками основывается на чисто внѣшнихъ преимуществахъ. Его изложеніе кажется яснымъ, въ дѣйствительности оно не таково. Ясность формы у Тэна служитъ лишь затѣмъ, чтобы замѣнять собою неясность содержанія. Выдаваемое за законъ руководящее положеніе Тэна заключается, какъ извѣстно, въ утвержденіи, что «произведеніе искусства опредѣляется общимъ уровнемъ умственнаго состоянія и нравовъ данной среды». «Этотъ общій уровень» образуетъ то, что Тэнъ называетъ «нравственною температурою», имѣющею для развитія искусства то же значеніе, какое физическая температура имѣетъ для развитія растительности. Искусство обязано этой нравственной температурѣ, если не своимъ происхожденіемъ, то своимъ характеромъ. Въ теченіе каждаго періода рождается на свѣтъ приблизительно одно и то же число одаренныхъ художественными способностями личностей; но изъ этого количества достигаютъ развитія лишь тѣ, характеръ которыхъ соотвѣтствуетъ господствующему вкусу, т.-е. «нравственной температурѣ» среды. Остальные изувѣчиваются или совсѣмъ погибаютъ. Развитіе искусства совершается такимъ образомъ въ подчиненіи великому закону естественнаго подбора. При ближайшемъ разсмотрѣніи «нравственной температуры» открывается въ

---

[1]) Невозможность новому слову возмѣстить недостатокъ въ познаніи,—замѣчу я при этомъ случаѣ,—особенно ярко обнаруживается истиннымъ значеніемъ въ послѣднее время введенныхъ у насъ словъ: «соборное сознаніе», «вселенская истина», «всеметафизическій перезвонъ» и т. п.

ней три элемента, взаимодѣйствіе которыхъ образуетъ ее:— раса, климатъ и моментъ, т.-е. сумма наличныхъ продуктовъ данной культуры.

Геннекену, въ его «Critique scientifique» не стоило большого труда доказать, что всѣ эти понятія, которыми Тэнъ вертитъ столь же увѣренно, какъ фокусникъ шарами, представляютъ издѣлія весьма сомнительнаго свойства. Дѣйствительный характеръ національнаго искусства долженъ обосновываться ближайшимъ образомъ на дѣйствительномъ расовомъ характерѣ даннаго народа, а этотъ послѣдній, существованіе котораго, по Тэну, разумѣется само собой, на самомъ дѣлѣ не оказывается нигдѣ. Точно такъ же отвергаетъ Геннекенъ и мнѣніе Тэна о значеніи климата и на длинномъ рядѣ примѣровъ показываетъ противорѣчіе его фактамъ. И, наконецъ, Геннекенъ разрушаетъ мнѣніе Тэна объ исключительно пассивной роли искусства, неопровержимо показывая его видную активную роль. И если во всякое время существовало искусство, которое проституировало себя большинству, то всѣ почти великія произведенія созданы были вопреки господствующему вкусу. Законъ естественнаго подбора, по мнѣнію Геннекена, до такой степени не идетъ къ рѣшенію вопроса о развитіи искусства, что Тэнъ могъ бы привлекать его только въ томъ случаѣ, если бы задумалъ писать сатиру на извѣстную форму дарвинизма, и все сложное построеніе Тэна нельзя не считать въ концѣ концовъ псевдонаучнымъ.

Вслѣдъ за Геннекеномъ, очищавшимъ научную теорію познанія, Гроссе упоминаетъ о Гюйо, пытавшемся повести ея разработку нѣсколько далѣе. Гюйо въ своихъ «Problèmes esthétiques» и «L'art au point de vue sociologique» проводитъ ту мысль, что искусство есть функція общественнаго организма, имѣющая громадное значеніе для его поддержанія и развитія. Это его основная мысль, развивая которую, онъ впрочемъ болѣе подразумѣваетъ доказательства, чѣмъ излагаетъ ихъ. Въ его тонѣ много искренности, но все написанное имъ по вопросу объ искусствѣ лишено обоснованія.

Изъ этого видно, говоритъ Гроссе, что соціологическія изслѣдованія въ области искусства очень незначительны, число работниковъ не велико и, вообще говоря, эта область представляется нѣсколько заброшенною. Не подлежитъ, однако же, сомнѣнію, что искусство относится далеко не къ числу простѣй-

шихъ и яснѣйшихъ явленій общественной жизни. И, если соціологіи удалось уже разрѣшить нѣкоторые вопросы, не уступающіе по трудности и сложности вопросу объ искусствѣ, то не слѣдуетъ забывать, что и бралась она за нихъ нѣсколько иначе. Всегда, когда ей удавалось успѣшно устранять представлявшіяся затрудненія, она начинала съ самыхъ простыхъ и элементарнѣйшихъ формъ и затѣмъ, мало-по-малу, доходила до сравнительно болѣе и болѣе сложныхъ; одна только исторія искусства пренебрегала этою методичностью. И по настоящее время еще она не воспользовалась богатымъ матеріаломъ, который можетъ доставить ей этнологія, и въ теченіе этого періода, который начинается трудами Дюбо и оканчивается сочиненіями Гюйо, воздержаніе отъ этнологическаго матеріала успѣло не возрости, а съузиться. Дюбо говоритъ еще объ искусствѣ мексиканцевъ и перуанцевъ; Тэнъ, который могъ бы располагать гораздо болѣе богатымъ матеріаломъ, ограничивается только искусствомъ европейскимъ, а Гюйо вводитъ свои данныя въ еще болѣе тѣсную рамку.

Я не стану слѣдить далѣе за основными положеніями Гроссе, полагая, что и сказаннаго совершенно достаточно для опредѣленія характера этого писателя. Отвергая темныя метафизическія ползновенія, Гроссе, какъ мы видѣли, устанавливается на прочной почвѣ науки и вноситъ при этомъ въ область своихъ изслѣдованій тотъ высокій принципъ, точную формулировку котораго мы встрѣтили у Петцольда. Связывая свой спеціальный вопросъ съ изученіемъ соціологіи, Гроссе вдвигаетъ его въ одно изъ тѣхъ широкихъ обобщеній, неразрывная связь которыхъ съ высшими положеніями всякаго міровоззрѣнія очевидна; и, съ другой стороны, онъ требуетъ того тщательнаго и внимательнаго изученія частностей, небрежное отношеніе къ которымъ лишаетъ обобщенія всякой устойчивости и всякаго содержанія.

Оставаясь въ области искусства, въ томъ широкомъ смыслѣ, въ которомъ его принимаетъ Гроссе, я приведу теперь проникнутое тѣмъ же философскимъ духомъ мнѣніе французскаго ученаго Жозефа Бедье. «Я не причисляю себя къ числу тѣхъ, которые придерживаются мнѣнія, будто бы всѣ предметы научнаго изслѣдованія одинаково заслуживаютъ вниманія»,—говоритъ онъ.—«Многіе ученые склонны замыкаться въ своемъ предметѣ безъ дальнѣйшей заботы о важности или неважности

его значенія. Они охотно предаются изслѣдованію ради изслѣдованія и убѣждены въ томъ, что всякое изученіе, каковъ бы ни былъ его предметъ, неизбѣжно получаетъ то же значеніе которое имѣетъ предпринимающій его. Пригодятся ли, однакоже, кому-нибудь добытые ими результаты? Судить объ этомъ они предоставляютъ другимъ, а сами огораживаютъ себя научнымъ безкорыстіемъ. Но, такъ же, какъ и всякое отдѣльное предложеніе получаетъ свое значеніе отъ контекста, всякое животное—отъ того вида, которому принадлежитъ, всякій человѣкъ—отъ своей исторической обстановки, точно такъ же и литературные факты становятся достойными изученія въ зависимости отъ того, захватываетъ ли ихъ изученіе болѣе общія группы однородныхъ фактовъ или нѣтъ. Полезность всякаго ученаго труда измѣряется разумѣніемъ авторомъ его этого соотношенія. Кстати будетъ припомнить при этомъ шутливое, но глубокое замѣчаніе Клодъ-Бернара. Молодой ученый представилъ ему свое сочиненіе о какомъ-то животномъ, электрическомъ угрѣ, что ли? Клодъ-Бернаръ прочиталъ сочиненіе. «Я уважаю вашу добросовѣстность»,—сказалъ онъ автору; «я восхваляю ваше трудолюбіе; но къ чему послужатъ, скажите, пожалуйста, эти три сотни страницъ, если вдругъ окажется, что электрическій угорь не существуетъ?» «Что до меня касается, прибавляетъ къ этому Бедье, то, хотя я не и выступаю за предѣлы моего предмета, но отъ труда моего, можетъ быть, что-нибудь и останется, если самого предмета, которому трудъ этотъ посвященъ, и не окажется». (*Ioseph Bedier*. Les fabliaux, études de litterature populaire et d'histoire litteraire du moyen-âge. Paris, 1893, p. VII).

Въ заключеніе этого перечня писателей, примыкающихъ по духу своихъ взглядовъ къ новому понятію о философіи, я упомяну еще Бернгарда Тенъ-Бринка, который въ своей рѣчи, произнесенной при вступленіи въ должность ректора страсбургскаго университета, 1 мая 1890 г., высказалъ свои мысли по вопросу о философскомъ значеніи исторіи литературы. «Своею методическою работою», сказалъ онъ,—«исторія литературы для самой литературы совершаетъ то же, что передовые умы той или этой націи, той или этой эпохи, совершаютъ своею геніальностью, а именно: она исправляетъ преданіе. Она пробиваетъ сквозь чащу и заросли дорогу, ведущую къ скрытымъ пейзажамъ, сокровеннымъ источникамъ и мѣстамъ отдохновенія; она перекидываетъ мосты черезъ пропасти, отдѣляющія насъ

отъ высокихъ вершинъ; она устанавливаетъ связь между долиной, гдѣ находится наша хижина, и обширнымъ окрестнымъ міромъ и съ полною опредѣленностью указываетъ намъ, въ какомъ именно пунктѣ міра мы живемъ и какое значеніе имѣетъ обитаемый нами клочокъ земли по отношенію къ цѣлому. Другими словами, исторія литературы доставляетъ намъ доступъ къ тому, что дѣйствительно прочно и въ самомъ дѣлѣ цѣнно въ литературѣ и, вознося насъ надъ даннымъ мѣстомъ и временемъ, даетъ ту мѣру, при помощи которой слѣдуетъ намъ судить о нихъ. Она, сквозь дымъ, окружающій идоловъ современности, какъ и сквозь туманъ прошедшаго, даетъ возможность приблизительно опредѣлить истинные размѣры представляющихся взору нашему образовъ. Она вскрываетъ дряхлость и ветхость въ томъ, что поражаетъ современниковъ новостью и оригинальностью, и въ надлежащій моментъ возстановляетъ образы прошедшаго въ ихъ юношеской свѣжести. Такимъ образомъ дѣйствуетъ она не только на одни воспринимающіе умы, но и на умы творческіе, которые—хотя и особеннымъ образомъ—слѣдуетъ то же считать воспринимающими» (*Bernhard Ten-Brink*. Ueber die Aufgabe der Litteraturgeschichte. Strassburg, 1891, S. 27—28).

Приведенный отрывокъ изъ брошюры Тенъ-Бринка, представляя весьма изящно выраженное приложеніе основной идеи научной философіи къ исторіи литературы, подымаетъ, не разрѣшая его, одинъ очень важный и интересный вопросъ. Уясненіе этого вопроса, по моему мнѣнію, еще болѣе расширяетъ рамки, въ которыхъ намъ представляется основная мысль Тенъ-Бринка въ цитированномъ выше отрывкѣ, и какъ нельзя лучше договариваетъ развиваемую мною въ настоящей статьѣ идею. У Тенъ-Бринка идетъ дѣло объ *исправленіи* преданія исторіею литературы, но не говорится, въ чемъ можетъ исправленіе это заключаться. Если руководствоваться намекомъ, даваемымъ Тенъ-Бринкомъ въ сопоставленіи «исправленія» преданія, которое должна совершить исторія литературы, съ тѣмъ «исправленіемъ», которое является уже фактомъ совершившимся, благодаря геніальному воздѣйствію на литературу передовыхъ умовъ той или этой націи, той или этой эпохи, то исправленіе это, какъ мнѣ представляется, можетъ развиваться лишь въ смыслѣ поднятія уровня просвѣщенія и намѣчаемыхъ литературою идеаловъ. Если вѣрна мысль, высказанная какъ-то извѣстнымъ фольклористомъ Дави-

домъ Нэттомъ, что всякая литература поддерживаетъ свою силу и свѣжесть тѣмъ, что черпаетъ свое вдохновеніе изъ первоисточниковъ народныхъ воззрѣній (Folk-Lore. Review, 93. p. 438), то сравненіе Иліады, Одиссеи, Божественной комедіи, Фауста и т. д. съ ихъ первоисточниками,—вопросъ теперь достаточно разработанный,—можетъ весьма ясно показать, въ чемъ заключалось исправленіе преданія во всѣхъ этихъ случаяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какой характеръ представляетъ, самъ по себѣ взятый, рядъ этихъ исправленій. Если такой же характеръ должно имѣть и исправленіе преданія исторіею литературы, то остается только расширить понятіе преданія и вмѣстѣ съ тѣмъ не оставить и исторію литературы одинокою въ ея роли и установитъ, что вся исторія цивилизаціи есть, въ извѣстномъ смыслѣ, исправленіе преданія. Но, что же такое преданіе въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова? Стоитъ намъ только припомнить его первоисточникъ, анимизмъ, шаманство, колдовство, первобытное состояніе человѣческой культуры вообще, чтобы ясно представить себѣ соотвѣтственный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Преданіемъ и теперь еще кишитъ наша жизнь, оно окружаетъ насъ со всѣхъ сторонъ; оно то является въ формахъ стародавнихъ, наивныхъ, простыхъ, то маскируется формами болѣе современными, хитросплетенными, сложными... Въ высокой степени былъ правъ Салтыковъ, когда, въ 1882 году, писалъ: «нѣтъ ничего безчеловѣчнѣе и безумнѣе преданія, выходящаго изъ темныхъ ущелій далекаго прошлаго, и съ жестокостью, доходящею до идіотскаго самодовольства, изъ вѣка въ вѣкъ переносящаго клеймо позора, отчужденія и ненависти. Не говоря уже о непосредственныхъ жертвахъ преданія, оно извращаетъ цѣлый циклъ общественныхъ отношеній и на самую исторію налагаетъ печать изувѣрской одичалости. Но безчеловѣчіе явится еще болѣе осязательнымъ, если припомнить, что нѣтъ вещи болѣе общедоступной, какъ преданіе, и что, слѣдовательно, оно прежде всего становится достояніемъ толпы, и безъ того обезумѣвшей подъ игомъ собственнаго злосчастія...». «Уничтожить силу преданія или даже ослабить ее—задача настолько сложная, что даже люди очень убѣжденные отступаютъ передъ нею. Преданіе наслоялось вѣками, и каждое новое наслоеніе прибавляло къ нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнѣе хранитъ эти преданія?—ихъ хранитъ толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастьемъ, и въ отношеніи которой всякій укоръ былъ бы

несправедливостью и всякое рѣшительное воздѣйствіе—дѣломъ въ высшей степени щекотливымъ. Даже поднятіе общаго уровня образованности, какъ это показываетъ современное антисемитское движеніе въ Германіи, не приноситъ въ этомъ вопросѣ осязательныхъ улучшеній, потому что до сихъ поръ мы были свидѣтелями только относительнаго поднятія этого уровня, которое не обладаетъ достаточной силой для водворенія принципа абсолютнаго равноправія. Слѣдовательно, чтобы упразднить преданіе, необходимо, чтобы человѣчество окончательно очеловѣчилось. А когда это произойдетъ?»

Итакъ, вмѣстѣ съ Салтыковымъ, мы приходимъ къ окончательной формулировкѣ той основной мысли, развитію и уясненію которой посвящена настоящая статья, а именно, что исправленіе преданія заключалось въ процессѣ его постепеннаго упраздненія, что, какъ я надѣюсь, очевидно для всякаго непредубѣжденнаго читателя. По отношенію къ философіи исправленіе преданія сказалось весьма выразительно въ принципіальномъ упраздненіи метафизики, какъ хранительницы преданій трансцендентности, абсолютности, апріорности и другихъ тщетныхъ усугубленій мысли человѣческой, а въ новѣйшее время и упраздненіи блѣдной тѣни метафизики—«философіи, какъ отдѣльной науки»,—тѣни, существованіе которой вызвано чисто внѣшними и опять-таки вытекающими изъ преданія условіями. Тѣ, которые и понынѣ удерживаютъ старыя, потерявшія всякое стратегическое значеніе, позиціи, самою силою вещей обречены на слова, слова и слова, а идущіе мимо нихъ отрицатели этихъ пустыхъ словъ безповоротно подвигаются впередъ къ тому свѣтлому будущему, когда вмѣстѣ съ вдохновеннымъ пѣвцомъ этого будущаго всѣ и каждый повторятъ:

«fantasmi
Son fuor de la natura, e non ha vita
Tutto che il vol de la ragion trascende. (Rapisardi).

«Русск. Бог.» 1895.

Примѣчаніе ред. Въ концѣ статьи на оттискѣ изъ «Русск. Богатства» сдѣланы рукою автора слѣдующія приписки: 1) О преданіи—Пушкинъ (у Смирновой) и 2) «Да здравствуетъ великій Шиллеръ! Да здравствуетъ благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества *отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія*! Боже мой! Страшно подумать, что со мной было—горячка или помѣшательство, я словно выздоравливающій».

(Изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину въ концѣ 1845 года). Цитировано въ статьѣ Н. И. Стороженка. Шекспиръ и Бѣлинскій. «Міръ Божій», 97, мартъ, стр. 127.

ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛѢДІЕ XIX ВѢКА. *)

Девятнадцатый вѣкъ подходитъ къ концу, является возможность сдѣлать теперь же подсчетъ накопленному имъ философскому достоянію и, выдѣливъ изъ этого достоянія то, что въ качествѣ «переходящихъ цѣнностей» составляетъ наслѣдіе вѣковъ минувшихъ, опредѣлить произведенный нашимъ вѣкомъ приростъ этихъ цѣнностей и такимъ образомъ выяснить значеніе философскаго наслѣдія XIX вѣка въ опредѣленномъ, тѣсномъ смыслѣ этого термина. Отъ кончины Канта, въ четвертомъ году по началѣ вѣка, до кончины Авенаріуса, за четыре года до конца его, лежитъ девяностодвухлѣтній періодъ, поражающій съ перваго взгляда громадностью произведенной имъ философской работы, ея сложностью и разнообразіемъ. Присматриваясь пристальнѣе, мы прежде всего начинаемъ различать самыя общія очертанія той стратификаціи, въ которой само собою расположилось все, что XIX вѣкъ унаслѣдовалъ, переработалъ или самъ создалъ въ теченіи того ряда смѣнъ поколѣній, которыя одно за другимъ такъ или иначе прилагали руки свои къ сохраненію, накопленію и пріумноженію

---

[1]) Эту статью авторъ повидимому имѣлъ въ виду переработать, быть можетъ сдѣлать ее популярнѣе. Въ оттискѣ изъ «Русск. Бог.» находимъ много поправокъ и сокращеній, а также попытку замѣнить символы, принятые Авенаріусомъ, соотвѣтствующими понятіями. Такъ, напр., авторъ зачеркиваетъ строки о «системѣ С» и замѣняетъ ее словомъ индивидъ. Зачеркнуты также R. (обстановка), E. (высказываніе), но только въ одномъ мѣстѣ. Въ дальнѣйшемъ же на всемъ протяженіи статьи все остается безъ измѣненій. Очевидно авторъ не успѣлъ осуществить своего намѣренія. Мы печатаемъ статью со всѣми сдѣланными авторомъ измѣненіями и сокращеніями, но возстановляемъ зачеркнутыя имъ строки о «системѣ С», т. к. иначе было бы непонятно дальнѣйшее употребленіе этого термина. Зачеркнутыя строки заключаемъ въ скобки. *Примѣч. ред.*

драгоцѣннаго достоянія философіи. Оставаясь при однихъ лишь очертаніяхъ, не трудно уже различить общій характеръ представляющейся нашему взгляду стратификаціи: средніе и низшіе слои ея лежатъ въ болѣе или менѣе густомъ туманѣ «платонизма», «романтизма» и «схоластицизма», переходя мѣстами въ извращенный «буддизмъ» или въ щеголяющій новою терминологіей «анимизмъ»,—все это наслѣдіе добраго стараго времени, на всякіе лады усвоенное нашимъ вѣкомъ и по «существу дѣла», «специфически своего», XIX вѣкъ здѣсь не имѣетъ ровно ничего. Выше этихъ слоевъ, надъ окутывающимъ ихъ туманомъ, лежатъ уже слои, содержащіе, частью иного рода, сравнительно съ слоями средними и низшими, наслѣдіе, частью продукты своей собственной производительности, и, наконецъ, надъ всей этой массой вѣковыхъ нагроможденій высятся немногія одинокія вершины. Онѣ стоятъ какъ памятники поступательнаго хода философской мысли XIX вѣка, поднимавшейся до этихъ высотъ; ими свидѣтельствуется о собственно этому вѣку принадлежащемъ вкладѣ въ общую сокровищницу философскаго знанія; онѣ выражаютъ собою философское наслѣдіе вѣка въ опредѣленномъ, тѣсномъ значеніи этого термина.

Можно продолжать далѣе это уподобленіе и сказать, что подобно тому, какъ восхожденіе на горныя вершины даетъ намъ возможность оріентироваться во всей окрестной странѣ, такъ и проникновеніе на вершины умственнаго подъема вѣка даетъ возможность оріентироваться среди многосложныхъ и разнообразныхъ философскихъ наносовъ и образованій. И въ самомъ дѣлѣ, стоитъ намъ лишь добраться до одной изъ этихъ вершинъ—философской системы Ог. Конта, какъ вмѣсто общихъ, огульныхъ чертъ представляющейся намъ картины, получается, благодаря пріобрѣтенной возможности различенія, значительная расчлененность очертаній и большая опредѣленность въ свѣтотѣни. Я имѣю въ виду главнымъ образомъ извѣстный всякому образованному человѣку «законъ трехъ состояній», оказывающій въ настоящемъ случаѣ весьма важную услугу. Законъ этотъ, какъ всякій знаетъ, различаетъ философскія воззрѣнія, «олицетворяющія», либо же «объективирующія» отвлеченныя понятія, отъ такихъ, которыя отъ подобной характеристической черты свободны. Крѣпко держась за эту путеводную нить и смѣло пускаясь съ нею въ ходы и переходы откры-

вающагося передъ нами лабиринта, мы, обойдя кругомъ всю разстилающуюся передъ нами область, поставимъ себѣ вопросъ: въ чемъ же заключается указанное «олицетвореніе» и «объективированіе» и какимъ образомъ произошло ихъ принципіальное устраненіе? Та высшая оріентировка, которою мы пользуемся, легко поведетъ насъ далѣе, выше, и покажетъ, что, какъ «олицетвореніе», такъ «объективированіе» понятій является результатомъ того простого процесса, благодаря которому мы не мыслимъ вещь такою, какъ она есть, а прибавляемъ къ ней извѣстное примышленіе, вкладываемъ въ нее нѣчто отъ себя. Этотъ процессъ, эта «интроекція», какъ ее назвалъ Авенаріусъ, и служитъ основой всѣхъ формъ міровоззрѣнія, начиная съ первобытнѣйшаго «анимизма» и кончая современной метафизической системой. Если въ извѣстной части философскихъ воззрѣній слѣдовъ интроекціи не оказывается, то самъ собою возникаетъ вопросъ о процессѣ ея устраненія, его причинахъ, его успѣшности или неуспѣшности,—вопросъ, въ свою очередь, приводящій къ разсужденію объ условіяхъ, необходимыхъ для установленія такихъ воззрѣній, которыя были бы чужды всякихъ примышленій и могли бы прямо и непосредственно приводить къ «чистому опыту».

Наше простое соображеніе,—простое потому, что мы говоримъ о Колумбовомъ яйцѣ послѣ Колумба,—находитъ себѣ важное подтвержденіе даже и въ самомъ бѣгломъ взглядѣ на характеръ дѣятельности и другого представителя кульминаціоннаго подъема философской мысли XIX вѣка, Людвига Фейербаха, параллелизмъ воззрѣній котораго съ воззрѣніями Ог. Конта, при взаимномъ незнаніи ими сочиненій другъ друга, былъ уже указанъ біографомъ Фейербаха В. К. Болиномъ. И въ самомъ дѣлѣ, вся философская дѣятельность нѣмецкаго мыслителя существеннымъ образомъ заключалась въ раскрытіи содержанія «олицетвореній» и «объективированій» и — соотносительно—въ исканіи выходовъ изъ-подъ гнета преданій, ими обусловленныхъ. На насъ Фейербахъ производитъ свѣжее, оздоравливающее, бодрящее вліяніе. Поборникъ «истинной философіи», какъ «истинной и всеобщей эмпиріи», уединенный и многострадальный нѣмецкій философъ стремился къ такой философіи, которая была бы «познаніемъ того, что есть». Онъ презрительно отзывался о тѣхъ, которые считаютъ такое знаніе «поверхностнымъ» и возводятъ къ «глубокомыслію» всякое мы-

слезвращеніе. «Философіи, говоритъ онъ, вновь предстоитъ вступить въ союзъ съ естествознаніемъ, естествознанію съ философіей. Внѣ такого союза философія представлялась ему лишенною своего raison d'être, и онъ утверждалъ, что «новая единственно—*позитивная* философія есть отрицаніе всякой философіи школъ» (Sämtliche Werke. 1846. II Bend. S. 246).

Пріобрѣвъ въ Ог. Контѣ и Фейербахѣ геніальныхъ выразителей, анти-метафизическое, эмпирическое направленіе въ философіи не могло ни потерятся, ни захирѣть. Литтрэ во Франціи, Дж. Ст. Милль въ Англіи и цѣлая группа писателей въ Германіи продолжаютъ поддерживать и оживлять его. Метафизическое умозрѣніе, тѣснимое изъ своихъ центровъ, остается еще впрочемъ господствующимъ въ отдѣльныхъ наукахъ; но и здѣсь, мало-по-малу, трудами самихъ же спеціальныхъ ученыхъ,—людей такого значенія, какъ Ламаркъ, Дарвинъ, Ляйель,—все болѣе и болѣе торжествуетъ чистая отъ всякаго умозрѣнія, зиждущаяся на одномъ только опытѣ и ни къ какимъ традиціямъ не прилаживающаяся наука. Сближеніе философіи и науки становится такимъ образомъ обоюднымъ и понемногу начинается подготовляться почва для признанія ихъ принципіальнаго единства.

Успѣхъ развитія отдѣльныхъ наукъ влечетъ еще за собой и то послѣдствіе, что достигшія извѣстной стадіи зрѣлости науки перестаютъ нуждаться не только въ заимствованіи своихъ руководящихъ принциповъ отъ какой-то фиктивной и все болѣе и болѣе становящейся имъ чуждой, якобы центральной науки, но и въ какомъ бы то ни было ея руководительствѣ. Здѣсь на первомъ планѣ, можно поставить основанную Ог. Контомъ науку объ обществѣ—соціологію, разработкою которой много занимались во второй половинѣ нашего вѣка во всемъ образованномъ мірѣ. Укажу хоть на два громкихъ имени: имя Спенсера, которое у насъ давно пользуется извѣстностью, и имя Лестеръ Уорда, извѣстность котораго стала значительно возростать въ послѣднее время. Одно изъ его сочиненій «Психическій факторъ цивилизаціи» на дняхъ появилось сразу въ двухъ переводахъ. Мнѣ не разъ приходилось уже обращать вниманіе читателя на этого замѣчательнаго мыслителя, захватывающаго своими предпосылками «дѣйственнаго обществовѣдѣнія» сферу, далеко переходящую предѣлы спеціальности. Безъ всякаго преувеличенія можно утверждать, что Уорда можно

по праву считать представителемъ кульминаціонныхъ пунктовъ мысли нашего вѣка, однимъ изъ его свѣточей. И если онъ еще и не пользуется въ Европѣ тою степенью извѣстности, которую заслуживаетъ, то это происходитъ главнымъ образомъ оттого, что хотя литература всѣхъ областей изученія, и у спеціалистовъ, и у философовъ, значительно и расширилась въ послѣднее время, все же она недостаточно уравновѣшиваетъ иноземные и своеземные элементы и болѣе или менѣе вдвигаетъ себя въ рамки партикуляризма. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда захватъ автора является достаточно обширнымъ, крупныя личности неизбѣжно оказываются привлеченными въ сферу изслѣдованія и здѣсь, далеко не страшась сравненій, которымъ ихъ подвергаютъ, горделиво возвышаются надъ массою тѣхъ, которыя имѣютъ мѣстное значеніе. Вотъ это именно и случилось съ Л. Уордомъ въ изслѣдованіи Гейнриха Вентига (*Heinrich Waentig*) Auguste Comte und seine Bedeutung für die Entwicklung der Socialwissenschaft. 1894.

Одновременно съ соціологіей, становится на ноги и этика, и психологія, а, подъ вліяніемъ извѣстнаго «поворота къ Канту», и теорія познанія. Этотъ поворотъ, замѣтить надо при этомъ случаѣ, обусловилъ собою возникновеніе не одного только «новокантіанства» и, взятый въ цѣломъ, вовсе не имѣлъ того узкаго, односторонняго и тупого призыва къ метафизикѣ, который вздумали приписывать ему не въ мѣру глубокіе философы. Не надо забывать, что «поворотъ къ Канту» какъ замѣчаетъ Гёфдингъ въ своей «Ист. нов. философіи», привелъ многихъ къ позитивизму (Gesch. d. neuern Philos. 96. II. S. 616), т.-е. очевидно, къ позитивизму въ широкомъ смыслѣ. И въ самомъ дѣлѣ, вызванное «поворотомъ къ Канту» изученіе его играло, несомнѣнно, большую роль въ выработкѣ совершенно независимой отъ Канта «Критической философіи» Карла Гёринга, тяготѣющаго не только къ позитивизму въ широкомъ смыслѣ, но отчасти даже и къ контизму, и въ философіи Алоиза Риля, стремящагося обосновать позитивизмъ заново на критической почвѣ, а также и отрицательно относящагося къ Канту Э. Лааса—автора извѣстнаго сочиненія «Idealismus und Positivismus».

Усвоеніе названія позитивизма Рилемъ и Лаасомъ для ихъ доктринъ было, конечно, «признакомъ времени»: оно выражало назрѣвающій союзъ эмпиризма со свободнымъ отъ Кантовыхъ

традиціи критицизмомъ и указывало на близость того времени, когда мощный геніальный умъ, охвативъ однимъ высшимъ синтезомъ всѣ подготовленные предшествующею умственною работою элементы, установитъ ту высшую точку зрѣнія, которая озаритъ новымъ свѣтомъ всю область научнаго познанія и своимъ верховодящимъ и всеохватывающимъ значеніемъ дастъ концу нашего вѣка истинно—новую, истинно—научную философію. Дѣло это было сдѣлано Рихардомъ Авенаріусомъ, а его «эмпиріокритицизмъ» и представляетъ собою именно тотъ послѣдній фазисъ развитія философіи, который мы можемъ считать «философскимъ наслѣдіемъ XIX вѣка» по преимуществу.

Поступательное движеніе передовыхъ двигателей европейской мысли XIX столѣтія захватывало, конечно, примыкающія къ нимъ, а также болѣе или менѣе близко къ нимъ стоящія группы; здѣсь анти-метафизическое настроеніе вмѣстѣ со стремленіемъ къ научному обоснованію руководящихъ теорій не оправдывалось состоятельностью послѣднихъ, и группы эти, расшатанныя критикою, потеряли во второй половинѣ вѣка свое прежнее значеніе и вліяніе. Сама критика, однако же,—въ томъ случаѣ, когда она была безпристрастна, какъ критика Ф. А. Ланге, напримѣръ, признала просвѣтительную роль этихъ группъ и несомнѣнныя ихъ заслуги прогрессу положительнаго знанія. Теоріи ихъ отжили, но онѣ не прошли безслѣдно для ихъ современниковъ и для потомства: онѣ въ соотвѣтственной мѣрѣ способствовали осуществленію усилій грядущаго поколѣнія тружениковъ, и память ихъ навсегда останется окруженная почетомъ. Чѣмъ болѣе же станемъ мы отходить отъ свѣтлой полосы представляющей собою путь передовыхъ бойцовъ прогрессивной мысли и родственныхъ имъ группъ, тѣмъ болѣе будемъ вступать въ область всевозможнѣйшихъ реабилитацій, реставрацій и реституцій, которымъ и конца нѣтъ. Уже съ самаго начала столѣтія начинается «нагроможденіе заблужденій до такой высоты, что они стали замѣтны и близорукимъ»; фантастическія догматическія системы слѣдовали одна за другой, и даже Шопенгауэръ, представляющій все же таки реакцію возрождающагося критическаго духа, направленную противъ главныхъ вождей метафизики, не въ состояніи былъ освободиться отъ основной ошибки своего времени и объявилъ философію «знаніемъ завершеннымъ», къ суммѣ котораго факты ничего прибавить не могутъ. (*C. Göring.* System d. Kritischen

Philos., I. S. 9.). Въ первое время послѣ смерти Шопенгауэра «возрождающійся критическій духъ» очень слабо еще вдохновлялъ философовъ, но все же къ этому времени относятся очень любопытныя строки одного изъ противниковъ метафизики.— строки, которыя я здѣсь и приведу въ возможно точной передачѣ: «системы Шеллинга и Гегеля», говорится здѣсь, «отошли, къ счастію, въ вѣчность, но ихъ пагубное вліяніе еще не миновало. Изъ года въ годъ появляются еще философскія творенія, обнаруживающія слишкомъ явные признаки разстройства головъ ихъ авторовъ, доходящее до того, что они выводятъ нѣчто изъ нуля, выдаютъ противорѣчивое за тождественное, замѣщаютъ логическіе законы принципомъ tertii interventionis и даже доходятъ до утвержденія, что-де «принудительная очевидность математическихъ истинъ должна считаться выраженіемъ проклятія, наложеннаго на падшее человѣчество». Такъ въ Кольбергѣ появилась въ 1860 году «метафизика», которая, объявивъ своею темою науку о томъ, что есть, и не исключая, однако же, на этомъ основаніи изъ области своего разсмотрѣнія того, чего нѣтъ, сейчасъ же приступаетъ къ изложенію своего взгляда на бытіе, которое, согласно этому взгляду, есть, во-первыхъ, «въ себѣ бытіе», затѣмъ, «изъ себя бытіе» и «отъ него бытіе», и т. д. Въ послѣдующее время дѣло шло не лучше и, наконецъ, въ наши дни, послѣдній фазисъ развитія метафизики представляется для непредубѣжденнаго человѣка, глядящаго на ея эволюцію со стороны, «тою китайскою стѣною, тѣмъ шлагбаумомъ, который не допускаетъ ни свѣта, ни возможности какого бы то ни было движенія». Рѣчь идетъ о такъ называемомъ солипсизмѣ. «Тутъ-то и находится та тѣснина, въ которой между міромъ «представленія» единичнаго философствующаго «я» и проваломъ въ трансцендентность не существуетъ никакого исхода. И какъ легко поддаться заманиванью въ такую ловушку, входы въ которую имѣются со всѣхъ сторонъ, а выхода нѣтъ никакого!»

Отъ главнаго темнаго хода всякаго рода «изъ себя бытія» и «отъ него бытія» идутъ по сторонамъ развѣтвленія, заводящія въ трущобы, даже и тутъ неожиданныя. Уже Шопенгауэръ съ реагированіемъ противъ догматизма соединялъ реставрированіе буддизма и являлся «заблудившимся на западѣ буддистомъ», какъ назвалъ его Рибо; но между Шопенгауэровской реставраціей и реставраціей буддизма на теософической

почвѣ лежитъ цѣлая пропасть. Пустословіе, пошлость, житейская практика, цинизмъ, достигаютъ тутъ такихъ размѣровъ, что, пожалуй, умѣстнымъ становится усомниться въ томъ, должны ли и мы считать философіей всю эту галиматью потому только, что она сама себя такъ называетъ. Если такъ, то самъ собою возникаетъ вопросъ объ опредѣленіи того пункта, ниже котораго терминъ философія, какъ бы имъ ни злоупотребляли, остается пустымъ звукомъ, никакого отношенія къ философіи не имѣющимъ. Пройдемъ поэтому молчаніемъ какъ измышленный самою Блавацкою, такъ и переписанный ею изъ чужихъ сочиненій вздоръ, наполняющій ея «Разоблаченную Изиду» и др. произведенія; не остановимся и надъ вѣщавшимися по поводу этихъ произведеній глубокомысленными сентенціями объ эрудиціи и проницательности ихъ автора, и попытаемся намѣтить такую точку, принадлежность которой къ области философіи была бы внѣ всякаго сомнѣнія и которая въ то же время могла бы представлять своего рода философскій «минимумъ». Можетъ быть я не ошибусь, если предположу, что искомая точка совпадаетъ съ однимъ открытіемъ, озарившимъ конецъ нашего вѣка, а именно съ открытіемъ «метафизическаго» чувства, долженствующаго будто бы имѣть значеніе органа познанія, и притомъ такого познанія, «которое отличается метафизическимъ характеромъ (выходитъ за предѣлы возможнаго опыта)». (*А. Введенскій.* О предѣлахъ и признакахъ одушевленія. 92). Для того, чтобы читатель нисколько не сомнѣвался, что здѣсь идетъ рѣчь объ опытѣ, обрѣтающемся внѣ предѣловъ возможнаго опыта, т.-е. о внѣопытномъ, о невозможномъ, о противорѣчащемъ здравому смыслу опытѣ, авторъ призналъ за благо пояснить свое открытіе нижеслѣдующимъ остроумнымъ соображеніемъ. «Подобно тому», говоритъ онъ, «какъ при помощи зрѣнія мы узнаемъ то, чего не въ состояніи узнать при помощи другихъ чувствъ, *такъ точно* (курсивъ мой) при помощи метафизическаго чувства мы узнаемъ то, чего не въ состояніи узнать одними эмпирическими чувствами, и этимъ путемъ рѣшаемъ такія сомнѣнія, которыя съ эмпирической точки зрѣнія навсегда останутся неразрѣшимыми». И такъ открыто новое чувство, новый органъ познанія; установлено, что дѣятельность этого органа точно такая же, какъ и зрѣнія, и другихъ чувствъ, и все же оказывается, что не метафизика является погруженною такимъ образомъ въ опытъ, а, напротивъ того, опыту, во-

преки обладанія особымъ органомъ воспріятія, приходится очутиться внѣ опыта и затѣмъ уже въ этой «безднѣ пустоты безъ очертанія и границъ» порѣшить разъ навсегда со всѣми сомнѣніями!..

Останавливаться далѣе на разсмотрѣніи всѣхъ проявленій низменной мысли XIX вѣка было бы и слишкомъ долго и безполезно. Проходя эту унылую область и поневолѣ наблюдая тѣхъ, которые и «по открытіи ржи, предпочитаютъ питаться желудями», приходится не забывать, что свѣтъ тутъ не клиномъ сошелся, а потому и не безполезно припомнить подходящій для настоящаго случая добрый совѣтъ: «non ragioniam di lor, ma guarda e passa».

Обозначивъ въ самыхъ общихъ чертахъ всю шкалу философскихъ оттѣнковъ, начиная съ самыхъ опредѣленныхъ и яркихъ положительнаго ряда, вплоть до самыхъ тусклыхъ и расплывчатыхъ отрицательнаго ряда, я нахожу возможнымъ прямо перейти теперь къ тому мыслителю, философію котораго считаю «наслѣдіемъ XIX вѣка» въ тѣсномъ смыслѣ. Я имѣю въ виду Рихарда Авенаріуса, скончавшагося въ августѣ нынѣшняго года въ Цюрихѣ, гдѣ онъ занималъ съ 77 года каѳедру философіи и состоялъ редакторомъ «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», закончивающемъ въ настоящемъ году свое двадцатилѣтіе. Какъ авторъ «Kritik der reinen Erfahrung» и «Der menschliche Weltbegriff», Авенаріусъ является основателемъ того послѣдняго фазиса «научной философіи», которому онъ придалъ названіе «эмпиріокритицизма», который представляется совершенною перестройкою всей философіи, совершенною новостью въ ея области, и который поэтому и до сихъ поръ остается для многихъ чѣмъ-то въ родѣ загадки сфинкса конца нашего вѣка.

Первое изъ названныхъ сочиненій вышло еще въ 88 году. «На большой успѣхъ нельзя было, конечно, разсчитывать», пишетъ въ некрологѣ Авенаріуса его ученикъ и преемникъ Фридрихъ Карстаньенъ. «Возможенъ былъ однако успѣхъ небольшой или, по крайней мѣрѣ, отрицательный, критика, возраженіе, нападки. Случилось однакоже нѣчто совершенно неожиданное, непредвидѣнное. Современники не обратили никакого вниманія на это сочиненіе и въ немногихъ случаяхъ критики, отмѣчая появленіе книги, ограничивались передачею ея содержанія и затѣмъ опять наступало безмолвіе. И это

было совершенно понятно. Передъ этимъ сочиненіемъ, его языкомъ, его формулами, всѣми его пріемами, останавливался безпомощно всякій, къ нему приступавшій, и, не желая обнаружить свое безсиліе, само собою разумѣется предпочиталъ отойти въ сторону и молчать».

Другой ученикъ Авенаріуса, Р. Виллн, по этому же поводу говоритъ: «послѣ того, какъ Рихардъ Авенаріусъ выяснилъ точку зрѣнія чистаго опыта въ двухъ своихъ сочиненіяхъ—«Критикѣ чистаго опыта» и «Человѣческомъ понятіи міра»—философскіе круги имѣли достаточный поводъ и довольно времени для ознакомленія съ эмпиріокритицизмомъ. На самомъ дѣлѣ, ознакомленіе это было дѣломъ весьма исключительнымъ. Не только такіе люди, которые пережили заключительную стадію своего міровоззрѣнія, но и юныя и юнѣйшія силы, и между ними опять таки тѣ, которыя глубоко входили въ значеніе опыта или, по крайней мѣрѣ, дѣлали ему важныя уступки,—доказываютъ въ своихъ сочиненіяхъ и заявленіяхъ, что они частью просто смѣшиваютъ «эмпиріокритицизмъ» съ эмпиризмомъ, частью не вполнѣ удовлетворяются однимъ только опытомъ» (*R. Willy*. Vierteljahrsschrift, wissenschaftl. Philosophie. 96. I.).

Картина отношеній, въ которыхъ сталъ ученый міръ къ эмпиріокритицизму, очень характерно дополняется двумя, тремя штрихами третьяго изъ занимающихъ теперь каѳедры учениковъ Авенаріуса—Максимиліана Клейна, который въ статьяхъ своихъ о философіи чистаго опыта тоже останавливался на трудностяхъ усвоенія этой философіи. Нѣкоторые спеціалисты, по словамъ Клейна, находятъ эти трудности «чудовищными», другіе—недоступными усвоенію для такой поры жизни, когда ужъ поздно измѣнять установившіяся умственныя привычки. (Naturwissenschaftl. Wochenschrift. 95, № 38).

Всѣ эти условія образовали какъ бы атмосферу молчанія вокругъ новой философіи даже и въ Германіи, а внѣ ея не было сдѣлано до сихъ поръ даже и попытки общаго ея изложенія. Кое-какія отрывочныя свѣдѣнія появились на англійскомъ языкѣ уже послѣ смерти Авенаріуса въ Американскомъ психологическомъ обозрѣніи за подписью І. Кодисъ—автора появившагося еще въ 93 году сочиненія «Zur Analyse des Apperceptions—Begriffes». Г-жа Кодисъ—если не ошибаюсь, русская уроженка—принадлежитъ тоже къ кругу того небольшого числа лицъ, которыя составляютъ ядро молодой эмпиріокритической школы.

За предѣлами этой школы, и до сихъ поръ, попрежнему царитъ молчаніе.

Косность, обнаруживаемая этимъ фактомъ, тѣмъ болѣе поразительна, что трудности, будто бы представляемыя философіею эмпиріокритицизма, чрезвычайно преувеличены. Загораживаясь этими трудностями, такъ легко отойти въ сторону и, при полномъ сохраненіи всѣхъ приличій, оставаться спокойно при преданіи и рутинѣ. Что же касается терминологіи, то передача ея новыми выраженіями того или другого языка дѣйствительно представляетъ большія трудности. «Критика чистаго опыта», пишетъ мнѣ одинъ изъ учениковъ Авенаріуса, «писалась авторомъ въ теченіе 12 лѣтъ. Каждый терминъ, каждое выраженіе обдуманы и взвѣшены самымъ добросовѣстнымъ образомъ. Каждое слово въ этой книгѣ говоритъ ровно столько, сколько нужно, и ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть замѣнено другимъ безъ измѣненія смысла соотвѣтствующаго мѣста». Замѣчаніе это, по существу совершенно вѣрное, можетъ вести однако къ простой транскрипціи эмпиріокритической терминологіи,— пріему, имѣющему свои важныя неудобства. Средній путь, по моему убѣжденію, представляется тутъ самымъ цѣлесообразнымъ, и хотя терминологія выходитъ нѣсколько пестрою, но на первый разъ есть хоть что-нибудь; улучшенія могутъ придти и позже.

Не въ одной только терминологіи, конечно, заключаются всѣ трудности изложенія эмпиріокритической философіи на новомъ для нея языкѣ. Это разумѣется само собою и улучшенія здѣсь осуществятся, конечно, вмѣстѣ, съ появленіемъ переводовъ сочиненій самого Авенаріуса и его послѣдователей [1]). Затѣмъ, остается и еще одна общая трудность сжатой передачи такого курса, который въ своемъ подлинномъ видѣ предста-

---

[1]) Главныя сочиненія Авенаріуса были указаны выше; изъ сочиненій его послѣдователей мнѣ извѣстны: *F. Carstanjen*. Richard Avenarius' Grundlegung der neuen allgemeinen Erkenntnisstheorie. 1894; его же: Ulrich von Ensingen. Ein Beitrag zur Geschichte der Gothik. 1893; его же: Zur neubegründung der Aesthetik. Vortrag gehalten auf dem kunsthistorischen Kongress zu Köln am 1 october 1894; его же: Zur neuen Aesthetik («Kunstwart» 1895, Nr. 9 und 10); его же: Entwicklungsfaktoren der niederländischen Frührenaissance. (Vierteljarschrift für wissenschaftl. Philosophie. 1896). *R. Willy*. Статьи въ этомъ же журналѣ. *Maximilian Klein*. Статьи въ «Naturwissenschaftliche Wochenschrift. *J. Kodis*, соч., цитир. выше. Подробнѣе см. «Vierteljahrsschrift» 96, IV.

вляетъ строго-связное и выдержанно-послѣдовательное изложеніе. Принимаясь за ознакомленіе русскаго читателя съ философіей Авенаріуса, я и не берусь поэтому представить полный общій ея обзоръ, надѣясь на исполненіе этой задачи впослѣдствіи однимъ изъ его учениковъ; все, что я могу теперь сдѣлать, заключается лишь въ попыткѣ уясненія тѣхъ пунктовъ эмпиріокритицизма, которые могли бы служить введеніемъ къ его изученію, и которые вмѣстѣ съ тѣмъ могли бы возбудить интересъ къ нему, могли бы привлечь къ Авенаріусу умы, въ обиходѣ которыхъ окажутся не вытравленными тѣ элементы, наличность которыхъ можетъ быть принята, какъ предварительное условіе возможности усвоенія этой новой доктрины.

Присмотримся же къ ней теперь поближе и постараемся выяснить прежде всего характеръ и значеніе ея исходнаго пункта.

Я упомянулъ уже выше о роли элементовъ, привнесенныхъ авторами метафизическихъ системъ въ продукты ихъ творчества. Какое-нибудь зернышко опыта, попавшее въ эти системы, утопало въ цѣломъ мірѣ наноснаго примышленія, неизбѣжно зыбкаго, шаткаго, скоротечнаго. Прослѣдить процессъ этого привнесенія до его начала и значило вскрыть тотъ неосложненный никакимъ примышленіемъ, простой моментъ, исходя изъ котораго и предстояло провести «чистый опытъ» по всѣмъ направленіямъ и по всѣмъ стадіямъ развитія знанія. *Метафизики, какъ показалъ Авенаріусъ, слишкомъ спѣшатъ покинуть тотъ естественный исходный пунктъ*, изъ котораго и они неизбѣжно отправляются, и никогда не пытаются расширить и углубить то воззрѣніе, которое можетъ вѣдь и оказаться для такого расширенія и углубленія пригоднымъ безъ предварительнаго его извращенія и произвольнаго осложненія. Имѣя въ виду это капитальное соображеніе, Авенаріусъ и исходитъ изъ простого «описанія» вещей и процессовъ. И вотъ «Критика чистаго опыта» и берется описать весь представляемый человѣческими высказываніями матеріалъ внѣ зависимости отъ какихъ бы то ни было теорій, просто съ точки зрѣнія, такъ называемаго, «наивнаго реализма». Такова ея задача.

Такимъ образомъ, исходная точка всей новой теоріи и получила возможность быть сведенной къ нижеслѣдующей предпосылкѣ: всякій человѣческій индивидъ первоначально принимаетъ себя противопоставленнымъ, во-первыхъ, *средѣ или обстановкѣ*, слагающейся изъ многоразличныхъ составныхъ частей, и,

во-вторыхъ, другимъ *человѣческимъ индивидамъ съ ихъ многоразличными высказываніями* и затѣмъ уже допускаетъ, что высказыванія эти находятся по отношенію къ обстановкѣ въ такой или иной зависимости.

«Принимаемая исходная точка прежде всего свободна отъ всякой апріорной предпосылки. Ей присуща не только индивидуальная, но и всеобщая состоятельность — поскольку ни психозы, ни философскія системы не вносятъ измѣненія въ естественное понятіе міра всякаго индивида. Принятая исходная точка характеризуетъ міръ, обстановку, какъ нѣчто «сущее», «извѣстное» и «достаточно надежное» для всякаго, способнаго на то или иное высказываніе индивида. И далѣе, она просто-напросто констатируетъ тотъ фактъ, что человѣческія высказыванія непремѣнно находятся въ какой-либо зависимости по отношенію къ составнымъ частямъ обстановки, и именно постольку, поскольку послѣднія своимъ частичнымъ постоянствомъ или частичною измѣнчивостью, своимъ временнымъ возникновеніемъ или исчезновеніемъ и т. д. имѣютъ значеніе предпосылки или условія даннаго высказыванія».

«Отправляясь отъ этой исходной точки, новая теорія пытается свести всю человѣческую дѣятельность—какъ теоретическую, такъ и практическую—къ общимъ человѣческимъ функціямъ, и такимъ образомъ представить ее какъ слѣдствіе одной простой и ближайшей предпосылки».

Итакъ, исходный пунктъ эмпиріокритицизма заключается въ взаимной зависимости *трехъ элементовъ*: 1) обстановки, 2) индивида и 3) высказываній индивида. (Во избѣжаніе недоразумѣній, могущихъ произойти отъ указанныхъ выше заранѣе готовыхъ ассоціацій Авенаріусъ для объясненія индивида пользуется свободнымъ отъ всякихъ предвзятостей выраженіемъ «системы С.»)

Индивиду противопоставляется среда или *обстановка*, обозначаемая символическимъ знакомъ R. Обстановка принимается въ самомъ широкомъ смыслѣ; тутъ надо разумѣть всякую составную часть, поскольку часть эта поддается описанію; все то, что въ физіологіи указываетъ на общее или специфическое впечатлѣніе,—соотносительно: все то, что слагается изъ этихъ впечатлѣній.

Вслѣдъ за индивидомъ и обстановкой неизбѣжно идетъ высказываніе индивида объ окружающей средѣ и тоже принимаемое

въ самомъ широкомъ смыслѣ. Содержаніе высказыванія охватываетъ всѣ «реакціи» физіологическихъ впечатлѣній, поскольку съ ними—точно такъ же и со всякимъ жестомъ—связывается какое-либо воспріятіе или чувствованіе. Высказываніе, такимъ образомъ понимаемое, обозначается въ критикѣ знакомъ E.

«Значеніе высказыванія какого-нибудь индивида естественно принимается въ той мѣрѣ, въ какой значеніе это высказывается индивидомъ, такъ какъ не слѣдуетъ терять изъ виду, что не все, мыслимое какъ содержаніе высказыванія, должно быть и дѣйствительно высказано. Положимъ, напримѣръ, что ко мнѣ будетъ приближенъ какой-нибудь источникъ теплоты,—газовое пламя, что ли?—то въ этомъ случаѣ я воспринимаю «теплоту». Я могу высказаться объ этомъ воспріятіи, могу и не высказаться. Въ первомъ случаѣ—еслибы я и не пошелъ далѣе восклицанія или даже только быстраго отдергиванія руки,—все же, что для меня имѣетъ значеніе, явится для другого индивида въ качествѣ слухового или зрительнаго впечатлѣнія, какъ нѣчто, имѣющее значеніе обстановки, отъ которой въ свою очередь, можетъ зависѣть нѣкоторое E того же индивида въ формѣ такого, напримѣръ, утвержденія: «онъ обжегся!» [1]) или какого-нибудь иного.

«Введеніе этихъ символовъ даетъ возможность «Критикѣ» формулировать 1-е положеніе эмпиріокритической предпосылки, а именно: *въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда установлено R и приходится допустить E, должна быть допущена и какая бы то ни было зависимость E отъ R*».

Указанная въ этомъ положеніи зависимость высказыванія (E) отъ составныхъ частей обстановки (R) не есть зависимость непосредственная, такъ какъ различные индивиды могутъ высказывать объ одномъ и томъ же R различные E, и, наконецъ, существуютъ и такіе индивиды, которые неспособны къ установленію правильныхъ высказываній и—въ случаяхъ слѣпоты, глухоты и т. п.—не могутъ и вовсе высказываться о цвѣтахъ, звукахъ и т. д. Имѣя же при этомъ въ виду центральную роль C, мы приходимъ ко 2-му положенію вышеуказанной предпосылки: *во всякомъ случаѣ, когда E принимается зависящимъ отъ R, должна быть принята непосредственная зависимость E отъ C.*

---

[1]) Всякія утвержденія индивида въ изложеніи ученія «Критики чистаго опыта» всегда ставятся въ кавычкахъ.

Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть, какимъ особеннымъ образомъ должна быть мыслима эта зависимость E отъ C.

«Если у насъ есть двѣ перемѣнныя, которыя какимъ бы то ни было образомъ зависятъ одна отъ другой такъ, что съ измѣненіемъ первой становится неизбѣжнымъ измѣненіе второй, то первую въ такомъ случаѣ слѣдуетъ по отношенію ко второй считать *условіемъ измѣненія*. Но R и E, какъ мы то видѣли, находятся между собою въ такой зависимости, что измѣненія одного неизбѣжно влекутъ за собой и измѣненія другого; поэтому и слѣдуетъ считать R условіемъ измѣненія для E. Но, такъ какъ E находится въ непосредственной зависимости отъ системы C, то при измѣненіяхъ E, составная часть обстановки R должна считаться условіемъ измѣненія спеціально для системы C».

Изъ этого видно, что въ самомъ принятіи или допущеніи R заключается уже неизбѣжность измѣненія C, а потому и приходится говорить не о C, а о его измѣненіяхъ, и формулировать 3-е положеніе эмпиріократической предпосылки такимъ образомъ: *во всякомъ случаѣ, когда E принимается зависящимъ отъ R, должна быть принята непосредственная зависимость E отъ измѣненія C.*

Итакъ, мы до сихъ поръ установили отношеніе зависимости: 1) между R и E, 2) между C и E и 3) между R и C, или, иначе говоря, между обстановкою и высказываніемъ, между индивидомъ и его высказываніемъ и между обстановкою и индивидомъ.

Изъ этого видно, что и теперь, когда мы еще едва-едва вступили въ область эмпиріократическихъ положеній, передъ нами имѣется уже нѣкоторая общая схема универсальныхъ соотношеній, которую предстоитъ развить далѣе изъ едва намѣченнаго описанія въ болѣе обстоятельное и подробное.

Прежде, чѣмъ я пойду далѣе въ этомъ направленіи, предстоитъ остановиться на минуту и разсмотрѣть ближе характеръ различныхъ отношеній.

«Всякое отношеніе можетъ быть, во-первыхъ, причиннымъ, когда—какъ, напримѣръ, въ отношеніи отца къ сыну—отецъ является причиною по отношенію къ сыну. И сынъ, однако же, можетъ разсматриваться какъ причина, по которой отецъ есть именно «отецъ». Но, такъ какъ въ этомъ случаѣ сынъ въ активномъ смыслѣ не является способствующимъ существованію отца, а только своимъ присутствіемъ побуждаетъ насъ именовать родителя его «отцомъ», то центръ тяжести тутъ и падаетъ

на сторону именованія, и отношеніе получаетъ значеніе лишь *логически*-причиннаго».

«Двѣ вещи могутъ быть впрочемъ тѣсно и неразрывно связаны между собою такимъ образомъ, что одна не можетъ считаться зависящею отъ другой, не можетъ быть отнесена къ другой, какъ къ причинѣ».

«Когда во время дождя мы видимъ на небѣ радугу, то мы знаемъ причину ея—солнце; оно находится къ радугѣ въ отношеніи причинности. Но намъ извѣстно также, что съ каждою перемѣною занимаемаго нами мѣста намъ видится уже *другая* радуга, такъ какъ вслѣдъ за нашимъ движеніемъ иныя капли воды становятся къ солнцу и нашему глазу въ то соотношеніе, которое необходимо для воспріятія радуги. Тутъ между наблюдателемъ и радугою является отношеніе особаго рода, а именно: измѣненіе, претерпѣваемое наблюдателемъ, влечетъ за собою и измѣненіе въ радугѣ. Это отношеніе не можетъ считаться причиннымъ потому, что наблюдатель не производитъ радуги, и еще менѣе можно считать его логическимъ. Оно представляетъ собою соподчиненіе съ перемѣнными членами и мы называемъ его *функціональнымъ*».

«Въ основѣ всякой человѣческой дѣятельности лежитъ аналогическое соотношеніе. Воздѣйствующее на наши глаза, уши и т. д. раздраженіе, производимое окружающею насъ обстановкою, свѣтовые лучи, звуковыя волны и т. д. являются прямыми причинами безконечно разнообразныхъ физіологическихъ процессовъ въ нашемъ мозгу. Съ такими процессами связываются всѣ наши воспріятія, представленія, чувствованія и мысли. Эту связь не слѣдуетъ понимать, однако же, такъ, что физіологическіе процессы въ причинномъ смыслѣ производятъ наши мысли и т. д., подобно тому, какъ печень производитъ желчь, а только, что при посредствѣ опыта и воспитанія усвояемое мозговыми процессами мы обозначаемъ *наименованіями;* каждому процессу мы пріурочиваемъ извѣстное высказываніе и соединяемъ объ величины такимъ образомъ, что за малѣйшимъ измѣненіемъ мозгового состоянія слѣдуетъ и измѣненіе въ высказываніи. (Дѣлаемъ мы, напримѣръ, извѣстный поворотъ винта въ лампѣ и говоримъ: «станетъ свѣтлѣе», смотримъ на осыпающіеся съ деревьевъ листья и говоримъ: «наступаетъ осень», и т. д.). Такое соотношеніе, лежащее въ основѣ всѣхъ человѣческихъ высказываній, мы называемъ *логически-функціональнымъ соотношеніемъ*».

Такимъ образомъ, въ указанныхъ выше соотношеніяхъ между R и C мы усматриваемъ характеръ причинной связи; что же касается соотношеній между R и E и между C и E—и обратно—то здѣсь связь эта не имѣетъ причиннаго характера. Эта связь логически-функціональная, являющаяся синтезомъ двухъ параллельныхъ явленій.

Теперь читатель ознакомился уже въ главныхъ чертахъ съ общимъ характеромъ эмпиріокритической основной схемы и можетъ видѣть, что предѣлы одного только описанія нигдѣ не были перейдены: вездѣ шла рѣчь лишь объ измѣненіяхъ системы C и условіяхъ этихъ измѣненій и ни съ какими произвольно-введенными въ разсужденіе факторами дѣла имѣть не приходилось.

Переходя теперь къ анализу измѣненій системы C, я долженъ замѣтить, что принятыя для общаго очертанія этихъ измѣненій обозначенія должны будутъ возрастать и осложняться соразмѣрно ходу встрѣчаемыхъ различеній, но что обстоятельство это, способствуя простотѣ и краткости изложенія, всегда будетъ представлять облегченіе, а не затрудненіе процесса усвоенія постепенно развертывающихся передъ читателемъ воззрѣній.

Представивъ себѣ, что въ системѣ C произошло измѣненіе, мы тѣмъ самымъ установляемъ различіе между двумя ея состояніями: тѣмъ, которое предшествовало измѣненію—*начальное состояніе*, и тѣмъ, которое за этимъ измѣненіемъ послѣдовало,—*конечное состояніе*. Подъ самимъ же измѣненіемъ разумѣется при этомъ положительное или отрицательное приращеніе даннаго состоянія на извѣстную логически-равнозначущую измѣненію величину. Начальное состояніе системы мы можемъ разсматривать также какъ *предварительное* условіе измѣненія и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ сопоставить его съ тѣмъ условіемъ, которое представляетъ собою спеціально-измѣняющій моментъ и для обозначенія котораго служитъ терминъ *дополнительное условіе*. Понимая теперь подъ знакомъ C начальное состояніе системы, мы получаемъ возможность обозначить ея конечное состояніе черезъ $C+\triangle C$, и при его помощи формулировать приведенное выше 3-е положеніе слѣдующимъ образомъ: *во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда E принимается зависящимъ отъ R, E непосредственно зависитъ отъ обусловленнаго черезъ R конечнаго состоянія* $C+\triangle C$.

«Во всякомъ отдѣльномъ случаѣ мы разсматриваемъ на-

чальное состояніе системы C, а также и системныя предварительныя условія, какъ совокупность тѣхъ условій, при которыхъ становится возможнымъ данное измѣненіе (поскольку оно зависитъ отъ C, а не отъ R). Для доведенія этого условія до полноты необходимо, чтобы начальное состояніе пріумножилось по крайней мѣрѣ на одно, прежде въ C не содержавшееся, условіе, такъ какъ всякое измѣненіе зависитъ вѣдь не отъ одного только C. Это, долженствующее обрѣтаться за предѣлами C условіе и есть именно—спеціально-обосновывающая измѣненія—одно лишь извѣстное значеніе имѣющая часть обстановки R_x». Подъ R_x и разумѣется то, что названо было выше дополнительнымъ условіемъ. Дополнительное условіе, какъ видно изъ этого, и названо такъ потому, что оно дополняетъ предварительныя условія системы, доводитъ ихъ до полноты, находящей свое выраженіе въ конечномъ состояніи, т.-е. такомъ состояніи, которое наступаетъ для C по завершеніи всѣхъ постигшихъ его измѣненій. Въ виду зависимости E отъ этого конечнаго состоянія нечего много и распространяться о его значеніи. Положимъ, что опредѣленная часть обстановки R_x выражаетъ судебный приговоръ для C. Зависимость всѣхъ исходящихъ отъ C словъ, дѣйствій и вообще всего его E, становится очевидною сама собой.

Расчленивъ R, приходится добавить, что впредь для всей обстановки вообще одного знака это будетъ недостаточно. Если бы C всецѣло зависѣло отъ вихря измѣненій, вносимыхъ R, ему бы пришлось скоро погибнуть подъ ничѣмъ неуравновѣшеннымъ ея давленіемъ. Если этого нѣтъ, то сохраненіе C происходитъ потому, что R имѣетъ двойственный характеръ: съ одной стороны, это источникъ *ученія*,—и въ этомъ смыслѣ я и буду продолжать обозначать его черезъ R;—съ другой, это источникъ *питанія*; въ этомъ случаѣ въ «Критикѣ» принято обозначать его черезъ S. Отсюда и два рода измѣненій въ системѣ C; одни совершаются въ зависимости отъ R и ихъ означаютъ черезъ f (R), другія совершаются въ зависимости отъ S, т.-е. составляютъ f (S).

Соображая приведенныя до сихъ поръ указанія, разъясненія и различенія, не трудно убѣдиться, что система C не предполагается какъ бы стоящею внѣ исторіи и хода развитія, а, напротивъ того, она представляется совмѣщающею въ себѣ всѣ условія, которыя могутъ быть добыты или утрачены силою из-

мѣненій, т.-е. она предполагается способною и къ развитію, къ поступательному ходу, и къ вырожденію, къ попятному движенію.

Посмотримъ же теперь, какимъ измѣненіямъ подвергнется она въ этихъ, совмѣщающихся съ предѣлами жизни самой, границахъ?

Прежде всего слѣдуетъ здѣсь различать общія измѣненія отъ спеціальныхъ, и въ послѣднемъ—патологическія отъ физіологическихъ. Физіологическія измѣненія опредѣляются главнымъ образомъ *упражненіемъ*, которое въ теченіе всей жизни оказываетъ на нихъ свое воздѣйствіе. Затѣмъ, имѣютъ значеніе *функціональныя* измѣненія, какъ вполнѣ преходящія, и *формальныя* (или органическія), какъ преходящія лишь отчасти. Это значитъ, что въ первомъ случаѣ система C, и послѣ обусловленнаго обстановкою (R) измѣненія, остается такою же, или почти такою, какою была до измѣненія, а во второмъ,—она болѣе или менѣе интенсивно или болѣе или менѣе продолжительное время является измѣненною. Упражненіе, воздѣйствуя на эти измѣненія, становится *специфическимъ* въ томъ случаѣ, когда оно воздѣйствуетъ на частныя центральныя системы, (совокупность которыхъ и есть система C), и вырабатываетъ, и въ формальномъ, и въ функціональномъ отношеніи, ту или иную ихъ опредѣленность. Обстановка можетъ содержать или же не содержать способствующіе извѣстному упражненію моменты, моменты эти могутъ быть или не быть между собою въ сродствѣ,—во всякомъ случаѣ подъ ихъ воздѣйствіемъ вырабатываются тѣ или иныя *формы измѣненій*, которыя всегда приходится различать. Охватывая во всей ихъ совокупности всѣ соотносящіяся сюда обстоятельства, можно видѣть, что развитіе, усиленіе, усовершенствованіе, словомъ, *подготовка* системы C въ широкомъ смыслѣ, находится въ зависимости отъ упражненій частныхъ системъ, изъ общей совокупности которыхъ слагается система C. Этотъ процессъ и заканчивается выдѣленіемъ *главныхъ* частныхъ системъ отъ *побочныхъ*. Исторія развитія всякаго таланта, всякой выдающейся личности, можетъ представить обильныя для этого положенія иллюстраціи.

Достигнутые результаты даютъ возможность нижеслѣдующимъ образомъ измѣнить формулировку 3-го положенія: *если въ какомъ-нибудь отдѣльномъ случаѣ содержаніе утвержденія должно имѣть спеціально-опредѣленное значеніе E_x, то это E_x находится въ посредственной зависимости отъ дополнитель-*

наго условія R_x, а непосредственно зависитъ отъ конечнаго состоянія $C+\Delta C$ системы C. Что же касается относящейся сюда формы измѣненія, то она обусловливается не однимъ только спеціальнымъ дополнительнымъ условіемъ R_x, но и спеціальнымъ подготовленіемъ системы C,—соотносительно—частныхъ центральныхъ системъ.

Положеніе это, какъ то и очевидно, имѣетъ значеніе не только для правильной постановки вопросовъ при ретроспективномъ взглядѣ на ходъ развитія личностей, но достойно вниманія и всякаго внимательнаго педагога.

Перейдемъ къ слѣдующей стадіи «Критики»—къ вопросу о сохраненіи индивида, во главѣ котораго намъ представится установленіе основного біомеханическаго закона.

Мы знаемъ уже, что все, имѣющее значеніе E, находится въ извѣстной зависимости отъ измѣненій системы C. Эти измѣненія E представляютъ собою двѣ перемѣнныхъ, изъ которыхъ одну можно признавать *зависимою*, а другую—*независимою*. И такъ какъ изъ E, такъ же, какъ и изъ системныхъ измѣненій, образуются извѣстные ряды, то и получаются два ряда: одинъ *зависимый* (или рядъ E) и другой—*независимый* (или рядъ системныхъ измѣненій). Между этими двумя рядами, какъ соподчиненными, и констатируется то логически-функціональное отношеніе, о которомъ говорено было выше. При этомъ еще разъ надо напомнить читателю, что терминъ «функціональный» не имѣетъ никакого отношенія къ физіологіи, такъ какъ содержаніе утвержденій (E), такъ же, какъ и все мышленіе, не есть *продуктъ* физіологическихъ функцій и т. д. мозга, но состоитъ лишь съ измѣненіями C въ *логически*-функціональномъ отношеніи. «Такимъ образомъ, два міра—«природа» и «сознаніе» вводятся во взаимную связь и получаютъ возможность взаимно освѣщаться».

Теперь намъ предстоитъ заняться вопросомъ о сохраненіи индивида.

«Критика», какъ мы то уже знаемъ, считаетъ окружающую среду предпосылкою не однихъ только высказываній индивида, но и предпосылкою сохраненія этого индивида, поскольку обстановка доставляетъ ему питаніе и защиту. Сохраненіе, доставляемое обстановкою, однако же, не безусловно; такъ какъ она предполагается не идеальною и многія обусловливаемыя ею измѣненія системы C признаются имѣющими значеніе *угрозъ*

для послѣдней. Система C, съ своей стороны, противопоставляетъ этимъ угрозамъ тѣ измѣненія, которыя, за неимѣніемъ болѣе точнаго выраженія, «Критика» называетъ «приспособленіями».

Устойчивость, составляющая цѣль усилій системы C, само собою разумѣется, не абсолютна, такъ какъ мы имѣемъ передъ собою систему преходящую. Система эта можетъ извѣстное время поддерживаться, но остановить уменьшеніе своей устойчивости она не въ состояніи. Достигаемое ею временное сохраненіе носитъ названіе жизнеустойчивости. «Въ ней заключается тотъ регулирующій принципъ, который лежитъ въ основѣ дальнѣйшаго изложенія. Его законы должны стать основными законами всей человѣческой дѣятельности; они же должны послужить основаніемъ и для заключеній мозговой работы».

Жизнеустойчивость, какъ то и очевидно, есть величина измѣнчивая, постоянно колеблющаяся. Системныя измѣненія, воздѣйствуя на каждый данный моментъ жизни системы C, опредѣляютъ жизнеустойчивость для каждаго этого момента, иначе говоря, установляютъ степень жизнеустойчивости системы. Всякая данная степень жизнеустойчивости можетъ подвергнуться уменьшенію, и чтобы имѣть возможность опредѣлить его, необходимо знать ту, которая мыслится какъ наибольшая. Эта наибольшая носитъ въ «Критикѣ» названіе *максимума жизнеустойчивости*.

Мы знаемъ уже, что основное условіе устойчивости системы заключается въ упражненіи; упражненіе же, какъ пояснено было выше, находится въ зависимости отъ обстановки. Эта послѣдняя, разсматриваемая съ этой стороны, оказывается *разрушительною*, поскольку она представляется причиняющею измѣненія, и *благопріятною* сохраненію системы C, поскольку мы ее мыслимъ обусловливающею упражненія. Въ случаѣ отсутствія моментовъ опредѣляющихъ послѣднія, передъ нами развертывается картина отрицательныхъ образованій, свидѣтельствующихъ о наступившемъ вырожденіи и приближеніи системы къ гибели.

Припомнимъ теперь, что мы уже ранѣе выдѣлили изъ области R ту часть ея, которая спеціально относится къ обмѣну веществъ, обозначивъ эту часть черезъ S. Значеніе функцій этихъ двухъ частей обстановки само по себѣ очевидно: если f (S) есть «*органически-образовательный или созидательный процессъ*», то f (R) надо будетъ считать *процессомъ научения или процессомъ «работы»*; короче, обозначенія: f (S) и f (R)—будутъ для насъ симво-

лическими знаками «*питанія*» и «*работы*». Нечего и прибавлять, что обѣ эти функціи должны мыслиться обозначающими два противоположныя между собою измѣненія системы C: что созидаетъ одна, то разрушаетъ другая, и обратно, а изъ этого слѣдуетъ, что обѣ должны находиться въ равновѣсіи для достиженія возможно-наибольшаго сохраненія C, а слѣдовательно и индивида.

Лишь только одинъ процессъ станетъ превышать другой, какъ система станетъ тотчасъ же клониться къ упадку и исчезновенію. Условіемъ сохраненія или же условіемъ разрушенія нельзя считать ни f (S), ни f (R), самихъ по себѣ: то или другое значеніе можетъ имѣть лишь ихъ *разность*, и притомъ въ той мѣрѣ, въ какой она удаляется отъ ихъ равенства (разрушеніе) или же приближается къ нему (сохраненіе).

На этомъ основаніи «Критика» и формулируетъ основной біомеханическій законъ нижеслѣдующимъ образомъ: *каждая система находится въ состояніи наибольшей жизнеустойчивости постольку, поскольку къ ней прилагается равенство*: f (R)=—f (S), или f (R)+f $(S)=o$.

Послѣдняя формула при отношеніи ея къ степени жизнеустойчивости получитъ названіе *жизнеразности*. Понятіе, опредѣленное этимъ терминомъ, принадлежитъ въ «Критикѣ» къ числу важнѣйшихъ. При его помощи пойдетъ все дальнѣйшее изслѣдованіе, которымъ и опредѣлится все присущее этому понятію значеніе.

«Предпосылки, заключающіяся въ этомъ положеніи, представляютъ общенаучное достояніе. Не только перенапряженіе отъ работы (т.-е. избытокъ f (R)) вноситъ патологическія измѣненія въ частныя центральныя системы, но сохраненіе этихъ послѣднихъ претерпѣваетъ ущербъ и въ томъ случаѣ, когда дѣятельность ихъ прекращается, т.-е. когда ихъ постигаетъ отсутствіе работы (отсутствіе f (R)). Это наблюденіе есть одно изъ обыкновеннѣйшихъ, оно было даже примѣнено къ изученію центральныхъ нервныхъ путей (методъ Гуддена). Въ противоположность тому, анатомическое изслѣдованіе показываетъ, что при маніи, напримѣръ, наблюдается гиперемія, т.-е. излишнее питаніе (избытокъ f (S))».

Въ дополненіе къ только-что сдѣланному очерку установленія основного біомеханическаго закона остается только сказать нѣсколько словъ относительно общаго значенія понятія жизнеразности.

«Когда какая-нибудь *составная часть обстановки* R_x становится дѣйствительнымъ *дополнительнымъ условіемъ* для того или иного *системнаго измѣненія*, то совершается это въ формѣ количественнаго измѣненія одного изъ *факторовъ*, или f (R), или f (S). Въ этомъ случаѣ, сумма f (R) и f (S) окажется не равною нулю, а *большею* нуля; въ «Критикѣ» обстоятельство это находитъ себѣ выраженіе въ слѣдующей формулѣ: *составная часть обстановки* R_x *устанавляетъ жизнеразность:* она, слѣдовательно, дифференцируетъ *максимальную жизнеустойчивость*, уменьшая ее. Такимъ образомъ, напримѣръ, картинка въ книжкѣ ребенка можетъ послужить *постановкѣ для него жизнеразности*, точно такъ же, какъ позже, *постановка* эта можетъ совершиться вслѣдствіе предложенія ему какой-нибудь ариѳметической задачи, или, какъ для всякаго изъ насъ можетъ совершить то же самое—картина, «міровая загадка» (Welträtsel), или иная проблема. Понятіе «*жизнеразность*» и само по себѣ можетъ впрочемъ установить *жизнеразность*, а именно для того, кто впервые приступаетъ къ «ознакомленію» съ «Критикою чистаго опыта»; такая постановка имѣетъ мѣсто какъ разъ столько времени, сколько нужно, чтобы «ознакомленіе» это перешло въ «знакомство».

Мы можемъ перейти теперь къ дальнѣйшимъ различеніямъ замѣченныхъ «Критикой» въ общемъ ходѣ измѣненій системы С.

Мы знаемъ уже, что система С постоянно стремится къ достиженію наибольшей жизнеустойчивости, иначе говоря,—къ осуществленію извѣстнаго уже намъ равенства: f (R)+f (S) =0. Максимумъ жизнеустойчивости соотвѣтствуетъ здѣсь нулевому пункту, установиться на которомъ непрестанно и стремится стрѣлка вѣсовъ жизни: стремленіе, встрѣчающее, однако же, постоянное препятствіе со стороны угрозъ враждебной жизнесохраненію обстановки. Противоположность эта находитъ выраженіе въ указанной выше жизнеразности. Пока *жизнеразность* остается *неустраненною*, до тѣхъ поръ система остается внѣ достиженія нулевого пункта или *покоя*, къ которому направлены ея стремленія. Изъ такого положенія вещей очевидно слѣдуетъ, что равновѣсіе системы не можетъ быть устойчивымъ, что оно всегда является колеблющимся, подобнымъ колебанію стрѣлки вѣсовъ. На этомъ основаніи «Критика» и называетъ *системнымъ колебаніемъ* то состояніе системы С, въ которомъ она неизбѣжно пребываетъ, какъ только та или иная

составная часть обстановки совершаетъ для нея постановку жизнеразности.

Очень важное значеніе имѣетъ различеніе колебаній на *колебанія перваго, второго*, и *т. д. порядковъ*. Колебаніями перваго порядка считаются тѣ, которыя, въ силу ихъ повторности, пріобрѣтаютъ такую степень усвоенія, что, въ свою очередь, представляются чѣмъ-то постояннымъ. Таковы *правильно* повторяющіяся колебанія, связанныя съ повседневнымъ протеканіемъ жизненнаго процесса. Само собою разумѣется, что колебанія эти нельзя представлять себѣ однообразными и правильными. Они имѣютъ свои уклоненія, свои прихотливыя варіированія, и варіированія эти безпрестанно вторгаются, входятъ клиномъ, въ колебанія перваго порядка. Эти колебанія и получаютъ названіе колебаній второго порядка, допускающія, по аналогіи условій, колебаніе третьяго порядка и т. д.

Если, слѣдя за изложенными до сихъ поръ біологическими различеніями и сопоставленіями, читатель не будетъ терять изъ виду установленныхъ раньше положеній относительно взаимной связи между R, C и E, то онъ легко будетъ представлять себѣ гносеологическое значеніе каждаго изъ обслѣдованныхъ моментовъ. И въ самомъ дѣлѣ, не очевидно ли, что всѣмъ воздѣйствіямъ обстановки R, на индивидъ C, отвѣчаютъ высказыванію индивида, т.-е. E. До сихъ поръ всѣ эти высказыванія, несмотря на значительную ширь успѣвшей развернуться передъ нами картины жизни, не выходятъ за предѣлы установленной эмпиріокритической предпосылки, т.-е. за предѣлы чистаго опыта. Принятый путь простого описанія, все болѣе и болѣе вникая въ представляемыя дѣйствительностью различенія, ведетъ къ постоянному осложненію оборудываемаго матеріала, но онъ нисколько не теряетъ въ ясности и ни на одинъ мигъ не обнаруживаетъ даже и намека на недостаточность избраннаго средства.

Идя далѣе по намѣченному пути, мы въ настоящее время должны ознакомиться съ тѣмъ новымъ орудіемъ изслѣдованія, которое непосредственно примыкаетъ къ только-что разсмотрѣнному понятію жизнеразности: я разумѣю понятіе *жизненнаго ряда*.

Если бы ставимыя обстановкою жизнеразности оказались неустранимыми, то система имъ подверженная должна бы была погибнуть. На самомъ дѣлѣ этого нѣтъ: устранимость жизнеразности при извѣстныхъ условіяхъ возможна и покой системы въ такихъ случаяхъ оказывается достижимымъ.

Если бы обстановка, выставивъ раздражающій моментъ, сама бы и удаляла его, то дѣло оказалось бы крайне простымъ. Не всегда, однако же, такъ бываетъ: иной разъ обстановка нисколько не способствуетъ исходу возрастающаго системнаго колебанія, иной разъ и способствуетъ, но не вполнѣ, въ концѣ концовъ устраненіе жизнеразности становится заботой самой системы С.

Представимъ себѣ теперь ходъ установленія и устраненія жизнеразности и передъ нами явится та отдѣльно-взятая послѣдовательность событій, которую можно выдѣлить для спеціальнаго изслѣдованія, и которая въ «Критикѣ» носитъ названіе жизненнаго ряда.

Прежде всего: съ чего начинается эта послѣдовательность событій? Со стороны обстановки возникаютъ угрожающіе симптомы, наступаетъ возрастающее колебаніе, совершается постановка жизнеразности, т.-е., неблагопріятно измѣняется или f (R) или f (S); твердая почва, выражаемая максимумомъ жизнеустойчивости, оказывается утерянною. Это *первый отдѣлъ* или *первая часть* жизненнаго ряда. Въ чемъ же заключается *вторая?* Она заключается въ томъ, что система С, въ непокидающемъ ее стремленіи къ столь драгоцѣнному ей максимуму жизнеустойчивости, переживаетъ всѣ тѣ измѣненія, эквивалентомъ которыхъ является изысканіе ею средствъ и способовъ къ устраненію жизнеразности и возвращенію утеряннаго покоя. Варіированія на эту тему могутъ быть, конечно, крайне разнообразны, а длительность ихъ неизбѣжно представляетъ величину въ высшей степени колеблющуюся. Если система подъ гнетомъ жизнеразности погибаетъ, то жизненный рядъ обрывается, не достигнувъ своей полноты; въ противномъ случаѣ наступаетъ *третья его часть:* система С находитъ то измѣненіе самой себя, при которой поставленная ей жизнеразность оказывается устраненною; колебанію наступаетъ конецъ,—максимумъ жизнеустойчивости возмѣщенъ. Такова схема простѣйшаго случая, слагающагося въ жизненный рядъ. Само собою разумѣется, осложненіе его имѣетъ весьма широкія границы, но и эти осложненія могутъ быть охвачены пріемами простого описанія, которымъ пользуется «Критика», и не даютъ повода для выхода за предѣлы чистаго опыта. Объ этомъ, впрочемъ, рѣчь еще впереди.

Жизнь всякаго человѣка представляетъ безчисленные примѣры, въ которыхъ та или иная практическая или теоретн-

ческая его дѣятельность можетъ стать содержаніемъ жизненнаго ряда. Начиная съ мелочей,—съ удаленія, напримѣръ, пылинки, попавшей въ глазъ,—всякій моментъ борьбы за существованіе представляетъ постановку жизнеразности, изысканіе средствъ ея устраненія и самое это устраненіе.

Весь матеріалъ приведеннаго до настоящаго момента изслѣдованія вливается, какъ видно изъ вышесказаннаго, въ русло жизненнаго ряда; теперь, продолженіе нашего изслѣдованія будетъ уже изслѣдованіемъ жизненнаго ряда перваго и высшихъ порядковъ, а центромъ тяжести этого послѣдняго явится, какъ то и разумѣется само собою, вопросъ объ условіяхъ устраненія жизнеразности.

Разсматривая вопросъ этотъ сперва съ чисто-формальной его стороны, т.-е. согласно однимъ только логическимъ законамъ при совершенномъ отвлеченіи отъ его содержанія, намъ слѣдуетъ обозрѣть тѣ измѣнчивости или варіированія, которыя сводятъ извѣстное намъ равенство—$f(R)+f(S)=0$—на неравенство—$f(R)+f(S)>0$; и затѣмъ прослѣдить и тотъ процессъ, который отъ этого неравенства приводитъ къ первоначальному равенству или покою системы. Система C варіируетъ тутъ, очевидно, разнообразнѣйшимъ образомъ, но, принимая во вниманіе, что каждая изъ функцій равенства можетъ или увеличиваться или уменьшаться, мы неизбѣжно приходимъ къ двумъ формамъ *колебанія работы*, т.-е. $f(R)$, и двумъ формамъ *колебанія питанія*, т.-е. $f(S)$; всего къ четыремъ родамъ возможныхъ варіированій системныхъ факторовъ.

Если мы теперь сопоставимъ каждый изъ этихъ рядовъ, въ качествѣ элементовъ начальныхъ измѣненій или перваго отдѣла жизненнаго ряда, съ соотвѣтственными чередованіями тѣхъ элементовъ, въ качествѣ заключительныхъ измѣненій третьей части ряда, то получимъ перечень всѣхъ тѣхъ сочетаній, каждое изъ которыхъ представитъ возможный случай постановки и устраненія жизнеразности всякаго жизненнаго ряда. Такимъ образомъ окажется, что колебаніе, возникшее вслѣдствіе *увеличенія* работы, можетъ быть устранено ея *уменьшеніемъ* (и наоборотъ), а то, которое возникло вслѣдствіе *увеличенія* питанія, можетъ устраниться *уменьшеніемъ* питанія (и наоборотъ). Съ другой стороны, колебаніе можетъ устраниться при позднѣйшемъ возникновеніи варіированія въ томъ случаѣ, когда такого варіированія первоначально не значилось, т.-е.,

въ этомъ случаѣ увеличеніе работы будетъ уравновѣшено увеличеніемъ питанія и, наоборотъ, точно такъ же, какъ и уменьшеніе питанія уравновѣсится соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ работы и, наоборотъ. Понятное дѣло, что такихъ сочетаній въ нашемъ перечнѣ окажется восемь.

При безконечной сложности случаевъ, распредѣляющихся по этимъ восьми рядамъ ихъ, одна изъ важнѣйшихъ задачъ «Критики» заключалась въ достодолжномъ удовлетвореніи необходимаго требованія упрощенія пріемовъ и способовъ *сведенія всѣхъ этихъ случаевъ къ единству*. Необходимо было выбрать изъ 8 родовъ, значущихся въ упомянутомъ перечнѣ, одинъ такой, сопоставляя съ которымъ остальные, было бы возможно разсматривать ихъ какъ его видоизмѣненіе. Такой рядъ могъ бы получить названіе *основного случая*.

Вникая въ значеніе всѣхъ случаевъ перечня, легко видѣть, что нѣкоторые изъ нихъ, какъ-то: увеличеніе питанія уравновѣшиваемое его уменьшеніемъ, увеличеніе работы уравновѣшиваемое ея уменьшеніемъ и уменьшеніе работы уравновѣшиваемое соотносительнымъ ея увеличеніемъ, относятся къ области физіологіи и патологіи, а потому указанному выше требованію не отвѣчаютъ. Точно такъ же случай уравновѣшенія уменьшенія питанія увеличеніемъ его намъ пригодиться не можетъ, такъ какъ онъ, въ качествѣ верховодящаго, представлялъ бы тѣ ступени культуры, на которыхъ поиски пищи и ея принятіе представляются главнымъ условіемъ поддержанія устойчивости системы C, всѣ наличныя силы которой привлекаются для приложенія къ этому основному случаю. Когда дѣло идетъ объ основѣ теоріи человѣческаго познанія, тогда, очевидно, вниманіе должно сосредоточиться на f (*R*); а процессъ обмѣна веществъ—f (*S*)—отодвигается на второй планъ, и при этомъ, все то, что до сихъ поръ было относимо къ мускульной работѣ, должно пойти въ дѣло при изслѣдованіи работы, помощью которой должно подвигаться созиданіе интересующей насъ теоріи.

На этомъ основаніи и избирается тотъ случай, въ которомъ увеличенію питанія, предполагающемуся равномѣрнымъ, соотвѣтствуетъ увеличеніе работы, точно такъ же равномѣрное, при чемъ предполагается такой индивидъ, который находится еще въ періодѣ поступательнаго развитія. Колебаніе ограничивается только тѣмъ, что увеличеніе питанія предполагается происшедшимъ при условіяхъ сна, такъ что изслѣдованіе само собою

входитъ въ рамки той части колебанія, которая захватываетъ процессъ увеличенія работы.

Въ виду все болѣе и болѣе возрастающей сложности нашего изслѣдованія, дальнѣйшее расчлененіе и спеціализація избраннаго основного случая требуетъ введенія нѣкоторыхъ новыхъ обозначеній.

Равномѣрно-возрастающее питаніе мы будемъ обозначать терминомъ *частно-системный моментъ* $П$, а соотносящееся равномѣрное увеличеніе работы—терминомъ *соотносительный моментъ* или *комоментъ* $Г$. Главное значеніе тутъ принадлежитъ послѣднему. Онъ обозначаетъ увеличеніе работы и притомъ не всякой, а той, именно, которая необходима для жизнеустойчивости системы С. Увеличенія работы, производящія уменьшенія жизнеустойчивости С, исключаются изъ этого понятія, и комоментъ Г является обозначеніемъ усвоеннаго упражненіемъ увеличенія работы, тѣмъ увеличеніемъ, которымъ система располагаетъ уже въ силу своего собственнаго развитія.

На различеніи моментовъ П и Г основывается различеніе жизнеразностей перваго и высшаго порядковъ. Подобно тому, какъ вполнѣ усвоенное упражненіемъ колебаніе было названо колебаніемъ 1-го п., такъ и данныя въ системѣ С измѣненія, въ томъ случаѣ, когда встрѣчаются одни только неизмѣнчивые (не варіирующіе) системные моменты П, мы обозначаемъ, какъ жизнеразности 1-го п. Напротивъ того, всякая измѣнчивость колебанія, касается ли она значенія П при временной неизмѣнчивости значенія Г или значенія Г при временной неизмѣнчивости значенія П, будетъ обозначаться какъ жизнеразность 2-го, 3-го и т. д. порядковъ. Первый порядокъ жизнеразностей, какъ то и очевидно, сводится къ одному лишь равномѣрному, ежедневно повторяющемуся введенію пищи, имѣющему мѣсто лишь въ случаяхъ слабоумія, а потому намъ придется говорить—если не дано будетъ особаго для даннаго случая указанія,—лишь о жизнеразностяхъ высшихъ порядковъ.

Само собою разумѣется, что приложеніе вырабатываемыхъ «Критикою» различеній можетъ имѣть мѣсто и за предѣлами основного случая. Такое широкое приложеніе можетъ получить, напримѣръ, и, основывающійся на только что указанномъ, терминъ *комоментированіе*, которое, будучи положительнымъ, обозначаетъ поднятіе работы до значенія ея увеличенія, а являясь отрицательнымъ, обозначаетъ пониженіе этого значенія. Такъ,

при изученіи исторіи философіи, можетъ имѣть мѣсто первый случай, когда, благодаря приливу новыхъ понятій, возникаютъ измѣненія, которыя и становятся комоментами, т.-е. комоментируются положительно. Размышленія о постигшей утратѣ, доводящія до смерти безутѣшнаго человѣка, являются примѣромъ комоментированія отрицательнаго. Можетъ, наконецъ, случиться и такъ, что человѣкъ житейской практики своимъ заявленіемъ, что онъ-де всякія науки позабылъ, да ими болѣе и не интересуется, обнаруживаетъ, что прежнее его положительное комоментированіе перешло въ отрицательное.

Установивъ «основной случай» и указавъ на новыя необходимыя для дальнѣйшаго изслѣдованія различенія, намъ предстоитъ перейти теперь къ ближайшему разсмотрѣнію *уклада жизненнаго ряда по его частямъ*, или иначе говоря, къ рѣшенію вопроса о томъ, какимъ образомъ совершается протеканіе жизненнаго ряда примѣнительно къ избранному «основному случаю».

Въ общей картинѣ протеканія жизненныхъ рядовъ мы прежде всего должны отмѣтить двѣ главнѣйшія особенности. Во-первыхъ, намъ представляется усвоенное упражненіемъ равномѣрное увеличеніе питанія, уравновѣшиваемое равномѣрнымъ же возрастаніемъ работы,—*это жизненный рядъ перваго порядка*. Съ такимъ простымъ укладомъ жизненнаго ряда перваго порядка сопоставляется болѣе сложный укладъ *жизненнаго ряда высшаго порядка*. Онъ заключается въ нижеслѣдующемъ: предположенное при условіи сна увеличеніе питанія является даннымъ, подлежащимъ уравновѣшенію. Затѣмъ вступаетъ комоментъ Г и начинается процессъ этого уравновѣшенія, но какъ разъ въ это время включается въ рядъ новый, варіирующій комоментъ $Г+\triangle Г$, имѣющій значеніе второй жизнеразности; начавшееся завершеніе жизненнаго ряда прерывается, и вносится новый рядъ измѣненій, служащій уже не къ завершенію ряда перваго порядка, а только, пока къ устраненію варіированія, внесеннаго въ колебаніе комонентомъ $Г+\triangle Г$. Этотъ новый рядъ измѣненій и есть именно тотъ, который обозначается какъ *жизненный рядъ высшаго порядка*.

Особенность его заключается въ томъ, что онъ проникаетъ въ жизненный рядъ перваго порядка и занимаетъ мѣсто между среднимъ и заключительнымъ его измѣненіемъ, представляя новый рядъ варіированій колебанія, угрожающихъ устойчивости системы. Переходъ къ полному завершенію этого ряда (въ ко-

торый оказывается проникнувшею пертурбація ровнаго протеканія его), наступаетъ такимъ образомъ лишь по устраненіи произведшей ея жизнеразности.

При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи протеканія жизненныхъ рядовъ вниманіе наше должно будетъ, главнымъ образомъ, сосредоточиться на среднихъ и заключительныхъ измѣненіяхъ, такъ какъ начальныя измѣненія, согласно изложеннымъ ранѣе объясненіямъ, представляютъ предварительныя условія системы C или, иначе говоря, представляютъ систему C, какъ она является *даннною* для разсматриваемаго случая.

Въ виду избѣжанія недоразумѣнія, припомнимъ теперь сказанное о значеніи средняго отдѣла ряда. Собственно говоря, всякое мыслимое измѣненіе системы C можно разсматривать какъ измѣненіе средняго отдѣла, но само собою разумѣется при этомъ, не непремѣнно такимъ, которое ведетъ къ неизбѣжности заключительнаго измѣненія. Различеніе это условно и должно быть разсматриваемо какъ данное для каждаго отдѣльнаго случая; но разъ оно дано, характеръ его уже опредѣлится самою постановкою вопроса и извѣстное состояніе системы затѣмъ уже разсматривается какъ соотвѣтствующее этому измѣненію. Возьмемъ для примѣра жизненный рядъ, охватывающій всѣ перипетіи появленія въ печати какого-нибудь произведенія. Что жизненный рядъ этотъ относится къ высшему порядку, видно изъ того, что онъ представляется включеннымъ въ тотъ, который охватываетъ измѣненія обыденной жизни, и который онъ своимъ завершеніемъ не завершаетъ; затѣмъ, мы можемъ считать среднимъ его отдѣломъ и изученіе матеріаловъ, и предварительную координацію полученныхъ отъ этого изученія результатовъ, и варіированіе въ процессѣ составленія плана работы, и процессъ самой работы, продолжающій воздѣйствовать на варіированіе предыдущихъ комоментовъ; но что бы мы ни приняли за средній отдѣлъ, мы тѣмъ самымъ установляемъ укладъ ряда и, слѣдовательно, теперь уже взглянемъ на рядъ предшествовавшихъ состояній какъ на начальное состояніе системы C даннаго случая, а конечнымъ ея состояніемъ сочтемъ тотъ результатъ, который получится по окончаніи варіированій избраннаго средняго отдѣла.

Изъ этого слѣдуетъ, что разсмотрѣніе среднихъ измѣненій сводится къ *изслѣдованію средствъ*, которыми располагаютъ: *1) система C* или же 2) *ея обстановка* для устраненія жизнеразности.

Средства перваго рода крайне просты и надъ ними нѣтъ надобности долго останавливаться. Обстановка ставитъ жизнеразность, она же и устраняетъ ее. Положимъ, что сельскому хозяину поставлена жизнеразность избыткомъ воды (наводненіемъ) или же недостаткомъ ея (засухою); спаденіе воды и выпаденіе дождя можетъ устранить такія жизнеразности ранѣе приложенія какихъ бы то ни было средствъ со стороны самого хозяина.

Для большей ясности приведенныхъ выше общихъ указаній отмѣтимъ здѣсь, что примѣромъ фиксированія эктосистемныхъ измѣненій можетъ служить раздуваніе близкаго къ угасанію огня, примѣромъ замѣщенія—переселеніе на новое мѣсто жительства и, наконецъ, примѣромъ видоизмѣненія—приготовленіе пищи, т.-е. такая переработка пищевыхъ веществъ, которая отымаетъ у нихъ свойства, способствующія постановкѣ ими жизнеразности.

Что же касается до вопроса о пользованіи эндосистемными измѣненіями, то здѣсь интересъ сосредоточивается на роли и значеніи комоментовъ въ этомъ процессѣ. Такъ, *обмѣнъ* комоментовъ совершается посредствомъ распространенія тѣхъ эндосистемныхъ измѣненій, возникновеніе которыхъ было обусловлено малозначительною жизнеразностью для одной какой-нибудь частной системы на другія частныя системы и приближенія такимъ путемъ болѣе важныхъ жизнеразностей къ ихъ устраненію. *Замѣстительство* комоментовъ имѣетъ мѣсто тогда, когда усвоенное упражненіемъ измѣненіе замѣщаетъ собою то, которое упражненіемъ усвоено не было. Затѣмъ слѣдуетъ *перемѣна* комомента, *утрата* и *добытіе* его, на которомъ по недостатку мѣста я останавливаться не могу.

По этой же причинѣ я и примѣръ представлю только для одного случая—для *перемѣны* комомента: этой перемѣнѣ соотвѣтствуютъ такія явленія, какъ превращеніе «главнаго» дѣла во «второстепенное», наступленіе при прогрессивномъ развитіи, при перемѣнѣ рода дѣятельности и т. п. замѣны однихъ «интересовъ» другими, превратности въ области «мнѣній» и «чувствованій» и т. д.

Таковъ общій характеръ измѣненій средняго отдѣла жизненнаго рода. Измѣненія эти имѣютъ значеніе *посредствующихъ* по отношенію къ *заключительному*, представляющему то состояніе системы С, когда поставленная жизнеразность является уже устраненною и покой системы возстановленнымъ. Тутъ

мыслимы два случая: заключительное измѣненіе можетъ *возвращать* варіирующій комоментъ къ неваріирующему или посредствомъ *реституціи* или возстановленія первоначальнаго комомента или же посредствомъ образованія новаго, годнаго для устраненія жизнеразности комомента, т.-е. посредствомъ *субституціи* или подстановки.

Замѣтимъ при этомъ, что большая часть сложнѣйшихъ заключительныхъ измѣненій совершается посредствомъ субституціи. Они обусловливаются «новообразованіями» предполагаемой способною къ развитію системою С. Реституціи же совершаются всего чаще тогда, когда система С сравнительно менѣе богата субститутивными формами. Что же касается до субституцій высшаго порядка, то они, какъ то и очевидно, совершаются изобрѣтателями, художниками, мыслителями,—вообще же геніями.

Иллюстрацію только что указаннаго различенія могутъ представить умственные облики нѣкоторыхъ русскихъ философовъ и едва ли не тѣхъ именно, которыхъ г. Колубовскій сопричисляетъ къ сонму «сильныхъ противниковъ позитивизма» и отличающихся «замѣчательною глубиною и силою мысли». (См. Zeitschrift für Philosophie). Въ философскихъ взглядахъ одного, по словамъ самого г. Колубовскаго, «можно подмѣтить теософскіе элементы, слитые съ ученіями Шеллинга, Гегеля и славянофиловъ»; другой—какъ то видно изъ его же собственнаго заявленія—мечтаетъ «о насажденіи въ Россіи *здравой метафизической и истинно-научной философіи, согласной съ традиціями* ученій Платона и Аристотеля, Декарта и Спинозы, Лейбница и Канта, Фихте и Шопенгауера». Столько заразъ? Это ужъ своего рода эксцесъ! Третій занимается тѣмъ, что сперва реституируетъ Шопенгауэра, потомъ Лейбница и далѣе не знаю уже кого? Четвертый доказываетъ, что метафизика была необходимою прежде, а теперь стала еще необходимѣе, что «субъектъ выходитъ изъ себя метафизически», и далѣе слѣдуетъ ужъ: «соборность человѣческаго сознанія», «вселенская истина», и т. п. Все это впрочемъ блѣднѣетъ и стушевывается при появленіи на сцену загримированнаго Палладою фольклора, ликующаго по поводу открытія предѣловъ и признаковъ одушевленія... Но какіе бы тутъ «ни слышались аккорды», я, къ сожалѣнію, не имѣю возможности тратить для нихъ время и мѣсто, и возвращаюсь къ дѣлу.

Мы знаемъ уже, что жизненнымъ рядомъ высшаго порядка

называется въ «Критикѣ» такой рядъ, который является включеннымъ въ другой, представляющій собою протеканіе событій обыденной жизни. Совершается ли реституція или же субституція въ заключительномъ отдѣлѣ этого ряда, во всякомъ случаѣ, такъ или иначе, вставочный рядъ заканчивается и наступаетъ продолженіе протеканія перваго, прерваннаго ряда. Теперь, вмѣсто выключившагося изъ ряда варіирующаго комомента остается лишь тотъ постоянный комоментъ Г, снабженнымъ которымъ всегда мыслится всякая система С. Если комоментъ этотъ не претерпѣваетъ вторженія въ рядъ новаго варіирующаго комомента, то заключительное измѣненіе ряда перваго порядка становится обезпеченнымъ и затѣмъ достигается завершеніе и всего жизненнаго ряда.

Остается прибавить, что намѣченное выше изслѣдованіе уклада жизненнаго ряда по его частямъ охватываетъ событія жизни во всемъ ихъ разнообразіи. Начальное измѣненіе всегда соотвѣтствуетъ «*потребности*», какою бы эта послѣдняя ни являлась; затѣмъ среднія измѣненія представляютъ посредствующія звенья этой цѣпи: *пріемы*, *способы*, *методы*, помощью которыхъ индивидъ достигаетъ «*удовлетворенія*», соотвѣтствующаго тому заключительному состоянію, которое занимаетъ собою рядъ и приводитъ систему С, впредь до постановки новой жизнеразности, къ искомому равновѣсію.

До сихъ поръ мы привлекали къ изслѣдованію лишь одну отдѣльно-взятую систему С. Теперь намъ предстоитъ распространить добытые результаты сперва на соотношеніе между одной системой и какою-нибудь другой, а затѣмъ ужъ можно будетъ перейти и къ *совокупности всѣхъ системъ С*.

Изслѣдованіе начинается съ разсмотрѣнія соотношенія частныхъ системъ, образующихъ своею совокупностью систему С. Исходнымъ пунктомъ служитъ здѣсь тотъ случай, когда поставленная для какой-нибудь частной системы жизнеразность устраняется не этою самою системою, а прежде передается ею другимъ частнымъ системамъ, пока, наконецъ, вмѣстѣ съ измѣненіемъ, совершающимся въ одной или нѣсколькихъ этихъ вторично-задѣтыхъ системъ устраняется жизнеразность и для первоначально-задѣтой системы. Солидарность частныхъ системъ и значеніе этой солидарности для системы С вскрывается при этомъ разсмотрѣніи довольно наглядно. Примѣръ отрицательнаго случая можетъ еще лучше уяснить это положеніе. Отра-

вляющаяся алкоголемъ система, поддерживаемая сперва другими частными системами, губитъ, въ концѣ концовъ, всю систему С и при этомъ сама погибаетъ вмѣстѣ съ нею.

Показавъ на взаимномъ соотношеніи частныхъ системъ основную мысль изслѣдованія, мы можемъ перейти къ вопросу о соотношеніяхъ системъ С между собою. Начнемъ съ того, что представимъ себѣ двѣ системы С, находящіяся въ такомъ функціональномъ соотношеніи, что измѣненія одной становятся условіемъ измѣненія для другой. Если первая система окажется благопріятною для поддержанія второй, то фиксированіе, увеличеніе, уменьшеніе и устраненіе измѣненій этой послѣдней произойдетъ въ смыслѣ *положительномъ*, въ противномъ случаѣ оно окажется *отрицательнымъ*. Фиксированіе можетъ быть произведено приближеніемъ одного индивида къ другому, удержаніемъ его въ своей обстановкѣ и т. д. Увеличеніе выразится въ пріумноженіи сношеній, въ способствованіи возрастанію соотносительныхъ движеній и т. д. Уменьшеніе и устраненіе достигается соотвѣтственнымъ воздѣйствіемъ на даннаго индивида или же удаленіемъ его изъ обстановки претерпѣвающаго.

Исходною точкою изслѣдованія, какъ сказано выше, служитъ то положеніе, что отдѣльная частная система не можетъ поддерживать своего существованія въ томъ случаѣ, когда остается отрозненною отъ другихъ системъ; точно такъ же принимается нами и отдѣльная система С, какъ нуждающаяся въ помощи другихъ. Если, положимъ, индивидъ Т совершаетъ для индивида М постановку извѣстной жизнеразности d, то изъ всѣхъ возможныхъ устраненій этой жизнеразности d посредствомъ измѣненія Т окажутся устойчивыми только тѣ, при которыхъ поддержится и самъ индивидъ Т. Всего лучше совершится это въ томъ случаѣ, когда при сказанномъ устраненіи жизнеразности установится между обоими индивидами такое соотношеніе, при посредствѣ котораго устранится не только d, но и всякая иная жизнеразность системы С индивида Т; иначе говоря, въ томъ случаѣ, когда жизнеразность d обусловитъ одновременно и для индивида Т такую особую жизнеразность, которая, въ свою очередь, будетъ устранена посредствомъ устраненія d.

Такимъ образомъ, чѣмъ *обоюднѣе* устраненіе жизнеразности, тѣмъ въ большей степени станутъ для индивида Т возрастать жизнеразности уже не со стороны системы С индивида М, а со стороны остальной обстановки. И чѣмъ болѣе поставленныя для Т

жизнеразности получаютъ такое же значеніе и для M, тѣмъ болѣе влекутъ онѣ за собою и *общія* среднія измѣненія.

Все это приложимо въ полной мѣрѣ и къ группѣ системъ или къ системамъ *конгрегальнымъ*.

Всякая конгрегальная система, будь то семья, общество, государство, находитъ тѣмъ болѣе благопріятныя условія для своей устойчивости, чѣмъ болѣе *обоюдными* оказываются устраненія жизнеразностей, чѣмъ болѣе *обобщенными* являются самыя жизнеразности и чѣмъ болѣе онѣ являются возникшими исключительно изъ обстановки, поскольку эта послѣдняя можетъ считаться внѣ связи съ конгрегальною системою.

Выясненное выше значеніе момента П остается и для конгрегальной системы и получаетъ названіе *конгрегальнаго момента;* ему соотвѣтствуетъ, какъ то и понятно само собою, *конгрегальный комоментъ*. Можно допустить, конечно, приложеніе этихъ терминовъ и для отдѣльныхъ системъ С, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда мы поведемъ рѣчь о такомъ увеличеніи питанія или работы, которое не представляетъ собою исключительной особенности отдѣльныхъ индивидовъ, а общее условіе всѣхъ соотносящихся системъ С и ужъ въ этомъ смыслѣ и данной отдѣльной системы.

Изъ предшествовавшаго слѣдуетъ, что при дальнѣйшемъ развитіи конгрегальныхъ системъ поддержать свою устойчивость могутъ только тѣ, устраненіе единичныхъ жизнеразностей которыхъ оказывается благопріятнымъ поддержанію устойчивости всей конгрегальной системы. Такія системы получаютъ названіе *положительныхъ*.

Отрицательныя конгрегальныя системы, напротивъ того, погибаютъ въ силу саморазложенія, проистекающаго отъ постановленныхъ въ нѣдрахъ самой системы жизнеразностей, или же подъ вліяніемъ внѣшнихъ событій, въ силу недостаточнаго обобществленія жизнеразностей, поставленныхъ извнѣ. Можетъ случиться, впрочемъ, что системы эти изыщутъ пути для перехода въ положительныя.

Предположимъ для примѣра, что вліяніе матери на ребенка долгое время служило для устраненія жизнеразностей у послѣдняго. Подъ этимъ вліяніемъ у ребенка образовалась такая частная система, которая при лишеніи помощи матери въ надлежащій моментъ немедленно же попадаетъ на жизнеразность:— увеличенія работы или же уменьшенія питанія. Допустимъ далѣе,

что мать заболѣла. Жизнеразность матери совершитъ такимъ образомъ постановку жизнеразности и у ребенка и совершитъ ее посредствомъ варіированія конгрегальнаго комомента, такъ какъ въ этомъ именно и заключается конгрегальность обѣихъ системъ. Благопріятнѣйшимъ выходомъ, очевидно, является тутъ проявленіе взаимности, переходъ системы С дитяти во вспомогательное отношеніе къ системѣ матери и соотвѣтственное силамъ способствованіе устраненію ея жизнеразности.

Перенесемъ теперь добытый результатъ на группу, состоящую изъ болѣе чѣмъ двухъ системъ.

Если какая-нибудь конгрегальная система (семья, племя, народъ и т. д.) успѣли уже образовать конгрегальный моментъ и комоментъ, т.-е. располагаютъ извѣстною, усвоенною упражненіемъ работоспособностью, то всякое уклоненіе какой-либо отдѣльной системы отъ пользованія этою способностью совершаетъ по отношенію ко всѣмъ остальнымъ системамъ постановку жизнеразности. Устраненіе этихъ жизнеразностей можетъ быть произведено или соотвѣтственнымъ измѣненіемъ предварительныхъ условій уклонившейся отдѣльной системы, т.-е. преобразованіемъ ея въ смыслѣ системы конгрегальной (отверженіе и устраненіе ея), или же постепеннымъ обращеніемъ уклонившейся формы измѣненія въ форму конгрегальную. (Принятіе уклоненія и приспособленіе къ нему.)

По устраненіи всѣхъ жизнеразностей этого рода, у конгрегальной системы остаются только тѣ, происхожденіе которыхъ слѣдуетъ отнести къ обстановкѣ. Чѣмъ болѣе соединяются отдѣльныя системы для взаимнаго устраненія этихъ жизнеразностей, тѣмъ болѣе обобществленными становятся и самыя жизнеразности, а, слѣдовательно, тѣмъ они и устранимѣе.

И вообще: чѣмъ успѣшнѣе достигаютъ частныя системы своего жизнеподдержанія посредствомъ взаимнаго увеличенія жизнеустойчивости, тѣмъ благопріятнѣе условія поддержанія конгрегальной системы, и обратно.

«И самое благопріятнѣйшее изъ всѣхъ мыслимыхъ условій поддержанія общей системы оказалось бы осуществленнымъ тогда, когда поддержаніе каждой изъ частныхъ системъ совершалось бы посредствомъ увеличенія жизнеустойчивости остальныхъ и ни одна изъ нихъ не поддерживала себя уменьшеніемъ этой жизнеустойчивости; такимъ образомъ, случай, отвѣчающій совершенству отношеній системъ, былъ бы тотъ, когда вся-

кая отдѣльная частная система, при наибольшемъ мыслимомъ увеличеніи жизнеустойчивости наибольшаго числа другихъ отдѣльныхъ частныхъ системъ, а общая система, при наибольшемъ мыслимомъ увеличеніи жизнеустойчивости всякой отдѣльной частной системы, могли бы достигнуть полнаго своего жизнеподдержанія».

«Тутъ у насъ и будетъ, слѣдовательно, самый благопріятный изъ всѣхъ мыслимыхъ случаевъ. Ни одна изъ отдѣльныхъ системъ не будетъ совершать постановки жизнеразностей той конгрегальной системы, въ составъ которой входятъ всѣ эти отдѣльныя системы; возникновеніе жизнеразностей не обусловливается болѣе составными частями конгрегальной системы, а исходитъ только отъ остальной обстановки. Въ случаѣ такого ряда, общая устойчивость достигается, съ одной стороны, стремленіемъ всякаго отдѣльнаго индивида совершать устраненіе жизнеразности наибольшаго числа другихъ индивидовъ, а, съ другой, стремленіемъ всѣхъ индивидовъ къ устраненію всякой значительной жизнеразности всякой отдѣльной системы,—соотносительно: стремленіемъ всѣхъ индивидовъ къ приближенію всякой отдѣльной системы къ устраненію ея жизнеразностей».

«Чѣмъ болѣе раздвинутыми въ пространство и время станемъ мы представлять себѣ условія положительнаго развитія конгрегальной системы, тѣмъ болѣе обширною и болѣе скрѣпленною будутъ они нами мыслиться, т. е. индивиды будутъ все болѣе и болѣе взаимозависимыми членами цѣлаго, и вмѣстѣ съ ослабленіемъ ихъ индивидуальнаго чувства будетъ возрастать въ нихъ чувство солидарности».

Произведенное изслѣдованіе конгрегальной системы даетъ возможность переходить при дальнѣйшемъ развитіи «Критики» отъ разсмотрѣнія состояній индивидуальной системы къ состояніямъ системы конгрегальной при выясненномъ уже значеніи понятія «жизненный рядъ» для той и другой. Не теряя изъ виду этого соображенія, мы займемся теперь вопросомъ о *варіированіи жизненнаго ряда посредствомъ поступательнаго развитія системы* С и въ этихъ видахъ подвергаемъ прежде всего разсмотрѣнію *переработку жизненнаго ряда приспособительно къ намѣченному результату.*

Когда совершается повторная постановка ряда, то самый рядъ можетъ, или оставаться неизмѣннымъ, или же подвергнуться измѣненію. Предстоитъ поэтому взглянуть на проявле-

ніе того варіированія, которое мыслимо въ послѣднемъ случаѣ при условіи поступательнаго хода развитія системы С.

Такъ какъ полученный результатъ можетъ относиться только къ конечному состоянію ряда, то при разсмотрѣніи этого состоянія необходимо имѣть въ виду *продолжительность* измѣненія и степень *усвоенія его упражненіемъ*.

Предположимъ, что какой-нибудь индивидъ принимается за изученіе новой, неизвѣстной ему до того времени, науки. Каждый отдѣлъ этой науки получаетъ въ процессѣ изученія значеніе жизненнаго ряда: у него есть свои подготовительныя условія, свое варіированіе хода усвоенія, свое конечное состояніе, удовлетворяющее индивидъ. Упражненіе имѣетъ здѣсь свою повторность, а усвоеніе свои степени вплоть до окончательныхъ. Если какой-нибудь рядъ повторяется, то каждый членъ его болѣе или менѣе усваивается: усваиваніе идетъ пропорціонально повторности, и время, требующееся для установленія конечнаго состоянія, сокращается. Далѣе: приблизительное, невѣрное, неточное усвоеніе членовъ ряда, мало-по-малу, выпадаетъ, члены эти перестаютъ отдѣляться одинъ отъ другого чуждыми ряду шатаніями и неопредѣленностями,—они устанавливаются тѣснѣе, рядъ становится гуще. И еще далѣе: конечныя состоянія, бывшія первоначально удаленными отъ исходнаго пункта, приближаются къ нему, а тѣ,—неопредѣленныя, неясныя, нетвердыя,—которыя стояли къ нему близко, напротивъ того, удаляются отъ него: конечныя состоянія мѣняются мѣстами. Такъ идетъ дѣло помимо вопроса о характерѣ установленной для ряда жизнеразности; эта послѣдняя значительно усложняетъ процессъ. Какова будетъ поставленная жизнеразность (жажда знанія, практическое приложеніе, конкурсный экзаменъ), такой характеръ примутъ и соотвѣтственныя конечныя состоянія: связанныя съ устраненіемъ жизнеразности будутъ установлены ранѣе тѣхъ, съ которыми такое устраненіе не связывается, или *пока* не связывается, и въ такомъ случаѣ эти конечныя состоянія выключатъ изъ жизненнаго ряда другія конечныя состоянія. Равнымъ образомъ можетъ произойти и включеніе въ рядъ новаго конечнаго состоянія, обусловленное иного рода подготовкою. Въ концѣ концовъ, жизненный рядъ установляется такъ, что въ немъ остаются только необходимые для устраненія жизнеразности члены, остальные же выключаются; самый рядъ становится черезъ это короче,—про-

текаетъ скорѣе и въ своемъ среднемъ отдѣлѣ становится болѣе приспособленнымъ по отношенію къ намѣченному результату.

Обратимся теперь къ варіированію конечнаго состоянія, наступающаго при дальнѣйшемъ развитіи системы C.

Начнемъ съ нѣкоторыхъ предварительныхъ разъясненій, необходимыхъ для перехода къ вопросу о выработкѣ міровоззрѣнія.

Представимъ себѣ, что та или иная обстановочная комбинація заключаетъ въ себѣ повторные признаки и такіе компоненты, которые, при повтореніи, появляются постоянно вновь, тогда какъ другіе—только иногда. Эти *наичаще повторяющіеся* элементы являются, какъ нѣчто существенное, какъ нѣчто, служащее для выработки понятія этой обстановочной комбинаціи R_x. Назовемъ его b_r.

Мы знаемъ уже, что высказываніе E зависитъ не отъ одной только обстановки, но и отъ состоянія системы C. И эта система тоже не остается неизмѣнною, и у нея есть компоненты, также наичаще повторяющіеся, и притомъ не только у нея одной, но и во всѣхъ человѣческихъ системахъ C. Назовемъ это наичаще повторяющееся черезъ b_c.

Сопоставивъ C съ обстановкою R_x, мы замѣтимъ, что обусловливается этимъ сопоставленіемъ системное состояніе главнымъ образомъ наичаще повторяющихся обоихъ разрядовъ, т.-е. b_r и b_c. И все же, оно обусловлено ими лишь отчасти, такъ какъ подъ b_r и b_c разумѣется только часть компонентовъ R и C. Принимая же во вниманіе, что составъ всякаго конечнаго состоянія обусловливается, между прочимъ, и подготовкою C, мы должны будемъ допустить въ формѣ конечнаго состоянія извѣстныя *примѣси*, не обусловленная ни b_r, ни b_c. Выраженныя высказываніями примѣси эти имѣютъ значеніе всего біологически-несостоятельнаго, излишняго, противорѣчиваго, неудовлетворительнаго, случайнаго и т. д.

Участь этихъ примѣсей можетъ оказаться двоякою: у C съ ограниченными способностями и недостаточнымъ временемъ для дальнѣйшаго развитія они соотносительно будутъ удержаны, и наоборотъ, при благопріятныхъ условіяхъ развитія C, примѣсямъ этимъ въ соотвѣтственной мѣрѣ придется быть выключенными.

Такимъ образомъ, заключительнымъ измѣненіемъ, осуществленнымъ системою C, будетъ такое конечное состояніе, которое будетъ обусловлено не одними только наичаще повторяю-

щимися конечными состояніями C и R, но, сверхъ того, вмѣститъ въ себѣ и нѣкоторыя примѣси. Такому состоянію «Критика» придаетъ названіе *идіосиндема* (напсложнѣйшаго).

Изъ этого можно вывести, что если какая-нибудь система C оказывается обладающею временемъ и способностью для дальнѣйшаго своего развитія, то содержащіеся въ идіосиндемѣ компоненты, имѣющіе значеніе примѣсей, должны подлежать выключенію, а напчаще потворяющіеся, напротивъ того, полному развитію и сохраненію. Процессъ этотъ долженствующій въ послѣднемъ итогѣ привести къ установленію *постояннаго* конечнаго состоянія, проходитъ до того стадіи *подпостоянныхъ*. Осуществляясь въ ходѣ историческаго процесса, подпостоянныя образуютъ ряды, обозрѣніе которыхъ и даетъ содержаніе исторіи умственнаго развитія.

Изъ этого видно, что какъ бы ни было безгранично установленіе подпостоянныхъ для времени ихъ возникновенія, онѣ все-таки не могутъ подлежать абсолютному установленію, такъ какъ въ нихъ рядомъ съ компонентами, обладающими полною самостоятельностью, содержатся и такіе, которые при дальнѣйшемъ развитіи ряда подпостоянныхъ окажутся подлежащими выключенію.

Перенесемъ теперь этотъ добытый для индивида результатъ на человѣческое общество.

То, что пріобрѣтаетъ выработкой такихъ рядовъ подпостоянныхъ отдѣльная личность прежде всего для самой себя и для своего жизнесохраненія, унаслѣдывается переживающимъ эту личность поколѣніемъ; затѣмъ, дальнѣйшая выработка совершается на основѣ рядовъ подпостоянныхъ, установленныхъ индивидуальными усиліями многихъ личностей, и эти ряды принимаются уже, какъ отдѣльные члены для выработки новыхъ и новыхъ рядовъ высшаго и наивысшаго порядковъ.

«И, чѣмъ болѣе способна къ развитію, чѣмъ болѣе устойчива и чѣмъ болѣе объемлюща конгрегальная система, тѣмъ значительнѣйшею и сильнѣйшею окажется ея склонность къ выключенію всего того, что не служитъ сохраненію и дальнѣйшему развитію тѣхъ компонентовъ, которые представляютъ собою зависимые отъ напчаще повторяющихся, т.-е. чѣмъ болѣе способна къ развитію и чѣмъ болѣе объемлюща конгрегальная система, тѣмъ болѣе будетъ она отрицательно комоментировать тѣ формы конечнаго состоянія, которыя обосновываются на

свойствахъ и особенностяхъ индивидовъ низшаго и нижайшаго порядковъ».

«Изъ этого слѣдуетъ, что, чѣмъ въ болѣе позднее время родился индивидъ, и чѣмъ болѣе раздвинетъ онъ для семьи, въ которой родился, предѣлы ближайшей общественной среды вширь до того, что охватитъ все человѣчество, а ближайшую обстановку до такой степени, что охватитъ цѣлую часть свѣта, тѣмъ будутъ болѣе благопріятны условія для дальнѣйшаго развитія подпостоянныхъ въ указанномъ выше смыслѣ». Такой ходъ выработки подпостоянныхъ, какъ то и очевидно, скорѣе приведетъ къ установленію постоянной, чѣмъ неразумное охраненіе подлежащихъ выключенію компонентовъ. Во всякомъ случаѣ, указанный выше процессъ выработки постоянныхъ надо отнести къ функціи пространства и времени.

Изъ предшествовавшаго явствуетъ, что значеніе подпостоянныхъ опредѣляется ихъ подготовительною ролью въ процессѣ выработки постоянной. Къ этому моменту тяготѣетъ, конечно, всякая выработка міровоззрѣнія, и въ этомъ смыслѣ, все, до сихъ поръ разсматривавшееся, имѣетъ подготовительное по отношенію къ установленію постоянной значеніе.

Имѣя передъ глазами это значеніе, не трудно видѣть, что понятіе рода, вида, класса, могло образоваться въ качествѣ E только въ силу повторности извѣстнаго конечнаго состоянія C, обусловляемаго повторностью соотвѣтственной части обстановки R. Это многократно-полагаемое конечно состояніе, которое для краткости мы будемъ разумѣть подъ терминомъ «многократная», можетъ, очевидно, относиться и къ повторности независимыхъ измѣненій системы C, относясь въ томъ и другомъ случаѣ къ группамъ различной степени общности. Понятно также, что и она неизбѣжно варіируетъ, и что постановка ея для извѣстнаго времени не означаетъ еще годности ея для всякаго времени. Это не препятствуетъ намъ, конечно, мыслить такое конечное состояніе системы C, которому придана извѣстная опредѣленность, допускающая возможность его установимости не только для той или этой составной части обстановки, но и для всякой, какой бы то ни было. Такое состояніе получаетъ названіе *многократной мыслимо-высшаго порядка*.

Значеніе E такого состоянія C будетъ, очевидно, отвѣтъ на вопросъ: «то такое все?» высказанный въ формѣ: «все есть то-то». Такимъ отвѣтомъ данный индивидъ достигаетъ въ пре-

дѣлахъ своей системы C такого конечнаго состоянія, которое считается равномѣрно-установленнымъ для «всего», т.-е. для всей совокупности R. Благодаря найденному имъ *самому общему понятію*, индивидъ этотъ долженъ быть въ состояніи, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не можетъ сказать, *что*, именно, такое есть встрѣченное имъ «неизвѣстное», описать это «неизвѣстное» согласно общимъ его признакамъ.

Если содержаніе E, о которомъ идетъ рѣчь, т.-е. содержаніе «понятія міра» въ исторіи человѣческаго развитія и не достигло въ высказываніяхъ требуемой чистоты, то все же распространеніе изслѣдованія и на него допускается уже потому, что образованіе совершенныхъ постоянныхъ путемъ логической послѣдовательности исходитъ отъ всего предшествовавшаго изслѣдованія, и еще и потому, что дальнѣйшія измѣненія, какъ исторически-осуществимыя для будущаго, все же таки мыслимы.

Въ процессѣ выработки постоянной мы остановились на установленіи понятія многократной мыслимо-высшаго порядка. Эта многократная, какъ то и было выяснено, обладаетъ мыслимо-наибольшимъ объемомъ, но лишена еще мыслимо-наибольшей устойчивости, а потому ее и слѣдуетъ признать лишь подпостоянной. Она должна пройти еще процессъ приближенія къ совершенной постоянной, освободиться отъ присущихъ ей индивидуальныхъ признаковъ и подвергнуться воздѣйствію конгрегальныхъ вліяній. Только этимъ путемъ выработается ея всеобщая установимость.

Припомнивъ сказанное выше о роли и значеніи наичаще повторяющихся (конечныхъ состояній), мы придемъ къ убѣжденію, что установившіяся въ историческомъ процессѣ индивидуальныя многократныя мыслимо-высшаго порядка должны считаться нами идіосиндемами, слагающимися изъ двухъ компонентовъ: во-первыхъ, изъ конечнаго состоянія, обосновывающимся на помощи повторяющихся обоихъ разрядовъ (b_c и b_r) и, сверхъ того, извѣстныхъ измѣненій, не обусловленныхъ b_c и b_r.

Обозначивъ постояннаго компонента черезъ a, а остальные компоненты черезъ α и представляя затѣмъ приближеніе многократной къ совершенной постоянной, мы должны будемъ признать, что это приближеніе мыслится лишь какъ уменьшенія α.

Итакъ, чтобы исторически-развившіяся индивидуальныя многократныя могли стать «всеобщими понятіями» неограниченной установимости, необходимо, чтобы «побочныя понятія», обозна-

ченныя черезъ α, были уменьшены, и затѣмъ и окончательно выключены. При осуществленіи этого требованія получится «понятіе міра», отвѣчающее совершенной постоянной.

Сдѣлаемъ теперь обозрѣніе тѣхъ *рядовъ*, въ которые могутъ построиться всѣ мыслимыя многократныя.

Всѣ мыслимыя многократныя, различающіяся одна отъ другой лишь только различными значеніями α, согласно ходу уменьшенія этой α, могутъ образовать, во-первыхъ, *логическій* рядъ, въ которомъ первый членъ будетъ представлять максимумъ, а послѣдній минимумъ α, во-вторыхъ, *историческій* рядъ, члены котораго располагаются, согласно послѣдовательности ихъ установленія во времени, и, въ третьихъ, *критическій* рядъ, члены котораго представляютъ послѣдовательный ходъ дѣйствительно совершившихся уменьшеній α. Рядъ этотъ, какъ то и очевидно, составится изъ совпадающихъ членовъ 1-го и 2-го рядовъ, представляя дѣйствительное приближеніе многократной къ совершенной постоянной.

Значеніе этихъ рядовъ для исторіи философіи слишкомъ явно, чтобы о немъ распространяться. Нечего добавлять также, что такую исторію философіи, въ основаніе которой легли бы указанные ряды, предстоитъ еще осуществить въ будущемъ.

Тѣ очерки и намеки, которые можно было дать въ сжатомъ, частью черезчуръ, можетъ быть, сжатомъ изложеніи, неизбѣжномъ въ журнальной статьѣ, задающейся такаго рода темою, даютъ, какъ я то хорошо понимаю, слишкомъ отрывочное, бѣглое и неполное изложеніе даже и тѣхъ воззрѣній «Критики», которыхъ они касаются. Если же мнѣ удалось только возбудить интересъ къ эмпиріокритической философіи, то я ужъ буду считать цѣль мою достигнутою. Я покушаюсь надѣяться, что читатель, прослѣдившій за аргументаціей моей статьи, убѣдится въ томъ, что не имѣть понятія о воззрѣніяхъ Авенаріуса въ настоящее время, по меньшей мѣрѣ, неудобно, а игнорировать или же замалчивать ихъ просто таки позорно. Я полагаю поэтому, что интересующіеся философіей и предпочитающіе ее тому празднословію, которое сплошь и рядомъ присвоиваетъ себѣ ея имя, попытаются ознакомиться съ нею непосредственно по сбчиненіямъ самого Авенаріуса. Не сдѣлавъ этого, придется остаться безъ главнаго наслѣдія нашего вѣка и перейти въ наступающее XX столѣтіе, пожалуй, съ однимъ только нищенскимъ богажемъ, такъ называемыхъ, «глубокихъ философовъ».

ФИЛОСОФСКІЯ ВОЗЗРѢНІЯ ОГЮСТА КОНТА.

(По поводу столѣтняго юбилея).

Отдѣльное разсмотрѣніе *философскихъ* воззрѣній Ог. Конта самимъ отграниченіемъ темы опредѣляетъ характеръ предстоящей задачи. Если общая совокупность воззрѣній Ог. Конта остается безъ разсмотрѣнія, то тѣмъ самымъ устраняется изъ круга изслѣдованія все то, что относится къ *біографіи* Конта, все то, что можетъ служить для установленія *психологическаго единства* его міровоззрѣнія. Отдѣльное разсмотрѣніе философскихъ воззрѣній Конта неизбѣжно выходитъ за предѣлы его біографіи и принимаетъ *историческій* характеръ; оно приводитъ ко включенію философскихъ воззрѣній Конта въ рядъ *научно-философскихъ* воззрѣній нашего вѣка, какъ части соотносительнаго цѣлаго, и для критической оцѣнки этихъ воззрѣній требуетъ разъисканія одного лишь *методологическаго* ихъ *единства*.

Философскія воззрѣнія Ог. Конта излагались у насъ такое многое множество разъ, что я считаю себя вправѣ отнестись къ нимъ, какъ къ общеизвѣстнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, «законъ трехъ состояній», раздѣленіе наукъ на «абстрактныя» и «конкретныя», линейный «іерархическій» рядъ «классификаціи наукъ», — все это пользуется у насъ большою популярностью. Я не стану поэтому тратить время на изложеніе основоначалъ Контовой философіи, а прямо приступлю сперва къ установленію правильности выдѣленія философскихъ воззрѣній изъ общей совокупности положеній, образующихъ доктрину Ог. Конта, иначе говоря,—къ констатированію отсутствія методологическаго единства этихъ послѣднихъ, а затѣмъ займусь и самыми философскими воззрѣніями.

Итакъ, первымъ вопросомъ, подлежащимъ нашему разсмотрѣнію, является вопросъ о томъ, какъ понималъ самъ Контъ значеніе метологическаго единства своей системы.

«Цѣль этого курса», говоритъ онъ, «заключается вовсе не въ томъ, чтобы представить всѣ естественныя явленія тождественными помимо разнообразія обстоятельствъ. Позитивная философія стала бы, конечно, совершеннѣе, если бы это было возможно, но условіе это вовсе не является необходимостью, ни для ея систематическаго уклада, ни для осуществленія великихъ и счастливыхъ послѣдствій, долженствующихъ изъ нея проистечь. Для всего этого нѣтъ надобности въ другомъ единствѣ, какъ *только въ единствѣ метода*,—единствѣ, которое *можетъ* и, очевидно, *должно* существовать, и которое большею частью уже и установлено. Что же касается до ученія, то нѣтъ надобности, чтобы и оно было едино; довольно и того, что оно будетъ *однородно*. Вотъ съ этой-то двойной точки зрѣнія *единства метода* и *однородности ученія* мы и разсматриваемъ въ этомъ курсѣ различные отдѣлы позитивныхъ теорій». (Cours I. 1). Контъ остался вѣренъ этому взгляду вплоть до конца «курса» и въ заключительной главѣ его, говоря о научномъ и логическомъ единствѣ позитивныхъ воззрѣній, какъ дѣлѣ будущаго, настаиваетъ на «*позитивности*» какъ самыхъ низшихъ, такъ и самыхъ высшихъ *понятій, изъ которыхъ слагается его философія*, и самымъ рѣшительнымъ образомъ *отвергаетъ* и *малѣйшую даже примѣсь* къ нимъ какой бы то ни было *философіи* съ его философіей *неоднородной*. Онъ говоритъ затѣмъ о конечномъ обновленіи человѣческаго разума, усматривая это обновленіе въ рѣшительномъ *преобладаніи разума надъ воображеніемъ*, и утверждаетъ, что при этомъ условіи знаніе наше получитъ характеръ *чистой относительности*. Это чисто-относительное знаніе въ связи съ преобладающимъ значеніемъ общественной точки зрѣнія установитъ по отношенію къ дѣйствительности, абсолютное раскрытіе которой никогда не совершится, *рядъ приближеній*, настолько удовлетворительныхъ, насколько то окажется возможнымъ въ каждую данную эпоху человѣческой эволюціи. (Cours, VI, LIX).

Изъ этого видно, что краеугольнымъ камнемъ всей системы является *единство метода*, на немъ строится *однородность ученія*, для которой единство даже и не представляется необходимымъ или обязательнымъ.

Избирая кратчайшій путь для уясненія вопроса о томъ,

было ли Контомъ осуществлено единство метода и удалось ли ему сохранить однородность ученія, я обращаюсь къ его взгляду на роль гипотезъ въ позитивной философіи. Взглядъ этотъ, какъ-то само по себѣ и очевидно, долженъ отличаться чрезвычайною осторожностью. Ничего вѣдь не можетъ быть легче, какъ создать фиктивное единство ученія упущеніемъ изъ виду нарушенія въ единствѣ метода. Нѣтъ мѣры той осмотрительности, которою долженъ тутъ быть гарантированъ каждый шагъ, каждое движеніе.

И въ самомъ дѣлѣ, пока Контъ остается истинно позитивнымъ философомъ, онъ строго блюдетъ всевозможную осмотрительность. Въ теченіе этого періода онъ усматриваетъ значеніе гипотезъ въ томъ, что онѣ являются упрежденіемъ результатовъ научнаго изслѣдованія и представляются лишь гадательными предположеніями. Въ этомъ смыслѣ Контъ считаетъ ихъ обходомъ затрудненія и средствомъ значительнаго ускоренія хода изслѣдованія. «Пользованіе этимъ могущественнымъ искусственнымъ средствомъ, говоритъ онъ, должно быть, однако же, всегда подчинено тому основному условію, несоблюденіе котораго могло бы, напротивъ того, замедлить развитіе нашихъ познаній. Это условіе, подвергавшееся до сихъ поръ лишь неопредѣленному обслѣдованію, заключается въ допущеніи *однихъ только такихъ гипотезъ*, которыя по природѣ своей *способны къ положительной провѣркѣ*, хотя болѣе или менѣе и отдаленной, но во всякомъ случаѣ неизбѣжной, и которыя степенью своей точности всегда строго гармонируютъ съ предъявляемымъ соотвѣтствующими изслѣдованіями требованіемъ». Отступленіе отъ этого условія могло бы, по мнѣнію Конта, вывести гипотезы изъ истинно-научной области и сдѣлать ихъ *вредными*. «Всѣ добропорядочные умы признаютъ въ настоящее время, говоритъ онъ, что дѣйствительное изученіе природы строго ограничивается изслѣдованіемъ явленій въ видахъ открытія дѣйственныхъ законовъ ихъ, т.-е. постоянныхъ соотношеній ихъ сосуществованія и сходства и, что изслѣдованіе это никакъ не можетъ относиться ко внутренней природѣ явленій,—къ ихъ первой или конечной причинѣ, или же къ ихъ происхожденію. Не могутъ же чисто-произвольныя предположенія (т.-е. гипотезы) получить большее значеніе! Такимъ образомъ, всякая гипотеза, остающаяся въ этихъ границахъ и поэтому подлежащая обсужденію, ни въ какомъ случаѣ не должна относиться къ происхожденію

явленій, а имѣть въ виду одни лишь заправляющіе ими законы». (Cours, II, XXVIII).

Переходя теперь ко второй части дѣятельности Ог. Конта, мы обратимъ прежде всего вниманіе на то, въ какой мѣрѣ «осуществленіе великихъ и счастливыхъ послѣдствій», долженствовавшихъ проистечь отъ философскихъ воззрѣній Конта, дѣйствительно проистекло изъ нихъ и въ какой мѣрѣ оправдалось руководительное убѣжденіе первой части о *единствѣ* метода,— единствѣ, которое можетъ и должно существовать независимо отъ единства ученія, долженствующаго быть лишь только *однороднымъ*. Слѣдя за осуществленіемъ этихъ тезисовъ, мы увидимъ—удалось ли Конту возвести къ *позитивности*, понятіе которой было ясно и прочно установлено въ первой части, положенія второй части, а вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшимъ—является ли эта часть тѣмъ дѣйствительнымъ *обновленіемъ*, въ которомъ нельзя констатировать и *малѣйшей даже примѣси философіи* съ позитивною философіею *не однородной*.

Сравнивая то, что было написано Контомъ послѣ 45-го года, съ тѣмъ, что было написано имъ ранѣе, нельзя не быть пораженнымъ—не говорю несходствомъ, несогласіемъ, дисгармоніей,— нѣтъ, *контрастомъ* между произведеніями этихъ двухъ періодовъ. И если—какъ это всегда и признавалось, начиная съ Литтре и Милля вплоть да нашего времени—позднѣйшія произведенія Конта и содержатъ въ себѣ нѣчто, представляющее отблескъ позитивной философіи, то нельзя не видѣть, что центръ тяжести всей системы рѣшительно перемѣстился и, что уже *не методъ*, *а ученіе* представляется преобладающимъ и господствующимъ. Болѣе того, методъ пожертвованъ ученію, являющемуся выработаннымъ, установленнымъ и авторитетно санкціонированнымъ *вопреки* прежнему, *позитивному* методу и въ силу метода новаго, ничего общаго съ прежнимъ, позитивнымъ, научнымъ методомъ не имѣющаго.

И въ самомъ дѣлѣ, теперь уже дѣло не идетъ о подчиненіи воображенія разуму, а, напротивъ того, разумъ подчиняется воображенію и «продолжительному возмущенію разума противъ сердца» полагается конецъ. Итакъ, подобно тому, какъ въ «доброе» старое время, философія была служанкой потребностей сердца, вдохновлявшагося традиціей, такъ и теперь она вновь вступаетъ въ эту роль, отличающуюся отъ прежней только тѣмъ, что традиція оказывается замѣщенною настроеніемъ са-

мого Конта, являющагося въ роли первосвященника человѣчества.

Пробнымъ камнемъ новой фазы опять таки является теорія гипотезъ, такъ какъ въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражается нарушеніе единства метода, пріобрѣтенное цѣною фиктивнаго единства ученія. Въ новомъ взглядѣ на гипотезы мы хотя и встрѣчаемъ прежнее положеніе, что гипотезы-де вырабатываются согласно съ совокупностью пріобрѣтенныхъ ранѣе знаній, но положеніе это, утопая въ массѣ другихъ, принципіально его отвергающихъ, превращается въ пустую, ничего не значущую, фразу. И дѣйствительно, теперь намъ уже говорятъ, что «изложеніе вовсе не нуждается непремѣнно въ абсолютной точности», что «разуму, въ видахъ удовлетворенія его склонностей, слѣдуетъ предоставить извѣстную свободу», что «истинно-характеристическое обобщеніе получается лишь съ помощью отвлеченія, болѣе или менѣе разрушающаго реальность воспріятій». Такимъ образомъ, придавая зеркалу, отражающему дѣйствительность, пагубную для него кривизну, Контъ не только не смущается ея послѣдствіями, но санкціонируетъ ихъ. Онъ утверждаетъ, что «истина должна быть достигнута лишь постольку, поскольку она удовлетворяетъ нашимъ потребностямъ, и что затѣмъ намъ остается извѣстная теоретическая *свобода*, которою мы и будемъ безбоязненно пользоваться въ цѣляхъ *украшенія* нашихъ научныхъ понятій и приданія имъ такимъ образомъ наибольшей полезности». Это реагированіе прекраснаго на истинное особенно важно, по мнѣнію Конта, для высшихъ научныхъ положеній, прямо относящихся къ человѣчеству (Pol. pos. I, p. 301). Изъ всего этого видно, что гипотеза у Конта незамѣтно перешла въ правомѣрный методъ и сознательно поспособствовала извращенію ученія. О какихъ же аргументахъ, доводахъ и доказательствахъ можетъ быть рѣчь, когда «указаніе на необходимость доказательствъ представляется для Конта лишь *возмущеніемъ живыхъ противъ умершихъ*». Но не очевидно ли, что если бы и умершіе, въ свое время, разсуждали точно такимъ же образомъ, то кто же и когда сломилъ бы молчанія печать? Удѣломъ человѣчества давно стало бы такимъ образомъ безмолвіе Нирваны.

Разъ гипотеза потеряла считавшуюся ранѣе неотъемлемою провѣряемость и стала источникомъ скрашиванья научныхъ положеній, приспособляемыхъ къ служенію потребностямъ сердца,—вся система смѣщается съ прежняго пути и весь укладъ

ея извращается до полной неузнаваемости. Методъ перестаетъ уже сдерживать воображеніе и прилаживается къ произвольной игрѣ его, узурпирующей мѣсто, отведенное возведенному къ «позитивности» «ученію», и вся система въ концѣ концовъ совершенно измѣняетъ свою физіономію. Самъ Контъ, впрочемъ, и не скрываетъ этой эволюціи, а сознательно способствуетъ ей переработкою прежнихъ положеній въ новыя и тщательнымъ выполненіемъ всѣхъ пробѣловъ, считавшихся, въ первомъ періодѣ его дѣятельности, и неизбѣжными, и предохранительными по отношенію къ «неоднороднымъ» примѣсямъ. Такой процессъ Контъ называетъ *устраненіемъ изъ науки ея сухости* и ассоціированіемъ ея съ чувствомъ. «Необходимо», говоритъ онъ, «усовершенствовать наше единство посредствомъ пополненія *научныхъ понятій поэтическими вымыслами* и развитіемъ симпатичныхъ эмоцій и эстетическихъ вдохновеній». Мало того, «необходимо, чтобы область вымысловъ стала столь же систематична, какъ и область доказательствъ, такъ чтобы ихъ взаимная гармонія оказалась сообразною ихъ соотносительнымъ назначеніямъ, одинаково направленнымъ къ подъему личнаго и общественнаго единства».

Рядъ установленій, опирающихся на всѣ эти ниспровергающія основы первой части положенія, слишкомъ длиненъ для полнаго перечисленія всѣхъ его отдѣльныхъ частей. Начиная со «включенія» фетишизма въ систему позитивной философіи, присвоенія людямъ науки званія жрецовъ и возведенія ихъ вмѣстѣ съ банкирами до самой высшей ступени общественнаго строя, вплоть до, такъ называемой, «мозговой гигіены», не допускающей чтенія сочиненій Лукреція, Лукіана, Рабле, Шиллера, Шелли, урѣзывающей Шекспира, Гете и Байрона (изъ сочиненій котораго совсѣмъ выключается «Донъ-Жуанъ») и навязывающая чтеніе сочиненій Ѳомы Кемпійскаго, Шатобріана, Босюэта, «Макробіотики» Гуфланда и «Трактата о папѣ» де-Мэстра, не говоря уже о восхваленіи охранительныхъ мѣръ противъ ввоза въ Россію иностранныхъ книгъ,—все тутъ рѣзко и ярко отвергаетъ тѣ высшіе интересы человѣчества, пути къ познанію которыхъ были выработаны и выяснены въ «Курсѣ позитивной философіи». Если въ немъ Контъ скромно и съ достоинствомъ заявлялъ, что «неисполнимое для отдѣльнаго ума и отдѣльной жизни можетъ однако быть предъявлено отдѣльною личностью какъ ясное предложеніе»; то въ позднѣйшее время

онъ ужъ не предъявлялъ предложеній, а, опираясь на приписываемую себѣ духовную власть, декретировалъ поставленные внѣ критики и совершенно непререкаемые догматы, такъ же какъ и внушаемыя гипертрофіей его жреческаго самосознанія санкціи, въ родѣ, напримѣръ, той, которою онъ увѣнчалъ совершонный Наполеономъ III знаменитый декабрьскій переворотъ. Если эта санкція и есть въ самомъ дѣлѣ послѣднее слово позитивной философіи, то самъ собою возникаетъ вопросъ о томъ, въ чемъ же слѣдуетъ намъ видѣть связующее звено между высшими интересами человѣчества и принципами этики героя знаменитаго coup d'état?

Тщетно станемъ мы искать отвѣта на этотъ роковой вопросъ! Распаденіе позитивной системы на двѣ части, недопускающія ихъ методологическаго объединенія, до такой степени очевидно, что противъ него никогда и не было выставлено никакихъ серьезныхъ возраженій. И въ самомъ дѣлѣ, споры имѣютъ почву лишь по вопросу о единствѣ *психологическомъ*, т.-е. возникаютъ лишь тогда, когда разсмотрѣніе философскихъ воззрѣній Конта переносится въ область его біографіи. Что же касается единства *методологическаго*, то его поддерживаютъ одни лишь «вѣрующіе» въ первосвященническую миссію Конта ученики его, эти особаго рода «позитивисты», заслуги которыхъ относятся въ большей степени къ мѣрамъ сохраненія квартиры и вещей Конта, нежели къ развитію его ученія, да, кромѣ ихъ, еще тоже особаго рода біографъ Конта, іезуитскій патеръ Германъ Груберъ, прилагающій все свое стараніе для установленія связи между обѣими частями системы Конта для вящшаго подавленія значенія первой посредствомъ второй. Груберъ можетъ, пожалуй, лелѣять и ту еще мечту, что всѣ мистическія дорожки ведутъ непзбѣжно въ Римъ; но стороннему наблюдателю, чуждому предвзятыхъ мнѣній и традиціонныхъ мечтаній, представляется полная возможность подойти къ философскимъ воззрѣніямъ Конта прямымъ путемъ, минуя какъ прекраснодушіе контовскихъ фамулусовъ, такъ и двоедушіе «себѣ на умѣ» біографа. Мало того, не можетъ подлежать сомнѣнію и полная возможность не останавливаться и передъ мнѣніемъ Льюиса, указывающаго въ «Курсѣ позитивной философіи» такія черты, которыя можно разсматривать какъ предвѣстники окончательно сложившагося потомъ характера «Позитивной политики» и др. позднѣйшихъ сочиненій, которыя — замѣтимъ при этомъ — са-

мимъ Льюисомъ отвергаются. Мы можемъ обойти мнѣніе Льюиса, говорю я, потому, что мнѣніе это имѣетъ во всякомъ случаѣ лишь біографическое значеніе. Разъ Контъ провозгласилъ, что позитивная философія обосновывается *на наукѣ*, онъ привлекъ къ качествѣ краеугольнаго камня всего воздвигнутаго имъ зданія такой элементъ, который находится совершенно внѣ сферы его вліянія и воздѣйствія, который стоитъ выше его собственныхъ личныхъ взглядовъ, сужденій и вкусовъ и различеніе котораго отъ этихъ взглядовъ, сужденій и вкусовъ не представляетъ никакого затрудненія. Поэтому, когда мы противополагаемъ вторую часть дѣятельности Конта, исключительно складывающуюся изъ личныхъ взглядовъ, сужденій и вкусовъ, первой, то мы противополагаемъ ее не проблескамъ этихъ же составныхъ ея элементовъ, тамъ-сямъ испещряющихъ позитивную философію, а тому именно основному фонду, который имѣетъ значеніе наслѣдія опыта всей умственной жизни человѣчества, а не проявленія исчезающихъ въ массѣ цѣлаго мелкихъ подробностей.

Теперь, для завершенія этой части моего разсужденія, мнѣ остается только поставить вопросъ: какое значеніе могутъ имѣть для моей аргументаціи ссылки на біографическія данныя? Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что всѣ вообще подлежащія оцѣнкѣ произведенія гораздо чаще приходится разсматривать внѣ всякой связи съ біографическимъ матеріаломъ, чѣмъ въ большей или меньшей связи съ нимъ. Біографическій матеріалъ очень часто чрезвычайно скуденъ и очень часто совсѣмъ отсутствуетъ. Уже вокругъ именъ XVII столѣтія царитъ глубокая тьма; восходя же далѣе, встрѣчаютъ однѣ только даты рожденія и смерти, а еще далѣе — не встрѣчаются и эти указанія. Такимъ образомъ, сведеніе продуктовъ умственной дѣятельности къ индивидуальностямъ творящихъ личностей оказывается возможнымъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и всего чаще приходится обходиться вовсе безъ нихъ. Кромѣ того, случается, что сами авторы принимаютъ мѣры къ сведенію на минимумъ относящагося до нихъ біографическаго матеріала. Заботы Джорджъ Элліотъ въ этомъ направленіи шли такъ далеко, что «не было бы ничего удивительнаго»—какъ замѣтилъ по этому поводу Джонъ Морлей—если бъ мы встрѣтили у нея желаніе ограничить біографическій матеріалъ только одними своими сочиненіями (Critical Misce lanies by John Morley. 1886, vol. III, p. 94). Все это на-

водитъ на мысль, что и оцѣнка произведеній Конта можетъ ничего не проиграть отъ выключенія біографическаго матеріала изъ числа данныхъ, которыми намъ предстоитъ пользоваться. И въ самомъ дѣлѣ, какое значеніе для этой оцѣнки можетъ получить сведеніе отсутствія методологическаго единства въ общей совокупности воззрѣній Конта на тотъ или другой психологическій моментъ? Что изъ того, что Вентигъ, напримѣръ, укажетъ намъ на присущее всѣмъ вообще психологическимъ крайностямъ стремленіе нейтрализоваться путемъ перехода изъ одной въ другую? Какое пріобрѣтеніе получимъ мы отъ заявленія Дюринга о возрожденіи у Конта аффектовъ ранней поры его жизни? И не болѣе ли дастъ намъ и Милль, видящій причину перемѣны умонастроенія Конта въ ослабленіи его умственныхъ способностей, или Литтре и Эрданъ, усматривающіе у него душевную болѣзнь, или, наконецъ, Ломброзо, указывающій даже специфическія формы этой болѣзни—манію величія и нравственное помѣшательство [1]). Все это подлежитъ разсмотрѣнію біографовъ; для моей же задачи, такіе вторичные моменты, появляющіеся на сцену *послѣ* прямой и непосредственной оцѣнки подлежавшихъ обсужденію данныхъ, лишены значенія. Мы можемъ даже счесть ихъ къ рѣшенію нашего вопроса и вовсе не относящимися, такъ какъ мнѣ представляется совершенно излишнимъ вводить это рѣшеніе въ связь съ шаткими и спорными мнѣніями біографовъ. Я не нахожу притомъ никакой надобности выжидать, пока біографы разберутся среди нагроможденныхъ передъ ними противорѣчій и предпочтутъ, напримѣръ, судебно-медицинскія свидѣтельства одной стороны прямо имъ противорѣчащимъ свидѣтельствамъ другой. Я еще менѣе склоненъ упреждать рѣшеніе, которое, быть можетъ, никогда не наступитъ. Въ данный же моментъ, попытка, поставившая себѣ цѣлью уяснить этотъ вопросъ, только и совершила, что поспособствовала его затемнѣнію. Противникъ мнѣнія Литтре—г. Дюма—помѣстилъ въ «Revue philosophique» за

---

[1]) См. August Comte und seine Bedeutung für die Entwicklung der Socialwissenschaft. Von Dr. *Heinrich Waentig*. 1894.—*E. Dühring*. Kritiche Geschichte der Nationalökonomie und des Socialismus. 1875.—*E. Littrè*. Auguste Compte et la philosophie positive. 1865.—*A. Erdan*. La France Mystique. 1858.—*J. Stuart Mill*. August Comte and positivism. 1865.—*C. Lombroso*. L'uomo di genio in rapporte alla psichiatria etc. 1888.

нынѣшній годъ статью, въ которой онъ старается реабилитировать память Конта отъ нареканій Литтре и усиливается доказать, что хотя самъ Контъ и говоритъ о трехъ, пережитыхъ имъ кризисахъ, но на самомъ дѣлѣ это безразличное пользованіе однимъ и тѣмъ же терминомъ не означаетъ еще однородности соотносительныхъ фактовъ. На самомъ дѣлѣ, послѣдній кризисъ былъ, по увѣренію Дюма, «кризисомъ любви» (une crise d'amour) и такимъ и остался, не переходя ни въ какую психопатологическую форму. Если мы и допустимъ, что ясность біографіи Конта выиграла отъ толкованія кризисовъ въ статьѣ Дюма, то намъ придется еще остановиться надъ вопросомъ о томъ, много ли выиграла память Конта отъ той картины его умственнаго состоянія, которую рисуетъ Дюма. Въ самомъ дѣлѣ, давая отчетъ объ эпизодѣ, содержаніемъ котораго является «кризисъ любви», Дюма представляетъ виновницу этого кризиса, Клотильду де-Во воплощеніемъ такого умственнаго убожества и такой безталантливости, что непомѣрныя восхваленія, расточаемыя по ея адресу Контомъ, неизбѣжно получаютъ крайне удручительное для памяти Конта значеніе. Дюма представляетъ г-жу де-Во безталантливой писательницей, занимавшейся литературою съ большею долею охоты, нежели успѣха, писавшей лишенныя интереса и значенія повѣсти и сокрушительно глупыя стихотворенія (quelques vers... d'une désolante niaiserie). И вотъ, эта-то самая Клотильда де-Во является подъ перомъ Конта «способною усваивать по своему самыя возвышенныя общественныя понятія», создательницей чудныхъ строфъ, сладости которыхъ позавидовалъ бы Петрарка, талантомъ разнообразнымъ и гибкимъ, призваннымъ къ высшимъ проявленіямъ (Pol. pos. I, pp. XI, XII). Припомнивъ все это, мы должны будемъ признать, что краски Дюма блещутъ такою яркостью, о которой Литтре никогда и не помышлялъ. Были ли повѣсти г-жи де-Во лишены значенія и интереса, были ли стихотворенія ея сокрушительно-глупы, или же тѣ и другія таковы, какими представляетъ ихъ Контъ,—обо всемъ этомъ Литтре не упоминаетъ вовсе. Усердіе г-на Дюма едва-ли не перешло мѣры!

Итакъ, оставляя сведеніе установленной мною въ общей совокупности воззрѣній Конта двойственности на тѣ или иные психологическіе мотивы попеченію біографовъ, я закончу выясненіе вопроса объ этой двойственности замѣчаніемъ Бельфорта Бэкса, дорисовывающимъ очерченное выше историческое поло-

женіе Конта. «Двойственность міровоззрѣнія Конта», говоритъ Бэксъ, «столь же очевидна, какъ и неизбѣжна. Она является результатомъ той половинчатости, которая вообще свойственна продуктамъ умственной дѣятельности всякаго переходнаго времени. Продукты эти представляютъ недостаточное усвоеніе новаго принципа и являются какою-то помѣсью старины и новизны, вымирающаго и нарождающагося». (*E. Belfort Bax.* A. Handbook of the History of Philosophy. 1886. p. 376).

Покончивъ съ вопросомъ о правомѣрности устраненія изъ области, подлежащей моему разсмотрѣнію, всей второй части общей совокупности воззрѣній Конта, я получаю возможность сосредоточиться теперь на той части, которая, согласно только что приведенному заключенію Бэкса, представляетъ собою новый нарождающійся принципъ. Представляя этотъ принципъ, какъ это дѣлаетъ и Бэксъ, продуктомъ времени, я тѣмъ самымъ ставлю вопросъ о тѣхъ элементахъ, среди которыхъ возникло представляемое позитивизмомъ новообразованіе въ области мысли, и ближайшею своею задачею ставлю разсмотрѣніе тѣхъ условій, которыя своимъ положительнымъ или отрицательнымъ отношеніемъ къ новому принципу такъ или иначе вліяли на его возникновеніе и формированіе.

Начнемъ съ указанія на тѣ отношенія, въ которыхъ стали къ позитивизму современники Конта.

За выдѣленіемъ крайне малочисленной группы ученыхъ, могшихъ явиться компетентными цѣнителями новой системы, вся остальная масса ученыхъ и философовъ оставалась позитивизму совершенно чуждою. Самъ Контъ считалъ возможнымъ разсчитывать не болѣе какъ на пятьдесятъ читателей во всей образованной Европѣ. На самомъ дѣлѣ, ихъ, по всей вѣроятности, было еще менѣе. По именамъ извѣстны и совсѣмъ ужъ немногіе: Пуансо, Фурье (математики), Дюнуайе, Бруссэ, Эскироль, Карно, — во Франціи; Ал. Гумбольдтъ—въ Германіи; Дж. Ст. Милль, Брустеръ — въ Англіи. Большинство — либо игнорировало позитивизмъ, либо относилось къ нему враждебно.

Бросимъ бѣглый взглядъ на основныя черты характера міросозерцанія этого большинства.

Во Франціи, эклектизмъ, представляя полярную противоположность новому ученію, и былъ душою той педантократіи, которая своимъ вліяніемъ дѣйствовала угнетающимъ образомъ не только на успѣхи новой философіи, но и на ея основателя.

Шаткая и путанная смѣсь несовмѣстимостей, поражающая прежде всего своею безхарактерностью и безцвѣтностью, вела борьбу противъ точно опредѣленной и ярко-характерной теоріи не на поприщѣ принциповъ, а при помощи пріемовъ житейской практики и темныхъ интригъ. Замалчиваніе между прочими средствами было и тогда не изъ послѣднихъ и уже умѣло быть систематическимъ. Что же касается самого эклектизма, то онъ обосновывался на томъ чисто произвольномъ мнѣніи, будто всѣ философскія системы, при неизбѣжно-присущей имъ неполнотѣ, содержатъ, однако же, въ себѣ извѣстную долю истины. Эклектики утверждали поэтому, что стоило только произвести отборъ этихъ истинъ и сложить ихъ вмѣстѣ, чтобы получить вполнѣ удовлетворительную философскую систему. Отборъ совершался, конечно, произвольно, и начало, руководившее имъ, мѣнялось нерѣдко; сама эклектическая система являлась поэтому произвольною и шаткою, но это нисколько не мѣшало ей, однако же, мнить себя на высотѣ положенія и удовлетворять потребностямъ умонастроенія того времени. Нѣкоторые адепты, соревнуя съ главою эклектизма Кузеномъ, самый терминъ «эклектизмъ» провозглашали великимъ и придавали ему универсальное значеніе, полагая при томъ же, что въ 42 году, т.-е. въ годъ выхода шестого тома «Курса позитивной философіи» Конта, процвѣтаніе эклектизма едва еще только начиналось и что все значеніе его пока еще обрѣталось въ будущемъ.

Въ Германіи дѣло стояло не лучше. Здѣсь уже съ самаго начала столѣтія начинается «нагроможденіе заблужденій до такой высоты, что они стали замѣтны даже и близорукимъ»; здѣсь самыя фантастическія догматическія системы слѣдовали одна за другой и всякое чувство мѣры было совершенно утрачено. Философы не затруднялись «выводить нѣчто изъ нуля, выдавать противорѣчивое за тождественное, замѣщать логическіе законы принципомъ tertii interventionis» и даже доходили до утвержденія, что-де «принудительная очевидность математическихъ истинъ должна считаться выраженіемъ проклятія, наложеннаго на падшее человѣчество». Эта и ей подобная «философская алхимія», какъ называетъ ее Риль, была тогда господствующею и ей ничего не стоило то передѣлывать по своему результаты научнаго изслѣдованія, то просто-напросто игнорировать ихъ и считать «упраздненными».

Очень живо и ярко изображаетъ это умонастроеніе Герценъ

послѣ семи лѣтъ своего пребыванія въ разныхъ странахъ западной Европы. «Трудно себѣ представить», говоритъ онъ, «въ какомъ безвыходномъ, запаянномъ наглухо кругѣ понятій бьется современный европейскій человѣкъ и какъ ему трудно достается, какъ его сбиваетъ съ толку, какъ ему становится ребромъ всякая мысль, неподходящая подъ заученныя имъ правила, подъ заготовленныя имъ рубрики. Рядовые литераторы и журнальные поденщики стоятъ на первомъ планѣ. У нихъ для ежедневнаго обихода есть запасъ мыслей, знаній, сужденій, негодованій, восторговъ и главное прилагательныхъ словъ, которыя у нихъ идутъ на все; ихъ по мѣрѣ надобности сокращаютъ, растягиваютъ, подкрашиваютъ въ ту или другую краску. Эта трафаретная работа необычайно облегчаетъ трудъ; ее можно продолжать во всякомъ расположеніи, съ головной болью, думая о своихъ дѣлахъ такъ, какъ старухи вяжутъ чулокъ. Но все это идетъ, пока дѣло вертится около знакомыхъ предметовъ. Новое событіе, неизвѣстный фактъ принимается, напротивъ, съ страшной злобой—какъ незванный гость, его стараются сначала не замѣчать, потомъ выпроводить за дверь, а если нельзя иначе, оклеветать».

Вотъ всей этой-то массѣ, путавшейся въ разнообразнѣйшихъ перекрашаніяхъ философскаго старья и противопоставилъ Контъ свое ученіе, бывшее дѣйствительно *новымъ*.

Терминъ «новый» имѣетъ, конечно, относительное значеніе, но если мы остановимся на Контовомъ же противопоставленіи теологическихъ и метафизическихъ элементовъ позитивнымъ, то дѣйствительное значеніе термина, *для насъ*, для настоящаго момента, окажется вполнѣ опредѣленнымъ. Самъ Контъ даетъ возможность отыскивать предшествующіе ему элементы позитивизма и опредѣлять его, сперва самопобудительное, а затѣмъ и все болѣе и болѣе приближающееся къ систематическому, развитіе. Итакъ, ново то, что противополагается метафизикѣ, представляющей «простое общее измѣненіе фикцій первобытнаго мышленія», что опирается на наблюденіе и ничего не ищетъ внѣ области опыта, что отрицаетъ мнимое, какъ то мы видимъ у Юма, что презираетъ безсодержательныя, пустыя понятія, какъ то мы встрѣчаемъ у Вольтера. Самую формулировку указываемаго сопоставленія мы можемъ считать тоже унаслѣдованною, такъ какъ она впервые была высказана Тюрго, которому принадлежитъ и первое слово о наукѣ объ обществѣ.

Извѣстная доля участія въ подготовительной выработкѣ идеи позитивизма принадлежитъ Кондорсэ, Бюрдену и, въ особенности Сенъ-Симону, а также и всѣмъ вообще поборникамъ научнаго познанія и установителямъ его преобладанія. Элементы позитивизма встрѣчаются и у современниковъ Конта, и не только у хранителей научно-философскихъ преданій въ Англіи, какъ то выяснилъ Дж. Ст. Милль, но и въ самой Франціи, какъ, напримѣръ, у извѣстнаго ученаго Ж. Б. Біо, имя котораго прошло безслѣдно для историковъ философіи, хотя его воззрѣнія и представляютъ глубоко-сознательныя, сильныя и яркія проявленія анти-метафизическаго построенія. Элементы позитивизма, какъ бы они ни были опредѣленны и характерны, продолжали оставаться разрозненными. Объединилъ ихъ впервые Контъ, и въ этомъ и заключается его заслуга и его роль въ исторіи развитія позитивизма. «Тысячи разработывали науку», говоритъ Льюисъ, «и хотя и имѣли при этомъ блестящій успѣхъ, никто, однако же, не далъ идеи той философіи, которая должна возникнуть изъ организаціи наукъ. Нѣкоторые видѣли необходимость распространенія научнаго метода на всѣ области изслѣдованія, но никто не видѣлъ, какимъ образомъ распространеніе это можетъ осуществиться... Позитивная философія нова какъ философія, а не какъ совокупность никогда ранѣе не предвидѣнныхъ истинъ. Ея новость заключается въ организаціи существовавшихъ ранѣе элементовъ. Ея истинный принципъ предполагаетъ поглощеніе всего того, что было совершено великими мыслителями; усваивая результаты ихъ работъ, она широко прилагала ихъ методъ. Матеріалъ позитивной философіи былъ Контомъ унаслѣдованъ; организація же этого матеріала была создана имъ самимъ» (G. H. Lewes. Geschichte der neueren Philosophie. 1876). Въ созданіи этой организаціи и заключается великая историческая заслуга О. Конта, такъ какъ именно ею проявляется та высокая творящая сила, которой во всякой эволюціи обязаны своимъ существованіемъ моменты новообразованій.

Всякое новообразованіе представляетъ собою то заключительное состояніе привходящихъ въ данную эволюцію элементовъ, которое устанавливается послѣ того, какъ всѣ стадіи колебаній, сопровождавшихъ процессъ уравновѣшенія этихъ элементовъ, будутъ пройдены и отойдутъ въ прошедшее. Новообразованіе, являясь окончательнымъ результатомъ этого процесса,

представляется именно тѣмъ его моментомъ, который можетъ стать исходной точкой новой эволюціи, будь то для того же самаго лица или же для другого. Я только что указалъ на такой моментъ у Конта, но мы знаемъ, что онъ былъ у Конта не заключительнымъ, а представлялъ исходную точку для перехода къ новому, характеризуемому мистико-догматическою доктриною послѣдняго фазиса умонастроенія Конта. Дальнѣйшая эволюція воззрѣній Конта ярко обрисовываетъ различіе указываемыхъ двухъ моментовъ и ее нельзя не отмѣтить при настоящемъ случаѣ. Тогда какъ то новообразованіе, которое имѣетъ своимъ выраженіемъ позитивную философію, послужило исходною точкою для великаго научно-философскаго движенія, наполняющаго собою всю вторую половину нашего вѣка;— второе, имѣющее для біографіи Конта въ высшей степени важное значеніе, представляется въ историческомъ отношеніи совершенно ничтожнымъ: будучи не болѣе какъ рядомъ повтореній воззрѣній Конта, послѣдующее прозябаніе мистико-догматической доктрины не отмѣчено своего рода новообразованіемъ, а потому и является однимъ лишь блѣднымъ спискомъ, интересъ котораго всегда уступалъ интересу, возбуждаемому оригиналомъ. Списокъ этотъ, какъ то и неизбѣжно, всегда оставался и до сихъ поръ остается въ тѣни.

То новообразованіе, которое вылилось у Конта въ форму позитивной философіи, и въ самомъ дѣлѣ стало исходною точкою для новой работы научно-философской мысли въ Европѣ, какъ только мысль эта въ среднемъ уровнѣ своего развитія поднялась настолько, что оказалась способною усвоить такую точку зрѣнія. Черезъ тридцать пять лѣтъ по выходѣ въ свѣтъ перваго тома «Курса» и черезъ двадцать три по выходѣ послѣдняго, Милль констатируетъ возбужденіе интереса къ позитивизму въ Англіи и на континентѣ. Онъ отмѣчаетъ, что теперь уже интересъ этотъ переступилъ границы кружка учениковъ Конта, въ средѣ которыхъ онъ былъ живъ и ранѣе, а выплылъ изъ глубины философіи на ея поверхность. Подымаясь съ тѣхъ поръ все выше и выше, значеніе позитивизма стало настолько виднымъ, вліяніе его настолько обширнымъ, что возникла цѣлая литература позитивизма, о позитивизмѣ и противъ позитивизма. Въ настоящее же время значеніе позитивизма стало высоко еще и потому, что возникшее и развившееся независимо отъ него научно-философское движеніе, занимая подобно

ему анти-метафизическое и опирающееся на науку положеніе, представляется, хотя и обошедшимъ его, все же таки близкимъ ему и родственнымъ. Послѣ Милля, Литтре и Твестена научное направленіе философіи выставило цѣлый рядъ такихъ именъ, какъ Лесли Стивенъ, Лестеръ Уордъ, Коттеръ Морисонъ, Эрнестъ Лаасъ, Алоизъ Риль и, наконецъ, глава эмпиріокритической школы Рихардъ Авенаріусъ. Можно сказать, что ростъ научной философіи былъ поразителенъ; рѣзко оттѣняя всѣ мистическія и метафизическія перемѣны вплоть до необуддизма включительно, онъ рѣшительно вскрывалъ роковую пустоту, скрываемую производимымъ ими шумомъ, и безнадежность ихъ усилій сдвинуться съ мертвой точки, вѣчно пребывать на которой они являются обреченными своими же собственными принципами.

Теперь мы можемъ перейти къ опредѣленію значенія позитивизма для позднѣйшаго времени.

Установленная Контомъ организація позитивныхъ элементовъ основывается, какъ извѣстно, на признаніи превосходства научнаго метода надъ теологическимъ и метафизическимъ, но она нисколько не предполагаетъ—какъ то иногда высказывалось—преувеличенной оцѣнки дѣйствительнаго состоянія научнаго знанія; напротивъ того, Контъ не теряетъ изъ виду и прямо высказываетъ убѣжденіе въ неудовлетворительности ихъ состоянія. Онъ находитъ, что научное знаніе и недостаточно проникнуто философіей, и слишкомъ спеціализировано. Онъ именно и устанавливаетъ его организацію для того, чтобы способствовать дальнѣйшимъ его успѣхамъ. Онъ утверждаетъ,что, страдая отсутствіемъ организаціи, знаніе неизбѣжно подвигается впередъ слишкомъ медленно и что настало время положить этому конецъ (Cours, VI, LIX; I, 1).

Рѣшивъ поэтому дать знанію новую организацію, Контъ разсчитывалъ на существенное вліяніе ея на весь ходъ дальнѣйшаго научнаго развитія.

Посмотримъ теперь, въ какой мѣрѣ осуществились эти разсчеты, т. е. въ какой мѣрѣ позитивизмъ оказался на уровнѣ послѣдующаго научно-философскаго развитія.

Начнемъ съ «закона трехъ состояній».

Оставляя безъ разсмотрѣнія соціологическое значеніе этого закона, какъ относящееся къ одной изъ отдѣльныхъ наукъ Контовскаго ряда, я остановлюсь только на имѣющемъ общее для всей системы значеніе его—значеніе гносеологическое.

Изъ формулировки «закона трехъ состояній» можно видѣть, что основной идеей этого закона является сведеніе наблюдаемыхъ явленій сперва на олицетворенія, затѣмъ—на объективированія понятій, и наконецъ на доступный наблюденію фактъ закономѣрности явленій, т. е. непзмѣнности отношеній послѣдовательности ихъ и сходства. Всякое сведеніе явленія на другое явленіе или же на предполагаемую внѣ области опыта сущность обыкновенно называется *пониманіемъ* этого явленія или—соотносительно—*объясненіемъ* его. Итакъ, «законъ трехъ состояній» есть законъ пониманія или объясненія явленій въ трехъ различныхъ формахъ умственнаго состоянія. Законъ этотъ показываетъ, что въ первыхъ двухъ фазисахъ, сводящихъ явленія на трансцендентныя сущности, знаніе ставится выше пониманія, *различается* отъ него, тогда какъ въ третьемъ фазисѣ возвышенность надъопытныхъ сущностей признается фиктивною и пониманіе опускается до уровня знанія, *перестаетъ различаться* отъ него. Уже въ первыхъ годахъ настоящаго столѣтія Біо указывалъ на это различное значеніе «объясненій» и выражалъ удивленіе къ благосклонности, съ которою публика относится къ мечтаніямъ кропателей системъ. (Sur l'esprit de systeme: Mercure de France. 1809. Перепеч. въ Mélanges scientifiques. 1858). Если же явленія могутъ быть сводимы на явленія же, а надъопытная область сущностей обращается въ міръ призраковъ, то надъопытныя сущности неизбѣжно обращаются въ примыслы,—въ бремя познанія, и обрекаются на устраненіе. Знаніе же, отъ подгнетности имъ освобожденное, вступаетъ, какъ то само собою и очевидно, на путь «чистаго опыта», понятіе котораго и представляетъ одно изъ основоположеній «научной», точнѣе «эмпиріократической» философіи.

Если понятіе «чистаго опыта» и остается въ философскихъ воззрѣніяхъ Конта нераскрытымъ, то нельзя не признать, что имплицитно оно присуще имъ: въ нихъ содержатся не только его предпосылки, но и одно изъ положеній, къ которому понятіе это приводитъ. Я разумѣю *отождествленіе философіи съ наукою*, опредѣленно высказанное Контомъ и совершенно неизбѣжное послѣ удаленія со сцены примысловъ, составляющихъ содержаніе метафизики. Пользованіе обоими терминами становится, по мнѣнію Ог. Конта, отнынѣ безразличнымъ.

Ставъ наукою, философія не можетъ имѣть и иного содержанія какъ только содержанія науки.—Это содержаніе можетъ

расчленяться весьма многоразлично, но общая его совокупность останется все та же, и, такъ какъ цѣлое никогда не можетъ стать частью самого себя, то ни при какомъ расчлененіи содержанія научной философіи не можетъ оказаться отдѣльной науки—*философіи*. И въ самомъ дѣлѣ, и классификація наукъ Конта, оставаясь послѣдовательною присущему ей принципу, философіи, какъ отдѣльной науки, въ себѣ не содержитъ. Такимъ образомъ, философія, переставъ быть метафизическою, потеряла всякую обособленность, она слилась съ наукою, растворилась въ ней и, потерявъ фиктивное содержаніе, не могла удержать фиктивной формы.

Послѣднимъ убѣжищемъ философіи, какъ отдѣльной науки, оставалось еще то мнѣніе, будто науки отличаются другъ отъ друга не столько объектомъ изслѣдованія, сколько той точкой зрѣнія, съ которой этотъ объектъ изслѣдуется; напримѣръ, человѣкъ можетъ быть объектомъ различныхъ наукъ, при условіи, чтобы они смотрѣли на него съ различныхъ точекъ зрѣнія—экономической, юридической, анатомической и т. д. Ничто не мѣшаетъ поэтому, разсуждаютъ представители этого мнѣнія, видѣть различіе философіи отъ науки въ томъ, что философія смотритъ на свой объектъ съ самой общей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія единства всего бытія; такимъ образомъ философія представляетъ собой такую же науку, и подобно тому, какъ науки отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что каждая имѣетъ свою точку зрѣнія на предметъ, такъ и философія обладаетъ своей спеціальной точкой зрѣнія.

Приведенное разсужденіе имѣло бы значеніе убѣжища для философіи, стремящейся сохранить мѣсто среди отдѣльныхъ наукъ, еслибъ содержанія наукъ въ самомъ дѣлѣ давались точкою зрѣнія, а не *дѣйствительнымъ* расчлененіемъ предмета въ видахъ удобства его изученія. Но, не говоря ужъ о томъ, что экономическіе, юридическіе и анатомическіе факты вовсе не созданы точкою зрѣнія, они еще и не являются составными частями такого общаго содержанія, изученіе котораго могло бы послужить матеріаломъ для такой науки о человѣкѣ, которая являлась бы не суммированіемъ произведенныхъ расчлененій, а дѣйствительно новымъ и однороднымъ съ другими членами ряда отдѣломъ. Никакой антропологъ не согласится включить въ эту науку такое ученіе о строеніи человѣческаго тѣла, которое по всѣмъ пунктамъ не было бы согласно съ содержаніемъ

курса анатоміи. Точно также онъ поступитъ и по отношенію этнографіи, права и т. д. Въ концѣ концовъ, его наука окажется *совокупностью* результатовъ частичнаго изученія человѣка и содержаніе ея представится болѣе обширнымъ, чѣмъ содержаніе тѣхъ наукъ, которыя были объединены ея организаціей. Образовать однородный съ этими науками рядъ не представляется ей поэтому никакой возможности, и насильственное включеніе ее въ этотъ рядъ должно быть признано несостоятельнымъ. Точно то же слѣдуетъ сказать и о философіи, которую хотимъ приравнять къ указанной выше фиктивной антропологіи: такая философія—призракъ; созданіе ея волшебною силою точки зрѣнія—мпражъ. Образованіе же ея посредствомъ суммированія результатовъ отдѣльныхъ наукъ есть одно безплодное повтореніе извѣстнаго ранѣе, и притомъ же повтореніе по формѣ своей не однородное съ произведшими его частями.

Схематичность Контовскаго построенія оказалась несостоятельною вовсе не потому, что въ ней не имѣется ея же двойника, загримированнаго искусственными признаками, присущими исключительно частямъ замкнутаго въ схему цѣлаго;—наличность такого призрака могла бы только усугубить недостатки схемы, а не сгладить ихъ. Несостоятельность Контовой схемы оказалась главнымъ образомъ потому, что, будучи подогнана подъ шаблонъ возрастающей сложности и убывающей общности, схема была обречена на неподвижность и вмѣсто живого, текучаго, отвѣчающаго дѣйствительности расчлененія общей совокупности знанія, оно представляетъ отличающуюся догматическою косностью формулу, отымающую у представляемой ею классификаціи наукъ всякое значеніе.

Эта окаменѣлость Контовой схемы и сказалась во всей своей силѣ, когда выяснилась невозможность включенія въ нее такого важнаго звена, какъ теорія познанія. Именно этому новому члену схемы предстояло выработать нормы всеобщаго приложенія научнаго метода и, занявъ въ рядѣ принадлежащее ему мѣсто, переработать самый рядъ совершенно заново.

Совершая эту переработку, теорія познанія, въ своей роли «критики чистаго опыта», должна была бы показать, что то всеобщее обновленіе, которое было предвозвѣщено для всей системы, должно было прежде всего коснуться метода и не оставить безъ переработки самую постановку его основныхъ вопросовъ, страдавшихъ старымъ, унаслѣдованнымъ отъ метафизи-

ческой системы, раздвоеніемъ. Преодолѣніе этого раздвоенія, совершенное въ наше время эмпиріокритицизмомъ, не представлялось для позитивизма осуществимымъ главнымъ образомъ потому, что его догматическая замкнутость, разъ навсегда порѣшившая со всѣми вопросами, обрекала всю позитивную систему на полную неподвижность. Въ позитивизмъ былъ вложенъ собственно Конту принадлежавшій личный его примыселъ, до такой степени органически сросшійся съ системой, что съ устраненіемъ примысла падала и вся система. Неподвижность позитивной системы была, какъ видно изъ этого, роковая, и вывести ее изъ этой неподвижности не могъ никто, всего же менѣе хранители позитивныхъ традицій и оберегатели неприкосновенности его основъ, не говоря уже о тѣхъ реформаторахъ, которые замышляли совершенно невразумительную позитивную метафизику и мечтали о какомъ-то совсѣмъ уже анти-позитивномъ «созерцаніи цѣлаго». Пока позитивисты и псевдо-позитивисты хлопотали надъ специфически-позитивными или мнимопозитивными вопросами, позитивизмъ былъ принципіально обойденъ, и новое зданіе научной философіи воздвиглось внѣ его вліянія и воздѣйствія.

Но, если научно-философскіе вопросы не справляются теперь съ позитивистскими ихъ рѣшеніями, философскія воззрѣнія Конта, представляющія въ высшей степени важный моментъ новѣйшей научно-философской эволюціи, останутся въ исторіи славнымъ памятникомъ свободныхъ поисковъ истины, вдохновлявшихся высшими интересами человѣчества.

1898 г.,
«Русск. Бог.».

ОТЪ КОНТА КЪ АВЕНАРІУСУ.

I.

О философіи Авенаруіса начинаютъ говорить все чаще и чаще, и она мало-по-малу перестаетъ представляться тою головоломною загадкою, ссылка на которую еще такъ недавно казалась достаточною для отвода вниманія образованнаго общества отъ этого новаго направленія философской мысли. Теперь, повидимому, начинаетъ выясняться, что умственная лѣнь и рутина оказались безсильными передъ движеніемъ, обусловленнымъ общимъ складомъ и развитіемъ научной мысли, и что прошла пора игнорировать его, замалчивать или извращать, а настоитъ потребность его изучать. Служить откликомъ на этотъ обозначившійся по отношенію къ философіи Авенаріуса поворотъ— и предназначается настоящая статья.

Движеніе, выразителемъ котораго является Авенаріусъ съ его «Критикою чистаго опыта», и обосновывающійся на немъ эмпиріокритицизмъ, есть движеніе научной мысли, корнями своими уходящее въ исторію положительнаго знанія, получающее значеніе выработки «чистаго опыта» и устраненія теологическихъ и метафизическихъ примысловъ. Задерживаемое косностью мысли и постоянно подавляемое пережитками традиціи, движеніе это долгое время было оттѣсняемо съ подобающаго ему передового положенія и только въ сравнительно новѣйшее время получило значеніе руководительнаго. Не скоро разсѣялась средневѣковая тьма, не скоро свершило свой кругъ возрожденіе древней культуры, и лишь въ концѣ XVII вѣка падаетъ окончательно гнетъ всякаго авторитета, и новая истина не провѣряется по старымъ греческимъ, латинскимъ или еврейскимъ книгамъ. Опытъ достигаетъ всей полноты своего самостоя-

тельнаго значенія, и умственное движеніе вступаетъ въ новое русло.

Движеніе это, по столь часто приводимому сравненію, высказанному еще Гете, называли обширной фугой: голоса народовъ выступали въ немъ послѣдовательно одинъ за другимъ. Первый голосъ принадлежитъ Англіи: она, создавъ исходную точку обновленія, стала во главѣ движенія, которое мало-помалу пересоздало не одинъ только ея жизненный строй, но и строй всѣхъ остальныхъ европейскихъ странъ, куда вслѣдъ затѣмъ стало проникать вліяніе англійскаго преобразовательнаго движенія.

Еще до Юма характеръ движенія столь ясно опредѣлился, что, когда Вольтеръ посѣтилъ Англію, онъ могъ уже ясно констатировать діаметральную противоположность новаго строя жизни и понятій сравнительно со старымъ режимомъ его отечества. Вольтеръ—по словамъ одного изъ его біографовъ, Джона Морлэ,—прибылъ въ Англію поэтомъ и покинулъ ее мудрецомъ: онъ вкусилъ отъ древа научнаго познанія и усвоилъ основную истину объ общественномъ назначеніи всякаго знанія и всякаго искусства. Поучая своихъ земляковъ, онъ писалъ оттуда, между прочимъ, что считать Самюэля Кларка, какъ метафизика, выше Ньютона—значитъ столько же, что и счесть его превосходящимъ Ньютона въ игрѣ въ мячъ. «Мнѣ доводилось—говоритъ онъ—протыкать нѣкоторые изъ метафизическихъ мячей, и я могъ убѣдиться, что изъ нихъ выходитъ одинъ только воздухъ». Живя въ Англіи, Вольтеръ прозрѣлъ, и ему стало очевидно, что метафизики лишены той осмотрительности, того посоха слѣпцовъ, съ которымъ скромный Локкъ разыскивалъ и находилъ себѣ дорогу. Позже, въ Англіи же, величайшій изъ мыслителей всего свѣта, Давидъ Юмъ, нанесъ теологической и метафизической традиціи тотъ смертельный ударъ, отъ котораго онѣ уже никогда не могли оправиться. Зато представители этихъ традицій и мстили Юму, стараясь лишить его философію всякаго положительнаго значенія и зачисляя Юма въ ряды скептиковъ. Было время, когда этому маневру придавали значеніе; теперь онъ представляется комичнымъ: Юмъ, дѣйствительно, относился отрицательно къ традиціоннымъ бреднямъ и всякому пустомыслію и весь свой скептицизмъ направлялъ лишь въ сторону примысловъ, и къ нему именно, а не къ Канту, слѣдовало бы отнести знаменитое изреченіе Гете:

«разрушенное имъ никакая сила въ мірѣ не возстановитъ, какъ вѣрно замѣтилъ Джузеппе Тарантино» (*Giuseppe Tarantino.* Saggio sul criticismo e sull' associazionismo di David Hume. 1887, p. 74). Вмѣстѣ съ тѣмъ, надо еще имѣть въ виду, что основнымъ принципомъ Юма слѣдуетъ считать принципъ позитивности мышленія, что соотносительно означаетъ, по справедливому мнѣнію Алоиза Риля, разрушеніе трансцендентности. Такимъ образомъ и устанавливается, что Юмъ выдвигалъ свой скептицизмъ не ради разрушенія, а ради созиданія, чѣмъ и открылъ философіи путь прогрессирующей науки. (*Al. Riehl.* Der philosophische Kritizismus. 1876. I. Vorrede). Поэтому-то на Юма и слѣдуетъ смотрѣть, какъ на родоначальника эмпиріокритической философіи, унаслѣдовавшей духъ Юма, столь же эмпирическій, какъ и критическій. На такое значеніе Юма для современной мысли я имѣлъ уже случай указать болѣе десяти лѣтъ тому назадъ («Что такое научная философія?»[1]) 1891, стр. 243—245), а теперь я нахожу у Петцольдта этотъ взглядъ въ утвержденіи, что «тотъ шагъ, который дѣлаетъ философія чистаго опыта, можетъ быть сдѣланъ непосредственно отъ положенія, занятаго Юмомъ» (*Joseph Petzoldt.* Einführung in die Philosophie der reinen Erfahrung. Zweiter Band. 1904, S. 297).

Столѣтіе, отдѣляющее Юма отъ Конта, отмѣчается разнообразнѣйшими философскими теченіями и массою метафизическаго хлама. Такъ какъ насъ теперь не занимаютъ варіированья тѣхъ или другихъ традиціонныхъ мотивовъ, то мы, оставляя въ сторонѣ все то, что было въ теченіе этого вѣка унаслѣдовано или переработано, обратимся прямо къ плодамъ оригинальнаго творчества,—къ тому новому, которое возникло и развилось въ связи съ мощнымъ ходомъ развитія положительныхъ наукъ. Въ сферѣ творчества новыхъ философскихъ концепцій передъ нами высятся колоссальныя фигуры Фейербаха и Конта, великихъ провозвѣстниковъ новой «научной» философіи. Въ сороковыхъ годахъ минувшаго столѣтія Фейербахъ въ своихъ «Предварительныхъ тезисахъ къ реформѣ философіи», «Основоположеніяхъ философіи будущаго» и «Отрывкахъ», выдвинулъ цѣлый рядъ предвосхищеній тѣхъ взглядовъ, которые получили свое полное и окончательное обоснованіе лишь въ послѣднее время. Отрывочные тезисы Фейербаха представля-

[1]) См. назв. статью въ наст. изд. *Прим. ред.*

лись невразумительными для неподготовленныхъ умовъ его времени; они или отвергались, или скользили по поверхности сознанія читателей, не удерживаясь въ немъ. Только полъ-вѣка позже превосходная біографія Фейербаха, написанная гельсингфорскимъ профессоромъ В. К. Болинымъ, выставила въ должномъ свѣтѣ значеніе Фейербаха для новой философіи и указала на живое, истинно-современное значеніе его тезисовъ.

Поразительнымъ представляется намъ теперь указаніе на ничтожество варіированій старыхъ философскихъ мотивовъ и теперь еще оказывающихъ на умы свое вліяніе. «Попытки реформировать философію, дѣлавшіяся до сихъ поръ», говоритъ по этому поводу Фейербахъ, «отличаются отъ древней философіи въ видовомъ, а не въ родовомъ отношеніи. Необходимое условіе истинно-новой, т.-е. самостоятельной, отвѣчающей потребностямъ человѣчества и его будущему, философіи, заключается въ томъ, чтобы она существенно, чтобы она toto genere различалась отъ древней философіи». Вотъ великая истина, въ свое время не оцѣненная, а теперь бьющая въ глаза своею очевидностью! Какимъ же образомъ должна философія выполнить указанное выше необходимое условіе?—«Она должна быть всеобщей эмпиріей», отвѣчаетъ Фейербахъ: «она должна быть познаніемъ того, что есть; она должна мыслить вещи и существа, познавать ихъ такими, какими они суть»... Вотъ въ чемъ видитъ Фейербахъ «высшій законъ, высшую задачу философіи». То, что есть, какъ оно есть, т.-е. истинное высказывать истинно, кажется поверхностнымъ то, что есть, какъ оно есть, т.-е. истинное высказывать неистинно, извращать его,—представляется глубокомысленнымъ. Для избѣжанія такого извращенія, «философіи предстоитъ вступить въ союзъ съ естествознаніемъ, естествознанію—съ философіей. Этотъ союзъ, основанный на взаимной потребности, на внутренней необходимости, будетъ прочнѣе, счастливѣе и плодотворнѣе, нежели существовавшая до сихъ поръ mésalliance между философіею и традиціонными доктринами».

Обратимся теперь къ Конту.

Участь философіи Конта была сперва та же, что и участь философіи Фейербаха. Когда въ половинѣ минувшаго столѣтія позитивная философія «какъ бы вынырнула изъ глубины и явилась на поверхности современной философіи», она сейчасъ же натолкнулась на тупую оппозицію старовѣровъ, и лишь только весьма и весьма немногіе, избранные умы—Гумбольдтъ

въ ихъ числѣ—сумѣли оцѣнить ее. Прошли годы, возникла потребность изученія философіи Конта, появилась обширная литература о позитивизмѣ, установилось позитивное направленіе философіи, и настало время, когда знакомство съ Контомъ стало считаться обязательнымъ, и всегда, всякимъ авторомъ философскаго трактата или философской статьи, всякимъ лекторомъ, или референтомъ необходимо предполагается у читателей или слушателей. Такое отношеніе къ позитивизму стало заурядным и его можно было наблюдать въ послѣднее время не только тогда, когда позитивизму отводилась выдающаяся роль, какъ то было на соціологическомъ конгрессѣ въ Парижѣ, въ минувшемъ году,—но также и въ тѣхъ случаяхъ, когда господствующій тонъ имѣлъ реакціонный характеръ, какъ то имѣло мѣсто на философской секціи историческаго конгресса, собиравшагося въ прошедшемъ же году въ Римѣ, когда рядомъ съ ископаемымъ гегельянцемъ и его приспѣшниками блистали столь же болтливые филистеры.

У насъ значеніе Конта было замѣчено еще Бѣлинскимъ, и съ тѣхъ поръ вниманіе къ позитивизму въ извѣстной части нашей литературы удержалось. Бѣлинскій, хотя и познакомился съ Контомъ изъ вторыхъ рукъ — по весьма неудовлетворительной статьѣ извѣстнаго въ свое время размазывателя философской галиматьи, Сэссé, въ «Revue de deux Mondes»,—угадалъ, однако же, въ Контѣ человѣка замѣчательнаго и поставилъ ему въ заслугу его протестъ противъ теологическаго вмѣшательства въ науку. Общій выводъ его былъ тотъ, что основатель новой философіи долженъ освободить науку отъ признаковъ трансцендентализма, отъ всего фантастическаго и мистическаго. «Важно то,—говоритъ по этому поводу Н. И. Карѣевъ, у котораго я заимствую эту историческую справку,—что Бѣлинскій схватилъ сущность основныхъ стремленій философіи Конта. Освобожденіе науки отъ всякой фантастики и мистики, вотъ въ чемъ состояла главная задача, которую поставилъ себѣ Контъ и это не могло не быть симпатично Бѣлинскому. Въ своемъ принципѣ дѣйствительности великій критикъ мыслилъ то же самое, что имѣлось въ виду основателемъ позитивной философіи, когда онъ говорилъ о необходимости изучить міръ явленій, какъ онъ есть. Идеи Бѣлинскаго были отправнымъ пунктомъ всего дальнѣйшаго развитія передовой мысли въ Россіи, и лишь эта умственная подготовка сдѣлала возможнымъ у насъ усвоеніе общаго-

духа философіи Конта. Конечно, это не случайность, что наибольшій интересъ и наибольшее сочувствіе къ позитивизму проявились у насъ среди тѣхъ людей, которые видѣли въ Бѣлинскомъ своего духовнаго предка и поняли свою жизненную задачу, какъ продолженіе начатаго имъ дѣла. Общая почва—трезвое и правдивое отношеніе къ дѣйствительности, котораго Контъ требовалъ отъ науки, Бѣлинскій—отъ литературы». (Огюстъ Контъ, какъ основатель соціологіи. Рѣчь, произнесенная въ засѣданіи Истор. Общ. при Петерб. Унив. 18 февр. 1898 г. по случаю сотой годовщины со дня рожденія Конта. См. сборникъ «Памяти Бѣлинскаго», 1899 г., стр. 329 и слѣд.).

Продолженіе начатаго Бѣлинскимъ дѣла, на которое указываетъ Н. И. Карѣевъ, заключалось, конечно, также и въ удержаніи у насъ философскаго уровня на достодолжной высотѣ. Первою заботою въ этомъ смыслѣ являлось внимательное отношеніе къ тому, что совершалось въ западно-европейской философіи въ духѣ Конта. Намъ, ранѣе чѣмъ мы успѣемъ выставить своихъ Платоновъ и Невтоновъ, приходится, по крайней мѣрѣ, хоть не отставать. Въ общемъ потокѣ европейской философіи продолженіе дѣла Конта заслонялось напоромъ реакціонной волны, для услажденія шумомъ которой у насъ было гораздо больше охотниковъ, нежели интересующихся негромкою работою философовъ позитивнаго направленія. Мы, подобно крыловской Хавроньѣ, предпочли перерываніе всѣхъ европейскихъ философскихъ задворковъ скромной роли искателей пролегающихъ черезъ чащи тропинокъ, а потому и участь нашей философіи оказалась самая убогая и жалкая. Если бы представителей ея въ томъ только и можно было уличить, что самаго интереснаго и важнаго на Западѣ они не замѣчали, то въ этомъ еще было бы лишь полбѣды; бѣда же въ томъ, что свойственное имъ самомнѣніе всегда побуждало ихъ оказывать противодѣйствіе даже и тѣмъ самомалѣйшимъ проблескамъ позитивизма, которые у насъ въ кои вѣки объявлялись. Одинъ вопіялъ о томъ, что позитивизмъ терроризуетъ у насъ умы; другой, при помощи хитросплетеній старался дискредитировать позитивизмъ, выдавая его за одну изъ формъ метафизики; третій, поддерживая осѣнявшую его репутацію философской кликуши, старался убѣдить своихъ нехитрыхъ читателей въ томъ, что позитивизмъ-де считаетъ то мышленіе болѣе правильнымъ, которое безсвязно. Всего не перечесть! Вопреки смѣлости всѣхъ этихъ провозвѣст-

никовъ мракобѣсія, позитивизмъ у насъ не угашался, и фарватеръ, намѣченный Бѣлинскимъ, хотя и поднесь остается струйкой, все же сохраняетъ достоинство струйки воды живой, берущей начало изъ того великаго источника познанія, котораго нашимъ пигмеямъ не одолѣть.

Движеніе, которое у насъ идетъ лишь струйкой, въ Западной Европѣ бьетъ ключемъ, представляя обширную и не перестающую разростаться литературу, особенно богатую въ Германіи. Здѣсь передъ нами—критическій реализмъ Карла Гёринга, неопозитивизмъ Эрнста Лааса и самобытный эмпріокритицизмъ Эрнста Маха, выработавшаго свои принципы ранѣе Авенаріуса и оказавшаго на него значительное вліяніе, затѣмъ, Авенаріусъ и его школа,—всѣ они имѣютъ общее съ Контомъ въ томъ, что всѣ исходятъ отъ положительной науки и одинаково отличаются антитеологическимъ и антиметафизическимъ направленіемъ. Названные мыслители—такъ же, какъ Гёфдингъ и Риль въ Германіи, Ческа и Тарантино въ Италіи, Милль и Лесли Стивенъ въ Англіи, такъ или иначе пролагали свой путь въ этомъ же направленіи и при всѣхъ своихъ различіяхъ, объединяются общимъ, ярко выраженнымъ просвѣтительнымъ характеромъ. Отчетъ о работахъ многихъ изъ нихъ я далъ болѣе десяти лѣтъ тому назадъ [1]), сопоставивъ съ нѣкоторыми изъ ихъ взглядовъ образцы философской отсталости отечественнаго любомудрія (Цитпр. соч.). Возвращаться теперь къ этому сюжету нѣтъ надобности; достаточно будетъ отмѣтить только, что, въ общемъ, положеніе не измѣнилось,—развѣ только, что объемъ извергаемаго нашими философами вздора непомѣрно возросъ.

Само собою разумѣется, что философію чистаго опыта у насъ или игнорировали и замалчивали, или извращали совсѣмъ такъ, какъ это практиковалось въ былое время по отношенію къ позитивизму.

Такіе пріемы борьбы какъ нельзя лучше выказали только безсиліе противниковъ новой философіи. А между тѣмъ измѣняются времена, и новая жизнь возникаетъ изъ развалинъ... Философію чистаго опыта нельзя поколебать мелкими атаками философскихъ хунхузовъ; поколебать ее можно только, доказавъ, что общая ей и положительной наукѣ основа—«чистый

---

[1]) См. въ этомъ томѣ статью «Что такое научная философія?». *Прим. ред.*

опытъ» есть фикція, и что тотъ или другой пережитокъ, изъ служащихъ опорою міросозерцанія ея противниковъ, обладаетъ большею сравнительно съ «чистымъ опытомъ» устойчивостью. Такой постановки противники новой философіи вопросу не даютъ и никогда не дадутъ, и дать не могутъ, почему и всѣ набѣги ихъ имѣютъ и будутъ имѣть все одинъ и тотъ же роковой исходъ.

II.

Ближайшій предшественникъ Авенаріуса, Огюстъ Контъ, въ силу того значенія, которое принадлежитъ ему въ ходѣ умственнаго развитія въ нашемъ отечествѣ, заслуживаетъ нашего особеннаго вниманія. Хотя понятіе «чистаго опыта» и остается у Конта не раскрытымъ, но оно неизбѣжно должно быть предполагаемо, и на немъ зиждется та связь между позитивизмомъ и эмпиріокритицизмомъ, благодаря которой мы можемъ выдѣлить эти научно-философскія концепціи въ особую группу, противополагающуюся призрачнымъ теоріямъ приверженцевъ пережитковъ.

Вскрывая принципіальную связь между позитивизмомъ и эмпиріокритицизмомъ, я, какъ то и очевидно, не имѣю никакой надобности касаться той части умственной производительности Конта, которая стоитъ внѣ эволюціи научной философіи и въ поставленномъ мною вопросѣ не играетъ никакой роли. Дѣло это просто и ясно, но нѣкоторые наши философствующіе попугаи не уразумѣли, что мистицизмъ Конта представляетъ собою моментъ его индивидуальнаго развитія, а потому и имѣетъ интересъ только для его біографовъ. Біографамъ Конта, дѣйствительно, необходимо вскрыть тѣ мотивы, которые привели Конта къ извѣстному кризису, но въ изложеніи хода развитія научно-философской мысли вопросъ этотъ не имѣетъ ровно никакого значенія: боленъ былъ Контъ, а позитивизмъ тутъ рѣшительно ни при чемъ. Надо быть очень ужъ недалекимъ, чтобы становиться втупикъ передъ такой простой истиной. Для Литтре, ума незауряднаго, она была очевидна полвѣка тому назадъ, и онъ чисто-индивидуальнаго инцидента въ жизни Конта въ общій подсчетъ позитивизма не ввелъ. Теперь вопросъ этотъ для всѣхъ, кромѣ имѣющихъ особливую склонность къ путанному мышленію, считается сданнымъ въ архивъ, гдѣ и почіетъ въ мирѣ.

Остается позитивизмъ, какъ одна изъ формъ научной философіи, соединенная общею основою съ эмпиріокритицизмомъ. Общность эта вполнѣ достойна всего нашего вниманія: она указываетъ на заключительный моментъ давно уже назрѣвшей для философіи потребности разъ навсегда разорвать съ чуждымъ опыту умозрѣніемъ и примкнуть къ положительному знанію. Для философіи и науки настала пора тѣснаго союза, какъ то возвѣщалъ еще Фейербахъ,—настала пора живой плодотворной работы. Однимъ изъ первыхъ иниціаторовъ этой работы и былъ именно Контъ. Онъ находилъ, что наука его времени недостаточно проникнута философіей и слишкомъ увлекается спеціализаціей, а философія слишкомъ бездоказательна и безпочвенна. Эту мысль онъ и выразилъ въ извѣстномъ законѣ трехъ состояній человѣческаго разума,—законѣ, имѣющемъ для позитивизма, какъ цѣлаго, основное руководительное значеніе.

Для ближайшаго разсмотрѣнія соотношенія, существующаго между позитивизмомъ и эмпиріокритицизмомъ, предстоитъ теперь сдѣлать оцѣнку этого закона.

Прежде всего необходимо для этого принять во вниманіе лежащій въ основѣ его постулатъ, заключающійся въ различеніи знанія и пониманія. Знаніе есть результатъ изученія различеній, долженствующихъ служить опорою охвату мыслью изучаемаго цѣлаго; знаніе, какъ видно изъ этого, отвѣчаетъ гносеологическому запросу; не отрываясь отъ психологической почвы, оно, однако же, считаетъ себя свободнымъ отъ руководительства побужденіями, вытекающими изъ чисто-психологическихъ состояній и нерѣдко находится съ ними въ яркомъ конфликтѣ. Желаніе, надежда, игра фантазіи и другіе психологическіе моменты безсильны направлять туда и сюда сознательный гносеологическій процессъ, сами склоняясь подъ его верховодство и часто выстрадывая несокрушимую мощь его вліянія. Въ свою очередь, и познаваніе подвигается впередъ тернистымъ путемъ; каждая пядь берется тутъ упорнымъ трудомъ, каждый шагъ требуетъ самоотверженія,—все, вмѣстѣ взятое, представляетъ одну лишь страду. У Ол. Шрейнеръ все это прекрасно представлено въ живомъ олицетвореніи легендарнаго искателя правды (См. «Русск. Мысль», 1901, кн. VIII [1]). Контрастомъ этого скорбнаго пути является чисто-психологи-

[1]) Въ настоящемъ изданіи см. т. IV.

ческій характеръ пониманія (пассивная сторона) или объясненія (активная сторона того же психологическаго момента). Пониманіе не растрачивается на кропотливую работу знанія, оно спѣшитъ достигнуть устраненія безпокоющей загадочности и вкусить отъ безмятежности отраднаго чувства удовлетворенности. Для осуществленія этого завѣтнаго вожделѣнія имѣется дивный пріемъ сведенія того, что должно подлежать изученію, на нѣчто, изученію недоступное, заопытное, сверхъ опытное,—по философской терминологіи — трансцендентное. Сведеніе это достигается, конечно, не томительнымъ процессомъ изученія, а легкимъ и пріятнымъ полетомъ фантазіи, которая не знаетъ горечи разочарованія, не останавливается предъ подавленностью неизвѣстности, а беззавѣтно смѣло устремляется въ безпредѣльность опыту недоступнаго и въ своемъ паренiи обозрѣваетъ безграничные горизонты, не надрывая сердца вопросомъ о томъ, не иллюзія ли все это, не одна ли это только кажимость? Появляется, положимъ, огненная полоса на небѣ, производимая падающимъ метеоритомъ:—что это? спрашиваетъ первобытный человѣкъ;—это колдунъ, принявшій видъ огненнаго змѣя,—вотъ что это такое. И сказки занесли въ свои протоколы этотъ отвѣтъ, и пошелъ онъ изъ поколѣнія въ поколѣніе вплоть до нашихъ дней. Деревенская баба не знаетъ иного отвѣта на этотъ вопросъ, да и представительница культурной черни,—«дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ», вѣрующая въ тяжелые дни, въ симпатическія средства, въ число тринадцать и всѣхъ знахарокъ и гадалокъ, какія только есть,—она тоже не далеко ушла отъ неграмотной бабы, только развѣ мыслитъ нѣсколько сбивчивѣе. Таково фольклорное пониманіе, пущенное въ ходъ пещернымъ человѣкомъ, но существуетъ еще и однородное съ нимъ миѳологическое, теологическое и метафизическое пониманіе, сводящее явленія на Ра, Пта, Мардука, Зевса и т. д.,—на идеи, волю, непознаваемое... Заопытный характеръ всего этого этіологическаго творчества нисколько не смущаетъ возложившихъ на него свое упованіе; попробуйте опровергать ихъ,—«ну, такъ что же», отвѣтятъ они, «быть можетъ у человѣка сто чувствъ и со смертью погибаютъ только пять, а остальныя девяносто пять остаются живы». Въ этихъ словахъ одного изъ героевъ прославленной комедіи для нихъ все сказано; на чемъ держится эта галиматья,—не спрашивайте, позвольте только витать внѣ «тьмы низкихъ

истинъ» и не мѣшайте облекать мысли неграмотной бабы въ формы пошлыхъ изреченій!

Знаніе и пониманіе,—процессъ гносеологическій и процессъ психологическій,—вотъ то капитальное различеніе, которое будетъ служить намъ при оріентировкѣ въ томъ сложномъ ходѣ эволюціи мысли, охватить которую имѣетъ въ виду Контовъ «законъ трехъ состояній».

Поскольку законъ этотъ относится къ процессу пониманія, онъ охватываетъ два главные типа:—пониманіе теологическое и пониманіе метафизическое; первое заключается въ сведеніи предлежащихъ наблюдателю данностей на олицетворенныя сущности, второе отличается отъ перваго только тѣмъ, что олицетвореніе сущностей замѣняется объективированіемъ ихъ. Второе, какъ указывалъ уже самъ Контъ, представляется лишь простымъ видоизмѣненіемъ перваго; оба неизмѣнно трансцендентны. Третій фазисъ состоянія человѣческаго ума,—фазисъ научный, состоитъ въ томъ, какъ установилъ Контъ, что сведеніе подлежащихъ изученію данностей на заопытныя и сверхъопытныя сущности устраняется и взамѣнъ того разыскивается неизмѣнность ихъ послѣдовательности и сходства и, такимъ образомъ, устанавливается понятіе ихъ закономѣрности. Изъ этой формулировки можно видѣть, что для Конта процессъ умственнаго развитія человѣка представлялся переходомъ отъ пониманія къ знанію, что—соотносительно—значило то же, что и устраненіе трансцендентности, какъ примысла. Пониманіе, какъ видно изъ этого, представлялось превращающимся въ знаніе,—сливающимся съ нимъ. Горѣніе, напримѣръ, перестало сводиться на олицетвореніе, носящее имя Агни, или на метафизическую сущность, «флогистонъ», а оказывалось просто-на-просто соединеніемъ горящаго тѣла съ кислородомъ, т.-е. процессомъ окисленія,—такимъ актомъ, оба факторы котораго—окисляемое тѣло и окисляющій кислородъ—одинаково намъ предлежатъ, одинаково могутъ подвергнуться изученію, одинаково находятся въ области возможнаго опыта, одинаково ни въ какіе трансцендентные регіоны насъ не заводятъ. Сведеніе горѣнія на окисленіе, конечно, сохраняетъ свою психологическую подоснову; оно также имѣетъ, хотя и формальное только, значеніе пониманія; но это пониманіе есть уже вмѣстѣ съ тѣмъ и знаніе, оба момента сливаются здѣсь до безразличія. Но если знаніе можно считать научнымъ пониманіемъ, такъ какъ пси-

хологическій актъ, принимая гносеологическій характеръ, все же остается, и выфилозофить его нельзя, да и нѣтъ надобности, то,—помнить надо,—пониманіе остается всегда и неизмѣнно чуждо знанію, возникновеніе котораго можетъ имѣть или не имѣть мѣста, и которое, во всякомъ случаѣ, представляется еще недостигнутымъ. Итакъ, съ переходомъ пониманія въ знаніе, трансцендентная область сущностей падаетъ до призрачности,—получаетъ значеніе примысла, и освобожденное вслѣдъ за его устраненіемъ мѣсто уступаетъ опыту. Свободный отъ примысловъ опытъ и есть не содержащій въ себѣ никакого фольклорнаго, миѳологическаго, теологическаго или же метафизическаго сора,—«чистый опытъ». Самый терминъ этотъ явится черезъ полстолѣтія послѣ формулировки закона трехъ состояній, но понятіе его оказывается уже въ этомъ законѣ установленнымъ въ значеніи невысказанной его предпосылки.

Изъ сказаннаго видно, до какой степени близокъ былъ Контъ къ основному обобщенію, вытекающему изъ исторіи развитія научнаго знанія. Его «законъ трехъ состояній», при теперешнемъ освѣщеніи его съ точки зрѣнія, установленной Авенаріусомъ, представляется стоящимъ выше всѣхъ метафизическихъ о немъ разглагольствованій и долженъ быть вмѣненъ въ одну изъ великихъ заслугъ этого мыслителя, принявшаго по отношенію къ приверженцамъ пережитковъ роль Эринній въ сценѣ между Ахиллесомъ и Ксанѳомъ, въ XIX-ой пѣснѣ Иліады.

Намѣченный выше послѣдовательный ходъ мышленія, сформулированный въ законѣ трехъ состояній, указываетъ намъ на ходъ опредѣленной эволюціи, которую намъ и предстоитъ теперь разсмотрѣть.

Прежде всего отдадимъ себѣ отчетъ въ томъ, что слѣдуетъ разумѣть подъ эволюціей умственной дѣятельности.

Эволюція умственной дѣятельности отдѣльнаго индивида или группы ихъ есть чередованіе двухъ состояній индивида (или индивидовъ),—состоянія устойчивости и состоянія колебанія. Оба эти состоянія извѣстны каждому по опыту: состояніе колебанія—это состояніе нерѣшительности, сомнѣнія, приглядыванія; оно возникаетъ или какъ слѣдствіе какого-либо измѣненія въ организмѣ индивида, или въ силу воздѣйствія на него окружающей среды; оно преодолѣвается устраненіемъ нерѣшительности, препобѣжденіемъ сомнѣнія, завершеніемъ ознакомленія съ неизвѣстнымъ фактомъ и т. д., влекущими къ возста-

новленію нарушеннаго колебаніемъ равновѣсія и утвержденію состоянія устойчивости, характеризуемаго надежностью, увѣренностью, сознаніемъ достигнутой цѣли и т. д. Указываемое чередованіе колебанія и устойчивости представляетъ собою рядъ состояній индивида (или индивидовъ), параллельно которому идетъ рядъ высказываній, соотвѣтствующихъ этимъ состояніямъ. Высказыванія эти выражаютъ пониманіе эволюціи мышленія. Ряды этихъ высказываній мы можемъ мыслить въ тѣхъ или другихъ границахъ пространства и времени и можемъ также расширить эти границы до мыслимо-наибольшаго ихъ предѣла:— представить себѣ всѣ извѣстныя намъ высказыванія, какъ предъявленныя одною группою индивидовъ,—человѣчествомъ, начиная отъ эпохи первобытнаго фольклора и кончая современностью.

Прослѣживая смѣну колебаній и устойчивыхъ состояній пониманія, мы можемъ замѣтить, что каждый разъ, когда привхожденіе новой данности нарушаетъ устоявшуюся ранѣе устойчивость пониманія, возстановленіе нарушенной устойчивости становится возможнымъ лишь при томъ условіи, когда новое объясненіе можетъ годиться для всей совокупности какъ прежнихъ, такъ и новыхъ данностей, иначе говоря, возстановленіе устойчивости можетъ произойти лишь при повышеніи значенія мотивовъ пониманія, соотносительно — объясненія. Предѣломъ этого повышенія можетъ—какъ то и очевидно—быть мыслимо наивысшее значеніе мотива пониманія, которымъ эволюція пониманія и завершается. Дальнѣйшее привхожденіе данностей, нарушающихъ устойчивое состояніе, знаменуетъ уже кризисъ пониманія вообще,—кризисъ пониманія, какъ такового, которое и отходитъ въ прошедшее, оставляя память о себѣ въ формѣ пережитковъ.

Рядъ высказываній, соотвѣтствующихъ фазису пониманія, начинается, какъ видно изъ этихъ указаній, въ то первобытнѣйшее время, которое мы знаемъ лишь по сохранившемуся фольклорному матеріалу и—главнымъ образомъ—сказкамъ, представляющимъ его концентрацію.

Начнемъ обзоръ отдѣльныхъ моментовъ этого ряда, съ міросозерцанія сказокъ, которое, какъ сейчасъ увидимъ, занимаетъ въ немъ первое по времени и далеко не послѣднее по достоинству мѣсто.

Всякій, знакомый съ содержаніемъ сказокъ, легко можетъ убѣдиться, что авторы сказокъ, признавая зависимость чело-

вѣка отъ окружающей его среды, очерчиваютъ въ образахъ тѣ безчисленныя колебанія, которыя обусловливаются этою зависимостью. Угрозы жизни и благополучію сказочныхъ героевъ окружаютъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Устраненіе этихъ угрозъ, преподоланіе угнетающей зависимости, достиженіе владычества надъ окружающей средой, словомъ, замѣна всевозможныхъ колебаній благополучіемъ устойчиваго состоянія,—вотъ что дополняетъ собою содержаніе сказокъ,—даетъ рѣшеніе ихъ философской проблемы.

Присмотримся теперь ближе къ способамъ рѣшенія въ сказкахъ этой проблемы.

Всеобщая измѣнчивость формы, всеобщая переходимость человѣка въ звѣря, въ дерево, въ любой предметъ окружающей среды, принимается сказкою какъ данность,—какъ характеристика окружающей среды. Объясняется или понимается это явленіе черезъ сведеніе его ко всеобщему оживотворенію. Это пониманіе чрезвычайно упрощаетъ проблему:—борьба и побѣда представляется борьбою съ себѣ подобными, побѣдой надъ данностями извѣстными; средства подсказываются соотвѣтственными уподобленіями. Остается затѣмъ узнать эти средства и умѣть пользоваться ими. Тутъ мы и встрѣчаемся съ вѣдовствомъ или магіей, — драгоцѣннѣйшимъ достояніемъ первобытнаго человѣка;—онъ хранитъ его, какъ зеницу ока, онъ оберегаетъ его, какъ сокровище, онъ облекаетъ его, поэтому, тайною. Такимъ образомъ возникаетъ и установляется доступное для немногихъ—колдуновъ, кудесниковъ, волшебниковъ, волхвовъ,—вѣдуновъ вообще,—тайновѣдѣніе, волшебство, магія. Все первобытное знаніе считалось, такимъ образомъ, магіею: умѣнье добывать огонь, лѣпить посуду, вязать узлы, строить мосты (отсюда—pontifex), приготовлять лекарственное снадобье... Но все это было еще низшею школою; достигалъ вершины познанія тотъ, кто—какъ говорится въ одной буддійской аваданѣ—«могъ потрясать землю и ниспровергать горы». Объ этой мыслимо-наивысшей стадіи и повѣствуютъ сказки; онѣ сообщаютъ намъ свѣдѣнія о цѣломъ рядѣ волшебныхъ предметовъ: шапкѣ-невидимкѣ, сапогахъ-скороходахъ, скатерти-самобранкѣ, коврѣ-самолетѣ и могущественнѣйшемъ изъ орудій вѣдовства,—вѣщемъ словѣ, знаніе котораго одаряетъ всемогуществомъ. Въ послѣднемъ итогѣ вся окружающая среда становится подчиненною тайновѣдѣнію, и характеризующая эту среду измѣн-

чивость и превращаемость сводятся къ изволенію вѣдуновъ,— соотносительно—къ изволенію мыслимо-наивысшаго изъ нихъ. Въ любой изъ сказокъ мы можемъ подмѣтить драматизированіе этого міропониманія. Такъ, въ египетской сказкѣ «о двухъ братьяхъ», сохранившейся въ рукописи, относимой Масперо къ XV столѣтію до нашей эры, идетъ рѣчь о томъ, какъ одинъ изъ братьевъ, обладая тайновѣдѣніемъ, соперничая съ волшебницей-женой, совершаетъ рядъ превращеній: сперва онъ принимаетъ форму быка Аписа и, будучи убитъ, вслѣдъ затѣмъ, по приказанію жены своей, возстановляется въ формѣ двухъ деревъ, выросшихъ изъ двухъ капель крови, упавшихъ во время убіенія его на землю; далѣе опять онъ воспринимаетъ человѣческій образъ послѣ того, какъ жена его, приказавшая срубить деревья, проглатываетъ маленькую древесную стружку, зачинаетъ и производитъ на свѣтъ опять-таки его же самого, ея соперника и мужа, который, достигнувъ извѣстныхъ лѣтъ и ставъ фараономъ, предаетъ ее казни, отмѣчая тѣмъ свое превосходство, какъ тайновѣда. Здѣсь, какъ видно, соединительною нитью различныхъ формъ существованія является изволеніе мыслимо-наивысшаго кудесника, олицетворяющаго своею особою основоначальное воззрѣніе первобытнѣйшаго міросозерцанія.

Въ этой же сказкѣ можно замѣтить и тотъ выходъ къ дальнѣйшей эволюціи пониманія, который мысль изберетъ, когда подъемъ значенія служащаго пониманію изволенія достигнетъ кульминаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ своего мыслимо-наивысшаго предѣла. Выходъ этотъ заключается въ понятіи о сущности вещей, являющихся предпосылкой описанныхъ въ сказкѣ метаморфозъ. Формы бытія были представлены намъ преходящими, сущность же осталась пребывающею, и если допустить, что она могла имѣть свою эволюцію и помимо изволенія тайновѣда, то выходъ къ метафизикѣ откроется передъ нами во всей своей очевидности. Вся превращаемость сказочныхъ формъ неизбѣжно его предполагаетъ, но въ нѣкоторыхъ сказкахъ онъ обставленъ такъ, какъ будто сказки эти были сложены завзятыми метафизиками. Такъ, въ одной изъ сказокъ, приводимыхъ въ сборникѣ Рудченка,—въ сказкѣ объ «Охѣ»,—повѣствуется о томъ, какъ гонимый превращается въ зерна проса, а гонитель въ пѣтуха, и какъ затѣмъ пѣтухъ выклевываетъ эти зерна за исключеніемъ одного, изъ котораго гонимый и имѣетъ возмож-

ность возстановиться, точно такъ же, какъ гонимый братъ въ египетской сказкѣ—изъ капли крови и стружки. Въ этой же сказкѣ колдунъ, имѣя въ виду исправленіе своего воспитанника, сожигаетъ его и затѣмъ возстановляетъ изъ оставшагося послѣ сожженія уголька. Такова метафизика сказокъ; она развилась впослѣдствіи въ причудливые арабески и научилась симулировать неисповѣдимыя глубины, но принципіально всегда осталась на уровнѣ философіи пониманія и никогда выше умозрѣній вѣдовства не шла и пойти не могла.

У философіи сказокъ есть еще одна особенность, на которую намъ слѣдуетъ теперь обратить вниманіе. Особенность эта обусловливается самою ея первобытностью и, постепенно блѣднѣя, исчезаетъ въ той полосѣ эволюціи, которая вмѣстѣ съ поднятіемъ знанія тайновѣдѣнія подымаетъ значеніе и носителей его: вѣдуновъ, маговъ, шамановъ и какъ бы они тамъ ни назывались. Въ сказкахъ мы имѣемъ первыя стадіи этого подъема; но и сказки вѣдь имѣютъ свою эволюцію: онѣ локализируются; ихъ анонимные герои получаютъ имена и пріурочиваются къ извѣстной исторической эпохѣ; изъ сказки выростаетъ легенда, и подъемъ значенія ея героя не прекращается: онъ становится Персеемъ, Геркулесомъ, Атисомъ, Адонисомъ;—его чествуютъ, онъ дѣлается предметомъ культа. И когда, все выше и выше восходя по лѣстницѣ пониманія, легендой героя начинаютъ объяснять естественныя явленія—видимое движеніе солнца, прорастаніе брошеннаго въ землю зерна и т. п.,—тогда легенда становится миѳическимъ сказаніемъ, а ея герой—миѳическою личностью. Мардукъ, Озирисъ, Митра, Зевсъ—все это прежніе сказочные вѣдуны, достигшіе мыслимо-наивысшаго значенія въ данной системѣ пониманія.

Съ возникновеніемъ ихъ прежнее непосредственное отношеніе человѣка къ окружающей средѣ приходитъ къ своему концу, и занявшіе мѣсто прежнихъ вѣдуновъ жрецы практикуютъ уже свое тайновѣдѣніе по новому методу: они ужъ не воздѣйствуютъ на среду непосредственнымъ заклинаніемъ, а прибѣгаютъ къ посредствующей силѣ, къ которой и обращаются со своими умилостивительными взываніями. Итакъ, прямое, непосредственное отношеніе къ окружающей средѣ—вотъ та особенность первобытнѣйшаго міросозерцанія, которую я имѣлъ въ виду указать, и которая и раскрывается предшествовавшими сопоставленіями.

Параллельно назрѣванію кризиса въ нѣдрахъ отцвѣтающаго фазиса пониманія шло наростаніе положительнаго знанія, которое, все болѣе и болѣе преодолѣвая подавлявшую его традицію, мало-по-малу выступило на первый планъ исторіи. Мы знаемъ уже, что хотя поздно, но насталъ моментъ, когда окончательно самоопредѣлился его внушительный обликъ: познаніе вступило, наконецъ, въ свой гносеологическій фазисъ. Отнынѣ развитіе его уже болѣе не совершается путемъ повышенія значенія моментовъ соотносительнаго трансцендентнаго ряда, а совершается въ немъ самомъ. Фиктивный рядъ данностей, на которыя пониманіе сводило подлежащія изученію явленія, отходитъ въ область пережитковъ и методически подвигающееся впередъ познаніе стремится къ мыслимо-наивысшему своему подъему. Извѣстная формула Конта: «знать, чтобы предвидѣть,—предвидѣть, чтобы дѣйствовать»—по праву пріобрѣтаетъ всю полноту своего руководительнаго значенія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, твердо устанавливается соотношеніе между формулою закона трехъ состояній и служащими основаніемъ ему фактами,—соотношеніе, которое я подвергъ теперь эмпиріокритической провѣркѣ.

III.

«Законъ трехъ состояній», какъ то явствуетъ изъ представленнаго выше обзора эволюціи умственной дѣятельности, приводитъ насъ къ тому ея фазису, который мы опредѣлили, какъ гносеологическій, обоснованный на «чистомъ опытѣ», научный укладъ мышленія. Опытъ разумѣется здѣсь, очевидно, не въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ, не въ значеніи эксперимента, а въ широкомъ общемъ философскомъ смыслѣ. Подъ «опытомъ», въ этомъ смыслѣ, разумѣемъ мы ту общую совокупность данностей, привхожденіе которыхъ обусловливаетъ колебаніе и вызываетъ переустановку нарушенной колебаніемъ устойчивости. И экспериментъ можетъ, конечно, обусловливать колебаніе, но, во всякомъ случаѣ, онъ можетъ совершить это лишь въ общемъ значеніи опыта, почему установленіе колебанія и не предполагаетъ непремѣнно «эксперимента». Смѣшеніе этихъ понятій, встрѣчающееся и у ученыхъ, ведетъ иногда къ совершенно невразумительной путаницѣ, дающей поводъ къ

такому хаосу понятій, въ которомъ не легко бываетъ разобраться. Возьмемъ для примѣра «Начальное руководство къ самостоятельному изученію высшей математики и механики» проф. Делоне, 1900 года. Разсуждая (на стр. 300) объ основахъ, которыми пользовалось человѣчество при изученіи природы, г. Делоне указываетъ на наблюденіе и опытъ и утверждаетъ, что «наблюденіемъ совершающагося въ природѣ человѣкъ занимался всегда, но, какъ основа научнаго метода, наблюденіе выставлено было Аристотелемъ. Наблюденіемъ человѣкъ изучаетъ факты въ томъ видѣ, какъ они даны природою. Въ опытѣ человѣкъ создаетъ искусственную обстановку для выдѣленія тѣхъ фактовъ, которые онъ хочетъ изучить. Отцомъ опытнаго метода считаютъ Бэкона Веруламскаго». Здѣсь подъ «опытомъ» слѣдуетъ, очевидно, разумѣть «экспериментъ», а въ общей характеристикѣ изученія природы слѣдуетъ смотрѣть на наблюденіе и экспериментированіе не какъ на «основы» изученія, а только какъ на «способы». Основою все же таки остается «опытъ» въ философскомъ своемъ значеніи, почему распредѣленіе ролей между Аристотелемъ и Бэкономъ, сдѣланное г. Делоне, идущимъ къ дѣлу признано быть не можетъ.

Разъ начало изложенія оказывается спутаннымъ, продолженіе неизбѣжно является нагроможденіемъ недоразумѣній. Въ самомъ дѣлѣ, сравнивъ изученіе природы съ возведеніемъ зданія, г. Делоне счелъ нужнымъ вслѣдъ затѣмъ перейти къ другому сравненію,—къ сравненію движенія науки съ движеніемъ арміи, завоевывающей непріятельскую страну, но параллелизма этихъ сравненій при этомъ переходѣ не счелъ необходимымъ удержать. «Наблюденіе и опытъ—это главное ядро арміи»—говоритъ онъ:—«пѣхота, проникающая впередъ медленно, но солидно. Математика же можетъ быть уподоблена инженерамъ, строющимъ въ непріятельской странѣ свои крѣпости, съ тою только разницей, что крѣпости, построенныя математикою, уже не сдаются обратно. Къ этому надо еще прибавить вѣру, безъ которой наша армія двигалась бы въ непроглядной тьмѣ». Выходитъ, что наблюденіе и опытъ сами по себѣ лишены свѣта и двигаются въ непроглядной тьмѣ... Ново и оригинально! Ужели пиѳагорову теорему слѣдуетъ не только знать, но еще и вѣровать въ нее? Вѣра предполагаетъ заслугу и ведетъ къ воздаянію. Ужели и знаніе тоже? Сомнительно, чтобы смѣшеніе психологическихъ и гносеологическихъ состояній, допущен-

ное г-мъ Делоне, могло возмѣститься благозвучной фразой и спасти его экскурсію въ область философіи. (Ср. *Rich. Avenarius.* Kritik der reinen Erfahrung. II, S. 142—147).

Итакъ, мы имѣемъ дѣло съ «опытомъ» въ философскомъ значеніи этого термина. Присматриваясь къ его эволюціи, мы замѣчаемъ въ ней сперва заслоненіе значенія его процессомъ наростанія примысловъ, а затѣмъ, переходъ въ выработкѣ понятія «чистаго опыта» и постепенное устраненіе примысловъ. Знаніе восходитъ такимъ путемъ къ своей мыслимо-наивысшей стадіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, достигается и мыслимо-наивысшая установимость соотносительныхъ высказываній. Само собою разумѣется, что высказыванія, обремененныя примыслами, какъ обладающія одною только психологическою установимостью, могутъ разсчитывать и на пріемлемость въ средѣ, стоящей на психологическомъ уровнѣ, и только для нея и могли считаться обязательными. Для распространенія круга пріемлемости и на среду гносеологическаго уровня необходимо очистить предназначенныя для того высказыванія отъ примысловъ, иначе говоря, необходимо свести ихъ къ общеобязательнымъ научнымъ нормамъ.

Посмотримъ теперь, какъ были выработаны эти нормы.

Авенаріусъ, по словамъ Петцольдта, «давно уже былъ проникнутъ убѣжденіемъ въ возможности достиженія устойчивыхъ воззрѣній на міръ только тогда, когда мы станемъ смотрѣть на вещи и событія, по возможности, независимо отъ всякихъ предвзятыхъ мнѣній,—предоставимъ окружающей насъ средѣ оказывать неограниченное на насъ воздѣйствіе, свободное отъ всякихъ съ нашей стороны прибавокъ или убавокъ; когда мы столь совершенно, сколько то возможно, приспособимъ наше мышленіе къ средѣ,—самымъ точнымъ образомъ приладимъ наши мысли къ фактамъ; когда мы устранимся отъ всякой метафизики, которая въ лучшемъ случаѣ представляетъ лишь «чародѣйство красныхъ вымысловъ», и не допустимъ ей имѣть какое бы то ни было вліяніе на изслѣдованіе; когда мы предоставимъ слово лишь опыту,—свободному отъ всякихъ внѣопытныхъ примысловъ,—«чистому опыту». Это убѣжденіе, создавшее величіе естественныхъ наукъ и получившее, благодаря процвѣтанію ихъ, силу и распространеніе, требовало, однако же, ближайшаго обоснованія и истолкованія своего содержанія. Чистый опытъ все же остается лишь запросомъ, пока въ незначительной еще сте-

пени удовлетвореннымъ. Сами естественныя науки и теперь еще остаются насквозь пропитанными метафизикой, и то, что онѣ выдаютъ за опыты, является нерѣдко продуктомъ поэтическаго творчества; ихъ опытъ предстоитъ еще очистить. И если въ точнѣйшихъ наукахъ считаемое за опытъ никогда имъ быть не могло, тѣмъ въ большей степени имѣетъ это мѣсто въ ненаучныхъ областяхъ мышленія. Изъ этого видно, что существуетъ два понятія опыта; понятія эти и слѣдуетъ установить и разграничить. (Цитир. соч. I, стр. 343).

Для рѣшенія этой задачи необходимо было прежде всего избрать достодолжную точку зрѣнія. Надо было рѣшить вопросъ, откуда слѣдуетъ наблюдать въ видахъ достиженія указаннаго выше установленія и разграниченія. Такъ какъ всѣ философскія направленія были въ этомъ смыслѣ безнадежны, то и слѣдовало избрать пунктъ внѣ ихъ. И затѣмъ, такъ какъ мыслимо-наивысшаго подъема знанія предстоитъ еще достигнуть, то при выборѣ пункта нельзя заботиться ни о «возможно-наибольшей высотѣ, ни о возможно-наибольшей глубинѣ, ни максимумѣ абстракратности», а умѣть только заручиться обезпеченіемъ намѣченнаго результата.

«Всякій авторъ, въ предисловіи каждаго новаго философскаго произведенія,—замѣчаетъ по этому поводу Карстаньенъ,—утверждаетъ, что ему удалось занять такую точку зрѣнія, которая стоитъ выше партій. Одинъ только Авенаріусъ можетъ утверждать, что это положеніе было имъ достигнуто. Поэтому-то всѣ выраженія, какъ идеализмъ и реализмъ, психическое и физическое, субъектъ и объектъ, и т. д., имѣющія смыслъ лишь какъ противоположности, потеряли для его ученія всякое значеніе». *(Фр. Карстаньенъ.* Введеніе въ «Критику чистаго Опыта». 2-е изд. 1899, стр. XVI).

Въ чемъ же заключается указанное здѣсь положеніе?

Характеризуя его, Авенаріусъ уподобляетъ себя тому философу, который предполагается стоящимъ среди рыночной толкотни, который, однако, находясь тутъ, ничего не покупаетъ и не продаетъ, а ограничивается ролью зрителя того, что происходитъ передъ его глазами; онъ странствуетъ по отдаленнымъ странамъ и сносится съ иноземными народами, но его побуждаетъ къ тому не намѣреніе совершать сдѣлки низшаго и высшаго порядка, а исключительно одно только желаніе разсмотрѣть то, что ему здѣсь представляется.—«И въ самомъ дѣлѣ,—

говоритъ Авенаріусъ,—я имѣю въ виду эту точку зрѣнія совершенно въ буквальномъ и мѣстномъ смыслѣ: мы находимся, съ одной стороны, по отношенію къ составнымъ частямъ окружающей насъ среды, а съ другой, по отношенію къ человѣческимъ индивидамъ, въ такой же точно мѣстной опредѣленности, въ какой находится путешественникъ по отношенію къ иноземному пейзажу и иноземному населенію; мы совершенно подобны зрителю на рынкѣ или въ театрѣ—по отношенію къ зрѣлищу и публикѣ». (Krit. d. r. Erf., I, п. 16, 17).

Опираясь такимъ образомъ на выбранную точку зрѣнія, Авенаріусъ получаетъ возможность установить двѣ основныя эмпріокритическія предпосылки; первая изъ нихъ относится къ содержанію познанія, а вторая—къ его формѣ.

Предпосылки эти получаютъ у Авенаріуса нижеслѣдующую формулировку:

1) Всякій человѣческій индивидъ первоначально принимаетъ себя противопоставленнымъ окружающей его средѣ съ многоразличными составными частями и другими человѣческими индивидами съ ихъ многоразличными высказываніями; все высказанное онъ считаетъ стоящимъ въ какой-нибудь зависимости отъ окружающей среды.

Содержаніе всѣхъ философскихъ міровоззрѣній — критическихъ и некритическихъ—представляетъ лишь измѣненія этой первоначальной предпосылки.

Послѣднія слова означаютъ, что до какихъ бы результатовъ ни дошли, напримѣръ, Платонъ, Спиноза, Кантъ, все же результаты эти были достигнуты ими черезъ положеніе этой предпосылки, отъ которой и они тоже исходили въ началѣ своего развитія.

2) Научное познаніе не обладаетъ существенно иными формами и средствами сравнительно съ ненаучнымъ. Всѣ спеціально-научныя формы или средства познанія представляютъ лишь видоизмѣненія доктрины.

Эти послѣднія слова означаютъ, что къ какимъ бы методамъ ни привела, напримѣръ, математика или механика, методы эти должны въ послѣднемъ итогѣ быть сведены къ простымъ и общимъ человѣческимъ функціямъ. («Kritik». Vorwort. S. VII).

Исходя изъ фактическаго, чисто-психологическаго опыта обыденной жизни, основоположенія эти приводятъ къ опыту гносеологическому, ставящему себѣ опредѣленныя цѣли и изби-

рающему опредѣленныя для достиженія ихъ средства. Онъ является, такимъ образомъ, провѣркой понятія опыта и его средствомъ. Разсматриваемая подъ этимъ угломъ, «Критика» является, согласно замѣчанію Петцольдта, «сравнительной психологіей» или «философіей исторіи философіи», вскрывающей мотивы всѣхъ до сихъ поръ предъявленныхъ философскихъ высказываній.

Сопоставляя выставленный Авенаріусомъ критическій аппаратъ съ догматическими утвержденіями Конта, мы можемъ увидѣть значительность раздѣляющаго этихъ двухъ мыслителей разстоянія. То, что у Конта является лишь предвосхищеніемъ, у Авенаріуса поднимается до полнаго достиженія. Законченная установленность его могущественной «Критики» требуетъ для своей пріемлемости соотвѣтственнаго подъема умственнаго уровня среды. Многое сдѣлано въ смыслѣ интесивности этой новой философіи и многое предстоитъ сдѣлать для ея экстенсивности. И если какой-нибудь старецъ ликуетъ теперь о томъ, что «недугъ позитивизма миновалъ», то съ увѣренностью можно сказать что ему придется вновь погрузиться въ меланхолію при мысли, что зараза эмпиріокритизма еще только-что начинается.

IV.

Разсмотрѣвъ «законъ трехъ состояній», мы совершили только часть пути отъ Конта къ Авенаріусу,—для довершенія его намъ предстоитъ пройти еще и остальную часть. Законъ трехъ состояній представляетъ основоначало, опредѣляющее характеръ позитивной системы, какъ цѣлаго, служащій основою контовской организаціи знанія. Организація эта, осуществленная у Конта классификаціей или іерархизаціей наукъ, представляетъ второе основоначало, опредѣляющее расчлененіе позитивной системы и установленіе порядка, связи и послѣдовательности ея частей. Ее и предстоитъ оцѣнить съ эмпиріокритической точки зрѣнія.

Припомнимъ, что контовская классификація наукъ заключается въ расположеніи шести такъ-называемыхъ абстрактныхъ наукъ въ линейный рядъ, части котораго слѣдуютъ въ порядкѣ убывающей сложности и возрастающей общности изучаемыхъ

каждою наукою явленій. Рядъ этотъ состоитъ изъ математики, астрономіи, физики, химіи, біологіи и соціологіи; иначе говоря, онъ разсматриваетъ сперва абстрактную идею величины, потомъ,—движенія, затѣмъ,—вещества, далѣе,—жизни и, наконецъ,—общественности. Въ этомъ расчлененіи общей совокупности знанія мы усматриваемъ прежде всего сохраненіе того характера его, который былъ установленъ закономъ трехъ состояній, и цѣнимъ въ этой выдержкѣ принципіальности важное достоинство классификаціи. Никакихъ мнимыхъ наукъ въ ней мы не видимъ, никакого традиціоннаго—метафизическаго или иного бреда въ ней нѣтъ и слѣда,—все въ ней стоитъ на уровнѣ «чистаго опыта». Но все ли достигшее или долженствующее достигнуть этого уровня ею охвачено? Вотъ вопросъ, на который приходится отвѣтить отрицательно: въ классификаціи нѣтъ науки о познаніи ни въ его общемъ—психологическомъ, ни въ частномъ—гносеологическомъ значеніи,—пробѣлъ, важность котораго невозможно перецѣнить. Лишаясь теоріи познанія, система удерживаетъ свой догматическій характеръ; обогащенная ею,—она падаетъ, такъ какъ присущая ей убыль общности и возрастаніе сложности оказываются нарушенными. Подавляемый этой альтернативой, позитивизмъ развиваться не можетъ, и переходъ его въ эмпиріокритицизмъ становится неизбѣжнымъ.

О позитивной классификаціи наукъ этимъ сказано, однако-же, не все: у классификаціи этой есть еще одна особенность, надъ которой весьма стоитъ остановиться, и которую мы теперь и разсмотримъ. Контовская классификація, какъ мы видѣли, сводится къ общей совокупности положительнаго знанія; философіи, какъ отдѣльной наукѣ, въ ряду наукъ мѣста не отводится,—вотъ, что я считаю дѣломъ первой важности. Если мы прослѣдимъ за этимъ вопросомъ въ связи съ разсмотрѣніемъ установленія понятія «чистаго опыта», то найдемъ, что рѣшеніе его Контомъ вполнѣ согласуется съ наиболѣе послѣдовательнымъ рѣшеніемъ его и въ эмпиріокритицизмѣ, хотя и отступающимъ на этотъ разъ отъ рѣшенія, даннаго ему самимъ Авенаріусомъ.

Исходимъ мы, конечно, все же изъ положеній самого Авенаріуса, а именно: для установленія всякой науки необходимо, чтобы матеріалъ науки представлялся въ формѣ понятій, и чтобы понятія эти непремѣнно заключали въ себѣ опредѣленное содержаніе.

Присмотримся ближе къ этимъ положеніямъ.

Обратимъ прежде всего вниманіе на то, что случайныя и разрозненныя свѣдѣнія, хотя и могутъ заключать въ себѣ познанное нѣчто, но установить науки не могутъ. Запасъ знаній колдуна, считающаго себя обладателемъ тайновѣдѣнія, сложиться въ науку, конечно, не можетъ,—такъ же, какъ и безсодержательныя понятія метафизики: вещь въ себѣ, сущность, субстанція, науки образовать не могутъ и восполняютъ свои недочеты продуктами фантазіи. И далѣе, наука не отмѣчаетъ всякаго особеннаго признака каждаго отдѣльнаго предмета, а вырабатываетъ совокупность всеобщихъ необходимыхъ, признаковъ его, составляющихъ научное его понятіе; такимъ образомъ и достигаетъ она научнаго знанія этого предмета. Имѣя въ своемъ распоряженіи рядъ такихъ понятій, наука образовываетъ затѣмъ новые ряды, которые относятся къ первымъ, какъ высшіе къ низшимъ, и, поднимаясь все выше и выше, стремится къ образованію одного—мыслимо-наивысшаго понятія, которымъ и завершается процессъ установленія науки. Это значитъ, что система понятій—низшихъ и высшихъ—сводится къ единству всеохватывающаго послѣдняго понятія. Единство это имѣетъ, какъ то и очевидно, чисто-формальное значеніе, такъ какъ оно принимается помимо провѣрки исходнаго пункта и не затрагиваетъ вопроса о содержаніи понятій, входящихъ въ систему. Изъ этого видно, какимъ образомъ возможна чисто-формальная, т.-е. мнимая наука,—система понятій, образовавшаяся изъ всякихъ данныхъ,—фиктивныхъ въ томъ числѣ.

Но если мнимая наука формируетъ понятія изъ матеріала, провѣркѣ не подвергавшагося, то она не имѣетъ объекта; если въ нее можетъ входить и психопатическій бредъ, и продукты фантазіи, и ошибочныя заключенія о данныхъ окружающей среды, то такая наука въ послѣднемъ счетѣ сводится къ психологіи индивида, къ калейдоскопу его впечатлѣній, возбужденій, импульсовъ,—настроеній вообще; она никакого иного содержанія въ себѣ не заключаетъ. Сама она можетъ стать матеріаломъ для науки о мнимомъ, которая и поставитъ своею задачею обслѣдованіе произведшаго мнимыя понятія психическаго фактора. Не то—наука, почерпающая свое содержаніе изъ провѣреннаго критикою опыта: при образованіи понятій она не разрываетъ связи со своимъ источникомъ и каждый свой шагъ подвергаетъ обсужденію и провѣркѣ. Она, согласно формули-

ровкѣ Петцольдта, всегда охватываетъ единичное взглядомъ, устремленнымъ на цѣлое, и никогда не оставляетъ представленія цѣлаго безъ связи съ изученіемъ единичнаго. Таково всегда было и таковымъ только и можетъ быть реально-достигнутое мыслимо-наивысшее устойчивое познаніе.

При такой постановкѣ вопроса объ установленіи науки остается еще разслѣдовать, является ли процессъ этого установленія цѣлостнымъ, или въ немъ неизбѣжно долженъ оказаться перерывъ однородности, иначе говоря,—долженъ обозначиться моментъ, когда характеръ процесса необходимо измѣнится и изъ научнаго станетъ философскимъ.

Авенаріусъ, конечно, признаетъ, что опытныя науки противопоставляютъ философіи не съ точки зрѣнія опыта,—общаго ихъ основанія, а лишь постольку, поскольку опытныя науки—науки спеціальныя, а философія—наука всеобщая,—наука, объединяющая понятія, вырабатываемыя отдѣльными дисциплинами, и подводящая ихъ подъ высшее, общее понятіе; поэтому онъ и усматриваетъ въ процессѣ образованія понятій такой моментъ, когда понятія, хотя и не перестаютъ оставаться научными, становятся вмѣстѣ съ тѣмъ философскими, т. е. пріобрѣтаютъ характеръ, бывшій имъ ранѣе чуждымъ. Онъ находитъ, что если всякая спеціальная наука вырабатываетъ только спеціальныя понятія, т. е. тѣ понятія, которыя она можетъ выработать, не выходя изъ круга своей спеціальности, безъ вниманія къ нуждамъ другихъ спеціальныхъ наукъ, то задача выработки общихъ понятій изъ частныхъ понятій двухъ или нѣсколькихъ спеціальныхъ наукъ должна представлять особенности и трудности, чуждыя кругу спеціальныхъ наукъ. Ни одинъ изъ спеціальныхъ методовъ не можетъ оказаться годнымъ самъ по себѣ для преодолѣнія этихъ трудностей; для разрѣшенія задачи потребуется отчасти подвергнуть болѣе строгой логической обработкѣ односторонніе спеціальныя понятія, отчасти провѣрить прикладные методы посредствомъ методологическаго анализа и въ то же время изслѣдовать физіологическую и (въ широкомъ смыслѣ) психологическую сторону вліянія субъекта. Понятно, что общая совокупность частныхъ понятій спеціальныхъ наукъ наложитъ на умственную работу особый отпечатокъ: мышленіе опредѣлится всестороннѣе, станетъ шире, отвлеченнѣе въ отношеніи логическомъ, глубже—въ психологическомъ. Тутъ-то, поэтому, и лежитъ та граница, которую собственно-спеціаль-

ное мышленіе не осмѣливается переступать, та область, въ которой инстинктъ спеціалиста безошибочно чуетъ философію, и куда, поэтому, спеціалистъ не вступаетъ, предпочитая предоставить изслѣдованіе ея философу. Спеціалисты и не подымаютъ, впрочемъ, науки до ея заключительныхъ понятій: это дѣло остается принадлежностью умовъ, предрасположенныхъ къ обобщеніямъ.

Петцольдтъ находитъ неправильнымъ такой ходъ разсужденія, указывая, что отдѣльныя науки по свойству своихъ предметовъ неизбѣжно находятся между собой во взаимодѣйствіи. Онѣ и принуждены, поэтому, исправлять одна у другой важныя основныя положенія; такъ, физикѣ и химіи, напримѣръ, приходится вырабатывать соглашеніе относительно понятія атомовъ. Подобная же взаимность существуетъ между геологіей и біологіей, физикой, физіологіей и психологіей; вездѣ проявляются разнообразнѣйшія соотношенія, вездѣ объявляются настоятельныя требованія обоюднаго приспособленія посредствомъ устраненія противорѣчій, помѣхъ, излишествъ; вездѣ—стремленіе къ окончательному устойчивому состоянію,—къ такому состоянію, въ которомъ могло бы найти покой теоретическое мышленіе. Если же мы предоставимъ спеціальнымъ наукамъ не только взаимно совершенствовать ихъ частныя понятія, но возложимъ еще на нихъ выработку и высшихъ понятій ихъ областей изслѣдованія, не признавая такой работы философскою, то почему бы не потребовать отъ нихъ установки и самаго высшаго общаго понятія, какъ увѣнчанія ими же самими воздвигнутаго зданія; зачѣмъ считать нужнымъ относить эту работу, качественно ничѣмъ не отличающуюся отъ предыдущей, къ какому-то особенному, не естественно-научному, а философскому мышленію? Вѣдь допускаетъ же самъ Авенаріусъ, что психологія, находившаяся прежде въ полной зависимости отъ философіи, пріобрѣла въ настоящее время полную самостоятельность, отнявъ у философіи существенную часть ея задачи. Эта часть заключается, однако же, въ самомъ основномъ ея понятіи,—томъ понятіи, которымъ охватывается все существующее.

Философское мышленіе,—продолжаетъ далѣе Петцольдтъ,—характеризуется, однако же, не однимъ тѣмъ, что оно направлено только на общую совокупность существующаго, хотя черта эта,—какъ показалъ Авенаріусъ,—и существенна,—но

еще и тѣмъ, что оно стремится отнестись, по возможности, непредубѣжденно къ даннымъ отдѣльнымъ явленіямъ и связываетъ это стремленіе со своимъ взглядомъ на цѣлое. Эта сторона мышленія, какъ справедливо указалъ уже Э. Махъ, и придаетъ воззрѣніямъ собственно философскій характеръ; она присуща всякому великому философу. Философія не принадлежитъ къ числу отдѣльныхъ наукъ: ни по особенности своего содержанія, ни по особливости того общаго понятія, которое могло бы отрознить ее отъ совокупности спеціальныхъ дисциплинъ; она заключается исключительно въ томъ всеохватывающемъ, непредубѣжденномъ мышленіи, которое всѣ отдѣльныя части цѣлаго связываетъ живыми отношеніями и, такимъ образомъ, создаетъ для себя по отношенію къ явленіямъ спокойную обезпеченность. Между истинною наукою и истинною философіею противорѣчія не существуетъ. Для дѣйствительно плодотворной и сознательной работы обѣ должны итти непремѣнно рука объ руку: философъ, наблюдающій за общимъ направленіемъ подвигающейся впередъ работы человѣческой мысли, долженъ непосредственнымъ вмѣшательствомъ въ спеціальные труды исправлять ихъ; а спеціалистъ не долженъ терять изъ вида общаго направленія для того, чтобы всегда понимать свое положеніе и не намѣчать такихъ «научныхъ» результатовъ, которые вполнѣ безразличны для цѣлаго и способны только возбуждать у проницательныхъ наблюдателей сожалѣніе о напрасно растраченныхъ силахъ. Спеціалистъ, ничего не вѣдающій о великомъ пути всей вообще науки, подобенъ отдѣльному солдату въ арміи, который, хотя и работаетъ для однѣхъ съ нею цѣлей, но остается въ невѣдѣніи о нихъ, а потому легко можетъ преувеличить значеніе своихъ дѣйствій или преумалить значеніе дѣятельности другихъ; онъ идетъ безсознательно, а потому не свободно; онъ—орудіе развивающагося дѣла; если его не поведутъ другіе, онъ, всего вѣроятнѣе, направится скорѣе по ложному, нежели по вѣрному пути.

При первомъ взглядѣ на разногласіе Авенаріуса и Петцольдта по разсматриваемому вопросу можетъ показаться, что разногласіе это не глубоко, такъ какъ Авенаріусъ, хотя и допускаетъ извѣстное различіе между наукою и философіею, все же признаетъ ихъ единство и утверждаетъ, что наука, которая не была бы философіей, такъ же невозможна, какъ и философія, которая не была бы наукою. Однако же, допущеніе раздвоенія

въ ходѣ образованія понятій является скорѣе признакомъ согласованія философіи и науки, нежели реальнаго ихъ единства, съ особенною выразительностью подчеркиваемаго Петцольдтомъ. Если бы разногласіе въ самомъ дѣлѣ не шло глубоко, оно не сказалось бы въ отрицаніи Петцольдтомъ самой возможности научной постановки «понятія міра»,—предмета отдѣльной науки—философіи, трактованной въ сочиненіи Авенаріуса «Der Menschliche Weltbegriff».

Самъ Авенаріусъ, когда заходила рѣчь о томъ, къ чему, въ концѣ концовъ, можетъ быть сведенъ міръ, какъ цѣлое, обыкновенно цитировалъ извѣстное изреченіе Гете: «при изученіи природы должно одинаково заботиться о единичномъ и о цѣломъ; ничего нѣтъ внутренняго, ничего нѣтъ внѣшняго, такъ какъ бывшее внутреннимъ стало уже внѣшнимъ». Онъ говорилъ также, что «ему неизвѣстно ни физическое, ни психическое, а только третье». Вотъ это третье и представляетъ собою отвѣтъ на поставленный вопросъ, и если одинъ изъ нѣмецкихъ философовъ (Бауманнъ) и счелъ умѣстнымъ язвительно замѣтить, что «понятіе этого третьяго Авенаріусъ не установилъ», то это показываетъ только, что философъ не уловилъ мысли Авенаріуса, и болѣе ничего. Да, онъ не установилъ этого понятія, и не установилъ по той простой причинѣ, что установить его невозможно за отсутствіемъ противоположнаго. Петцольдтъ и приходитъ, поэтому, къ утвержденію, что спрашивать о томъ, что такое міръ, какъ цѣлое, нелогично. Міръ, дѣйствительность, все, данное—не понятія, а названія. Понятія міра нѣтъ и никогда не было: оно немыслимо. Не существуетъ, поэтому, никакой міровой загадки или міровой проблемы, или какъ бы тамъ онѣ не обозначались. Объ этой проблемѣ стоитъ столько же заботиться, какъ о квадратурѣ круга. (Цитир. соч., стр. 305 и 328).

Слѣдуя за Петцольдтомъ нельзя не прійти къ тому окончательному заключенію, что философія, переставъ быть отдѣльной наукой, устранила тѣмъ самымъ и этотъ громаднаго значенія примыселъ; она окончательно слилась съ наукою. Такою философіею должны мы представлять себѣ философію эмпиріокритическую. Она—наука, она—философія, она—научная философія: назовите ее, какъ хотите. «Good alone is good without a name». И затѣмъ, нѣтъ никакой надобности спрашивать объ особомъ предметѣ философіи, особомъ ея методѣ, о спеціально

ею выработанныхъ положеніяхъ, а также и о пограничной чертѣ, отдѣляющей ее отъ науки. Если Авенаріусъ допускалъ существованіе этой черты, то, вѣдь, онъ для обозначенія ея не указалъ никакихъ опредѣленныхъ признаковъ и сдѣлалъ всѣ поиски этой черты безполезными. Наука вовсе не представляетъ преддверія святилища, именуемаго философіей, и тотъ, кто поддается искушенію этою мыслью, попадаетъ въ положеніе, аналогичное съ положеніемъ поклонника Аммонъ-Ра: онъ становится лицомъ къ лицу съ тайною—съ закрытымъ ковчежцемъ; но вотъ, іерофантъ открываетъ ковчежецъ, и оказывается, что онъ пустъ. Тогда только и становится ясно, что поиски были направлены не въ ту сторону, что разгадка не лежитъ скрытою гдѣ-то, какъ кладъ, что поразившая насъ пустота того объекта, въ которомъ мы мечтали найти ее, указываетъ, что не тутъ, а въ полнотѣ окружающаго насъ міра должны мы искать основанія для нашихъ высказываній. Эти послѣднія, которыя, будучи эмпирическими, а вмѣстѣ съ тѣмъ и критическими, приведутъ насъ прямымъ путемъ на мыслимо-наивысшую ступень познанія,—единственную опору и единственное основаніе нашей дѣятельности.

1904.

СТАТЬЯ НЕОЗАГЛАВЛЕННАЯ АВТОРОМЪ [1]).

Девятнадцатый вѣкъ подходитъ къ концу; является возможность сдѣлать теперь же подсчетъ накопленному имъ философскому достоянію и, выдѣливъ изъ этого достоянія то, что въ качествѣ «переходящихъ цѣнностей», составляетъ наслѣдіе вѣковъ минувшихъ, опредѣлить произведенный нашимъ вѣкомъ приростъ этихъ цѣнностей и такимъ образомъ выяснить значеніе философскаго наслѣдія XIX вѣка въ опредѣленномъ, тѣсномъ смыслѣ этого термина. Отъ кончины Канта, въ четвертомъ году по началѣ вѣка, до кончины Авенаріуса, за четыре года до конца его, лежитъ девяностодвухлѣтній періодъ, поражающій съ перваго взгляда громадностью произведенной имъ философской работы, ея сложностью и разнообразіемъ. Присматриваясь къ ней пристальнѣе, мы прежде всего видимъ груду рухнъ,—это старое наслѣдіе вѣковъ минувшихъ, но среди ихъ мы замѣчаемъ и продукты собственной дѣятельности нашего вѣка,—результаты трудовъ цѣлаго ряда поколѣній, потратившихъ массу духовныхъ силъ ради всего этого столь драгоцѣннаго для нихъ достоянія философіи. Озирая представляющуюся намъ картину въ ея общихъ очертаніяхъ, можно уже уловить основной общій характеръ ея отдѣльныхъ частей: внизу, среди болѣе или менѣе густого тумана, мы замѣчаемъ лабиринты пе-

---

[1]) Настоящая, неозаглавленная авторомъ статья составлена имъ изъ отрывковъ трехъ предшествующихъ статей: 1) «Философское наслѣдіе XIX в.», 2) «Философскія воззрѣнія Ог. Конта» и 3) «Отъ Конта къ Авенаріусу» съ небольшими вставками. Повидимому авторъ имѣлъ въ виду дать краткое изложеніе названныхъ статей. Возможно также, что статья была предназначена для перевода на украинскій языкъ. Между прочимъ авторъ всѣ собственныя имена иностранныхъ писателей далъ въ ихъ подлинномъ начертаніи. *Прим. ред.*

реживаній (survivances):—тутъ есть и ветхій днями «буддизмъ» въ его новой теософической реставраціи, напоминающій храмъ въ Будда-Гайѣ (Bouddha-Gaya), подправленный современными зодчими; тутъ есть и внушительный «платонизмъ»,—особенно даже много «платонизма»:—во всякаго рода «теологизмѣ», во всякаго рода причудливыхъ метафизическихъ конструкціяхъ, во всякаго рода философскихъ фантазерствахъ вообще; тутъ есть, наконецъ, и молодящійся «схоластицизмъ» и всевозможные философскіе «quolibets». Предметы здѣсь многочисленны и разнообразны, но «специфически своего» девятнадцатый вѣкъ здѣсь не имѣетъ ровно ничего. Выше всего этого, окутаннаго туманомъ пространства, виднѣются уже плоды собственной производительности нашего вѣка и среди нихъ висятъ на отдѣльностоящихъ вершинахъ немногія величественныя сооруженія,—слава и гордость нашего столѣтія, его великое наслѣдіе вѣкамъ грядущимъ. Они отмѣчаютъ собою поступательный ходъ философской мысли, поднявшейся до этихъ высей, ими свидѣтельствуется о собственно *этимъ* вѣкомъ созданномъ вкладѣ въ общую сокровищницу философскаго знанія; они выражаютъ собою философскій завѣтъ вѣка, завѣтъ ясно сформулированный, твердо выраженный, величаво-спокойный и обнадеживающій.

Можно продолжать далѣе это уподобленіе и сказать, что подобно тому, какъ восхожденіе на горныя вершины даетъ намъ возможность оріентироваться во всей окрестной странѣ, такъ и проникновеніе на вершины умственнаго подъема вѣка даетъ возможность оріентироваться среди многосложныхъ и разнообразныхъ философскихъ наносовъ и образованій. И въ самомъ дѣлѣ, стоитъ намъ лишь добраться до одной изъ этихъ вершинъ—философской системы Ог. Конта (August Comte), какъ вмѣсто общихъ, огульныхъ чертъ представляющейся намъ картины, получается, благодаря пріобрѣтенной возможности различенія, значительная расчлененность очертаній и бо́льшая опредѣленность въ свѣтотѣни. Я имѣю въ виду главнымъ образомъ всѣмъ извѣстный нынѣ «законъ трехъ состояній». Законъ этотъ, какъ всякій знаетъ, различаетъ философскія воззрѣнія, «олицетворяющія», либо же «объективирующія» отвлеченныя понятія, отъ такихъ, которыя отъ подобной характеристической черты свободны. Крѣпко держась за эту путеводную нить и смѣло пускаясь съ нею въ ходы и переходы открывающагося передъ нами лабиринта, мы, обойдя кругомъ всю разстилаю-

щуюся передъ нами область, поставимъ себѣ вопросъ: въ чемъ же заключается указанное «олицетвореніе» и «объективированіе» и какимъ образомъ произошло ихъ принципіальное устраненіе? Та высшая оріентировка, которою мы пользуемся, легко поведетъ насъ далѣе, выше, и покажетъ, что, какъ «олицетвореніе», такъ «объективированіе» понятій является результатомъ того простого процесса, благодаря которому мы не мыслимъ вещь такою, какъ она есть, а прибавляемъ къ ней извѣстный примыселъ, вкладываемъ въ нее нѣчто отъ себя. Этотъ примыселъ и служитъ основой всѣхъ формъ міровоззрѣнія, начиная съ первобытнѣйшаго «анимизма» и кончая современной метафизической системой. Если въ извѣстной части философскихъ воззрѣній слѣдовъ его не оказывается, то самъ собою возникаетъ вопросъ о томъ процессѣ который привелъ къ его устраненію, его причинахъ, его успѣшности или неуспѣшности,— вопросъ, въ свою очередь, приводящій къ разсужденію объ условіяхъ, необходимыхъ для установленія такихъ воззрѣній, которыя были бы чужды всякихъ примысловъ и могли бы прямо и непосредственно приводить къ «чистому опыту».

Наше простое соображеніе,—простое потому, что мы говоримъ о Колумбовомъ яйцѣ послѣ Колумба,—находитъ себѣ важное подтвержденіе даже и въ самомъ бѣгломъ взглядѣ на характеръ дѣятельности и другого представителя кульминаціоннаго подъема философской мысли XIX вѣка, Людвига Фейербаха, параллелизмъ воззрѣній котораго съ воззрѣніями Ог. Конта, при взаимномъ незнаніи ими сочиненій другъ друга, былъ уже указанъ біографомъ Фейербаха, проф. Гельсингфорскаго университета Болиномъ (W. Bolin). И въ самомъ дѣлѣ, вся философская дѣятельность нѣмецкаго мыслителя существеннымъ образомъ заключалась въ раскрытіи содержанія «олицетвореній» и «объективированій» и—соотносительно—въ исканіи выходовъ изъ-подъ гнета преданій, ими обусловленныхъ. На насъ, Фейербахъ (L. Feuerbach) производитъ свѣжее, оздоравливающее, бодрящее вліяніе. Поборникъ «истинной философіи», въ смыслѣ «истинной и всеобщей эмпиріи», уединенный и многострадальный нѣмецкій философъ стремился къ такой философіи, которая была бы «познаніемъ того, что есть». Онъ презрительно отзывался о тѣхъ, которые считаютъ такое знаніе «поверхностнымъ» и возводятъ къ «глубокомыслію» всякое мыслеизвращеніе. Философіи, говоритъ онъ, вновь предстоитъ всту-

пить въ союзъ съ естествознаніемъ, естествознанію съ философіей. Внѣ такого союза философія представлялась ему лишенною своего raison d'être, и онъ утверждалъ, что «новая единственно—*позитивная* философія есть отрицаніе всякой философіи школъ» (Sämtliche Werke. 1846. II Band. S. 246).

Пріобрѣвъ въ Ог. Контѣ и Фейербахѣ геніальныхъ выразителей, анти-метафизическое, эмпирическое направленіе въ философіи не могло ни потеряться, ни захирѣть. Метафизическое умозрѣніе, тѣснимое изъ своихъ центровъ, хотя и оставалось еще господствующимъ въ отдѣльныхъ наукахъ, но и здѣсь, мало-по-малу,—трудами самихъ же спеціальныхъ ученыхъ,—все болѣе и болѣе стала торжествовать чистая отъ всякаго умозрѣнія, зиждущаяся на одномъ только опытѣ и ни къ какимъ традиціямъ не прилаживающаяся наука. Сближеніе философіи и науки становилось обоюднымъ, и понемногу начала подготовляться почва для признанія ихъ принципіальнаго единства.

Успѣхъ развитія отдѣльныхъ наукъ влечетъ еще за собой и то послѣдствіе, что достигшія извѣстной стадіи зрѣлости науки перестаютъ нуждаться не только въ заимствованіи своихъ руководящихъ принциповъ отъ какой-то фиктивной и все болѣе и болѣе становящейся имъ чуждой, якобы центральной науки, но и въ какомъ-бы то ни было ея руководительствѣ. Здѣсь, на первомъ планѣ, можно поставить основанную Ог. Контомъ науку объ обществѣ—соціологію, разработкою которой много занимались во второй половинѣ нашего вѣка во всемъ образованномъ мірѣ. Укажу хоть на два имени: имя Герберта Спенсера, и имя Лестеръ Уорда (Lester Ward).

Если г. Уордъ (Ward) и не пользуется въ Европѣ тою степенью извѣстности, которую заслуживаетъ, то это происходитъ главнымъ образомъ оттого, что, хотя литература всѣхъ областей изученія, и у спеціалистовъ, и у философовъ значительно и расширилась въ послѣднее время, все же она недостаточно уравновѣшиваетъ иноземные и своеземные элементы и болѣе или менѣе вдвигаетъ себя въ рамки партикуляризма. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда захватъ автора является достаточно обширнымъ, крупныя личности неизбѣжно оказываются привлеченными въ сферу изслѣдованія и здѣсь, далеко не страшась сравненій, которымъ ихъ подвергаютъ, горделиво возвышаются надъ массою тѣхъ, которыя имѣютъ мѣстное значеніе. Вотъ это именно и случилось съ Л. Уордомъ въ изслѣдованіи

Гейнриха Вентига *(Heinrich Waentig.* Auguste Comte und seine Bedeutung für die Entwicklung der Socialwissenschaft. 1894).

Одновременно съ соціологіей, становится на ноги и этика, и психологія, а подъ вліяніемъ извѣстнаго «поворота къ Канту», и теорія познанія. Этотъ поворотъ, замѣтить надо при этомъ случаѣ, обусловилъ собою возникновеніе не одного только «новокантіанства» и, взятый въ цѣломъ, вовсе не имѣлъ того узкаго, односторонняго и тупого призыва къ метафизикѣ, который вздумали приписывать ему нѣкоторые философы. Не надо забывать, что «поворотъ къ Канту», какъ замѣчаетъ Гёфдингъ въ своей «Ист. нов. философіи», привелъ многихъ къ позитивизму (Gesch. d. neuern Philos. 1896. II. S. 616), т.-е., очевидно, къ позитивизму въ широкомъ смыслѣ. И въ самомъ дѣлѣ, вызванное «поворотомъ къ Канту» изученіе его играло, несомнѣнно, большую роль въ выработкѣ совершенно независимой отъ Канта «Критической философіи» Карла Гёринга, тяготѣющаго не только къ позитивизму въ широкомъ смыслѣ, но отчасти даже и къ контизму, и въ философіи Алоиза Риля, стремящагося обосновать позитивизмъ заново на критической почвѣ, а также и отрицательно относящагося къ Канту Э. Лааса—автора извѣстнаго сочиненія «Idealismus und Positivismus».

Усвоеніе названія позитивизма Рилемъ и Лаасомъ для ихъ доктринъ было, конечно, «признакомъ времени»: оно выражало назрѣвающій союзъ эмпиризма со свободнымъ отъ Кантовыхъ традицій критицизмомъ и указывало на близость того времени, когда мощный геніальный умъ, охвативъ однимъ высшимъ синтезомъ всѣ подготовленные предшествующею умственною работою элементы, установитъ ту высшую точку зрѣнія, которая озаритъ новымъ свѣтомъ всю область научнаго познанія и своимъ верховодящимъ и всеохватывающимъ значеніемъ дастъ концу нашего вѣка истинно-научную философію. Дѣло это было сдѣлано покойнымъ цюрихскимъ профессоромъ—Рихардомъ Авенаріусомъ, а его «эмпиріокритицизмъ» и представляетъ собою именно тотъ послѣдній фазисъ развитія философіи, который мы можемъ считать «философскимъ наслѣдіемъ XIX вѣка» по преимуществу.

Поступательное движеніе передовыхъ двигателей европейской мысли XIX столѣтія захватывало, конечно, примыкающія къ нимъ а также болѣе или менѣе близко къ нимъ стоящую группу матеріалистовъ: здѣсь анти-метафизическое настроеніе

вмѣстѣ со стремленіемъ къ научному обоснованію руководящихъ теорій не оправдывалось состоятельностью послѣднихъ, и группы эти, расшатанныя критикою, потеряли во второй половинѣ вѣка свое прежнее значеніе и вліяніе. Сама критика, однако же,—въ томъ случаѣ, когда она была безпристрастна, какъ критика Ф. А. Ланге (Fr. A. Lange), напримѣръ,—признали просвѣтительную роль этихъ группъ и несомнѣнныя ихъ заслуги прогрессу положительнаго знанія. Теоріи ихъ отжили, но онѣ не прошли безслѣдно для ихъ современниковъ и для потомства: онѣ въ соотвѣтственной мѣрѣ способствовали осуществленію усилій грядущаго поколѣнія тружениковъ и память ихъ навсегда останется окруженная почетомъ. Чѣмъ болѣе же станемъ мы отходить отъ свѣтлой полосы, представляющей собою путь передовыхъ бойцовъ прогрессивной мысли и родственныхъ имъ группъ, тѣмъ болѣе будемъ вступать въ область всевозможнѣйшихъ реабилитацій, реставрацій и реституцій, которымъ и конца нѣтъ. Уже съ самаго начала столѣтія начинается «нагроможденіе заблужденій до такой высоты, что они стали замѣтны и близорукимъ»; фантастическія догматическія системы слѣдовали одна за другой, и даже Шопенгауэръ, представляющій все же таки реакцію возрождающагося критическаго духа, направленную противъ главныхъ вождей метафизики, не въ состояніи былъ освободиться отъ основной ошибки своего времени и объявилъ философію «знаніемъ завершеннымъ», къ суммѣ котораго факты ничего прибавить не могутъ. (*C. Göring*. System d. Kritischen Philos., I. S. 9).

Всей этой массѣ, путавшейся въ разнообразнѣйшихъ перекраиваніяхъ всякаго философскаго старья, Ог. Контъ противопоставилъ свое ученіе (doctrine), бывшее въ полномъ смыслѣ moderne.

Moderne не значитъ еще nouveau: самъ Контъ указываетъ на предшествующіе ему элементы позитивизма. Moderne не то, что возникло непремѣнно сегодня, но то, что таково по своему духу, что освобождается отъ *примѣсей теологіи* и отъ примѣсей метафизики, что опирается на наблюденіи, что отрицаетъ все мнимое, презираетъ все безсодержательное, отвергаетъ всѣ пустыя понятія, что вырабатываетъ свое содержаніе совершенно такъ же, какъ его вырабатывали положительныя науки. Изъ этого видно, что элементы позитивизма разсѣяны по всему полю человѣческой мысли: ихъ можно найти у Давида Юма

(David Hume), Вольтера, Тюрго, Кондорсэ. Бюрдена, Сенъ-Симона; ихъ можно найти и у современниковъ Конта: въ Англіи у J. S. Mill, въ самой Франціи у Біо (Biot). Но всѣ эти элементы оставались разрозненными. Объединилъ ихъ впервые Контъ, и въ этомъ и заключается его заслуга и его роль въ исторіи позитивизма. «Тысячи разрабатывали науку», говоритъ Льюисъ (G. H. Lewes) въ своей Исторіи Философіи, «и хотя и имѣли при этомъ блестящій успѣхъ, никто, однако же, не далъ идеи той философіи, которая должна возникнуть изъ организаціи наукъ. Нѣкоторые видѣли необходимость распространенія научнаго метода на всѣ области изслѣдованія, но никто не видѣлъ, какимъ образомъ распространеніе это можетъ осуществиться... Позитивная философія нова какъ философія, а не какъ совокупность никогда ранѣе не предвидѣнныхъ истинъ. Ея новость заключается въ организаціи существовавшихъ ранѣе элементовъ. Ея истинный принципъ предполагаетъ поглощеніе всего того, что было совершено великими мыслителями; усвоивая результаты ихъ работъ, она широко прилагала ихъ методъ. Матеріалъ позитивной философіи былъ Контомъ унаслѣдованъ; организація же этого матеріала была создана имъ самимъ». Въ созданіи этой организаціи и заключается великая историческая заслуга О. Конта, такъ какъ именно ею проявляется та высокая творящая сила, которой во всякой эволюціи обязаны своимъ существованіемъ моменты новообразованій.

Всякое новообразованіе представляетъ собою то заключительное состояніе приводящихъ въ данную эволюцію элементовъ, которое устанавливается послѣ того, какъ всѣ стадіи колебаній, сопровождавшихъ процессъ уравновѣшенія этихъ элементовъ, будутъ пройдены и отойдутъ въ прошедшее. Новообразованіе, являясь окончательнымъ результатомъ этого процесса, представляется именно тѣмъ его моментомъ, который можетъ стать исходной точкой новой эволюціи, будь то для того же самаго лица или же для другого. Я только что указалъ на такой моментъ у Конта въ созданномъ имъ объясненіи элементовъ позитивизма (unification des éléments du positivisme), но мы знаемъ, что онъ былъ у Конта не заключительнымъ, а представлялъ исходную точку для перехода къ новому, характеризуемому мистико-догматическою доктриною послѣдняго фазиса умонастроенія Конта. Дальнѣйшая эволюція воззрѣній Конта ярко обрисовываетъ различіе указываемыхъ двухъ мо-

ментовъ и ее нельзя не отмѣтить при настоящемъ случаѣ. Тогда какъ то новообразованіе, которое имѣетъ своимъ выраженіемъ позитивную философію, послужило исходною точкою для великаго научно-философскаго движенія, наполняющаго собою всю вторую половину нашего вѣка;—второе, хотя имѣющее для біографіи Конта въ высшей степени важное значеніе, представляется въ историческомъ отношеніи совершенно ничтожнымъ: будучи не болѣе какъ рядомъ повтореній воззрѣній Конта, послѣдующее прозябаніе мистико-догматической доктрины не отмѣчено своего рода новообразованіемъ, а потому и является однимъ лишь блѣднымъ спискомъ, интересъ котораго всегда уступалъ интересу, возбуждаемому оригиналомъ. Списокъ этотъ, какъ то и *неизбѣжно, всегда оставался* и до сихъ поръ остается въ тѣни.

То новообразованіе, которое вылилось у Конта въ форму позитивной философіи, и въ самомъ дѣлѣ стало исходною точкою для новой работы научно-философской мысли въ Европѣ, какъ только мысль эта въ среднемъ уровнѣ своего развитія поднялась настолько, что оказалась способною усвоить такую точку зрѣнія. Черезъ тридцать-пять лѣтъ по выходѣ въ свѣтъ перваго тома «Курса» и черезъ двадцать-три по выходѣ послѣдняго, Милль констатируетъ возбужденіе интереса къ позитивизму въ Англіи и на континентѣ. Онъ отмѣчаетъ, что теперь уже интересъ этотъ переступилъ границы кружка учениковъ Конта, въ средѣ которыхъ онъ былъ живъ и ранѣе, а выплылъ изъ глубины философіи на ея поверхность. Подымаясь съ тѣхъ поръ все выше и выше, значеніе позитивизма стало настолько виднымъ, вліяніе его настолько обширнымъ, что возникла цѣлая литература позитивизма о позитивизмѣ и противъ позитивизма. Въ настоящее же время значеніе позитивизма стало высоко еще и потому, что возникшее и развившееся независимо отъ него научно-философское движеніе, занимая подобно ему антиметафизическое и опирающееся на науку положеніе, представляется, хотя и обошедшимъ его, все же таки близкимъ ему и родственнымъ. Послѣ Милля, Литтре и Твестена научное направленіе философіи выставило цѣлый рядъ такихъ именъ, какъ Лесли Стивенъ, Лестеръ Уордъ, Коттеръ Морисонъ, Эрнестъ Лаасъ, Алоизъ Риль и, наконецъ, глава эмпиріокритической школы Рихардъ Авенаріусъ. Можно сказать, что ростъ научной философіи былъ поразителенъ; рѣзко

оттѣняя всѣ мистическія и метафизическія перемѣны вплоть до необуддизма включительно, онъ рѣшительно вскрываль роковую пустоту, скрываемую производимымъ, ими шумомъ и безнадежность ихъ усилій сдвинуться съ мертвой точки, вѣчно пребывать на которой они являются обреченными своими же собственными принципами.

Все это приводитъ къ опредѣленію значенія позитивизма для позднѣйшаго времени.

Установленныя Контомъ организаціи позитивныхъ элементовъ основываются, какъ извѣстно, на признаніи превосходства научнаго метода надъ теологическимъ и метафизическимъ, но онъ нисколько не предполагаетъ—какъ то иногда высказывалось—преувеличенной оцѣнки дѣйствительнаго состоянія научнаго знанія; напротивъ того, Контъ не теряетъ изъ виду и прямо высказываетъ убѣжденіе въ неудовлетворительности ихъ состоянія. Онъ находитъ, что научное знаніе и недостаточно проникнуто философіей, и слишкомъ спеціализировано. Онъ именно и устанавливаетъ его организацію для того, чтобы способствовать дальнѣйшимъ его успѣхамъ. Онъ утверждаетъ, что, страдая отсутствіемъ организаціи, знаніе неизбѣжно подвигается впередъ слишкомъ медленно и что настало время положить этому конецъ (Cours, VI, LIX; I, 1).

Рѣшивъ поэтому дать знанію новую организацію, Контъ разсчитывалъ на существенное вліяніе ея на весь ходъ дальнѣйшаго научнаго развитія.

Посмотримъ теперь, въ какой мѣрѣ осуществились эти разсчеты, т.-е. въ какой мѣрѣ позитивизмъ оказался на уровнѣ послѣдующаго научно-философскаго развитія.

Начнемъ съ «закона трехъ состояній».

Оставляя безъ разсмотрѣнія соціологическое значеніе этого закона, какъ относящееся къ одной изъ отдѣльныхъ наукъ Контовскаго ряда, я остановлюсь только на имѣющемъ общее для всей системы значеніе его—значеніе гносеологическое.

Изъ формулировки «закона трехъ состояній» можно видѣть, что основной идеей этого закона является сведеніе наблюдаемыхъ явленій сперва на олицетворенія, затѣмъ—на объективированія понятій и, наконецъ, на доступный наблюденію фактъ закономѣрности явленій, т.-е. неизмѣнности отношеній послѣдовательности ихъ и сходства. Всякое сведеніе явленія на другое явленіе или же на предполагаемую внѣ области опыта сущ-

ность обыкновенно называется *пониманіемъ* этого явленія или—соотносительно—*объясненіемъ* его. Итакъ, «законъ трехъ состояній» есть законъ пониманія или объясненія явленій въ трехъ различныхъ формахъ умственнаго состоянія. Законъ этотъ показываетъ, что въ первыхъ двухъ фазисахъ, сводящихъ явленія на трансцендентныя сущности, знаніе ставится выше пониманія, *различается* отъ него, тогда какъ въ третьемъ фазисѣ возвышенность надъопытныхъ сущностей признается фиктивною, и пониманіе опускается до уровня знанія, *перестаетъ различаться* отъ него. Уже въ первыхъ годахъ настоящаго столѣтія Біо (Biot) указывалъ на это различное значеніе «объясненій» и выражалъ удивленіе къ благосклонности, съ которою публика относится къ мечтаніямъ кропателей системъ. (Sur l'esprit de systeme: Mercure de France 1809. Перепеч. въ Mélanges scientifiques. 1858). Если же явленія могутъ быть сводимы на явленія же, а надъопытная область сущностей обращается въ міръ призраковъ, то надъопытныя сущности неизбѣжно обращаются въ примыслы,—въ бремя познанія, и обрекаются на устраненіе. Знаніе же, отъ подгнетности имъ освобожденное, вступаетъ, какъ то само собою и очевидно, на путь «чистаго опыта», понятіе котораго и представляетъ одно изъ основоположеній «научной», точнѣе «эмпиріократической» философіи.

Если понятіе «чистаго опыта» и остается въ философскихъ воззрѣніяхъ Конта нераскрытымъ, то нельзя не признать, что имплицитно оно присуще имъ: въ нихъ содержатся не только его предпосылки, но и одно изъ положеній, къ которому понятіе это приводитъ. Я разумѣю *отождествленіе философіи съ наукою*, опредѣленно высказанное Контомъ и совершенно неизбѣжное послѣ удаленія со сцены примысловъ, составляющихъ содержаніе метафизики. Пользованіе обоими терминами становится, по мнѣнію Огюста Конта, отнынѣ безразличнымъ.

И иначе и быть не могло въ виду того очевиднаго для всякаго непредубѣжденнаго наблюдателя факта, съ которымъ не могутъ не считаться и метафизики, именно, что древняя *всеобщая наука*, *наука наукъ*,—философія, постепенно выдѣливъ изъ себя одну за другою отдѣльныя науки, истратила на нихъ все свое содержаніе, всецѣло ушла въ эти отдѣльные ручьи и, хотя сама и перестала существовать въ качествѣ особливой самостоятельной науки, возстала для новой жизни, какъ общая совокупность всѣхъ наукъ, общій итогъ всего человѣческаго

знанія. Кто дерзнетъ утверждать, что она умерла? Она живетъ полною и богатою жизнью!

Ничего не значитъ, что эта новая наука является лишенною той гордости, которою была преисполнена ея предшественница;—ничего не значитъ, что ея нѣтъ тамъ, гдѣ привыкли ее видѣть: она есть зато тамъ, гдѣ ея прежде не было:—она есть во всякой отдѣльной наукѣ и во всѣхъ наукахъ вмѣстѣ; она есть вездѣ, гдѣ познаніе имѣетъ органическій ростъ, гдѣ оно сливается въ обобщенія, гдѣ оно поднимается до абстракцій, не теряющихъ, однако же, въ связи со своими реальными основами—конкретными фактами, гдѣ они являются дѣйствительнымъ познаніемъ въ возвышеннѣйшемъ и прекраснѣйшемъ значеніи этого слова.

Можно сказать вмѣстѣ съ однимъ французскимъ ученымъ, нѣсколько измѣня впрочемъ его мысль, что нѣтъ основанія считать будто такая наука—не вся наука,—будто она только преддверіе ея, и что будто надо переступить много пороговъ, прежде чѣмъ явится возможность вступить въ самое святилище. Ничуть! Вступающій въ святилище науки подобенъ поклоннику древняго Аммонъ-Ра: онъ стоитъ лицомъ къ лицу съ неизвѣстнымъ. Это неизвѣстное—тайна въ прежнее время, проблема—въ нынѣшнее—заключена въ закрытомъ ковчегѣ. И вотъ, гіерофантъ открываетъ этотъ ковчежецъ, но тамъ не оказывается ровно ничего. Становится ясно, что поиски были направлены не въ ту сторону, что готоваго рѣшенія мы не найдемъ нигдѣ, что поразившая насъ пустота ковчежца знаменуетъ полноту окружающаго насъ міра, вѣчно раскрытаго предъ нашимъ пытливымъ взоромъ, вѣчно готоваго давать отвѣты умѣющему вопрошать. Мы отвратили отъ него наши взоры только потому, что заранѣе рѣшили искать разрѣшенія нашихъ вопросовъ тамъ, гдѣ дѣйствительно царитъ безнадежная пустота.

И дѣйствительно, ставъ наукою, философія не можетъ имѣть и иного содержанія, какъ только содержанія науки.—Это содержаніе можетъ расчленяться весьма многоразлично, но общая его совокупность останется все та же, и, такъ какъ цѣлое никогда не можетъ стать частью самого себя, то ни при какомъ расчлененіи содержанія научной философіи не можетъ оказаться отдѣльной науки—*философіи*. И въ самомъ дѣлѣ, и классификація наукъ Конта, оставаясь послѣдовательною присущему ей принципу, философіи, какъ отдѣльной науки, въ себѣ не со-

держитъ. Такимъ образомъ, философія, переставъ быть метафизическою, потеряла всякую обособленность, она слилась съ наукою, растворилась въ ней и, потерявъ фиктивное содержаніе, не могла удержать фиктивной формы.

Схематичность Контовскаго построенія оказалась несостоятельною, но вовсе не потому, что въ ней не имѣется ея же двойника, загримированнаго искусственными признаками, присущими исключительно частямъ замкнутаго въ схему цѣлаго;— наличность такого призрака могла бы только усугубить недостатки схемы, а не сгладить ихъ. Несостоятельность Контовой схемы оказалась главнымъ образомъ потому, что, будучи подогнана подъ шаблонъ возрастающей сложности и убывающей общности, схема была обречена на неподвижность и вмѣсто живого, текучаго, отвѣчающаго дѣйствительности расчлененія общей совокупности знанія, оно представляетъ отличающуюся догматическою косностью формулу, отымающую у представляемой ею классификаціи наукъ всякое значеніе.

Эта окаменѣлость Контовой схемы и сказалась во всей своей силѣ, когда выяснилась невозможность включенія въ нее такого важнаго звена, какъ теорія познанія. Именно этому новому члену схемы предстояло выработать нормы всеобщаго приложенія научнаго метода и, занявъ въ рядѣ принадлежащее ему мѣсто, переработать самый рядъ совершенно заново.

Совершая эту переработку, теорія познанія, въ своей роли «критики чистаго опыта», должна была бы показать, что то всеобщее обновленіе, которое было предвозвѣщено для всей системы, должно было прежде всего коснуться метода и не оставить безъ переработки самую постановку его основныхъ вопросовъ, страдавшихъ старымъ, унаслѣдованнымъ отъ метафизической системы, раздвоеніемъ. Преодолѣніе этого раздвоенія, совершенное въ наше время эмпиріокритицизмомъ, не представлялось для позитивизма осуществимымъ главнымъ образомъ потому, что его догматическая замкнутость, разъ навсегда порѣшившая со всѣми вопросами, обрекала всю позитивную систему на полную неподвижность. Въ позитивизмъ былъ вложенъ собственно Конту принадлежавшій личный его примыселъ, до такой степени органически сросшійся съ системой, что съ устраненіемъ примысла падала и вся система. Неподвижность позитивной системы была, какъ видно изъ этого, роковая, и вывести ее изъ этой неподвижности, конечно, не могли хранители позитив-

ныхъ традицій и оберегатели неприкосновенности его основъ. Совершить это могла одна лишь философская критика, смѣло и послѣдовательно приложенная къ полной жизненностью и богатой заслугами на поприщѣ научнаго познанія эмпиріи.

И вотъ, центромъ тяжести этой эмпиріокритической комбинаціи и явился методъ. Самый же методъ, долженствовавшій очистить новую умственную работу отъ всякихъ примысловъ, свелся—какъ то самой собою и очевидно—на *чистое описаніе* даннаго.

Это чистое описаніе, поставивъ своею задачей охватъ всей совокупности условій мѣста и времени, являлось единственнымъ надежнымъ путемъ къ открытію той научной закономѣрности, до которой философы обыкновенно шли обратнымъ путемъ,—путемъ произвольно-умозрительнымъ, лишеннымъ всякаго научнаго обоснованія. Естественнымъ послѣдствіемъ такого порядка вещей являлась измѣнчивость понятія закономѣрности отъ изслѣдователя къ изслѣдователю, отъ школы къ школѣ. Пути философіи и науки шли врозь: наука терялась въ деталяхъ, философія оставалась безъ устойчивыхъ положеній. Конецъ такому раздвоенію и былъ положенъ эмпиріокритицизмомъ.

Центръ тяжести науки былъ перемѣщенъ. Найдена была та точка зрѣнія, которая давала возможность стать выше партій и въ основной эмпиріокритической предпосылкѣ получить тезисъ, способный къ развитію изъ него цѣлаго міросозерцанія. Констатированіе нераздѣльности индивида, окружающей его среды и его высказываній даетъ въ обширномъ трудѣ Авенаріуса руководительные методологическіе принципы для всѣхъ отраслей знанія. Предполагая трудъ этотъ—«Критику чистаго опыта»—достаточно извѣстной, я не стану входить въ дальнѣйшую ея характеристику: для моей цѣли достаточно было сблизить ее съ «Системой позитивной философіи» Ог. Конта и показать ихъ принципіальное сродство.

Позитивизмъ, обойденный нынѣ эмпиріокритицизмомъ, все же представляетъ въ высшей степени важный моментъ эволюціи научно-философской мысли и одну изъ великихъ побѣдъ человѣческаго ума въ оканчивающемся съ нынѣшнимъ годомъ вѣкѣ. Окруженныя неувядаемой славой, имена двухъ великихъ мыслителей—Франціи и Швейцаріи—остаются навѣки славными въ исторіи, какъ имена двухъ свободныхъ искателей истины, вдохновлявшихся высшими интресами человѣчества и выработавшихъ то великое философское наслѣдіе, которое нашъ вѣкъ оставляетъ будущему.

1904 (?).

ЭМПИРІОКРИТИЦИЗМЪ И ИМПРЕССІОНИЗМЪ.

Небезызвѣстный и у насъ проф. Алоизъ Риль, тотъ самый, который въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ былъ соредакторомъ Авенаріуса въ его философскомъ журналѣ, выпустилъ на-дняхъ второе изданіе своей книги «Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart», въ которой онъ высказывается между прочимъ и объ эмпиріокритицизмѣ. По его мнѣнію, эмпиріокритицизмъ въ области философіи имѣетъ то же значеніе, что импрессіонизмъ въ живописи: оба эти направленія и возникли-де въ одно и то же время, оба одинаково узки, оба одинаково незначительны. Всякій знающій, что такое эмпиріокритицизмъ и что такое импрессіонизмъ, ясно видѣлъ всю вздорность и лживость этого мнѣнія и никто сперва не считалъ его стóящимъ опроверженія; но когда книга Риля появилась въ русскомъ переводѣ и когда по поводу этого перевода забормотало наше философское косноязычіе, умѣвшее до сихъ поръ только извращать или замалчивать эмпиріокритицизмъ, а теперь принявшееся усердно вторить Рилю, продолжать молчать значило бы для сторонниковъ эмпиріокритицизма дать поводъ къ лжетолкованію объ устраненіи отъ полемики, на что, конечно, нѣтъ и не можетъ быть достаточнаго основанія. Надѣюсь, что наши эмпиріокритики—г-жа Кодисъ и гг. Каблешковъ и Эрдманъ, рано или поздно выскажутся по этому вопросу, а пока что, я берусь за перо и еще разъ постараюсь посбить заносчивость лжецовъ и клеветниковъ, сведя выставленные ими аргументы къ ихъ истинному значенію.

I.

Припоминается мнѣ теперь одна легенда, которую я читалъ когда-то въ переводѣ М. Л. Михайлова. (О легендѣ этой см.

статью Лидзбарскаго въ «Zeitschrift für Assyriologie. VII B. 2 Heft). Въ легендѣ этой повѣствуется, что черезъ каждыя пять столѣтій одно и то же мѣсто посѣщаетъ одаренный баснословнымъ долголѣтіемъ Хидгеръ. Каждый разъ встрѣчаетъ онъ на этомъ мѣстѣ не то, что тамъ было прежде: гдѣ было море, сталъ лѣсъ, на мѣстѣ лѣса является потомъ городъ. и однако же, отъ мѣстныхъ жителей всегда слышитъ Хидгеръ все одинъ и тотъ же отвѣтъ: «такъ вѣчно шло на этомъ мѣстѣ. и вѣчно такъ и пойдетъ». «Черезъ пятьсотъ лѣтъ поѣду снова этою же дорогою», говоритъ онъ иронически: по аналогіи съ предшествовавшими, онъ ждетъ снова все тотъ же неизмѣнный отвѣтъ.

Иронія, звучащая въ этой легендѣ, мѣтитъ, очевидно, на обыденное мышленіе, но и по отношенію къ нему она является преувеличенною, тѣмъ болѣе, что, сознательно или безсознательно, она захватываетъ и самого Хидгера, не спасаемаго выгодою своего вѣчнаго странничества отъ той самой ошибки, надъ которой онъ иронизируетъ. Какъ бы загипнотизированный косностью вѣковѣчно-наблюдаемой имъ мысли. Хидгеръ усваиваетъ ея пріемы и потому высказываетъ о мышленіи грядущихъ поколѣній какъ разъ то же, что самъ слышалъ отъ другихъ объ окружающей средѣ: «такъ всегда шло на этомъ мѣстѣ и вѣчно такъ и пойдетъ». У него нѣтъ никакихъ гарантій, однако же, что грядущія поколѣнія непремѣнно такой прогнозъ оправдаютъ. Ряды поколѣній могутъ запаздывать, но все же они не внѣ жизни, не внѣ природы, ихъ высказыванія не могутъ выпасть изъ потока существованія, и хоть поздно, а «придетъ нѣкогда день»...

Хидгеръ, впрочемъ, не философъ, онъ свободно сгущаетъ краски, чтобы придать побольше яркости своей ироніи и выпуклѣе представить безысходность человѣческой тупости, и онъ былъ бы правъ, если бы самъ не являлся жертвой высшей ироніи—ироніи положенія. «Горе той птичкѣ,—сказалъ какой-то мыслитель,—которая услаждаетъ себя пѣніемъ, сидя на вѣточкѣ, примазанной къ древесному стволу ея собственнымъ пометомъ». «Пометъ» этотъ въ настоящемъ случаѣ—отсутствіе самокритики, беззаботное самообольщеніе, наивное увлеченіе личнымъ опытомъ. И вотъ, перенапряженная иронія вдругъ перегибается въ сторону, вѣточка отпадаетъ, и у насъ одною жертвою довѣрія абсолютному становится болѣе. И неудивительно: это общая участь погруженія въ самозамкнутый мірокъ,

ослѣпляющій рѣзкостью контраста его тусклыхъ тоновъ съ яркостью красокъ облитаго свѣтомъ, обширнаго, всечеловѣческаго міра. На эту опасность для философа давно уже указывалъ Гёте, а теперь, въ лицѣ Риля, намъ представляется такой философъ на живомъ примѣрѣ. Этотъ философъ попалъ въ положеніе Хидгера и разыгралъ мнимаго мудреца: недобросовѣстное отклоненіе отъ того широкаго простора мысли, который всегда открытъ всякому, не покидающему критической точки зрѣнія, погубило его. Предъявивъ отводъ живому и плодотворному новшеству, Риль искусственно сводитъ философію къ старымъ перепѣвамъ и старается увѣрить насъ, что внѣ безконечнаго варьированія традиціонныхъ метафизическихъ темъ нѣтъ и не можетъ быть никакой философіи: «всегда тутъ такъ было, и всегда такъ и будетъ». Вотъ это абсолютное утвержденіе и стало той вѣточкой, которая оказалась теперь примазанной, и держаться на которой не представлялось возможности. О пріемахъ и способахъ примазыванія рѣчь еще, впрочемъ, впереди. Пока я желаю сосредоточить вниманіе читателя на томъ явленіи, которое дало Рилю поводъ занять положеніе на фатальной вѣточкѣ, на то явленіе, которое онъ намѣревался подвергнуть своего рода заклинанію для того, чтобы «внѣ всякихъ заботъ» спокойно отдаться самоуслажденію отъ своего собственнаго пѣнія.

Заклинанія Риля оказались недѣйствительными: возникшее новшество остается и не перестаетъ возбуждать мысль къ высказываніямъ, не замкнутымъ въ тѣсномъ, безысходномъ кругѣ метафизики, а избравшимъ для себя тотъ широкій просторъ въ сторонѣ, откуда открывается столько манящихъ впередъ просвѣтовъ.

Новшество существуетъ и на нашу долю выпадаетъ не проявленіе усердія объ его устраненіи, не замалчиваніе его, не игнорированіе или извращеніе, не ложь о немъ и по его поводу, не клевета, а достодолжное его констатированіе, изученіе и критическая его оцѣнка.

Не вдаваясь въ метафизическое противоположеніе вѣчно-пребывающаго и вѣчно-возникающаго, а просто-напросто принимая исходною своею точкою наличную данность индивида и окружающей его среды, мы попытаемся присмотрѣться къ высказываніямъ индивида о средѣ, какія были предъявлены въ теченіе вѣковъ и, исправивъ ошибку, допущенную Хидгеромъ, поста-

раемся представить себѣ не только ходъ измѣненія высказываній, но и ихъ ростъ, а также и наблюдаемое между ними и измѣненіями среды соотношеніе и связь. На этомъ пути и наше новшество, какъ послѣднее изъ высказываній общаго ихъ ряда, уставится въ свое надлежащее отношеніе къ остальнымъ и раскроется передъ нами въ своемъ истинномъ свѣтѣ и значеніи.

Схватывая основныя черты противопоставленія «новаго» и «стараго», мы прежде всего останавливаемся на характеризующей это противопоставленіе особенности, заключающейся въ такомъ или иномъ отношеніи высказывающагося индивида отъ обычнаго и зауряднаго,—отъ всего, вообще говоря, усвоеннаго навыкомъ. Жизнь полна случаями указываемаго отклоненія: покинувъ отечество, индивидъ высказывается обыкновенно, живя въ чужомъ краю: «здѣсь все не такъ, какъ у насъ»; черезъ болѣе или менѣе значительное время онъ уже говоритъ: «у насъ не все не такъ, какъ здѣсь». Или возьмемъ еще примѣръ, видъ пожарища вызываетъ восклицаніе, «какъ все измѣнилось!» Или еще: при первыхъ урокахъ иностраннаго языка случается слышать замѣчаніе о томъ, до какой степени различно произношеніе словъ въ этомъ языкѣ отъ произношенія словъ роднаго языка и т. д. Въ общемъ, всѣ эти высказыванія выражаютъ извѣстное уклоненіе отъ навыка.

Всѣмъ такимъ высказываніямъ Авенаріусъ придалъ названіе *гетероты* и имъ противопоставилъ *тавтоту*, т.-е. такое высказываніе, которое предъявляется въ томъ случаѣ, когда привходящія условія оказываются недостаточными для установленія гетероты. Эта недостаточность выражается въ томъ, что вслѣдъ за возникновеніемъ измѣненій въ средѣ, намѣчающихъ возможность установленія гетероты, не является новыхъ измѣненій, могущихъ довершить этотъ едва обозначившійся процессъ, и индивидъ, переставшій подвергаться воздѣйствію на его уклоненіе отъ навыка, получаетъ возможность вернуться къ нему и удержать его. Примѣромъ такого состоянія индивида можетъ служить всякое сочетаніе условій, которое хотя и приводитъ къ вопросу: «измѣнилось ли то или это?»—въ концѣ-концовъ разрѣшается отвѣтомъ: «нѣтъ, все осталось попрежнему». Сюда же принадлежатъ и тѣ неудавшіеся сюрпризы,—незначительное измѣненіе въ убранствѣ комнатъ и т. п.,—которые вызываютъ у того, кому былъ подготовленъ сюрпризъ, восклицаніе: «все осталось по старому!» Случаи такого рода, какъ впечатлѣ-

ніе вернувшагося на родину или обозрѣвающаго возстановленный по старому плану домъ и т. д., въ послѣднемъ итогѣ даютъ также тавтоту.

Извѣстная всякому по обработкѣ Лессинга «Сказка о трехъ кольцахъ» представляетъ весьма интересный примѣръ круговой смѣны тавтотъ и гетеротъ, могущихъ сдѣлать изъ этого примѣра весьма поучительную тему для психологическаго изслѣдованія.

Изъ сказаннаго видно, что противоположеніе «стараго» и «новаго» можетъ быть сведено къ болѣе общему противоположенію «освоенности» и «неосвоенности» того или иного состоянія индивида. Эта «освоенность» или «неосвоенность» придаетъ данному состоянію и соотвѣтствующему ему высказыванію особенную окраску или, согласно терминологіи Авенаріуса, «характеръ», значеніе котораго и предстоитъ теперь разъяснить.

«Характеръ», какъ то уже видно и изъ сказаннаго выше, представляетъ собою понятіе, возникшее изъ расширенія понятія чувствованія (Gefühl) далѣе области «пріятнаго» и «непріятнаго», въ которую понятіе до сихъ поръ замыкается. Развивая свою мысль въ полномъ объемѣ, Авенаріусъ обслѣдовалъ и выяснилъ, при какомъ сочетаніи условій индивидъ высказываетъ о чемъ-либо не только какъ о пріятномъ или непріятномъ, но также и какъ о привычномъ или непривычномъ, обычномъ или необычномъ, старомъ или новомъ, прекрасномъ или безобразномъ, нравственномъ или безнравственномъ, истинномъ или ложномъ, представляемомъ или воспоминаемомъ, воспредставленномъ или забываемомъ, замѣчаемомъ или пропускаемомъ, ожидаемомъ или неожиданномъ, прошедшемъ или будущемъ, существующемъ или мнимомъ, дѣйствительномъ или кажущемся и т. д. Всѣ эти высказыванія, какъ то и очевидно, «характеризуютъ» извѣстное содержаніе, даютъ этому содержанію, по вѣрному замѣчанію Петцольдта, извѣстную окраску, могущую при другихъ условіяхъ оказаться имъ чуждою или замѣненною какою-нибудь другою.

«Подобно тому, какъ особенность чувствованія заключается въ томъ, что оно всегда представляетъ лишь одну сторону психологическаго состоянія индивида, такъ точно,—говоритъ Петцольдтъ,—и характеръ никогда всецѣло не исчерпываетъ психологическаго момента». «Характеръ» не является также и частью психическаго акта, но всегда остается лишь стороною его.

По отношенію къ установленію и обработкѣ понятія «характера» Авенаріусу предстояла весьма трудная задача, и только съ тою творческою силою, которою онъ обладалъ, и тою колоссальною эрудиціею, которою онъ отличался, возможно было рѣшить ее такъ блистательно, какъ онъ рѣшилъ. «Рѣшеніе, которое онъ представилъ,—говоритъ Петцольдтъ,—является результатомъ долгаго, глубокаго и тонкаго изслѣдованія, потребовавшаго изученія громаднаго матеріала и во многихъ отдѣльныхъ случаяхъ свидѣтельствующаго о чрезвычайной проницательности обрабатывавшаго его. И все же на работу свою смотрѣлъ Авенаріусъ не какъ на окончательную. Ему слишкомъ хорошо было извѣстно чрезвычайное разнообразіе характеровъ, и онъ не могъ допустить, конечно, что установленіе основныхъ формъ ихъ, являющихся и въ разнообразныхъ модификаціяхъ, вполнѣ удалось ему. Наука найдетъ, однако же, въ его работахъ въ высшей степени важное для себя возбужденіе и продолжать постройку величаваго зданія будетъ ей легче, чѣмъ было Авенаріусу заложить основаніе его». (*Joseph Petzoldt:* «Einführung in die Philosophie der reinen Erfahrung». 1900. I Band, S. 114).

Мы сдѣлали первый шагъ къ разсмотрѣнію значенія этого понятія, подведя подъ него понятіе новшества; теперь, чтобы идти далѣе, намъ необходимо прежде всего установить опредѣленное руководительное начало для наблюденія надъ характерами и ихъ соотношеніемъ съ предъявленными о нихъ высказываніями. Такимъ руководительнымъ началомъ можетъ для насъ быть лишь то установленное Авенаріусомъ основоначало, которое по значенію своему можетъ быть поставлено на томъ же уровнѣ, что и понятіе «характера». Я имѣю въ виду теорію «рядовъ». Весь предлежащій намъ матеріалъ предстоитъ намъ представить себѣ, какъ укладывающійся въ два параллельные ряда: рядъ послѣдовательныхъ данностей среды и рядъ соотносительныхъ высказываній индивида, иначе говоря, рядъ независимый и рядъ зависимый. Остается только сформулировать еще и то положеніе, которое, служа исходнымъ пунктомъ зависимаго ряда, доставляетъ намъ возможность дать ему согласный съ данностями независимаго ряда укладъ и подмѣчать происходящія отъ такого уклада уклоненія.

Положеніемъ, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, опредѣляется, такъ называемая, эмпиріокритическая координація; она заклю-

чается въ томъ, что «всякій индивидъ первоначально принимаетъ себя противопоставленнымъ окружающей средѣ, слагающейся изъ многоразличныхъ составныхъ частей съ ихъ многоразличными высказываніями, и затѣмъ принимаетъ еще, что высказанное находится по отношенію къ средѣ въ той или иной зависимости» (*Richard Avenarius*: «Kritik der reinen Erfahrung». I, S. VII, а также мой переводъ книжки *Фридриха Карстаньена*: Введ. въ «Критику чистаго опыта», сдѣланный съ *неизданной* рукописи *переработаннаго* авторомъ перваго изданія этого сочиненія).

Главнымъ вопросомъ, представляющимся намъ при разсмотрѣніи эмпиріокритической координаціи, слѣдуетъ считать, конечно, вопросъ объ условіяхъ, опредѣляющихъ высказыванія, которыя,—какъ то вытекаетъ изъ самой постановки координаціи,—заключаются въ различныхъ перипетіяхъ соотношеній между индивидами и средой. Здѣсь вниманіе наше прежде всего останавливаетъ воздѣйствіе среды на индивидъ. Воздѣйствіе это всегда совершается въ двухъ направленіяхъ: во-первыхъ, среда служитъ для индивида источникомъ питанія, обмѣна веществъ, поддержанія жизнеустойчивости; во-вторыхъ, она является угрозой для успѣшности поддержанія жизнеустойчивости и вызываетъ со стороны индивида возбужденіе къ физическому и умственному реагированію противъ такихъ угрозъ и въ этомъ смыслѣ оказывается источникомъ наученія, достигаемаго упражненіемъ или работой. При сочетаніи положительной и отрицательной стороны воздѣйствія среды на индивидъ, работа должна найти надлежащую опору въ питаніи, а питаніе должно встрѣтить соотвѣтственное возбужденіе въ работѣ и такимъ образомъ должна быть достигнута максимальная жизнеустойчивость индивида, успѣшно избѣжавшаго и переутомленія, и перепотребленія, обусловливающихъ соотвѣтственныя разстройства и ведущія къ ослабленію индивида и паденію его жизнеустойчивости. Изъ этого видно, что только равенство ассимиляціи и диссимиляціи, вызываемыхъ воздѣйствіемъ среды, иначе говоря, только равновѣсіе питанія и работы можетъ дать максимумъ жизнесохраненія индивида, и, оградивъ индивидъ отъ разрушительныхъ угрозъ среды, придать воздѣйствію ея на индивидъ благотворный и плодотворный характеръ. Такимъ образомъ, отсутствіе указаннаго выше равновѣсія получаетъ въ нашихъ глазахъ весьма важное значеніе. Отсутствіе равновѣ-

сія, т.-е. наличность разности между ассимиляціей и диссимиляціей и будетъ поэтому разсматриваться нами какъ подлежащая устраненію *жизнеразность* (Vitaldifferenz), всегда препятствующая достиженію индивидомъ максимума жизнесохраненія.

Откуда же возникаетъ жизнеразность и въ чемъ она заключается?

Положимъ, что ко мнѣ будетъ приближенъ какой-нибудь источникъ тепла—газовая горѣлка, напримѣръ, лампа, зажженная спичка и т. п. Это приближеніе, являющееся слѣдствіемъ измѣненія, происшедшаго въ окружающей средѣ, вызываетъ въ организмѣ моемъ извѣстное ощущеніе, т.-е. и въ немъ тоже, въ свою очередь, производитъ соотвѣтственное измѣненіе. Мое высказываніе объ этомъ измѣненіи можетъ, конечно, быть различно: я могу облечь его въ форму слова или въ форму дѣйствія, но, во всякомъ случаѣ, восклицаніе мое, отдергиваніе руки, разсужденіе о горѣніи или что бы тамъ ни было, будетъ моимъ высказываніемъ, а мое высказываніе, въ свою очередь, явится, какъ часть окружающей среды для другого индивида. Эта часть произведетъ на другого индивида свое вліяніе, и съ его стороны можетъ послѣдовать соотвѣтственное высказываніе: «онъ обжегся» или какое-нибудь иное.

На этомъ простомъ примѣрѣ мы видимъ соотношеніе членовъ эмпиріокритической координаціи и можемъ выяснить себѣ его значеніе. Замѣтимъ прежде всего, что сопоставленіе индивида и окружающей среды, вызывающей въ индивидѣ извѣстныя раздраженія, приводящія къ тѣмъ или инымъ высказываніямъ, имѣетъ одно только чисто-методологическое значеніе. Принципіально имъ ровно ничего не устанавливается: высказыванія вовсе не принимаются, какъ проявленія «духа», «матеріи» или какого-либо иного метафизическаго начала,—ни о какой «сущности» ровно ничего не предустановляется. Мы констатируемъ только, что и среда, и индивидъ измѣнчивы;—мы усматриваемъ логическую связь между ними или ихъ логическую координацію, и ничего болѣе. Когда произошло измѣненіе въ средѣ—возникло измѣненіе и въ индивидѣ, и явилось высказываніе объ этихъ измѣненіяхъ. Мы видимъ такимъ образомъ зависимость высказыванія отъ измѣненій въ средѣ вообще и замѣчаемъ, что эта зависимость не непосредственная, что она осуществляется черезъ индивидъ, связь котораго съ высказываніями непосред-

ственна. Итакъ, во всякомъ случаѣ, когда высказываніе принимается зависящимъ отъ измѣненій въ средѣ,—констатируется непосредственная зависимость высказываній отъ измѣненій, пережитыхъ индивидомъ, т.-е. отъ его «опыта».

Наблюденіе это даетъ намъ возможность установить различеніе, въ важномъ значеніи котораго мы еще не разъ будемъ имѣть случай убѣдиться впослѣдствіи. Прежде всего мы различаемъ ту общую совокупность условій, которыми опредѣляется данное состояніе индивида—*начальное*, соотносящееся къ совокупности условій *предварительныхъ*; затѣмъ, мы обращаемъ вниманіе на условія, вносящія измѣненія въ это начальное состояніе индивида и опредѣляемъ эти условія, какъ *дополнительныя*, такъ какъ они дѣйствительно служатъ дополненіемъ къ общей совокупности предварительныхъ условій и, наконецъ, наблюдаемъ то *конечное* состояніе, которое устанавливается по внесеніи дополнительныхъ условій. Въ этой смѣнѣ состояній, чередующихся при всякомъ воспринимаемомъ индивидомъ измѣненіи среды, слагается передъ нами типичный *жизненный рядъ*, въ которомъ всякое новое дополнительное условіе имѣетъ значеніе жизнеразности и всякое конечное состояніе соотвѣтствуетъ ея устраненію или въ смыслѣ удаленія, или въ смыслѣ такого приспособленія ея къ предварительнымъ условіямъ, которое отымаетъ у нея значеніе нарушенія его жизнесохраненія индивида и прекращаетъ *колебаніе* жизнеустойчивости, возстановляя норму жизнеподдержанія.

Такова общая схема протеканія жизненнаго ряда. Возьмемъ какое ни на есть измѣненіе въ окружающей средѣ и, поставивъ его въ значеніи жизнеразности, образуемъ тѣ жизненные ряды, которые могутъ возникнуть такимъ образомъ для разныхъ индивидовъ. Пусть будетъ, положимъ, выбрано нами воспламененіе газоваго рожка; ясное дѣло, что ребенокъ и взрослый, образованный человѣкъ и дикарь, горожанинъ и поселянинъ, ученикъ и учитель, переживутъ жизненные ряды, сообразные съ предварительными условіями каждаго. Тутъ будетъ цѣлая шкала высказываній отъ испуга и удивленія до лекціи о свѣтильномъ газѣ включительно.

Остается добавить, что не всякое измѣненіе въ средѣ является непремѣнно дополнительнымъ условіемъ для того или иного индивида. На самомъ дѣлѣ, данное измѣненіе можетъ или вовсе не быть дополнительнымъ условіемъ, или, ставъ имъ од-

нажды, черезъ извѣстное время можетъ потерять такое значеніе. Такимъ образомъ устанавливается различіе между *мыслимымъ* дополнительнымъ условіемъ и дополнительнымъ условіемъ *дѣйственнымъ*: оловянный солдатикъ пересталъ быть дополнительнымъ условіемъ въ игрѣ взрослыхъ, буквы потеряли значеніе отдѣльныхъ знаковъ для научившагося грамотѣ, философскія проблемы не стали еще дополнительнымъ условіемъ для мальчика и т. д. Многое множество людей видятъ представляющіяся имъ ежедневно картины природы, но какъ рѣдко слышится при этомъ восклицаніе «anch'io sono pittore!» Многое множество людей имѣютъ дѣло съ книгами, но для многихъ ли книги получили значеніе такого дополнительнаго условія, какъ для Ломоносова и Шевченка?

Если изъ широкаго охвата жизненныхъ рядовъ мы выдѣлимъ ряды чисто-психологическіе, то въ кругъ нашего разсмотрѣнія войдутъ именно тѣ, которые составятъ предметъ исторіи культуры.

Развивая культуру, человѣкъ неизбѣжно и неизмѣнно страдаетъ и борется, но побѣждаетъ онъ только тогда, когда ему удается удержаться на уровнѣ максимума жизнеустойчивости. Недочетъ въ этомъ максимумѣ знаменуетъ наступленіе упадка пущенныхъ въ обращеніе силъ и угрозу неотвратимости рокового итога. Всѣ перипетіи борьбы за освобожденіе отъ зависимости отъ природы и за пріобрѣтеніе власти надъ нею зиждутся на этой основѣ. И если прослѣдить за превращеніемъ человѣка изъ раба природы въ ея владыку, то придется отмѣтить именно тѣ точки, которыми обозначается достиженіе максимума жизнеустойчивости. Вѣка и тысячелѣтія успѣли пронестись въ смѣнѣ жизни поколѣній, и масса опасностей, исходящихъ изъ окружающей среды, исчезла навсегда, тогда какъ обладаніе средствами побѣждать ихъ окрѣпло, а умѣніе выходить изъ всякой борьбы съ новыми запасами силъ для новой борьбы не переставало возрастать. Стремленіе къ жизнесохраненію и пріобрѣтенію максимума жизнеустойчивости дало такимъ образомъ свой плодъ, и характеръ борьбы съ его знаніемъ окружающей среды при обоснованномъ на этомъ знаніи предвидѣніи обозначился опредѣленно и ясно.

Этому ряду установленій максимумовъ жизнесохраненія, соотвѣтствовавшихъ достигнутымъ въ борьбѣ успѣхамъ, шелъ другой, параллельный рядъ высказываній, имѣющихъ значеніе *на-*

мятлишковъ умственнаго развитія человѣчества. Данными этого ряда и изображается переходъ отъ зависимости отъ природы къ владычеству надъ нею, о которомъ я говорилъ выше. Въ начальную стадію этого ряда входятъ элементарныя высказыванія первобытнаго человѣчества:—эти зерна, изъ которыхъ прорастаетъ грядущая культура—примитивныя вѣрованія, заклинанія, заговоры, а также—пословицы, поговорки, загадки, пѣсни, сказки, всякаго рода преданія,—вообще, вся устная литература, которая теперь охватывается терминомъ «фольклоръ». Въ слѣдующую затѣмъ стадію включаются продукты умственной дѣятельности ранней исторической эпохи: легенды, представляющія пріуроченіе прежнихъ сказокъ къ опредѣленному мѣсту и времени, начальная форма религіозныхъ вѣрованій—вавилонскихъ, ассирійскихъ, египетскихъ, первые проблески письменной литературы, искусства, философіи. И далѣе, въ послѣдующихъ стадіяхъ мы имѣемъ высказыванія, выражающія позднѣйшіе фазисы развитія религіи, литературы, искусства и едва мерцавшей ранѣе науки, постепенно подымающейся все на бо́льшую и бо́льшую высоту. Если мы обратимъ вниманіе на условія установленія каждаго изъ моментовъ этого ряда, то замѣтимъ, что установленіе это неизмѣнно отмѣчается соотвѣтствующимъ ему устраненіемъ жизнеразности, открывающимъ выходъ къ замѣнѣ прежней концепціи новой, могущей охватить пріумноженный послѣднею жизнеразностью опытъ. Такъ переходъ отъ міросозерцанія начальной стадіи, основная черта котораго заключалась въ стремленіи къ непосредственному воздѣйствію на окружающую среду посредствомъ заклинаній, заговоровъ и другихъ пріемовъ колдовского тайновѣдѣнія, къ послѣдующей стадіи, опиравшейся на содѣйствіе посредствующихъ силъ, обусловливалось психологическимъ утомленіемъ, причиненнымъ безплодностью традиціонныхъ пріемовъ. Всѣ эти пріемы представились передовымъ умамъ своего времени, какъ бы «покушеніями съ негодными средствами» и они перешли къ новымъ пріемамъ, оставивъ толпѣ старыя,—какъ пережитокъ. Подобный же обратный переходъ къ непосредственному воздѣйствію на среду, воплощаемый наукою, совершился подъ воздѣйствіемъ аналогичнаго психологическаго мотива, обусловленнаго, какъ и прежде, разростомъ опыта. Непрерывность борьбы за владычество надъ природою находитъ въ этихъ смѣнахъ средствъ свое яркое выраженіе, а возрастаніе успѣха въ борьбѣ знаменуется

какъ нельзя лучше формулировкой его послѣдняго руководительнаго основоначала—«знать, чтобы предвидѣть,—предвидѣть, чтобы мочь». Въ этомъ подъемѣ къ мыслимо наивысшей стадіи успѣшности вѣковѣчной борьбы ясно обозначается и возрастающее значеніе гетероты надъ отодвигаемою на задній планъ исторической сцены тавтотою. Соотносительное поднятіе значенія самихъ гетеротъ, отдѣльно взятый рядъ которыхъ представляетъ непрерывный процессъ возрастанія, очевиденъ при этомъ безъ всякихъ комментаріевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ выясняется также и тѣсная связь между жизнеустойчивостью индивида и устойчивостью его высказываній,—связь, вскрывающая солидарность біологическаго ряда съ рядомъ логическимъ, имѣющая въ исторіи культуры въ высшей степени важное значеніе.

Но если въ указанной мною выше эволюціи родовъ и замѣчается та общая черта, что эволюція эта совершается путемъ устраненія возникающихъ жизнеразностей, то въ ней можно найти и другія черты, опредѣляющія различія между оцѣнкою жизнеразностей и выборомъ средствъ ихъ устраненія. Черты эти, при ближайшемъ разсмотрѣніи ихъ, даютъ возможность распредѣлить всѣ жизнеразности, встрѣчающіяся и въ области мысли, на двѣ большія группы, соотвѣтствующія двумъ различнымъ руководительнымъ основоначаламъ мышленія. Отмѣчаемое здѣсь различіе сводится къ противоположенію *пониманія* и *знанія*.

Пониманіе есть знаніе первобытной эпохи; у примитивныхъ людей другого знанія и теперь не имѣется. Въ настоящее время мы подъ знаніемъ разумѣемъ плодъ изученія различій между отдѣльными частями окружающей среды,—подсчетъ ихъ особенностей,—регистрацію результатовъ сравненій, сопоставленій и противопоставленій,—сводку и объединеніе всѣхъ данностей; наши предки не требовали всего этого: для нихъ пониманіе (соотносительно—*объясненіе*) заключалось въ сведеніи подлежащаго познанію къ его предполагаемой причинѣ, всегда относимой въ недоступную опыту область сущностей—олицетворенныхъ въ теологическихъ системахъ, неолицетворенныхъ въ системахъ метафизическихъ,—но всегда одинаково «трансцендентныхъ». Этимъ отнесеніемъ къ причинѣ и заканчивается задача пониманія и никакія затѣмъ проблемы знанія не ставятся.

Даже и въ тотъ ранній періодъ мышленія, когда человѣкъ

мечталъ о возможности *непосредственнаго и прямого воздѣйствія* на окружающую среду, онъ еще былъ чуждъ идеѣ *непосредственнаго и прямого ея изученія* и неизбѣжно довольствовался однимъ только пониманіемъ. Такое пониманіе заключалось въ сведеніи всѣхъ частей окружающей среды ко всеобщему оживотворенію, какъ то и значится въ древнѣйшихъ изъ существующихъ памятниковъ—въ сказкахъ. Въ силу этой основной ошибки первыя попытки мысли и оказались неудачными и привели къ указанному выше кризису. Минуя слѣдующую затѣмъ эпоху сведенія явленій къ олицетвореннымъ сущностямъ и позже къ сущностямъ безличнымъ (идея, вещь въ себѣ, воля, безсознательное), мы можемъ сказать, что лишь послѣ того, какъ тайновѣдѣніе перешло въ явновѣдѣніе, совершилась замѣна пониманія знаніемъ и заложено было основаніе верховодящей нынѣ въ области мысли наукѣ. Нарождается новая, всеобщая, великая гетерота, тогда какъ ветхая деньми тавтота нисходитъ на уровень пережитка.

И вотъ, престижъ философіи пониманія рушится; преслѣдующая знаніе мысль разъ навсегда покидаетъ пріемы сведенія явленій къ трансцендентностямъ, и методическое изученіе строго замыкается въ предѣлы опыта. Все трансцендентное обезцѣнивается и для новыхъ пріемовъ знанія становится примысломъ, подлежащимъ неизбѣжному устраненію. Въ послѣднемъ итогѣ очищенный отъ примысловъ опытъ является въ значеніи «чистаго опыта» идеаломъ научнаго познанія.

Этотъ общій контуръ требуетъ нѣкоторыхъ пополненій. Если средства преодолѣнія зависимости отъ природы, выдвинутыя первобытнымъ человѣчествомъ, и оказались фиктивными, зато постановка проблемы заключала въ себѣ всю полноту задатковъ грядущаго развитія. Хотя и облеченная въ поэтическіе образы, она блещетъ одною совершенною опредѣленностью и ясностью. Всѣ ея излюбленные герои,—Синдерелусы, Попелюхи, Шелудяки, Незнайки, воплощаютъ одинъ общій основной мотивъ—борьбы, страданія, побѣды,—мотивъ всечеловѣческій, мотивъ неисчерпаемый,—вѣчная тавтота человѣческаго рода. И позже, когда сказочные герои окажутся пріуроченными къ мѣсту и времени, когда они явятся подъ разными именами, когда ихъ станутъ чествовать культомъ, когда ихъ превознесутъ, какъ безсмертныхъ, и тогда Озирисъ, Діонисъ, Аттисъ, Адонисъ, Митра, Будда, сохранятъ свой примитивный отпечатокъ и какъ

герои борьбы, страданія и побѣды, и при сравнительно значительномъ подъемѣ уровня культуры, останутся символами мыслимо наивысшихъ стремленій.

Путь, пройденный отъ Синдерелуса и Попелюха до Митры и Будды, по важности промежуточныхъ этаповъ и по значенію заложенныхъ зачатковъ послѣдующей эволюціи заслуживаетъ, конечно, самое серьезное вниманіе. Полнота ряда, въ которомъ смыкаются данности историческія съ данностями фольклорными, даетъ картину, новая часть которой значительно измѣняетъ смыслъ и значеніе старой. Остановимся, напримѣръ, хоть на ходѣ развитія тайновѣдѣнія, и тутъ мы встрѣтимъ не мало весьма интересныхъ гетеротъ. Борьба за владычество надъ природой,—сказалъ я,—представляетъ рядъ волшебныхъ воздѣйствій на природу, идущихъ со стороны волшебниковъ, колдуновъ, чародѣевъ и иныхъ представителей тайновѣдѣнія. Если такъ,—состязаніе въ средѣ этихъ личностей является какъ фактъ неизбѣжный, и сказки, дѣйствительно, повѣствуютъ о немъ выразительно и ярко. Распаденія соотносящихся къ этому мотиву инцидентовъ на троекратности всегда изображаютъ возрастаніе трудности второй задачи сравнительно съ первою и третьей сравнительно со второю. Эти послѣдовательныя задачи представляются жизнеразностными, для устраненія которыхъ требуется и соотвѣтственное возрастаніе силы вѣдовства. Рядъ проявленій этой силы и даетъ рядъ повышающихся въ своемъ значеніи моментовъ проявленія сверхъестественной силы, воплощенной въ кудесникахъ. Рядъ этотъ, берущій начало въ проявленіи допустимо наименьшей силы, восходитъ до проявленія силы мыслимо-наивысшей, и достигаетъ, наконецъ, той интенсивности, которая ужъ переходитъ за предѣлы той силы, понятіе о которой признается совмѣстимымъ съ понятіемъ максимальной силы колдуна. На этомъ моментѣ прерывается процессъ возрастанія значенія колдуна, но не прекращается возрастаніе значенія самой силы, переносимой теперь на демона, на обожествленнаго героя, на какое ни на есть трансцендентное олицетвореніе мыслимо-наивысшей, владычествующей надъ окружающею средой, силы. Вмѣстѣ съ тѣмъ повелительный и властный характеръ заклинаній, заговоровъ и вѣщихъ словъ теряетъ свою авторитетность и уступаетъ мѣсто умилостивленіямъ, взываніямъ, моленіямъ, знаменующимъ собой кульминацію подъема постулируемой силы, значеніе которой мыслится

превышающимъ всѣ предыдущія. Идти далѣе монотеизма этотъ укладъ пониманія, въ силу самой постановки своей, не можетъ. Жизнеразность внутренняго противорѣчія называется неустранимою, и въ ходѣ развитія мысли возникаетъ новая гетерота— замѣна олицетворенныхъ сущностей ихъ видоизмѣненіемъ— сущностями метафизическими. Системы метафизики, вырабатывающія понятія этихъ сущностей, возникаютъ и ниспровергаются, цвѣтутъ и отцвѣтаютъ, увлекаютъ умы и забываются; но мыслимо наивысшее удовлетвореніе пониманія, на которое онѣ мѣтятъ, никогда не достигается. Шагъ за шагомъ, отъ системы къ системѣ, отъ провала къ провалу, укладъ метафизическаго пониманія изживаетъ, начинаетъ повторять зады, попадаетъ въ явно безвыходное положеніе и разсыпается въ шелуху пережитковъ. Наступаетъ величайшій изъ кризисовъ, какіе только доставалось когда-либо переживать уму человѣческому—кризисъ всей философіи пониманія, подавляемой колоссальною жизнеразностью возросшаго и окрѣпшаго знанія. Знаніе, въ теченіе долгаго времени остававшееся въ загонѣ, сперва пренебрегаемое, потомъ гонимое и попираемое, подобно герою древнихъ сказаній, преодолѣваетъ униженіе, и, лучезарное и грозное, становится во главѣ умственнаго движенія. Его ростъ, его успѣхи, его мощь въ устраненіи неодолимыхъ ранѣе жизнеразностей, его побѣдоносное поступательное движеніе представляютъ уже его собственное неотъемлемое достояніе, не переносимое болѣе въ какую бы то ни было трансцендентную область. Этапы восхожденія познавательнаго ряда не узурпируются предполагаемымъ параллельнымъ рядомъ заопытныхъ сущностей, и представляютъ восхожденіе самаго этого ряда и такимъ образомъ даютъ этому ряду всѣ вырабатываемыя имъ реальныя преимущества. Очищаясь отъ наносовъ отжившей философіи пониманія, знаніе твердою стопою подвигается къ мыслимо-наивысшей стадіи своего развитія—къ «чистому опыту» и слагается въ то великое новшество,—въ ту великую гетероту, которая носитъ славное имя «науки». Только тѣмъ, которые ослѣпили себя добровольно, остается невидимымъ этотъ блистательный фактъ; всякій же, свободный какъ отъ мистико-аскетическаго, такъ и отъ метафизическаго тумана, прекрасно видитъ, что наука, хотя и столь сравнительно недавно озарившая насъ, успѣла ужъ принести намъ гораздо болѣе блага, нежели всѣ, вмѣстѣ взятые, афоризмы и сентенціи отжившихъ міросозерцаній.

Обративъ вниманіе на указываемое дѣйственное значеніе знанія и сопоставивъ его съ расплывающимся въ словесномъ упражненіи пониманіемъ, мы доберемся до выдѣленія еще одной интересной черты въ ходѣ умственнаго развитія человѣка, надъ оцѣнкою значенія которой весьма стоитъ остановиться. Черта эта отмѣчается какъ въ проявленіяхъ философіи пониманія, такъ и въ данныхъ философіи знанія, и ею прекрасно характеризуется одна изъ сторонъ всей эволюціи мысли. Я имѣю въ виду обобществленіе опыта, идущее рука объ руку съ его углубленіемъ. Тогда, когда ничтожный опытъ эпохи пониманія тонулъ въ пучинахъ трансцендентнаго, форма самаго пониманія была дѣломъ индивидуальнаго творчества, и поэтому на продукты свои она не налагала и не могла наложить интериндивидуальной обязательности. Произволъ индивидуальнаго творчества, отражаясь на формахъ пониманія, приводилъ къ непослѣдовательностямъ, прыжкамъ, зигзагамъ, и не представлялъ связнаго, цѣлостнаго, послѣдовательнаго развитія. И сверхъ того, каждая отдѣльно взятая система его положеній не обладала надежною установимостью, а пріемлемость этихъ положеній всегда обусловливалась настроеніемъ и, вообще, мотивами, коренящимися въ области чувствованій. Жизнеразности, возникавшія при такомъ положеніи вещей, обусловливались случайностями и производили крайнюю неустойчивость притязающихъ на преобладаніе концепцій. Индивидуальные примыслы, опредѣлявшіе характеръ этихъ концепцій, не только препятствовали сближенію ихъ въ теоріи, но производили на практикѣ рознь и вражду между ихъ сторонниками и закрывали всякій выходъ къ возможности выработки широкихъ общеобязательныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ устойчивыхъ нормъ. Изъ этого видно, что исторически-развившіяся формы пониманія неизбѣжно должны были сократить значеніе тавтоты и стать пережитками со всею свойственною имъ минимальною установимостью и ненадежною пріемлемостью, или покориться гетеротѣ философіи знанія, т.-е. свести свою установимость и пріемлемость къ нулю. Въ этой альтернативѣ и заключается трагедія примысловъ.

Итакъ, когда мы говоримъ о торжествѣ науки, мы прежде всего имѣемъ въ виду прочное установленіе ея основоначалъ и подъемъ ихъ до мыслимо-наивысшей для даннаго времени стадіи. Мы хорошо знаемъ, что изъ такого ея положенія прямо вытекаетъ ея обязательность для всякаго благополучнаго ума.

Мы горячо желаемъ, конечно, чтобы этой установимости и обязательности соотвѣтствовала и мыслимо-наибольшая ширь ея пріемлемости, но мы не обольщаемся мыслью о легкой исполнимости такого желанія. Всего прежде мы знаемъ, что пріемлемость науки далеко не обусловлена ея прямымъ и непосредственнымъ вліяніемъ; мы знаемъ, что наука кругомъ оцѣплена «заставами»,—по счастливому выраженію В. Г. Короленка,—что на этихъ заставахъ бодрствуютъ историческія традиціи, разныя фикціи «пониманія» и безчисленные случайные фантомы, и что за этою цѣпью есть другая, еще болѣе упорная,—цѣпь заставъ біологическихъ, на которыхъ бодрствуетъ наслѣдственность съ ея семьею: косностью, тупостью, слабоуміемъ,—цѣлымъ адомъ продуктовъ вырожденія. Наука разрушитъ, конечно, и всѣ эти заставы, но это самая долгая и томительная изъ всѣхъ ея работъ,—самый трудный и самый тяжкій изъ всѣхъ ея подвиговъ. А пока что, на ея голову будутъ продолжать сыпаться всевозможныя обвиненія; будутъ утверждать, что она дошла до банкротства, что она не поднялась выше тайновѣдѣнія египетскихъ жрецовъ, что ее надо упразднить и замѣстить мистико-аскетическими бреднями. Всего не перечтешь!

Коррективомъ для всѣхъ этихъ кривотолковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ гарантіею расширенія пріемлемости науки и является общественный характеръ ея развитія. Всякое новое открытіе въ научной области, всякое новое изобрѣтеніе, всякое усовершенствованіе ея пріемовъ и способовъ изслѣдованія,—словомъ, все, чѣмъ она живетъ, движется и существуетъ, совершается общею совокупностью силъ и немедленно же становится общественнымъ достояніемъ, немедленно же становится предметомъ свободной критики и вездѣ, и всегда предлежитъ какъ нѣчто для всѣхъ открытое, всѣмъ доступное, всѣхъ вызывающее на вольное состязаніе. И вотъ, передъ нами чудный результатъ такого порядка вещей: развитіе науки идетъ одною общею, цѣльною волной; нѣтъ ни скачковъ, ни зигзаговъ, ни отступленій, ни пережитковъ, а также нѣтъ и злобнаго соперничества, и вражды между двигающими науку силами: междунаучная связь рождаетъ взаимопомощь, и зданіе науки растетъ въ высь при дружной соединенной работѣ всѣхъ наукъ. Не о лицахъ идетъ тутъ рѣчь,—лица здѣсь не причемъ, а о научныхъ дисциплинахъ, представляющихъ изъ себя стройное и непобѣдимое воинство. Завоеванія этого воинства неисчислимы,

и если вы хотите имѣть непремѣнно примѣръ, я укажу вамъ на вопросъ о соотношеніи между свѣтомъ и электричествомъ,— вопросъ, въ рѣшеніи котораго теорія Максуэлля имѣетъ, по словамъ Герца, значеніе арки, переброшенной черезъ бездну неизвѣстнаго. Что сдѣлано самимъ Герцемъ для достиженія возможности совершенства надстройки надъ этою аркой,—достаточно извѣстно, да и характеръ коллективности всей этой работы слишкомъ ясенъ и съ полною яркостью представляетъ намъ ту сторону науки, которую я сопоставляю теперь съ соотвѣтственными сторонами донаучныхъ міросозерцаній.

Теперь, послѣдній для этого общаго краткаго очерка вопросъ: каково отношеніе эмпиріокритицизма къ наукѣ?

Выступая въ значеніи «философіи чистаго опыта», эмпиріокритицизмъ тѣмъ самымъ даетъ уже отвѣтъ на этотъ вопросъ. «Критика чистаго опыта» должна, по замыслу Авенаріуса, явиться теоріею познанія этой философіи, долженствующей имѣть значеніе для развитія науки въ будущемъ, какъ то высказалъ самъ Авенаріусъ въ предисловіи къ своему труду.

Выяснивъ то значеніе, въ которомъ наука принимается нами, какъ великая гетерота въ ходѣ умственнаго развитія человѣчества, показавъ основы ея установимости и мотивы обязательности для всякаго нормальнаго ума, я представилъ отвѣтъ не только тому Хидгеру, который разсчитываетъ на вѣчную тавтоту высказываній, но и другому—новѣйшему, осуждающему насъ на безконечную тавтоту метафизическихъ пережитковъ. Теперь, имѣя передъ глазами абрисъ основной идеи эмпиріокритицизма и указанія, могущія служить для пополненія общихъ свѣдѣній, даваемыхъ этимъ абрисомъ, я обращаюсь ко второму пункту Рилевскаго сопоставленія и, выяснивъ и его, дамъ читателю возможность самому рѣшить, обладаетъ ли выставленное Рилемъ положеніе хоть малѣйшею степенью установимости.

II.

Разсуждая о философскихъ воззрѣніяхъ Маха, Риль мимоходомъ бросаетъ замѣчаніе по поводу «чистаго опыта» и затѣмъ уже, далѣе, говоритъ объ эмпиріокритицизмѣ нѣсколько пространнѣе. По поводу «чистаго опыта» онъ замѣчаетъ только,—

вопреки тѣмъ положеніямъ «критики», на которыя я указалъ выше и которыя должны быть ему извѣстны,—что «изъ чистаго опыта наука возникнуть не можетъ, такъ какъ чистый опытъ не есть данное, а продуктъ абстракціи, извлеченіе изъ дѣйствительно даннаго опыта, а этотъ послѣдній воспринимается въ формахъ воззрѣнія (des Anschauens) и развивается согласно формамъ мышленія» (Zur Eeinführung. S. 244), и затѣмъ, переходя къ философіи чистаго опыта, онъ говоритъ: «въ современной философіи есть еще одно направленіе, которое исходитъ отъ Юма и въ сознаніи своей противоположности по отношенію къ направленію, исходящему отъ Канта, опровергаетъ его. Оно называетъ себя «позитивизмомъ», но должно бы было назваться «импрессіонизмомъ», такъ какъ единственною удерживаемою имъ реальностью остается чувственное впечатлѣніе. Замѣчательная книга, которая сама себя называетъ «критикою чистаго опыта» и которая на самомъ дѣлѣ подвергаетъ критикѣ разумъ, именно желая вытѣснить его посредствомъ критики, чистаго опыта, возникла и вышла въ свѣтъ какъ разъ въ то самое время, когда и въ области искусства получило господство направленіе, аналогичное съ научнымъ направленіемъ названной книги, надумавшей воспроизводить одно только фактическое, какъ таковое. Импрессіонизму въ искусствѣ соотвѣтствуетъ и по времени импрессіонизмъ въ наукѣ, и наше сужденіе о томъ и другомъ должно оказаться соотвѣтствующимъ имъ. Въ той же мѣрѣ, въ которой невозможно въ художественныхъ воспроизведеніяхъ явленій ограничиваться одними лишь чувственными впечатлѣніями и, исключивъ представленіе, которое приводитъ впечатлѣнія въ порядокъ, производитъ ихъ выборъ и уяснятъ ихъ, и при этомъ все же таки разсчитываетъ на художественность впечатлѣнія, такъ точно невозможно изъ научнаго изложенія фактовъ исключить господство надъ ними единства мышленія» (ibid., S. 245—246).

Кто признаетъ въ этомъ наброскѣ тотъ эмпиріокритицизмъ, съ которымъ мы только что познакомились, и кто разберетъ, отвергается ли «критика чистаго опыта» и замѣняется критикою разума или же критика чистаго опыта признается, а ей только вмѣняется посягательство на вытѣсненіе разума? Невразумительно и темно! Ощущается впечатлѣніе паденія въ какую-то темную яму. И неудивительно: въ короткой замѣткѣ Риля такъ много путаницы и лжи. Утвержденіе, что эмпи-

ріокритическая философія исходитъ отъ Юма, что она называетъ себя позитивизмомъ и занимается опроверженіемъ Канта,— все это одна сплошная ложь. По первому изъ этихъ пунктовъ самъ Авенаріусъ высказался совершенно опредѣленно: «рука объ руку съ рѣшеніемъ трактовать объ однѣхъ лишь вещахъ, а не о взглядахъ на вещи, идетъ (въ «Критикѣ чистаго опыта») воздержаніе, съ одной стороны—отъ указанія на другія, по моему мнѣнію, ошибочныя понятія, съ другой—отъ цитированія такихъ авторовъ, точки соприкосновенія съ которыми имѣютъ значеніе подтвержденія моихъ взглядовъ» («Kritik», Vorwort, S. XII). Руководясь такимъ правиломъ, Авенаріусъ нигдѣ и не заявлялъ о своемъ примыканіи къ Юму и нигдѣ и никогда не занимался опроверженіемъ Канта. Юма онъ цитировалъ всего одинъ разъ, а Канта нѣсколько разъ, и всегда—только на безразличной почвѣ сопоставленія разныхъ мнѣній или иллюстраціи своихъ высказываній примѣрами. Вообще говоря, Авенаріусъ, по вѣрному замѣчанію Петцольдта, «никогда не спрашиваетъ: правъ ли въ данномъ случаѣ Спиноза? Не заблуждается ли тутъ Кантъ? Должны ли мы въ такомъ или иномъ пунктѣ соглашаться съ Платономъ? Онъ спрашиваетъ только: какимъ образомъ достигли эти философы до такихъ-то и такихъ воззрѣній? Въ какой психологической послѣдовательности находятся ихъ ученія? Какъ относятся ихъ высказыванія къ высказываніямъ чуждыхъ наукѣ людей? Задачей Авенаріуса является такимъ образомъ сравнительная психологія или философія исторіи философіи» (Petzoldt, ibid., S. 345). Вотъ что мы находимъ у самого Авенаріуса. У историковъ и у комментаторовъ—иное дѣло: здѣсь можетъ встрѣтиться и дѣйствительно встрѣчается разсмотрѣніе вопроса объ отношеніи Авенаріуса къ Юму, къ Конту и мало ли что, но все это къ настоящему случаю никакого отношенія не имѣетъ. Голландскій писатель Іельгерсма (Ielgersma) въ статьѣ своей «Modern Positivisme» («De Gids», 1904, October—November) начинаетъ съ Юма и доходитъ до Авенаріуса, а Петцольдтъ объ отношеніи Юма къ Авенаріусу говоритъ, что шагъ, дѣлаемый «Крит. чист. опыта», можетъ быть сдѣланъ отъ положенія, занимаемаго Юмомъ» (Petzoldt, ibid., II, s. 297). Можетъ, конечно! Но и все тутъ. Ясно, что Рилю рѣшительно не на что ссылаться. По вопросу объ отношеніи Авенаріуса къ Канту Петцольдтъ высказывается рѣшительнѣе и обстоятельнѣе; его мнѣніе для оцѣнки философіи Авенаріуса

имѣетъ большое значеніе, и можно допустить, что впечатлѣніе, произведенное этимъ мнѣніемъ на Риля, было такъ глубоко, что вызвало у него цитированное выше лживое показаніе. Настаивать на изобличеніи Риля я, конечно, не стану, но воспользоваться случаемъ ознакомить читателя съ мнѣніемъ Петцольдта я не премину, такъ какъ главная моя забота заключается не въ опроверженіи Риля, а въ возбужденіи интереса къ Авенаріусу: имѣющееся въ виду мнѣніе Петцольдта можетъ въ этомъ отношеніи оказать мнѣ весьма существенную услугу.

«Прошло ужъ болѣе ста лѣтъ,—говоритъ Петцольдтъ,—съ тѣхъ поръ, какъ между философами господствуетъ ученіе, для котораго первоначальная цѣль познанія представляется погруженною въ непроницаемый мракъ и которое поэтому желало бы обречь на самоотреченіе съ его неукротимымъ стремленіемъ къ истинѣ, съ его постоянно-обновляемою рѣшимостью мышленіемъ овладѣть бытіе. Міръ и мысль оказываются раздѣленными глухою стѣною, такъ какъ извѣстный міръ есть только мое представленіе, тогда какъ скрытый за стѣною дѣйствительный міръ остается непознаннымъ: вздумай я проникнуть въ его тайны, мнѣ все же-таки остается только одна возможность,—одна, и все та же форма мысли,—форма представленія; познаніе же того, что такое этотъ міръ «въ себѣ»,—что онъ такое независимо отъ моего мышленія,—это познаніе должно навѣки остаться отъ меня скрытымъ. Поэтому-то и приходится намъ ограничиться міромъ представленія и по отношенію къ дѣйствительности отречься отъ познанія,—уйти въ агностицизмъ. Пока мы остаемся по сю сторону раздѣлительной стѣны, въ задачахъ у насъ недостатка не будетъ; имъ будемъ мы посвящать всѣ наши усилія и отвыкнемъ въ концѣ-концовъ отъ повадки устремлять на стѣну наши полные желаній взоры и будемъ считать себя удовлетворенными».

«Это ученіе представляетъ собою высокоразвившуюся отрасль уходящей въ глубокую даль вѣковъ идеи, явственные признаки которой можно найти уже у древнихъ мыслителей. Она господствовала на протяженіи всего средневѣковья и она же не замедлила покалѣчить крылья у едва начавшаго свой полетъ новѣйшаго мышленія. Повсюду замѣчаются гибельные слѣды этой зловѣщей идеи,—идеи безсилія человѣческаго разума. Вся средневѣковая теологія только и знала, что надсаживаться надъ доводами объ убожествѣ какъ мыслителей, такъ и дѣйственной

природы человѣка, мѣтя развить въ немъ покорность передъ силою внѣшней помощи и жажду этой помощи. Человѣческій разумъ и человѣческія силы для достиженія блаженства объявлены недостаточными; блаженство можетъ быть достигнуто только при посредствѣ благодати,—вотъ тема, которая со временъ Августина, а, пожалуй, и еще ранѣе, вдохновляла теологовъ. Въ эпоху реформаціи она была лишь реабилитирована. Эта идея, съ тѣми варіированіями, черезъ которыя она въ разныхъ случаяхъ проходила, глубоко вліяла на философскую мысль. Кантъ находится въ полномъ подчиненіи у этой схоластики: мысль безсильна постичь міръ,—«вещь въ себѣ»; важнѣйшей задачей философіи является поэтому установленіе границъ ея охвата. Даже Юмъ, сложившійся подъ вліяніемъ гораздо болѣе благопріятныхъ условій, и тотъ не могъ высвободиться изъ-подъ этого вліянія. Его скептицизмъ есть не иное что, какъ признаніе непреодолимости той пропасти, которая отдѣляетъ средства мысли отъ ея задачи».

«Не подлежитъ сомнѣнію, однако же, что невозможность познанія не станетъ жечь вѣчно человѣческія сердца. Приспособляемость человѣка такова, что онъ оказывается способнымъ примириться и съ неизбѣжностью. Кто ясно понялъ невозможность осуществленія вѣчнаго движенія или вычисленія квадратуры круга, тотъ перестаетъ заботиться о нихъ, но удрученнымъ себя оттого не чувствуетъ. Напротивъ того, въ сознаніи этой невозможности есть нѣчто освобождающее, искупляющее: оно снимаетъ гнетъ угрызенія совѣсти и сомнѣнія, оно преисполняетъ человѣка новыхъ надеждъ: довольный и бодрый, онъ всецѣло обращаетъ теперь свои силы къ новымъ задачамъ».

«Такъ ли ужъ, однако, достовѣрна неразрѣшимость міровой загадки, какъ хотятъ насъ увѣрить? Нисколько! Стоитъ только освободиться намъ отъ старой схоластической идеи и довѣриться силѣ мысли: она для насъ все; допустимъ ли мы ея гибель? И въ самомъ дѣлѣ, логично ли ставить человѣческому мышленію задачу, которая по самой природѣ этого мышленія неразрѣшима? Міръ долженъ-де быть таковъ, что однимъ мышленіемъ постигнуть его невозможно! Значитъ, онъ немыслимъ! Какимъ же образомъ допускаютъ принять нѣчто немыслимое тѣ, для которыхъ все, познанное нами, состоитъ изъ однихъ только представленій,—всецѣло сводится на мысль? Нѣтъ, не такъ!

Задача мышленія можетъ возникнуть только изъ его же условій, изъ его же природы; она не можетъ быть навязана ему извнѣ. Если міръ представляется намъ неразрѣшимою загадкою, то винить слѣдуетъ насъ же самихъ. Нѣтъ болѣе міровой загадки, если мы сами того не желаемъ. Всѣ вопросы, которые можетъ поставить человѣческій разумъ, разрѣшимы, и всѣ будутъ разрѣшены, пока совершается развитіе этого разума. Что же касается тѣхъ вопросовъ, на которые средствами разума отвѣтить невозможно,—отвѣтить на которые оказывается, такимъ образомъ, немыслимымъ, то относительно ихъ надо признать, что поставлены они нелогично и что съ теченіемъ времени, вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ развитіемъ, пропзойдетъ ихъ неизбѣжное устраненіе. Сила мышленія по отношенію къ своей задачѣ безгранична; преувеличить ея значеніе невозможно. Не существуетъ ничего непостижимаго и нѣтъ никакихъ «границъ познанія природы».

Это не интеллектуализмъ Гегеля, какъ бы ни было симпатично новой философіи довѣріе Гегеля къ силѣ мысли. Это скорѣе убѣжденіе ея, какъ философіи, опирающейся на «чистый опытъ» (*Petzoldt*. ibid. I. Einleitung).

Прочитавъ это заявленіе Петцольдта и связывая его съ приведеннымъ выше общимъ очеркомъ значенія «чистаго опыта», можно, пожалуй, придти къ заключенію, что тутъ кроется какое-то недоразумѣніе,—что Риль имѣетъ въ виду какую-то иную философію, смѣшиваемую имъ съ эмпиріокритицизмомъ и ничего общаго съ нимъ не имѣющую. Къ несчастію для Риля, мотивовъ для такого отвода у него нѣтъ никакихъ: не смѣшиваетъ онъ, а намѣренно путаетъ, извращаетъ и клевещетъ. Расцвѣтъ такого рода пріемовъ у насъ еще, впрочемъ, впереди. Намъ предстоитъ еще установить понятіе импрессіонизма, и тогда плачевная роль Риля и жалкая участь его подголосковъ раскроется передъ нами во всей своей блистательной полнотѣ.

Въ видахъ дискредитированія эмпиріокритицизма Риль надумался сравнить его съ чѣмъ-нибудь выхваченнымъ изъ совершенно чуждой области,—съ чѣмъ-нибудь мало извѣстнымъ,—съ чѣмъ-нибудь легко извратимымъ и удобоизвращающимъ неподготовленную мысль читателя. Разсчетъ оказался вѣрнымъ и замыселъ практичнымъ. Риль избралъ ареною своего подвига живопись и въ ней остановился на направленіи, извѣстномъ подъ ничего не значущимъ названіемъ «импрессіонизма». Иллюзія

легкой расправы съ «философіей чистаго опыта» до такой степени увлекала при этомъ Риля, что онъ даже не далъ себѣ труда подумать о томъ, какіе серьезные результаты можетъ дать задуманное сравненіе и не слишкомъ ли ужъ легко будетъ даже и какому-то тамъ русскому почитателю Авенаріуса сдуть построенный Рилемъ карточный домикъ и возстановить попранную истину.

Всего прежде я поведу рѣчь о несостоятельности задуманнаго Рилемъ сравненія и постараюсь показать, что всѣ эти Рилевскія «въ той же мѣрѣ», «такъ точно» и т. п. выраженія ровно ничего не стоятъ.

Риль сопоставляетъ философію и живопись. Въ живописи дѣло идетъ о замѣнѣ производящихъ извѣстныя зрительныя воспріятія условій другими—искусственными, дающими возможность посредствомъ линій, красокъ и свѣтотѣни, наложенныхъ на плоскость, вызывать впечатлѣнія, аналогичныя получаемымъ отъ трехпротяженнаго пространства; въ философіи же не только не имѣется въ виду измѣненія условій зрительныхъ воспріятій, но и измѣненіе условій какихъ бы то ни было воспріятій; воспріятіями она пользуется совсѣмъ для другой цѣли; заставая ихъ претворенными въ словесныя высказыванія, она прослѣживаетъ образованіе изъ нихъ представленій, понятій и сужденій и на каждой изъ этихъ ступеней сличаетъ соотношеніе соотвѣтственныхъ высказываній и данностей окружающей среды. Этимъ путемъ она вырабатываетъ приспособленіе мышленія къ средѣ и пользуется этимъ приспособленіемъ для ориентировки въ ней. Художественный процессъ, какъ видно изъ этого, не имѣетъ ничего общаго съ процессомъ логическимъ, и оцѣнка одного посредствомъ другого должна неизбѣжно оказаться поэтому совершенно безплодною. Намъ хорошо извѣстно вмѣстѣ съ тѣмъ, что крупные художественные таланты нисколько не предполагаютъ высокаго развитія логической способности, и наличность ея у такихъ талантовъ есть дѣло случайности и только.

Итакъ, пріемъ Риля по самой основѣ своей ложенъ, и если бы онъ былъ оцѣниваемъ такъ, какъ того заслуживаетъ, то вызванный имъ инцидентъ былъ бы ужъ давно забытъ, и говорить о немъ совсѣмъ бы не стоило. На самомъ дѣлѣ, однако же, тамъсямъ Риль встрѣчаетъ податливые отклики, обусловленные широко распространеннымъ въ наше время философскимъ тума-

номъ. Въ Германіи книга Риля выходитъ вторымъ изданіемъ,— у насъ его цитируютъ одобрительно, не озабочиваясь провѣркой, и даже въ прославленной ясностью мышленія Франціи находятся писатели, подпавшіе гипнозу его путанныхъ и тусклыхъ элюкубрацій. Такъ, г. Th. Sch. (*Revue Critique*, 904, № 43) повторяетъ Рилевскій вздоръ о тождествѣ философіи чистаго опыта съ импрессіонизмомъ, обнаруживая при этомъ безпредѣльную по этому вопросу отсталость и глубочайшее невѣжество.

Все это, вмѣстѣ взятое, побуждаетъ меня не затрудняться при разсмотрѣніи мнѣнія Риля и тою его стороною, несостоятельность которой для другого, болѣе счастливаго, историческаго момента должна бы представляться вполнѣ очевидною.

Риль, напримѣръ, очевидно, воображаетъ, что такіе термины въ живописи, какъ «идеализмъ» и «реализмъ», находятся въ соотвѣтствіи съ параллельными терминами въ философіи; онъ считаетъ поэтому возможнымъ и для термина «импрессіонизмъ» подыскать подходящее соотвѣтствіе. Вооружась такимъ изъ воздуха схваченнымъ домысломъ, онъ ужъ считаетъ себя въ правѣ не доискиваться до того, что же именно такое этотъ импрессіонизмъ, и заключивъ по значенію слова «impression», что импрессіонизмъ долженъ-де быть ультра-реализмомъ, на томъ и останавливается. На бѣду, ему,—опять-таки только кажется,— что и по времени «импрессіонизмъ въ искусствѣ» *соотвѣтствуетъ* «импрессіонизму въ наукѣ», вотъ онъ и хватается и за эту соломенку и почему-то принимается увѣрять насъ, что его абсурдъ такимъ соотвѣтствіемъ во времени будто бы подтверждается.... Попасть въ лужу болѣе удачно, конечно, невозможно!

Посмотримъ же, каково истинное значеніе спутываемыхъ Рилемъ терминовъ.

Начнемъ съ того, что термины «реализмъ» и «идеализмъ» въ живописи въ томъ уже рѣзко противополагаются тѣмъ же терминамъ въ философіи, что они вовсе не относятся къ выражающему міросозерцаніе художника замыслу картины, а исключительно только къ ея исполненію. Когда намъ говорятъ, что такой-то — реалистъ или идеалистъ, намъ говорятъ о мастерѣ, а не о мыслителѣ. Такимъ образомъ, у сравненія живописи съ философіей безповоротно отымается всякая почва. И затѣмъ, разъ мы имѣемъ передъ собой это различіе, намъ нетрудно замѣтить, что соотношеніе между замысломъ картины

и ея исполненіемъ допускаетъ сочетаніе крайняго идеализма въ одномъ съ крайнимъ реализмомъ въ другомъ и обратно. Изъ этого видно, что художественное различіе реализма и идеализма не находится на пути того, кто интересуется этимъ различеніемъ въ философіи, но это еще не все: художественное различеніе указываетъ намъ кромѣ того и на постоянное присутствіе работы мысли за кулисами исполненія. Это очень важно. Собственно говоря, мы только путемъ отвлеченія можемъ представить себѣ такой процессъ художественнаго творчества, изъ котораго вполнѣ и окончательно была бы устранена работа мысли, и самое творчество было бы поставлено внѣ высшихъ интересовъ человѣчества и всецѣло было бы погружено въ спеціальные интересы исполненія, т.-е. оказалось бы сведеннымъ къ какому-то особаго рода живописному спорту. Проявленіе такого спорта является лишь признакомъ односторонности и узости художника, признакомъ произведеннаго имъ смѣшенія понятій,—свидѣтельствуетъ, что и въ живописи возможна та ошибка, которая побуждаетъ стихотворца упражняться въ составленіи стиховъ съ одною какою-нибудь буквою въ каждомъ словѣ, акростиховъ и т. п., лишенныхъ всякой руководящей мысли пустяковъ. Клаузенъ, указывая на сложность присущихъ всякому художественному творчеству психологическихъ побужденій, указываетъ на всегдашнюю противоположность между стремленіемъ къ выраженію замысла и желаніемъ проявить умѣлость. Только при полномъ равновѣсіи этихъ двухъ мотивовъ возможно, по мнѣнію Клаузена, достиженіе высшаго совершенства задуманнаго произведенія; когда же беретъ верхъ побужденіе къ выраженію замысла, произведеніе оказывается искреннимъ и изящнымъ, но несовершеннымъ и незрѣлымъ, какъ у раннихъ прерафаэлитовъ; когда же преобладаетъ побужденіе къ проявленію умѣлости, обнаруживается мастерство, аффектація и декадентство. (Six Lectures on painting delivered to the Students of the Royal Academy of Arts in London, january 1904, by *Prof. George Clausen*, pp. 21—22). Въ то же время можно прослѣдить оба эти направленія и нетрудно убѣдиться, я думаю, что каждое изъ нихъ не въ силахъ подняться выше этюдовъ. Съ поднятіемъ уровня образованія въ средѣ художниковъ все рѣже и рѣже будутъ встрѣчаться, конечно, какъ недооцѣнка, такъ и переоцѣнка исполненія и чаще будутъ попадаться цѣлостныя гармоническія произведенія.

Такова общая подъоснова всякаго художественнаго произведенія. Посмотримъ теперь, какъ установляется на ней различеніе идеализма и реализма исполненія. Одинъ изъ знатоковъ живописи, обсуждая этотъ вопросъ, говоритъ: «Художники представляютъ себѣ міръ формъ и красокъ, изъ котораго они получаютъ свой матеріалъ, весьма многоразлично, съ безконечно разнообразныхъ точекъ зрѣнія, и отражаютъ свои впечатлѣнія всѣми, какіе только можно вообразить, способами. Одинъ смотритъ на свое полотно, какъ на зеркало, въ которомъ онъ тщится отразить съ самою безупречною вѣрностью и старательностью всѣ окружающіе его предметы, каковы бы тамъ они ни были. Другой, относясь къ окружающимъ предметамъ, какъ къ какому-то складу, выбираетъ предметы, какіе ему нравятся, и снабжаетъ ихъ имъ самимъ задуманною красотою. И еще иной даетъ намъ необычайный фантастическій эффектъ, скорѣе внушающій мысль о какихъ-то грезахъ, нежели объ обыденной жизни, окружающей насъ. Невольно возникаетъ при этомъ вопросъ: всѣ ли эти точки зрѣнія на природу, обусловливающія изображеніе ея, присущи самому искусству живописи? Къ чему оно стремится? Какими средствами пользуется? Въ какой мѣрѣ можетъ художникъ надѣяться на успѣшное достиженіе своей цѣли, сообразно съ ограниченіями, свойственными его средствамъ? Съ каждымъ отвѣтомъ на эти вопросы ассоціируется столько злоупотребляемыхъ терминовъ—реализмъ, идеализмъ, классицизмъ, натурализмъ, импрессіонизмъ, которые и годятся только для обозначенія точекъ зрѣнія художниковъ или ихъ тенденцій, въ широкомъ значеніи, а не въ значеніи ярлыковъ для классификаціи произведеній живописи» (*Robert Clermont Witt.* How to look at pictures. 1902. Chap. XV).

Развивая далѣе свою мысль, Уиттъ замѣчаетъ, что обыкновенно, при взглядѣ на какое-нибудь произведеніе живописи, ставится заурядный вопросъ о томъ, схоже ли изображеніе съ дѣйствительностью. Всякая-де картина представляетъ подражаніе природѣ, и если такъ, то и спрашивается, съ какою степенью точности удалось достигнуть эту цѣль? Вопросъ этотъ, по мнѣнію Уитта, есть вопросъ элементарной критики, но онъ все же-таки долженъ считаться не лишеннымъ дѣйствительнаго значенія. Отвѣчая на него, Уиттъ останавливается прежде всего на томъ, что «живопись, согласно смыслу своей задачи, непзбѣжно должна подражать природѣ, но при этомъ оказы-

вается, что столь неизбѣжная подражательность, ограничена извѣстными предѣлами. Живопись есть, во всякомъ случаѣ, обольщеніе, обманъ, условность, при которой предметы трехъ измѣреній изображаются при посредствѣ только двухъ,—помощью линій, красокъ и свѣтотѣни. Художникъ подражаетъ природѣ въ томъ смыслѣ, что беретъ ея формы своими образцами, но тутъ подражаніе и оканчивается. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы то желательно ни было, все же полное подражаніе природѣ не можетъ быть достигнуто въ живописи уже потому, что нѣтъ никакой возможности преодолѣть различія между яркостью красокъ, встрѣчающихся въ природѣ, и имѣющимися на палитрѣ». «И далѣе, вниманіе наше останавливаетъ тотъ фактъ, что художникъ не машина, а индивидъ съ опредѣленными вкусами и симпатіями, а потому у каждаго художника предполагается личная интерпретація природы. Эта интерпретація и представляетъ самую сущность искусства живописи» (*Witt*, ibid.). Проводя свое разсужденіе далѣе, Уиттъ и приходитъ къ заключенію, что и реализмъ, и идеализмъ въ живописи опредѣляются у всякаго художника характеромъ его интерпретаціи природы; если въ этой интерпретаціи оказывается преобладаніе элемента подражанія, то произведеніе получаетъ реалистическій характеръ,—если же берутъ верхъ вкусы и симпатіи художника, такъ что онъ до извѣстной степени выставляетъ ихъ вмѣсто природы и пишетъ не то, что есть, а то, что—по выраженію Рафаэля—должно бы быть, то является произведеніе идеалистическое. Поэтому, всякій художникъ, по мнѣнію Уитта, является отчасти реалистомъ и отчасти идеалистомъ. Термины эти вовсе не исключаютъ одинъ другого. Если же принимать различеніе идеализма и реализма въ безусловномъ смыслѣ, то получаются только очень удобные для самозванныхъ критиковъ шаблоны; на самомъ же дѣлѣ, различеніе это указываетъ только на двѣ точки зрѣнія на искусство и ничего болѣе (*Witt*, ibid.).

Приведенное разсужденіе прекрасно вскрываетъ несостоятельность той примитивной оцѣнки художественныхъ произведеній, которая колеблется между двумя крайностями—между утвержденіемъ, что правдивость изображенія возрастаетъ вмѣстѣ съ возрастаніемъ реальности его и низведеніемъ реальности къ однимъ лишь зрительнымъ впечатлѣніямъ, которыя могутъ быть нагромождаемы «безъ порядка, безъ выбора, безъ всякаго уясненія ихъ». Сопоставляя эти мнѣнія, слѣдуетъ помнить, что выска-

зыванія о живописи имѣютъ значеніе лишь постольку, поскольку имъ можетъ соотвѣтствовать осуществимость художественныхъ замысловъ кистью. Внѣ границъ этой осуществимости паритъ одно лишь праздное фантазерство. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, Риль необдуманно бросаетъ мысль о какой-то будто бы существующей безсмысленной школѣ живописи и ставитъ внимательнаго читателя въ совершенную невозможность понять его, такъ какъ такой читатель знаетъ, что реализмъ реализму рознь: есть реализмъ Теръ-Борха, Метсу, Мейсонье, не пренебрегающій и самомалѣйшими подробностями, и есть реализмъ Рембрандта, Веласкеза, Сарджента, отвергающій эту микроскопію и ищущій вѣрности и правдивости лишь въ общихъ основныхъ чертахъ. Имѣя это въ виду, Клаузенъ со своею обычною мѣткостью и замѣчаетъ, что реальность нѣкоторыхъ картинъ была бы достигнута въ бо̀льшей степени, если бы исполненіе этихъ картинъ было менѣе реалистично (*Clausen*, ibid., p. 124). Теперь, какъ я полагаю, основная ошибка Риля стала очевидна для читателя; теперь ужъ не можетъ подлежать сомнѣнію, что до какихъ бы крайностей не доходилъ реализмъ художника, доля интерпретаціи природы, доля упорядоченія и уясненія воспріятій все же-таки остается. Да, она остается, и ее нельзя выфилософить ради суетной потребности получить въ свое распоряженіе какъ бы нѣкую ослиную челюсть для избіенія какихъ-то тамъ, сдва ли не привидѣвшихся только во снѣ, филистимлянъ.

Такихъ филистимлянъ не только нѣтъ, но ихъ и быть не можетъ, что ясно видно изъ неприложимости и непримѣнимости тѣхъ шаблоновъ, на которые пытается опереться Риль. Если бы онъ вдумался въ ихъ значеніе, онъ легко могъ бы убѣдиться въ вѣрности сужденій приведенныхъ выше знатоковъ живописи и уразумѣлъ бы, что различеніе реализма и идеализма въ живописи, являясь руководительнымъ началомъ оцѣнки произведеній этого рода искусства, нисколько не обязываетъ насъ къ непремѣнному зачисленію того или другого художника подъ одну изъ этихъ рубрикъ. Для большей ясности остановимся на пользующейся широкою извѣстностью картинѣ покойнаго Н. Н. Ге «Тайная вечеря». Объ этой картинѣ высказался недавно сынъ Николая Николаевича П. Н. Ге («Главныя теченія русской живописи XIX в.», стр. 37) и его сужденіе является очень подходящимъ для выясненія настоящаго случая. Онъ го-

воритъ, что картина его отца, появившаяся на выставкѣ 1863 г., произвела большое впечатлѣніе: «въ ней чувствовалось что-то новое. Она вызывала на размышленіе и споры. Сущность художественнаго творчества молодого художника, какъ движеніе въ сторону европейской современной мысли, было вѣрно понято и почувствовано всѣми, хотя стиль картины былъ опредѣленъ и ошибочно, т.-е. она почему-то была названа произведеніемъ реалистическимъ». Г. Ге не открываетъ намъ значенія своего темноватаго выраженія «сущность художественнаго творчества», но если обратить вниманіе на то, что онъ обозначаетъ ее, какъ «движеніе въ сторону европейской современной *мысли*», то едва ли будетъ большою ошибкой въ этой метафизической «сущности» видѣть просто-напросто «замыселъ» произведенія. Также точно я не могу съ достаточною ясностью уловить значеніе термина «стиль», но если принять во вниманіе, что этотъ «стиль» характиризуется, какъ «идеалистическій» или «реалистическій», то и тутъ, вѣроятно, окажется дозволеннымъ необходимое для моего антиметафизическаго взгляда упрощеніе, сводящееся къ замѣнѣ загадочнаго «стиля» всякому доступнымъ терминомъ «исполненіе». Совершивъ это упрощеніе въ изложеніи мнѣнія г. Ге, я сейчасъ же начинаю видѣть совершенно ясно, что въ замыслѣ была идея, т.-е. художникъ задавался не иллюстраціей къ извѣстному сказанію, а задумалъ, пожалуй, то же, что предносилось и передъ творческою мыслью Брюлова при замыслѣ его «Послѣдніе дни Помпеи»—гибель духовнаго начала передъ силою, какъ то замѣтилъ Герценъ. Идеализмъ замысла оказывается такимъ образомъ несомнѣннымъ. Что же касается исполненія, то оно оказывается идеалистическимъ постольку, поскольку темной фигурѣ предателя противопоставленъ свѣтлый обликъ намѣченной предателемъ жертвы, и вмѣстѣ съ тѣмъ, постольку реалистическимъ, поскольку фигуры картины и ихъ обстановка выражаютъ намѣреніе не приспособить дѣйствительность къ возвышенной идеѣ замысла, а оставить ее въ возможно полномъ согласіи съ данными мѣста и времени, т.-е. оставить ее во всемъ ея реализмѣ.

Возьмемъ еще одинъ примѣръ: въ текстѣ, приложенномъ къ Кнебелевскому изданію «Картинъ современныхъ художниковъ» о знаменитомъ испанскомъ художникѣ Гойѣ высказано слѣдующее мнѣніе: «вотъ художникъ, никогда не задумывавшійся надъ тѣмъ, что дѣлать? Онъ дѣлалъ все: писалъ портреты,

пейзажи, народныя сцены, писалъ вещи безумно фантастическія и совершенно реальныя. Онъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ мастеровъ, которые до самой смерти не создали себѣ спеціальности. И это потому, что онъ обладалъ тайной видѣть не только завѣсу дѣйствительности, видимую сотнями и тысячами другихъ, но и то, что скрывается за этою завѣсой. Онъ умѣлъ заглянуть по ту сторону видимой жизни, и оттого ему было въ сущности все равно, что писать. Въ веселомъ смѣхѣ добродушнаго филистера ему слышался адскій хохотъ и въ улыбающихся лицахъ чудились искривленныя рожи чертей. Какъ Гофманъ и По, онъ одиноко бродилъ по свѣту и недоумѣвалъ, отчего никто кромѣ его не видитъ всего ужаса этой бѣшеной дьявольской пляски. Все искусство Гойи—какое радикальнѣйшее отрицаніе того, что зовется въ обиходѣ «сюжетомъ»; за что бы онъ ни брался, онъ всегда давалъ ту сокровеннѣйшую сущность искусства, которая лежитъ не въ сюжетѣ и, можетъ быть, не въ рисункѣ только и не въ однѣхъ краскахъ. Ее надо скорѣе искать въ томъ непостижимомъ очарованіи, которое вѣчно истекаетъ изъ души великаго артиста черезъ его созданія, истекаетъ и тогда, когда его давно уже нѣтъ въ живыхъ».

«Сущность искусства», значущаяся у г. Ге, у автора приведеннаго отрывка является уже «сокровеннѣйшей» и на нее наслояется еще «тайна», вошедшая у насъ въ моду какъ разъ тогда, когда передовая мысль Запада поставила на ея мѣстѣ «проблему» и въ довершеніе всего—«скрытое за завѣсой», обрѣтающееся «по ту сторону видимой жизни». Туманъ, очевидно, сгустился въ непроницаемый мракъ, и усугубленіе въ мысляхъ достигло послѣдняго градуса перенапряженія... Аѳанасій Ивановичъ разсчитываетъ окончательно смутить Пульхерію Ивановну! И что тутъ при этомъ дѣлать бѣдной живописи? У нея только холстъ и палитра, а ей сокровеннѣйшую сущность потусторонности предлагаютъ писать. И, однако же, какъ упрощается задача, раздувшаяся до глубокомыслія, если въ рѣшеніе ея мы внесемъ свѣтъ, необходимый для установленія самыхъ элементарныхъ различеній. Гойя былъ мыслитель и мыслитель незаурядный; понятное дѣло, что его интерпретація окружающей среды парила надъ интерпретаціей другихъ, «какъ паритъ орелъ надъ другими высоколетающими», и его замыслы высились подобно вершинамъ въ горномъ кряжѣ. Вспомните, что было мною сказано о дополнительныхъ условіяхъ и жизнераз-

ностяхъ, и вамъ станетъ ясно, почему для мыслителя высшаго порядка являются не тѣ дополнительныя условія, не тѣ жизненности, что для толпы. Онъ переросъ ее, онъ не играетъ въ оловянные солдатики, не повторяетъ зря чужихъ словъ, не подыскиваетъ словъ съ такою-то или такою буквой; онъ смотритъ на міръ серьезно, его интерпретація серьезна, его воплощеніе этой интерпретаціи въ образы—тоже. И что за идея видѣть въ его многосторонности безразличное отношеніе къ такъ называемымъ «сюжетамъ?!» Послѣ этого и у Гёте можно констатировать такое же легкомысліе; но Гёте слишкомъ извѣстенъ, а на Гойю, какъ на бѣднаго Макара, можно валить всякія шишки. И все это потому, что туманныя теоріи не даютъ возможности установить истинную цѣнность такого человѣка, какъ Гойя. Обратимся къ писателямъ, болѣе для такой оцѣнки подготовленнымъ, и мы услышимъ совсѣмъ иныя рѣчи. «Въ прекрасномъ альбомѣ рисунковъ, изображающихъ бѣдствія войны (Los desastros de la guerra),—говоритъ авторъ одной испанской монографіи о Гойѣ,—представленъ цѣлый рядъ сценъ, болѣе восьмидесяти,—въ которыхъ военное ремесло является далеко *не такимъ, какимъ оно представляется для вульгарныхъ умовъ*, благодаря декораціямъ военнаго быта. Гойя представилъ его *такимъ, каково оно есть на самомъ дѣлѣ*». (Goya, su tiempo, su vida, sus obras, por el conde de la Vinaza, 1887). «Въ рисункахъ Гойи, изображающихъ ужасы войны,—говоритъ знатокъ Испаніи Вильгельмъ Лаузеръ,—война представлена безъ фразъ, безъ пощады, со всѣми своими ужасами, со всѣмъ своимъ безумiемъ, со всѣми своими преступленіями; въ нихъ не нашлось мѣста для возвышенныхъ военныхъ подвиговъ или веселенькихъ сценъ изъ солдатской жизни, въ нихъ глазъ нигдѣ не услаждается видомъ гордыхъ всадниковъ и прилизанныхъ солдатиковъ французскихъ художниковъ (Раффе, Шарль, Калло); солдаты являются тутъ кровожадными убійцами, напоминающими больше звѣрей, чѣмъ людей; кровь—одна только кровь, ужасъ—одинъ только ужасъ, преступленіе—одно только преступленіе, наполняютъ всѣ эти 80 листовъ, отъ перваго до послѣдняго. Тутъ нѣтъ никакого примиренія, никакой передышки; тутъ сама природа какъ будто отвергаетъ одичалое человѣчество: блѣдный, пасмурный свѣтъ или же непроглядная ночь являются единственными свидѣтелями этихъ злодѣяній» (*Wilhelm Lauser*: «Aus Spanien Gegenwart» 1872). Столько похвалъ,

столько восторга, а объ исполненіи ни полслова,—почему это? Да потому именно, что Гойя не спортсменъ живописи, а мыслящій и чувствующій человѣкъ, который избралъ живопись какъ средство жечь сердца людей, а не какъ предлогъ удивлять техническими фокусами! Я полагаю, что такой человѣкъ, какъ де-Амичисъ можетъ считаться компетентнымъ для оцѣнки Гойи, и вотъ де-Амичисъ, въ своемъ описаніи мадридскаго музея, въ строкахъ, посвященныхъ Гойѣ, говоритъ, что этотъ геніальный художникъ посвятилъ свою кисть «изображенію стараго испанскаго общества, разлагавшагося у него на глазахъ». При такой общей темѣ становится понятнымъ разнообразіе «сюжетовъ» его картины. Широкій общественный интересъ руководилъ имъ, а вовсе не индиферентизмъ ко всему, кромѣ вопросовъ техники, какъ стараются насъ увѣрить современные наши цѣнители его и судьи. Отъ де-Амичиса же мы узнаемъ, что Гойя относился къ сюжету своихъ картинъ такъ страстно, что изображая ненавистное ему лицо, онъ, во время своей работы, осыпалъ его оскорбленіями (*De Amicis*: «Spagna», 1901, p. 150). Это ли индиферентизмъ? Теперь я могу считать вопросъ о томъ направленіи въ живописи, о которомъ говоритъ Риль и которое онъ называетъ импрессіонизмомъ, достаточно выясненнымъ: такого направленія нѣтъ и быть не можетъ, но, если его не существуетъ, то что же такое представляетъ собою несомнѣнно существующій, дѣйствительный импрессіонизмъ, какъ современная школа живописи. Вотъ вопросъ, которымъ намъ предстоитъ теперь заняться.

Писатели, посвятившіе спеціальные труды импрессіонизму—Мейеръ Граффе, Поль Синьякъ, Эмиль Гейльбутъ и особенно Моклэръ, книга котораго появилась сперва на англійскомъ, а потомъ на французскомъ языкахъ, даютъ намъ объ импрессіонизмѣ весьма опредѣленное понятіе. Изъ представленныхъ ими данныхъ можно видѣть, что импрессіонизмъ является направленіемъ, не отличающимся однородностью своего характера и твердо установившимся единствомъ. Пока мы имѣемъ передъ собой скорѣе совокупность поисковъ, массу попытокъ, множество развѣдокъ и не малое число отдѣльныхъ разрозненныхъ результатовъ всѣхъ этихъ стремленій къ новшеству, но ничего законченнаго, ничего цѣлаго, ничего окончательнаго,—все еще держится тутъ переходное состояніе, и никто не можетъ сказать, когда оно завершится. Въ довершеніе всего, и названіе

свое импрессіонизмъ получилъ случайно и нисколько не является этому названію соотвѣтствующимъ. Названіе это возникло на такъ называемой «выставкѣ отверженныхъ» (Salon des Refusés), въ 1867 г., по совершенно внѣшнему поводу. Еще въ 1863 г. Наполеонъ III принялъ во вниманіе массу непринятыхъ на академическую выставку картинъ и распорядился о предоставленіи этимъ «отверженнымъ» особой залы. Черезъ четыре года послѣ этого на этой обособленной выставкѣ и появилась картина Монэ (Monet), представлявшая закатъ солнца, надѣлавшая много шуму. Она значилась въ каталогѣ подъ названіемъ «Impressions». Это названіе и послужило исходной точкой для термина «импрессіонизмъ», прилагавшагося съ этихъ поръ ко всякимъ послѣдователямъ манерѣ автора этой картины, а позже и ко всѣмъ стоявшимъ въ оппозиціи академизму вообще. «Подъ случайное это названіе,—говоритъ Моклэръ,—подошли независимые» самыхъ различныхъ темпераментовъ, не питавшіе почтенія къ академіи и схоластическому обученію. Въ протестѣ противъ академическаго авторитета всѣ они и нашли свою общую точку соприкосновенія. Къ этой реакціи противъ офиціальнаго осужденія надо присоединить бѣдность и любовь къ природѣ, и тогда мы охватимъ все то, что соединяло этихъ приверженцевъ различныхъ идеаловъ въ одну группу. Можно составить точный списокъ прерафаэлитовъ, такъ какъ ихъ понятія о манерѣ письма были абсолютно тождественны, но невозможно дать списка импрессіонистовъ, такъ какъ терминъ этотъ не представляетъ ничего опредѣленнаго. Критика можетъ принимать импрессіонизмъ двояко: или въ смыслѣ спеціальной техники, которая дѣйствительно отличаетъ импрессіонизмъ отъ другихъ «независимыхъ» направленій, или въ смыслѣ оппозиціи академическому идеалу, представляющій крайнее разнообразіе формъ» (Camille Mauclair. L'Impressionisme, son histoire, son esthétique, ses maitres 1904, pp. 22—33); интересно сопоставить взглядъ Моклера со взглядомъ Бернъ—Джонса—его полярной противоположности. (The Ninetcenth Century, 905, March).

Если ко всему вышесказанному мы прибавимъ указанія на предшественниковъ импрессіонизма и примемъ во вниманіе замѣчаніе Клаузена о томъ, что импрессіонизмъ въ живописи существовалъ всегда, но только прежде онъ захватывалъ лишь формы и движенія, а теперь захватилъ и краски (ibid., p. 124),

то убѣдимся, конечно, что для сопоставленія, сравненія и какого бы то ни было сближенія импрессіонизма съ эмпиріокритицизмомъ нѣтъ никакого основанія, никакого повода, никакого смысла. Ясно и очевидно, что задумавъ потопить импрессіонизмъ, связавъ съ нимъ предварительно эмпиріокритицизмъ, Риль замыслилъ дѣло вздорное, его прежней дѣятельности недостойное, разсчитанное на невѣжество, недомысліе и метафизическое умопомраченіе. Туда ему и дорога, тамъ его чествуютъ, превозносятъ и изучаютъ... Въ добрый часъ!

Если, однако же, мое рѣшительное опроверженіе мнѣнія Риля вызоветъ замѣчаніе, что, однако жъ, Петцольдтъ даетъ этому мнѣнію иную оцѣнку, то я отвѣчу что иною она кажется однимъ только подверженнымъ близорукости. Въ самомъ дѣлѣ, Петцольдтъ, говоря о томъ, что Риль приравниваетъ эмпиріокритицизмъ импрессіонизму, дѣйствительно замѣчаетъ, что *«если* мы при этомъ будемъ мыслить не о двухпротяженности живописца, а о трехпротяженности анатома, физика и химика, то это названіе, мѣтящее на устраненіе всѣхъ внѣопытныхъ примысловъ, можно будетъ счесть подходящимъ» (ibid. II, p. 329). Тутъ все держится, какъ то и очевидно, на ироніи язвительнаго *«если»*; кому же эта иронія ничего не говоритъ, тотъ можетъ отводить себѣ душу въ бесѣдахъ о трехпротяженной живописи съ тѣми Кифами Мокіевичами, которые и по сейчасъ надрываются надъ вопросомъ о томъ, что было бы, если бы слонъ родился въ яйцѣ, какова бы скорлупа была?

Общее заключеніе читатель можетъ сдѣлать и безъ моей помощи.

1905.
«Русская Мысль».

НОВЫЕ ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ [1]).

1-й отрывокъ.

Переломы въ ходѣ развитія познающей мысли, хотя и подготовляются издалека и назрѣваютъ постепенно, являются, однако же, для большинства, такъ называемыхъ, образованныхъ людей неожиданными и внезапными. Происходитъ это оттого, что подготовка перелома выражается въ длинномъ рядѣ незначительныхъ и неяркихъ измѣненій и новшествъ, значеніе и преемственная связь которыхъ совершенно ускользаетъ отъ обыденнаго наблюденія, оно неизбѣжно и озадачивается, когда передовыя личности, связавъ всѣ эти прецеденты, объединяютъ ихъ и завершаютъ ихъ общую совокупность новымъ, ими установленнымъ обобщеніемъ. Обобщеніе это неизбѣжно и представляется поэтому обыденнымъ умамъ внезапнымъ, произвольнымъ, невразумительнымъ, а нерѣдко и вреднымъ новшествомъ. Сперва новшество это обыкновенно замалчивается, потомъ извращается оклеветывается, и, въ концѣ концовъ, на основаніи какой-нибудь нескладной мотивировки рѣшительно отвергается. Рутина торжествуетъ фиктивную побѣду, а между тѣмъ, подъ шумъ ея тріумфа, новая идея мало-по-малу растетъ, разрабатывается, разъясняется и становится, наконецъ, въ образованной средѣ общепринятою.

Девятнадцатое столѣтіе занесло въ свою лѣтопись немалое число такого рода эпизодовъ: химики Жераръ и Лоранъ умерли непризнанными; фольклористъ Мангардтъ—не былъ оцѣненъ при жизни, да и въ настоящее время оцѣнивается лишь немно-

---

[1]) Эта незаконченная статья найдена въ рукописи, въ двухъ черновыхъ отрывкахъ. *Прим. ред.*

тими, и даже величайшіе умы вѣка — Фейербахъ, Дарвинъ, Ог. Контъ для современниковъ не представлялись въ ихъ истинномъ значеніи и величіи.

Судьбы ученія Ог. Конта многимъ еще памятны, еще живы люди, отвергавшіе его и поносившіе, и имъ должно быть извѣстно, что въ наше время воззрѣнія Ог. Конта считаются важнымъ шагомъ впередъ на пути научно-философской мысли, и знакомство съ ними предполагается теперь у каждаго образованнаго человѣка. Трактатъ, статья, лекція всегда излагаются въ настоящее время такъ, какъ будто курсъ позитивной философіи составляетъ неотъемлемую часть нашего обязательнаго образованія. И, на дѣлѣ, это дѣйствительно такъ и есть. Непонимающій такихъ терминовъ, какъ іерархія наукъ, законъ трехъ состояній и т. п. остается за флагомъ современной научной литературы и обрекается какъ бы на роль глухонѣмого.

Пережитое нѣкогда ученіемъ Конта, нынѣ переживается ученіемъ Авенаріуса: замалчиваніе, судаченье вкривь и вкось, и, что хуже всего, извращеніе—общеизвѣстны. Горсть учениковъ Авенаріуса хотя и считаетъ въ своей средѣ нѣсколько извѣстныхъ въ наукѣ именъ, теряется въ массѣ враждебно настроенныхъ и индиферентныхъ; и очень еще слабо растетъ число тѣхъ, которые вполнѣ уяснили себѣ, какое соотношеніе существуетъ между новыми запросами современной науки и точкою зрѣнія Авенаріуса и каковы тѣ новыя перспективы, которыя явились теперь благодаря этой точкѣ зрѣнія.

Эволюція научной мысли отъ Конта до Авенаріуса, захватывающая полувѣковое пространство, имѣетъ поэтому особенно важный интересъ: она должна доставить намъ неопровержимые доводы въ справедливости только что высказаннаго сужденія о значеніи философіи Авенаріуса—эмпиріокритицизма—для современнаго положительнаго знанія.

Вопросъ этотъ для многихъ еще представляется камнемъ преткновенія, а между тѣмъ дѣло это до крайности просто и естественно.

Ог. Контъ, какъ извѣстно, не удержался на научной точкѣ зрѣнія и подъ конецъ жизни сталъ проповѣдывать мистическое ученіе. Первая и вторая половина его дѣятельности не представляютъ логическаго единства,—они идутъ врозь. Теперь уже общеизвѣстно, что эта рознь была обоснована патологическимъ состояніемъ Конта въ послѣдніе годы его жизни.

Изъ этого видно, что единство міровоззрѣнія Конта имѣетъ одно лишь психологическое значеніе и можетъ представлять интересъ только для его біографіи. Если же мы станемъ разсматривать воззрѣнія Конта въ связи съ ходомъ развитія научной мысли въ XIX вѣкѣ, то намъ придется выйти за предѣлы его біографіи, включить Конта въ историческій рядъ научно-философскихъ воззрѣній и взять поэтому изъ его ученія только то, что имѣетъ методологическое единство, что не лишено связи и соотношенія съ другими звеньями этого же ряда.

Не трудно видѣть, что разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія основоначала Контовой философіи должны оцѣниваться постольку, поскольку можно открыть въ ней что-либо плодотворное, способное къ дальнѣйшему развитію, открывающее выходъ въ будущее. Я утверждаю, что «законъ трехъ состояній» и «классификаціи наукъ» обладаютъ этой жизнеспособностью, такъ какъ они предполагаютъ извѣстныя предпосылки, хотя и невысказанныя самимъ Контомъ, но несомнѣнно годныя для связи ихъ съ моментами послѣдующей эволюціи научной мысли.

Извѣстно, что указанная Контомъ послѣдовательность въ историческомъ ходѣ умственнаго развитія основывается на признаніи превосходства научнаго метода надъ теологическимъ и метафизическимъ. Это признаніе превосходства научнаго метода нисколько не обнаруживаетъ—какъ то иногда высказывалось—преувеличенія оцѣнки наличнаго состоянія научнаго знанія; напротивъ того, Контъ не теряетъ изъ виду и прямо высказываетъ убѣжденіе въ неудовлетворительности ихъ состоянія. Онъ находитъ, что научное знаніе и недостаточно проникнуто философіей и слишкомъ спеціализировано. Онъ именно и устанавливаетъ его организацію для того, чтобы способствовать его дальнѣйшимъ

(На этомъ рукопись обрывается).

2-й отрывокъ.

(Онъ начинается такъ же, какъ первый, но послѣ двухъ страницъ вполнѣ одинаковаго текста, слѣдуетъ новый варіантъ).

Движеніе мысли идетъ, однако же, своимъ чередомъ, не справляясь о томъ, идетъ ли оно поперекъ чьей-либо дороги или

нѣтъ. И если это движеніе для насъ и было заслонено вознею, поднятою изъ-за своихъ собственныхъ славныхъ философовъ, то въ концѣ концовъ оказалось вѣдь, что философы эти только тѣмъ и славны, что будто бы умѣли построить старую погудку на новый ладъ, а новый ладъ, въ свою очередь, только въ томъ и состоялъ, что представлялъ новую комбинацію старыхъ мотивовъ. Если бы въ этой смѣси ложка меду и не была погружена въ бочку дегтя, то и тогда все же пришлось бы когда-нибудь потерять терпѣніе и, наконецъ, спросить: а что же дальше?

Отвѣта пришлось бы ждать долго, тогда какъ отвѣтъ у насъ подъ рукой: стоитъ только махнуть рукой на надоѣвшую всѣмъ своимъ безконечнымъ повтореніемъ метафизическую кукушку, обратиться къ современной литературѣ эмпиріокритицизма на Западѣ и на дѣлѣ убѣдиться, что «e pur si muove»: у нея вѣдь свой путь, направляющійся мимо нашего замалчиванья, глумленія и перевиранья...

Я не стану впрочемъ давать библіографическій отчетъ объ этой литературѣ: заглавія книгъ и статей, приведенныя выше [1]) достаточны для тѣхъ, которые пожелаютъ ознакомиться съ ними непосредственно; для большинства тутъ встрѣтилось бы слишкомъ много частностей и подробностей, рѣчь о которыхъ въ нашей литературѣ еще впереди. Я оставлю все это и займусь однимъ лишь выясненіемъ общихъ вопросовъ, для чего и воспользуюсь тѣмъ обильнымъ пособіемъ, которое мнѣ доставятъ обозначенныя выше сочиненія Петцольдта, Вилли, Кодисъ и Маха. Такой общій итогъ, полученный отъ всѣхъ этихъ сочиненій, сравнительно съ библіографическимъ отчетомъ о каждой изъ нихъ, долженъ оказаться, по моему мнѣнію, для русскихъ читателей самымъ подходящимъ.

Я останавливаюсь прежде всего на значеніи «критики чистаго опыта», какъ его истолковываетъ Петцольдтъ. Установляя устои эмпиріокритицизма, Авенаріусъ проникнутъ былъ убѣжденіемъ, что мы можемъ достичь устойчивыхъ воззрѣній на міръ только при томъ условіи, если станемъ смотрѣть на предметы и событія по возможности безъ предвзятыхъ сужденій, если мы предоставимъ вліяніе ихъ на насъ всей его полнотѣ, ничего отъ него не отымая и ничего къ нему не прилагая; если

---

[1]) Въ подлинной рукописи эти заглавія не указаны, но изъ дальнѣйшаго видно, какихъ писателей имѣетъ въ виду авторъ.

мы приспособимъ наше мышленіе къ окружающей средѣ въ такой мѣрѣ полноты, какъ только возможно, если мы вплотную приладимъ наши мысли къ фактамъ, если мы освободимся отъ всякой метафизики, и въ лучшихъ случаяхъ имѣющей лишь значеніе поэтическаго вымысла, если, по крайней мѣрѣ, не допустимъ ея до какого бы то ни было вліянія на изслѣдованіе, если мы поэтому предоставимъ слово одному только опыту,— опыту, лишенному всякихъ внѣ опыта лежащихъ добавленій,— словомъ, *чистому опыту*. Это убѣжденіе, такъ высоко поднявшее естественныя науки и въ свою очередь, благодаря ихъ росту, получившее устойчивость и распространеніе, требовало, однако же, ближайшаго обоснованія и даже изложенія и истолкованія своего содержанія. *Чистый* опытъ представляется прежде всего, какъ *требованіе*, въ немногихъ лишь случаяхъ удовлетворенное. Сами естественныя науки остаются еще проникнутыми метафизикой; выдаваемое ими за опытъ можно считать большей частью поэтическимъ вымысломъ, почему опытъ ихъ предстоитъ еще очистить. И какъ въ области наиболѣе точныхъ наукъ выдается за опытъ то, что опытомъ никогда и быть не можетъ, такъ въ еще большей степени совершается подобная замѣна въ ненаучныхъ областяхъ мышленія. Изъ этого можно заключить, что существуетъ *два* понятія опыта, которыя требуется еще установить и между собою разграничить.

Одно изъ этихъ понятій можетъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ быть приложено ко всякому психическому содержанію. Это понятіе и есть самое распространенное, первоначальное, естественное. Высказавъ это понятіе, индивиды утверждаютъ по отношенію соотвѣтственнаго содержанія, только то, что содержаніе это они застали, нашли, что оно ими не вымышлено, не придумано. Опытъ, соотвѣтствующій этому понятію, можетъ оказаться чистымъ, и именно въ тѣхъ случаяхъ, когда къ нему не примѣшивается ничего такого, что само по себѣ не было бы опытомъ. Это понятіе чистаго опыта Авенаріусъ считаетъ аналитическимъ потому, что оно является каждый разъ какъ результатъ простого анализа фактическихъ высказываній индивида, оно очень часто встрѣчается въ самыхъ разнообразныхъ преданіяхъ, переходящихъ отъ одного поколѣнія къ другому, причемъ присутствіе или отсутствіе примысловъ въ немъ является, конечно, дѣломъ совершенно случайнымъ.

Изъ этого видно, что если *чистый* опытъ представляетъ собою

требованіе, то тотъ опытъ, который соотвѣтствуетъ только что разъясненному аналитическому понятію о немъ, представляетъ собою фактъ. Чистый опытъ есть поэтому опытъ въ тѣсномъ смыслѣ; понятіе этого опыта не является готовою данностью, оно не слагается естественнымъ путемъ, а должно быть выработано искусственно; словомъ, оно есть понятіе *синтетическое*. Такому понятію опыта имѣется психическое содержаніе только тогда, когда всѣ предпосылки, составныхъ его частей оказываются данными опытомъ.

На основаніи такихъ соображеній ставитъ Авенаріусъ три вопроса, выработка отвѣтовъ на которые и должна составлять задачу «критики чистаго опыта».

Первый изъ этихъ вопросовъ обосновывается на синтетическомъ понятіи чистаго опыта и формулируется такъ: «въ какомъ смыслѣ и объемѣ могутъ составныя части окружающей насъ среды быть принимаемы за предпосылки опыта?»

Для отвѣта на этотъ вопросъ надо поближе всмотрѣться на положеніе индивида въ окружающей его средѣ.

Согласно объясненіямъ даннымъ выше, Авенаріусу предстояло очертить это положеніе съ полною независимостью отъ какихъ бы то ни было предвзятыхъ теорій, дать, такъ сказать, чистое его описаніе, и только. Согласно такому основному требованію и явилась та непзбѣжная эмпиріокритическая координація, которая составляетъ исходную точку всей «критики чистаго опыта», а именно, что «всякій человѣческій индивидъ первоначально принимаетъ себя противупоставленнымъ окружающей его средѣ, слагающейся изъ многоразличныхъ составныхъ частей, другимъ человѣческимъ индивидамъ съ ихъ многоразличными высказываніями и вмѣстѣ съ тѣмъ принимаетъ, что всѣ его высказыванія находятся къ окружающей средѣ въ такой или иной зависимости». Это противопоставленіе, при ближайшемъ разсмотрѣніи существующихъ между частями эмпиріокритической координаціи соотношеній и заключаетъ въ себѣ всѣ данныя для рѣшенія вопроса о томъ, «въ какомъ смыслѣ и объемѣ составныя части окружающей насъ среды могутъ быть принимаемы за предпосылки опыта?»

Начнемъ съ выясненія зависимости высказываній.

Если у насъ есть двѣ перемѣнныя, которыя какимъ бы то ни было образомъ зависятъ одна отъ другой такъ, что съ измѣненіемъ первой бываютъ даны измѣненія второй, то первую

въ такомъ случаѣ слѣдуетъ по отношенію ко второй назвать условіемъ *измѣненія*.

Эти двѣ перемѣнныя и представлены въ настоящемъ случаѣ двумя рядами параллельныхъ измѣненій: измѣненіями среды и измѣненіями индивида съ его воспріятіями: всякое высказываніе предполагаетъ условіе измѣненія, сперва въ средѣ, а потомъ черезъ воздѣйствіе ея и на индивида. Такъ, если высказываніе относится къ уменьшенію или увеличенію свѣта или теплоты, то такого рода высказываніе извѣстныхъ измѣненій въ средѣ, обусловливаетъ соотвѣтственныя измѣненія и въ индивидѣ.

Состояніе индивида, какъ видно изъ этого, распадается подъ вліяніемъ вносимыхъ въ него измѣненій на два періода: на *начальное* состояніе, имѣвшее мѣсто до внесенія измѣненія и на *конечное* состояніе, наступающее послѣ внесенія этого измѣненія. Изъ этого слѣдуетъ, что *начальное* состояніе индивида, можетъ быть разсматриваемо какъ совокупность *предварительныхъ* условій индивида, спеціально же измѣняющій моментъ явится при этомъ, какъ особое привходящее соусловіе измѣненія или *дополнительное* условіе.

Итакъ, въ томъ случаѣ, когда наше высказываніе по отношенію какой-нибудь составной части окружающей насъ среды указываетъ на «опытъ» и именно «собственный», а не преемственно дошедшій до насъ «опытъ», то это высказываніе обусловливается тѣмъ, что данная составная часть среды стала для насъ условіемъ того или иного процесса и мы чрезъ то перешли къ такому состоянію, которое по отношенію къ этому условію имѣетъ значеніе состоянія конечнаго.

Теперь, на поставленный выше вопросъ: «въ какомъ смыслѣ и объемѣ составныя части окружающей насъ среды могутъ быть принимаемы за предпосылки опыта?»—мы можемъ дать совершенно опредѣленный отвѣтъ:—только въ смыслѣ дополненія условій, устанавливающихъ конечныя состоянія индивида, и именно лишь постольку, поскольку высказыванія зависятъ отъ этихъ конечныхъ состояній.

ПОЛЕМИКА И РЕЦЕНЗІИ.

КАКЪ ИНОГДА ПИШУТСЯ ДИССЕРТАЦІИ.

Вл. Соловьевъ. Кризисъ западной философіи противъ позитивистовъ. М. 1874.

«Въ умственной исторіи нашего времени,—говоритъ г. Соловьевъ (Кризисъ, стр. 1),—происходятъ событія удивительныя и неожиданныя. Давно ли еще, казалось, съ полною увѣренностью можно было думать, что послѣ долгаго ряда философскихъ ученій, изъ которыхъ каждое утверждало себя какъ абсолютную истину и опровергалось послѣдующимъ какъ заблужденіе, *умъ человѣческій (представляемый западными мыслителями)* успокоился наконецъ на отрицательномъ результатѣ позитивизма, признавшаго рѣшеніе высшихъ (?) вопросовъ мысли безусловно невозможнымъ и самую ихъ постановку—нелѣпою? И вотъ въ наши дни, когда это позитивное воззрѣніе достигло такого *господства*, что слово метафизика стало употребляться лишь въ смыслѣ безусловнаго порицанія, какъ равносильное безсмыслицѣ,—въ наши дни появляется новая метафизическая система, въ которой тѣ высшіе вопросы, отвергнутые позитивизмомъ, не только опять ставятся, но и разрѣшаются съ необычайною смѣлостью, доходящей иногда до фантастическаго; и эта новая метафизика, вмѣсто того, чтобы быть осмѣянной, какъ это можно было ожидать, пріобрѣтаетъ *повсюду* огромный, небывалый успѣхъ; за нее хватаются съ жадностью, являются не только послѣдователи, но и восторженные поклонники. Только крайняя, принудительная для ума сила высшихъ метафизическихъ вопросовъ можетъ объяснить такое явленіе. Итакъ, что же? *Значитъ* дѣло не такъ просто, какъ думаютъ позитивисты, *значитъ* недостаточно отстранить существенныя задачи мысли, а нужно во что бы то ни стало разрѣшить ихъ. Въ виду этого

важное значеніе получаетъ и эта новая послѣдняя попытка ихъ разрѣшенія. Я говорю о «философіи безсознательнаго» Эдуарда Гартмана».

Общій взглядъ г. Соловьева на современное состояніе философіи на западѣ, какъ видно изъ этого отрывка, слѣдующій: недавнее еще всеобщее господство позитивизма смѣнилось теперь всеобщимъ господствомъ философіи безсознательнаго, небывалый успѣхъ которой представляется не только фактомъ, свидѣтельствующимъ о современномъ умонастроеніи европейскаго запада, но и рѣшающимъ принципіально вопросъ о значеніи метафизики въ ходѣ умственнаго развитія человѣчества. Высшіе метафизическіе вопросы не только опять возстановлены Гартманомъ, но и разрѣшены имъ съ необыкновенною смѣлостью.

Посмотримъ: такъ ли это?

Всего прежде, если факты, представленные г. Соловьевымъ, достовѣрны, если западные мыслители, такъ недавно еще подчинявшіеся господству позитивизма, обратились теперь къ философіи Гартмана, то кризисъ, очевидно, былъ пережитъ позитивизмомъ, а не западною философіею, которая нашла себѣ благополучный исходъ въ философіи безсознательнаго. Такое смѣшеніе понятій произвело и заглавіе диссертаціи: «*Кризисъ* западной философіи *противъ* позитивистовъ» вмѣсто реакціи— противъ позитивистовъ. Это, конечно, мелочь; но мелочь, свидѣтельствующая о такомъ смѣшеніи понятій, которое относится не къ какой-нибудь частности избраннаго авторомъ вопроса, а къ общей его постановкѣ. Съ этой точки зрѣнія я и не почелъ возможнымъ пройдти ее молчаніемъ.

Гораздо болѣе важное значеніе въ устахъ философа имѣетъ увѣреніе, что успѣхъ философіи безсознательнаго принципіально разрѣшаетъ вопросъ о принудительности для ума метафизики, какъ будто философскіе вопросы разрѣшаются большинствомъ голосовъ. Авторъ забылъ, что и идея о центральномъ положеніи земли во вселенной была когда-то общепринятою и что идея эта была отринута однимъ человѣкомъ. Давно ли, наконецъ, система Гегеля производила болѣе шуму, чѣмъ теперь производитъ система Гартмана. А столоверченіе, а спиритизмъ! Ужели передъ ними слѣдуетъ благоговѣть, только ради громкаго успѣха, вышавшаго имъ на долю?

Вопросъ этотъ разрѣшается, какъ я думаю, на совершенно иныхъ основаніяхъ.

Если бы личныя, произвольныя и свободныя отъ всякаго объективнаго контроля понятія слѣдовало считать достовѣрными, то о признаніи годности метафизическихъ воззрѣній излишне бы спорить, а метафизическія системы пришлось бы признать кладезями положительнаго знанія и всякой премудрости. Возьмите какую угодно метафизическую систему и подивитесь богатству ея содержанія. У нея на все готовы отвѣты: она знаетъ цѣль и назначеніе міра, ей извѣстна его сущность, отъ нея не скрыта никакая тайна бытія. Обозрѣвая метафизическія системы съ древнѣйшихъ временъ до новѣйшихъ, не трудно убѣдиться, что содержаніе ихъ всегда отличалось полнотою и законченностью, какъ въ то время, когда землю считали плоскимъ кругомъ, и небо хрустальнымъ сводомъ, такъ и тогда, когда земля представилась песчинкой среди безконечнаго пространства. Во всѣ времена метафизическія системы давали воображаемо достовѣрные отвѣты на всѣ вопросы, не исключая и тѣхъ, о рѣшеніи которыхъ и въ настоящее время можно только мечтать. Положительное знаніе долгое время тихо и незамѣтно развивалось бокъ о бокъ съ этими безднами знанія воображаемаго, которое не замѣчало его. Долго и долго область положительнаго знанія остается скромною, почти ничтожною; но какъ ни скромна и ничтожна эта область, а содержаніе ея есть продуктъ завоеванія части сосѣдней области знанія воображаемаго. Воображаемое знаніе поставлено такимъ образомъ въ положеніе ариѳметическаго уменьшаемаго. И вотъ идетъ уменьшеніе вѣрнымъ, хотя и медленнымъ шагомъ, таетъ воображаемое знаніе какъ ледъ отъ лучей восходящаго солнца и наступаетъ наконецъ время, когда все подлежащее точному научному изслѣдованію отвоевывается у воображаемаго знанія, у котораго и остаются въ исключительномъ владѣніи только тѣ вопросы, положительное разрѣшеніе которыхъ невозможно. Воображаемое знаніе не сознаетъ, конечно, этого кризиса и остается при своей мнимой полнотѣ и законченности, но всякій объективно относящійся къ нему наблюдатель легко отдѣляетъ въ ней элементы собственно метафизическіе отъ положительныхъ. Господство воображаемаго знанія надъ умами становится шатко, и возобновленія попытокъ къ удержанію этого господства особенно часты.

Изъ этого видно, что метафизическія системы остаются всегда существенно неизмѣнными, что мѣняться можетъ только форма

ихъ, приспособляясь къ условіямъ своего времени и своего народа. Неудивительно послѣ этого, если между европейскою метафизикою XIX столѣтія и, отдѣленною отъ нея тысячелѣтіями, метафизикою индійскою можетъ существовать близкое и тѣсное родство. Отсюда возникаетъ то предвосхищеніе (Vorwegnahme) существеннѣйшихъ метафизическихъ рѣшеній XIX вѣка умозрѣніями Капилы, Канады и Патанджали. Сопоставленіе тысячелѣтняго развитія Европы и древней Индіи представляется для метафизиковъ предметомъ, возбуждающимъ недоумѣніе. Гартманъ, напримѣръ, поражается родствомъ своего «безсознательнаго» съ Брамою Веданты (Phil. d. Unbewussten. 3 Aufl. s. 27). Поражаться тутъ очевидно нечѣмъ; гораздо поразительнѣе было бы тогда, если бы очевиднаго для всѣхъ родства между древнею и новою метафизикою не существовало.

Прямо противуположное явленіе представляетъ исторія науки. Въ ту самую эпоху, когда процвѣтали столь родственные Гартману индійскіе метафизики, наука, строго говоря, еще вовсе не существовала; существовалъ только зародышъ ея, дальнѣйшее развитіе или смерть котораго зависѣли отъ условій, въ связь съ которыми онъ былъ поставленъ. Для жизни и развитія этого зародыша необходимо было, чтобы народъ обладалъ тѣми орудіями, при помощи которыхъ могутъ быть установлены факты съ достодолжною точностью, т. е. математика и требуемая ею степень развитія техники. Безъ этого научное измѣреніе и вычисленіе невозможно, невозможно слѣдовательно и обладаніе матеріаломъ, достойнымъ назваться научнымъ. Нѣтъ достаточно точно обслѣдованныхъ фактовъ,—нѣтъ научныхъ законовъ этихъ фактовъ, нѣтъ научнаго знанія. Господство воображаемаго знанія остается неизбѣжнымъ. Но когда, при благопріятныхъ культурныхъ условіяхъ, является возможность установленія основы всѣхъ наукъ—математики, когда техника въ состояніи приготовить требуемыя математикою орудія, тогда астрологія превращается въ астрономію, алхимія—въ химію, знахарство—въ медицину, и наука вступаетъ въ такой фазисъ развитія, между которымъ и первобытнымъ зачаточнымъ фазисомъ можно открыть только связь преемства и филіаціи, но не тождества ученій и не реставраціи предвосхищеннаго.

Очевидная и рѣзкая противоположность между метафизикою и наукою ясно показываетъ, что въ развитіи науки долженъ былъ наступить моментъ, когда сказанная противополож-

ность приняла такую степень опредѣленности, что стало возможно отчетливо формулировать ее въ видахъ блага самой науки. И дѣйствительно, наступаетъ время, когда метафизика извергается изъ науки окончательно и перестаетъ служить ей помѣхою; но происходящая оттого польза на первыхъ порахъ неизбѣжно смѣшивается съ нѣкоторымъ вредомъ, такъ какъ наука, отвергнувшая метафизику и не знающая еще никакой другой философіи, остается безъ обобщеній и обрекаетъ себя на накопленіе матерьяла, назначеніе котораго еще не сознается вполнѣ опредѣленно. Наука такимъ образомъ развивается нѣкоторое время, замкнувшись въ себѣ самой, изрѣдка только возбуждая въ нѣкоторыхъ передовыхъ умахъ мысль о возможности новой, не метафизической философіи, предчувствіе того, что масса накопленнаго научнаго матеріала ляжетъ въ основу новаго міросозерцанія. У Аристотеля и Лукреція есть уже это предчувствіе; оно возрождается вмѣстѣ съ возрожденіемъ философіи; постепенно пріобрѣтая все бо̀льшую и бо̀льшую степень опредѣленности, оно сказывается у Френсиса Бэкона, Локка, Юма, Дидро, Вольтера, Кондорсе, Тюрго, Канта и т. д., но только въ настоящемъ столѣтіи у Огюста Конта переходитъ оно въ убѣжденіе, что время осуществленія основанной на наукѣ философіи наконецъ наступило. Съ силою генія кладетъ Ог. Контъ краеугольный камень этой философіи—свой Cours de Philosophie positïve и даетъ задачѣ рѣшеніе, подготовлявшееся вѣками. Опираясь на данныя науки, онъ проводитъ рѣзкую черту между воображаемымъ знаніемъ метафизики, между непознаваемымъ и знаніемъ положительнымъ и организуетъ это послѣднее въ стройное цѣлое, въ систему положительной философіи. Положительная философія, какъ ее установилъ Контъ, является міросозерцаніемъ, понимающимъ міръ какъ связное единство, управляемое присущими ему законами, открытыми посредствомъ научнаго метода и сведенными въ группы, представляющія область отдѣльныхъ наукъ, соединенныхъ іерархическою связью, соображенною съ градаціею явленій дѣйствительнаго міра.

Такимъ образомъ, въ позитивной философіи представляется намъ вся совокупность человѣческаго знанія, органически стройная, поставленная въ указанныя необходимостью отношенія какъ съ тѣмъ, что̀ замкнуто опредѣленными границами, такъ и съ тѣмъ, что̀ находится внѣ этихъ границъ. Это послѣднее,

по словамъ Литтре, находится ли оно въ области матеріи или въ области разума, то-есть въ глубинахъ безпредѣльнаго пространства или въ нескончаемой цѣпи причинъ,—одинаково безусловно недоступно человѣческому разуму. Когда утверждается эта недоступность, то тѣмъ еще не отрицается существованіе того, что̀ недоступно. «Безпредѣльность, какъ матеріальная, такъ и интеллектуальная, тѣсно связана съ нашимъ знаніемъ и, въ силу этой связи только, *становится она идеей положительной;* это значитъ, что, соприкасаясь и граничa съ положительными идеями, безпредѣльность эта представляется въ своемъ двойственномъ видѣ: реальности и недоступности. Это океанъ, волны котораго вѣчно бьютъ о наши берега, но пуститься въ который мы не можетъ, такъ какъ у насъ нѣтъ ни ладьи, ни паруса» (E. Littré. A. Comte et la philos. positive. 1 ed. p. 519). Такова существенно-характеристическая черта такъ-называемыхъ отрицательныхъ результатовъ позитивизма,—черта, пропущенная г. Соловьевымъ, взявшимся за окончательное ниспроверженіе положительной философіи.

Положеніе Огюста Конта въ исторіи философіи, какъ видно изъ вышесказаннаго, ни въ какомъ отношеніи не похоже на положеніе того или другого основателя метафизической системы. Огюстъ Контъ не возстановлялъ предвосхищенныхъ у него идей абсолюта, не реставрировалъ заново поблеклаго содержанія Веданты, не навязывалъ умамъ ничего бездоказательнаго и фантастическаго. Огюстъ Контъ явился съ своей философіей, какъ съ плодомъ вѣкового развитія науки, дозрѣвшей до обобщеній, какъ съ результатомъ всей предшествовавшей ему научной работы умовъ. Онъ явился, по выраженію одного изъ его послѣдователей, когда «исполнились времена», и взялъ на себя иниціативу провозглашенія ученія, зерно котораго давно уже проросло скрыто и пустило корни. Позитивизмъ, такимъ образомъ, какъ ученіе, неразрывно связанное съ своею почвою-наукою, не можетъ не сдѣлаться общимъ достояніемъ въ той же мѣрѣ, какъ и наука. Личное, собственно контовское, внесенное въ него основателемъ, далеко не исчерпываетъ, какъ видно изъ этого, его содержанія.

Позитивизмъ, при томъ же, не преподается обществу, какъ преподавались субъективныя системы: общество—насколько оно способно къ трезвому мышленію—сознаетъ въ позитивизмѣ формулу своего собственнаго умственнаго строя и принимаетъ эту

формулу въ силу послѣдовательности своего собственнаго мышленія. Успѣхи развитія позитивизма поэтому всегда соразмѣряются съ успѣхами развитія науки, и распространеніе его не можетъ упреждать распространенія научныхъ знаній. Успѣхи развитія и распространенія позитивизма не имѣютъ поэтому ничего схожаго съ успѣхами развитія и распространенія метафизическихъ системъ. Возникновеніе позитивизма не внезапно, развитіе его совершается не вдругъ, распространеніе не идетъ скачками, не дѣлаетъ шуму, не вызываетъ восторженнаго поклоненія, но зато оно не встрѣчаетъ и тѣхъ неожиданныхъ кризисовъ, которые стоили жизни столькимъ блестящимъ и громкимъ метафизическимъ системамъ.

Изъ этого видно, что возникновеніе новыхъ метафизическихъ системъ въ эпоху развитія и распространенія позитивизма вполнѣ естественно и возможно. Если г. Соловьеву воображается, что появленіе и успѣхъ философіи Гартмана есть уже кризисъ для позитивизма, то это доказываетъ только, что г. Соловьевъ не знаетъ того, о чемъ говоритъ. Г. Соловьевъ понимаетъ Конта такъ, будто Контъ утверждалъ невозможность появленія новыхъ метафизическихъ системъ послѣ провозглашенія позитивной философіи. На самомъ дѣлѣ Контъ утверждалъ нѣчто совершенно обратное (см. Cours de ph. pos. V. 23—24). Кто знаетъ и понимаетъ Конта, тому совершенно ясно, что идеямъ Конта нисколько не противорѣчитъ не только появленіе Гартмана, но даже и появленіе Алланъ-Кардека, усиливающагося вернуть человѣчество къ первобытному знахарству. И Гартманъ, и Алланъ-Кардекъ съ позитивной точки зрѣнія вполнѣ объяснимы и признаются возможными; невозможно только, чтобы мутная волна ихъ ученій доплеснула до тѣхъ тихихъ, огражденныхъ наукою вершинъ, о которыхъ говорилъ еще Лукрецій, до тѣхъ вершинъ, съ высоты которыхъ видны несчастные слѣпые, хромые и убогіе, тщетно ищущіе пути. Вотъ, что невозможно съ позитивной точки зрѣнія. И что же, доказалъ ли г. Соловьевъ, что волна Гартмановской философіи доплеснула до вершинъ, занятыхъ наукою, доказалъ ли онъ, что прочное зданіе, воздвигнутое на этихъ вершинахъ, поколеблено? Его спрашивали объ этомъ на диспутѣ, онъ молчалъ.

Пойдемъ далѣе. Г. Соловьевъ утверждаетъ, что недавно еще съ полною увѣренностью можно было думать, что «умъ человѣческій (представляемый западными мыслителями) успокоился,

наконецъ, на отрицательномъ результатѣ позитивизма». Мы сейчасъ разсмотримъ сколько правды въ такомъ огульномъ пріуроченіи западныхъ мыслителей къ позитивизму, а теперь скажемъ еще нѣсколько словъ о томъ, возможно ли успокоеніе, о которомъ говоритъ г. Соловьевъ. Изъ того, что я сказалъ выше объ условіяхъ развитія и распространенія позитивизма, явствуетъ уже само собою, что позитивисты не могутъ считать системы своей законченною ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ—поскольку здѣсь допускается предвидѣніе, а тѣмъ менѣе могутъ приписывать законченность эту дѣлу Конта. И въ самомъ дѣлѣ, мы встрѣчаемъ у Литтре на вопросъ этотъ слѣдующій отвѣтъ: «Я не полагаю,—говоритъ Литтре,—чтобы дѣло положительной философіи было завершено, и чтобы оставалось только повторять слова учителя. Далека отъ меня такая мысль; Контъ поставилъ только насъ и нашихъ наслѣдниковъ на порогѣ; въ будущемъ предстоятъ обширныя работы, ибо вслѣдствіе измѣненія старой точки зрѣнія, приходится все передѣлать заново. Я бы далъ моей мысли всю широту и въ то же время всѣ ограниченія, какія необходимы, сказавъ, что Контъ *установилъ* положительную философію; выражаясь такъ, я бы далъ понять, согласно смыслу, который я придаю слову *установленіе*, что со времени Конта философія имѣетъ *основаніе*, а именно—науки, *методъ*, заключающійся въ іерархизаціи наукъ и *результатъ*—въ міросозерцаніи; но говоря такъ, я въ то же время утверждалъ бы, что *установленная* философія есть только философія *начинающаяся*». (E. Littré, A. Comte et St. Mill. p. 40).

Изъ этого видно до какой степени легкомысленно утвержденіе г. Соловьева, что чей бы то ни было умъ можетъ успокоиться на результатѣ позитивизма. Прошу успокоиться, когда позитивизмъ призываетъ къ передѣлкѣ всего заново, къ обширнымъ работамъ... когда онъ провозглашаетъ, что мы стоимъ только на порогѣ, что наша философія есть философія еще только начинающаяся. Не успокоилъ умы позитивизмъ, а напротивъ того, лишилъ ихъ покоя: отнялъ у нихъ ту блаженную метафизическую лѣнь, которая дозволяла довольствоваться мнимымъ знаніемъ и допускала игру воображенія вмѣсто строгаго точнаго научнаго изслѣдованія. Кто этого не знаетъ и не понимаетъ, тотъ не знаетъ и не понимаетъ позитивной философіи.

Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть: вѣренъ ли утверждае-

мый г. Соловьевымъ фактъ, что въ недавнее еще время умъ человѣческій, представляемый западными мыслителями, подчинился господству позитивизма.

Хотя и не подлежитъ сомнѣнію, что условія, при которыхъ развивается западный умъ, дѣлаютъ его болѣе открытымъ оживляющему свѣту позитивизма, чѣмъ умъ россійскій; однако же, не подлежитъ сомнѣнію и то, что западный умъ тѣмъ не менѣе въ сильной степени погруженъ еще въ мистическую и метафизическую спячку, въ мертвое буквоѣдство, страдаетъ всѣми патологическими послѣдствіями разобщенія философіи и науки. Поэтому-то «*умъ человѣческій, представленный западными мыслителями*», не переставалъ и не перестаетъ представлять то пассивную, то активную оппозицію позитивизму и только сравнительно незначительная часть его представителей подъ вліяніемъ науки начинаетъ пріобрѣтать характеръ родственный позитивизму и еще меньшая, совсѣмъ ужъ численно-незначительная часть, принимаетъ позитивизмъ частью вполнѣ, частью не вполнѣ. Позитивистами въ Англіи считались и считаются Брюстеръ, Миссъ Мартино, Ст. Милль и Спенсеръ; не надо забывать, однако же, что Ст. Милль въ самомъ опредѣленіи позитивной философіи противорѣчитъ Конту (A. Comte and Positivism. London 1865.), а Спенсеръ заявляетъ, что онъ сходится съ Контомъ только въ томъ, что оба они унаслѣдовали отъ предшественниковъ (классификація наукъ, перев. Тиблена, 1866.). Изъ американскихъ позитивистовъ извѣстны въ Европѣ Дрэперъ и Бэлль—редакторъ Нью-Іоркскаго журнала «Modern Thinker»; но и здѣсь опять надо имѣть въ виду, что Дрэперъ не слѣдуетъ позитивной классификаціи, а Бэлль почти одинокъ, о чемъ можно заключить изъ того, что еще въ 70-мъ году онъ закрылъ свой журналъ по недостатку читателей. Всѣ извѣстные итальянскіе позитивисты: *P. Villari* (La filosofia positiva ed il metodo storico), *G. Boccardo*, (Fisica del Globo), *G. Barzellotti* (La morale nella filosofia positiva), *F. Tocco* (Studi sul positivismo), *A. Angiulli* (La filosofia a la ricerca positiva) и *A. Gabelli* (L'uomo e le scienze morali) относятся къ числу такъ называемыхъ полу-позитивистовъ, т. е. позитивистовъ, не вполнѣ отрѣшившихся еще отъ метафизическихъ традицій; въ Германіи существовалъ пока одинъ только позитивистъ, недавно умершій Твестенъ, затѣмъ, только въ одной Франціи есть тѣсный кружокъ позитивистовъ, группирующихся вокругъ редак-

ціи «*Revue*» Литтре и Вырубова. Вотъ и всѣ общензвѣстные позитивисты, позитивисты, на которыхъ мы имѣемъ право ссылаться. Какъ далеко отъ этой скромной дѣйствительности до «*ума человѣческаго, представляемаго западными мыслителями*», огульно подчиняющагося господству позитивизма!

Г. Соловьеву очевидно очень смутно представляется современное умственное движеніе запада. Картина этого движенія представляется ему картиною суздальской работы: мазнулъ суздальскій художникъ краскою позитивизма, потомъ мазнулъ краскою философіи безсознательнаго—и картина готова. Но кому не извѣстно, что ничего подобнаго въ дѣйствительности не было и нѣтъ; кто не знаетъ, что кромѣ различныхъ оттѣнковъ позитивизма, занимающаго скромный уголокъ картины, существуетъ на ней болѣе широкая полоса постоянно усиливающагося стремленія къ научнымъ обобщеніямъ, хотя и родственнымъ позитивизму, но независимымъ и отрозненнымъ отъ него, и, что, наконецъ, остальная часть картины занята пестрою смѣсью разнообразнѣйшихъ метафизическихъ, мистическихъ и теологическихъ системъ. Картина эта очевидно гораздо сложнѣе элементарной фантасмагоріи г. Соловьева, и составныя части ея никакъ не поддаются той перетасовкѣ, о которой говоритъ онъ: вчера—позитивизмъ, сегодня—философія безсознательнаго.

Но и того мало, что позитивизмъ, кромѣ Франціи, нигдѣ не успѣлъ еще замѣтно распространиться;—всѣ оттѣнки родственныхъ позитивизму направленій нигдѣ на западѣ не успѣли еще вполнѣ отрѣшиться отъ метафизическихъ традицій, а потому нигдѣ и не рѣшались отдаться неуклонной послѣдовательности и перейти въ позитивизмъ, а напротивъ, вездѣ стремились къ жизни самостоятельной, вполнѣ отрозненной отъ позитивизма какъ по духу, такъ и по традиціямъ. Такъ, въ Англіи, Ст. Милль особенно рельефно выставлялъ на видъ, что позитивная философія не столько принадлежитъ Конту, сколько предшественникамъ его, выработавшимъ ея главныя основанія и, кромѣ того, Ст. Милль, какъ я упомянулъ выше, отвергалъ Контово опредѣленіе положительной философіи. Здѣсь же, Спенсеръ еще рѣшительнѣе очертилъ свою обособленность. Въ Италіи существуетъ также стремленіе поставить мѣстную научную философію въ независимое отъ Конта положеніе, давъ ей родоначальникомъ Галилея. (См. *Siciliani* sulle fonte storiche della filosofia positiva in Italia. Revista Bolognese, 1868 г.,

V. I, Fasc. 4). Въ Германіи, наконецъ, гдѣ, по увѣренію г. Соловьева, возникъ кризисъ противъ позитивизма, въ Германіи рѣшительнѣе, чѣмъ гдѣ-либо всегда высказывалось и высказывается рѣзкая отрозненность отъ позитивизма. Всякому знакомому съ нѣмецкой литературой извѣстно, какъ нѣмцы любятъ цитировать извѣстныя слова Гете изъ разговора его съ Эккерманомъ:—о ненаучности вопроса «почему» и необходимости замѣны его вопросомъ «какимъ образомъ», что очевидно представляетъ поразительное совпаденіе не только съ мыслью Ог. Конта, но даже и съ его выраженіями. Подобное же совпаденіе нахожу я и въ нѣкоторыхъ мысляхъ одного изъ знаменитѣйшихъ криминалистовъ Германіи, занесенныхъ въ недавно вышедшую книгу Карла Грюна, содержащую біографію и переписку еще болѣе знаменитаго сына упомянутаго криминалиста. Въ этой книгѣ есть свидѣтельство, что этому послѣднему принадлежитъ такой взглядъ на метафизику, форма котораго отличается еще большею опредѣленностью. Философія должна соединиться съ естествознаніемъ, такъ говорилъ онъ; это соединеніе будетъ плодотворнѣе, чѣмъ существующій до нынѣ mesalliance между философіей и мистикой. Далѣе при обзорѣ философскаго развитія мыслителя, о которомъ идетъ рѣчь, видно, что онъ совершенно самобытно и вполнѣ независимо отъ позитивизма, выработалъ научное направленіе, во многихъ пунктахъ сходящееся съ ученіемъ Ог. Конта. Точное сопоставленіе этихъ двухъ философовъ очень рельефно выставлено у Ланге въ его «Geschichte des Materialismus» (2-е Aufl. 2-е B. s. 73). Традиція этого направленія не погибла въ Германіи и, кромѣ того, помимо ея въ новѣйшее время симптомы родственнаго позитивизму, но независимаго отъ него умонастроенія такъ часты, что и перечислить ихъ невозможно. Чтобы не быть голословнымъ, укажу на *O. F. Gruppe*—Zukunft der Philosophie in Deutschland, сочиненіе, въ которомъ (особенно въ главѣ X «Kein System») авторъ стремится вывести философію изъ метафизической колеи на новый путь, исходнымъ пунктомъ котораго должна быть наука и въ то же время, однако, не соглашается заполнить пустоту современныхъ умозрительныхъ системъ «позитивною философіею» Конта, ожидая новой научной философіи отъ будущаго. Укажу еще на Дюринга «Kritische Geschichte der Philosophie». 1 Aufl., который находитъ, что позитивизмъ философіи представляетъ источникъ по-

ученія для міра (s. 423), что она наиболѣе соотвѣтствуетъ естественно-научному образу мышленія, что ей свойственна высокая степень умственной силы, что духъ ея ставитъ ее выше всѣхъ умственныхъ явленій періода реставраціи, что она и теперь полна жизни и т. д. (s. 494) и Дюрингъ опять таки не принимаетъ позитивизма, а строитъ свою собственную систему. Укажу еще Альб. Ланге, относящагося къ Конту съ величайшимъ сочувствіемъ (Gesch. d. M. II B. S. 74) и остающагося кантіанцемъ. И такъ въ Германіи мы видимъ цѣлый преемственный рядъ родственнаго позитивизму направленія, не переходящаго, однако же, въ позитивизмъ. Да, наконецъ, если г. Соловьевъ потрудится разыскать и пересмотрѣть все, что писалось въ Германіи о позитивизмѣ и Контѣ, то онъ не сочтетъ конечно преувеличеннымъ мнѣніе «*Literarisches Zentralblatt*», утверждающаго, что философія Конта извѣстна въ Германіи *мало* (1874. s. 1624) и не удивится тому, что въ Германіи подъ позитивной философіей все еще продолжаютъ разумѣть нисколько не похожую на Контовскую—философію Хр. Герм. Вейсе и І. Г. Фихте, къ новѣйшимъ послѣдователямъ которой относятся Ульрици, Халибеусъ, Каррьеръ и даже проповѣдникъ Виртъ. (См. *Ed. Zeller*, Geschichte der Deutschen Philosophie. München 1873. s. 902). И наконецъ, когда самъ Гартманъ говоритъ о позитивной философіи, то онъ разумѣетъ философію Шеллинга. (См. *Ed.* v. *Hartmann*. Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopenhauer).

Изъ этого всего видно, что «*кризисъ западной философіи противъ позитивистовъ*» не могъ быть ничѣмъ вызванъ, не имѣлъ никакого *raison d'être* и даже просто немыслимъ. Но пойдемъ далѣе, посмотримъ, правъ ли былъ г. Соловьевъ, увѣряя, что вымышленное имъ повсемѣстное господство позитивизма смѣнилось въ настоящее время повсемѣстнымъ господствомъ философіи Гартмана, т.-е. что позитивисты всѣхъ оттѣнковъ, полупозитивисты и представители всѣхъ родственныхъ позитивизму философскихъ системъ, всѣ сдѣлались послѣдователями и поклонниками Гартмана. Если же это не такъ, если на самомъ дѣлѣ увлекаются Гартманомъ тѣ, которые были чужды позитивизму и научному направленію, которые до знакомства своего съ философіею безсознательнаго, быть можетъ и не знали даже о позитивизмѣ и научномъ умозрѣніи или дѣлали имъ,—употребляя выраженіе г. Соловьева,—кризисъ, т.-е., выражаясь

правильно, стояли къ нимъ въ оппозиціи, то какъ и понять тогда эту злополучную идею кризиса противъ позитивистовъ? Но мало того, что г. Соловьевъ изобрѣтаетъ какой-то непонятный и невозможный кризисъ и считаетъ даже нужнымъ писать о немъ цѣлую книгу, онъ старается еще увѣрить насъ, что кромѣ кризиса ничего болѣе въ умственной области Запада и не происходитъ; кризисъ-де полный, никто и не пикнулъ, такъ всѣ за Гартманомъ и пошли. Опять суздальство, опять взмахъ кисти, мажущій все одною краскою. И опять вопросъ съ нашей стороны: да такъ ли?

О томъ, что движеніе, возбужденное Гартманомъ, пошло мимо позитивизма, я уже говорилъ и, слѣдовательно, доказалъ, что г. Соловьевъ ошибается; но мнѣ не столько интересно доказать, что г. Соловьевъ ошибается, какъ показать читателю, что и какъ есть на самомъ дѣлѣ, а потому къ сказанному прежде надо еще прибавить нѣсколько словъ.

Такъ какъ говорить о небываломъ успѣхѣ Гартмана во Франціи, Италіи и Англіи было бы смѣшно, то я не выйду за предѣлы Германіи, гдѣ система Гартмана дѣйствительно получила громадную извѣстность, и покажу читателю ту оборотную сторону этой извѣстности, о которой не хотѣлъ говорить, или, вѣрнѣе, не зналъ г. Соловьевъ, въ добросовѣстности котораго я, конечно, не сомнѣваюсь. Всего прежде слѣдуетъ поставить здѣсь мнѣніе Эрнста Геккеля, который, въ предисловіи къ 4-му изданію своей «Schöpfungsgeschichte», взглянулъ на систему Гартмана съ философской и научной точки зрѣнія. Геккель говоритъ, что въ книгѣ Гартмана есть много зародышей мысли, цѣнныхъ и плодотворныхъ въ естественно-научномъ отношеніи, но что эти зародыши перемѣшаны со множествомъ естественно-научныхъ же ошибокъ и массою никуда негоднаго метафизическаго матеріала. Онъ говоритъ, наконецъ, что всѣ критическія замѣчанія, имѣвшіяся имъ въ виду по отношенію къ философіи безсознательнаго, высказаны были неизвѣстнымъ авторомъ ранѣе, чѣмъ успѣлъ Геккель исполнить свое намѣреніе, и что ему, затѣмъ, ничего не остается прибавить. Сочиненіе, о которомъ онъ говоритъ, есть «Das Unbewusste vom Standpunkt der Phylosophie und Descendenztheorie». Berlin, 1872. Оно написано чрезвычайно живо и заключаетъ множество губительныхъ для философіи Гартмана замѣчаній. Конечный результатъ изслѣдованія неизвѣстнаго автора есть отверженіе

всего строя ученія о безсознательномъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ глава XII и заключеніе стр. 234 и 235. Еще рѣшительнѣе и рѣзче критика Ланге въ его «Geschichte des Materialismus». Ланге даетъ множество указаній, неопровержимо свидѣтельствующихъ о несостоятельности Гартмана, какъ философа. Ссылаясь на Вайтца и Оскара Шмидта, Ланге разсказываетъ о нѣкоторыхъ дикихъ племенахъ Австраліи, которыя объясняютъ все непонятное для нихъ посредствомъ дѣятельности какой-то безличной силы, которую они назвали, позаимствовавъ слово у англичанъ, *devil-devil*. Ланге слѣдующимъ образомъ сближаетъ затѣмъ безсознательное Гартмана и австралійскій devil-devil. Имѣя передъ собою непзвѣстное, говоритъ онъ, ученый констатируетъ фактъ непзвѣстности и, затѣмъ, побуждаемый всею исторіею, никогда не успокоивающейся науки своей, онъ находитъ импульсъ къ новымъ изслѣдованіямъ, которыя должны повести его хоть на одинъ шагъ ближе къ цѣли. Австраліецъ и Гартманъ, напротивъ того, останавливаются тамъ, гдѣ истощаются ихъ средства естественнаго объясненія явленія и сваливаютъ все необъясненное на новое начало, при помощи котораго все считается въ высшей степени удовлетворительно объясненнымъ посредствомъ одного слова. Предѣлъ, которымъ ограничивается естественное объясненіе и за которымъ является призракъ, различенъ у австралійца и философа «безсознательнаго». Электрическая искра, напримѣръ, австралійцу представится, вѣроятно, какъ *devil-devil*, тогда какъ Гартманъ еще можетъ объяснить ее сообразно съ физическими законами; но листъ, обращающійся къ солнцу, представляется уже и Гартману тѣмъ, чѣмъ электрическая искра австралійцу. Такимъ образомъ выясняется, что принципъ перехода отъ одного начала къ другому у обоихъ одинаковъ. Весьма мѣтко также замѣчаніе Ланге и о нелѣпости ученія о цѣлесообразности, составляющемъ существенную часть системы Гартмана, а также и о его понятіи о вѣроятности. Въ заключеніе своихъ замѣчаній, Ланге говоритъ: «Если философія «безсознательнаго» пріобрѣтаетъ на искусство и литературу настоящаго времени такое же вліяніе, какое нѣкогда имѣли философіи Шеллинга и Гегеля на искусство и литературу ихъ времени, то періодъ ея господства будетъ періодомъ умственнаго упадка. Но и періоды упадка имѣютъ своихъ великихъ философовъ, какимъ былъ напримѣръ Плотинъ въ эпоху упадка греческой

философіи. Затѣмъ, какъ бы отвѣчая на вопросъ: можетъ ли считаться Гартманъ великимъ философомъ? Ланге говоритъ: во всякомъ случаѣ, остается достойнымъ вниманія то, что въ настоящее время можетъ встрѣтить значительное сочувствіе система, представляющая, по отношенію къ естественнымъ наукамъ, болѣе рѣзкую противоположность, чѣмъ всѣ предшествовавшія ей системы и повторяющая всѣ ошибки Шеллинга и Гегеля, въ формѣ болѣе грубой и очевидной»... «Что же касается до претензіи ея соединить» индуктивный естественнонаучный методъ съ умозрительными результатами, говоритъ онъ въ дополненіе, то разрушать эту иллюзію едва ли и стоитъ. Врядъ ли существуетъ въ наше время книга, въ которой, собранный въ кучу естественно-научный матеріалъ былъ бы поставленъ въ такое рѣзкое противорѣчіе со всѣми основоположеніями научнаго метода (Gesch. d. M. II. B. 277—284,306—309). Не имѣя возможности удлинять статью выписками изъ всего длиннаго ряда сочиненій противниковъ Гартмана, я ограничусь сообщеніемъ здѣсь однихъ заглавій этихъ сочиненій, предоставляя ближайшее знакомство съ ними самому читателю.

O. Henne-Am Rhyn. Ein Apostel des Pessimismus. (Deutsche Warte. 1873. Heft. 2 und 3).

R. Haim. Die Hartmann'sche Philosophie des Unbew. (Preussische Jahrbücher. 1873).

Z. C. Fischer. Hartm. Ph. des Unb. Ein Schmerzenschrei des gesunden Menschenverstandes. 1872.

Jurgen Bona Meyer. Weltelend und Weltschmerz. Eine Rede gegen Schopp. und Hartm. Pessimismus. 1872.

L. Weiss. Kritik aller Philosophie des Unb. 1872.

Z. Volkelt. Die Entwickelung des modernen Pessimismus. (N. Reich. 1872).

F. A. Hartsen. Kritik der Philos. des Unbewussten. (Theol. Literaturblatt.) [1]).

Итакъ, г. Соловьеву показалось, что въ западной философіи произошелъ кризисъ, заключающійся въ томъ, что всеобщее господство позивитизма надъ умами западныхъ мыслителей смѣнилось всеобщимъ и безраздѣльнымъ господствомъ философіи без-

---

[1]) Не лишено конечно значенія и то, что Эд. Целлеръ въ упомянутой выше «Исторіи Философіи» говоритъ о Гартманѣ мимоходомъ и вскользь (нѣсколько строкъ на стр. 911).

сознательнаго. По изслѣдованіи вопроса, поднятаго его диссертаціей, оказывается, однако же, что никакого такого кризиса, какой представился ему, не было и быть не могло, при чемъ противъ бездоказательности и голословности г. Соловьева поставлены факты достовѣрные и, какъ я думаю, убѣдительные. Основная мысль диссертаціи уравнена такимъ образомъ нулю; остается разсмотрѣть теперь тѣ два момента, изъ которыхъ сложился въ головѣ г. Соловьева небывалый, невозможный и невообразимый кризисъ—позитивизмъ и философію безсознательнаго; остается рѣшить, соотвѣтствуетъ ли его знаніе этихъ моментовъ дѣйствительности или расходится съ нею.

Всѣ бывшіе на диспутѣ г. Соловьева слышали, а не бывшіе узнали изъ газетъ, что одинъ изъ частныхъ оппонентовъ, а именно: Е. В. де-Роберти не имѣлъ возможности высказать своихъ возраженій, вслѣдствіе шума, который произвела публика, сочувствовавшая г. Соловьеву; *извѣстно также*, что г. Соловьевъ отвѣчалъ на тѣ возраженія, которыя успѣлъ сдѣлать г. де-Роберти однѣми только грубыми выходками. Все это тѣмъ болѣе поражало посторонняго зрителя, что г. де-Роберти началъ именно съ того же самаго, по смыслу своему, вопроса, съ котораго началъ и официальный оппонентъ г. Срезневскій. Г. де-Роберти, просилъ объяснить одно слово, и г. Срезневскій также просилъ объяснить одно слово. Вся разница въ томъ, что первый вопросъ относился къ слову *spontané*, а второй—къ слову *познаніе*. И если отвѣтъ г. Соловьева на второй изъ этихъ вопросовъ привелъ къ тому, что выяснилось непониманіе г. Соловьевымъ различія между познаніемъ и познаваніемъ, то это не давало ему конечно права скрыть свое непониманіе слова spontané. Слово это по отношенію къ философіи Конта имѣетъ несравненно болѣе важное значеніе, чѣмъ словопознаніе въ отношеніи къ философіи г. Соловьева. Слово *spontané* резюмируетъ одну изъ основныхъ идей «Курса позитивной философіи» и попадается чуть ли не на каждой страницѣ этого «Курса»; не понимать его и толковать въ смыслѣ, обратномъ тому, которое оно дѣйствительно имѣетъ, значитъ совершенно не понимать философіи Конта и, разсчитывая на невѣжество публики, пытаться морочить ее.

Если бы г. Соловьевъ захотѣлъ перевести это слово не такъ, какъ вздумается, или не такъ, какъ ему для даннаго случая нужно, онъ бы обратилъ вниманіе прежде всего на латинскій

корень этого слова и изъ словаря г. Леонтьева узналъ бы, что *spons* употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно выразить идею дѣятельности, безъ помощи, безъ пособія, безъ содѣйствія, дѣятельности, которая совершается сама собою; говорятъ, напримѣръ, *suae spontis aqua*, текущая сама собою вода, *cytisus suae spontis*, растущій самъ собою и т. п. Далѣе, если бы г. Соловьевъ не захотѣлъ наводить справокъ въ лексиконѣ Литтре, вслѣдствіе убѣжденія, что знанія позитивистовъ призрачны, онъ бы могъ обратиться къ другимъ словарямъ, къ словарю Бешереля, напримѣръ, (Bescherelle, Dictionnaire national), и узналъ бы изъ него, что слово *spontané* употребляется въ томъ же смыслѣ, что и его корень *spons*. Говорится, напримѣръ, что развитіе болѣзни, дѣятельность сердца, мозга и т. д. *est spontané*. Все это убѣдило бы его, что переводить spontané словомъ *произвольно* (Кризисъ, стр. 133) невозможно.

Къ убѣжденію въ этой невозможности онъ могъ быть приведенъ и другимъ путемъ, именно путемъ логическимъ. Читая Конта и понимая его, г. Соловьевъ могъ бы сообразить, что, придавая слову *spontané* значеніе слова *произвольно*, онъ вступалъ въ такой хаосъ идей, который несовмѣстимъ не только съ умомъ Конта, но и вообще несовмѣстимъ ни съ какимъ умомъ. Вотъ это-то и хотѣлъ доказать г. Соловьеву, какъ мнѣ извѣстно, г. де-Роберти. Онъ хотѣлъ спросить у самоувѣреннаго диспутанта, какъ онъ, принимая *spontané* за произвольно, понимаетъ слѣдующія выраженія Конта: «философское доказательство, части котораго произвольно солидарны» (spontanément solidaires) (Cours de ph. pos. IV. 467) или «совокупность нашего историческаго анализа докажетъ произвольно»... (démontreta spontanément) (ed. IV. 488) или «начиная съ этого первобытнаго состоянія, по мѣрѣ того какъ наши наблюденія произвольно расширялись (se sont spontanément étendues) (ed. IV. 492) и т. д., и какъ наконецъ ухитрится г. Соловьевъ перевести на русскій языкъ слѣдующее мѣсто: «ma loi fondamentale d'evolution fixe sans doute spontanément, à l'abri de tout arbitraire...» (ed. V. 22) ужели такъ: «мой основной законъ развитія опредѣляетъ безъ сомнѣнія произвольно, внѣ всякаго произвола?..»

Если г. Соловьевъ довольствуется такимъ пониманіемъ философской системы, противъ которой онъ ратуетъ, то что же удивительнаго, если ему могъ пригрезиться кризисъ; вѣдь кри-

зисъ этотъ во всякомъ случаѣ могъ представляться г. Соловьеву не какъ кризисъ противъ дѣйствительнаго Контовскаго позитивизма, а противъ воображаемаго, безсмысленнаго, собственно—соловьевскаго позитивизма, и въ такомъ случаѣ г. Соловьевъ совершенно правъ, такъ какъ кто же изъ европейскихъ философовъ или даже вообще людей, обрѣтающихся въ здравомъ умѣ, не станетъ *противъ* такого позитивизма. И забавно смотрѣть, какъ г. Соловьевъ надрывается надъ этимъ позитивизмомъ собственнаго изобрѣтенія, и ниже-де онъ всякой критики, и несостоятельный, и нелѣпый, и вульгарный... (Кризисъ, стр. 134, 135, 136, 137), живое и пикантное воспроизведеніе Сервантесовой «*espantable y jamais imaginada aventura de los molinos de viento*». И не нашлось въ Москвѣ Санчо-Пансы, который сказалъ бы: *Que gigantes?*..

Посмотримъ теперь, какъ понимаетъ г. Соловьевъ второй моментъ изображаемаго имъ кризиса, какъ понимаетъ онъ философію безсознательнаго?

По мнѣнію г. Соловьева (Кризисъ, стр. 124), послѣдніе необходимые результаты философіи безсознательнаго, отождествляемые имъ съ результатами всего западнаго философскаго развитія, «утверждаютъ въ формѣ *раціональнаго познанія*, *ту самую* истины, которыя въ формѣ *вѣры и духовнаго созерцанія* утверждались великими теологическими ученіями *Востока* (отчасти древняго, а въ особенности христіанскаго). Такимъ образомъ эта новѣйшая философія съ логическимъ совершенствомъ *западной формы* стремится соединить *полноту содержанія духовныхъ созерцаній Востока*. Опираясь съ одной стороны на данныя *положительной науки*, эта *философія* съ другой стороны подаетъ руку религіи. Осуществленіе этого универсальнаго синтеза науки, философіи и религіи,—первыя и далеко еще несовершенныя начала котораго мы имѣемъ въ «философіи сверхъ сознательнаго»,—должны быть высшею цѣлью и послѣднимъ результатомъ умственнаго развитія (чьего?)».

Прежде, чѣмъ я сопоставлю эти послѣдніе результаты философіи Гартмана, какъ ихъ понимаетъ г. Соловьевъ, съ дѣйствительными результатами, формулированными самимъ Гартманомъ, я не могу не замѣтить, что если содержаніе проводимаго г. Соловьевымъ ученія будетъ въ новой формѣ изложенное ученіе христіанское, то всякій не безъ основанія будетъ видѣть въ такомъ ученіи религіозное ученіе, которому была

насильственно навязана несоотвѣтственная содержанію ея форма, форма излишняя при томъ же, ибо прежняя вполнѣ удовлетворяла его и опиралась на почву исторической христіанской традиціи. Далѣе, если г. Соловьевъ полагаетъ не довольствоваться однимъ христіанскимъ ученіемъ, а амальгамировать его съ древними религіозными ученіями Востока, то амальгамированіе это, во-первыхъ, не можетъ привести къ гармоническому единству, какъ это неопровержимо доказано Эмилемъ Бюрнуфомъ въ его «Essai sur le Vêda» и какъ то очевидно для всякаго знакомаго съ содержаніемъ Ведъ, и во-вторыхъ, такое амальгамированное содержаніе, если и допустить мысль о его осуществимости, было бы все же таки содержаніемъ религіознаго, а не философскаго ученія, такъ какъ никакое міросозерцаніе не получаетъ названія по своей формѣ. Далѣе, допустивъ такое содержаніе, нельзя уже говорить о синтезѣ философіи и религіи, такъ какъ никто не видитъ синтеза съ соединеніи формы и содержанія, а еще менѣе возможно примѣшать къ этому мнимому синтезу науку, не поясняя даже, что она доставитъ форму или содержаніе. Всего вѣрнѣе, ни того ни другого, такъ какъ и то, и другое только что были разсматриваемы какъ данныя. Путаницу эту врядъ ли возможно распутать.

Перейдемъ теперь къ воззрѣніямъ Гартмана на тотъ же предметъ. Всего прежде, не можетъ не поразить насъ ясная опредѣленность его воззрѣній и рѣзкая ихъ противоположность понятіямъ будто бы говорящаго за него г. Соловьева. Гартманъ не только не пытается строить синтезовъ подобно ученику своему, но еще самымъ рѣшительнымъ образомъ очерчиваетъ противоположность между привлеченными къ нему г. Соловьевымъ элементами. «Die Religion, говоритъ онъ, als Selbstgewisses, um keine Wissenschaft bekümertes Gefühl ist stark genug die härtesten Widersprüche ohne Beschwerde zu verdauen (Tertulian sagt: certum quia impossibile); sobald sie aber der Wissenschaft Einlass gewährt hat, sieht diese sich genöthigt die Widersprüche mit Sophismen zu verkleistern, was doch ueber kurz oder lang immer wieder aufplatzt. Wenn trotz dieser tiefsinneren Abneigung der Religion gegen die Wissenschaft, sich doch erstere überall mit der letzteren vermählt hat, so ist diess von Seiten der Religion, eine blosse Zwangsehe, eine Umarmung, deren sie sich nicht erwehren kann u. s. w. (Ed. v. Hartmann. Die Selbstzersetzung des Christenthums und die Religion der Zukunft. Berlin, 1874. s. 18—19).

Далѣе, Гартманъ рѣшительно отвергаетъ христіанство не только какъ содержаніе будущей философіи, но и какъ содержаніе будущей религіи. «Die christliche Idee hat ihre Lebensbahn bis zu Ende durchlaufen, говоритъ онъ (ib. s. 91). Sie muss mit den uebrigen (Ideen) als Dünger für das neue aufsprossende Leben zu dienen» (ib. s. 3). Наконецъ Гартманъ предвидитъ въ будущемъ синтезъ, но синтезъ религіозный и притомъ такой, господствующей идеей котораго будетъ пантеизмъ (ib. s. 121), т.-е. синтезъ, сообразный съ идеями Гартмана и *логически* возможный.

Провозглашать философію Гартмана, увлекаться ею, jurare in verba magistri... и такъ расходиться съ Гартманомъ! Явленіе дѣйствительно небывалое! Замѣчательно что, не зная «Selbstzersetzung», которое появилось, однако же, въ февралѣ 1874 г., г. Соловьевъ съ «Philosophie des Unbewussten» въ рукахъ легко понадѣлалъ изъ нея извлеченій, цитатъ и т. д., прикинулся даже критикомъ этой системы, откинувъ что-то, ему почему-то непонравившееся; но постичь куда она ведетъ, понять ее, такъ сказать, до тла, онъ не могъ. Онъ Гартмана, какъ и Конта, толкуетъ въ смыслѣ, обратномъ дѣйствительному. Какъ у Конта ему пригрезился произволъ, такъ у Гартмана пригрезились идеи, тождественныя съ идеями христіанскими. У кого? у Гартмана, одного изъ самыхъ рѣшительныхъ и смѣлыхъ враговъ христіанства, какіе только есть и были въ Европѣ. Печальное недоразумѣніе, печальный результатъ философствованія, и сугубо печальное положеніе поклонниковъ и почитателей, аплодировавшихъ вступительной рѣчи и громкимъ фразамъ г. Соловьева на диспутѣ и не бѣжавшихъ отъ его обманчивой философіи, какъ отъ опаснаго искушенія. Я ни минуты не сомнѣваюсь конечно въ благихъ намѣреніяхъ г. Соловьева, но благихъ намѣреній здѣсь мало,—вспомните, что о нихъ сказано было еще Дантомъ,—тутъ надо еще что-то.

Мы пришли наконецъ къ окончательной ликвидаціи содержанія диссертаціи г. Соловьева: позитивизма, какой воображается г. Соловьеву, не существуетъ, кризиса Гартмана «противъ» Конта и позитивизма не существуетъ, кризиса въ области позитивизма тоже не существуетъ и, наконецъ, кризиса въ научномъ направленіи западной философіи опять-таки не существуетъ. Если и оказалось нѣчто похожее на кризисъ «противъ»; то этотъ кризисъ всего менѣе ожидался г. Соловьевымъ... Но объ этомъ онъ можетъ и самъ теперь поразмыслить.

Послѣ ликвидаціи, такъ сказать ядра диссертаціи г. Соловьева, что же еще въ ней остается? Остается жиденькій обзоръ исторіи философіи, который могъ бы быть и прекраснымъ, но который диссертаціи, однако же, не спасаетъ. Къ несчастью для г. Соловьева даже и этотъ обзоръ нельзя назвать,—не говорю прекраснымъ—а даже сноснымъ. Долго останавливаться на немъ не стоитъ, да и было бы безполезно, а потому ограничусь немногими замѣчаніями. Въ обзорѣ, о которомъ идетъ рѣчь, меня поразило всего прежде то, что чѣмъ значительнѣе разсматриваемый философъ, тѣмъ соотвѣтствующее ему мѣсто диссертаціи небрежнѣе разработано. Г. Соловьеву воображается, напримѣръ, что если онъ сослался на источникъ первой руки, то и ничего болѣе ужъ не требуется. Пожалуй, что инымъ этого достаточно и, что г. Соловьевъ успѣлъ уже стяжать публичную похвалу за непосредственное знакомство съ философами, о которыхъ говоритъ; но этого мало, такъ какъ въ то время, когда восхваляютъ одни, могутъ явиться другіе и заявить вопросы и соображенія, до которыхъ могъ и не додуматься авторъ, читая источникъ, но которые возбуждены и разработаны послѣдующей литературой. Такъ, напримѣръ, г. Соловьевъ рѣшаетъ, что Кантъ высказалъ нелѣпость; но я не могу удовлетвориться этимъ приговоромъ, потому что между Кантомъ и мною стоятъ еще: *O. Liebmann* (Kant und die Epigonen); *Iurgen Bona Meyer* (Kant's Psychologie); *H. Cohen* (Kant's Theorie der Erfahrung); *E. Arnold* (Kants transcendentale Idealität des Raumes und der Zeit) и т. д., которые научили меня понимать Канта иначе, чѣмъ понимаетъ его г. Соловьевъ, и, пока аргументы ихъ неприкосновенно стоятъ передо мною, до тѣхъ поръ развязность г. Соловьева не можетъ имѣть въ глазахъ моихъ никакой цѣны. Вообще говоря, литература исторіи философіи крайне мало извѣстна г. Соловьеву и поэтому источники его носятъ характеръ случайности и странной пестроты: J. Scoti Opera omnia и Petri Abelardi Opera omnia идетъ у него въ перемѣшку съ учебникомъ Ибервега и Истор. филос. среднихъ в. Штекля, когда существуютъ такія соч. какъ Горео, Прантля, Ремюза, Кузена и т. д. Исторіи философіи эпохи возрожденія онъ знаетъ опять только по Штеклевой Ист. средневѣковой философіи и пребываетъ въ невѣдѣніи относительно превосходныхъ монографій Фрица Шульце, Фіорентино, Берти и т. д. О Гегелѣ онъ просвѣщается изъ статьи г. Г-ва, напеча-

танной въ «Русской Бесѣдѣ», и т. п. Наконецъ, онъ изумляетъ своими примѣчаніями: то сошлется на спиритовъ (стр. II), то объявитъ, что отраженіе предмета на сѣтчатой оболочкѣ нашего глаза, въ положеніи обратномъ тому, въ какомъ мы его въ дѣйствительности видимъ, *доселѣ составляетъ камень преткновенія для физиковъ* (стр. 37).

Но какъ бы то ни было, а г. Соловьевъ облеченъ уже теперь званіемъ магистра и имѣетъ право учить другихъ тому, чему самъ научился. Пожелаемъ же ему подвизаться по избранному имъ поприщу такъ, какъ только можно сдѣлать это лучше, вдохновляясь руководящими идеями того направленія нѣмецкой метафизики, которое онъ избралъ. А для того, чтобы доказать искренность нашего желанія, укажемъ теперь на одну изъ такихъ идей и подъ ея благотворнымъ впечатлѣніемъ закончимъ нашу статью.

«При созиданіи науки силы отдѣльной личности слишкомъ ничтожны, поэтому для общей работы соединяются многіе. Такая общность работы возможна только тогда, когда отдѣльный работникъ знаетъ о томъ, что дѣлается и сдѣлано другими на томъ полѣ, которое онъ разрабатываетъ».

«Черезъ посредство практической необходимости такой связи работъ развивается въ поколѣніяхъ научныхъ дѣятелей извѣстное чувство стыдливости, которое проявляется у каждой отдѣльной личности, лишь только вышесказанныя условія связности нарушатся. Мысленное содержаніе этого научнаго чувства стыдливости заключается въ *безсознательномъ* упрежденіи послѣдствій, которыя должны возникнуть въ томъ случаѣ, если такія нарушенія сдѣлаются болѣе общими и станутъ повторяться чаще, а именно: постепенный упадокъ и, наконецъ, совершенная гибель науки».

«Процессъ возникновенія у людей этого чувства стыдливости вполнѣ аналогиченъ процессу возникновенія чувства стыдливости нравственной. И здѣсь также мысленное содержаніе чувства заключается въ *безсознательномъ* упрежденіи послѣдствій, которыя могутъ произойти въ томъ случаѣ, когда будетъ вызвано болѣе общее и болѣе частое повтореніе тѣхъ дѣйствій и мыслей, которое инстинктивно обусловливаетъ это чувство, а именно: упадокъ и, наконецъ, окончательное прекращеніе существованія индивида и рода».

«Вотъ почему степенью развитія этого чувства стыдливости

въ отдѣльной личности или въ народѣ измѣряется ихъ жизнеспособность и неповрежденность».

«По этой теоріи инстинктивное непріятное ощущеніе стыда или нечистой совѣсти являются служащими практическимъ *цѣлямъ природы*. Они въ то же время представляютъ и охранительное средство, удерживая насъ совершать что-либо вредное всей совокупности нашего организма, подобно тому, какъ животныя, благодаря тонкому развитію нервовъ вкуса, имѣютъ возможность различать полезную для нихъ пищу отъ вредной».

«Но, если какая-нибудь отдѣльная личность или народъ лишены этого охранительнаго средства, т.-е. инстинктивнаго чувства стыдливости или, если оно находится въ состояніи ослабленія, то, по этой теоріи, неизбѣжно слѣдуетъ упадокъ этой личности или этого народа и раннее или позднее ихъ исчезновеніе».

«По той же причинѣ, такой точно процессъ долженъ совершаться и въ области науки въ томъ случаѣ, когда у тѣхъ, покровительству и попеченію которыхъ она ввѣрена, объясненное выше чувство стыдливости притупляется и, наконецъ, исчезаетъ». (J. C. F. Zöllner. Ueber die Natur der Cometen. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkentniss. 1872. s. 166—167).

1877 г.
«Отеч. Зап.».

ОТВѢТЪ НА СТАТЬЮ Г. КАВЕЛИНА [1]).

Полемика моя съ г. Соловьевымъ дала поводъ г. Кавелину напечатать въ № 15 «Недѣли» статью, въ которой онъ ставитъ вопросъ объ отношеніяхъ русскихъ читателей къ философскимъ задачамъ, выставляетъ на видъ необходимость измѣненія этихъ отношеній и указываетъ на средства, которыя могли бы способствовать этому измѣненію.

Публика наша чуждается философіи, печать оставляетъ ее въ этомъ отношеніи на произволъ судьбы, но настала пора ввести философію—эту живую изъ живыхъ наукъ—въ жизнь; это задача печати. Таковы, если я ихъ вѣрно понялъ, основныя положенія статьи г. Кавелина. На нихъ основывается взглядъ его и на полемику мою съ г. Соловьевымъ. Полемика эта, утверждаетъ г. Кавелинъ, не выполнила своей задачи, такъ какъ она не могла читателю «разрѣшить вопроса высшаго знанія».

Я вполнѣ раздѣляю мнѣніе г. Кавелина о необходимости перемѣны въ отношеніяхъ нашей читающей публики къ задачамъ философіи; но тѣмъ не менѣе убѣжденъ, однако же, что вся совокупность усилій печати въ этомъ отношеніи составляетъ только одно изъ второстепенныхъ условій развитія и успѣховъ философіи въ нашемъ обществѣ. Я думаю, что условія эти весьма сложны, что отъ многихъ изъ нихъ самая печать находится въ очень большой зависимости и что поэтому требованія наши отъ печати, по отношенію къ введенію философіи

---

[1]) Въ виду серьезности предмета, котораго коснулся г. Кавелинъ въ своей статьѣ «Философская критика», мы съ полной охотой даемъ мѣсто отвѣту г. Лесевича. Мы имѣемъ основаніе надѣяться, что и г. Кавелинъ воспользуется настоящимъ случаемъ, чтобы еще разъ возвратиться къ вопросу, которымъ не можетъ не интересоваться образованная публика. *Ред.*

въ жизнь, должны быть въ высшей степени условны и со многихъ сторонъ ограничены. Это прежде всего. Далѣе, кромѣ этого имѣющаго общее значеніе обстоятельства, снимающаго съ печати значительную долю отвѣтственности въ неподготовкѣ нашего общества къ пониманію значенія философіи, а слѣдовательно въ отсутствіи интереса къ ней, есть еще въ каждомъ данномъ частномъ случаѣ свои особенныя обстоятельства, которыя даютъ направленіе и характеръ философскимъ статьямъ, время отъ времени появляющимся въ печати,—обстоятельства, которыя необходимо принимать во вниманіе при заявленіи нашихъ требованій отъ этихъ статей.

Всякій, кто внимательно прочтетъ статью г. Кавелина, можетъ убѣдиться, что, подымая вопросъ объ оживленіи у насъ интереса къ философіи, г. Кавелинъ не принялъ во вниманіе ни перваго, ни второго изъ этихъ условій. Онъ поднялъ весьма важный вопросъ, но поставилъ его не совсѣмъ правильно. Настоящая замѣтка имѣетъ въ виду внести въ эту постановку поправку, представляющуюся мнѣ необходимою.

Печать, говоритъ г. Кавелинъ, оставляетъ читателя по ототношенію къ разрѣшенію задачъ высшаго знанія на произволъ судьбы. Не вѣрнѣе ли бы сказать, что печать по отношенію къ этимъ вопросамъ сама въ рукахъ судьбы. Зная, что не имѣетъ возможности «выдвинуть на первый планъ и ярко выставить на судъ читателей рѣзкую противоположность философскихъ воззрѣній», печать всего чаще осуждена на невольное молчаніе или на недомолвки. Да, наконецъ, если бы она и заговорила, если бы она и высказала не запинаясь все, чему научилась и что передумала въ уединеніи своихъ кабинетовъ,—сколько еще перемѣнъ должно совершиться въ жизни, чтобы слово ея могло падать не на камень. А вѣдь съ этой вожделѣнной минуты только слово это получитъ всю свою жизненную силу и значеніе и съ этой минуты только наступитъ у насъ для философіи новая эра. Ранѣе—мы далѣе однихъ желаній въ этомъ отношеніи не пойдемъ. Философія, такимъ образомъ, не можетъ не оставаться у насъ достояніемъ тѣсныхъ кружковъ, и когда столкновенія направленій этихъ кружковъ случайно выходятъ наружу, «читатель, особливо не знающій иностранныхъ языковъ, повергается въ недоумѣніе».

По отношенію къ большинству читателей—это правда; но ужели такое положеніе вещей обязываетъ представителей столк-

нувшихся направленій тутъ-то и приступать къ изложенію философіи, начиная съ азовъ и кончая разрѣшеніемъ высшихъ ея вопросовъ? Не подлежитъ сомнѣнію, что минута была бы выбрана неудачно, хотя это не снимаетъ, конечно, съ нихъ обязанности пропагандировать философію въ другое, болѣе удобное время.

Какъ ни малочисленна публика, подготовленная къ сознательному отношенію къ предмету спора, въ томъ или другомъ частномъ случаѣ, но такая публика конечно существуетъ; мало того, она составляетъ первые кадры будущей философской арміи, и ея требованіямъ нельзя не отдать преимущества передъ требованіями тѣхъ, которые нуждаются въ азахъ вмѣсто вопросовъ, поставленныхъ даннымъ моментомъ живой дѣйствительности. Это же послѣднее обстоятельство сообщаетъ обсужденію этихъ вопросовъ извѣстный оттѣнокъ страстности. Страстность эта никогда не закроетъ сути дѣла отъ глазъ тѣхъ, которые понимаютъ смыслъ спора, она—признакъ жизни, и горевать о ней нечего.

Итакъ, если существуетъ публика, не нуждающаяся въ философскихъ азахъ и способная оцѣнить связь между каждымъ частнымъ философскимъ споромъ и вызвавшими его обстоятельствами, если есть основаніе уважать интересы этой публики, то изъ этого слѣдуетъ, что въ каждомъ частномъ случаѣ философской полемики спорящіе всегда могутъ быть увѣрены въ томъ, что если они понимаютъ другъ друга, то ихъ понимаетъ и извѣстная часть публики. При существованіи же этого условія, спорящіе имѣютъ полное основаніе вести полемику сообразно требованіямъ, вытекающимъ изъ свойствъ спорныхъ тезисовъ и другихъ обстоятельствъ даннаго случая, нисколько не заботясь о томъ, что, кромѣ тѣснаго круга понимающихъ дѣло, есть еще масса людей не разумѣющихъ его: довлѣетъ дневи злоба его.

Полемика моя съ г. Соловьевымъ представляетъ собою примѣръ одного изъ частныхъ случаевъ, о которыхъ я только что говорилъ. Опираясь на факты, ею доставляемые, я могу наглядно подтвердить приведенныя выше соображенія.

Постановка спорныхъ тезисовъ нашей полемики совершенно правильно вытекла изъ слѣдующихъ обстоятельствъ:

Г-нъ Соловьевъ написалъ диссертацію «Кризисъ западной философіи противъ позитивистовъ», въ которой на ряду съ при-

ложеніемъ общаго очерка исторіи философіи, онъ выставилъ оригинальный взглядъ на современное состояніе философіи на Западѣ (стр. 1 и 2) и на характеръ философіи будущаго (стр. 124 и 125). Естественно поэтому, что не обзоръ исторіи философіи, но именно эти оригинальные взгляды и сдѣлались главными вопросами нашей полемики, а именно:

1) Пережила ли западная мысль кризисъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ разумѣетъ его г. Соловьевъ на 1 и 2 стр. своей диссертаціи, т.-е. смѣнилось ли всеобщее господство позитивизма всеобщимъ господствомъ философіи безсознательнаго? [1]).

2) Возможна ли будущая философія, какъ соединеніе логическаго совершенства западной формы съ полнотою духовныхъ созерцаній Востока и данными положительной науки? Затѣмъ, такъ какъ кризисъ, въ смыслѣ перехода отъ одного міровоззрѣнія къ другому, предполагаетъ два момента, то въ видахъ уясненія ихъ о каждомъ изъ нихъ былъ поставленъ отдѣльный вопросъ:

3) Есть ли достаточное основаніе считать первый моментъ предполагаемаго кризиса, т.-е. позитивную философію, несостоятельною, нелѣпою и т. д.

и 4) Есть ли достаточное основаніе утверждать, что второй моментъ предполагаемаго кризиса, т.-е. философія безсознательнаго, «утверждаетъ въ формѣ раціональнаго познанія тѣ самыя истины, которыя въ формѣ вѣры и духовнаго созерцанія утверждались великими теологическими ученіями Востока (отчасти древняго, а въ особенности христіанскаго) или, напротивъ того, ведетъ къ отрицанію христіанства въ самыхъ основахъ его? Наконецъ, въ виду того, что авторъ диссертаціи рядомъ съ источниками первой руки пользовался учебникомъ (Ибервега), журнальною статьею (г. Г—ва, въ «Бесѣдѣ») и для періода возрожденія не имѣлъ никакихъ источниковъ, кромѣ

---

[1]) Въ статьѣ, напечатанной въ февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», г. Соловьевъ замѣняетъ взглядъ, высказанный въ диссертаціи, новымъ. Онъ говоритъ: кризисъ западной философіи заключается въ томъ, «что эта философія путемъ логическаго развитія пришла въ послѣднемъ результатѣ къ своему самоотрицанію и должна отказаться отъ того, на чемъ стояла, и признать то, что отвергала» (стр. 880). Это измѣненіе не разрѣшило, однако же, вопроса, такъ какъ остается неизвѣстнымъ, какую философію слѣдуетъ разумѣть: метафизическую или позитивную. Очевидно же, что кризисъ одной не можетъ касаться другой.

исторіи средневѣковой философіи Штекля, былъ поставленъ еще и 5-й дополнительный вопросъ:

5) Каковъ долженъ быть объемъ и качество источниковъ ученой диссертаціи и могутъ ли быть допущены въ источникахъ этихъ пробѣлы?

Таковы были вопросы, разсмотрѣніе которыхъ мы въ полемикѣ нашей предпочли всѣмъ другимъ вопросамъ, не связаннымъ непосредственно съ даннымъ частнымъ случаемъ. Здѣсь не мѣсто говорить о томъ, *какъ* были разработаны эти вопросы. Для цѣлей, которыя я преслѣдую въ настоящей замѣткѣ, достаточно указать на то, что вопросы эти были поставлены не произвольно, а въ зависимости отъ даннаго частнаго случая, и что тѣмъ не менѣе вопросами этими интересовались, какъ утверждаетъ и г. Кавелинъ. Врядъ ли поэтому читателямъ нашимъ было все равно: «оба ли мы правы или не правы въ вопросахъ, на которые мы свели свой споръ», какъ утверждаетъ опять же г. Кавелинъ въ другомъ мѣстѣ. Я думаю, что понимающіе дѣло не могли быть равнодушны, и такъ какъ свидѣтелями спора можно считать только ихъ, то я заключаю, что мы поступили правильно, давши возможность полемикѣ свободно самоопредѣлиться и не увлекаясь другими посторонними, хотя и болѣе важными вопросами.

Не могу также согласиться съ г. Кавелинымъ въ томъ, что мы слишкомъ много спорили о словахъ. Споръ о словѣ *spontané* вовсе не подходитъ подъ категорію тѣхъ споровъ, въ которыхъ препираются о различіи словъ, не замѣчая тождества соотвѣтствующихъ имъ понятій. Въ спорѣ нашемъ приведены были мѣста изъ «Курса позитивной философіи» Конта, изъ которыхъ было видно, что мыслитель этотъ противополагалъ понятіе, выражаемое словомъ *spontané*, понятію, выражаемому словомъ *arbitraire*, что крайне важно для пониманія его системы. И если г. Кавелинъ обратитъ вниманіе на тѣ многочисленныя мѣста «Критики чистаго разума» (напр. § 8 трансценд. эстетики, § 15 трансценд. аналитики), въ которыхъ самъ Кантъ отождествляетъ слово Spontaneität со словомъ Selbsthütigkeit, если онъ обратитъ, наконецъ, вниманіе на переводы этихъ мѣстъ на другіе языки, между прочимъ и на русскій, то онъ конечно убѣдится, какъ важно вѣрное пониманіе этого слова и для разумѣнія Конта. Упрекъ г. Кавелина могъ бы относиться развѣ къ поднятію вопроса о словѣ амальгама, но этотъ вопросъ былъ

поднятъ по недоразумѣнію, такъ какъ г. Соловьевъ не зналъ, что слово это въ примѣненіи къ философской системѣ имѣло уже прецедентъ. (См. *H. Heine.* L'Allmagne. Paris 1856. T. I. p. 76).

Кромѣ полемики со мною г. Соловьеву придется, вѣроятно, полемизировать еще и съ двумя рецензентами его диссертаціи, помѣстившими статьи свои въ журналѣ «Знаніе». Полемика эта можетъ затронуть многіе важные вопросы, но она не можетъ обойти и тѣхъ, которые были предметомъ спора между г. Соловьевымъ и мною. Эта неизбѣжность поставленныхъ нами вопросовъ еще разъ доказываетъ, что споръ нашъ имѣлъ свой raison d'être; а если при этомъ къ нему и относились еще не безразлично, то можно съ увѣренностью сказать, что онъ способствовалъ возбужденію интереса къ философіи, т.-е. далъ результатъ именно въ томъ направленіи, которое указываетъ г. Кавелинъ. Если же это такъ, то я думаю, что и во всѣхъ будущихъ случаяхъ философской полемики можно будетъ безъ смущенія преслѣдовать частныя цѣли, вытекающія изъ обстоятельствъ даннаго случая, предоставляя разработкѣ всей совокупности философскихъ вопросовъ, также какъ и пропагандѣ философскихъ идей, итти своею отдѣльною дорогою. Это заключеніе и было основнымъ побужденіемъ къ написанію этой замѣтки.

1875.
«Недѣля».

КУРЬЕЗНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТЪ.

Курьезный рецензентъ, о которомъ я намѣренъ говорить, принадлежитъ къ числу тѣхъ злополучныхъ личностей, которыхъ всю жизнь преслѣдуетъ неудача, которымъ не удалось осуществить ни одной изъ богатыхъ надеждъ, возлагавшихся на нихъ во дни ихъ юности, которымъ пришлось не разъ видѣть разрушеніе самыхъ блестящихъ плановъ на видныя и почетныя положенія и которымъ очень рано довелось свыкнуться съ сознаніемъ неудавшейся жизни, рано съ горечью въ сердцѣ обречь себя на скромную роль литературнаго наперсника какого-нибудь кулака. Рецензентъ этотъ—г. П. Никитинъ, постоянный сотрудникъ журнала «Дѣло».

Взявъ въ руки 5-ю книжку этого журнала за этотъ годъ и встрѣтя въ ней написанную г. П. Никитинымъ рецензію моего «Опыта критическаго изслѣдованія основоначалъ позитивной философіи» заодно съ рецензіей «Философскихъ этюдовъ» г. Козлова, я напередъ зналъ, что рецензіи эти просто «*считаны*» съ разбираемыхъ ими книгъ, и для меня вопросъ могъ итти только о томъ, которой изъ нихъ г. рецензентъ отдалъ въ этомъ отношеніи преимущество. Это впрочемъ неважно; не о немъ, а по поводу его намѣренъ я теперь бесѣдовать съ читателями. Нѣтъ ничего скучнѣе чтенія статей г. П. Никитина: все въ нихъ всегда чужое и, слѣдовательно, старое, къ тому же еще и перепутанное или, выражаясь его же словами,—«старо, пережевано, перемолото», т.-е. лишено даже того элементарнаго порядка, который нарушается только въ извѣстнаго рода головахъ... Но и впрямь вѣдь г. Никитинъ мелетъ только то, что предварительно пережевано было другими.

Скучное занятіе, представляемое чтеніемъ статей г. П. Никитина, не есть, однако же, занятіе безплодное: оно даетъ воз-

можность показать живой примѣръ того отношенія къ слову, отъ котораго предостерегалъ еще русскихъ писателей Гоголь. Надѣюсь въ избыткѣ привесть доказательства, подтверждающія это мнѣніе.

Г. П. Никитинъ пишетъ рецензію книги г. Козлова и моей и не умѣетъ сдѣлать это иначе, какъ не обобравъ насъ до нитки: начиная съ положеній, составляющихъ всю суть рецензіи, до отдѣльныхъ характеристическихъ выраженій, всѣ факты, всѣ библіографическія указанія, всѣ цитаты, все нарвано у насъ, все смѣшано въ одну общую безпорядочную кучу и названо рецензіей нашихъ же книгъ! Позабылъ я еще о вставкахъ собственнаго его, П. Никитина, издѣлія. Что за перлы! Съ ними мы еще, впрочемъ, познакомимся... Взглянемъ ближе на эту рецензію, на это въ своемъ родѣ замѣчательное литературное произведеніе.

Цѣль его, по мысли автора, заключается въ выясненіи вопроса «о пользѣ философіи», достиженіе этой цѣли на первомъ же шагу затруднено, однако же, тѣмъ, что оба рецензируемыя сочиненія придерживаются двухъ совершенно противоположныхъ взглядовъ на нее, а своего опредѣленія, своего взгляда г. П. Никитинъ не даетъ. Остается неизвѣстнымъ, такимъ образомъ, о какой философіи ведетъ онъ рѣчь.

Эта-то неизвѣстность и дорога г. Никитину: подъ ея сѣнью и совершаетъ онъ то широкое заимствованіе, которое даетъ ему содержаніе для статьи и безъ котораго онъ не сумѣлъ бы вымолвить и двухъ словъ по вопросу о пользѣ философіи. Пріемъ его очень простъ: онъ не различаетъ идеализма г. Козлова и его защиты метафизики отъ моего реализма и моего отрицательнаго отношенія къ метафизикѣ; онъ находитъ основныя воззрѣнія у обоихъ насъ одинаковыми, и самъ, не имѣя никакого, компилируетъ изъ моей книги довольно неумѣло все то, на чемъ у меня построено опроверженіе метафизическихъ притязаній, и тщательно замѣняя слово метафизика словомъ философія, получаетъ рядъ аргументовъ для своего главнаго тезиса, всю суть своей статьи.

Какъ ни простъ этотъ пріемъ, но для примѣненія его къ дѣлу все же необходима такая мѣра знанія и сообразительности, какою г. П. Никитинъ не обладаетъ; ничего нѣтъ удивительнаго поэтому, если его опять постигаетъ всюду преслѣдующая его неудача. И въ самомъ дѣлѣ, при охотѣ смертной участь

его оказалась горькою, такъ какъ вышла путаница, очевидная для всякаго сколько-нибудь понимающаго человѣка. Дѣло въ томъ, что г. П. Никитинъ, прочитавъ мою книгу, понялъ только то, что я противопоставляю критическій реализмъ позитивизму; въ какой же мѣрѣ я это дѣлаю, какъ далеко въ этомъ направленіи иду, какимъ образомъ перерабатываю развитіе основного принципа реализма въ зависимости отъ сохраняемыхъ мною положеній Ог. Конта и вообще въ какой мѣрѣ самостоятельно веду свою работу,—все это осталось внѣ предѣловъ его пониманія, да и самая мысль объ этихъ вопросахъ у него не возникала. По этой-то причинѣ онъ слишкомъ ясно отпечатываетъ индивидуальныя черты моего труда на страницахъ своей статьи, слишкомъ много захватываетъ моихъ аргументовъ и, роковымъ образомъ уносясь этимъ путемъ къ моимъ заключеніямъ, выходитъ изъ затрудненія только посредствомъ извращенія цитатъ и насильственнаго навязыванія мнѣ взглядовъ, самомалѣйшаго намека на которые въ книгѣ моей нѣтъ и въ поминѣ и которые *цѣликомъ захвачены г. П. Никитинымъ изъ «этюдовъ» г. Козлова.*

Для потвержденія этой мысли я могъ бы привести цѣлый рядъ отрывковъ изъ моей книги, которые послужили г. П. Никитину для его компиляціи, затѣмъ и самую его компиляцію; но я не стану обременять мою замѣтку цитатами и укажу только на наиболѣе курьезные промахи моего рецензента.

Г-нъ Никитинъ признаетъ пользу въ стремленіи человѣческаго ума къ извѣстнымъ образомъ ограниченнымъ обобщеніямъ и подкрѣпляетъ такое признаваніе выдержками изъ общаго очерка теоріи познаванія, изложеннаго въ моей книгѣ; этимъ самымъ онъ очевидно признаетъ не только логическую правомѣрность теоріи познаванія, какъ части общаго строя положительнаго знанія, и вмѣстѣ съ нею и исходную точку моей критики позитивизма, но, что всего важнѣе, и пользу именно той философіи (ограниченнаго научными условіями обобщенія), которая является у меня какъ результатъ критики. Но такъ какъ г. П. Никитинъ компилировалъ сочиненіе не вполнѣ ему доступное и излагалъ теорію познаванія, *самъ того не подозрѣвая*, то ничто и не помѣшало ему отрицать не только значеніе теоріи познаванія (стр. 88) и результаты приложенія ея къ позитивной системѣ (стр. 92), но и самую пользу той философіи, представителемъ которой я являюсь. Здѣсь впрочемъ изложеніе

г. Никитина доходитъ до высшей степени своей тусклости, такъ какъ никакого опредѣленія философіи не имѣется и не различается даже всѣмъ свѣтомъ признанная рѣзкая граница между научнымъ обобщеніемъ и метафизическою абстракціею.

Далѣе, признавъ пользу обобщеній и заимствовавъ у меня для нихъ критерій—необходимость связи этихъ обобщеній съ представленіями, а чрезъ нихъ и съ конкретною дѣйствительностью,—г. Никитинъ приходитъ, однако же, къ заключенію, что 1) философія не можетъ внести единство въ наше теоретическое міросозерцаніе, т.-е. другими словами философія не можетъ внести единство въ философію (!) и 2) философія отвлекаетъ отъ существенно важныхъ насущныхъ вопросовъ жизни. Останавливаясь на первомъ изъ этихъ пунктовъ, г. Никитинъ говоритъ, что «г. Лесевичъ не касается этого вопроса; для него онъ, вѣроятно, и совсѣмъ не существуетъ». Замѣчаніе это будетъ признано, конечно, весьма наивнымъ всѣми читавшими мою книгу. Нѣсколькими строками ниже г. П. Никитинъ полагаетъ уже, что вопросъ этотъ для меня существуетъ, но что я будто бы разрѣшаю его ссылками на Цёллнера, Вундта, Гельмгольца и Геккеля (О пользѣ фил. стр. 88). Но г. Никитинъ не понялъ того, что у меня вопросъ этотъ выясняется совершенно независимо отъ этихъ ссылокъ, и что ссылки на этихъ ученыхъ, помѣщенныя у меня на стр. 153, указывали на нихъ только какъ на видныхъ европейскихъ представителей излагаемыхъ мною философскихъ воззрѣній. Объ одномъ же изъ нихъ (Геккелѣ) я говорю въ слѣдующей главѣ, какъ о мыслителѣ, не осуществившемъ требованій своего же принципа. Все это скомпилировано г. Никитинымъ у меня и обращено противъ меня же. Интересующіеся этимъ вопросомъ могутъ сравнить мою 234 стр. съ его 88. Выписывать было бы долго. Замѣчу только, что одно мѣсто у г. Никитина особенно забавно, а именно: онъ говоритъ, что ни Цёллнеръ, ни Гельмгольцъ прямо объ этомъ вопросѣ не высказывались, т.-е. это значитъ, что ни отъ г. Козлова, ни отъ меня ничего нельзя было объ этомъ узнать, а высказываться-то они и очень высказывались.

Что касается до вопроса о вредѣ философіи для общественной жизни, то я не знаю, стоитъ ли на немъ и останавливаться: г. Никитинъ является тутъ съ совершенно неидущими къ дѣлу аргументами. Ясно, какъ день, что представленія, доставленныя ходомъ общественной жизни, такъ же неизбѣжно, какъ и

всякія другія, перерабатываются въ понятія, что понятія эти составляютъ группу, образующую философію науки объ обществѣ—соціологію, которая существуетъ не отрозненно отъ другихъ наукъ, а въ связи съ ними и, слѣдовательно, можетъ, служить матеріаломъ для высшихъ обобщеній, какъ то и показалъ, напримѣръ, хоть тотъ же взятый подъ высокое покровительство г. П. Никитина Геккель (см. объ этомъ Опытъ критич. изсл. основоначалъ позитив. ф. Т. I, стр. 401). Но г. Никитину не до того; теперь, переставъ компилировать, онъ является съ аргументами собственнаго приготовленія и впадаетъ въ игривое расположеніе духа, столь ему свойственное. Аргументы его такъ глубокомысленны, что простымъ смертнымъ могли быть предложены, только въ формѣ анекдота: какой-то пріятель г. Никитина, опоздавъ на обѣдъ, до такой степени ошалѣлъ подъ вліяніемъ голода, что вмѣсто простого и прямого вопроса объ обѣдѣ, вздумалъ завести ученое отвлеченное преніе о физіологіи и гигіенѣ, надѣясь такимъ окольнымъ путемъ договориться до яснаго и опредѣленнаго заявленія о томъ, что онъ ѣсть хочетъ. «Вся польза философіи,—говоритъ г. Никитинъ по этому поводу,—заключается въ томъ, что она отвлекаетъ умы отъ насущныхъ практическихъ вопросовъ, претворяя эти вопросы въ туманныя, неопредѣленныя отвлеченности» (стр. 75). Но позвольте, однако же, г. Никитинъ, вашъ анекдотъ доказываетъ только *неумѣстность* рѣчей вашего пріятеля, а не ихъ безотносительную негодность, такую негодность, которою, напримѣръ, обладаютъ рѣчи и поступки идіотовъ, и т. п. Ужели вы будете утверждать, что серьезное преніе о физіологіи и гигіенѣ само по себѣ негодно, негодно не только какъ окольный путь къ *полученію пищи*, но негодно какъ *изученіе условій питанія*, негодно въ этомъ послѣднемъ смыслѣ въ книгѣ, въ аудиторіи, въ классѣ? Если вы не рѣшаетесь дѣлать такихъ заявленій, то не за чѣмъ было и тратить остроуміе на изобрѣтеніе анекдотовъ.

«Я знаю,—говоритъ г. П. Никитинъ вслѣдъ за выстрѣломъ холостого заряда, представляемаго его анекдотомъ,—я знаю, что гг. Лесевичъ и Козловъ придутъ въ неописанное негодованіе отъ такой постановки вопроса» (т.-е. отъ попытки рѣшить вопросъ о пользѣ философіи неидущимъ къ дѣлу анекдотомъ). «Вы смѣетесь надъ нами, скажутъ они,—вы профанируете самымъ наглымъ и возмутительнымъ образомъ науку, скромными представителями которой мы являемся передъ рус-

скою публикой! Вы издѣваетесь, наконецъ, и надъ публикою! За кого вы ее принимаете?» и т. д. въ этомъ родѣ (стр. 75).

Представьте же себѣ, г. Никитинъ, что и эта съ такимъ пафосомъ высказанная вами увѣренность опять таки призракъ. Смѣю васъ увѣрить, что вы не дали и малѣйшаго даже повода для негодованія, да и еще и неописаннаго. Если бы вы въ самомъ дѣлѣ профанировали науку, то, конечно, не мѣшало бы кому-нибудь и замѣтить, что вы поступаете неприлично; но вы вѣдь науки не профанируете, а просто самоуслаждаетесь разными благоглупостями. Къ такому занятію вашему всѣ очень ужъ привыкли, и потому есть полная возможность указывать на него съ совершеннымъ спокойствіемъ, да и то не ради васъ, а ради читателей. Пора, наконецъ, понять всѣмъ и каждому, что не существуетъ такого дѣла, къ которому стоило бы васъ допускать. О, г. Никитинъ, ужели для васъ пропалъ даромъ урокъ, такъ недавно еще вами полученный! Нѣтъ, не негодованіе и тѣмъ болѣе не негодованіе неописанное возбуждаетъ во мнѣ статья г. П. Никитина, но очень мирное и спокойное размышленіе.

Во-первыхъ, думаю я, зачѣмъ ему писать о томъ, чего онъ не знаетъ, и потомъ, зачѣмъ это малодушіе, препятствующее итти до конца: зачѣмъ притча о глупомъ пріятелѣ въ началѣ статьи и признаніе пользы обобщенія въ концѣ ея? Зачѣмъ не доведено согласное смыслу анекдота отрицаніе до конца? Отчего не отрицать науку и знаніе вообще? Къ чему этотъ обглоданный остатокъ какой-то науки самодѣльнаго, кустарнаго производства? Не будь ея,—притча о пріятелѣ имѣла бы смыслъ, статья—единство, читатели—цѣльную и искреннюю (хотя и не новую) мысль.

Теперь—половинчатость, виляніе, непослѣдовательность и пустыя побасенки.

Я покончилъ съ общими чертами характера статьи нашего курьезнаго рецензента; мнѣ остается еще сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ ея частностяхъ.

1) Г-нъ Никитинъ говоритъ, что ему помнится, будто въ 60-хъ годахъ къ философіи относились у насъ отрицательно, а теперь, какъ онъ замѣчаетъ, стали интересоваться ею очень живо. Плоха память у г. Никитина и еще плоше его наблюдательность. Въ 60-хъ годахъ къ философіи *никто* отрицательно не относился; лучшіе журналы того времени очень часто помѣ-

щали философскія статьи, и имена авторовъ этихъ статей пользовались большою извѣстностью, о философіи читались тогда публичныя лекціи и по поводу ихъ велась горячая полемика, переводились философскія сочиненія (Гаймъ, Куно Фишеръ, Вундтъ, Ст. Милль, Швегнеръ, Бауэръ, Льюисъ, даже Кантъ и Платонъ) и переводы находили рецензентовъ между самыми видными тогда писателями; даже теософы (Новицкій и Гогоцкій) не оставались безъ критиковъ, не говоря о прославленномъ критиками Юркевичѣ... Въ то время даже г. Зайцевъ увлекся Шопенгауэромъ. Что же мы видимъ теперь? Философскія статьи являются въ журналахъ очень рѣдко, философскія сочиненія выходятъ еще рѣже, и рецензіи ихъ поручаются уже гг. Никитинымъ, и г. Благосвѣтловъ такъ успѣлъ отвыкнуть отъ философіи, что сталъ уже Шопенгауэра называть не иначе какъ Шопфенгауэръ. А г. Никитинъ все жалуется, что философія намъ дѣломъ заниматься не даетъ!

2) Переписавъ заглавія журналовъ Рибо и Авенаріуса, г. Никитинъ вздумалъ и отъ себя вставить о нихъ словцо и утверждаетъ на стр. 71, что между журналами этими *много* общихъ точекъ соприкосновенія. Увы! первый изъ нихъ—сборникъ, помѣщающій статьи *всѣхъ* философскихъ направленій, второй—органъ исключительно научной философіи.

3) Встрѣтя въ рецензируемыхъ книгахъ свѣдѣнія только о *позитивной* философіи въ Италіи, г. Никитинъ вообразилъ почему-то, что *философія* эта тамъ преобладаетъ. Если онъ потрудится, однако же, обратиться къ римскому философскому журналу Маміани, къ неаполитанскому—Фіорентино, и къ текущей литературѣ, то убѣдится, что онъ жестоко ошибся.

Я полагаю, что мною приведены въ избыткѣ доказательства полной несостоятельности г. Никитина по вопросу, о которомъ онъ вздумалъ толковать столь развязно. Затѣмъ, отвѣчать ему еще и на замѣчаніе его о томъ, что мой взглядъ на критическій реализмъ, какъ на высшій фазисъ развитія позитивизма, будто бы не подтвержденъ доказательствами,—представляется мнѣ излишнимъ не только потому, что читателямъ должно быть уже ясно, что такого рода приговоры не ума г. Никитина дѣло, но еще и по той причинѣ, что самъ г. Никитинъ противорѣчитъ такому приговору, называя мое изслѣдованіе солиднымъ. Что же за солидное изслѣдованіе, въ которомъ доказательствъ основного положенія вовсе нѣтъ?

Если же они имѣются, да только г. Никитинъ не считаетъ ихъ удовлетворительными, то не мѣшало бы ему такое мнѣніе свое доказать, отъ чего онъ, однако же, благоразумно воздержался. Возражать, выходитъ, не на что. Г. Никитинъ—замѣчу еще—думаетъ, что основной мой тезисъ выставленъ въ пику Литтре и Вырубову; но это ужъ такой вздоръ, что и понять его нельзя.

1877.
«Недѣля».

ЗАЩИТНИКЪ ФИЛОСОФІИ.

А. А. Козловъ: Философія, какъ наука. Кіевъ, 1877.

Паденіе метафизики, достигшей въ системѣ Гегеля кульминаціоннаго пункта своего вліянія, было въ глазахъ всѣхъ, не отличавшихъ ее отъ философіи, паденіемъ самой философіи. Такая катастрофа была впрочемъ, по мнѣнію многихъ, вполнѣ заслужена философіей, слишкомъ ужъ долго узурпировавшей власть надъ умами. Похоронивъ метафизику и отпѣвъ философію, стали много толковать объ этомъ казусѣ и возвели даже въ принципъ не только отрицаніе метафизики, но и отрицаніе философіи; всѣ философскіе вопросы огуломъ подверглись гоненію какъ безплодное мудрованіе, и занятіе философіей стало считаться переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Такое отношеніе къ философіи нашло съ теченіемъ времени свою публику и по рутинѣ осталось надолго. Даже и теперь оно повторяется тамъ и сямъ болѣе или менѣе сознательно всѣми, кто отсталъ отъ общаго хода развитія научной мысли, а подчасъ и спеціалистами, не довольно точно охраняющими границы своей спеціальности. Между тѣмъ, новѣйшій фазисъ развитія европейской мысли преисполненъ глубокой поучительности и горячаго интереса именно потому, что представляетъ рядъ попытокъ замѣнить отжившую умозрительную философію или метафизику философіею новою и живою, опирающеюся не на отторгнутое отъ опыта созерцаніе, но на основы опытной науки. Во Франціи Ог. Контъ ранѣе другихъ старался достичь этой цѣли посредствомъ суммированія самыхъ общихъ положеній отдѣльныхъ наукъ и построенія изъ этихъ положеній схематическаго единства, выражающагося въ его извѣстной «классификаціи наукъ». Его школа, поддерживая идею учителя, ввела

въ нее нѣкоторыя измѣненія, главнымъ образомъ, направленныя къ подавленію и устраненію тѣхъ вопросовъ, которые Ог. Контъ считалъ руководящими по отношенію къ своей схемѣ и въ разрѣшеніи которыхъ заключался переходъ отъ механическаго суммированія научныхъ положеній къ выработкѣ такой теоріи, которая бы могла указывать путь разуму не только при приложеніи его дѣятельности къ частнымъ областямъ отдѣльныхъ наукъ, но и при поднятіи ея до высшихъ степеней обобщенія и отвлеченія. Въ Англіи, философскія направленія, родственныя школѣ Конта, сдѣлали не мало для выработки такой теоріи, но имъ не удалось преодолѣть всѣхъ трудностей, лежащихъ на этомъ пути, и полученные ими результаты оставляютъ еще желать многаго; чего именно,—можетъ опредѣлить всякій, кто внимательно сравнитъ англійскія научно-философскія попытки съ постановкою научно-философскихъ вопросовъ въ Германіи. Здѣсь, вмѣстѣ съ обновленіемъ ученія Канта, поставлена была на первый планъ задача установленія теоріи *познаванія* [1]), которая, подъ вліяніемъ измѣненій въ понятіи философской критики отрѣшилась отъ послѣднихъ слѣдовъ искаженія ея метафизикой и главнымъ образомъ отъ «a priori».

Эта новая теорія познаванія, выработанная нео-критическою школою (К. Гёрингъ, Авенаріусъ, Паульсонъ и друг.), преодолѣвшею остатки метафизичности, замѣчаемой еще у нео-кантіанцевъ (Альб. Ланге, Либмана, Когена, Штадлера и др.), отличается характеромъ столь безукоризненно научнымъ, что окончательно отымаетъ у всѣхъ умственныхъ призраковъ и иллюзій послѣднее ихъ убѣжище и, съ другой стороны, не устраняетъ ни одного правильно поставленнаго вопроса ради его

---

[1]) Нѣмецкій терминъ «Erkenntnisstheorie» переводится у насъ обыкновенно «теорія познанія». Такимъ образомъ, изъ 2-хъ осново-начальныхъ вопросовъ этой теоріи: что такое знаніе и какимъ образомъ оно пріобрѣтается, отдается преимущество первому. Съ метафизической точки зрѣнія это и правильно, такъ какъ въ метафизической «теоріи познанія» второй изъ означенныхъ выше вопросовъ ставится въ зависимость отъ перваго, который, въ свою очередь, предрѣшается основоначальными положеніями метафизики. Очевидно, что въ научной теоріи, не принимающей никакихъ предрѣшеній, соподчиненіе вопросовъ должно быть обратное и процессъ пріобрѣтанія знанія—познаваніе, поставленъ на первый планъ. По этой причинѣ я и отказался отъ термина, введеннаго метафизиками, и замѣнилъ его другимъ, болѣе соотвѣтствующимъ научной точкѣ зрѣнія.

общаго и отвлеченнаго характера, осуждая его на принципіальную неразрѣшимость, какъ то имѣетъ мѣсто въ позитивизмѣ. Указывая путь къ правильному рѣшенію всѣхъ самыхъ общихъ и отвлеченныхъ вопросовъ, научная теорія познаванія ставитъ это рѣшеніе въ зависимость не отъ степени ихъ общности и отвлеченности, но только отъ возможности или невозможности соблюденія при этомъ ея методологическихъ требованій и, такимъ образомъ, сводитъ *неразрѣшимость*, навязанную нѣкоторымъ вопросамъ позитивистами, на временную ихъ *неразрѣшенность* и подготовляетъ выходъ изъ этой послѣдней. Результатомъ такого воззрѣнія является возможность продолженія работы, начатой съ простого позитивнаго суммированія научныхъ положеній, и полагается основаніе къ восхожденію къ высшимъ степенямъ отвлеченія безъ потери связи съ реальною дѣйствительностью и къ образованію такимъ образомъ связной и цѣльной цѣпи научно-философскихъ обобщеній. Понятно, такимъ образомъ, что философія, съ научной точки зрѣнія, понимается въ двухъ значеніяхъ: во-первыхъ, какъ сумма отвлеченныхъ понятій, выработанныхъ отдѣльными науками, и во-вторыхъ, какъ результатъ восхожденія отъ этихъ частныхъ отвлеченныхъ понятій къ понятіямъ общимъ, выработаннымъ такъ же, какъ и частныя понятія при посредствѣ научнаго метода. И при томъ и при другомъ изъ этихъ двухъ значеній, *отрицаніе философіи представляетъ ту серьезную опасность*, что оно тѣсно связано съ отрицаніемъ науки. Поэтому-то, съ тѣхъ поръ, какъ выяснилась эта истина, стали все рѣже и рѣже раздаваться въ Европѣ голоса противъ философіи и, въ то же время, все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе стала европейская наука принимать характеръ философскій. Реакція противъ философіи стала заканчиваться, такимъ образомъ, полнымъ преодолѣніемъ метафизики и установленіемъ прочнаго торжества обновленной и полной жизни философіи.

У насъ, говоря вообще, отношеніе общества къ философіи несходно, да и не можетъ быть сходно, съ отношеніемъ къ ней на западѣ. Всего прежде, философіей занимаются у насъ очень немногіе, да и изъ ихъ числа, если исключить: во-первыхъ, тѣхъ, къ которымъ примѣняется выраженіе Шопенгауэра «friss deinen Pudding, sclav.....» (Parerga, I. 154) и, во-вторыхъ, тѣхъ, *которые по чисто внутреннему побужденію обратились въ* философскія окаменѣлости, то останется весьма ничтожное чи-

сло знающихъ въ философіи толкъ. По этой причинѣ понятно, что и отрицаніе философіи у насъ своеобразно. Наши отрицатели—въ томъ случаѣ, когда они что-нибудь знаютъ—знакомы съ философіей временъ болѣе или менѣе отдаленныхъ, новую философію знаютъ мало, а о современной имѣютъ только отрывочныя понятія. Живя идеей той эпохи реакціи противъ философіи, когда понятіе философіи совсѣмъ не различалось отъ понятія метафизики, они самоуслаждаются повтореніемъ задовъ, и аргументы ихъ, само собою разумѣется, не имѣютъ, да и не могутъ имѣть, никакого реальнаго значенія. Ихъ отрицаніе не является результатомъ сложной и трудной работы, но весьма яснымъ проявленіемъ недодуманности или оригинальничанья. Ихъ отрицаніе не хоронится въ глубинѣ ихъ мысли или творчествѣ ихъ самобытнаго разума, но въ той легковѣсности, которая по временамъ прикрывается только будто бы серьезнымъ подборомъ устарѣлыхъ аргументовъ, а по временамъ представляется и во всемъ циничномъ безстыдствѣ башибузукскаго набѣга на область чуждую и невѣдомую.

Всѣ эти отрицатели и не думаютъ о борьбѣ съ тѣми великими европейскими умами, вліяніе которыхъ на европейскую мысль растетъ теперь съ каждымъ днемъ, но устраиваютъ свои дѣлишки очень просто, безъ многочисленныхъ затѣй. Ог. Контъ, Литтре, Ст. Милль, Спенсеръ, Льюисъ, Бенъ, Альб. Ланге, Когенъ, Гельмгольцъ, Дюрингъ, Либманъ, Вундтъ, Риль, Гёрингъ и многіе другіе еще для большей части нашихъ отрицателей не существуютъ; хорошо, если иной изъ нихъ знаетъ Конта, Литтре, Милля, Спенсера, Вундта, или еще что-нибудь, изъ нашей урывочной переводной литературы; всего же, что слѣдуетъ знать, не знаетъ ни одинъ, а иные и ровно ничего не знаютъ, а только кое о чемъ слыхали. Всѣ, однако же, начиная съ мрачныхъ педантовъ и кончая хихикающими шутами, говорятъ докторально и рѣшительно. Понимающіе дѣло только плечами пожимаютъ, читая творенія россійскихъ борзописцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, что за зрѣлище! Вотъ наши комическіе отрицатели философіи разглагольствуютъ закрывъ глаза и, не видя передъ собой врага, считаютъ его несуществующимъ. Этимъ мудрымъ дѣйствіемъ замѣняютъ они столь желаемый ими погромъ непріятеля и, затѣмъ, на позиціи, предполагаемой отъ врага свободною, воздвигаютъ они свой карточный домикъ съ

флагомъ изъ старой тряпки, оторванной отъ того лоскута, которымъ украшались отрицатели философіи во время оно. Хоть лоскутъ этотъ и служитъ половикомъ, о который вытираютъ ноги нѣсколько поколѣній, но при скудости нашей и нашемъ убожествѣ, отрицатели наши дѣломъ своимъ довольны.

Г. Козловъ, защищая философію противъ одного изъ ея отрицателей—г. Аландскаго справедливо говоритъ, что г. Аландскому слѣдовало избрать для своего тезиса аргументацію ad rem, а не ad hominem, т.-е. что г. Аландскій долженъ былъ имѣть въ виду всѣ существующія de facto воззрѣнія на задачу и предметъ философіи, а не одинъ только частный случай, т.-е. воззрѣнія г. Козлова. «Мнѣ кажется, говоритъ г. Козловъ, что ходъ мысли г. Аландскаго долженъ бы былъ выразиться въ такомъ силлогизмѣ:—всякая наука имѣетъ такіе-то и такіе-то признаки, философія во всѣхъ извѣстныхъ исторически ея формахъ этихъ признаковъ не имѣетъ, ergo она не наука.—Такой силлогизмъ обстоятельно развитый и основательно доказанный могъ бы, пожалуй, оказать великую услугу человѣчеству: онъ подорвалъ бы окончательно довѣріе къ «безплодному мудрованію» (какъ квалифицируетъ г. Аландскій философію). Во всякомъ случаѣ только это возраженіе прямо било бы въ намѣченную имъ цѣль. Но такія возраженія, которыя строятся на аргументаціи ad rem, а не ad hominem, вовсе не легки; и особенно не легко оно было бы въ такомъ случаѣ, гдѣ одна установка первой посылки, или отвѣтъ на вопросъ, что такое наука, и въ наше время встрѣтитъ такія же затрудненія, какія встрѣчены были Сократомъ и Теэтомъ въ знаменитомъ діалогѣ Платона».

«Но мой многоуважаемый оппонентъ, продолжаетъ г. Козловъ, предпочелъ болѣе легкую аргументацію ad hominem, именно въ такой формѣ: «г. Козловъ описываетъ задачу философіи такъ-то и такъ-то, г. Козловъ въ обозначеніи этой задачи ошибается, ибо то, что онъ считаетъ задачею философіи, можетъ быть выполнено другими науками, ergo философія не наука» (стр. 4).

Вслѣдъ за симъ г. Козловъ обстоятельно выясняетъ своему противнику «ошибочность и непроизводительность его аргументаціи». Но я не стану слѣдить за поясненіями г. Козлова и перейду къ указанію на другія характеристическія черты, обрисовывающія нашихъ отрицателей философіи и, само собою

разумѣется, не чуждыя тѣхъ, противъ которыхъ защищаетъ философію г. Козловъ. Найдутся, вѣроятно, читатели, которые, оцѣнивъ ничтожество приведеннаго выше пріема гг. отрицателей философіи, само собою разумѣется, подумаютъ, что борьба съ подобными противниками слишкомъ ужъ легка: одинъ щелчокъ—и карточный домикъ отрицанія долженъ исчезнуть, скажутъ они. Но они жестоко ошибутся. Элементарность пріема отрицанія никогда не является безъ свиты цѣлой группы характеристическихъ вспомогательныхъ пріемовъ, преодолѣніе которыхъ должно необходимо предшествовать нанесенію рѣшительнаго удара противнику. Свита эта состоитъ изъ «недомолвочекъ, прибавочекъ и перестановочекъ», какъ деликатно выражается Козловъ и представляетъ нерѣдко цѣлый рой, оглушающій своимъ гуломъ и жужжаніемъ. Устраненіе этого побочнаго элемента далеко не такъ легко, какъ кажется, такъ какъ при устраненіи этомъ приходится преодолѣть значительное треніе, безплодное для дѣла и томительное для читателя. Авторъ съ полнымъ самоотреченіемъ пробивается сквозь эти дебри и трущобы, но ему страшно, чтобы не изнемогъ читатель. Какъ сдѣлать, чтобы тяжелый трудъ піонера, подвигающагося шагъ за шагомъ по темному первобытному лѣсу, представился легкимъ и пріятнымъ? Кто когда-либо рѣшалъ эту задачу, тотъ знаетъ ея трудности и тотъ оцѣнитъ, конечно, прочитавъ книгу г. Козлова, рѣдкое искусство, съ которымъ онъ рѣшилъ ее.

Такимъ образомъ, умалчиваніе о томъ, съ чѣмъ гг. отрицателямъ философіи собственно и слѣдовало считаться, и цѣлая путаница затемняющаго дѣло вранья—вотъ то прикрытіе, подъ сѣнью котораго совершается ихъ мнимый подвигъ. Нечего и говорить, что одной только характеристики ихъ маневра вполнѣ достаточно для правильной оцѣнки ихъ значенія. Здѣсь не мѣсто касаться того рѣзкаго различія, которое существуетъ между воззрѣніями г. Козлова и моими; достаточно будетъ сказать, что на многіе нервоначальные вопросы философіи мы придерживаемся воззрѣній діаметрально противоположныхъ, но тѣмъ не менѣе я всегда цѣнилъ и цѣню богатство его знаній, оригинальность его идей и искренность его убѣжденій, и полагаю, что трудно быть вооруженнымъ для защиты философіи полнѣе и лучше г. Козлова. Въ настоящемъ же случаѣ онъ превзошелъ себя и далъ намъ превосходнѣйшій образецъ фи-

лософской полемики, какъ по глубокомыслію, такъ и по мѣткости аргументовъ и живости изложенія. Можно много спорить съ нимъ съ разныхъ точекъ зрѣнія противъ того, что онъ противопоставляетъ своимъ противникамъ, какъ *свою* философію; но нельзя не согласиться, что противники сокрушены и уничтожены, что всѣ аргументы ихъ разрушены и болѣе для дѣла не годятся. Прочтите, напр., полную юмора критику «концепта міра» г. Аландскаго и скажите: возможно ли послѣ того переубѣдить васъ, что г. Аландскій говоритъ о философіи точно спросонокъ?... Отрицателямъ философіи не дурно было бы проштудировать сочиненіе г. Козлова и, въ виду однородности ихъ аргументовъ, или понатужась обновить эти аргументы, или вовсе и навсегда отказаться отъ всякой попытки пустого оригинальничанья. Я не могу выходить за предѣлы самой общей характеристики сочиненія г. Козлова, такъ какъ въ противномъ случаѣ мнѣ пришлось бы писать статью, которая по объему своему далеко переходила бы границы, допускаемыя газетною замѣткой, достигающей своей цѣли уже и тогда, если она установила точку зрѣнія на разсматриваемую книгу и остановила на книгѣ этой вниманіе читателей. Такимъ образомъ мнѣ, послѣ вышесказаннаго, приходилось бы только пожелать книгѣ г. Козлова успѣха среди интеллигентной части нашего общества и тѣмъ закончить эту замѣтку. Но я намѣренъ попросить вниманія читателей еще на нѣсколько минутъ по той причинѣ, что въ книгѣ г. Козлова я нахожу нѣсколько страницъ, направленныхъ противъ нашего общаго рецензента г. П. Никитина, разоблаченію неприличныхъ пріемовъ котораго я посвятилъ замѣтку въ № 28 «Недѣли».

Г. Козловъ не полемизируетъ съ г. Никитинымъ, считая его того не стоющимъ, и обращаетъ вниманіе только на тотъ фактъ, что статья г. Никитина скомпилирована съ имъ же разбираемыхъ книгъ. Представивъ выписки изъ статьи г. Никитина, изъ своихъ «Философскихъ этюдовъ» и моего «Опыта изслѣдованія основоначалъ позитивизма», г. Козловъ говоритъ: «Читателю, который и послѣ всего этого усомнился бы, что г. П. Никитинъ есть не что иное, какъ эксплоататоръ чужого труда, я посовѣтывалъ бы прочесть его статью параллельно съ моей и г. Лесевича книжками. Тогда сомнѣніе будетъ окончательно невозможно. Для убѣжденнаго же и вообще неохотно читающаго *дѣльныя и дѣланныя* статьи читателя я прибавлю,

что въ статьѣ г. Никитина, кромѣ плагіата, есть еще: а) искаженіе и перетолкованіе выписанныхъ мѣстъ изъ общихъ книгъ, б) искаженіе науки и логики, в) собственное балаганное остроуміе и г) собственное открытіе, легшее въ основу статьи, а именно мысль: философія вредна, ибо отвлекаетъ вниманіе отъ общественныхъ дѣлъ!..».

«Эксплоатація г. Никитинымъ чужихъ трудовъ, говоритъ г. Козловъ въ заключеніе, есть только малая бѣда; большая же заключается въ томъ, что среди русскихъ читателей несомнѣнно есть такіе несчастные, въ глазахъ которыхъ дѣльцы, подобные г. П. Никитину, играютъ роль авторитетовъ».

Замѣчанія г. Козлова исчерпываютъ окончательно еще ранѣе поднятый мною вопросъ о полной несостоятельности г. Никитина по предмету, о которомъ онъ взялся толковать такъ развязно. У него не оказалось возраженій противъ моихъ аргументовъ, и другой дѣлецъ, въ августовской книжкѣ «Дѣла», отрекается за него отъ отрицанія философіи. Дѣлецъ этотъ, самъ про себя утверждающій, что онъ «все тотъ же», старается убѣдить читателей, будто г. Никитинъ отрицалъ только ложную философію, а не философію вообще, будто онъ приписывалъ отвлеченіе отъ общественныхъ дѣлъ только ложной философіи и только ее считалъ по этой причинѣ вредною, такъ что и статья его, носящая заглавіе «О пользѣ философіи», должна бы собственно называться «О пользѣ вредной философіи». Такимъ образомъ, по отношенію къ сути вопроса, дѣльцы отретировались на попятный дворъ; но они мастера приплести всегда къ своей полемикѣ постороннее вранье, на которомъ и надѣются выѣхать или которымъ думаютъ по крайней мѣрѣ отвести глаза читателей.

Такъ, со мною они завели рѣчь о неудачахъ г. Никитина, а г. Козлову, вѣроятно, вмѣнятъ въ преступленіе обозваніе г. Никитина «дѣльцомъ». Какъ же не преступно, въ самомъ дѣлѣ, считать г. Никитина неудавшимся критикомъ, философомъ, эстетикомъ, и не знаю еще чѣмъ, или видѣть въ немъ ограниченнаго дѣльца! Для поддержки такого обвиненія можно вѣдь цитировать и такія слова, которыхъ противникъ никогда не произносилъ [1]). Велика бѣда, если честные люди назовутъ та-

[1]) Таковы слова: «не-литературная» дѣятельность г. Никитина, приписанныя мнѣ въ августовской книжкѣ «Дѣла» на стр. 43.

кой пріемъ подлогомъ, а обвиненіе клеветой! Вѣдь тѣ несчастные, для которыхъ дѣльцы, подобные г. Никитину, играютъ роль авторитетовъ, все же-таки повѣрятъ, а знаменитый литературный кружокъ одобритъ. Что же болѣе? Но въ виду такихъ полемическихъ красотъ остается только рукой махнуть, какъ бы тамъ пресловутые дѣльцы ни надсажывались.

1877.
«Недѣля».

ТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ВЪ ГЕРМАНІИ.

Очерки изъ путешествія за границу. *П. Милославскаго.* Казань. 1878 г.

Книгу г. *Милославскаго* можно раздѣлить на двѣ части: въ первой авторъ даетъ очеркъ современнаго состоянія философіи въ Германіи, во второй представляетъ объясненіе фактовъ, изложенныхъ въ очеркѣ, и высказываетъ свой взглядъ на задачи философіи, какъ науки. Такъ какъ г. Милославскій изучалъ свой предметъ не только по книгамъ, но и въ аудиторіяхъ университетовъ, и въ обществѣ, то наблюденія его, конечно, имѣютъ для насъ особый интересъ. Философская мысль въ Германіи, узнаемъ мы изъ этихъ наблюденій, переживаетъ теперь въ высшей степени знаменательный кризисъ: старые типы глубочайшей нѣмецкой метафизики приходятъ совсѣмъ въ упадокъ и встрѣчаютъ въ аудиторіяхъ и обществѣ одно только отвращеніе или презрѣніе. Въ общемъ ходѣ университетскаго преподаванія философскіе предметы только тогда находятъ слушателей, когда ихъ содержаніе не подводится подъ какое-нибудь апріорное, абсолютное начало всѣхъ началъ, иначе аудиторія пуста. Профессору метафизики не всегда удается видѣть на своей лекціи и трехъ слушателей. Но пока падаетъ метафизика, возрастаетъ новая философія, ищущая опоры въ положительной наукѣ, стремящаяся къ научной трезвости и достовѣрности, и вполнѣ достойная называться «научною». Философія эта, помимо основной задачи своей, ничего не имѣетъ общаго ни съ французскимъ, ни съ англійскимъ позитивизмомъ, къ которому нѣмцы расположены весьма мало. Нѣмецкая научная философія имѣетъ свои корни въ нѣмецкой же наукѣ и отчасти нѣмецкой философіи, такъ какъ она непосредственно примыкаетъ къ ново-кантіанству.

Нарожденіе новыхъ философскихъ направленій въ наукѣ представляетъ теперь—какъ говоритъ г. Милославскій—характеристическую черту. Развитіе этихъ направленій тѣмъ уже не похоже на развитіе старыхъ метафизическихъ доктринъ, что оно мало связывается съ именами и личностями. Происходитъ это, очевидно, оттого, что наука не есть исключительное произведеніе и достояніе какой-нибудь одной головы. «Какой-нибудь абсолютный философскій принципъ не могъ быть придуманъ или найденъ десятерыми въ разъ, а прежнія философскія системы сначала до конца создавалъ какой-нибудь одинъ умъ и становился центромъ, главою, учителемъ своего оригинальнаго философскаго ученія. Напротивъ, современныя научныя умозрѣнія вырабатываются и развиваются цѣлыми массами ученыхъ и не замыкаются въ школѣ какого-нибудь именитаго философа» (стр. 281). Въ противоположность апріорнымъ конструкціямъ прежнихъ философовъ-метафизиковъ, научно философскія умозрѣнія стремятся сдѣлать изъ философіи опытную науку и ужъ не пытаются болѣе выдумывать бытіе изъ собственной головы. Въ этомъ направленіи ведутъ философію ново-кантіанцы, затѣмъ Дюрингъ, Лотце, Вундтъ, Гёрингъ, Гэккель, Цельнеръ, Гельмгольцъ, Дюбуа-Реймонъ, Вирховъ и др. Самъ Гартманъ—какъ замѣчаетъ мимоходомъ г. Милославскій—плѣнилъ свою публику именно мнимымъ приложеніемъ къ своей философской спекуляціи «научнаго индуктивнаго» метода (стр. 284).

Вторая часть труда г. Милославскаго—объясненіе только что изложенныхъ въ самыхъ общихъ чертахъ фактовъ—отвѣчаетъ, по заявленію самого автора, основному замыслу его труда, и потому, несмотря на свой сравнительно слабѣйшій объективный интересъ, имѣетъ въ сочиненіи главное значеніе. «Объясненіе» это, къ сожалѣнію, лишено строгаго и точнаго соотвѣтствія фактамъ, приведеннымъ въ очеркѣ, а потому резюмировать его въ нѣсколькихъ строкахъ довольно трудно. Въ очеркѣ—поскольку его можно выдѣлить изъ объясненія, съ которымъ онъ мѣстами идетъ рядомъ—метафизика представлена уступающею мѣсто научной философіи, или, говоря иначе, возрожденная философія представлена торжествующею надъ метафизикою. Такимъ образомъ, противопоставленіе метафизики, клонящейся къ упадку, и философіи, завоевавшей себѣ будущее, обозначается весьма опредѣленно и ясно. Но уже въ главѣ III, предвосхищающей положенія, развитыя въ главѣ XII-й, встрѣчается смѣ-

шеніе не только обоихъ этихъ терминовъ «метафизика» и «философія», но, очевидно, и смѣшеніе понятій той и другой. И хотя въ главѣ XII-й, на стр. 242, авторъ говоритъ, что для философіи названія «метафизика», «философія» имѣютъ такое значеніе, какъ въ исторіи спеціальныхъ наукъ, напримѣръ, названія «алхимія», «химія», или «астрологія», «астрономія», но это не мѣшаетъ ему на стр. 250 поставить основной вопросъ своего объясненія въ слѣдущей формѣ: «если мы сравнимъ успѣхи ученыхъ и *философовъ* на пути познанія, то увидимъ поразительно странную разницу: философы, считая сущности вещей познаваемыми и энергически стремясь познать ихъ, до сихъ поръ не пришли ни къ какому положительному результату; а ученые, какъ будто не имѣя въ виду сущностей, изучая одни явленія и даже считая сущности непознаваемыми, проникли въ сущность вещей успѣшнѣе и дальше, чѣмъ философы. Если бы мы нашли объясненіе этой странной разницы, то тѣмъ самымъ очевидно объяснили бы, какимъ образомъ *философія* потеряла силу, оказалась безполезной, и за что ученые отнимаютъ у нея званіе науки и право на существованіе и развитіе». Такая постановка вопроса заставляетъ насъ имѣть дѣло уже не съ паденіемъ метафизики, а съ паденіемъ философіи, и торжествомъ не философіи, а отвергающей философію науки и, слѣдовательно, должна привести къ рѣшенію, которое едва ли возможно принять за объясненіе изложенныхъ выше фактовъ. Но допустимъ торжество метафизики и философіи съ одной стороны и науки и научной философіи—съ другой; мы узнаемъ, что паденіе философіи (или метафизики) произошло оттого, что она не умѣла держаться закона относительности и вѣчно стремилась къ абсолютному познанію, тогда какъ наука (или научная философія) строго охраняла этотъ законъ и признавала одно только относительное знаніе. При этомъ различіи, цѣли ихъ и методы никогда не имѣли и не могутъ имѣть—какъ утверждаетъ авторъ—различія и тѣмъ болѣе противоположности: цѣлью философіи и науки всегда было и есть познаніе сущности вещей, а методъ—если исключить низверженную Контомъ схоластическую метафизику—какъ прежде, такъ и теперь заключался и заключается въ комбинаціи опыта и умозрѣнія. Такимъ образомъ, философія (или метафизика) погибаетъ потому, что неспособна была отречься отъ стремленія къ абсолютному познанію сущности вещей, а наука (или научная философія) торжествуетъ, не за-

даваясь иною цѣлью, кромѣ именно относительнаго познанія этой сущности. Въ концѣ концовъ, наука, имѣя цѣли и методъ, общія съ метафизикою и философіею, послѣ очистительнаго принесенія въ жертву абсолютнаго познанія, является какъ бы возрожденною метафизикою, торжествующею подъ названіемъ «науки».

Всякій, знакомый съ современнымъ состояніемъ философіи, признаетъ, конечно, что совершающійся нынѣ въ Германіи переходъ отъ метафизики къ научной философіи изложенъ г. Милославскимъ обстоятельно и вѣрно. Нельзя не согласиться, что факты характеризованы имъ съ большимъ знаніемъ дѣла и что въ критикѣ отдѣльныхъ направленій метафизики онъ обнаружилъ проницательность и многосторонніе знанія. Къ сожалѣнію, онъ допустилъ нѣкоторую неполноту, которая не мало вредитъ достоинству очерка, а именно: онъ свелъ всѣ отдѣльныя направленія научной философіи къ «механическому монизму» и совершенно оставилъ безъ вниманія ново-критическое направленіе, теперь и носящее названіе именно *научной философіи*. Есть основаніе утверждать, что указываемый пробѣлъ не остался безъ воздѣйствія на «объясненіе», о которомъ мы только что говорили, и повелъ къ тому нѣсколько неожиданному результату, на который мы указали. Въ самомъ дѣлѣ, введи г. Милославскій въ сферу своего изслѣдованія ново-критическое направленіе или научную философію собственно — ему пришлось бы или отвергнуть его тезисы и такимъ образомъ придать своимъ бо́льшую силу доказательности, или принять ихъ вполнѣ, либо отчасти и вслѣдствіе того, совсѣмъ перестроить свою аргументацію. Едва ли возможно было бы ему удержать допускаемое имъ отождествленіе методовъ метафизическаго и научнаго и еще менѣе вѣроятно сохраненіе тождества цѣлей метафизики и цѣлей науки. Критическая философія, съ полною ясностью, могла бы показать ему пустоту *несвязанныхъ съ представленіями понятій*, составляющихъ исходный пунктъ изысканій метафизическаго метода, и такимъ образомъ раскрыла бы ему несостоятельность поисковъ за такими фикціями, каковы сущности вещей. Въ то же время, она показала бы ему то коренное различіе, которое лежитъ между такого рода «умозрѣніемъ» и «умозрѣніемъ» научнымъ, исходящимъ всегда отъ *представленій конкретно-индивидуальной дѣйствительности*, и не допускающимъ объектированія какихъ бы то ни было обоб-

щеній и отвлеченій. Онъ увидѣлъ бы, что научные законы и научныя гипотезы, при всемъ умозрительномъ характерѣ, имъ свойственномъ, ничего общаго не имѣютъ съ метафизическими идеями. Научные законы и гипотезы — какъ убѣдился бы г. Милославскій изъ сочиненій представителей научной философіи — принимаются только *какъ понятія* и никогда не соотвѣтствуютъ непосредственно (въ сознаніи критически мыслящихъ ученыхъ) реальнымъ объектамъ. Такимъ образомъ, здравая наука, какъ и основывающаяся на ней философія, не только не имѣютъ тождественныхъ съ метафизикою цѣли и метода, но не могутъ быть даже уличены въ обладаніи какими-либо точками взаимнаго соприкосновенія.

Стѣсненные рамками библіографической замѣтки, мы остановимся пока на этомъ. Въ концѣ-концовъ, трудъ г. Милославскаго, рядомъ съ прекрасными страницами, содержитъ и такія, на которыя было потрачено много таланта и много знанія, но которыя, однако же, совсѣмъ не удались, быть можетъ, потому, что къ числу дарованій автора надо причислить и слишкомъ хорошую память: многому онъ научился, но далеко не все, что слѣдовало бы, забылъ, а ложка дегтя, какъ всякому хорошо извѣстно, портитъ цѣлую бочку меда.

1879 г.
«Отеч. Зап.».

МЕТАФИЗИКА, ПОЗИТИВИЗМЪ И НАУЧНАЯ ФИЛОСОФІЯ.

П. Милославскій. Типы современной философской мысли въ Германіи Казань. 1878.

Общая совокупность отдѣльныхъ отраслей научнаго знанія въ то время, когда Ог. Контъ писалъ свой «Курсъ позитивной философіи», представляла картину весьма пеструю: однѣ науки находились уже въ фазисѣ зрѣлости, другія же не успѣли еще подняться такъ высоко и подчинялись вліянію метафизики, и отчасти даже мистики. Если астрономія давно уже перестала быть астрологіей, а химія—алхиміей, то въ наукѣ о человѣкѣ, такъ же какъ и въ наукѣ объ обществѣ, не было и слѣда того кризиса, который предполагается перемѣною названія двухъ упомянутыхъ наукъ. Задумавъ установить систему общей совокупности положительнаго знанія, Ог. Контъ не былъ остановленъ, однако же, при осуществленіи своей мысли, отсутствіемъ позитивности нѣкоторыхъ наукъ: онъ установилъ какъ принципъ,—а по мнѣнію его самого и его послѣдователей, и какъ фактъ,—приложимость къ наукѣ о человѣкѣ и къ наукѣ объ обществѣ общаго для всѣхъ положительныхъ наукъ метода и, полагая, въ силу этого установленія, всѣ отдѣльныя отрасли знанія, возведенныя къ позитивности, связалъ ихъ посредствомъ опредѣленнаго соподчиненія и получилъ *систему позитивныхъ наукъ*, имѣющую, съ точки зрѣнія его самого и его школы, значеніе системы положительной, т.-е. научной философіи.

Отдѣльныя части позитивной системы расположены у Ог. Конта такъ, что общность и отвлеченность ихъ понятій представляетъ рядъ ступеней, все выше и выше поднимающихся и завершающихся въ этомъ смыслѣ математикой, какъ наукой самыхъ общихъ и отвлеченныхъ понятій, точно такъ же, какъ

по отношенію возрастающей сложности, онѣ завершаются соціологіей. Вѣрно ли схвачено такимъ образомъ содержаніе философской системы? Исчерпывается ли объемъ съ науками, взятыми Ог. Контомъ? Вотъ вопросы, которые самимъ Контомъ подняты не были и никогда ни однимъ позитивистомъ не были подвергнуты критическому изслѣдованію. Важность этихъ вопросовъ, очевидная сама по себѣ, тѣмъ болѣе бросается въ глаза, что «Курсъ позитивной философіи» содержитъ во введеніи, или, по Конту—прелиминаріи, цѣлый рядъ понятій (о границахъ научнаго изслѣдованія, относительности знанія, вещи въ себѣ, причинности, законѣ, явленіи и т. д.), которыя не могутъ быть отнесены ни къ одному изъ отдѣловъ системы и остаются внѣ всякой классификаціи. Что дѣлать съ этими понятіями, не помѣщающимися въ системѣ и неопредѣленно мелькающими въ ея преддверіи—остается неразрѣшеннымъ и дѣлаетъ и вопросъ о внутреннемъ содержаніи системы открытымъ.

Неуклонная послѣдовательность должна была, конечно, побудить Ог. Конта возвести къ позитивности и ту науку, къ которой относились эти, по-неволѣ исключенныя изъ позитивной системы, понятія, точно такъ же, какъ онъ возвелъ къ позитивности соціологію; но тутъ онъ наткнулся на недоразумѣніе, которое запутало для него этотъ вопросъ и закрыло для его системы путь къ самопополненію и дальнѣйшему развитію. Недоразумѣніе это и происшедшая изъ него путаница возникли, съ одной стороны, изъ того, что Ог. Контъ не придалъ термину «философіи» достаточной опредѣленности, и, съ другой—изъ двойственнаго значенія, въ которомъ представляется для него другой терминъ—«метафизика». Для Ог. Конта терминъ «философія» означалъ понятіе міра (conception du monde); понятіе это, по его мнѣнію, образуется путемъ суммированія доставляемыхъ отдѣльными частями его системы понятій, а не вырабатывается изъ нихъ какъ ихъ общій результатъ. Ог. Конту и не видно было поэтому, что этотъ *общій результатъ* можетъ дать содержаніе *философіи въ тѣсномъ смыслѣ* или *собственно философіи*, которой онъ могъ, впрочемъ, пріискать болѣе удачное названіе, какъ пріискалъ его для науки объ обществѣ. Что же касается метафизики, то подъ нею онъ въ одно и то же время разумѣлъ: и общую совокупность воззрѣній (къ какой бы отдѣльной части системъ они не относились), вырабатываемыхъ *метафизическимъ* методомъ, и *всю совокупность собственно философ-*

скихъ вопросовъ, которые при немъ большею частью иначе не разрѣшались, какъ метафизически, а потому и казались вопросами *метафизическими по преимуществу*. Одно изъ этихъ значеній необходимо было отвергнуть, и именно—второе, такъ какъ вопросы въ системѣ Конта классифицировались не по характеру ихъ рѣшенія, а по своему содержанію. Освободясь отъ метафизической постановки и метафизическаго рѣшенія этихъ вопросовъ и оставшись лицомъ къ лицу съ ихъ содержаніемъ, приходилось найти и имъ мѣсто въ системѣ, какъ было оно найдено другимъ, и свести содержаніе *метафизики* на содержаніе *философіи*, оставивъ за метафизикой исключительно одно только *историческое* значеніе, какъ то было сдѣлано, напримѣръ, по отношенію къ алхиміи. Къ несчастью для позитивизма, Ог. Контъ поступилъ не такъ: онъ смѣшалъ *философію въ тѣсномъ смыслѣ съ метафизикой, какъ отдѣльной наукой*, и эту послѣднюю отвергъ за одно съ методомъ, отъ котораго она получила свое названіе. Воспослѣдовавшее при этомъ крушеніе собственно философскихъ вопросовъ, помѣченныхъ въ *прелиминаріи* «Курса», было не замѣчено, и «позитивная система» осталась безъ того *«результата всѣхъ результатовъ»*, которымъ завершилась бы ея *коренная противуположность* умозрительной философіи, т.-е. метафизикѣ, не перестающей мечтать объ овладѣніи *«началомъ всѣхъ началъ»*.

Отверженіе метафизики, т.-е. на самомъ дѣлѣ философіи, является у Ог. Конта,—какъ мы и знаемъ уже,—неполнымъ: принципіально отвергнутые вопросы остались,—во всей ихъ отрывочности и безпорядочности,—въ «прелиминаріи». Послѣдователямъ Ог. Конта предстояло распутать это недоразумѣніе, пересмотрѣть заброшенные вопросы, организовать ихъ въ отдѣльную науку, включить ее въ систему и дать такимъ образомъ этой послѣдней полноту и законченность. Задача эта была, однако же, совсѣмъ не понята послѣдователями Ог. Конта: они на-глухо замкнулись въ рамкахъ какъ бы энциклопедіи наукъ, совсѣмъ упустили изъ виду многозначущіе вопросы прелиминарія и, окончательно убивъ зачатки развитія системы, придали позитивизму духъ какого-то сектантства, все болѣе и болѣе отталкивающій отъ нихъ тѣхъ, которые желаютъ для научныхъ обобщеній побольше простора и побольше критики.

Указанный недостатокъ не былъ единственнымъ недостаткомъ позитивизма: не подымаясь до высшихъ, какія только

допускаетъ научный методъ, отвлеченій. позитивизмъ въ то же время замыкался, однако же, въ однихъ отвлеченіяхъ, исключительно оставаясь въ области *чистыхъ* наукъ, не переходя къ *прикладнымъ* и не имѣя поэтому никакой связи съ жизнью. Такая ограниченность позитивной системы не входила, правда, въ планы Ог. Конта: онъ ясно обозначилъ роль и значеніе *конкретныхъ* наукъ, опредѣленно указалъ отношеніе ихъ къ *абстрактнымъ*, какъ къ основѣ системы, и отчетливо высказалъ смыслъ преобладающаго въ системѣ вліянія соціологіи [1]). Если затѣмъ Ог. Контъ и не выработалъ системы конкретныхъ наукъ, то это произошло только оттого, что онъ подъ старость уклонился отъ научнаго метода и послѣ «Курса позитивной философіи» сталъ творить мистическія теоріи.—Ученикамъ его, отвергшимъ эти теоріи, и предстояло восполнить незаконченность системы и создать ея приложимость; но они не только не сдѣлали этого, но еще пытались, вопреки духу и даже буквальному смыслу словъ учителя, подогнать конкретныя науки подъ «объективную» точку зрѣнія наукъ абстрактныхъ и окончательно лишили позитивизмъ всякаго жизненнаго значенія. Теперь критика обнаружила уже всю пагубу этого недостатка и, кромѣ приверженцевъ школы, всѣмъ стало ясно, что и въ области практики, такъ же какъ и въ области теоріи, на позитивизмъ нѣтъ и не можетъ быть того спроса, на который разсчитывали продолжатели или, точнѣе, извратители контовскаго ученія. Много лѣтъ вели уже они дѣятельную пропаганду, посредствомъ журнала, издающагося на языкѣ, столь общеизвѣстномъ, какъ французскій, и нигдѣ внѣ Франціи не могли образовать и малой даже группы послѣдователей. Немногія отдѣльныя лица, «принявшія позитивизмъ», виднѣются изрѣдка тамъ и сямъ, скорѣе для того, чтобы еще рѣзче обозначить неудачу позитивизма, нежели затѣмъ, чтобы свидѣтельствовать о его успѣхѣ.

И теоретически, и практически недоразвитый, неполный, незаконченный позитивизмъ считается теперь системою *научной философіи* только въ тѣсныхъ предѣлахъ позитивной секты; на самомъ дѣлѣ, онъ роковымъ образомъ самъ себя обрекъ на роль провозвѣстника и предшественника этой философіи, роль въ настоящее время сыгранную. Позитивисты-сектанты, слѣпые по отношенію ко всему, что совершается внѣ ихъ прихода, не по-

[1]) *A. Comte*. Cours de philos. pos. t. VI. Leçon LVIII.

нимаютъ, конечно, неизбѣжности движенія впередъ, за предѣлы позитивной доктрины, и всегда готовы провозгласить отступникомъ того, кто, цѣня въ позитивизмѣ его научно-философскія стремленія, не перестаетъ искать полнѣйшаго ихъ осуществленія; но всякій, смотрящій далѣе тѣсно-позитивистскаго кругозора, знаетъ, что косность, гармонировавшая съ непогрѣшимостью мистическихъ ученій, отжила свой вѣкъ и къ пути свободнаго изслѣдованія и критики не приложима.

И дѣйствительно, европейская мысль работала, пока дремали позитивисты. Въ Германіи въ послѣдніе годы обозначилось совершенно самобытно научно-философское движеніе вполнѣ «положительнаго», хотя и не «позитивнаго» характера; оно шло своимъ особымъ путемъ и подготовилось знаменитымъ «поворотомъ къ Канту». Критическій элементъ поэтому имѣетъ въ новой научной философіи большое значеніе: философія эта совершенно чужда догматизма Ог. Конта и потому не подвержена опасности остановки на полупути, какъ то случилось съ позитивизмомъ. Но если у нея нѣтъ съ позитивною философіею связи генетической, то нельзя, конечно, отрицать принадлежности ея къ тому же философскому типу, что и позитивизмъ, т.-е. утверждать существованіе связи идеографической, идея которой была недавно такъ удачно выяснена Фр. Паульсономъ въ «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie».

Новое направленіе нѣмецкой философіи, которую такъ долго считали совсѣмъ утонувшей въ пучинахъ туманнаго умозрѣнія, не могло не обратить на себя всеобщаго вниманія. Въ послѣднее время повсемѣстно замѣчается стремленіе уяснить германское философское движеніе; въ англійскомъ «Mind», во французскомъ «Revue philosophique», въ итальянскомъ «Filosofia belle scuole italiane» можно встрѣтить статьи о немъ, а въ Испаніи, гдѣ изъ всѣхъ нѣмецкихъ философовъ до сихъ поръ чуть не исключительно занимались Краузе, появилась цѣлая монографія о современномъ умственномъ движеніи въ Германіи, съ прекраснымъ очеркомъ ново-критическаго движенія и отчетомъ о воззрѣніяхъ одного изъ представителей научной философіи, Вундта, на предметъ философіи [1]). Въ виду такого всеобщаго вниманія къ современной нѣмецкой философіи, книга г. Милославскаго: «Типы

[1]) *D. José del Perojo.* Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania.

современной философской мысли въ Германіи», появилась какъ нельзя болѣе кстати. Благодаря ей, и русскій читатель имѣетъ возможность теперь узнать о существованіи того новаго направленія, которое несомнѣнно представляетъ въ настоящее время самое выдающееся явленіе въ области философіи.

Г. Милославскій имѣлъ возможность ознакомиться съ современнымъ философскимъ движеніемъ въ Германіи не только посредствомъ изученія литературы, въ которой оно выразилось, но и непосредственно—въ аудиторіяхъ нѣмецкихъ университетовъ и въ обществѣ. Результаты, добытые имъ этими двумя путями, онъ и изложилъ въ своей книгѣ. Изъ нея мы узнаемъ, что философія въ Германіи переживаетъ теперь переходъ отъ метафизики къ научной философіи, совершая переходъ этотъ самобытно, вполнѣ независимо отъ вліянія позитивизма. Очерчивая этотъ переходъ, авторъ опредѣляетъ роль, занимаемую въ немъ новокантіанствомъ, и разсматриваетъ критически философскія воззрѣнія талантливѣйшаго изъ ново-кантіанцевъ—Ф. А. Ланге. Кромѣ того, г. Милославскій даетъ критическую оцѣнку описываемаго имъ философскаго движенія и, съ своей точки зрѣнія, характеризуетъ отношеніе между метафизикою и научною философіею. Наконецъ, мы находимъ у него обстоятельный разборъ главнѣйшихъ современныхъ метафизическихъ системъ.

Имѣя въ виду ознакомить читателя съ важнѣйшими вопросами, затронутыми г. Милославскимъ, я начну съ столь интересной и во многихъ отношеніяхъ для насъ назидательной картины перехода отъ метафизики къ научной философіи и постараюсь передать ее хоть въ самомъ общемъ и сжатомъ очеркѣ.

Здѣсь на первомъ планѣ представляется полное паденіе нѣкогда столь славной и вліятельной метафизики. «Хоть и до сихъ поръ,—говоритъ г. Милославскій:—нигдѣ, ни въ какой странѣ, философскіе интересы не имѣютъ такой живости и силы, какъ въ Германіи, нигдѣ не появляется такъ много философскихъ произведеній, нигдѣ такъ часто не употребляются слова «философія», «метафизика» и вообще философскіе термины, отъ прежней національной нѣмецкой философіи и такъ называемой метафизики остается теперь одно имя, и съ этой стороны прежняя философская репутація нѣмцевъ стала довольно двусмысленной и сомнительной. Авторитетъ старыхъ философовъ и метафизиковъ упалъ и въ университетахъ, и въ образованномъ обществѣ. Всюду сказывается явное предпочтеніе положитель-

нымъ знаніямъ, и общечеловѣческія научныя стремленія нашего времени вполнѣ парализуютъ національное стремленіе нѣмецкихъ философовъ постигнуть «вещь въ себѣ» (стр. 39). До чего упала метафизика въ университетахъ, видно, между прочимъ, и изъ того, что число слушателей у профессоровъ, читающихъ «метафизику», очень часто ограничивается всего *тремя*. «И не только профессоры метафизики, а и по другимъ философскимъ предметамъ метафизическаго характера жалуются на крайнее запустѣніе своихъ аудиторій, причемъ не скрываютъ своей искренней радости при видѣ всякаго новаго слушателя. Теперь въ общемъ ходѣ университетскаго преподаванія философскіе предметы только тогда находятъ слушателей, когда ихъ содержаніе не подводится подъ какое-нибудь апріорное, абсолютное начало всѣхъ началъ, иначе аудиторія пуста, каѳедра существуетъ болѣе оффиціально. Но такъ называемая метафизика не только остается безъ слушателей и продолжаетъ существованіе, какъ наслѣдіе временъ давно минувшихъ, а еще возбуждаетъ общее презрѣніе и насмѣшки и компрометируетъ ученую репутацію своихъ немногихъ адептовъ» (стр. 7). Что же касается современнаго нѣмецкаго образованнаго общества, то въ немъ «пало стремленіе и довѣріе къ философскимъ абсолютамъ» (стр. 117) и вообще замѣчается, по отношенію къ метафизикѣ, презрѣніе и отвращеніе (стр. 21).

Въ связи съ паденіемъ метафизики идетъ, по указанію г. Милославскаго, «поворотъ къ Канту».—«Въ самое послѣднее время,—говоритъ онъ:—представители идеалистическихъ и реалистическихъ оттѣнковъ, подъ вліяніемъ успѣховъ естествознанія, точно сговорившись, единодушно стали обращаться за разъясненіемъ безконечной путаницы своихъ идей къ наукѣ и къ первоисточнику нѣмецкой философіи—къ Канту. Именно только въ этомъ направленіи видно движеніе нѣмецкой философской мысли въ настоящее время, формируются новые философскіе типы. Что касается старой «глубочайшей» нѣмецкой метафизики, то она, по мѣткому выраженію Дюринга, «ушла сама въ себя, задремала и отстала отъ общечеловѣческаго движенія» (стр. 39). Кантъ «составляетъ общій исходный пунктъ нѣмецкаго идеализма и реализма» (стр. 116, 40 и 82). Съ нимъ же связывается и столь громкій въ современной Германіи пессимизмъ (стр. 143).

При такомъ широкомъ и глубокомъ значеніи поворота или

возвращенія къ Канту, явленіе это становится связующимъ звеномъ между отжившею старою метафизикою и новымъ направленіемъ философіи: «наиболѣе типическій, выразительный и даровитый представитель» возврата въ Канту—Ф. А. Ланге, характеризуется г. Милославскимъ, какъ піонеръ новой *научной* философіи» (стр. 40 и 50). Кромѣ того, «всѣ симпатіи мыслящихъ людей привлекаетъ на себя Кантъ именно за то, что онъ потрясъ метафизику въ самыхъ ея основаніяхъ» (стр. 205). Есть, наконецъ, въ Германіи цѣлая школа, которая считаетъ Канта своимъ національнымъ «позитивистомъ» (стр. 82).

Прямые результаты поворота къ Канту не дали, однако, научной философіи, а все-же-таки одну только метафизику. «Великое многовѣтвистое дерево національной нѣмецкой философіи, выросшее и раскинувшееся во всѣ стороны изъ критики Канта, оказалось безплоднымъ, засыхаетъ и подрубается современной наукой и общественнымъ мнѣніемъ. Вмѣсто національной нѣмецкой философіи на почвѣ науки, составляющей достояніе всего человѣчества, начинаетъ расти и развиваться общечеловѣческая философская мысль, рядомъ со старой новая, научная философія является, по выраженію Гармса, какъ другая, посторонняя сила (als eine zweite Macht)» (стр. 205). «Развитіе естественно-научныхъ философскихъ идей,—говоритъ г. Милославскій въ другомъ мѣстѣ:—мало связывается съ именами и личностями. Это и понятно, потому что самая наука не есть исключительное произведеніе и достояніе какой-нибудь одной головы, и не одинъ открываетъ законы природы и строитъ научныя обобщенія. Какой-нибудь абсолютный философскій принципъ не могъ быть придуманъ или найденъ десятерыми за-разъ, и прежнія философскія системы сначала до конца создавалъ какой-нибудь одинъ умъ и становился центромъ, главою, учителемъ своего оригинальнаго философскаго ученія. Напротивъ, современныя научныя умозрѣнія вырабатываются и развиваются цѣлыми массами ученыхъ и не замыкаются въ школѣ какого-нибудь именитаго философа. Самая монополія нѣмецкихъ умовъ на философію, какъ было уже сказано, отходитъ отъ нѣмцевъ, и философія снова становится природнымъ общечеловѣческимъ достояніемъ. Тѣмъ не менѣе, въ Германіи развитіе новой научной философіи находится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ въ какой-нибудь другой странѣ. При многочисленныхъ университетахъ и широкомъ распространеніи университетскаго

образованія, при обширной философской литературѣ, подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ философскихъ традицій недалекаго прошлаго, нѣмцы воспитываются на философскихъ элементахъ и сохраняютъ свой національный философскій характеръ. Узкій теоретическій позитивизмъ французовъ и практическій позитивизмъ англичанъ не стѣсняютъ свободы ихъ философскихъ стремленій и философской мысли. Къ тому же нѣмцы не знаютъ, или плохо знаютъ Конта и англійскихъ позитивистовъ, и во всякомъ случаѣ не придаютъ позитивизму особеннаго значенія. Ни на развитіе науки, ни на развитіе философіи въ Германіи французско-англійскій позитивизмъ, который такъ плѣняетъ русскіе умы, не оказываетъ сколько-нибудь замѣтнаго и опредѣленнаго вліянія. Видный представитель философіи въ Германіи, Дюрингъ, строитъ свою философію на положительныхъ наукахъ и очень близко сходится съ позитивизмомъ, но и онъ относится къ Конту совершенно независимо, а къ Миллю, и особенно Спенсеру даже презрительно (Ср. напр., «Kritische Geschichte der Philosophie». S. 500—510, 527—537). Позитивизмъ въ наукѣ и философіи онъ считаетъ преступленіемъ противъ науки. У нѣмцевъ свой позитивизмъ—тотъ позитивизмъ, который ведетъ свое начало отъ Бэкона и Локка и теперь становится нейтральной общей атмосферой научнаго развитія. Не будучи связанъ съ именемъ Конта или какимъ-нибудь другимъ авторитетомъ, такой позитивизмъ не отлагается въ какой-нибудь формальной системѣ и не мѣшаетъ прогрессивному движенію философской мысли. Нѣмцы очень хорошо видятъ, что, благодаря широкому и всестороннему развитію науки, все современное человѣчество переживаетъ великую умственную перемѣну, которая охватываетъ всѣ основы и всѣ стороны человѣческой мысли и жизни. Но какъ народъ мыслящій, они хорошо понимаютъ, что въ этой перемѣнѣ позитивизму почти нечего дѣлать, а потому еще не успѣла совершенно развалиться старая школьная философія, они при своемъ трудолюбіи, о какомъ русскій человѣкъ побоится и подумать, уже строятъ новую, научную. Надъ философами подъ-часъ смѣются, въ ихъ «вещи въ себѣ» не вѣрятъ, но тѣмъ не ограничиваются, а продолжаютъ серьезное историческое дѣло развитія философіи. «Въ противоположность апріорнымъ конструкціямъ большей части философовъ со временъ Фихте,—говорилъ въ Берлинѣ маститый знатокъ и одинъ изъ лучшихъ представителей нѣмецкой философіи,

Э. Целлеръ, ученикъ самого Гегеля,—въ послѣднія десятилѣтія со всѣхъ сторонъ обнаружилось стремленіе сдѣлать философію опытной наукой. И кто можетъ отрицать раціональность и плодотворность такого переворота и его соотвѣтствіе съ духомъ и стремленіями нашего времени? Если философъ хочетъ знать дѣйствительное бытіе, то онъ долженъ познавать это дѣйствительное бытіе какъ оно есть, а не выдумывать его изъ своей собственной головы. Нужно воротиться къ опыту». Въ этомъ направленіи ведутъ философію ново-кантіанцы и самый даровитый изъ нихъ, къ сожалѣнію, рано умершій, А. Ланге, затѣмъ Дюрингъ, Лотце, Вундтъ, Гёрингъ, Гэккель, Цёльнеръ, Гельмгольцъ, Дюбуа-Реймонъ, Вирховъ и др. Самъ Гартманъ плѣнилъ свою публику именно мнимымъ приложеніемъ къ своей философской спекуляціи «научнаго индуктивнаго метода» (стр. 281 и слѣд.). Изъ всего этого видно, что «философія, въ смыслѣ какой-нибудь исключительной системы, отожествленной съ метафизикой, находится въ упадкѣ и, по распространенному мнѣнію, вся безъ остатка сдается въ архивъ прошедшаго, а на дѣлѣ, которое отъ мнѣнія и воли людей зависитъ мало, во всѣхъ просвѣщенныхъ странахъ и особенно въ Германіи выражается настойчивая потребность въ философіи» (стр. 280).

«Проявленія новой научно-философской мысли,—говоритъ далѣе г. Милославскій:—еще слишкомъ новы, неопредѣленны и подвижны, такъ что едва ли можно поставить ихъ въ общую связь. Каждый, особенно крупный, ученый философствуетъ такъ, что въ одномъ пунктѣ онъ сходится съ однимъ, въ другомъ съ другимъ, въ третьемъ разсуждаетъ по своему. Однако, нельзя не замѣтить, что всѣ частныя теченія современной научно-философской мысли направляются въ общее русло. Это русло можетъ быть названо механическимъ монизмомъ» (стр. 285).

Ознакомясь съ очеркомъ г. Милославскаго, мы не можемъ не признать его вѣрнымъ и прекрасно изложеннымъ, но намъ придется не умолчать тоже о весьма важномъ недостаткѣ его—неполнотѣ. Въ числѣ философскихъ направленій, разсматриваемыхъ авторомъ, мы напрасно будемъ искать ново-критическаго направленія или *научной философіи* въ тѣсномъ смыслѣ. Философское направленіе это не сливается съ механическимъ монизмомъ и потому и не поддается обобщенію г. Милославскаго, а между тѣмъ оно лучше, чѣмъ всякое другое, можетъ дать понятіе о связи научной философіи съ критицизмомъ Канта и

представить рѣшеніе многихъ изъ тѣхъ вопросовъ, на неудовлетворительность разработки которыхъ не разъ указываетъ г. Милославскій.

Труды представителей ново-критической или собственно научной философіи (wissenschaftliche Philosophie) образуютъ въ настоящее время пока еще не обширную, но весьма самобытную и почтенную литературу. Основной характеръ ея—критическій, но, надо замѣтить, критичность эта нисколько не входитъ въ область историческаго критицизма или кантіанизма, а принимается въ общемъ научномъ значеніи этого термина. Философіи Канта, какъ извѣстно, приданъ былъ основателемъ ея критическій характеръ въ силу того, что на мѣсто старой, разрушенной имъ догматической метафизики онъ поставилъ новую, трансцендентальную съ ея формально-апріорными понятіями. Новый критицизмъ, не слѣдуя въ этомъ отношеніи по стопамъ Канта, отвергаетъ апріорныя понятія, какъ основу новой метафизики, возникшей изъ пепла старой, и стремится разрѣшить задачу философской критики въ твердомъ установленіи различія сознательнаго, научнаго мышленія, методически дорабатывающагося до знанія, отъ мышленія безсознательнаго, наивнаго, не критическаго, большею частью не достигающаго этой цѣли или достигающаго ея случайно, отрывисто и разрозненно. Такой критицизмъ,—по словамъ одного изъ новѣйшихъ историковъ его развитія:—есть разрушеніе сверхъопытнаго (трансцендентнаго) и основа положительной философіи. Хотя самъ по себѣ онъ и лишенъ творчества, но онъ освобождаетъ творческія силы, пробуждаетъ разумъ отъ метафизическихъ грезъ для дѣятельности при свѣтѣ дня, въ средѣ живой дѣйствительности. Онъ указываетъ философіи путь прогрессирующей науки. Слѣдуя по этому пути, онъ довершаетъ свое дѣло освобожденіемъ мысли и отъ всего трансцендентальнаго и въ результатѣ даетъ теорію *чистаго опыта*, т.-е. такого опыта, который является *чистымъ* не только отъ антропоморфизма, обусловленнаго чувствами, но и отъ антропоморфизма, обусловленнаго мышленіемъ, т.-е. отъ апріорныхъ формъ кантовскаго критицизма, словомъ—отъ всякой лишенной содержанія кажимости.

Если краеугольнымъ основоначаломъ механическаго монизма слѣдуетъ считать, съ одной стороны, ученіе Дарвина и его послѣдователей о происхожденіи развитія растительныхъ

и животныхъ видовъ, а съ другой распространеніе закона сохраненія вещества и его энергіи на физіологію и психо-физіологическія изслѣдованія (г. Милославскій, стр. 285), то изъ приведенной мною бѣглой характеристики основоначалъ критицизма новой научной философіи видно, что философія эта выставляетъ цѣлый рядъ вопросовъ, необходимо предшествующихъ первому прикосновенію къ теоріи развитія, тезису единства силъ или иному такому положенію. Изъ этого видно, до какой степени важно было бы для г. Милославскаго пополнить его очеркъ типовъ современной философіи мысли въ Германіи этимъ *ново-критическимъ научно-философскимъ типомъ* и подвергнуть его критической оцѣнкѣ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что пополненіе пробѣла этого не осталось бы безъ воздѣйствія на самый трудъ г. Милославскаго, и тогда, быть можетъ, и не явилось бы повода къ тѣмъ вопросамъ, которые возникаютъ теперь при чтеніи его книги.

Выдѣливъ изъ сочиненія г. Милославскаго все то, что посвящено описанію фактовъ, характеризующихъ современное состояніе философіи въ Германіи, не останавливаясь надъ критикою современныхъ метафизическихъ системъ, неизбѣжно падающихъ вмѣстѣ съ паденіемъ метафизики вообще, мы подходимъ къ той части труда почтеннаго автора, въ которой онъ даетъ намъ «объясненіе» фактовъ, представленныхъ въ его очеркѣ. Отъ объясненія этого мы, само собою разумѣется, ждемъ отвѣта на вопросы: почему погибла метафизика? въ чемъ ея коренная ошибка? почему восторжествовала вступившая въ союзъ съ наукой философія? въ чемъ ея достоинство? И такъ какъ «объясненіе» отвѣчаетъ «основному замыслу» книги г. Милославскаго, то мы и должны отнестись къ нему съ особеннымъ вниманіемъ.

Начнемъ съ постановки вопроса.

«Если мы сравнимъ успѣхи ученыхъ и *философовъ* на пути познанія,—говоритъ г. Милославскій:—мы увидимъ поразительно странную разницу: *философы*, считая сущности вещей познаваемыми и энергически стремясь познать ихъ, до сихъ поръ не пришли ни къ какому положительному результату; а ученые, какъ будто не имѣя въ виду сущностей, изучая одни явленія и даже считая сущности непознаваемыми, проникли въ сущность вещей успѣшнѣе и дальше, чѣмъ философы. Если бы мы нашли объясненіе этой странной разницы, мы тѣмъ самымъ очевидно объяснили бы, какимъ образомъ *философія* поте-

ряла силу, оказалась безполезной, и за что̀ ученые отнимаютъ у нея званіе науки и право на существованіе и развитіе» (стр. 250).

Постановка вопроса, какъ ее формулировалъ г. Милославскій, не можетъ не служить поводомъ къ нѣкоторому недоумѣнію. Я не говорю пока о «сущности вещей», появленіе которой, конечно, представляетъ для читателя большую неожиданность,— о сущности вещей рѣчь будетъ впереди,—теперь мы остановимся только на появленіи «философіи» какъ разъ тамъ, гдѣ мы могли ожидать «метафизику», зная отъ самого г. Милославскаго, что не философія, а метафизика находится теперь въ Германіи въ пренебреженіи и упадкѣ, что не философія, а именно метафизика потеряла силу и оказалась безполезною, что не философія, а опять-таки метафизика утратила въ глазахъ ученыхъ значеніе науки и право на существованіе и развитіе; философія же, развиваемая такими учеными, какъ Гельмгольцъ, Вирховъ, Гэккель, Дюбуа-Реймонъ, Дюрингъ, Ланге, живетъ и пользуется почетомъ лучшей части общества...

Такая постановка придана вопросу г. Милославскимъ потому, что, съ его точки зрѣнія, философія и метафизика принципіально тождественны (стр. 21). Едва ли, однако, соображеніе это давало г. Милославскому право на безразличное употребленіе терминовъ, которые во всѣхъ частяхъ сочиненія, относящихся къ изложенію фактовъ, выставлены соотвѣтствующими различнымъ и даже противоположнымъ понятіямъ. Притомъ же самъ г. Милославскій утверждаетъ даже и по отношенію къ терминамъ въ тѣсномъ смыслѣ, что для философіи названія «метафизики», «философіи» имѣютъ такое же значеніе, какъ въ исторіи спеціальныхъ наукъ, напримѣръ, названія «алхимія», «химія» или «астрологія», «астрономія (стр. 242). Нельзя не пожалѣть поэтому, что не только въ формулированіи вопроса, но и въ самомъ его изслѣдованіи, термины перемѣшаны весьма произвольно. Изложеніе потеряло чрезъ это значительную часть своей опредѣленности, а мѣстами производитъ какое-то странное впечатлѣніе, напр., на стр. 20, 21 и другихъ.

Неопредѣленность изложенія не ограничивается, впрочемъ, у г. Милославскаго произвольностью употребленія терминовъ, но идетъ нѣсколько далѣе. Мы только что упомянули объ отождествленіи имъ понятій метафизики и философіи, но нельзя пройти молчаніемъ того, что отождествленіе это не всегда выдержано и не доведено до конца. Въ самомъ дѣлѣ, схоластиче-

ская метафизика, несмотря на тождество своихъ цѣлей съ цѣлями всякой метафизики, оказывается, однако жъ, выдѣленною, въ силу ложнаго ея метода, допускающаго смѣшеніе понятій съ вещами, а новая метафизика, гармонирующая съ «истинной метафизикой» г. Милославскаго, не только по отношенію къ цѣлямъ, но и методу, опять-таки не попадаетъ въ идеальное тождество, потому что не слѣдуетъ закону относительности. Остается неизвѣстнымъ, въ концѣ-концовъ, опредѣляется ли метафизика характеромъ ея вопросовъ, методомъ, или только постановкою вопросовъ. Вслѣдствіе этой неясности, паденіе и торжество метафизики являются недостаточно разграниченными. При самомъ внимательномъ чтеніи даже является впечатлѣніе, какъ будто то, что только-что торжествовало, вдругъ, черезъ страницу, представляется уже низвергающимся и такимъ образомъ получается какая-то смутность конечнаго результата.

Посмотримъ теперь, какъ все это излагается самимъ г. Милославскимъ.

«Представители современной мысли,—говоритъ онъ:—выражая явное и ожесточенное презрѣніе къ метафизикѣ въ смыслѣ схоластической науки, совершенно ошибочно переносятъ это презрѣніе и на философское (?) умозрѣніе вообще. Между тѣмъ какъ сами же и въ то же самое время, положительно или отрицательно, но въ большинствѣ случаевъ, путемъ умовоззрѣнія, рѣшаютъ *тѣ же самые вопросы*, которые обыкновенно и съ незапамятныхъ временъ характеризуютъ схоластическую метафизику и даже *прямо въ томъ же самомъ видѣ* входятъ въ ея содержаніе. Вѣроятно, всякому изъ научно-образованныхъ людей извѣстно, что умозрѣніе, въ самомъ дѣлѣ, составляетъ духъ и идеалъ всякой эмпирической науки и что «въ наукѣ бываютъ абстракціи, ничѣмъ неуступающія любой метафизической химерѣ» (Льюисъ). Трудно понять, отчего на этотъ простой фактъ большинство ученыхъ и умныхъ людей закрываютъ глаза и отчего философствуя сами, они *безусловно возстаютъ противъ философіи другихъ* (?); не замѣчаютъ, что все ожесточеніе, какое *поклонники естествознанія и позитивизма наперерывъ показываютъ противъ философіи* (?), и упреки, какими они осыпаютъ *метафизику* [1]), въ существѣ дѣла падаютъ уже на историческое

[1]) Сопоставленіе въ настоящемъ случаѣ метафизики и философіи крайне затрудняетъ уясненіе значенія, которое термины эти имѣютъ для г. Милославскаго.

прошлое, на тѣни предковъ, а для настоящаго времени весь смыслъ борьбы позитивной философіи съ метафизикой, всѣ усилія сжить ее съ лица земли ограничиваются одними словами...» «Теперь метафизика Аристотеля, и тѣмъ болѣе Вольфа, почти забыта, но вся *философія* безразлично обобщается, отрицается и осмѣивается подъ ея именемъ» (стр. 20—21). «Основаніе для обобщенія матафизики и философіи,—говоритъ далѣе г. Милославскій:—конечно, есть, потому что какъ бы новыя философскія системы ни отличались отъ старой метафизики и другъ отъ друга, не только по своему содержанію и результатамъ, а даже и по методамъ, всѣ онѣ преслѣдуютъ однѣ и тѣ же задачи, ставятъ одни и тѣ же вопросы, какъ и Аристотель, и схоластики, и всѣ философы до нихъ и послѣ нихъ, т.-е. относительно первыхъ началъ знанія и бытія, сущностей всѣхъ вещей, конечныхъ причинъ и цѣлей, или, говоря примѣнительно къ старому порядку, рѣшаютъ проблемы онтологіи, космологіи, пневматологіи и теологіи. Однако, къ рѣшенію этихъ же проблемъ, прямо или косвенно, стремится и такъ называемая положительная философія и все естествознаніе, только съ тою разницею отъ прежней метафизики, что теперь мыслители уже не смѣшиваютъ, хотя и не всегда, понятій съ дѣйствительными вещами, потому что не дѣлаютъ отвлеченій, независимыхъ отъ вещей, отъ опыта и наблюденія,—короче сказать, практикуютъ метафизику въ духѣ самого Аристотеля. Вдобавокъ, не употребляются старые философскіе термины, изгнанъ туманный языкъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда современные ученые въ своихъ теоріяхъ и гипотезахъ посягаютъ открыть, послѣ физическихъ изслѣдованій, простѣйшіе и наиболѣе общіе законы природы, или, говоря по-старому, начало всего сущаго, они воспроизводятъ не что иное, какъ метафизическую онтологію; попытки геологовъ и біологовъ объяснить начала міра и жизни очевиднѣйшимъ образомъ воскрешаютъ метафизическую космологію; гипотезы, касающіяся первыхъ зародышей и элементовъ умственной жизни и развитія человѣчества, явнымъ образомъ становятся на мѣсто метафизической психологіи. Послѣдняя часть старой метафизики — умозрительная теологія, уже не находитъ прямого соотвѣтствія въ современныхъ умозрѣніяхъ, хотя постоянно и очевидно сказывается безуспѣшное стремленіе замѣнить ее догматами то матеріализма, то динамизма, то пантеизма, то панпсихизма (Тиндаль, Дарвинъ, Гэккель, Цѣлльнеръ)».

«Какъ всегда, такъ и теперь,—повторяетъ еще разъ г. Милославскій:—всѣ философы стараются отыскать корни бытія, основные законы природы, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, объяснить происхожденіе міра и человѣка и взаимную связь вещей и явленій» (стр. 24). Задачу эту рѣшали философы безуспѣшно, теперь за нее взялись ученые съ гораздо большимъ успѣхомъ, но не надо забывать при этомъ, что тѣ и другіе, рѣшая задачу эту, становятся метафизиками. «Метафизической философіи въ ея истинномъ смыслѣ,—замѣчаетъ при этомъ г. Милославскій:—наравнѣ съ научными изслѣдованіями и обобщеніями, требуетъ самый складъ и порядокъ изучаемой природы и изучающаго человѣка» (стр. 25).

«Въ историческихъ условіяхъ человѣческаго развитія,—поясняетъ затѣмъ авторъ:—наука и философія сначала, въ древнѣйшія времена, составляли одно знаніе, и потомъ люди стали воображать, будто истиннаго познанія можно достигнуть *только* путемъ чистой мысли, или *только* путемъ опыта и наблюденія. Первый путь, путь чистой мысли, сдѣлался далѣе господствующимъ въ философіи, второй—въ наукѣ. Наука и философія разошлись по различнымъ путямъ; и въ исторіи развитія, вообще, и каждой науки, въ частности, стало обнаруживаться «великое» различіе между «метафизическимъ» и положительнымъ методомъ и состояніемъ знанія. Коренная ошибка метафизиковъ, очевидно, не въ томъ, что они даютъ просторъ умозрѣнію, что ихъ методъ существенно различенъ отъ научнаго и даже противуположенъ ему. Никакого существеннаго различія, а тѣмъ болѣе радикальной противоположности нѣтъ. Ученые, столько же, сколько и философы, не могутъ обходиться безъ самыхъ высокихъ отвлеченій, не только далекихъ отъ опытныхъ данныхъ, а даже вымышленныхъ, фиктивныхъ. Въ научномъ методѣ индуктивное опытное изслѣдованіе неразрывно, органически соединяется съ изслѣдованіемъ дедуктивнымъ, умозрительнымъ, теоретическимъ, а затѣмъ результаты индуктивно-дедуктивнаго изслѣдованія неизбѣжно органически развиваются въ научныя гипотезы, нерѣдко недоступныя для опытной повѣрки. И едвали кто, разсудивъ, какъ слѣдуетъ, рѣшится запираться въ томъ, что научныя теоріи и гипотезы, несмотря на все различіе между научнымъ и «метафизическимъ» методомъ, имѣютъ чисто метафизическій характеръ, значеніе, а нерѣдко и участь. Какъ извѣстно и какъ истинно философски показываетъ Контъ, «ме-

тафизическій фазисъ» развитія обнимаетъ не одну философію; въ томъ же фазисѣ были прежде, отчасти остаются и теперь, и положительныя науки. Неправильнымъ, не научнымъ, «метафизическимъ» методомъ дружно пользовались въ былыя времена и философы, и ученые, и еще не такъ легко рѣшить, по одному влеченію сердца, кто кого вводилъ въ заблужденіе: «метафизики» ученыхъ, или ученые «метафизиковъ». Вѣрнѣе рѣшить, что вина была общая» (стр. 224).

«Положительная философія, — говоритъ еще г. Милославскій:—весьма ошибается, отрицая возможность изслѣдованія причинъ и сущностей». Въ этомъ изслѣдованіи почтенный авторъ и видитъ именно самую сжатую фигуру конечной цѣли познанія. Этой конечной цѣли, слѣдовательно, добивается не одна только метафизика-философія, но и наука, «требуя развитія теорій и построенія гипотезъ, прямо касающихся причинъ и сущностей» (стр. 26). «Стремленіе къ наибольшему и наивышему познанію или, говоря прямѣе, *къ познанію сущностей вещей*,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ:—обусловливало и обусловливаетъ движеніе и развитіе не одной философіи, а и каждой науки. Это и естественно, и понятно, если мы вспомнимъ, что прогрессъ каждой науки стоитъ въ переходѣ отъ эмпирическихъ законовъ и обобщеній къ законамъ и обобщеніямъ абстрактнымъ. Въ той мысли, что наука такъ же, какъ и философія, стремится къ познанію сущностей, и что спеціальныя научныя задачи выражаютъ это стремленіе, нѣтъ ничего ни парадоксальнаго, ни предосудительнаго, ни непонятнаго. По крайней мѣрѣ, никто не считаетъ парадоксальными, предосудительными или непонятными научные успѣхи въ удовлетвореніи этого стремленія. Каждое новое обобщеніе въ наукѣ, а особенно каждая научная теорія, гипотеза есть естественный и желательный шагъ отъ вещей и явленій къ ихъ сущности. Развѣ не сущность вещей открылъ Ньютонъ въ тяготѣніи и его законахъ? Только знаніе сущности планетныхъ отношеній дало Леверье возможность заочно, только путемъ математическаго вычисленія, открыть существованіе до тѣхъ поръ неизвѣстной и невиданной планеты (Нептунъ). Конечно, мы не знаемъ, что̀ такое, въ свою очередь, составляетъ сущность тяжести и тяготѣнія; тѣмъ не менѣе, благодаря этимъ понятіямъ, міръ становится понятнѣе даже для полуобразованнаго человѣка, который знакомится съ научными сущностями изъ популярныхъ книжекъ.

Разложивши кали на его элементы, Дэви несомнѣнно открылъ сущность не только этого соединенія, но и всѣхъ щелочей, и т. д.» (стр. 247—248). «Существованіе единообразій, законовъ, первичныхъ элементовъ міроустройства и міропорядка, «сущностей», служило и служитъ общимъ корнемъ, общимъ центромъ науки и философіи, всего человѣческаго развитія» (стр. 254).

Въ заключеніе, намъ предстоитъ ознакомиться съ тѣми соображеніями г. Милославскаго, въ силу которыхъ онъ все-жетаки установляетъ различіе между метафизикою, какою она является у современныхъ философовъ, и научною философіею будущаго, или также научно-метафизическою философіею.

«Метафизика и наука,—говоритъ онъ:—не переставали до сихъ поръ отождествлять понятіе о сущности вещей съ самою сущностью; вслѣдствіе этого, понятіе о сущности теряетъ свою относительность, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая сущность вещей становится для познанія началомъ безотносительнымъ, безусловнымъ» (ст. 273). «Стремились ли философы открыть сущность вещей, сущность ли познанія, они принимали сущность эту безотносительною, безусловною, абсолютною. Философское искаціе такой сущности въ исторіи человѣческаго развитія можно поставить въ pendant съ исканіемъ философскаго камня, жизненнаго элексира у алхимиковъ, или perpetuum mobile у механиковъ. Какъ прежде, подъ видомъ теоріи бытія или онтологіи, такъ въ новое время, подъ видомъ теоріи познанія или гносеологіи, метафизики усиливались постигнуть, схватить ту суть вещей, которая и по Канту, и по наукѣ, существуетъ, но не можетъ существовать безотносительно, какъ абсолютное начало всѣхъ началъ. Каждый изъ великихъ и малыхъ философовъ игнорировалъ тотъ простой фактъ, что онъ, отъ минуты рожденія до гробовой доски, поставленъ среди живыхъ отношеній между собою и внѣшнимъ міромъ, что весь человѣкъ, со всѣмъ своимъ познаніемъ и всѣми своими дѣйствіями, есть явленіе, а не сущность. Вещь саму въ себѣ онъ искалъ или только въ самомъ себѣ, или только внѣ себя, и каждый разъ *вещь въ себѣ* такъ и остается *сама въ себѣ*, а философъ *самъ* въ себѣ, и безотносительнаго познанія о ней не выходитъ. Мы видимъ, что, несмотря ни на какіе философскіе всеобъединяющіе абсолюты, у философовъ и до сихъ поръ между мыслью и міромъ, между субъектомъ и объектомъ зіяетъ непроходимая бездна: при безотносительной вещи въ себѣ выходитъ, что все существующее или только

духъ, или одна матерія. Смѣняя одна другую, идеалистическія и реалистическія системы, наконецъ, потеряли всякую подвижность впередъ, вращаются вокругъ однихъ и тѣхъ же понятій, то мѣшаются другъ съ другомъ, то стоятъ другъ противъ друга съ враждебной критикой». Въ этомъ хаосѣ,—говоритъ далѣе г. Милославскій:—лучшіе умы въ Германіи сочли необходимымъ обратиться къ Канту; движеніе это—ново-кантіанство, оказалось, однако же, безплоднымъ, и поиски философовъ за философскимъ кладомъ—вещью въ себѣ, оказываются и до сихъ поръ тщетными. Но, между тѣмъ, пока они искали и ищутъ, стало обнаруживаться, что кладъ этотъ уже дается ученымъ (стр. 273—275). Правильная постановка вопросовъ, заключающаяся, главнымъ образомъ, въ согласованіи ихъ съ требованіями закона относительности—вотъ путь, по которому, по мнѣнію г. Милославскаго, ученые пришли къ открытію великаго философскаго клада. Какъ скоро опредѣлены элементы явленій познанія, ихъ взаимныя отношенія и законы ихъ связи, тогда,—утверждаетъ авторъ,—при надлежащемъ употребленіи научнаго метода, можно получить достаточныя средства къ познаванію такихъ предметовъ, которые могутъ быть отъ насъ дальше, чѣмъ химическіе элементы солнца и планетъ отъ рабочаго стола ученаго, производящаго спектральный анализъ. Къ такимъ предметамъ, входящимъ, по мнѣнію г. Милославскаго, въ содержаніе философскихъ проблемъ, онъ причисляетъ: вопросы о происхожденіи и развитіи міра, о времени и пространствѣ, въ связи съ идеями безконечно-великаго и безконечно-малаго, объ атомахъ, о жизни, о духѣ, о свободѣ, о добрѣ и злѣ, о первой причинѣ всего существующаго и т. д. Онъ полагаетъ, что мы о всѣхъ этихъ и подобныхъ предметахъ безотносительнаго познанія имѣть не можемъ; но, продолжая работу изученія явленій познанія, изучая историческія и современныя идеи о такихъ предметахъ и все то, съ чѣмъ эти идеи соотносительны, чѣмъ онѣ вызываются, въ какую силу сохраняются и видоизмѣняются, мы можемъ достигать относительнаго *научнаго* познанія о тѣхъ же самыхъ предметахъ. Почтенный авторъ полагаетъ, что наши идеи во всѣхъ этихъ случаяхъ могутъ быть научными, а не «метафизическими». «Пусть это будутъ идеи о «сущностяхъ»,—говоритъ онъ:—онѣ остаются высокими и самыми цѣнными явленіями человѣческаго познанія, наиболѣе сообразными съ его законами» (стр. 324). Онъ убѣжденъ даже, что при такихъ усло-

віяхъ, съ достаточными умственными силами и чистотою сердца въ придачу, философъ имѣетъ предъ собою открытый путь къ познанію и такихъ сущностей, понятіе о которыхъ было образовано не самимъ философомъ и которое онъ принимаетъ готовыми отъ людей, не только чуждыхъ научному методу, но, если я не ошибаюсь, и враждебныхъ ему. Какъ именно совершится овладѣніе этимъ вожделѣннымъ послѣднимъ пунктомъ открывающагося передъ философомъ пути, остается неизвѣстнымъ, но въ немъ, очевидно, нельзя не видѣть увѣнчанія зданія той *научной философіи*, представителемъ которой является почтенный авторъ разсматриваемой теперь книги.

Единство цѣлей метафизики, философіи и науки, единство ихъ метода и различіе въ постановкѣ вопросовъ—вотъ тѣ три пункта, къ которымъ сводится разсужденіе г. Милославскаго; на нихъ намъ и приходится теперь сосредоточить все наше вниманіе.

Г. Милославскій, какъ мы только-что видѣли, находитъ возможнымъ сперва опредѣлить, въ чемъ заключается цѣль всякаго познанія, и затѣмъ уже изслѣдовать вопросъ о методѣ. Опредѣляя такимъ образомъ цѣль познанія совершенно независимо отъ вопроса о путяхъ къ этой цѣли, онъ не затрудняется, однако же, обозначить предполагаемый конечный пунктъ этого пути—познаніе *сущности вещей*. *Предвосхищенный результатъ* становится у него, вслѣдствіе этого, *основаніемъ*, *ждущее рѣшенія*, *гадательное* получаетъ *руководящее* значеніе, вся аргументація строится на почвѣ болѣе чѣмъ зыбкой. Въ этомъ извращеніи истиннаго порядка и связи основоположеній мы и видимъ коренную ошибку, губящую все его разсужденіе. Только благодаря ей, возможно было свести къ единству розысканіе сущности вещей съ научнымъ установленіемъ законовъ, т.-е. смѣшать поиски за какими-то загадочными объектами, съ установленіемъ понятій, вводящихъ въ пестрый міръ представленій порядокъ и стройность. Допущеніе такой ошибки обнаруживаетъ слѣпоту къ одному изъ такихъ рѣзкихъ контрастовъ, который не можетъ не броситься въ глаза даже и людямъ, гораздо менѣе проницательнымъ, чѣмъ г. Милославскій.

Чтобы разобраться въ замѣшательствѣ, произведенномъ г. Милославскимъ, мы оставимъ пока въ сторонѣ вопросъ о цѣляхъ метафизики, философіи, науки, всякаго познанія вообще, и обратимъ вниманіе на тотъ моментъ его, когда *принудительность*

непосредственнаго воспріятія оканчивается, *представленія* — насколько было возможно, или насколько было нужно—накоплены, и начинается посредственная работа *отвлеченія* или образованія *понятій*. Этотъ моментъ есть въ одно и то же время и *исходный моментъ* отвлеченнаго мышленія вообще, и тотъ, въ который появляется на сцену *методъ*. Каковъ онъ будетъ, этотъ методъ—таково будетъ и мышленіе: если *понятія* будутъ не различаться отъ *представленій* и, слѣдовательно, каждое изъ нихъ будетъ непосредственно относимо къ объекту (будетъ объективироваться) — методъ будетъ метафизическій; если же различіе это не будетъ упущено и будетъ установлена законосообразная связь понятій и представленій, а понятія будутъ строго и точно относимы къ объектамъ не иначе, какъ чрезъ посредство представленій, методъ будетъ научный и мышленіе также научное. При этомъ цѣли и задачи того и другого выяснятся сами собою: метафизическое мышленіе будетъ преслѣдовать мнимые объекты понятій—сущность, субстанціи, абсолютъ и т. п.; научное—всего прежде остановится съ достодолжнымъ вниманіемъ на опытѣ и наблюденіи, какъ на источникѣ, изъ котораго черпаются представленія; затѣмъ изъ представленій этихъ оно выработаетъ понятія, постепенно возводя ихъ все къ большей и большей отвлеченности. Понятія эти охватятъ или группы предметовъ, или группы событій, и въ томъ смыслѣ будутъ или *родовыми понятіями*, или *естественными законами*. Въ той и другой изъ этихъ областей возможно, наконецъ, образованіе такихъ понятій, которыя или по недостаточности собранныхъ для нихъ представленій, по крайней сложности этихъ послѣднихъ, или по инымъ мотивамъ, могутъ имѣть только значеніе вѣроятности, это *гипотезы*, имѣющія въ наукѣ лишь вспомогательное значеніе. Смѣшивать образованіе гипотезъ съ поисками за сущностью вещей значитъ смѣшивать задачи совершенно разнородныя и совсѣмъ несоизмѣримыя.

Возьмемъ для примѣра какое-нибудь явленіе, положимъ, горѣніе, и посмотримъ, какъ относится къ нему метафизика и какъ наука? Первая добываетъ представленія не методически, считаетъ однимъ изъ нихъ—безсознательно образовавшееся понятіе и устремляется за открытіемъ объекта этого понятія, въ данномъ случаѣ—флогистона, и, считая его сущностью горѣнія, можетъ, по аналогіи, заняться раскрытіемъ сущности и самаго флогистона. Наука, методически собравъ свои предста-

вленія, доведя ихъ, посредствомъ различныхъ способовъ и пріемовъ до возможной полноты и разнообразія, вырабатываетъ изъ нихъ, во-первыхъ, *законъ* соединенія тѣлъ съ кислородомъ, и во-вторыхъ, *понятіе* разныхъ *родовъ* этого соединенія (окись, кислота, перекись и проч., углерода, сѣры, марганца и проч.), нисколько не задаваясь при этомъ отысканіемъ еще и какой-то сущности, вопросъ о которой исключается самымъ ходомъ научнаго мышленія и не можетъ имѣть съ научной точки зрѣнія никакого смысла.

Поставивъ рядомъ съ розысканіемъ *сущностей* и розысканіе *причинъ*, г. Милославскій обнаружилъ и на эти послѣднія такой взглядъ, который научная философія не считаетъ научнымъ и который въ настоящее время сданъ уже въ архивы исторіи философіи. Видѣть въ розысканіи причинъ нѣчто однородное розысканію сущностей, значитъ продолжать еще видѣть въ «причинности» какую-то составную часть объекта, разсматриваемаго какъ причина, какую-то его «сущность», которая считается способностью производить дѣйствіе. Этотъ антропоморфическій взглядъ на причинность слишкомъ старъ, чтобы на немъ долго останавливаться, а знакомство публики нашей съ воззрѣніями Ст. Милля, прекрасно разработавшаго его въ своемъ «Курсѣ логики», предполагаетъ правильный взглядъ на него общеизвѣстнымъ. Отсутствіе его у г. Милославскаго, предпочевшаго ему иной, прямо противоположный, обусловлено имѣющимся у него разсужденіемъ о «сущности вещей», неизбѣжно влекущей за собою и другія метафизическія «переживанія», понадобившіяся автору ради конечной цѣли всего его труда.

Самъ г. Милославскій не могъ не замѣтить, что поиски сущностей составляютъ нѣчто отличное отъ научнаго знанія и представляютъ собою цѣпь мыслей, оборвать которую можно развѣ только произвольно, гдѣ вздумается. Такъ, если сущность эта есть флогистонъ, то сущность флогистона можетъ быть какой-нибудь x, сущностью икса—y, а затѣмъ можно искать и сущность игрека. Точно то же можетъ повториться и съ причинами, если ихъ разсматриваютъ какъ сущности. Такого рода розысканіе можетъ получить значеніе и смыслъ только тогда, когда понятіе причины будетъ очищено отъ затемняющей ее метафизичности и принимаемо только какъ понятіе соотносительное съ другимъ, разсматриваемымъ какъ понятіе дѣйствія, могущимъ, въ силу той же соотносительности, перейти въ понятіе причины.

При такомъ взглядѣ розыскиваніе причины оканчивается тамъ, гдѣ прекращается возможность образованія представленій, гдѣ лежитъ граница возможнаго опыта и начинается трансцендентное, т.-е. вольная воля фантазіи. Возьмемъ, напримѣръ, психическія явленія и, разсматривая ихъ какъ дѣйствіе, начнемъ искать ихъ причину; найдя ее въ явленіяхъ физіологическихъ, станемъ въ свою очередь разсматривать ихъ какъ дѣйствіе, и причину перенесемъ въ явленія физики и химіи; причину же этихъ послѣднихъ, наконецъ, въ область механики. Здѣсь отнесеніе явленія къ его причинамъ должно для насъ прекратиться, такъ какъ явленія механики не могутъ быть отнесены ни къ какой реальной причинѣ, т.-е. не могутъ быть *поняты*, а только *познаны*. Это различіе *пониманія* отъ *познанія*, играющее столь важную роль въ научной философіи и проливающее такой яркій свѣтъ на главнѣйшіе вопросы теоріи познанія, не ускользнуло и отъ г. Милославскаго; но онъ не остановился на немъ съ достаточнымъ вниманіемъ, не вникъ въ его истинное значеніе и не вывелъ изъ него всѣхъ тѣхъ послѣдствій, которыя въ немъ содержатся, и которыя могли бы спасти его отъ многихъ ошибокъ. Такъ, говоря о тяготѣніи, онъ замѣчаетъ, что хотя оно и составляетъ сущность вещей, но его собственная сущность намъ остается неизвѣстною; «тѣмъ не менѣе,—прибавляетъ, онъ:— благодаря этому понятію, міръ становится *понятнѣе* даже для *полуобразованнаго* человѣка, который знакомится съ научными сущностями изъ популярныхъ книжекъ» (стр. 248). Это признаніе значенія вопроса о сущностяхъ именно для *пониманія*, да еще и *полуобразованнаго* человѣка, въ высшей степени характерно. А что же для знанія? спросимъ мы. Неужели г. Милославскій не замѣтилъ, что такое же значеніе для *пониманія міра* имѣла для древняго египтянина борьба Озириса и Сета, для арійца— вражда Индры и Вритры, для иранца—вѣчное соперничество Аурамазды и Ангромаинiуса и т. д. Неужели онъ полагаетъ, что, напримѣръ, фикціи Донъ-Кихота о непримиримой злобѣ къ нему злыхъ колдуновъ и волшебниковъ могутъ получить значеніе только потому, что для героя Ла-Манчи міръ, благодаря имъ, становился понятнѣе? Очевидно, что ни чистосердечное отношеніе къ этимъ фикціямъ, ни упорная послѣдовательность ихъ признанія, ни на волосъ не дѣлали ихъ реальнѣе. То же можно сказать и о современныхъ спиритахъ, по-своему отводящихъ душу посредствомъ своего міропониманія. Полу-

образованные или совсѣмъ необразованные—однимъ пониманіемъ они не завоевываютъ себѣ въ области знанія ни пяди.

Если бы г. Милославскій обратилъ вниманіе на психологическую сторону этого вопроса, онъ не могъ бы не замѣтить, конечно, что *познаніе* есть такое же удовлетвореніе *хотѣнія знать* (любознательности), какъ *питаніе—хотѣнія ѣсть* (голода), *разсматриваніе—хотѣнія видѣть* (любопытство) и т. п. Оцѣнивъ элементъ хотѣнія, воли въ актѣ познанія, онъ легко убѣдился бы, что, играя роль стимула, элементъ этотъ сплошь и рядомъ увлекаетъ къ мнимому знанію, которое и является всего чаще въ видѣ оторваннаго отъ знанія пониманія. Поэтому для полуобразованнаго, т.-е. для бѣднаго знаніями человѣка и пріятно такъ *понять* то, что его занимаетъ: въ этомъ пониманіи заключается *удовлетвореніе хотѣнія*, которое всегда пріятно; но существуетъ ли для полуобразованнаго человѣка разница при пониманіи, посредствомъ отнесенія явленій къ *тяготѣнію* или къ Ра, Пта, Озирису, Аурамаздѣ—объ этомъ, конечно, не стоитъ и говорить. Только въ соединеніи съ знаніемъ получаетъ и пониманіе свое значеніе: но знаніе, какъ извѣстно, пріобрѣтается не иначе, какъ методически, т.-е. съ трудомъ, удовлетворяетъ *любознательность* нашу медленно, капля за каплей, и никогда вполнѣ; поэтому для натуръ, по выраженію г. Милославскаго, *чистосердечныхъ*, ничто не можетъ быть такъ пріятно, какъ *пониманіе*, которое всегда и предпочитается ими *знанію*.

Возвращаясь къ тому, что было сказано мною о *методѣ*, замѣтимъ, теперь, что характеромъ его опредѣляется и выдѣленная г. Милославскимъ *постановка* вопросовъ. Такъ, по отношенію къ приведенному выше примѣру, паденіе метафизическаго метода въ химіи влечетъ за собою и паденіе вопроса о флогистонѣ или, иначе говоря, измѣненіе *постановки* вопроса о горѣніи. Предметъ изслѣдованія остается, но методъ изслѣдованія измѣняется, а вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣняется вопросъ. Такой періодъ пережили всѣ науки, которыя совмѣщали фиктивный объектъ, соотвѣтствовавшій ихъ метафизическимъ отвлеченіямъ, съ дѣйствительнымъ предметомъ изслѣдованія. По этой причинѣ исчезновеніе флогистона, началъ кислотности и металличности изъ химіи, жизненной силы изъ біологіи, пластической силы и образовательнаго напряженія (nisus formativus) изъ палеонтологіи не унесло за собою самыхъ наукъ, но ничто не могло спасти магіи, каббалы, хиромантіи, представленія которыхъ были

сняты съ объектовъ, изслѣдуемыхъ другими науками, такъ что по разбитіи ихъ основныхъ понятій не осталось ничего. Изъ этого видно, что существованіе метафизическаго періода въ наукахъ свидѣтельствуетъ не за положеніе г. Милославскаго, а *противъ* него, такъ какъ оно ясно указываетъ на рѣшающую роль метода. Если предметъ философіи есть міръ какъ цѣлое, то изслѣдованіе его метафизическимъ методомъ и постановка вопроса о сущности вещей и т. п. могутъ и кануть въ вѣчность, но такъ какъ предметъ остается и можетъ подвергнуться научному изслѣдованію, то остается и философія, хотя метафизика исчезаетъ.

Если г. Милославскій и вполнѣ правъ, утверждая, что борьба позитивистовъ противъ метафизики ограничивается одними словами, то изъ этого еще никакъ не слѣдуетъ, чтобы метафизика имѣла хоть какіе-нибудь шансы къ спасенію. Прошло уже то время, когда противъ метафизики стояли позитивисты одни-одинешеньки, и метафизика, по отношенію къ нимъ, разыгрывала роль своего рода Плевны. Конечно, позитивисты могутъ воображать, что осаду ведутъ именно они, и со стороны, какъ, напримѣръ, и г. Милославскому, можетъ иногда показаться, что неудача ихъ—торжество метафизики. Но не слѣдуетъ забывать, что позитивное отрицаніе метафизики имѣло *догматическій* характеръ. О. Контъ не подвергалъ критикѣ понятіе вещи въ себѣ, а просто декретировалъ невозможность этого познанія [1]). Отчего же невозможно? спрашивали метафизики. Если «вещь въ себѣ» реальна то, быть можетъ, и удастся достигнуть ея познанія; не станемъ падать духомъ, будемъ пытаться овладѣть ею такъ или иначе. Позитивисты могли отвѣчать на это однимъ только «non possumus» и, слѣдовательно, принципіально торжествовали метафизики: изслѣдованія «вещи въ себѣ» имѣли основаніе быть продолжаемы. Совсѣмъ иначе ставится вопросъ, когда понятіе это оказывается лишеннымъ содержанія и когда поиски за «кладомъ» метафизики теряютъ смыслъ.

Смѣшавъ методы и цѣли метафизики, науки и философіи, г. Милославскій могъ утверждать, конечно, что ученые, принимаясь за философскіе вопросы, неизбѣжно становятся метафизиками, но теперь намъ стало уже ясно, какъ мы надѣемся, что метафизическій періодъ въ философіи, какъ и во всякой наукѣ, есть періодъ преходящій, временно извращающій цѣли и задачи

---

[1]) *A. Comte.* Cours de philos. positive. T. I. p. 17.

науки и всегда рано или поздно уступающій мѣсто періоду научному. И такъ метафизика не въ будущемъ науки, а въ прошедшемъ, не впереди, а сзади. Она не придетъ, подобно нѣкоему мессіи, спасти человѣческое знаніе, а, напротивъ, какъ дѣтство этого знанія, пережита безповоротно, мечты и грезы ея сданы въ архивъ и могутъ служить поученіемъ лишь въ отрицательномъ смыслѣ.

Ставя методъ метафизическій и методъ научный въ ошибочное соотношеніе, г. Милославскій неизбѣжно приходитъ къ невѣрному опредѣленію роли *наблюденія* и *опыта*, съ одной стороны, и умозрѣнія—съ другой. Указывая на то, что наблюденіе и опытъ необходимо приводятъ къ умозрѣнію, а умозрѣніе необходимо предполагаетъ наблюденіе и опытъ, г. Милославскій видитъ въ нихъ общую почву науки и метафизики, а потому и отрицаетъ существованіе противоположности между ними. Г. Милославскій введенъ былъ здѣсь въ заблужденіе неопредѣленностью термина «умозрѣніе». Если бы онъ занялся выясненіемъ его, то раскрылось бы, конечно, что умозрѣніе есть не что иное, какъ *образованіе понятій* или *отвлеченное мышленіе*, о которомъ мы говорили выше, и что, слѣдовательно, умозрѣнія такъ же различны между собою, какъ различны методы: одно умозрѣніе держится своими корнями—*представленіями* въ мірѣ дѣйствительномъ и имѣетъ дѣло только съ такими *отвлеченіями* или *понятіями*, переходъ отъ которыхъ къ *конкретнымъ представленіямъ* всегда возможенъ; другое — исходитъ изъ понятій, принимаемыхъ въ смыслѣ представленій, т.-е. какъ бы непосредственно соотвѣтствующихъ реальнымъ объектамъ и затѣмъ подъ эти понятія *подгоняетъ* явленія дѣйствительности. И если справедлива мысль, прекрасно развитая Зибекомъ въ статьѣ объ отношеніи метафизическихъ системъ къ опыту [1]), что основная идея всякой метафизической системы не чужда опыта, то это доказываетъ только невозможность абсолютнаго творчества мысли, но не противорѣчитъ тому принципіальному положенію, что въ метафизикѣ *сознательно* и *преднамѣренно* отвлеченная идея полагается въ основаніе умозрѣнія и что затѣмъ подъ нее подводятся всѣ дѣйствительныя явленія, не исключая и тѣхъ, предста-

[1]) *H. Siebeck.* Die metaphysischen Systeme in ihrem gemeinsamen Verhältnisse zur Erfahrung (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1878, I und II Heft).

вленія которыхъ *безсознательно* участвовали въ ея образованіи. Всякій послѣдовательный метафизикъ не только никогда и не подумаетъ маскировать это основное положеніе метафизики, но всегда потщится выставить его во всей его опредѣленности. Вотъ хоть бы тотъ самый Гармсъ, на котораго какъ-то ссылается г. Милославскій, прямо говоритъ, что поскольку умозрительная философія или метафизика поступаетъ методически, полагаетъ она въ основаніе мышленія метафизическое начало, т.-е. *чисто-общее* положеніе, принимаемое притомъ же не какъ формальное, но какъ реальное [1]). Исторія философіи насчитываетъ великое множество реализированныхъ отвлеченій, начиная съ идей Платона и оканчивая безсознательнымъ Гартмана, а философская критика указываетъ тотъ путь, которымъ до нихъ проходила и проходитъ мысль—путь отвлеченія, или что̀ то же, отрицанія конкретно-индивидуальныхъ признаковъ. Неизмѣняемость, вѣчность, абсолютъ, субстанція, сущность и т. п. понятія лежатъ крайними пунктами этого пути, и всякому, знакомому съ ихъ генезисомъ, ясно, что они не имѣютъ и не могутъ имѣть ровно никакого значенія при изученіи тѣхъ явленій, которыя лежатъ внѣ области теоріи познанія; да и въ этой послѣдней они играютъ роль не объясняющихъ принциповъ, а только подлежащихъ объясненію фактовъ познанія.

Все сказанное приводитъ насъ къ тому заключенію, что принятіе исходною точкою мышленія безсознательно образованныхъ, объективированныхъ понятій и придаетъ мышленію *метафизическій* характеръ, возможный не только по отношенію къ философіи, но также и всякой другой науки. Мы можемъ сказать поэтому, что метафизика, *какъ таковая*, существовать не можетъ, а подъ ея именемъ слѣдуетъ только разумѣть извѣстный фазисъ развитія знанія вообще. Не принимающіе во вниманіе этого основного взгляда на метафизику тщетно ищутъ ея опредѣленія и смѣшиваютъ то съ философіей, то съ теоріей познанія, и представляютъ цѣлый хаосъ противорѣчій, въ которомъ нѣтъ никакой возможности разобраться. Только тогда, когда мы поставимъ опредѣленіе метафизики въ прямую зависимость отъ извѣстнаго рода метода, получимъ мы возможность перестать смѣшивать ее съ философіей и наукой, которыя только

---

[1]) *Harms.* Die Philosophie und ihre Geschichte. I. S. 30.

переживаютъ метафизическій періодъ, но ни въ какомъ случаѣ сами не могутъ превращаться въ метафизику.

Остается затѣмъ взглянуть на соотношеніе, существующее между ними самими.

Мы уже сказали, что методъ выступаетъ на сцену тогда, когда заканчивается накопленіе представленій и начинается образованіе понятій. Такой методъ, при руководствѣ которымъ образовываемыя понятія имѣютъ исходною точкою своею представленія, не разрываютъ съ ними связь и, благодаря этому, при всей отвлеченности своей, не лишаются реальной содержательности и обладаютъ достовѣрностью и точностью, есть методъ *научный*. Не измѣняя ему, можно подыматься до весьма высокихъ отвлеченій, не опасаясь оторваться отъ почвы дѣйствительности и унестись въ область умозрительнаго фантазерства. Пока возможно сохранить связь съ реальною основою и поддерживать неразрывность восходящихъ отвлеченій, до тѣхъ поръ возможно и подниматься вверхъ къ понятіямъ все высшаго и высшаго порядка. Предѣлъ восхожденія, какъ то и видно, не можетъ быть при этомъ произвольнымъ; онъ обозначается двояко: во-первыхъ, исчерпаніемъ представленій даннаго объекта и, во-вторыхъ, невозможностью идти далѣе, не погрѣшая противу основоначалъ научнаго метода. Принимая міръ, какъ цѣлое, за такой объектъ, представленіями частей котораго исчерпываются всѣ возможныя для насъ представленія вообще, мы, въ понятіяхъ о частяхъ этого цѣлаго, получимъ понятія низшихъ степеней отвлеченія, а въ понятіи о цѣломъ— самое отвлеченное и высшее понятіе. Принято частныя понятія считать содержаніемъ *наукъ*, а общее—*философіи*. Различіе между наукою и философіею, какъ видно изъ этого, можетъ быть лишь относительнымъ: и наука, и философія составляютъ одно цѣлое, методически выработанное знаніе, расчленяемое сообразно съ различными степенями его общности и отвлеченности.

Въ этомъ смыслѣ и разрабатываетъ философію ново-критическая школа, и если бы г. Милославскій обратилъ на нее достодолжное вниманіе, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ, такъ проницательно открывающій объективированіе понятій у цѣлаго ряда разсматриваемыхъ имъ философовъ и не останавливающійся даже въ тѣхъ случаяхъ, когда объективированіе это прикрыто хитросплетеніями и тонкостями, не положилъ бы въ основаніе своей аргументаціи тезиса, въ которомъ такого рода погрѣш-

ность является безъ всякихъ тонкостей. Считаясь съ критической философіей, ему пришлось бы пройти сквозь цѣлый строй возраженій, которыя необходимо было бы ему или отринуть и, слѣдовательно, обставить свое положеніе болѣе полновѣсными аргументами, чѣмъ теперь, или принять вполнѣ, либо отчасти—и, въ такомъ случаѣ, переработать свой тезисъ. Въ виду того, что было высказано о методѣ Карломъ Гёрингомъ и Авенаріусомъ [1]), ему не возможно бы было оставить свое изложеніе о безразличіи метода научнаго и метафизическаго такимъ, какимъ мы теперь находимъ въ его книгѣ; статья Виндельбанда [2]) остановила бы его вниманіе на разнообразіи значенія Кантовой «вещи въ себѣ» въ разныя эпохи развитія системы этого мыслителя и показало бы, что новѣйшій критицизмъ изъ всѣхъ четырехъ различныхъ значеній «Ding-an-sich» отдаетъ преимущество не тому, при которомъ признается въ одно и то же время знаніе о существованіи вещи въ себѣ и ея непознаваемость, не тому, при которомъ вещь въ себѣ разсматривается какъ предѣльное понятіе или пограничная область возможнаго опыта, а тому именно, въ которомъ она считается не-вещью (Unding) и различіе между ею и «явленіемъ» выставляется несостоятельнымъ. Далѣе, небольшой очеркъ Фр. Паульсена о понятіи субстанціи [3]) показалъ бы ему, что критическая школа научной философіи обладаетъ цѣлымъ арсеналомъ доводовъ противъ того понятія о «сущности», которое въ сочиненіи г. Милославскаго является основнымъ. Изслѣдованіе Файгингера [4]), наконецъ, поставило бы на видъ необходимость точнаго опредѣленія термина «абсолютный» (абсолютный—отрѣшенный; спра-

---

[1]) *C. Gëring.* System der kritischen Philosophie. *R. Avenarius.* Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip des kleinsten Kraftmasses.

[2]) *W. Windelband.* Ueber die verschiedenen Phasen der kantischen Lehre vom Ding-an-sich (Vierteljahrsschrift, 1877. II Heft).

[3]) *Fr. Paulsen.* Ueber den Begriff der Substanzialität (ed. 1877. IV Heft).

[4]) H. Vaihinger. Der Begriff des Absoluten (ed. 1878, II Heft). Эти же статьи, замѣтимъ мимоходомъ, показали бы г. Милославскому, что „непознаваемое“ Спенсера и другихъ сходныхъ съ нимъ мыслителей предполагаетъ такую точку зрѣнія, которую критическій реализмъ вполнѣ уже преодолѣлъ. Интересно было бы видѣть поэтому у г. Милославскаго, рядомъ съ замѣчаніями на „безотносительное непознаваемое“, критическую оцѣнку аргументовъ Файгингера.

шивается: отрѣшенный отъ чего?), могущаго имѣть и дѣйствительно имѣющаго у разныхъ мыслителей различныя значенія, а потому и производящаго у нѣкоторыхъ,—рѣзкій примѣръ: Спенсеръ,—не малую путаницу.

Въ заключеніе, можемъ сказать вообще, что знакомство съ критическою школою новой философіи ясно показало бы г. Милославскому, что обѣтованная земля его «научной метафизики»—относительное познаніе сущностей, до такой степени пострадала уже отъ геологическихъ катаклизмовъ критики, что стремящемуся въ нее надо покинуть всякую надежду найти въ ней милую его сердцу иллюзію [1]). Иллюзія эта давно отлетѣла въ область пережитаго, и всякій, кто, подобно г. Милославскому, думаетъ вернуть ее въ нашу юдоль чарами отождествленія ея съ законами науки, долженъ помнить, что въ нихъ еще разъ мы встрѣчаемся съ обобщеніемъ, какъ фактомъ міра мысли, и на вѣки-вѣчные разстаемся съ обобщеніями объективированными, уже не въ первый разъ заводящими людей въ дебри некритической тьмы.

Г. Милославскій смотритъ на дѣло совсѣмъ не такъ: онъ—побѣдѣ метафизики, а главное—лаврамъ ея, относительному познанію сущностей, пожертвовалъ цѣльностью своего прекраснаго труда и лишилъ насъ того истинно-просвѣщающаго поученія, которое мы были въ правѣ ждать отъ него, съ такимъ талантомъ изобразившаго намъ современное состояніе нѣмецкой философіи и обнаружившаго столько знаній при сооруженіи своей, увы! метафизической, т.-е. заранѣе отпѣтой философской теоріи. Печальна судьба таланта на ложномъ пути!

Петербургъ, 1879.

---

[1]) Самъ г. Милославскій не могъ не почувствовать этого, конечно, когда принужденъ былъ, на стр. 248, заговорить о сущности сущностей и такимъ образомъ увидѣвъ передъ собою открытую перспективу безсодержательныхъ отвлеченій, оторвавшихся отъ почвы дѣйствительности и уносящихся въ темную даль безконечности.

ФИЛОСОФІЯ—ИСКУССТВО ЛИ?

Вопросъ объ отношеніи философіи къ наукѣ и искусству поднятъ г. Гротомъ около шести лѣтъ тому назадъ и обсуждался имъ въ теченіе этого времени нѣсколько разъ. Впервые мы встрѣчаемся съ нимъ въ брошюрѣ, посвященной разбору «Философскихъ этюдовъ г. Козлова» (1877); затѣмъ онъ разсматривается вновь, въ статьѣ «Философія, какъ вѣтвь искусства» (журналъ «Мысль» 1880, августъ); потомъ о немъ идетъ рѣчь въ докторской диссертаціи г. Грота «Къ вопросу о реформѣ логики» (1882); далѣе ему спеціально посвящена рѣчь, произнесенная г. Гротомъ на докторскомъ диспутѣ и вышедшая отдѣльнымъ изданіемъ, подъ заглавіемъ «Отношеніе философіи къ наукѣ и искусству» (1883), и, наконецъ, этотъ же вопросъ составляетъ предметъ полемики между г. Гротомъ и профессоромъ А. А. Козловымъ на страницахъ кіевской газеты «Заря».

Въ самой общей своей формѣ, вопросъ объ отношеніи философіи къ наукѣ и искусству можетъ быть поставленъ такъ: правильно ли поступаютъ тѣ, которые отождествляютъ философію и науку? Если нѣтъ, то не слѣдуетъ ли отождествить ее съ искусствомъ?

Чтобы имѣть возможность понять отвѣтъ г. Грота на этотъ вопросъ, намъ нужно знать, прежде всего, что̀ разумѣетъ онъ подъ наукою и искусствомъ, какъ опредѣляетъ онъ два эти понятія?

«Наукой,—говоритъ г. Гротъ,—давно принято называть ту дѣятельность человѣка, которая направлена къ пріобрѣтенію вполнѣ достовѣрныхъ и точныхъ знаній» (Рѣчь, стр. 9). Въ диссертаціи же дѣятельностью этою считается *изслѣдованіе*, *экспериментъ* и *изложеніе*, а наука опредѣляется какъ общій *результатъ* этой дѣятельности (стр. 85). И еще: «науки—это

анализъ, основа ихъ—усвоеніе, орудіе—наблюденіе; искусства—это синтезъ, ихъ основа—творчество, орудіе—воображеніе. Эти черты слишкомъ существенны, чтобы ихъ можно было смѣшивать. *До сихъ поръ думали, что синтезъ есть тоже дѣло науки, но это невѣрно*: наука есть объективное *знаніе*, а синтезъ уже не есть знаніе, а лишь конечный его результатъ, продуктъ, что̀ и есть искусство» («Мысль»). Въ брошюрѣ же объ этюдахъ г. Козлова говорится, что «*частныя науки, какъ и всякое вообще индуктивное познаніе, всѣ стремятся къ обобщеніямъ и къ синтезу*. Если факты даютъ возможность, то въ ихъ [1]) нѣдрахъ являются даже такія широкія идеи, которыя проливаютъ свѣтъ далеко за предѣлы той области знанія, въ которой онѣ возникли» (стр. 7).

Все это «den Eindruck des schillerndsten Changeant machen muss» [2]); но мы не имѣемъ права терять надежды достичь удовлетворительнаго результата, а потому должны сдѣлать все отъ насъ зависящее для полученія отвѣта на поставленный выше вопросъ.

Если ничего не вышло тогда, когда исходною точкою была взята умственная дѣятельность, то, посмотримъ, не будетъ ли авторъ счастливѣе, отправясь отъ разсмотрѣнія отношенія этой дѣятельности къ жизни.

Пояснивъ, что науки не могутъ служить жизни непосредственно, авторъ останавливается на характеристикѣ посредствующихъ дисциплинъ—теорій искусствъ. «Медицинскія науки, въ тѣсномъ значеніи этого слова,—говоритъ онъ,—суть теоріи искусствъ; многія такъ-называемыя юридическія науки суть тоже теоріи искусствъ; технологія есть совокупность теорій искусствъ, агрономія есть теорія искусства, грамматика также, и проч. (мы уже не говоримъ объ общепризнанныхъ теоріяхъ искусствъ музыки, живописи, архитектуры, ваянія и т. д.)». (Диссертація, стр. 28). «Въ широкомъ смыслѣ слова,—говоритъ авторъ далѣе:—и науки, и теоріи искусствъ суть «искусства», ибо созидаются искусственными пріемами и искусственной дѣятельностью человѣка вообще; но въ тѣсномъ смыслѣ, подъ искусствами, въ *ихъ противоположеніи наукамъ и теоріямъ искусствъ*, можно разумѣть лишь тѣ искусства, которыя непосредственно

[1]) Ихъ—кого именно: наукъ или фактовъ?

[2]) *E. Laass*. Idealismus und Positivismus. I. S. 5.

служатъ «субъективнымъ» потребностямъ человѣка» (стр. 29). Эти искусства, въ ихъ противуположеніи наукамъ и теоріямъ искусствъ, согласно смыслу объясненія, изложеннаго на стр. 28, суть: медицина, судопроизводство, техника, земледѣліе, музыка, живопись, архитектура; всѣ эти искусства, замѣтимъ себѣ, служатъ, по мнѣнію автора, «субъективнымъ» потребностямъ человѣка. Разверните же теперь статью въ журналѣ «Мысль» и «Рѣчь», и вы узнаете, что «субъективныя» потребности человѣка отождествляются съ «нравственными» его потребностями, что подъ искусствомъ слѣдуетъ разумѣть только искусство «поэтовъ и художниковъ», которые должны открывать намъ внутренній міръ человѣческаго сознанія съ его высшими потребностями, влеченіями и идеалами.

Мы только-что видѣли изъ объясненій г. Грота, что въ широкомъ смыслѣ наука не противуполагается искусству, «ибо созидается искусственными пріемами и искусственной дѣятельностью человѣка»; въ тѣсномъ же смыслѣ наукѣ противуполагаются искусства, перечисленныя нами, и ихъ теоріи. На какомъ же основаніи выдѣлилась теперь группа собственно «изящныхъ» искусствъ? Предыдущія объясненія не даютъ ключа къ этой загадкѣ, и мы все еще ждемъ, что авторъ, какъ гдѣ-то выражается Байронъ, «объяснитъ свое объясненіе».

Такимъ окончательнымъ объясненіемъ должно бы, какъ кажется, считаться то, которое имѣется въ отвѣтѣ г. Козлову («Заря» № 60). «Стремленія человѣка ѣсть, пить, чувствовать тепло, и т. д.—сказано здѣсь,—основаны на требованіяхъ *внѣшней* необходимости, т.-е. его организаціи и его взаимнодѣйствія со средою; поэтому наука, стремящаяся подчинить человѣку міръ и удовлетворить всѣмъ этимъ погребностямъ человѣка, имѣетъ внѣшнее объективное значеніе. Субъективныя потребности человѣка, это—потребности въ наслажденіяхъ эстетическихъ, нравственныхъ и т. д., безъ которыхъ онъ можетъ и обойтись въ своемъ существованіи». Этимъ потребностямъ,—какъ поясняетъ авторъ далѣе,—человѣкъ удовлетворяетъ при помощи различныхъ формъ искусства, рисующихъ человѣку высшіе идеалы красоты и добра.

Къ сожалѣнію, мы не можемъ удовлетвориться и этимъ объясненіемъ, такъ какъ оно находится въ явномъ противорѣчіи съ утвержденіемъ, что «науки *имѣютъ смыслъ* только въ томъ случаѣ, если онѣ рано или поздно могутъ быть приложены

къ жизни, могутъ служить источникомъ увеличенія человѣческаго счастья и благосостоянія, физическаго или *нравственнаго*, чего онѣ дѣйствительно и достигаютъ при посредствѣ искусства, такъ какъ, съ развитіемъ дѣятельности человѣка, *непосредственное* служеніе счастью и благосостоянію человѣчества приняли на себя *искусства*» (Диссертація, стр. 26—27). Эти искусства,—какъ мы и знаемъ,—перечислены на стр. 28, а именно: медицина, земледѣліе, техника промышленности, музыка, живопись, архитектура, ваяніе. Помимо же этого, бьющаго въ глаза, противорѣчія, нельзя не замѣтить еще, что приведенное выше мѣсто изъ статьи въ газетѣ «Заря» устанавляетъ совершенно новую точку зрѣнія на значеніе наукъ и искусствъ и оставляетъ насъ въ совершенномъ невѣдѣніи относительно того, какъ намъ слѣдуетъ смотрѣть на медицину, технику, земледѣліе, и т. п. Повидимому, съ этой новой точки зрѣнія, ихъ слѣдуетъ считать науками, ибо они стремятся удовлетворить требованіямъ *внѣшней* необходимости, а не субъективнымъ потребностямъ, «безъ которыхъ возможно и обойтись». Въ концѣ-концовъ мы не находимъ никакой возможности выйти изъ тѣхъ дебрей, въ которыя заводитъ насъ г. Гротъ. Наука и искусство оказываются какими-то неуловимыми призраками, тѣнями «безъ очертанья и границъ», чѣмъ-то окруженнымъ непроницаемымъ туманомъ. Пусть кто-нибудь другой, болѣе искусный, попытается сказать намъ, что̀ думаетъ о нихъ и какъ понимаетъ ихъ авторъ, а мы можемъ сказать только: не знаемъ, не знаемъ и не знаемъ.

Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ, что̀ такое философія: наука или изящное искусство?

«Философія,—говоритъ г. Гротъ,—какъ синтезъ, какъ отраженіе субъективнаго, какъ результатъ творчества, и есть искусство, а не наука. Такая перемѣна *клички* (?) не сводится лишь къ простому спору о словахъ: она способна произвести коренной переворотъ во взглядахъ на философію. Всѣ недостатки, въ которыхъ упрекали эту послѣднюю, пока считали ее за науку, окажутся естественными ея свойствами и отчасти даже достоинствами съ той минуты, какъ она будетъ признана *вотвью искусства*. Общество сейчасъ же примирится съ *философіей и философами*, какъ скоро узнаетъ въ *этихъ послѣднихъ братьевъ поэтовъ и художниковъ*, которые не истину должны ему открывать, а только изображать предъ нимъ внутренній

міръ человѣческаго сознанія съ его высшими потребностями, влеченіями и идеалами. То, что должно быть, а не то, что есть— вотъ что раскрываетъ философія» («Мысль»). Въ «Рѣчи» вопросъ о философіи разрѣшается уже нѣсколько иначе. Здѣсь авторъ еще разъ возвращается къ неидущей къ дѣлу и совершенно для него безполезной идеѣ о томъ, что въ общемъ смыслѣ и наука есть искусство, т.-е. искусственная дѣятельность человѣка, и затѣмъ, переходя къ дѣлу, говоритъ: «Но въ тѣсномъ значеніи, въ которомъ эти два понятія ставятся въ отношеніи другъ къ другу, искусствомъ называется не вся вообще искусственная дѣятельность человѣка, а только та, которая служитъ чувствамъ его и удовлетворяетъ субъективнымъ, нравственнымъ потребностямъ его природы. Такъ какъ мы признали, что и философія имѣетъ тѣ же задачи, т.-е. служитъ индивидуальнымъ, внутреннимъ потребностямъ человѣческаго сознанія, то мы, очевидно, должны признать, что *философія есть или само искусство, или часть искусства. Мы думаемъ, что она есть и то и другое*: часть искусства, какъ послѣдній моментъ или высшая ступень въ его развитіи, т.-е. какъ искусство будущаго; само же искусство, какъ единственная истинная его основа, единственная и законная подкладка,—другими словами, какъ безсознательная основа искусства не только въ будущемъ, но и въ прошедшемъ» (стр. 11). Намъ бы слѣдовало, конечно, остановиться тутъ и попытаться получить разъясненіе того, какимъ образомъ основа чего-либо или подкладка чего-либо отождествляются съ этимъ чѣмъ-либо именно въ силу того, что она суть основа его и подкладка; но такіе вопросы были бы, однако, только тратою времени, такъ какъ въ «Отвѣтѣ г. Козлову» («Заря», № 6), подкладка (основа тожъ) превращается уже въ «содержаніе». Здѣсь мы читаемъ: «Я никогда не отождествлялъ вполнѣ искусство и философію, а признавалъ только тождество ихъ задачъ и стремленій и доказывалъ, что философія есть *содержаніе* искусства, а искусство—*форма*, воплощающая собою философію. Только въ той степени, въ какой содержаніе и форма другъ друга дополняютъ и составляютъ одно цѣлое, *не будучи, однако, тождественны*, я и выражался, конечно образно, что философія есть искусство, а искусство есть философія. Зданіе кіевскаго университета, учрежденія государственнаго, не могущаго состоять изъ кирпичей и извести, *обыкновенно*, однако, называютъ просто кіевскимъ уни-

верситетомъ и, наоборотъ, кіевскій университетъ признается одной изъ построекъ Кіева. Но само собою разумѣется, что кіевскій университетъ (который могъ бы помѣщаться и въ другомъ зданіи), и зданіе кіевскаго университета (которое могло бы вмѣщать въ себѣ и другое учрежденіе)—не одно и то же. И такъ, я не отождествлялъ вполнѣ искусства и философіи, ибо не могу отождествлять формы и содержанія вещей». Послѣ этого заявленія вся пикантная оригинальность тезисовъ «философія есть вѣтвь искусства», «философія есть искусство» и т. п. обращается въ ничто, и на мѣсто ихъ остается банальная истина, что философскія идеи могутъ воплощаться въ художественныя формы, въ образы, въ творенія поэтовъ. Изъ-за этого не стоило, само собою разумѣется, огородъ городить, особенно же не стоило городить его съ такимъ шумомъ и трескомъ: я-де расчищаю путь, разрушаю старое негодное зданіе... я не одинъ въ полѣ воинъ, насъ очень много, и каждый работаетъ по мѣрѣ силъ и способностей: Бэны, Спенсеры, Вундты, Горвицы, Рибо, Тэны и т. д. («Рѣчь», стр. 24). Но объ этомъ бредѣ не стоитъ и говорить: дѣло слишкомъ ужъ и само по себѣ ясно.

Но если таковъ конечный результатъ заявленія г. Грота въ «отвѣтъ г. Козлову», то это заявленіе само по себѣ настолько достопримѣчательно, что на немъ нельзя не остановиться. Съ первыхъ же строкъ авторъ увѣряетъ, что онъ не отождествлялъ искусства и философію, а признавалъ только тождество ихъ задачъ и стремленій и доказывалъ, что философія есть *содержаніе* искусства, а искусство—форма, воплощающая собою философію. Но выходитъ, что онъ очень ужъ скоро забылъ то, что самъ писалъ не задолго до этого заявленія. Въ своей «Рѣчи», на 10-й страницѣ, приведенной выше, онъ выставляетъ тождество задачъ искусства и философіи, *какъ основаніе* тождества, искусства и философіи. «Такъ какъ мы признали,—говоритъ онъ,—что философія имѣетъ тѣ же задачи (что и искусство), т.-е. служитъ индивидуальнымъ, внутреннимъ потребностямъ человѣческаго сознанія, то мы, *очевидно, должны признать* въ концѣ-концовъ, *что философія есть или само искусство, или часть искусства. Мы думаемъ, что она есть и то, и другое*». Вывертываясь изъ этой *очевидности*, г. Гротъ хочетъ убѣдить насъ, что онъ выражался *образно*, и разъясняетъ свою мысль на примѣрѣ университета какъ зданія и учрежденія. Примѣръ

этотъ, съ его заключительными словами: «я не могу отождествлять формы и содержанія», несомнѣнно разсчитанъ на безсмертіе, ибо не феноменально ли въ самомъ дѣлѣ, что докторъ философіи и профессоръ считаетъ зданіе формой учрежденія, а учрежденіе—подкладкой зданія! Когда Тиндаль писалъ о формахъ воды, ему, конечно, и въ голову не приходило, что найдутся читатели,—и притомъ не изъ числа «обыкновенныхъ»,—которые, прочитавъ заглавіе его трактата, будутъ ожидать разсужденія о формахъ сосудовъ, въ которое можетъ попадать вода, а воду будутъ разсматривать какъ подкладку сосудовъ. Спора нѣтъ, что въ обыденномъ разговорѣ можно переносить названіе содержимаго на содержащее; но, спрашивается, допускается ли такое перенесеніе въ ученыхъ разсужденіяхъ? Вѣдь, согласно теоріи самого г. Грота, изложеніе, допускающее такія вольности, недостойно и называться изложеніемъ и не соотвѣтствуетъ ни *методическому*, ни даже *произвольному* мышленію.

Хуже же всего то, что вся эта неудачная увертка *невѣрна*: и статья въ «Мысли» и «Рѣчь» слишкомъ категорически утверждаютъ, *что философія есть вѣтвь искусства*, *часть искусства*, *само искусство*. Никакія ссылки на образность рѣчи не могутъ помочь, если мысль высказана не однимъ предложеніемъ, которое, пожалуй, и можетъ быть образнымъ, но проводится на цѣломъ рядѣ страницъ. Правда, иногда въ проведеніи этой мысли и мелькнетъ нѣчто, напоминающее отношеніе между формой и содержаніемъ, но, мелькнувъ, сейчасъ же утопаетъ въ прежней мысли о тождествѣ. Это мельканіе ничего, конечно, не доказываетъ: такое ужъ у г. Грота *изложеніе*, и только. Такъ, черезъ страницу послѣ извѣстнаго уже читателю категорическаго утвержденія о тождествѣ философіи и искусства, г. Гротъ говоритъ: «если-бы можно было доказать, что *современное искусство стремится обратиться въ философію*, а современная философія—облечься въ новѣйшія формы искусства, то понятно было бы, что *философія можетъ быть одновременно и частью* или *моментомъ искусства*, *т.-е. искусствомъ будущаго*, *и самымъ искусствомъ*». («Рѣчь», стр. 12). Если все это образныя выраженія, то, спрашивается, зачѣмъ же затесалась между ними *недбразная* фраза «о формѣ»? Удивительная, истинно-оригинальная манера!

Но допустимъ, что философія, по г. Гроту, не есть искусство, а только содержаніе искусства; остается все-же-таки рѣ-

шить, что же такое это содержаніе? Идеи этики, психологіи, соціологіи могутъ стать содержаніемъ художественнаго творчества,—и мы знаемъ, что этика, психологія, соціологія—науки; но философія, по г. Гроту, не наука... Прежде онъ говорилъ, что она—искусство; теперь же увѣряетъ, что онъ и не думалъ отождествлять ее съ искусствомъ, и что, выражаясь «философія есть искусство», онъ употреблялъ *образное*, т.-е. собственно говоря, безсодержательное, пустое выраженіе. Что же такое философія помимо всякой образности? На этотъ вопросъ у г. Грота есть только одинъ отвѣтъ:—содержаніе искусства. Но, спрашиваемъ мы опять, если это «содержаніе» явится передъ нами облеченнымъ не въ художественныя формы, а въ формы, совершенно чуждыя искусству, напримѣръ, такія, которыя г. Гротъ называетъ «ложной оболочкой», разумѣя подъ нею формы, приданныя философіи Спинозой («Рѣчь», стр. 14),—что тогда? Можно ли и въ этомъ случаѣ считать философію искусствомъ? Если да, то какимъ искусствомъ? Если нѣтъ, то опять-таки, что же она такое? Ужели «философія—и только»? (тамъ же, стр. 9).

Охота у насъ смертная добиться отъ г. Грота опредѣленныхъ отвѣтовъ на наши вопросы, но участь наша горькая: всѣ наши вопросы сводились до сихъ поръ на гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Удовольствуемся же тѣмъ малымъ, что добыто нами отъ г. Грота, и пойдемъ далѣе.

Хотя мы и не знаемъ, что такое философія, но намъ извѣстно, что она не наука, что она не истину открываетъ людямъ и исключительно только стремится къ удовлетворенію высшихъ человѣческихъ потребностей. Имѣя такія указанія, мы въ правѣ заключить, что продукты философствованія не могутъ заключать въ себѣ ничего реальнаго, ничего имѣющаго научную цѣнность. Г. Гротъ, не разъ говорившій о противуположности науки и философіи, конечно, не станетъ оспаривать нашего заключенія. Если такъ, то мы спросимъ его, какимъ же образомъ стало возможнымъ съ его стороны утвержденіе, что наклонность современнаго искусства къ реализму, къ безпристрастному изображенію жизни, произошла будто бы отъ стремленія искусства нашихъ дней «къ обновленію на почвѣ философіи»? («Рѣчь», стр. 12). Мы бы поняли, если бы онъ сказалъ, что такая наклонность искусства есть результатъ воздѣйствія на него науки: экспериментальной психологіи, этики, соціо-

логіи и даже біологіи, физики, химіи, астрономіи, ибо художникъ, изображая героя и среду, въ которой онъ вращается, изображаетъ и его обстановку и можетъ представить эту послѣднюю или съ точки зрѣнія мистической, какъ управляемую таинственными силами, или съ точки зрѣнія метафизической, съ точки зрѣнія міровой воли, напримѣръ, или, наконецъ, съ точки зрѣнія научной, какъ закономѣрный космосъ. Вотъ эту послѣднюю картину, въ связи съ изображеніемъ жизни согласно законамъ біологіи, психологіи, этики и соціологіи, и даетъ, какъ намъ думается, реализмъ въ искусствѣ. Понятное дѣло, что рядомъ съ перечисленными нами идеями положительныхъ наукъ могутъ проскользнуть такія, которыя, не будучи мистическими или метафизическими, не въ состояніи будутъ пріурочиться ни къ одной изъ наукъ спеціально и которыя представитель философіи какъ науки сочтетъ за идеи научной философіи; но г. Гротъ только пожметъ при этомъ плечами и заговоритъ о противуположности философіи и науки? Въ такомъ случаѣ, при послѣдовательномъ проведеніи его взгляда, источникъ реализма останется исключительно въ наукѣ. Но въ своей «Рѣчи» онъ непремѣнно хочетъ, чтобы роль эта вышала на долю его «субъективной» философіи, которая истинъ людямъ не открываетъ... Что же прикажете дѣлать, если онъ такъ хочетъ?

Отводя философіи такую роль, г. Гротъ до такой степени расширяетъ ея рамки, что профессорамъ философіи и всѣмъ интересующимся ею приходится серьезно задуматься надъ трудностями изученія ея въ ея новомъ видѣ. Въ исторіи философіи, напр., необходимо будетъ, во-первыхъ, охватить исторію наукъ, чтобы показать «постепенную эмансипацію ихъ отъ произвольныхъ понятій метафизиковъ», во-вторыхъ,—исторію философскихъ системъ, чтобы показать въ каждой изъ нихъ «слѣды здраваго изученія природы и человѣка», и, въ-третьихъ, исторію искусствъ, чтобы показать, какимъ образомъ философія постепенно становилась содержаніемъ этихъ искусствъ, или, по иной версіи, какимъ образомъ философія становилась искусствомъ будущаго. Какая богатая и блестящая тема! Казалось бы, если г. Гротъ можетъ не безъ самодовольствія объявлять о томъ, что онъ, «зная живопись и музыку, самъ служитъ иногда искусству», то почему же ему еще съ бо́льшимъ самодовольствіемъ не объявить, что, «будучи знакомъ съ философіей, онъ самъ служитъ иногда этому искусству»... Такъ нѣтъ же! О фи-

лософахъ онъ говоритъ не иначе, какъ съ презрѣніемъ и,— пользуемся выраженіемъ Гёксли,—скорѣе готовъ содрать съ себя кожу, нежели допустить на ней пятно философіи. Все это загадки, которыя мы разгадывать не беремся!

Не согласясь съ г. Гротомъ въ томъ, что онъ «никогда не отождествлялъ искусство и философію», мы сопоставили это заявленіе его съ категорическимъ утвержденіемъ въ его «Рѣчи». Но, быть можетъ, иной читатель допускаетъ еще мысль, что, произнося рѣчь, авторъ дѣйствительно выразился образно. Мы должны разубѣдить и такого скептика, и обратимся для этого къ диссертаціи г. Грота, при помощи которой и исчерпаемъ вопросъ. Сдѣлать это мы должны еще и потому, что мѣсто изъ диссертаціи, о которомъ мы теперь поведемъ рѣчь, цитировано нами еще не было, а между тѣмъ, оно наведетъ насъ на нѣкоторыя соображенія, высказать которыя будетъ здѣсь, какъ намъ думается, не безполезно.

Пояснивъ, что, въ тѣсномъ смыслѣ, подъ искусствами, въ ихъ противоположеніи наукамъ и теоріямъ искусствъ, можно разумѣть лишь тѣ искусства, которыя *непосредственно* служатъ «субъективнымъ» потребностямъ человѣка, авторъ продолжаетъ далѣе такъ: «изъ такихъ искусствъ «непосредственныхъ» произошли постепенно, по принципу раздѣленія труда, и искусства «посредственныя» (посредствомъ другихъ искусствъ служащія потребностямъ жизни), т.-е. науки, а затѣмъ и теоріи искусствъ. Такимъ посредственнымъ искусствамъ могутъ служить тоже, въ свою очередь, особыя теоріи искусствъ и особыя науки, и къ таковымъ относятся именно теорія искусства познанія и наука о познаніи. *Философія же выдѣлилась изъ наукъ и должна присоединиться къ «непосредственнымъ» искусствамъ «обратнымъ путемъ»*, а именно—путемъ устраненія изъ наукъ всѣхъ еще бывшихъ въ нихъ непосредственныхъ или субъективныхъ элементовъ въ особую дисциплину» (Диссертація, стр. 29—30).

Мы убѣждены, что эта цитата должна окончательно рѣшить вопросъ о томъ, отождествлялъ ли г. Гротъ философію и искусство и имѣлъ ли право ссылаться на образность выраженія. На этомъ мы и покончимъ съ этимъ вопросомъ и примемся теперь за другой. Въ приведенной цитатѣ сказано, что «философія выдѣлилась изъ наукъ и должна присоединиться къ «непосредственнымъ», искусствамъ *обратнымъ путемъ*, а

именно путемъ устраненія изъ наукъ всѣхъ еще бывшихъ въ нихъ непосредственныхъ или субъективныхъ элементовъ въ особую дисциплину». Всякій спроситъ, конечно, почему же это философія, будучи такимъ же искусствомъ, какъ и всякое другое искусство (что весьма опредѣленно утверждается въ диссертаціи, на стр. 28), не выдѣлила изъ себя науки, подобно этимъ искусствамъ, а сама выдѣлилась изъ науки какимъ-то *обратнымъ путемъ?* Если науки, какъ утверждаетъ приведенная цитата, произошли изъ искусствъ, то какимъ образомъ для искусства познанія потребовался иной, обратный путь происхожденія? Мы полагаемъ, что если бы г. Гротъ, изобрѣтая этотъ обратный путь, имѣлъ въ виду то соображеніе, которое онъ высказалъ въ своей «Рѣчи», а именно, что «въ основѣ науки и философіи лежитъ несомнѣнно одинъ и тотъ же классъ стремленій человѣческихъ—стремленій человѣка познать міръ», то онъ бы счелъ излишнимъ прибѣгать къ своему изобрѣтенію и долженъ бы сказать о философіи то же, что онъ говоритъ о другихъ искусствахъ, т.-е., что философія была первоначально искусствомъ познанія, точнѣе—продуктомъ творчества, но затѣмъ, по принципу раздѣленія труда, выдѣлила науку о познаніи и теорію искусства познанія. Вся *оригинальная* его теорія рушилась бы, конечно, но вѣдь все равно, рушится ли она днемъ раньше или днемъ позже; сохранились бы время и трудъ, потраченные на ея возведеніе. Вся путаница, которую мы здѣсь тщетно распутывали, не существовала бы, и дѣло было бы вообще очень просто. Оказалось бы, что процессъ удовлетворенія стремленія къ познанію пережилъ, подобно процессамъ удовлетворенія другихъ стремленій, періодъ не научный,—періодъ, обыкновенно раздѣляемый на двѣ стадіи: мистическую и метафизическую,—и затѣмъ уже сталъ вырабатываться въ науку, постепенно освобождающуюся отъ старой традиціонной шелухи.

Но,—замѣтитъ, пожалуй, читатель,—г. Гротъ вѣдь весьма пространно доказывалъ, что философія не можетъ быть наукой. Что же станется съ этими доказательствами? Большой важности въ нихъ нѣтъ, отвѣтимъ мы, такъ какъ самъ же г. Гротъ допускаетъ возможность возникновенія *такихъ широкихъ идей, которыя проливаютъ свѣтъ далеко за предѣлы той области знанія, въ которой онѣ возникли*, какъ идея развитія, напримѣръ, которая появилась въ области біологіи, но можетъ, какъ оказывается, *быть руководящей идеей* и въ другихъ обла-

стяхъ науки, каковы языкознаніе, психологія (Брошюра объ этюдахъ, А. Козлова, стр. 7). И если г. Гротъ, охарактеризовавъ такимъ образомъ эти широкія идеи, все же не хочетъ признать ихъ философскими, а держится, по отношенію къ нимъ, своего рода паспортной системы и считаетъ *всякую идею, могущую быть руководящей въ разныхъ областяхъ знанія*, какъ бы приписанною къ той научной области, гдѣ она впервые была формулирована, то вѣдь это одна изъ его личныхъ фантазій, нисколько не мѣшающая ему примѣнять идею съ біологическимъ паспортомъ къ логикѣ, т.-е. поступать съ этой идеей, какъ съ философской [1]). Онъ идетъ еще далѣе, онъ допускаетъ даже *всеобщее* примѣненіе нѣкоторыхъ изъ такихъ идей, т.-е. отпускаетъ ихъ на свободное проживаніе во всѣхъ областяхъ знанія, но все же философскими ихъ не признаетъ. Такъ онъ говоритъ, что «*законъ развитія путемъ двоенія* можно признать *всеобщимъ закономъ развитія природы*», и поясняетъ это, показывая приложеніе закона двоенія, какъ къ жизни зародыша, такъ и къ дѣленію природы на органическую и неорганическую, такъ, наконецъ, и къ ходу развитія умственной дѣятельности (Диссертація, стр. 80). Если бы г. Гротъ былъ пессимистомъ, подобно Джемсу Томсону, напримѣръ, онъ могъ бы сказать, что, допустивъ даже философское значеніе одной, двухъ научныхъ идей, онъ все-же-таки останется далекъ отъ допущенія возможности существованія философіи, какъ науки, такъ какъ родъ человѣческій во вселенной можетъ быть уподобленъ мышамъ, обитающимъ въ какомъ-нибудь громадномъ зданіи и способнымъ при самомъ сильномъ напряженіи своихъ умственныхъ способностей выработать лишь самыя жалкія, отрывочныя свѣдѣнія объ обитаемомъ ими зданіи и о томъ, что въ немъ происходитъ [2]). Но г. Гротъ очень далекъ отъ такого безнадежнаго взгляда на результаты умственной дѣятельности человѣка. «Многія старыя загадки и предполагаемыя тайны природы уже разрѣшены наукою,—говоритъ онъ,—другія находятся на пути къ разрѣшенію, третьи ео ipso тоже рано или поздно должны

---

[1]) Такимъ образомъ прилагается къ логикѣ законъ развитія. Подобное же примѣненіе къ этой наукѣ имѣютъ: законъ раздѣленія труда (стр. 31) и законъ экономіи труда (стр. 187).

[2]) *James Thomson*. On the worth of metaphysical systems. Въ сборникѣ «Essays and Phantasies», 1881, p. 301.

разрѣшиться, благодаря доказанной исторіею человѣчества возможности безграничнаго прогресса знаній» (Диссертація, стр. 332). Если такъ, то зачѣмъ же отчаяваться въ возможности философіи, какъ науки, и хлопотать о превращеніи ея въ продуктъ личнаго творчества, лишенный всякаго объективнаго значенія? Вѣдь въ томъ-то и заключается одно изъ отличій философіи отъ искусства, что воззрѣнія философіи должны имѣть дѣйствительное или предполагаемое значеніе. Метафизика съ ея точкой отправленія «отъ разума», съ ея апріорностями и трансцендентностями, съ ея случайными и шаткими наблюденіями, оттого и не можетъ уже удовлетворять многихъ, что эти многіе не видятъ въ ея методѣ достаточныхъ гарантій достовѣрности ея положеній, «считаютъ ихъ» субъективными. Если и вся философія должна свестись непремѣнно на метафизику, то и ее ждетъ та же судьба. Если философія не можетъ быть наукой, то она не должна и существовать. Кто же, не вѣря ей, станетъ,— выражаясь словами г. Грота,—«служить ей? Кто станетъ интересоваться ею, зная, что она—горячка сердца, бредъ ничтожный, что міръ ея есть міръ пустой и ложный?» У кого хватитъ духу перейти прямо отъ научнаго методическаго мышленія къ этому бреду? Съ точки зрѣнія самого г. Грота, послѣдовательнѣе бы было, въ виду возможности безграничнаго прогресса знаній и неизбѣжности открытія всѣхъ тайнъ природы, не опускать преждевременно шлагбаума передъ этимъ прогрессомъ, а подготовлять его или хоть предвозвѣщать его. Процессъ образованія научно-философскихъ понятій у всѣхъ передъ глазами, и не видятъ его только тѣ, которые не желаютъ видѣть. Законъ тяготѣнія, законъ сохраненія энергіи, законъ развитія, законъ борьбы за существованіе, законъ раздѣленія труда, законъ наименьшей траты силъ, наконецъ, самая идея этой экономѣрности, въ равной степени распространяющаяся какъ на область физико-химическую, такъ и на области біологическую и соціологическую, все это—научно-философскія идеи, не пріурочивающіяся ни къ одной изъ спеціальныхъ наукъ. Новыя попытки распространенія нѣкоторыхъ изъ этихъ идей на области, на которыя онѣ пока еще не распространялись, ясно свидѣтельствуютъ о ростѣ научной философіи [1]), и мы имѣемъ

[1]) См. Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip des kleinsten Kraftmasses von R. Avenarius, 1876, и Das Princip des kleinsten Kraft-

основанія утверждать, что ростъ этотъ въ главныхъ своихъ чертахъ обрисовался уже весьма опредѣленно [1]).

Мы покончили съ замѣтками о взглядѣ г. Грота на отношеніе философіи къ наукѣ и искусству, и прежде чѣмъ перейдемъ къ заключительнымъ двумъ, тремъ словамъ о полемикѣ, имѣвшей мѣсто по поводу этого взгляда между авторомъ его и г. Козловымъ, считаемъ нужнымъ сказать еще, что въ настоящемъ случаѣ, какъ и при изложеніи замѣтокъ нашихъ о диссертаціи г. Грота, мы не касаемся вопроса объ *общей оригинальности* труда, по поводу котораго пишемъ. Очень возможно, что оригинальность только-что разсмотрѣнныхъ нами взглядовъ стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній, и что «даже то, что авторъ могъ бы заимствовать у другихъ, ему пришлось найти помощью развитія своеобразной связи своихъ собственныхъ мыслей»; но мы не можемъ не отмѣтить, однако же, поразительнаго сходства между опредѣленіемъ искусства у г. Грота и у Ог. Конта, также какъ и между сведеніемъ метафизики на поэзію у Альб. Ланге и сведеніемъ философіи на поэзію, живопись и изящныя искусства вообще у г. Грота. Ничего нѣтъ невѣроятнаго, что сходство это нисколько не свидѣтельствуетъ о заимствованіяхъ г. Грота у Ог. Конта и Ланге, и мы вполнѣ допускаемъ, что авторъ *вновь нашелъ* эти идеи помощью развитія своеобразной связи своихъ собственныхъ мыслей. Мы желаемъ сказать только, что нашелъ онъ ихъ гораздо хуже, чѣмъ два упомянутые выше мыслителя: идея искусства у Конта проще, опредѣленнѣе, яснѣе, а идея метафизики-поэзіи у Ланге снабжена кое-какими соображеніями о типичности художника и приближеніи его индивидуальнаго творчества къ творчеству родовому, которыхъ у г. Грота не имѣется и благодаря отсутствію которыхъ воззрѣнія г. Грота представляются нѣсколько аляповатыми. Ко всему этому надо еще прибавить, что сопоставленіе воззрѣній Конта и Ланге намъ представляется неудачнымъ и лишеннымъ будущности.

Теперь обратимся къ полемикѣ, которую,—какъ мы знаемъ уже,—велъ г. Гротъ съ г. Козловымъ въ газетѣ «Заря». Мы

---

masses in der Aesthetik, von H. Jäger. (Vierteljahrsschrift f. Wissensch. Phil. V. Jahrh. 4 Heft).

[1]) См. Outlines of cosmic Philosophy by John Fiske. 1874. Vol. I. pp. 38—44.

живо интересовались полемикой этой, не только потому, что намъ хотѣлось знать, какъ будетъ отстаивать авторъ свои воззрѣнія противъ оппонента несомнѣнно талантливаго, знающаго и глубоко-убѣжденнаго, но еще и потому, что помнили то назиданіе, которое прочиталъ г. Гротъ всѣмъ будущимъ своимъ критикамъ о необходимости относиться къ чужимъ мнѣніямъ серьезно и съ уваженіемъ, безъ остроумной игры словъ и легкомысленнаго издѣвательства. Ко всему этому присоединялся и тотъ неизбѣжный интересъ, который всегда возбуждаютъ у обыкновеннаго читателя пренія спеціалистовъ. Статья г. Козлова «Замѣчанія на статью Н. Я. Грота» («Заря», №№ 52 и 53) вполнѣ оправдала наши ожиданія. Читая эти бѣглыя, живыя и часто остроумныя замѣтки, никто не скажетъ, конечно, что г. Козловъ «instead of scalping a doctrine, have merely tomahawked a word» [1]); нѣтъ, онъ кратко и ясно показалъ, до какой степени тусклы и спутаны положенія «рѣчи» г. Грота. Все вокругъ да около, все приблизительно и шатко. Мѣстами у г. Козлова слышно негодованіе, но негодованіе сдержанное, какъ бы невольно пробивающееся наружу, и притомъ же вполнѣ объяснимое у человѣка, который говоритъ о предметѣ, близкомъ его сердцу, именно—его сердцу, такъ какъ г. Козловъ несомнѣнно любитъ свою мистико-метафизическую философію, любитъ тѣмъ болѣе пламенно, чѣмъ менѣе видитъ любви и вниманія къ этой его философіи у другихъ. Что же отвѣчалъ г. Гротъ? Онъ, прежде всего объяснилъ негодованіе г. Козлова внушеніемъ совершенно чуждымъ предмету полемики. «Сознаюсь,—пишетъ онъ,—я уже подумалъ: не принялъ ли А. А. Козловъ за личную для себя обиду сочувствіе къ моей рѣчи публики, присутствовавшей на диспутѣ? Но вторая часть «замѣчаній» объяснила мнѣ истинную причину раздраженія моего критика. Оказывается, что А. А. Козловъ просто испугался того, что *если*

---

[1]) Слова Феррьера о Ридѣ и его послѣдователяхъ. См. *J. F. Ferrier.* Institutes of Metaphysic. 1875, p. 299.

Кстати отмѣтимъ при этомъ случаѣ, что г. Гротъ нѣсколько наивно исправляетъ указаніе г. Козлова на Феррьера, какъ на замѣчательнаго философа (каковымъ его считалъ еще Милль. An Examination on sir W. Hamilton philosophy, p. 8), утверждая, что Феррьеръ вовсе и не философъ, а ученый. Г. Гротъ очевидно смѣшиваетъ Джемса Фредерика Феррьера—философа и Давида Феррьера—физіолога, называя его притомъ же почему-то Феррье.

философія будетъ признана искусствомъ [1]), то ему, какъ профессору, читающему исторію философіи, придется заняться исторіей искусства и потратить не мало времени на изученіе міровоззрѣній поэтовъ и беллетристовъ. Вотъ истинная причина его негодованія». Въ этихъ словахъ заключалось первое легкомысленное издѣвательство, которое позволилъ себѣ г. Гротъ, такъ какъ слова эти были совсѣмъ и не отвѣтомъ на ту картину замѣшательства, которую нарисовалъ г. Козловъ, представивъ профессора, принимающагося сливать въ одно цѣлое то, что донынѣ считали исторіей философіи, съ тѣмъ новымъ матеріаломъ, который приходилось къ нему присоединить согласно тезису г. Грота: «философія есть искусство». «Придется ввести въ курсъ «философскія воззрѣнія» всѣхъ художниковъ-философовъ (архитекторовъ, скульпторовъ, живописцевъ, музыкантовъ, поэтовъ) съ древнѣйшихъ временъ, ограничиваясь, по крайней мѣрѣ, Европою (хотя то было бы несправедливо, а можетъ быть, и ненаучно). Вѣдь придется изучить нѣсколько сотенъ, даже тысячъ неизвѣстныхъ мнѣ до сихъ поръ философовъ. Далѣе, какъ я введу эти новоузнанныя міровоззрѣнія въ одну систему съ прежде извѣстными? Прежде для меня въ исторіи философіи одно изъ важнѣйшихъ затрудненій составляла классификація направленій въ міровоззрѣніяхъ, но, главнымъ образомъ, благодаря безчисленнымъ трудамъ западныхъ историковъ, я, надѣюсь, удовлетворительно рѣшилъ эту задачу; но вѣдь теперь придется снова передѣлывать ее? Что, если окажется, что эти тысячи неожиданныхъ философовъ-художниковъ представятъ сотни и тысячи разнородныхъ міросозерцаній?» и т. д. Всякій согласится, конечно, что на такія замѣчанія нельзя отвѣтить такъ, какъ отвѣчалъ г. Гротъ. Но отвѣтъ собственно на этотъ пунктъ не составляетъ единственнаго глумленія и издѣвательства въ статьѣ г. Грота. Эти глумленія и издѣвательства идутъ одно за другимъ какъ будто бы иначе и полемизировать невозможно. И старъ-де г. Козловъ, и не пользуется онъ сочувствіемъ публики, и упивается онъ громкими терминами, и считаетъ себя глубокомысленнымъ философомъ, и воображаетъ даже, что онъ, А. А. Козловъ, и Пла-

[1]) Предположеніе это г. Гротъ дѣлаетъ, вѣроятно, имѣя въ виду то обстоятельство, что г. Козлову еще не было извѣстно тогда «образное» значеніе этого выраженія.

тонъ—одно и то же, модификація всеобщей души, ищущей себѣ выраженія и воплощенія въ людяхъ... На послѣднее обвиненіе у г. Грота, такъ сказать, не хватило пороху и ему пришлось сослаться на *частный разговоръ*. Что же такое все это, какъ не безтактное издѣвательство? Какіе резоны имѣлъ г. Гротъ переходить изъ оборонительнаго положенія въ наступательное? Но если ужъ ему показалось, что, «отдѣлавъ» г. Козлова, онъ тѣмъ самымъ докажетъ устойчивость своихъ воззрѣній, то возможно ли было допустить «отдѣлываніе» посредствомъ справокъ въ метрическомъ свидѣтельствѣ и цитированія частныхъ разговоровъ? Истинную правду писалъ онъ въ диссертаціи, что игра словъ и легкомысленное издѣвательство падутъ рано или поздно на голову тѣхъ, кто ими будетъ пользоваться! Слова эти оправдались прежде всего на немъ же самомъ. «Отдѣлавъ» г. Козлова, договорясь до цитированія частныхъ разговоровъ, онъ, наконецъ, договорился и до безсмертнаго заявленія своего объ «образности» выраженія «философія есть искусство». Такая перемѣна фронта во время сраженія, быть можетъ, и оправдывается тактикою и стратегіею, быть можетъ, и въ состояніи служить якоремъ спасенія для великихъ и малыхъ полководцевъ, но въ словесной борьбѣ для философовъ, великихъ и малыхъ, такая перемѣна фронта сама по себѣ равна пораженію.—«Благодарю, не ожидалъ»! имѣлъ право воскликнуть г. Козловъ, прочитавъ заявленіе объ «образномъ» выраженіи. Битва кончилась. Пословица, гласящая, что «muchos van por lana y vuelven tresquilados», вполнѣ оправдалась.

Вотъ все, что мы хотѣли сказать по поводу взгляда г. Грота на отношеніе философіи къ искусству и наукѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ и по поводу полемики, возникшей изъ-за этого взгляда. Мы, какъ неспеціалисты, писали не для спеціалистовъ и еще менѣе для возбужденія полемики по разсмотрѣнному нами вопросу. Единственною цѣлью нашею было ознакомленіе обыкновенныхъ читателей съ фактами, съ которыми мы имѣли случай ознакомиться, и которые мы, по мѣрѣ нашихъ силъ, старались понять и затѣмъ истолковать. Спеціалистамъ, и особенно самому г. Гроту, не можетъ быть нисколько интересно, какіе разговоры ведутъ о нихъ обыкновенные читатели и, всего вѣроятнѣе, они не удостоятъ даже прочтенія эти бѣглыя замѣтки. И хорошо сдѣлаютъ они, поступивъ такимъ образомъ, такъ какъ обыкновенный читатель и не подумаетъ мѣрять свои силы и

средства съ силами и средствами тѣхъ, кои могутъ по десяти лѣтъ къ ряду обдумывать теоретическія темы и разъ по восьми передѣлывать отдѣльныя части своихъ сочиненій. Обыкновенный читатель слишкомъ погруженъ въ жизнь; онъ старается на лету ловить ея проявленія и лихорадочно стремится за новыми и новыми. Притомъ же онъ совершенно неспособенъ присасываться ни къ какой чистой теоріи, такъ какъ, по свойственному ему складу мыслей, воображаетъ, что у него есть дѣла и поважнѣе.

Полтава. 1883.

ОТВѢТЪ Г. ГРОТУ.

Въ замѣткахъ нашихъ о книгѣ г. Грота мы высказали наше искреннее сочувствіе анти-метафизическому направленію автора и заявили, что, «несмотря на всѣ несогласія наши съ почтеннымъ авторомъ, мы высоко цѣнимъ, однако же, научное направленіе его труда и искренно желаемъ ему полнаго и блистательнаго успѣха въ борьбѣ съ умопомрачающею и жизнеубивающею метафизикою». И далѣе мы прибавили, что «уже при чтеніи его первой работы мы радовались появленію новаго и сильнаго врага того направленія, которое отклоняетъ мысль отъ плодотворной дѣятельности и устремляетъ ее въ область безпечальнаго созерцанія и утомительно-безплодной любознательности». Если же сочувствіе наше автору ограничилось лишь этими заявленіями, то это произошло оттого, что намъ приходилось отдать должное лишь наименованію направленія, которое провозглашалъ авторъ, и таланту самого автора, а затѣмъ вести борьбу не только противъ тѣхъ или другихъ положеній его, но главнымъ образомъ противъ его гелертерской манеры и всего вообще мертвенно-академическаго характера его труда. Въ пріемахъ и мѣстами прорывающейся тенденціи автора мы усмотрѣли проявленіе того заскорузлаго буквоѣдства, которое само по себѣ стоитъ всякой метафизики и вполнѣ способно пришибить жизненное значеніе науки, не менѣе любой метафизики. Своею неистовою погонею за всякаго рода безполезными трудностями, своею страстью затемнять простѣйшіе вопросы, своимъ предпочтеніемъ мудреной терминологіи и маловразумительныхъ хитросплетеній всему простому и ясному, своею слабостью къ симметріи и безхарактернымъ дѣленіямъ, подраздѣленіямъ и переподраздѣленіямъ авторское гелертерство можетъ, пожалуй, оказаться вреднѣе, чѣмъ самая дикая метафизика... Въ самомъ дѣлѣ, отъ науки ждутъ у насъ добра и правды для жизни, а ме-

тафизику можно считать уже совсѣмъ отпѣтою; по крайней мѣрѣ, наши метафизическія синицы моря не зажгли и изнываютъ въ одиночествѣ въ своихъ wolkenkukusheim'ахъ. Диссертація г-на Грота, хотя и отличается какъ небо отъ земли отъ элюкубрацій какого-нибудь г. Страхова, несомнѣнно представляетъ, однако же, одно изъ проявленій того отмахивающагося отъ толпы «заравшанскаго» гелертерства, которое живому человѣку нѣсколько трудно привѣтствовать радостными возгласами, особенно же, если плоды этого гелертерства послѣ десятилѣтняго созрѣванія являются передъ нами съ тѣми колючками, которыя дѣлаютъ ихъ для насъ настолько недоступными, насколько это оказалось доступно самому ихъ автору. Разверните диссертацію: здѣсь съ первой страницы объявляется, что книга написана для спеціалистовъ и стоитъ выше пониманія обыкновеннаго читателя. И въ самомъ дѣлѣ: изложеніе ея сжато до послѣднихъ предѣловъ возможности, выраженіе мыслей сведено на minimum словъ, разъясняющіе примѣры приведены, такъ сказать, въ обрѣзъ, языкъ тяжелъ, взъерошенъ причудливыми терминами, формулами, схематическими чертежами, вычурными знаками и всевозможными камнями преткновенія, какіе только можно было изобрѣсти... Вообще, волшебная область реформы логики старательно обставлена рогатками и шлахбаумами и обнесена своего рода контръ-валаціонною линіею,—все противъ вторженія въ нее обыкновеннаго читателя. Не ясно-ли, что вся эта фортификація въ корнѣ убиваетъ благодѣтельное значеніе избраннаго авторомъ анти-метафизическаго направленія и сводитъ его къ тому-же, за что не мало была осуждаема метафизика:—къ служенію тѣсному кружку ушедшихъ въ свою скорлупу буквоѣдовъ, къ оторванности отъ жизни праздномыслящихъ поклонниковъ мудреной абракадабры, къ учено-аскетическому отшельничеству поборниковъ безпечальнаго созерцанія, къ наивному самодовольствію ученыхъ пискарей, погружающихся въ искусственную муть безплодныхъ умозрѣній, къ высокомѣрію заносчивыхъ педантократовъ, всѣми силами отбивающихся отъ наплыва запросовъ дня и требованій жизни... Тяготѣніе ко всѣмъ этимъ перламъ и адамантамъ современной каббалы одинаково ненавистно обыкновенному читателю—преподносится-ли оно ему подъ приправой научной или метафизической. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ усматриваетъ одинъ лишь миражъ и не увлекается сулимыми ему приманками.

Но—не пропустимъ важной характеристической черты—если-бы рвеніе г. Грота не перевалило черезъ край, если-бы онъ не дошелъ до того, что представилъ себѣ даже своихъ товарищей-спеціалистовъ знающими лишь только многое (а не все), что имъ слѣдуетъ знать для пониманія книги, и если-бы онъ на этомъ основаніи не взялъ на себя трудъ порастолковать имъ то, другое, и при этомъ не пересолилъ, то изложеніе книги осталось-бы однороднымъ и не испещрилось-бы пережевываніемъ азбучностей, но зато ее бы, пожалуй, не смогли понять и спеціалисты, и автору въ самомъ дѣлѣ удалось-бы достигнуть кульминаціоннаго пункта гелертерства: онъ пріобрѣлъ-бы право утверждать, что книга его написана имъ для самого себя.

Теперь онъ старается увѣрить насъ—если мы вѣрно поняли его мысль—что онъ не столько на самомъ дѣлѣ старался сдѣлать свою книгу недоступною для обыкновенныхъ читателей, сколько преувеличилъ, быть можетъ, свое заявленіе о ея недоступности, онъ утверждаетъ при этомъ, что поступилъ такъ изъ скромности. Положимъ, что это и такъ; подъ этою скромностью, однако же пришлось сдѣлать подпись,—и главное—сочиненіе г. Грота остается и изъ него можно видѣть ясно, что если заявленіе его перехватило черезъ край, то все-же таки желаніе его быть непонятнымъ для обыкновеннаго читателя было очень интенсивно. Правда, исполненіе этого желанія было невыдержано: авторъ слишкомъ увлекся мыслью о неподготовленности къ его реформѣ самихъ спеціалистовъ; но этой причинѣ получилось произведеніе, о которомъ самъ авторъ не могъ рѣшить—доступно-ли оно обыкновенному читателю или нѣтъ. На стр. XIII предисловія онъ утверждаетъ одно, на стр. XVII—другое. Что-же касается самого намѣренія, которое авторъ старается теперь стушевать, то кто-же изъ читателей его диссертаціи можетъ имѣть тутъ хоть малѣйшія сомнѣнія? Возьмемъ, напримѣръ, хоть вопросъ о терминологіи, который представляется теперь г. Гротомъ въ такомъ смягченномъ видѣ; въ рѣшеніи этого вопроса, «какъ солнце въ малой каплѣ водъ», отражается то безшабашное стремленіе къ ученой тарабарщинѣ, отъ котораго г. Гротъ теперь такъ открещивается. Здѣсь совершенно прямо высказывается явное предпочтеніе интересамъ какой-то науки будущаго современныхъ живыхъ интересовъ людей, жаждущихъ просвѣщенія. На стр. 237 онъ ссылается на мнѣніе свое по этому вопросу, высказанное ранѣе въ другомъ сочиненіи автора—«О психоло-

гіи чувствованій», какъ на такое, отъ котораго онъ не отступилъ ни на шагъ. Раскроемъ-же «Психологію чувствованій» и посмотримъ, что здѣсь говорится. Тутъ весьма недвусмысленно утверждается, что авторъ считаетъ всякую попытку выработать національную терминологію нелѣпою и безплодною и не только не намѣренъ замѣнять иностранные термины русскими, не расположенъ и существующіе уже русскіе термины замѣнить какими-нибудь техническими названіями классическаго корня. Онъ, правда, согласенъ упоминать русскіе переводы иностранныхъ терминовъ, «но эти переводы—спѣшитъ прибавить онъ тотчасъ-же — будутъ имѣть исключительною цѣлью «наглядность (?) пониманія» и не помѣшаютъ вамъ употреблять потомъ, въ большинствѣ случаевъ, приведенныя иностранныя техническія выраженія» (стр. 487). Мы не станемъ останавливаться на послѣдствіяхъ авторскаго принципа въ установленной научной терминологіи, гдѣ—въ геометріи, напримѣръ,—были-бы отодвинуты на задній планъ такіе термины, какъ прямой уголъ, касательная, сѣкущая, кругъ, шаръ и т. п., или въ астрономіи—термины: вращеніе, обращеніе, равноденствіе, солнцестояніе и т. д., или въ химіи—кислота, окись, закись, перекись и т. д. Мы обратимъ вниманіе лишь на то, что снисхожденіе къ русскимъ терминамъ, выраженное въ приведенныхъ выше словахъ автора, только усиливаетъ его презрѣніе къ нимъ и очень ужъ напоминаетъ тѣ «крохи, бросаемыя со стола блаженныхъ», о которыхъ говоритъ Данте въ своемъ «Convito»,—крохи, попадающія отъ пищи ангельской тѣмъ несчастнымъ, пища конхъ одна и та-же, что у скота... Затѣмъ мы проходимъ молчаніемъ и странное смѣшеніе авторомъ «національной науки» и «національной терминологіи», которое идетъ у автора рядомъ съ приведеннымъ выше заявленіемъ, и замѣтимъ только, что во всемъ этомъ всего менѣе можно было замѣтить и самомалѣйшее даже отвращеніе къ напусканію гелертерскаго тумана.

Справедливо замѣчено было однимъ историкомъ литературы, что «начинающаго книгу слѣдуетъ считать ученикомъ оканчивающаго ее». (*Theophilo Braga*. Manual da Historia da Litteratura Portugueza desde as suas origens até ao presente. 1875. p. VII). И вотъ, въ самомъ дѣлѣ, оказывается, что, *оканчивая свой трудъ, г. Гротъ далъ зарокъ уже никогда не писать иначе, какъ вполнѣ популярно, ибо кастовыя тенденціи многихъ нашихъ оффиціальныхъ ученыхъ ему глубоко ненавистны.* Фактъ этотъ имѣетъ для

насъ основоначальное значеніе. Если-бы мы могли предвидѣть такое превращеніе, если-бы мы могли знать напередъ, что никогда ужъ не услышимъ отъ г. Грота маловразумительныхъ намъ, обыкновеннымъ читателямъ, рѣчей, то мы, конечно, отказались-бы отъ надгробнаго слова надъ гелертерствомъ, скончавшимся отъ самоубійства, и терпѣливо стали-бы ждать грядущихъ популярныхъ сочиненій, которыя, быть можетъ, принесли-бы много полезнаго для насъ, т.-е. толпы, къ которой мы себя причисляемъ и не можемъ не причислять.

Теперь-же, пока популярныя сочиненія эти еще въ будущемъ, обратимся къ тѣмъ вопросамъ, которые были подняты сочиненіями уже существующими и намъ извѣстными, и попытаемся отвѣтить на представленные г. Гротомъ возраженія.

Полемическое искусство не принадлежитъ къ числу сильныхъ сторонъ таланта г. Грота. Обнаружилось это ясно при спорѣ его съ г. Козловымъ, спорѣ, о которомъ мы имѣли уже случай говорить. Слабая эта сторона довольно явственно проглядываетъ и въ возраженіи г. Грота на наши замѣтки, какъ мы сейчасъ и будемъ имѣть случай убѣдиться.

Мы не станемъ долго останавливаться надъ формой полемики. Отмѣтимъ только мимоходомъ испещряющія ее выраженія: «абсурдъ», «неумѣстное разсужденіе», «путаница», «борьба съ мельницами» и т. п. Осмѣянный Альбертомъ Лани устремленный горѣ указательный перстъ педагога сказался тутъ во всей своей прелести. Но не станемъ смущаться и начнемъ возражать, хотя это и было-бы—выражаясь въ прадѣдовскомъ «штилѣ»—«дерзновенію подобно».

Читая замѣчанія г. Грота, нельзя не остановиться на томъ, что противорѣчіе нашихъ взглядовъ его воззрѣніямъ онъ старается представить противорѣчіемъ *общепризнаннымъ* научнымъ истинамъ, и всѣ свои утвержденія представляетъ какъ-бы отъ имени самой науки. Этимъ чисто-адвокатскимъ пріемомъ г-нъ Гротъ разсчитываетъ, конечно, произвести извѣстное впечатлѣніе на читателя и поставить себя въ его глазахъ на какую-то недосягаемую высоту научной непогрѣшимости. Удаченъ-ли, однако же, выборъ такого пріема въ научной полемикѣ? Сейчасъ мы это увидимъ.

Допустимъ, что занятое г. Гротомъ положеніе дѣйствительно представляетъ нѣчто въ родѣ неприступной крѣпости. Что-же? Положимъ-ли мы оружіе, или ринемся на этотъ философскій

Гибралтаръ? Ни то, ни другое: мы не станемъ брать крѣпость г. Грота ни приступомъ, ни осадой, а попробуемъ ее обойти. Мы увѣрены, что, заручившись надежными союзниками, мы легко обнаружимъ фиктивность неприступности, которою насъ пугаютъ, и не потратимъ много времени. Въ самомъ дѣлѣ, обыкновенный читатель не тщится выставлять свои собственныя теоріи; онъ довольствуется чужими, лишь-бы онѣ были прочно установлены, и придерживается ихъ до тѣхъ поръ, пока не явятся лучшія. Во всякомъ случаѣ, онъ считаетъ себя вполнѣ благополучнымъ, когда можетъ указать на благонадежные источники и обнаружить при этомъ, что въ виду всякаго новшества онъ является не новорожденнымъ младенцемъ, которому впервые приходится испытывать впечатлѣнія философскаго бытія, но обремененнымъ нѣкоторымъ багажемъ путникомъ, который, не кидаясь опрометью на новый товаръ, роется прежде въ своемъ скарбѣ и старается рѣшить, нѣтъ-ли у него уже въ запасѣ чего-нибудь равноцѣннаго, а то, пожалуй, и лучшаго.

Такъ, напримѣръ, въ вопросѣ, съ котораго мы думаемъ начать нашу отповѣдь, а именно въ вопросѣ объ опредѣленіи психологіи и логики, а также и ближайшихъ—соприкасающихся съ нимъ, мы можемъ сопоставить воззрѣнія г. Грота съ воззрѣніями другихъ спеціалистовъ и прежде всего убѣдиться хоть въ томъ, что на безаппеляціонныя, повидимому, сентенціи г. Грота на самомъ дѣлѣ существуетъ еще аппеляція. Такъ, когда онъ провозглашаетъ что психологія есть то-то, а логика—то-то, мы сразу видимъ, что все это представляется страннымъ только до тѣхъ поръ, пока остается неизвѣстнымъ, что такъ говоритъ именно г. Гротъ и что оппонирующій ему обыкновенный читатель вовсе не остается совсѣмъ изолированнымъ, какъ та шахматная фигура, которая навлекаетъ партіи матъ. Когда-же окажется, что дѣло обстоитъ именно такъ, то явится возможность посравнить мнѣнія союзниковъ обыкновеннаго читателя съ мнѣніями г. Грота, поразмыслить о ихъ соотносительной стоимости и—чего не бываетъ—стать не на сторону г. Грота.

Обратимся теперь къ первому нашему союзнику, бывшему доценту философіи лейпцигскаго университета, Карлу Гёрингу, и начнемъ съ его опредѣленія теоріи познанія, въ связи съ которымъ намъ яснѣе станутъ опредѣленія психологіи и логики.

Гёрингъ считаетъ теорію познанія *наукою*, установляющей правила, примѣненіе которыхъ должно привести къ осуществле-

нію познанія. Теорія познанія съ этой точки зрѣнія является наукою не описательною, т.-е. она не описываетъ, какимъ образомъ совершается *естественный ходъ мышленія*, не открываетъ *естественныхъ законовъ мышленія*, но указываетъ, *какъ должна идти мысль для достиженія цѣлей познанія*, и, слѣдовательно, даетъ нормальные или руководящіе законы мышленія. По этой причинѣ она есть формальная наука или, какъ Гёрингъ называетъ ее, демонстративная. Теорія познанія, какъ демонстративная наука, всего прежде имѣетъ въ виду опредѣленную цѣль, именно—цѣль познанія, и только по отношенію къ этой цѣли находитъ подтвержденіе своего значенія, какъ науки. Но такъ какъ цѣль эта ставится по свободному рѣшенію людей, то, подобно другимъ человѣческимъ цѣлямъ, она и задается измѣненіемъ или улучшеніемъ естественнаго теченія вещей и такимъ образомъ опредѣляетъ и другую сторону отношеній къ служащей ей наукѣ, а именно—къ устраненію заблужденій, неизбѣжныхъ при естественномъ ходѣ мышленія. Такая постановка задачъ теоріи познанія необходимо предполагаетъ знаніе естественныхъ заблужденій недисциплинированнаго ума и, слѣдовательно, *науку, изучающую естественные законы мышленія; эта описательная наука есть психологія*, которую и слѣдуетъ поэтому разсматривать какъ закономѣрное и необходимое основаніе теоріи познанія. Что-же касается *логики*, то Гёрингъ разсматриваетъ ее какъ составную часть теоріи познанія, вырабатывающую понятія, сужденія и умозаключенія изъ матеріала, доставляемаго теоріею познанія, и потому не могущую существовать независимо отъ теоріи познанія. (C. Göring. Sistem der kritischen Philosophie. I. S. 38—39; 306—307).

Опредѣленіе теоріи познанія, психологіи и логики, устанавливаемое Гёрингомъ, и вытекающій изъ этого опредѣленія взглядъ на отношеніе обыденнаго мышленія къ познанію вовсе не ведетъ, какъ видно изъ предшествовавшаго, къ тѣмъ несообразностямъ, которыя представляются столь непзбѣжными въ этомъ случаѣ для г. Грота. Идея развитія легко разрѣшаетъ всѣ мнимыя, будто-бы здѣсь кроющіяся, трудности и выводитъ вопросъ на ту прямую дорогу, на которой, къ превеликой радости обыкновеннаго читателя, не встрѣчается ни безконечныхъ загородокъ, отгородокъ и перегородокъ, ни той аракчеевской симметріи, которая одною присущею ей смертоносною скукою придаетъ корнямъ ученія непомѣрный избытокъ горечи. Вы-

ходъ на эту прямую дорогу мы совершимъ при помощи второго союзника нашего, профессора философіи мессинскаго лицея, Серджи, который разсматриваетъ занимающій насъ вопросъ въ своемъ курсѣ психологіи. Пояснивъ, что натуральный процессъ мышленія не можетъ по справедливости называться разумнымъ, Серджи указываетъ на тѣ первобытныя племена, которыя находятся на такой низкой степени развитія, что не могутъ даже составить себѣ полнаго представленія о внѣшнихъ предметахъ, не имѣютъ никакой идеи о выпуклости предметовъ и о перспективѣ, не умѣютъ считать далѣе трехъ или четырехъ, неспособны мыслить какую-бы то ни было отвлеченную идею и вообще незнакомы съ процессомъ отвлеченія. «Для такихъ людей,—говоритъ онъ,—открытіе отношеній между предметами и тѣмъ болѣе отношеній между отношеніями—*невозможно*, и тѣмъ менѣе возможно для нихъ выраженіе этихъ отношеній въ опредѣленныхъ и послѣдовательныхъ предложеніяхъ. Умственныя условія первобытныхъ народовъ не одинаковы, однако жъ; *умственные процессы не всегда у нихъ такъ просты;* существуетъ много степеней психическаго развитія у различныхъ расъ и племенъ, и въ этомъ отношеніи можно-бы открыть чувствительную постепенность, начиная съ самой низшей, до той, на которой находится образованный европеецъ. Въ этой скалѣ развитія сказался-бы съ чрезвычайною легкостью и точностью не только законъ психическаго развитія, но рядомъ съ нимъ и другой законъ—законъ наслѣдственности, тѣсно связанный съ закономъ развитія. Отдѣльныя личности расъ, стоящихъ въ умственномъ отношеніи на высокой степени, не начинаютъ развитія своего съ самой нижайшей ступени, но обладаютъ сравнительно высшей организаціей—результатомъ психо-органическаго развитія расы. Можно сказать поэтому, не рискуя впасть въ ошибку, что человѣкъ *сталъ разумнымъ, но первоначально не былъ таковымъ*, и что въ расахъ высшихъ человѣкъ родится разумнымъ только органически и переходитъ затѣмъ, при помощи упражненія и развитія соотвѣтственныхъ органовъ, отъ жизни зачаточной и младенческой—къ зрѣлой». Приведя затѣмъ примѣръ, подтверждающій это воззрѣніе, Серджи приходитъ къ тому окончательному заключенію, что различіе между расами въ умственномъ отношеніи слѣдуетъ считать не только количественнымъ, но и качественнымъ,—заключеніе, на важности котораго нѣтъ, конечно, надобности останавливаться. (*G. Sergi.* Elementi di psicologia. 1879 p. 254—7).

Если затѣмъ мы обратимся къ анатомо-физіологическимъ основамъ процесса мышленія, то здѣсь на помощь намъ явится третій нашъ союзникъ, вѣнскій профессоръ Мейнертъ, знаменитѣйшій изъ современныхъ спеціалистовъ по экспериментальной психологіи, и объяснитъ намъ, что хотя онъ и принимаетъ, вмѣстѣ съ Вундтомъ, что умозаключеніе есть основная логическая дѣятельность, тѣмъ не менѣе повсемѣстность причинныхъ соединеній въ мозгѣ сама по себѣ еще не даетъ, по мнѣнію Мейнерта, логическаго мышленія, субъективныя соединенія могутъ и не основываться на внѣшней связи вещей. «Импульсъ къ логической формѣ мышленія, говоритъ онъ далѣе,—дается только фактомъ совпаденія какого-нибудь субъективнаго соединенія съ зависимостью вещей другъ отъ друга. *Въ строеніи мозга нѣтъ никакихъ элементовъ, превращающихъ чисто-субъективныя умозаключенія въ логическую дѣятельность. Строеніе мозга весьма благопріятствуетъ разнымъ безполезнымъ соединеніямъ*, напр., въ родѣ соединенія образа луны съ движеніемъ задуванія; въ мозгѣ ребенка подобнымъ соединеніямъ нѣтъ числа» (*Т. Мейнертъ*. Механика душевной дѣятельности. Перев. В. Кандинскаго. 1880. См. также: Th. Meynert. Ueber Fortschritte im Verständniss der krankhaften psychischen Gehirnzustände. 1878. S. 31 und folg.).

Насъ очень соблазняетъ еще новая книга страсбургскаго профессора Виндельбанда—«Präludien», 1884—тѣмъ обиліемъ мѣткихъ и характеристическихъ чертъ, которыми она могла-бы снабдить нашъ бѣглый эскизъ, но мы боимся удлиннять его, тѣмъ болѣе, что многое пришлось-бы повторять, только на иной ладъ. Существенное-же и теперь достаточно уже выяснилось. Такъ, очевидно стало, конечно, что мы не имѣемъ никакой нужды отвергать существованія разрозненныхъ знаній у обыденнаго мышленія, но что независимо отъ нихъ предъ нами отчетливо возникаетъ типъ этого рода мышленія въ отличіе отъ типа научнаго познанія. Типъ этотъ опредѣляется общею совокупностью присущихъ ему основныхъ чертъ, а не частными и второстепенными штрихами, подобно тому, какъ типъ мѣстности, степной, напримѣръ, или гористой, опредѣляется помимо случайныхъ деревьевъ или разбросанныхъ равнинъ. Что-же касается до опредѣленія того историческаго момента, съ котораго слѣдуетъ считать нарожденіе научнаго типа, то и этотъ вопросъ, вполнѣ согласно съ приведенными выше основаніями, рѣшенъ уже

страсбургскимъ профессоромъ Лаасомъ, къ сочиненію котораго «Idealismus und Positivismus» мы и отсылаемъ любознательнаго читателя. О точкѣ зрѣнія 25-го вѣка у насъ не можетъ быть рѣчи потому, что оцѣнку явленій умственной жизни мы считаемъ возможной лишь съ той точки зрѣнія, которая дается намъ живою дѣйствительностью, т.-е. даннымъ моментомъ развитія научнаго знанія; разсуждать-же о томъ, что было-бы, если-бъ всего того, что есть вокругъ насъ, не было-бы, мы считаемъ по меньшей мѣрѣ безполезнымъ.

Въ заключеніе этой группы замѣтокъ скажемъ еще два слова и по вопросу о цѣляхъ въ наукѣ, о которыхъ, какъ оказывается изъ приведенныхъ указаній, не отказываются говорить и ученые спеціалисты. И это происходитъ по той простой причинѣ, что ученые эти различаютъ, надо полагать, науки абстрактныя отъ наукъ конкретныхъ. Эти послѣднія, какъ извѣстно, считаются «основами дѣятельности», и не говорить въ нихъ о цѣляхъ—мудрено. Обо всемъ этомъ, какъ-то: о различіи абстрактныхъ и конкретныхъ наукъ, различіи конкретныхъ наукъ и теорій искусствъ и т. д., было достаточно говорено уже въ нашей литературѣ и еще входить въ эти пренія было-бы излишне. Замѣтимъ только, что сравненіе мышленія и пищеваренія никакъ не можетъ дать серьезной параллели между двумя этими функціями за отсутствіемъ сознанія у органовъ пищеваренія и невозможности существованія такихъ желудочно-кишечныхъ явленій, которыя соотвѣтствовали бы явленіямъ психическимъ. Нѣтъ явленій—нѣтъ и наукъ, ихъ изучающихъ; не должно быть и никакихъ толковъ, абутирующихъ въ это пустое мѣсто.

Нашъ отвѣтъ на общую совокупность вопросовъ, связанныхъ съ утверждаемымъ нами смѣшеніемъ у г. Грота психологіи, теоріи познанія и логики былъ бы неполонъ, если бы мы прошли молчаніемъ взглядъ г. Грота на научное значеніе эксперимента. «Неужели,—говоритъ онъ —мой рецензентъ не видитъ признаковъ «эксперимента» въ наблюденіяхъ астрономовъ надъ небесными тѣлами помощью телескоповъ? Тамъ, гдѣ есть организованное и прибѣгающее къ искусственнымъ орудіямъ и пріемамъ наблюденіе, оно и называется экспериментомъ. Поэтому я утверждаю вновь, что экспериментъ есть «методическое наблюденіе» и характеристическій признакъ *всякой науки* (не выключая и такія несовершенныя науки, какъ психологія)». Мы очень хорошо понимаемъ такое упорное отстаиваніе мнѣнія, крушеніе

котораго повлечетъ за собою и всю симметрическую схему познавательной дѣятельности—одинъ изъ краеугольныхъ камней «реформы». Намъ очень жаль, однако же, что новые доводы автора представляются намъ все-же неубѣдительными и какъ будто только и мѣтящими на прилаживаніе злополучнаго «эксперимента» къ схемѣ, въ которой, на нашъ взглядъ, онъ что-то не крѣпко держится. Конечно, если авторъ прикажетъ ему, онъ будетъ держаться, но въ глазахъ спеціалистовъ естествознанія, да едва-ли не всего читающаго свѣта, останется убѣжденіе, что экспериментомъ называется такое наблюденіе, при которомъ изучается не тотъ или другой существующій въ природѣ случай, а случай искусственно получаемый посредствомъ цѣлесообразнаго сопоставленія обстоятельствъ, или случай, такъ сказать, вновь создаваемый. Поэтому мы утверждали и утверждаемъ, что экспериментъ въ астрономіи невозможенъ и что наука эта не въ состояніи протиснуться поэтому въ схему на указанное ей мѣсто, почему схема или должна обойтись безъ нея, или повиниться въ своей искусственности и потерпѣть за оную кару эфемерности.

Теперь, когда нашъ взглядъ на разсматриваемую группу вопросовъ очертился во всей его рѣзкой противоположности взгляду г. Грота, мы можемъ спросить всякаго, прослѣдившаго за ходомъ нашихъ аргументовъ, остались-ли мы внѣ науки, отдѣлясь отъ г. Грота, или благополучно въ ней пребывали и пребываемъ? Если имена нашихъ союзниковъ имѣютъ какое-нибудь значеніе, то обыкновенный читатель, кажется намъ, имѣетъ право мечтать, что онъ здраво и невредимо сидитъ въ той самой крѣпости, въ которую думали его не пустить, и эту мечту едва ли удастся отнять у него такъ легко, какъ могло, пожалуй, казаться.

Теперь, когда для читателя выяснилось то различіе, которое мы дѣлаемъ между предметомъ психологіи и—логики, между обыденнымъ мышленіемъ и познаваніемъ, ему легко будетъ оцѣнить и дальнѣйшій ходъ нашихъ возраженій противъ ближайшихъ послѣдствій смѣшенія понятій, поддерживаемаго г. Гротомъ. Такъ по вопросу о заблужденіяхъ и иллюзіяхъ мы въ замѣткахъ нашихъ предъявили ему требованія, основательность которыхъ онъ отвергаетъ, но которыя мы и теперь не отказываемся отстаивать. Если бы г. Гротъ, подобно Ст. Миллю, утверждалъ, что «логика изучаетъ наши умственныя отправленія,

лишь насколько они доставляютъ знаніе намъ самимъ и даютъ намъ же возможность пользоваться этимъ знаніемъ» (Дж. Ст. Милль. Система логики. Изд. 2, I. Стр. 5), то мы допустили-бы, конечно, возможность и для него по вопросу о заблужденіяхъ держаться извѣстныхъ узкихъ рамокъ, но такъ какъ г. Гротъ имѣетъ въ виду «сдѣлать изъ логики науку естественную, одну изъ наукъ объ организмѣ человѣка» и подводитъ подъ понятіе «познавательной дѣятельности» не только то, что и мы считаемъ таковымъ, но еще и то, что мы, вслѣдъ за Миллемъ, считаемъ лишь «умственнымъ отправленіемъ», то мы и считаемъ себя въ правѣ требовать отъ него значительнаго расширенія въ постановкѣ нѣкоторыхъ вопросовъ и, между прочимъ, вопроса о заблужденіяхъ, въ который самъ г. Гротъ счелъ нужнымъ включить чисто-психологическій вопросъ объ иллюзіяхъ. Разногласіе наше начинается со взгляда на значеніе раздѣлительной черты между здравымъ разумомъ и областью патологическихъ явленій. Степень рѣзкости этой черты есть, конечно, понятіе относительное; сопоставленія, приведенныя въ нашей статьѣ, доказали, однако же, какъ мы полагаемъ, что г. Гротъ не только проводитъ ее слишкомъ рѣзко, но и видитъ ее тамъ, гдѣ современные спеціалисты вовсе ее не замѣчаютъ. Теперешнее объясненіе г. Грота нисколько не улучшаетъ прежняго его рѣшенія этого вопроса. Не говоря о томъ, что выраженіе «*болѣе или менѣе здоровая* умственная организація» не совсѣмъ-то понятно, а различеніе *ненормальнаго* умственнаго состоянія отъ *патологическаго* и совсѣмъ загадочно, самая ссылка на возможность теоретическаго установленія разграничивающей черты не удовлетворяетъ насъ потому, что мы понять ее не можемъ, не переходя съ точки зрѣнія г. Грота на точку зрѣнія Гёринга и Милля. И дѣйствительно, всѣ представители науки о человѣческомъ организмѣ единогласно утверждаютъ, что такой черты *не существуетъ*. Вотъ тутъ-то и является сама собою необходимость въ помощи значительнаго и важнаго контингента спеціалистовъ по изученію организма человѣческаго—гг. психіатровъ, призывъ которыхъ г. Гротъ считаетъ излишнимъ, находя, что наши «поученія»—т. е. по просту справки въ области психіатріи—не идутъ къ дѣлу. А мы, какъ на зло, узнаемъ съ разныхъ сторонъ, что психіатры въ новѣйшее время съ особеннымъ усердіемъ и успѣхомъ посвящали свои труды тому вопросу, о которомъ идетъ рѣчь; волей-неволей приходится принять къ свѣдѣнію ихъ мнѣнія,

какъ мнѣнія спеціалистовъ,—тогда само собою и обнаружится, идутъ-ли мнѣнія эти къ дѣлу или нѣтъ.

Одинъ терминъ *«аналогіи помѣшательства»* самъ по себѣ ужъ очень краснорѣчивъ. Изслѣдуя эти аналогіи, Крафтъ-Эбингъ указываетъ на шаткость границъ здраваго и больного ума и останавливается, между прочимъ, на поразительномъ типѣ того рода людей, сужденія о которыхъ обыкновенно различествуютъ до такой степени, что колеблются между приравниваніемъ ихъ геніямъ, или сопричисленіемъ къ сумасшедшимъ. (*D-r R. v. Krafft-Ebing.* Lehrbuch der Psychiatrie, I, S. 31 u. f.). Эта аналогія между безумными и тѣми, конхъ считаютъ «учителями знающихъ» (i maestri di color che sanno) проведена съ особенною послѣдовательностью и разработана съ наибольшею полнотою извѣстнымъ психіатромъ Ломброзо. Въ его монографіи «Genio e Follia» приведена масса самыхъ поразительныхъ и неожиданныхъ сближеній. Читая ее мы видимъ, что и истина, и заблужденіе являются внѣдренными съ особенною силою у геніевъ и помѣшанныхъ, что возбудимость тѣхъ и другихъ имѣетъ множество общихъ имъ обоимъ чертъ сходства, что поэтическое вдохновеніе и энтузіазмъ геніевъ очень часто переходятъ непосредственно въ галлюцинаціи (Genio e Follia. 4 edizione. Cap. II), что меланхолія—т. е. совершенно опредѣленное патологическое состояніе—часто служила основаніемъ, на которомъ развивалось міросозерцаніе великихъ мыслителей и поэтовъ (id. p. 125).

Если мы вдумаемся въ эти сближенія и аналогіи, если, не ограничиваясь однимъ, двумя сочиненіями, о нихъ трактующими, мы оглянемъ всю обширную литературу вопроса: Лелю, Моро, Гагена, Ю. Б. Мейера, П. Якобія, то убѣдимся, конечно, что игнорированіе психіатріи при изученіи мышленія и познаванія можетъ оказать крайне вредное вліяніе. «Ни одинъ профессоръ метафизики или психологіи не можетъ претендовать на знаніе элементовъ того, чему онъ обучаетъ, пока онъ не ознакомился съ явленіями помѣшательства, идіотизма и эпилепсіи—говоритъ Гальтонъ въ своемъ новомъ «Изслѣдованіи человѣческихъ способностей».—Онъ долженъ изучить проявленія болѣзни и врожденнаго помѣшательства столько-же, какъ и здороваго состоянія и высшаго умственнаго развитія». (*F. Galton.* Inquiries into human faculty. 1883, p. 68). Будемъ надѣяться, что все болѣе и болѣе возрастающая масса психіатри-

ческихъ изслѣдованій будетъ служить лучшимъ подкрѣпленіемъ этой мысли и убѣдитъ г. Грота, что взятая имъ на себя задача едва-ли разрѣшится, если онъ будетъ продолжать считать справки въ области психіатріи неидущими къ дѣлу.

Понятное дѣло, конечно, что всякій новый матеріалъ всего прежде долженъ быть прочитанъ и что ранѣе о немъ и говорить не стоитъ. Теперь, напримѣръ, г. Гротъ совѣтуетъ намъ подумать объ указанной нами идеѣ «энтификаціи» Виньоли и выражаетъ надежду, что мы додумаемся до объясненія этой идеи все тѣмъ-же фактомъ «ненаблюденія и незнанія». Если-бы ранѣе, чѣмъ давать этотъ совѣтъ, г. Гротъ потрудился узнать, что Виньоли усматриваетъ процессъ энтификаціи прежде всего у животныхъ, то—надо полагать—мы-бы остались безъ очень неудачнаго совѣта. Замѣтимъ еще кстати, что терминъ «энтификація» ничего мудренаго не представляетъ; по крайней мѣрѣ, онъ нисколько не мудренѣе столь милыхъ сердцу г. Грота «эвакуаціи» и «аккумуляціи». Слово «энтификація» выработано изъ самаго обыкновеннаго слова *идентификація* и, слѣдовательно, въ *болѣе сложной формѣ* существовало уже давно.

Перейдемъ теперь къ вопросамъ второстепеннымъ и постараемся быть сколь возможно болѣе краткими.

Г. Гротъ говоритъ, что мы путаемъ вопросъ изложенія и изслѣдованія, а потому и толкуемъ неправильно его отношеніе къ предшественникамъ, представленное въ его сочиненіи съ полною ясностью. Возраженіе это—какъ мы думаемъ—вызвано лишь однимъ нежеланіемъ г. Грота понять наши замѣчанія. Насъ не столько интересовалъ вопросъ о томъ, какъ онъ излагаетъ свой предметъ, сколько другой, болѣе важный, а именно: вопросъ о томъ, какъ оцѣниваетъ г. Гротъ своихъ предшественниковъ и современниковъ. Рѣшеніе этого послѣдняго подавало намъ надежду на возможность облегчить для себя пониманіе и оцѣнку сочиненія самого г. Грота. Разсматривая этотъ вопросъ, мы прежде всего не могли не указать на явное противорѣчіе, встрѣченное нами у автора: на стр. XIV предисловія у него говорится о «весьма солидныхъ новѣйшихъ писателяхъ по логикѣ», а на стр. 22—23 текста утверждается, что настоящее логики до того хаотично, что даже задачи будущаго еще вовсе неопредѣлены. Тутъ, очевидно, сколько ни различай изложеніе отъ изслѣдованія, а солидности писателей, производящихъ только хаосъ, все-же не поймешь. Входя ближе въ

обслѣдованіе вопроса, мы старались пояснить, что расширеніе теоріи ассоціаціи невозможно, такъ какъ она достигла уже максимума возможной для нея широты, т. е. была уже приложена ко всѣмъ безъ исключенія психическимъ явленіямъ. Затѣмъ и по вопросу объ усовершенствованіи этой теоріи мы искали возможности согласить противорѣчивыя заявленія г. Грота, который, съ одной стороны, имѣлъ видъ получающаго богатое наслѣдство готовой теоріи, требующей только улучшенія, а съ другой представлялся не получающимъ ровно ничего, такъ какъ все прошлое логики будто-бы было до того никуда негодно, что всю работу приходилось начинать снова, на «совершенно новыхъ основаніяхъ, при помощи новыхъ методовъ и новой постановки вопросовъ» (стр. 22). Видя какъ злосчастная теорія ассоціаціи то признается за нуль, то полагается во главу угла новаго зданія, мы и считали себя въ правѣ предложить вопросъ: «дѣйствительно-ли старая теорія ассоціаціи такая ужъ несовершенная, и, въ особенности, требуется-ли ея расширеніе?» Не очевидно-ли, что отвѣтъ на этотъ вопросъ ужъ потому долженъ былъ явиться независимо отъ степени совершенства работы г. Грота, что и до сихъ поръ остается неизвѣстнымъ, состоитъ-ли эта работа въ усовершенствованіи старой теоріи или въ замѣщеніи ея чѣмъ-то совершенно новымъ.

Такъ какъ мы не касались вопроса о достоинствѣ теоріи г. Грота, предоставляя его вполнѣ компетентности спеціалистовъ, и ограничились одними замѣчаніями на служащія ей основой психологическія положенія, то и на этотъ разъ, оставляя вопросъ этотъ неразрѣшеннымъ, мы, для поясненія только-что высказанной мысли объ отношеніи теоріи г. Грота къ теоріямъ ей предшествовавшимъ, обратимся къ аналогическому сопоставленію, заимствованному изъ другой области знанія. Извѣстно, что Кювье не допускалъ объясненія всѣхъ измѣненій, которыя претерпѣла земля въ теченіе своей прошедшей жизни, однѣми только нынѣ дѣйствующими причинами, а потому и считалъ нужнымъ выдвинуть свою теорію катаклизмовъ. Ляйэль разрушилъ эту теорію, показавъ, что она была слишкомъ щедра на трату силъ и слишкомъ скупа на время; онъ доказалъ, что тихая, спокойная, но неутомимая энергія, не прекращавшаяся въ теченіи ряда вѣковъ, и произвела именно всѣ тѣ измѣненія, которыя теперь такъ поражаютъ насъ. Но теорія Ляйэля не охватывала всѣхъ явленій жизни земли: она объясняла измѣ-

ненія природы неорганической, но измѣненій природы органической объяснить не могла,—она была вѣрна, но недостаточно широка. Дарвинъ, какъ извѣстно, пополнилъ эту теорію и создалъ подтвержденіе ея именно тамъ, гдѣ до него видѣли слабую ея сторону, и теорія катаклизмовъ, державшаяся еще въ палеонтологіи, была окончательно вытѣснена и изъ этого послѣдняго своего убѣжища.

На этомъ примѣрѣ мы ясно видимъ, какимъ образомъ, при переходѣ отъ теоріи Кювье къ теоріи ляйэле-дарвиновской, совершается полное устраненіе первой и полная выработка заново второй; теорія катаклизмовъ не расширяется, такъ какъ расширять ее было некуда,—она охватывала *всѣ* явленія органической и неорганической природы,—а устраняется. Затѣмъ передъ нами уже ходъ роста и расширенія новой теоріи. При переходѣ отъ Ляйэля къ Дарвину, теорія остается и только совершенствуется, раздвигается, пополняется. Спрашивается теперь, съ которымъ изъ двухъ переходовъ, совершившихся въ области геологическихъ теорій, имѣетъ аналогію переходъ, совершенный въ логикѣ г. Гротомъ: относится-ли онъ къ своимъ предшественникамъ какъ Ляйэль къ Кювье, или какъ Дарвинъ къ Ляйэлю? Теперь, кажется, вопросъ ясенъ, только отвѣтить на него не легко, такъ какъ едва-ли можно настаивать на возможности расширенія отвергнутаго.

Точно также мы не спутали, а только не были въ состояніи распутать и другого вопроса,—вопроса о довѣріи къ авторитетамъ. Мы вездѣ цитировали самый текстъ и избѣгали пересказовъ; приведенныя же нами цитаты обнаружили, что г. Гротъ одновременно утверждалъ, что довѣрять слѣдуетъ только собственной мысли и что «индивидуальная мысль, по самымъ законамъ природы,—мысль болѣе или менѣе ограниченная, замкнутая въ извѣстные предѣлы, зависящіе отъ условій индивидуальнаго развитія даннаго человѣка». Теперь, благодаря его комментаріямъ, выходитъ, что противорѣчія здѣсь никакого нѣтъ; но мы спрашиваемъ, не смахиваютъ-ли такіе комментаріи на извѣстную подпись, сдѣланную малороссомъ подъ неудавшимся ему изображеніемъ льва?

Не знаемъ, нужно-ли намъ остановиться еще надъ вопросомъ о совращеніи ученыхъ въ спиритизмъ. Дѣло въ томъ, что ученые эти —вѣдь спеціалисты только своей *части науки*, а наука во всей ея цѣлости, т. е. *научная философія*, одна только и опре-

дѣляющая *научное міроразумѣніе*, имъ—какъ то само собою и очевидно—чужда. Но, къ счастью или къ несчастью, мы тутъ вступаемъ въ область преній о такомъ предметѣ, о которомъ мы говорили довольно и для возвращенія къ которому необходимы нѣсколько болѣе сильныя побужденія.

Остается еще разсужденіе о волѣ, ея безсознательности, слѣпотѣ, соотношеніи къ чувству и тому подобныхъ матеріяхъ. Обо всемъ этомъ мы говоримъ только тогда, когда считаемъ невозможнымъ не говорить да и не слишкомъ ужъ озабочены мыслью о краткости. Теорія воли не наша, и полемизировать о ней прежде всего слѣдуетъ не на основаніи нашихъ краткихъ набросковъ. О теоріи этой писано такъ много, что если-бы мы стали пытаться резюмировать хоть самое существенное на одной, двухъ страницахъ полемической статьи, то навѣрно опять рисковали-бы заслужить упрекъ въ темнотѣ, незаконченности, бѣглости изложенія и т. п. Да наконецъ, что-же изъ того, если указанная нами теорія воли и неудовлетворительна? Теорія г. Грота ровно ничего не выиграетъ оттого, что мы не умѣемъ подыскать лучшей взамѣнъ ея, а мы останемся при убѣжденіи, что намъ удалось доказать слабость обоснованія и нѣкоторыя прорѣхи въ этой насквозь пропитанной гелертерствомъ и страдающей противорѣчіями мудреной теоріи. Съ насъ и этого довольно, такъ какъ мы задаемся скромными цѣлями: не притязая на самостоятельное творчество, мы только ищемъ такихъ руководящихъ началъ для мысли и жизни, которые съ пользою для себя и себѣ подобныхъ могъ-бы усвоить

Обыкновенный читатель [1]).

1884.

---

[1]) Такъ была подписана статья въ журналѣ «Дѣло», 1884 г., № 1. *Примѣч. ред.*

ФИЛОСОФСКАЯ ИПОХОНДРІЯ.

П. Милославскій. Основанія философіи какъ спеціальной науки, Т. I. Казань. 1883.

Lunga promessa cole'attender corto.
Dante. Inferno, XXVII, 110.

Г. Милославскій принадлежитъ къ той особой группѣ писателей по философіи, интересы которой намъ совершенно чужды и произведенія которыхъ мы читаемъ не ради ихъ самихъ. Происходитъ это оттого, что ни талантъ, ни эрудиція,—буде они оказались бы у писателей этой категоріи,—никогда не могутъ привести ихъ къ чему-либо новому, а всегда и всенеизбѣжно даютъ въ результатѣ то, что такъ же хорошо извѣстно намъ, какъ и имъ самимъ. Одна же оригинальность формы или своеобразность изложенія,—если-бы онѣ встрѣтились у писателей этой группы, не могутъ еще сами по себѣ придавать произведеніямъ ихъ такую цѣнность, чтобы изъ-за нея стоило измѣнять давно установившійся обычай: не останавливаться надъ ними. По крайней мѣрѣ, намъ, за цѣлый рядъ лѣтъ, не приходилось встрѣчать ничего, что въ состояніи было бы повліять на измѣненіе такого обычая. Намъ могутъ замѣтить, пожалуй, что обычай не хорошъ потому, что, побуждая проходить мимо цѣлой группы литературныхъ произведеній извѣстнаго рода, онъ заставляетъ упустить случай для полемики съ присущей этого рода произведеніямъ тенденціей обскурантизма; но на это замѣчаніе можно возразить, что, съ одной стороны—противъ тенденціи этой новаго ничего уже сказать нельзя, и что кто и послѣ высказаннаго противъ нея ранѣе все-же-таки поддается ей, для того законъ логики не писанъ, а съ другой стороны, тенденція обскурантовъ, вообще говоря, проводится всегда такъ

прямолинейно и опирается на такую скудость мысли и знанія, что и бороться то въ концѣ-концовъ оказывается не съ чѣмъ. Остается затѣмъ единственный случай, а именно, когда оказывается, что данное сочиненіе не прямолинейно и не отличается скудостью подкладки; въ этомъ случаѣ, дѣйствительно, приходится дѣлать исключеніе. И мы и не отказывались дѣлать его; если же случилось это всего одинъ разъ въ теченіе десяти слишкомъ лѣтъ, то, по нашему убѣжденію, вина въ томъ не наша. Исключеніе, о которомъ мы говоримъ, сдѣлано было нами четыре года тому назадъ именно для автора сочиненія, о которомъ мы намѣрены теперь говорить, когда онъ выпустилъ въ свѣтъ свою первую книгу: «Типы современной философской мысли въ Германіи». Въ противоположность писателямъ этой же категоріи, г. Милославскій обнаружилъ въ своемъ трудѣ столько ловкой изворотливости и такъ сравнительно много необычной начитанности, что мы рѣшились остановить на немъ, вопреки обычаю, наше вниманіе. Въ лицѣ г. Милославскаго мы усмотрѣли тогда нарожденіе того новаго типа обскурантовъ, который, соединяя нѣкоторый талантъ съ извѣстною дозою эрудиціи, выдвигаетъ совершенно новый пріемъ спутыванія умовъ, изощряется въ изобрѣтеніи преградъ очень еще слабымъ у насъ просвѣтительнымъ вѣяніямъ совершенно на новый ладъ. Мы и сочли тогда долгомъ указать на это особаго рода новшество. Отдавъ полную справедливость способностямъ и знаніямъ автора, мы указывали на его философскую теорію, какъ на «заранѣе отпѣтую» и «лишенную просвѣтительнаго поученія». Полемика наша, хотя и совершенно опредѣленная, была мягкая, такъ какъ трудъ, о которомъ мы отдавали отчетъ, былъ первымъ трудомъ г. Милославскаго, и мы не рѣшались утверждать, что онъ, извращая основныя положенія научной философіи, относится къ нимъ недобросовѣстно или не способенъ доразумѣть ихъ. Въ его кривотолкѣ мы видѣли заблужденіе, которое могло быть временнымъ для самого автора; проявленія же развитія новаго, черезъ его посредство объявившагося, у насъ типа,— если такое развитіе не перешло бы въ вырожденіе,—мы могли ожидать не необходимо въ его же лицѣ. Къ сожалѣнію, новое его сочиненіе «Основы философіи, какъ спеціальной науки» убѣждаетъ насъ, что надежда на выходъ автора на добрый путь была лишь плодомъ нашихъ собственныхъ мечтаній, нисколько не оправдывавшихся дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла. Но-

вый трудъ г. Милославскаго вполнѣ убѣждаетъ насъ, что мы имѣемъ передъ собою неисправимаго обскуранта, находящагося притомъ же въ несомнѣнно патологическомъ состояніи. Симптомы этого состоянія, о которыхъ мы и будемъ сейчасъ говорить, указываютъ на присутствіе особеннаго, быть можетъ, и не часто встрѣчающагося вида ипохондріи, который, какъ мы думаемъ, можно назвать философской ипохондріей. Ипохондрія, какъ извѣстно, есть такое психопатическое умонастроеніе, которое приписываетъ организму психопата болѣзни, въ дѣйствительности не существующія. Г. Милославскій, выдавая свою философію за научную или за спеціальную науку, отождествляетъ свою умственную организацію съ организаціей этой философіи или науки, и въ то же время приписываетъ этой организаціи болѣзненныя свойства, которыя ей на самомъ дѣлѣ не присущи. Ипохондрическое состояніе его духа обнаруживается такимъ образомъ совершенно явственно, а намъ ставится задача изслѣдовать это состояніе и описать его. Намъ предстоитъ, кромѣ того, показать, что научная философія, свободная отъ тѣхъ недуговъ, которые приписываются ей ипохондрическимъ настроеніемъ г. Милославскаго, можетъ вполнѣ стать надежнымъ руководителемъ всѣхъ ищущихъ свѣта и истины, и совсѣмъ неспособна заводить въ тѣ дебри и трущобы, куда насильно тянетъ ихъ мрачный ипохондрикъ, смѣшивающій обѣтованную землю истины съ трясинами традиціонныхъ переживаній. Самъ г. Милославскій представляется намъ безнадежнымъ, но мы разсчитываемъ предотвратить вліяніе его настроенія на другихъ. Удастся-ли намъ это, конечно, не знаемъ, но, по крайней мѣрѣ, мы, по возможности, о томъ постараемся.

Ипохондрія, какъ извѣстно, заключается, впрочемъ, не исключительно въ представленіи несуществующихъ болѣзней; она, какъ и всякое психопатологическое состояніе, осложняется еще разными побочными иллюзіями и галлюцинаціями, ставящими ее очень часто, какъ то замѣчено изслѣдователями, какъ бы на границѣ активной и пассивной меланхоліи. Мы поступимъ, какъ намъ думается, совершенно цѣлесообразно, если начнемъ съ разсмотрѣнія такого рода второстепенныхъ лже-представленій, а затѣмъ уже примемся и за специфическія явленія ипохондріи.

На второй же страницѣ предисловія, г. Милославскій счи-

таетъ нужнымъ упомянуть о русскихъ рецензіяхъ на его предшествовавшій трудъ: «Типы современной философской мысли въ Германіи» и ведетъ рѣчь такъ, что даетъ понять читателю, конечно, такому, который позабылъ объ этихъ рецензіяхъ или вовсе не читалъ ихъ, что рецензіи эти будто бы только и выставили на видъ одинъ недостатокъ этого труда, именно неточность и неопредѣленность употребленныхъ въ немъ философскихъ терминовъ. Если бы было такъ, то русскія рецензіи не далеко ушли бы отъ той иностранной, которую намъ довелось читать, и которая только размазала богатую тему автора, но ни до чего существеннаго не доискалась и никакихъ концовъ не свела. Относительно же русскихъ рецензій, почтенный авторъ обрѣтается въ совершеннѣйшей иллюзіи и потому очень кстати будетъ напомнить ему основные тезисы одной изъ нихъ.

Г. Милославскому ставилось прежде всего на видъ то обстоятельство, что, характеризуя философскіе типы современной Германіи, онъ не замѣтилъ нѣкоего весьма солиднаго слона, а именно цѣлой ново-критической или научно-философской школы, и такимъ образомъ втихомолку обошелъ массу трудностей, съ которыми ему пришлось бы считаться. Затѣмъ, г. Милославскому указывалась та путаница, которая являлась въ его изложеніи, вслѣдствіе безпрестаннаго перемѣшиванія двухъ предметовъ (а не двухъ терминовъ): метафизики и научной философіи; онъ изображалъ упадокъ одной и возрастаніе другой такъ безпорядочно, что только-что торжествовавшее черезъ нѣсколько страницъ представлялось низвергающимся, и въ концѣ-концовъ получалась какая-то муть понятій, совершенно невразумительная. Далѣе, автору указывалось упущеніе изъ виду нѣкоторыхъ основныхъ положеній философской критики— различенія мышленія и знанія, знанія и пониманія, и еще ставилось ему въ вину полное извращеніе смысла основной идеи научной философіи; ему пояснялось, что научная философія, не отрицая самое себя, не можетъ считать задачею своей обоснованіе и укрѣпленіе понятій, образованныхъ вопреки ея методу и даже не безъ вліянія враждебнаго отношенія къ нему. Еще далѣе обращено было вниманіе на стремленіе автора подчинить научную философію предвзятымъ тезисамъ, все достоинство коихъ заключалось въ томъ, что они, по увѣренію автора, были установлены мыслителями «чистыми сердцемъ», но ненаучность которой была совершенно очевидна, и, наконецъ, выводилась

наружу шаткость и неопредѣленность смысла, соединеннаго авторомъ съ понятіемъ абсолюта.

Это ли все можетъ назваться недоумѣніемъ и упрекомъ по поводу недостаточной опредѣленности терминовъ, предоставляемъ судить всякому.

Сравнивая только-что приведенное заявленіе предисловія книги г. Милославскаго съ нѣсколько неожиданнымъ появленіемъ въ текстѣ сочиненія именъ многихъ представителей научно-философскаго направленія и названій ихъ произведеній, можно сказать, пестрящихъ страницы книги, нельзя не придти къ заключенію, что авторъ не давалъ себѣ опредѣленнаго отчета въ значеніи появленія всего этого въ его сочиненіи. На самомъ дѣлѣ, никакая научная философія ему не нужна, и онъ очень хорошо поступилъ бы, если бы оставилъ ее въ покоѣ. За то нельзя не заявить, до какой степени все, перешедшее изъ области научной философіи въ опеку г. Милославскаго, призрачно, иллюзорно: авторы, книги, принципы—все это проходитъ подобно тѣнямъ какой-нибудь фееріи, не оставляя никакого слѣда, не оказывая никакого вліянія на неуклонное слѣдованіе автора къ заранѣе намѣченной цѣли. Упорство его живо напоминаетъ мальчика извѣстной сказки, который, порѣшивъ разъ, что ему слѣдуетъ выть, воетъ въ хороводѣ, на свадьбѣ, на крестинахъ... Для г. Милославскаго, благодаря такой своеобразности его положенія, плодотворнѣйшія положенія научной философіи пропадаютъ совершенно втунѣ. Такъ, напримѣръ, различеніе знанія и пониманія для него не даетъ никакого результата, не спасаетъ его ни отъ одной изъ безднъ метафизики. Отдѣлавшись какимъ-нибудь замѣчаніемъ (стр. 276), читая которое, только пожимаетъ плечами всякій знакомый съ дѣломъ, г. Милославскій съ изумительною легкостью и развязностью приступаетъ затѣмъ къ той работѣ, которая собственно и составляетъ всю суть его манеры—къ приспособленію и прилаживанію тезисовъ научной философіи къ своей излюбленной теоріи. Результаты этого кунстштюка получаются, впрочемъ, крайне сомнительные, и новая научная философія почтеннаго автора все-же-таки является тою ипохондрическою философіею, которая все печалуется всякаго рода недугами. Остановимся прежде всего на весьма важномъ, глубокоорганическомъ недугѣ усугубленнаго пониманія, именуемаго «постиженіемъ». Постиженіе это имѣетъ значеніе до такой степени

руководящее, что оно именно и ведетъ къ первенствующему ипохондрическому недугу—алканію абсолюта. Въ погонѣ за постиженіемъ автору ужъ мало сведенія явленія къ его причинѣ и нѣтъ заботы о необходимости реальнаго существованія этой причины, необходимости замкнутія вопроса въ области возможнаго опыта; нѣтъ, теперь онъ забываетъ уже, что въ «настоящей» научной философіи пониманіе останавливается на извѣстной границѣ и мирится съ необходимостью одного только познанія (безъ сведенія къ причинѣ) извѣстныхъ предѣльныхъ явленій науки, и задается уже требованіемъ понять всѣ явленія безъ исключенія въ ихъ общемъ единствѣ, т.-е. *постигнуть* ихъ, свести ихъ къ единой общей причинѣ, хотя бы и трансцендентной... Тутъ-то г. Милославскій и попадаетъ въ бездну своего абсолюта!

А между тѣмъ, послушайте только, какою сиреною поетъ онъ, заводя рѣчь о метафизикѣ. Прочтите хоть ту главу, которая спеціально посвящена метафизикѣ (стр. 130—143) и вамъ навѣрно покажется, что вы присутствуете при отпѣваніи этого пережитаго міросозерцанія. Не торопитесь, однако, дѣлать заключенія: автору остается еще 300 страницъ для того, чтобы спутать все это и продѣлать все возможное для завлеченія васъ въ темнѣйшія дебри темнаго метафизическаго царства. Отъ пониманія у него одинъ скачокъ къ постиженію, а затѣмъ вы уже и въ объятіяхъ абсолюта... А между тѣмъ, вы только и слышите, какъ авторъ клянется Кантомъ, Ог. Контомъ, Гельмгольцемъ, Беномъ... Кѣмъ онъ только не клянется, чье имя не призываетъ всуе? И выходитъ, что его философія и есть-де самая настоящая критическая, самоновѣйшая и патентованная научная философія... Это ли еще не ипохондрія?

Вглядимся ближе въ эти удивительныя превращенія. Послѣ того, какъ почтенный авторъ натѣшился мыслью, что отнынѣ «научная философія», подобно золотой рыбкѣ, поступитъ къ нему на посылки; послѣ того, какъ онъ перебралъ цѣлую массу научно-философскихъ знаменитостей и съ легкостью свѣтскаго щеголя, сбивающаго хлыстикомъ цвѣты, растущіе по дорожкѣ, по которой онъ совершаетъ свою прогулку, онъ посбивалъ все ихъ значеніе и весь ихъ престижъ; послѣ того, какъ онъ, какъ дважды два-четыре, доказалъ, что всѣ эти знаменитости или служатъ ему, или говорятъ нелѣпости, послѣ всего этого и оказывается, что «конечнымъ идеаломъ не только философіи, но и всякой науки является познаніе абсолютнаго»...

«Абсолютное,—поясняетъ авторъ,—предстоитъ философу такъ же, какъ предъ физикомъ предносится идеалъ субстрата всѣхъ физическихъ явленій, познаніе котораго было бы равносильно полному, законченному познанію всѣхъ физическихъ явленій. Но, какъ физикъ по своему пути идетъ не отъ постиженія субстрата къ познанію явленій, а, напротивъ, отъ познанія явленій къ постиженію субстрата, такъ теперь спеціалистъ-философъ долженъ идти по своему пути не отъ абсолютнаго къ явленіямъ, а отъ явленій къ абсолютному. Тотъ и другой, какъ и всякій ученый, безъ всякаго сомнѣнія, могутъ ограничивать свое дѣло безъ замѣтнаго ущерба для науки однимъ изученіемъ и познаніемъ явленій; только въ высшей степени вѣроятно, что никогда не согласятся всѣ мыслящіе люди на такое ограниченіе. Стремленіе къ абсолютному обусловливается природнымъ стремленіемъ человѣка къ высшимъ идеаламъ существованія и знанія сравнительно съ тѣмъ, что есть или что извѣстно въ любое данное время, къ лучшей и счастливой жизни и дѣятельности, къ лучшей, изящной и прекрасной обстановкѣ, къ лучшему наибольшему и самому достовѣрному знанію. Такое положеніе и значеніе абсолютнаго въ философіи не представляетъ ничего предвзятаго относительно предѣловъ человѣческаго знанія, не зависитъ ни отъ одной изъ существующихъ философскихъ теорій познанія и бытія, а прямо опредѣляется дѣйствительнымъ и объемомъ наличнаго человѣческаго познанія, въ которомъ философія имѣетъ, или должна занять свое мѣсто (?)» (стр. 425—6).

Посмотримъ же, въ самомъ ли дѣлѣ таковы стремленія науки и тѣсно связанной съ нею научной философіи, какъ то представляется съ точки зрѣнія, занятой г. Милославскимъ. Онъ несомнѣнно читалъ кое-что, но, къ сожалѣнію, все-же-таки не дочиталъ того, что дочитать было ему нужно. Идея пословицы «коль взялся за гужъ...» не казалась ему обязательною. Попробуемъ же мы дочитать за него до конца литературу даннаго вопроса и, быть можетъ, намъ удастся такимъ образомъ ударить по двумъ мухамъ за разъ: по мухѣ эрудиціи, которая окажется совсѣмъ не такою толстою, какъ она представляется съ перваго взгляда, и затѣмъ, по мухѣ собственно научно-философской, которая и по цвѣту, и очертанію, и по роду производимаго ею жужжанія, окажется совсѣмъ не похожею на ту, которую г. Милославскій пытается выдать за самую подлинную, за самую настоящую.

Г-нъ Милославскій, понадергавъ клочковъ изъ тѣхъ писателей, на отсутствіе которыхъ ему указывалось четыре года тому назадъ, и «обработавъ» клочки эти по-своему, придаетъ себѣ видъ «покорившаго подъ ноги всякаго врага и супостата», но мы сейчасъ убѣдимся, что это вовсе не тріумфаторство, а галлюцинація. Мы покажемъ, на основаніи данныхъ, которыхъ не

знаетъ или не хочетъ знать г. Милославскій, что его философское благоизмышленіе (на благоизмышленія теперь у насъ мода) нѣсколько поторопилось явиться на свѣтъ божій, такъ какъ мѣсто, на которое оно претендуетъ, занято, и занято не благоизмышленіемъ какимъ-нибудь, а дѣйствительной, «заправской» научной философіей, представляющей такого рода рѣшеніе вопросовъ и установленіе положеній, которыя нашимъ философомъ или извращены, или эскамотированы. Ознакомясь съ основаніями этой подлинной научной философіи, читатель увидитъ ясно, что преподносимое ему изобрѣтеніе г. Милославскаго есть только грубая поддѣлка, разсчитанная на слишкомъ ужъ большую простоту имѣвшихся въ виду прозелитовъ.

Стремленіе къ абсолютному, познаніе абсолютнаго, все это— слова, смыслъ конхъ остается теменъ, если значенію понятія абсолюта не дается никакого истолкованія. Если бы мы и допустили даже, что «there lies hidden a fundamental verity», то все же отдѣлаться одними словами тутъ нельзя; нужна критика, нужно изслѣдованіе, которое вывело бы насъ изъ тумана. Объ этомъ говорилось г. Милославскому и ранѣе, но все не въ прокъ, и теперь у него опять, какъ и прежде, слова замѣняютъ дѣло. Worte sind gut, aber Hühner legen Eier. Что изъ того, что книга г. Милославскаго испестрилась именами научно-философскихъ знаменитостей? Тутъ надо было давать все или ничего. О самой полной и обстоятельной статьѣ по вопросу объ абсолютѣ г. Милославскій счелъ нужнымъ почему-то не сказать ничего. О ней по этой причинѣ мы и поведемъ теперь рѣчь.

Уже Ст. Милль, въ IV главѣ своего «Examination of Sir William Hamilton's Philosophy», показалъ многосмысленность, соединенную съ терминомъ «Absolute». Файгингеръ (Vierteljahrsschrift f. wiss. Philos. II Jahrgang) повелъ критику Милля далѣе и указалъ на нѣкоторыя различенія, упущенныя у англійскаго изслѣдователя. Опираясь на помощь Файгингера, мы и попытаемся разрѣшить теперь тотъ предварительный вопросъ, обойдя который г. Милославскій лишилъ свои поиски абсолюта всякаго смысла [1]).

---

[1]) Читателю, интересующемуся вопросомъ, можно указать еще: *М. Троицкаго* «Наука о духѣ» 1882, Т. I, гл. VI., *J. Sully*, Pessimism, 1877. p. 438, и *Malkolm Guthrie*. On Mr. Spencer's unification of knowledge, 1882, p. 108.

«Абсолютъ», прежде всего, имѣетъ значеніе имени существительнаго, произведеннаго отъ прилагательнаго «абсолютный» (absolutus—отрѣшенный)—прилагательное, которое не имѣетъ ровно никакого значенія, если не опредѣляется какъ то нѣчто, что отрѣшено, такъ и то, отъ чего это нѣчто должно быть отрѣшено. Очевидно, что и отрѣшаемое, и то, отъ чего оно отрѣшается, можетъ быть весьма многоразлично, а потому и не удивительно, что слово это употребляется въ столь разнообразныхъ смыслахъ не только въ житейскомъ говорѣ, но и въ наукѣ. Затѣмъ, абсолютъ значитъ также «совершенный» и Милль вѣрно замѣчаетъ, что и въ этомъ случаѣ непремѣнно требуется опредѣлить, въ чемъ состоитъ совершенство того, кому или чему оно приписывается. Что касается перваго значенія термина «абсолютъ», то отрѣшеніе, вообще говоря, можетъ касаться отношеній (въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова), связующихъ вещи между собою, причемъ значеніе термина измѣняется, сообразно значенію этихъ отношеній. Когда что-либо разсматривается, какъ абсолютъ, то разсматривается оно какъ отрѣшенное отъ условій, ограниченій и какихъ бы то ни было отношеній зависимости и сравненія, короче сказать, отъ всякихъ отношеній вообще. Въ такомъ случаѣ «нѣчто» разсматривается не въ связи съ другими вещами, но безотносительно, какъ вещь въ себѣ (an sich und für sich). Въ этомъ же смыслѣ абсолютными, т.-е. отрѣшенными отъ условій, безусловными, называются всѣ тѣ положенія, которыя, будучи независимы отъ другихъ, ясны сами по себѣ; таковы, напримѣръ, аксіомы, тогда какъ всѣ другія положенія считаются, въ силу зависимаго характера отъ положеній абсолютныхъ, относительными. Разсматривая эту зависимость какъ условность, считаютъ независимое положеніе свободнымъ отъ условій, безусловнымъ. Такимъ образомъ, то, что представляется нашему познанію простымъ, получаетъ значеніе и названіе простого и въ объективномъ смыслѣ, или, иначе говоря, получаетъ значеніе и названіе абсолютнаго. Очевидно, однако же, что такого рода обозначеніе *само по себѣ очень относительно*: для математика, аксіомы и опредѣленія—абсолютны, т.-е. безусловны, какъ первыя положенія, независящія отъ другихъ, но держащія въ зависимости всѣ другія. Въ извѣстныхъ метафизическихъ системахъ, однако же, разыскиваются такія высшія положенія, изъ которыхъ относительно-абсолютныя положенія математики могутъ быть выведены. Посмотримъ,

въ какомъ смыслѣ употребляется въ наукахъ терминъ, соотвѣтствующій понятію противуположности относительнаго, т.-е. условности, подгнетности всякаго рода отношеніямъ, ограниченіямъ, сравненіямъ словомъ, соотвѣтствующій не понятію «вещи въ себѣ», а вещи, разсматриваемой въ ея отношеніяхъ къ другимъ. Это противуположеніе понятій само по себѣ такъ полезно и даже необходимо, что находитъ примѣненіе во всѣхъ наукахъ. Называютъ, напримѣръ, абсолютнымъ пространство, въ томъ случаѣ, когда его мысленно отрѣшаютъ отъ всего, съ чѣмъ оно вѣчно было и будетъ связано—отъ матеріи; говорятъ о безусловномъ движеніи, представляя себѣ движеніе перемѣняющей мѣсто точки отрѣшеннымъ отъ другой точки, по отношенію къ которой, впрочемъ, только и мыслимо для насъ движеніе вообще; употребляютъ терминъ «абсолютное измѣненіе», разсматривая процессъ измѣненій, какъ происходящій «въ себѣ», т.-е. безотносительно къ чему-либо постоянному, служащему какъ бы основой измѣненій. «Абсолютная геометрія» есть такая система положеній, которая имѣетъ общее, независимое отъ ограниченія тремя измѣреніями значеніе въ пространствѣ. Различаютъ абсолютныя и относительныя величины, высóты и т. д., въ грамматикѣ отличаютъ абсолютныя и относительныя предложенія, абсолютныя и относительныя мѣстоименія, глаголы, и т. д.

Мы видимъ изъ всего этого, что предикатъ «абсолютный» прилагается иногда къ такимъ вещамъ, кои дѣйствительно объективны, независимы и самостоятельны; иногда же къ такимъ, кои мыслятъ только независимо, коихъ реальная независимость, однако же, не можетъ быть утверждаема. Въ русскомъ языкѣ, по нашему мнѣнію, указанное различіе можетъ быть выражено двумя различными терминами, которые вполнѣ отчетливо могли бы сопоставлять оба рода отрѣшенности отъ условій; во-первыхъ, терминъ «безусловный» долженъ относиться къ вещамъ, дѣйствительно независимымъ отъ условій, и терминъ «обезусловленный» долженъ, по смыслу своему, означать то же, что мысленно выведенный изъ-подъ условій, предположительно освобожденный отъ подгнетности условіямъ. Таковы первыя два значенія многосмысленнаго термина «абсолютный».

Къ несчастію, слово «абсолютный» имѣетъ еще и другой смыслъ, не заключающій въ себѣ ничего общаго съ только что разсмотрѣнными его значеніями. «Абсолютный» значитъ тоже

законченный, совершенный; въ этомъ смыслѣ говорятъ объ абсолютномъ и относительномъ добрѣ и т. д., причемъ «абсолютное» равнозначно совершенству, завершенности, законченности; «относительное»—несовершенству, незавершенности, незаконченности.

Неразличеніе этихъ двухъ значеній влечетъ за собою массу недоразумѣній и ошибокъ. Очевидно, что выраженія: «абсолютное движеніе» и «абсолютный покой» образованы изъ неодинаковыхъ значеній термина «абсолютный». Въ первомъ примѣрѣ «абсолютный» значитъ «отрѣшенный», во второмъ—«совершенный». Такія выраженія, какъ абсолютная цѣнность, абсолютное положеніе, абсолютное начало, должны быть различены отъ тѣхъ выраженій, гдѣ терминъ «абсолютный» имѣетъ другой смыслъ, какъ-то: абсолютная достовѣрность, абсолютная необходимость, абсолютно-точная мѣра времени, и т. д. Понятно, что могутъ существовать переходныя степени отъ одного значенія этого термина къ другому и что поэтому во всѣхъ языкахъ терминъ «абсолютный» въ обычномъ говорѣ отличается неопредѣленностью и шаткостью; *метафизики,—если они стремятся къ освобожденію отъ узъ обыденной рѣчи,—должны бы обращать серьезное вниманіе на это обстоятельство, стараться какъ можно рѣже пользоваться такимъ неудобнымъ терминомъ и во всякомъ случаѣ строго слѣдить за его дѣйствительнымъ значеніемъ въ каждомъ данномъ случаѣ, никогда не оставляя его безъ достодолжнаго объясненія.*

Усвоивъ себѣ эти основныя положенія критики понятія абсолюта въ его общемъ значеніи, нетрудно установить тѣ различныя значенія, которыя можетъ получить это понятіе въ зависимости отъ точки зрѣнія той области знанія, въ которую оно будетъ перенесено. Такъ, съ точки зрѣнія научной философіи абсолютомъ является міръ какъ цѣлое, для спеціальной науки—тотъ послѣдній, крайній элементъ, который не можетъ быть сведенъ ни на какой другой, каковы: клѣтка—для физіологіи, атомъ—для физики, теорема параллельной линіи—для математики. Затѣмъ, для теоріи познанія абсолютомъ можетъ считаться нуменъ, вещь въ себѣ, разсматриваемая объективно и противуполагаемая феномену (явленію); для метафизики абсолютъ соотвѣтствуетъ понятію объективно-первой, субъективно-конечной причины, существованіе которой предполагается внѣ опыта и принимается какъ трансцендентное міровое начало;

наконецъ, въ области мистики абсолютъ есть понятіе человѣкоподобнаго совершенства, расширеніе свойствъ человѣка до безконечности или до высочайшей (какая только мыслима) степени, иначе говоря, некритическое понятіе, выработанное,—выражаясь языкомъ сладкогласной части творенія г. Милославскаго,—«донаучнымъ и внѣнаучнымъ мышленіемъ» и давно уже сведенное философской критикой къ нулю.

Если послѣ всего сказаннаго мы обратимся къ г. Милославскому и спросимъ его, въ какомъ смыслѣ и какомъ значеніи говоритъ онъ объ абсолютѣ, то ему только и останется чистосердечно признать, что этого онъ и самъ не знаетъ. Его игра съ этимъ понятіемъ напоминаетъ игру ножами извѣстныхъ китайскихъ акробатовъ: игра эта продолжается до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ ножей не вонзится прямо въ сердце неосмотрительнаго фокусника и не положитъ разъ навсегда конецъ его нелѣпой забавѣ. Уже изъ приведенной выше цитаты мы могли видѣть, что г. Милославскій безконечно далекъ отъ тѣхъ различеній, безъ которыхъ, очевидно, и шага дѣлать не должно, говоря о поискахъ за абсолютомъ. Онъ мѣшаетъ въ одну кучу и «самое достовѣрное знаніе, и счастливую жизнь, и высшіе идеалы существованія, и прекрасную обстановку жизни»—словомъ, все, что̀ только можетъ быть внушено хотѣніями и вожделѣніями, всегда столь несоизмѣримыми съ исканіями истины, съ суровыми требованіями самоотреченія строгой науки; онъ наивно ссылается на «природное стремленіе», какъ бы не зная, что именно природное стремленіе и создаетъ всѣ фикціи, «внѣнаучнаго и донаучнаго мышленія», и что заслуга критики и заключается въ опредѣленіи границъ, до которыхъ можетъ доходить удовлетвореніе этого для обыденнаго мышленія законополагающаго «природнаго стремленія». Обращаясь къ другимъ, во множествѣ разсыпаннымъ въ книгѣ г. Милославскаго, заявленіямъ по этому же предмету, мы получаемъ возможность окончательно убѣдиться, что подъ флагомъ научной философіи передъ глазами нашими проводится какой-то философскій ералашъ, разсчитанный на сбытъ въ не вѣсть какихъ трущобахъ. Неизвѣстно, чья чистосердечная простота имѣется въ виду, когда авторъ считаетъ нужнымъ иронически кивать въ сторону «безбрежнаго и бездоннаго идеализма» (стр. 123), или когда онъ указываетъ на проникновеніе въ философію ошибокъ донаучной и внѣнаучной мысли (стр. 124), или когда онъ провоз-

глашаетъ, что «въ научно-философскомъ изслѣдованіи»... «надлежитъ идти не отъ конечныхъ философскихъ предположеній, а отъ общенаучныхъ болѣе или менѣе твердо установленныхъ положеній» (стр. 333), или заявляетъ, что «недостаточность научнаго развитія философіи и ея неопредѣленность какъ разъ соразмѣрна съ тѣмъ, что въ ней и до сихъ поръ мысль стоитъ на понятіяхъ, вещахъ и субстанціяхъ, а явленія, подлежащія ея спеціальному изученію, остаются не только безъ изслѣдованія, а даже безъ признанія ихъ реальности, жизненной цѣнности и доступности для научнаго изслѣдованія» (стр. 212) и т. д., и т. д. Кого ослѣпитъ все это, когда тутъ же рядомъ авторъ ставитъ старыя метафизическія задачи, «издревле входившія въ содержаніе философіи» (стр. 424), и указываетъ на рѣшеніе этихъ задачъ, какъ на цѣль «научнаго изслѣдованія», когда онъ будто бы наивно находитъ, что «при надлежащемъ употребленіи научнаго метода получаются достаточныя средства къ изученію предметовъ, отстоящихъ отъ насъ дальше, чѣмъ химическіе элементы солнца и планетъ отъ рабочаго стола ученаго, производящаго спектральный анализъ» (стр. 424). Мы не послѣдуемъ за авторомъ въ эти туманныя области и напомнимъ ему только, что еще Кантъ сдѣлалъ то предостереженіе, которое тутъ подходитъ какъ нельзя кстати. По мнѣнію отца философской критики, важное и необходимое доказательство мудрости и проницательности заключается ужъ въ томъ, чтобы знать, о чемъ разумно можно спрашивать.

Мы указали на то противорѣчіе, которое проходитъ черезъ всю книгу г. Милославскаго и которымъ самъ онъ думаетъ пользоваться какъ средствомъ для обоснованія особой спеціальной науки—философіи; мы обнаружили, вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ концѣ-концовъ на мѣсто такой «науки» намъ подсовывается плохенькая метафизика съ неудачно-скрытою мистическою тенденціею. Прежде указанное нами ипохондрическое настроеніе автора осталось, конечно, не безъ вліянія на эту тенденцію; оно и произвело слабую продуманность вопроса о значеніи и роли метафизики въ ходѣ умственнаго развитія европейскаго Запада, недостаточно полное и точное опредѣленіе характера метафизическаго типа философіи и, наконецъ, отсталость автора въ новѣйшей литературѣ философіи вообще и научной философіи въ особенности. Все это побуждаетъ насъ попытаться еще разъ договорить то, что не досказано самимъ

авторомъ, и такимъ образомъ внести въ постановку вопроса о метафизикѣ тѣ элементы, безъ которыхъ нельзя подняться на удовлетворительное его разрѣшеніе.

Съ тѣхъ поръ, какъ на умы нашего интеллигентнаго общества легло вліяніе философіи Ог. Конта, у насъ стало общепринятымъ разумѣть подъ метафизикой ложную или, точнѣе, не научную философію. Къ сожалѣнію, у Ог. Конта опредѣленіе метафизики представляется нѣсколько шаткимъ, такъ какъ у него не установлено достаточно твердо, въ чемъ заключается ложь метафизической философіи: въ томъ ли, что она ставитъ себѣ ложныя цѣли, или въ томъ, что избираетъ ложные пути для достиженія цѣлей истинныхъ. Здѣсь не кстати было бы критиковать систему Ог. Конта, — это сдѣлано нами въ другомъ мѣстѣ; скажемъ только, что, несмотря на ошибки, имъ сдѣланныя, за нимъ остается и несомнѣнная заслуга высоко-просвѣтительнаго вліянія. И если правъ Маріонъ [1]), что Локкъ характеризовалъ метафизику во многихъ отношеніяхъ удачнѣе Конта, то за Контомъ остается первенство въ такой общей постановкѣ вопроса объ истинной и ложной философіи, послѣ котораго возвратъ къ пережитому сталъ возможенъ лишь для «мистиковъ въ душѣ» и неисправимыхъ ипохондриковъ. Не останавливаясь надъ мыслителями, которые въ эпоху между Локкомъ и Ог. Контомъ, а затѣмъ и въ настоящее время способствовали выясненію идеи научной философіи и противупоставленію ея метафизикѣ, мы остановимся только надъ тѣмъ, что сдѣлано въ этомъ смыслѣ двумя писателями нашихъ дней, именно: недочитаннымъ г. Милославскимъ, Алоизомъ Рилемъ и вовсе неизвѣстнымъ ему Эрнстомъ Лаасомъ [2]).

Заслуга послѣдняго заключается въ томъ, что онъ свелъ все нестрящее исторію философіи разнообразіе и разнорѣчіе къ двумъ типамъ, характеристикѣ коихъ онъ и посвятилъ свою обширную монографію. Установленіемъ этихъ типовъ Лаасъ разсчитываетъ положить предѣлъ пустому буквоѣдству ученыхъ въ области исторіи философіи и заявляетъ надежду, что

---

[1]) *Henri Marion*. J. Locke, sa vie et son oeuvre d'après des documents nouveaux. 1878, p. 133.

[2]) Ueber wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Philosophie. Eine akademische Antrittsrede. Von D-r Alois Riehl. 1883. Idealismus und positivismus. Eine kritische Auseinandersetzung. Von Ernst Laas. I B. 1879. II B. 1882.

богатыя историческія изысканія дадутъ, наконецъ, плодъ, такъ что получится руководящее основаніе для всякаго жаждущаго свѣта въ этой важной области знанія. Корни типовъ, усматриваемыхъ Лаасомъ, лежатъ въ философскихъ сочиненіяхъ Платона, и именно въ міроразумѣ Сократа, т.-е. собственно самого Платона, и противника его Протагора. Отдавая полную справедливость личнымъ достоинствамъ и генію Платона, Лаасъ имѣетъ въ виду показать, что «выспренность, геніальность и благородство души никакъ не могутъ считаться вѣрными признаками истины, что они, напротивъ того, чаще ослѣпляли людей, а не освѣщали имъ путь, чаще лишали ихъ трезваго взгляда, чѣмъ укрѣпляли умственно» [1]). Что же касается собственно *платоновскихъ* принциповъ и *платоновскаго* метода, то сомнительная сторона ихъ обнаруживала себя уже не разъ; ученіе Платона тѣмъ опаснѣе, чѣмъ привлекательнѣе его изложеніе, чѣмъ обаятельнѣе является оно для ума, чѣмъ сильнѣе подкрѣпляетъ оно естественную склонность къ духовному опьянѣнію. Такою является истинно просвѣтительная цѣль и истинно высокая задача монографіи Лааса, монографіи, которою мы теперь можемъ, впрочемъ, воспользоваться лишь въ весьма малой мѣрѣ, такъ какъ боимся сдѣлать статью нашу чрезмѣрно длинною.

Не вдаваясь въ разборъ правильности выбора Протагора въ родоначальники научной философіи и отсылая читателя, интересующагося вопросомъ, къ самому Лаасу [2]), мы остановимся только на характеристикѣ ложной, анти-научной и плиплатонизирующей философіи, какъ она представлена въ только что упомянутой монографіи.

Характеризуя платоновскій типъ философіи, Лаасъ останавливается, главнымъ образомъ, на тѣхъ его чертахъ, которыми типъ этотъ особенно ярко отличается отъ типа ему про-

---

[1]) Не пропустимъ здѣсь и замѣчанія *поэта* Джемса Томсона о томъ, что значеніе метафизическихъ системъ заключается въ значеніи тѣхъ великихъ мыслей и благородныхъ чувствъ, кои въ нихъ воплощены, и которымъ такого рода воплощеніе приноситъ не пользу, а вредъ. *Y. Tomson.* On the worth of metaphysical systems. Въ сборникѣ: Essays and Phantasies, 1881, p. 299.

[2]) Ср. *W. Halbfass.* Die Berichte des Platon und Aristoteles über Protagoras. (Jahrbuch für classische Philologie, XIII B.).

тивоположнаго. Съ этой точки зрѣнія, платонизмъ разлагается на слѣдующія основныя положенія:

Наука, взятая сравнительно съ развитымъ, переработаннымъ и извѣстнымъ образомъ измѣненнымъ воспріятіемъ или опытомъ, есть нѣчто специфически иное, высшее, чистѣйшее, духовно-просвѣтленное.

Способный къ наукѣ человѣкъ специфически отличается отъ животнаго; онъ обладаетъ нѣкоею высшею способностью, которая не есть результатъ пассивныхъ состояній, не есть нѣчто обусловленное тѣлесно или объяснимое посредствомъ воспріятій, но самопобудительно-дѣятельный, приближающій человѣка къ богамъ духъ или разумъ.

Содержаніе этой высшей человѣческой способности не можетъ быть дано никакимъ воспріятіемъ, такъ какъ обладаніе имъ предшествуетъ всякому опыту; оно заключается въ первобытныхъ, въ природу нашего духа заложенныхъ познаніяхъ: интеллектуальныхъ понятіяхъ, идеалѣ, свидѣтельствующихъ о до міровой жизни души и сверхчувственномъ бытіи.

Всякое познаніе есть въ сущности припоминаніе или воспроизведеніе того, что при самомъ рожденіи обрѣтается уже въ душѣ, какъ его скрытое достояніе, и что при извѣстномъ напряженіи, можетъ быть найдено. Необходимо только, чтобы душа умѣла возвыситься надъ чувствительностью, могла бы очиститься и освободиться отъ нея, дѣйствуя сама по себѣ, могла бы чистою мыслью охватывать чистые объекты.

Тѣло и совершающееся при посредствѣ его воспріятіе ставятъ препятствія познанію истины, разстраиваютъ его, вводятъ его въ заблужденіе и оскверняютъ. Истинная философія есть та, въ которой мысли остаются «чистыми», въ которой идеи достигаются идеями и черезъ идеи. Математика можетъ поэтому быть прекрасной пропедевтикой для философа: она отвлекаетъ мысль отъ чувственности и игры измѣнчивости, она возвышаетъ душу до пользованія чистымъ мышленіемъ и устремляетъ ее къ истинѣ; чувственныя вещи могутъ служить для нея лишь возбужденіемъ къ размышленію, поскольку они указываютъ на противорѣчія, разрѣшаемыя мышленіемъ.

Таковы основныя черты платонизма. Стоитъ только осмотрѣться кругомъ, чтобы убѣдиться, до какой степени широко и глубоко было и останется его вліяніе на умы. Нѣкоторые изъ его догматовъ проницаютъ все наше мышленіе и нашъ языкъ;

они образуютъ какъ бы подпочву обыденнаго міровоззрѣнія и нѣкоторыхъ важнѣйшихъ учрежденій. Сравнивая въ этомъ отношеніи платоновскій типъ съ типомъ ему противуположнымъ, мы можемъ замѣтить, до какой степени громадно различіе между ними по отношенію интенсивности и охвата ихъ вліянія. Въ наше время даже еще замѣтно, что платоновскій типъ пережилъ нѣкогда періодъ полной побѣды. И, однако же, у платонизма есть хоть одна сторона, по отношенію къ которой онъ долженъ быть поставленъ ниже своего соперника: платонизму не выпало на долю установить и развить свои основоположные тезисы послѣдовательно, органически и научно, такъ чтобы въ наше время типъ этотъ могъ бы представиться въ болѣе роскошномъ и богатомъ ростѣ, чѣмъ первоначально. Участь его была совершенно иная: послѣ того, какъ нѣкоторыя стороны его, переродясь въ аскетическія и экстатическія проявленія, возымѣли частью тлетворное, частью безобразное вліяніе на умы, другія были до такой степени очищены и съужены критикой, что въ настоящее время все, могущее въ платоновскомъ типѣ получить научное значеніе, производитъ своею туманностью и расплывчатостью весьма скудное впечатлѣніе сравнительно съ картиной, представленной типомъ противоположнымъ. Бо́льшая часть платониковъ держатся лишь той или другой изъ сторонъ общей совокупности платоновскаго ученія, и рѣдко встрѣчается такой, который могъ бы возстановить всего Платона или двинуть доктрину его къ новому фазису развитія. Поэтому-то платонизирующая философія издавна обнаружила склонность удаляться отъ научныхъ преній въ полумракъ мистическихъ вѣрованій, которыя, переходя въ легенды и миѳы, какъ у Платона, весьма затрудняютъ отвѣтъ на вопросъ о томъ, гдѣ оканчиваются образы и игра фантазіи и вмѣсто нихъ начинается серьезная мысль и истина. Если же обратиться къ тѣмъ только представителямъ платонизма, которые по праву могутъ считаться философами, то хотя мы и встрѣтимъ въ нихъ основныя черты платоновскаго характера, но черты эти являются въ связи съ разнообразными измѣненіями и вѣяніями, съ приспособленіями ко времени, обстоятельствамъ и индивидуальностямъ, съ многоразличными уступками противоположной точкѣ зрѣнія, такъ что эта внѣшняя сторона дѣла производитъ такое впечатлѣніе и возбуждаетъ такое предположеніе, будто постоянный импульсъ и тенденція, шедшіе отъ Платона, хотя и обла-

дали большою духовною силою, но фактически и логически не безъ затрудненія отстаивали свои положенія противъ критики. Вникая въ мотивы, руководившіе ученіемъ при противупоставленіи его воззрѣніямъ противуположнымъ, мы въ состояніи будемъ разглядѣть, скрываетъ ли оно въ себѣ здоровое научное зерно, или же силы его коренятся не въ объективныхъ фактахъ и оправдываемыхъ критикою, задачахъ, а въ *субъективныхъ* и даже *фантастическихъ хотѣніяхъ*...

Такъ какъ такая геніальная и поэтическая личность, какъ Платонъ, по вліянію своему на укладъ философскаго типа, называемаго нами его именемъ, имѣетъ громадное значеніе, то и становится въ высшей степени важнымъ вникнуть въ тѣ причины, которыя побуждали Платона противуборствовать воззрѣніямъ Протагора и заботиться о созданіи такого ученія, которое имѣло бы самостоятельную силу и необоримость. Одно изъ главныхъ затрудненій, которыя, какъ ему казалось, Протагору преодолѣть не удалось, заключалось въ обманчивости чувствъ, какъ орудія воспріятія. Послѣдствія этой обманчивости онъ разсматривалъ какъ пагубныя для достоинства науки и считалъ необходимымъ подчинить ихъ какому-нибудь высшему неизмѣнчивому принципу; затѣмъ, онъ отвергалъ воспріятіе, какъ достаточное обоснованіе познанія, потому что предлагалъ существованіе соотвѣтствующихъ понятіямъ реальностей, которыя не могутъ быть восприняты, и далѣе онъ утверждалъ, что такъ какъ наука имѣетъ своимъ предметомъ истину, истина же высказывается не въ страдательныхъ состояніяхъ воспріятія, а въ сужденіяхъ—продуктахъ чисто духовно возникшихъ категорій, то въ силу этой недостаточности сенсуалистическая теорія Протагора должна быть необходимо отвергнута. Наконецъ, воспріятіе, по его убѣжденію, не могло представить достаточно прочной, объективной гарантіи истины, а потому онъ и искалъ ей устойчивое объективное обоснованіе. Такимъ обоснованіемъ могла быть, по его воззрѣнію, идея блага, сама въ себѣ покоющаяся, не нуждаясь въ дальнѣйшемъ обоснованіи, абсолютная. Утверждая на ней не только познаніе, но и бытіе, Платонъ думалъ положить предѣлъ всему произвольному, противорѣчивому и измѣнчивому и разсчитывалъ на возможность окончательнаго и прочнаго установленія науки.

Въ концѣ-концовъ, основная черта платоновскаго типа въ философіи выразилась въ стремленіи приблизить всѣ науки

къ типу математики, обосновать ихъ на незыблемости абсолюта, подчинить ихъ такимъ руководящимъ законамъ, корни коихъ не уходили бы въ чувственность, а крѣпко держались бы въ чисто-духовномъ началѣ разума, самоопредѣляющагося и самобытнаго, и, наконецъ, поставить ихъ въ связь съ надземнымъ міромъ сверхчувственныхъ сущностей и такимъ образомъ возвести къ недоступной для измѣнчивости — трансцендентности.

Математизированіе, раціонализированіе, спиритуализированіе и вообще сублимированіе познанія платоновской точкою зрѣнія прямымъ путемъ ведетъ къ возможности дать общей совокупности знанія видъ полноты, законченности и цѣльности, которой опытное знаніе не только не имѣетъ даже и черезъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ Платона, но и не предвидитъ его даже и въ далекомъ будущемъ. Полнота же эта и законченность придаютъ метафизической философіи ту форму, которую принято называть «системою» и которая для метафизиковъ и составляетъ вѣнецъ ихъ вожделѣній и вѣчный поводъ торжества надъ неполнотою и несовершенствами положительнаго знанія.

Эта сторона метафизической философіи и остановила въ послѣднее время вниманіе Риля. Въ рѣчи, произнесенной имъ въ текущемъ году во Фрейбургѣ, онъ, сопоставивъ положительныя науки съ философіею, обращаетъ вниманіе на то несоотвѣтственно-высокое значеніе, которое придаетъ называющая себя философіей метафизика [1]) систематической формѣ. Систематическое познаніе признаетъ она единственно-истиннымъ познаніемъ, единственно-полнымъ. Она порицаетъ не безъ нѣкотораго оттѣнка презрѣнія положительныя науки за то, что онѣ лишь постепенно и съ напряженіемъ всостояніи вырабатывать отдѣльныя, разрозненныя познанія. По отношенію къ себѣ самой она заявляетъ притязаніе постичь всю совокупность существующаго и происходящаго и вывести необходимость этого существованія и происхожденія изъ немногихъ или, если возможно, изъ одного основного положенія. Она приписываетъ себѣ глубочайшее и основательнѣйшее проник-

[1]) Риль употребляетъ здѣсь терминъ «философія», но, сопоставляя другія мысли его рѣчи, можно убѣдиться, что смыслъ этого термина у Риля именно тотъ, который мы придаемъ термину «метафизика». Впрочемъ, и Риль употребляетъ иногда этотъ послѣдній терминъ.

новеніе въ самую «сущность» вещей и мечтаетъ при его посредствѣ достичь пониманія внутренней связи явленій, разгадки смысла и значенія всего сущаго. Фактически, метафизика могла набросать свой идеалъ системы лишь въ самыхъ общихъ чертахъ; дать же этимъ очертаніямъ реальное содержаніе она никогда не могла. Усилія ея въ этомъ направленіи или оканчивались полнѣйшею неудачею, или не шли далѣе однихъ только заявленій. Разсматривая затѣмъ антинаучный характеръ результатовъ стремленія къ законченности, къ системѣ, Риль показываетъ, что родиной и самого предмета и его названія была Греція, *что метафизика есть наука греческаго періода развитія знанія*, или, иначе говоря, *метафизика есть греческая наука*.

Если мы попытаемся еще далѣе прослѣдить за генезисомъ метафизики и остановимъ наше вниманіе на психологическихъ корняхъ ея, то значеніе ея, какъ переживанія, пріобрѣтетъ для насъ еще бо́льшую степень очевидности.

Уже съ тѣхъ поръ, какъ теорія развитія получила широкое примѣненіе къ различнымъ отраслямъ знанія, иначе говоря, съ тѣхъ поръ, какъ она пріобрѣла философское значеніе, можно было анализировать нѣкоторыя ея приложенія и, не рискуя впасть въ ошибку, утверждать нѣкоторыя положенія, окончательное подтвержденіе которыхъ становилось затѣмъ лишь вопросомъ времени. Такъ, по вопросу, нынѣ насъ занимающему, можно было утверждать, что чѣмъ первобытнѣе форма мышленія, тѣмъ болѣе точекъ соприкосновенія имѣетъ она съ тѣмъ элементарнымъ характеромъ умственной дѣятельности, который можетъ быть наблюдаемъ и изучаемъ въ царствѣ животныхъ. Новѣйшія наблюденія не оставляютъ никакого сомнѣнія въ вѣрности такого предрѣшенія, и мы можемъ указать на спеціальныя изслѣдованія, которыя служатъ именно къ его утвержденію. Изслѣдованія эти ведутся въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ едва ли извѣстнымъ у насъ итальянскимъ ученымъ Тито Виньоли, сочиненія котораго переведены на англійскій и нѣмецкій языки и входятъ въ составъ извѣстной международной научной библіотеки [1]).

---

[1]) Della legge fondamentale dell'intelligenza nel regno animale. Saggio di psicologia comparata per Tito Vignoli. 1877. Mito e Scienza. Saggio per lo stesso. 1879.

Виньоли справедливо говоритъ, что для открытія закона, опредѣляющаго характеръ отношеній примитивной психической дѣятельности къ явленіямъ воспринимаемой среды, необходимо было обратить особенное вниманіе на внутреннія условія субъекта и расширить сферу наблюденій. Въ этихъ видахъ самъ онъ въ теченіе многихъ лѣтъ дѣлалъ наблюденія надъ животными, которыхъ спеціально для этой цѣли держалъ и въ помѣщеніяхъ коихъ устраивалъ различныя сообразныя съ своими видами приспособленія. Эти наблюденія убѣдили его, что животныя, въ силу ихъ психо-физіологической организаціи, относятся ко всѣмъ окружающимъ имъ предметамъ не иначе, какъ къ существамъ имъ подобнымъ, что они не иначе воспринимаютъ окружающія ихъ явленія, какъ ассимилированными ихъ собственной природѣ. Процессъ этотъ Виньоли называетъ процессомъ «энтификаціи» природы и находитъ его у человѣка тѣмъ болѣе въ чистомъ видѣ, чѣмъ человѣкъ первобытнѣе. Энтификація природы является, такимъ образомъ, главнымъ мотивомъ миѳотворчества и даетъ основную окраску характеру умственнаго развитія этого періода.

Не входя въ разсмотрѣніе того, въ какой мѣрѣ строго научный методъ Виньоли подвергается при примѣненіи къ нѣкоторымъ частнымъ отдѣламъ его темы метафизическимъ вліяніямъ, какъ то замѣчаетъ извѣстный антропологъ Мантегаца [1]), мы отмѣтимъ только, что та основная идея, на которой собственно мы теперь и останавливаемся, не оспаривается Мантегацою и находитъ подтвержденіе въ наблюденіяхъ такого глубокаго мыслителя, какъ Мишель Гюйо, высказавшагося о вопросѣ совершенно независимо отъ Виньоли, да едва ли и знавшаго о его наблюденіяхъ [2]). Для насъ все это крайне важно, такъ какъ отъ миѳотворчества до метафизики не далеко. Еще Ог. Контъ высказалъ, что метафизическій фазисъ умственной дѣятельности, по основѣ своей, есть только простое общее измѣненіе миѳологическаго фазиса, такъ какъ отвлеченныя силы метафизики суть настоящія сущности (entités). Такимъ образомъ метафизическое творчество можетъ быть разсматриваемо какъ прямое продолженіе творчества миѳовъ, и оба эти

[1]) Archivio per l'antropologia e la etnologia. X vol., fascicolo 1 p. 144.
[2]) L'origine des religions (Revue philosophique, t. VIII, p. 572).

существенно одинаковыя творчества могутъ разсматриваться какъ общій всему животному царству процессъ энтификаціи.

Если мы противопоставимъ процессу энтификаціи исключительно человѣку присущій и прямо противоположный ему процессъ дезинтификаціи, составляющій основную характеристическую черту науки, то намъ нельзя будетъ не быть пораженными тою ироніею исторіи, которая обнаружится при такомъ освѣщеніи судебъ философіи. Вся нынѣ столь прославляемая метафизическая выспренность, все это блистающее въ ней раціонализированіе и спиритуализированіе знанія окажется призракомъ—призракомъ, заклинаемымъ разгадкою идеи энтификаціи. Въ самомъ дѣлѣ, не будь ея, нельзя бы было мыслить идеи какъ сущности—энтифицировать ихъ, не могли бы существовать легенды о ихъ припоминаніи—этомъ зачаточномъ apriori, и еще менѣе возможно было мечтать о той законченности и полнотѣ, которыя, ускользая, подобно миражу, въ процессѣ познаванія (дезинтификаціи), неотъемлемы отъ реальныхъ сущностей. Теперь же раскрывается передъ нами и тайна системы—въ дѣйствительности тайна энтификаціи, угаданная Виньоли и окончательно положившая на всѣ метафизическія богатства неизгладимую печать далеко уходящаго въ глубь временъ «переживанья».

Придя къ такому результату по отношенію къ характеристикѣ метафизики вообще, мы пріобрѣли точку зрѣнія не только для правильнаго взгляда на всякую новую метафизическую теорію, откуда бы она ни появилась, но получили еще возможность завершить характеристику разсматриваемой нами теперь русской, или точнѣе, казанской метафизики, констатированіемъ ея блѣдности и полинялости. Кокетничающая съ наукою и въ то же время уходящая всѣмъ существомъ своимъ въ глубь самой темной первобытности, метафизика эта является до послѣдней степени лицемѣрной, ничтожной и никому ни для какой потребы не годной. При видѣ такой метафизики всякій, не убившій еще въ себѣ трезваго взгляда на задачи философіи и науки, навѣрно скажетъ вслѣдъ за Локкомъ, что это «пустая трата труда, которая съ успѣхомъ могла бы быть замѣнена возвращеніемъ къ дѣтскимъ играмъ въ куклы. Да и зачѣмъ было въ самомъ дѣлѣ бросать куколъ для игры съ пустыми, безсодержательными идеями, истинными куклами нашего воображенія и нашей фантазіи, которыя, какъ бы мы

ихъ искусно ни наряжали, все-же-таки и послѣ сорокалѣтней возни съ ними, останутся безполезными и безжизненными игрушками» [1]).

Если читатель убѣдился, что философія г. Милославскаго есть философія метафизическая, то ему едва ли интересно будетъ войти въ ближайшее разсмотрѣніе ея содержанія и переглядывать одно за другимъ тѣ частные «Verschlimmbesserungen» въ философіи, которые предлагаетъ авторъ. По этой причинѣ мы постараемся довести наши послѣднія замѣчанія до возможной сжатости и поспѣшимъ окончить эту и то уже слишкомъ длинную статью.

Г. Милославскій пересматриваетъ различныя воззрѣнія на содержаніе философіи и, не утруждая себя полнотою подбора этихъ воззрѣній, выставляетъ какъ «seiner Weisheit letzter Schluss», то мнѣніе, что философія есть спеціальная наука, изучающая явленія знанія. Такой взглядъ—какъ то и очевидно всякому—рискуетъ совершить довольно крутой поворотъ къ догматизму, если въ него не будетъ внесена поправка относительно различія знанія и пониманія, знанія и мышленія; но внесеніе такой поправки было бы равносильно такой перестройкѣ всего сочиненія, послѣ которой въ немъ не осталось бы камня на камнѣ, Но и это не все: не мѣшало бы подумать еще и о томъ, не превращаетъ ли философію такое опредѣленіе въ пресловутую «сборную команду человѣческаго знанія», какъ выразился когда-то «извѣстный» позитивистъ. И въ самомъ дѣлѣ: мышленіе изучается психологіей, познаніе—гносеологіей или теоріей познанія, ходъ развитія познанія—исторіей науки и философіи и т. д. И сколько бы мы ни тянули за волосы всѣ эти вопросы въ одно мѣсто, характеръ ихъ оттого не измѣнится, такъ же какъ и методъ изученія. Такимъ образомъ, благоизмышленіе г. Милославскаго представляется напраснымъ трудомъ и съ этой стороны. Перейдемъ къ частностямъ, и здѣсь опять мы увидимъ тотъ же результатъ: вопросъ «концептивныхъ ощущеній» (стр. 249—292) есть вопросъ психологическій, и при требованіи *научнаго* его разрѣшенія, долженъ быть изслѣдуемъ въ связи съ его анатомо-физіологическими основаніями—условіе, вольное или невольное несоблюденіе котораго должно бы не дозволять и прикасаться даже

[1]) Цит. у Маріона, стр. 94.

къ вопросу; затѣмъ, вопросъ о субстанціи есть вопросъ теоріи познанія, теоріи, которая можетъ стать научною только тогда, когда основою своею получитъ опытную психологію; если этого не сдѣлано, то вопросъ останется при метафизическомъ пустомысліи, какъ и прежде. Нельзя умолчать еще при этомъ, что принятіе авторомъ къ свѣдѣнію сочиненія Авенаріуса (Philosophie als Denken der Welt) и статьи Паульсена (Ueber den Begriff der Substantialität) [1]) весьма бы тутъ не помѣшало. Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что болѣе полныя литературныя справки много бы помогли автору, а частью и избавили бы его отъ совершенно безполезнаго размазыванія; такъ, напримѣръ, все его разсужденіе на стр. 18 и слѣд. исчезло бы или видоизмѣнилось, если бы онъ ознакомился съ книгою Лааса. «Kant's Analogien der Erfahrung», такъ же какъ разсужденіе стр. 349 и слѣд. значительно бы преобразилось подъ вліяніемъ знакомства съ сочиненіями Мейнерта, Штрикера, Экснера, Мунка, Сёлли, Серджи и др. Пробѣлы въ литературѣ намъ тѣмъ болѣе удивительны, что мы и представить себѣ не можемъ такого автора, котораго г. Милославскій не изловчился бы заставить себѣ послужить. Ужъ если онъ съумѣлъ «приспособить» даже «Abbot'a» изъ журнала «Mind», то можно думать, что всякій другой не представитъ ему никакихъ затрудненій: философскій тезисъ его легко превращается въ змія и безъ напряженія пожираетъ «супротивныхъ».

Удивительное впечатлѣніе должна производить книга г. Милославскаго на тѣхъ «чистыхъ сердцемъ» примитивныхъ людей, которые при несомнѣнно присущей имъ жаждѣ знанія, преисполнены безпредѣльнымъ благоговѣніемъ къ учености, отождествляемой ими съ мудростью и не различаемой отъ мудрености; которые трепещутъ при видѣ цитатъ и ссылокъ на сколько-нибудь разнообразную и разноязычную литературу, и которые въ то же время сами еще не очень вкусили отъ премудрости книжныя, мало искусились въ познаніи иноземныхъ языковъ и неумѣренно склонны вѣрить авторитетамъ и поражаться выспренностью и возвышенностью ихъ поученія... Такіе люди, находя въ увѣсистомъ томѣ г. Милославскаго все, что соотвѣтствуетъ ихъ идеалу провозвѣстника истины, должны во-

[1]) Vierteljahrsschrift f. wiss. Philosophie. I Jahrgang.

сторгаться, наслаждаться, млѣть... «Нашъ-то,—думаютъ они:— каковъ!»

Мы покушаемся надѣяться, однако же, что намъ удалось разсѣять миражъ хотя у тѣхъ, которые могутъ впадать въ экстазъ не по природѣ своей, а лишь подъ вліяніемъ временныхъ и случайныхъ обстоятельствъ. Освободясь отъ гнета такихъ обстоятельствъ, они могутъ ясно и отчетливо видѣть всю несостоятельность сочиненія г. Милославскаго: недодуманность его основного положенія, натянутость его благопзмышленій, скудость эрудиціи, ипохондрическое настроеніе. На выдающуюся, руководящую роль послѣдняго, мы совѣтуемъ имъ обратить особенное вниманіе. Настроеніе это, овладѣвъ духомъ автора, заставляетъ его навязывать научной философіи тѣ немощи, которыхъ у нея нѣтъ, и призываетъ на помощь силы, которыя она давно отвергла. Въ ней корень той порчи, которая проникаетъ все сочиненіе г. Милославскаго насквозь и извращаетъ даже тѣ добрыя зерна, которыя въ немъ попадаются.

Признавая присутствіе такихъ добрыхъ зеренъ, кое-гдѣ разбросанныхъ въ сочиненіи, мы тѣмъ самымъ подтверждаемъ еще разъ правильность нашей общей характеристики его. «Ипохондрикъ,—говоритъ извѣстный психіатръ г. П. Ковалевскій:— каждый день мѣняетъ новыхъ медиковъ. Забираетъ у нихъ рецепты. Покупаетъ лѣкарства и лѣчится у нѣсколькихъ медиковъ заразъ. *Это ему не мѣшаетъ лѣчиться у знахарки*, читать медицинскія книги и лѣчиться самому... Его комната переполнена всевозможными стклянками, банками и коробочками, со всевозможными и невозможными лѣкарствами... Запахъ комнаты ипохондрика представляетъ нѣчто среднее между аптекою и клозетомъ» [1]). Изъ этого видно, что и у ипохондрика можно найти и дѣльный рецептъ, и цѣлительный медикаментъ, но извѣстно, что никто за ними къ нему не обращается [2]).

---

[1]) *П. И. Ковалевскій.* Курсъ частной психіатріи. Вып. I, стр. 60.

[2]) «*Извѣстный позитивистъ*» г. де-Роберти въ только-что вышедшемъ (іюль, 86) 2-мъ томѣ своего сочиненія «Прошедшее философіи» упоминаетъ о Милославскомъ какъ о «*симпатичномъ* представителѣ новой школы русской *научной* философіи» и сожалѣетъ, что Милослав-

«Всякому автору предстоитъ выборъ: писать кратко или пространно—выборъ двухъ золъ. Если онъ станетъ писать пространно, публика не будетъ читать его; если же онъ будетъ кратокъ, ему нельзя будетъ избѣжать недоразумѣній» [1]). Просимъ поэтому читателей простить насъ, если мы что не дописали или переписали.

Полтава, 1883.

скій, «къ несчастью, умеръ въ полномъ цвѣтѣ силъ и едва приступивъ къ *рѣшенію* (!!) той великой задачи (*обновленіе живыхъ источниковъ современнаго міропониманія* (!!), которая тревожила его *наравнѣ* съ лучшими и наиболѣе сильными умами въ Европѣ» (стр. 277). Г. де-Роберти, всегда отличавшійся проницательностью, проявилъ ее этотъ разъ особенно блистательно.

[1]) Natural Religion by the author of «Ecce Homo» p. VIII.

О ЧЕМЪ ПОЕТЪ КУКУШКА?

(По поводу выхода первой книжки спеціальнаго философскаго журнала).

О чемъ поетъ кукушка? Не та кукушка, что лѣтомъ мирно оглашаетъ садъ своимъ однообразнымъ пѣніемъ, и не та, что, выскакивая изъ-подъ крышки шварцвальдскихъ часовъ, тщится представить «глаголъ временъ», а та, жительница иного міра, заоблачная кукушка, которая ведетъ свой родъ отъ славныхъ предковъ, воздвигшихъ классическую «Нефелококкигію», и которая въ наше время знаменита какъ обитательница недоступныхъ простому смертному высей, носящихъ старинное названіе «Волькенкукусгейма»,—о чемъ поетъ она? Тянетъ ли все ту же старую пѣсню, сулящую гибель грубому опыту, недальновидному наблюденію, близорукой наукѣ, и восхваляющую то превыспренное, спиритуализованное, сумблимированное, апріорное познаніе, которое витаетъ въ регіонахъ трансцендентности, за предѣлами возможнаго опыта, и заносится къ самымъ границамъ мистики, а въ темныя непроглядныя ночи и далѣе въ самое царство призраковъ и тѣней... Или, быть можетъ, старую пѣсню смѣнила новая, или хоть въ старую вплелось новое слово?

Вопросы этого рода всегда возникаютъ у насъ, когда намъ попадаетъ въ руки произведеніе какого-нибудь метафизика, извѣстнаго своимъ умомъ, талантами и знаніями, не г. Н. Страхова какого-нибудь, а вотъ хоть такого человѣка, какъ А. А. Козловъ. При видѣ статьи или книги съ его именемъ, намъ сейчасъ же представляется его симпатичный образъ, слышится его полная увлеченія рѣчь, и мы охотно принимаемъ его за истиннаго представителя той отвлеченно-умозрительной философіи, которая до изнеможенія бьется надъ раскрытіемъ

абсолютной истины и установленіемъ особаго, пригоднаго для этого раскрытія метода, и лелѣетъ себя надеждою такимъ образомъ «обнять необъятное», чтобы, взгромоздясь на него, имѣть неизъяснимое наслажденіе хоть разъ взглянуть на науку сверху внизъ. Слѣдя за усугубленіемъ въ мысляхъ почтеннаго А. А. Козлова, мы внимаемъ какъ бы самому олицетворенію этой превыспренной философіи, какъ бы слышимъ вѣсти изъ иного міра и впрямь внимаемъ голосу неусыпающей дѣвы Метафизики и пѣснямъ замѣняющей у нея сову птички—вѣстницы всѣхъ «послѣднихъ словъ» мудрости «Волькенкукусгейма».

Передъ нами первая книжка «спеціальнаго журнала по философскимъ наукамъ—Философскаго Трехмѣсячника», издаваемаго и редактируемаго профессоромъ кіевскаго университета, г. Козловымъ, согласно программѣ, опубликованной въ іюнѣ прошлаго года.

Въ программѣ этой, между прочимъ, говорится, что редакція «Философскаго Трехмѣсячника» будетъ преслѣдовать три задачи, находящіяся другъ съ другомъ въ такой тѣсной связи, что осуществленіе одной способствуетъ осуществленію другихъ. Первая задача состоитъ въ пропагандѣ твердаго убѣжденія редакціи, что философія возможна на-ряду съ другими науками, какъ самостоятельная наука, и что ей нечего завидовать ни одной наукѣ, какъ по отношенію отграниченности и опредѣленности ея предмета, съ одной стороны, такъ и прочности и благонадежности имѣющихся въ ея распоряженіи способовъ познанія этого предмета, съ другой. Вторая задача состоитъ въ ознакомленіи русской интересующейся философскими вопросами публики съ движеніемъ этой науки въ Европѣ и затѣмъ съ весьма слабымъ отраженіемъ этого движенія въ нашемъ отечествѣ,—съ направленіями философіи, которыя существуютъ въ европейской литературѣ, съ ихъ борьбою и относительною силою, съ ихъ истиной и заблужденіемъ. Третья задача состоитъ въ ознакомленіи читателя журнала съ тѣмъ міровоззрѣніемъ, которое выработалось у редакціи.

Изъ этихъ заявленій редакціи видно, что основною задачею «Трехмѣсячника» слѣдуетъ считать ту, которая изложена въ 3-мъ пунктѣ программы, а именно: ознакомленіе читателей съ міровоззрѣніемъ, которое выработалось у редакціи. Въ самомъ дѣлѣ, 1-й пунктъ, излагающій одно изъ «твердыхъ убѣжденій редакціи», представляетъ, конечно, лишь случайно

оторвавшуюся часть всей остальной совокупности ея «твердыхъ убѣжденій», а пунктъ 2-й, обѣщающій ознакомленіе читателей съ философскою литературой на Западѣ и у насъ, стоитъ до того въ сторонѣ отъ этихъ «твердыхъ убѣжденій», что, по заявленію самой редакціи («Трехм.». стр 9), допускаетъ сотрудничество въ отдѣлѣ, имъ предвозвѣщаемомъ, даже для лицъ, относящихся враждебно къ философскому направленію редакціи. Если комментарій нашъ вѣренъ, то придется признать, что программа составлена спѣшно и едва ли удачно. Не ладно уже и то, что для нея требуется комментарій.

Оставляемъ въ сторонѣ неопредѣленность и неясность программы и прямо переходимъ къ самому журналу.

Редакція, однако же, такъ любитъ свое неудачное дѣтище, что на первой же страницѣ «Трехмѣсячника» опять повторяетъ вкратцѣ содержаніе только что разсмотрѣнныхъ нами трехъ пунктовъ и затѣмъ переходитъ къ разсужденію о томъ, какія ей представляются затрудненія при выполненіи взятой на себя задачи, прежде всего при выясненіи вопроса о томъ, «что философія есть самостоятельная наука, имѣющая свой особый предметъ и методъ». Надѣясь найти вѣрнаго союзника въ исторіи, г. Козловъ говоритъ: «Уже два съ лишнимъ тысячелѣтія европейскіе философы доказывали вышеозначенный тезисъ (и доказывали, по нашему, удовлетворительно), а несмотря на то, во всѣ эпохи онъ постоянно оспаривался, такъ что философамъ постоянно приходилось бороться съ однимъ и тѣмъ же противникомъ. Такъ дѣло идетъ и до сихъ поръ, и намъ съ скромными силами приходится продолжать борьбу, которую не могли окончить полною побѣдою великіе философы, люди съ великими силами. Очевидно, что задача эта не легкая и что, если бы намъ удалось привести ее къ удовлетворительному рѣшенію, то не скоро и не сразу. Но пусть читатель не дѣлаетъ изъ нашихъ словъ того вывода, что трудность борьбы съ мнѣніемъ, отрицающимъ самостоятельность философіи, какъ науки, заключается въ его истинѣ или въ его дѣйствительной силѣ, съ одной стороны, а съ другой, въ безсиліи философовъ поддержать свой тезисъ, потому что онъ ложенъ. Сила *скептицизма*, обращеннаго противъ философіи, не въ истинѣ его, а въ слѣдующихъ благопріятныхъ для него обстоятельствахъ. Во-первыхъ, онъ борется съ философіей ея же оружіемъ; во-вторыхъ, онъ находитъ для себя большую поддержку въ ум-

ственной лѣни и эгоизмѣ людей, и въ-третьихъ, онъ ловко прячется подъ личинѣй, скрывающей его истинную природу» (стр. 1—2).

Уже-ли,—спроситъ всякій, прочитавъ это объясненіе,—отъ времени глубокой древности и до нашихъ дней философіи непремѣнно давалось все одно и то же опредѣленіе? Уже-ли незыблемое это опредѣленіе упорно отрицалось все на одномъ и томъ же основаніи? Уже-ли противники философіи соревновали съ нею въ застоѣ неподвижности? Вѣроятно-ли, что философу древности представлялась необходимость отстаивать философію какъ разъ въ томъ же смыслѣ, что и г. Козлову? Если исторія призвана свидѣтельствовать въ настоящемъ случаѣ, то кому же не извѣстно, что подъ философіей первоначально разумѣли всеобщую науку, а не отдѣльную науку въ ряду другихъ, ей равнозначущихъ, и не совокупность этихъ наукъ. Слово «философія» не было условнымъ терминомъ, какъ въ наши дни, а обозначало «*любовь мудрости*», «*мудрость* же, по понятію древнихъ философовъ, значила то же,—какъ объясняли еще древніе,—что *наука* о вещахъ божескихъ и человѣческихъ и содержащихся въ этихъ вещахъ основоначалахъ». Такъ было встарь, а намъ доводится жить въ такое время, когда выдѣленіе одной спеціальной науки за другой изъ нѣдръ старой всеобъемлющей науки уже совершилось и когда универсализмъ этой науки не воплощается уже въ формѣ отдѣльной спеціальной науки. И такъ, «все измѣнилося подъ нашимъ зодіакомъ»... И если прежде отрицаніе философіи означало вмѣстѣ съ тѣмъ и отрицаніе науки и, слѣдовательно, исходило изъ *скептицизма*, то теперь стало возможно признавать науку, не отвергать возможности человѣческаго познанія вообще, и въ то же время относиться къ философіи отрицательно на совершенно новый ладъ: не отвергать ее принципіально, какъ основоначало единства и связи всѣхъ частей и отраслей познанія, а оспаривать только правомѣрность выдѣленія ея, какъ науки самостоятельной, имѣющей свой особый предметъ и свои особые методы. Разъ «обращенный противъ философіи скептицизмъ» болѣе не существуетъ, запоздалыя рѣчи о немъ становятся симптомомъ иллюзій... Вопросъ, который такъ волнуетъ г. Козлова, очевидно теряетъ, по отношенію къ философіи, острое значеніе «to be or not to be» и сводится уже къ вопросу о положеніи, значеніи и роли философскаго элемента въ по-

знаніи; сохранивъ старыя оффрмулы, совершенно напрасно тревожащія иныхъ, вопросъ этотъ очевидно переносится на иную почву и содержаніе его кореннымъ образомъ перерабатывается.

Современное состояніе знанія даетъ полное основаніе считать различіе философіи и науки лишь относительнымъ и вовсе не хлопотать о рѣзкомъ разграниченіи этихъ двухъ областей. Каждая спеціальная наука имѣетъ свою систему понятій, которую всегда можно расположить по степени ихъ возрастающей общности и сопоставить при этомъ наивысшія понятія различныхъ отдѣльныхъ наукъ. Сопоставленіе это обнаружитъ, что нѣкоторыя изъ этихъ понятій, какъ, напримѣръ, понятіе развитія, тяготѣнія, постоянства энергіи, борьбы за существованіе и т. д. не пріурочиваются исключительно къ одной какой-нибудь наукѣ, а составляютъ ихъ общее достояніе; понятія эти и представляютъ философскій элементъ познанія или философію науки или научную философію, назовите какъ хотите.

Что въ имени? что розою зовемъ,
Вѣдь также бы равно благоухало
И подъ другимъ названьемъ.

Наши «философскія понятія» можно, конечно, собрать въ отдѣльную группу и эту группу назвать философіей, но такимъ образомъ, мы все-же-таки не будемъ имѣть отдѣльной самостоятельной науки въ смыслѣ г. Козлова, прежде всего потому, что предметъ нашей искусственной группы будетъ не какой-нибудь особенный, неизвѣстный другимъ спеціальнымъ наукамъ, а тотъ же міръ—объектъ ихъ общаго изученія, расчленяемый только ради удобства и успѣшности этого изученія, и далѣе еще потому, что у нашей группы не будетъ яснаго и достаточно опредѣленнаго отграниченія отъ другихъ наукъ и, наконецъ,—что всего важнѣе,—потому, что у нея не будетъ,—даже и при осуществленіи мечты о сведеніи всѣхъ общенаучныхъ или философскихъ понятій къ одному,—своего особаго специфически-философскаго метода. «Скептицизмъ», такимъ образомъ, получаетъ возможность изощряться въ отрицаніи дѣла совершенно пустого и безнадежнаго, ясно обнаруживая при этомъ, что мотивировка его эгоизмомъ и умственною лѣнью произошла по той причинѣ, по которой всегда «stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein».

«Философы» возстанутъ, пожалуй, что мы отстаиваемъ «простую эрудицію», «пустое многознаніе», «корпѣніе музейныхъ зоологовъ и всякихъ Species-Macher'овъ»; но всѣ эти восклицанія будутъ только затягиваніемъ недоразумѣнія. Мы, нисколько не посягая, впрочемъ, на цѣнность и значеніе низшей, собственно-описательной науки, нисколько не думаемъ возводить ее «въ перлъ созданія» и не мечтаемъ о подъемѣ ея до высоты преобладанія и задаванія тона въ области знанія. Имѣя передъ глазами типъ абстрактныхъ наукъ Ог. Конта и живое воплощеніе философствующей науки и научной философіи въ лицѣ цѣлой блестящей плеяды передовыхъ умовъ нашего вѣка, мы считаемъ смѣшнымъ стоять за узурпацію высшихъ ступеней познанія низшими, т.-е. за буквоѣдство. Повторяемъ: мы не отрицаемъ философскаго характера науки, мы возражаемъ только противъ выдѣленія и обособленія того, что,— по нашему убѣжденію,—должно остаться невыдѣленнымъ изъ общей системы знанія и составлять съ нимъ единое цѣлое.

Пусть старая кукушка продолжаетъ тянуть свои старыя пѣсни, пусть тяготѣющая къ мистикѣ метафизика, маскируясь измѣнившими смыслъ свой словами, обличаетъ «эгоизмъ и умственную лѣнь» трезвыхъ философовъ, мы все же останемся при увѣренности, что для новаго вина нужны и мѣхи новые и что мумію внѣ научной философіи давно уже пора сдать въ музей.

Легко сказать: эгоизмъ, умственная лѣнь! Но надо же показать, въ чемъ они проявляются. По мнѣнію г. Козлова, въ томъ, что «философская истина всегда ведетъ къ различнымъ нравственнымъ обязательствамъ и ограниченіямъ человѣческаго эгоизма, который поэтому естественно презираетъ *безплодную* и *безполезную* философскую истину и предпочитаетъ ей *полезныя* истины другихъ наукъ, имѣющихъ прямое практическое приложеніе къ жизни. Конечно, при этомъ человѣческій эгоизмъ не понимаетъ, да, пожалуй, и не подозрѣваетъ, что философская истина имѣетъ чрезвычайно важное значеніе въ общемъ тонѣ и направленіи умственной, нравственной и эстетической жизни цѣлыхъ обществъ въ теченіи нѣсколькихъ поколѣній. Намъ придется еще обстоятельно доказывать это значеніе и въ особенности выяснить, что общество въ пониженіи этого тона всегда несетъ *должную кару* за поощреніе философскаго скептицизма, повидимому, облегчающаго его отъ

безполезной умственной работы и излишнихъ обязательствъ» (стр. 4). Спрашивается, однако же, если этика налагаетъ обязательства и ограниченія для дѣятельности нравственной, а теорія познанія—дѣятельности умственной, и если нечестивые скептики этихъ обязательствъ не устрашаются, то чего ради имъ такъ уже пугаться какой-то философіи, о которой извѣстно только, что она ищетъ что-то, но о грозныхъ скрижаляхъ которой ни у кого нѣтъ еще достовѣрныхъ свѣдѣній. Г. Козловъ, быть можетъ, и самъ того не замѣчая, вмѣняетъ какъ бы ни во что слѣдованіе предписаніямъ этики и теоріи познанія представляя себѣ гнусныхъ скептиковъ и увлекающееся ими общество, какъ какихъ-то торгашей, именно и налегаетъ на то обстоятельство, что публика, молъ, за то и апплодируетъ рыцарямъ отрицанія самостоятельности философіи какъ науки, за то и *поощряетъ* (?) ихъ, что они, эти рыцари, мирволятъ ея *эгоизму*, ея слабости ко всему *полезному*, ея презрительному отношенію къ *безполезному*, къ тому, что прямого, практическаго приложенія къ жизни не имѣетъ. Но какъ мыслитъ о полезности и безполезности скептикъ, «ce pelé, ce galeux, d'ou nous vient tout le mal»,—объ этомъ г. Козловъ заботится очень мало и, увлеченный игрою въ притянутыя имъ для сего случая понятія, безстрашно внушаетъ читателю мысль, что рѣчь идетъ о полезности грубой, низкой, утробной, той самой, для которой «печной горшокъ всего дороже», вторженіе которой въ жизнь понижаетъ тонъ этой жизни, и т. п. А скептикъ въ это время всего вѣроятнѣе только пожимаетъ плечами и, спокойно разсуждая, повторяетъ въ сотый разъ, что этика, теорія познанія и всѣ вообще науки, возведенныя до высоты типа «абстрактныхъ наукъ», не нуждаются ни въ какой добавочной философіи и сами въ себѣ содержатъ ту истинную *научную философію*, которая не только найдетъ въ себѣ силы поддерживать достодолжную высоту тона общественной и умственной жизни, но еще съумѣетъ бороться и противъ гибельнаго отвода глазъ въ ту лежащую внѣ сферы возможнаго опыта область, куда такъ тянетъ проповѣдниковъ обособленной, т.-е. освобожденной отъ отрезвляющаго вліянія науки философіи, или, говоря прямѣе, метафизики, въ особенности же метафизики г. Козлова, очень хорошо намъ извѣстной.

Читатель можетъ оцѣнить теперь аргументъ, которымъ г. Козловъ упреждаетъ еще одно возраженіе противъ столь

дорогой его сердцу обособленности философіи,—возраженіе, основанное на томъ, что истина-де одна, а философія «предстоитъ во многихъ системахъ» и, слѣдовательно, философія не истинна. Г. Козловъ явно торжествуетъ, предупреждая покушающихся на такое возраженіе, что онъ докажетъ имъ все ничтожество ихъ аргумента. «Мы докажемъ,—говоритъ онъ:—что прямо высказываемое или подразумѣваемое положеніе, что «истина одна», принадлежитъ къ содержанію философіи и можетъ или должно находиться только въ ней и что изъ содержанія какихъ-либо другихъ наукъ скептицизму его взять нельзя» (стр. 3). Скептицизмъ, однако же, подстрекаемый бѣсомъ эгоизма и умственной лѣни, можетъ отвѣтить, пожалуй, что утвержденіе «истина одна», какъ формальное, должно и быть достояніемъ формальной науки—теоріи познанія, а философіи нельзя останавливаться на такомъ голомъ положеніи, а предстоитъ выработать самое его содержаніе. При этомъ онъ попытается еще доказать, что, какъ формальный тезисъ о единствѣ истины, такъ и выработка этой истины, могутъ имѣть научное значеніе только при томъ условіи, если они будутъ установлены и выработаны научнымъ методомъ, такъ какъ если истина одна, то и методъ тоже одинъ—методъ научный. Если же тщеславіе философовъ хочетъ непремѣнно узурпировать заслугу теоріи познанія, логики и др. наукъ и рядомъ съ ними воздвигаетъ особое зданіе философіи, долженствующее обладать своимъ особымъ, т.-е. ненаучнымъ методомъ, то не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать неизбѣжный результатъ хлопотъ гг. философовъ надъ этимъ карточнымъ домикомъ—онъ рухнетъ, и гг. философы окажутся весьма плохими зодчими.

Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что смѣшеніе отрицателей самостоятельности и обособленности философіи со скептиками, отрицающими возможность самаго существованія философіи, идетъ у г. Козлова рука объ руку съ другимъ ошибочнымъ утвержденіемъ, тоже основанномъ на недостаточномъ различеніи разноднаго. Слишкомъ увлекаясь борьбою съ мнимыми скептиками, г. Козловъ причисляетъ къ ихъ сонму и тѣхъ, которые различаютъ философію отъ метафизики и, отвергая послѣднюю, оспариваютъ только условія установленія первой. Г. Козловъ считаетъ противниковъ метафизики противниками и самой философіи (стр. 6). Ошибка такого рода у мыслителя, вообще

проницательнаго, объясняется увлеченіемъ, съ которымъ почтенный ученый взялся не то ужъ что охладить, но сразу заморозить нѣкоторыя не нравящіяся ему идеи. Болѣе спокойному наблюдателю не можетъ не быть очевиднымъ различіе между споромъ о возможности или невозможности выдѣленія самыхъ общихъ научныхъ понятій въ отдѣльную дисциплину съ особымъ методомъ и споромъ объ основахъ самого метода, къ которому, въ концѣ-концовъ, сводится отрицаніе правовѣрности метафизики. Вѣдь обобщенія обобщеніямъ рознь: одни зиждутся на почвѣ дѣйствительности, другія, представляя порожденіе фантазіи, являются лишь міромъ призраковъ, который не уживается не столько съ эгоизмомъ и умственною лѣнью, сколько со здравымъ смысломъ!

Пѣсня метафизической кукушки осталась прежнею, а намъ это только и было интересно. Слѣдить за подробностями, подмѣчать мелкія варіаціи—не наше дѣло, да у насъ для этого нѣтъ ни охоты, ни времени. Притомъ же первая книжка«Трехмѣсячника» и не даетъ для насъ особенно-богатаго матеріала: она такъ мала и въ ней такъ много обѣщаній по отношенію къ самымъ существеннымъ пунктамъ міровоззрѣнія редакціи, что для любителей этого рода чтенія главное еще впереди. Мы прочитали, впрочемъ, внимательно всю книжку и не замѣтили въ ней ни интересныхъ подробностей, ни стоющихъ вниманія варіацій. Когда г. Козловъ обрушивается на графа Л. Н. Толстого и пытается подставить вмѣсто хотя и хаотическихъ, но живыхъ тезисовъ его вѣры, той вѣры, которая есть «la morale inspirée, embrasée, illuminée par l'émotion», свое книжное, сухое, дѣланное построеніе, приводящее къ созерцанію, или, по опредѣленію г. Козлова, къ переживанію религіознаго сознанія, доступнаго только однимъ религіознымъ натурамъ par excellence (?!); когда, скользя по «glatteste Glatteis des transcendentalen Denkens», онъ останавливаетъ вниманіе читателей на «хорошихъ» сторонахъ книги Дюпреля, вскрывающей ограниченность и односторонность того направленія умовъ, которое господствуетъ у людей, занимающихся естественными науками; когда онъ мимоходомъ бросаетъ угрозу «позитивнымъ мыслителямъ», обѣщая «не разъ еще имѣть съ ними дѣло»; когда съ досадою говоритъ о «научномъ и передовомъ направленіи» проф. Троицкаго; во всѣхъ этихъ случаяхъ для насъ ясно обнаруживается, какъ нетерпѣливо спѣшитъ нашъ авторъ

поскорѣе погрузить читателя въ ту темную глубь, гдѣ кончается все опредѣленное, все ясное, понимаемое, чувствуемое, переживаемое, выстрадываемое, гдѣ нѣтъ мѣста наукѣ съ ея грубымъ опытомъ и назойливымъ наблюденіемъ и гдѣ безраздѣльно и всевластно царитъ того рода философія, до которой намъ, простымъ смертнымъ, нѣтъ никакого дѣла, которая не возбуждаетъ въ насъ никакого къ себѣ интереса и не внушаетъ никакихъ надеждъ.

Заманиваніе, со стороны этой философіи—насъ, людей жизни, горько познавшихъ трудности рѣшенія поднимаемыхъ ею вопросовъ и извѣрившихся въ обработку ихъ, посредствомъ академическихъ преній, едва ли будетъ имѣть успѣхъ. Участь этого заманиванія, вѣроятно, будетъ та же, что и участь попытки увѣрить насъ, будто философія есть только продуктъ творчества, своего рода поэтическаго вдохновенія, въ области котораго ученому неизбѣжно приходится очутиться, сдѣлавъ «salto mortale» черезъ всѣ достовѣрныя и вѣроятныя обобщенія. Года три тому назадъ носились съ этой попыткой, но она была мимолетна, да и аргументы, ею выставляемые, расползались во всѣ стороны, какъ дороги вокругъ усадьбы помѣщицы Коробочки. Въ настоящее же время за насъ принимаются ужъ совершенно серьезно: хотятъ насъ, во что бы то ни стало, пронять упорною настойчивостью пѣсенъ кукушки, которая четыре раза въ годъ будетъ вспархивать на башни Wolkenkukusheim'а и оттуда взывать къ намъ объ оставленіи порочнаго пути эгоизма и умственной лѣни, о преданіи проклятію растлѣвающаго насъ скептицизма и о благополучномъ успокоеніи въ мѣстѣ злачномъ, въ своего рода нирванѣ, твердынѣ безпечальнаго созерцанія, необоримой и вѣчной, чистой отъ всякихъ «измовъ» и глубокой, какъ бездонная пропасть, философіи «Трехмѣсячника»... Но отъ насъ, изъ той страны, гдѣ живемъ мы, обыкновенные люди, съ нашими нескончаемыми заботами, нашимъ неразмыканнымъ горемъ, нашими надеждами и опасеніями, нѣтъ дорогъ въ царство блаженной кукушки; мы волей-неволей вынуждены выслушивать отъ времени до времени ея пѣсни, но сколько не пытаемся вникать въ сокровенный смыслъ ихъ, значеніе его для насъ все же остается «темно иль ничтожно».

Тверь, 1886.

ТРИШКИНА ФИЛОСОФІЯ.

Философія наукъ и научно-философскія системы.—Прошедшее философіи.—Опытъ соціологическаго изслѣдованія общихъ законовъ развитія философской мысли. Томы I и II. Москва 1886.

> Бѣлиберда—это, такъ сказать, воздухъ, которымъ мы дышемъ, хлѣбъ, которымъ мы питаемся. Это не только существеннѣйшій признакъ времени, но и отличнѣйшая во всѣхъ смыслахъ рекомендація. Во всѣхъ видахъ она хороша: и какъ pièce de résistence, и въ видѣ гарнира. Безъ ея содѣйствія, всуе будетъ трудиться зиждущій...
>
> *Щедринъ.*
>
> (Пестрыя письма 1885 г.)

Въ недавнее еще время г. Е. де-Роберти извѣстенъ былъ какъ «единственный» позитивистъ во всей нашей литературѣ, и тогда всякій зналъ, что именно онъ по тому или иному поводу можетъ сказать. Время это для г. де-Роберти было, хотя и съ грѣхомъ пополамъ, временемъ расцвѣта: онъ твердо зналъ свой позитивный катехизисъ, бойко манипулировалъ двумя извѣстными шаблонами—«закономъ трехъ состояній» и «схемой классификаціи наукъ», крѣпко вѣровалъ, что г. Вырубовъ увѣнчалъ храмъ позитивной философіи, считалъ себя жрецомъ при этомъ храмѣ и въ этомъ качествѣ вершилъ всякіе вопросы: о «скрытомъ теплородѣ экономическаго міра», о «сборной командѣ человѣческаго знанія», о «позитивной метафизикѣ» и о многихъ другихъ, наводящихъ на размышленіе предметахъ...

Глядя на міръ изъ-за спины своего учителя, онъ старался корчить такія гримасы, которыя должны были выражать глубокую иронію по адресу всѣхъ тѣхъ злосчастныхъ, которые коснѣли въ неразумѣніи позитивной премудрости и особенно выразительно кивалъ въ сторону современной нѣмецкой философіи, которая-де сама не вѣдаетъ, что творитъ. Прикидываясь изучившимъ ее до тла, г. де-Роберти, наморщивши чело, разсуждалъ, что отъ этихъ Шмитовъ и Шульцевъ ждать молъ нечего, что всякій Шмитъ и Шульцъ «еще-бы болѣ навострился», если-бы немножко поучился у кого-нибудь изъ позитивистовъ и т. п. Дивное было это время для нашего философа; ему начинало уже казаться, что онъ «жжетъ сердца людей» своимъ «глаголомъ», и быть можетъ, ему уже думалось подчасъ, что на горизонтѣ позитивизма восходитъ новое свѣтило, чего добраго—второй Вырубовъ!... Но,

no hay seguro camino
A la fuerza del destino;—

тихо, незамѣтно подкралось искушеніе со стороны тѣхъ самыхъ Шмитовъ и Шульцевъ, которыхъ такъ недавно еще г. де-Роберти презиралъ и надъ воззрѣніями которыхъ такъ много и такъ легкомысленно глумился. Сначала онъ мечталъ взять верхъ надъ искушеніемъ и «опозитивить» презрѣнныхъ Шульцевъ, но Шульцы не поддались... Позитивистъ «напрягся, изнемогъ»... Произошло нашествіе, и затѣмъ не преодолѣніе, а на несчастье автора, рецензентовъ и читателей—смѣшеніе языковъ. Заповѣдный позитивизмъ не упразднился и не развился, даже не переработался, а такъ сказать, «ошульцился». Урѣзанный и подштопанный со всѣхъ сторонъ злосчастный позитивизмъ этотъ представляетъ теперь нѣчто совершенно новое, невиданное и неслыханное: какую-то безобразную, жалкую и каррикатурную «тришкину философію». Да что до этого печали?... Нашъ авторъ «малый не простой!» Теперь-то—рѣшилъ онъ—въ рукахъ у него оказался такой «новый концептъ», исходя изъ котораго можно, смотря по надобности, производить «соціологическія» и всякія иныя изслѣдованія, открывать законы, проливающіе цѣлую массу свѣта на что только угодно, совершать всевозможныя «установленія» и т. д. и т. д. И вотъ, видя, что все готово, г. де-Роберти «въ походъ собрался», и не много не мало, сталъ писать обширное сочиненіе подъ общимъ заглавіемъ «Философія наукъ

и научнофилософскія системы», два первые тома котораго въ этомъ году и вышли въ свѣтъ.

Всего прежде г. де-Роберти является передъ нами, какъ историкъ философіи: онъ недоволенъ существующими исторіями философіи и находитъ, что онѣ черезчуръ богаты «переходными формами, трудно уловимыми оттѣнками, неожиданными сочетаніями и всевозможными компромиссами»; (I, 197) онъ тяготится «слишкомъ дробными дѣленіями, слишкомъ точнымъ (!) и мелочнымъ воспроизведеніемъ отдѣльныхъ чертъ или признаковъ, характеризующихъ философскія ученія», (I, 198) онъ находитъ, что «вездѣ въ трудахъ историковъ философіи мы наталкиваемся на мало научное стремленіе къ конкретной полнотѣ очертаній, къ воспринятію въ рамки теоретическихъ классификацій возможно большаго числа подробностей и реальныхъ, но черезчуръ мелкихъ линій. Почтенной и высокой, на своемъ мѣстѣ и въ своихъ границахъ, цѣли, именно художественной правдѣ, составляющей ближайшее воспроизведеніе правды жизненной, безсознательно приносится, такимъ образомъ, въ жертву самое абстрактное и, слѣдовательно, отдаленное отраженіе жизни—истина научная», (I, 199) поэтому, въ классификаціяхъ философскихъ системъ царятъ «безвыходная путаница и противорѣчія». (I, 199). Вотъ г. де-Роберти и берется все пообновить, поосвѣжить, поисправить.

«Дай Боже нашему теляти вовка поймати»,—думали мы, читая рекламы широковѣщательнаго философа, и ждали—что-то будетъ?

Обновленіе исторіи философіи началось открытіемъ новаго «*соціологическаго* закона», проливающаго массу свѣта и т. д. и т. д. И что за открытіе—прелесть, диво, чудо! Такого открытія еще никто никогда не дѣлалъ! Представьте себѣ соціологическій законъ, проливающій и т. д., и вокругъ него, какъ планеты вокругъ солнца, вращаются и обращаются всѣ положенія, аѳоризмы, предвидѣнія и постиженія г. де-Роберти. Самый-же «соціологическій законъ»—законъ трехъ фазисовъ метафизики заключается въ томъ, что-де матеріализмъ, сенсуализмъ и идеализмъ исчерпываютъ все содержаніе философіи прошедшаго и въ общей совокупности представляютъ изъ себя одну метафизику. Матеріализмъ все сводитъ на матерію; идеализмъ—на идею; сенсуализмъ—на ощущеніе; матерія, идея, ощущеніе—это все «вещи въ себѣ» или «вещи сами въ себѣ» всѣхъ этихъ

господъ метафизиковъ... Вы смѣетесь, читатель? считаете все это за шутку? но погодите, то ли мы еще встрѣтимъ. Новый «законъ»—это истинно-замѣчательный, истинно-рѣдкій, истинно-удивительный законъ! Онъ классифицируетъ всѣ философскія системы, какія только когда-либо и гдѣ-либо существовали, вскрываетъ сокровеннѣйшія пружины ихъ эволюціи, отдѣляетъ «метафизическія» системы прошедшаго времени отъ «межеумочныхъ» системъ настоящаго, укладываетъ на прокрустово ложе всѣхъ философовъ, оказывающихъ ему сопротивленіе и, наконецъ, «разсѣеваетъ туманъ», «разрушаетъ иллюзіи» и вообще проливаетъ массу, массу свѣта во всѣ стороны, куда только угодно. Этотъ законъ—это своего рода свѣточъ тришкиной философіи. Благодарное потомство долго будетъ колебаться, какъ достодолжно наименовать его:—«тришкинымъ закономъ» или «закономъ де-Робертп»?

Обратимся же къ нему съ тѣмъ вниманіемъ, котораго онъ заслуживаетъ.

Такъ какъ корни и нити такого рода «закона» должны, какъ то само собою разумѣется, расползаться въ разныя стороны, безъ чего невозможно бы было постичь «генезисъ» тѣхъ лохмотьевъ, изъ которыхъ «построена» тришкина философія, то намъ и нельзя обойти вопроса объ «элементахъ» этой философіи и ея основного закона.

Элементы эти довольно многочисленны и разнообразны: прежде всего—«схема классификаціи наукъ» Ог. Конта, потомъ «законъ трехъ состояній» его же», и наконецъ, нѣкоторыя положенія новѣйшихъ нѣмецкихъ философовъ, главнымъ образомъ, К. Гёринга и Зибека. О всѣхъ ихъ надо сказать хоть нѣсколько словъ.

«Классификація наукъ» Ог. Конта извѣстна: охватывая область такъ называемыхъ «абстрактныхъ наукъ» своего времени, классификація эта располагаетъ науки въ порядкѣ возрастающей сложности и убывающей общности, установляя такимъ образомъ «рядъ», въ который, начиная съ *математики* и оканчивая *соціологіей*, входятъ: *астрономія*, *физика*, *химія* и *біологія*. Намъ не зачѣмъ напоминать читателю всего того, что писалось по поводу этой классификаціи и пояснять еще разъ ея неполноту и неустойчивость ея прямолинейности. Г. де-Роберти не знаетъ литературы этого вопроса или игнорируетъ ее, и все же таки не умѣетъ,—какъ увидимъ далѣе,—ввести

ее въ свой «законъ» иначе, какъ съ урѣзаннымъ концомъ, что для его «соціологическаго изслѣдованія» особенно характерно.

Надъ «закономъ трехъ состояній» намъ тоже нечего долго останавливаться: и онъ хорошо у насъ извѣстенъ. Всякій знаетъ, что законъ этотъ заключается въ *соподчиненіи* трехъ главныхъ типовъ развитія мысли, установленныхъ Ог. Контомъ, въ такомъ торядкѣ: типъ первоначальный—*теологическій*, затѣмъ—*метафизическій* и, наконецъ, *позитивный*. Сильныя и слабыя стороны этого обобщенія тоже извѣстны. Г. де-Роберти беретъ его какъ прототипъ своего «закона», но—какъ то и покажетъ дальнѣйшій нашъ обзоръ—схватываетъ лишь внѣшнее и поверхностное, а потому и строитъ крайне несостоятельную аналогію между этимъ закономъ и своимъ собственнымъ.

Что касается нѣкоторыхъ положеній К. Гёринга и Зибека, то они являются у нашего философа частью въ неполномъ, частью въ извращенномъ видѣ, причемъ объ однихъ упоминается, а о другихъ умалчивается, такъ что они сходятъ за оригинальные. У К. Геринга г. де-Роберти заимствовалъ отрывокъ изъ теоріи познанія, именно: истолкованіе значенія «пониманія» со всѣми приложеніями его къ различнымъ метафизическимъ системамъ. Этотъ тезисъ Геринга изложенъ на стр. 230 I тома и во многихъ другихъ цитатахъ изъ «Системы критической философіи»,—цитатахъ, испещряющихъ страницы обоихъ томовъ сочиненія г. де-Роберти. Зибекъ снабдилъ нашего автора своимъ выясненіемъ отношенія, существующаго между основными идеями различныхъ метафизическихъ системъ и опытомъ. Заимствованіе воззрѣнія Зибека, играющее у г. де-Роберти такую видную и важную роль, нигдѣ не упоминается. Притомъ же основная мысль Зибека осталась для г. де-Роберти не совсѣмъ понятною.

Теперь, когда намъ извѣстны тѣ лоскутья, изъ которыхъ сшивается пресловутый «законъ трехъ фазисовъ метафизики», мы можемъ ознакомиться съ нимъ нѣсколько ближе.

Читатель, впрочемъ, уже предвидитъ его. Будучи сколкомъ съ закона трехъ состояній Ог. Конта, новый законъ представляетъ также *три состоянія* или фазиса метафизики; затѣмъ, приспособляясь къ схемѣ классификаціи «наукъ, законъ этотъ распредѣляетъ между *шестью науками контовскаго ряда* свои *три типа метафизики*; при этомъ раздѣлѣ, *матеріализму* достается *математика*, *астрономія*, *физика и химія: сенсуализму*—

біологія, а *идеализму—соціологія*. Распредѣленіе это толкуется по теоріи Геринга въ томъ смыслѣ, что каждый типъ осуществляетъ *пониманіе* всей совокупности предлежащихъ ему явленій *сведеніемъ* ихъ на явленія первой, второй или третьей группы контовской схемы, и, наконецъ, толкованіе это дополняется идеею Зибека, указывающею на *опытное происхожденіе каждой изъ основныхъ идей всѣхъ трехъ типовъ метафизики*.

Сложность и пестрота приложеннаго нами пока вкратцѣ «концепта» бросаются въ глаза. Тутъ—урѣзано, тамъ пришито, зашито и подшито... Ужели это еще не тришкина философія?

Теперь намъ предстоитъ войти въ подробности пресловутаго «закона»г. де-Роберти, при чемъ намъ представится случай ознакомиться съ подлиннымъ изложеніемъ самого автора. Намъ придется наглядно убѣдиться въ вѣрности старинной примѣты, что только ясно продуманное можетъ получить и ясное выраженіе.

Г. де-Роберти утверждаетъ, что *всѣ* когда-либо существовавшія философскія системы представляютъ «общее знаніе», состоящее «въ послѣднемъ анализѣ» изъ «ряда общихъ гипотезъ», стремящихся «обнять всѣ разряды явленій» и такимъ образомъ объяснить знаніе даннаго времени. Принимая во вниманіе, что «область гипотезъ почти такъ же обширна, какъ область явленій», г. де-Роберти, во избѣженіе принятія «съ нѣкоторыми историками» такого же количества «разрядовъ или типовъ міровоззрѣній, сколько было оригинальныхъ философовъ», ищетъ и находитъ спасеніе въ классификаціи наукъ Ог. Конта, или вѣрнѣе, «въ лежащей въ основѣ ея классификаціи явленій». «Классификація» Ог. Конта—по мнѣнію автора—есть лучшая изъ всѣхъ *возможныхъ* (?) классификацій, «во-первыхъ, необходимыхъ и постоянныхъ отношеній между явленіями, называемыхъ ихъ естественными законами (отсюда возможность воспользоваться этою классификаціею для распредѣленія наукъ въ іерархическомъ порядкѣ); и во-вторыхъ, и тѣхъ произвольныхъ или гипотетическихъ сочетаній явленій, которыя своимъ происхожденіемъ обязаны, *въ значительной степени* (?) нашему воображенію (отсюда возможность воспользоваться тою же классификаціею и для систематическаго группированія философскихъ міровоззрѣній прошедшаго). Однимъ словомъ, такая классификація представляетъ прочный и широкій базисъ, на которомъ можно одинаково основать и раздѣленіе знанія положитель-

наго, точнаго, провѣреннаго до послѣднихъ мелочей, и классификацію знанія гипотетическаго, воображаемаго, непровѣряемаго даже въ главныхъ чертахъ. Нужды нѣтъ, что въ настоящее время только наука признается дѣйствительнымъ знаніемъ, а метафизика большею частью прямо приравнивается къ незнанію: не говоря уже о томъ, что это не всегда было такъ, мы вѣдь здѣсь завѣдомо классифицируемъ философскіе продукты именно продолжительнаго періода незнанія».

«*Но* (?), въ своихъ общихъ чертахъ, классификація Ог. Конта даетъ намъ три рѣзко дифференцированныя области явленій: неорганическую или физико-химическую группу съ ея математической основой, органическую или біологическую, которая зиждется на предыдущей и, наконецъ, гиперорганическую, или психо-соціологическую, которая, въ свою очередь, имѣетъ біологическое основаніе. Къ этимъ тремъ группамъ явленій могутъ быть сведены и *всѣ* общія гипотезы, *когда-либо* выставлявшіяся прежнею философіей, а слѣдовательно и *всѣ* системы, на которыя она распадается». (I, 77—79).

Такимъ образомъ получается «трехчленная классификація міровоззрѣній прошедшаго» или «законъ трехъ типовъ метафизики». «Одинъ изъ этихъ типовъ выдвигаетъ на первый планъ гипотезу, тѣсно примыкающую къ широкому основанію всякой человѣческой культуры—къ наукамъ неорганическаго міра, изслѣдующимъ самыя общія и простыя явленія. Таковъ *матеріализмъ*. Другой типъ, напротивъ того, выступаетъ съ гипотезой, охватывающей «будущіе» верхніе этажи и самую крышу строющагося зданія,—еще не образовавшіяся *науки* явленій гиперорганическихъ. Таковъ *идеализмъ*». (I, 57). Третьему типу соотвѣтствуетъ «міръ органическихъ или біологическихъ явленій, составляющій переходъ отъ космологіи къ соціологіи», (отождествляемой, согласно предыдущему съ не образовавшимися *науками* гиперорганическихъ явленій), «отъ порядка *внѣшняго міра* къ порядку *человѣчества*» (любопытное противупоставленіе!) «Изъ этой обширной области, изъ этого новаго міра явленій, какъ изъ двухъ остальныхъ, философы, если только основное предположеніе наше вѣрно, *должны* были *свободно* и большею частью *безсознательно* (должны свободно и безсознательно!!!) черпать матеріалы и составные элементы своихъ всеобъемлющихъ гипотезъ. Было ли что-нибудь подобное въ дѣйствительности? Происходило ли все такъ, какъ того требуетъ

наше предположеніе?» (I, 80). Если философы «*были должны свободно и безсознательно*», то, само собою разумѣется, что все было и происходило именно такъ, какъ того желаетъ авторъ.

И въ самомъ дѣлѣ, «на ряду съ матеріализмомъ и идеализмомъ» г. де-Роберти находитъ «сенсуализмъ». «Матеріализмъ, сенсуализмъ, идеализмъ»—восклицаетъ авторъ, обрадованный своей находкой,—«эта *превосходная* терминологія, прочно усвоенная *себѣ* (?) всѣми историками философіи (только-что уличенными авторомъ въ мелочности, безвыходной путаницѣ и противорѣчіяхъ) и столь легко переводимая на менѣе привычные уху термины—*механизмъ* (физико-химизмъ), *біологизмъ* (біопсихизмъ), и *психологизмъ* (чистый психизмъ), весьма *знаменательна:* она является какъ бы *инстинктивнымъ* (?) признаніемъ глубокой вѣрности лежащаго въ основѣ нашей классификаціи принципа». (I, 31).

Еще бы не знаменательна, если благодаря ей, соціологія занимающая въ «основѣ» опредѣленное мѣсто, оказалась урѣзанною, а отсутствующая «психологія» не только не вѣсть откуда появилась, но еще и подѣлила между собою два типа, соорудивъ самое неожиданное противупоставленіе біопсихизма и *чистаго* (?) психизма.

Авторъ не чувствуетъ, однако же, никакого затрудненія; продолжая «выясненіе» своего закона, онъ сочиняетъ еще новую варіацію. «Сенсуализмъ—увѣряетъ онъ—составляетъ лишь особенно выдающуюся посредствующую фазу въ томъ двойномъ процессѣ матеріалистическаго эндосмоза (поглощеніе *менѣе* (?) извѣстнаго субъекта *болѣе* (?) извѣстнымъ объектомъ) и идеалистическаго экзосмоза (обратнаго поглощенія объекта субъектомъ), который принимаетъ въ исторіи міропониманія всевозможныя формы, и составляетъ *въ сущности* (?) *все* содержаніе прошедшаго философіи. Сенсуалистическая философія есть та стадія этого развитія, въ которой *наименѣе общая и наиболѣе сложная часть объекта, біологическая сфера, поглощаетъ собою субъектъ, психологическую сферу и тѣсно примыкающія къ ней (хотя характеръ этой связи еще точно не выясненъ* (??) *явленія общественности*». (I, 83) и далѣе: «Сенсуалистъ стремится объяснить *все* въ природѣ однимъ разрядомъ свойствъ и законовъ и видитъ въ различныхъ категоріяхъ явленій столько же частныхъ случаевъ одного основнаго факта. Для настоящаго сенсуалиста все есть ощущеніе и чувственное воспріятіе, фактъ

біо-психическій, какъ для настоящаго матеріалиста все есть движеніе и матерія, фактъ механико-физическій, или для чистаго идеалиста все есть идея, концептъ ума, фактъ наиболѣе сложной части психологіи, а также, *въ извѣстной степени*, (?) и соціологіи». (I, 85—86).

Новыя варіаціи эти—какъ видно—имѣютъ въ виду спасти соціологію, урѣзанную отъ классификаціи прежними разсужденіями. Но возможно ли спасти ее, утверждая, что «идея, концептъ ума», только что пріуроченная къ *«чистому психизму» примыкаетъ* къ соціологіи или имѣетъ съ ней *«еще не выясненную связь»* или относится къ ней *«въ извѣстной степени»*? Могутъ ли подобныя увертки поправить дѣло?

Ознакомясь съ «установленіемъ» закона трехъ типовъ метафизики, посмотримъ, въ какой мѣрѣ находится онъ въ соотвѣтствіи съ принятыми въ его основаніе положеніями, или иначе, въ какой мѣрѣ онъ на самомъ дѣлѣ урѣзываетъ, извращаетъ и путаетъ эти положенія? Прежде всего возьмемъ «законъ трехъ состояній» Ог. Конта. Соотвѣтствіе «закона де-Роберти» съ этою частью общаго его основанія до того слабо и блѣдно, что если кому нибудь и видно, то развѣ только самому автору. У Конта всѣ три «состоянія» умственнаго развитія сопоставлены такъ, что второе исходитъ изъ перваго, а третье—изъ второго, и всѣ три вмѣстѣ образуютъ одно цѣлое, одну связную эволюцію; «типы» же г. де-Роберти не представляютъ никакой эволюціи, не связываются между собою никакою филіаціею, а только поставлены рядомъ по капризу автора и названы «закономъ», а почему—неизвѣстно.

Не болѣе удачно идетъ дѣло и со схемой «классификаціи наукъ»: у г. де-Роберти значится «механизмъ», «физико-химизмъ», а въ соотвѣтствующей части схемы Ог. Конта идетъ рядъ четырехъ наукъ: математики, астрономіи, физики и химіи; астрономія—какъ видно—ни какъ не хотѣла войти въ комбинацію г. де-Роберти, и онъ обошелся и безъ нея, хотя и не могъ «инстинктивно» не признавать глубокой вѣрности лежащаго въ основѣ его классификаціи принципа. Но и это не все: какое право имѣлъ г. де-Роберти сопоставлять «механизмъ» и «физико-химизмъ», когда въ соотвѣтствующемъ рядѣ Ог. Конта значится не «механика» и ея мнимый эквивалентъ «физика» и «химія», а всѣ три науки въ прямой послѣдовательности? При томъ же, сводить всѣ изучаемыя явленія на явленія физико-

химическія не все одно, что итти далѣе и сводить эти послѣднія на явленія механическія. При чемъ же тутъ Контъ и его классификація? Дальнѣйшая расправа съ этой злосчастной классификаціей еще безцеремоннѣе: слѣдующимъ двумъ группамъ явленій, ею изучаемымъ, біологіи и соціологіи и соотвѣтствуютъ у г. де-Роберти біопсихизмъ и чистый психизмъ. Сколько ни хлопочетъ авторъ, соціологія оказывается все же таки урѣзанною, а біопсихизмъ и чистый психизмъ, лишенные всякой возможности взаимно противупоставляться въ томъ смыслѣ и значеніи, въ которомъ противупоставляются біологія и соціологія, одинаково указываютъ все на тотъ же субъектъ, о разнообразныхъ «поглощеніяхъ» котораго можно празднословить сколько угодно, но раздвоить который и распредѣлить половины, одну—одесную, другую—ошую можетъ только тотъ, для кого философскій терминъ «*субъектъ*» имѣетъ такое же значеніе, какъ и какая-нибудь абракадабра.

Установивъ свои «три типа метафизики»—эту плохую копію съ трехъ контовскихъ фазисовъ умственнаго развитія—и пріурочивъ вкривь и вкось каждый изъ этихъ типовъ къ той или иной группѣ наукъ, болѣе или менѣе неудачно выдѣленной изъ классификаціонной схемы Ог. Конта, г. де-Роберти попытался еще установить между каждымъ типомъ и соотвѣтствующею ему группою наукъ парочно для этого случая придуманную связь,—связь эта и должна-де придать «открытому» имъ «закону» достодолжную полноту и завершеніе. Но и здѣсь опять дѣло не обошлось безъ знаменитаго шатанія: «съ одной стороны надо сознаться, а съ другой, нельзя не признаться»: идея «связи» формулируется то согласно воззрѣніямъ К. Геринга, то согласно взглядамъ Зибека. Различіе между тѣми и другими, очевидно, для г. де-Роберти совсѣмъ неуловимо. Когда онъ притягиваетъ теорію пониманія Геринга, у него идетъ рѣчь о сведеніи даннымъ типомъ всѣхъ извѣстныхъ явленій на явленія, изучаемыя одною изъ наукъ или научныхъ группъ классификаціи; но, на бѣду, онъ не всегда можетъ отыскать эту науку или группу въ схемѣ Конта и, по неволѣ, довольствуется тѣмъ, что придумываетъ какую-то фантастическую науку или группу наукъ, къ области которой и относитъ данное явленіе. Такъ, напримѣръ, не зная куда сунуться съ явленіями психологическими, онъ переименовываетъ ихъ въ какія-то баснословныя и для позитивнаго ума непостижимыя *гиперорганическія*

явленія (!) и хочетъ насъ увѣрить, что науки или группа наукъ, изучающія эти явленія, занимаютъ въ «классификаціи» то мѣсто, которое принадлежитъ въ ней соціологіи. Таково *пониманіе* г. де-Роберти «теоріи пониманія» одного изъ новѣйшихъ его учителей!

Когда-же г. де-Роберти привлекаетъ для своей цѣли воззрѣнія Зибека, то онъ ведетъ рѣчь о распространеніи «гипотезы, возникающей на почвѣ немногихъ отдѣльныхъ отраслей знанія на всю совокупность явленій», и онъ нисколько не замѣчаетъ извращенія заимствованнаго имъ воззрѣнія. Вообще говоря, нашъ авторъ совсѣмъ не понимаетъ ни Геринга, ни Зибека. Дѣло въ томъ, что хотя г. де-Роберти и повторяетъ вслѣдъ за Герингомъ, что пониманіе есть сведеніе одного явленія на другое, и что обыденное мышленіе очень часто сводитъ неизвѣстныя явленія на такія, которыя только кажутся извѣстными (I, 230); но онъ, по обыкновенію, не замѣчаетъ здѣсь слона и вовсе не обращаетъ вниманія на то обстоятельство, что неизвѣстное сегодня можетъ сдѣлаться извѣстнымъ завтра и что тутъ не такъ важна неизвѣстность явленія, сколько отнесеніе (по терминологіи г. де-Роберти—отбросъ) его за предѣлы возможнаго опыта, въ область *трансцендентнаго*. Значеніе трансцендентнаго нашъ проницательный мыслитель не понялъ и у Зибека. Повторяя вслѣдъ за этимъ писателемъ извѣстную уже намъ мысль о распространеніи въ метафизикѣ воззрѣній, «возникающихъ на почвѣ отдѣльныхъ отраслей спеціальнаго знанія, на всю совокупность явленій» (I, 83), г. де-Роберти и здѣсь упускаетъ изъ виду ту существеннѣйшую часть воззрѣній Зибека безъ которой Зибекъ, конечно, и не повелъ бы рѣчи «объ отношеніи метафизическихъ системъ къ опыту», а именно: что метафизическія системы схватываютъ идеи, выработанныя на почвѣ опыта, и относятъ ихъ потомъ за предѣлы этого опыта, превращая въ *трансцендентное* основаніе всякаго опыта. Это двукратное обнаруженіе непониманія термина «трансцендентный» показываетъ уже, что для г. де-Роберти терминъ этотъ такъ же загадоченъ, какъ и терминъ «субъектъ». Всякое сомнѣніе—если только было еще возможно какое-нибудь сомнѣніе—исчезаетъ, впрочемъ, окончательно, когда мы раскроемъ 264 стр. I-го тома и объ установителѣ трансцедентальнаго идеализма прочтемъ: «Кантъ совершилъ отбросъ «трансцендентальнаго...» Трансцендентный, трансцендентальный для нашего философа—говоря по просту—одинъ чортъ!

Приходится допустить, что для такихъ господъ, какъ г. де-Роберти, и приготовительный классъ философіи не подъ силу, такъ какъ элементарныя даже знанія представляются для ихъ ума непостижимыми тонкостями; но спрашивается, могутъ ли они, по крайней мѣрѣ, справиться со складываніемъ ими же избранныхъ шаблоновъ, со своего рода философскимъ гранъ пасьянсомъ, который долженъ для нихъ итти взамѣнъ философіи? Оказывается, что и тутъ ихъ преслѣдуетъ та же участь горькая: Посмотримъ, напримѣръ, какъ г. де-Роберти пріурочиваетъ свои «типы метафизики» къ «схемѣ классификаціи наукъ Конта»,—здѣсь такъ и мелькаетъ курьезъ за курьезомъ! Вѣдь по г. де-Роберти выходитъ, будто матеріалисты сводятъ *всѣ* явленія на первыя четыре науки схемы, т.-е. математику, астрономію (!) физику и химію; сенсуалисты на біологію, а идеалисты, которымъ осталась одна только соціологія, на какую-то науку о гиперорганическихъ явленіяхъ! Вѣдь все это вмѣстѣ такой вздоръ, что рѣшительно стыдно даже спрашивать, при чемъ тутъ схема Конта? Остановимся хоть на загадочныхъ гиперорганическихъ явленіяхъ: иногда авторъ дѣйствительно разумѣетъ подъ ними явленія общественности (I, 91) и тогда выходитъ, что всѣ явленія т. е. все, что изучается математикой, астрономіей, физикой и химіей сводится идеалистами на явленія соціологическія! Предоставляю читателю представить себѣ ужасъ идеалистовъ... Но далѣе иногда гиперорганическія явленія приравниваются авторомъ къ явленіямъ познаванія, которыя будто бы «суть не только органическіе, но въ *значительной мѣрѣ* (?) и гиперорганическіе сложные психическіе факты» (I, 14). Въ этомъ случаѣ выходитъ, что въ классификаціи Конта господиномъ де-Роберти усматривается наука, которую Ог. Контъ туда не помѣщалъ,—теорія познанія! Но и это не все: иногда неугомонныя эти гиперорганическія явленія, этотъ своего рода философскій кошмаръ нашего автора, появляются какъ просто «психическія явленія» (I, 90), и тогда сенсуализмъ безпощадно аннексируется къ идеализму, хотя ему ранѣе и указано стоять, какъ обособленный типъ! Какъ тутъ разобраться въ этомъ embarras de richesses? гиперорганическія явленія, соціологическія явленія, познавательныя явленія, психическія явленія... Все это: и одно, и не одно, и неизвѣстно что!

Мы, однако же, все еще не кончили съ порядочно надоѣвшимъ намъ—да навѣрно, и читателямъ—«закономъ трехъ ти-

повъ метафизики»; мы до сихъ поръ повторяли вслѣдъ за авторомъ: матеріализмъ, сенсуализмъ, идеализмъ, а и не взглянули на то, соединяетъ ли авторъ съ этими терминами такое понятіе, которое давало бы ему право ставить ихъ въ одинъ рядъ и подводить этотъ рядъ еще подъ какой-то «законъ»? Быть можетъ, хоть тутъ найдемъ мы отдыхъ отъ той нескончаемой и изнурительной галиматьи, которою такъ блещетъ эта совершенно новая и совершенно пошлая тришкина философія! Тщетная надежда... Дебри только сгущаются: авторъ, по обыкновенію, не умѣетъ различать и только и мѣтитъ, какъ бы устроить такъ, чтобы тяпъ-ляпъ—и готово. Сказать «идеализмъ» и подвести подъ эту категорію Платона и Декарта, Лейбница [1]) и Канта, конечно, только и возможно для того, кто не имѣетъ никакого понятія объ историческихъ судьбахъ термина «идея» и не способенъ различать догматической философіи отъ критической. Все это, по мнѣнію г. де-Роберти,—мелочи, которыя вносятъ только путаницу и противорѣчія. Пройдемъ же молчаніемъ цѣлый рядъ такихъ мелочей и остановимся только надъ однимъ, далеко уже не мелкимъ вопросомъ: какъ попалъ сенсуализмъ въ одинъ рядъ съ идеализмомъ и матеріализмомъ? Матерія, идеи, ощущеніе,—отвѣчаетъ авторъ,—все это «сущности», на которыя три рода метафизики сводятъ всю совокупность явленій! [2]) Ужели? Mais c'est tomber dans le troisieme dessous! Гдѣ тотъ философствующій младенецъ, который допуститъ такой вздоръ? Вѣдь еслибы «идеи» Платона предстали Протагору во всей непосредственности «ощущенія», онъ не былъ бы «софистомъ», содержаніе діалоговъ Платона было бы иное... Да что! Вся исторія философіи была бы иная и г. де-Роберти, пожалуй, былъ бы въ самомъ дѣлѣ философомъ!

Матеріализмъ, сенсуализмъ, идеализмъ!—это все превосходная терминологія—восхищается ученый авторъ. Терминологія, однако же, само по себѣ,—и объ этомъ мы еще поговоримъ, а построеніе всѣхъ философовъ прошедшаго въ три взвода подъ одинъ ранжиръ—само по себѣ. Матеріализмъ, сенсуализмъ, идеализмъ,—что за прелесть! Теперь дѣло упрощено такъ, что всякій идіотъ можетъ узнать всю философію скорѣе даже, чѣмъ

---

[1]) Лейбницъ, по г. де-Роберти, былъ «полиисторикъ». (I, 42).

[2]) «Вещь въ себѣ» = ощущенію, (I, 163); «непознаваемое» = ощущенію, (II, 40).

грамматику Волапюка: всякій философъ былъ вѣдь или матеріалистъ, или сенсуалистъ, или идеалистъ!.. Открытіе это очень напоминаетъ намъ другое подобное же открытіе одной институтки, очевидно конгеніальной господину де-Роберти; институтка эта утверждала, что всякій мужчина непремѣнно— или «рожа», или «душка», или «гусаръ»... Мы бы дали г. де-Роберти добрый совѣтъ принять это открытіе взамѣнъ схемы контовой классификаціи, которая къ его «закону» никакъ не прилаживается;—дѣло, можетъ быть, пойдетъ лучше и явится возможность успокоиться на томъ, что при такой комбинаціи— говоря французско-нижегородскимъ нарѣчіемъ—«получается концептъ, приводящій къ инстинктивному признанію сюперфлюйности всякаго отброса».

Посмотримъ теперь, дѣйствительно ли такъ прекрасна терминологія, столь восхищающая г. де-Роберти, и въ самомъ ли дѣлѣ она такъ прочно усвоена историками философіи? На дѣлѣ оказывается, что усвоена она далеко не прочно, и именно потому, что не прекрасна. Основной недостатокъ всякой чрезмѣрно-упрощенной терминологіи въ классификаціи философскихъ системъ тотъ, что одночленный терминъ неизбѣжно имѣетъ суздальскій характеръ: смазываетъ одной краской даннаго мыслителя или данное направленіе, и выходитъ аляповато, грубо. Альфредъ Бэннъ (Alfred Benn), въ своей исторіи философіи, справедливо указываетъ на смѣшеніе разнороднѣйшихъ индивидуальностей подъ одной рубрикой вслѣдствіе закоренѣлаго обычая распредѣлять всѣхъ философовъ между двумя школами— *эмпириковъ* и *трансценденталистовъ* (а все же не матеріалистовъ и т. д. Прочное усвоеніе *этихъ* терминовъ, очевидно неизвѣстно Бэнну). Подобную же путаницу указываетъ и Мейнонгъ (Alexius Meinong), въ своихъ этюдахъ о Юмѣ, и Паульсенъ (Friedrich Paulsen) въ статьѣ о принципіальномъ различіи гносеологическихъ воззрѣній, помѣщенной въ 1877 году, въ журналѣ Авенаріуса. Послѣдній не только указываетъ недостатокъ одночленной терминологіи, но и предлагаетъ средства къ ея исправленію. Само собою разумѣется, однако же, что у Паульсена и рѣчи нѣтъ о де-Робертіевской прямолинейности, а параллельно выясняется недостатокъ терминологіи догматическихъ и критическихъ системъ. Во-первыхъ, ставится два вопроса: о качествѣ частей и о составѣ цѣлаго, а потому нельзя обойтись безъ двучленнаго термина; во-вторыхъ, нельзя мино-

вать тоже двухъ вопросовъ: о значеніи познанія и о происхожденіи его, а потому тоже надо имѣть въ своемъ распоряженіи опять-таки двучленные термины. Всего на-всего у Паульсена получается восемь терминовъ, методически образованныхъ и потому весьма ясныхъ. Если и это много, то надо предположить, что изучающіе философію непремѣнно предполагаются слабоумными и одаренными слишкомъ ужъ не твердою памятью.

Какъ ни полезенъ этотъ урокъ, но имъ можетъ воспользоваться ужъ никакъ не г. де-Роберти, и по той простой причинѣ, что плодами трудовъ Бэнновъ, Мейнонговъ и Паульсеновъ можетъ пользоваться настоящая, а не тришкина философія. Для этой злосчастной поддѣлки подъ философію все не впрокъ. Какіе бы тамъ термины ни ввести—ничего не выйдетъ. Кто тутъ что нибудь разберетъ въ этой сумятицѣ дѣйствій и воздѣйствій одного типа на другой, вторженій одного типа въ другой, набѣговъ, покушеній, превращеній, смѣшеній!... Тутъ вѣдь дѣло доходитъ, наконецъ, до того, что объявляется нѣчто, и на этомъ даже фонѣ выдающееся: оказывается, что «сенсуализмъ успѣлъ почти цѣликомъ вылить свое метафизическое содержаніе въ другія современныя системы»... (I. 195). И сверхъ того еще: «преобразовавъ теорію познанія другихъ философскихъ доктринъ, сенсуализмъ вошелъ въ тѣсный союзъ съ бывшими ему нѣкогда враждебными міровоззрѣніями». (I. 195). Что все сіе значитъ? Что сталось съ тѣми философскими системами,—матеріализмомъ и идеализмомъ, какъ то само собою разумѣется,—въ которыя сенсуализмъ вылилъ почти цѣликомъ свое метафизическое содержаніе? Что сталось съ нимъ самимъ? Въ какой союзъ возможно было ему еще входить послѣ такихъ катастрофъ?... Читаешь, читаешь все это суесловіе и невольно начинаешь повторять вслѣдъ за Щедринымъ: «Господи! Укрѣпи меня! Просвѣти мой умъ глупопониманіемъ! Сердце безчувственно и закоснѣло созижди во мнѣ! Очи мои порази невѣдѣніемъ, уши—неслышаніемъ, уста научи слагать несмысленная! Всевидяще, спаси мя!»

И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же, какъ не въ глупопониманіи и слаганіи несмысленнаго можно найти спасеніе отъ этого истинно непостижимаго, страннаго, помрачающаго умъ сумбура! Представьте себѣ, что послѣ всего того высокоторжественнаго установленія «закона трехъ типовъ», при которомъ мы присутствовали, послѣ самыхъ напыщеннѣйшихъ его восхваленій, послѣ

изумительнаго заявленія объ «инстинктивномъ» признаніи его вѣрности, авторъ, самъ авторъ, съ легкимъ сердцемъ и никогда не покидающею его развязностью, объявляетъ намъ, что «законы, управляющіе развитіемъ философской мысли», не имѣютъ ровно ничего общаго съ «закономъ трехъ типовъ». Все то, что философы «должны были свободно и безсознательно»,—все это разсѣялось какъ дымъ! Ни о какихъ гипотезахъ, тѣсно примыкающихъ къ широкому основанію всякой человѣческой культуры—къ наукамъ неорганическаго міра, нѣтъ уже и слуховъ; ни о какомъ механизмѣ и физико-химизмѣ нѣтъ болѣе и рѣчи, а вслѣдъ за ними канули: и біологизмъ, и біопсихизмъ, когда-то противуполагавшійся чистому психизму. Все исчезло! Теперь на мѣсто всей сложной этой махинаціи, долженствовавшей быть своего рода зеркаломъ схемы классификаціи наукъ Конта, намъ даютъ самый тощій «концептъ»—всего только антропологію и психологію. Къ нимъ-де сводятся всѣ философскія гипотезы. И такъ какъ ни антропологіи, ни психологіи въ схемѣ Конта нѣтъ, то и она—должно быть инстинктивно упразднена.

Теперь передъ нами развертываютъ слѣдующую картину: «ближайшимъ неизвѣстнымъ», къ познанію котораго одинаково стремился и первоначальный матеріализмъ, и первоначальный идеализмъ, были явленія, непосредственно открывавшіяся *за предѣлами міра неорганическаго*. А такъ какъ между этими явленіями, до научнаго установленія біологіи, самую видную роль игралъ человѣкъ вообще, безъ тщательнаго разграниченія между его простѣйшими и сложнѣйшими функціями, то первыя попытки матеріалистическаго и идеалистическаго объясненія природы должны были стоять скорѣе на антропологической, чѣмъ на собственно психологической почвѣ»... «Все это, однако, значительно мѣняется, когда, вслѣдъ за распространеніемъ предѣловъ положительнаго знанія и въ *строгомъ* соотвѣтствіи съ такимъ расширеніемъ его границъ, въ область еще не изслѣдованнаго точною наукою «неизвѣстнаго» перемѣщается и центръ тяжести или главныя *точки исхода философской мысли*»... «Тогда отъ антропологическихъ вопросовъ философія мало-по-малу обращается къ психологическимъ задачамъ» (II. 69).

И что удивительнѣе всего, такъ это то, что хотя философская мысль не шла уже путемъ механическихъ, физико-химическихъ и біологическихъ гипотезъ, а все-же таки пришла къ

поглощенію объекта субъектомъ, субъекта объектомъ и т. д. и вся разница новаго закона съ прежнимъ оказалась едва-ли не въ однихъ названіяхъ. «Въ результатѣ—говоритъ г. де-Роберти—получаются три метафизическихъ объясненія основъ нашего знанія: реализмъ, или теорія познанія, сводящая *всѣ явленія*, въ томъ числѣ и наши ощущенія, къ одному источнику—объекту; идеализмъ, или теорія, сводящая *явленія и представленія* къ субъекту; и наконецъ реальный идеализмъ, или теорія, *стремящаяся примирить эти два крайніе взгляда* въ одномъ высшемъ синтезисѣ». (II. 70).

Читатель недоумѣваетъ, конечно, откуда появилась тутъ «теорія познанія», когда шла рѣчь о ходѣ развитія философской мысли вообще и ея законахъ. Дѣло въ томъ, что новая переработка «закона трехъ типовъ» предпринята была авторомъ въ связи съ разсужденіемъ о роли теоріи познанія въ «метафизическихъ системахъ, и разсужденіе это привело автора къ убѣжденію, что теоріи познанія имѣютъ свойство поглощать соотвѣтствующія имъ метафизическія системы, такъ что главныя проблемы теоріи познанія превращаются въ краеугольные камни систематическаго пониманія природы (II. 67) и въ общую задачу міропониманія (II. 68). На этомъ-то основаніи онъ и считалъ себя вправѣ назвать извѣстныя уже намъ «взаимопоглощенія» объекта и субъекта «теоріями познанія»—и придать имъ новыя наименованія. Мы бы могли, конечно, замѣтить при этомъ, что не правильнѣе ли было-бы въ такомъ случаѣ утверждать, что метафизика заимствовала свои основныя гипотезы не изъ антропологіи и психологіи, а изъ теоріи познанія... Далѣе, могли бы напомнить о преобразованіи сенсуализмомъ теорій познанія другихъ философскихъ системъ, о чемъ авторъ успѣлъ позабыть. Могли-бы заняться опроверженіемъ нелѣпаго опредѣленія теоріи познанія и всей вообще галиматьи, наполняющей страницы 65 и далѣе; но мы должны щадить терпѣніе читателя, такъ какъ намъ нельзя пройти молчаніемъ еще одного «закона», открытаго господиномъ де-Роберти, нельзя не посвятить хоть нѣсколькихъ строкъ оцѣнкѣ этого новаго залога безсмертія нашего философа.

Новый законъ—«законъ соотношенія науки и философіи—есть индуктивное распространеніе закона трехъ типовъ», и одного этого уже довольно, чтобы заранѣе восхищаться имъ. Кромѣ того, «законъ соотношенія» есть законъ *соціологическій*.

Этакихъ законовъ никто еще для философіи не дѣлалъ,—такъ и знайте, и помните,—первый сталъ выпускать ихъ г. де-Роберти. Чтобы соорудить такого сорта законъ, онъ принялъ въ соображеніе, что «состояніе знанія есть сложное явленіе, которое можетъ быть успѣшно изучаемо лишь въ области науки объ обществѣ и ея методами: оно есть фактъ соціологическаго порядка, чрезвычайно важный продуктъ и въ то же время не менѣе важный двигатель общественной эволюціи. *Постоянное отношеніе* къ нему другого продукта и другого фактора той же эволюціи—философіи прошедшаго, отношеніе, которое выражается въ трехъ постоянныхъ направленіяхъ послѣдней, составляетъ поэтому, *безъ всякаго сомнѣнія, соціологическое объясненіе* соотвѣтствующихъ явленій, или настоящій законъ соціологіи». (II, 9). Это «постоянное отношеніе» заключается въ томъ, что «эволюція соціальныхъ наукъ предшествуетъ эволюціи философскихъ системъ, которую первая и направляетъ, или, другими словами, что наука и ея развитіе есть *соціологическая причина*, а философія и ея развитіе—*соціологическое послѣдствіе*». (II, 59).

Нетрудно было предвидѣть, что позаимствовавъ у Зибека идею отношенія метафизическихъ системъ къ опыту и съузивъ и искалѣчивъ эту идею, авторъ, при своей склонности къ суздальству и аляповатости, выставитъ гдѣ-нибудь эту искалѣченную идею, какъ открытый имъ «законъ», но никакъ нельзя было ожидать, что законъ этотъ будетъ *соціологическій*. Зибекъ, который очень тонко и мастерски проводитъ свою мысль о вліяніи положительнаго знанія на философію, не упускаетъ изъ виду и фактовъ обратнаго вліянія—философіи на науки; но Зибекъ нигдѣ не возводитъ своихъ наблюденій въ законъ и всего менѣе посягаетъ называть его соціологическимъ. Въ самомъ дѣлѣ, если эволюцію философіи и эволюцію науки считать факторами соціальными и законъ каждой изъ нихъ считать соціологическимъ въ силу того только, что факторы—соціальные, то вѣдь всякая исторія философіи, всякая исторія науки, будутъ уже трактатами соціологическими и законы, ими выставляемые, открываемые или предполагаемые,—законами соціологическими. Въ такомъ случаѣ господину де-Роберти надо было такъ и говорить. Всякій бы видѣлъ тогда, что ему понадобилось слово, названіе, а дѣло осталось то же. Теперь же когда онъ во что бы то ни стало противуполагаетъ себя вуль-

тарнымъ историкамъ философіи и внушаетъ мысль о необыкновенности совершаемаго имъ, получается то комичное впечатлѣніе, будто у г. де-Роберти есть какой-то неоткрытый имъ секретный способъ превращать въ «соціологическіе законы» то, что подъ перомъ другихъ является, какъ скромное разсужденіе по исторіи философіи или по исторіи науки,—разсужденіе, не посягающее ни на высоту законовъ абстрактной науки, ни на ту широту, которая должна охватить массу элементовъ, находящихся за предѣлами ихъ спеціальностей. Вѣдь г-ну Роберти совершенно обязательно знать различіе исторіи отъ соціологіи. Самъ же онъ вынужденъ признать, что въ его изложеніи исторіи философскихъ системъ не заключается ничего такого, что бы отличало его отъ обычныхъ изложеній, нисколько не притязающихъ на соціологическое значеніе. Изложеніе «внутренняго содержанія философскихъ системъ» (II, 2), не дѣлаетъ еще соціологіи и никогда не приведетъ къ открытію соціологическихъ законовъ. Но такъ какъ г-ну де-Роберти непремѣнно хочется, чтобы тотъ обрывокъ, который ему удалось выхватить изъ статьи Зибека, непремѣнно носилъ громкое наименованіе «соціологическаго закона», а жиденькія и путанныя разсужденія, идущія съ нимъ въ перемежку, назывались соціологіей, то мы потребуемъ только одну поправку, а именно чтобы эта новая соціологія, ничѣмъ не напоминающая ни глубокомысленную и тяжеловѣсную соціологію Ог. Конта, ни проницательную и остроумную соціологію Спенсера, ни жизненную и дѣйственную соціологію Лестеръ-Уорда, ни легкую и изящную соціологію Лесли-Стивена, считалась бы совершенно особой, съуженной и урѣзанной, тощей и жалкой «тришкиной соціологіей».

И при такихъ-то плачевныхъ данныхъ г. де-Роберти грезитъ не только объ истолкованіи «прошедшаго философіи», но еще и объ освѣщеніи ея настоящаго и будущаго! Еще минуту терпѣнія, читатель, и этому несносному кошмару настанетъ конецъ; но нельзя же, промучась столько, оборвать вдругъ наши наблюденія, когда, можетъ быть, самое интересное еще впереди.

Исходный пунктъ освѣщенія будущаго философіи у нашего философа здѣсь тотъ, что методъ въ наукѣ и философіи—дѣло второстепенное, а главное, существенное,—«это содержаніе всего ряда спеціальныхъ наукъ» (II, 184). «Только скудость науч-

наго матеріала»,—говоритъ онъ,—«и недостаточная предварительная обработка этого матеріала» были двумя дѣятельными причинами, постоянно порождавшими и поддерживавшими метафизическія стремленія и привычки ума (II, 185). Поэтому-то современная философія имѣетъ характеръ полу-научный (II, 182) или еще рѣшительнѣе «межеумочный» (II, 185). Эти межеумочныя философскія системы—всѣ, кромѣ позитивизма—суть системы «эклектическія» и «энциклопедическія» (?), «по необходимости», такъ какъ онѣ сооружаются «въ современномъ вкусѣ, современными средствами, изъ современнаго матеріала» (II,237). «Одному позитивизму—этому счастливому исключенію, какимъ-то образомъ спасшемуся отъ всеобщаго крушенія—предстоитъ взять на себя переходную роль или посредничество между современными межеумочными системами и философіею будущаго. Позитивизмъ—не философія въ прежнемъ и обычномъ смыслѣ этого слова, но и не философія будущаго, не философія наукъ; «онъ—представитель уже ставшаго возможнымъ будущаго, и эту роль онъ долженъ всячески сохранить. Онъ долженъ помнить, что насколько въ настоящее время существуетъ потребность *полнаго или окончательнаго объединенія* еще неполнаго или отрывочнаго знанія, потребность эта будетъ въ достаточной мѣрѣ удовлетворена другими научно-философскими системами. Съ своей же стороны позитивизмъ долженъ ограничиться одной задачей: все болѣе и болѣе расчищать путь предъ философіей наукъ» (II, 238). Когда позитивизмъ исполнитъ это главное свое назначеніе, тогда «отъ нынѣшняго міронепониманія или полупониманія можно будетъ перейти къ полному и ясному *созерцанію* общей связи или *единства* всѣхъ явленій» (II, 238).

Ужъ чего, кажется, позитивно! Можно сказать даже гиперпозитивно! А между тѣмъ вѣдь все это слова, слова и слова... Отнеситесь только серьезно къ этимъ словамъ, не пропуская ихъ мимо ушей, какъ мѣдь звенящую, и вы навѣрно уловите тотъ характерный звукъ, который Хомяковъ на своемъ образномъ языкѣ когда-то опредѣлилъ, какъ «кости щелканье сухой». Да, это оно—щелканье сухой, ветхой, метафизической кости!

Ужъ сколько разъ твердили о томъ, до какой степени метафизика ненавидитъ «открытые вопросы», какъ высоко ставитъ она «законченное систематическое знаніе», «единство его и незыблемость»; какъ любитъ предаваться «созерцанію этого един-

ства, этой незыблемости» «и какъ не безъ нѣкотораго презрѣнія всегда готова колоть глаза научнаго познанія его отрывочностью, разрозненностью, измѣнчивостью, текучестью... Метафизика всегда воображала и воображаетъ и теперь, что только систематическая законченность и полнота подымаютъ знаніе выше уровня обыденности, и что «такъ называемая наука» съ своимъ неблюденіемъ, опытомъ и тысячами сомнѣній и колебаній никогда не могла и не можетъ подняться до того значенія, которое принадлежитъ ей, метафизикѣ—зеркалу истины или истинѣ самой. Еще Платонъ мечталъ положить конецъ всему измѣнчивому и разсчитывалъ такимъ образомъ окончательно и прочно установить достовѣрное познаніе.

Вотъ это-то поползновеніе старой метафизики и есть то «кости щелканье сухой», которое слышно въ «гиперпозитивныхъ» причитаніяхъ г. де-Роберти. Отуманенный такого рода поползновеніемъ, нашъ философъ задумывается не о дальнѣйшемъ поступательномъ движеніи по руслу опытнаго знанія безъ всякихъ «упрежденій» и «предвосхищеній», а о построеніи своего рода шлагбаума, въ который можно бы было упереться лбомъ, провозгласить «систему» и затѣмъ «созерцать единство». Измѣнчивое, текучее, преходящее ему претитъ; онъ мечтаетъ о «построеніи на развалинахъ метафизики новаго зданія, въ другомъ стилѣ и при помощи совершенно иныхъ архитектурныхъ пріемовъ» (II, 250). Ему даже чудится уже, что новое зданіе это «созиждется чрезъ соединеніе точекъ зрѣнія идеализма, матеріализма и сенсуализма»,—соединенія, понятаго «въ смыслѣ совмѣстной переработки матеріала, почерпаемаго каждымъ направленіемъ философской мысли въ *соотвѣтствующей группѣ наукъ* (??),—переработкѣ, которая и должна раскрыть основанную на строгой непрерывности естественныхъ явленій тѣсную связь или внутреннюю филіяцію всѣхъ этихъ исходныхъ точекъ» (II, 249). Не очевидно-ли, что хотя стиль новаго зданія будетъ тоже новый—французско-нижегородскій, надо полагать, и пріемы «созиданія»—новые; навѣрно—суздальскій глазомѣръ; зданіе все же таки представитъ только реставрацію, такъ какъ оно «созиждется чрезъ соединеніе точекъ зрѣнія идеализма, матеріализма и сенсуализма» уже заклейменныхъ самимъ авторомъ, какъ старый метафизическій хламъ. «Кости щелканье»—явное; метафизическое поползновеніе—очевидное, но въ то же время какая безысходная галиматья! Припомните только ор-

гію поглощеній субъекта объектомъ, объекта—субъектомъ и части субъекта—объектомъ, и представьте себѣ, что все это надо слить, объединить!... Вотъ ужъ поистинѣ кстати будетъ вспомнить словцо Пирогова: что за «ерунда мышленія!»

Мы не станемъ останавливаться надъ объясненіями автора, нѣсколько поздно спохватившагося и старающагося выставить на видъ «относительность» и «условность» искомой имъ *полноты* и т. д. Всѣ эти объясненія доказываютъ только, что даже и самъ г. де-Роберти не могъ не замѣтить, куда онъ забрелъ. Этого довольно, такъ какъ возможны-ли, мыслимы-ли какія бы то ни было объясненія, которыя хоть сколько-нибудь могли сдѣлать черное бѣлымъ? Мы и то уже слишкомъ много занялись этою скучной и пошлой тришкиной философіей и чувствуемъ усталость отъ всей этой толчеи безпорядочныхъ словъ и мыслей которыя,—употребляя выраженіе Достоевскаго,—«какъ бы толкаются въ какой-то суматохѣ и перескакиваютъ одна черезъ другую»... Довольно и очень довольно! Пусть себѣ, повторяя зады Ог. Конта, г. де-Роберти восхищается тѣмъ, какъ «thrice he slew the slain», пусть забавляется своими курьезными выписками изъ словаря Ноака и утѣшается проявленіями своей начитанности, [1])—это ужъ мелочи въ сравненіи съ той общей несостоятельностью, которою свыше мѣры отличается его произведеніе—этотъ первый у насъ образчикъ новаго рода фило-

---

[1]) Начитанность г. де-Роберти удивительная: то онъ не понимаетъ своихъ источниковъ, какъ то мы видѣли, на примѣрѣ Геринга и Зибека, то имѣетъ изумительное счастье цитировать именно то, что цитируетъ *одинъ* изъ его источниковъ: такъ, напр., на стр. 178 и 156 тома I-го онъ цитируетъ Юма «Philosophical Works» какъ разъ тѣ же страницы, которыя цитированы у «Huxley» во французскомъ переводѣ его біографіи Юма на стр. 71 и 17. Поразительно, конечно, что у Гекели и у г. де-Роберти было одно и то же изданіе сочиненій Юма, а именно: изданіе 1826 года; но странно, почему отрывокъ въ 11 строкъ изъ цитаты Гекели, занимающей двѣ страницы—Works, I, 7—11 и у г. де-Роберти значится какъ бы занимающимъ тоже двѣ страницы—7 и 11. И еще: на стр. 152-й I тома означено: «Huxley, op. cit. стр. 41 и Burton, Life of David Hume т. I, стр. 354; но вѣдь эта самая цитата изъ Burton'a и находится на 41 страницѣ указаннаго сочиненія Гекели! И далѣе: на стр. 78, 79, 81 и 82-й II-го тома цитируется Spitzer, Avenarius, Hegel, Hamilton и Mansel, и какъ разъ тѣ страницы, которыя цитируются въ статьѣ Файингера въ Vierteljahrsschrift f. wiss. Philos. 1886 на стр. 427, 424, 420 и 434. Такимъ образомъ одинъ авторъ плодитъ еще пятерыхъ!

софіи, съ которою только-что ознакомился читатель, если онъ имѣлъ терпѣніе выстрадать вмѣстѣ съ нами до конца.

Если г. де-Роберти когда-нибудь уразумѣетъ истинное значеніе этой плачевной тришкиной философіи, если онъ когда-нибудь оцѣнитъ по достоинству ту репутацію, которую можетъ доставить наполненіе двухъ томовъ этой «ерундой мышленія», то онъ вспомнитъ, пожалуй, свое прежнее восклицаніе «тяжела ты, шляпа корреспондента!» и найдетъ, что теперь именно настала для него пора воскликнуть: «тяжелъ ты, колпакъ философа!»

1886.
«Сѣв. Вѣстн.».

ОДИНЪ ИЗЪ АНГЛІЙСКИХЪ КРИТИКОВЪ СПЕНСЕРА.

Malcolm Guthrie. On Mr. Spencer's Unification of Knowledge London, 1882, Pp. 476.

Спенсеръ пользуется у насъ такою обширною популярностью, какая рѣдко достается писателямъ, мало питающимъ воображеніе и требующимъ для уразумѣнія своихъ произведеній извѣстной подготовки и зрѣлости мысли. Такимъ, не совсѣмъ обыкновеннымъ, успѣхомъ Спенсеръ обязанъ, конечно, главнымъ образомъ, своему изящному и легкому таланту, всегда осиливавшему самыя мудреныя задачи и умѣвшему уничтожать тѣ терніи абструзныхъ вопросовъ, которые разные любомудры тщатся очень часто развить и выдвинуть на передній планъ, какъ любимую выставку своего глубокомыслія и учености. У Спенсера, напротивъ, всѣ трудности искусно скрыты блестящимъ изложеніемъ и потоплены въ массѣ объяснительныхъ примѣровъ, хотя ученость его всегда почти стоитъ выше многознанія маловразумительныхъ гелертеровъ, а глубокомысліе всегда превосходитъ ихъ искусственную темноту. Все это было причиною того, что Спенсера читали всѣ, начиная съ ученыхъ и оканчивая самыми обыкновеннѣйшими читателями; послѣдніе даже зачитывались имъ, такъ какъ въ вертоградѣ философіи тропинка, пробитая Спенсеромъ, была одною изъ немногихъ, по которымъ возможно было ходить обыкновенному смертному.

Очень много значило, впрочемъ, и то, что философскія воззрѣнія Спенсера никогда не были подвергаемы у насъ всесторонней и достойной ея критики. Однѣ только общественныя его теоріи встрѣтили у насъ такую критику. И хотя критика эта принадлежала лицу талантливому и въ высшей степени компетентному въ той области, которой критика эта касалась,

но, къ несчастью для почитателей Спенсера, она вовсе не коснулась основоначалъ (First Principles) его философіи, а потому и оставила самые корни воззрѣній англійскаго мыслителя на произволъ обыденныхъ разговоровъ и мнимо-глубокомысленнаго верхоглядства. Къ тому же критика эта давно уже перестала заниматься Спенсеромъ, и потому даже и отчасти не могла уравновѣсить того обаянія, которое производили вновь и вновь появлявшіяся сочиненія Спенсера, обаянія, которое поддерживалось и сдабривалось доходившими до насъ слухами о всемірной славѣ англійскаго мыслителя, охватившаго въ одномъ смѣломъ обобщеніи всѣ явленія бытія, начиная съ простѣйшихъ и оканчивая самыми сложными.

И дѣйствительно, слава Спенсера можетъ считаться всемірною: стоитъ только прислушаться къ тому, что говорятъ о немъ въ Европѣ и Америкѣ. «Мистеръ Гербертъ Спенсеръ,—говоритъ, напримѣръ, американскій писатель Лестеръ-Уордъ:—считается первымъ философомъ Англіи и, вѣроятно, заслуживаетъ это званіе; когда же мы говоримъ о величайшемъ представителѣ умственной дѣятельности въ Англіи, то разумѣемъ вмѣстѣ съ тѣмъ величайшаго мыслителя всего свѣта». (Lester T. Ward. Dynamic Sociology. New-York, 1883. T. I. p. 139). Англичане нерѣдко говорятъ о немъ, какъ объ «our great evolutionary philosopher»; въ любой французкой статьѣ о Спенсерѣ можно встрѣтить выраженія въ родѣ того, что Спенсеръ—«ce grand esprit l'un des plus vastes et des plus puissants de notre siècle», а одинъ итальянскій ученый, хотя и утверждаетъ, что Спенсеръ внесъ порчу въ научную теорію эволюціи своею трансцендентною гипотезою «непознаваемаго», признаетъ, однако же, что открытіе возрастанія сложности явленій въ процессѣ развитія могло бы одно только быть достаточнымъ для славы человѣка, такъ какъ открытіе это въ высшей степени плодотворно для наукъ физическихъ и историческихъ (!) (S. F. De Dominicis. La dottrina dell'Evoluzione). Диссонансъ дѣлаетъ одна только нѣмецкая научно-философская школа. Нѣмцы, пресыщенные витаніями въ надзвѣздныхъ сферахъ и изощренные въ оцѣнкѣ значенія этихъ витаній, видятъ въ философскихъ пареніяхъ Спенсера повтореніе отжившихъ у нихъ натур-философскихъ умозрѣній и не безъ досады отворачиваются отъ нихъ. Файингеръ, напр., въ статьѣ о понятіи абсолюта, показалъ ярко и рѣзко, что славный философъ эволюціи проявилъ въ установленіи од-

ного изъ своихъ основныхъ понятій столько противорѣчій и обнаружилъ такую философскую несостоятельность, что лишилъ одно изъ главнѣйшихъ своихъ сочиненій—First Principles—всякаго значенія (см. Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie, 1878). Теперь о метафизичности и апріорности Спенсера нѣмцы говорятъ уже, какъ о вопросѣ рѣшенномъ и дѣлѣ общеизвѣстномъ (см. Göttingische gelehrte Anzeigen, 1884, № 15).

Критика, впрочемъ, не безмолвствовала и занималась Спенсеромъ довольно усердно: Бэнъ, Браунъ, Тайлоръ, Леонардъ, Мерсье, Сидгюикъ и др. въ Англіи и Америкѣ, Боссиръ и др. во Франціи, Броджіальди, де-Доминичисъ, Бобба и др. въ Италіи, Дюрингъ, Рольфъ, Михелетъ, Файингеръ, Пюньеръ и др. въ Германіи; но вся эта обширная литература о Спенсерѣ производила слабое впечатлѣніе и, повидимому, нисколько не подкапывала славы «великаго философа эволюціи». Слава эта, наперекоръ критикѣ, все болѣе и болѣе возрастала.

Для того, чтобы повліять на значеніе такого установившагося авторитета, какъ Спенсеръ, недостаточно было написать о немъ статью или даже книгу; надо было спеціально заняться имъ, посвятить ему въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ нѣсколько книгъ, съ желѣзнымъ упорствомъ исчерпать его до дна. Задача эта была не легка, но передъ ней не остановился Малькольмъ Гёзри, издавшій сперва въ 1879 году книгу «О формулѣ эволюціи мистера Спенсера», затѣмъ черезъ два года другую—«Объ объединеніи познанія мистеромъ Спенсеромъ» и въ настоящемъ году третью—«О данныхъ этики мистера Спенсера». Все это вмѣстѣ составляетъ огромный томъ въ 900 страницъ и представляетъ цѣлый арсеналъ аргументовъ, вскрывающихъ слабости, противорѣчія, неточности и несообразности въ сочиненіяхъ знаменитаго англійскаго писателя и имѣющихъ цѣлью, въ концѣ-концовъ, показать совершенную несостоятельность Спенсера, какъ мыслителя. Имя Гёзри у насъ совершенно еще неизвѣстно. Въ первый разъ въ русской печати оно попалось намъ въ одной христоматіи для юношества, издателю которой какимъ-то образомъ стало извѣстно, что «нѣкто Malcolm Guthrie» занимается опытною психологіей и изслѣдуетъ такъ-называемое «Thought-Transference». Авось, съ нашей легкой руки Гёзри утратитъ этотъ ярлычекъ.

Гёзри не отличается тою глубиною и всесторонностью, которыя составляютъ основную черту Файингера; у него отсут-

ствуютъ та жизненная проницательность, вдохновенность и теплота, которыми нельзя не увлекаться у вышеупомянутаго нами писателя, изслѣдовавшаго общественные взгляды Спенсера, но Гёзри зато истый спеціалистъ своего дѣла: намѣтивъ свою цѣль, онъ неустанно обозрѣваетъ всѣ идущіе къ ней пути, вертитъ и перевертываетъ все до послѣдней мелочи, что на нихъ попадается, выспрашиваетъ обо всемъ, что видно по сторонамъ, допытываетъ обо всемъ, что только едва-едва намекаетъ на свою прикосновенность къ предпринятому обслѣдованію, и словомъ сказать, изъ кожи лѣзетъ, чтобы узнать все до тла, что узнать приходится, идя въ данномъ направленіи. Работа выходитъ нѣсколько односторонняя, нѣсколько узкая, нѣсколько сухая, но результатъ ея зато чрезвычайно проченъ. А такъ какъ намѣченная авторомъ задача заключается въ изслѣдованіи самого что ни-на-есть краеугольнаго основоначала въ міровоззрѣніи Спенсера, то ножъ критики Гёзри проникаетъ глубоко и производитъ хотя и узкую, но зато опасную и едва-ли излѣчимую рану. Указанныя свойства критической манеры Гёзри были причиною того, что произведенное имъ впечатлѣніе, какъ ни слабо выразилось оно внѣшнимъ образомъ, было неотразимо и во многихъ отношеніяхъ останется непоколебимымъ и, конечно, найдетъ популяризаторовъ. Нельзя не остановиться передъ тѣмъ фактомъ, что редакціи самыхъ видныхъ философскихъ журналовъ констатировали успѣхъ Гёзри на многихъ пунктахъ и отдали ему полную справедливость по отношенію къ раскрытію слабыхъ сторонъ философіи, которую онъ такъ тщательно и добросовѣстно изучилъ.

Не имѣя никакой возможности дать теперь, даже и краткій отчетъ о всѣхъ трехъ сочиненіяхъ Гёзри, мы избрали пока то, которое изслѣдуетъ основную задачу всего міровоззрѣнія Спенсера—объединеніе познанія. Объ остальныхъ же двухъ поговоримъ, быть можетъ, когда-нибудь позже.

Посмотримъ теперь, какъ авторъ смотритъ на свою задачу и какимъ образомъ онъ опредѣляетъ ее.

«Мистеръ Гербертъ Спенсеръ,—говоритъ онъ:—написалъ цѣлый рядъ томовъ, выражающихъ явное намѣреніе произвести значительное дѣйствіе на ходъ человѣческой мысли. Томы эти весьма мыслевнушительны и обнаруживаютъ во многихъ отношеніяхъ большую глубину мысли. Масса старательнаго труда, потраченнаго на производство этихъ томовъ, очевидна, и влія-

ніе ихъ на мышленіе хотя и смутно, но не можетъ подлежать сомнѣнію».

«Въ то же самое время можно поставить вопросъ о томъ, какъ отнеслась къ сочиненіямъ Спенсера та часть публики, которая пыталась судить о нихъ безъ теологическихъ предубѣжденій и которая отчасти признала его теоріи—поставила-ли она себя достодолжнымъ образомъ въ возможность пониманія этихъ сочиненій, въ возможность сужденія о ихъ послѣдовательности и связности, какъ единаго цѣлаго; была ли она въ силахъ опредѣлить ихъ мѣсто въ ряду другихъ произведеній того же рода. Утвердительный отвѣтъ на эти вопросы нисколько не удивитъ того, кто знаетъ, что современное умонастроеніе вполнѣ благопріятно мистеру Спенсеру; всякому пріятно, конечно, встрѣтить свои полу-сформированныя теоріи облаченными въ будто бы совершенную и убѣдительную систему. Таково, въ самомъ дѣлѣ, было и чувство автора, но, взявшись за объясненіе твореній м-ра Спенсера философскому обществу, онъ очутился лицомъ къ лицу съ затрудненіями, подобными тѣмъ, которыя служили предметомъ обсужденія предшествовавшаго сочиненія, и которыя будутъ изложены и въ настоящемъ» (р. 1).

Приступая къ изложенію своихъ вопросовъ, авторъ считаетъ нужнымъ заявить, что онъ вполнѣ симпатизируетъ цѣли Спенсера—объединенію познанія, и что онъ принимаетъ тѣ же *апостеріорныя* положенія, что и Спенсеръ, что, наконецъ, вообще говоря, онъ не идетъ противъ ученія о развитіи (эволюціи) Ламарка, Ляйэля, Дарвина и даже самого Спенсера; его намѣренія заключаются лишь въ критикѣ тѣхъ пріемовъ и способовъ объединенія, которые были употреблены Спенсеромъ, противъ того элемента апріорности и того пошиба мистицизма, которыя были введены имъ. Онъ желалъ показать иллюзорность того объясненія научныхъ данныхъ, которое было выставлено Спенсеромъ, и обнаружить мнимое значеніе той полноты и цѣлостности, которыя приписываетъ себѣ его система.

«Настоящее сочиненіе,—говоритъ онъ:—предпринято въ интересахъ чистоты научнаго мышленія и преуспѣянія правильныхъ методовъ научнаго изслѣдованія; оно имѣетъ въ виду вмѣстѣ съ тѣмъ показать ничтожество тѣхъ методовъ, которые пытаются упредить (anticipate) результаты изученія и изложить соотвѣтственныя злоупотребленія логики и неправильнаго словоупотребленія, въ особенности, когда слова не являются пред-

ставителями извѣстныхъ конкретныхъ фактовъ. Если къ этому прибавить еще нѣкоторыя указанія, служащія къ очищенію несовершенной теоріи, то всѣ требованія, которыя можетъ предъявить читатель по отношенію къ этой книгѣ, будутъ исчерпаны. На высшія цѣли положительнаго характера онъ не посягаетъ. Довольствуясь отрицательною стороною критики, онъ имѣетъ въ виду, что выполненіе этой второстепенной задачи также служитъ къ уясненію истины». (Preface V—IX).

Гёзри начинаетъ свое критическое изслѣдованіе съ того, что ставитъ на видъ читателю связность и цѣлостность всѣхъ сочиненій Спенсера; «отдѣльные томы по біологіи, психологіи, соціологіи, этикѣ и т. д.,—говоритъ онъ:—не представляютъ независимыхъ трактатовъ по этимъ различнымъ наукамъ, но являются звеньями одной цѣпи, образующей цѣлую систему философіи; затѣмъ возникаетъ вопросъ, въ чемъ заключается основная идея сочиненія мистера Спенсера, какова его главная цѣль, гдѣ тотъ великій объектъ, который онъ изучаетъ и ради котораго пишетъ цѣлый рядъ томовъ» (p. 2). Отвѣтъ на этотъ вопросъ не представлялъ для критики никакихъ затрудненій, такъ какъ Спенсеръ не разъ, прямо и просто, утверждаетъ, что *цѣль философіи заключается въ объединеніи познанія*. Гёзри оставалось только привести соотвѣтственныя цитаты и представить читателю, какъ на ладони, что, по мысли Спенсера, накопляющееся познаніе разрабатывается философіей въ болѣе и болѣе широкія обобщенія и воздвигается подобно пирамидѣ, увѣнчивающейся своею вершиною, которая и завершаетъ созиданіе всего зданія. Созиданіе это совершается посредствомъ индукціи и даетъ въ результатѣ одно основоположеніе, изъ котораго затѣмъ могутъ получаться дедуктивно какъ рѣшеніе всѣхъ второстепенныхъ вопросовъ, могущихъ возникнуть при дальнѣйшемъ изученіи цѣлаго, такъ и объясненіе всѣхъ частностей системы. Въ этомъ дедуктивномъ завершеніи работы и заключается-де торжество интеллектуальнаго зодчества.

Затѣмъ само собою выступаетъ вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ объединеніе познанія было достигнуто Спенсеромъ, если только оно было достигнуто.

По смыслу самой постановки этого вопроса можно бы было ожидать, что то верховное понятіе, въ которомъ кульминируетъ полетъ философской мысли, должно созидаться тѣмъ же методомъ, при помощи котораго образовывались сравнительно низ-

шія, частныя понятія отдѣльныхъ наукъ. Обстоятельное изученіе Спенсера разрушаетъ, однако же, эту весьма резонную надежду. Оказывается, что объединеніе познанія достигается у великаго англійскаго философа не однимъ общимъ всѣмъ наукамъ методомъ и даже не однимъ какимъ бы то ни было методомъ, а не болѣе, не менѣе, какъ *шестью* разными методами! Придавая имъ, сообразно свойствамъ ихъ, соотвѣтственныя названія, Гёзри даетъ слѣдующій интересный списокъ различныхъ методовъ Спенсера: *мистическій*, пытающійся совершить объединеніе въ темной области «непознаваемаго», *психологическій*, ищущій объединенія въ сведеніи объективной и субъективной стороны сознанія къ тому же «непознаваемому», *метафизическій*, хватающійся за объективированіе понятій, *супраметафизическій*, предполагающій возможность единства познанія въ области хотя и познаваемаго, но непознаннаго, *символическій*, смѣшивающій всѣ методы посредствомъ символовъ, не имѣющихъ никакого опредѣленнаго значенія, и, наконецъ, *физическій*, старающійся объединить познаніе въ данныхъ предѣлахъ положительнаго знанія.

Нельзя не признать, что такая роскошь совсѣмъ ужъ переходитъ въ эксцессъ; появленіе же мистическаго и метафизическаго метода совсѣмъ удивитъ, конечно, тѣхъ, которые привыкли считать Спенсера за представителя чего-то въ родѣ научной или позитивной философіи за то, что онъ проповѣдуетъ относительность познанія и не надрывается надъ розыскиваніемъ «вещи въ себѣ». Мистическія и метафизическія поползновенія у такого рода мыслителя должны бы еще разъ напомнить всякому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что метафизика не клиномъ сошлась именно на той игрѣ въ жмурки, которая называется поисками «вещи въ себѣ», «непреходящаго», «сущаго» и какъ она еще тамъ называется... а у мистики, какъ у совсѣмъ ужъ эмансипировавшейся отъ такихъ вульгарностей, какъ дважды два четыре и т. п., всегда было полное раздолье и безпредѣльная ширь и за названіями она никогда не гонялась.

Хотя Гёзри и сдѣлалъ предварительное заявленіе, что онъ намѣренъ пользоваться только отрицательною стороною критики, но на самомъ дѣлѣ—какъ то, впрочемъ, и можно было ожидать—онъ не ограничивается этими предвзятыми рамками и, нѣтъ-нѣтъ, да и даетъ-таки тѣ «положенія», изъ которыхъ онъ исходитъ для совершенія своихъ набѣговъ и опустошеній.

Уже изъ прежнихъ указаній и цитатъ можно было видѣть, что у него есть своя доктрина, а изъ разныхъ мѣстъ книги типъ его философской физіономіи выглядываетъ еще опредѣленнѣе. По рѣзко-очерченному антагонизму своему относительно мистики и метафизики, по нѣкоторымъ тезисамъ теоріи познанія, разсѣяннымъ тамъ и сямъ въ книгѣ, по совершенно опредѣленному взгляду на цѣнность и значеніе научнаго метода, онъ можетъ быть поставленъ въ ряды представителей научной философіи, гдѣ—какъ можно заключить по нѣкоторымъ заявленіямъ—онъ тщится занять крайне-лѣвое положеніе, но, къ несчастью для него, по слабому знакомству съ новой нѣмецкой философіей и, вслѣдствіе того, по недостатку критическихъ основъ своей философской доктрины, онъ мимовольно впадаетъ въ такія оплошности, что нѣмецкій критикъ его послѣдняго сочиненія нашелъ поводы къ сопричисленію и его самого къ сонму метафизиковъ (см. цит. выше статью въ Götting. g. Anz.). Все это еще разъ доказываетъ, что отсутствіе критической теоріи познанія всегда и неизбѣжно отзывается на всякой философской работѣ самымъ печальнымъ образомъ.

Гёзри полагаетъ, напр., что вслѣдствіе успѣховъ, сдѣланныхъ науками за послѣднія 25 лѣтъ, установились уже вполнѣ основы для совершеннаго переворота въ области философскаго мышленія и что теперь надо разъ навсегда покончить съ традиціей, распроститься съ Беркли, Юмомъ, Кантомъ и даже ранними произведеніями Ст. Милля и начать все заново—«to commence our thinking de novo» (p. 103). Но, радикальничая въ такой мѣрѣ, онъ не ускользнулъ, однако же, отъ упрека со стороны нѣмецкаго критика, о которомъ мы только что упомянули, въ томъ, что не умѣлъ избѣжать ошибки, свойственной столь многимъ метафизикамъ, и подобно имъ принимаетъ за исходную точку своихъ разсужденій непроанализированныя и неопредѣленныя понятія. Такъ, онъ постоянно оперируетъ съ понятіемъ «объясненія», ни разу не пояснивъ намъ, что онъ именно подъ нимъ разумѣетъ. Думаетъ-ли онъ, что «объяснить», значитъ выводить все изъ ничего, или, можетъ быть, онъ à la Шопенгауэръ воображаетъ, что «объяснить», значитъ приплести къ фактамъ побасенку о какомъ то будто бы существующемъ чисто-фантастическомъ и непровѣренномъ фактѣ. Подобное же замѣчаніе можно сдѣлать ему и относительно понятія «цѣли» и др.

Незнакомство съ критической философіей, какъ она разра-

батывается нынѣ въ нѣмецкой школѣ научной философіи, сказывается у Гёзри и въ тѣхъ положеніяхъ теоріи познанія, которыя мѣстами встрѣчаются въ его книгѣ. Такъ, напр., все, что онъ говоритъ объ абстрактныхъ и конкретныхъ понятіяхъ, очень ужъ расплывчато и аляповато и съ явною выгодою для него могло бы быть замѣнено точнымъ разъясненіемъ, установленнымъ у нѣмцевъ. Дальнѣйшее обозрѣніе этой стороны завело бы насъ, однако же, слишкомъ далеко; скажемъ теперь въ заключеніе только то, что при всѣхъ своихъ недостаткахъ Гёзри все-же-таки оказывается достаточно вооруженнымъ для критики Спенсера, и въ той особенно безпощадной полосѣ ея, гдѣ онъ раскрываетъ внутреннія противорѣчія, разъѣдающія систему великаго философа эволюціи, онъ исчерпываетъ дѣло вполнѣ, и далѣе его идти уже некуда.

Такъ, напримѣръ, подвергая критическому изслѣдованію мистическій методъ, фигурирующій у Спенсера въ числѣ другихъ методовъ объединенія познанія, Гёзри съ полною ясностью выводитъ наружу его совершеннѣйшую немощь въ рѣшеніи той задачи, для которой предназначаетъ его Спенсеръ. Съ первыхъ же строкъ своей критики Гёзри выставляетъ такое элементарное, такое азбучное требованіе всякаго серьезнаго умственнаго труда, что читателю можетъ показаться дерзостью предъявленіе чего-нибудь подобнаго такому великому мыслителю, какъ Спенсеръ. Требованіе это заключается въ выдѣленіи матеріала, имѣющаго съ изучаемымъ предметомъ связь, отъ всего того, что такой связи не имѣетъ. Сперва можетъ показаться въ самомъ дѣлѣ, что Спенсеръ не упустилъ изъ виду это требованіе: въ «книгѣ о непознаваемомъ» онъ тщательно отдѣляетъ это темное, выпадающее изъ области изученія и недоступное нѣчто, или ничто, отъ «познаваемаго» и, повидимому, принимаетъ твердое рѣшеніе—не выходить изъ предѣловъ послѣдняго въ книгѣ, посвященной его изученію. Къ сожалѣнію, первое впечатлѣніе и связанныя съ нимъ надѣжды исчезаютъ столь скоро, какъ явились: при дальнѣйшемъ чтеніи оказывается, что будто бы устраненное «непознаваемое» встрѣчается на каждомъ шагу. Все, столь тщательно воздвигавшееся, зданіе оказывается подрытымъ постоянною ссылкою на «непознаваемость» тѣхъ главныхъ данныхъ, которыя служили именно для цѣлей познанія.

Имѣя въ виду показать всю пустоту и все ничтожество этого пріема, Гёзри цѣлымъ рядомъ аргументовъ установляетъ ту

истину, что сведеніе познаваемаго на непознаваемое не увеличиваетъ нашего познанія ни на іоту. Если непознаваемое,— говоритъ онъ между прочимъ:—можетъ сдѣлаться извѣстнымъ намъ лишь постольку, поскольку оно себя проявляетъ, то мы его всегда и будемъ знать какъ разъ въ той мѣрѣ, въ какой теперь знаемъ, т.-е. опять-таки намъ останутся извѣстными одни только явленія. Явленія представляютъ, такимъ образомъ, тотъ матеріалъ, съ которымъ должна имѣть дѣло философія, понимаемая какъ *объединенное познаніе*. «Объединеніе» должно совершиться въ предѣлахъ познанія, и если сюда примѣшивается что-либо «непознаваемое», то вся организація знанія поражается порчею. Изъ этого видно, что вопросъ о сущности вещей есть вопросъ праздный: онъ лежитъ внѣ границъ философіи точно такъ же, какъ и внѣ границъ науки и его поэтому не надо совсѣмъ и трогать. Гоняясь же за его рѣшеніемъ, мы погружаемся въ мистицизмъ и совершенно теряемъ изъ виду цѣль нашу—научное познаніе, а, слѣдовательно, не можемъ вести рѣчи и о его объединеніи.

Резюмируя всю эту главу, посвященную обслѣдованію значенія мистическаго метода объединенія познанія, Гёзри еще разъ подчеркиваетъ ту мысль, что объединеніе это такимъ путемъ совершиться не можетъ, такъ какъ всякая попытка объединенія, выходящая за предѣлы объединяемаго, неосуществима или, иначе говоря, осуществима только на словахъ. «Мистицизмъ есть нѣчто добавочное,—говоритъ онъ:—и если наука можетъ доходить только до извѣстной границы и безсильно затѣмъ двигаться далѣе, если она видитъ тотъ предѣлъ, «его же не прейдеши», то, значитъ, она просто-на-просто сознаетъ свою некомпетентность, и больше ничего. Она можетъ признавать существованіе тайны за предѣлами ей достижимыми, но это признаніе неисповѣдимой силы, существующей за предѣлами ея захвата, нельзя выдавать за объясненіе познанія и слѣдуетъ считать пораженіемъ (defeat) самой науки. Если индукція такъ-таки и заканчивается смутнымъ признаніемъ неисповѣдимой силы, то каково бы ни было ея значеніе, признать его за объединеніе познанія все-же-таки никакъ нельзя» (р. 21).

Затѣмъ Гёзри указываетъ еще и на то весьма важное обстоятельство, что никакой дедуктивный процессъ не можетъ получить начала отъ предложенія, части котораго страдаютъ неопредѣленностью или даже просто признаются непостижимыми.

«Изъ всего этого можно видѣть,—заключаетъ онъ:—что мистическій методъ объединенія познанія, т. е. такой методъ, который къ совокупности фактовъ, добытыхъ индукціей, добавляетъ еще нѣчто, признаваемое непознаваемымъ, не достигаетъ основной цѣли философіи—объединенія познанія. Всего скорѣе онъ только обнаруживаетъ пустоту и несостоятельность самой попытки.

Мистика, какъ извѣстно, не отдѣляется отъ метафизики ясно прочерченною пограничною линіею, и обитатели каждой изъ этихъ областей переходятъ эту линію не запинаясь, когда только имъ вздумается. Совершается это тѣмъ легче, что обѣ области совершенно темны, и что въ обѣихъ одинаково произносятся извѣстныя невразумительныя словеса и совершается болѣе или менѣе одинаково самодовольно-торжественное водотолченіе. Словеса мистиковъ и метафизиковъ имѣютъ то же значеніе, что и фальшивая монета; никакимъ реальнымъ цѣнностямъ они не соотвѣтствуютъ и суть словеса праздныя, только прикрывающія пустоту мысли и нравственное ничтожество дезертировъ жизни. Съ этой, прежде всего бьющей въ глаза, стороны метафизики подходитъ и Гёзри. Онъ, какъ бы издѣваясь надъ метафизикой, говоритъ, что она возможна, какъ закономѣрно-установленная наука, но только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы въ ней совершенно отсутствовали объектированныя отвлеченія, такъ какъ эти фикціи извращаютъ науку. «Всякій, начинающій изучать философію,—говоритъ онъ:—поступитъ умно, если откажется, хоть временно по крайней мѣрѣ, отъ объективированныхъ абстракцій... абстракціи эти—одни слова, удовлетворяющія извѣстнымъ логическимъ удобствамъ» (p. 30). «Самопроизвольно отрываясь отъ тягостныхъ затрудненій, истекающихъ изъ конкретныхъ условій,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ:—метафизическая философія совершенно игнорируетъ естественныя науки и берется сдѣлать ихъ дѣло по своему. Но такимъ образомъ получается одна только словесная манипуляція (manipulation of words), которая не представляетъ ровно никакого дѣйствительнаго существованія». (32).

Мы очень сожалѣемъ, что не можемъ слѣдить далѣе за ходомъ критическаго изслѣдованія Гёзри и показать, какимъ образомъ онъ приводитъ свои аргументы къ оцѣнкѣ философіи Спенсера въ такихъ рѣзкихъ выраженіяхъ, какъ, напримѣръ, то, что «Спенсеръ даетъ намъ блѣдные признаки мысли въ мірѣ

тѣней» (р. 123), или, что онъ имѣетъ видъ человѣка, «усвоившаго понятіе Талейрана объ употребленіи языка» (р. 220), или что нѣкоторыя его разсужденія равнозначны «скачку въ пустомъ пространствѣ отвлеченностей» (р. 134), или, что слова для Спенсера подчасъ имѣютъ то же значеніе, что и «могущественное магическое слово абрадакадарба» (р. 177). Мы поневолѣ проходимъ мимо всего преизобилія матеріаловъ, доставляемыхъ книгою Гёзри, и спѣшимъ сказать въ заключеніе, что окончательное общее мнѣніе нашего критика о Спенсерѣ заключается въ томъ, что ему нѣтъ выхода изъ альтернативы, ставящей опредѣленность съ недостаточностью, съ одной стороны, и неопредѣленность съ непонятностью, съ другой (р. 144), и что, при всей смѣлости, величественности и другихъ достоинствахъ его системы, она должна быть признана несостоятельною, какъ недостигающая предположенной цѣли — объединенія познанія (р. 475).

Полтава, 1884.

КНИГА WILLIAM'A KNIGHT'A О ЮМѢ.

Hume by William Knight. London. W. Blackwood and sons. 1886 (VII and 329). Въ ряду движеній философской мысли нашего времени стало все болѣе и болѣе становиться замѣтнымъ то, которое стремится обосноваться на данныхъ положительной науки и извѣстно подъ названіемъ опытной философіи, позитивизма, научной философіи. Тогда какъ различныя мистическія и метафизическія «переживанья» съ послѣднимъ перенапряженіемъ силъ изнуряются надъ подкрашиваніемъ и подмалевываніемъ всякаго рода старины, научно-философское движеніе, разъ навсегда распростившись съ мечтою о вторичномъ прохожденіи по пройденному уже пути, ищетъ въ живыхъ данныхъ современности средствъ къ положенію новыхъ путей, стремится къ установленію новыхъ точекъ зрѣнія и съ этихъ вновь завоеванныхъ позицій дѣлаетъ пересмотръ и переоцѣнку какъ прошедшаго, такъ и настоящаго хода умственной дѣятельности и имѣетъ въ виду внести свѣтъ своей критики во всѣ углы рутины, во всѣ отрасли стараго наслѣдія, накопленнаго и зарегистрованнаго съ точки зрѣнія тѣхъ принциповъ, за которыми она теперь признаетъ одно только историческое значеніе.

Но если научная философія убѣждена, что полнота истины лежитъ на ея пути и что она идетъ къ этой полнотѣ, то она очень хорошо знаетъ, въ то же время, что познаніе истины не можетъ возникнуть вдругъ, не является разомъ. Преодолѣвъ тысячи препятствій по тѣмъ отдѣльнымъ тропинкамъ, общая совокупность которыхъ составляетъ широкій и сложный путь философіи, т.-е. путь всенаучный, путь познанія въ его общемъ значеніи, мыслители, вносящіе свою долю труда для выработки новой философіи, не забываютъ и о томъ, что у нихъ были предшественники и провозвѣстники. Отыскать ихъ, изучить заново

ихъ произведенія, дать правильное освѣщеніе ихъ заслугамъ, противупоставить ихъ достодолжнымъ образомъ тѣмъ ихъ современникамъ, которые до сихъ поръ закрывали ихъ собою, благодаря чрезмѣрному превознесенію и превосхваленію со стороны историковъ, точка зрѣнія которыхъ утратила уже для настоящаго времени всякое значеніе, — вотъ одна изъ благодарныхъ темъ, разработка которыхъ лежала на обязанности представителей научной философіи и исполненіе которой осуществляется на нашихъ глазахъ.

Однимъ изъ величайшихъ провозвѣстниковъ научно-философскаго движенія былъ, конечно, геніальный Давидъ Юмъ (1711—1776, о которомъ въ прежнее время очень любили говорить какъ о скептикѣ, значеніе котораго преодолѣно и роль котораго въ исторіи философіи заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что онъ «пробудилъ Канта отъ его догматическаго сна». Только съ конца пятидесятыхъ годовъ начинаютъ замѣчать, что заѣзженный «скептицизмъ» Юма былъ, собственно говоря, «критицизмъ» и что дѣло Юма, освѣщаемое проливаемымъ этимъ критицизмомъ свѣтомъ, было не разрушительное, а созидательное, и что оно, заставивъ философскую мысль пережить кризисъ, указывало ей новые пути, новую плодотворную работу. Уже одинъ изъ первыхъ возстановителей истиннаго значенія Юма—Фернанъ Папильонъ—въ коротенькомъ очеркѣ, посвященномъ Юму въ философскомъ журналѣ Литтре, старался выставить Юма, какъ предшественника Ог. Конта, и утверждалъ, что «скептицизмъ» Юма относился только къ проблемамъ, рѣшеніе которыхъ навсегда останется спорнымъ, тогда какъ по отношенію ко всѣмъ другимъ онъ прилагаетъ методъ позитивный (*La Philosophie positive. Revue* 1868, № 2). Въ слѣдующемъ же году появилась имѣющая громкую извѣстность *Жизнь Юма* Гёкели. Указавъ на Юма, какъ на противника метафизики, взывавшаго къ непримиримой войнѣ съ нею и желавшаго проникнуть во всѣ закоулки, гдѣ еще скрывается этотъ страшный врагъ, Гёкели замѣчаетъ, что и черезъ столѣтіе послѣ того, какъ были написаны эти строки, было еще очень мало сдѣлано изъ того, что требовалъ Юмъ. Причина тому, по мнѣнію Гёкели, заключалась въ недостаткѣ хорошаго операціоннаго базиса. «Но съ тѣхъ поръ, какъ за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ естественныя науки поставили во главѣ своей арміи неистощимый контингентъ артиллеріи новаго образца, имѣющей возможность

опрокидывать ядрами опыта самые густые ряды непріятеля, дѣла приняли лучшій оборотъ; и однако же, и теперь отдѣльные передовые застрѣльщики аванпостовъ едва ли могутъ видѣть нерѣшительное мерцаніе зари того счастливаго дня, когда суевѣріе и ложная метафизика перестанутъ существовать и благоразумные люди получатъ, наконецъ, возможность «жить мирно» (*Hume, sa vie—sa philolophie*. 1880, p. 79). И еще черезъ годъ Эспинасъ въ очеркѣ шотландской философіи XVIII вѣка поддерживаетъ ту же мысль (*Rev. Philos*. 1881, № 8), и мало-помалу старое заблужденіе о разрушительномъ значеніи идей Юма уходитъ на задній планъ. Но недостаточно было, какъ то и очевидно, посвятить Юму журнальную статью или даже цѣлую монографію; надо было еще ввести его свѣтлый обликъ въ картину общаго движенія научно-философской мысли, показать значеніе его просвѣтительной дѣятельности въ общей связи событій,—словомъ сказать, сдѣлать тотъ рядъ сопоставленій, безъ котораго невозможно составить объ Юмѣ полнаго и всесторонняго сужденія. Такого рода задачу выполнилъ въ Германіи Риль, а у насъ г. Троицкій. Риль въ своей *Исторіи философскаго критицизма* опредѣляетъ мѣсто, которое занимаетъ Юмъ «въ борьбѣ противъ всѣхъ понятій, имѣющихъ значеніе въ метафизикѣ», и въ дѣлѣ установленія метода, который можно назвать позитивнымъ въ обширномъ значеніи этого термина (*Der philosophische Kriticismus*. I Band. *Geschichte und Metode des phil. Kr.*). Г. Троицкій въ своемъ *Очеркѣ успѣховъ психологіи въ Англіи со временъ Бэкона и Локка*, составляющемъ первый томъ его монографіи о нѣмецкой психологіи въ текущемъ столѣтіи, точно такъ же, какъ и Риль, опредѣляетъ заслугу Юма въ разоблаченіи научной несостоятельности схоластической метафизики и говоритъ, что Юмъ сдѣлалъ для метафизики то же, что Броунъ собственно для космологіи (*Нѣмецкая психологія въ текущемъ столѣтіи*. 2 изд. Москва, 1883 г.). Можно сказать, что въ настоящемъ десятилѣтіи интересъ, возбуждаемый Юмомъ, не могъ уже исчерпаться общимъ его изученіемъ и въ трудахъ Мейнинга (*Hume-Studien*, I, 1877; II, 1882) начинается уже детальное его изученіе, обѣщающее окончательно выдвинуть эту геніальную личность на первый планъ исторической сцены.

Само собою разумѣется, что въ глаза бросающееся возрастаніе значенія Юма, какъ провозвѣстника научнаго направле-

ніи въ философіи, не могло не возбуждать и противниковъ этого направленія по мѣрѣ силъ парализовать это возростаніе. Работы Кампейре и въ особенности Пфлейдерера имѣютъ въ виду поколебать истинное значеніе Юма въ исторіи мысли и стараются выставить вредное значеніе его скептицизма и эмпиризма.

Къ числу работъ этой послѣдней категоріи принадлежитъ и книжка Найта, заглавіе которой мы привели выше. Книжка эта составляетъ одно изъ звеньевъ «серіи философскихъ классиковъ для англійскихъ читателей», издаваемыхъ Блэкуудомъ. Серія эта дала уже аналогическія нынѣ появляющейся книжкѣ работы извѣстныхъ англійскихъ писателей о философахъ новѣйшей эпохи въ Англіи и на континентѣ. Новый томикъ Найта, хотя и вышелъ изъ-подъ пера редакціи «серіи», чуть ли не принадлежитъ къ числу самыхъ слабыхъ. Онъ состоитъ изъ трехъ частей: обзора предшественниковъ Юма, изложенія Юмовой философіи и критической ея оцѣнки. Говоря о предшественникахъ Юма, Найтъ заявляетъ, между прочимъ, что особенное значеніе между ними имѣлъ Локкъ, такъ какъ объяснить Локка значитъ уже объяснить Юма. И, несмотря на это, авторъ находитъ, однако же, полезнымъ съузить мѣсто, отводимое Локку, и вести совершенно безполезную бесѣду о Декартѣ, Спинозѣ и Лейбницѣ. Что касается философіи самого Юма, то изложеніе ея, какъ чрезмѣрно краткое, не имѣетъ большихъ достоинствъ, оцѣнка же ея до крайности слаба и едва ли удовлетворяетъ самыя скромныя ожиданія. Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ заѣзженными разсужденіями о Юмовомъ скептицизмѣ съ присовокупленіемъ самыхъ избитыхъ мѣстъ о смѣнѣ разрушительныхъ эпохъ, подобныхъ Юмовой, съ созидательными, подобными той, которая обозначается какъ реакція противъ скептической и эмпирической философіи автора *Inquiry*. Само собою разумѣется, что главнымъ упрекомъ Юму является уличеніе его въ неспособности видѣть другую сторону природы (other side of nature), въ отсутствіи внутренняго ока, въ пропускѣ имъ идеальнаго элемента въ жизни. Найтъ сожалѣетъ, что Юмъ ставилъ себѣ въ заслугу прозаичность своей философіи; ему бы хотѣлось, чтобы перестали считать, подобно Юму, поэтическій элементъ въ философіи фантастическимъ. На идеалистовъ—представителей реакціи—Найтъ смотритъ, конечно, какъ на спасителей цѣлостности и жизненности самой философіи.

Появленіе книжки Найта, каковы бы ни были ея недостатки, показываетъ, однако же, что интересъ къ Юму не ослабѣваетъ. У насъ пока нѣтъ еще ни одного перевода изъ довольно большой литературы, на которую мы дали лишь бѣглыя указанія, хотя возбужденіе интереса къ Юму, какъ представителю просвѣщенія и геніальному критическому уму, было бы очень желательно. Сочиненія Найта даютъ намъ поводъ обратить на этотъ вопросъ вниманіе нашихъ переводчиковъ. Мы рекомендуемъ имъ, конечно, выбрать не Найта, даже и тогда, когда явится обѣщаемое имъ болѣе полное сочиненіе объ Юмѣ, а всего лучше Гёксли или, по крайней мѣрѣ, Іодля (*Fr. Jodl*: «Leben und Philosophie David Hume's». Halle, 1872).

1887 г.
«Русск. Мысль».

АРХИВЪ ИСТОРІИ ФИЛОСОФІИ.

Archiv für Geschichte der Philosophie in Gemeinschaft mit Hermann Diels, Wilhelm Dilthey, Benno Erdmann und Eduard Zeller herausgegeben von Ludwig Stein. Berlin, 1887. Band I: *Heft* 1. 152 *S.* Въ октябрѣ прошлаго года появился въ Берлинѣ первый выпускъ *Архива исторіи философіи*, въ которомъ, подъ редакціей Лудвига Штейна и при ближайшемъ сотрудничествѣ Г. Дильса, В. Дильтея, Б. Эрдмана и Э. Целлера, обѣщаютъ принять участіе весьма многіе извѣстные ученые Германіи, Англіи, Франціи, Италіи, Америки и т. д. Въ числѣ многочисленныхъ сотрудниковъ мы встрѣчаемъ имена: Ардигò (Падуа), Бореліуса (Лундъ), Эйкена (Іена), Фрейденталя (Бреславль), Глогау (Киль), Гижицкаго (Берлинъ), Гарнака (Марбургъ), Гайма (Галле), Гейнце (Лейпцигъ), Гёфдинга (Копенгагенъ), Мейнонга (Градъ), Файингера (Галле), Риля (Фрейбургъ), Таннерй (Парижъ), Крумъ-Робертсона (Лондонъ), ГульдъШёрмана (Нью-Йоркъ) и т. д. Общій характеръ журнала, какъ видно изъ этихъ указаній, будетъ международный; этотъ характеръ еще сильнѣе обозначится разноязычностью статей, которыя будутъ помѣщаться въ журналѣ: здѣсь, рядомъ съ работами на нѣмецкомъ, пойдутъ статьи на англійскомъ, французскомъ и итальянскомъ языкахъ. Въ настоящемъ выпускѣ имѣется уже французская статья Таннерй и англійскія—Байуотера и Шёрмана. Отрадно видѣть братство и сотрудничество различныхъ народностей хоть въ области труда; спеціально же научный трудъ будетъ имѣть обширную сферу вліянія.

Архивъ исторіи философіи является первымъ и пока единственнымъ явленіемъ въ своемъ родѣ. Исторія философіи не имѣла еще до сихъ поръ своего спеціальнаго органа, и тѣ работы въ ея области, которыя не появлялись въ видѣ отдѣльныхъ изданій, поневолѣ разбрасывались по философскимъ, филологическимъ и теологическимъ изданіямъ. Обстоятельство это

въ высшей степени затрудняло возможность общаго образа этихъ работъ и препятствовало установленію основательнаго сужденія объ успѣхахъ, достигнутыхъ въ этой области изслѣдованія.

Архивъ и имѣетъ въ виду пополнить этотъ, далеко не фиктивный, пробѣлъ; съ одной стороны, онъ намѣренъ стать сборнымъ пунктомъ для всѣхъ самостоятельныхъ работъ по исторіи философіи, а съ другой—онъ обѣщаетъ давать своимъ читателямъ критическій обзоръ всѣхъ новыхъ работъ, какія появятся въ этой спеціальной области.

Ставя себѣ такую задачу, новый журналъ почти не можетъ, конечно, обѣщать чего-либо могущаго имѣть значительный интересъ для обширной публики или обыкновеннаго читателя; первый отдѣлъ его можетъ даже считаться и интереснымъ, и доступнымъ только для ученыхъ; и только во второмъ отдѣлѣ *всѣ*, интересующіеся исторіей философіи и желающіе слѣдить за ея развитіемъ, найдутъ весьма солидное для себя руководство. Вліяніе этого отдѣла будетъ, какъ можно надѣяться, много способствовать устраненію отсталости и повторенію задовъ, нигдѣ въ такой мѣрѣ не замѣчаемой, какъ въ средѣ философствующихъ. Вундтъ утверждаетъ, что можно сто разъ убить несостоятельную философскую мысль, и она, все-же-таки, опять полѣзетъ и при этомъ станетъ еще дѣлать такія гримасы, будто появляется въ первый разъ на свѣтъ Божій. Но если дѣло стоитъ такъ въ философской Германіи, то мы, можно сказать, дышимъ этими, сто разъ истребленными, философскими бактеріями. Дезинфекція тутъ крайне необходима и, по всѣмъ даннымъ, она будетъ основательная.

Первый, лежащій передъ нами, выпускъ *Архива* содержитъ въ первомъ своемъ отдѣлѣ нѣсколько спеціальныхъ трудовъ Дильса, Циглера, Таннери, Паппенгейма, Штейна и Эрдмана, надъ которыми мы останавливаться не будемъ. Изъ этого отдѣла мы выберемъ только статью Эд. Целлера: *О цѣляхъ и путяхъ исторіи философіи*—и представимъ читателю краткое резюме ея содержанія.

Исторія философіи, какъ и всякая исторія,—говоритъ Целлеръ,—имѣетъ двоякую цѣль: она должна повѣствовать о совершившемся, и она же должна объяснить его, открыть его причины и чрезъ посредство познанія ихъ ввести единичное въ общую связь событій. Далѣе Целлеръ проводитъ ту мысль, что каждая изъ этихъ задачъ не можетъ быть разрѣшена безъ со-

дѣйствія другой, и всякій успѣхъ, достигаемый знаніемъ въ одномъ направленіи, подкрѣпляется успѣхомъ, пріобрѣтаемымъ въ другомъ. Историкъ долженъ помнить, однако же, что успѣхи того и другого рода не должны оставаться неразличаемыми, такъ какъ въ противномъ случаѣ ему угрожаетъ опасность смѣшенія фактовъ со своими предположеніями. Факты суть предметы воспріятія: явленій внѣшнихъ, когда воспріятія совершаются въ мірѣ физическомъ,—явленій внутреннихъ, когда они имѣютъ мѣсто въ сферѣ сознанія. Прямой путь къ ихъ познанію есть наблюденіе и—когда идетъ дѣло о прошедшемъ—преданіе. Для познанія историческихъ фактовъ, какъ таковыхъ, мы должны обратиться къ историческимъ источникамъ, должны обслѣдовать ихъ происхожденіе и достовѣрность, должны собрать, сравнить и провѣрить существующія на нихъ указанія. Затѣмъ Целлеръ разсматриваетъ тѣ случаи, когда историкъ бываетъ вынужденъ прибѣгать къ помощи гипотезъ, и при этомъ выясняетъ научныя требованія, которыя могутъ быть предъявлены историку въ этихъ случаяхъ. Показавъ различныя степени удовлетворимости этихъ требованій, Целлеръ ставитъ на видъ необходимость классификаціи гипотезъ, сообразно степенямъ ихъ вѣроятности, и заканчиваетъ свое разсужденіе объ этомъ общемъ вопросѣ замѣчаніемъ, что только тотъ историкъ можетъ похвалиться безпристрастіемъ и трезвостью мысли, который съумѣетъ различить степени вѣроятности разнаго рода предположеній.

Переходя затѣмъ къ спеціальному предмету исторіи философіи, Целлеръ говоритъ, что предметъ этотъ, вообще говоря, заключается въ рядѣ опытовъ выработки общаго воззрѣнія на міръ и задачи человѣка. Эти опыты и должны быть представлены въ ихъ историческомъ развитіи и исторической связи. Для достиженія этой цѣли въ той степени совершенства, какая допускается нашими вспомогательными средствами, необходимы, однако же, чрезвычайно обширныя и сложныя изслѣдованія. Всего прежде необходимо установить, чему именно извѣстные намъ философы дѣйствительно учили,—вопросъ крайне трудно разрѣшимый даже и тогда, когда мы располагаемъ ихъ собственными работами, такъ какъ и у величайшихъ даже мыслителей встрѣчаются недомолвки, неясности и противорѣчія. Правильное возстановленіе міровоззрѣнія того или другого философа требуетъ поэтому проникновенія въ самое средоточіе его

системы и затѣмъ провѣрки отдѣльныхъ ея частей путемъ сопоставленія съ ея основоположеніями. Способность къ систематическому мышленію, конечно, необходима при этой работѣ; но ошибся бы тотъ, кто сталъ бы опираться при этомъ на логическую послѣдовательность въ развитіи краеугольныхъ основоначалъ данной системы: многое и очень многое, особенно же у творческихъ умовъ, проникаетъ въ систему внѣ строгой послѣдовательности и внѣ связи съ положенными въ основаніе принципами. Само собою разумѣется, что затрудненія возростаютъ въ высочайшей степени въ томъ случаѣ, когда сочиненія философа имѣются лишь въ отрывкахъ, или оказываются вовсе утерянными, или если существуютъ сомнѣнія относительно подлинности тѣхъ произведеній, которыя до насъ дошли. Целлеръ разсматриваетъ одно за другимъ возникающія при этихъ обстоятельствахъ затрудненія и показываетъ ту степень вѣроятія, которая можетъ быть добыта восполняющими разнаго рода недостаточности комбинаціями и предположеніями, дающими очень часто только временныя и шаткія рѣшенія.

Исторія философіи, какъ было замѣчено выше, знакомитъ насъ не только съ ученіями и системами философовъ, но она показываетъ намъ эти ученія и системы въ ихъ общей исторической связи и объясняетъ ихъ этою связью. При этомъ возникаетъ цѣлый рядъ весьма важныхъ задачъ. Психолого-біографическія изслѣдованія условій развитія личности творца системы или ученія принадлежатъ къ числу этихъ задачъ и представляютъ большія, часто совершенно неодолимыя трудности. Надо признать, однако же, что безъ помощи психолого-біографическихъ данныхъ не существуетъ возможности преобразовать *исторію философовъ* въ *исторію философіи*, не существуетъ возможности открыть то историческое единство, которое связывало бы всѣ отдѣльныя проявленія философской мысли и образовывало бы изъ нихъ такой родъ, въ которомъ обнаруживался бы ходъ развитія этой мысли. Закономѣрность этого развитія можетъ быть установлена современною исторіей философіи не на основаніи телеологическаго постулята, а только при помощи изслѣдованія дѣйствительной причинной связи событій: мы не спрашиваемъ теперь, что должно было совершиться для того, чтобы достигнутый уже или имѣющійся въ виду результатъ явился опредѣленнымъ и необходимымъ послѣдствіемъ совершившагося, но мы ищемъ условій возникновенія того, что уже существуетъ

и такимъ образомъ стараемся объяснить это существующее. При такой постановкѣ вопроса явится возможность избѣгнуть той односторонности, которая возникала какъ слѣдствіе исключенія изъ исторіи философіи разсмотрѣнія воздѣйствія политическихъ и обще-культурныхъ условій. Для современнаго историка философіи,—заключаетъ свою статью Целлеръ,—задача представляется далеко не стѣсненною такими узкими рамками, какія мы видимъ у Гегеля и особенно у нѣкоторыхъ его учениковъ. Теперь надо считать необходимымъ принять во вниманіе личность философа, вліяніе предшествовавшихъ системъ на позднѣйшія, вліяніе общихъ политическихъ и культурныхъ факторовъ, и въ этой общей совокупности и связи, не упуская относительнаго значенія каждаго изъ этихъ отдѣльно-взятыхъ воздѣйствій, умѣть найти ихъ общій для исторіи философа результатъ.

Что касается второй части настоящаго выпуска *Архива*, то здѣсь мы встрѣчаемъ два библіографическіе отчета по литературѣ древней философіи—Дильса и Байуотера—и три статьи по литературѣ новѣйшей—Эрдмана, Дилтея и Шёрмана. Замѣтки послѣдняго о современной исторіи философіи въ Англіи и объ англійскихъ и американскихъ изданіяхъ по исторіи философіи, назначаемыхъ, главнымъ образомъ, для обыкновеннаго читателя (the omnivorons general reader), особенно интересны.

1888 г.
«Русск. Мысль».

О КНИГѢ А. А. КОЗЛОВА.

Очерки изъ исторіи философіи. Понятія философіи и исторіи философіи. Философія восточная. Профессора А. А. Козлова Кіевъ, 1887 г. Авторъ предлагаемой нами теперь вниманію читателя книги объясняетъ въ «Предисловіи», что, согласно его *плану*, «содержаніе этой книги принадлежитъ наукѣ, носящей имя *исторіи философіи*, но вовсе не предполагаетъ появленія цѣлаго и полнаго ея курса. Авторъ имѣлъ въ виду, такъ сказать, *эпизодическую* обработку этой области. Каждый отдѣлъ, подобно предлагаемому теперь, будетъ представлять нѣчто самостоятельное, не зависящее отъ другихъ. Поэтому и заглавіе эта книга имѣетъ двойное. Одно—общее: «Очерки изъ исторіи философіи», связывающее ее съ другими, могущими появиться отдѣлами, (;) другое (—) частное: «Понятія философіи и исторіи философіи. Философія восточная», принадлежащее ей, какъ независимому и ни съ чѣмъ не связанному сочиненію.

Изъ этого объясненія видно, что *одно* заглавіе указываетъ на *связь* частей предполагаемой исторіи философіи, а *другое*— на *отсутствіе этой связи*. Читатель, само собою разумѣется, недоумѣваетъ: какъ же будетъ на самомъ дѣлѣ? Положимъ, исторія будетъ не полная, не цѣлая, эпизодическая; но ужели ео ipso отдѣльные ея эпизоды должны обрабатываться такъ, чтобы представлять «независимыя и ни съ чѣмъ не связанныя сочиненія»? Вѣдь, въ такомъ случаѣ, задуманная исторія философіи была бы слишкомъ ужъ философскою! Если же связь будетъ, то нельзя не спросить: въ чемъ же она проявится; не въ единствѣ же только общаго заглавія? Не сказавъ ни слова о связующемъ принципѣ, авторъ все-же-таки полагаетъ, что онъ ознакомилъ читателя съ планомъ своего сочиненія, пожа-

луй, но планъ этотъ—планъ издательскій; авторскаго плана нѣтъ здѣсь и слѣда.

Появленіе дальнѣйшихъ выпусковъ покажетъ, конечно, былъ ли у автора планъ, или нѣтъ, и тогда мы и поговоримъ еще о значеніи присутствія или отсутствія плановъ въ сочиненіяхъ этого рода, а теперь обратимся къ содержанію того выпуска, который лежитъ передъ нами.

Содержаніе это, какъ показываетъ второе заглавіе книги, распадается на двѣ части: 1) Понятія философіи и исторіи философіи и 2) Философія восточная. Затѣмъ имѣются еще и приложенія, разсуждающія о предметахъ, «которые, по своему содержанію, не составляютъ необходимаго элемента исторіи философіи, но, все-таки, примыкаютъ къ ней и уясняютъ ея предметъ и содержаніе. Кромѣ того, — прибавляетъ авторъ, — содержаніе приложеній составляетъ, преимущественно, тоже достояніе. Мы высказываемъ въ нихъ взгляды и мнѣнія, или вполнѣ, или отчасти составлявшіе предметъ долгихъ колебаній и размышленій и, наконецъ, принявшіе ту формулировку ихъ, которую читатель найдетъ въ приложеніяхъ».

Читатель найдетъ въ «приложеніяхъ» несомнѣнно только то, что высказываетъ въ нихъ авторъ; но кромѣ того, читатель спроситъ еще: чего ради онъ долженъ вести въ перемежку изученіе воззрѣній Конфуція и Лао-цзы съ воззрѣніями г. Козлова, если эти послѣднія не составляютъ *необходимаго* элемента исторіи философіи? Они «примыкаютъ къ ней и уясняютъ ея предметъ и содержаніе»,—поясняетъ авторъ. Но почему же, въ такомъ случаѣ, они не введены въ изложеніе предмета, не сдѣланы частями одного цѣлаго, а стоятъ особнякомъ? На это нѣтъ отвѣта, а вмѣсто него идетъ рѣчь о личныхъ отношеніяхъ автора къ этимъ своимъ литературнымъ дѣтищамъ. Отношенія эти, само собою разумѣется, самыя теплыя; но читатель, къ сожалѣнію, ни откуда не можетъ почерпнуть увѣренности, что достоинство навязываемыхъ ему воззрѣній непремѣнно пропорціонально долготѣ потраченныхъ на нихъ колебаній и размышленій. «*Необходимый* элементъ» того предмета, который сулятъ заглавіе и подзаглавіе книги, будь онъ хоть продуктъ импровизаціи, былъ бы умѣстнѣе, конечно, чѣмъ всѣ эти экскурсіи или набѣги туда и сюда, которые, въ концѣ-концовъ, вмѣсто обѣщанной исторіи философіи, даютъ нѣчто вродѣ философской христоматіи.

И такъ, читатель знаетъ теперь, что можетъ онъ найти въ

книгѣ г. Козлова, и самъ рѣшитъ: стоитъ ли ему читать ее; что же касается насъ, то намъ, прежде всего, интересно было узнать: переработалъ ли авторъ за-ново свои аргументы по вопросу о «понятіи философіи» и является ли онъ теперь съ полными доказательствами, подкрѣпляющими его прежнее воззрѣніе, или мы опять будемъ имѣть дѣло со стародавнею, нѣсколько уже прискучившею пѣснею? Прочитавъ главу, посвященную уясненію «понятія философіи», мы отдаемъ должную справедливость постоянству почтеннаго автора и находимъ, что тезисъ его, какъ былъ недоказаннымъ, такъ и остался. Отстаивая значеніе философіи, какъ отдѣльной самостоятельной науки, г. Козловъ дѣлитъ ея содержаніе между метафизикой, теоріей познанія и этикой и не сводитъ его ни къ какому высшему обобщенію, хотя тутъ же рядомъ цитируетъ указаніе Вундта на значеніе принципа объединенія другой (долго оставававшейся группою разрозненныхъ частей) науки—физики. Къ тому же, г. Козловъ не только не указываетъ на объединительное начало трехъ перечисленныхъ имъ наукъ, но еще оставляетъ подъ сомнѣніемъ самое существованіе одной изъ нихъ—метафизики, такъ какъ содержаніемъ ея считаетъ рядъ понятій, образовавшихся ранѣе установленія теоріи познанія, и въ настоящее время или входящихъ въ ея область, или устраненныхъ изъ обихода науки ея критикою. Допустимъ, что какая-нибудь наука, не взирая на указанія теоріи познанія, станетъ разыскивать *сущность* міра, *цѣль* міроваго процесса и т. п.,—останется ли она послѣ этого наукою? Мыслимъ ли методъ такой науки, мыслимы ли пріемы ея изслѣдованія? Что, кромѣ гипотезъ, опирающихся на данныя другихъ, *настоящихъ* наукъ, можетъ она представить? Но при такомъ условіи возможно ли и самыя гипотезы счесть ея достояніемъ? Не пора ли оставить въ покоѣ всѣ эти химеры и разъ навсегда признать теорію познанія и этику отдѣльными самостоятельными науками, а ветхую метафизику сдать въ архивъ? Останется, вѣдь, *наука*, которая въ вѣскихъ обобщеніяхъ своихъ и есть *философія*. Скептицизма, усматриваемаго г. Козловымъ, тутъ на самомъ дѣлѣ ровно никакого нѣтъ, а есть только отрицаніе устарѣлыхъ формъ познанія: сошли съ научной сцены астрологія, магія, алхимія,—настала пора слѣдовать за ними и самой заносчивой сестрѣ ихъ—метафизикѣ. Успѣвшіе попривыкнуть къ ея болтовнѣ, конечно, погорюютъ, но развитіе знанія совершается не имъ въ угоду и «мертвыхъ плачъ не воскреситъ!»

То напряженіе, съ которымъ г. Козловъ отстаиваетъ метафизику, могло бы и не растрачиваться втунѣ, еслибъ онъ обратилъ вниманіе на различіе въ опредѣленіяхъ понятія «познаніе», Сосредоточивъ вниманіе на этомъ пунктѣ, онъ легко могъ бы замѣтить, что до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ оперировать при посредствѣ *метафизическаго* опредѣленія этого понятія, результатъ его аргументаціи останется предрѣшеннымъ. Вотъ еслибъ онъ держался правила не пользоваться терминами безъ критическаго ихъ разсмотрѣнія, и еслибъ онъ принялъ во вниманіе опредѣленіе, выработанное *критически*,—система его доказательствъ стала бы посолиднѣе, посерьезнѣе, и, можетъ быть, дала бы иной результатъ. Если теорія познанія имѣется не на показъ только, то такъ именно ему и слѣдовало поступить безъ всякихъ колебаній.

Ссылаясь на Вундта, г. Козловъ избираетъ себѣ совсѣмъ неподходящаго союзника. Въ статьѣ, которая цитируется въ 1-й главѣ книги, вовсе не отстаивается философія, какъ отдѣльная наука, а только сводится на теорію познанія, составляющую, по мнѣнію г. Козлова, *часть* философіи. Мысль свою Вундтъ очень кратко и ясно формулировалъ въ курсѣ *Логики*, сказавъ, что «философія должна или вовсе исчезнуть, или преобразиться въ ученіе о наукѣ въ истинномъ значеніи этого слова» (*Logik*, 1883 г., II, S. 619). Еще позже, а именно черезъ 18 лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ той статьи, на которую ссылается теперь г. Козловъ, Вундтъ включилъ эту самую статью, въ переработанномъ видѣ, въ сборникъ своихъ *Essais* и здѣсь уже высказывается такъ, что знай объ этомъ г. Козловъ, онъ навѣрное бы окончательно потерялъ охоту цитировать одного изъ представителей столь враждебной ему «научной философіи». Здѣсь Вундтъ говоритъ, что для философіи прошла пора считать отдѣльныя науки развѣтвленіями ея содержанія, что въ настоящее время сама философія должна признать для себя необходимостью дать своему отношенію къ наукамъ обратное значеніе и принять общее ихъ содержаніе, какъ свою основу. При установленіи такихъ взаимныхъ отношеній между философіей и отдѣльными науками руководящее значеніе получаютъ двѣ дисциплины: психологія и теорія познанія; «изъ самыхъ нѣдръ отдѣльныхъ наукъ,—говоритъ Вундтъ,—возникаетъ сознаніе необходимости въ наукѣ принциповъ, общихъ основныхъ положеній и основныхъ законовъ,—въ наукѣ, для которой, по-

жалуй, можно удержать названіе метафизики, но при условіи, что правомѣрная и необходимая задача этой науки не будетъ болѣе смѣшиваться съ тою *каррикатурою*, которая часто появлялась подъ этимъ именемъ».

О «философіи восточной» мы распространяться не станемъ; замѣтимъ только, что мы очень сочувственно относимся къ мысли автора—включить ее въ исторію философіи. Очень желательно, чтобы восточная философія и впредь не исключалась изъ курсовъ. При знакомствѣ съ англійскимъ языкомъ она можетъ быть обработана гораздо обстоятельнѣе, чѣмъ это сдѣлано у г. Козлова, а при иной точкѣ зрѣнія окажется, конечно, и гораздо поучительнѣе.

Книжка г. Козлова издана довольно порядочно, и такъ какъ «въ университетахъ или академіяхъ (она) можетъ служить *руководствомъ* къ изученію исторіи философіи», то и напечатана она или—какъ выражается авторъ—«*содержаніе ея изложено* двумя шрифтами». Крупнымъ напечатано самое необходимое и важнѣйшее, мелкимъ—нужное, но не такъ необходимое. Цѣль прекрасная: чѣмъ меньше потребуется этой матеріи на экзаменахъ, тѣмъ лучше. Не зачѣмъ спрашивать послѣ этого, въ чемъ заключается различіе «самаго необходимаго» отъ «нужнаго, но не такъ необходимаго», а надо только благодарить автора, что перваго не много; еще лучше, еслибъ его вовсе не было.

1888 г.
«Рус. Мысль».

ФРАНЦУЗЪ О СОВРЕМЕННОЙ НѢМЕЦКОЙ ФИЛОСОФІИ.

J. Breton. Notes d'un etudiant français en Allemagne. Paris, 1895.

Французскій студентъ г. Бретонъ, пробывъ годъ въ Германіи и прослушавъ лекціи въ Гейдельбергскомъ, Берлинскомъ, Мюнхенскомъ и Лейпцигскомъ университетахъ, выпустилъ въ свѣтъ по возвращеніи на родину веденный имъ въ теченіе этого времени дневникъ, вышедшій весною этого года четвертымъ изданіемъ. Дневникъ г. Бретона начинается съ октября 93-го года и оканчивается сентябремъ 94-го; написанъ онъ весьма живо и въ немъ хорошо обрисовываются воззрѣнія той среды, въ которой вращался авторъ; представляемая же дневникомъ характеристика современной нѣмецкой философіи схватываетъ тѣ основныя черты ея, на которыхъ очень стоитъ остановиться вниманію русскаго читателя.

Первыя же строки дневника затрогиваютъ уже философію, и затрогиваютъ ее такъ, что иной читатель, пожалуй, и удивится. «Вотъ я и въ Германіи», говоритъ авторъ, «на цѣлый годъ, на два университетскихъ семестра. Мнѣ предстоитъ изучить науку, которой, какъ говорятъ, приходитъ конецъ,—философію и науку начинающуюся—соціологію. Надо будетъ слушать Куно Фишера, Паульсена, Вагнера, Зиммеля, надо будетъ записаться въ число нѣмецкихъ студентовъ, имматрикулироваться подобно имъ, усѣсться вмѣстѣ съ ними, на скамьяхъ сперва одного изъ самыхъ маленькихъ нѣмецкихъ университетовъ—Гейдельбергскаго, потомъ, самого большого—Берлинскаго. Заодно съ новыми товарищами я буду обязанъ выслушивать много музыки, вышивать много пива, долженъ буду втянуться, на сколько то возможно французу, въ нѣмецкую жизнь. Все это входитъ въ мою программу. Я не ищу однихъ

только абстракцій; мнѣ необходимо стать лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью:—отдаться теченію обычаевъ, прослѣдить до мелочей повседневную будничную жизнь; ежели все хорошенько разобрать, то въ этомъ и будетъ, пожалуй, заключаться мой лучшій курсъ философіи и соціологіи».

Гейдельбергскій курсъ промелькнулъ скоро, не вызвавъ особыхъ замѣтокъ о философіи или вопросахъ, съ нею соприкасающихся. И если авторъ отмѣтилъ краснорѣчіе Куно-Фишера, то содержаніе его лекцій, какъ можно полагать, не оставило замѣтнаго впечатлѣнія: записывать было нечего. Пробывъ съ октября до конца января въ Гейдельбергѣ, авторъ не успѣлъ еще воочію убѣдиться въ отмѣченной имъ съ чужихъ словъ судьбѣ философіи и соціологіи, и не возвращается болѣе къ этому вопросу. Но, вотъ онъ въ Берлинѣ; картина вырисовывается явственнѣе, и въ мартѣ онъ уже можетъ отмѣтить окончательно установившееся впечатлѣніе, ею производимое. «На дняхъ», пишетъ онъ, «мнѣ случилось натолкнуться на бюстъ Гегеля; скромный и печальный, онъ скрывается въ зелени липъ среди маленькаго сквера. Онъ глядитъ на университетъ, обращенный въ его сторону заднимъ фасадомъ. Погруженныя въ свои интересы нянюшки и кормилицы усаживаются у его подножія. Студенты спѣшно проходятъ мимо, даже и не видя его. Я помѣстился на ступенькахъ его пьедестала и мнѣ казалось, что онъ смотритъ на меня съ грустною благосклонностью и тихимъ голосомъ говоритъ мнѣ, что если я забрался сюда ради поисковъ великихъ философовъ, то могу вернуться домой. Высшее умозрѣніе становится въ самомъ дѣлѣ все болѣе и болѣе рѣдкимъ; предаваясь ему, стараются скрыться, чуть не стыдятся. Одинъ молодой профессоръ говорилъ мнѣ, что въ Германіи не осмѣлились бы назвать журналъ такъ, какъ недавно назвали во Франціи одно философское обозрѣніе: «Метафизика и Этика». «Послѣдній гегельянецъ» Михелетъ скончался прошлою зимой; его каѳедра въ Берлинскомъ университетѣ занята теперь психофизикомъ». И черезъ нѣсколько дней онъ опять отмѣчаетъ: «Курсы философіи въ собственномъ смыслѣ этого термина не удивляютъ меня, признаюсь, въ большей степени въ Берлинѣ, чѣмъ въ Гейдельбергѣ; но въ курсахъ отдѣльныхъ наукъ, естественныхъ и общественныхъ, я нахожу философію въ изобиліи. Рѣдко случается, чтобы тотъ или другой факультетъ не предложилъ одного или двухъ чтеній об-

щаго интереса; такихъ чтеній, въ которыхъ профессоръ занятъ былъ опредѣленіемъ своей науки, изученіемъ ея принциповъ, ея метода, и обозначеніемъ мѣста, занимаемаго ею въ классификаціи наукъ. Программа лѣтняго семестра, вывѣшенная теперь въ корридорахъ Берлинскаго университета, содержитъ по отдѣлу естественныхъ наукъ пять курсовъ философскаго характера: Введеніе въ общую химію и изученіе ея основныхъ положеній,—Введеніе въ физику и химію,—Синтетическіе методы экспериментальной химіи,—Основы теоретической физики,—Значеніе кристаллографіи. Общественныя науки обѣщаютъ семь такихъ курсовъ: три курса по философіи права, одинъ—о методѣ юридическихъ наукъ, одинъ—о теоріи политической экономіи, одинъ—о теоріи статистики и одинъ—объ общихъ принципахъ исторіи».

«Такимъ образомъ и оказалось возможнымъ утверждать, что нѣмецкіе философы не могутъ излагать свои собственныя системы безъ указанія мѣста, занимаемаго этими системами въ ряду другихъ системъ и безъ установленія ихъ историческаго значенія; о нѣмецкихъ же ученыхъ можно сказать, что они сами заботятся объ указаніи мѣста ихъ спеціальности въ классификаціи наукъ и установленія ея философскаго значенія. Ихъ лекціи очень часто менѣе спеціальны, чѣмъ соотвѣтствующія имъ лекціи профессоровъ нашихъ факультетовъ».

«Это, повидимому, противорѣчитъ репутаціи нѣмецкихъ ученыхъ. Мнѣ не разъ разсказывали здѣсь, въ Берлинѣ, про одного ученаго, всю свою жизнь посвятившаго изученію судебъ буквы «Т» въ арійскихъ языкахъ. Ученый этотъ, умирая, сказалъ будто бы своему сыну: «я умираю въ разгарѣ моей работы. Задача моя превышала размѣры моихъ силъ. Одному человѣку никакъ не справиться съ изученіемъ «Т»; ты ограничься изученіемъ одной только поперечной черты». Культъ монографіи, или, какъ здѣсь говорятъ, микрологіи, отвѣчаетъ въ самомъ дѣлѣ нѣмецкимъ инстинктамъ, но система университетскаго преподаванія задерживаетъ ея развитіе и побуждаетъ профессоровъ рядомъ со своими спеціальностями проводить въ своихъ курсахъ общія идеи».

«Соединеніе всѣхъ факультетовъ въ одинъ университетъ само по себѣ побуждаетъ уже, какъ то и очевидно, къ философскимъ обобщеніямъ; это объединеніе спеціальностей препятствуетъ и студентамъ, и профессорамъ замыкаться въ рам-

кахъ обособленныхъ наукъ; оно полагаетъ предѣлъ ихъ заносчивости въ томъ случаѣ, если объясненіями, годными лишь для извѣстнаго рода явленій, они неразсудительно пытаются охватить, такъ сказать, всю вселенную, и выбиваются изъ колеи чрезмѣрной скромности, тогда, когда они погружаются всецѣло въ свою спеціальность и, какъ сказалъ еще Либихъ, роются въ ней, сами не зная, зачѣмъ и для чего,—роются отложивъ всякое попеченіе о единствѣ знанія. Университетъ развертываетъ передъ ихъ глазами взаимныя соотношенія, существующія между отдѣльными науками, и такимъ образомъ вынуждаетъ ихъ философствовать».

«Нѣтъ сомнѣнія, что выгодныя стороны этой организаціи получили, особенно во Франціи, слишкомъ высокую цѣну. На самомъ дѣлѣ, цѣлая масса студентовъ не извлекаетъ изъ нея никакой пользы. Нѣкоторые факультеты—медицинскій, напримѣръ, совсѣмъ отдѣлены отъ прочихъ. Этотъ факультетъ долженъ былъ матеріально отдѣлиться отъ другихъ факультетовъ и создать для своихъ занятій особыя помѣщенія; на самомъ дѣлѣ онъ отдѣлился и интеллектуально. Медицинскій студентъ въ рѣдкомъ случаѣ выходитъ за предѣлы своей спеціальности. Я никогда не встрѣчалъ этихъ студентовъ на лекціяхъ философіи. Болѣе того, мнѣ случилось слышать сѣтованія одного профессора химіи на односторонность своихъ слушателей и на скудость ихъ общихъ и научныхъ познаній, при чемъ онъ отдавалъ рѣшительное преимущество нашей системѣ экзаменовъ. Съ другой стороны, профессора, особенно же въ большихъ городахъ,—въ Берлинѣ, напримѣръ,—держатся другъ отъ друга гораздо далѣе, чѣмъ можно предполагать, и поэтому случаи для обмѣна идей и взаимнаго исправленія одной спеціальности другою у нихъ относительно рѣдки».

«И все же между науками одного и того же порядка устанавливаются плодотворнѣйшія соотношенія. Студенты филологи, юристы, историки часто проходятъ и философію, литературу, политическую экономію. На докторскомъ экзаменѣ, кромѣ разсмотрѣнія диссертаціи, написанной по ихъ спеціальности, съ ними могутъ завести бесѣду и о наукахъ сопредѣльныхъ. Это обстоятельство поддерживаетъ въ ихъ умахъ какъ бы взаимное треніе разныхъ наукъ, а этотъ процессъ и порождаетъ общія идеи. Профессора, съ своей стороны, слѣдятъ за ходомъ развитія соприкасающихся и сосѣднихъ съ ихъ спеціальностью

наукъ и нерѣдко переходятъ даже отъ одной спеціальности къ другой. Такъ поступилъ Момзенъ и многіе другіе. Рошеръ, Вагнеръ, Шмоллеръ, сперва изучали первый—филологію, второй—статистику, третій—философію, и только позже перешли на политическую экономію. Иные, какъ, напримѣръ, Вундтъ, получили ученыя степени на разныхъ факультетахъ. Этотъ переходъ черезъ цѣлый рядъ наукъ и есть путь къ философіи. Нечего удивляться послѣ этого, если какой-нибудь экономистъ начинаетъ свой курсъ нѣсколькими лекціями по психологіи или логикѣ».

«Универсальный, философскій характеръ спеціальныхъ курсовъ поддерживается еще и отсутствіемъ программъ. Курсы здѣсь не приспособляются ни къ какимъ заранѣе заготовленнымъ казеннымъ шаблонамъ. Всякій университетъ классифицируетъ науки по-своему, всякій профессоръ излагаетъ ихъ такъ, какъ находитъ нужнымъ. Ему и приходится поэтому начинать съ опредѣленія своей науки, съ указанія на соотношенія этой науки съ другими. Если дѣло идетъ въ особенности о наукахъ объ обществѣ, о наукахъ формирующихся, то представляется совершеннѣйшая необходимость начинать курсъ съ вопроса о классификаціи наукъ. По новости дѣла возникаютъ разногласія между профессорами, взаимная критика высказанныхъ мнѣній,—и все это придаетъ преподаванію истинно-философскій характеръ».

Судьба обособленной философіи изображается въ приведенныхъ строкахъ довольно печально: она является лишенною своего содержанія, которое оказывается захваченнымъ спеціальными науками, и поэтому убѣжденіе въ несостоятельности ея raison d'être все болѣе и болѣе овладѣваетъ умами. Само собою разумѣется, что по мѣрѣ того какъ это убѣжденіе растетъ и укрѣпляется, все становится труднѣе и труднѣе найти охотниковъ, готовыхъ упражняться въ безсознательномъ краснорѣчіи, и еще труднѣе найти достаточное число наивныхъ слушателей, которые могли бы убѣдить самихъ себя въ поучительности такого рода краснорѣчія. Число представителей философіи въ собственномъ смыслѣ по этой причинѣ неизбѣжно убываетъ; они даже «становятся рѣдкими» и, выбывая, замѣщаются профессорами другихъ спеціальностей. Такъ, недавно скончавшійся Михелетъ, какъ было отмѣчено выше, былъ замѣщенъ психофизикомъ. Читатель ошибся бы, однако же, если бы за-

ключилъ изъ этого факта, что какая-нибудь спеціальная наука, психофизика напримѣръ, стремится замѣнить собою философію. Относительно психофизики, науки новой—авторъ даетъ въ этомъ отношеніи очень интересныя объясненія. «Германія», говоритъ онъ, «имѣетъ уже три большія психофизическія лабораторіи; лейпцигская лабораторія состоитъ изъ двѣнадцати залъ и библіотеки; аппаратовъ здѣсь громадная масса. Мнѣ было дозволено посѣтить это учрежденіе; директоръ съ большою любезностью ввелъ меня въ маленькія комнатки, гдѣ молодые люди, размѣщенные попарно, занимаются, какъ принято выражаться въ обыденной рѣчи, измѣреніемъ скорости мысли. Я встрѣтилъ тутъ шведовъ, бельгійцевъ, одного француза даже—г. Анри (Henry), симпатичнаго сотрудника г. Бинэ. Всѣ они были погружены въ свои занятія. Терпѣніе ихъ столь же велико, какъ и ихъ скромность. Повидимому, имъ чуждъ всякій задоръ; не то, что у насъ. Во Франціи психофизика сохранила, или, вѣрнѣе, сохраняла до самаго послѣдняго времени боевой духъ. Борьба, которую ей пришлось выдержать противъ стараго спиритуализма, выработала у нея воинственныя привычки. Полемика проскальзывала въ ея малѣйшіе эксперименты. Рѣдкій отчетъ о работахъ въ этой области не заключалъ въ себѣ нападокъ и сарказмовъ по адресу умозрительныхъ философовъ. Казалось, будто иной разъ психофизики стремились къ замѣщенію, даже пожалуй, упраздненію всякаго умственнаго усилія. Здѣсь, повидимому, представляютъ себѣ роль психофизики съ гораздо большею ясностью; на нее смотрятъ, какъ на спеціальную науку, которая, какъ и всякая другая, неразрывно связана съ философіей; но которая, опять-таки, какъ и всякая другая, не можетъ поглотить собою философію».

Вслѣдъ за приведенной характеристикой роли философіи въ университетскомъ преподаваніи интересно будетъ поставить характеристику соціологіи; послѣ науки, доживающей свой вѣкъ, обратимся къ наукѣ нарождающейся. «Здѣсь, какъ и во Франціи», говоритъ Бретонъ, «много говорятъ о соціологіи; что же именно такое слѣдуетъ разумѣть подъ этимъ терминомъ, въ томъ далеко не всѣ между собою согласны. Соціологія—это нѣчто такое, о чемъ хотя всѣ и говорятъ, но чего никто, однако, еще не видѣлъ. Однако же, въ разныхъ мѣстахъ возникаютъ курсы, которымъ, какъ надѣются, удастся, наконецъ, дать точное опредѣленіе этой модной науки. Австрія, полити-

ческая жизнь которой, представляя богатое сопоставленіе разныхъ народностей, въ высокой степени возбуждаетъ интересъ къ наукамъ объ обществѣ, выставила уже своихъ соціологовъ въ тѣсномъ значеніи этого термина. Германія слѣдуетъ ея примѣру. Тённиссъ въ Килѣ и Зиммель въ Берлинѣ читаютъ теперь лекціи по соціологіи, привлекающія болѣе ста пятидесяти слушателей».

«Зиммель не теряетъ времени на поиски законовъ общественности въ жизни организмовъ. Біологическій методъ, произведшій столько опустошеній въ соціологіи, все болѣе и болѣе теряетъ въ Германіи почву. Спенсера читаютъ только для того, чтобы опровергать. Обширное сочиненіе Шефле импонируетъ здѣсь менѣе, чѣмъ у насъ. Въ интимномъ разговорѣ не боялись называть его жалкимъ произведеніемъ. Современное движеніе въ области наукъ объ обществѣ направляетъ ихъ, вообще говоря, къ психологіи въ большей мѣрѣ, нежели къ біологіи: принципа общественныхъ формъ, такъ же какъ и общественнаго развитія,—общественной статики, какъ и динамики,—слѣдуетъ искать, какъ утверждаютъ, въ душѣ человѣческой. Психологія должна выяснить намъ смыслъ общественныхъ явленій. Она должна,—какъ то высказывается въ формулѣ недостаточно впрочемъ опредѣленной и ясной стать для наукъ историческихъ тѣмъ, чѣмъ служитъ математика для наукъ естественныхъ».

«Для Зиммеля истинною трудностью является опредѣленіе границъ соціологіи въ тѣсномъ смыслѣ и выдѣленіе ея изъ общей совокупности соціальныхъ наукъ. Такая соціологія, которая поставила бы себѣ цѣлью стать научнымъ объясненіемъ всѣхъ элементовъ общественности, не могла бы разобраться среди путаницы различныхъ силъ, заправляющихъ ходомъ общественной жизни; такая соціологія могла бы установить лишь крайне шаткіе, ненаучные законы философіи исторіи. И здѣсь тоже приходится поступиться слишкомъ широкими обобщеніями философа и держаться болѣе тѣсныхъ обобщеній спеціалиста. Такимъ путемъ можетъ создаться соціологія менѣе заносчивая, но болѣе устойчивая».

Приведенныя замѣтки, при всей своей неполнотѣ, бѣглости, недосказанности и неточности, проникнуты мыслью, способною возбудить серьезный интересъ у всякаго неравнодушнаго къ судьбамъ философіи. Неполноту, бѣглость, отрывоч-

ность, неточность исправить нетрудно; важно же то, что существенныя черты указываемаго явленія въ общемъ схвачены вѣрно и изложены опредѣленно и ясно. Всякій, кто знакомъ съ ходомъ эволюціи современной философіи, знаетъ, конечно, что именно въ нѣмецкомъ философскомъ движеніи послѣдніе моменты этой общей эволюціи выражены наиболѣе ярко и сознательно. Распространеніе этого сознанія за предѣлы того центра, гдѣ оно впервые установилось, было уже указано много прежде, теперь же распространеніе это констатируется г. Бретономъ какъ фактъ, имѣющій болѣе широкія границы. Оказывается, что въ четырехъ германскихъ университетахъ является уже общераспространеннымъ тотъ взглядъ на философію, который впервые высказался не въ германскомъ, хотя и нѣмецкомъ, университетѣ—въ университетѣ Цюрихскомъ. Профессоръ этого университета Рихардъ Авенаріусъ издаетъ съ 76-го года философскій журналъ, въ которомъ, какъ и въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ своихъ, проводитъ этотъ, столь распространенный теперь и въ германскихъ университетахъ взглядъ. Если мы сопоставимъ замѣтки г. Бретона съ подобными же замѣтками, набросанными около двадцати лѣтъ тому назадъ однимъ изъ русскихъ профессоровъ, то путь, пройденный философскою мыслью въ германскихъ университетахъ, обрисуется передъ нами довольно отчетливо, и намъ можно будетъ составить понятіе о томъ, въ какой мѣрѣ наше самобытное философское развитіе за этотъ промежутокъ времени отклонилось отъ нѣмецкаго и утратило съ нимъ всякое сходство. Профессоръ Казанской Духовной Академіи Милославскій, знакомившійся съ нѣмецкою университетскою наукою въ половинѣ семидесятыхъ годовъ, писалъ тогда въ своей книгѣ «Типы современной философской мысли въ Германіи», что «отъ такъ называемой метафизики остается теперь одно имя», что «авторитетъ старыхъ философовъ и метафизиковъ упалъ и въ университетахъ, и въ образованномъ обществѣ. Всюду сказывается явное предпочтеніе положительнымъ знаніямъ, и общечеловѣческія научныя стремленія нашего времени вполнѣ парализуютъ національное стремленіе нѣмецкихъ философовъ постигнуть «вещь въ себѣ». Метафизика упала въ университетахъ до того, что число слушателей у профессоровъ, читающихъ «метафизику», очень часто ограничивается только тремя». «И не только профессоры метафизики, а и по другимъ предметамъ метафизическаго характера

жалуются на крайнее запустѣніе своихъ аудиторій, причемъ не скрываютъ своей искренней радости при видѣ всякаго новаго слушателя. Теперь въ общемъ ходѣ университетскаго преподаванія философскіе предметы только тогда находятъ слушателей, когда ихъ содержаніе не подводится подъ какое-нибудь апріорное абсолютное начало всѣхъ началъ, иначе аудиторія пуста, каѳедра существуетъ болѣе оффиціально. Но такъ называемая метафизика не только остается безъ слушателей и продолжаетъ существованіе, какъ наслѣдіе временъ давно минувшихъ, а еще возбуждаетъ общее презрѣніе и насмѣшки и компрометируетъ ученую репутацію своихъ немногихъ адептовъ».

Не очевидно ли, что моментъ, обрисованный Милославскимъ, представляется подготовительнымъ по отношенію къ тому, который схваченъ въ очеркѣ г. Бретона? Розыскиваніе начала всѣхъ началъ, постиженіе «вещи въ себѣ», раскрытіе абсолюта,—всякую вообще метафизику отвергали уже и въ семидесятыхъ годахъ; но философія, какъ отдѣльная наука, стояла еще тогда незыблемо. Тогда полагали еще, что наука эта можетъ отождествиться съ теоріей позн-анія, съ психологіей или съ этикой, или же со всѣми имп, взятыми въ совокупности; тогда старались еще спасти ее, думая, что съ ея исчезновеніемъ исчезнетъ и философскій характеръ всякаго познанія. Теперь, какъ видно, эта иллюзія миновала: стало ясно до очевидности, что философія, какъ отдѣльная, какъ обособленная наука, потеряла почву; что вся ея область оказалась размежеванною между спеціальными науками; что теорія познанія, психологія, этика перестали считать отправною точкою философскія умозрѣнія и должны быть отнесены въ рядъ этихъ наукъ; что философіи остается или повторять разъ уже высказанное другими науками или опять вернуться къ апріорнымъ умозрѣніямъ и продолжать старую, проигранную метафизикою, битву о навязываніи этихъ умозрѣній положительной наукѣ. И вотъ, «философы въ собственномъ смыслѣ», какъ сообщаетъ теперь г. Бретонъ, пошли въ германскихъ университетахъ на убыль, а уровень философствованія въ области спеціальныхъ наукъ— на подъемъ. Саморазложеніе философіи, «какъ отдѣльной науки», не только не положило конца философіи въ тѣсномъ смыслѣ, но еще придало ей новую жизнь, новую бодрость, открыло передъ нею широкій благодатный путь. Теперь стало очевиднымъ, что профессоръ психологіи, этики или гносеологіи мо-

жетъ и не быть философомъ, тогда какъ изложеніе всякой науки можетъ быть поднято до высокаго философскаго уровня. Взглянемъ, напримѣръ, какъ смотритъ на такую задачу профессоръ механики Пражскаго университета Эрнстъ Махъ. «Всякая наука», говоритъ онъ, «первоначально проистекаетъ изъ извѣстной жизненной потребности. Особенность призванія, односторонность склонности и способности тѣхъ, которые разрабатываютъ ту или другую науку, приводятъ ко множеству тонкихъ ея развѣтвленій, но все же каждая отдѣльная вѣтвь можетъ сохранить жизненную свѣжесть только при связи ея съ цѣлымъ. Благодаря этой связи, является возможность достиженія собственной цѣли данной научной отрасли и создается защита противъ вторженія уродливой односторонности. Раздѣленіе труда, ограниченіе поля изслѣдованія, являются, конечно, необходимыми условіями успѣшнаго развитія научнаго знанія. Только благодаря этому ограниченію и односторонности могутъ прилагаемыя къ изслѣдованію умственныя силы получить соотвѣтственное трудностямъ работы развитіе. Возникаетъ, однако же, опасность превратить односторонность и ограниченіе въ силу постояннаго вниманія къ нимъ изъ средства науки въ ея цѣль и преувеличить такимъ образомъ ихъ истинное значеніе» (*E. Mach.* Die Mechanik etc). Въ сочиненіяхъ Маха можно найти интересные примѣры такой односторонности. Остановимся на одномъ изъ нихъ—на розыскиваніи «вещи въ себѣ». Розыскиваніе это, какъ выясняетъ Махъ, возникло изъ цѣлесообразнаго обычая придавать всякой совокупности предполагаемыхъ элементовъ какое-нибудь имя, чтобы охватить мыслью такую совокупность. Этотъ прекрасный обычай можетъ, однако, стать иногда въ весьма своеобразное противорѣчіе со стремленіемъ разлагать данный комплексъ на элементы. «При взаимномъ противопоставленіи этихъ стремленій смутный обликъ «постояннаго», замѣтно не измѣняющагося отъ исчезновенія той или другой составной его части, можетъ показаться существующимъ «въ себѣ». И такъ какъ оказывается возможнымъ удалить одну составную часть, не разстраивая картины общаго настолько, чтобы это общее перестало быть узнаваемымъ, то является мысль, что возможно устранить всѣ составныя части и что затѣмъ, все же таки, останется еще нѣчто. Эта мысль и есть чудовищная мысль о «вещи въ себѣ».

Нечего и говорить, что философскій характеръ преподава-

нія спеціальныхъ наукъ нисколько не обязываетъ философствующихъ спеціалистовъ представлять свои законченныя философскія системы. Ни одинъ изъ нихъ не допускаетъ мысли, что если онъ не соорудилъ свой «міръ, какъ цѣлое» не только изъ вздорныхъ фельетоновъ, но даже и изъ серьезныхъ лекцій, то онъ уже и не философъ. Всякій изъ такихъ философовъ убѣжденъ, конечно, какъ и Эрнстъ Махъ, что «высшая философія изслѣдователя природы заключается въ допущеніи незаконченнаго міровоззрѣнія и предпочтеніи его мнимо-законченному, но не состоятельному», и готовъ, несомнѣнно, подтвердить вслѣдъ за Карломъ Герингомъ неизбѣжность и для философіи придерживаться правила: «лучше остаться *бѣднымъ*, но *честнымъ*».

Не теряя изъ виду этой особенности философствованія спеціалистовъ, мы можемъ извлечь очень важное для себя поученіе въ выработкѣ ими широкихъ,—пожалуй, даже грандіозныхъ,—обобщеній, не развивающихся, однако же, въ особую философскую систему и трезво сознающихъ свои границы. Къ числу такихъ обобщеній принадлежитъ, напримѣръ, электромагнитная теорія свѣта. Эта теорія представляетъ собою, по живописному сравненію Герца, новое зданіе, воздвигнутое геніемъ Максуэля,—зданіе, въ которомъ одна часть подкрѣпляетъ другую, какъ камни одной и той же арки. Взятое въ цѣломъ, «оно связываетъ надъ бездною неизвѣстности то, что прекрасно извѣстно». Трудно себѣ представить, конечно, что могли бы соорудить иные «геніальные зодчіе», если бы имъ удалось захватить въ свое владѣніе такое блестящее начало. Воздвигалась же на нашихъ глазахъ вавилонская башня «паннсихизма», когда ни о какихъ заготовленныхъ заранѣе аркахъ и помину не было, а матеріаломъ служилъ давно забракованный метафизическій хламъ. Философствующіе спеціалисты дѣйствовали иначе: они занялись сперва укрѣпленіемъ устоевъ, и хотя они и нашли, что «арка держится сама собою», но разстояніе, черезъ которое она переброшена, оказалось еще слишкомъ велико для того, чтобы «осмѣлиться возвести на ней постройку вверхъ». (Подробн. см. «Научное Обозрѣніе», 94 г, № 3). Если работу такого рода сопоставить съ нагроможденными изъ кулисъ замками и пагодами, то непремѣнно надо будетъ напомнить тѣмъ, которые способны очароваться мелодіями нѣкоторыхъ сиренъ, предостереженіе стараго Локка, сказавшаго, что «умъ того, кто наполняетъ себѣ голову безсодержательными знаніями и ложными мнѣніями, очень

можетъ стать напыщеннымъ и казаться повидимому широкимъ; на самомъ же дѣлѣ такой умъ узокъ и пустъ: все, что онъ охватываетъ и вмѣщаетъ—ничто, и даже менѣе, чѣмъ ничто, такъ какъ заблужденіе ниже невѣжества, а ложь и того ничтожнѣе. Мы выполнимъ поэтому нашъ первый и великій долгъ, внося въ наши изслѣдованія жажду знанія и имѣя при этомъ въ виду истину, одну только истину; къ ней слѣдуетъ намъ стремиться и ее необходимо намъ быть готовыми принять, какъ бы она ни казалась печальна, жалка или несоотвѣтственна модѣ».

Замѣтки г. Бретона, для пополненія которыхъ имѣется преизобиліе матеріала, интересны намъ еще и потому, что даютъ возможность сопоставить развитіе новѣйшей нѣмецкой философіи съ развитіемъ нашей. Выходитъ, что тогда, какъ метафизики въ Германіи стушевались куда-то на задній планъ,—философіи, какъ отдѣльной наукѣ, перестали довѣрять и выработали свой нѣмецкій позитивизмъ,—у насъ, какъ о томъ гласитъ во многихъ отношеніяхъ любопытная лѣтопись «философіи у русскихъ» (во всей полнотѣ напечатанная впрочемъ только въ нѣмецкомъ философскомъ журналѣ), въ это самое время «явились сильные противники позитивизма» и «въ самое послѣднее время—нѣсколько мыслителей, замѣчательныхъ глубиной и силой мысли». Какъ разъ обратный порядокъ! Вотъ эти-то глубокіе мыслители и рѣшили, что современная нѣмецкая научная философія есть поворотъ къ метафизикѣ, что она невразумительна и даже просто на просто имѣетъ «рекламный характеръ». Во всемъ этомъ, впрочемъ, звучатъ «аккорды» старой пѣсни,—новъ только одинъ жаргонъ!

Но вѣдь какъ иначе и быть съ какою-то невѣдомою философіей, о которой говорили, будто бы она замышляетъ потѣснить или даже совсѣмъ вытѣснить праздное краснобайство или выспренное пустословіе? Ей, явившейся на житейское поприще въ «единый надесять часъ», чего ждать, если старая пѣсня звучитъ даже и тогда, когда рѣчь коснется

до науки,
Которая расширила свой кругъ
Трудомъ умовъ и опытностью долгой,
И принося полезные труды,
Надъ міромъ человѣка возвышаетъ?

Говорятъ, будто бы наука—это тайна своего рода жрецовъ, ничѣмъ существенно не отличающаяся отъ жрецовъ древняго Египта.

Основы дѣятельности жрецовъ нашего времени остаются-де для вѣрующихъ въ нихъ такими же таинственными, какими оставались для египтянъ основы дѣятельности ихъ жрецовъ... Читая такія обвиненія науки, невольно спрашиваешь: ужели наука не предлежитъ открытою для всѣхъ и каждаго, ужели не призываетъ она всѣхъ и каждаго къ повѣркѣ своихъ положеній, опытовъ и наблюденій, ужели она отвѣтственна за тѣ общественныя формы, которыя не даютъ осуществиться ея зову, ея усиліямъ, ужели она заявляетъ о необходимости смертной казни за новыя открытія и изобрѣтенія? Если нѣтъ, то въ чемъ же заключается ея сходство съ тайновѣдѣніемъ египетскихъ жрецовъ?

Намѣреніе мое восполнить пробѣлы замѣтокъ г. Бретона ближайшимъ ознакомленіемъ читателя съ воззрѣніями писателей, наиболѣе отвѣчающихъ характеристикѣ, набросанной въ его дневникѣ, было бы слишкомъ далеко отъ сколько-нибудь удовлетворительнаго выполненія, если бы я ограничился одними только приведенными выше извлеченіями. Если для заинтересовавшихся указаніями дневника могутъ имѣть значеніе нѣкоторыя дополненія, имѣющія по отношенію къ этимъ указаніямъ значеніе своего рода оправдательныхъ документовъ, то мнѣ нельзя, конечно, ограничиться выдержками изъ сочиненій профессоровъ однѣхъ только такихъ наукъ, изложенію которыхъ сплошь и рядомъ не придается и малѣйшей даже философской окраски, а надо произвести нѣкоторую экскурсію и въ область тѣхъ наукъ, которыя и теперь еще считаются по преимуществу философскими,—въ область теоріи познанія и этики.

Я остановлюсь надъ взглядами двухъ извѣстныхъ представителей этихъ наукъ—Риля и Лааса; лекцій ихъ обоихъ не слушалъ и не могъ слушать г. Бретонъ, и если ихъ мысли совпадаютъ съ тою характеристикой воззрѣній на философію, которая имъ дается, то это и можетъ послужить краснорѣчивѣйшимъ свидѣтельствомъ общераспространенности въ Германіи такихъ, съ извѣстной точки зрѣнія, не глубокихъ взглядовъ.

Метафизика, сравнительно съ наукою, представляетъ, по мнѣнію Риля, устарѣлый, отсталый типъ мышленія. «Существуетъ только единственный родъ системостроенія, именно тотъ, который служитъ не на время, не срочнымъ заполненіемъ пробѣла между двумя несвязанными еще областями знанія, но который совершается въ силу прогресса точныхъ наукъ, который не-

удержимо идетъ въ ширь и глубь и оставляетъ все менѣе и менѣе простора системамъ метафизиковъ. Убѣжденіе въ невозможности этихъ системъ считаю я за одинъ изъ важнѣйшихъ результатовъ всеобщей теоріи науки. Это убѣжденіе не допуститъ впередъ тратить умственныя силы на обсужденіе неразрѣшимыхъ, да и невѣрно поставленныхъ проблемъ. Но оно открываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и новые пути для самого научнаго изслѣдованія. Убѣжденіе, что наука и теоретическая философія—одно и то же, что существуетъ только одна система познанія, а не двѣ, ставитъ существенно высшую цѣль наукѣ. На основѣ этого убѣжденія наука исполнится сознаніемъ своего философскаго призванія, своей систематической задачи. Въ своемъ раздѣленіи труда увидитъ она не цѣль, а только средство для достиженія цѣли—синтеза познанія,—средство, споспѣшествующее успѣху и совершенно необходимое. Не станутъ уже слишкомъ высоко цѣнить изслѣдованіе мелкихъ подробностей, какъ дѣлалось и должно было дѣлаться прежде, пока наука не сознавала высшей своей задачи, а, напротивъ, предоставляли ее фантастическому мышленію метафизиковъ. Возведеніе самой науки въ философію—вотъ философская задача нашего времени,—высшая и многообъятнѣйшая задача, какую только можно поставить въ области познанія». (A. Riehl. Der Philosophische Kriticismus. II).

Перейдемъ теперь къ воззрѣніямъ Лааса на основы этики.

По убѣжденію Лааса, источникъ нравственныхъ сужденій слѣдуетъ искать не въ традиціи супранатурализма, а въ условіяхъ мѣста и времени;—не въ «природѣ вещей», а въ сознаніи, въ чувствованіяхъ человѣка. Этика, поэтому, должна быть непремѣнно *антропономною*. Всякое нравственное настроеніе необходимо развивается на почвѣ жизни общественной. Розыскивая ихъ происхожденіе, мы въ послѣднемъ итогѣ доходимъ не до отвлеченныхъ положеній, врожденныхъ идей и безстрастныхъ нормъ, а до потребностей и опыта. Въ своей положительной формѣ, въ той формѣ, въ которую въ данный моментъ отливается нравственное настроеніе, всегда можно найти слѣды воздѣйствовавшихъ на нихъ данныхъ конкретныхъ условій, лишавшихъ ихъ совершенства. Путемъ историческаго развитія совершенство это или достигалось въ высокой степени или же съ упорною медлительностью.

Изъ этого можно видѣть, что этика, какъ наука, должна

по мысли Лааса, ограничить себя розысканіемъ психологическаго и историческаго происхожденія и основы нравственныхъ законовъ и указаніемъ условій ихъ развитія. Не имѣя приэтомъ, какъ и всякая другая положительная наука, возможности переходить за предѣлы, полагаемые опытомъ, этика не должна искать опоры ни въ метафизикѣ, ни въ какихъ иныхъ трансцендентныхъ доктринахъ. «Что касается метафизики, то съ перваго же взгляда бросается въ глаза нелѣпость усилій, направленныхъ къ сведенію извѣстнаго на неизвѣстное, яснаго на неясное, и стремящихся къ возведенію хрупкаго зданія на колеблющемся и ненадежномъ грунтѣ. И въ самомъ дѣлѣ, если наши нравственныя понятія нуждаются въ болѣе устойчивомъ обоснованіи и ясной формулировкѣ, то все же обоснованіе и формулировка основоположеній метафизики уступаетъ имъ въ устойчивости и въ ясности. (E. Laas. Idealistische und Positivistische Ethik).

Замѣтки г. Бретона, опирающіяся на цѣлую массу фактовъ, должны имѣть въ глазахъ нашихъ тѣмъ еще большую цѣнность, что въ его отечествѣ факты такого рода крайне скудны. Родина Ог. Конта оказывается очень слабо проникнутою духомъ его ученія, очень далекою не только отъ дальнѣйшаго развитія его, но даже и отъ элементарнаго усвоенія его принциповъ. Въ области филологической раздается жалоба, какъ я имѣлъ случай упомянуть въ моей статьѣ объ эволюціи философіи, на крайнюю замкнутость ученыхъ въ своихъ спеціальностяхъ, на увлеченіе ими изслѣдованіемъ ради изслѣдованія, на отсутствіе заботы о значеніи получаемыхъ результатовъ; теперь я могу указать на подобную же жалобу, раздающуюся и изъ среды естествовѣдовъ. Дележъ—авторъ появившагося въ настоящемъ году сочиненія, посвященнаго высшимъ вопросамъ общей біологіи (Les grands problèmes de la biologie générale), скорбитъ о томъ, что «французы, въ эпоху Кювье занимавшіе первое мѣсто въ біологической наукѣ, теперь значительно отстаютъ отъ англичанъ и, особенно, отъ нѣмцевъ. Французскіе мемуары часто очень хорошо написаны, техника изслѣдованій оказывается безукоризненной. Но замѣчательна общая черта почти всѣхъ этихъ работъ: это ихъ почти полная безрезультатность». Авторъ работы усовершенствовалъ, распространилъ, исправилъ вещи, извѣстныя до него; и оказывается, что всѣ эти усовершенствованія, распространенія и поправки не измѣнили сколько-

нибудь замѣтнымъ образомъ идей, существовавшихъ раньше. Такимъ образомъ мы видимъ чудовищное накопленіе матеріаловъ, которыми никто не пользуется, и трату массы труда, не подвигающаго науку сколько-нибудь замѣтно впередъ. Чтобы не обидѣть никого, Делажъ подвергаетъ суровой критикѣ свои собственныя первыя спеціальныя работы и приходитъ къ выводу, что хотя въ его мемуарахъ было много интереснаго, но это интересное, въ концѣ концовъ, не прибавило ничего существеннаго къ тому, что знали раньше. Пора, наконецъ, говоритъ Делажъ, оставить работу, посвященную исключительно третьестепеннымъ мелочамъ. Одни и тѣ же факты могутъ принести огромную пользу или, наоборотъ, остаться безплодными, смотря по общимъ цѣлямъ и характеру нашего изслѣдованія. Самый мелкій фактъ можетъ пріобрѣсть огромное значеніе, если мы не будемъ терять изъ виду широкихъ вопросовъ общей біологіи. («Научное Обозрѣніе», 95 г. № 37).

Приведенныя мною указанія на недовольство крайнею спеціализаціею работъ французскихъ ученыхъ и связанныя съ этими жалобами попытки—Бедье и Делажа—выбиться изъ мертвой глуши буквоѣдства къ озаренной философіею наукѣ показываютъ, что распространеніе тѣхъ идей, проявленіе которыхъ произвело на г. Бретона впечатлѣніе чего-то совсѣмъ новаго, *не безусловно чуждо и его родинѣ*. Прослѣдить за этими проявленіями, уловить ихъ вездѣ, гдѣ только представится возможность, интересно для меня не только потому, что я желаю знать размѣры роста этихъ идей вширь, какъ и ввысь; но еще затѣмъ, чтобы противупоставить такъ называемымъ «глубокимъ» философамъ какъ можно болѣе полную группу представителей западнаго легкомыслія и поверхностности, тщетно ими замалчиваемыхъ и заслоняемыхъ превыспренними надрываніями надъ всякаго рода хламомъ ветхихъ «переживаній». Вотъ въ этихъ видахъ я и не желаю пропустить еще одного французскаго писателя, въ новшествѣ попытки котораго я усматриваю также все то же вліяніе живительныхъ научныхъ обобщеній. Я имѣю въ виду Жюсерана, автора появившейся въ прошломъ году «Литературной исторіи англійскаго народа». Жюсеранъ тоже не можетъ пройти молчаніемъ преизобилія матеріаловъ, представляющихся на разстилающемся передъ нимъ пути, но онъ не жалуется на злоупотребленіе ими и не пугается ихъ; по его мнѣнію, слѣдованіе по этому пути, суровому и заманчи-

вому, всегда будетъ привлекать достаточное число путешественниковъ. Желаніе пройти весь этотъ трудный путь соединяется у Жюсерана съ желаніемъ сдѣлать это не шаблонно, не рутинно не заурядно. Онъ хочетъ воспользоваться всѣми представляющимися ему сближеніями и сопоставленіями и при ихъ помощи подняться до новыхъ, своеобразныхъ обобщеній. Поэтому-то онъ и намѣревается писать не исторію англійской литературы, а литературную исторію англійскаго народа. «Народъ въ этой исторіи займетъ болѣе значительную роль, чѣмъ въ прежнихъ исторіяхъ литературы; многія проявленія мѣстной мысли, устраняемыя въ другихъ изслѣдованіяхъ, будутъ приняты во вниманіе; время, въ которое мысль эта находила выраженіе не въ англійскомъ, а въ другихъ языкахъ, не будетъ опущено, точно будто умственная работа совсѣмъ исчезала изъ жизни обитателей острова. Формулированіе генія англійской расы и установленіе извѣстнаго намъ англійскаго народнаго типа будетъ выдвинуто болѣе впередъ. Придется проникнуть въ усыпальницу Вестминстера и тамъ прислушаться къ тому, какъ мыслилъ и говорилъ народъ со временъ Плантагенетовъ и какъ онъ достигалъ самосознанія. Надо будетъ вопросить у философовъ и реформаторовъ о теоріяхъ, которыя они распространяли; надо будетъ не упустить изъ виду, что Бэконъ, Гоббзъ, Локкъ являются отцами многочисленныхъ поэтовъ, которые, хотя и не читали ихъ произведеній, но дышали тою атмосферою, въ которой вѣяло ихъ мыслью. Надо будетъ прослѣдить за мечтателями, повѣствователями, проповѣдниками и пѣвцами повсюду, куда имъ вздумается итти». И если правъ Бедье, что вопросъ, о томъ, достойны ли тѣ или другіе факты научнаго изслѣдованія, разрѣшается размѣромъ захватываемыхъ изученіемъ общихъ группъ однородныхъ фактовъ, то мы, конечно, не поставимъ Жюсерана въ ряды тѣхъ ученыхъ, которые придерживаются мнѣнія, будто бы «всѣ предметы научнаго изслѣдованія одинаково заслуживаютъ вниманія ученыхъ». Въ этомъ мнѣніи можетъ быть и не будетъ усмотрѣно никакой «глубины», зато придерживающійся его можетъ быть увѣренъ, что, даже проникая въ «усыпальницы», онъ не рискуетъ тамъ остаться.

Поставивъ себѣ задачею раскрыть скобки слишкомъ ужъ краткихъ формулъ дневника г. Бретона, я старался выполнить эту задачу не только посредствомъ наложенія красокъ на его контуры, но еще и посредствомъ введенія въ его картину до-

бавочныхъ подробностей, имѣющихъ, между прочимъ, въ виду и указаніе тѣхъ нитей, которыя приводятъ къ источникамъ, служившимъ или же могшимъ служить—что для моей цѣли безразлично—автору дневника. Главнымъ образомъ я сосредоточилъ мое вниманіе на вопросѣ о значеніи философіи и науки и ихъ соотношеніи и касался спеціальныхъ наукъ лишь постольку, поскольку тѣ или другіе высказанные въ ихъ области взгляды могли служить уясненію моего общаго вопроса. Соціологія—наука спеціальная, какъ и всякая другая—выдѣлена г. Бретономъ въ качествѣ такой науки, которая еще вся въ будущемъ, и сопоставлена съ философіей, которая вся въ прошедшемъ. Соціологія, какъ изслѣдованіе явленій общественности отъ самыхъ низшихъ формъ до самыхъ высшихъ, какъ наука, превышающая всѣ остальныя сложностью своей задачи, какъ такая, которая берется уяснить прямо и непосредственно «интересы человѣчества»—эту основу духа и мысли всякаго познанія,—соціологія можетъ быть выдѣлена изъ ряда другихъ спеціальныхъ наукъ для особаго разсмотрѣнія, и не только ради остроумнаго сопоставленія ея съ философіей. Если же вслѣдъ за г. Бретономъ держаться рамокъ, указуемыхъ сдѣланнымъ имъ сопоставленіемъ, то придется отмѣтить, что общее его положеніе подтверждается и такимъ извѣстнымъ соціологомъ, какъ Лестеръ Уордъ, останавливающійся на противорѣчіи въ самомъ опредѣленіи соціологіи у разныхъ авторовъ. (См. его «Static and dynamic sociology» въ «Political Science Quarterly», 95). Но если понятіе строго опредѣленной соціологіи еще только вырабатывается, то нѣмецкимъ писателямъ, кромѣ трудностей, сопряженныхъ съ этою выработкою, придется преодолѣть еще и много другихъ трудностей ранѣе, чѣмъ они съ теперешнихъ окольныхъ путей выйдутъ на прямую и большую дорогу. Правда, и въ этой спеціальной области, какъ и въ другихъ, съ первыхъ же шаговъ отвергается вліяніе метафизики, и все чаще и чаще воздается должное основателю науки (Э. Лаасъ, Т. Ахелисъ, Г. Вэнтигъ), но критика работъ, произведшихъ, по справедливому замѣчанію Бретона, столько опустошеній въ области соціологіи, ведется часто или недостаточно далеко, или совсѣмъ не принимается во вниманіе. Эта не совсѣмъ твердая постановка общаго соціологическаго вопроса можетъ, какъ я думаю, помѣшать достодолжной разработкѣ и понятію «этнологіи», которой посвящено Ахелисомъ столько да-

леко не во всѣхъ частяхъ своихъ плодотворнаго труда. Что же касается Зиммеля, на котораго возлагаетъ свои надежды г. Бретонъ, то на оправданіе этихъ надеждъ я не нахожу никакихъ основаній, такъ какъ его «Проблемы философіи исторіи» не выполняютъ даже и тѣхъ первоосновныхъ условій, обоснованіе которыхъ представляетъ сильную и блестящую сторону работъ Ахелиса.

Пробывъ годъ въ четырехъ германскихъ университетахъ, внимательно прислушавшись къ голосу царящей тамъ науки, удѣливъ особое вниманіе философіи и соціологіи и вѣрно, какъ мнѣ думается, схвативъ основныя черты ихъ современнаго состоянія, авторъ дневника намѣтилъ себѣ и другую цѣль: не ища однихъ только абстракцій, онъ рѣшилъ стать лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью:—отдаться теченію обычаевъ, прослѣдить до мелочей повседневную будничную жизнь,—и создать себѣ изъ этого погруженія въ море житейское «лучшій курсъ философіи и соціологіи».

Намѣреніе Бретона, высказанное въ этихъ строкахъ, несомнѣнно прекрасно, не сочувствовать ему невозможно; но едва ли руководившая этимъ намѣреніемъ мысль выражена правильно или, пожалуй, едва ли намѣреніе это продумано и критически провѣрено. На вопросѣ этомъ стоитъ остановиться, и въ особенности потому, что оборотъ, полученный мыслью г. Бретона, очень напоминаетъ восклицанія того сорта людей, которые, выдвинувъ впередъ противопоставленіе жизни и книги, считаютъ уже себя эмансипировавшимися отъ послѣдней. Взглянемъ поближе: ужели въ самомъ дѣлѣ пресловутое это противопоставленіе имѣетъ мѣсто въ той дѣйствительности, за которую прячутся не долюбливающіе книгъ или въ которой, по крайней мѣрѣ, они хотятъ видѣть свою лучшую книгу? У Бретона прежде всего бросается въ глаза умолчаніе о литературѣ. Если назначеніе литературы заключается въ воплощеніи въ образахъ идеаловъ міросозерцанія, выработаннаго наукою, то наука, примыкающая къ жизни, какъ источнику своему, смыкается съ нею въ литературѣ, какъ органѣ воздѣйствія на нее, и, образуетъ такимъ, образомъ не противопоставленную жизни абстракцію, а слитое съ нею единое, живое цѣлое. Стоитъ ясно, опредѣлить тѣ элементы, надъ которыми мы въ данномъ случаѣ оперируемъ, стоитъ вдуматься въ ихъ истинное значеніе, и мы перестанемъ противопоставлять его части одну другой,

постараемся уразумѣть значеніе ихъ взаимовоздѣйствія, и въ немъ установимъ опорную точку для поступательнаго хода и мысли, и жизни, откроемъ источникъ свѣта, усиленію котораго всѣ мы должны служить. Существуютъ, конечно, мертвыя книги, какъ и мертвыя науки, которыя ихъ плодятъ; но эти науки именно и представляютъ собою результатъ того плачевнаго разрыва, на который только что было указано. Свифтъ, давая намъ юмористическое описаніе академіи въ Логадо, изображаетъ ученыхъ, занятыхъ всевозможными абсурдами: одинъ разрабатываетъ способъ постройки домовъ, начиная съ крыши, другой предлагаетъ слѣдить за намѣреніями обывателей посредствомъ наблюденія надъ цвѣтомъ продуктовъ ихъ пищеваренія, третій занятъ разведеніемъ пауковъ—животныхъ, умѣющихъ не только прясть, но и ткать, и т. д. Все это послужило мнѣ, говоритъ Свифтъ, подтвержденіемъ, что «нѣтъ такого вздора и сумасбродства, которые не выдавались бы за истину нѣкоторыми философами». Всѣ эти философы очевидно и забыли связь науки и жизни: они не хотѣли знать, что жизнь ставитъ вопросы, а наука разрѣшаетъ ихъ, что жизнь даетъ факты, а наука обсуждаетъ и координируетъ ихъ. Всѣ они уподоблялись тому псевдо-ученому, который предлагалъ возводить дома, начиная съ крыши, у всѣхъ ихъ была одна общая черта—методъ ихъ былъ ложенъ. Это былъ внѣопытный, надопытный, умозрительный, апріорный,—словомъ, метафизическій методъ. Тѣсно связанная съ жизнью наука стремится къ упраздненію этого метода и установленію такого, который, по образному выраженію Лестеръ-Уорда, долженъ вдохнуть въ науку духъ жизни. Слѣдуя извѣстной формулѣ: знать, чтобы предвидѣть, предвидѣть, чтобы дѣйствовать, жизнь, наука, книга должны смотаться какъ бы въ одинъ клубокъ, а намъ надо твердо запомнить сдѣланное еще Мильтономъ замѣчаніе, что книги не представляютъ собою лишенныхъ жизни предметовъ, такъ какъ «онѣ содержатъ зародыши жизни, долженствующіе проявить такую же дѣятельность, какая была свойственна душѣ, ихъ породившей; онѣ содержатъ какъ бы въ какомъ-то хранилищѣ зерно того разума, который произвелъ ихъ на свѣтъ». Усвоивъ хорошенько мысль, заключенную въ этихъ словахъ, мы признаемъ, конечно, что тотъ, кто «не вкушалъ лакомствъ, содержащихся въ книгахъ, не ѣлъ бумаги и не пилъ чернилъ», какъ говоритъ у Шекспира Натаніэль, тотъ понесъ серьезную и невознаградимую потерю.

Вкушавшіе эту чудную пищу и были именно людьми живыми, распространявшими животворныя мысли. «Будущее всякаго народа», писалъ одинъ изъ нихъ, заключено въ его литературѣ. Она одна только выражаетъ то, къ чему стремится, что чувствуетъ, чѣмъ преисполняется раса. Она—ея «слово». Она—ея свѣтъ, ея голосъ. Оружіе являетъ собою для умовъ вульгарныхъ могущество народовъ. Это неправда. Изъ мысли только проистекаетъ благоденствіе; все падаетъ при ослабленіи ея дѣятельности». Роль книги въ этомъ процессѣ занимаетъ, конечно, первенствующее мѣсто и нельзя не признать вмѣстѣ съ Эспинасомъ, что новые фазисы жизни сплошь и рядомъ прокладываютъ себѣ путь при посредствѣ книги, появленіе которой бываетъ иногда едва замѣчено. Книга особенно же въ тѣхъ странахъ, гдѣ общественная жизнь находится еще на примитивной стадіи развитія, играетъ особенно выдающуюся, истинно великую роль. Извѣстно, что въ общественной средѣ такихъ странъ, «точно въ средѣ еле влачащихъ свое существованіе грибовъ, если и возникаетъ какой-нибудь болѣе здоровый и крѣпкій организмъ, способный къ проявленію возвышенныхъ чувствъ и великодушныхъ идей, ему рѣдко идутъ навстрѣчу слова ободренія и дружественные совѣты; всего чаще грибы всѣмъ скопомъ накидываются на него со своею вздорною придирчивостью и, если считаютъ нужнымъ, соединяютъ свои шапочки и безпощадно душатъ то проявленіе жизни, которое дерзнуло оттѣнить собою присущую имъ ничтожность». Вотъ изъ этой-то среды и изошло лирическое изліяніе, которое я выписываю изъ одного письма, набросаннаго послѣ прочтенія жизнеописанія Сакъя-Муни: «и я тоже имѣлъ свое дерево Боди и пережилъ минуту просвѣтлѣнія», пишетъ авторъ этого письма, «дерево Боди для меня представлялось тѣми книгами, которыя я читалъ въ юности, и просвѣтлѣніе выразилось тѣмъ разрывомъ съ окружавшимъ меня въ тѣ, довольно давніе уже, годы болотомъ и рѣзкимъ, рѣшительнымъ переходомъ на новый путь. И, такъ какъ дерево, подъ сѣнью котораго я просвѣтился, было не мистическое дерево старой Индіи, а то великое, европейское книжное дерево, которое было посажено и взлелѣяно славными представителями человѣчества, то мое просвѣтлѣніе и не привело меня ни къ аскетизму, ни къ анахоретству, и ни къ какому бы то ни было отрицанію запросовъ и воздѣйствій жизни. Далеко до того, просвѣтленный я ринулся въ самое кипящее

русло жизни, увлекаясь выпавшей мнѣ на долю борьбой, восхищался ея опасностями, вдохновлялся постигавшими меня невзгодами и гордился побѣдами, иногда выпадавшими мнѣ на долю. Оглядываясь назадъ и сравнивая судьбу свою съ судьбою моихъ товарищей, прошедшихъ мимо спасительнаго древа, вижу, что книги не обманули меня... Не только не обманули въ томъ, что представляли въ будущемъ, но уже однимъ спасеніемъ отъ растлѣвающаго вліянія родного болота, отъ копоти домашняго очага и отравы чичиковскихъ и фамусовскихъ преданій, оказали мнѣ неизмѣримое, безконечное благодѣяніе. Теперь,

> «...въ вечерній часъ, въ часъ близкаго заката,
> Когда конецъ всему уже не далеко»,

я не могу безъ душевнаго волненія входить въ библіотеку, не могу не видѣть въ книгѣ друга, избавителя, благодѣтеля!»

Все это такъ; но это еще не все: Бретонъ, какъ и всѣ разсуждающіе на его образецъ, ошибаются не только въ томъ, что, произвольно разрывая соединяющую науку и жизнь связь, противупоставляютъ ихъ одну другой, но еще и въ томъ, что изъ жизни, въ которой они хотятъ видѣть лучшую науку, они отмежовываютъ свой личный опытъ и забываютъ, что такой ограниченной доли жизни для ихъ цѣли недостаточно. Часть, лишенная связи съ цѣлымъ, и оказывается именно мертвою, и самомнѣніе носителя личнаго опыта получаетъ достойное клеймо. Личный опытъ какъ разъ и не даетъ того, чего отъ него ждутъ, и, какъ личный опытъ солдата никогда не научитъ его тактикѣ и стратегіи, такъ и личный опытъ того, «который отдается теченію обычаевъ, который хочетъ прослѣдить до мелочей повседневную будничную жизнь» и т. д., никогда не дастъ и не можетъ дать не только лучшей, но и просто какой-бы то ни было философіи или соціологіи. Солдату, чтобы научиться тактикѣ, надо видѣть и понимать расположеніе и дѣйствіе войскъ на полѣ сраженія,—чтобы стать стратегомъ—надо видѣть и понимать все это на театрѣ войны;—сравните же размѣры того, что онъ видитъ, съ размѣрами того, что ему надо бы видѣть и сдѣлайте сопоставленіе съ претензіей Бретона. Странно и слышать даже отъ серьезнаго человѣка такія пустыя фразы; но тутъ есть нѣкоторая психологическая иллюзія, которая не его одного сбиваетъ. Дѣло въ томъ, что пережитое, лично ис-

пытанное, какъ особенно ярко представленное и глубоко за падающее въ сознаніе, становится неизбѣжно источникомъ понятій, взглядовъ, мнѣній, которыя въ силу субъективныхъ условій ихъ образованія представляются особенно незыблемыми; *убѣжденія*, образующіяся изъ менѣе яркаго и не всегда осязаемаго или непосредственно доступнаго матеріала, легко могутъ показаться не только болѣе блѣдными, но и, въ силу слабости субъективной связи съ корнями ихъ, менѣе прочными и устойчивыми. Необходимо тщательное вниманіе къ процессамъ, совершающимся въ нашемъ сознаніи, необходима выработка привычки къ самокритикѣ, къ самосуду, для того, чтобы указанная иллюзія могла-бы быть препобѣждена. Только при этомъ условіи представляемый наукою родовой опытъ можетъ получить свое истинное значеніе, свою силу, и, разъ навсегда, исчезнетъ фантасмагорія какой-то наилучшей философіи и соціологіи, возникающихъ тамъ, гдѣ еще не выяснился соціальный характеръ всякаго научнаго, а, слѣдовательно, и философскаго познанія.

Но г. Бретонъ прошелъ слишкомъ хорошую школу, и его наилучшая философія и соціологія не ассоціируется у него ни съ какими «переживаніями», не носитъ отпечатковъ той, какъ называетъ ее Тито Виньоли, «палеонтологіи духа», освобожденіе отъ которой составляетъ основную задачу истинной науки и философіи. Мы слишкомъ хорошо знаемъ, что разсуждай такъ и сверстники г. Бретона, большой бѣды еще не было бы. Часто, и слишкомъ часто, однако же, хорошая школа не достается имъ въ удѣлъ, и та самая жизнь, которую они выдаютъ за свою лучшую науку, снабжаетъ ихъ однимъ лишь рубищемъ «переживаній», въ которомъ они и являются щеголять на удивленіе тѣмъ, которые дѣйствительно все это пережили и давно преодолѣли. Ихъ положеніе во всѣхъ отношеніяхъ похоже на то, которое по иному поводу было очерчено Н. К. Михайловскимъ: «надо бы имъ подняться на высоту новой мысли... Но они не могутъ. Что-то тянетъ ихъ книзу, какъ многопудовая гиря! Le mort saisit le vif—наслѣдіе добраго стараго времени не уступаетъ своего мѣста новой мысли». И если-бы еще, сознавая серьезность своего положенія, они занялись высвобожденіемъ себя изъ него—такъ нѣтъ-же, каждый изъ нихъ старается увѣрить себя и другихъ, что положенія своего нисколько не признаетъ труднымъ и потому стремительно спѣшитъ до-

казать своё мнѣніе «et se jette par fenêtre pour avoir l'air dégagé», какъ пошутилъ однажды, кажется, Меримэ. И въ самомъ дѣлѣ, не такъ ли все это происходитъ, когда развязные люди преподносятъ читателю продукты своихъ палеонтологическихъ розысканій и воображаютъ при этомъ, что ему ничего не стоитъ уподобиться той старухѣ, которая, сообразивъ, что «учиться никогда не поздно, стала учиться колдовству»?

1895 г.,
«Русск. Бог.»

ЗАМѢТКА.

Въ іюльской книжкѣ «Русскаго Богатства» помѣщена статья г. Мокіевскаго: «Нѣсколько словъ объ одной изъ новѣйшихъ философскихъ системъ». Такъ какъ въ этой статьѣ рѣчь идетъ о переведенной мною книгѣ Ф. Карстаньена: «Введеніе въ Критику чистаго опыта», то считаю нужнымъ разъяснить вкравшееся въ эту статью недоразумѣніе.

Ни о какой «системѣ» въ книгѣ Карстаньена рѣчи нѣтъ: книга посвящена не «системѣ», а «методу»; если бы она имѣла въ виду «систему», то и называлась бы «введеніемъ въ *«систему»* чистаго опыта», и въ такомъ случаѣ мѣтила бы не на «Критику чистаго опыта» Авенаріуса, а на какое-то другое сочиненіе, пока еще никому неизвѣстное. Если же никакой «системы» въ книгѣ Карстаньена нѣтъ, то, само собою разумѣется, нѣтъ въ ней и «системы отграниченія». Далѣе, нѣтъ «факторовъ», по знанія, а есть «условія» познанія;—нѣтъ произвольныхъ предпосылокъ, а есть только неизбѣжная предпосылка опыта, не будь которой, не было бы и самой книги, и намъ не пришлось бы толковать о ней.

1898 г.
«Русск. Бог.»

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ «СѢВЕРНАГО КУРЬЕРА».

(О Вл. С. Соловьевѣ).

М. г. Въ статьѣ М. М. Филиппова, помѣщенной въ сегодняшнемъ нумерѣ «Сѣвернаго Курьера» говорится, между прочимъ, и о послѣднихъ «пророчествахъ» г. Вл. Соловьева объ антихристѣ, при чемъ г. Филипповъ утверждаетъ, что «пророчества» эти представляются лишенными того отпечатка «современности», которымъ отмѣчены произведенія французскаго автора—г. Токсиль—о томъ же предметѣ, и что, вообще, въ этихъ «пророчествахъ» трудно отличить двадцатый вѣкъ отъ тринадцатаго. Не будучи согласенъ съ мнѣніемъ г. Филиппова, я прошу васъ позволить мнѣ высказать на страницахъ газеты вашей мой взглядъ на этотъ вопросъ.

Я полагаю, что «отпечатокъ XIII столѣтія», отмѣчавшій иногда произведенія г. Соловьева, сталъ теперь однимъ лишь преданіемъ. Въ настоящее время произведенія г. Соловьева несомнѣнно отмѣчены новизною и «современностью». Въ этомъ переходѣ къ «современности» и заключается, по моему мнѣнію, все значеніе «эволюціи» г. Соловьева,—эволюціи—какъ я думаю—и назидательной, и интересной. Г. Соловьевъ, какъ извѣстно, принадлежитъ къ числу писателей неустойчивыхъ: его прыжокъ съ крайняго Востока на крайній Западъ слишкомъ хорошо извѣстенъ... Вѣроятное ли дѣло, чтобы онъ и до сихъ поръ оставался вѣренъ XIII-му вѣку?

Дѣйствительно, было время, когда философіи г. Соловьева невозможно было объяснить иначе, какъ только уходя въ глубь вѣковъ. И, такъ какъ г. Соловьевъ считался поэтомъ, или, по крайней мѣрѣ писалъ стихи, то существовала возможность предположить, что отпечатокъ XIII, или иного, еще болѣе ранняго

вѣка, представляетъ собою форму поглощенія философа поэтомъ, поэтомъ—романтикомъ, увлекающимся величавымъ образомъ сѣдой старины. Даже и тогда, когда указывая на такія стихотворенія, какъ «Знаменіе»—утверждали, что г. Соловьевъ подвизается за тридевять земель отъ всякой поэзіи, что онъ вовсе не поэтъ, а злобствующій и недальновидный обскурантъ, имѣющій слабость къ подбору риѳмъ,—даже и тогда все же таки можно еще было дѣлать натяжки и отстаивать объясненіе убожества его философіи сведеніемъ ея на поэзію.

Время шло, а вмѣстѣ съ нимъ уходила и возможность держаться во что бы то ни стало этого объясненія: преобладаніе поэзіи надъ философіей становилось явно-фиктивнымъ, и самъ собою возникалъ вопросъ о томъ, можно ли, наконецъ, вести рѣчь о какой бы то ни было философіи. Развѣ подголоскомъ схоластики можетъ считаться въ то же время философомъ? И кто возьмется сыскать искру поэзіи въ мертвыхъ абстракціяхъ? Какое значеніе и смыслъ имѣютъ, наконецъ, афоризмы въ родѣ слѣдующихъ: «камни и металлы отличаются отъ всего прочаго своимъ крайнимъ самодовольствомъ и консерватизмомъ»? «растенія въ неподвижныхъ грезахъ безотчетно тянутся къ теплу и влагѣ»? и т. п. Во всемъ этомъ наборѣ словъ, если бы онъ даже и не предназначался для «оправданія добра», едва ли возможно найти поэзію или философію, а не просто-напросто nonsens?

Извѣстныя эволюціи, несомнѣнно, оказались въ этихъ симптомахъ; на мой взглядъ это были эволюціи оскудѣнія и поэзіи, и философіи,—эволюція писательской «анеміи», но ни въ какомъ случаѣ не проявленіе устойчивости увлеченій тринадцатымъ вѣкомъ, прославившимъ г. Соловьева «во время оно»; тутъ назрѣло явно нѣчто «новое».

Это «новое»,—согласно моимъ наблюденіямъ, заключалось въ отступленіи на задній планъ тѣхъ причудъ и ужимокъ, которыя прежде сходили за поэтическій экстазъ, и той невразумительности мыслей, которая выдавалась за никогда не бывающею прозрачною глубину, и въ выступленіи на авансцену цѣлой массы мелочей, подробностей,—всякаго вздора, лишеннаго и самомалѣйшаго даже идейнаго значенія, все это плохо вязалось съ поэзіей и философіей, будучи безпощадно для этой и для другой. Прорицаніе о событіяхъ «долженствующихъ совершиться», не блеснувъ яркостью концепціи и тонкостью про-

ницательности, оказалось размазаннымъ до такой степени, что даже доброжелатели автора только руками развели. Вѣщатель, щеголявшій нѣкогда отвлеченностью своихъ положеній, упалъ теперь до уровня репортера спиритистическихъ сеансовъ и усвоилъ манеру леухинскихъ и манухинскихъ бытописателей о подвигахъ чертей, пугающихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ восхищающихъ однихъ только обычныхъ читателей этихъ изданій. Предвозвѣщеніе грядущаго теченія исторіи, съ одной стороны, теряющее всякое чувство мѣры и забавляющее насъ одною только преувеличенностью размѣровъ придумываемыхъ фактовъ и впадающее—съ другой—въ банальныя отмѣтки возрастовъ лицъ, продолжительности событій, сроковъ предлежащихъ измѣненій,—такое предвозвѣщеніе является до такой степени плоскимъ и вульгарнымъ, что оно могло бы, пожалуй, вызвать улыбку, если бы способное возбудить ее настроеніе не подавлялось искреннимъ сожалѣніемъ объ авторѣ такого сорта прорицаній.

Такъ какъ г. Соловьевъ является у насъ не первымъ представителемъ особаго рода бредней, опошленныхъ смѣшеніемъ ихъ съ житейскою прозою, то я, возражая на мнѣніе г. Филиппова, утверждаю, что въ послѣднихъ «твореніяхъ» г. Соловьева можно усмотрѣть вовсе не отпечатокъ XIII вѣка, а одни лишь признаки тривіальности современныхъ псевдо-мистиковъ.

1900 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ СТАТЬѢ Ж. Э. КОДИСЪ *).

Писательница, переводъ труда которой я представляю теперь вниманію читателей *Русской Мысли*, многіе уже годы пользуется въ нѣмецкой, польской и американской литературахъ почетною, въ высокой степени заслуженною, извѣстностью. Начиная съ 1893 года, появляются въ печати ея философскія работы: докторская диссертація и статьи въ журналахъ (*Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie*, *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*, *Przeglad Filozoficzny*, *Psychological Review*). У насъ, гдѣ слава собственныхъ Платоновъ, попрежнему, озаряла лишь родственныя имъ полосы философскихъ литературъ Запада, имя провозвѣстницы новой философіи осталось, конечно, совершенно неизвѣстнымъ.

Обстоятельство это тѣмъ болѣе прискорбно, что Жозефина Эразмовна Кодисъ (рожд. Кжижановская) не совсѣмъ чужда намъ и по мѣсту своего рожденія (Минск. губ.), и по своему непосредственному знакомству съ русской литературой и знанію русскаго языка, которымъ она совершенно свободно владѣетъ. Жизнь ея сложилась такъ, что литературная ея дѣятельность всецѣло протекла на Западѣ,—тамъ она получила образованіе, тамъ установилась ея извѣстность. На нашу долю могутъ достаться только переводы ея произведеній, но эти переводы предстоитъ еще сдѣлать. Они и будутъ сдѣланы, если только у нашей, читающей философскія сочиненія, публики пробудятся вкусы, отличные отъ господствующихъ нынѣ.

Жозефина Эразмовна окончила курсъ въ Цюрихскомъ университетѣ въ 1892 году. Докторская ея диссертація—«Zur Analyse des Appercertionsbegriffes», представляетъ далеко неза-

*) Статья г-жи Кодисъ (Эмпиріокритицизмъ. Рихардъ Авенаріусъ.—Эрнстъ Махъ.—Критика Вундта) была напечатана въ «Русской Мысли», 1901 г., книга IX, въ переводѣ В. В. Лесевича и съ его предисловіемъ. *Прим. ред.*

урядную работу, мимолетно мелькающую и немедленно же забываемую, какъ то бываетъ съ тысячами другихъ. Работа эта имѣетъ весьма серьезное значеніе для исторіи развитія того философскаго направленія, представительницей которой является г-жа Кодисъ, и имѣетъ значеніе труда, съ которымъ нельзя не считаться всякому, не довольствующемуся столь обычной у насъ приверженностью къ старой философіи.

На первыхъ же порахъ по вступленіи въ университетъ Ж. Э. Кодисъ обратила особенное вниманіе на лекціи проф. Авенаріуса и потомъ стала его послѣдовательницей. Она мнѣ разсказывала, что когда она обратилась къ Авенаріусу съ нѣкоторыми вопросами, возникшими у нея по поводу его лекцій, онъ поддержалъ ее въ ея намѣреніи заняться философіей и возбудилъ въ ней довѣріе къ собственнымъ ея силамъ. Она и стала съ тѣхъ поръ его постоянной слушательницей. Затѣмъ, кромѣ философіи, она слушала еще лекціи физіологіи у проф. Гауле, а также и всѣ вообще лекціи по той группѣ наукъ, которыя находятся въ большей или меньшей связи съ физіологіей. По окончаніи курса она защитила диссертацію, имѣвшую такого цѣнителя, какъ Авенаріусъ, и въ 1893 году была признана докторомъ философіи.

Еще въ 1890 году Жозефина Эразмовна вышла замужъ за уроженца Ковенской губерніи, доктора медицины г. Кодиса, который изучалъ медицину въ заграничныхъ университетахъ. По окончаніи курса, г-жа Кодисъ уѣхала съ мужемъ въ Америку, гдѣ оба и пробыли до самаго послѣдняго времени. Въ теченіе шести лѣтъ г. Кодисъ состоитъ профессоромъ патологіи въ университетѣ въ С-тъ Люисѣ и пользуется тамъ большой извѣстностью. Рядъ лѣтъ, проведенныхъ супругами Кодисами въ Америкѣ, дали имъ возможность хорошо узнать американскую жизнь и стать близко къ тамошней ученой литературѣ. Статьи Ж. Э. Кодисъ въ *Psychological Review* и редакція англійскаго перевода одного изъ главныхъ сочиненій Авенаріуса «Der menschliche Weltbegriff» останутся первымъ провозвѣстіемъ эмпиріокритической философіи въ Америкѣ, которая вообще не легко усвоиваетъ извнѣ появляющіяся новшества.

Изъ сочиненій г-жи Кодисъ мнѣ извѣстны слѣдующія:

1) Some Remarks upon Apperception (*Psychol. Review*).

2) Richard Avenarius (ibid.).

3) Die Anwendung des Functionsbegriffes auf die Beschreibung der Erfahrung. (*Vierteljahrsschrif f. w. Ph.*).

4) Der Empfindungsbegriff. (ibid.).

5) Biologiczne zadania psychologii (*Przeglad. Fil.*).

6) Upadek materialismu w nauce (ibid.).

7) Energietyka (ibid).

8) Einige empirio-kritische Bemerkungen über die neuere Gehirnphysiologie (*Zeitschr. f. Ps. u. Ph.*).

и 9) Empirio-krytycyzm (Prz. Fil.),—статья, переводъ которой сдѣланъ теперь пишущимъ эти строки.

Списокъ этотъ, быть можетъ, и не совсѣмъ полный, показываетъ, однако же, достаточно ясно, что въ лицѣ г-жи Кодисъ является одно изъ тѣхъ высокихъ выраженій типа женщины будущаго, которыя въ наше время представляются лишь исключительными единичными явленіями. И если бы кому-нибудь довелось не только прочитать указанныя мною сочиненія, но еще и услышать ихъ толкованіе изъ устъ самого автора, тотъ оцѣнилъ бы, конечно, простоту и легкость изложенія такихъ отвлеченныхъ и тонкихъ темъ и не могъ бы, конечно, не противопоставить этой бодрости ума ту вялость и неповоротливость, которыя сплошь и рядомъ можно наблюдать въ умственной дѣятельности людей, завязнувшихъ въ рутинѣ. Дѣлая это сопоставленіе, невольно смущаешься мыслью объ ужасающей продолжительности того времени, которое можетъ потребоваться для одолѣнія этой, успѣвшей войти въ привычку, умственной лѣни. Ужели вѣками отдѣлена отъ насъ побѣда надъ нею? Но сдержимъ лучше наше нетерпѣніе и порадуемся появленію среди насъ провозвѣстницъ лучшаго будущаго,—предшественницъ болѣе подвижнаго и смѣлаго поколѣнія. Быть можетъ, одинокія нынѣ, свѣтлыя личности займутъ руководящее положеніе и разъ навсегда устранятъ преграды сознательнаго поступательнаго движенія и прежде всего удалятъ или хоть отодвинутъ на задній планъ ту средневѣковую разряженную куклу, которая и теперь еще продолжаетъ тянуть свою старую пѣсню, превозносящую до небесъ завѣтное мраколюбіе и свѣтскую пошлость. Тутъ предстоитъ рѣшеніе трудной задачи! Тысячу разъ права г-жа Шрейнеръ, другая даровитая и свободомыслящая женщина, подвизающаяся на благо буровъ Южной Африки, что женскій вопросъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и вопросъ будущаго для всего цивилизованнаго человѣчества (*The Cosmopolitan*, 1899.

nov. and decemb.). Не понимать этого можетъ развѣ невѣжество и легкомыслiе.

Что касается высоты отвлеченнаго мышленiя, до которой достигала Ж. Э. Кодисъ, то здѣсь дѣло не идетъ о той сравнительной высотѣ, какая можетъ быть опредѣлена при сопоставленiи ея съ соотвѣтствующей средой: въ такомъ сопоставленiи предполагалась бы иронiя. Я разумѣю не эту высоту, а мыслимо-высшую для нашего времени. Я хочу сказать, что Ж. Э. Кодисъ вовсе не является представительницей философiи въ томъ смыслѣ, который у насъ придается этому термину. Она стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ всѣхъ поборниковъ чистаго умозрѣнiя, отъ всѣхъ поклонниковъ мистическаго и метафизическаго преданiя, отъ всѣхъ защитниковъ заопытнаго, интуитивнаго познанiя, и вообще говоря, отъ всѣхъ стремящихся представить философiю какимъ-то выходцемъ съ того свѣта, современной наукѣ чуждымъ, но всегда упорно шествующимъ, однако, въ ея свитѣ и вѣчно лелѣющимъ мечту о возможности занять ея мѣсто. Съ этой философiей у г-жи Кодисъ нѣтъ ничего общаго.

Эмпiриокритическая философiя, разрабатываемая Ж. Э. Кодисъ, какъ я уже имѣлъ случай упомянуть, есть философiя новая,—философiя, являющаяся продуктомъ развитiя опытной науки,—философiя, разъ навсегда порвавшая съ заопытнымъ умозрѣнiемъ и рѣшительно примкнувшая къ положительному знанiю, къ опытному методу,—къ живому дѣлу. Поэтому-то эмпiриокритическая философiя въ своемъ стремленiи къ обобщенiямъ старается не терять изъ виду связи ихъ съ детальнымъ изученiемъ дѣйствительности и это послѣднее всегда ведетъ подъ руководительствомъ ранѣе выработанныхъ высшихъ обобщенiй. Въ силу такой постановки своей задачи эмпiриокритицизмъ и долженъ быть сочтенъ однимъ изъ величайшихъ и блистательнѣйшихъ пріобрѣтенiй только что минувшаго вѣка, однимъ изъ тѣхъ его пріобрѣтенiй, благодаря которымъ фарватеръ человѣческой мысли пошелъ по новому руслу и впереди открылись совершенно неожиданныя, обширныя и заманчивыя перспективы.

Эмпiриокритицизмъ еще такъ новъ, такъ необыченъ притомъ и своеобразенъ, такъ рѣшительно становится въ разрѣзъ съ усвоенными пріемами мысли, такъ стремительно къ тому же перевертываетъ вверхъ дномъ все старое, по зернышку накоп-

ленное достояніе старой философіи, и по сейчасъ не покончившей еще со своими припоминаніями о Платонѣ и Аристотелѣ, что не можетъ не представляться своего рода Ильей Муромцемъ для всей этой философской оцѣпенѣлости. Да, дѣйствительно, это богатырь—Опытъ, мало-по-малу понабравшійся силъ, выступившій на широкій просторъ, на совершеніе подвиговъ. Малодушные смутились; захваченные врасплохъ, они не поняли, что назрѣвшая сила опытной науки, подобно ликтору въ «Зимней сказкѣ» Гейне, лишь приканчиваетъ отжившіе, но по инерціи еще продолжающіе свое невнятное вѣщанье призраки.

Какъ деревенская баба никогда не пойметъ, что для лѣченія болѣзней шептанье ровно ничего не значитъ, какъ старый схоластикъ никогда не заглянетъ въ телескопъ, чтобы какънибудь не поколебать незыблемости теорій Аристотеля, такъ и тѣни отжившей философіи будутъ упорствовать въ непониманіи эмпиріокритицизма и замалчиваніи его. Но онъ все же таки движется,—«e pur si muove»,—и по мѣрѣ того, какъ онъ движется, призраки все дальше и дальше отходятъ на задній планъ, гдѣ передъ ихъ отходомъ на вѣчный покой имъ предстоитъ еще на нѣкоторое время занимать своими словами нищихъ духомъ, пока не настанетъ моментъ убѣдиться, что новый пришелецъ «ist kein Gespenst der Vergangenheit, kein grabentstiegener Strohwisch» и что для нихъ поэтому первый вопросъ есть «вопросъ времени».

И когда самый прахъ ихъ унесется въ «пропасть забвенія», тогда послышится ужъ ничѣмъ не заглушаемое пѣніе новыхъ птицъ, а пока что,—тѣни прошлаго остаются при своемъ лепетѣ,—это ихъ дѣло.

До какой степени въ переживаемое нами время новыя эти пѣсни заглушаются еще гуломъ старыхъ преданій, можно видѣть изъ того, что даже желающіе слушать ихъ, очень еще плохо ихъ разбираютъ. Я не говорю: у насъ,—у насъ отзывы объ эмпиріокритицизмѣ отличались своего рода монументальностью; нѣтъ въ Англіи, гдѣ такъ чтутъ память геніальнѣйшаго изъ предшественниковъ научной философіи—Давида Юма,—въ Англіи и до сихъ поръ еще не могутъ оцѣнить истинное значеніе эмпиріокритицизма. Доказательство налицо: выходъ второго изданія извѣстной книги Эрнста Маха «Die Analyse der Empfindungen» недавно еще далъ поводъ яркому проявленію англійской близорукости. Рецензентъ книги Маха въ апрѣльскомъ

номерѣ журнала *Mind*, считая,—замѣтьте это,—сочиненіе Маха твореніемъ генія, находитъ возможность въ то же время утверждать, что теорія Маха «представляетъ невысказанное признаніе правъ метафизики и—прежде всего—необходимости въ критической теоріи познанія». Онъ, конечно, читалъ ту главу книги Маха, гдѣ говорится объ отношеніяхъ философскихъ воззрѣній Маха къ эмпиріокритицизму Авенаріуса; онъ знаетъ, слѣдовательно, о согласіи между Махомъ и Авенаріусомъ по основнымъ вопросамъ, но онъ все-таки не понялъ ни Маха, ни Авенаріуса: онъ ищетъ скрытой метафизики, отвергнутой обоими мыслителями, онъ ждетъ появленія критической теоріи познанія, давно уже появившейся въ формѣ «Критики чистаго опыта»,—онъ точно играетъ въ жмурки съ обоими философами, нисколько того не подозрѣвая. И опять-таки разгадка положенія дается живучестью традиціи: рецензентъ еще на школьной скамьѣ затвердилъ старое мнѣніе, будто на теоріи познанія и лежитъ именно задача подведенія метафизическихъ устоевъ подъ недостаточно-де устойчивое зданіе науки. Онъ никогда не подвергнулъ критикѣ этого афоризма и теперь считаетъ его всесокрушающимъ; но, съ тѣхъ поръ вѣдь, какъ онъ былъ внушенъ ему, воздвиглось цѣлое новое зданіе «Критики»,—надо было считаться съ этимъ фактомъ, тогда и не пришлось бы попасть въ комическое положеніе вѣстовщика болѣе чѣмъ сомнительныхъ изреченій, выдаваемыхъ за аксіомы.

Все это—признаки переходнаго характера, отличающаго переживаемое нами время, признаки, конечно, преходящіе. Но если несоизмѣримость границъ историческихъ періодовъ съ тѣсными границами отдѣльно взятой жизни и можетъ возбуждать въ насъ нетерпѣніе, то нѣтъ еще основанія для колебанія нашего убѣжденія въ неизбѣжности и теперь уже очевиднаго исхода совершающихся у насъ передъ глазами перемѣнъ. Еще Ренанъ, въ лучшую свою пору, имѣлъ случай высказать, что «истинная философія нашего времени—это положительная опытная наука. Наука одна только и смогла смести ту кучу софизмовъ, пустыхъ и лишенныхъ смысла вопросовъ, которые были нагромождены схоластикой. Наука одна только и могла исцѣлить умъ человѣческій отъ этой болѣзни и свести его на прямой путь изученія міра и живое чувство дѣйствительности». (*E. Renan*: «Averroes et l'averroisme», 1867, p. 414).

Черезъ двадцать слишкомъ лѣтъ послѣ того, какъ это было

высказано, появилась «Критика чистаго опыта», которая и по отношенію къ сравнительно болѣе новой кучѣ философемъ совершила при посредствѣ все той же науки то, что было выполнено раньше по отношенію къ схоластикѣ. За принципіальнымъ рѣшеніемъ неизбѣжно идетъ и фактическое, какъ то указывалъ еще упомянутый уже мною Гейневскій ликторъ: «ich raste nicht, bis ich verwandle in Wirklichkeit, was du gedacht»... Это соотношеніе мысли и жизни неизбѣжно. Не будь его, мы бы и до сихъ поръ жили въ свайныхъ постройкахъ и питались желудями.

Не иное что переживаемъ мы и въ наше время, причемъ всякому доводится прилагать руки по мѣрѣ его силъ. Жозефинѣ Эразмовнѣ Кодисъ досталась при этомъ своя доля, и эта доля не малая: при ея обширныхъ познаніяхъ, проницательности, вдумчивости и замѣчательномъ талантѣ говорить легко и просто о томъ, отчего у другихъ, по ихъ собственному признанію, «глаза на лобъ лѣзутъ», *) г-жѣ Кодисъ предстоитъ еще добавить многое къ тому, что ею уже сдѣлано и компетентными судьями оцѣнено. Остается пожелать, чтобы вѣское слово выдающейся ученицы Авенаріуса и у насъ не осталось гласомъ вопіющаго въ пустынѣ.

1901.
«Русск. Мысль».

---

*) Намекъ на выраженіе, употребленное Н. Ф. Анненскимъ, въ бесѣдѣ съ авторомъ объ Авенаріусѣ.

Прим. ред.

ОГЛАВЛЕНІЕ II ТОМА.

Стр.

Что такое научная философія? . . . . . .

Введеніе 1
Огюстъ Контъ и его школа 18

Англійскій позитививизмъ:

Джонъ Ст. Милль 41
Бэнъ, Гёксли и др. 81

Нѣмецкая научная школа:

Оцѣнка Контовскаго позитивизма въ Германіи. 97
Карлъ Гёрингъ 104
Гаральдъ Гёфдингъ 113
Алоизъ Риль 123
Эрнстъ Лаасъ. 134
Гансъ Фольцъ. 158
Эрнстъ Махъ 165
Рихардъ Авенаріусъ. 179
Іозефъ Петцольдтъ 209
Заключеніе 218

Эволюція философіи и философскія «переживанія» . 235
Философское наслѣдіе XIX вѣка 277
Философскія воззрѣнія Ог. Конта 320
Отъ Конта къ Авенаріусу 340
Статья неозаглавленная авторомъ 369
Эмпиріокритицизмъ и импрессіонизмъ. 382
Новые запросы современной науки 415
Полемика и рецензіи:

Какъ иногда пишутся диссертаціи. 427
Отвѣтъ на статью г. Кавелина 450
Курьезный рецензентъ 456
Защитникъ философіи. 464
Типы современной философской мысли въ Германіи. . 471
Метафизика, позитивизмъ и научная философія 478

Стр.

Философія—искусство ли? 508
Отвѣтъ г. Гроту 526
Философская ипохондрія 543
О чемъ поетъ кукушка? 567
Тришкина философія. 577
Одинъ изъ англійскихъ критиковъ Спенсера. 602
Книга William'a Knight'a о Юмѣ 614
Архивъ исторіи философіи. 619
О книгѣ А. А. Козлова 624
Французъ о современной нѣмецкой философіи. 629
Замѣтка 653
Письмо въ редакцію «Сѣвернаго Курьера». (О Вл. С. Соловьевѣ) 654
Предисловіе къ статьѣ Ж. Э. Кодисъ. 657

В. В. ЛЕСЕВИЧЪ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ВЪ ПЯТИ ТОМАХЪ.

т. I и II—СТАТЬИ ПО ВОПРОСАМЪ ФИЛОСОФІИ.

т. III—СТАТЬИ ОБЩЕ-НАУЧНАГО ХАРАКТЕРА.

т. IV—ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКІЯ.

т. V—СТАТЬИ ПО ФОЛЬКЛОРУ И ПО ИЗСЛѢДОВАНІЮ РЕЛИГІОЗНЫХЪ УЧЕНІЙ

Къ пятому тому будутъ приложены: біографія автора и его портреты, а также статья академика С. Ф. Ольденбурга, посвященная фольклорнымъ работамъ В. В. Лесевича.

Все изданіе будетъ закончено въ 1915 г.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА.

Подписная цѣна на всѣ пять томовъ 12 руб. съ пересылкой.

Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ 3 р. безъ пересылки.

Подписка принимается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ конторѣ «Книгоиздательства Писателей»—Москва, Скатертный пер., д. 8.

„Книгоиздательство Писателей въ Москвѣ".

Скатертный пер., д. 8.

Литературно-Художественные сборники „СЛОВО".

Сборникъ I. В. Вересаевъ. Аполлонъ, богъ живой жизни. **Ив. Шмелевъ.** Розстани. Изъ Рабиндраната **Тагора**, перев. съ англ., съ предисл. Діонео. **Гр. Ал. Н. Толстой.** Овражки. **Ив. Бунинъ.** При дорогѣ. **Б. Зайцевъ.** Студентъ Бенедиктовъ. **Н. Телешовъ.** Ночлегъ. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ II. Неизд. беллетрист. и драм. произведенія А. П. Чехова. Темы, мысли, замѣтки, отрывки. Изъ записной книжки. Письма къ Чехову Д: Григоровича, Н. Михайловскаго, А. Плещеева и др. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ III. Гр. Ал. Н. Толстой. Большія непріятности. **Н. Телешовъ.** Мама. **Л. Авилова.** Осеннее. **Ив. Шмелевъ.** Поѣздка. **Ив. Бунинъ.** Братья. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ IV. Ив. Бунинъ. Весенній вечеръ. **Б. Зайцевъ.** Мать и Катя. **К. Треневъ.** Мокрая Балка. **Г. Яблочковъ.** Въ плѣну. **Гр. Ал. Н. Толстой.** Четыре вѣка. **И. Сургучевъ.** Пѣсни о любви. **В. Вересаевъ.** Марья Петровна. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

Матеріалы для исторіи русской журналистики: Письма Гл. Ив. Успенскаго, В. Короленко, Н. Михайловскаго, П. Якубовича и др. В. А. Гольцеву. Ц. 1 р. 50 к.

Въ спорахъ о театрѣ. Сборникъ статей Ю. Айхенвальда, Сергѣя Глаголь, Вл. Немировича-Данченко, В. Сахновскаго, А. Южина, Д. Овсянико-Куликовскаго и друг. Ц. 1 р.

Л. Авилова. Образъ человѣческій. Разсказы. М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.

А. Богдановъ. Краткій курсъ идеологич. науки въ вопросахъ и отвѣтахъ. М. 1914 г. Ц. 75 к.

Ив. Бунинъ. Іоаннъ Рыдалецъ. Разсказы. 1912—1913 гг. Ц. 1 р. 50 к.

— Суходолъ. Повѣсти и разсказы. 1911—1912 гг. Ц. 1 р. 50 к.

— Перевалъ. Разсказы. 1892—1902 гг., изд. 5-е. Ц. 1 р. 50 к.

— Деревня. Повѣсть. Ц. 1 р. 25 к.

— Разсказы и стихотворенія 1907—1910 гг., изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.

— Чаша жизни. Разсказы 1913—1914 гг. Ц. 1 р. 50 к.

— Стихотворенія 1903—1906 гг., изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.

— Золотое дно. Разсказы 1903—1907 гг. Ц. 1 р. 25 к.

А. Бѣлорусовъ. Парижъ. М. 1915 г. 2-е изд. Ц. 1 р. 25 к.

— Его же. Франція. Ц. 1 р. 50 к.

Ив. Бѣлоусовъ. Атава. Стихотворенія. М. 1915 г. Ц. 1 р.

В. Вересаевъ. Разсказы, т. I, II, III, V по 1 р. 25 к.
— Записки врача (т. IV), изд. 7-е. Ц. 1 р. 25 к.
— На войнѣ. Записки. Ц. 1 р. 25 к.
— Живая жизнь, ч. I. (Толстой и Достоевскій.) Ц. 1 р. 25 к.

Изданіе автора.

В. Вересаевъ. Живая жизнь, ч. II. (О Ницше.) Ц. 1 р. 25 к.
Ив. Вольновъ. Юность. (Печатается.)
И. Гольдбергъ. Тунгусскіе разсказы. М. 1915 г. Ц. 80 к.
М. Горькій. «Сказки». М. 1913 г. Ц. 85 к.
Діонео. Мѣняющаяся Англія. Ч. I. М. 1915 г. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
То же, ч. II. Ц. 1 р. 50 к.
С. Елпатьевскій. Разсказы, т. I, изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы, т. II, изд. 2-е. М. 1914 г. Ц. 1 р. 50 к.
— Разсказы, т. III, изд. 2-е. М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.
— За границей (т. IV). Ц. 1 р. 50 к.
— Египетъ, изд. 2-е. Съ иллюстраціями. Ц. 1 р. } Изданіе
— Близкія тѣни. (Воспоминанія.) Ц. 75 к. } автора.
— Крымскіе очерки, съ иллюстр. Изд. 2-е. М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Литературныя воспоминанія. (Печатается.)
Бор. Зайцевъ. Разсказы, т. VI. (Печатается.)
М. Коцюбинскій. Разсказы, т. III. М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
Ѳ. Крюковъ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р. 25 к.
В. Львовъ-Рогачевскій. Снова наканунѣ. Критическія статьи. М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
Николай Мѣшковъ. Стихотворенія. М. 1914 г. Ц. 1 р.
Н. Никандровъ. Береговой вѣтеръ. Разсказы. 1915 г. Ц. 1 р.
Иванъ Новиковъ. Разсказы 1905—1912 гг. Ц. 1 р. 25 к.
А. Серафимовичъ. Снѣжная пустыня. (Разсказы, т. I.) М. 1915 г. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— На рѣкѣ. (Разсказы, т. IV.) Ц. 1 р. 25 к.
— Со звѣрями. (Разсказы, т. V.) Ц. 1 р. 25 к.
— Лихорадка. (Разск., т. II.) Ц. 1 р. 25 к.
— Городъ въ степи. (Ром., т. VI.) Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы, т. VII. 2-е изд. (Печатается.)
— Сухое море. (Разсказы, т. VIII.) Ц. 1 р. 25 к.
С. Сергѣевъ-Ценскій. Сочиненія:
— Т. I. Разсказы, изд. 3-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. II. Разсказы, изд. 3-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. III. Поручикъ Бабаевъ. Романъ, изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к.
— Т. IV. Печаль полей и др. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. V. Движенія. Повѣсть. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VI. Медвѣжонокъ. Приставъ Дерябинъ. Нѣдра и др. М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VII. Наклонная Елена. (Печатается.)
И. Сургучевъ. Осеннія скрипки. (Разсказы, т. III.) М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.
Рабиндранатъ Тагоръ Гитанджали. Жертвенныя пѣснопѣнія. Перев. А. Пушешникова, подъ ред. Ив. Бунина. Изд. 2-е. Ц. 40 к.
Телешовъ. Разсказы, т. I. Ц. 1 р.
— Черною ночью. Разсказы, т. II. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Золотая осень. Разсказы, т. III. Ц. 1 р. 25 к.
Н. Тимковскій. Душа Л. Н. Толстого. Ц. 1 р.

Н. Тимковскій. Сергѣй Шумовъ. Разсказы. Т. I. Изд. 3-е. 1915 г. Ц. 1 р. 50 к.
— Т. II. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. III. Корни жизни, изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. IV. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
— Т. V. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VI. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VII. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VIII. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. IX. Золотой боръ. Ц. 1 р. 50 к.
К. Треневъ. Владыка. Разсказы. Изд. 2-е. М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.
Гр. Ал. Н. Толстой. Сочиненія:
— Т. I. Заволжье. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. II. Разсказы. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. III. Разсказы. (По пути. Призраки. Минувшее.) Ц. 1 р.
— Т. IV. Сказки. Ц. 1 р.
— Т. V. Хромой баринъ, ром. М. 1914 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VI. На войнѣ. М. 1915 г. Ц. 1 р.
— Т. VII. Приключенія Растегина. М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Т. VIII. Свѣтъ уединенный. Ром. (Печатается.)
А. П. Чеховъ. Письма, т. I (1876—1887 гг.). Съ иллюстраціями. Ц. 1 р. 60 к. Изд. 2-е.
— Письма, т. II (1888—1889 гг.). Съ иллюстрац. Ц. 1 р. 50 к.
— Письма, т. III (1890—1891 гг.). Съ иллюстрац. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
— Письма, т. IV (1892—1896 гг.). Съ иллюстрац. Ц. 2 р.
— Письма, т. V (1897—1899 гг.). Съ иллюстрац. Ц. 2 р.
— Письма, т. VI (1900—1904 гг.). (Печатается.)
А. Черемновъ. Стихотворенія. М. 1913 г. Ц. 1 р.
Ив. Шмелевъ. Разсказы, т. I. (Распадъ.) Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы, т. II. М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы, т. III. (Человѣкъ изъ ресторана.) М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы, т. IV. М. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы, т. V. М. 1914 г. (Волчій перекатъ. Виноградъ и др.) Ц. 1 р. 25 к.
— Разсказы. Т. VI. М. 1914 г. Ц. 1 р. 25 к.
Г. Яблочковъ. Разсказы, т. I. Ц. 1 р. 25 к.
— Слѣпая душа. Разсказы, т. II. М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.

Проф. Крембъ. Германія и Англія, пер. съ англ. М. 1915 г. Изд. 2-е. Ц. 75 к.
Д-ръ Чарльзъ Сароли. Англо-германская проблема, перев. съ англ. М. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.
Война и Польша. (Польскій вопросъ въ русской и польской печати.) Предисловіе и редакція Л. С. Козловскаго. Ц. 75 к.

Проф. Шимонъ Аскенази. Конституціонная Польша. (1815—1830), съ предисл. А. А. Кизеветтера, перев. съ польск. В. Высоцкаго. Ц. 1 р. 25 к.

В. Лесевичъ. Сочиненія. Т. I. Статьи по философіи. М. 1915 г., число стр. 647. Ц. 3 р.

— Т. II. Статьи по философіи. М. 1915 г. Ц. 3 р.

Цѣна по подпискѣ на всѣ 5 томовъ—**12 р. съ перес.**

Народно-школьныя изданія.

Ив. Бунинъ. Избранные разсказы. Содержаніе: Сонъ Обломова-внука. Антоновскія яблоки.—Весна.—Скитъ.— Свѣрчокъ.—На край свѣта.—На чужой сторонѣ.—Танька.—Кастрюкъ.—Волга. М. 1914 г. Ц. 65 к., въ папкѣ 90 к.

Уч. Ком. Мин. Н. Пр. признана заслужив. вним. при пополненіи безпл. нар. библ. и читаленъ.

С. Елпатьевскій. Гекторъ и разсказы о прошломъ. М. 1915 г. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к.

Н. Златовратскій. Избранные разсказы для юныхъ читателей, съ портретомъ автора, изд. 2-е. Ц. 80 к., въ папкѣ 1 р. 5 к.

Уч. Ком. Мин. Н. Пр. внесена въ списокъ книгъ для ученич. библ. среднихъ учебн. завед., допущена въ ученич. библ. городскихъ по Полож. 1872 г. училищъ, включена въ списокъ сочин., заслуживающихъ вниманія при пополненіи безплатн. народн. читаленъ и библ.

Г. Сенкевичъ. Янко-музыкантъ и др. разсказы. Содержаніе: Янко-музыкантъ.—Старый слуга.—Фонарщикъ.—Бартекъ-побѣдитель. М. 1915 г. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к.

А. Серафимовичъ. Морской волкъ и др. разсказы. Содержаніе: Морской волкъ.—Лѣсная жизнь.—Три друга.—Сережа.—Бѣгство.—Медвѣдь.—М. 1914 г. Ц. 60 к., въ папкѣ 85 к.

Уч. Ком. Мин. Н. Пр. признана заслужив. вним. при пополненіи безпл. нар. библ. и читаленъ.

Н. Телешовъ. Вѣрный другъ и др. разсказы. Содержаніе: Вѣрный другъ.—Бѣлая цапля.—Косцы.—Старый хозяинъ.—Домой.—Елка Митрича.—Уха.—Пѣвецъ Богоматери.—Пѣснь о трехъ юношахъ. М. 1915 г. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к.

Ив. Шмелевъ. Догонимъ солнце и др. разсказы. Содержаніе: Догонимъ солнце.—Солдатъ Кузьма.—На томъ берегу.—Праздничные герои. М. 1915 г. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к.

Дорогія мѣста. Содержаніе: Пушкинскій уголокъ.—Васильевка.—Въ Спасскомъ.—Пушкинъ въ Гурзуфѣ.—Въ Остафьевкѣ.—На дачѣ А. П. Чехова въ Ялтѣ.—Въ Мелиховѣ.—Поѣздка на могилу Шевченка.—Некрасовъ на охотѣ.—На родинѣ Кольцова и Никитина.—Абрамцево.—Ясная Поляна. Съ иллюстр. подъ редак. И. А. Бѣлоусова, изд. 2-е. М. 1915 г. Ц. 1 руб.

Учен. Ком. М. Н. П. одобрена для ученическ. библ. среднихъ и низшихъ учебн. завед.

БИБЛІОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ